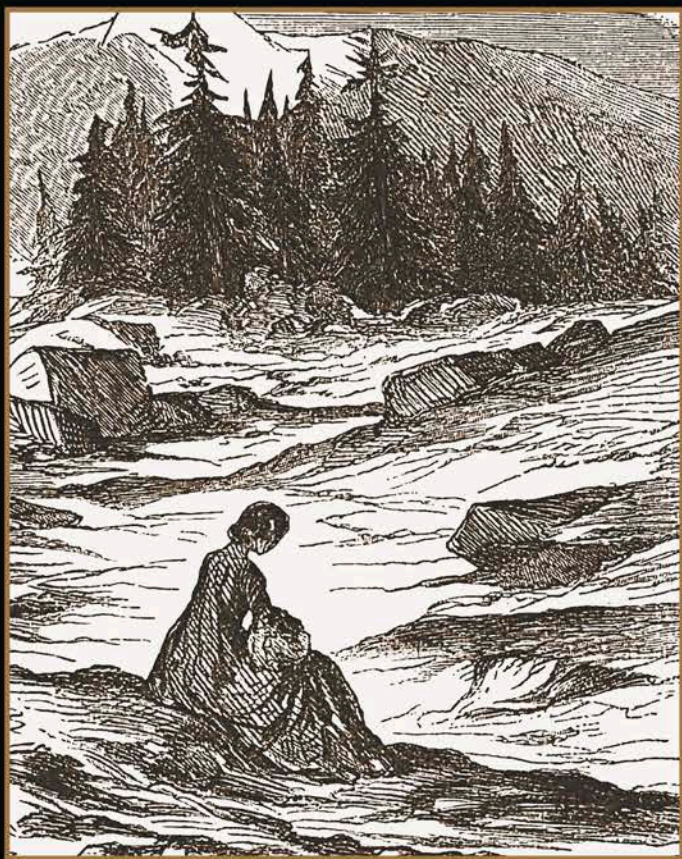


# ЖОРЖ САНД КОНСУЭЛО



Свыше семидесяти иллюстраций  
Мориса Санда

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





*Жорж Санд  
(Амандина Аврора Люсиль Дюпен)  
(1804–1876)*

*Жорж Санд*

*Консуло*



творческое объединение  
**Алькор**

*Совместный проект издательства СЗКЭО  
и переплётной компании  
ООО «Творческое объединение „Алькор“»*



Санкт-Петербург  
СЗКЭО



ББК 84(4)-44(Фр)  
УДК 821.131.1  
С18

Перевод с французского  
*Александры Бекетовой*  
под редакцией  
*Александра Белецкого и Александры Сабитовой*  
Иллюстрации  
*Мориса Санда (Maurice Sand)*

Первые 100 пронумерованных экземпляров  
от общего тиража данного издания переплетены мастерами  
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен  
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.

Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.

Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.

6 бинтов на корешке ручной обработки.

Использовано шелковое ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи,  
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmero  
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока  
с трех сторон методом механического торшонирования  
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.

Оформление обложки пронумерованных экземпляров  
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

**С18 Санд Жорж. Консуэло.** — Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2024. — 744 с.: ил.  
Роман «Консуэло» французской писательницы XIX века Жорж Санд повествует о юной певице, обладающей невиданным музыкальным талантом и проходящей на своем жизненном пути через множество испытаний. В насыщенном таинственными событиями романе прослеживаются мистические, религиозные и философские мотивы. Консуэло предстоит сделать трудный выбор между славой и любовью, искусством и личным счастьем. Текст романа дан в переводе Александры Андреевны Бекетовой. Издание украшают иллюстраций сына писательницы Мориса Санда.

ISBN 978-5-9603-0988-2 (7БЦ)  
ISBN 978-5-9603-0989-9 (Кожаный переплет)

© СЗКЭО, 2024

*Посвящается мадам Полине Виардо.*





## I

— Да, да, сударыни, можете качать головою, сколько вам угодно: самая умная, самая лучшая среди вас, это... Но я не назову ее, так как это единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что, назвав ее имя, я заставляю ее тотчас же утратить эту редкую добродетель, которой я вам желаю.

— *In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti*<sup>1</sup>, — пропела Констанца с вызывающим видом.

— *Amen*<sup>2</sup>, — пропели хором все остальные девочки.

— Скверный злюка, — сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым, покрытым морщинами пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

— Рассказывайте сказки кому-нибудь другому! — произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет ежедневно по шести часов подвергался дерзким и шаловливым выходкам нескольких юных поколений женского пола, — Все-таки оста-

---

<sup>1</sup> Во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.)

<sup>2</sup> Аминь (лат.)



нется истиной, — добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный и насмешливый улей, — что эта разумная, эта кроткая, эта старательная, эта внимательная, эта хорошая девочка не вы — синьора Клоринда, не вы — синьора Констанца, и не вы — синьора Джульетта, конечно, и не Розина, и еще того менее Микела...

— Значит, это — я!

— Нет, это — я!

— Совсем нет, это — я!

— Я!

— Я! — закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, устремляясь, словно стоя крикливых чаек на злосчастную раковину, выброшенную на берег отхлынувшей волной. Этой раковиной был маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не применима лучше к его угловатым движениям, перламутровым глазам, скулам с красными крапинками, а в особенности к тысяче седых, жестких и остроконечных локончиков его профессорского парика); маэстро, повторяю я, вынужденный трижды снова опускаться на скамейку, с которой подымался, собираясь уходить, но спокойный и бесстрастный, как раковина, убаюканная и окаменевшая в бурях, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он, всегда такой скупой, только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным его же хитростью, он взял свою профессорскую трость, которую обыкновенно отбивал такт, и, пользуясь ею, разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги. Затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, он остановился в глубине эстрады, где помещался орган, против маленькой фигурки, сидевшей, скорчившись, на ступеньке. Опершись локтями на колени, заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она разучивала свой урок вполголоса, чтобы никому не мешать, скрючившись и согнувшись, как обезьянка; он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руки, словно Парис, присуждающий яблоко не самой красивой, а самой разумной.

— Консуэло? Испанка? — закричали в один голос юные хористки, сначала пораженные удивлением. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший румянец на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, а глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь, так как она была погружена в работу настолько, что в течение нескольких минут оставалась безучастной ко всему этому шуму. Заметив наконец, что она сама является предметом всеобщего внимания, девочка, отняв руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь; сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она встала, чтобы посмотреть, нет ли позади ее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

— Консуэло, — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, — иди сюда, моя хорошая девочка, и спой мне «*Salve, Regina*»<sup>1</sup> Перголезе<sup>2</sup>, который ты разучиваешь две недели, а Клоринда целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором к органу, у которого он уселся снова и с торжествующим видом подал тон ученице. И вот Консуэло запела, просто и свободно, и в глубине церковных сводов понеслись чистые звуки такого прекрасного голоса, какой никогда еще здесь не раздавался. Она спела «*Salve Regina*», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы чисто и полно, выдерживая и прерывая ее, как требовалось, послушно и точно следуя указаниям, преподанным искусным маэстро; и осуществляя, благодаря своему могучему дарованию, его разумные и ясные намерения, она при всей своей детской неопытности и беззаботности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и энтузиазм: она спела в совершенстве.

— Хорошо, дочь моя, — сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. — Ты разучила эту вещь и спела ее с пониманием. В следующий раз ты повторишь кантату Скарлатти<sup>3</sup>, уже пройденную нами.

— *Si, signor professore*<sup>4</sup>. Теперь мне можно уйти?

— Да, дитя мое. Девушки, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги, неразлучную игрушку испанки и венецианки, которой она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она исчезла за органными трубами, сбежала с легкостью мышки по таинственной лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя под средним куполом, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который подал ей, улыбаясь, кропило. Окропившись и глядя ему прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и это вышло так умиротворительно, что молодой человек расхохотался. Рассме-

<sup>1</sup> *Salve, Regina* (Здравствуй, Царица — лат.) — католический церковный гимн в честь Богородицы.

<sup>2</sup> Джованни Батиста Перголезе (1710–1736) композитор неаполитанской школы, автор 12 опер, трагических и комических, из коих комическая опера «Служанка-госпожа» (*La Serva Padrona*) сыграла огромную роль в развитии этого жанра в Италии и во Франции. Перголезе оставил также несколько месс (церковные обедни), камерные и вокальные произведения и знаменитый «*Stabat Mater*» (Богородица у креста) для двух женских голосов с органом и струнным оркестром, до сих пор исполняемый на концертах, и три оратории.

<sup>3</sup> Алессандро Скарлатти (1659–1725) — с 1694 года директор консерватории в Неаполе, выдающийся композитор (200 месс, 118 опер и др.), глава неаполитанской школы, внесший новое направление в оперный стиль, стремясь усилить драматический интерес и театральные эффекты пышного зрелища.

<sup>4</sup> Хорошо, синьор профессор (ит.)

ялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока переступила порог церкви и сбежала по ступенькам к выходу.

Между тем профессор, спрятав снова очки в обширный карман своего жилета и обратившись к притихшим ученицам, произнес:

— Стыдно вам, прекрасные девицы! Эта девочка, самая младшая из вас, самая новенькая в моем классе, — единственная, способная спеть соло как следует, а в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. А это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть *понимание*.

— Не мог не выпалить своего любимого словечка, — крикнула Клоринда, лишь только он ушел. — Он повторил его только тридцать девять раз во время урока и заболел бы, если бы не дошел до сорокового.

— Чему тут удивляться, что эта Консуэло делает успехи? — сказала Джульетта. — Она такая бедная, только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь, чтобы начать зарабатывать хлеб.

— Мне говорили, что ее мать цыганка, — добавила Микелина, — и что сама девочка пела на улицах и по дорогам, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос; но у бедняжки нет ни тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следуя указаниям профессора, а все остальное довершают ее хорошие легкие.

— Пусть она обладает и наилучшими легкими и самым большим умом в придачу, — сказала красавица Клоринда. — Я не стала бы оспаривать у нее все эти преимущества, если бы мне пришлось поменяться с ней наружностью.

— Вы потеряли бы немного, — возразила Констанца, не особенно стремившаяся признать красоту Клоринды.

— Она совсем нехороша, — добавила еще одна. — Она желтая, как пасхальная свечка, а ее большущие глаза ничего не говорят. И вдобавок всегда так плохо одета! Бесспорно, она — дурнушка.

— Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты! — так они закончили свой панегирик в честь Консуэло и, пожалев ее, утешили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

## II

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендиканти<sup>1</sup>, где знаменитый маэстро Порпора делал первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которою должен был дирижировать в следующее

<sup>1</sup> Церковь (chiesa) и школа (schola) *Мендиканти* (Mendicanti) — Нищенствующих, т. е. одного из монашеских орденов, дающих обет отречения от собственности, как, например, францисканцы.

воскресенье, в День успения. Молодые хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где их обучали на казенный счет, а потом давали пособие либо для замужества, либо для поступления в монастырь, как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами около того же времени и в этой самой церкви. Читатель, ты слишком хорошо помнишь все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в VII книге его «Исповеди»<sup>1</sup>. Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелаешь бы снова приняться за мою; я поступил бы точно так же на твоём месте, мой друг читатель. Надеюсь, что у тебя под рукою в данную минуту нет «Исповеди», я продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые особы были одинаково бедны, и несомненно, что несмотря на всю честность начальства в школу проскальзывали иногда и такие, для которых это являлось скорее ловким делом, а не необходимостью получить за счет республики артистическое образование и пристроиться. А потому некоторые из них и позволяли себе забывать те священные Законы равенства, благодаря которым им удавалось прокрадываться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Также не все строго следовали предначертаниям республики насчет их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась от приданого, стремясь к иной, более блестящей карьере. Иногда в силу необходимости к обучению музыке допускали и детей бедных артистов, которым бродячий образ жизни не позволял оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и проникшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь более прямым путем, обычным лишь для цыган.

Однако она была цыганкой лишь по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского и во всяком случае не еврейского. Она была хорошей испанской крови, несомненно из мавританского рода, так как была довольно смуглая, а вся ее фигура была проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу злословить по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то весьма возможно, что он был бы выведен от Израиля или еще дальше, но она вышла из потомства Измаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, так как мне не исполнилось еще сто лет; но так утверждали, и я не могу противоречить этому. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности,

<sup>1</sup> Жан-Жак Руссо (1712–1778) был не только художником слова и философом, но и музыкантом (теоретиком и композитором); он написал комическую оперу «Деревенский колдун» (*Le devin du village*) и другие произведения; в бытность свою в Венеции (1743–1744) на службе во французском посольстве он восхищался красотой пения в венецианских школах и ужасался безобразной наружностью учениц.



характерной для цыганки. Не было у нее и вкрадчивого любопытства и упорного нищенства убогой еврейки. Она была спокойна, как воды лагуны, и в то же время столь же подвижна, как легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности.

Так как она быстро росла, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья слишком короткие для своего возраста, что придавало ее длинным ногам четырнадцатилетней девочки, привыкшим быть на виду, особую дикую грацию и свободную походку, так что глядеть на нее было приятно и жалко. Была ли у нее нога маленькая, трудно сказать, до того плохо она была обута. Зато ее стан, облеченный в «корсаж», слишком тесный и лопнувший по швам, был стройный и гибкий, словно пальма, но без округленности, без соблазнительности. Бедная девочка об этом и не думала, она привыкла, что все белокурые, белые и полные дочери Адриатики давали ей прозвище «обезьяна», «лимон», «чернушка». Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого не поразило бы, если бы короткие, густые и закинутае за уши волосы и в то же время ее серьезный вид, равнодушный ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторую малопрятную оригинальность. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Обладающий таким лицом, к которому другие относятся безразлично, делается безразличным и сам к себе, небрежным, а этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собою, прихорашивается, приглядывается к себе, как бы всматриваясь в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе, склоняется к распушенности. Но есть два вида некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует, — это и есть настоящая, истинная некрасивость; другая — наивная, беззаботная; она мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению; такая некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца; такова именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, они, глядя ее по голове, бесцеремонно, чего не сделали бы по отношению к красивой, говорили ей: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».

Между тем красивый молодой синьор, предложивший Консуэло святой воды, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Всех он разглядывал с большим вниманием, и когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он подал ей святой воды своими пальцами нарочно, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от удовольствия, ушла, бросив ему стыдливо-смелый взгляд, отнюдь не целомудренно-гордый.

Как только ученицы скрылись внутри здания монастыря, учтивый патриций вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:

— Клянусь Вакхом, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «Salve Regina».

— А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? — ответил профессор, выходя вместе с ним из церкви.

— Для того чтобы вас поздравить, — возразил молодой патриций. — Давно я уже слежу не только за вашими вечерними церковными службами, но и за вашими упражнениями. Вы ведь знаете, какой я любитель церковной музыки. И вот, уверяю вас, что впервые слышу я Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый прекрасный, который мне довелось услышать в моей жизни.

— Клянусь Богом, это так, — проговорил профессор с самодовольной важностью, наслаждаясь в то же время большой понюшкой табаку.

— Скажите же мне имя неземного существа, приведшего меня в такой восторг, — настаивал граф. — Вы строги, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, и ваши солистки очень хороши. Но музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, такая возвышенная, такая строгая, что редко кто из них может дать почувствовать все ее красоты...

— Они не могут дать почувствовать эти красоты другим, раз сами их не чувствуют, — с грустью промолвил профессор. — В свежих, звонких, больших голосах, слава Богу, недостатка у нас нет, а вот, что касается до музыкальных натур, увы, они так редки, так несовершенны...

— Но, во всяком случае, у вас есть одна замечательно одаренная, — возразил граф, — какой это великолепный инструмент, сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее, наконец!

— А ведь, правда, она доставила вам удовольствие? — спросил профессор, избегая ответа на заданный ему вопрос.

— Она захватила мое сердце... довела меня до слез... И притом так просто, без какой-либо искусственности: сначала я даже не мог разобраться, в чем тут дело. Только потом, о мой дорогой учитель, вспомнив все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, я постиг впервые, насколько вы были правы.

— А скажите, что я вам говорил? — торжествуя переспросил маэстро.

— Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве — это простота, — ответил граф.

— Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.

— Конечно, однако вы прибавляли, что от этих второстепенных качеств до истинного проявления гениальности — целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица — одна по ту сторону пропасти, а все остальные по эту.

— Это правда и хорошо сказано, — потирая от удовольствия руки, заметил профессор.

— Ну, а ее имя? — настаивал граф.

— Чье имя? — переспросил лукавый профессор.

— Ах, Боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела, которого я только что слушал.

— А для чего вам это имя, граф? — строго возразил Порпора.

— Скажите, профессор, почему вы хотите делать из этого тайну?

— Я вам это объясню, если вы предварительно откроете мне, почему вы так настойчиво добиваетесь узнать это имя.

— Разве не естественно непреодолимое желание узнать и увидеть то, чем восхищаешься?

— Так позвольте же мне уличить вас, дорогой граф, что это не единственное ваше основание: вы большой любитель и хороший знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле<sup>1</sup>. Не столько из выгоды, сколько ради славы, вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы у нас уже похитили Кориоллу, а так как не сегодня-завтра у вас, в свою очередь, может переманить ее какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориоллы... Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду.

— Ну, если бы и так, дорогой маэстро, — возразил граф, улыбаясь, — какое зло усматриваете вы в этом?

— А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите этих несчастных.

— Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали отцом-хранителем этих непорочных добродетелей?

— Я хочу сказать этим то, что есть, господин граф. Я не думаю ни об их добродетели, ни об их непорочности: я просто заинтересован в талантах, которые вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как эта самая Кориолла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы — к шутке, от алтаря — на подмостки, от великого — к смешному, от Аллегри и Палестрины к Альбини и цирюльнику Аполлини<sup>2</sup>?

---

<sup>1</sup> В Италии было принято давать театрам, довольно многочисленным даже в небольших городах, название по имени ближайшей приходской церкви и святого, ее патрона; до сих пор огромный театр в Неаполе называется Сан-Карло. Церковь *Сан-Самуэле* находится в Венеции, на восточном берегу Большого канала; напротив нее, на левом берегу, находятся дворцы фамилии графов Дзустиньяни.

<sup>2</sup> Грегорио *Аллегри* (1584–1652) — духовный композитор римской школы, писавший также и вокальные произведения в народном стиле. Джованни-Пьер-Луиджи *Палестрина* (1526–1594) реформатор католической духовной музыки, основатель римской школы; в его многоголосных произведениях без аккомпанемента роль сопровождения играют голоса. Его знаменитейшее произведение — месса папы Маркелла. *Альбини* и *Аполлини* — итальянские композиторы XVIII столетия.

— Итак, в своем ригоризме вы решительно отказываетесь открыть мне имя этой девушки, несмотря на то, что я не могу иметь никаких видов на нее, не зная даже, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?

— Я решительно отказываюсь.

— И вы думаете, что я этого не открою?

— Увы! Задавшись этой целью, вы ее добьетесь, но знайте, что я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить ее у нас.

— Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: ваше таинственное божество я видел, угадал, узнал...

— Вот как! Вы убеждены в этом? — недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.

— Мои глаза и сердце открыли мне ее, в доказательство чего я сейчас набросаю ее портрет: она, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня, у нее золотистые волосы и лазоревые глаза, приятная округленность, на одном пальчике колечко с рубином; прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.

— Браво! — воскликнул Порпора с лукавым видом. — В таком случае, мне нечего от вас таить: имя этой красавицы — Клоринда. Идите к ней сейчас же с вашими соблазнительными предложениями, осыпайте ее золотом, бриллиантами, тряпками! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам и дерзкие взгляды возвышенному уму.

— Неужели я так ошибся, мой дорогой учитель, и Клоринда не что иное, как вульгарная красotka? — с некоторым смущением проговорил граф.

— А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? — лукаво спросил маэстро.

— Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне: моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я мог бы еще обожать ее, но приглашать в свой театр все-таки не стал бы: на сцене талант без красоты часто является для женщин несчастьем, борьбой, пыткой. Однако на что вы глядите, маэстро, и почему вы вдруг остановились?

— Мы как раз у пристани, где стоят гондолы, но сейчас я здесь не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?

— Поглядите вон на того юнца, сидящего подле довольно-таки невзрачной девочки, — не мой ли это питомец Андзолето, самый умный и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в Венеции, страсть и исключительная способность к музыке. Давно уж я хочу поговорить с вами и просить вас заняться с ним. Я действительно прочу его для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото<sup>1</sup>, поди сюда, дитя мое, я представляю тебя знаменитому маэстро Порпора.

<sup>1</sup> *Дзото* (*Zoto*) — уменьшительное от Андзоло, Андзолето.





— Поглядите вон на того юнца, сидящего подле довольно-таки невзрачной девочки, — не мой ли это питомец Андзолето, самый умный и самый красивый из наших юных плебеев?

Андзовето вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично зовут «морскими цветами» (Fiori di mare). Вся его одежда состояла из очень изношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изорванной сорочки, сквозь которую проглядывали его белые плечи, выточенные, словно у юного античного Вакха. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти с беззаботной иронией. Его курчавые и вместе с тем топкие волосы, темно-русые, с золотистым отливом от солнца, бесчисленными короткими, густыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были несравненно совершенны, но в пронзительных, черных, как чернила, глазах проглядывало нечто слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик быстро встал, бросил все раковины на колени девочки, сидевшей рядом с ним, и в то время, как она преспокойно продолжала нанизывать раковины вперемежку с золотистым бисером, он подошел к графу и, по местному обычаю, поцеловал ему руку.

— В самом деле, красивый мальчик! — проговорил профессор, ласково похлопывая его по щеке. — Но мне кажется, что он занимается слишком ребяческим для своих лет делом, ведь, наверное, ему лет восемнадцать?

— Скоро будет девятнадцать, сьор профессор, — ответил Андзовето по-венециански<sup>1</sup>. — А вожусь я с раковинами, только потому что помогаю маленькой Консуэло, делающей из них ожерелья.

— Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения, — проговорил Порпора, подходя с графом и Андзовето к своей ученице.

— О, это не для себя я делаю ожерелья, господин профессор, — ответила Консуэло, осторожно приподнимаясь наполовину, боясь уронить в воду раковины из передника, — это ожерелья для продажи, чтобы купить рису и кукурузы.

— Она бедна и этим снискивает пропитание своей матери, — пояснил Порпора. — Слышишь, Консуэло, — обратился он к девочке, — когда у вас с матерью нужда, всегда обращай ко мне, но смотри никогда не проси милостыни, поняла?

— О, вам нечего запрещать ей это, сьор профессор, — живо возразил Андзовето. — Она сама никогда бы не просила милостыни, да и я не допустил бы этого.

— Да ведь у тебя самого ровно ничего нет, — сказал граф.

— Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, а я делюсь с этой крошкой.

<sup>1</sup> *Венецианское* наречие близко к литературному итальянскому языку, но в фонетике отличается от него сокращением двойных согласных (-ето, -ело вместо -етто, -елло), произношением «с» вместо «ц» между гласными (Венесиа вместо Венециа), а также «дз» вместо «дж» (Дзустиньяни, Андзоело вместо Джустиньяни, Анджоло).

— Она твоя родственница?  
— Нет, она чужестранка, это Консуэло.  
— Консуэло? Какое странное имя, — заметил граф.  
— Прекрасное имя, ваше сиятельство, — возразил Андзолето, — оно значит «утешение»...

— В добрый час! Как видно, она твоя подруга?  
— Она моя невеста, ваше сиятельство.  
— Уже? Каково! Эти дети мечтают о свадьбе.  
— Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэля.

— В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.  
— О, мы подождем, — проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности.

Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы; затем, назначив на следующий день время, когда профессор испытает голос Андзолето, они оба ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.

— Как находите вы эту девочку? — спросил профессор графа.  
— Я уже видел ее раньше и нахожу, что она достаточна некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемнадцатилетнего мужчины каждая женщина — красавица».

— Прекрасно, — ответил профессор, — теперь я могу вам открыть, что ваша таинственная красавица — Консуэло.

— Как? Она? Эта замарашка? Эта черная, худая стрекоза? Быть не может, маэстро!

— Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что она была бы соблазнительной примадонной?

Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с довольно комическим отчаянием воскликнул:

— Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные ошибки, надевая огнем гениальности такие безобразные головы!

— Значит, вы отказываетесь от ваших коварных замыслов? — спросил профессор.

— Без всякого сомнения.

— Вы мне действительно обещаете это? — добавил Порпора.

— О, клянусь вам, — ответил граф.

### III

Рожденный под небом Италии, возвращенный волею случая, как морская птица, бедный сирота, брошенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в свое будущее, Андзолето, этот несомненный плод любви, этот

девятнадцатилетний красавец-юноша, проводивший целые дни около маленькой Консуэло в полной свободе на каменных плитах Венеции, конечно, не был новичком в любви. Посвященный в тайны чувственных приключений, не раз выпадавших ему на долю, он был бы уже износившимся и, быть может, развращенным, если бы жил под нашим печальным небом и если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако рано развившийся физически и предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а его чувственность сдерживалась волей.

Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием мадонны; ради удовольствия, чтобы упражнять свой голос, он пел с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном взморье Лидо<sup>1</sup>, собирая ракушки: он — для еды, она — чтобы делать из них чётки и украшения. Встречались и в церквах, где она молилась Богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. При этих постоянных встречах Консуэло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он и сам хорошенько не знал, как и почему стал ее другом и неразлучным спутником. Андзолето пока в любви знал лишь одно наслаждение. К Консуэло он чувствовал дружбу, но так как он происходил из народа и страны, где страсти преобладают над привязанностями, то он и не сумел дать этой дружбе другого названия, как любовь. Когда он заговорил раз об этом с Консуэло, та просто сказала ему: «Если ты в меня влюблен, значит, ты хочешь на мне жениться?» На что он и ответил: «Конечно, раз только ты согласна, мы поженимся». С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Андзолето любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее самым серьезным образом. Несомненно одно — юное сердце Андзолето уже испытывало те противоречивые чувства, те запутанные, сложные переживания, которые тревожат и портят существование пресыщенных людей.

Предоставленный своим бурным инстинктам, жадный на удовольствия, любя лишь то, что давало ему счастье, и ненавидя и избегая всего, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, жажда жить и ощущая жизнь со страшной интенсивностью, он установил, что его любовницы заставляли его испытывать все муки и опасности страсти, причем он, в сущности, этой страсти глубоко не переживал. Все-таки, влекомый вожделением, от времени до времени он сходил с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. И вот, растратив недостойным образом и без идеала избыток своих сил, он ощутил потребность в кроткой подруге, в чистых, светлых излияниях. Он мог уже сказать, как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привлекает к женщинам не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его

<sup>1</sup> *Лидо* — остров, длинной и узкой полосой тянущийся с севера на юг, образуя как бы барьер, закрывающий с восточной стороны венецианскую лагуну. Теперь на Лидо, кроме морских укреплений, — пляж для морских купаний, роскошные отели и т. д.



к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, даже не зная, красива она или нет, Андзолето, забавляясь с ней детскими играми, как мальчик, в то же время, как честный мужчина, свято уважал ее четырнадцать лет и вел с ней среди толпы, на мраморе и волнах Венеции жизнь такую же счастливую, такую же чистую, такую же скрытую и почти такую же поэтичную, как жизнь Павла и Виргинии<sup>1</sup> в апельсиновых рощах пустынного острова. Пользуясь еще более неограниченной и опасной свободой, без семьи и без неясной матери, заботящейся об их нравственности, без преданного слуги, отводящего их по вечерам домой, даже без собаки, предупреждающей об опасности, предоставленные вполне самим себе, они избегали падения.

Во всякое время и во всякую погоду носились они по лагунам вдвоем в открытой лодке без весла и рулевого. Без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману. До поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты мостовой, еще теплые от солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы<sup>2</sup> и забыв, что они не завтракали и вряд ли будут ужинать, они со страстным вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Коризанды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея, конечно, возможности нарядиться: он — вывернув наизнанку свою старую куртку, она — прицепив себе на голову большущий бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице какого-нибудь дворца, уплетая «морские фрукты» (*frutti di mare*) — ракушки, стебли укропа и лимонные корки. Словом, не зная ни опасных ласк, ни влюбленности, они вели веселую и привольную жизнь двух неиспорченных детей, сверстников одного и того же пола. Шли дни и годы. У Андзолето бывали новые любовницы, а Консуэло даже и не подозревала, что можно любить иную любовью, а не так, как любила она сама. Став взрослой девушкой, она не думала, что следует быть более сдержанной с женихом. Он же, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и покойной, без всяких тайн и угрызений.

Прошло уже четыре года с того времени, как профессор Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих маленьких музыкантов. Граф и не думал больше о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор также забыл о существовании красавца Андзолето, так как, проэкзаменовав

<sup>1</sup> «*Paulet Virginie*» — французский роман Бернардена де-Сен-Пьера (1731–1814), имевший в свое время огромный успех благодаря экзотике и призыву приблизиться к природе. В романе изображена идиллическая картина жизни юноши и девушки, выросших под тропиками, на острове Иль-де-Франс (ныне остров св. Маврикия) в Индийском океане.

<sup>2</sup> *Пульчинелла* — итальянский «Петрушка», вместе с Арлекино, Коломбиной, Панталоне; фигура итальянского театра марионеток и народного театра (*Commedia dell'arte*).

его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им от ученика: прежде всего серьезного и терпеливого склада ума, затем скромности, доведенной до полного самоуничтожения ученика перед учителем, и, наконец, отсутствия какого бы то ни было предварительного обучения. «Не хочу даже и слышать, — говорил он, — об ученике, мозг которого не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хорошего качества, — если она слишком плотна, я не могу писать на ней, если же она слишком тонка, я ее сейчас же разобью». Одним словом, Порпора, хотя и признал, что у юного Андзоле то способности изумительные, необыкновенные, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим самоунижением, что метода его не годится для столь продвинутого ученика и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы затормозить и замедлить естественные успехи и непреодолимый рост этих великолепных природных данных.

Граф направил своего питомца к профессору Меллифьоре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группетто, довел эти блестящие данные до полного развития. Когда ему исполнилось 23 года, Андзоле выступил в салоне графа, и все слышавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-Самуэле на первых ролях.

Однажды вечером все аристократы-любители и самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем решающем испытании. В первый раз в жизни Андзоле скинул свое плебейское одеяние, облекся в черный фрак, шелковый жилет, высоко подбрил и напудрил свои роскошные волосы, надел башмаки с пряжками и, приняв спокойный вид, на цыпочках проскользнул к клавесину и здесь, при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот пар глаз, он, выждав вступление, расширил свои легкие и с присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим грудным до на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой — свисток.

Нечего говорить, что Андзоле волновался в душе, но его волнение почти не было заметно; его зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, уловили в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу, и, едва лишь донесся до него одобрительный шёпот любителей, удивленных мощностью его тембра и легкостью вокализации, как радость и надежда заполнили все его существо, и вот Андзоле, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, в первый раз в жизни почувствовал, что он не заурядный человек, и, увлеченный жадой и ощущением торжества, пел с поразительной силой, оригинально и увлекательно. Конечно, его вкус не всегда был чист, и исполнение не было безупречно на протяжении всей вещи, но он сумел повысить его смелостью приемов, проблесками ума



*В первый раз в жизни Андолето скинул свое плебейское одеяние,  
облекся в черный фрак, шелковый жилет,  
высоко подбрил и напудрил свои роскошные волосы...*

и порывами восторга. Он не давал эффектов, о которых мечтал композитор, но находил иные, о которых никто не думал — ни автор, их намечавший, ни профессор, их толковавший, и никто из виртуозов, раньше исполнявших эту вещь. Его смелые порывы захватили и увлекли всю публику. За одну новизну ему прощали десять промахов, за одно проявление индивидуального чувства — десять погрешностей в методе. Так, поистине, в искусстве малейший проблеск гениальности, малейшее стремление к новым достижениям действуют на людей более обаятельно, чем все заученные общеизвестные приемы.

Быть может, никто не отдавал себе даже отчета, чем именно вызывался такой энтузиазм, но все были охвачены им. Корилла выступила в начале вечера с большою арией, прекрасно спела, и ей аплодировали. Однако успех молодого дебютанта так затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Когда же Андзолето, осыпанный похвалами и ласками, вернулся к клавишину, около которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем смело: «Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для бедного несчастного, трепещущего перед вами и обожающего вас?» — примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва достаивала взглядом: какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного, бедного мальчугана? Теперь наконец она его заметила и поразилась его красотой: его огненный взор проник ей в душу, и, побежденная, очарованная в свою очередь, она долго и многозначительно глядела на него, и этот взгляд ее был как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзолето покорила всех своих слушателей и обезоружил своего самого грозного врага, ибо красавица-певица царила не только на сцене, но и в правлении театра, и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.

#### IV

Среди единодушных и даже несколько бессмысленных аплодисментов, вызванных голосом и манерою пенья дебютанта, только один из всех слушателей, сидя на кончике стула, точно египетское божество, с прижатыми друг к другу ногами, с неподвижно вытянутыми на коленях руками, был молчалив, как сфинкс, и загадочен, как иероглиф: то был ученый профессор и знаменитый композитор Порпора. В то время, как его учтивый коллега, профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Андзолето, рассыпался перед дамами и гибко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел, опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое размышление. Когда все общество, пригла-





*Корилла, побежденная, очарованная, долго и многозначительно глядела на него, и этот взгляд ее был как бы печатью на патенте его новой славы.*

шенное в этот вечер на бал к догарессе, понемногу разъехалось, у клавиесина осталось только несколько особенно ярких любителей музыки, несколько дам и самых известных артистов. Дзустиньяни подошел к строгому маэстро со словами:

— Дорогой профессор, вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше молчание меня пугает. Вы упорно хотите игнорировать и светскую музыку и ее новые приемы, чарующие нас. Но ваше сердце невольно раскрылось, и ваши уши восприняли соблазнительный яд.

— Послушайте, сьор профессор, — сказала по-венециански прелестная Кориλλα, возобновляя со своим старым учителем ребячливые ухватки, как в былые годы в школе, — я хочу вас просить об одной милости...

— Прочь от меня, несчастная! — с усмешкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя от себя ласкавшуюся к нему неверную ученицу. — Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетанье.

— Он уже смягчается, — проговорила Кориλλα, таща за руку дебютанта и вместе с тем не переставая теревить пышный белый галстук профессора... — Поди сюда, Дзото, стань на колени перед самым великим учителем пения всей Италии. Унизься, смирись перед ним, дитя мое, обезоружь его суровость. Одно его слово, если ты добьешься его, имеет больше значения, чем все трубы, вещающие о славе.

— Вы были очень строги ко мне, господин профессор, — проговорил Андзо-лето, отвешивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. — Однако все эти четыре года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор. Если мне сегодня это не удалось, то я уж не знаю, где взять смелость появиться перед публикой под бременем вашей анафемы.

— Дитя мое, предоставь женщинам медоточивые лукавые речи, — сказал профессор, живо вставая и говоря с такою убедительностью, что его обыкновенно невзрачная и мрачная фигурка как-то сразу стала и выше и благороднее, — не унижайся никогда до лести, даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты, в сущности, пренебрегаешь. Какой-нибудь час тому назад ты сидел там, в углу, бедный, неизвестный, боязливый, вся твоя будущность висела на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой; беги вперед, пока хватит сил! Но выслушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может, и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой дороге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя одна техника и легкость. Проявляя страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль.

Однако не отчаивайся: правда, у тебя имеются все эти недостатки, но есть и то, чем ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы; в тебе есть то, что не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры, — у тебя есть божественный огонь... гениальность... Но, увы, огню этому не суждено озарить ничего великого, гениальность твоя будет бесплодна... Я прочитал в твоих глазах, почувствовал это в твоей груди: у тебя нет преклонения перед искусством, у тебя нет ни веры в великих учителей, ни уважения к великим творениям; ты



любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог... ты смог бы... но нет... уж слишком поздно. Твоя судьба — это будет судьба метеора, подобно...

Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, занятый, очевидно, дальнейшим развитием своего загадочного приговора.

Хотя некоторые из присутствовавших и пытались поднять на смех странную выходку профессора, тем не менее на несколько мгновений у всех осталось тяжелое впечатление чего-то тягостного, тревожного...

Андзоле, по-видимому, первый перестал думать об этом, хотя испытывал глубокое потрясение от радости, гордости, гнева и смятения чувств, которые должны были повлиять на всю его жизнь.

Казалось, он был всецело поглощен одной только Корилой и так успел убедить ее в этом, что она тут же сразу влюбилась в него не на шутку.

Граф Дзустиньяни не очень ревновал ее; быть может, у него были основания не особенно стеснять ее. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра, не потому что был жаден к богатству, а потому что был, как говорится, истым фанатиком изящных искусств. По-моему, это слово определяет известное общенародное, чисто итальянское чувство, страстное, но лишенное рассудительности. Культ искусства — выражение слишком современное, неизвестное сто лет тому назад, означает совсем не то, что вкус к изящным искусствам. Граф был человек с артистическим вкусом, в том смысле, как это тогда понимали, — любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался публикой и хотел заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем моды, заставлять говорить о своем театре, о его роскоши, о своей любезности и пышности. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, — показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра — это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще более удовлетворения получил бы он, если бы смог угощать за своим столом всю республику. Когда случалось иностранцам расспрашивать профессора Порпора о графе Дзустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать: в своем театре он подает музыку совершенно так же, как фазанов за своим столом».

Около часа ночи пришлось расстаться.

— Андоло, где ты живешь? — спросила его Корилла, стоя с ним вдвоем на балконе. При этом неожиданном вопросе Андзоле сразу покраснел и побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной красавице, что у него нет своего угла? В этом, пожалуй, было бы легче сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал, когда не спал под сводом небесным по собственному желанию или по необходимости.

— Разве мой вопрос такой необычайный? — смеясь над его смущением, спросила Корилла.

С необыкновенной находчивостью Андзолето поспешил ответить:

— Я спрашивал себя, какой королевский дворец, какой дворец волшебницы достоин принять гордого смертного, принесшего туда воспоминания о любовном взгляде Кориаллы.

— А что ты, льстец, хочешь этим сказать? — возразила она, устремляя на него взгляд, самый жгучий из всего своего дьявольского арсенала.

— То, что это счастье мне еще не дано, но если б я и был этим счастливецом, то, упоенный гордостью, я жаждал бы только жить между небом и землей, как звезды.

— Или еще как морские чайки, — громко смеясь, воскликнула певица. Как известно, морские чайки так неприхотливы, что венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбалмошного человека, как французская — к жуку («легкомыслен, как жук»).

— Насмехайтесь, презирайте меня, — ответил Андзолето, — все это лучше, чем не обращать никакого внимания.

— Ну, раз ты хочешь говорить со мною одними метафорами, — возразила она, — то я уволю тебя в своей гондоле, а если ты очутишься далеко от своего дома, так пеняй лишь на самого себя.

— Так вот почему вы так интересовались, где я живу, синьора. В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на ступеньках вашего дворца.

— Ну, так ступай и жди меня на ступеньках этого дворца, а то как бы Дзустиньяни не остался недоволен снисходительностью, с какой я выслушиваю тот вздор, который ты болтаешь.

Первым порывом тщеславия Андзолето было броситься к пристани дворца, а оттуда прыгнуть на нос гондолы Кориаллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того, как Кориалла появилась на лестнице дворца, много мыслей пронеслось в живой и честолобивой голове дебютанта: «Кориалла всемогуща, — говорил он себе, — но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? А что, если вследствие моей слишком быстрой победы он бросит свою легкомысленную любовницу и тогда она потеряет свое могущество?» И вот, когда Андзолето, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, вдруг портик озарился факелами, и красавица Кориалла в горностаевом мантио показалась на верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести свести ее по венецианскому обычаю до гондолы, поддерживая под круглый локоток.

— А вы что тут делаете? — бесцеремонно обратился к растерявшемуся Андзолето гондольер примадонны. — Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с синьорой сам граф.

Андзолето, не сознавая хорошенько, что он делает, забился внутрь гондолы. Он совсем потерял голову. Опомнившись, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с возлюбленной в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его томление было тем мучи-

тельное, что длилось более пяти минут. Синьора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, громко смеялась, спорила со своими кавалерами относительно какой-то рулады, причем даже исполняла ее во весь голос на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши. Андзолето, не в силах переносить дольше такое напряженное состояние, решил броситься из гондолы со стороны, противоположной лестнице. Он уже опустил было окошечко в бархатной, черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнувшись к нему, прошептал:

— Раз поют, вам надо сидеть смирно и ждать безбоязненно.

«Я не знал еще этих обычаев», — подумал про себя Андзолето и стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своего мучительного страха. Корилла доставила себе удовольствие довести графа до самой гондолы. Стоя уж на носу, она не переставала посылать ему горячие пожелания «счастливой ночи» до тех пор, пока гондола не отчалила от берега. Затем она уселась возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре.

— Имеете ли вы представление, что такое Корилла? — спрашивал в это время Дзустиньяни графа Барбериго. — Так вот, я даю вам голову на отсечение: она не одна в гондоле.

— А почему вам могла прийти в голову такая мысль? — спросил Барбериго.

— Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца.

— И вы не ревнуете?

— Я давно уже излечился от этой слабости. По правде сказать, я дорого дал бы, чтобы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествиях, которыми она мне угрожает. Утешиться в ее измене очень нетрудно, а вот заменить ее голос, талант — это другое дело; кто кроме нее в состоянии так привлечь публику в Сан-Самуэле, доводя ее до неистовства?

— Понимаю вас, но кто же, однако, счастливый обладатель этой безумной принцессы на сегодняшний вечер?

Тут граф с приятелем мысленно стали перебирать всех, на ком Корилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзолето был единственный, кого они не заподозрили.

## V

Жестокая борьба происходила в душе счастливого любовника в то время, как ночь и волны в своем тихом мраке несли его, растерянного и трепещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции. С одной стороны,

Андзовето чувствовал нарастание страсти, усилившейся от удовлетворенной гордости; с другой стороны, его пыл охлаждался страхом попасть скоро в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, предательски выданным графу. Осторожный и хитрый, как истый венецианец, он, стремясь целых шесть лет попасть на сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродной и властолюбивой женщине, стоявшей во главе всех театральных интриг. У него было полное основание предполагать, что его царствованию подле нее скоро придет конец, и если он сейчас не уклонился от этой опасной чести, то только потому что был внезапно покорен и похищен. Он предполагал сначала, что его будут лишь терпеть за его учтивость, а вдруг его уже полюбили за молодость, красоту, за нарождающуюся славу. «Теперь, чтобы избежать тяжелого и горького пробуждения после моего торжества, ничего больше не остается, как заставить ее бояться меня, — решил Андзовето с той быстротой соображения и умозаключения, которыми обладают иные удивительно устроенные головы. — Но как я, злополучный чертенок, умудрюсь внушить страх этой воплощенной царице ада?» — думал он. Однако он скоро нашелся: напустил на себя недоверие, ревность, обиду и проявлял все это с такой страстной игрой, что примадонна была просто поражена.

Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно свести к следующему:

А н д з о л е т о : — Я знаю, что вы меня не любите и любить никогда не будете. Вот почему я так грустен и сдержан подле вас.

К о р и л л а : — А если б я вдруг тебя полюбила?

А н д з о л е т о : — Я был бы в полном отчаянии, потому что рисковал бы свалиться с неба прямо в пропасть и, завоевав вас ценою всего моего будущего счастья, потерять вас через час.

К о р и л л а : — Что же заставляет тебя предполагать такое непостоянство с моей стороны?

А н д з о л е т о : — Во-первых, мое собственное ничтожество, а во-вторых, все то дурное, что говорят про вас.

К о р и л л а : — Кто же так злословит обо мне?

А н д з о л е т о : — Все мужчины, так как они все обожают вас.

К о р и л л а : — Значит, сойди я настолько с ума, чтобы влюбиться в тебя и признаться в этом, ты, пожалуй, оттолкнешь меня?

А н д з о л е т о : — Не знаю, найду ли я в себе силу бежать от вас, но, даже и найдя ее, конечно, я не захотел бы никогда с вами больше встречаться.

— В таком случае, — заявила Кориλλα, — мне хочется просто из любопытства сделать этот опыт... Андзовето, мне кажется, что я тебя люблю.

— А я этому не верю. Если я не бегу от вас, то только потому что очень хорошо понимаю, что вы смеетесь надо мной. Но подобной игрой вы не запугаете меня и даже не обидите.

— Ты, кажется, хочешь одолеть хитростью?

— Почему нет? Я не так страшен, раз я вам даю средство победить меня.

— Какое же?

— Испугать меня насмерть и, повторив серьезно то, что вы сказали в шутку, обратить меня в бегство.

— Какой ты странный! Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты из тех людей, которым мало аромата розы, а нужно ее сорвать да еще спрятать под стекло. Я не ожидала, что в твои годы ты так смел и своеволен!

— И вы меня за это презираете?

— Напротив, ты мне еще больше нравишься от этого. Спокойной ночи, Андзолето, мы с тобой еще увидимся.

Она протянула свою красивую руку, которую он страстно поцеловал.

«Ловко же я отделался», — думал он, мчась по галереям вдоль канала.

Не надеясь в такой поздний час достучаться в ту лачугу, где он обычно ночевал, Андзолето решил растянуться у первого встречного порога и там насладиться тем ангельским покоем, который знают лишь дети и бедняки. Но в первый раз в жизни он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтоб решиться лечь на нее. Хотя мостовая Венеции и чище и белее всякой другой на свете, но все-таки она слишком пыльна для элегантного черного костюма из самого тонкого сукна. А тут еще одно соображение: те самые лодочники, которые обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лестниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, попадись только он им под ноги, могли поглумиться над его сном и нарочно испачкать роскошную ливрею паразита. Действительно, что бы подумали эти лодочники о человеке, спящем под открытым небом в шелковых чулках, в тонком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах? В эту минуту Андзолето пожалел о своем милом плаще из коричневой и красной шерсти, правда, выцветшем, потертом, но плотном и отлично защищающем от вредных туманов, поднимающихся по утрам над водами Венеции. Был конец февраля, и хотя в этом климате в такое время солнце уже светит и греет по-весеннему, но ночи еще бывают очень холодные. Ему пришло в голову забраться в одну из гондол, стоящих у берета; на беду все они оказались запертыми. Наконец в одной из них удалось открыть дверь, но, пролезая в нее, он наткнулся на ноги спавшего там лодочника и свалился на него.

— Чёрт возьми! — закричал на него грубый, охрипший голос из глубины, — кто вы и что вам надо?

— Это ты, Дзането? — отвечал Андзолето, узнав голос гондольера, обыкновенно относившегося к нему довольно дружелюбно. — Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под твоим навесом.

— А ты кто?

— Андзолето. Разве ты меня не узнаешь?

— Чёрт возьми! Нет, не узнаю! На тебе такая одежда, какой у Андзолето быть не может, если только он ее не украл. Проваливай, проваливай! Будь это сам дож, я бы не открыл дверцы своей гондолы человеку, у которого франтоватая одежда для прогулок и нет угла, где спать.

«До сих пор, — подумал Андзолето, — покровительство и милости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятностей, чем пользы. Надо,

чтобы мои денежные средства соответствовали моим успехам, пора мне иметь в кармане несколько золотых, чтобы играть ту роль, которую меня заставляют разыгрывать».

Совсем расстроенный, он пошел бродить по пустынным улицам, боясь останавливаться, чтобы не простудиться, — от усталости и гнева он был весь в испарине.

«Только бы мне не охрипнуть из-за всего этого, — думал он, — завтра господин граф пожелает, чтобы его юного феноменального певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий критик, а если я после бессонной ночи, проведенной без отдыха и крова, буду хотя бы немного хрипеть, тот заявит немедленно, что у меня нет-де голоса. А граф, которому хорошо известно, что это не так, возразит: «Ах, если б вы слышали его вчера!» — «Так он не всегда одинаков? — спросит другой. — Не слабого ли он здоровья?» — «А может, — добавит третий, — он переутомился вчера?» — «В самом деле, он слишком молод, для того чтобы петь несколько дней подряд. Вам, знаете ли, прежде чем выпускать его на сцену, следовало бы подождать, чтобы он окреп и возмужал». На это граф, пожалуй, еще скажет: «Чёрт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он мне совсем не годится». И вот тогда, чтобы убедиться, что я силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до изнеможения и надорвут мне голос, желая убедиться, что у меня здоровые легкие. К чёрту покровительство знатных вельмож! Ах, когда я смогу только избавиться от него и благодаря славе, расположению публики, конкуренции театров буду петь в их салонах уже только из любезности и держать себя с ними на равной ноге».

Так, рассуждая сам с собою, Андзолето дошел до одной из маленьких площадей, которых в Венеции называют «дворами» (*corte*), но это вовсе не «дворы», а скопище домов, выходящих на общую им площадку, то, что теперь в Париже называется *cité*. Что же касается регулярности, изящества и благоустройства, то этим «дворам» далеко до наших современных скверов. Это скорее маленькие, темные площади, иногда представляющие из себя тупики, а иногда служащие проходом из одного квартала в другой; они малолюдны, вокруг них живут обыкновенно бедняки низкого происхождения, все больше простой народ, рабочие и прачки, развешивающие свое белье на веревках, протянутых поперек дороги, неудобство которых прохожий терпеливо переносит, зная, что его самого только терпят, а права на проход он, собственно, не имеет. Горе бедному артисту, вынужденному отворять окна своей комнатухи на эти закоулки: в центре Венеции, в двух шагах от больших каналов и роскошных зданий бьется пролетарская жизнь с ее грубыми, шумными, деревенскими и нечистоплотными привычками. Горе ему, если для его работы ему нужна тишина: от самой зари до ночи шум детей, кур, собак, играющих и орущих в этом тесном закоулке, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в их мастерских — все это не даст ему ни минуты покоя. Хорошо еще, если не явится импровизатор



и не начнет горланить свои сонеты и дифирамбы до тех пор, пока не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то придет еще Бригелла, расставит среди площади свой балаганчик и терпеливо примется за повторение своих разговоров с адвокатом, с немцем, с дьяволом, пока не истощит впустую все свое красноречие перед ободранными ребятишками, счастливыми зрителями, не имеющими ни гроша в кармане, но никогда не стесняющимися поглазеть и послушать.

А ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без всякой симметрии, но своеобразно интересные, с таинственными тенями в своих углублениях, представляют бесконечно живописную картину. Все хорошеет под лунными лучами: малейший архитектурный эффект тут усиливается и делается характерным, каждый балкон, увитый виноградом, переносит вас в романтическую Испанию, говоря о приключениях «Плаща и шпаги». Прозрачное небо, в котором тонут бледные купола далеких зданий, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии свет, навевая бесконечные грезы...

Как раз в ту минуту, когда все часы, словно переключаясь, пробили два часа пополудни, Андзоето очутился на Кортэ-Минелли у церкви Сан-Фантино<sup>1</sup>. Тайный инстинкт привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не промелькнули в его памяти с самого захода солнца. Не успел он ступить на эту площадку, как нежный голос тихо-тихо назвал его уменьшительным именем; подняв глаза, он увидел легкую тень на одной из самых жалких террас этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Консуэло, в ситцевой юбке и закутавшись в старую черную шелковую мантилью, когда-то служившую ее матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак молчания. Ощупью, на цыпочках взобрались они по ветхой деревянной лестнице, ведущей на крышу; усевшись на террасе, они начали беседовать шёпотом, прерывая его поцелуями; этот шелест, словно таинственный ветерок или болтовня духов, порхающих попарно, реет каждую ночь над причудливыми, словно красные чалмы, трубами венецианских домов.

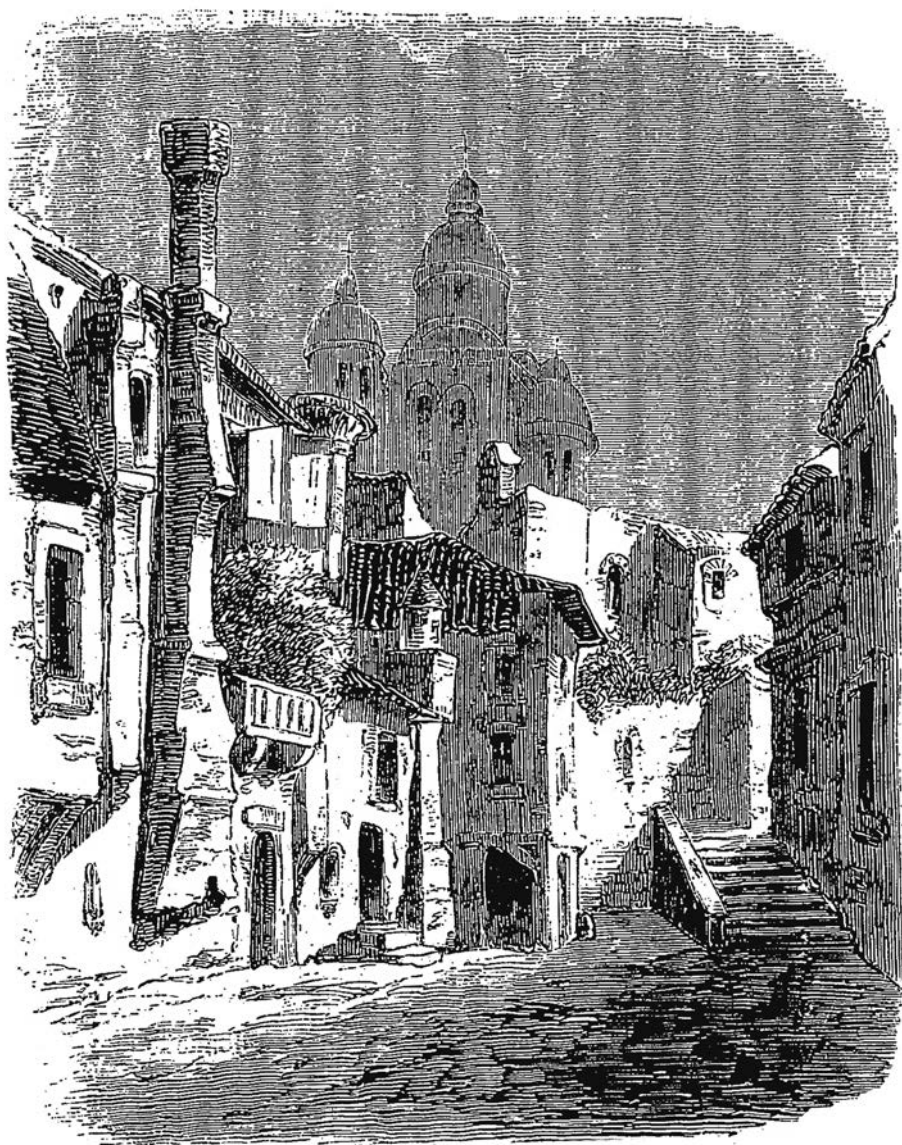
— Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжка? — прошептал Андзоето.

— Да, разве ты не обещал, что придешь рассказать мне про свое выступление сегодня вечером? Ну, говори, говори же скорее, хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе, получил ли ангажемент?

— А ты, моя добрая Консуэло, скажи мне, ты не сердилась на меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня? Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень беспокоилась? Не бранила меня? — расспрашивал свою подругу Андзоето, почувствовав угрызения совести при виде такого доверия и кротости бедной девушки.

---

<sup>1</sup> Церковь Сан-Фантино и башня Минелли с ажурной винтообразной лестницей расположены недалеко от площади св. Марка, по направлению к большому театру Фениче.



*Как раз в ту минуту, когда все часы, словно перекликаясь,  
пробили два часа пополудни, Андзолето очутился  
на Кортэ-Минелли у церкви Сан-Фантино.*

— Нисколько, — ответила она, целомудренно обнимая его за шею. — Если я теряла терпение, то не из-за тебя, а если устала, то потому что было холодно; но раз ты со мной, я обо всем этом забыла. Ужинала ли я? Право, не знаю! Винула ли я тебя? В чем же? Беспокоиться? Чего ради! Сердиться? Никогда я не сержусь на тебя.

— Ты просто ангел, — сказал Андзолето, целуя ее, — О мое утешение! Как жестоки и коварны другие сердца!

— Что же случилось? Чем так огорчили «сына моей души»<sup>1</sup>? — воскликнула Консуэло, вплетая в милое венецианское наречие смелые и страстные метафоры своего родного испанского языка.

Андзолето рассказал все, что произошло, даже свое ухаживание за Кориллой, и особенно подробно остановился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал все это известным образом, передавая только то, что не могло огорчить Консуэло; ведь он и не хотел изменять и не изменил ей, и все это было почти полной правдой. Но есть одна сотая доля правды, которую никакое судебное следствие никогда не смогло осветить, в которой ни один клиент никогда не сознался своему адвокату и до которой ни один приговор не добирался иначе, как чисто случайно, потому что именно в этом неосвещенном, крошечном количестве фактов или намерений кроется повод, причина, цель — словом, ключ всех тех громких процессов, где редко защита бывает на высоте, редко приговор справедлив, как ни пылко льются там речи ораторов, как ни беспристрастны судьи.

Что касается в данном случае Андзолето, то нечего и говорить, о каких своих грешках он умолчал, какие пламенные ощущения перед публикой он осветил совсем иначе, о каком мучительном томлении в гондоле он забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего не сказал о гондоле, а свои льстивые любезности примадонне изобразил в виде ловких насмешек, благодаря которым он спасся от ее опасных сетей, умудрившись притом не разгневать ее. Но, спросите вы, милая читательница, зачем, не желая и не имея возможности рассказать обо всем так, как оно было в действительности, т. е. о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял только благодаря благоразумию и умелому поведению, зачем, повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать ревность в Консуэло? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве вы сами не рассказываете возлюбленному, скажем, избранному вами супругу, о всех своих поклонниках, о его соперниках, которыми вы жертвовали не только до замужества, но и теперь, на всех балах, вчера еще, даже сегодня утром? Послушайте, сударыня, если вы красивы, в чем я не сомневаюсь, я могу поручиться головой, что вы поступаете так же, как Андзолето, и делаете это не ради выгоды, не для того, чтобы терзать ревнивую душу, не для того, чтобы еще больше возгордился тот, кого вы любите, но просто потому что приятно иметь подле себя существо, которому можно рассказать

<sup>1</sup> Это теплое обращение — устойчивое выражение из испанского «hijo de mi alma» («ихо де ми альма») — «сын моей души».

все это, как будто исполняя свой долг, исповедуясь, похвастаться перед своим духовником. Но дело лишь в том, сударыня, что вы при этом рассказываете «почти» все, замалчивая пустяк, — о нем вы никогда не упомянете, — тот ваш взгляд, ту улыбку, которые и вызвали смелое объяснение того дерзновенного, на которого вы жалуетесь. Вот этот взгляд, эта улыбка, этот пустяк и есть именно та гондола, о которой Андозето, с наслаждением переживая все упоение вечера, забыл рассказать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью для нее, еще не знала ревности, этого горького, мрачного чувства, свойственного людям, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор так же счастлива своей любовью, как и добра. Единственно, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, это лестный, но суровый приговор, произнесенный уважаемым ею учителем профессором Порпора над ее обожаемым Андозето. Она заставила его еще раз повторить подлинные слова учителя; когда он снова в точности передал их, она долго молчала, глубоко задумавшись.

— Консуэлина, — проговорил Андозето, не обращая большого внимания на ее задумчивость, — становится что-то очень свежо, ты не боишься простудиться? Ведь подумай, дорогая, все наше будущее зависит не столько от моего, сколько от твоего голоса.

— Я-то никогда не простуживаюсь, — ответила она, — а вот тебе холодно в твоем великолепном костюме, — на, закутайся в мою мантилью.

— Много ли мне поможет этот кусок рваной тафты? Я предпочел бы с полчаса погреться в твоей комнате.

— Хорошо, — ответила Консуэло, — но нам тогда придется помолчать, а то, услышав нас, соседи, пожалуй, осудят. Люди они неплохие, и, зная о нашей любви, они пока не очень ко мне пристают, но только потому что ты по ночам не приходишь ко мне. А лучше иди-ка спать к себе.

— Немыслимо: до рассвета мне не откроют, и целых три часа мне придется еще дрожать. Слышишь, как у меня от холода стучат зубы?

— В таком случае, идем, — проговорила Консуэло, вставая, — я запроу тебя в своей комнате, а сама буду спать на террасе, на случай, если кто следит за нами, пусть видят, что я веду себя скромно.

Говоря это, она действительно привела его в свою комнату, довольно большую, но убогую: цветы, расписанные на стене, вновь проглядывали там и сям сквозь вторичную окраску, еще более грубую. Большущая квадратная кровать с матрасом из морской травы, ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в разноцветных заплатках, соломенный стул, небольшой столик, очень старинная гитара да филигранное распятие Христа составляли все богатство, оставленное ей матерью. Маленький спинет<sup>1</sup> и куча полуисточенных червями нот, которыми великодушно ссужал ее профессор Порпора, дополняли всю обстановку юной артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого артиста, влюбленной в красавца-авантюриста.

<sup>1</sup> *Спинет* — четырехугольный клавесин слабой звучности, пригодный для аккомпанемента.



Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был завален нотами, то Андзолето не оставалось ничего больше, как сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний. Едва он сел на самый край кровати, как, измученный усталостью, повалился на большую подушку из шерсти.

— Моя дорогая, милая жена, — пробормотал он, — я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить, за один час крепкого сна и все сокровища мира за то, чтоб укрыть ноги концом этого одеяла. Никогда в жизни мне не было так холодно, как в этом проклятом костюме; после бессонной ночи меня знобит, как в лихорадке.

Минуто Консуэло колебалась. Сирота, в свои восемнадцать лет совершенно одинокая на свете, она, в сущности, отвечала за свои поступки только перед Богом. Веря в обещания Андзолето, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест ему или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям. Но все-таки, будучи очень скромной и стыдливой, с чем Андзолето всегда считался, она нашла его просьбу несколько грубой. Тем не менее, она подошла к нему и взяла его за руку, — она была холодна, а когда Андзолето прижал ее руку ко лбу, девушка почувствовала, что он горячий.

— Ты болен! — воскликнула она с тревогой, откинув все прочие соображения. — В таком случае, конечно, поспи часок на этой постели.

Андзолето не заставил ее дважды повторить это предложение.

— Добра, как сам Бог, — прошептал он, вытягиваясь на матрасе из морской травы. Консуэло накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-какое свое тряпье, еще прикрыла ему ноги. Укладывая его с материнской заботливостью, она тихонько сказала ему:

— Андзолето, кровать, на которой ты сейчас заснешь, — та, где я спала со своей матерью последние годы ее жизни. На ней она умерла, и я одела ее в саван, бодрствовала подле нее и молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсегда. Так вот, я хочу сейчас рассказать тебе, что она заставила меня обещать ей перед смертью: «Консуэло, — сказала она, — поклянись мне перед распятием, что Андзолето не ляжет в эту кровать на мое место раньше, чем вы с ним не обвенчаесть в церкви».

— И ты поклялась?

— И я поклялась. Но, позволив тебе спать здесь в первый раз, я уступила тебе в ней не место матери, а свое собственное.

— А ты, бедняжка, так и не заснешь? — воскликнул Андзолето, с усилием приподнимаясь наполовину. — Какой я, однако, негодай! Сейчас же пойду спать на улицу!

— Нет! Нет! — сказала Консуэло, с ласковым насильем заставляя его лечь обратно на подушку. — Ты болен, а я здорова. Мать моя умерла истинной католичкой, она теперь на небе и постоянно глядит оттуда на нас. Она знает, что ты сдержал данное ей обещание — не покинул меня. Она знает также, что наша любовь не менее чиста теперь, чем была при ней. Видит она, что и в эту

минуту я не помышляю ни о чем дурном, не делаю ничего дурного. Да успокоится ее душа во Господе!

Тут Консуэло осенила себя большим крестом. Андзовето уже заснул. Уходя, Консуэло прошептала:

— Там, на террасе я помолюсь, чтобы ты не захворал.

— Добра, как Бог, — в полусне повторил Андзовето, даже не заметив, что невеста оставила его одного.

Консуэло действительно пошла молиться на террасу. Через некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли ему, и, увидя, что он безмятежно спит, долго сосредоточенно глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной.

Потом, не желая поддаться сну и вспомнив, что из-за волнения вечером не смогла заниматься, она снова зажгла лампу, уселась за свой столик и начала заносить на нотную бумагу задачу по композиции, заданную на завтрашний день ее учителем Порпора.

## VI

Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и свои новые увлечения — Кориλλα довольно неловко притворялась, будто ревнует его, — не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагоприятности, с которой эта женщина отнеслась к его великодушию. Хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, все-таки его итальянская гордость восставала против той смешной и жалкой роли, которую заставляла его играть Кориλλα.

И вот в тот же вечер, когда Андзовето так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив с другом Барбериго над проказами своей любовницы, как только разъехались все гости и были потушены огни, накинул плащ, взял шпагу и якобы для очистки совести направился во дворец, где жила Корилла.

Удостоверившись, что она была одна, Дзустиньяни, не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, в то время как тот устанавливал гондолу примадонны под портиком, для этого приспособленным. Несколько золотых развязали язык гондольеру, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спутник; выяснить же, кто именно он был, ему так и не удалось: гондольеру этот человек был неизвестен. Хотя он и видел сотни раз Андзовето бродящим около театра и дворца Дзустиньяни, но ночью в черном костюме, напудренного он его не узнал.



Эта непроницаемая тайна окончательно испортила настроение графа. Он вынужден был ограничиться высмеиванием своего соперника — единственной мезью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных ухаживаний, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз, и еще ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, он направился к школе Мендиканти в ту залу, где должны были собираться молодые ученицы.

Отношения графа с ученым профессором за последние годы значительно изменились. Дзустиньяни уже не был его музыкальным антагонистом: граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было поручено высшее заведование школой. С тех пор эти два друга жили в мире и согласии, насколько это допускала нетерпимость профессора к модной светской музыке, нетерпимость, которую он вынужден был смягчить, видя, как граф тратит силы и средства на преподавание и распространение серьезной музыки. Вдобавок он поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Порпора только что сочинил.

— Дорогой маэстро, — сказал граф, отводя его в сторону, — необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение у вас для театра одной из учениц, но чтобы вы сами указали на ту, которая лучше всех могла бы заменить Кориолу. Артистка эта утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не сегодня-завтра она надоеет и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей «наследницу» (*succeditrice*). (Прости, дорогой читатель, так говорят по-итальянски, и граф не изобрел неологизма.)

— У меня нет того, что вам нужно, — сухо ответил Порпора.

— Как, маэстро! — воскликнул граф, — вы опять впадаете в вашу черную меланхолию? Возможно ли, чтобы после всех доказательств моей преданности вашему музыкальному делу и всех жертв с моей стороны вы, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом, отказали мне в самом маленьком одолжении для моего дела?

— Я не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, — истинная правда, поверьте другу и доброжелателю. В моей вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить вам Кориолу. Я несколько не переоцениваю ее, отлично знаю, чего она стоит, но, хотя в моих глазах талант этой женщины и не является серьезным талантом, все-таки я не могу не признать за ней умения приспособляться, привычки к сцене, искусства действовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и нескоро дастся новой дебютантке.

— Все это так, — сказал граф, — но ведь мы создали Кориолу: мы руководили ее первыми шагами, мы заставили публику ее оценить; ее красота создала ей три четверти успеха, но у вас в школе есть очаровательные ученицы не хуже ее. Уж этого вы отрицать не станете, маэстро! Согласитесь, что Клоринда — красивейшее создание в мире.

— Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима... Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние... А поет она

фальшиво, в ней нет ни души, ни понимания... Правда, что у публики тоже нет ушей... Но у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости: ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удастся многим.

При этих словах профессор невольно посмотрел на Андзолето, который, пользуясь тем, что он любимец графа, якобы для того, чтобы переговорить с ним, проскользнул в класс и, стоя поблизости, слушал во все уши.

— Все равно, — сказал граф, не обращая внимания на злобный выпад профессора, — я стою на своем. Давно я не слышал Клоринды. Давайте позовем ее сюда: пусть она придет к нам с пятью-шестью самыми красивыми ученицами. А ты, Андзолето, — прибавил он, смеясь, — ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, выбери там самых красивых учениц и скажи им, что профессор и я, мы оба ждем их здесь.

Андзолето повиновался. Но шалости ради или с иной целью привел самых некрасивых учениц. Вот когда Жан-Жак Руссо мог бы воскликнуть: «Софья была кривая, а Каттина хромая».

К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Клориндой во главе.

— Что за волосы! — шепнул граф на ухо Порпора, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудесными белокурыми косами.

— На этой голове гораздо больше сверху, чем внутри, — ответил, не понижая даже голоса, суровый цензор.

Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не будучи в силах выдержать дольше, удалился, совершенно подавленный, и уходя рассыпался в похвалах девицам, а профессору шепнул: «О таких попугаях нечего и думать».

— Если б ваше сиятельство позволили замолвить словечко по интересующему вас делу... — тихо проговорил Андзолето на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.

— Говори! Пожалуй, ты знаешь то чудо, которое мы ищем, — сказал граф.

— Да, ваше сиятельство.

— В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?

— В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора прячет ее в те дни, когда вы, ваше сиятельство, делаете смотр своему женскому батальону.

— Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, блеска которого мои глаза никогда еще не видели? Если маэстро Порпора сыграл со мною такую шутку...

— Бриллиант, о котором я говорю, не состоит в школе. Это бедная девушка, которая поет в хоре, когда бывает нужно; профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству.

— Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности; ведь удовлетворить профессора нелегко, и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Не слышал ли я ее когда-нибудь, сам не зная этого?

— Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, работоспособная и ученая, как профессор; пропой она на сцене три такта рядом с Корилой, та легко могла бы быть освистана.

— И она никогда не поет публично? Неужели профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечерах?

— Раньше профессор наслаждался, слушая ее пение в церкви, но с тех пор, как завистливые и мстительные ученицы пригрозили выгнать ее, если только она появится среди них...

— Разве эта девушка дурного поведения?

— О Боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше сиятельство. Но она бедна и низкого происхождения... как я, ваше сиятельство, которого, однако, вы милостиво приближаете к себе; а эти злючки грозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу.

— Где же послушать это чудо?

— Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии, и ваше сиятельство будете иметь возможность сами судить о ее голосе и огромном даровании.

— Твоя уверенность невольно заставляет и меня поверить тебе. Ты говоришь, что когда-то я слышал ее... Я тщетно пытаюсь припомнить...

— В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции «Salve, Regina» Перголезе...

— Припоминаю! — воскликнул граф. — Голос, выразительность, понимание поразительные.

— К тому же она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство, ей было всего четырнадцать лет.

— Да, но помнится, она была некрасива.

— Некрасива, ваше сиятельство? — переспросил изумленный Андзолето.

— Как ее звали, — припоминаю, это была испанка... еще такое странное имя...

— Консуэло, ваше сиятельство.

— Да, да, это она! Ты хотел тогда на ней жениться, и мы с профессором еще посмеялись над вашей любовью. Консуэло! Так, так. Любимица профессора, умница, но очень некрасивая.

— Некрасива? — повторил ошеломленный Андзолето.

— Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен?

— Она — моя подруга, ваше сиятельство.

— Слово «подруга» у нас означает одинаково и сестру и любовницу. Кто же она тебе?

— Сестра, ваше сиятельство.

— Тогда, не огорчая, могу сказать тебе то, что думаю. В этой мысли нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кориолу, надо быть ангелом

красоты, а твоя Консуэло, я прекрасно припоминаю теперь, не только некрасива, а просто уродлива.

В эту минуту к графу подошел один из его приятелей и отвел его в сторону, а Андзовето, стоя один, совсем удрученный, вздыхая все повторял: «Она уродлива?»

## VII

Нам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, а между тем это правда, что у Андзовето не было сложившегося мнения насчет того, красива или некрасива Консуэло. Она была существо, столь обособленное от всех и незаметное в Венеции, что никому не могла даже прийти в голову мысль поискать сквозь этот покров забвения и мрака, проявляются ли ее ум и доброта под формой приятной или ничего не значащей. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по Корте-Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Андзовето: в Венеции не очень строги на этот счет. Порой все-таки они предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Андзовето как раз и подходит и за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе, причем они из этого не делали тайны и никогда не ссорились, то, в конце концов, все привыкли к их свободному и неразрывному союзу. Никогда никому из соседей не приходило в голову начать ухаживать за «подругой» Андзовето. Оттого ли, что она считалась его невестой, или вследствие ее нищеты? Или ее наружность еще никого не прельщала? Наиболее правдоподобно последнее предположение. Всем известно, что девочки-подростки от двенадцати до четырнадцати лет обыкновенно худы, неловки, а в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К пятнадцати годам они как бы переделываются (как выражаются попросту пожилые француженки), и вот та, которая казалась ужасной, после этого быстрого превращения вдруг делается если не красивой, то, по крайней мере, миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она слишком рано бывает хорошенькой.

Возмужав, Консуэло похорошела, как и все, и про нее перестали говорить, что она некрасива: да она, действительно, и не была уже некрасивой. Но так как она не была дочерью ни французского, ни испанского короля и ее не окружали придворные, кричащие о том, как со дня на день расцветает красота принцессы, и некому было печься о ее будущности с нежной заботливостью, то никто и не трудился сказать Андзовето: «Тебе не придется краснеть перед людьми за свою невесту».

Андзовето слышал, что ее звали дурнушкой в ту пору, когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор как о наружности Консуэло больше



*Возмужав, Консуэло похорошела, как и все,  
и про нее перестали говорить, что она некрасива:  
да она, действительно, и не была уже некрасивой.*

не говорили ни хорошо, ни дурно, он совсем перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено совсем в другую сторону. Он мечтал о театре, о славе, ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же значительная доля страстного любопытства, этого спутника ранней чувственности, была у него насыщена. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для него не было тайн в любви. Двадцати двух лет он был уже почти



разочарован, и в двадцать два года, как и в восемнадцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без волнения и возвращенных без смущения, была так же спокойна, как и прежде.

Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличававшегося, объяснялись тем, что та беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, видоизменялась и мало-помалу, с течением времени почти исчезла. Консуэло было около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести несколько бродячую жизнь, убегая после консерватории на Пьяццетту разучивать там свой урок и лакомиться рисом в обществе Андзолето; но однажды вечером мать Консуэло, свалившись от усталости, перестала петь по вечерам в кофейнях, где она до сих пор выступала с гитарой и с тарелочкой в руках, собирая деньги. Бедная женщина приютилась в одном из самых нищенских чердаков Кортэ-Минелли и там постепенно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять ее одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостоивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, оставаясь все время у изголовья своей властной, но сраженной горем матери, сурово обращавшейся с нею в детстве, а теперь представлявшей собою ужасное зрелище боязливой и бесславной агонии. Любовь к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь, — она принесла в жертву все, без горечи и без колебаний. Андзолето сильно жаловался на это, но, видя, что его упреки бесплодны, решил забыться и начал развлекаться; но это оказалось невозможным. Андзолето не был так работоспособен, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках, которые давал ему так же наспех и плохо его профессор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. По счастью для Андзолето, щедро одарившая его природа помогла, насколько возможно, наверстать потерянное время и плохое обучение; но в результате у него было много часов безделья, и тут ему страшно не хватало преданного и бодрящего сообщества Консуэло. Он попытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые от времени до времени от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются... Он решил, что ничегонеделание и распущенность — не одно и то же, а к распущенности у него склонности нет. Спасшись от порочных страстей, конечно, только из любви к самому себе, он уединился и силился засесть за ученье, но это уединение показалось ему трудным и тоскливым. Он почувствовал, что Консуэло так же необходима для его таланта, как и для счастья. Прилежная, с выдержкой, живущая в музыке, как птица в воздухе или рыба в воде, Консуэло любила преодолевать трудности и, как ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности этих достижений; стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток

пробиваться сквозь землю к свету, она принадлежала к тем редким счастливым натурам, для которых труд — наслаждение, истинный отдых, необходимое нормальное состояние, а бездействие — тяжело, болезненно, просто губительно, если оно вообще возможно для таких натур. Но оно им незнакомо: даже когда кажется, будто они бездействуют, и тогда они работают, у них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их в работе, думается, что они в это время создают, а на самом деле они только повторяют ранее созданное. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я могу ответить любимому читателю, что я встретил только одно такое существо, а я ведь старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что я стремился исследовать на своем собственном бедном мозге божественную тайну умственной работы! Но, увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих.

Консуэло работала не покладая рук, и это ее занимало: целыми часами, свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, устранившие Андзолето, предоставленного самому себе; непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она, между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей народному характеру в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Андзолето, даже не отдавая себе в этом отчета, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока, сам того не понимая и не замечая. Но, угнетаемый ленью, он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и бессилия, смелости и неловкости, — всего того, что при последнем выступлении Андзолето погрузило Порпора в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что эти сокровища знания Андзолето похитил у Консуэло. Объясняется это тем, что, пробрав однажды девочку за близость с этим шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Андзолето: когда они бывали вместе, она, еще издали заметив профессора, пряталась с притворством котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.

Эти предосторожности принимались и позже, когда Консуэло сделалась сиделкою своей матери. Андзолето, не в силах больше выносить разлуку с нею, чувствуя, что он без нее не может ни жить, ни вдохновляться, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую сидячую жизнь и выносить все попреки и раздражительность ее умирающей матери. Эта несчастная женщина за несколько месяцев до смерти стала меньше страдать и, под влиянием своей набожной дочери, сама смягчилась. Мало-помалу она привыкла к услугам Андзолето, и сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь: у Андзолето был ровный характер и добродушные приемы. Его постоянство по отношению к ней и к Консуэло покорило сердце матери, и перед

смертью она заставила их поклясться, что они никогда не покинут друг друга. Андзовето дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил никогда до сих пор не испытанное чувство глубокого умиления. Умиравшая облегчила данное им обещание, сказав: «Чем бы она ни была для тебя: другом, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери благой и последний совет и не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже видели, взяла особую клятву с Консуэло, что та никогда не отдастся своему возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть благодаря безверию и независимому характеру Андзовето.

Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, в то же время не бросая своих занятий музыкой, видя в ней их общую с Андзовето будущность. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила одна на своем чердаке, юная пара встречалась ежедневно, но Андзовето не чувствовал к ней никакой страсти. Впрочем, он был холоден и к другим женщинам, предпочитая всему прелесть близости к ней и удовольствие жить подле нее.

Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки успел настолько развить в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше способностей и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориаллы. И вот, к его привязанности присоединилось еще одно — надежда, почти уверенность в том, что, соединись они, их ждет блестящее во всех отношениях будущее. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем; предвидеть не было в ее привычках. Она была способна заниматься музыкой исключительно по призванию, и общность интересов в искусстве с Андзовето рисовалась ей только как источник радости и счастья.

Не предупредив ее, он вдруг понадеялся ускорить осуществление их мечтаний. Когда Дзустиньяни озабочился, кем заменить Кориоллу, Андзовето с редкой проницательностью, угадав настроение своего покровителя, сделал неожиданно то предложение, о котором уже шла речь.

Невзрачность Консуэло, это неожиданное, странное, непобедимое препятствие, если только верить графу, внесло ужас и уныние в душу Андзовето. В таком состоянии побрел он на Кортэ-Минелли. Останавливаясь на каждом шагу, он силился представить себе образ подруги и все спрашивал себя: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?»

## VIII

— Отчего ты так смотришь на меня? — спросила Консуэло, видя, что он, войдя в комнату, молча разглядывает ее с каким-то странным видом. — Можно подумать, что ты меня никогда не видел.

- Совершенно верно, Консуэло, — ответил он, — я никогда тебя не видел.
- Что ты говоришь? В своём ли ты уме?
- Боже мой! — воскликнул Андзолето. — У меня в мозгу словно какое-то черное пятно, из-за которого я не вижу тебя.
- Помилуй Бог! Ты болен, мой друг?
- Нет, дорогая моя, успокойся, и постараемся выяснить дело. Скажи мне, Консуэло, ты находишь меня красивым?
- Ну, конечно, раз я тебя люблю.
- А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?
- Разве я знаю...
- Но, когда ты смотришь на других мужчин, различаешь ли ты, красивы ли они или некрасивы?
- Различаю, но для меня ты красивее всех красавцев.
- Потому ли, что я действительно красив, или потому, что ты меня любишь?
- И потому и поэтому. Впрочем, все находят тебя красивым, и ты сам это хорошо знаешь. Но почему тебя это так интересует?
- Мне хочется знать, любила бы ты меня, если бы я был безобразен?
- Пожалуй, я и не заметила бы этого.
- Значит, ты полагаешь, что можно любить и некрасивого?
- Да почему же нет? Ведь любишь же ты меня.
- Значит, ты некрасива, Консуэло? Говори, отвечай же! Ты в самом деле некрасива?
- Мне всегда это говорили. А сам ты разве этого не видишь?
- Нет, нет, по правде сказать, я этого не вижу.
- Тогда я считаю себя красавицей и очень довольна этим.
- Ну, вот сейчас, Консуэло, ты смотришь на меня такими добрыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне прекраснее Кориоллы. Но мне хочется знать, действительно ли это так или это только самообман. Понимаешь ли, я прекрасно знаю твое лицо, знаю, что оно честное и нравится мне; когда я раздражен, оно действует на меня успокоительно, когда я грустен, утешает меня, когда я удручен, поднимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю, Консуэло, действительно ли она некрасива.
- Еще раз спрашиваю: какое тебе дело до этого?
- Мне необходимо это знать. Как ты думаешь, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину?
- Ведь любил же ты мою покойную мать, а она была похожа на привидение. А я-то как ее любила.
- Считала ли ты ее уродливой?
- Нет, а ты?
- Я об этом и не думал. Но это совсем не то, Консуэло... Я говорю о другой любви — о страсти, ведь я тебя люблю такую любовью, не правда ли? Я не могу

обходиться без тебя, я не могу с тобою расстаться. Ведь это страстная любовь, не правда ли?

— А чем иным могло бы это быть?

— Могло бы быть дружбой.

— Да. Возможно, что это и есть дружба.

Тут удивленная Консуэло замолчала и внимательно посмотрела на Андзолето. А тот, грустно задумавшись, впервые ломал себе голову над тем, что на самом деле чувствует он к Консуэло — любовь или дружбу; о чем говорила молчаливая страсть и чистота его чувств вблизи нее? Было ли это уважение или безразличие? В первый раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не без некоторого волнения разбирал и оценивал ее лоб, ее глаза, ее фигуру, — все то, что до сих пор жило в его представлении в виде какого-то затуманенного идеального целого. Взволнованная Консуэло была впервые смущена взглядом своего друга; она покраснела, сердце ее забило в груди и, не будучи в силах смотреть в глаза Андзолето, она отвернулась. Наконец, так как Андзолето продолжал хранить молчание, не решаясь его прервать, она вдруг ощутила невыразимую тоску, крупные слезы одна за другой покатались по ее щекам, и, закрыв лицо руками, она воскликнула:

— Я вижу, в чем дело, — ты пришел мне сказать, что не хочешь больше, чтобы я была твоей подругой.

— Нет, нет, никогда я этого не говорил и не говорю! — воскликнул Андзолето, испуганный ее слезами, которые видел впервые, и поспешно по-братски обнял ее. В этот миг Консуэло отвернулась, и поэтому, вместо свежей и спокойной щеки, его поцелуй пришелся на горячее плечо, едва прикрытое косынкою из грубого черного кружева.

Когда первая вспышка страсти внезапно запылает в цветущем молодом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, она вызывает потрясающее, почти мучительное ощущение.

— Не знаю, что со мною, — проговорила Консуэло, вырываясь с неиспытанным еще страхом из объятий своего друга. — Что-то мне очень нехорошо, мне кажется, будто я умираю...

— Не надо умирать, дорогая, — шептал Андзолето, нежно поддерживая ее, — теперь я убежден, что ты красавица, настоящая красавица.

Действительно, Консуэло была очень хороша в эту минуту, и Андзолето почувствовал это всем своим существом, хотя и не мог оценить эту красоту с точки зрения искусства.

— Да скажи, наконец, почему тебе именно сегодня нужно, чтобы я была красива? — спросила Консуэло, сразу побледневшая и обессиленная.

— Консуэло, дорогая, а разве тебе не хочется быть красивой?

— Да, для тебя.

— А для других?

— Мне безразлично.

— А если бы от этого зависело наше будущее?



Тут Андзолето, видя, в какое смятение он привел свою подругу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между ним и графом. Когда он привел ей не особенно лестные для нее слова Дзустиньяни, добродушная Консуэло, успевшая уже успокоиться, расхохоталась до слез.

— Как, — воскликнул Андзолето, пораженный таким полным отсутствием тщеславия, — ты ничуть не взволнована, не смущена? О, я вижу, Консуэло, что вы маленькая кокетка и прекрасно знаете, что вы не безобразны.

— Послушай, — ответила она улыбаясь. — Раз ты придаешь такое значение подобному вздору, я должна тебя немного успокоить. Я никогда не была кокеткой, но, не будучи красавицей, я вовсе не желаю быть смешной. Однако несомненно, что я теперь не некрасива.

— В самом деле? Ты это слышала? Кто тебе говорил это, Консуэло?

— Во-первых, мою мать никогда не смущало мое детское безобразие. Не раз говаривала она мне, что безобразие это пройдет и что она сама была еще хуже моего в детстве. А между тем я от многих знавших ее слыхала, что в двадцать лет она была самой красивой девушкой в Бургосе. Помнишь, когда она пела в кафе, не раз приходилось слышать: «Как, должно быть, эта женщина была красива в молодости». Видишь ли, друг мой, для бедняков красота — это дело одного мгновения: сегодня ты еще некрасива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может, и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, высыпаться хорошенько да не очень голодать.

— Консуэло, мы с тобою не расстанемся! Я скоро разбогатею, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Вот тогда и расцветешь ты всюю.

— В добрый час! Да поможет нам Господь в остальном!

— Ну, все это не решает дела сейчас: важно знать, найдет ли тебя граф достаточно красивой для сцены.

— Проклятый граф! Только не был бы он слишком уж требователен.

— Начать с того, что ты вовсе не дурнушка.

— Да, я не некрасива. Еще недавно я слыхала, как стекольщик, живущий напротив нас, говорил своей жене: «А знаешь, Консуэло совсем недурна: у нее прекрасный рост; когда она смеется — радуется сердце, а как запоем — делается красивой».

— А что жена стекольщика на это ответила?

— Она ответила: «А тебе что до этого, дурак? Лучше занимайся своим делом; женатому человеку не годится заглядываться на молодых девушек».

— И, скажи, видно было, что она сердится?

— Еще как было видно!

— Да, это хороший признак. Она чувствовала, что муж ее не ошибается. Ну, а еще что?

— А потом графиня Мочениго, — для нее я работаю, и она всегда интересовалась мною; так вот на прошлой неделе вхожу к ней, а она и говорит бывшему у нее доктору Анчилло: «Посмотрите, доктор, как эта девочка выросла, побелела, какая у нее прелестная фигура».

— А доктор что ответил?

— Он ответил: «Да, действительно, я не узнал бы ее, клянусь вам; она из тех флегматичных натур, которые, полнея, блеют; увидите, из нее выйдет красавица».

— Не слыхала ли ты еще чего?

— Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра, — она заказывает мне вышивки для своих алтарей, — тоже сказала одной из монахинь: «Разве я была не права, говоря, что Консуэло похожа на нашу святую Цецилию? Каждый раз, молясь перед образом, я невольно думаю об этой девочке, думаю и прошу Бога спасти ее от греха и от светского пения».

— А что ответила сестра?

— Она ответила: «Ваша правда, мать-настоятельница, сушая правда». Сейчас же после этого побежала я в их церковь поглядеть на святую Цецилию; это работа великого художника, и такая она красавица!

— А на тебя похожа?

— Немножко.

— А вот ты мне никогда этого не говорила...

— Не приходило в голову.

— Консуэло, дорогая, значит, ты красива?

— Этого я не думаю, только не так уж я безобразна, как говорили раньше. Одно несомненно: что о своем безобразии я больше не слышу. Правда, может быть, потому еще, что считают, что теперь это огорчило бы меня.

— Ну, Консуэло, посмотри-ка на меня хорошенько! Начать с того, что у тебя самые красивые в мире глаза.

— Рот слишком велик, — встала, смеясь, Консуэло, разглядывая себя в обломок разбитого зеркала.

— Он немал, но какие чудесные зубы, — продолжал Андзолето, — просто жемчужины. Так и сверкают, когда ты смеешься.

— В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты уж меня рассмеши.

— А волосы какие чудесные, Консуэло.

— Вот это правда. На, посмотри...

Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до земли.

— У тебя широкая грудь, тонкая талия, а плечи... До чего они хороши! Зачем ты прячешь их от меня, Консуэло? Ведь я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется показывать публике.

— Нога у меня довольно маленькая, — желая переменить разговор, сказала Консуэло, выставляя свою крошечную, чудесную, настоящую андалузскую ножку, какую встретить в Венеции почти невозможно.

— Ручка — тоже прелесть, — впервые целуя ей руку, прибавил Андзолето. До сих пор он всегда только пожимал ее дружески, по-товарищески. — Ну, покажи мне свои руки повыше!

— Да ты их сто раз видел, — возразила она, снимая митенки.

— Да нет же! Я их никогда еще не видел, — сказал Андзолето.

Это невинное и вместе с тем опасное расследование начинало странным образом волновать Андзолето. Он как-то сразу умолк и все глядел на девушку, а та под влиянием его взглядов с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее и красивее. Со своей прозрачной белизной лица и чистыми, ясными глазами, она действительно напоминала святую Цецилию монахинь Санта-Кьяра.

Андзолето не в силах был оторвать от нее глаза. Солнце зашло; быстро темнело в этой большой комнате с одним маленьким окном, и в этом полусвете, при котором Консуэло была еще красивее, казалось, будто вокруг нее носилось дыхание неуловимых наслаждений. В голове молодого Андзолето пронеслась мысль отдаться страсти, пробудившейся в нем с неведомой до сих пор силой, но тотчас же холодный рассудок взял верх над этим порывом. Ему хотелось проверить, может ли красота Консуэло пробудить ту силу страсти, что пробуждали в нем признанные всеми красавицы, которыми он уже обладал. Но он не посмел поддаваться этим искушениям, чувствуя, как это было бы низко по отношению к Консуэло. Волнение его все росло, а боязнь потерять вновь познанное наслаждение заставляла его желать продлить его.

Вдруг Консуэло, которой стало неважно выносить дольше охватившее ее смущение, сделала над собою усилие и, чтобы снова вернуться к беззаботной веселости, принялась расхаживать по комнате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из лирической драмы, сопровождая пение, словно на сцене, трагическими жестами.

— Знаешь, просто великолепно! — восторженно закричал Андзолето, видя, что она способна прибегать к сценическим эффектам, чего он в ней никогда не подозревал.

— Совсем не великолепно! — сказала Консуэло, садясь. — Надеюсь, ты шутишь, говоря это?

— Уверяю тебя, это было бы великолепно на сцене; поверь мне, здесь нет ничего лишнего. Корилла лопнула бы от зависти: это так же эффектно, как и то, за что ей аплодируют без конца.

— Нет, дорогой мой Андзолето, я не желала бы совсем, чтобы Корилла лопнула от зависти из-за такого фиглярства. И если бы публика вздумала аплодировать мне, только потому что я умею передразнивать ее, то перед такой публикой я больше не захотела бы и появляться.

— Ты, значит, надеешься ее превзойти?

— Да, надеюсь или откажусь от всего этого.

— Как же ты это сделаешь?

— Пока ничего еще не знаю...

— Попробуй.

— Нет. Все это одни мечты, и пока не выяснится, урод я или нет, нам нечего строить воздушные замки. Может, мы оба с тобой не в своем уме и, как выразился господин граф, действительно, Консуэло уродлива.

Последнее предположение дало Андзолето силы уйти.

## IX

В эту полосу своей жизни, почти неизвестную его биографам, Никола Порпора, один из лучших композиторов Италии и величайший профессор пения XVIII века, ученик Скарлатти, учитель певцов Гассе<sup>1</sup>, Фаринелли, Каффарелли, Уберто (известного под именем Порпорино)<sup>2</sup> и певиц Миньотти, Салимбени, Габриэлли, Мольтени, прозябал жалким образом в Венеции, в состоянии, близком к нищете и отчаянию. А было время, когда в этом самом городе он стоял во главе консерватории Оспедалетто. То был самый блестящий период его жизни. В эти именно годы им были написаны и поставлены его лучшие оперы, лучшие кантаты и все его главные произведения духовной музыки. Вызванный в 1728 году в Вену, он там, правда, не без некоторых усилий, добился покровительства императора Карла VI<sup>3</sup>. Он пользовался также благоволением саксонского двора, где давал уроки пения и композиции принцессе Саксонской, впоследствии французской дофине, матери Людовиков XVI, XVIII и Карла X. Затем он был приглашен в Лондон, где в течение девяти или десяти лет имел честь соперничать с самим великим Генделем, звезда которого как раз в эту пору несколько потускнела. Но, в конце концов, его гений восторжествовал, и Порпора, уязвленный в своей гордости и очутившийся в тяжелом материальном положении, возвратился в Венецию, где не без труда занял место директора уже другой консерватории, а не Оспедалетто. Он написал здесь еще

<sup>1</sup> Иоганн-Адольф Гассе (Hasse) (1699–1783) — немец по происхождению, из Гамбурга; в 1722 году отправился в Италию, где начал свою блестящую музыкальную карьеру певца (тенор) и композитора, учился в Неаполе у А. Скарлатти и Порпора, с 1727 года капельмейстер в Венеции, где женился на певице Фаустине Бордони (1710–1780), одной из самых знаменитых оперных артисток XVIII века. Оперы Гассе — «Саксонца» (Sassone), как его звали в Италии, — пользовались колоссальным успехом в Италии и Германии (Вена, Дрезден), где были итальянские оперные труппы. В 1731 году Гассе с женой был приглашен в Дрезден как придворный капельмейстер. Из Дрездена ездил вместе с женой в Берлин и Лондон для постановки своих опер, которых написал более сотни. Под конец жизни переехал в Италию и умер в Венеции. Между 1748 и 1752 годами в дрезденскую оперную школу были приглашены и Порпора как капельмейстер и его ученица, знаменитая Реджина Миньотти, соперничавшая с Фаустиной. Конкуренция еще более обострила отношения между Гассе и Порпора, бывшими учеником и учителем.

<sup>2</sup> Знаменитые певцы-кастраты *Порпорино* и *Каффарелли* упоминаются и дальше: Каффарелли появляется во второй части романа как певец Венской оперы, а Порпорино фигурирует в романе «Графиня Рудольштадт» (продолжение «Консуэло»), где действие переносится в Берлин, и Консуэло вместе с Порпорино поют в придворном театре короля Фридриха Великого.

<sup>3</sup> *Карл VI* (1685–1740) — германский император, отец Марии-Терезии; страстно любил музыку, покровительствовал итальянской опере, сам сочинял и даже аккомпанировал на клавесине во время представления.





*В эту полосу своей жизни Никола Порпора, один из лучших композиторов Италии и величайший профессор пения XVIII века, прозябал жалким образом в Венеции, в состоянии, близком к нищете и отчаянию.*

несколько опер, но поставить их на сцене было нелегко; последняя из написанных в Венеции опер шла в Лондонском театре, но без успеха. Гению его был нанесен жестокий удар; будь у Порпора поддержка, его слава и успех могли бы возродиться, но неблагодарность Гассе, Фаринелли и Каффарелли, все более



и более забывавших своего учителя, добила сердце старика, ожесточила его характер, отравила ему жизнь. Известно, что он скончался в Неаполе на восьмидесятом году в нищете и в горе.

В то время как граф Дзустиньяни, предвидя уход Кориеллы и почти желая его, подыскивал ей заместительницу, Порпора переживал как раз один из своих припадков озлобления; и его раздражение имело некоторое основание. Если в Венеции любили и исполняли музыку Иомелли, Лотти, Кариссими, Гаспарини<sup>1</sup>, превосходных композиторов, то это не мешало одновременно увлекаться без разбора легкой музыкой Кокки, Буини, Сальватора Аполлини<sup>2</sup> и других более или менее известных композиторов, льстивших посредственности своим легким и вульгарным стилем. Оперы Гассе не могли нравиться его учителю, справедливо разгневанному на него. Маститый и несчастный Порпора, закрывший сердце и уши для современной музыки, пытался задавить ее славой и авторитетом стариков. С чрезмерной суровостью он порицал грациозные произведения Галуппи<sup>3</sup> и даже оригинальные фантазии Кьодзетто<sup>4</sup> — народного венецианского композитора. С ним можно было разговаривать лишь о падре Мартини<sup>5</sup>, о Дуранте<sup>6</sup>,

<sup>1</sup> Никколо *Иомелли* (1714–1774) — ученик Дуранте и Лео в Неаполе и падре Мартини (см. ниже) в Болонье, видный композитор, написавший ряд опер и ораторий; выступал в Венеции, Риме, Вене и Штутгарте. В опере он стремился развить и расширить речитатив с сопровождением оркестра за счет так называемого сухого речитатива, аккомпанируемого лишь аккордами на клавесине; ставил себе целью придать декламационную и драматическую выразительность в трагической опере. Антонио *Лотти* (1667–1740) — венецианец, выдающийся духовный и светский композитор, органист собора Сан-Марко, написал также ряд вокальных вещей камерного стиля: дуэты, терцеты, мадригалы (для четырех, пяти голосов). Его учеником был Марчелло (см. ниже). Джакомо *Кариссими* (1604–1674) — выдающийся духовный композитор, написал ряд церковных кантат и ораторий для соло и хора с органом; его музыка близко иллюстрирует текст и достигает в церковных произведениях той драматической выразительности, которую искали светские композиторы в опере. Франческо *Гаспарини* (1668–1737) венецианец, плодовитый оперный композитор.

<sup>2</sup> *Кокки, Буини, Аполлини* — венецианские композиторы XVIII века.

<sup>3</sup> Балдассаро *Галуппи* (1706–1785) — ученик Лотти, написал около 25 опер, шедших с успехом в Италии, Англии, Германии и России, где он провел три года (1765–1768) при дворе Екатерины II, а потом вернулся в Венецию. Его дарование проявилось блестяще в комическом жанре — опере-буфф.

<sup>4</sup> *Кьодзетто* (собственно Джованни Кроче) — венецианский композитор XVI века. Умер в 1609 году; уроженец города Кьодджа, по-венециански Кьодза, лежащего к югу от Венеции

<sup>5</sup> Джамбатиста *Мартини* (1706–1784) — францисканский монах из Болоньи, известный под именем падре (отец) Мартини. Музыкальный теоретик, органист и клавесинист, пользовавшийся славой во всей Европе; жил в Болонье, где сочинил мессы, оратории, прекрасные клавесинные пьесы и написал теоретические трактаты о контрапункте и историю музыки, оставшуюся незаконченной.

<sup>6</sup> Франческо *Дуранте* (1684–1755) — неаполитанский духовный композитор, учитель ряда выдающихся музыкантов.

Монтеверди<sup>1</sup>, Палестрине; я не знаю, благоволил ли он к Марчелло и Лео<sup>2</sup>. Вот почему первые шаги графа Дзустиньяни для приглашения на сцену его никому неизвестной ученицы, бедной Консуэло, которой он желал и славы и счастья, были встречены Порпора холодно и с грустью. Он был слишком опытным преподавателем, чтобы не знать цены своей ученице, не знать, чего она заслуживает. Одна мысль, что этот истинный талант, выращенный на сокровищах старых композиторов, будет профанирован, приводила старика в ужас. Опустив голову, подавленным голосом он ответил графу:

— Ну, что ж, берите эту незапятнанную душу, этот чистый разум, бросьте их собакам, отдайте на съедение зверям, раз уж такова в наши дни судьба гения.

Эта серьезная, глубокая и вместе с тем комическая печаль старого музыканта возвысила Консуэло в глазах графа: если этот суровый учитель так ценит ее, значит, есть за что.

— Это действительно ваше мнение, дорогой маэстро? В самом деле Консуэло такое необыкновенное, божественное существо?

— Вы ее услышите, — смиренно проговорил Порпора и добавил: — Значит, такова ее судьба.

Граф все же сумел приподнять упавший дух маэстро, обнадежив его обещанием серьезной реформы в выборе опер для своего театра. Он обещал исключить из репертуара, как только ему удастся избавиться от Кориоллы, плохие оперы, ставившиеся лишь по ее капризу и ради ее успеха. Он намекнул весьма ловко, что будет очень сдержан насчет постановки опер Гассе, и даже заявил, что в случае, если Порпора пожелает сочинить оперу для Консуэло, то день, когда ученица покроет своего учителя двойною славой, передав его мысли в соответствующем стиле, этот день будет торжеством для оперной сцены Сан-Самуэле и наисчастливейшим днем в жизни его самого.

<sup>1</sup> Клаудио *Монтеверди* (1567–1643) — основатель итальянской оперы; принадлежал к так называемой флорентийской школе: стремясь осуществить идеал античной трагедии посредством слияния слова с музыкой и достижения драматической выразительности, восстановил права одноголосного пения с сопровождением оркестра, состав которого усилил. Его оперы «Орфей» (1607), «Ариадна» (1608), «Похищение Прозерпины» (1630), «Возвращение Улисса» (1641), «Коронавание Поппеи» (1642) из жизни Нерона (первая историческая опера) и другие отчасти предвосхищают позднейшие стремления Глюка и Вагнера создать музыкальную драму.

<sup>2</sup> Бенедетто *Марчелло* (1686–1739) — ученик Лотти, композитор, теоретик, виртуоз, писатель и государственный деятель Венецианской республики. Из его крупных сочинений славятся «50 псалмов Давида» на итальянский стихотворный текст Асканио Джустиньяни для одного, двух, трех голосов и хора с органом. Из камерных вещей ценны его сонаты для клавесина, сходные по стилю с такими же пьесами Доменико Скарлатти (1683–1757), замечательного клавесиниста-виртуоза, сына Алессандро Скарлатти. Леонардо *Лео* (1694–1744) представитель неаполитанской школы, учитель Иомелли, автор опер, ораторий и других духовных произведений.

Порпора, сдавшись, начал смягчаться и втайне уже желал, чтобы состоялся дебют его ученицы, которого он сначала побаивался, ибо думал, что она могла бы обновить успех творений его соперника. Однако ввиду того, что граф выразил свое опасение насчет наружности Консуэло, он отказался наотрез дать ему возможность прослушать ее частным образом и без подготовки.

На все настояния и вопросы графа он отвечал:

— Я не стану утверждать, что она красавица. Девушка, так бедно одетая, естественно робеющая перед таким вельможей и ценителем искусства, как вы; дитя народа, не видевшая в жизни ни малейшего внимания, понятно, нуждается в том, чтобы несколько подготовиться, приодеться. К тому же у Консуэло одно из тех лиц, которые удивительно преображаются проявлением гениальности. Надо одновременно и видеть и слышать ее. Уж предоставьте это дело мне: если она вам не подойдет, вы уступите ее мне, — я найду способ сделать из нее хорошую монахиню, и она прославит школу, где будет преподавать.

Такова была действительно та будущность, о которой до сих пор мечтал Порпора для Консуэло.

Повидав затем свою ученицу, он объявил, что ей предстоит петь в присутствии графа Дзустиньяни. Когда та наивно выразила свое опасение, что граф найдет ее некрасивой, учитель успокоил ее, говоря, что граф, сидя в церкви на богослужении, не увидит ее за решеткой эстрады органа, но все же посоветовал одеться поприличней, говоря, что после службы представит ее графу; и как ни был беден сам благородный старик, он дал ей для этой цели небольшую сумму денег.

Консуэло, волнуясь и недоумевая, впервые занялась своей особой и наскоро подготовила свой туалет и свой голос. Попробовав голос, она нашла его таким сильным, свежим и гибким, что несколько раз повторила очарованному и тоже взволнованному Андзолето:

— Увы! Зачем нужно певнице еще что-то, кроме умения петь?

## Х

Накануне этого торжественного дня Андзолето нашел дверь в комнату Консуэло запертою на засов, и только после того, как прождал на лестнице около четверти часа, он был впущен, чтобы посмотреть на свою подругу в ее праздничном одеянии, которое она хотела примерить при нем. Она надела коротенькое ситцевое платье с узором из крупных цветов, кружевную косынку и напудрила волосы. Это так изменило весь ее облик, что Андзолето простоял в недоумении несколько минут, не сознавая, выиграла ли она или потеряла от такого превращения. Нерешительность, которую Консуэло прочла в его глазах, сразила ее, словно удар кинжала.

— Ну, вот! — воскликнула она, — я вижу, что в таком виде я тебе не нравлюсь. Кто сможет найти меня хотя бы сносно, если тот, кто меня любит, не испытывает ни малейшего удовольствия, глядя на меня?

— Погоди немножко, — возразил Андзолето, — прежде всего я поражен твоей прелестной фигурой в этом длинном лифе, потом ты очень изящна в своей кружевной косынке, очень грациозно падают складки твоей юбки... Однако я сожалею о твоих черных волосах... Так мне, по крайней мере, кажется. Но что поделаешь! Они хороши для плебейки, а ты завтра должна быть синьорой.

— А зачем мне нужно быть синьорой? Я ненавижу эту пудру, — она обесцвечивает и старит самых красивых, а под всеми этими оборками я кажусь себе чужой, словом, я сама себе не нравлюсь и вижу, что и ты такого же мнения. Знаешь, сегодня я была на репетиции, и при мне Клоринда примеряла тоже новое платье: какая она нарядная, смелая, красивая! (Вот счастливица, на нее не нужно смотреть два раза, чтобы убедиться в ее красоте.) А мне очень страшно появиться перед графом рядом с ней.

— Будь спокойна: граф не только видел ее, но и слышал.

— Она плохо пела?

— Так, как поет всегда.

— Ах! друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно, если бы Клоринда (при всем своем тщеславии она ведь совсем не дурная девочка) потерпела фиаско перед знатоком музыки, я от всей души жалела бы ее и делила с ней горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы порадоваться ее провалу. Борьба, зависть, стремление погубить друг друга... И все это из-за кого? Из-за человека, которого не только не любишь, но даже не знаешь! Так грустно, тяжело, любимый мой! И мне кажется, что одинаково страшен и успех и провал. Боюсь, что пришел конец нашему с тобой счастью и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я вернусь в эту убогую комнату совсем иной, чем жила в ней до сих пор.

Две крупные слезы скатились по щекам Консуэло.

— Плакать теперь? Как можно! — воскликнул Андзолето. — У тебя будут красные глаза, распухнут веки! А твои глаза, Консуэло... Смотри не порти их, — они самое красивое, что у тебя есть.

— Или менее некрасивое, чем все остальное, — сквозь слезы произнесла она, вытирая щеки. — Оказывается, когда отдаешь себя свету, то даже не имеешь права плакать.

Друг пытался ее утешить, но весь день она была ужасно грустна. Только вечером, оставшись одна, стряхнула она пудру со своих чудных черных, как смоль, волос, пригладила их, примерила еще не старое черное шелковое праздничное платье, и, только увидав себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, она успокоилась. Затем, пламенно помолившись, стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Андзолето на следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь, он застал ее за повторением

своей пробной арии около спинета, одетую и причесанную, как обыкновенно по воскресеньям.

— Как! Еще не причесана, еще не одета! Уже совсем не рано, о чем ты думаешь, Консуэло?

— Друг мой, я одета, причесана и спокойна. Хочу остаться в таком виде, — сказала она решительным тоном. — Все эти красивые платья совсем мне не к лицу. Мои черные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф мешает мне дышать. Пожалуйста, не возражай: это дело решенное. Я просила Бога вдохновить меня, а мать направить меня, как вести себя. И вот Господь внушил мне быть скромной и простой. Мать сказала мне во сне то, что всегда говорила: «Постарайся хорошо спеть, а все остальное в руках Божьих». Я видела, как она взяла мое красивое платье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное платьице и кружевную косынку положила на стул у моей кровати. Проснувшись, я спрятала платье в шкаф, как сделала это она во сне, надела свое черненькое платьице, косынку, и вот я готова. Чувствую я себя гораздо храбрее с тех пор, как стала опять сама собой. Послушай лучше мой голос, — все зависит от него.

И она проделала руладу...

— Господи! Мы погибли! — воскликнул Андзолето. — Голос твой глух, и глаза совсем красные. Ты, наверно, вчера вечером плакала! Хороша, нечего сказать! Повторяю тебе: мы погибли! Ты просто с ума сошла! Облечься в траур в праздничный день! Это и несчастье приносит и делает тебя гораздо хуже, чем ты есть. Скорей, скорей переодевайся, а я пока сбегая за румянами. Ты бледна, как мертвец.

Тут загорелся между ними довольно жаркий спор. Андзолето был несколько груб. Бедная девушка опять совсем расстроилась и расплакалась, это еще более вывело из себя Андзолето, и спор был в полном разгаре, когда на часах пробило без четверти два: оставалось ровно столько времени, чтобы, запыхавшись, добежать до церкви. Андзолето разразился проклятиями. Консуэло, бледнее утренней звезды, глядящей в воду лагун, в последний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и порывисто бросилась в объятия Андзолето.

— Друг мой! — воскликнула она, — не брани, не проклинай меня! Лучше поцелуй меня покрепче, чтобы разругмнить мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем, и пусть Господь не покарает нас за то, что мы усомнились в его помощи.

Поспешно накинув мантилью, она схватила ноты и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, понеслась с ним к церкви Мендиканти. Церковь была уже битком набита поклонниками чудной музыки Порпора. Андзолето, ни жив ни мертв, направился к графу, который заранее условился с ним встретиться здесь, а Консуэло поднялась на хоры. Здесь уже были расставлены хористки в боевой готовности, а профессор стоял у пюпитра. Консуэло



не подозревала, что с того места, где сидел граф, прекрасно виден хор и что он, не спуская глаз, следил за каждым ее движением.

Но покамест он не мог разглядеть ее; придя, она тотчас же опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо молиться: «Господи! — шептала она, — Ты знаешь, что я прошу возвысить меня, не стремясь при этом унижить моих соперниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя миру и светскому искусству, я не хочу забыть Тебя, не хочу вести порочный образ жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия, и я молю Тебя поддерживать меня, облагородить мой голос и понимание, когда я буду петь хвалу Тебе, лишь ради того, чтобы жить с тем, кого мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расставаться с ним, дать ему радость и счастье».

Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэло на ее место, она медленно поднялась с колен, мантилья ее сползла на плечи, и наконец ее могли увидеть с соседней трибуны граф и Андзолето, полные нетерпения и беспокойства. Но что за чудесное превращение совершилось в этой юной девушке, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, казалось, носилось небесное сияние; нежная истома была разлита по ее благородному, спокойному и смелому лицу. В ее безмятежном взгляде не видно было жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что трогало и внушало уважение.

— Мужайся, дочь моя, — шепнул ей профессор: — ты будешь исполнять творение великого композитора в его присутствии; сам он здесь и будет слушать тебя.

— Кто, Марчелло? — спросила удивленная Консуэло, видя, что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло.

— Да, Марчелло. А ты пой, как всегда, не лучше и не хуже, и все будет прекрасно.

В самом деле, Марчелло, в это время доживая последний год своей жизни, приехал проститься со своей родной Венецией, которую он трижды прославил: и как композитор, и как писатель, и как сановник. Он выказывал много внимания Порпора, который и просил его прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз маститому композитору, поставил первым номером его великолепный псалом «*I cieli immensi narrano*», исполняемый Консуэло в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку этого широкого, захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв тогда о графе, о злобствующих соперницах, о самом Андзолето, она помнила только о Боге и о Марчелло.

В композиторе она видела посредника между собою и безмерными небесами, славу которых ей надлежит воспевать. Мог ли быть сюжет прекраснее, могла ли быть выше идея!

I cieli immensi narrano  
Del granda Iddio la gloria;  
Il firmamento lucido  
A Il'universo annunzia  
Quanto sieno mirabili  
Della sua destra le opera.<sup>1</sup>

Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в ее больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, голос, который мог исходить только от существа, обладающего исключительным умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах овладеть своим волнением, воскликнул:

— Клянусь Богом, эта женщина — красавица! Святая Цецилия! Святая Тереза! Святая Консуэло! Это — олицетворение поэзии, музыки, веры!

У Андзолето подкашивались ноги, он едва держался, судорожно сжимая руками решетку трибуны, пока, наконец, задышавшись, близкий к обмороку, не свалился на свой стул. Радость и гордость точно опьяняли его.

Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявших церковь, от безумных аплодисментов, уместных в театре.

У графа не хватило терпенья дожидаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпора и Консуэло. Еще во время богослужения, пока служившее духовенство читало молитвы, Консуэло должна была подняться на трибуну графа, где сидел Марчелло. Композитор пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Она застала его еще таким взволнованным, что он едва был в состоянии говорить.

— Дочь моя, — начал он прерывающимся голосом, — прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг заставила меня позабыть о годах смертельных мук. Когда я слушал тебя, мне казалось, что чудо совершилось со мной, и моя беспрестанная, жестокая боль исчезла куда-то навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю для вечного наслаждения, познанного благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину, Романину<sup>2</sup>, Куццони<sup>3</sup>, всех самых великих певиц мира; они не стоят твоего

<sup>1</sup> Безмерное небо глаголет / Творца-Вседержителя славу; / И свод лучезарный вещает / По всей беспредельной вселенной / О том, как велики и дивны / Деянья Господней десницы (ит.)

<sup>2</sup> *Фаустина* Бордони (1710–1780), *Романина* (собственно Марианна Бульгарини) (1688–1734) — итальянские оперные певицы.

<sup>3</sup> Франческа *Куццони* — певица, конкурировавшая в Лондоне с Фаустиной Бордони, где обе пели в одном и том же театре; их соперничество выливалось в очень грубые формы. Флейтист Кванц, учитель и придворный артист Фридриха Великого, в своих музыкальных мемуарах писал, что Куццони «пела, как ангел невинности, а по характеру была сущий дракон».

мизинца. Тебе суждено дать миру услышать то, чего он еще никогда не слышал, тебе суждено заставить мир почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один человек!

Подавленная, словно уничтоженная такой великой похвалой, Консуэло наклонила голову, почти опустила на колени и, не будучи в состоянии вымолвить ни одного слова, поднесла к своим губам мертвенно-бледную руку умирающего великого человека. Поднявшись, она взглянула на Андзолето, и в этом взгляде он мог прочесть упрек: «Неблагодарный, ты меня не понял!»

## XI

В течение остальной части богослужения Консуэло проявила столько энергии и знания, что Дзустиньяни не мог не удовлетвориться во всех отношениях. Она вела за собой хор, поддерживая и воодушевляя его; исполняя последовательно все свои номера, она обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств; она проявила при этом и неистощимую силу легких, или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее чистый, полный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого делать усилия, как певицам с плохо поставленным голосом. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Одним словом, она совмещала в себе и артиста и учителя среди целого стада заурядных голов с вялыми темпераментами и только со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но когда хор замолк, те самые, которые во время исполнения глазами безмолвно умоляли Консуэло о помощи, теперь ставили ей в вину ее властность и весь успех школы Порпора приписывали себе.

Все похвалы Порпора выслушивал молча, улыбаясь. Он при этом глядел на Консуэло, и Андзолето прекрасно понимал, что говорит этот взгляд.

По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка отделяла два больших стола, расставленных в форме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы подавать блюда, которые граф сам лично предлагал старшим монахиням и ученицам.

Одетые послушницами воспитанницы приходили по двенадцати разом и по очереди усаживались на свободные места во внутренней части монастыря. Настоятельница, сидевшая около самой решетки, находилась направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие

священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов-любителей музыки, светских администраторов школы и наконец — красавец Андзолето в своем парадном черном костюме, при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы бывали очень оживлены: их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, жажда нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело наперебой болтали. Но на этот раз угощение происходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной (разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Порпора предложит графу взамен Кориаллы. Сам профессор хитро поддерживал в некоторых из них эту мечту: в одних, дабы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, в других — просто дабы неминуемым разочарованием отомстить им за все то, что претерпел от них на своих уроках. Во всяком случае, приходящая ученица школы Клоринда в этот день в пух и прах разрядилась, собираясь воссесть рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что уродливый оборвыш Консуэло в своем черненьком платьишке, со своим невозмутимым видом, отныне признанная лучшей артисткой школы, единственной ее красой, садится за стол между графом и Марчелло! Злоба исказила ее лицо, она стала такой уродливой, какою никогда не была Консуэло; сама Венера подурнела бы под влиянием таких низких, злых чувств. Андзолето, торжествуя свою победу, видел прекрасно, что происходит в душе Клоринды, подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах. Та приняла их за чистую монету, и это вскоре ее утешило: она вообразила, что, заинтересовав жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком глупа, Андзолето слишком хитер, так что эта неравная борьба поставила ее в смешное положение.

Между тем граф, беседуя с Консуэло, все более и более поражался тем, что она, помимо проявленного в церкви могучего таланта, обнаруживает столько такта, здравого смысла, обаяния в разговоре. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве нельзя было не почувствовать к ней сразу неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзьями в гондоле — подышать вечерним воздухом. Марчелло не мог из-за своей болезни воспользоваться этой прогулкой, но Порпора, граф Барбериги и несколько других аристократов с удовольствием согласились участвовать в ней. Андзолето был также допущен. Консуэло со смущением подумала о том, что ей придется быть одной в таком большом мужском обществе, и тихонько спросила графа, нельзя ли взять с собой также и Клоринду. Дзустиньяни, не понявший причины шуточного ухаживания Андзолето за бедной красавицей, был даже рад, что тот во время прогулки будет больше занят ею, чем своей невестой. Благородный граф, благодаря своему легкомыслию, красоте, богатству, собственному театру, а также как сын

своего народа и своего века, был наделен довольно большим самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином, музыкой, стремясь отомстить поскорей коварной Корилле, граф не нашел ничего лучшего, как сразу начать ухаживать за Консуэло. Усевшись рядом с ней и устроив так, что другая юная пара очутилась на другом конце, он впилился взорами в свою новую жертву достаточно выразительно. Но простодушная Консуэло ничего не поняла. Ей, такой чистой и честной, даже в голову не могло прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на такую низость. К тому же, при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала мысли о желании графа поухаживать за нею. Она упорно продолжала относиться почтительно к знатному вельможе, покровителю ее и Андзолето, и без всякой задней мысли, по-детски, наслаждалась приятной прогулкой.

Такое спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он недоумевал, отдается ли ему эта душа с радостью и безропотно или это наивная глупость полнейшей невинности. Ведь в Италии девушка в восемнадцать лет весьма просвещена, я хочу сказать, была просвещена, особенно сто лет тому назад, да имея еще такого друга, как Андзолето. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его тотчас удерживал необъяснимый страх, он ощущал неуверенность, чуть ли не почтительность, в которой не мог дать себе отчета.

Барбериго также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой, и охотно возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но считал не деликатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь, — думал он, видя, как блуждают взоры графа в сладостном упоении. — Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщинами, молодой Барбериго задал себе вопрос, на каком основании этот ничтожный мальчишка Андзолето захватил себе белокурую Клоринду, и, подойдя к ней, дал понять юному тенору, что было бы более уместно, если б вместо ухаживания он взялся за весла. Андзолето, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а низкопоклонство по отношению к ним было лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барбериго, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему. «Поглядите, каков успех вашей подруги Консуэло, — громко обратился он к Клоринде. — До чего она дойдет сегодня? Ей недостаточно фурора, который она произвела своим пением во всем городе, ей надо еще свести с ума своими огненными взорами нашего бедного графа. Если он еще окончательно не потерял головы, то уж наверно потеряет, и тогда горе синьоре Корилле».



— О, этого нечего бояться! — притворяясь, возразила Клоринда. — Консуэло влюблена вот в этого самого Андзолето, она его невеста. Пылают они друг к другу страстью уже не знаю сколько лет.

— Много лет любви могут быть забыты во мгновение ока, — возразил Барбериго, — особенно, когда глаза Дзустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не находите, прекрасная Клоринда?

Андзолето не был в силах долго выносить такое издевательство. Тысячи змей уже начинали шевелиться в его сердце. До сих пор подобное подозрение не приходило ему в голову: ни о чем не думая, он наслаждался вполне победой своей подруги и, если в течение двух часов он и забавлялся вышучиванием несчастной жертвы сегодняшнего упоительного дня, то делал это, чтобы как-нибудь справиться со своим восторженным возбужденным состоянием, а отчасти из тщеславия.

Перебросившись с Барбериго несколькими шутками, Андзолето сделал вид, что заинтересовался музыкальным спором, возгоревшимся в это время между Порпора и другими гостями графа, и незаметно проскользнул на нос гондолы. Здесь сразу Андзолето заметил, что его появление не пришлось по вкусу графу: тот ответил холодно и неохотно на несколько его праздных вопросов и посоветовал ему пойти послушать глубоко интересное разглагольствование великого Порпора о контрапункте.

— Великий Порпора не мой учитель, — заметил Андзолето шутливым тоном, пытаясь этим скрыть закипевшее в нем бешенство. — Он учитель Консуэло и, если вашему сиятельству будет угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала никаких других уроков, как только у своего старого профессора... — тихо и вкрадчиво продолжал юноша, нагибаясь к графу.

— Дорогой и любезный Дзото, — перебил его граф тоже нежно, но весьма лукаво, — мне надо что-то вам сказать на ухо. — И, нагнувшись к нему, он проговорил: — Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима, но вздумай я преподавать ей уроки другого рода, я имел бы право заняться этим хотя бы в течение одного вечера...

Андзолето похолодел с головы до ног.

— Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет пояснить мне, — задыхаясь проговорил он.

— Это можно сделать в двух словах, любезный друг: «гондола за гондолу», — отрезал граф.

Андзолето так и замер от ужаса, поняв, что графу известна его прогулка с Корилой в ее гондоле. Эта шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался казаться удивленным.

— Ступайте же и слушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы! — невозмутимо проговорил граф. — Потом расскажете мне, это очень меня интересует...

— Я это вижу, ваше сиятельство, — ответил взбешенный Андзолето, будучи близок к тому, чтобы погубить все свое будущее.

— Так что ж ты медлишь? — наивно спросила удивленная его нерешительностью Консуэло. — В таком случае пойду я, сиятельный граф, вы увидите, что я всегда готова служить вам.

И прежде чем граф мог остановить ее, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учителя, и присела подле него на корточки.

Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвинулось, нашел нужным притвориться.

— Андзолето, — улыбаясь, сказал он, дергая довольно-таки сильно своего питомца за ухо, — вот вся моя месть, дальше этого она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли даже сравнить удовольствие, полученное мною от невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у десяти присутствующих, с тем, чем вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?

— Ваше сиятельство, — страшно волнуясь, воскликнул Андзолето, — уверяю вас честью...

— Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе? — спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым.

— Неужели, ваше сиятельство, вы считаете своего питомца до того неразумным, что допускаете, чтоб он мог сделать подобную глупую шутку? — развязно спросил Андзолето, к которому успела вернуться его обычная находчивость.

— Сделал или не сделал, в данную минуту мне это глубоко безразлично, — сухо ответил граф, вставая. Затем он направился к Консуэло и сел подле нее.

## XII

Споры о музыке продолжались и во дворце Дзустиньяни, куда вся компания вернулась к полуночи и где гостям был предложен шоколад и шербеты. От техники искусства перешли к стилю, к идеям, к старинным и современным музыкальным формам, наконец коснулись экспрессии и тут, естественно, заговорили об артистах и о различной манере чувствовать и выражать. Порпора с восторгом вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего духовной музыке патетический характер. Но дальше этого профессор не шел и был против того, чтобы духовная музыка присваивала себе область музыки светской, позволяя себе ее украшения, пассажи и рулады.

— Значит ли это, что вы против трудных пассажей и украшений, создавших, однако, успех и известность вашему знаменитому ученику Фаринелли? — спросил его Андзолето.

— Я только не одобряю их в церкви, — ответил маэстро, — а в театре приветствую их. Но и здесь я хочу, чтобы они были на месте и чтобы ими

не злоупотребляли; я требую соблюдения строгого вкуса, оригинальности, изящества, требую, чтобы модуляции соответствовали не только данному сюжету, но и изображаемому лицу, выражаемым им чувствам и самому положению этого лица. Пусть нимфы и пастушки щебечут, как птички, и своими голосами подражают журчанию фонтанов и ручейков, но Медея или Дидона могут только рыдать или рычать, как раненные львицы. Кокетка, например, может перегружать капризными и изысканными украшениями свои легкомысленные каватины. Корилла превосходна в этом жанре, но попробуй она выражать глубокие чувства и бурные страсти, ей это совсем не удастся. И напрасно будет она волноваться, напрягать свой голос и легкие: неуместный пассаж, нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину Бордони, ныне синьору Гассе. Так вот она в некоторых ролях, соответствующих ее блестящим данным, не имела соперниц. Но явилась Куццони со своим чистым, глубоким чувством, воплощавшая скорбь, мольбу или нежность; и слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно изгоняли из вашего сердца воспоминание о всех чудесах, которые расточала вашему слуху Фаустина. И это потому что есть талант, как бы сказать, материальный и есть гений души. Есть то, что забавляет, и то, что трогает... Есть то, что удивляет, и то, что восхищает... Я прекрасно знаю, что вокальные фокусы теперь в моде; но если я показывал их своим ученикам как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться, слыша, как большинство моих учеников ими злоупотребляет, жертвуя необходимым ради излишнего и длительного умилением публики ради мимолетных криков удивления и диких восторгов.

Никто не оспаривал этого мнения, неизменно правдивого по отношению ко всем вообще искусствам; возвышенные артистические натуры всегда будут держаться его. Между тем граф, стгорая желанием узнать, как исполняет Консуэло светскую музыку, нарочно стал как будто не соглашаться со слишком суровыми взглядами Порпора. Но видя, что скромная ученица не только не опровергает этой ереси, а, наоборот, не сводит глаз со своего учителя, как бы вынуждая его выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться прямо к ней самой с вопросом, сможет ли она, по ее мнению, петь на сцене с тем же умением и чистотой, как пела в церкви.

— Сомневаюсь, — ответила она откровенно с присущей ей скромностью, — чтоб я смогла так же вдохновляться на сцене; боюсь, что там я много потеряю.

— Этот скромный и умный ответ меня успокаивает, — сказал граф, — и я уверен в том, что публика, страстная, увлекающаяся, правда, немного капризная, вдохновит вас, и вы снизойдете изучить те вокальные трудности, полные блеска, которых публика с каждым днем жаждет все больше и больше.

— Изучить! — с ударением проговорил Порпора, саркастически улыбаясь.

— Изучить! — воскликнул Андзолето с гордым презрением.

— Да, да, конечно, изучить, — согласилась с обычной своей кротостью Консуэло. — Хотя я немного и упражнялась в этом жанре, но не думаю, чтоб уже была в состоянии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими на нашей сцене...

— Ты лжешь! — закричал, волнуясь, Андзолето. — Ваше сиятельство, она лжет. Заставьте ее спеть самые трудные колоратурные арии вашего репертуара, и вы увидите, что она из них создаст!

— Если б только я не боялся, что она устала... — нерешительно проговорил граф, а глаза его уже зажглись нетерпением и ожиданием.

Консуэло по-детски вопросительно взглянула на Порпора, как бы ожидая его приказаний.

— Ну, что же, — сказал профессор, — мы с ней не так-то легко устает, и, раз здесь собрался такой тесный и избранный кружок, давайте проэкзаменируем ее по всем статьям. Не угодно ли вам, глубокоуважаемый граф, выбрать арию и самому проаккомпанировать ей на клавесине?

— Ее пение и близость так взволнуют меня, что я, пожалуй, буду ошибаться и фальшивить, — ответил Дзустиньяни, — и почему, маэстро, вы сами не аккомпанируете ей?

— Мне хотелось бы видеть ее поющей. Сказать по правде, слушая ее, я ни разу не поинтересовался взглянуть на нее во время пения. А мне надо знать, как она себя держит, что проделывает со своим ртом и глазами. Иди же, дочь моя, этот экзамен необходим и для твоего учителя.

— В таком случае я буду ей аккомпанировать, — заявил Андзолето, усаживаясь за клавесин.

— Вы меня будете слишком смущать, маэстро, — обратилась Консуэло к Порпора.

— Смущение — признак глупости, — ответил учитель, — тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится. Если ты трусишь, значит, ты тщеславна. Если будешь не на высоте, значит, способности твои дутые, и я первый заявлю об этом: «Консуэло никуда не годится».

И, несколько не заботясь о том, как губительно может подействовать столь нежное подбадривание, профессор надел очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать на клавесине такт, чтобы дать настоящий темп ритурнели.

Выбор пал на трудную, причудливую, блестящую арию из комической оперы Галуппи «Дьяволица» (*Diavolessa*). Руководствовались при этом тем, чтобы сразу перейти на жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Консуэло произвела такой фурор в это утро. Благодаря своему огромному дарованию девушка, почти не упражнясь, самостоятельно добилась умения проделывать все известные тогда вокальные фокусы своим гибким и могучим голосом. Правда, Порпора указывал ей на эти упражнения и изредка заставлял повторять их, желая убедиться, что она их не забрасывает совсем. Но, в общем, этому жанру профессор уделял так мало внимания, что не подозревал даже, насколько может быть сильна в нем его удиви-



*Нисколько не заботясь о том, как губительно  
может подействовать столь нежное подбадривание,  
профессор надел очки, уселся против своей ученицы  
и стал отбивать на клавишине такт,  
чтобы дать настоящий темп ритурнели.*



тельная ученица. Чтобы отомстить учителю за проявленную им жестокость, Консуэло захотела шутки ради перегрузить причудливую арию из «Дьяволицы» музыкальными украшениями и пассажами, считавшимися до тех пор невыполнимыми. Она импровизировала их так просто, как будто они были вписаны в ноты и она их старательно разучила. В ее импровизациях было столько глубокого знания, силы, чего-то даже дьявольского; среди самого буйного веселья прорывались такие мрачные созвучия, что восхищенных слушателей охватывал просто ужас. Порпора, вскочив со своего места, громко прокричал: «Да ты сам воплощенный дьявол!» Консуэло закончила арию могучим крещендо, вызвавшим неистовый восторг, и с громким хохотом повалилась на стул.

— Ах ты скверная девчонка! — воскликнул Порпора, — тебя мало повесить! Как ты насмеялась надо мной! Утаила от меня половину своих знаний, половину возможностей! Давно мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно все продолжала брать у меня уроки, — пожалуй, для того чтобы похитить у меня все тайны композиции и преподавания, превзойти меня во всем, а потом выставить меня старым педантом.

— Учитель, дорогой, я только повторила то, что вы проделали с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали об этом эпизоде: император не выносил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию, и вот вы, воздержавшись от них до конца, в последней фуге приготовили императору хорошенький дивертисмент: вы начали фугу четырьмя восходящими трелями, повторяемыми затем до бесконечности в ускоренном темпе всеми голосами! Вы только что осуждали злоупотребление вокальными фокусами, а потом сами велели мне исполнять их. Вот я и наделала их слишком много, чтобы доказать, что и я способна злоупотреблять модой. Каюсь в этом.

— Я уж сказал тебе, что ты — сущий дьявол, — ответил Порпора, — а теперь спой-ка нам что-нибудь человеческое и пой, как сама знаешь, — вижу, что я больше не в состоянии быть твоим учителем.

— Вы всегда будете моим уважаемым и любимым учителем! — воскликнула девушка, порывисто бросаясь ему на шею и душа в своих объятиях. — Целых десять лет вы кормили и учили меня. О дорогой учитель, говорят, вам знакома неблагодарность, пусть же Бог отнимет у меня любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности.

Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал свою ученицу в лоб, уронив на него слезу. Консуэло не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу высыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старости, непризнанного гения. Слеза эта произвела на нее страшно тяжелое впечатление, наполнила душу каким-то мистическим ужасом, убив в ней на весь остальной вечер веселость и молодой пыл. После целого часа выражений восторга, удивления и бесплодных усилий вывести ее из такого подавленного настроения, стали просить ее показать себя в драмати-

ческой роли. Она исполнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона»<sup>1</sup> Иомелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потребности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, величественна и еще более красива, чем в церкви: лихорадочный румянец залил ей щеки; глаза метали искры; исчезла святая, на ее месте была женщина, пожираемая любовью. Граф, его друг Барбериги, Андзолето, все присутствующие, кажется, даже Порпора почти обезумели. Клоринда задыхалась от отчаяния.

Граф объявил Консуэло, что завтра же ей будет вручен контракт. Она тут же попросила его обещать ей еще одну милость, причем обещать это так, как некогда делали рыцари, не спрашивая, в чем эта милость будет заключаться. Граф дал ей слово, и все разошлись, потрясенные дивными переживаниями чего-то великого и гениального.

### XIII

В то время как Консуэло одерживала одну победу за другой, Андзолето жил только ею, совершенно не думая о себе; когда же граф, отпуская его, сообщил ему об ангажементе его невесты, умолчав о его собственном, он только тут вспомнил, как все последние часы граф был холоден с ним, и мысль, что он перестал существовать для Дзустиньяни, отравила всю его радость. У него мелькнула мысль оставить на лестнице Консуэло в обществе Порпора, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам, но так как он в эту минуту ненавидел графа, то, к чести его будь сказано, удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с Порпора, он собирался идти с Консуэло вдоль канала, его остановил гондольер графа, сказав, что, по приказанию его сиятельства, гондола ожидает синьору Консуэло, чтобы отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Андзолето.

— Синьора привыкла ходить на собственных ногах, — грубо отрезал он. — Она очень благодарна графу за его любезность.

— А по какому праву вы отказываетесь за нее? — проговорил следовавший за ним граф.

Андзолето, оглянувшись, увидел Дзустиньяни не в том виде, в каком обыкновенно провожают своих гостей, но в плаще, при шпаге, со шляпой в руке; он выглядел как человек, собирающийся на ночные похождения. Андзолето пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Дзустиньяни тот тонкий остро отточенный нож, который всякий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь потайном кармане своей одежды.

<sup>1</sup> «Покинутая Дидона» Иомелли на текст Метастазиио (см. о нем главу LXXXIX), положенный на музыку многими композиторами. Очевидно, автор имеет здесь в виду последний монолог Дидоны, покинутой Энеем, перед тем как она бросается в пылающий огонь.

— Надеюсь, синьора, — обратился граф к Консуэло решительным тоном, — вы не захотите обидеть меня, отказавшись от моей гондолы, а также не пожелаете огорчить меня, не позволив мне усадить вас в нее.

Доверчивая Консуэло, совершенно не подозревая того, что происходило вокруг нее, согласилась на предложение, поблагодарила и, предоставив графу поддерживать ее под локоток, без лишних церемоний прыгнула в гондолу. Тут между графом и Андзолето произошел безмолвный, но энергичный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в лодке, измерял глазами Андзолето, а тот, застыв на последней ступеньке лестницы, тоже впился взором в Дзустиньяни. Разъяренный, он держал руку за пазухой, сжимая в ней рукоятку своего ножа. Еще один шаг к гондоле, — и граф погиб бы. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной молчаливой сцене было то, что оба соперника наблюдали друг за другом, не стремясь ускорить неминуемую катастрофу. Граф, в сущности, лишь намеревался своей кажущейся нерешительностью помучить соперника и помучил его всласть, прекрасно видя и еще лучше понимая, что означала спрятанная за пазуху рука Андзолето, готового заколоть его. У Андзолето тоже хватило выдержки ждать, явно не выдавая себя, пока граф соблаговолит покончить наконец со своей дикой шуткой или пожелает распрощаться с собственной жизнью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему столетием. Граф, выдержав их со стоическим презрением, отвесил Консуэло глубокий поклон и, повернувшись к своему питомцу, сказал: «Позволяю вам также войти в мою гондолу. Впредь вы будете знать, как должен вести себя благовоспитанный человек». Дзустиньяни посторонился, чтобы пропустить Андзолето, затем, дав приказ гондольерам грести к Кортэ-Минелли, продолжал стоять на берегу, неподвижный, как статуя. Казалось, он спокойно ждал нового покушения на свою жизнь со стороны униженного соперника.

— Как мог граф узнать, где ты живешь? — было первое, что спросил Андзолето у своей подруги, как только дворец Дзустиньяни скрылся из вида.

— Потому что я ему сказала, — ответила Консуэло.

— А почему ты сказала?

— Потому что он у меня спросил.

— Неужели ты совсем не догадываешься, для чего ему это надо знать?

— По-видимому, для того, чтобы довести меня туда.

— Ты думаешь, только для этого? А не для того, чтобы самому явиться к тебе?

— Явиться ко мне? Какие глупости! В такое жалкое помещение? Это было бы с его стороны чрезмерной и совершенно нежелательной любезностью.

— Хорошо, что ты этого не хочешь, Консуэло, так как результатом этой чрезмерной чести мог бы быть чрезмерный для тебя позор.

— Позор? А почему это может быть для меня позорно? Право, я ничего не понимаю, милый Андзолето. Меня поражает, почему вместо того, чтобы ни с того ни с сего говорить мне какие-то совершенно непонятные вещи, ты не радуешься со мной нашему сегодняшнему неожиданному и невероятному успеху.



*Граф, повернувшись к своему питомцу, сказал: «Позволяю вам также войти в мою гондолу. Впредь вы будете знать, как должен вести себя благовоспитанный человек».*



— Действительно неожиданно! — с горечью заметил Андзолето.

— А мне казалось, что в церкви вечером, когда мне так аплодировали, ты был упоен счастьем еще больше моего. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я особенно чувствовала свое счастье, видя его как бы отраженным на твоём лице. Но вот несколько минут, как ты стал мрачен, сам не свой, — такой, каким ты бываешь иногда, когда мы голодаем или когда будущее рисуется нам с тобой ненадежным и печальным.

— А тебе хотелось бы теперь, чтобы я радовался нашему будущему? Быть может, действительно оно не так уже неопределенно, но мне-то наверно радоваться нечему.

— Чего тебе еще надо? Неделию тому назад ты дебютировал у графа и произвел фурор...

— Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама это отлично знаешь.

— Хочу надеяться, что это не так, но, если бы это даже было, мы не можем завидовать друг другу. — Консуэло сказала это с такой нежностью, с такой подкупающей искренностью, что Андзолето сразу успокоился.

— Да, ты права! — воскликнул он, прижимая невесту к груди. — Мы не можем завидовать друг другу, так же как мы не можем обмануть друг друга, — произнося последние слова, он с угрызением совести вспомнил об уже начатой аванюре с Кориллой. Вдруг у него мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить его, наверно, как только возмечтает о некоторых шансах на успех у Консуэло, тотчас же расскажет ей обо всем. Андзолето снова пришел в мрачное настроение, а Консуэло тоже задумалась.

— Отчего, — проговорила она после некоторого молчания, — ты говоришь, что мы не можем никогда обмануть друг друга? Конечно, это величайшая правда, но по какому поводу это тебе пришло в голову?

— Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, — прошептал Андзолето. — Боюсь, что гондольеры, подслушав нас, передадут все графу. Навес из бархата и шелка очень тонок, а уши у дворцовых гондольеров раза в четыре шире и глубже, чем у наших наемных.

Когда они пристали к берегу у Корт-Минелли, Андзолето стал умолять Консуэло впустить его в ее комнату.

— Ты знаешь, что это против наших привычек и против нашего уговора, — отвечала она.

— Не отказывай мне, умоляю тебя, не приводи меня в отчаяние и ярость! — закричал Андзолето.

Испуганная его словами и тоном, Консуэло не решилась больше настаивать. Она зажгла лампу, опустила занавески и, увидав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его.

— Скажи, что с тобой? — грустно спросила она. — У тебя такой несчастный, беспокойный вид сегодня вечером.

— А ты сама не знаешь, Консуэло? Не догадываешься?



— Честное слово, нет!

— Так поклянись мне, что ты ни о чем не догадываешься, поклянись мне душой твоей матери, поклянись Христом, которому ты молишься и утром и вечером...

— О! Клянусь тебе Христом и душой моей матери!

— А нашей любовью поклянешься?

— Да, и нашей любовью клянусь и нашим вечным спасением...

— Верю тебе, Консуэло, так как это было бы твоею первой ложью в жизни.

— Ну, а теперь ты мне разъясни, в чем дело.

— Пока ничего не скажу, а быть может, скоро придется тебе все выяснить...

О! Когда наступит эта минута, тебе и так будет слишком ясно... Горе, горе будет нам обоим в тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках!

— Боже! Какое же ужасное несчастье может грозить нам? Боюсь, что в эту убогую комнату, где у нас с тобой не было секретов друг от друга, мы вернулись, преследуемые каким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром, я чувствовала, что возвращусь в отчаянии. Почему не могу я насладиться днем, казавшимся мне таким прекрасным! Я ли не молила Бога так искренне, так горячо! Я ли не отбросила всякие мысли о гордости! Я ли не старалась изо всех сил петь, как только могла лучше! Не я ли огорчалась унижением Клоринды! Не я ли заручилась обещанием графа пригласить ее на вторые роли, причем он сам не подозревает, что не может взять назад свое слово. Повторяю: что же я сделала дурного, чтобы переносить те муки, которые ты мне предсказываешь, которые я уже начала испытывать, раз ты их испытываешь?

— В самом деле, ты хочешь устроить ангажемент для Клоринды?

— Я добьюсь этого, если только граф человек слова. Бедняжка всегда мечтала о театре, да это и единственная возможная для нее будущность...

— И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая кое-что знает, ради ничего не знающей Клоринды?

— Розальба не расстанется со своей сестрой Корилой. Она уйдет с ней. Клориндой же мы с тобой займемся и научим ее пользоваться наилучшим образом ее хорошеньким голосом. А публика всегда будет снисходительна к такой красавице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на третьи роли, и то не беда, — все-таки это будет ее первым шагом в карьере, началом ее самостоятельного существования.

— Ты просто святая, Консуэло! И ты не подозреваешь, что эта благодетельствованная тобой дура, в сущности годная даже не на третьи, а едва-едва на четвертые роли, никогда не простит тебе того, что ты премьерша?

— Что мне до ее неблагодарности! Неужели ты думаешь, что мне в жизни уже не приходилось с нею встречаться?

— Тебе? — и Андзолето расхохотался, по-прежнему братски целуя ее.

— Конечно, — ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь своего друга от грустных дум. — В моей душе постоянно жил и будет всегда жить благо-

родный образ Порпора. У него в моем присутствии часто вырывались мысли глубокие, полные горечи. Наверно, он считал, что я не в состоянии понять их, но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот человек много страдал, горе гложет его, и вот из его личной печальной жизни, из вырвавшихся у него слов, полных негодования, я сделала вывод, что артисты гораздо опаснее и злее, чем ты, мой дорогой ангел, предполагаешь. Знаю я также, что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправедлива. Знаю, что блестящая карьера — тяжкий крест, а слава — терновый венец! Да, все это для меня не тайна. Я так много думала, так много размышляла в этом направлении, что, мне кажется, ничто уж не сможет удивить меня. Когда-нибудь, сама столкнувшись со всем этим, я найду в себе силы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не была опьянена своим сегодняшним успехом. Вот почему я также не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я не знаю еще, в чем дело, но я уверена, что с тобой, лишь бы ты любил меня, я не стану человеконенавистницей, подобно моему бедному учителю, этому благородному старику и несчастному ребенку.

Слушая свою подругу, Андзолето снова приободрился и повеселел. Консуэло имела на него огромное влияние. С каждым днем он обнаруживал в ней все больше и больше твердости и прямоты, того, чего самому ему не хватало. Поговорив с ней с четверть часа, он совершенно позабыл о своих муках ревности, и, когда она снова начала расспрашивать о причине его подавленного настроения, ему стало стыдно, что он мог заподозрить такое чистое, безмятежное существо, и он тут же придумал какое-то объяснение.

— Я одного боюсь: чтобы граф не нашел меня неподходящим для тебя партнером, — настолько высоко он ценит тебя. Меня беспокоит, что сегодня он не заставил меня петь; я, по правде сказать, ожидал, что он предложит нам с тобой исполнить дуэт. Но, по-видимому, он совсем забыл о самом моем существовании; даже не заметил того, что, аккомпанируя тебе, я совсем недурно с этим справился. Наконец, говоря о твоём ангажементе, он не заикнулся о моем. Как не обратила ты внимания на такую странность?

— Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня, может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что без этого условия я никогда бы и не согласилась; разве он не знает, что мы жених и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил ему об этом совершенно определенно?

— Говорил, но, быть может, Консуэло, он это считает хвастовством с моей стороны.

— В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе, Андзолето! Уж я так распишу, что он мне поверит! А вообще ты ошибаешься, друг мой! Если граф не счел нужным заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у него с таким успехом.

— Решенное, но не подписанное! А твой ангажемент будет подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом.

— Неужели ты думаешь, что я подпишу первая? Уж конечно, нет! Хорошо, что ты меня надоумил. Мое имя будет написано не иначе, как под твоим.

— Ты клянешься?

— Как тебе не стыдно! Заставлять меня клясться в том, в чем ты уверен! Право, ты меня сегодня не любишь или хочешь помучить; у тебя такой вид, словно ты не веришь, что я тебя люблю.

Тут на глаза девушки навернулись слезы, она опустила на стул, слегка надувшись, что делало ее очаровательной.

«В самом деле, дурак я, — подумал Андзолето, — совсем с ума спятил. Как мог я допустить мысль, что граф соблазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо! Разве он не настолько опытен, чтобы понять с первого взгляда, что Консуэло не для него, да и позволил бы он мне войти в гондолу вместо себя, не будучи уверен, что ему предстоит сыграть перед ней жалкую роль смешного фата? Нет! Конечно, нет! Моя судьба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэло ему нравится, пусть он ухаживает за ней, даже влюбляется, — все это будет только способствовать моей карьере: она сумеет добиться от него всего, ничему себя не подвергая. Во всем этом она скоро разберется лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательства милейшего графа лишь послужат мне на пользу, дадут мне славу».

И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к ногам своей подруги и отдался порыву страсти, охватившему его впервые и обуздываемому за последние часы только ревностью.

— Красавица моя! — воскликнул он. — Святая моя! Дьяволица моя! Королева! Прости меня, что я думал о себе, вместо того чтобы, очутившись с тобой наедине в этой комнате, начать на коленях поклоняться тебе! Сегодня утром вышел я из нее, ссорясь с тобой, и должен был вернуться сюда не иначе, как на коленях, да, да, ползком на коленях... Как можешь ты любить, как можешь еще улыбаться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физиономию, Консуэло! Наступи мне на голову своей хорошенькой ножкой! Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего дня я навеки твой раб!

— Не заслуживаю я всех этих громких слов, — прошептала она, отдаваясь его ласкам. — А растерянность твою я понимаю и прощаю. Я вижу, что страх разлуки со мной, страх, что наша единая, общая жизнь будет разломана, мог привести тебя в такое состояние. У тебя не хватило веры в Бога, и это похуже, чем если бы ты обвинил меня в какой-нибудь низости. Но я буду молиться за тебя, говоря: «Господи, прости ему, как я ему прощаю!»

Консуэло, говоря о своей любви так просто и так естественно примешивая сюда, по своему обыкновению, испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной стыдливости, была очень хороша в эту минуту. Усталость и волнения пережитого дня разлили в ней такую соблазнительную негу, что Андзолето, и без того уже возбужденный ее безумным успехом, окружившим в его глазах девушку совсем новым ореолом, почувствовал к этой сестричке, до сих пор так спокойно любимой, прилив дикой, могучей страсти. Он был

из тех людей, которые восхищаются только тем, что нравится другим, чему завидуют и что оспаривают другие. Радость сознания, что он обладает предметом стольких вожделений, взгоревшихся и бушевавших вокруг Консуэло, пробудила в нем неудержимую страсть, и впервые она была в опасности, находясь в его объятиях.

— Будь моей возлюбленной! Будь моей женой! — задыхаясь восклицал он, — будь моей, моей навсегда!

— Когда только захочешь, хоть завтра, — с ангельской улыбкой ответила Консуэло.

— Завтра? Почему завтра?

— Ты прав, теперь уже за полночь, — значит, мы сегодня можем обвенчаться. Как только рассветет, мы отправимся к священнику. Родителей у нас с тобой нет ни у того, ни у другого, а обряд венчальный не потребует долгих приготовлений. К счастью, у меня есть ситцевое ненадеванное платье. Знаешь, друг мой, делая его, я имела в виду, что у меня нет денег на подвенечное платье и, если моему милому не сегодня-завтра захочется обвенчаться, мне пришлось бы быть в надеванном платье, а это, говорят, приносит несчастье. Недаром моя мама во сне взяла его и спрятала в шкаф; она, бедная, знала, что делать. Итак, все готово: с восходом солнца мы с тобой поклянемся друг другу в верности. А тебе, негодный, нужно было сперва убедиться в том, что я не урод?

— Ах, Консуэло, какой ты еще ребенок! Настоящий ребенок! — с тоской воскликнул Андзолето. — Разве можно так вдруг обвенчаться, тайно от всех! Граф и Порпора, покровительство которых нам так еще необходимо, были бы очень раздражены против нас, решишь мы на такой шаг, не посоветовавшись с ними и даже не известив их. Твой старый учитель не особенно-то любит меня, а граф, я это знаю из верных источников, не любит замужних певиц. Следовательно, нам нужно время, чтобы добиться их согласия на наш брак. Если бы мы и решили обвенчаться тайно, то нам, во всяком случае, понадобится несколько дней, чтобы втихомолку оборудовать все это. Не можем же мы побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где достаточно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу.

— Как-то не подумала я обо всем этом, — сказала Консуэло. — Так о чем же ты мне только что говорил? Зачем же ты, недобрый, сказал мне: «Будь моей женой», если ты знал, что пока это невозможно? Ведь не я первая заговорила об этом, Андзолето. Правда, я часто думала, что мы уж в возрасте, когда можно жениться, но хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставляла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию и еще знаешь, чему? — твоему вдохновению. Я прекрасно видела, что ты со свадьбой не торопишься, и не сердилась на тебя за это. Ты часто мне повторял, что прежде чем жениться, надо обеспечить будущность своей семье, надо иметь средства. Моя мать была того же мнения, и я нахожу это благоразумным. Итак, приняв все это во внимание, надо еще

подождать со свадьбой. Надо, чтобы наши оба ангажемента с театром были подписаны, не так ли? Надо, пожалуй, заручиться еще успехом у публики. Значит, об этом мы поговорим снова после наших дебютов. Отчего ты так побледнел? Боже мой! Андзолето, отчего ты так сжимаешь кулаки? Разве мы не очень счастливы? Разве мы нуждаемся в клятве, чтобы любить и надеяться друг на друга?

— О Консуэло! До чего ты спокойна! До чего ты холодна, чиста! — с каким-то бешенством закричал Андзолето.

— Я холодна? — в свою очередь закричала, недоумевая, юная испанка, вся покраснев от негодования.

— Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь мне точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не имеешь даже понятия о любви. Я страдаю, я пылаю, я умираю у твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о каком-то платье, о театре...

Консуэло, стремительно встав, снова села, смущенная, дрожа всем телом. Долго она молчала, а когда Андзолето снова стал порываться ласкать ее, она тихонько оттолкнула его.

— Послушай, — сказала она, — нам необходимо объясниться, узнать друг друга. Ты в самом деле считаешь меня слишком ребенком. Было бы притворством с моей стороны уверять тебя, будто я не понимаю того, что прекрасно теперь поняла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила три четверти Европы, недаром я насмотрелась на распушенные, дикие нравы бродячих артистов, недаром я догадывалась о плохо скрываемых тайнах моей матери, чтобы могла не знать того, что, впрочем, всякая девушка из народа моих лет прекрасно знает. Но я не могла допустить, Андзолето, чтобы ты хотел принудить меня нарушить клятву, данную мною умирающей матери. Я не особенно дорожу тем, что аристократки, — до меня подчас долетают их разговоры, — называют репутацией. Я слишком незаметное в мире существо; но честь обязывает меня сдерживать обещание, данное мною. По-моему, к тому же обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хорошая католичка, как мне хотелось бы. Меня ведь так мало учили религии. Конечно, не может быть у меня таких прекрасных утонченных правил поведения, таких высоких понятий о нравственности, как у учениц школы, растущих в монастырской обстановке и слушающих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть свои взгляды, и я придерживаюсь их, как умею. Я не думаю, чтобы наша любовь, делаясь с годами более пылкой, становилась от того менее чистой. Не скупаюсь я на поцелуй тебе, но знаю при этом, что мы не ослушались моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того, чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы, которые легко можно побороть.

— Легко! — воскликнул Андзолето, со страстью хватая ее в свои объятия. — Легко! Я знал, что ты лед!

— Пусть я буду лед! — вырываясь из его объятий, воскликнула она. — Но Господь, читающий в моем сердце, знает, как я тебя люблю.



— Ищи поддержки на его груди! — крикнул Андзолето с досадой. — На моей тебе не так безопасно. Я убегаю, чтобы не поступить нечестно.

Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэло, никогда не выпускавшая его, даже при малейшей ссоре, не успокоив, удержит его и на этот раз. Она, действительно, стремительно кинулась было за ним, но потом остановилась; видя, что он вышел, она подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить и позвать его обратно, но вдруг со сверхчеловеческой силой взяла себя в руки, задвинула засов и, обессиленная жестокой внутренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так, неподвижная, и пролежала она до утра.

#### XIV

— Признаюсь тебе, я влюблен в нее безумно, — говорил в эту самую ночь граф Дзустиньяни своему другу Барберигу, сидя с ним на балконе своего дворца. Было тихо, темно, только что пробило два часа.

— Этим ты даешь понять, что я не должен в нее влюбляться, — отозвался юный и блестящий Барберигу. — Я подчиняюсь, так как за тобой право первенства. Но если Корилле удастся снова захватить тебя в свои сети, ты уж, пожалуйста, предупреди меня, тогда и я попытаю счастья...

— И не мечтай об этом, если ты меня любишь; Корилла для меня была всегда только забавой. Но я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной.

— Нет, но нахожу, что забава эта довольно серьезная, раз она заставляет бросать столько денег и творить столько безумств.

— Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на этот раз мне кажется, что это больше чем забава, каприз, — это настоящая страсть. Я никогда в жизни не встречал существа более своеобразно красивого, чем Консуэло. Ее можно сравнить со светильником, который по временам начинает угасать, но в минуту потухания вспыхивает таким ярким пламенем, что сами светила, выражаясь языком портов, бледнеют при нем.

— Ах! — проговорил, вздыхая, Барберигу, — это черное платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумонашеский наряд, это бледное, спокойное личико, такое незаметное на первый взгляд, эта естественная манера себя держать, без всякого кокетства, — как все это изменяется, можно сказать, обожествляется, когда, вдохновленная своим гением, она запоет! Счастливцев ты, Дзустиньяни, что в твоих руках судьба этой нарождающейся славы!

— Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь! Наоборот, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех женских страстей, хорошо знакомых мне, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и оста-

лась для меня загадкой, несмотря на то, что я целый день следил за ней и изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем потерял голову.

— Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует, раз ты совсем уже ослеп. Я, которого надежда еще не ослепила, сейчас в трех словах объясню тебе то, что для тебя непонятно. Консуэло — цветок невинности; она любит своего мальчугана Андзолето и будет любить его еще в течение нескольких дней; если ты грубо коснешься этой привязанности детства, ты распалишь ее, но, если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, понятно, скоро охладет к своему избраннику.

— Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка! У него величественный голос; он будет иметь успех. Уже Корилла сходила по нему с ума. С таким соперником нельзя не считаться!

— Но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемогущ, — возразил Барбериго. — Главное дело — узнать, что он ей: любовник или друг. В первом случае разочарование наступит скорее для Консуэло; во втором же — между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.

— Значит, по-твоему, мне нужно было бы желать того, чего я ужасно боюсь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А ты что предполагаешь?

— По-моему, они не любовники.

— Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок, наконец нравы подобных людей...

— Консуэло — чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, ты, я вижу, все еще недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из самых ее движений, что она чиста, как горный хрусталь.

— Ты приводишь меня в восторг!

— Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть новых цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь за своей спиной неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавец Андзолето несомненно таким и будет. Я вчера достаточно наблюдал его в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы безошибочно предсказать все его промахи и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Знаешь, брачные узы легко расторгимы между людьми этого класса, ведь любовь этих женщин — это пламенный каприз, а препятствия только раздувают огонь.

— Ты приводишь меня в отчаяние, а между тем я сознаю, что ты прав.

На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот был подслушан кем-то, кого совсем не имели в виду, но кто не проронил из него ни единого слова. Сбежав от Консуэло, Андзолето, снова терзаемый ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и почти всегда проходили безнаказанно для аристократов. Андзолето

не слышал продолжения разговора двух друзей: луна поднялась над дворцом, и тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться на мостовой; молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, встали и ушли, закрыв за собой дверь.

Андзолето скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. И этого было вполне достаточно, чтобы знать, как ему быть, как использовать добродетельные советы Барбериго другу. Он только под утро заснул на каких-нибудь два часа, затем вскочил и бросился бегом на Кортэ-Минелли. Сквозь щель плохо прикрытой двери ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кровати; она была неподвижна и бледна, как труп: предрасветный холод привел ее в чувство, и она бросилась на свою постель, не имея сил раздеться. Встревоженный Андзолето молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка все продолжает быть в каком-то летаргическом состоянии, он, страшно перепуганный, вынул нож, и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. Не обошлось при этом без некоторого шума, но Консуэло была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолето вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у изголовья девушки и ждал ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости, но вслед за тем отдернула руки, которыми только что обняла его за шею, и с ужасом от него отшатнулась.

— Ты теперь, я вижу, боишься меня и вместо того, чтобы обнять, хочешь бежать от меня, — с отчаянием в голосе проговорил Андзолето. — Как жестоко я наказан! Прости меня, Консуэло! Я больше часа здесь сторожил твой сон. Разве после этого ты можешь не доверять мне? Прости, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод сердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда больше я не оскорбляю нашей святой любви преступными порывами. И если только не сдержу своей клятвы, брось меня, прогони меня! Вот здесь, у твоей девственной постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь уважать тебя так, как уважал до сих пор, клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не хочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, дорогая моя, святая Консуэло?

Консуэло молча прижала белокурую голову венецианца к своей груди, обливая ее слезами. Слезы облегчили ее, и, снова опустив голову на свою маленькую жесткую подушку, она тихо проговорила:

— Признаю тебе, я чуть жива: всю ночь не сомкнула глаз; мы так плохо с тобой расстались.

— Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! — ответил ласково Андзолето. — Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама в это время молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часик-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас, если вообще сегодня еще подумают о нас раньше вечера. Спи же, этим ты покажешь, что простила меня и веришь мне.

Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез.

Андзолето так долго прожил спокойно и безмятежно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одного дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата.

Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его намерения.

«Спасибо вам, господа вельможи, — говорил себе Андзолето, — вы дали мне урок вашей собственной нравственности, и "маленький негодай", поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого развратника-повесы вашего класса. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества, именитый и глубокоуважаемый Барбериги, идут впрок, полезно поучиться в вашей школе».

Среди этих размышлений Андзолето, также совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок; как только стало заходить солнце, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным, пурпурным светом и старую кровать и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэло сделала себе род занавески, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у ее изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое, замечательно пропорциональное тело. И в этой розовой полумгле она лежала, точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Со своими великолепными черными волосами, разметавшимися по ее белым матовым плечам, со скрещенными на груди, как у святой, руками, девушка была так непорочна, так божественно хороша, что Андзолето злобно подумал:

«О граф Дзустиньяни, если б ты мог только видеть ее в эту минуту и подле нее меня, ревниво оберегающего, осторожного стража сокровища, которого тебе никогда не иметь!»

В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум; тонкое ухо Андзолето уловило плеск воды о домишко, в котором помещалась комната Консуэло. К Кортэ-Минелли редко приставали гондолы, да и догадливость у Андзолето была дьявольская. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходившего на маленький канал. Тут он ясно увидел графа Дзустиньяни в тот момент, когда тот, выйдя из гондолы, подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то спрашивать. В первую минуту он не знал, на что решиться: разбудить ли свою подругу или держать дверь на запоре. Но за те десять минут, которые граф употребил на расспросы и розыски комнатухи Консуэло, Андзолето

успел запастись дьявольским хладнокровием, пошел и приоткрыл дверь, для того чтобы можно было свободно войти без шума, а сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выдавая внутреннего волнения.

Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка радовала его: ему казалось, что это должно было благоприятствовать его плану соблазна. Он привез с собою уже подписанный им контракт Консуэло и надеялся, что с таким документом не будет слишком сурово принят. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Андзолето был отомщен за вчерашнюю унижительную сцену у гондолы.

— Ваше сиятельство, покровитель мой! — воскликнул, вставая, Андзолето, делая вид, что страшно удивлен неожиданным появлением графа. — Я сейчас же разбужу свою... невесту.

— Нет! — ответил граф, уже успевший прийти в себя от своего смущения, повернувшись спиной к Андзолето, якобы для того, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэло.

— Я так счастлив, что вижу ее в таком состоянии. Я запрещаю тебе будить ее.

«Да, да! Любуйтесь на нее! — думал Андзолето. — Мне только этого и нужно».

Консуэло не просыпалась, а граф, понизив голос, с самым милым, веселым лицом стал выражать свой восторг.

— Ты был прав, Дзото, — начал он спокойным голосом, — Консуэло — первая певица всей Италии; я же был виноват, сомневаясь, что она к тому же и красивейшая женщина в мире.

— А ваше сиятельство считали ее уродливой, — заметил лукаво Андзолето.

— И, наверно, ты передал ей все мои грубые выражения? Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся повредить мне, напоминая о моей вине.

— Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это пришло мне в голову?

Тут Консуэло слегка зашевелилась.

— Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а ты освободи мне стол. Мне надо на нем разложить и перечитать контракт Консуэло. Знаешь, пока она спит, ты можешь этот контракт сам пробежать, — проговорил граф, когда Андзолето, исполнив его приказание, очистил стол.

— Контракт до дебюта? Да это просто великолепно, о мой благородный покровитель. И дебют немедленно, пока еще не кончился контракт с Корилой?



— Пустяки! Неустойка в тысячу цехинов — выплатим ей: такой пустяк!  
 — Но если Корилла пустит в ход интриги?  
 — Мы за эти интриги упрячем ее в тюрьму.  
 — Бог мой! Для вашего сиятельства нет преград!  
 — Да, Дзото, — ответил граф суровым голосом, — мы уж таковы: то, чего хотим, мы хотим во что бы то ни стало и наперекор всему и всем.

— Как! условия ангажемента те же, что и у Кориллы? — продолжал Андзолето. — Для дебютантки без имени, без известности те же условия, что для знаменитой певицы, идола публики?

— Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то, стоит ей заикнуться, и она получит вдвое. Все зависит от нее, — прибавил он, повышая немного голос, заметив, что Консуэло начала просыпаться. — Ее судьба в ее руках.

Консуэло, слыша все это в каком-то полусне, протерла себе глаза и, убедившись, что то был не сон, соскользнула с кровати; не задумываясь над странностью положения, кое-как привела она в порядок свои волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор:

— Вы слишком добры, ваше сиятельство, но я не настолько бессовестна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. В этот день я могу оказаться не в голосе, растеряться, быть наконец неинтересной, уродливой... Вы, будучи связаны словом, не захотите взять его обратно, я же слишком горда, чтобы злоупотреблять им...

— Уродливой в такой-то день, Консуэло! — воскликнул граф, пожирая ее глазами, — вы — уродливой? Взгляните на себя, как вы есть, сейчас! — продолжал он, взяв ее за руку и подводя к зеркалу. — Если вы восхитительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь, осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?!

Андзолето, видя наглость графа, готов был от ярости скрежетать зубами. Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям, сейчас же успокоило его.

— Ваше сиятельство, — сказала она, отталкивая от себя обломок зеркала, который граф поднес к ее лицу, — смотрите не разбейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно никогда не обманывало меня. Будь я красавица или урод, я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать вам откровенно, что ни дебютировать, ни заключать контракта я не стану, если мой жених, вот он здесь налицо, также не получит ангажемента. Я не хочу иного театра, иной публики, как только его театра и его публики. Расстаться мы с ним не можем, так как собираемся жениться.

Это неожиданное признание немного ошеломило графа, но он сейчас же оправился от своего смущения.

— Вы правы, Консуэло, и я вовсе не хочу вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с вами. Только мы не должны закрывать глаза на то, что, хотя у него и крупный талант, но все-таки ему далеко до вас.

— Я совсем этого не думаю, — горячо возразила Консуэло, покраснев при этом, как от личной обиды.

— Знаю, знаю, что он ваш ученик гораздо больше, чем того профессора, которого я ему дал, — улыбаясь заметил Дзустиньяни. — Не отнекивайтесь, моя красавица! Помнится, Порпора, узнав о вашей близости с ним, воскликнул: «Теперь мне делаются понятными некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со всеми его недостатками».

— Большое спасибо господину профессору! — улыбаясь, сказал Андзолето.

— Ничего, он изменит свое мнение, — весело проговорила Консуэло. — Публика заставит дорогого, славного учителя разубедиться.

— Дорогой ваш, славный учитель — лучший судья, лучший знаток пения во всем мире, — добавил граф. — Пусть же Андзолето продолжает пользоваться вашими указаниями. Это только послужит ему на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключать с ним договора, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности к нему, конечно, он не будет обижен.

— Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы покорные слуги вашего сиятельства. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта! На этом я твердо стою...

— Вы, Консуэло, быть может, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю. Так продиктуйте свои. Вот вам перо, — сами вычеркивайте, сами добавляйте: моя подпись внизу.

Консуэло взялась за перо. Андзолето побледнел, а граф, заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружевного жабо, которое перед тем все время теребил.

Консуэло, решительно перечеркнув контракт, написала на остающемся свободном месте выше подписи графа: «Андзолето и Консуэло обязуются оба вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзустиньяни им предложить, после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле». Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному.

— Подписывай не читая, — сказала она, — ты этим, хотя слабо, докажешь, как ты благодарен и доверяешь своему благодетелю.

Андзолето все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо.

— Консуэло! — воскликнул Дзустиньяни, — странная вы девушка, чудесное существо, по правде сказать! Ну, а теперь оба идите ко мне обедать, — добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэло. Девушка приняла это приглашение, но попросила графа вместе с Андзолето подождать ее в гондоле, пока она немного приоденется.

«Как видно, у меня будет на что сделать себе подвенечное платье», — думала Консуэло, оставшись одна.

Она накинула на себя ситцевое платьице, пригладила волосы и, прыгая через ступеньки, понеслась вниз по лестнице, распевая во весь свой чудесный голос.

Граф, желая проявить особенную любезность, остался с Андзолето ждать ее на лестнице. Она же, не подозревая, что Дзустиньяни может быть так близко, почти упала в его объятия, но, быстро освободившись от них, поймала руку графа и, по местному обычаю, поднесла ее к своим губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различие в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и радостно и шаловливо прыгнула в гондолу, не дожидаясь церемонного сопровождения своего покровителя, немного раздосадованного.

## XV

Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, думал было прельстить ее бриллиантами и туалетами, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит исключительно простонародная гордость: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако ему удалось заставить ее принять от него платье из белого атласа, убедив ее, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и он просил, чтобы она из уважения к нему рассталась со своей одеждой простолюдинки. Она подчинилась и отдала себя в руки модных портних, которые, конечно, не преминули попользоваться этим и не поскупились на материю. Превратившись через два дня в нарядную женщину, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за пенье в тот вечер, когда она так восхитила его и его друзей, она все-таки была красива, хотя это и не шло к характеру ее красоты, а нужно было, чтобы пленять пошлые взоры. Однако такой результат никогда не мог быть достигнут вполне. С первого взгляда Консуэло никого не поражала, не ослепляла, она была всегда бледна: у нее, такой скромной, всегда занятой, не было в глазах блеска, загорающегося у женщин, жаждущих блистать. Лицо ее отражало серьезный, вдумчивый характер. Когда видели ее, говорящей о пустяках за едой, вежливо скучающей среди пошлости светской жизни, никому не приходило в голову, что она красива. Но как только это лицо озарялось веселой, детской улыбкой, все начинали тотчас же находить ее милой. Когда же она еще более воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись наружу ее богатые внутренние силы, она мгновенно преображалась: огонь гениальности загорался в ней; тут она приводила в восторг, увлекала, уничтожала, сама не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.

Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэло: в этом светском человеке были скрыты струны артистической души, которые Консуэло заставляла дрожать. Но и теперь аристократ не мог постигнуть, насколько ничтожны, бессильны те способы, которыми он стремился завоевать эту женщину, так мало во всем похожую на тех, кого ему удавалось до сих пор развращать.

Он вооружился терпением и решился прибегнуть к воздействию соперничества: он пригласил Консуэло в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориаллы пробудит в ней честолюбие. Но результат от этого опыта получился совсем не тот, которого он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молчаливая, усталая от грома рукоплесканий, но совсем не захваченная ими. В Кориалле она не нашла настоящего таланта, благородной страсти, мощи. Она считала себя достаточно компетентной, чтобы судить об этом искусственном, деланном таланте, уже загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии — восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэло в душе завидует, если не таланту, то успеху Кориаллы.

— Успех этот ничто в сравнении с тем, который ожидает вас, — сказал он ей, — пусть только он даст вам представление о тех победах, какие предстоят вам, если вы покажете себя публике такой, какой вы показали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели?

— Нисколько, граф, — улыбаясь, ответила Консуэло. — Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Думаю же я о том, что можно было бы еще сделать из роли, которую так блестяще исполняет Кориалла. Мне кажется, что в этой роли есть еще не использованные ею эффекты.

— Как, вы не думаете о публике?

— Нет, я думаю о партитуре, о намерениях композитора, о характере роли, об оркестре, достоинства которого надо использовать, а недостатки скрыть, превзойдя себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте; он, по-моему, требует более строгого управления; прислушиваюсь к местам более трудным, где надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая для этого силы. Как видите, граф, есть много, о чем стоит подумать помимо публики, которая ничего в этом не понимает и не может понимать.

Такие здравые взгляды и такая строгая оценка до того поразили графа, что он не решился задавать ей еще вопросы. С ужасом спрашивал он себя, какой интерес может представлять такой поклонник, как он, для такого ума.

К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикующимся в подобных случаях; это был также источник всяких пререканий, всяких споров между графом и Порпора, между Консуэло и ее возлюбленным. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов,

которым в наше время дали развиваться до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Также еще не подбирался искусно состав публики, не прибегали к всемогущим рекламам, выдуманным биографиям. Не была известна еще и могучая машина, называемая клакерами. Тогда были в ходу серьезные происки, страстные интриги среди партий, но все решалось только публикой. Одними она наивно увлекалась, к другим так же стихийно была враждебна. Не всегда здесь главную роль играло искусство: тогда, как и теперь, в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки.

В театральных делах Дзустиньяни вел себя скорее как меценат-вельможа, чем как директор театра. В своих салонах он подготавливал публику, подогревая успех своих представлений. Разумеется, в его способах не было никогда ничего ни подлого, ни низкого, но он вносил в них свое чисто ребяческое самолюбие, примешивая сюда свои любовные похождения, сплетни и интриги большого света. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками, здание славы Кориаллы. Все видели, что он хочет создать новую славу, и ему приписывалось уже полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать; бедная Консуэло еще и не подозревала ничего насчет чувств графа к ней, а вся Венеция уже говорила, будто бы графу опротивела Кориалла и он собирается вместо нее дать дебют своей новой любовнице.

Многие добавляли: «Какое издевательство над публикой и какой вред для театра! Его фаворитка — какая-то уличная певичка, ничего не знающая, обладающая лишь красивым голосом и сносной наружностью».

Начались интриги сторонников Кориаллы, она же, в свою очередь, разыгрывая роль соперницы, принесенной в жертву, подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с «цыганочкой» (*zingarella*) за ее наглые происки. Начались также интриги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у которых Кориалла отбила или совратила мужей и возлюбленных; были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских дон-жуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец в числе интригующих были и обманутые и отвергнутые любовники Кориаллы, жаждавшие, чтобы успех соперницы отомстил за них.

Истинные любители музыки (*dilletanti di musica*) также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов музыки, как Порпора, Марчелло, Иомелли, предсказывавшие, что с появлением на сцене дебютантки вернутся туда и серьезные оперы и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, более легкие произведения которых всегда предпочитала Кориалла: ее уход грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется взяться серьезно за работу; весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменой



в труппе, даже машинисты, костюмерши, парикмахеры — все всполошились, все были за или против дебюта. Надо правду сказать, что в республике этим дебютом гораздо больше интересовались, чем действиями нового правительства, возглавляемого новым дожем Пьетро Гримальди, в это время мирно заместившим своего предшественника — дожа Луиджи Пизани.

Консуэло была в подавленном настроении, ее огорчали и промедление и всякие перипетии, связанные с ее начинающейся карьерой. Она желала дебютировать сейчас же, без всяких приготовлений, только разучив новую оперу. Она совершенно не разбиралась в этой массе интриг, считала их более опасными, чем полезными, и была уверена, что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже тайны театрального дела и, желая, чтобы в его воображаемом счастье с Консуэло ему позавидовали, а не осмеляли его, не останавливался ни перед чем, чтобы завербовать ей как можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял ее всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэло плохо способствовали его планам; но стоило ей запеть, и победа оказывалась блестящей, решительной, беспорной.

Андзолето далеко не разделял взгляды своей подруги на подсобные средства. Его успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего граф не относился к нему с большой горячностью, затем тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассный певец, и заставить забыть его было не так-то легко. Правда, каждый вечер он также выступал у графа, и Консуэло удивительно искусно умела выдвигать его в дуэтах; увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходившим его собственный, Андзолето часто достигал большого совершенства. Ему много аплодировали, поощряли, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг при первом его выступлении, терял при сравнении с голосом Консуэло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но и он сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, а Консуэло никак не могла убедить его каждое утро позаниматься с ней в ее убогой комнате на Кортэ-Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, желавшего устроить ее более прилично. Андзолето до того был поглощен разными посещениями, хлопотами, интригами, у него было столько мелочных забот и беспокойств, что совершенно не оставалось ни времени, ни охоты для работы.

Среди всех этих тревожений Андзолето, обдумывая свое положение, пришел к заключению, что наиболее опасным врагом для него является Кориалла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, он решил побывать у нее, чтобы склонить ее на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и его мести и что она получила блестящее предложение в Итальянскую оперу в Париже, что она ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над мечтаниями графа и его приближенных.

Андзовето надеялся обезоружить этого страшного врага, действуя лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина: все отдыхают, и посещения весьма редки.

## XVI

Он застал Кориλλу одну в ее прелестном будуаре, дремлющей на кушетке в изящнейшем капоте; но при дневном свете Андзовето не мог не заметить, как изменилось ее лицо; не так уж легко, очевидно, относилась она к истории с Консуэло, как старались уверить ее верные поклонники. Тем не менее она встретила его с очень веселым видом.

— А, это ты, плутишка? — воскликнула она, шуточно похлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть дверь. — Ты опять явился со своими сладкими речами? Не думаешь ли убедить меня, что ты не самый коварный из всех пустомель и не самый пронырливый из всех искателей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из людей, если предполагаете, что ваше внезапное исчезновение, после таких нежных признаний, хоть каплю огорчило меня. Вы величайший дурак, что заставили себя ждать: через сутки я совершенно перестала о вас думать.

— Сутки! Да это колоссально! — ответил Андзовето, целуя выше локтя тяжелую и полную руку Кориλλы. — Ах! если б я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно знаю, что, будь я настолько легковерен и прими за чистую монету, когда вы мне говорили...

— То, что я говорила, советую тебе забыть. Если б ты тогда явился, тебя не приняли бы. Но как посмел ты прийти сегодня?

— Разве не благородно не пресмыкаться перед людьми, когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданностью, когда...

— Доканчивай! «Когда они в опале»? Это очень великодушно и чело-вечно с твоей стороны, великолепный мой друг! — и Корилла, откинувшись на свою черную атласную подушку, залилась резким, несколько деланным смехом.

Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная примадонна и казалась не первой свежести, хотя все пережитое за последнее время и оставило след на ее полном, цветущем лице, но Андзовето, которому никогда еще не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в душе, в том уголке, куда Консуэло не захотелось снизойти и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ.

Мужчины, развращенные слишком рано, могут еще испытывать чувство дружбы к честной, безыскусной женщине, но разжечь в них страсть способна только кокетка. Андзовето на издевательство Кориλλы отвечал признаниями

в любви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного, а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю «любовь», за неимением более подходящего слова, но употреблять это чудесное слово для обозначения того чувства, которое внушают такие холодные, вызывающие женщины, как Корилла, значит профанировать его.

Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен ею, она смягчилась и стала над ним подтрунивать более дружески.

— Сказать правду, ты мне нравился в течение целого вечера, но, в сущности, я тебя не уважаю. Знаю, что ты тщеславен, — значит, фальшив, способен на всякую измену и нельзя положиться на тебя. Ты тогда, помнишь, ночью в гондоле разыграл ревнивца, а потом деспота... После пресных ухаживаний аристократов я могла бы рассеять с тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчишка, ты был влюблен в другую и сейчас в нее влюблен и женишься... на ком? О, я прекрасно знаю: на моей сопернице, на дебютантке, на новой любовнице Дзустиньяни. Позор нам обоим, нет, троим, даже всем четверым! — раздражаясь, закричала она, вырывая у Андзолето свою руку.

— Жестокая! — воскликнул он, силясь снова поймать эту полную руку. — Вы должны были бы сами понять, что произошло со мной, когда я впервые увидел вас, и не заботиться о том, что меня интересовало до этой чрезвычайной минуты... А что было потом, разве вы не можете догадаться? Да и стоит ли нам об этом думать!

— Я довольствуюсь полусловами и недомолвками. Скажи прямо: ты все еще любишь эту «цыганочку»? Ты женишься на ней?

— А если бы я ее любил, почему же я не женился на ней до сих пор?

— Да потому, может быть, что раньше граф был против. Теперь же все знают, что он хочет этого. Говорят, что даже у него есть основание желать, чтобы это поскорей произошло, а у девочки и подавно...

Андзолето покраснел, услышав, как оскорбляют существо, которое он почитал больше всего на свете.

— А! ты возмущен моими предположениями, — возразила Корилла. — Прекрасно! Это все, что я хотела знать: ты любишь ее. Когда же свадьба?

— Я совсем на ней не женюсь.

— Значит, вы делитесь? Недаром ты в такой милости у графа.

— Ради Бога, синьора, не будем говорить ни о графе, ни о ком, кроме нас с вами.

— Хорошо! Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя будущая супруга... — Андзолето был возмущен. Он встал, порываясь уйти. Но уйдя, он этим самым тотчас разжег бы еще сильнее ненависть женщины, к которой он пришел именно для того, чтобы умиротворить ее. Он стоял в нерешительности, униженный и несчастный в своей жалкой роли.

Корилла жаждала увлечь его, не потому что любила, а видя в этом способ отомстить Консуэло, причем она далеко не была уверена в том, что оскорбление, брошенное сопернице, имело основание.





— Сказать правду, ты мне нравился в течение целого вечера,  
но, в сущности, я тебя не уважаю.

— Вот видишь, — сказала она, пронизывая его взглядом, пригвоздившим его на пороге будуара, — я имела основание не верить тебе: в эту минуту ты обманываешь одну из нас: или ее, или меня.

— Ни ту, ни другую! — крикнул он, стремясь оправдать себя в собственных глазах. — Я не любовник ее и никогда им не был, даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу.

— Ври больше! Ты ревнуешь так, что не хочешь даже сознаться в этом, а сюда зачем ты явился? Излечиться или забыться? Благодарю покорно!

— Повторяю же вам, я вовсе не ревную, и, чтобы вам доказать, что во мне говорит не злоба... Знайте, что граф не любовник ее, — она чиста, как ребенок, и единственно, кто перед вами виноват, — это граф Дзустиньяни.

— Значит, я могу заставить освищать «цыганочку», не огорчив тебя? Будешь ты сидеть в моей ложе, освищешь ее, а по выходе из театра станешь моим единственным любовником! Ну, соглашайся скорее, а то передумаю.

— Значит, синьора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы прекрасно знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Если ее освищут, то и я, поющий вместе с ней, тоже должен быть жертвой вашего гнева? Что же сделал я, несчастный, чтобы заслужить вашу немилость? А у меня была мечта, прекрасная, пагубная: я целый вечер воображал, что вы немножко интересуетесь мной и что благодаря вам я даже выдвинусь. Оказывается же, вы презираете и ненавидите меня, меня, который так любил вас, что принужден был бежать... Удовлетворяйте же свое чувство отвращения! Проваливайте меня! Губите всю мою карьеру! Скажите только сейчас, с глазу на глаз, что я вам не противен, и я готов претерпеть всенародно ваш гнев.

— Ах ты змей-искуситель! — воскликнула Корилла. — Где, скажи, насохался ты этого яда лести, которым полны и речи твои и взоры? Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, — страх удерживает меня: ты очаровательнейший любовник и опаснейший враг!

— Я ваш враг? Как бы осмелился я быть им, не будь я пленен вами? Да разве вообще у вас есть враги, божественная Корилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас так все знают, где вы всегда царили безраздельно? Любовная ссора заставила мучительно страдать графа. Он хочет удалить вас, чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается девочка, не лишенная способностей. Она мечтает о дебюте. Да разве это такое уж преступление со стороны бедного ребенка, никогда не произносящего вашего громкого имени иначе, как с уважением и страхом? Вы приписываете этой бедняжке наглые притязания, на которые она совсем неспособна. Причины вашего предубеждения мне ясны: с одной стороны — стремление графа, чтобы она понравилась его друзьям; преувеличение ее достоинств этими услужливыми друзьями; с другой стороны — ваши поклонники, вместо того чтобы внести покой в вашу душу, убедив вас, что ваша слава непоколебима, а ваша соперница трепещет, они, наоборот, своей злобной клеветой раздражают и огорчают вас. Все это так, но как мне убедить вас?



— Прекрасно знаешь, болтун проклятый, — сказала Корилла, глядя на него нежно и страстно, но все-таки с некоторой примесью недоверия, — я слушаю твои медовые речи, но разум велит мне бояться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хороша, хотя меня и стараются уверить в обратном, и достоинства, — конечно, совершенно не в моем жанре, — у нее есть безусловно, раз сам строгий Порпора говорит об этом во всеуслышание.

— Разве вы не знаете Порпора? А тогда вам должны быть хорошо известны его странности, скажу более, мания. Враг всякой оригинальности у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор способен за гамму, правильно пропетую ученицей, объявить ее выше всех звезд, обожаемых публикой; для этого надо только, чтобы ученица эта внимательно слушала его болтовню и педантично выполняла его уроки. С каких пор придаете вы такое значение причудам этого сумасшедшего старика?

— Так у нее нет таланта?

— У нее прекрасный голос, и она поет прилично в церкви, о театре же она, по всей вероятности, не имеет ни малейшего представления; что же касается силы ее голоса, то, надо полагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те небольшие данные, которыми ее наградило небо.

— Она? Растеряется? Что ты! Мне говорили, что она смела до наглости!

— Бедная девочка! Как враждебно все к ней настроены! Вы ее услышите, божественная Корилла, и я знаю, вы почувствуете к ней сострадание. Вместо того, чтобы устроить ей провал, как шутя только что грозили, вы сами поддержите ее.

— Или ты лжешь, или друзья мои лгут про нее!

— Ваши друзья просто были введены в заблуждение. Усердствуя безрассудно, они испугались для вас соперницы: испугаться за вас! И испугаться кого же? Ребенка! Мало же эти люди ценят вас, если они не знают ваших сил! Имей я счастье быть вашим другом, я, поверьте, лучше знал бы вас и не оскорбил бы так, боясь соперницы, будь она сама Фаустина или сама Мольтени!

— Не подумай, что я испугалась ее. Я и не завистлива и не зла, а так как чужие успехи никогда не вредили мне, я никогда ими не огорчалась. Но раз хотят унижить меня, заставить страдать...

— Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэло? Посмей она только, давно бы уж она сама пришла к вам за советом и помощью. Но это такой застенчивый ребенок! К тому же и ей наклеветали на вас. Наговорили, что вы и жестоки, и мстительны, и хотите ее провалить.

— Неужели ей могли сказать это? В таком случае мне совершенно понятно твое присутствие здесь.

— Нет, синьора, очевидно вы не понимаете настоящей его причины; я ни одной минуты не верил этой клевете на вас, да никогда и не поверю. Нет, синьора, нет, вы меня не понимаете!

При этих словах черные глаза Андзовето засверкали, и он опустился на колени у ног Кориллы с неподражаемым выражением любви и истомы.

Корилла была проницательна и хитра, но как случается с самовлюбленными женщинами, тщеславие часто ослепляло ее, и она попадала в ловушку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Андзолето она не встречала мужчины; и она не смогла устоять перед его влюбленными речами. Сначала играло роль и чувство удовлетворенной мести, а потом мало-помалу она страстно привязалась к нему. Через неделю после их первого свидания она была от него без ума и своими бурными вспышками ревности и гнева могла ежеминутно выдать тайну их связи. Андзолето, тоже по-своему влюбленный в нее, — сердце его все-таки не могло изменить Консуэло, — был просто перепуган молниеносностью и полнотой одержанной победы. Он надеялся сохранить свое влияние на Кориllu, пока это было ему необходимо, то есть помешать ей испортить его собственный дебют и успех Консуэло. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убедить, покорить. Ему удалось уверить ее, что он больше всего ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Искусно набросал он роль, которую она, если только не хочет заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна играть по отношению к Консуэло при публике. Будучи нежен с ней, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бедная Корилла переиграла в своем будуаре всевозможные роли, кроме этой, надо сказать, не удававшейся ей и на сцене. Тем не менее она покорилась, боясь утратить наслаждения, которыми еще не пресытилась, а он умел заманивать. Андзолето удалось убедить ее, будто граф все еще, несмотря на раздражение, влюблен в нее и только хвастается, говоря, будто разлюбил ее, а сам втайне ревнует.

— Знай он только о том счастье, которое я переживаю с тобой, — говорил он ей, — конец всему: и дебюту и, пожалуй, самой моей карьере. Из того, как он охладил ко мне, узнав из-за твоей же неосторожности о моей любви к тебе, я заключаю, что он вечно преследовал бы меня своей ненавистью, открой он, что я утешил тебя.

При создавшихся обстоятельствах это было мало правдоподобно: граф, услышав о том, что Андзолето изменяет своей невесте, был бы, наверно, в восторге; но тщеславной Корилле хотелось верить обману. Верила она также и тому, что ей нечего бояться любви Андзолето к дебютантке. Когда он всячески оправдывался в этом и клялся всеми святыми, что ничем иным не был для этой девушки, как только братом, его уверения были так убедительны, — ведь это была сущая правда, — что ему удалось усыпить ревность Кориллы. Великий день близился, и ее интриги против Консуэло прекратились. Она даже начала действовать в противоположном направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная дебютантка сама по себе провалится, а Андзолето будет ей бесконечно благодарен за то, что она в этом провале не принимала участия. Помимо этого Андзолето сумел ловко рассорить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами, разыграв ревнивца, и настоял на том, чтобы она их довольно-таки резко выпроводила.

Разрушая таким образом втихомолку планы женщины, которую каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый венецианец в то же время играл совсем другую роль пред графом и Консуэло. Он хвастался пред ними, что своими ловкими приемами, посещениями и наглою ложью ему удалось обезоружить грозного врага их успеха. Легкомысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся рассказами своего питомца. Самолюбию его особенно льстили уверенья Андзолето, будто Корилла опечалена их разрывом, и он подбивал юношу к разным подленьким проделкам с легкомысленной жестокостью, обычной в театральном мире и мире любовных похождений. Все это удивляло и огорчало Консуэло.

— Гораздо было бы лучше, — говорила она своему жениху, — если б ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Вот с этой-то публикой и надо считаться, а я с грустью вижу, что о ней ты несколько не думаешь.

— Неволнуйся же, Консуэло, дорогая, — ласково отвечал Андзолето. — Ты заблуждаешься, считая, что публика и беспристрастна и просвещенна в одно и то же время. Люди понимающие очень редко бывают добросовестны, а добросовестные так мало смыслят, что малейшее проявление смелости ослепляет и увлекает их.

## XVII

Ревность Андзолето к графу несколько утасла: его отвлекали и жажда успеха и пыл Кориллы. К счастью, Консуэло не нуждалась в более нравственном и более бдительном защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка ускользала от смелых выходов Дзустиньяни и держала его на расстоянии, именно потому что не придавала им никакого значения. Однако недели через две этот распутный венецианец убедился, что в ней еще не пробудились суетные страсти, влекущие к разврату, и он всячески старался пробудить их. Но так как он в этом отношении еще не добился за все время ни малейшего успеха, то и не решался слишком усердствовать, боясь испортить все дело. Если б Андзолето досаждал ему своею бдительностью, то, быть может, он с досады и поспешил бы дойти до конца; но Андзолето предоставлял ему полную свободу действий. Консуэло ничего не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть любезным, ожидая, что он сделается необходимым. Он изошрялся в нежной предупредительности, утонченном ухаживании, лишь бы понравиться ей. Консуэло, принимая это поклонение, упорно объясняла его аристократической щедростью и щегольством, увлечением искусством и прирожденной добротой своего покровителя. Она чувствовала

к нему истинную дружбу, святую благодарность; он же испытывал и счастье и тревогу близ этой чистой и преданной души, уже побаиваясь того чувства, которое он вызовет в ней своим решительным признанием.

И вот в то время, как он со страхом, но с приятностью переживал это новое для него чувство, несколько утешаясь тем заблуждением, в котором пребывала вся Венеция насчет его победы, Корилла тоже ощущала в себе какое-то пере рождение. Она любила, если не благородной, то пылкой страстью; властная, и раздражительная, она склонилась под иго юного Адониса, подобно сладострастной Венере, влюбившейся в красавца-охотника и впервые смилившейся и робкой перед избранным ею смертным. Она покорилась настолько, что пыталась притворно проявлять добродетельные качества, ей не свойственные, ощущая все же при этом некое сладострастное и нежное умиление. Ведь это правда, что обоготворение, перенесенное от самого себя на другое существо, приподнимает и облагораживает души, наименее склонные к величию и самоотверженности.

Испытанное ею потрясение отразилось и на ее даровании: в театре замечали, что она играла патетические роли естественно и с чувством. Но так как ее характер и самая сущность ее природы были, так сказать, надломлены и потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный, для того чтобы вызвать такое превращение, ее физические силы изнемогали в борьбе: день за днем замечали с изумлением, одни — со злорадством, другие — с испугом, что она теряет свои голосовые средства. Ее голос постепенно угасал. Короткое дыхание и неуверенность интонации вредили блестящей фантазии ее импровизаций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали ее силы, и на представлении, предшествовавшем дебюту Консуэло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих мест, что ее друзья, начавшие слабо аплодировать, были принуждены умолкнуть, запуганные ропотом недовольных.

Наконец настал великий день. Зал был так переполнен, что едва можно было дышать. Корилла, вся в черном, бледная, потрясенная, еле живая, сидела в своей маленькой, темной ложе, выходившей на сцену: она трепетала вдвойне, боясь провала своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о торжестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Венеции, в цветах и в драгоценных камнях, заняли сияющий огнями полукруг. Франты толпились за кулисами и, по обычаю того времени, в партере. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановников республики, появилась в своей ложе на авансцене.

Сам Порпора должен был дирижировать оркестром, а граф Дзустиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она одевалась. В это время за кулисами Андзолето, облекшись в костюм античного воина, правда, с причудливым отпечатком современности, почти терял сознание от страха и старался подбодрить себя кипрским вином.

Опера, которую ставили, не была произведением ни классика, ни новатора, ни строгого композитора старого времени, ни смелого современ-





*За кулисами Андзолето, облекшись в костюм античного воина, правда, с причудливым отпечатком современности, почти терял сознание от страха и старался подбодрить себя кипрским вином.*



ника, это было неизвестное творение иностранца. Порпора, во избежание интриг соперников-композиторов, которые несомненно породило бы его собственное имя или имя другого известного композитора, думая прежде всего об успехе своей ученицы, предложил и потом разучил партитуру «Ипермнестры». Это было первое музыкально-лирическое произведение одного молодого немца, у которого не только в Италии, но вообще нигде в мире не было ни врагов, ни поклонников и которого попросту звали господин Христофор Глюк<sup>1</sup>.

Когда на сцене появился Андзолето, восторженный шёпот пронесся по всему залу. Тенор, которого он заменил, чудесный певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены тогда, когда потерял уже голос и красоту. Вот почему неблагодарная публика мало сожалела о нем; а прекрасный пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован, увидав на сцене вместо угреватого толстяка двадцатичетырехлетнего юношу, свежего, как роза, белокурого, как Феб, сложенного, как статуя Фидия: *bianco, cresco e grassotto*<sup>2</sup>, как истый сын лагун. Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою первую арию, но для того чтобы увлечь женщин и театральных завсегдатаев, достаточно было и его великолепного голоса, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. Пред дебютантом открывались большие возможности, у него было будущее: трижды грохотал гром аплодисментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по итальянскому и особенно венецианскому обычаю. Успех вернул ему смелость, и когда он снова появился вместе с Ипермнестрой, страха в нем как не бывало. Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло: ее одну только и видели и слышали. «Вот она», — раздавались возгласы. «Кто? Испанка? Да, это дебютантка, *l'amante del Zustiniani*<sup>3</sup>». Консуэло вышла с серьезным и холодным видом, обвела глазами публику, поклоном, полным достоинства, без всякого кокетства ответила на залп рукоплесканий своих покровителей и начала речитатив таким уверенным голосом, с такой грандиозной полнотой, с таким торжествующим спокойствием, что после первой же фразы театр задрожал от восторженных криков.

— Ах, коварный! он насмеялся надо мной! — воскликнула Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолето, который не мог удержаться, чтоб в эту минуту не посмотреть на нее с усмешкой, и бросилась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.

<sup>1</sup> «Ипермнестра» одна из ранних опер Глюка (1714–1787), написанная во время его пребывания в Италии; поставлена впервые в 1744 году. В ней еще не чувствуется величие будущего творца «Орфея», «Альцесты», «Армиды», «Ифигении в Авлиде» и «Ифигении в Тавриде». Сюжет «Ипермнестры» взят из античного мифа о данаидах, пятидесяти дочерях египетского царя Данае, приказавшего им умертвить своих мужей; одна Ипермнестра не подчинилась своему отцу и спасла мужа.

<sup>2</sup> Белокурый, курчавый и пухленький (ит.)

<sup>3</sup> Любовница Дзустинани (ит.)

Консуэло пропела еще несколько фраз. С места, где сидел старик Лотти, послышался его разбитый голос: «*Amici miei, questo é un portento!*»<sup>1</sup>

Когда она исполняла свою выходную арию, ее десять раз прерывали, кричали ей «бис», семь раз вызывали на сцену, в театре стоял какой-то иступленный рев. Словом, тут неистовство венецианских музыкантов-любителей вылилось со всем его пленительным и даже смешным жаром.

— Чего они так кричат? — спрашивала Консуэло, вернувшись за кулисы, откуда не переставали вызывать ее, — можно подумать, что они собираются побить меня камнями!

С этой минуты Андзолето безусловно отошел на второй план. К нему относились хорошо, но только потому что все пришли в прекрасное настроение. Но снисходительная холодность к слабым его местам и почти равнодушие к удачным говорили ему о том, что если женщинам — этому экспансивному, шумно аплодирующему большинству — и нравилась его наружность, то мужчины не были высокого мнения о нем и все свои восторги приберегали для примадонны. Из всех тех, кто явился с враждебными намерениями, никто не решился выразить хоть малейшее неодобрение, и надо правду сказать, из них всех не нашлось и троих, кто устоял бы против стихийного увлечения и непобедимой потребности рукоплескать новоявленному чуду.

Опера имела большой успех, хотя никто ее не слушал. В сущности, самой музыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская музыка, грациозная, умеренно патетическая, но в которой, говорят, нельзя было еще предугадать автора «Альцесты» и «Орфея». В ней не было мест, поражающих красотой. В первом же антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и Клориндой. Клоринда, благодаря протекции Консуэло, прогнусавила глухим голосом с вульгарным выговором свою второстепенную роль, обезоружив всех красотой рук: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычайно худа! В последнем антракте Андзолето, все время украдкой следивший за Корилой, заметил, что та все более и более волнуется, и счел благоразумным пойти к ней в ложу, дабы предупредить могущую произойти вспышку. Увидав тенора, Корила, как тигрица, набросилась на него, отхлестала по щекам, исцарапав при этом до крови так, что потом ни белила, ни румяна не могли скрыть этого поранения. Оскорбленный тенор укротил ее пыл, ударив ее кулаком в грудь с такой силой, что она свалилась в полуобморочном состоянии на руки своей сестры Розальбы.

— Подлец! Изменник! Разбойник! — задыхаясь бормотала она. — И ты и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!

— Несчастная, посмей только сделать хоть шаг, движение, выкинуть какую-нибудь штуку сегодня, знай, я заколю тебя на глазах всей Венеции! — прошипел сквозь стиснутые зубы совсем бледный Андзолето, сверкнув перед ее глазами своим неизменным спутником — ножом, которым владел с искусством настоящего сына лагун.

<sup>1</sup> Друзья мои, это — чудо! (ит.)

— Он сделает то, что говорит, — с ужасом прошептала Розальба, — молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит смерть.

— Да, да, совершенно верно, — помните это, — ответил Андзолето, с шумом захлопывая за собой дверь ложи, которую затем, уходя, запер на ключ.

Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чисто по-венециански, вполголоса, таинственно и молниеносно, но когда дебютант быстро прошел из-за кулис в свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догадались, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, призванный привести в порядок растрепанные кудри греческого принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас же раззвонил толпе хористов и статистов о том, что щека героя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Парикмахер этот был опытен в такого рода поранениях и не раз сам бывал поверенным в подобных закулисных приключениях. Анекдот этот во мгновение ока обошел всю сцену, каким-то образом перескочил через рампу и пошел гулять из оркестра на балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикрасами, проник в глубину партера. Связь Андзолето с Кориλλой еще была неизвестна, но некоторые видели его увивающимся вокруг Клоринды, и вот разнесся слух, что она-де, в припадке ревности к примадонне, выколола глаз и выбила три зуба красивейшему из теноров.

Это повергло в отчаяние некоторых представительниц прекрасного пола, но для большинства явилось очаровательным скандалчиком. Интересовались, не будет ли даже приостановлено представление или не появится ли тенор Стефанини доигрывать роль с тетрадкой в руках. Занавес поднялся, и все было забыто, когда появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная, как и вначале. Хотя роль ее, сама по себе, не была особенно трагической, Консуэло мощью своей игры, выразительностью своего пения сделала ее таковой. Она заставила проливать слезы; и когда появился тенор, его царапина вызвала только улыбку. Но все-таки из-за этого смехотворного эпизода успех Андзолето был менее блестящ, чем он мог бы быть. Все лавры в этот вечер достались Консуэло. После спуска занавеса ее вызывали без конца, ей неистово, бешено рукоплескали.

После спектакля отправились ужинать во дворец Дзустиньяни, и Андзолето совсем забыл о запертой в ложе Корилле, которой пришлось выйти оттуда, взломав дверь. В суматохе, обыкновенно бывающей в театре после такого блестящего представления, никто не заметил этого. Но на следующий день эта сломанная дверь, в связи с полученной тенором царапиной, навела на мысль о любовной интриге, так тщательно до сих пор скрываемой Андзолето.

Едва лишь занял он место за роскошным банкетом, устроенным графом в честь Консуэло, и известные венецианские поэты начали приветствовать триумфаторшу только что сочиненными в честь ее мадригалами и сонетами, как лакей тихонько сунул под его тарелку маленькую записочку от Кориλλы такого содержания: «Если сейчас же ты не придешь ко мне, я явлюсь сама

за тобой и закачу тебе скандал, где бы ты ни был: все равно — хоть на краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло».

Андзолето под предлогом внезапного приступа кашля вышел из-за стола, чтобы ей ответить. Оторвав кусочек линованной бумаги из тетрадки нот, лежавших в передней, он нацарапал на нем карандашом: «Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же как моя ненависть и презрение к тебе».

Деспот знал, что с таким характером, с каким в данную минуту он имел дело, страх был единственной уздой, угроза — единственной уловкой. Однако он невольно был мрачен и рассеян во все время банкета, а как только встали из-за стола, скрылся и помчался к Корилле.

Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном сожаления. За истерикой последовали потоки слез; она сидела у окна, растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье, которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями на ее вздрагивавшей от рыданий груди. Она отослала сестру и служанку. При появлении того, кого она уже не думала больше увидеть, проблеск невольной радости озарил ее измученное лицо. Андзолето знал ее слишком хорошо, чтобы начать утешать. Будучи уверен, что при первом же проявлении жалости или раскаяния в ней проснется гнев и жажда мести, он решил держаться уже взятой на себя роли — быть неумолимо жестоким, и, в глубине души тронутый ее отчаянием, он стал осыпать ее самыми жестокими упреками, объявив, что пришел распрощаться с ней навсегда. Он довел ее до того, что она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии доползла до самых дверей, моля его о прощении. Только совсем доканав и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Видя у своих ног эту гордую красавицу, валявшуюся в пыли, словно кающаяся Магдалина, он, упоенный гордостью и каким-то волнующим пылом, стихийно отдался своей молодой страсти, и Корилла испытала с ним восторги еще неведомых наслаждений. Но и наслаждаясь с этой укрощенной львицей, Андзолето ни на один миг не забывал, что она дикий зверь, и до конца выдержал роль прощающего, но оскорбленного повелителя.

Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и униженная, спрятав свое бледное лицо в длинных черных волосах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться на пытки, переносимые ею из-за любви.

— Ну да, я ревнива, — говорила она, — и, если хочешь, я еще хуже — завистлива. Не могу видеть, как моя десятилетняя слава в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой; не могу видеть, как жестокая, забывчивая толпа беспощадно и безжалостно приносит меня в жертву ей. Когда ты узнаешь восторг успеха и унижение падения, поверь, ты не будешь так строг и требователен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что ничто не потеряно, что моя слава не поблекла, что успех, богатство, заманчивые надежды — все это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых любовников, пленю

новый народ. Будь даже все это так, неужели, по-твоему, что бы то ни было на свете смогло бы утешить меня в том, что я покинута всеми своими друзьями, сброшена со своего трона, куда на моих глазах возведен другой кумир? И этот позор — первый в жизни, единственный за всю мою карьеру — обрушился на меня у тебя на глазах, даже скажу более: этот позор — дело твоих рук, рук моего любовника, первого человека, которого я полюбила безумно, даже подло. Ты говоришь еще, что я фальшива и зла; что я разыгрываю лицемерное величие и лживое великодушие, но во всем этом ты сам виноват, Андзолето. Я была оскорблена, — ты потребовал, чтобы я делала вид, будто я спокойна, и я держала себя спокойно. Я была недоверчива, — ты требовал, чтобы я верила в твою искренность, и я верила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние, — ты мне говорил: смейся, — и я смеялась. Я была взбешена, — ты мне велел молчать, и я молчала. Что же мне оставалось делать, как не изображать характер, совершенно мне не свойственный, и приписывать себе мужество, которого во мне нет? А когда это напускное мужество, естественно, покидает меня, когда эта пытка делается невыносимой и я близка к сумасшествию, ты, который сам должен был бы терзаться моими терзаниями, ты топчешь меня ногами и собираешься бросить меня, умирающую, в том болоте, куда сам же завел меня. Ах! Андзолето! Вы обладаете каменным сердцем, и для вас я стою не больше того морского песка, который бьет и уносит набегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, но все же в глубине души пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя любовь к тебе, если, будучи такой скверной, как ты меня считаешь, я ради этой любви не только переносу все эти муки, но готова еще и еще страдать ради нее... Но слушай, друг мой, — нежно продолжала она, обнимая его, — все, что ты заставил меня выстрадать, — ничто по сравнению с тем, что я чувствую, думая о твоей будущности и о твоём собственном счастье. Ты погиб, Андзолето, дорогой мой Андзолето! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подозреваешь этого! А я вижу это и говорю себе: пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет, — все это только на его гибель, и я — орудие соперницы, наступившей ногой на обе наши головы.

— Что хочешь ты этим сказать, безумная? — возразил Андзолето. — Совершенно не понимаю тебя.

— А между тем ты должен был бы меня понять, по крайней мере понять все, что произошло сегодня вечером. Разве не заметил ты, как охладела к тебе публика, несмотря на весь восторг, возбужденный твоей первой арией, после того как спела она? И увы! Она всегда так будет петь: лучше меня, лучше всех и, сказать правду, в тысячу раз лучше тебя самого, мой дорогой Андзолето... Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже раздавила при первом появлении? Ты не видишь, что ее уродство затмило мою красоту? Она уродлива, это несомненно, но я знаю также, что такие женщины, когда нравятся, способны зажечь в мужчинах более безумные страсти, дать им более потрясающие переживания, чем совершеннейшие красавицы



мира... Ты разве не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что везде, где ты будешь появляться вместе с ней, всюду ты будешь затерт ею, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе, так точно, как новорожденный, чтобы расти и жить, нуждается в воздухе? Неужели ты не знаешь также, что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а крупный соперник рядом с нами — это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Можешь видеть это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц была словно парализована. По мере того, как приближался день ее торжества, я чувствовала, как все более и более угасает мой голос, как с каждым днем падают мои силы. А я ведь почти не допускала возможности ее торжества. Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела, что это торжество несомненно, поразительно, неоспоримо? Знаешь, я уж не могу появиться на сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что я буду дрожать, чувствую, что не буду владеть собой... И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место, откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы! Да! Я погибла, но и ты также, Андзолето! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я ликовала бы, толкала бы тебя к твоей гибели, была б отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься здесь с нею, твоя будущность в Венеции погибла! Если будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если ты будешь жить на ее средства, делить с нею ее роскошь, пользоваться ее именем, ты будешь влачить самое жалкое и тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Будут спрашивать: «Скажите: кто этот состоящий при ней красивый молодой человек?» Ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, — это просто то ли муж, то ли любовник божественной певицы».

Андзолето стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке небосклона.

— Ты просто сумасшедшая, Кориλλα, дорогая, — ответил он, — Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе твое больное воображение. Что же касается меня, то я тебе уже говорил, что я не любовник ее и мужем ее, вероятно, никогда не буду, не буду также никогда, точно жалкий птенец, жить под ее могучими крыльями. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила поднимает высоко над землей. Взгляни на эту птичку, не так ли она хорошо летает над каналом, как чайка над морем? Ну, довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!

Все-таки Андзолето вернулся к себе мрачно настроенный. Уже в постели, почти засыпая, он задал себе вопрос, кто мог проводить Консуэло домой

из графского дворца. Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда никому не уступал.

— В конце концов, — сказал он себе, ударяя кулаками по подушке, чтобы улечься поудобнее, — если суждено графу добиться своего, так, пожалуй, для меня лучше, чтобы это было раньше, чем позже.

## XVIII

Когда Андзолето проснулся, он почувствовал, что проснулась также ревность, внушенная ему графом Дзустиньяни. Тысяча противоречивых чувств бушевала в его душе. Прежде всего новое чувство — зависти к таланту и успеху Консуэло, накануне пробужденное в нем Кориλλой. Зависть эта возрастала в нем по мере того, как снова и снова переживал он торжество своей невесты и собственный, как казалось его оскорбленному самолюбию, провал; затем его мучила мысль, что не только в глазах общества, а на самом деле он может быть оттеснен от этой женщины, ставшей сразу и знаменитой и блестящей, чьей единственной великой любовью он был еще вчера. Зависть и ревность боролись в нем, и он не знал, какому из этих чувств отдаться, чтобы заглушить другое. Ему представлялись два исхода: или увезти Консуэло из Венеции от графа куда-нибудь и там искать вместе счастья или, уступив ее сопернику, самому бежать как можно дальше и там добиваться для себя успеха, которого Консуэло уже не будет оспаривать. Все более и более мучаясь этой нерешительностью, Андзолето, вместо того чтобы найти успокоение у своего настоящего друга — Консуэло, ринулся опять в бурю, опять отправился к Корилле. Та еще больше взбудоражила его, доказывая еще энергичнее, чем накануне, всю невыгодность его положения.

— Нет пророка в своем отечестве, — говорила она, — совсем тебе не полезно жить в городе, где ты родился, где тебя видели оборвышем, бегавшим по площадям, где всякий может сказать (Бог знает как аристократы любят хвастаться благодеяниями, подчас даже воображаемыми, оказанными ими артистам): «я ему покровительствовал», «я первый заметил в нем талант», «это я порекомендовал его такому-то», «это я предпочел его тому-то». Слишком долго жил ты здесь на улице, мой бедный Андзолето, слишком был красив, и потому, раньше чем узнать о твоём таланте, все знали твоё красивое лицо. Не так-то легко привести в восторг людей, у которых ты за гроши греб на гондолах, распевая отрывки из Тассо, или бегал по поручениям, чтобы заработать себе на ужин. Консуэло, некрасивая, ведшая уединенную жизнь, является чужеземным дивом. К тому же она испанка, и у нее нет венецианского выговора. Её прекрасное, хотя несколько странное произношение, будь оно даже отвратительно, нравится им, раз оно не такое, как у всех. Три четверти твоего небольшого успеха в первом акте тебе дала красота, а в последнем акте к ней уже привыкли.

— Прибавьте к этому еще, что шрам над моим правым глазом — дело ваших рук, чего не следовало бы мне никогда прощать вам, — немало уменьшил это мое последнее пустое преимущество.

— Напротив, это преимущество, быть может и ничтожное в глазах мужчин, очень велико в глазах женщин. Благодаря женщинам ты будешь царить в салонах; без помощи мужчины ты провалишься на сцене. А как можешь ты захватить, увлечь мужчин, когда твоим соперником является женщина, да и какая еще женщина! Не только покоряющая любителей, знатоков пения, но опьяняющая своей грацией, женственностью вообще всех мужчин, даже профанов в музыке. О, сколько нужно было таланта и знания Стефанини, Саверио и всем, кто появлялся со мной на сцене, чтобы бороться со мною!

— В таком случае, дорогая Корилла, мне было бы так же рискованно появляться с тобой, как и с Консуэло. Вздумай я только отправиться вслед за тобой во Францию, воображаю, как подвела бы ты меня там!

Эти слова, необдуманно вырвавшиеся у Андзолето, осенили Кориллу. Для нее стало ясно, что она добилась большего, чем предполагала, так как мысль покинуть с ней Венецию уже, очевидно, созревала в уме возлюбленного. Как только у нее блеснула надежда увезти его с собой, она пошла на все, чтобы соблазнить его этим планом. Она умалила, насколько могла, свои достоинства, с безграничной скромностью уверяла, что она гораздо ниже своей соперницы, что она вообще не настолько крупная артистка, не настолько красивая женщина, чтобы воспламенять страсти у публики. А так как, в сущности, это было более верно, чем она думала, говоря это, то ей и нетрудно было в этом убедить Андзолето. Он ведь никогда не заблуждался на ее счет и всегда считал Консуэло неизмеримо выше ее. И так в это свидание их совместная работа и побег были почти решены. Андзолето действительно серьезно подумывал об этом, хотя, на всякий случай, и оставлял себе лазейку для отступления. Корилла, видя, что у Андзолето есть еще какие-то сомнения, стала настаивать на продолжении дебютов, предсказывая, что в этих новых выступлениях он добьется большего успеха. В душе она была убеждена в обратном и рассчитывала, что неудачи окончательно отобьют у него охоту и от Венеции и от Консуэло...

Выйдя от возлюбленной, он направился к своей подруге. Его неудержимо влекло к ней. Впервые он начал и кончил день без ее чистого поцелуя в лоб. Но так как после того, что произошло у него с Корилой, ему было стыдно видеть свою невесту, то он старался уверить себя, будто бы идет туда убедиться в ее измене, выяснить, что она разлюбила его. «Без всякого сомнения, — говорил он себе, — граф не мог не воспользоваться удобным случаем, а тут еще досада самой Консуэло, вызванная моим исчезновением; просто невероятно, чтобы такой развратник, как он, проведя с бедняжкой ночь, не соблазнил ее». Однако при одной мысли об этом на лбу у него выступил холодный пот, душа разрывалась на части, и он ускорял шаг, не сомневаясь в том, что Консуэло должна быть в отчаянии, должна мучиться угрызениями совести, должна

рыдать... Но тут внутренний голос, сильнее всех других, подсказал ему, что такое чистое, благородное существо не может столь внезапно и позорно пасть. Замедлив шаг, он стал думать и о себе самом, об ужасе своего поведения, о своем эгоизме, тщеславии, лживости — о всем позорном, чем полна была его жизнь и совесть.

Он застал Консуэло в черненьком платьице сидящей перед своим столом. Она была такая же, как и всегда: и во взгляде и во всем существе ее чувствовалось спокойствие, святость. С обычной радостью она побежала ему навстречу и стала расспрашивать с беспокойством, но без малейшего упрека или недоверия, как провел он время без нее.

— Мне нездоровилось, — ответил он, страшно подавленный своим внутренним унижением. — Тот удар о декорацию, знак которого я тебе показывал, уверяя, что это пустяки, вызвал однако же у меня такое сотрясение мозга, что мне пришлось покинуть дворец Дзустиньяни из боязни упасть там в обморок. И вот после этого я все утро провел в постели.

— Ах, Боже мой! — воскликнула Консуэло, целуя ранку, сделанную ее соперницей. — Скажи, тебе очень больно, и теперь ты еще себя плохо чувствуешь?

— Нет, сейчас мне гораздо лучше, отдых принес мне пользу. Не стоит думать об этом. Лучше скажи мне, как ты сегодня ночью одна вернулась домой.

— Одна! Нет: граф проводил меня до дому в своей гондоле.

— Так я и знал! — воскликнул Андзовето каким-то странным голосом. — И конечно... будучи наедине с тобой, что только он ни наговорил тебе... каких только любезностей!

— А что мог бы он мне сказать такого, чего не говорил уже сто раз при всех? Граф, правда, балует меня и, пожалуй, мог бы развить во мне тщеславие, если бы я не остерегалась этого порока. К тому же мы не были с ним наедине: мой добрый учитель также захотел меня проводить. О, чудесный друг!

— Какой учитель, какой чудесный друг? — переспросил рассеянно Андзовето, уже успокоившись, но снова озабоченный.

— Как какой? Да Порпора, конечно! О чем же ты задумался, замечтался?

— Думаю о твоём вчерашнем триумфе; конечно, и ты думаешь о нем?

— Клянусь тебе, меньше, чем о твоём!

— Не издевайся надо мной, дорогая! Мой успех был так жалок, что больше походил на провал.

Консуэло даже побледнела от изумления. При всей своей удивительной выдержке она не сохранила настолько хладнокровия, чтобы оценить разницу между аплодисментами, выпавшими на долю ей и ее возлюбленному. При подобного рода оvationах самый опытный артист может смутиться и ошибочно принять поддержку со стороны клакеров за шумный успех. Консуэло, почти испуганная ужасным шумом, не могла в нем разобраться и не заметила предпочтения, оказанного ей по сравнению с Андзовето. В простоте душевной она пожурила его за его жажду славы и успеха, но видя, что ей не удастся ни убедить

его, ни разогнать тоску, она стала кротко упрекать его в том, что он придает слишком большое значение благосклонности толпы.

— Ты слишком большое значение придаешь отношению публики, — говорила она. — Я всегда находила, что ты больше дорожишь результатом от искусства, чем самим искусством. А мне кажется, когда сделал все, что только мог, и когда сознаешь, что это сделано хорошо, то немножко больше, немножко меньше похвал ничего не прибавляет к чувству внутреннего удовлетворения. Помнишь, что мне говорил Порпора, когда я в первый раз пела во дворце Дзустиньяни: «Тот, кто истинно любит искусство, не знает страха...»

— Ты и твой Порпора можете питаться прекрасными изречениями, — прервал Андзолето с досадой. — Нет ничего легче, как философствовать по поводу печалей жизни, зная только ее хорошие стороны. Порпора, хотя беден и имеет врагов, все-таки знаменит. Он достаточно за свою жизнь сорвал лавров, чтобы теперь его кудри спокойно седали под их сенью. А ты, чувствуя свою непобедимость, не знаешь, что такое страх. Сразу, одним прыжком взобравшись на самый верх лестницы, ты упрекаешь человека, у которого нет таких сил, в том, что у него закружилась голова. Ты немилосердна, Консуэло, и крайне несправедлива. А потом, твой довод неприменим ко мне: ты говоришь, что надо презирать общественное мнение, его оценку, довольствуясь собственной, но если во мне нет этого внутреннего сознания, что я хорошо сделал? Разве ты не видишь, что я страшно недоволен самим собой? Разве ты сама не заметила, что я был отвратителен; разве ты не слыхала, как отчаянно скверно я пел?

— Нет, потому что это не так. Ты был ни лучше, ни хуже, а как всегда. Переживаемое тобою волнение почти не отразилось на твоём голосе; впрочем, оно ведь скоро и рассеялось. И то, что ты хорошо знал, хорошо и вышло у тебя.

— А то, чего я не знал? — спросил Андзолето, устремив на нее свои большие черные глаза, теперь истомленные и грустные.

Она вздохнула и, помолчав немного, проговорила, целуя его:

— А то, чего не знаешь, надо выучить. Если б только ты захотел серьезно заняться на репетициях... Ведь, помнишь, я тебе говорила... Ни к чему упреки — теперь надо все исправить. Давай заниматься два часа в день, и ты увидишь, как скоро мы с тобой преодолеем все трудности.

— Разве можно достичь этого в один день?

— Конечно, нет, по крайней мере, в несколько месяцев.

— Но я пою завтра и снова выступаю перед публикой, которая больше судит обо мне по моим недостаткам, чем по достоинствам.

— Но эта же публика заметит и твои успехи.

— Кто знает! А что, если она меня возненавидит?

— Она уже доказала тебе обратное.

— Да! Так ты находишь, что она была ко мне снисходительна?

— Да, дорогой, я нахожу это: там, где ты был слаб, публика все-таки относилась к тебе доброжелательно, а когда ты бывал на высоте, она воздавала тебе должное.



— Но пока что со мной заключат самый жалкий ангажемент.

— Граф — сама щедрость, он не скупится на деньги. А к тому же разве он не предлагает мне столько, что нам обоим можно жить больше чем роскошно?

— Прекрасно! Значит мне, по-твоему, придется жить твоими триумфами?

— А разве я мало жила твоими милостями?

— Тут дело даже не в деньгах. Пусть он мне платит мало, это мне безразлично, но он может пригласить меня на вторые или третьи роли.

— У него нет никого под рукой на первые; он давно уже рассчитывает на тебя и в виду имеет только тебя. К тому же он очень к тебе расположен. Ты думал, что он будет против нашего брака; наоборот, он, по-видимому, даже желает этого и часто меня спрашивает, когда наконец я приглашу его на свою свадьбу.

— Вот как! Превосходно! Чрезвычайно благодарен вам, господин граф!

— Что ты этим хочешь сказать?

— Ничего. Только очень жаль, Консуэло, что ты не удержала меня от дебюта. Надо было мне серьезной работой предварительно избавиться от недостатков. Ты сама хорошо знаешь все мои недостатки.

— А разве я не была откровенна с тобой? Сколько раз предупреждала я тебя! Но ты всегда возражал мне, что публика ровно ничего не смыслит. Услыхав о твоём блестящем успехе, когда в первый раз ты пел в салоне графа, я подумала, что...

— Подумала, что светские люди понимают не более простых смертных?

— Я думала, что на твои достоинства обратят больше внимания, чем на твои слабые стороны. Да, кажется, так оно и было и у светских ценителей, и у обыкновенной публики.

«В сущности, она права, — подумал Андзолето, — и если б я только мог отложить свои дебюты... Но здесь я рискую, что меня заменит другой тенор, а тот уж мне своего места, конечно, не уступит».

— Ну-ка, скажи, какие у меня недостатки, — спросил он Консуэло, пройдясь молча несколько раз по комнате.

— Те, о которых я не раз тебе говорила: слишком много смелости и слишком мало подготовки; подъем скорее лихорадочный, чем прочувствованный; в драматических эффектах больше надуманности, чем чувства. Ты недостаточно представляешь себе роль в ее целом, разучив ее отрывками и видя в ней только ряд более или менее блестящих мест. Ты не уловил в роли ни постепенного развития ее, ни заключения. Думая только о том, как блеснуть своим прекрасным голосом и некоторым умением, ты показал всего себя сразу, при первом выходе. При малейшей возможности ты гнался за эффектами, но все твои эффекты были одинаковы. Уже в конце первого акта тебя все знали наизусть, но не подозревая, что здесь дано все, ждали от тебя еще чего-то необыкновенного, а этого в тебе как раз и не оказалось. Подъем твой упал, и голос ослабел. Ты почувствовал это сам и изо всех сил стал форсировать и то и другое. Этот маневр публика поняла, и вот почему она оставалась

холодна в то время, когда ты воображал, что был наиболее патетичен... В эту минуту она не видела в тебе артиста, увлеченного страстью, а только актера, жаждущего успеха.

— А как же, скажи, делают другие? — топнув ногой, раздраженно воскликнул Андзолето. — Разве я не слышал всех, кому последние десять лет аплодировала Венеция? Разве старик Стефанини не кричал, когда бывал не в голосе? И это не мешало неистово ему аплодировать.

— Это правда. Но я не думаю, чтобы здесь со стороны публики было непонимание. Вероятно, помня старые заслуги, не хотели дать ему почувствовать его закат.

— Ну, а Корилла, этот свергнутый тобой кумир, разве она не форсировала своего голоса, разве она не делала усилий, которые было мучительно не только слышать, но даже и видеть? Разве она была на самом деле захвачена страстью, когда ее превозносили до небес?

— Правду сказать, видя, как при всех ее огромных недостатках публика восторженно относилась к ней, я решила, как и ты, что публика мало смыслит, поэтому я так спокойно и вышла на сцену.

— Ах, Консуэло, дорогая, как ты растравляешь мою рану, — тяжело вздыхая, проговорил Андзолето.

— Каким образом, мой любимый?

— Ты спрашиваешь каким образом? Мы ошибались с тобой, Консуэло. Публика прекрасно понимает. Там, где не хватает знания, ей подскажет сердце. Публика — это дитя, ей нужны забава и эмоции. Она довольствуется тем, что ей дают, но только покажи ей лучшее, она сейчас же начинает сравнивать и понимать. Корилла фальшивила, у неё не хватало дыхания, но еще неделю тому назад она могла пленять публику. Явилась ты, и Корилла погибла, она уничтожена, похоронена. Выступи она теперь, — ее освишут. Появись я с ней, успех мой был бы так же головокружителен, как тогда, когда я в первый раз пел у графа после нее. А ты меня затмила. Так должно было быть и так всегда будет. Публике нравилась мишура. Она фальшивые камни принимала за драгоценные и была ими ослеплена. Но вот ей показали бриллиант, и она уже сама не понимает, как могли так грубо обманывать ее. Больше терпеть фальшивых бриллиантов она не желает и расправляется с ними. Тут-то, Консуэло, и есть мое несчастье: я — венецианское стеклышко — выступил вместе с жемужиной со дна морского...

Консуэло не поняла, сколько было правды и горечи в словах ее жениха. Она все это приписала его любви к ней, и на всю эту, как ей казалось, милую лесть она, смеясь, ответила ласками. Она уверяла, что он перешеголяет ее, как только захочет, и подняла его настроение, доказывая, что петь, как она, совсем не так уж трудно. Консуэло действительно была в этом убеждена. Во-первых, при своих колоссальных дарованиях она не знала, что такое трудности, а во-вторых, она не подозревала, что труд для тех, кто его не любит, у кого нет выдержки, является иногда непреодолимым препятствием.

## XIX

Воспрянув духом благодаря чистосердечию Консуэло и коварству Кориеллы, настаивавшей на его вторичном выступлении, Андзолето с жаром принялся за работу и на втором представлении «Ипермнестры» гораздо лучше спел первый акт. Публика оценила это. Но так как пропорционально возрос и успех Консуэло, он, видя ее огромное превосходство, стал снова впадать в уныние. Все представилось ему в мрачном свете. Ему казалось, что его совсем не слушают, что сидящие вблизи зрители шёпотом проходятся на его счет, что даже его доброжелатели, подбадривая его за кулисами, делают это только из жалости. Во всех их похвалах он искал какой-то иной, скрытый, неприятный для себя смысл. Кориелла, к которой он в антракте зашел в ложу посоветоваться, с притворным беспокойством спросила его, не болен ли он.

— Откуда взяла ты это? — раздраженно спросил он.

— Потому что голос твой нынче звучит как-то глухо и вид у тебя подавленный. Андзолето, дорогой, приободришься! Напряги свои силы, — они парализованы страхом или упадком духа.

— Разве я плохо спел свою выходную арию?

— Гораздо хуже, чем на первом представлении! У меня так замирало сердце, что я боялась упасть в обморок.

— Однако же мне аплодировали!

— Увы! Впрочем, я напрасно разочаровываю тебя. Продолжай, только старайся, чтобы голос твой звучал чище...

«Консуэло, — думал он, — конечно, хотела дать мне хороший совет. Сама она в своих поступках руководствуется инстинктом, и ее это выводит. Но откуда у неё может быть опыт, как может она научить меня победить эту строптивую публику? Следуя ее советам, я скрываю блестящие стороны своего таланта, а на улучшение манеры пения никто не обратит никакого внимания. Буду дерзок по-прежнему. Разве я не испытал при первом выступлении у графа, что могу поразить даже недоброжелателей? Ведь признал же старик Порпора во мне гениальность, находя только на ней пятна! Так пусть же публика преклонится пред моей гениальностью и терпит мои пятна!»

Во втором акте он лез из кожи, выкидывал невероятные штуки. Его слушали с удивлением. Некоторые стали аплодировать, но их заставили умолкнуть. В общем публика недоумевала, был ли сейчас тенор божественен или отвратителен. Еще немного дерзости, и, может быть, Андзолето был бы победителем, но эта неудача так смутила его, что он совсем потерял голову и позорно провел остальную часть своей роли.

В третьем акте он приободрился и решил действовать по-своему, не следуя советам Консуэло, и тут пустил в ход самые своеобразные приемы, самые

смелые музыкальные фокусы. Вдруг среди гробового молчания, которым были встречены эти отчаянные попытки, послышались свистки. Позор! Добрая, великодушная публика своими аплодисментами заставила умолкнуть свистки, но было очевидно, что только из великодушия. Вернувшись в уборную, Андзолето в бешенстве сорвал с себя костюм и разорвал его на клочки. Как только кончилась пьеса, он убежал к Корилле, заперся с ней. Страшная ярость бушевала в нем, и он решил бежать со своей любовницей хоть на край света.

Три дня он не виделся с Консуэло. Не то что он возненавидел ее или охладел к ней: в глубине своей истерзанной души он так же нежно любил и смертельно страдал, не видя ее, но она внушала ему какой-то ужас. Он чувствовал над собой власть этого существа, которое своим гением затирало его перед публикой, вместе с тем внушало ему безграничное доверие и могло делать с ним все, что угодно. Полный смятения, он не в состоянии был скрыть от Кориллы, насколько он привязан к своей благородной невесте, как велико ее влияние на него. Конечно, Корилла горько обиделась и не нашла в себе силы скрыть обиду. Делая вид, будто жалеет его, она все от него выведала. Узнав о его ревности к графу, она решилась на отчаянный шаг: тихонько довести до сведения Дзустиньяни о своей связи с Андзолето. Она рассчитывала, что граф не упустит случая сообщить об этом предмету своей страсти, и таким образом для Андзолето будет отрезан всякий путь возвращения к невесте.

Просидев целый день одна в своей убогой комнате, Консуэло сначала удивлялась, а потом начала беспокоиться. Когда же и весь следующий день прошел таким же образом в одиночестве и беспокойстве, она, лишь только стало темнеть, натянув на голову густую шаль (знаменитая певица не была теперь гарантирована от сплетен), в смертельной тоске побежала в дом, где жил Андзолето. Уже несколько недель, как граф предоставил ему в одном из своих бесчисленных домов более приличное помещение. Она его не застала, но узнала, что он редко ночует дома. Однако это не навело Консуэло на мысль об измене. Хорошо зная страсть своего жениха к поэтическому бродяжничеству, она решила, что он, не будучи в силах сразу привыкнуть к новому роскошному помещению, вероятно, ночует в одном из своих прежних убежищ. Она уже отважилась было идти на дальнейшие поиски, как у выходной двери столкнулась лицом к лицу с Порпора.

— Консуэло, — тихо проговорил старик, — напрасно ты закрываешь от меня лицо, я слышал твой голос и, конечно, не мог не узнать его. Бедняжка, что ты тут делаешь так поздно и кого ты ищешь в этом доме?

— Я ищу своего жениха, — ответила Консуэло, беря под руку своего старого учителя, — и мне нечего краснеть, говоря это моему лучшему другу. Знаю, что вы не сочувствуете моей любви к нему, но я не в силах вам лгать. Я страшно беспокоюсь: я не видела Андзолето после спектакля уже целых два дня. Боюсь, не заболел ли он.

— Заболел? Он? — переспросил профессор, пожимая плечами. — Пойдем со мной, бедное дитя, нам надо поговорить. Раз ты наконец хочешь

быть со мной откровенна, я также буду откровенен с тобой. Возьми меня под руку и поговорим дорогой. Выслушай меня, Консуэло, и хорошенько вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь, ты не должна быть женою этого юноши. Запрещаю тебе это именем Бога живого, который вложил в мое сердце отеческое чувство к тебе.

— Учитель, дорогой, отнимите лучше у меня жизнь, чем эту любовь! — горестно отвечала она.

— Слышишь! Я не прошу, а требую этого! — решительно ответил Порпора. — Твой возлюбленный — проклятый. Если ты сейчас же не откажешься от него, он будет для тебя источником мук и позора.

— Дорогой учитель, — проговорила она с грустной, кроткой улыбкой, — вы ведь не раз уже говорили мне это, и я пыталась и не могла последовать вашему совету. Вы ненавидите бедного мальчика. Но вы его не знаете, и я убеждена, что когда-нибудь вы измените свое предубеждение против него.

— Консуэло, — начал профессор еще более решительным тоном, — я знаю, что до сих пор мои доводы были слабы, а возражения, быть может, и неубедительны. Я говорил с тобой, как артист с артисткой, и в женихе твоём видел тоже только артиста. Сейчас же я говорю с тобой, как мужчина с женщиной о мужчине. Ты, женщина, любишь недостойного мужчину, и я, говорящий это, убежден в этом.

— Боже мой! Андзовето недостойн моей любви! Он! Мой единственный друг, мой покровитель, мой брат! Ах, вы не знаете, сколько он мне помогал, как с самого детства бережно относился ко мне! Позвольте вам все, все рассказать, — и она все рассказала ему о своей жизни и о своей любви, что, в сущности, было одно и то же.

Порпора был тронут, но непоколебим.

— Во всем этом, — проговорил он, — я вижу только твою невинность, твою верность, твою добродетель. Что же касается его, то я понимаю, что ему необходимо было твое общество, твои уроки; ведь, что ты там ни говори, а тем немногим, что он знает и даст, он обязан именно тебе. Но так же верно и то, что твой целомудренный, непорочный возлюбленный, будучи близок со всеми падшими женщинами Венеции, утоляет зажигаемую тобой страсть в вертепах разврата и, удовлетворив ее там, является к тебе лишь для того, чтобы эксплуатировать тебя.

— Будьте осторожны в ваших словах, — задыхаясь, проговорила Консуэло. — Я привыкла вам верить, как Богу, дорогой учитель, но я не хочу слушать, не хочу верить тому, что вы говорите о моем Андзоето. Пустите меня! — прибавила она, пытаясь высвободить из-под его руки свою, — вы просто убиваете меня!

— Нет! Я хочу убить твою пагубную любовь, а тебя вернуть к жизни, открыв тебе глаза! — ответил старик, прижимая руку девушки к своему возмущенному, великодушному сердцу. — Я знаю, что я суров, Консуэло, но иначе поступить не могу. Вот почему, насколько было возможно, я оття-



гивал этот удар. Я все надеялся, что глаза твои откроются и ты сама увидишь, что делается вокруг тебя, но жизнь не научила тебя, и ты, как слепая, готова броситься в пропасть. Но я не допущу этого, — удержу тебя на краю пропасти. Последние десять лет ты была единственным существом, которое я любил и ценил в жизни. Ты не должна погибнуть, нет, нет, не должна!

— Но, друг мой, мне не грозит никакой опасности! Неужели вы не верите мне, когда я клянусь вам всем для себя святым, что я не нарушила обещания, данного мною матери перед ее смертью? Андзолето тоже сдержал эту клятву. И если я еще не жена его, то значит и не любовница.

— Но стоит ему сказать слово, и ты будешь и тем и другим!

— Да ведь сама мать моя взяла с нас такое обещание!

— А между тем ты сейчас, ночью, шла к человеку, который не хочет и не может быть твоим мужем...

— Кто вам это сказал?

— Разве Кориλλα ему позволит?..

— Корилла? Что ж общего между ним и Кориллоу?

— Мы в двух шагах от дома этой девки... Ты ищешь своего жениха... так пойдем за ним туда. Что? Хватит у тебя на это мужества?

— Нет, нет! Тысячу раз нет! — воскликнула Консуэло, еле держась на ногах и прислоняясь к стене. — Не отнимайте у меня жизни, учитель дорогой, ведь я еще совсем не жила, не убивайте меня! Поймите, вы убиваете меня!

— Ты должна испить эту чашу, — продолжал неумолимый старик. — Я здесь играю роль судьбы. Немало сделал я в жизни неблагодарных, жалких людей своей кротостью и мягкостью. Теперь я вижу: тем, кого я люблю, я должен говорить чистую правду. Это единственная польза, которую может еще принести мое сердце, иссохшее от горя и окаменевшее от страданий. Жаль мне тебя, мое бедное дитя, что в столь злополучный для тебя час нет подле тебя более мягкого, более человеческого друга. Но такой, каким меня сделала жизнь, я должен влиять на других, и, если я не могу отогреть их солнечным теплом, я должен показывать им правду при блеске молнии. Итак, Консуэло, не будем падать духом! Идем в этот дворец! Я хочу, чтобы ты застала Андзолето в объятиях развратной Кориллы. Если ты не в состоянии идти, я потащу тебя; свалишься, понесу тебя. Когда в сердце старого Порпора пылает огонь божественного гнева, силы у него еще найдутся.

— Пощадите, пощадите! — почти прокричала Консуэло; она была бледна, как смерть. — Оставьте мне еще хоть сомнение... Позвольте еще день, только один еще день, верить в него. Я не готова к этой попытке...

— Нет! Ни одного дня, ни одного часа! — отрезал он непреклонно. — Упустив этот час, я, быть может, не смогу показать тебе истину воочию, а тем днем, который ты вымаливаешь у меня, воспользуется этот негодяй, чтобы опять ослепить тебя ложью. Нет, ты пойдешь со мной! Я хочу этого, я приказываю!

— Хорошо! Я пойду, — проговорила Консуэло, чувствуя новый прилив сил, — но пойду с вами только для того, чтобы доказать вашу несправедливость и верность моего жениха; вы постыдно заблуждаетесь и хотите, чтобы и я заблуждалась вместе с вами! Идем же, палач, идем, я не боюсь вас!

Поймав девушку на слове, Порпора схватил ее за руку своей нервной, крепкой, как железные щипцы, рукою и потащил в дом, где сам жил. Здесь, проведя ее по бесконечным коридорам и заставив подняться по бесконечным лестницам, он привел ее на верхнюю террасу. Отсюда, через крышу более низкого и совершенно необитаемого дома, был виден дворец Кориаллы. В нем всюду было темно, за исключением одного окна, это освещенное окно было открыто и выходило к темному, безмолвному фасаду необитаемого дома. Казалось, что в это окно ниоткуда нельзя было заглянуть, так как выдающийся балкон мешал видеть снизу, а на одном с ним уровне был необитаемый дом, выше же — крыша дома Порпора, который был расположен таким образом, что его окна не выходили на дворец певицы.

Однако Кориалла не знала, что на углу этой крыши был железный откос, окаймленный фестоном из свинца, род ниши, под открытым небом. Сюда-то профессор, из какого-то свойственного артистам каприза, каждый вечер убегал от себе подобных полюбоваться звездами, обдумывать свои духовные и драматические творения. Таким образом случай открыл профессору тайну связи Анзолето и Кориаллы; и для Консуэло тоже достаточно было взглянуть по направлению, указанному ей Порпора, чтобы увидеть своего возлюбленного в объятиях соперницы. Моментально она отвернулась. Порпора, боясь, как бы под влиянием отчаяния ей не сделалось дурно, поддерживая ее с нечеловеческой силой, спустился на нижний этаж и привел ее в свой кабинет. Он тотчас же закрыл здесь дверь и окно, чтобы никто не мог слышать того взрыва отчаяния, который профессор предвидел.

## XX

Но никакого взрыва не произошло. Консуэло сидела безмолвная и убитая. Порпора заговорил было с ней, но она сделала знак, чтобы он ее ни о чем не спрашивал. Вдруг она поднялась, подошла к клавесину, на котором стоял графин с ледяной водой, и залпом весь его выпила — один стакан за другим. Затем, пройдясь несколько раз по комнате, не проронив ни слова, она снова села напротив учителя.

Суровый старик не понимал всей глубины ее страдания.

— Ну, видишь, разве я обманывал тебя? Что же ты думаешь теперь делать?

Мучительная дрожь пробежала по словно окаменевшему телу ее, и, проведя рукой по лбу, она проговорила:

— Думаю ничего не делать, пока не пойму того, что со мной происходит.



*Консуэло тоже достаточно было взглянуть по направлению, указанному ей Порпора, чтобы увидеть своего возлюбленного в объятиях соперницы.*



— А что тебе надо еще понять?

— Все, так как я ровно ничего не понимаю. Я сижу здесь у вас, силюсь найти причину своего несчастья и никак не могу. Что я сделала Андзолето, чтобы он мог разлюбить меня? За что он может меня презирать? Вы-то, конечно, не можете ответить мне на это, раз я сама, роясь в глубине своей совести, никак не в состоянии отыскать ключ к этой тайне. О, это нечто непостижимое! Мать моя верила в силу любовных зелий. Неужели Корилла — чародейка?

— Бедная девочка! — сказал профессор. — Правда, здесь есть чародейка, но имя ее — Тщеславие. Есть и яд, но зовется он Завистью. Корилла могла влить в него этот яд, но не она создала его душу, столь способную впитывать его. Яд уже был в порочной крови Андзолето. Лишняя капля его превратила плута в предателя, неблагодарного, каким он всегда был, — в изменника.

— Какое же тщеславие? Какая зависть?

— Тщеславие его в том, чтобы всех превзойти, у него жажда превзойти и тебя, а бешеная зависть — к тебе, затмившей его.

— Да может ли это быть? Вообще может ли мужчина завидовать женщине? Мужчина, любящий женщину, неужели способен относиться со злобой к успеху своей возлюбленной? Значит, есть много такого, чего я не знаю и чего я не в состоянии понять.

— Ты никогда и не поймешь этого, но на каждом шагу будешь встречаться с этим в жизни. Ты узнаешь, что мужчина может завидовать таланту женщины, если он тщеславный артист; узнаешь, что человек, влюбленный в женщину, может со злобой относиться к ее успехам, если поприще их деятельности — театр. Ведь артист, Консуэло, не мужчина, он — женщина. Он живет болезненным тщеславием, думает только об удовлетворении своего тщеславия, работает, чтобы опьяняться тщеславием... Красота женщины вредит ему, ее талант затирает, умаляет его собственный. Женщина — его соперник, или, вернее, он — соперник женщины; в нем вся мелочность, все капризы, все требования, все смешные стороны кокетки. Таков характер большинства театральных артистов. Бывают, конечно, великие исключения, но они так редки, так ценны, что пред ними надо преклоняться и им следует оказывать больше уважения, чем самым известным ученым. Андзолето не является исключением. Он из всех тщеславных наитщеславнейший: вот в чем секрет его поведения.

— Но какая непонятная месть! Какие жалкие и нецелесообразные способы! — проговорила Консуэло. — Как может Корилла утешить его в том, что публика в нем разочаровалась? Если б только он откровенно признался мне в своих мучениях! Ведь стоило бы сказать ему одно только слово, и я, быть может, поняла бы его, во всяком случае отнеслась бы к нему с сочувствием; ступевалась бы, лишь бы уступить ему место.

— Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за то, что те якобы отнимают у них их счастье. А в любви не то ли самое? Ненавидят те наслаждения, которые любимому существу доставляешь не ты, а другие.

В то время, как твой возлюбленный относится с ненавистью к публике, венчающей тебя лаврами, разве ты не ненавидишь свою соперницу, опьяняющую его наслаждениями?

— Вы высказали глубокую мысль, дорогой учитель, и я должна в нее вникнуть.

— Это — истина: Андзолето ненавидит тебя за твой успех на сцене, а ты ненавидишь его за те наслаждения, которые ему дарит в своем будуаре Корилаа.

— Это не так. Я не в состоянии ненавидеть его, а вы хотите внушить мне, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою соперницу. Значит, весь вопрос в том наслаждении, которым она его опьяняет и о котором я не могу думать без ужаса, — отчего, сама не знаю. Если это преступление невольное, Андзолето тоже как будто не так уж виновен, относясь с ненавистью к моему успеху.

— Ты готова все так объяснить, лишь бы найти оправдание его поведению и его чувствам... Нет, Андзолето не так невинен и не так достоин уважения в своем страдании, как ты. Он обманывает тебя, унижает тебя, тогда как ты стремишься его оправдать. По правде сказать, я вовсе не хотел пробуждать в тебе к нему ни ненависти, ни злобы, а только спокойствие и безразличие. Поступки этого человека вытекают из его характера. Ты его никогда не переделаешь. Примирись с этим и думай о самой себе.

— О себе? То есть о себе одной? О себе, без надежды, без любви?

— Думай о музыке, о божественном искусстве! Неужели, Консуэло, ты посмеешь сказать, что любишь искусство ради Андзолето?

— Конечно, я любила искусство ради самого искусства. Но я в мыслях никогда не разделяла эти две неразделимые вещи: свою жизнь и жизнь Андзолето. Когда же неотъемлемая половина моей жизни будет от меня отнята, я совершенно не представляю, как я смогу что-нибудь еще любить.

— Андзолето был для тебя не чем иным, как идеей, которой ты жила; ты заменишь ее другою, более возвышенною, более чистою, более живою. Твоя душа, твоя гениальность, все твое существо не будет во власти непрочного, обманчивого образа, ты постигнешь высокий идеал, свободный от земной оболочки, мысленно вознесешься на небо и соединишься священными брачными узами с самим Богом!

— Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахиней, как вы мне когда-то советовали?

— Нет, это значило бы ограничить твое артистическое дарование одним жанром музыки, а ты должна охватить их все. Чему бы ты себя ни посвятила, где бы ты ни была, на сцене или в монастыре, везде ты сможешь быть святой, небесной девой, невестой священного идеала!

— То, что вы мне говорите, так возвышенно, так полно таинственных образов. Позвольте мне удалиться, дорогой учитель. Я должна сосредоточиться и познать самое себя.



— Совершенно верно ты выразилась, Консуэло, ты должна познать самое себя. До сих пор ты не знала себя, отдавая всю свою душу, всю свою будущность существу, во всех отношениях не стоящему тебя. Ты не поняла своего назначения, не видя, что тебе нет равного и что, следовательно, у тебя не может быть спутника в личной жизни. Тебе нужно одиночество, тебе нужна полнейшая свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни семьи, ни страсти, ни каких бы то ни было уз. Вот как я всегда представлял себе твое существование, вот как я понимал твой жизненный путь. В тот день, когда ты отдашься смертному, ты утратишь свою божественность. Ах! если бы Миньотти и Мольтени, мои знаменитые ученицы, мои великие создания, послушались меня, они не имели бы соперниц на Земле! Но женщина слаба и любопытна: тщеславие ослепляет ее, суетные желания волнуют, капризы увлекают... Спрашивается, что дали им удовлетворенные порывы? Бури, усталость, гибель или извращение их гениальности. Разве ты не хочешь превзойти их, Консуэло? Разве у тебя нет честолюбия, парящего выше всех суетных благ земных? Неужели ты не захочешь заглушить в себе голос сердца, чтобы стяжать венец величайшего гения?

Долго еще говорил Порпора с энергией и с красноречием, которых мне не передать. Консуэло слушала его, опустив голову и устремив глаза в землю. Когда, высказав все, старый музыкант умолк, она проговорила:

— Учитель, вы великий человек, но я слишком мала, чтобы понять вас. Лично мне кажется, что вы оскорбляете человеческую природу, осуждая самые благородные страсти ее. Мне кажется, что вы хотите подавить инстинкты, вложенные в нас самим Богом, и как бы обоготворяете чудовищный, античеловеческий эгоизм. Быть может, я поняла бы вас лучше, будь я лучшей христианкой; постараюсь ею сделаться. Вот все, что я могу вам обещать.

Она поднялась, чтобы уйти, спокойная на вид, но с растерзанной душой. Великий, но вместе с тем и суровый артист-нелюдим пошел проводить ее до дому. Дорогой он продолжал развивать свои мысли, но убедить ее не мог. Все-таки он облегчил ее душевное состояние, направив ее мысли на глубокие и серьезные размышления. На фоне их преступление Андзолето тускнело, как отдельный случай всего происходящего. Много часов провела она в молитве, слезах и думах. Наконец заснула, сознавая, что ни в чем неповинна, надеясь на волю Божию и его милосердие.

На следующий день Порпора зашел к ней сказать, что «Ипермнестра» будет повторена для Стефанини, исполняющего роль Андзолето. Сам же Андзолето болен, в постели, жалуется на потерю голоса. Первым побуждением Консуэло было бежать к нему, чтобы за ним ухаживать.

— Избавь себя от этого труда, — остановил ее профессор, — Андзолето прекрасно себя чувствует. Это мнение театрального доктора. Сегодня же вечером он отправляется к Корилле. Но граф Дзустиньяни, отлично понимая, что все это значит, и ничего не имея против того, чтобы молодой

тенор прекратил свои дебюты, запретил доктору выводить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини вернуться на сцену на несколько дней.

— Боже мой! Что же задумал Андзолето? Неужели он так пал духом, что собирается бросить сцену?

— Да, он бросает театр Сан-Самуэле. Через месяц он едет с Кориллой во Францию. Тебя это удивляет? Он бежит от тени, которую на него бросает твой успех; вручает свою судьбу в руки женщины менее страшной, которой, конечно, он изменит, как только она перестанет быть нужной ему.

Консуэло побледнела и прижала руки к сердцу. Оно колотилось в груди так, что, казалось, разорвется. Быть может, в ней жила еще надежда вернуть его, быть может, она собиралась, кротко пожурив его, предложить ему прекратить свои собственные выступления. Весть эта была для нее ударом кинжала. Она никак не могла примириться с мыслью, что не будет больше видеть того, кого так любила.

— Это какой-то страшный сон! — воскликнула она. — Мне надо пойти к нему, пусть он объяснит мне, что значит этот сон. Он не может уехать с этой женщиной, — это было бы для него гибелью. Не могу я допустить этого! Удержу его! Если он потерял голову, я объясню ему истинные его интересы. Пойдемте, дорогой учитель! Не бросить же его так...

— Я брошу тебя, и брошу навсегда! — закричал в негодовании Порпора. — Только сделай подобную низость! Умолять этого негодяя! Отвоевывать его у какой-то Кориллы! О святая Цецилия, берегись своего цыганского происхождения и старайся побороть в себе безрассудные бродяжнические инстинкты! Ну, идем: тебя ждут на репетицию. А сегодня вечером ты все-таки насладишься пением с таким мастером своего дела, как Стефанини. Ты встретишь в нем артиста просвещенного, скромного, великодушного.

Порпора потащил ее в театр, и здесь впервые Консуэло поняла весь ужас жизни артиста — эту зависимость от публики, вечную необходимость заглушать в себе собственные чувства, подавлять собственные волнения, для того чтобы постоянно изображать чужие чувства и чужие волнения. Эта репетиция, затем одевание, самое представление были для нее настоящей пыткой. Андзолето не появлялся.

Через два дня она должна была выступить в комической опере<sup>1</sup> Галуппи «Арчифанфано, царь сумасшедших». Вещь эту ставили ради Стефанини, который превосходно исполнял в ней комическую роль. Консуэло вынуждена была смешить тех, у кого раньше вызывала слезы. Со смертельной тоской в груди она все-таки умудрилась быть блестящей, обворожительной и даже забавной. Два-три раза рыдания начинали душить ее, но они превращались в нервный смех. Он был страшен, этот смех, если бы люди поняли его. Вернувшись в свою уборную, она свалилась в конвульсиях. Публика громко требовала ее, желая устроить ей овацию. Так как она все не выходила, поднялся страшный

<sup>1</sup> *Комические оперы* (в одном или двух актах) исполнялись в перерывах «серьезной» оперы, состоявшей всегда из трех актов.

гам, уже хотели ломать скамейки, перелезая через рампу... Стефанини пришел за ней и полуодетую, растрепанную, бледную, как смерть, потащил на сцену, где ее буквально засыпали цветами. Кто-то бросил к ее ногам лавровый венок, и она вынуждена была нагнуться, чтобы его поднять.

— Дикие звери, — шептала она, возвращаясь за кулисы.

— Красавица моя, — сказал ей старый певец, поддерживая ее под руку, — ты совсем больна, но вот эти пустяки, — прибавил он, передавая ей целый сноп цветов, поднятых им для нее, — чудодейственное средство от всех наших недугов. Подожди, свыкнешься, и придет время, когда ты будешь чувствовать печали и невзгоды только в те дни, когда тебя забудут увенчать лаврами.

«До чего они пусты и ничтожны!» — подумала бедная Консуэло.

Дотавившись до своей уборной, она упала без чувств на целое ложе цветов, подобранных на сцене и как попало брошенных на диван. Камеристка побежала за доктором. Граф Дзустиньяни на несколько минут остался наедине со своей прекрасной певицей, бледной и растерзанной, как жасмин, в котором она утопала. Взволнованный и опьяненный страстью, Дзустиньяни совсем потерял голову и в безумном порыве бросился целовать ее, думая своими ласками привести ее в чувство. Но его первый поцелуй в губы был омерзителен для чистой Консуэло. Придя в себя, она оттолкнула его, словно ужалившую змею.

— Прочь от меня! — крикнула она, точно в бреду. — Прочь от меня, любовь, ласки, сладкие речи!.. Мне не надо ни мужа, ни любовника, ни семьи! Учитель мой прав: свобода, идеал, одиночество, слава!

И тут она разразилась такими душераздирающими рыданиями, что перепуганный граф бросился подле нее на колени и стал ее успокаивать. Но он не мог найти слов утешения для этой истерзанной души, а его бушующая страсть, помимо него, рвалась наружу. Ему слишком хорошо было известно отчаяние обманутой любви. Он стал говорить ей о своих чувствах с воодушевлением человека, не потерявшего еще надежду на взаимность. Консуэло как будто слушала его; растерянно улыбаясь, она машинально высвободила из его руки свою и в этой улыбке графу почудился проблеск надежды. Есть мужчины тактичные, совсем не глупые в обществе, но дураки в любовных делах. Явился доктор и прописал входившие тогда в моду успокоительные «капли». Затем Консуэло закутали в мантилью и отнесли в гондолу. Граф тоже вошел туда вместе с ней, поддерживая ее в своих объятиях и продолжая нашептывать ей слова любви, казавшиеся ему такими красноречивыми и убедительными, что он не переставал надеяться на успех. Так прошло с четверть часа; видя, что Консуэло совершенно не откликается на все его излияния, граф стал молить ее ответить ему хоть одно слово, одарить его хоть одним взглядом.

— Но что же мне отвечать? — равнодушно спросила Консуэло, как бы очнувшись от сна, — я ничего не слышала.

Дзустиньяни сначала растерялся, но вскоре у него мелькнула мысль, что все-таки не надо упускать удобного случая; ему казалось, что от Консуэло



— Прочь от меня! — крикнула она, точно в бреду. —  
Прочь от меня, любовь, ласки, сладкие речи!.. Мне не надо ни мужа,  
ни любовника, ни семьи! Учитель мой прав:  
свобода, идеал, одиночество, слава!



в таком подавленном состоянии духа можно добиться большего, чем когда она будет владеть собой и своими мыслями. Снова заговорил он о своей любви, и снова ответом на его слова было то же молчание, та же рассеянность; при его попытках обнять и поцеловать ее она инстинктивно, как-то бесстрастно отталкивала его от себя, — для гнева у нее не было сил. Когда гондола причалила, Дзустиньяни пытался еще на минуту удержать Консуэло, все надеясь добиться от нее хоть единого обнадеживающего слова.

— Простите, господин граф, — наконец проговорила она кротко, но равнодушно, — я очень слаба; плохо вас слушала, но я поняла. О! Да! Я прекрасно поняла. Дайте мне ночь на размышление, дайте мне прийти в себя! А завтра, да... завтра я вам откровенно отвечу.

— Завтра! Консуэло, дорогая! Ах! Это целая вечность! Но я готов покориться, если вы мне позволите надеяться, что, по крайней мере, ваша дружба...

— О! Да! Да! Есть основание надеяться, — странным тоном ответила Консуэло, выходя на берег. — Но не идите за мной, — прибавила она, повелительным жестом указывая ему на гондолу, — иначе вам не на что будет надеяться.

Стыд и негодование вернули ей силы, но силы нервные, лихорадочные, вылившиеся, когда она стала подниматься по лестнице, в ужаснейший, язвительный смех.

— Веселы же вы, Консуэло! — проговорил в темноте голос, от которого она едва не остолбенела. — Поздравляю вас с таким веселым настроением!

— О, да! — воскликнула она, с силой схватив Андзолето под руку и быстро поднимаясь с ним в свою комнату. — Благодарю тебя, Андзолето, ты прав, поздравляя меня: я действительно весела, да, да, бесконечно весела!

Андзолето, ожидая ее, уже успел зажечь лампу; и когда голубоватый свет упал на их измученные лица, они испугались друг друга.

— Мы очень счастливы, не правда ли, Андзолето? — сказала она резко, горько улыбаясь и плача в одно и то же время. — Скажи, что ты думаешь о нашем счастье?

— Я думаю, Консуэло, — ответил он с горестной усмешкой и с сухими глазами, — что нам было не особенно легко на него согласиться, но что, в конце концов, мы с ним свыкнемся.

— Мне кажется, ты прекрасно свыкся с будуаром Кориллы.

— А ты, я нахожу, совершенно освоилась с гондолой господина графа.

— Господина графа? Тебе, значит, было известно, Андзолето, что господин граф хочет сделать меня своей любовницей?

— И чтоб не мешать тебе, моя милая, я скромно удалился.

— Ах, ты знал это? И выбрал этот момент, чтоб меня бросить?

— Разве я нехорошо поступил? Разве ты недовольна своей судьбой? Граф — великолепный любовник! Куда же было соперничать с ним несчастному, провалившемуся дебютанту!

— Порпора был прав: вы подлец! Вон отсюда! Вы не стоите, чтобы я перед вами оправдывалась, и, мне кажется, я была бы осквернена всяким вашим



сожалением. Слышите! Убирайтесь! Но уходя, знайте, что вы можете дебютировать в Венеции и даже вернуться с Корилой в Сан-Самуэле: никогда дочь моей матери не появится больше в этом гнусном балагане, величаемом театром...

— Значит дочь вашей матери — «цыганочка» — будет изображать знатную даму на вилле Дзустиньяни, на берегу Бренты<sup>1</sup>? Прекрасное существование! Очень радуюсь за вас!

— О мать моя! — воскликнула Консуэло, бросаясь на колени около своей кровати и пряча лицо в одеяло, которое когда-то служило саваном цыганки.

Андзолето был испуган и потрясен отчаянием Консуэло, ужасными рыданиями, разрывавшими ее грудь. Угрызения совести со страшной силой вдруг проснулись в нем, и он бросился к своей подруге, чтобы обнять и поднять ее с пола, но тут она сама вскочила на ноги и, отбросив его от себя с дикой силой, вытолкала за дверь, крича ему вслед:

— Вон отсюда! Вон из моего сердца! Вон из моей памяти! Прощай! Прощай навсегда!

Андзолето пришел к ней со страшно эгоистическими мыслями, но лучшего, однако, он ничего не мог бы придумать. Не чувствуя в себе сил расстаться с Консуэло, он придумал способ все примирить: сказать ей о намерениях Дзустиньяни сделать ее своей любовницей и тем самым вынудить ее покинуть театр. Его план, конечно, воздавал должное чистоте и гордости Консуэло. Жених ее прекрасно знал, что она неспособна ни на какие компромиссы, неспособна пользоваться покровительством, из-за которого могла бы краснеть. В его преступной и порочной душе все-таки жила непоколебимая уверенность в чистоте Консуэло. Он знал, что найдет ее такой же целомудренной, верной и преданной, какою оставил ее несколько дней тому назад.

Но как совместить это преклонение перед нею с твердым намерением обманывать ее: продолжая быть любовником Кориолы, желать оставаться ее женихом и другом? Он хотел вместе с любовницей вернуться на сцену. И, конечно, в такой момент, когда его успех всецело был в руках Кориолы, не могло быть и речи о том, чтобы разойтись с нею. Этот дерзкий и подлый план окончательно созрел в его голове, а к Консуэло он относился так, как итальянские женщины относятся к мадоннам: в часы раскаяния они молят у них прощения, а когда грешат, занавешивают их лик занавеской.

Когда он увидел ее в комической роли на сцене, такой блестящей, казавшейся безумно веселой, в душу его закрался страх, что он потерял слишком много времени на обдумывание своего плана. Увидев, что она вошла в гондолу графа, а потом услышав ее смех и не поняв в нем всего отчаяния этой измученной души, он решил, что опоздал, и в нем закипела страшная досада. Но когда она, возмущенная его оскорблениями, с презрением выгнала его от себя, он снова почувствовал к ней уважение с оттенком страха. Долго бродил он по лестнице

<sup>1</sup> *Брента* — река, впадающая в Венецианский залив; на ее берегах были расположены виллы богатых и знатных венецианцев.

и по берегу, все ожидая, что она позовет его. Он отважился даже постучать ей и через дверь молить о прощении; но гробовое молчание царило в комнате, куда ему уж не суждено было больше никогда войти вместе с Консуэло. Смущенный и удрученный, он ушел к себе, намереваясь на следующий день вернуться снова и добиться большего успеха.

«Во всяком случае, — говорил он себе, — мой план удастся: она знает теперь о любви графа, дело наполовину сделано».

Переутомившись, Андзолето долго спал на следующее утро; после полудня он отправился к Корилле.

— Великая новость! — воскликнула она, раскрывая ему объятия, — Консуэло уехала.

— Уехала? С кем? Куда?

— В Вену, куда ее отправил Порпора, и сам он собирается туда ехать. Всех нас провела эта хитрая девчонка: она была приглашена на императорскую сцену, где Порпора ставит свою новую оперу.

— Уехала! Уехала! Не сказав мне ни слова! — закричал Андзолето, бросаясь к двери.

— О! Теперь уж никак не найти тебе ее в Венеции! — зло смеясь и торжествуя глядя на него, проговорила Корилла. — С рассветом она села на корабль и отправилась в Пеллестрину<sup>1</sup>. Она теперь уже далеко. Дзустиньяни, которого она провела (он воображал, что пользуется у нее успехом), просто в бешенстве, захворал даже. Сейчас по его поручению был у меня Порпора, просил меня сегодня вечером петь. Стефанини, которого театр страшно утомил и который жаждет отдохнуть наконец в своей вилле, очень хочет, чтобы ты возобновил свои дебюты. Итак, знай, тебе завтра предстоит снова выступить в «Ипермнестре». Сейчас я иду на репетицию, меня там ждут. А ты, если все еще сомневаешься, пойди прогуляйся по городу, — сам убедишься в истине моих слов.

— О! Фурия! Ты победила! — вскричал Андзолето. — Но ты убиваешь меня!

И он упал без чувств на персидский ковер куртизанки.

## XXI

В самом неловком положении после бегства Консуэло очутился граф Дзустиньяни. Ведь он дал понять всей Венеции, будто дебютировавшая дива — его любовница; как мог он теперь без ущерба для своего самолюбия объяснить ее молниеносное, таинственное исчезновение при первом же слове его объяснения в любви? Правда, некоторым приходило в голову, что граф, ревнуя свое сокровище, запрятал его в одной из своих загородных вилл.

<sup>1</sup> *Пеллестрина* — остров, тянувшийся на юг от Лидо почти до Кьодджи.

Но когда Порпора со свойственной ему суровой правдивостью начал говорить о том, что его ученица — в Германии и ждет его приезда, оставалось только ломать себе голову над причинами такого странного поступка. Граф, чтобы обмануть окружающих, делал вид, будто он несколько не удивлен и не задет; огорчение же, помимо его воли, прорывалось наружу, и всем стало ясно, что успех у Консуэло, с которым его приветствовали, — игра воображения. Скоро почти все выплыло наружу: узнали и об измене Андзолето, и о соперничестве Кориаллы, и об отчаянии бедной испанки, которую все принялись горячо и искренне жалеть.

Первым побуждением Андзолето было бежать к Порпора, но старик сурово его оттолкнул.

— Перестань меня допытывать, тщеславный молодой человек, бессердечный и неверный, — ответил ему с негодованием профессор. — Ты никогда не стоил любви этой благороднейшей девушки и никогда не узнаешь от меня, что с ней случилось. Приложу все усилия, чтобы скрыть от тебя ее след; если же когда-нибудь вы случайно встретитесь, надеюсь, что образ твой так изгладится из ее сердца и из ее памяти, как я этого хочу и добиваюсь.

От Порпора Андзолето отправился на Корт-Минелли. Комната Консуэло была уже сдана новому жильцу и вся заставлена принадлежностями его производства. Он работал над мелкими изделиями из стекла, давно жил в этом доме и теперь весело перетаскивал сюда свою мастерскую.

— А! это ты, мой милый! — обратился он к юному тенору. — Верно, зашел навестить меня в моем новом помещении? Славно тут у меня будет, и жена рада-радехонька, что есть теперь где разместить детвору. Ты что ищешь? Не забыла ли чего здесь Консуэлина? Ищи, сын мой, смотри хорошенько! Я за это в обиду не буду.

— А куда же дели ее мебель? — спросил Андзолето. У него защемило сердце, когда он увидел, что в этом месте, связанном с самыми лучшими, самыми чистыми радостями всей его прошлой жизни, не осталось от Консуэло никакого следа.

— Мебель внизу, во дворе. Она подарила ее старухе Агате. Это она хорошо сделала: старуха бедна и на этом маленько наживет. Да, Консуэло всегда была добра. Она не только никому не осталась должна здесь, но, уезжая, еще всех понемногу одарила. Только одно распятие и взяла с собой. Все-таки отъезд ее какой-то странный: посреди ночи, без предупреждения. Едва рассвело, явился господин Порпора, распорядился всем, словно по духовному завещанию действовал. Все соседи пожалели о ней и только утешились тем, что, пожалуй, теперь она будет жить в каком-нибудь дворце на Большом канале, ведь она стала нынче богатой, важной синьорой. Я всегда говорил, что она со своим голосом далеко пойдет. А уж сколько она работала! Когда же свадьба, Андзолето? Надеюсь, ты меня не обойдешь, — возьмешь у меня побольше безделушек, чтоб одарить девушек нашего квартала?

— Конечно, конечно, — пробормотал, растерявшись, Андзолето.

Со смертельной тоской в душе выскочил он во двор, где в это время все местные кумушки продавали с аукциона кровать и стол Консуэло, — кровать, на которой столько раз он видел ее спящей, стол, за которым она всегда работала...

— Боже мой! От нее уже ничего не осталось, — невольно вырвалось у него, и он убежал, ломая себе руки. В эту минуту он готов был заколоть Кориолу.

Через три дня они с Корилой появились на сцене, и оба были жестоко освищены. Пришлось даже, не окончив представления, опустить занавес. Андзолето был вне себя от бешенства, Корилла — невозмутима.

— Вот до чего довело меня твое покровительство, — сказал он ей угрожающе, когда они остались одни.

— Немного же надо, чтобы огорчить тебя, бедное мое дитя, — с удивительным спокойствием ответила ему примадонна, — видно, ты совсем не знаешь публики и никогда не подвергался ее капризам. Я лично до того была уверена в провале, что даже не потрудилась повторить роли. А не предупредила я тебя о грозящих последствиях, так как не знала, хватит ли у тебя храбрости выйти на сцену, ожидая заранее, что тебя освищут. А теперь тебе надо знать, что нас ожидает впереди: в следующий раз к нам отнесутся еще похуже; быть может, три, четыре, шесть, восемь представлений пройдут таким же образом. Но среди этих бурь выкуется оппозиция в нашу пользу. Будь мы самыми захудалыми актеришками в свете, дух противоречия и независимости создал бы нам рьяных сторонников. Столько есть на свете людей, воображающих, что они станут важнее, оскорбляя других; но немало и таких, которые считают, что, покровительствуя другим, они этим возвышают самих себя. После десятка представлений, когда театральный зал среди свистков и аплодисментов будет представлять собою поле битвы, брыкающиеся выбьются из сил, упрямцы надуются, и мы с тобой вступим в новую фазу. Та часть публики, которая нас поддерживала, сама не зная хорошенько почему, будет слушать нас довольно холодно. Это явится как бы нашим новым дебютом, и вот тут-то нам с тобой и нужно увлечь, покорить публику! В этот момент предсказываю тебе большой успех, дорогой Андзолето: чары, тяготевшие над тобой, уже будут рассеяны. Ты попадешь в атмосферу одобрения и нежных похвал, и это вдохнет в тебя прежние силы. Вспомни впечатление, которое ты произвел, когда в первый раз пел у Дзустиньяни. У тебя только не было тогда времени закрепить свою победу: более блестящая звезда затмила тебя, но эта звезда скрылась за горизонтом, и ты готовься подняться со мной в эмпирей!

Все случилось так, как предсказала Корилла. Действительно, в течение нескольких дней обоим любовникам пришлось дорого расплачиваться за потерю, понесенную публикой в лице Консуэло. Но их дерзкое упорство перед бурей истощило гнев публики, слишком экспансивный, для того чтобы быть продолжительным.

Дзустиньяни поддерживал Кориолу, что же касается Андзолето, то граф хотя и порывался было привлечь в свой театр нового первого тенора, но, так

как в это время сезон почти кончался, а ангажементы со всеми театрами Европы были уже сделаны, это не удалось, и пришлось оставить Андзолето в качестве борца в этом состязании антрепризы с публикой. Репутация театра была слишком блестяща, чтобы можно было потерять ее из-за того или другого артиста. Ничто не могло сокрушить освященных временем привычек. Все ложь, как всегда, были абонированы на сезон. В них дамы так же принимали своих гостей и так же, по обыкновению, болтали. Истинные любители музыки некоторое время дулись, но их было слишком мало, чтобы это могло быть заметно. Да наконец и любителям надоело злобствовать, и в один прекрасный вечер Корилла, исполнившая с огнем свою арию, была единодушно вырвана из-за кулис. Она появилась, таща с собой Андзолето, которого вовсе и не вызывали. Он, казалось, скромно и боязливо уступал милому насилию. Тут и на его долю выпали аплодисменты. А на следующий день вызвали его самого. Одним словом, не прошло и месяца, как Консуэло, подобно молнии, блеснувшей на летнем небе, была забыта. Корилла производила фурор по-прежнему, а заслуживала его больше: соревнование придавало ей огня, а любовь — чувства. Андзолето же, хотя и не избавился от своих недостатков, но зато научился проявлять и свои бесспорные достоинства. К недостаткам привыкли, достоинствами восхищались. Его очаровательная наружность пленяла женщин: он стал самым желанным гостем в салонах, а ревность Кориллы придавала ухаживаниям за ним еще больше соли. Клоринда также проявляла на сцене свои способности, то есть тяжеловесную красоту и непомерно глупую распущенную чувственность, тоже представляющую интерес, для известного сорта зрителей. Дзустиньяни, чтобы забыться, — огорчение его было довольно серьезно, — сделал Клоринду своей любовницей, осыпал ее бриллиантами, выпускал на первые роли, надеясь заменить ею Кориллу, которая окончательно была приглашена в Париж на следующий сезон.

Корилла относилась без всякой злобы к этой сопернице, не представлявшей для нее ни в настоящем, ни в будущем никакой опасности. Ей даже доставляло удовольствие выдвигать эту холодную, бесстыдную бездарность, ни перед чем не останавливавшуюся. Эти два существа, живя в полном согласии, держали в своих руках всю администрацию. Они не допускали в репертуар серьезных вещей; мстили Порпора, не принимая его опер и ставя самым блестящим образом оперы недостойных его соперников. С необыкновенным единодушием вредили они тем, кто им не нравился, и всячески покровительствовали пресмыкающимся перед ними. Благодаря им в этот сезон в Венеции восхищались совершенно ничтожными произведениями, забывая настоящие великие творения искусства, царившие здесь раньше.

Андзолето среди своих успехов и благополучия — граф заключил с ним контракт на довольно выгодных условиях — чувствовал глубокое отвращение ко всему и изнемогал под гнетом своего плачевного счастья. Он возбуждал жалость, когда во время репетиции тащился за торжествующей Кориллой,



по-прежнему божественно красивый, но бледный, утомленный, со скучающим видом обожаемого человека, разбитого, раздавленного под тяжестью так легко сорванных им лавров и мирт.

Даже на сцене, играя со своей пылкой любовницей, он выказывал равнодушие к ней. Когда она пожирала его глазами, он взглядом и видом словно говорил публике: «Не думайте, что я тоже пылаю к ней. Напротив, тот, кто меня избавит от нее, окажет мне большую услугу».

Дело в том, что Андзолето, избалованный и развращенный Корилой, относился к ней с тем эгоизмом и неблагодарностью, которые та внушала ему ко всем. В душе его, несмотря на все его пороки, жило одно чистое, настоящее чувство — неискоренимая любовь к Консуэло. Благодаря врожденному легкомыслию он мог отвлекаться, забываться, но излечиться от этой любви не мог, и среди самого низменного распутства любовь эта являлась для него укором и пыткой.

Изменял он Корилле направо и налево. Сегодня — с Клориндой, чтобы тайком отомстить графу, завтра — с какой-нибудь известной светской красавицей, а там еще с какой-нибудь грязенькой статисткой. Ему ничего не стоило из таинственного будуара светской дамы перенестись на безумную оргию и от яростных сцен Кориоллы — к веселому, разгульному пиру. Казалось, он хочет всем этим заглушить в себе всякое воспоминание о прошлом. Но среди его безумств и разврата всюду по пятам следовал за ним призрак. Когда по ночам ему случалось со своими шумными собутыльниками проплывать в гондоле мимо темных лачуг Кортэ-Минелли, он никогда не мог удержаться от рыданий.

Корилла, долго выносившая обращение Андзолето и, как все вообще низкие души, склонная любить своего любовника за презрение к ней и обиды, под конец стала тяготиться этой злополучной любовью. Она все льстила себя надеждой, что покорит, поработит это дикое свободолюбие, и с ожесточением трудилась над этим, принося все в жертву; но убедившись, что ей этого никогда не добиться, возненавидела его и стала стремиться отомстить своими собственными похождениями.

Однажды ночью, когда Андзолето с Клориндой блуждали в гондоле по Венеции, он заметил какую-то быстро несущуюся гондолу с потушенным фонарем, что говорило о тайном любовном свидании. Он едва обратил на это внимание, а Клоринда, бывшая всегда настороже, боясь быть узнанной, шепнула ему:

— Вели грести медленно: это гондола графа, — я узнала гондольера.

— В таком случае ее надо догнать: мне хочется узнать, какой изменой граф платит за твою.

— Нет! Нет! Повернем назад! — настаивала Клоринда. — У него такое зоркое зрение и такой тонкий слух. Не будем ему мешать.

— Скорей! Слышишь, налегай на весла! — крикнул Андзолето гондольеру. — Я хочу догнать вон ту гондолу, впереди.

Несмотря на ужас и мольбы Клоринды, этот приказ был мгновенно выполнен. Обе гондолы почти коснулись друг друга, и в эту минуту до ушей Андзолето донесся из гондолы плохо сдерживаемый смех.

— Прекрасно! — сказал он. — Справедливость торжествует! Корилла прохлаждается с графом!

С этими словами Андзолето выпрыгнул на нос своей гондолы и, выхватив из рук гондольера весло, стал усиленно грести. В мгновение ока он догнал графскую гондолу и задел ее. Тут, потому ли, что среди смеха Корииллы он услышал свое имя или на него нашло безумие, только он громко произнес:

— Дорогая Клоринда, ты, бесспорно, самая красивая, самая обожаемая женщина в мире.

— Я только что это самое говорил Корилле, — произнес граф, показываясь из-под навеса гондолы и чрезвычайно смело приближаясь к соседней гондоле, — а теперь, когда наши прогулки закончены, мы как честные люди, владеющие равноценными сокровищами, можем здесь произвести обмен.

— Господин граф воздаст должное моей честности, — в том же тоне ответил Андзолето, — если его сиятельству будет угодно, я предложу ему руку, чтобы он мог, перейдя сюда, взять обратно свое добро, где он его нашел.

Дзустиньяни только было протянул руку Андзолето, как тот, взбешенный, дрожа от ненависти, с размаху прыгнул в гондолу графа и мгновенно опрокинул ее, дико крича: «Женщина за женщину, гондола за гондолу, господин граф!»

Предоставив затем своих жертв их судьбе, Андзолето добрался вплавь до противоположного берега и со всех ног пустился бежать по темным извилистым улицам к себе домой. Здесь, моментально переодевшись и забрав с собой все имеющиеся у него деньги, он выбежал из дома и бросился в первый попавшийся готовый к отплытию баркас. Несясь на нем к Триесту<sup>1</sup>, видя, как в предрассветной мгле постепенно погружаются в море купола и колокольни Венеции, Андзолето даже прицелкнул пальцами, до того он был упоен одержанной победой.

## XXII

Среди западных отрогов Карпатских гор, отделяющих Богемия от Баварии, принимающих в этих местах название «Богемский лес», лет сто тому назад еще высился старей, очень обширный замок, называющийся, не знаю в силу какого предания, Замком Великанов. Хотя он издали и походил на старинную крепость, но представлял собою лишь барскую усадьбу, отделанную внутри

<sup>1</sup> Город *Триест* с 1382 года принадлежал Австрии и только после мировой войны был присоединен снова к Италии. Переезд от Венеции до Триеста по Адриатическому морю пароходом длится пять-шесть часов.

в стиле Людовика XIV, уже устаревшем тогда, но все же пышном и благородном. Феодальная архитектура подверглась также весьма удачным переделкам в тех частях здания, где обитали графы Рудольштадты, владельцы этого богатого поместья.

Эта семья, богемская по происхождению, онемечила свою фамилию, отрекшись от реформации в самую трагическую Эпоху Тридцатилетней войны. Их доблестный и благородный предок, непоколебимый протестант, был зверски убит фанатичными солдатскими бандами на горе, недалеко от замка. Его вдова, родом саксонка, спасла жизнь и состояние своих малых детей, обратившись в католичество и поручив иезуитам воспитание наследников Рудольштадтов. Через два поколения, когда над безгласной и угнетенной Богемией окончательно утвердилось австрийское иго, а слава и бедствия реформации, казалось, были забыты, графы Рудольштадты продолжали жить в своем поместье как благочестивые христиане и верные католики — богато, но просто — как добрые аристократы и преданные слуги Марии-Терезии. В былое время они выказали свою отвагу на службе у императора Карла VI. Теперь всех удивляло, что последний представитель этого знатного и доблестного рода — молодой Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштадта, не принимал участия в только что закончившейся войне за наследство, но достиг тридцатилетнего возраста, не познав и не ища иных чести и славы, кроме тех, которые имел по рождению и состоянию. Такое странное поведение возбудило подозрение у монархини, не является ли он соумышленником ее врагов. Но, когда граф Христиан удостоился чести принять императрицу в своем замке, он сумел объяснить поведение сына данными, по-видимому, удовлетворившими ее. Содержание беседы Марии-Терезии с графом Рудольштадтом осталось скрытым для всех. Странная тайна окутывала очаг этой набожной и щедрой на благотворительность семьи, которую почти никто из соседей уже не посещал лет десять; никакие дела, никакие развлечения, никакие политические волнения не могли вынудить их выехать из своего поместья; они платили щедро и безропотно все военные налоги, не проявляя никакого беспокойства среди общественных опасностей и бедствий. Они жили какой-то своей жизнью, отличной от жизни прочих аристократов, и это вызывало недоверие к ним, хотя их деятельность проявлялась лишь в добрых делах и благородных поступках. Не зная, чем объяснить эту безрадостную, обособленную жизнь графов Рудольштадтов, их обвиняли то в мизантропии, то в скупости. Но так как поведение их опровергало на каждом шагу и то и другое, то оставалось упрекать их лишь в равнодушии и нерадивости. Говорили, будто граф Христиан не пожелал подвергать опасности жизнь своего единственного сына и последнего представителя рода в этих гибельных войнах, а императрица согласилась принять взамен его военной службы денежную сумму, достаточную, чтобы снарядить целый гусарский полк. Аристократические дамы, имевшие дочерей-невест, говорили, что граф поступил очень хорошо; когда же они узнали, что граф Христиан собирается, по-видимому, женить

сына на дочери своего брата, графа Фридриха, и что юная баронесса Амелия уже вышла из монастыря в Праге, где воспитывалась, и будет жить отныне в Замке Великанов, около своего двоюродного брата, эти дамы в один голос заявили, что замок Рудольштадт — это волчья берлога, а все обитатели его необщительны и дики, один хуже другого. Лишь несколько неподкупных слуг и преданных друзей знали семейную тайну и свято хранили ее.

Однажды вечером эта благородная семья сидела за столом, обильно уставленным дичью и теми сытными блюдами, которыми в доброе старое время аристократы питались еще в славянских землях, несмотря на то, что под влиянием двора Людовика XV изысканность уже входила в привычку большей части европейской аристократии. Громадный камин, где пылали целые дубы, распространял тепло в огромном, мрачном зале. Граф Христиан только что прочитал громким голосом молитву, которую остальные члены семьи выслушали стоя. Многочисленные слуги, все старые, степенные, с длинными усами, в национальных костюмах, в широких шароварах мамелюков, неторопливо служили своим высокочтимым господам. Капеллан замка занял место по правую руку графа, его племянница, юная баронесса Амелия, по левую, со стороны сердца, как говорил граф с отеческой улыбкой. Барон Фридрих, его младший брат, которого он всегда называл своим «молодым» братом (ему было всего шестьдесят лет), сел напротив. Канонисса<sup>1</sup> Венцеслава Рудольштадт, его старшая сестра, почтенная семидесятилетняя особа, необычайно худая и с огромным горбом, уселась на конце стола, а граф Альберт, сын графа Христиана и жених Амелии, бледный и угрюмый, с рассеянным видом, поместился на другом конце стола, напротив своей почтенной тетки. Из всех этих молчаливых людей Альберт, конечно, меньше всех хотел и мог внести оживление. Капеллан был так предан своим хозяевам и так почитал главу семьи, что начинал говорить лишь тогда, когда видел по глазам графа, что тот желает этого. Граф был такого спокойного, сосредоточенного характера, что почти никогда не искал у других отвлечения от своих собственных мыслей.

У барона Фридриха характер был менее глубокий, а темперамент более живой. Такой же кроткий и доброжелательный, как и старший брат, он был менее умен и в нем было меньше внутреннего энтузиазма. Его религиозность была лишь делом привычки и приличия. Единственной его страстью была охота. Он проводил на ней целые дни, возвращаясь вечером не усталый (имея действительно железный организм), но весь красный, запыхавшийся, голодный. Он ел за десять, пил за тридцать человек. За десертом он обыкновенно оживлялся, и тут начинались его бесконечные рассказы о том, как его собака Сафир затравила зайца, как другая собака, Пантера, выследила

<sup>1</sup> *Канонисса* — титул женщин, либо поступающих в монастырь и несущих там определенные обязанности (хозяйственные, благотворительные), либо оставшихся в миру, но связанных определенными обетами. Канониссы принадлежали к аристократическим фамилиям и пользовались доходами от специальных церковных владений.



*У барона Фридриха характер был менее глубокий,  
а темперамент более живой. Такой же кроткий  
и доброжелательный, как и старший брат, он был менее умен  
и в нем было меньше внутреннего энтузиазма.*

волка, как поднялся его сокол Аттика. Слушали его с терпеливым добродушием. Истошив все эти темы, барон, сидя у камина в большом кресле, обитом черной кожей, незаметно засыпал и спал так до тех пор, пока дочь не будила его, говоря, что уже пора ложиться в постель.

Самой разговорчивой из всей семьи была канонисса. Ее можно было назвать даже болтливой: ведь, по крайней мере, два раза в неделю она



по четверти часа обсуждала с капелланом генеалогию богемских, саксонских и венгерских фамилий. Она знала, как свои пять пальцев, все родословные, начиная от короля и кончая самым захудалым дворянином.

Что же касается графа Альберта, то в его наружности было что-то страшное и торжественное. Казалось, в каждом жесте его чувствовалось какое-то предзнаменование, в каждом слове слышался приговор. Почему-то (понять это, очевидно, мог только посвященный в семейную тайну), стоило Альберту открыть рот, — что, надо сказать, случалось далеко не каждый день, — как и родные и слуги с глубоким страхом и нежной мучительной тревогой начинали смотреть на него, за исключением лишь юной Амелии, относившейся большей частью с раздражением и насмешкой к словам своего двоюродного брата. Одна она осмеливалась, в зависимости от настроения, то пренебрежительно, то шутливо отвечать ему.

Эта молодая, белокурая, с ярким румянцем, живая, прекрасно сложенная девушка была удивительно хороша собой. Когда ее камеристка, стремясь разогнать ее тоску, называла ее жемчужиной, юная баронесса отвечала ей:

— Увы! Как жемчужина скрыта в своей раковине, так и я погребена с моей скучнейшей семьей в этом ужасном Замке Великанов.

Из этих слов читателю ясно, какую резвую птишку заключала в себе беспощадная клетка.

В этот вечер торжественное молчание, царившее обыкновенно среди графской семьи, особенно за первым блюдом (оба старых графа, канонисса и капеллан обладали солидным регулярным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время года), было нарушено Альбертом.

— Какая ужасная погода! — проговорил он, тяжело вздыхая.

Все с удивлением переглянулись. Сидя более часа за столом в зале с закрытыми дубовыми ставнями, никто не подозревал, что за это время погода переменилась. Полнейшая тишина царила снаружи и внутри, и ничто не предвещало надвигающейся грозы. Тем не менее никто не решился противоречить Альберту, лишь одна Амелия пожала плечами. После минутного тревожного перерыва снова застучали вилки, и слуги начали медленно менять блюда.

— Неужели вы не слышите, отец мой, как бушует ветер среди сосен Богемского леса? Неужели оглушительный рев потока не доносится до вас? — еще громче спросил Альберт, пристально глядя на отца.

Граф Христиан ничего не ответил, а барон, имевший обыкновение всегда со всеми соглашаться, сказал, не сводя глаз с куска дичи, который он в эту минуту резал с такой энергией, будто это был гранит:

— Действительно, ветер при заходе солнца предвещал дождь, — весьма вероятно, что завтра будет плохая погода.

Альберт странно улыбнулся, и снова все погрузилось в мрачное молчание, но не прошло и пяти минут, как страшный порыв ветра, от которого задребезжали стекла огромных окон, завыл, завизжал, ударил, как кнутом, по воде рва и унесся ввысь к горным вершинам с таким пронзительным и жалобным



*Когда камеристка Амелии, стремясь разогнать ее тоску, называла ее жемчужиной, юная баронесса отвечала ей:  
— Увы! Как жемчужина скрыта в своей раковине, так и я погребена с моей скучнейшей семьей в этом ужасном Замке Великанов.*

стоном, что все побледнели, кроме Альберта, улыбнувшегося такою же загадочной улыбкой, как и в первый раз.

— В эту минуту, — проговорил он, — гроза гонит к нам одну душу. Хорошо, если б вы, господин капеллан, помолились за путешественников в наших суровых горах в такую ужасную бурю.

— Я молюсь ежечасно и от всей души, — ответил дрожащий капеллан, — за странствующих по тяжким путям жизни среди бурь людских страстей.

— Не отвечайте ему, господин капеллан, — сказала Амелия, не обращая внимания на взгляды и знаки, предупреждавшие ее со всех сторон, чтоб она не продолжала этого разговора. — Вы хорошо знаете, что мой двоюродный брат доставляет себе удовольствие мучить других, говоря загадками. Но я вовсе не склонна разгадывать их.

Граф Альберт, казалось, обращал не больше внимания на пренебрежительность своей двоюродной сестры, чем она на его странные рассуждения. Он оперся локтем на тарелку, почти всегда пустую и чистую, стоявшую перед ним, и начал пристально глядеть на камчатную скатерть, словно считая на ней цветочки и звездочки, в действительности же поглощенный каким-то экстатическим видением.

### XXIII

Неистовая буря разразилась во время ужина, который всегда продолжался два часа, ни больше, ни меньше, даже в постные дни, набожно соблюдавшиеся; но граф никогда не освобождался от ига привычек, столь же священных для него, как и постановления римской церкви. Грозы были слишком часты в этих горах, а бесконечные леса, покрывавшие в ту эпоху их склоны, отражали шум ветра и рокот грома раскатами эхо, слишком хорошо знакомыми обитателям замка, чтобы это явление природы могло их сильно потрясти. Все-таки необычайное возбуждение, проявляемое графом Альбертом, невольно перешло к его семье; барон мог бы ощутить досаду за нарушенное удовольствие от вкусной трапезы, если бы был в состоянии хоть на мгновение изменить своей доброжелательной кротости. Он ограничился только глубоким вздохом, когда потрясающий удар грома, разразившийся к концу ужина, так перепугал дворецкого, что тот не попал ножом в окорок дикого кабана, который разрезал в ту минуту.

— Кончено дело! — сказал барон, сочувственно улыбаясь бедному слуге, потрясенному своей неудачей.

— Да, дядюшка, вы правы! — возбужденно воскликнул граф Альберт, вставая. — «Кончено дело!» Гусит сражен, — его сжигают молнии. Больше он не зазеленеет весной!

— Что хочешь ты этим сказать, мой сын? — печальным голосом спросил старик Христиан. — Ты говоришь о большом дубе на Шрекентштейне<sup>1</sup>?

— Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы на прошлой неделе велели повесить более двадцати августинских монахов.

<sup>1</sup> *Шрекентштейн* — скала Ужаса; в этих краях многие места носят такое название. (Прим. автора.)

— Он начинает принимать столетия за недели! — прошептала канонисса, осеняя себя большим крестным знамением. — Если вы во сне и видели, дорогое дитя мое, — повысив голос, обратилась она к племяннику, — то, что действительно произошло или должно случиться (ведь не раз ваши фантазии случайно оправдывались), то гибель этого скверного полузасохшего дуба не будет для нас большой потерей: с ним и со скалой, которую он осеняет, связано у нас столько роковых исторических воспоминаний.

— А я, — с живостью добавила Амелия, довольная, что может, наконец, дать волю своему язычку, — была бы очень благодарна грозе, если б она избавила нас от этого ужасного дерева-виселицы, ветви которого напоминают скелеты, а из ствола, поросшего красивым мохом, словно сочится кровь. Ни разу не проходила я мимо него вечером без содрогания: шелест листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные стоны и хрип, что каждый раз, предав себя в руки Божьи, я убегала оттуда без оглядки.

— Амелия, — снова заговорил молодой граф, первый раз за много дней отнесшись со вниманием к словам двоюродной сестры, — вы хорошо сделали, что не проводили под Гуситом целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы там увидели и услышали такие вещи, от которых у вас застыла бы кровь в жилах и которых вы никогда не смогли бы забыть.

— Замолчите! — закричала на своем стуле молодая баронесса, вздрогнув и словно отодвигаясь от стола, на который облокотился Альберт, — я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы — наводить на меня ужас каждый раз, когда вы соблаговолите раскрыть рот.

— Дай Бог, дорогая Амелия, чтобы ваш двоюродный брат говорил это только ради забавы, — кротко заметил старый граф.

— Нет, отец мой, я говорю вам очень серьезно: дуб на скале Ужаса свалился, расколовшись на четыре части, и вы завтра же можете послать дровосеков порубить его. На этом месте я посажу кипарис и назову его уже не Гуситом, а Кающимся; а скалу Ужаса вам давно следовало было переименовать в скалу Искупления.

— Довольно, довольно, сын мой, — проговорил старик в страшной тревоге, — отгони от себя прочь эти страшные картины и предоставь Богу судить людские деяния.

— Мрачные картины канули в вечность, отец мой; они перестали существовать вместе с дубом — орудием пытки, которое грозовой вихрь и небесный огонь повергли в прах. Вместо скелетов, раскачивавшихся на нем, я вижу цветы и плоды, которые колышет зефир на ветвях нового дерева. А вместо черного человека, разводившего каждую ночь костер под Гуситом, я вижу, отец, парящую над нашими головами чистую, светлую душу. Гроза рассеивается, о мои дорогие родные, опасность миновала, путешествующие теперь в безопасности; душа моя спокойна. Срок искупления истекает. Чувствую, что я возвращаюсь.

— О сын мой, любимый мой! Если бы действительно это было так! — с глубокой нежностью проговорил взволнованным голосом старик. — Если б

только ты мог избавиться от всех этих видений и призраков, терзающих тебя! Неужели Господь ниспошлет мне такую милость — вернет моему дорогому Альберту покой, надежду и свет веры?

Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Альберт тихо склонился над столом и, казалось, моментально погрузился в безмятежный сон.

— Это еще что? — сказала, обращаясь к отцу, Амелия. — Засыпать за столом! Очень любезно, нечего сказать!

— Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благодетельным кризисом, после которого, хотя бы временно, должно наступить улучшение, — сказал капеллан, с любопытством глядя на молодого человека.

— Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его будить, — произнес граф Христиан.

— Боже милостивый, — складывая набожно руки, горячо молилась канонисса, — осуществи его предсказания, и пусть день его тридцатилетия станет днем его полного выздоровления!

— Аминь! — благоговейно закончил капеллан. — Вознесем же сердца наши к милосердному Богу, — продолжал он, — и, воздав ему благодарность за принятую нами пищу, будем молить его об исцелении этого благородного молодого человека — предмета наших общих тревог!

Все встали для благодарственной молитвы, затем молча продолжали стоять, молясь каждый про себя за последнего из рода Рудольштадт. Старик Христиан был так взволнован, что две крупные слезы скатились по его поблекшим щекам.

Старый граф уже приказал своим верным слугам перенести спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом племяннике, с радостным видом, как-то по-детски остановил его:

— Знаете, братец, мне пришла в голову счастливая мысль. Если ваш сын проснется у себя в одиночестве, после какого-нибудь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные мрачные мысли. Прикажите перенести его в гостиную и поместить в мое большое кресло. Для сна нет лучшего кресла во всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а проснется он у весело пылающего камина, среди близких, дружеских лиц.

— Это правда, брат мой. Действительно, его можно перенести в гостиную и положить на большой диван.

— Очень вредно после ужина спать лежа, — воскликнул барон. — Поверьте, я это знаю по личному опыту. Его надо посадить в мое кресло. Да, да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в моем кресле.

Христиан видел, что отказать брату значило бы серьезно огорчить его; и молодого графа усадили в кожаное кресло охотника, причем его сон был так близок к летаргическому состоянию, что ничего этого он даже и не почувствовал. Барон же с сияющим, гордым видом уселся на другое кресло, грея свои ноги у огня, достойного древних времен, и торжествующе улыбался



каждый раз, когда капеллан повторял, что этот сон самым благотворным образом должен действовать на графа Альберта. Добряк собирался было пожертвовать не только своим креслом для племянника, но и самим послеобеденным сном, чтобы вместе со всеми другими бодрствовать при нем; но через четверть часа он до того освоился со своим новым креслом, что храп его стал заглушать последние раскаты грома, затихавшие вдали.

Вдруг прозвучал большой колокол замка, в который звонили только в случае необычных посещений, и вскоре вошел старик Ганс — старейший из слуг, держа в руках большой конверт, и молча подал его графу Христиану; а затем, также не проронив ни слова, вышел в соседнюю комнату, ожидая приказаний своего барина. Граф Христиан распечатал письмо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с просьбой прочитать вслух. Амелия с торопливым любопытством, приблизив свечу, прочитала нижеследующее:

*Достопочтенный и дорогой граф!*

*Ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня оказать Вам услугу. Этим Вы осчастливили меня еще больше, чем всеми незабываемыми оказанными мне раньше услугами, память о которых мне так дорога. Несмотря на все стремления выполнить приказание Вашего сиятельства, я, однако ж, не надеялся так скоро, как того хотелось бы мне, найти для этого подходящую особу. Неожиданные обстоятельства благоприятствуют исполнению желания Вашего сиятельства, и я спешу препроводить молодую особу, удовлетворяющую отчасти требуемым условиям. Посылаю ее поэтому временно, дабы ваша высокочтимая, любезная племянница могла без особого нетерпения ждать, пока мои старания и искания не приведут к более совершенным результатам. Девушка, которая будет иметь честь передать Вам это письмо, — моя ученица и в некотором роде моя приемная дочь. Она будет, как этого желает очаровательная баронесса Амелия, одновременно и милой приятной компаньонкой, и сведущей преподавательницей музыки. Она не имеет, правда, того образования, которого вы ищете в наставнице. Свободно говоря на нескольких иностранных языках, вряд ли она знакома с ними настолько основательно, чтобы быть в состоянии их преподавать. Музыку же она знает в совершенстве и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом, пением и манерой себя держать. Не менее будете Вы удовлетворены ее кротостью и благородством характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить ее к себе, не боясь, что она сделает какую-нибудь неловкость или проявит недостойные чувства. Она желает свободно выполнять свои обязанности по отношению к Вашей благородной семье и отказывается от вознаграждения. Словом, я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не камеристку, а, как она изволила просить меня сама в приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме Вашего сиятельства, — компаньонку и подругу.*

*Синьор Корнер, получивший назначение при австрийском посольстве, ожидает приказа о своем отъезде. Но, по всей вероятности, этот приказ*

*не состоится раньше как через два месяца. Синьора Корнер, его достойная супруга, а моя великодушная ученица, желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на лучшее будущее, я все же сдаюсь на ее милостивое предложение, так как жажду покинуть неблагодарную Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований, обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты, когда снова увижу благородную Германию, где я знавал более счастливые, радостные дни и где оставил глубокочтимых друзей. Ваше сиятельство хорошо знает, что занимает одно из первых мест в этом старом, обиженном, но не охладевшем сердце, в сердце, полном вечной привязанности к Вам и глубокой благодарности. Итак, глубокочтимый граф, я поручаю и вручаю Вам мою приемную дочь, прося у Вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она, я уверен, сумеет отплатить за Ваши милости, будучи приятной и полезной баронессе.*

*Не позже как через три месяца я, приехав за ней, представлю Вам на ее место наставницу, которая сможет заключить с Вашей глубокочтимой семьей условия на более продолжительный срок.*

*В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать руку лучшего из людей, я остаюсь, смею сказать, с почтением и гордостью самым покорным слугой и преданнейшим другом Вашего сиятельства.*

*Никола Порпора, капельмейстер, композитор и учитель пения.  
Венеция, мес... дня... 17... года.*

Амелия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а старый граф растроганным голосом несколько раз повторил:

— Достойный Порпора — чудесный друг, достойный, уважаемый человек...

— Конечно, конечно, — сказала канонисса Венцеслава, испытывая, с одной стороны, страх, что приезд чужого человека может чем-либо нарушить семейные привычки, а с другой стороны — желание достойным образом оказать гостеприимство приезжей. — Надо как можно лучше встретить и принять ее... Лишь бы не соскучилась она здесь...

— Но где же, дядюшка, мой будущий друг, моя драгоценная учительница? — воскликнула юная баронесса, не слушая всех теткинских соображений. — Наверно, она скоро и сама появится?.. Я с нетерпением жду ее!

Граф Христиан позвонил.

— Ганс, кто передал вам это письмо? — спросил он.

— Одна дама, ваше сиятельство!

— Она уже здесь! — воскликнула Амелия. — Где же она? Где?

— Она в почтовой карете, у подъемного моста.

— И вы заставили ее ожидать у ворот замка вместо того, чтобы сейчас же ввести в гостиную?

— Да, баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру двигаться с места. Мост за собой я велел поднять и передать письмо его сиятельству.



— Но ведь это нелепо, непросительно  
заставлять ждать приезжающих к нам гостей  
в такую ужасную погоду! Бегите же скорей, Ганс, бегите!.. —  
Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя.

— Но ведь это нелепо, непростительно заставлять ждать приезжающих к нам гостей в такую ужасную погоду! Можно действительно подумать, что мы живем в крепости и всякий к ней приближающийся — враг! Бегите же скорей, Ганс, бегите!..

Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить распоряжения юной хозяйки: даже пушечное ядро, пролетев над его головой, не было бы в силах хоть чуточку изменить невозмутимую позу, в которой он ожидал приказа своего старого барина.

— Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и полученные приказания, — произнес наконец граф Христиан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипела кровь. — Теперь, Ганс, велите открыть ворота и спустить мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с зажженными факелами, добро пожаловать ей!

Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив приказание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближайшие родственники и вернейшие друзья не допускались иначе, как с проволочками и предосторожностями.

Канонисса пошла распорядиться ужином для приезжей. Амелия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя предложил ей руку, желая встретить лично гостью, и юной, пылкой баронессе пришлось величественным, медленным шагом пройти до колоннады у подъезда, где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из почтовой кареты, странствующая беглянка Консуэло.

## XXIV

Уже три месяца прошло с тех пор, как баронесса Амелия забила себе в голову, что ей необходима наставница — не столько для учения, сколько для развлечения. В муках одиночества она не раз силилась представить себе, какова будет ее будущая подруга. Зная, как мрачно настроен всегда Порпора, она боялась, что он пришлет ей суровую и педантичную гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору, предупреждая его, что плохо примет всякую наставницу старше двадцати пяти лет, словно не было достаточно выразить такое желание своим родным, для которых она была кумиром и повелительницей!

Письмо Порпора привело ее в восторг, и она сейчас же вообразила, что музыкантша, приемная дочь профессора, должна непременно быть молодой, а главное типичной венецианкой, т. е. совсем в ее вкусе, как бы для нее нарочно созданной. Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо резвой, румяной девочки, о какой она мечтала, увидела бледную, грустную, чрезвычайно смущенную девушку. Не говоря уже о глубокой печали, терзавшей



бедную Консуэло, об усталости от долгого, безостановочного пути, она была еще подавлена страшными переживаниями последних часов: ужасная гроза в дремучих сосновых лесах, среди полного мрака, прорезаемого бледными молниями, потом мрачный вид самого замка, за душу хватающий вой охотничьих собак барона, горящие факелы в руках безмолвно стоящих слуг — во всем этом было что-то действительно зловещее.

Какой контраст с лучезарным небом и гармонической тишиной венецианских ночей, доверчивой свободой ее прошлой жизни среди любви и жизнерадостной поэзии! Когда по подъемному мосту глухо застучали копыта лошадей и по нему медленно проехала карета, когда со скрипом за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось, что она входит в дантовский ад. Охваченная ужасом, она поручила себя воле Божьей.

Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда она появилась перед своими хозяевами. Увидав же графа Христиана с его вытянутым, бледным лицом, поблекшим от лет и горя, с его длинной, сухой, деревянной фигурой, облаченной в старомодный костюм, она подумала, что перед ней призрак средневекового владельца замка, и невольно отшатнулась назад, едва сдержав крик ужаса.

Старый граф, объясняя себе состояние Консуэло и ее бледность усталостью после столь длинного путешествия, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на крыльцо. В то же время он пытался сказать ей несколько приветливых, любезных слов. Но помимо того, что природа наделила почтенного старика внешне холодной сдержанностью, за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость удвоилась. Под его, на первый взгляд, важной и суровой внешностью таилась детская конфузливость и способность теряться. Из любезности он считал нужным говорить с Консуэло по-итальянски (он знал язык порядочно, но отвык от него). Это еще увеличивало его смущение, и он едва мог пробормотать несколько слов, которые девушка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный, таинственный язык привидений.

Амелия, заранее собравшаяся при встрече броситься к ней на шею, желая сразу ее приручить, не нашлась, что сказать. С ней случилось то, что бывает и с самыми смелыми людьми, — ее заразила застенчивость и сдержанность других.

Консуэло ввели в большой зал, где только что отужинали. Граф, желая оказать гостю внимание, а вместе с тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился здесь в нерешительности. Дрожащая Консуэло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый попавшийся стул.

— Дядя — сказала Амелия, поняв замешательство старого графа, — мне кажется, нам лучше принять синьору здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной, а она, наверно, в такую грозу страшно прозябла от нашего холодного горного ветра. С грустью вижу, что наша гостя падает от усталости, и я уверена, что





*Графа Христиана природа наделила внешне холодной сдержанностью; за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость удвоилась. Под его, на первый взгляд, важной и суровой внешностью таилась детская конфузливость и способность теряться.*

она нуждается в хорошем ужине и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях. Не правда ли, дорогая синьора? — добавила она, решаясь наконец пожать своей пухленькой ручкой обессиленную руку Консуэло.

Звук этого свежего молодого голоса, говорившего по-итальянски с резким немецким произношением, сразу успокоил Консуэло. Она подняла усталые глаза на красивое лицо юной баронессы, и взгляд, которым обменялись обе девушки, мгновенно рассеял между ними холод. Консуэло поняла, что это ее будущая ученица и что эта прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою очередь, она пожала ей руку и призналась, что ее совсем оглушил стук кареты и очень напугала гроза. Охотно подчинялась она всем заботам Амелии:

приблизилась к пылающему камину, позволила снять с себя мантилью и согласилась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-помалу, ободренная все увеличивающейся любезностью юной хозяйки, она окончательно пришла в себя. К ней вернулась способность видеть, слышать и отвечать.

Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно, о Порпора. Консуэло с радостью услышала, что граф говорит о нем, как о своем друге, не только равном ему, но как будто даже выше его стоящем. Потом заговорили о путешествии Консуэло, о дороге, которой она ехала, и о грозе, которая должна была напугать ее.

— Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и более опасным грозам, — отвечала Консуэло. — Плывя по городу в наших гондолах во время грозы, мы до самого порога дома ежеминутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам мостовую, в это время быстро прибывает и бушует, словно морские волны. Она с такой силой несет наши гондолы вдоль стен, что, прежде чем нам удастся пристать, они могут легко разбиться вдребезги. И вот, хоть я не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено молнией поперек дороги огромное дерево, я была напугана так, как никогда в жизни. Лошади взвились на дыбы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось, Гусит упал!» Не можете ли вы мне объяснить, синьора баронесса, что это значит?

Ни граф, ни Амелия даже не подумали ответить ей. Сильно вздрогнув, они только переглянулись.

— Итак, мой сын не ошибся! — произнес старый граф. — Странно, действительно странно!

Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гостиную, а Амелия, сложив руки, прошептала: «Тут какое-то колдовство; видно, сам дьявол с нами!» Эти странные, загадочные слова снова навели на Консуэло суеверный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштадт. Внезапная бледность Амелии, торжественное молчание старых слуг в красных шароварах, с удивительно похожими друг на друга квадратными багровыми лицами, с тусклыми, безжизненными глазами рабов, любящих свое вечное рабство, этот сумрачный зал, отделанный черным дубом, который не в состоянии была осветить люстра со множеством горящих свечей; уныло доносившиеся крики пугача, возобновившего после грозы свою охоту вокруг замка; большие фамильные портреты на стенах, огромные вырезанные на дереве головы оленей и диких кабанов — все до мелочей здесь подавляло дух и будило в ней жуткую, только на время улегшуюся тревогу. Возглас юной баронессы тоже не мог способствовать ее успокоению.

— Дорогая синьора, — сказала та, собираясь угостить ее ужином, — будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыханные вещи, чаще всего скучнейшие, но иногда и страшные. Настоящие сцены из романов, которым никто не поверит, если их рассказать. Но вы дадите честное слово, что обо всем этом вы сохраните вечное молчание!..

Баронесса еще продолжала говорить, когда дверь медленно распахнулась и канонисса Венцеслава, горбатая, с угловатым лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ордена, с которой она никогда не расставалась, вошла в зал с таким торжественно-приветливым видом, какого она не принимала с того достопамятного дня, когда императрица Мария-Терезия, возвращаясь со своей свитой из путешествия по Венгрии, оказала великую честь Замку Великанов — остановилась здесь на час отдохнуть и при этом отведала стакан глинтвейна. Канонисса подошла к Консуэло, которая, от изумления и испуга забыв даже встать, блуждающим взором смотрела на нее, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немецки, очевидно, заранее приготовленную и заученную речь, поцеловала ее в лоб. Бедная девушка, похолодев, как мрамор, подумала, что это поцелуй самой смерти, и, близкая к обмороку, пробормотала еле внятные слова благодарности.

Заметив, что она смутила девушку более, чем предполагала, канонисса сейчас же удалилась в гостиную, а Амелия разразилась громким смехом:

— Держу пари, — воскликнула она, — вы подумали, что пред вами тень королевы Любуши<sup>1</sup>! Успокойтесь! Эта канонисса — моя тетя, скучнейшее и вместе с тем прекраснейшее существо в мире.

Не успела Консуэло хорошенько прийти в себя, как услышала за собой скрип огромных венгерских сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми, размеренными шагами, и грузный человек с такой квадратной и багровой физиономией, что рядом с нею лица слуг казались бледными и тщедушными, молча прошел через зал и вышел через большую дверь, которую они почтительно распахнули перед ним. Консуэло снова содрогнулась, а Амелия снова расхохоталась.

— Это, — сказала она, — барон Рудольштадт: самый заядлый охотник, самый большой соня и наилучший из отцов. Он только что поднялся от своего послеобеденного сна в гостиную. Ровно в девять часов он встает со своего кресла и совсем сонный, ничего не видя и не слыша, проходит этот зал, поднимается тоже в полусне по лестнице и, не сознавая ничего окружающего, ложится в постель. Завтра с рассветом он проснется бодрый, оживленный, деятельный, как юноша, и начнет энергично готовить к охоте своих собак, лошадей и соколов.

Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан. Он тоже был толст, но мал ростом, бледен, как все лимфатичные люди. Созерцательная жизнь не подходит для грубых славянских натур, и полнота священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем, что почтительно поклонился баронессе и ее гостье, сказал что-то тихо слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел и барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, которых Консуэло не в состоянии была различить, до того они были во всем

<sup>1</sup> *Любуша* — полупоупендарная чешская царица, супруга Пржемысла, основателя династии чешских королей Пржемысловичей. Предание относит Любушу к VII веку нашей эры.



*Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан.  
Он был толст, но мал ростом, бледен, как все лимфатичные люди.*

одинаковы, направились в гостиную. Не будучи более в силах притворяться, будто она ест, Консуэло обернулась, провожая их глазами. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появилось существо, наиболее поразившее Консуэло во всем замке: то был высокого роста молодой красавец со страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное. Роскошная бархатная шубка, отороченная куньим мехом, держалась на его плечах золотыми застегивками. Длинные, черные, как смоль, волосы беспорядочно падали на его бледные щеки, слегка покрытые шелковистой бородкой, курчавой от природы.



Он сделал слугам, которые двинулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, отступив тотчас, остановились неподвижно, словно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к графу Христиану, шедшему за ним, он проговорил удивительно певучим, благородным голосом:

— Уверю вас, отец мой, никогда еще я не был так спокоен. Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесное спокойствие снизошло на наш дом.

— Да услышит тебя Господь, дитя мое! — с чувством ответил старик, простирая руки как бы для благословения. Молодой человек низко склонил голову под рукой отца, потом, выпрямившись, с кротким, ясным выражением лица дошел до середины зала, слегка улыбнулся Амелии, едва коснувшись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд пристально смотрел на Консуэло.

Проникнувшись невольным уважением к нему, Консуэло поклонилась, опустив глаза. Он же, не отвечая на поклон, все продолжал смотреть на нее.

— Эта молодая особа, — сказала ему по-немецки канонисса, — та самая, которая... — Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Молчите, не мешайте ходу моих мыслей». Потом вдруг он отвернулся и, не проявив ни любопытства, ни интереса, медленно вышел через большую дверь.

— Вы должны извинить, милая моя... — обратилась к Консуэло канонисса.

— Простите, что я перебыю вас, тетя, — сказала Амелия, — вы говорите по-немецки, а ведь синьора не знает этого языка.

— Простите, дорогая синьора, — ответила по-итальянски Консуэло, — в детстве я говорила на нескольких языках, так как много путешествовала; немецкий язык я еще помню настолько, чтобы все прекрасно понимать; не решаюсь только заговорить на нем, если же вы дадите мне несколько уроков, я уверена, что скоро справлюсь и с ним.

— Значит, совсем, как я, — снова заговорила по-немецки канонисса, — я все понимаю, что говорит синьора, а говорить сама на ее языке не могу. Но раз она меня понимает, я хочу ей сказать, что она, наверно, простит невежливость моего племянника, не ответившего на ее поклон, узнав, что этому молодому человеку только что было очень нехорошо... после своего обморока; он был так слаб, что, верно, ее не видел... Не так ли, брат мой? — прибавила добрая Венцеслава, смущенная своей ложью и ища оправдания в глазах графа Христиана.

— Дорогая сестра, вы очень великодушны, желая оправдать моего сына. Но пусть синьора не удивляется некоторым вещам. Завтра мы ей все объясним с той откровенностью, с которой можем говорить с приемной дочерью Порпора и, надеюсь, в ближайшем будущем, — другом нашей семьи.

То был час, когда все расходились по своим комнатам, а в замке царил такой образцовый порядок, что, вздумай молодые девушки еще засидеться у стола, слуги, действуя, как настоящие машины, были бы способны, пожалуй, игнорируя их присутствие, вынести их стулья и потушить огни. Консуэло к тому же жаждала уйти к себе, и Амелия проводила гостью в ее нарядную,



комфортабельную комнату, приготовленную, по распоряжению баронессы, рядом с ее собственной.

— Мне очень хотелось бы поболтать с вами часик-другой, — сказала Амелия, когда канонисса, выполнив долг любезной хозяйки, вышла из комнаты. — Мне очень хочется познакомить вас со всем, что у нас тут происходит, прежде чем вам придется переносить все наши странности. Но вы, наверно, так устали, что больше всего хотите отдохнуть.

— Это ничего не значит, синьора, — ответила Консуэло. — Правда, я вся разбита от усталости, но я в таком нервном состоянии, что, боюсь, всю ночь не сомкну глаз. Потому вы можете сколько угодно говорить со мной, но только с условием — говорить по-немецки. Это будет для меня уроком, а то я вижу, что граф и особенно канонисса не очень-то сильны в итальянском языке.

— Давайте условимся так, — сказала Амелия, — вы сейчас ляжете в постель, чтобы дать покой вашим бедным разбитым костям, а я в это время сбегая накину капот и отпущу горничную. Вернувшись, сяду подле вас и будем говорить с вами по-немецки до тех пор, пока вам не захочется спать, хорошо? Вы согласны?

— От всего сердца, — ответила Консуэло.

## XXV

— Так знайте же, дорогая... — начала Амелия, вернувшись из своей комнаты и продолжая разговор. — Однако до сих пор я не знаю вашего имени, — улыбаясь прибавила она. — Пора нам с вами бросить все титулы и церемонии; я хочу, чтобы вы меня просто звали Амелией, а я вас буду называть...

— У меня иностранное имя, трудно произносимое, — ответила Консуэло. — Мой чудный учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне называться его именем; покровители и учителя обычно поступают так по отношению к своим любимым ученикам; и вот отныне я разделяю честь носить его имя вместе с великим певцом Убером: он известен под именем Порпорино, а я — Порпорина, но вы меня зовите просто Нина.

— Прекрасно! Пусть будет просто Нина, — согласилась Амелия. — А теперь слушайте: мне надо рассказать вам довольно-таки длинную историю, и, если я не углублюсь в далекое прошлое, вы никогда не сможете понять всего того, что творится в нашем доме.

— Я вся — слух и внимание, — сказала Консуэло, ставшая Порпориной.

— Вы, милая Нина, верно, имеете некоторое понятие об истории Богемии?

— Увы, нет! — ответила Консуэло. — Мой учитель, должно быть, вам писал, что я не получила никакого образования. Из всех историй я знаю немного историю музыки; история Богемии мне мало известна, как и история всех других стран мира.



*...На пороге появилось существо, наиболее поразившее Консуэло во всем замке: то был высокого роста молодой красавец со страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное.*

— В таком случае, — сказала Амелия, — я вам вкратце сообщу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ. Триста с лишком лет тому назад угнетенный и забытый народ, среди которого вы теперь очутились, был народом-героем, смелым, непобедимым. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия и тогда была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его; развратный, жестокий король издевался над его достоинством, топтал его симпатии. Но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели,

нарастая, в этом народе, пока наконец не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны, религия реформирована, монастыри разграблены и уничтожены, пьяница Венцеслав сброшен с престола<sup>1</sup> и заключен в тюрьму. Сигналом к восстанию была казнь Яна Гуса и Иеронима Пражского — двух мужественных богемских ученых, стремившихся исследовать и осветить тайну католицизма. Церковный собор вызвал их, пообещав им полную безопасность, свободу слова, а потом осудил их и сжег на костре. Это предательство и гнусность так возмутили народное чувство чести, что в Богемии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, длившаяся долгие годы. Эти кровавые войны известны под названием гуситских. В бесчисленных безобразных преступлениях виновны обе стороны. Вообще в те времена по всему лицу Земли нравы были жестоки и немилосердны, а партийность и религиозный фанатизм делали их еще более свирепыми, и Богемия являлась для Европы олицетворенным ужасом. Не буду волновать вас описанием тех ужасающих сцен, которые здесь происходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны — бесконечные убийства, пожары, костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные, оскверненные храмы, повешенные, брошенные в кипящую смолу священники и монахи. С другой стороны — города, обращенные в развалины, целые области опустошенные, измена, ложь, зверство, тысячи гуситов, брошенных в рудники, в пропасти, до краев наполненные трупами гуситов, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепые гуситы долго были непобедимы, и теперь еще с чувством ужаса мы произносим их имена. А между тем их патриотизм, их непоколебимая твердость, их сказочные подвиги невольно будят в глубине нашей души чувство гордости и восхищения, и нам, молодым и порой экспансивным, бывает трудно скрывать эти чувства.

— А зачем скрывать? — наивно спросила Консуэло.

— А потому что после долгой, упорной борьбы Богемия теперь снова под игом рабства, потому, Нина, дорогая, что Богемии больше не существует... Наши хозяева прекрасно понимали, что свобода религии в нашей стране это есть и ее политическая свобода. Вот почему они задушили и ту и другую.

— До чего я невежественна! — воскликнула Консуэло. — Никогда ни о чем подобном я не слышала и даже не подозревала, что люди бывали так злы.

— Сто лет спустя после Яна Гуса, — продолжала Амелия, — новый ученый, новый сектант, бедный монах, по имени Мартин Лютер, снова разбудил народный дух, внушил в Богемии и в независимых провинциях Германии ненависть к чужеземному игу и возбудил народ против пап. Самые могущественные короли оставались католиками не столько из любви к этой религии, сколько из жажды неограниченной власти, Австрия соединилась с ними, чтобы раздавить нас, и вот новая война, названная Тридцатилетней,

---

<sup>1</sup> Венцеслав IV (1361–1419) — сын германского императора Карла IV, с детства провозглашен королем Богемии, с 1378 года — германским императором, а в 1400 году — низложен.





— Так знайте же, дорогая... — начала Амелия, вернувшись из своей комнаты и продолжая разговор. — Однако до сих пор я не знаю вашего имени, — улыбаясь прибавила она.

сокрушила, вернее, уничтожила нашу национальность. С самого начала этой войны Богемия стала добычей сильнейшего; Австрия обращалась с нами, как с побежденными: она вырвала у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно сопротивлялись, но иго императора все более и более давило нас. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разоренное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было принуждено или бежать с родины, или изменить национальность, отказываясь от своего происхождения, меняя свои фамилии на немецкие (запомните это), отрекаясь от своей веры. Книги наши были сожжены, школы закрыты, — словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь ни больше, ни меньше, как имперская провинция. В славянской земле вы слышите немецкий говор, — этим все сказано.

— Вы и теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его? Я это понимаю и уже ненавижу Австрию всем сердцем!

— Тише! Тише! — воскликнула юная баронесса. — Говорить это громко небезопасно под мрачным небом Богемии. В этом замке только у одного-единственного человека хватает храбрости и безумия произнести то, что вы сейчас сказали, моя дорогая Нина! И человек этот — мой двоюродный брат Альберт.

— Так вот причина грусти, которую можно прочитать на его лице, — сказала Консуэло. — При первом же взгляде на него меня невольно охватило уважение к нему.

— О моя прекрасная львица святого Марка<sup>1</sup>! — воскликнула Амелия, пораженная тем благородным воодушевлением, которое вдруг озарило бледное лицо ее подруги. — Вы все принимаете слишком всерьез. Очень боюсь, что через несколько дней мой двоюродный брат возбудит в вас скорее сострадание, чем уважение.

— Одно может не мешать другому, — возразила Консуэло. — Но что вы хотите сказать этим, дорогая баронесса — объясните.

— Так слушайте же меня хорошенько, — продолжала Амелия. — Наша семья строго католическая, верная церкви и империи. Мы носим саксонскую фамилию, и наши предки саксонской ветви были всегда правоверными. Если когда-нибудь на ваше несчастье моя тетя-канонисса вздумает познакомить вас со всеми заслугами наших предков — немецких графов и баронов — перед святой церковью, вы убедитесь, что, судя по ее словам, на нашем гербе не имеется ни малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудольштадты предпочли лишиться своих протестантских избирателей, чем покинуть лоно римской церкви. Но тетя никогда не решится превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Альберта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные вещи, которые когда-либо приходилось слышать человеческим ушам.

---

<sup>1</sup> *Лев святого Марка* — символ евангелиста Марка, часто изображающийся в виде крылатого зверя. Также является символом Венеции, которой покровительствует святой Марк.



— Вы все возбуждаете мое любопытство, не удовлетворяя его. Я понимаю, что перед вашими благородными родными я не должна обнаруживать, что разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Богемии. Вы можете, дорогая баронесса, положиться на мою осторожность. К тому же я родилась в католической стране, и уважение к моей религии, так же как и к вашей семье, заставит меня молчать всегда, когда это будет нужно.

— Это будет осторожно, потому что, предупреждаю вас еще раз, мои родные очень и очень чопорны в этом отношении. Что же касается меня лично, дорогая Нина, то я очень покладиста: я и не католичка и не протестантка. Воспитание я получила у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы мне порядком-таки надоели. Та же скука преследует меня и здесь, а моя тетя Венцеслава совмещает в себе педантизм и суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего века, чтобы, из духа противоречия, окунуться в омут лютеранских пререканий, надо признаться, не менее убийственных. Гуситы — это такая древняя история, что я увлекаюсь ими не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал — это французский дух, и мне кажется, что не может быть выше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой, веселой Франции. От времени до времени мне удастся тайком насладиться чтением ее произведений, и тогда издали, точно во сне, сквозь щели своей тюрьмы я вижу и счастье, и свободу, и удовольствия.

— Вы все больше повергаете меня в недоумение, — сказала Консуэло искренне. — Только что, рассказывая мне о подвигах ваших древних богемцев, вы, казалось, сами были воодушевлены героизмом. Я приняла вас за патриотку-богемку и даже немного за еретичку.

— Я более чем еретичка, более чем богемка, — со смехом ответила Амелия, — я немножко неверующая и отчаянный бунтарь. Ненавижу всякое иго, будь оно духовное или светское. Потихоньку про себя я протестую против Австрии, самой чопорной и лицемерной ханжи.

— А граф Альберт такой же неверующий, как и вы? И так же проникнут французским духом? В таком случае вы должны отлично понимать друг друга.

— Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь после всех моих предисловий надо рассказать вам о нем. У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первой жены. Вторично он женился сорока лет, и от второй жены у него было пять сыновей, умерших, как и их мать, от какой-то врожденной болезни, каких-то страданий в мозгу. Эта вторая жена была чистокровная богемка, — говорят, большая красавица и умница. Сама я ее не знала. В большой гостиной вы увидите ее портрет: в пурпуровой мантии и в корсаже, усыпанном драгоценными камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он — шестой и последний из ее детей, единственный достигший тридцатилетнего возраста, хоть и не без труда: здоровый на вид, он перенес тяжкие испытания, и еще до сих пор странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его жизнь. Между нами говоря, я не думаю, чтобы он намного пережил роковой возраст своей матери. Хотя Альберт

и родился от очень пожилого отца, организм у него крепкий, но душа, как сам он признает, больная, и болезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голове его бродили какие-то странные суеверные мысли. Четырех лет он уверял, будто видит часто у своей кровати мать, хотя знал, что она умерла, и он присутствовал даже на ее похоронах. По ночам он просыпался, чтобы говорить с нею. Тетку Венцеславу это так пугало, что она клала в своей комнате у постельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю уж сколько потратил святой воды, чтобы изгнать привидение, сколько отслужил месс, стремясь его утихомирить! Но ничто не помогало. Мальчик, правда, долго не говорил о своих видениях, но однажды признался-таки своей кормилице, что он и теперь видит свою мамочку, но не хочет об этом никому рассказывать, боясь, что господин капеллан снова начнет произносить в комнате всякие злые слова, чтобы помешать мамочке приходить. Это был невеселый, мрачный ребенок. Всячески старались его развлекать, задаривали игрушками, доставляли разные удовольствия, но все это нагоняло на него только еще большую тоску. Наконец решили не препятствовать его страстному желанию учиться. И действительно, удовлетворение этой страсти очень оживило его. Но его тихая, вялая меланхолия сменилась каким-то странным возбуждением, перемежавшимся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и предотвратить ее было невозможно. Так, например, видя нищих, он заливался слезами, отдавал им все свои детские сбережения, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать больше. Если на его глазах били ребенка или грубо обращались с крестьянином, он приходил в такое негодование, такое возбужденное состояние, что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длившимися несколько часов. Все это говорило о его добром сердце и его высоких душевных качествах. Но даже и прекрасные свойства, доведенные до крайности, делаются смешными, чуть не недостатками. Разум в маленьком Альберте не развивался параллельно с чувством и воображением. Изучение истории увлекало, но не просвещало его. Слыша о людских преступлениях и несправедливостях, он всегда как-то наивно волновался, напоминая того первобытного короля, который, слушая рассказ о страданиях Христа, кричал, размахивая копьем: «Будь я там со своими воинами, этого бы не случилось, я изрубил бы этих злых евреев на тысячи кусков!» Альберт никак не хотел примириться с людьми, такими, какие они есть и какими они всегда были. Он винил Бога в том, что не все люди сотворены такими же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот благодаря своей любвеобильности он стал, сам не замечая того, безбожником и мизантропом. Совсем не понимая окружающего, он в восемнадцать лет, словно малое дитя, не был способен жить с людьми и играть в обществе роль, налагаемую на него его положением. Если в его присутствии кто-либо высказывал одну из тех эгоистических мыслей, которые кишат в нашем мире и без которых он, пожалуй, и не мог бы существовать, Альберт, не считаясь ни с положением этого лица, ни с тем, как к нему относится его семья, круто изменялся к нему, и ничто не могло заставить его

быть с ним хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из простонародья, обездоленными не только судьбой, но часто и природой. Ребенком он сходилась только с детьми бедняков, особенно с увечными и дурачками, с которыми всякому другому ребенку было бы скучно и противно играть. Этого пристрастия он не потерял и до сих пор, и вы очень скоро сами в этом убедитесь. Так как при всех этих странностях он был все-таки, бесспорно, умен, обладал прекрасной памятью, имел дарование к искусствам, то отец и тетя, воспитавшие его с такой любовью, могли в обществе не краснеть за него. Его наивные выходки объясняли деревенским образом жизни, а когда они заходили слишком далеко, старались удалить его от лиц, которые могли бы на них обидеться. Но, несмотря на все его достоинства и способности, граф и канонисса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко многому безразличная натура все более и более порывает со светскими обычаями и приличиями.

— Но до сих пор, — прервала Консуэло, — я еще не вижу ничего, что говорило бы о том безрассудстве, о котором вы упоминали.

— Это потому что вы сами, по-видимому, прекрасная и чистая душа, — ответила Амелия. — Но, быть может, я утомила вас своей болтовней, и вы попытаетесь уснуть?

— Ничуть, дорогая баронесса, умоляю вас, продолжайте, — отвечала Консуэло. Амелия принялась за продолжение своего рассказа.

## XXVI

— Вы говорите, дорогая Нина, что до сих пор не видите никакого безрассудства в поступках и в поведении моего бедного двоюродного брата. Сейчас представлю вам более несомненные доказательства этого. Мои дядя и тетя, без сомнения, — самые лучшие христиане и самые добрые люди на свете. Мои милые родственники с необыкновенной щедростью всегда раздавали милостыню, делая это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот, мой двоюродный брат находил, что их жизнь противоречит духу Евангелия. Он видите, ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых христиан, продав все и раздав деньги нищим, стали сами нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил этого прямо, то все-таки не скрывал своих идей. Не переставал он печалиться о судьбе несчастных, вечно надрывающихся на работе, вечно страдающих, в то время как богачи живут в праздности и роскоши. Все деньги, которые ему полагались, он сейчас же раздавал, считая, конечно, что это капля в море, и затем тут же начинал просить еще более крупных сумм, отказывать в которых ему не решались, и деньги текли из его рук, как вода. Он столько роздал, что в округе вы уж не встретите ни одного бедняка; но я должна сказать, что нам от этого не легче: требования малых сих возрастают по мере того, как они удовлетворяются; и наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные,

теперь, благодаря щедротам и сладким речам молодого барина, очень задрали голову. И не будь над нами императорской власти, которая, с одной стороны, давит нас, но, с другой, все-таки и оберегает, я думаю, что наши имения и наши замки уже двадцать раз были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян соседних округов. Они очень голодают вследствие войны и, благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта (его доброта известна на сто миль кругом), сели нам на шею, особенно со времени всех этих перипетий с наследством императора Карла. Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало, говорил ему, что ведь отдать все в один день — значит лишиться себя возможности давать завтра, тот на это отвечал: «Отец мой любимый, разве нет у нас крова, который переживет всех нас, тогда как над головами тысяч несчастных лишь холодное и суровое небо? Разве у каждого из нас не больше одежды, чем нужно, чтобы одеть целую семью в лохмотьях? А разве ежедневно не вижу я за нашим столом такого количества разных яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, изнуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право пользоваться даже необходимым, если у других и того нет? Разве заветы Христа теперь изменились?»

Что могли ответить на эти великие слова и граф, и канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодого человека в таких строгих и возвышенных принципах религии? И они приходили в большое смущение, видя, что питомец их все понимает буквально, не желая идти ни на какие требуемые временем компромиссы (на которых, мне думается, и зиждется весь строй общества). Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики: Альберт находил чудовищными человеческие законы, дающие право государям посылать на убой миллионы людей, разорять целые огромные страны ради удовлетворения своего тщеславия, из-за жажды славы.

Эта политическая нетерпимость становилась опасной, и родные не решались везти его ни в Вену, ни в Прагу, ни вообще в большие города, опасаясь, как бы его фанатические речи не натворили там беды. Не менее беспокоили их и религиозные принципы Альберта. Достаточно его экзальтированной набожности, чтобы сделать из него еретика, достойного виселицы или костра. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, идущих в союзе с королями против спокойствия и блага народа. Он порицал роскошь епископов, светский дух священников, вообще тщеславие всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному капеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. Вместе с тем Альберт проводил целые часы, распростершись на полу часовни, подобно святому, погруженный в глубочайшие религиозные размышления, охваченный священным экстазом. Он соблюдал посты и воздержание гораздо строже, чем того требовала церковь. Говорили даже, что он носит власяницу, и нужен был весь авторитет отца, вся нежность тети, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний, конечно, немало способствовавших его экзальтации.

Когда его добрые и разумные родные увидели, что он способен в несколько лет растратить все свое состояние, да к тому еще, как противник католической церкви и правительства, рискует попасть в тюрьму, они, с грустью в душе, решили отправить его путешествовать. Родные надеялись на то, что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных странах с их основными законами, почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он привыкнет жить с людьми и жить так, как они живут. Поручили они его гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень умному человеку, понявшему с полуслова свою роль и взявшему на себя обязанность исполнять то, чего не решались ему высказать прямо. Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту неприступную душу, сделать ее годной для общественного ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие яды — тщеславие, честолюбие, религиозный, политический и моральный индифферентизм. Не хмурьте так ваши брови, милая Порпорина! Мой почтенный дядя — простой и добрый человек. С юных лет он смотрел на все так, как ему это было внушено. Однако он сумел в течение всей своей жизни без ханжества и рассуждений примирить терпимость и религию, долг христианина и обязанности владетельного вельможи. В течение целого столетия в обществе на миллион таких людей, как мы все, встречается один такой, как Альберт. Мудр тот, кто идет за веком вместе с обществом; а кто стремится вернуться назад на две тысячи лет, тот безумец: никого не убедив, он приводит в негодование людей своего круга. Целых восемь лет путешествовал Альберт. Он видел Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Турцию. Вернулся он через Венгрию, южную Германию и Баварию. За все время этих долгих путешествий он вел себя вполне благоразумно: не тратил больше, чем позволяло приличное содержание, которое назначили ему родные, писал им ласковые, нежные письма и, не вдаваясь ни в какие рассуждения, просто описывал все виденное; аббату же, гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб или неудовольствия.

Вернувшись сюда в начале прошлого года, после первых же объятий он, говорят, удалился в комнату своей покойной матери и, запершись, просидел там несколько часов; затем, выйдя оттуда страшно бледный, отправился один гулять в горы. В это время аббат вел откровенную беседу с канониссой Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без утайки рассказал им все о физическом и моральном состоянии молодого графа.

«Граф Альберт, — сказал он им, — уж не знаю, право, оттого ли, что путешествие сразу изменило его, оттого ли, что по вашим рассказам о его детстве я составил себе о нем неверное представление, граф Альберт, говоря, с первого же дня нашей совместной жизни был таким, каким вы его сейчас будете видеть: кроткий, спокойный, выносливый, терпеливый и утонченно учтивый. За все время он ни разу не изменил себе, и я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы пожаловался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся, — безумных трат, резких выходок, высокопарных наставлений, экзальтированного аскетизма, — мне не пришлось наблюдать. Он ни разу



не выразил желания самостоятельно распоряжаться теми суммами денег, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не проявлял ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда предупреждал все его желания и, видя, что к нашей карете подходит нищий, всегда спешил подать милостыню раньше, чем он успевал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия оказался очень удачным: не видя перед глазами нищеты и убогости, молодой граф, казалось, перестал думать о том, что его прежде так удручало. Никогда я не слышал, чтобы он бранил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или отзывался неодобрительно о каком-нибудь учреждении. Его экзальтированная набожность, так пугавшая вас, уступила место спокойному исполнению обрядов, приличествующему светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы, проводил время в лучшем обществе, надо сказать, ничем не увлекаясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой напыщенности, на его такт и находчивость в разговорах. Несмотря на светский образ жизни, молодой граф остался таким же чистым, как самая благовоспитанная девица, не выказывая при этом никакой чопорности плохого тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памятники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у меня сложилось представление о нем, как о вполне благоразумном, уравновешенном человеке, и мне совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем и есть нечто необычайное, так именно это чувство меры, эта осторожность, это хладнокровие, это отсутствие увлечений и страстей, чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, так щедро одаренном красотой, знатностью и богатством».

Впрочем, в этом отчете не было ничего нового; он являлся только подтверждением частых писем аббата семье; но все время боялись, не преувеличивает ли он, и успокоились лишь тогда, когда он удостоверил полное моральное перерождение моего двоюродного брата, не опасаясь, что тот на глазах родителей немедленно опровергнет его своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарностями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Она тянулась долго, и, когда наконец молодой граф появился к ужину, все были поражены его бледностью и серьезностью. В первую минуту встречи лицо его сияло такой нежной, такой глубокой радостью, которой уже не было теперь видно. Все очень удивились и с беспокойством тихонько обратились к аббату за объяснением. Тот взглянул на Альберта и, повернувшись к спрашивавшим его в углу зала родственникам, с удивлением ответил:

«Право, не нахожу ничего особенного в лице графа; у него все то же благородное, спокойное выражение лица, какое я привык у него видеть за восемь лет, что имею честь состоять при нем».

Граф Христиан, получив такой ответ, сказал сестре:

«Когда мы расстались с ним, Альберт был совсем юным и, увы, часто бывал в каком-то возбужденном состоянии, глаза его лихорадочно блестели, а голос звенел. Теперь, встретившись после стольких лет, мы видим его загоревшим

от южного солнца, немного похудевшим, вероятно, от усталости, и более серьезным, как приличествует сложившемуся мужчине. Вам не кажется, сестрица, что так он гораздо лучше?»

«В его серьезности чувствуется грусть, — ответила моя добрая тетя. — Я никогда в жизни не видела такого флегматичного и малоразговорчивого двадцативосьмилетнего молодого человека. Он отвечает нам односложными словами».

«Граф был всегда скуп на слова», — возразил аббат.

«Раньше это было не так, — сказала канонисса. — Если бывали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчивым, то бывали и такие дни, когда он воодушевлялся и говорил красноречиво целыми часами».

«Я никогда не замечал, — возразил аббат, — чтобы он изменял той сдержанности, которую вы теперь в нем наблюдаете».

«Неужели вы предпочли бы, чтобы он говорил слишком много и своими разговорами приводил нас в ужас? — спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. — Уж эти мне женщины!»

«Да, но тогда он все-таки жил, — сказала она, — а теперь он производит впечатление выходца с того света, совершенно равнодушного ко всему земному».

«Таков постоянный характер молодого графа, — сказал аббат, — он человек замкнутый, ни с кем не любящий делиться своими впечатлениями и, говоря откровенно, кажется, и не поддающийся никаким впечатлениям извне. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных; так уже он создан, и я глубоко убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только внести тревогу в его душу, чуждую всякой активности и опасной инициативы».

«О! Я готова поклясться, что он совсем не таков по натуре!» — воскликнула канонисса.

«Госпожа канонисса, вероятно, откажется от своего предубеждения против такого редкого преимущества», — сказал аббат.

«В самом деле, сестрица, — сказал граф Христиан, — я нахожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, безумно смел! Вернулся он к нам таким, каким он должен быть, чтобы заслужить уважение, доверие и почтение себе подобных».

«Но вернулся истертым, как старинная книга, — проговорила тетя, — а может быть, ожесточенным и презирающим все то, что не соответствует его тайным желаниям. Мне даже кажется, что он не рад нам, ждавшим его с таким нетерпением!»

«Граф с нетерпением стремился домой, — заметил аббат, — я прекрасно это видел, хотя открыто он этого и не показывал. Он ведь так мало общителен. По природе своей он очень замкнутый человек».

«Наоборот, по натуре своей он очень экспансивен, — горячо возразила канонисса. — Он бывал подчас вспыльчив, а по временам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но, бывало, стоило ему броситься мне на шею, чтобы тотчас же я была обезоружена».

«По отношению ко мне ему никогда ничего не приходилось заглаживать», — сказал аббат.

«Поверьте мне, сестрица, — так гораздо лучше», — настаивал мой дядя.

«Увы! — воскликнула канонисса. — Неужели же всегда у него будет такое выражение лица, которое приводит меня в ужас и надрывает мне сердце?»

«Это — гордое, благородное лицо, приличествующее человеку его круга», — сказал аббат.

«Нет! Это просто каменное лицо! — воскликнула канонисса. — Глядя на него, мне кажется, что я вижу его мать, но не доброй и нежной, какой я ее знала, а ледяной и неподвижной, как она нарисована на портрете в дубовой раме».

«Повторяю вашему сиятельству, — настаивал аббат, — что это обычное выражение лица графа Альберта за эти восемь лет».

«Увы! Значит целых восемь лет он никому не улыбнулся! — воскликнула, заливаясь слезами, моя добрейшая тетя. — За эти два часа, что я не свожу с него глаз, его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой. Мне так хочется броситься к нему, прижать его к сердцу, упрекнуть в равнодушии, даже по-прежнему избранить. Быть может, и теперь, как прежде, он кинулся бы мне на шею рыдая!»

«Сохрани вас Бог от такой неосторожности, дорогая сестра, — проговорил граф Христиан, заставляя ее отвернуться от Альберта, с которого та не сводила глаз, полных слез — Не поддавайтесь же материнской слабости, — продолжал он, — мы уже с вами видели, каким бичом была эта чрезмерная чувствительность жизни и ума для нашего бедного мальчика. Господин аббат, следуя указаниям врачей и нашим, умиротворил путем развлечений и устранения от него сильных волнений эту тревожную душу. Смотрите не испортите всего причудами своей ребячливой нежности».

Канонисса согласилась с доводами брата и старалась примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не могла к этому привыкнуть и шептала на ухо брату: «Что там ни говорите, Христиан, но я боюсь, что, обращаясь с ним, как с больным ребенком, а не как с мужчиной, его погубили».

Вечером, расходясь, все обнялись; Альберт почтительно склонился под отцовским благословением, а когда тетя прижала его к своей груди и он заметил, что она вся дрожит, а голос ее прерывается от волнения, он тоже задрожал и, словно почувствовав нестерпимую боль, вдруг вырвался из ее объятий.

«Видите, сестрица, — шёпотом сказал граф, — он отвык от таких душевных волнений, вы ему вредите». Говоря это, граф, сам далеко не успокоенный, с волнением следил глазами за сыном, желая проверить, как тот

относится к аббату, не предпочитает ли он теперь его всем своим. Но Альберт с холодной вежливостью поклонился своему гувернеру.

«Сын мой, — проговорил граф, — мне кажется, что я поступил соответственно твоим желаниям и симпатиям, попросив господина аббата не покидать тебя, как он имел намерение сделать, а остаться с нами возможно дольше. Мне не хотелось бы, чтобы наше счастье — снова быть всем вместе — омрачилось для тебя каким-либо огорчением. Хочу надеяться, что твой уважаемый друг поможет нам эту радость свидания сделать для тебя безоблачной».

Альберт ответил на это только глубоким поклоном, и в то же время загадочная улыбка мелькнула на его губах.

«Увы, — проговорила бедная канонисса, когда племянник вышел, — вот как он теперь улыбается!»

## XXVII

Во время отсутствия Альберта граф и канонисса много строили всяких планов о будущности своего дорогого мальчика, особенно о его женитьбе. При своей красоте, громком имени и еще очень значительном состоянии Альберт мог рассчитывать на самую лучшую партию. Однако на тот случай, если бы сохранившиеся в нем остатки бесстрастия и дикости помешали его светским успехам, обожавшие его родные приберегли для него молодую девушку с таким же знатным именем, как и у него самого, — его двоюродную сестру, носящую ту же фамилию, менее богатую, чем он, но единственную дочь, довольно хорошенькую, какими бывают в шестнадцать лет свеженькие девочки с «красотой чертенка», как говорят французы. Эта молодая особа — баронесса Амелия Рудольштадт, ваша покорная слуга и ваша новая подруга. «Она, — говорили между собой старики, сидя у камина, — не видела еще ни единого мужчины. Воспитанница монастыря, она, лишь бы вырваться оттуда, с радостью пойдет замуж. Претендовать на лучшую партию она не может, а что касается странностей, которые еще имеются в характере ее двоюродного брата, то привычка с детства, родство, несколько месяцев близости с нами, конечно, все сгладят и заставят ее, хотя бы из родственного чувства, молчаливо выносить то, чего, быть может, не стала бы терпеть чужая». В согласии моего отца они не сомневались: по правде сказать, собственной воли у него никогда не имелось, — всю жизнь он поступал так, как хотели его старший брат и сестра Венцеслава.

После двухнедельного внимательного изучения Альберта дядя и тетя пришли к заключению, что последнему отпрыску их рода, вследствие меланхоличности и полнейшей замкнутости его характера, не суждено лично покрыть их имя новой славой. Молодой граф не проявлял ни малейшего желания блистать на каком-либо поприще: его не тянуло ни к военной

карьере, ни к гражданской, ни к дипломатии. На все предложения он отвечал с покорным видом, что готов подчиниться воле родительской, но что ему самому не нужно ни роскоши, ни славы. В сущности, бесстрастный характер Альберта был повторением в сильнейшей степени характера его отца, у которого терпение граничило с апатией, а скромность являлась чем-то вроде самоотречения. Что придает моему дяде известную физиономию и чего нет у его сына, так это его горячее, притом лишенное всякой напыщенности и тщеславия отношение к общественному долгу. Альберт, казалось, признавал теперь семейные обязанности, но к общественным обязанностям, как мы их понимаем, относился не менее равнодушно, чем в детские годы. Наши отцы, его и мой, сражались при Монтекукули<sup>1</sup> против Тюренна<sup>2</sup>. В войну они вносили религиозное чувство, воодушевленное сознанием имперского величия. В то время считалось долгом слепо повиноваться и слепо верить своим властелинам. Наше более просвещенное время срывает ореол с монархов, и современная молодежь осмеливается не верить ни императорской короне, ни папской шпaге. Когда дядя пытался пробудить в сыне древний рыцарский пыл, он прекрасно видел, что все его речи ровно ничего не говорят этому резонеру, относящемуся ко всему с презрением.

«Если уж это так, не будем ему перечить, — решили дядя с тетей, — не будем вредить этому довольно печальному выздоровлению, когда вместо возбужденного человека нам вернули угасшего. Пусть живет себе спокойно, как ему хочется. Безразлично, будет ли он усидчивым ученым-философом, как некоторые из его предков, или страстным охотником, подобно нашему брату Фридриху, или справедливым, творящим добро помещиком, каким старается быть его отец. Пусть наконец даже с этих пор он ведет спокойную, безобидную жизнь старика: он будет первым из Рудольштадтов, не знавшим молодости. Но так как совершенно недопустимо, чтобы с ним угас и наш род, надо поспешить женить его, дабы наследники его загладили этот пробел на блестящих страницах нашей истории. Кто знает, быть может, по воле провидения рыцарская кровь его предков, как бы отдыхая в нем, забудет с новой силой и отвагой в жилах его потомков?» Тут же было решено поговорить с Альбертом о женитьбе.

Сначала затронули было этот вопрос слегка, но видя, что он и к женитьбе относится с таким же равнодушием, как и ко всему прочему, стали говорить с ним более серьезно и настойчиво. Он возражал, ссылаясь на свою застенчивость, на неумение вести себя в женском обществе.

«Надо правду сказать, — говорила тетя, — что мне в молодости такой угрюмый претендент, как наш Альберт, внушил бы больше страха, чем желания выйти за него замуж, и даже свой горб не променяла бы я на его речи».

«Значит нам нужно прибегнуть к последнему средству, — решил дядя, — женить его на Амелии. Он знал ее ребенком, смотрит на нее, как на сестру,

<sup>1</sup> Раймондо Монтекукули (1608–1681) — австрийский полководец.

<sup>2</sup> Анри де Тюренн (1611–1675) — французский полководец.



поэтому будет с нею менее застенчив. А так как она характера веселого и решительного, то своей жизнерадостностью может вывести нашего Альберта из этой меланхолии, которой он все больше и больше поддается». И вот мой двоюродный брат, не отклонив этого проекта и не высказавшись определенно, согласился видаться со мной и ближе познакомиться. Решено было ни о чем меня не предупреждать, дабы избавить меня от обиды отказа, всегда возможного с его стороны. Написали об этом моему отцу и, получив его согласие, начали сейчас же хлопотать перед папой о разрешении на наш брак ввиду близкого родства. Между тем отец взял меня из монастыря, и в одно прекрасное утро мы подъехали к Замку Великанов. Наслаждаясь деревенским воздухом, я с нетерпением ждала минуты, когда увижу своего жениха. Добрый мой отец, полный надежд, воображал, будто я ничего не знаю о брачном проекте, а сам в дороге, не замечая этого, все мне выболтал.

Первое, что меня поразило в Альберте, это его красота и благородный вид. Признаюсь вам, дорогая Нина, что мое сердечко очень забилося, когда он поцеловал мне руку, и несколько дней я была очарована каждым его взглядом, каждым словом. Ничего не имела я и против его серьезности; казалось, он нисколько не стеснялся меня. Как и в дни детства, он был со мной на ты, и, когда раз он поправился, боясь, что нарушает этим светское приличие, родные разрешили ему продолжать по-прежнему говорить мне «ты», явно покровительствуя сохранению нашей прежней близости. Моя веселость порой вызывала у него непринужденную улыбку, и тетя в восторге уже считала, что я окончательно исцелила его. Одним словом, он относился ко мне кротко и ласково, как к ребенку, и я этим пока довольствовалась, уверенная, что в недалеком будущем он обратит более серьезное внимание на мою задорную рожицу и на мои красивые туалеты, на которые я не скупилась, чтобы ему понравиться.

Но скоро, к моему огорчению, мне пришлось убедиться, что он очень мало интересуется моей наружностью, а туалетов просто не замечает. Как-то раз тетя обратила его внимание на прелестное лазорево-голубое платье, чудесно обрисовывавшее мою фигуру. Вдруг он стал уверять, что платье ярко-красное. Тут аббат, его гувернер, большой любитель комплиментов, желая преподать ему урок учтивости, вмешался, говоря, что для него это вполне понятно, ибо граф Альберт мог видеть не только цвет моего платья. Казалось, для моего двоюродного брата был очень удобный случай сказать здесь какую-нибудь любезность по поводу роз на моих щеках и золота моих волос. Но он ограничился тем, что довольно сухо возразил аббату, что отличать цвета он умеет не хуже его и что платье мое красно, как кровь.

Не знаю почему, но эта странность и грубость вызвали во мне дрожь. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала больше бояться его, чем любить. Скоро я совсем его разлюбила, а в настоящее время я и не боюсь и не люблю его. Я просто жалею его. Вы сами мало-помалу увидите, почему это так, и поймете меня.

На следующий день мы собирались отправиться за покупками в Таус, ближайший город<sup>1</sup>. Очень я радовалась этой прогулке. Альберт должен был верхом сопровождать меня. Я была готова и ждала, что он подсадит меня на седло. Экипажи были поданы и стояли у подъезда, а Альберт все не появлялся. Его слуга доложил, что, как всегда, в обычный час постучал ему в дверь. Его послали снова справиться, готов ли молодой граф. Надо сказать, что у Альберта была мания всегда одеваться самому, без помощи слуги. Только выйдя из своей комнаты, он разрешал камердинеру войти в нее. Напрасно стучались к нему, — он не отвечал. Встревоженный этим молчанием старый граф сам отправился к комнате сына, но ему не удалось ни открыть дверь, запертую изнутри, ни добиться от Альберта хотя бы одного слова. Все были страшно перепуганы, но аббат объявил спокойным голосом, что у графа Альберта бывают иногда припадки непробудного сна, вроде какого-то оцепенения, и, если его внезапно разбудить, то он приходит в очень возбужденное состояние, после чего в течение нескольких дней плохо себя чувствует.

«Но ведь это болезнь!» — с тревогой воскликнула канонисса.

«Не думаю, — отвечал аббат, — я никогда не слышал, чтобы он на что-либо жаловался. Доктора, которых я приглашал во время подобного сна, не находили у графа никакой болезни, а его состояние объясняли переутомлением, физическим или умственным. Они настаивали, что нельзя нарушать этой потребности в полном покое-забвении».

«И это часто с ним бывает?» — спросил дядя.

«Я наблюдал это явление всего пять-шесть раз за все восемь лет, — ответил аббат, — и так как я никогда не тревожил его, то всегда это проходило без всяких неприятных последствий».

«И это долго продолжается?» — спросила я, в свою очередь очень раздосадованная.

«Более или менее долго, — сказал аббат, — в зависимости от того, как долго длилась бессонница, предшествовавшая этой потере сил или вызвавшая ее. Но знать это невозможно, так как граф или сам не ведает причины, или не хочет о ней говорить. Он очень много работает и скрывает это с редкой скромностью».

«Значит он очень ученый?» — спросила я.

«Он чрезвычайно ученый», — ответил аббат.

«И никогда этого не выказывает?»

«Он делает из этого тайну и даже сам этого не подозревает».

«На что ему эта ученость в таком случае?»

«Гений — как красота, — ответил лстивый иезуит, глядя на меня масляными глазками, — это милости неба, не внушающие ни гордости, ни волнения тем, кто ими наделен».

---

<sup>1</sup> Таус — городок в Богемии на восточном склоне Богемского леса, по дороге из Пльзеня (Чехия) на Регенсбург (Бавария).

Я поняла его наставление и еще больше разозлилась, как вы можете себе представить.

Решили отложить прогулку до пробуждения моего двоюродного брата. Но убедившись через два часа, что он продолжает спать, я скинула свой великолепный костюм для верховой езды и села вышивать за пальцы. Не скрою, при этом много изорвала я шелка и пропустила крестиков. Я была возмущена дерзостью Альберта. Как он смел, сидя над своими книгами, забыть о предстоящей прогулке со мною и теперь спать непробудным сном, в то время как я его жду. Время шло, и поневоле приходилось отказаться от поездки в город. Мой отец, вполне положившись на слова аббата, взял свое ружье и преспокойно отправился стрелять зайцев. Тетя, менее спокойная, раз двадцать поднималась к комнате племянника, принимаясь слушать у его дверей. Но там царила мертвая тишина, не слышно было даже его дыхания. Бедная старушка была в отчаянии, видя, до чего я недовольна. А дядя Христиан, чтобы забыться, взял книжку духовного содержания, уселся в уголке гостиной и стал читать с таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в окно с досады. Наконец уже под вечер тетя, вся сияющая, пришла сказать нам, что слышала, как Альберт, проснувшись, одевается. Аббат советовал нам при появлении молодого графа не проявлять ни малейшего удивления, ни беспокойства, не предлагать ему никаких вопросов и только стараться развлечь его, если он будет огорчен случившимся.

«Но если мой двоюродный брат не болен, так значит он маньяк», — воскликнула я, вспыхнув. Сказав это, я сейчас же страшно пожалела об этом, увидев, как изменилось от моих жестоких слов лицо бедного дяди.

Но когда Альберт, как ни в чем не бывало, вошел, не найдя нужным даже извиниться, я была возмущена и очень сухо с ним поздоровалась. Этого он даже не заметил. Казалось, он был весь погружен в свои думы.

Вечером моему отцу пришло в голову, что музыка может развеселить Альберта. Я еще ни разу не пела при нем. Моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, ученая Порпорина, мне хвастаться своими музыкальными познаниями. Но вы сами убедитесь, что у меня недурной голосок и есть врожденная музыкальность. Я заставила долго просить себя. Мне, по правде сказать, больше хотелось плакать, чем петь. Альберт не проронил ни слова, не показал ни малейшего желания послушать меня. Наконец я все-таки согласилась, но пела очень плохо; Альберт же, словно я терзала ему слух, был настолько груб, что после нескольких тактов вышел из комнаты. Нужно было призвать на помощь все самолюбие, всю гордость, чтобы тут же не расплакаться и допеть арию, не порвав со злости струны арфы. Тетя вышла вслед за племянником, отец мой сейчас же заснул, а дядя ждал у дверей возвращения сестры, чтобы узнать от нее что-нибудь о сыне. Один аббат рассыпался передо мною в комплиментах, но они злили меня больше, чем безразличие других.

«По-видимому, мой двоюродный брат не любит музыки», — сказала я.

«Напротив, он очень ее любит, — отвечал аббат, — но это зависит...»

«От того, как поют», — прервала я его на полуслове.

«...Зависит от его настроения, — продолжал он, не смутившись. — Иногда музыка ему приятна, иногда вредна. Я убежден, что вы так его растрогали, что он не в силах был владеть собой. Это бегство должно вам льстить больше всяких похвал».

В лести этого иезуита было что-то хитрое и насмешливое, возбуждавшее во мне ненависть к нему. Но скоро я избавилась от него, как вы это сейчас увидите.

## XXVIII

На следующий день моей тете, разговорчивой лишь тогда, когда она чем-нибудь очень взволнована, пришла в голову злосчастная мысль затеять разговор с аббатом и капелланом. А так как помимо родственных привязанностей, поглощающих ее почти всецело, единственное во всем мире, что ее интересует, — это величие нашего рода, то она не преминула распространиться насчет своей родословной, доказывая обоим священникам, что наш род, особенно по женской линии, самый знаменитый, самый чистый — словом, наилучший из всех немецких родов. Аббат слушал терпеливо, а наш капеллан — с благоговением, как вдруг Альберт, казалось, совершенно не слушавший, прервал ее с некоторой живостью:

«Мне кажется, милая тетя, что вы заблуждаетесь относительно превосходства нашего рода. Правда, и дворянство и титулы получены нашими предками довольно-таки давно, но род, потерявший свое имя и, так сказать, отрекшийся от него, сменивший его на имя женщины, чужой по национальности и по вере, такой род теряет право гордиться своими старинными доблестями и верностью своей стране».

Это замечание задело за живое канониссу, но заметив, что аббат насторожился, она сочла нужным ответить племяннику:

«Я не согласна с вами, дорогой мой. Не раз бывало, что какой-нибудь именитый род возвышался еще более, присоединив к своему имени имя материнской линии, дабы прямые наследники не теряли чести происходить также и от другого доблестного рода».

«Но то, что вы говорите, здесь неприменимо, — возразил Альберт с совсем несвойственной ему настойчивостью. — Я понимаю, что можно соединить два славных имени. Я нахожу вполне справедливым, чтобы женщина передала детям свое имя, присоединив его к имени мужа. Но стереть это мужнино имя совершенно — мне кажется оскорблением со стороны той, которая этого требует, и малодушием — со стороны того, кто этому подчиняется».

«Альберт, вы вспоминаете события из слишком далекого прошлого, — проговорила с глубоким вздохом канонисса. — И устанавливаете правило еще

менее удачное, чем мое. Господин аббат, слушая вас, мог подумать, что какой-то наш предок-мужчина был способен на малодушие. Раз вы так прекрасно осведомлены о вещах, которые, я думала, вам почти неизвестны, вы не должны были так выражаться относительно политических событий... столь далеких от нас, слава Богу...»

«Если сказанное мною вам неприятно, тетя, я сейчас приведу факт, который смоем всякое позорное обвинение с памяти нашего предка Витольда, последнего графа Рудольштадта. Это, мне кажется, интересует очень мою двоюродную сестру, — заметил он, видя, как я вытаращила на него глаза, пораженная, что он вопреки своей обычной молчаливости вдруг вмешался в такой спор. — Да будет вам известно, Амелия, что нашему прадеду Братиславу едва было четыре года, когда его мать Ульрика Рудольштадт сочла нужным заклеить его позором, отняв у него его настоящее имя, имя его отцов — Подибрад<sup>1</sup>, и дав ему взамен то саксонское имя, которое мы теперь носим вместе с вами: вы — не краснея, а я — не гордясь им».

«По-моему, совершенно бесполезно вспоминать о вещах, которые так далеки от нашей эпохи», — проговорил граф Христиан, которому, видимо, было не по себе.

«Мне кажется, что тетя заглянула в еще более далекое прошлое, рассказывая нам про великие заслуги Рудольштадтов, и я не знаю, что дурного в том, если кто-нибудь из нас, случайно вспомнив, что он чех, а не саксонец по происхождению, что его зовут Подибрад, а не Рудольштадт, станет рассказывать о событиях, бывших всего каких-нибудь сто двадцать лет назад».

«Я знал, — вмешался аббат, слушавший Альберта с некоторым интересом, — что ваш именитый род в прошлом был в родстве с королевским родом Георгия Подибрада, но не подозревал, что вы — прямые его потомки, могущие носить его имя».

«Это потому, — ответил Альберт, — что тетя, умеющая рисовать генеалогическое древо, сочла нужным отсечь в своей памяти древнее и почтенное древо, от которого мы исходим. Но генеалогическое древо, на котором кровавыми буквами занесена наша славная и мрачная история, еще высится на соседней горе».

Так как, говоря это, Альберт оживлялся все больше и больше, а лицо дяди делалось все мрачнее, аббат, хотя в нем и было задето любопытство, попробовал было переменить разговор. Но я не смогла совладать со своим любопытством.

«Что вы хотите сказать этим, Альберт?» — воскликнула я, подходя к нему.

«Я хочу сказать то, что каждая из рода Подибрада должна была бы знать, — ответил он, — то, что на старом дубе скалы Ужаса, на который вы ежедневно смотрите из своего окна и под сенью которого я советую вам никогда не садиться, не сотворив молитвы, триста лет тому назад висели плоды потяжелее тех высохших желудей, которые этот дуб с трудом приносит теперь».

<sup>1</sup> Георгий *Подибрад* (1420–1471) — король Богемии.



«Это ужасная история, — пробормотал перепуганный капеллан, — не понимаю, кто мог об этом рассказать графу Альберту».

«Местное предание, а быть может, и нечто еще более достоверное, — ответил Альберт. — Как ни сжигай семейные архивы и исторические документы, господин капеллан, как ни воспитывай детей в неведении прежней жизни, как ни заставляй молчать простодушных софизмами, а слабых — угрозами, — ни страх пред деспотизмом, ни ужас самого ада не могут заглушить тысячи голосов прошлого, — они несутся отовсюду. Нет! Нет! Они слишком громки, эти ужасные голоса, чтобы слова священника смогли заставить их умолкнуть! Они во время сна говорят нашим душам устами призраков, поднимающихся из могил, дабы нас просветить; мы слышим эти голоса среди шума природы; они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят из стволов деревьев, чтобы рассказать нам о преступлениях, о несчастьях и подвигах наших отцов...»

«Зачем, мой бедный мальчик, ты мучаешь себя такими горестными мыслями и роковыми воспоминаниями?» — проговорила канонисса.

«Это ваши родословные, тетя, то путешествие, которое вы только что совершили в прошлые века, это они пробудили во мне воспоминание о пятнадцати монахах, повешенных на ветвях дуба собственной рукой одного из моих предков. Да, моего предка... о, самого великого, самого страшного, самого упорного, того, кого звали «грозный слепец», непобедимый Ян Жижка, поборник чаши!»

Громкое, ненавистное имя славы таборитов, сектантов, выдвинувшихся во время гуситских войн благодаря своей энергии, храбрости и жестокости, поразило, как удар грома, обоих священников. Капеллан даже осенил себя большим крестом, а тетюшка, сидевшая рядом с Альбертом, невольно отодвинулась от него.

«Боже милостивый! — воскликнула она. — Да о чем и о ком говорит этот мальчик? Не слушайте его, господин аббат! Нет, никогда, никогда наша семья не имела ничего общего, никакого отношения к тому окаянному, гнусное имя которого он только что произнес».

«Говорите за себя, тетя, — решительно возразил Альберт. — Вы — Рудольштадт в душе, хотя фактически вы Подибрад. Но в моих жилах течет на несколько капель больше чешской крови, как бы возместивших во мне столько же капель иностранной крови. В родословном древе моей матери не было ни саксонцев, ни баварцев, ни пруссаков: она была чистой славянской расы. Вы, тетя, по-видимому, не интересуетесь благородным происхождением, на которое не можете претендовать, а я, дорожа своим личным славным происхождением, могу сообщить вам, если вы не знаете, и напомнить вам, если вы забыли, что у Яна Жижки была дочь, которая вышла замуж за графа Прахалица, и что мать моя, будучи сама Прахалиц, — потомок по прямой женской линии Яна Жижки так точно, как вы, тетя, — потомок Рудольштадтов».

«Это бред, это заблуждение, Альберт».

«Нет, дорогая тетя, это вам может подтвердить господин капеллан, человек правдивый, богобоязненный: у него в руках были дворянские грамоты, удостоверяющие это».

«У меня?» — закричал капеллан, бледный, как мертвец.

«Вы можете в этом сознаться, не краснея перед господином аббатом, — с горькой иронией ответил Альберт. — Вы только исполнили свой долг католического священника и австрийского подданного, когда сожгли эти документы на следующий день после смерти моей матери».

«Моя совесть повелела мне тогда сжечь их, но свидетелем этого был один Господь, — проговорил капеллан, еще больше бледнея. — Граф Альберт, скажите, кто мог вам это открыть?»

«Я уже сказал вам, господин капеллан, — голос, говорящий громче, чем голос священника».

«Какой голос?» — спросила я, сильно заинтересованная.

«Голос, говорящий во время сна», — ответил Альберт.

«Но это ничего не объясняет, сын мой», — сказал граф Христиан очень задумчиво и грустно.

«Голос крови, отец мой!» — ответил Альберт голосом, заставившим всех нас вздрогнуть.

«О Боже мой! — воскликнул дядя, молитвенно сложив руки, — опять те же сны, опять та же игра больного воображения, которые когда-то так терзали его бедную мать, — и, наклонившись к тете, он тихо прибавил: — должно быть, во время своей болезни она обо всем этом говорила при ребенке, и, очевидно, это запечатлелось в его детском мозгу».

«Это невозможно, брат мой, — ответила канонисса, — Альберту не было и трех лет, когда он потерял мать».

«Вероятнее всего, — вполголоса заговорил капеллан, — что в доме могло сохраниться что-нибудь из тех проклятых еретических писаний, полных лжи и безбожия, которые она хранила в силу семейных традиций. Все же перед смертью у нее хватило нравственных сил пожертвовать ими».

«Нет, от них ничего не сохранилось, — проговорил Альберт, не упустивший ни одного слова, сказанного капелланом, несмотря на то, что тот говорил очень тихо, а молодой граф, возбужденно прохаживающийся по большой гостиной, в это время был на другом ее конце. — Вы сами прекрасно знаете, господин капеллан, что вы уничтожили все и что на следующий день после ее кончины вы везде переискали и все перерыли в ее комнате».

«Откуда ты все это взял, Альберт? — строго спросил граф Христиан. — Какой вероломный или безрассудный слуга вздумал смутить твой юный ум, рассказав, несомненно в преувеличенном виде, об этих семейных событиях?»

«Ни один из слуг мне этого не говорил, отец мой, клянусь вам в этом моей верой и совестью».

«Значит, это дело рук врага рода человеческого», — пробормотал с ужасом капеллан.

«Будет более правдоподобно и более по-христиански, — вставил свое слово аббат, — допустить, что граф Альберт одарен исключительной памятью и что события, которые обыкновенно проходят для детей бесследно, запечатлелись в его мозгу. Убедившись в редком уме графа, я могу легко предположить, что он развился чрезвычайно рано, а память его действительно поразительна».

«Память моя вам кажется такой поразительной, только потому что вы сами совершенно лишены ее, — возразил сухо Альберт. — Например, вы не помните, что вы делали в 1619 году, после того, как мужественный, верный протестант Витольд Подибрад (ваш дед, дорогая тетя), последний, носивший наше имя, обогрил своей кровью скалу Ужаса. Бьюсь об заклад, господин аббат, что вы забыли о вашем поведении при этих обстоятельствах».

«Признаюсь, совершенно забыл», — ответил аббат с насмешливой улыбкой, что было не очень благовоспитанно в ту минуту, когда нам всем стало ясно, что Альберт бредит.

«В таком случае, я вам припомню», — сказал Альберт, ничуть не смущаясь.

«Вы начали с того, что поспешили дать совет императорским солдатам, только что прикончившим Витольда Подибрада, бежать или спрятаться, так как вы знали, что плзеньские рабочие, имевшие мужество признавать себя протестантами и обожавшие Витольда, уже шли отомстить за смерть своего повелителя и растерзать на клочки его убийц. Затем вы отправились к моей прабабке Ульрике, дрожащей и запуганной, вдове Витольда, и предложили ей прощение императора Фердинанда II<sup>1</sup>, сохранение ее поместий, титулов, свободы, жизни ее детей при условии, если она последует вашим советам и оплатит ваши услуги золотом. Она согласилась на это: материнская любовь толкнула ее на такой малодушный поступок. Она не оценила мученической кончины благородного супруга. Она была католичка от рождения и отрекалась от этой веры только из любви к мужу. Она не нашла в себе сил переносить бедность, изгнание, гонение ради того, чтобы сохранить детям веру, которую их отец только что запечатлел своей кровью, и сохранить им то имя, которое он прославил больше всех своих предков гуситов, каликстинов, таборитов, сирот, союзных братьев и лютеран». (Все это, дорогая Порпорина, имена сект, промежуточных между расколом Яна Гуса и Мартина Лютера, к которым, по-видимому, принадлежала и та ветвь рода Подибрад, от которой мы приходим.)

«Словом, — продолжал Альберт, — саксонка испугалась и сдалась. Вы завладели замком, вы очистили его от императорских банд, вы спасли наши поместья. На огромном костре вы сожгли все наши грамоты, весь наш архив. Вот почему моей тете, на ее счастье, не удалось восстановить родословное древо Подибрадов, и она нашла себе пищу более удобоваримую — родословную Рудольштадтов. За ваши труды вы получили большую награду, — вы

<sup>1</sup> *Фердинанд II* (1578–1637) — германский император с 1619 года; при нем началась Тридцатилетняя война (1618–1648).

разбогатели, очень разбогатели. Три месяца спустя Ульрике было разрешено отправиться в Вену и припасть к стопам императора, который тут же всемирно разрешил ей денационализировать детей, воспитывать их под вашим руководством в католической религии, а в будущем поступить на военную службу и сражаться под теми знаменами, против которых так мужественно боролись их отец и деды. Словом, я и мои сыновья, мы были зачислены в ряды австрийской тирании...»

«Ты и твои сыновья!» — с отчаянием воскликнула тетя, видя, что он совсем заговаривается.

«Да, мои сыновья: Сигизмунд и Рудольф», — ответил пресерьезно Альберт.

«Это имена моего отца и дяди, — пояснил граф Христиан. — Альберт, в уме ли ты? Очнись, сын мой! Больше столетия отделяет нас от этих горестных событий, свершившихся по воле Божьей...»

Альберт стоял на своем. Он внушил себе и хотел убедить и нас в том, что он — Братислав, сын Витольда и первый из Подибрадов, носивший материнское имя — Рудольштадт. Он рассказывал нам о своем детстве и о пытках графа Витольда, о которых он сохранил самое ясное воспоминание. Виновником мученической смерти Витольда он считал иезуита Дитмара, которым, по его мнению, был не кто иной, как аббат-гувернер. Говорил он тут еще о своей глубокой, с раннего детства, ненависти к этому Дитмару, к Австрии, к императорской династии и к католикам. Затем его воспоминания стали как-то путаться; он стал плести массу непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о возвращении людей с того света на землю, основываясь при этом на веровании гуситов, будто Ян Гус через сто лет после своей смерти вернется в Богемию, чтобы закончить начатое дело. По словам Альберта, предсказание это и исполнилось, так как, уверял он, Лютер — это воскресший Ян Гус.

Одним словом, в его речах была какая-то странная смесь ереси, суеверия, мрачной метафизики и поэтического бреда. И все это говорилось так убедительно, с такими точными, интересными подробностями, касавшимися не только Братислава, но и Яна Жижки и многих других умерших (он уверял, что все эти жизни — его собственные прошлые воплощения), что мы, пораженные, молчали, не решаясь ни остановить его, ни противоречить ему. Дядя и тетя, ужасно страдавшие от этого, по их мнению, нечестивого безумия, тем не менее хотели вполне уяснить его себе; ведь это безумие обнаруживалось впервые так открыто, и надо же было знать источник беды, чтобы потом иметь возможность с ней бороться. Аббат пытался было обратить все в шутку, уверяя, что граф Альберт — забавник и насмешник, тешит себя, мистифицируя нас своей эрудицией. «Он так много читал, — говорил он, — что был бы в состоянии таким же образом, глава за главой, рассказать нам историю всех веков, притом с такими подробностями, с такой точностью, что люди, склонные верить в чудесное, могли бы легко подумать, будто он действительно сам присутствовал при всех описанных им сценах».

Канонисса, которая, при всей своей пламенной набожности, была склонна к суеверию и уже начинала верить племяннику на слово, отнеслась очень неприязненно к разглагольствованиям аббата и посоветовала ему приберечь свои шуточные пояснения до более веселого случая; затем она начала стараться изо всех сил вернуть племянника к действительности.

«Берегитесь, тетя, — нетерпеливо ответил Альберт на ее увещевания, — берегитесь, чтобы я вам не сказал, кто такая вы сами. До сих пор я гнал от себя эту мысль, но вот что-то говорит мне, что подле меня сейчас стоит саксонка Ульрика».

«Так вы думаете, бедное дитя мое, — ответила канонисса, — что эта благоразумная, самоотверженная прабабка, сумевшая сохранить своим детям жизнь, а потомкам независимость, состояние, почести — все, чем они теперь пользуются, вы думаете, что она возродилась снова во мне? Знайте же, Альберт, я так люблю вас, что в состоянии сделать даже больше, чем наша прабабка. Я пожертвовала бы своей жизнью, если бы этой ценой смогла исцелить ваш помутившийся рассудок».

Альберт молча некоторое время смотрел на тетку, и в глазах его сквозь суровость проглядывала нежность.

«Нет, нет, — сказал он наконец, подходя к ней и опускаясь у ее ног на колени, — вы — ангел и когда-то вы причащались из деревянной чаши гуситов. А все-таки саксонка здесь: ее голос сегодня доносился до меня несколько раз».

«Уж не ваша ли двоюродная сестра Амелия? — проговорила я, пытаюсь его развеселить. — Только не очень сердитесь на меня за то, что я не предала вас палачам в 1619 году».

«Вы — моя мать! — воскликнул он, глядя на меня страшными глазами. — Не говорите мне этого, так как я не могу вам простить. Господь возродил меня от более сильной женщины, он закалил кровью Жижки мою сущность, сбившуюся с правильного пути. Амелия, не смотрите на меня, а главное — не говорите со мной! Это ваш голос, Ульрика, причинил мне сегодня все эти страдания!»

С этими словами Альберт стремительно вышел, оставив нас в самом угнетенном состоянии, так как с горестью мы убедились в расстройстве его ума.

Было два часа пополудни. Мы только что спокойно отобедали. За обедом ничего, кроме воды, Альберт не пил, так что никак нельзя было объяснить его безумные речи опьянением. Тетя с капелланом сейчас же побежали за ним вслед: считая его тяжело больным, они хотели чем-нибудь помочь ему. Но непостижимая вещь! Альберт исчез, как по волшебству. Его нигде не могли найти: ни в его комнате, ни в комнате матери, где он часто запирался, ни в одном из закоулков замка. Его всюду искали — в саду, у речного заповедника, в окрестных лесах, горах. Ни один человек не видел его ни вблизи, ни издали. Даже следов его не находили. Никто в замке в эту ночь не ложился спать. Слуги с факелами до самого рассвета искали его.



Все семейство молилось. Следующий день прошел в той же тревоге, а следующая ночь — в том же унынии. Не умею вам сказать, в каком ужасе была я, никогда до этого не дрожавшая за жизнь близких, никогда не переживавшая ничего подобного. Я была убеждена, что Альберт лишил себя жизни или бежал навсегда. Со мной сделался нервный припадок, меня трясла лихорадка. Несмотря на весь ужас, внушаемый мне этим странным, роковым человеком, во мне все еще жил остаток любви к нему. У моего отца хватило сил отправиться на охоту: он воображал, что где-то в глубине лесов он нападет на след Альберта. Тетя, терзаемая горем, не падала духом, была деятельна, мужественна, ухаживала за мной и старалась всех успокоить. Дядя молился день и ночь. Видя его горячую веру и стоическую покорность воле Божьей, я жалела, что не набожна.

Аббат делал вид, будто немного грустит, но уверял, что совершенно спокоен. «Надо правду сказать, — говорил он, — граф Альберт во время наших путешествий никогда так не исчезал, но в нем была потребность уединения и духовного созерцания». По мнению аббата, лучшее средство против странностей молодого графа — никогда не перечить ему и делать вид, будто ничего не замечаешь. На самом же деле этот интриган и величайший эгоист был исключительно заинтересован в получении своего большого жалования за гувернерство и потому старался как можно дольше протянуть его, вводя семью в заблуждение, приписывая себе несуществующие заслуги. В действительности же, занятый своими делами и удовольствиями, он предоставлял Альберту полную свободу чрезмерно поддаваться своим склонностям. Очень возможно, что он не раз видел его больным и возбужденным, оставаясь к этому совершенно равнодушным. По-видимому, он дал развиваться его странностям. Одно несомненно, что аббат умел скрывать эти странности от всех, кто бы мог сообщить нам о них. Все письма, полученные дядей от друзей, были полны поздравлений по поводу достоинств его красавца-сына, полны похвал ему. Очевидно, Альберт нигде и ни на кого не производил впечатления больного или ненормального. Как бы то ни было, его внутренняя жизнь за все эти восемь лет странствований являлась для нас непроницаемой тайной.

Аббат, видя, что в течение трех дней Альберт все не появляется, и опасаясь, как бы это происшествие не повредило его собственным делам, на четвертый день сбежал, уехав в Прагу, мотивируя свою поездку якобы надеждой найти там молодого графа, который, по его мнению, мог разыскивать в этом городе какую-нибудь редкую книгу.

«Он напоминает, — говорил он, — ученых, которые так погружены в свои изыскания, что для удовлетворения своей невинной страсти готовы забыть весь мир». Засим аббат уехал и больше не возвращался.

После недельного смертельного томления, когда мы начинали уже совсем отчаиваться, тетя, проходя мимо комнаты Альберта, вдруг увидела в открытую дверь, что он преспокойно сидит в кресле и гладит собаку, сопровождавшую его в таинственном путешествии. На его платье не видно было ни грязи, ни дыр, только позолота на нем потемнела, словно он не то был в сыром месте, не то проводил

ночи под открытым небом. Обувь его также была в порядке, — видимо, он ходил немного. Бородой же своей и волосами он, несомненно, все это время не занимался. С этого дня, надо сказать, он перестал бриться и пудрить свои волосы, как другие мужчины; вот почему он вам, Нина, и показался привидением.

Тетя с криком бросилась к нему.

«Что с вами, дорогая тетя? — спросил он, целуя ей руку. — Можно подумать, что вы меня целый век не видели».

«Бедный мой мальчик, — воскликнула она, — ведь ты пропадал целую неделю, ни словом нас не предупредив! Ведь это семь смертельных дней, семь смертельных ночей, как мы тебя ищем, о тебе плачем, за тебя молимся».

«Семь дней? — повторил Альберт, с удивлением глядя на нее. — То есть вы хотите сказать, милая тетя, — семь часов? Ведь я сегодня утром ушел на прогулку и вот сейчас вернулся, не опоздав к ужину. Скажите, как мог я вас до такой степени встревожить таким коротким отсутствием?»

«Правда, правда, — проговорила канонисса, боясь ухудшить болезненное состояние племянника, раскрывая ему правду. — Это я обмолвилась: я хотела сказать — семь часов. А беспокоилась я так потому, что ты не привык к длинным прогулкам; к тому же я видела сегодня ночью дурной сон, будто я сошла с ума».

«Тетечка дорогая, чудесный мой друг! — нежно говорил Альберт, целуя ее руки. — Вы меня любите, как маленького ребенка. Но отец мой, надеюсь, не беспокоился?»

«Ничуть не беспокоился, ждет тебя ужинать. Воображаю, как ты должен быть голоден».

«Не очень: я ведь хорошо пообедал».

«Где и когда, Альберт?»

«Да здесь, сегодня, с вами, милая тетушка. Но я вижу, что вы все еще не приходите в себя. Как я огорчен, что так напугал вас. Но мог ли я это предвидеть?»

«Ну, уж ты меня знаешь. Лучше расскажи мне, где ты кушал и где спал с того времени, как ушел из дома».

«С сегодняшнего-то утра? Да как могло мне хотеться спать, как мог я проголодаться?»

«А тебе, скажи, не нездоровится?»

«Ничуть».

«А ты не устал? Ты ведь много ходил, верно, взбирался на горы? Это очень утомительно. Где же ты был?»

Альберт прикрыл глаза рукой, силясь вспомнить, но так и не смог этого сделать.

«Признаться вам, ничего не помню, — наконец проговорил он. — Уж очень я был занят своими мыслями. Я шел себе, ничего не замечая, как, помните, бывало со мной в детстве. Ведь я никогда не мог ответить ни на один из ваших вопросов».

«Скажи, а во время своих путешествий ты больше обращал внимание на все, что видел?»

«Иногда, но не всегда. Я многое наблюдал, но многое и забыл, слава Богу».

«А почему "слава Богу"?»

«Да потому, что на земле приходится видеть ужасные вещи», — ответил он с мрачным видом, которого до сих пор тетя не замечала в нем.

Тут она поняла, что не следует больше заставлять его говорить, и помчалась к дяде сообщить, что его сын нашелся. Никто этого в доме еще не знал, никто не видел, как он вернулся. Он так же незаметно появился, как исчез.

Бедный дядя, так мужественно переносивший все предшествующие мучения, не выдержал такой радости, — с ним случился обморок. Так что, когда Альберт вошел, отец выглядел хуже сына. Альберт, который после своих долгих путешествий, казалось, ничего не замечал из происходившего вокруг него, в этот вечер был совсем другим, каким-то обновленным. Был очень нежен с отцом, встревожился его плохим видом, допытывался причины этого. Когда же рискнули намекнуть на то, что довело его отца до такого состояния, он совершенно ничего не понял, и из его искренних ответов было очевидно, что он решительно ничего не помнит о своем исчезновении, длившемся неделю.

— То, что вы мне рассказываете, положительно похоже на сон, — проговорила Консуэло. — Все это может не усыпить, как вы ожидали, а свести с ума. Мыслимо ли, чтобы человек прожил целую неделю, не сознавая этого?

— И представьте, это — ничто по сравнению с тем, что вы еще услышите от меня. Я сама прекрасно понимаю, что вам трудно верить мне, пока вы собственными глазами не убедитесь, что я не только ничего не преувеличиваю, но, напротив, о некоторых вещах умалчиваю для краткости. Знаете, я рассказываю вам все это, как очевидец, но иногда задаю сама себе вопрос, что представляет собой наш Альберт, — колдун он или просто издевается над нами? Однако поздно, боюсь, что я злоупотребляю вашей любезностью.

— Нет, это я злоупотребляю вашей, — ответила Консуэло. — Вы, должно быть, очень устали? Хотите, отложим до завтра продолжение этой невероятной истории?

— Хорошо. Итак, до завтра, — сказала юная баронесса, обнимая ее.

## XXIX

Консуэло, выслушав эту действительно невероятную историю, долго не могла заснуть. Темная дождливая ночь, словно оглашавшаяся какими-то стенаниями, еще усиливала незнакомый ей до сих пор суеверный страх. «Значит, существует непостижимый рок, тяготеющий над некоторыми людьми? — говорила она себе. — Чем провинилась перед Богом эта молодая девушка, только что так откровенно рассказывавшая о своем оскорбленном

наивном самолюбии, о своих обманутых радужных надеждах? А что сделала дурного я, чтобы моя единственная любовь была разбита и поругана? Какой грех совершил этот нелюдิมый Альберт Рудольштадт, чтобы потерять рассудок и способность разбираться в собственной своей жизни? Какое отвращение должно было возыметь провидение к Андзолето, чтобы предоставить его, как оно это сделало, дурным склонностям и соблазнам разврата!»

Побежденная усталостью, она наконец заснула и погрузилась в бессвязные, мучительные сны. Два-три раза она просыпалась и снова засыпала, не будучи в силах дать себе отчет в том, где она находится, и считая, что она все еще в дороге. Порпора, Андзолето, граф Дзустиньяни и Корилла — все по очереди проходили перед ее глазами, говорили ей странные, мучительные вещи, упрекали ее в каком-то совершенном ею преступлении, за которое она несет наказание, не помня сама, что она его совершила. Но все эти видения стушевывались перед образом Альберта. Он беспрестанно появлялся со своей черной бородой, с устремленным в одну точку взором, в своем траурном одеянии, напоминавшем золотой отделкой и блесневшими на нем порой слезами покров покойника.

Проснувшись, она увидела подле себя Амелию, уже нарядно одетую, свежую, улыбающуюся.

— Знаете ли, дорогая Порпорина, — обратилась к ней юная баронесса, целуя ее в лоб, — в вас есть что-то странное. Видно, мне суждено жить с необыкновенными существами. Вы, очевидно, к ним принадлежите. Вот уже четверть часа, как я смотрю на вас спящую, чтобы рассмотреть при дневном свете, красивее ли вы, чем я. Признаюсь, меня это отчасти тревожит, и хотя я и поставила крест на своей любви к Альберту, но мне все-таки было бы немного обидно, начини он заглядываться на вас. Как бы то ни было, он ведь здесь единственный мужчина, а я до сих пор была единственной женщиной. Теперь нас двое, и, если вы меня затмите, я этого вам не прощу.

— Вы любите шутить, — ответила Консуэло, — Это совсем не великодушно с вашей стороны. Оставьте эти злые шутки и лучше скажите мне, что же во мне необыкновенного? Быть может, мое прежнее уродство вернулось? Мне кажется, что это действительно произошло.

— Скажу вам всю правду, Нина. Сейчас при первом взгляде на вас, когда вы лежали такая бледная, с огромными полузакрытыми глазами, скорее остановившимися, чем сонными, с худой рукой, свесившейся с кровати, сознаюсь, — я пережила минуту торжества. Но продолжая смотреть на вас еще и еще, я была словно испугана вашей неподвижностью, вашим поистине царственным видом. Знаете, рука ваша — рука королевы, а в вашем спокойствии есть что-то подавляющее, что-то покоряющее, а почему это так, я сама не отдаю себе хорошенько отчета. Вдруг вы показались мне красивой, и в красоте этой мне почудилось что-то страшное, между тем взгляд у вас очень нежный. Скажите мне, Нина, что вы за человек? В одно и то же время вы и привлекаете и пугаете

меня: например, мне очень совестно всех тех глупостей, которые сегодня ночью я успела вам наговорить. Вы мне еще ничего не сказали о себе, а сами уже знаете все мои недостатки.

— Если у меня вид королевы, что, право, никогда не приходило мне в голову, — ответила Консуэло, грустно улыбаясь, — то разве только жалкий вид развенчанной королевы. Красота моя всегда казалась мне весьма спорной. Если же вы хотите знать мое мнение о вас, дорогая баронесса, то вы подкупили меня своей откровенностью и добротой.

— Что я откровенна, это так, а откровенны ли вы, дорогая Нина? Правда, в вас чувствуется величие, благородная честность, но есть ли в вас откровенная общительность? Я не думаю.

— Согласитесь, не мне же делать первые шаги. Это вы, моя теперешняя покровительница и хозяйка, вы должны вызвать меня на откровенность.

— Вы правы. Но ваше здравое благоразумие пугает меня. Скажите, вы не будете слишком меня журить за мое легкомыслие?

— Я не имею на это никакого права. Я только ваша учительница музыки. Да и бедная девушка, вышедшая из народа, как я, всегда будет знать свое место.

— Вы — из народа, гордая Порпорина! О, вы выдумываете! Это невероятно! Скорей вы мне кажетесь таинственным ребенком какого-нибудь княжеского рода. Чем занималась ваша мать?

— Она пела, так же, как и я.

— А ваш отец?

Консуэло молчала недоумевая. Она не приготовила заранее ответов на все нескромно-фамильярные вопросы юной баронессы. Дело в том, что она никогда ничего не слыхала о своем отце, и ей даже никогда не приходило в голову поинтересоваться, был ли он вообще у нее.

— Так я и знала, — воскликнула, заливаясь смехом, Амелия, — что ваш отец был или испанский гранд, или венецианский дож.

Тон этого разговора показался Консуэло легкомысленным и обидным.

— По-вашему, — заметила Консуэло с оттенком недовольствия, — честный рабочий или бедный артист не имеет права передать своему ребенку прирожденное благородство? Вам кажется, что дети народа должны быть непременно грубы и безобразны.

— То, что вы сказали, это эпиграмма по адресу моей тети Венцеславы, — возразила баронесса, смеясь еще больше. — Ну, простите меня, дорогая Нина, если я немножко вас рассердила, и позвольте уж мне придумать о вас самый красивый роман. Однако, дитя мое, одевайтесь скорее, — сейчас зазвонит колокол, и тетя скорее уморит всех нас голодом, чем прикажет подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ваши сундуки, давайте ключи. Уверена, что вы из Венеции привезли прелестные туалеты и просветите меня по части мод: ведь я так давно прозябаю в этой дикой стране.

Консуэло, торопясь причесаться и не слушая, отдала ей ключи, а Амелия, схватив их, поспешно принялась открывать первый сундук, воображая, что он



полон платьев; но, к великому удивлению, в нем не оказалось ничего, кроме кипы старых печатных нот, потертых от долгого употребления, и тетрадей совершенно неразборчивых рукописей.

— Что это такое? — воскликнула она, вытирая поспешно свои хорошенькие пальчики. — У вас, дорогое дитя, престранный гардероб.

— Это сокровища, обращайтесь с ними почтительно, дорогая баронесса. Тут есть автографы величайших композиторов, и я согласилась бы скорее потерять голос, чем не вернуть эти драгоценности Порпора, доверившему их мне.

Амелия открыла второй сундук: он был полон нотной бумаги, сочинений о музыке, композиции, гармонии и контрапункте.

— А! Понимаю. Это ваш ларчик с драгоценностями, — проговорила она смеясь.

— У меня другого нет, — отвечала Консуэло, — и я хочу надеяться, что и вы будете часто пользоваться им.

— В добрый час! Вижу, что вы строгая учительница. Но вы не обидитесь, если я спрошу, где же ваши платья?

— А вот в той маленькой картонке, — ответила Консуэло, направляясь к ней; открыв ее, она показала баронессе простенькое, черное шелковое платье, аккуратно сложенное.

— И это все? — спросила Амелия.

— Да, все, кроме моего дорожного платья. Через несколько дней я себе сделаю на смену еще такое же черное платье.

— Так вы в трауре, моя дорогая?

— Быть может, синьора, — серьезно ответила Консуэло.

— В таком случае, простите меня. Я должна была сама догадаться по вашему виду, что у вас есть горе, и я люблю вас такой, какая вы есть. Это нас еще больше сблизит. У меня ведь тоже есть причина быть грустной, и я могла бы уже носить траур по предназначенному мне супругу. Дорогая Нина, не ужасайтесь моей веселости, часто я стараюсь заглушить ею глубокое горе.

Они поцеловались и спустились в гостиную, где их уже ждали. Консуэло сразу заметила, что она в своем простом черном платье и белой косынке, скромно заколотой под самым подбородком булавкой из черного янтаря, произвела на канониссу благоприятное впечатление. Старик Христиан, казалось, меньше ее стеснялся, а любезен был так же, как и накануне. Барон Фридрих, хотя заранее и приготовил для гостьи массу любезных фраз, но так и не смог выжать из себя ни единого слова. Зато, сев рядом с ней, он до того наивно и надоедливо усердствовал, угощая ее, что сам встал из-за завтрака голодный. Капеллан поинтересовался, в каком порядке патриарх совершает процессии в Венеции, затем расспрашивал о пышности богослужения в тамошних церквях, об их убранстве. Из ее ответов он заключил, что она часто посещала церкви, а когда он узнал еще, что она изучала духовную музыку, то возымел к ней большое уважение.

На графа Альберта Консуэло едва решалась взглянуть, именно потому что только он один возбуждал в ней живое любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее появлению. Проходя через гостиную, она только увидела его в зеркале и успела заметить, что он одет очень нарядно, хотя также во всем черном. У него был, несомненно, вид большого барина, но голова его, благодаря бороде, длинным распущенным волосам, загорелому, с желтизной лицу, казалась задумчивой головой какого-то неряшливого красавца-рыбака с берегов Адриатического моря на плечах аристократа.

Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музыкальное ухо Консуэло, придала ей храбрости взглянуть на него. Ее удивило, что у него общий облик и манеры совершенно здорового человека. Он говорил мало, но рассудительно, а когда она вставала из-за стола, подал ей руку, правда, не глядя на нее (этой чести он ей не оказывал со вчерашнего дня), но очень непринужденно и учтиво. Вся дрожа, вложила она свою руку в руку этого фантастического героя рассказов и сновидений прошлой ночи: она ожидала, что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но она оказалась совсем теплой и мягкой, как у человека здорового и заботящегося о себе. По правде сказать, Консуэло едва ли была в состоянии дать себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее чуть не закружилась голова; взгляд Амелии, следившей за каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, если бы она не сделала над собой огромного усилия, дабы сохранить свое достоинство перед этой хитрой молодой девушкой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко поклонился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не обменялись ни единым словом, ни единым взглядом.

— Знаете ли, коварная Порпорина, — начала Амелия, садясь рядом с подругой, чтоб удобнее было шептать ей на ухо. — Знаете ли, что вы делаете чудеса с моим двоюродным братом?

— До сих пор я этого не замечаю, — ответила Консуэло.

— Это потому что вы не сообразовали обратить внимание на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы провести меня к столу или отвести меня от стола. И вот он изысканно любезно делает это с вами! Правда, сегодня он переживает минуты просветления. Можно подумать, что вы принесли ему и рассудок и здоровье. Но не придавайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что было со мной: три дня он будет предупредителен, радушен, а потом забудет даже о вашем существовании.

— Вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам, — сказала Консуэло.

— Не правда ли, тетечка, — обратилась Амелия вполголоса к подошедшей канониссе, усевшейся между ней и Консуэло, — как мой двоюродный брат очарователен с милой Порпориной?

— Не насмехайтесь над ним, Амелия, — кратко ответила Венцеслава. — Синьора и без того скоро сама узнает причину наших горестей.

— Я ничуть не насмехаюсь, тетечка. Альберту совсем хорошо сегодня, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если б он еще побрился да напудрил себе волосы, как все, можно было б подумать, что он никогда не был болен.

— Действительно, его спокойный и здоровый вид очень меня радует, — сказала канонисса, — но я боюсь верить, что такое счастье может длиться.

— Каким добрым и благородным он выглядит! — заметила Консуэло, желая завоевать сердце канониссы похвалой ее любимцу.

— Вы это находите? — спросила Амелия, пронизывая подругу насмешливым и шаловливым взглядом.

— Да, нахожу, — ответила Консуэло решительным тоном, — я уже вчера вечером сказала вам, синьора, что никогда ни одно лицо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего двоюродного брата.

— О милая девушка! — воскликнула канонисса, вдруг сбрасывая свою чопорность и горячо сжимая руку Консуэло, — доброе сердце сейчас же чувствуется. Я так боялась, чтобы наш бедный Альберт не напугал вас. Мне ужасно тяжело бывает читать на лицах людей отвращение, которое всегда вызывают подобные страдания. Но вы, я вижу, — чуткая и сразу поняли, что в этом больном, поблекшем теле чудесная душа, достойная лучшей доли.

Консуэло, тронутая до слез словами добрейшей канониссы, порывисто поцеловала ей руку. Она чувствовала уже больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к блестящей и легкомысленной Амелии.

Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхрабравшись, подошел к синьоре Порпорине с большой просьбой. Еще более неловкий в дамском обществе, чем старший брат (это, очевидно, было у них в роду), барон пробормотал что-то вроде речи с извинениями, которые Амелия постаралась перевести и объяснить Консуэло.

— Мой отец спрашивает, — стала переводить Амелия, — чувствуете ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия приняться за музыку и не злоупотребим ли мы вашей добротой, прося вас прослушать мое пение и высказать о нем свое мнение.

— С удовольствием послушаю вас, — ответила Консуэло, быстро подходя к клавесину и открывая его.

— Вот увидите, — шепнула ей Амелия, устанавливая ноты на пюпитр, — как он сейчас же сбежит, совершенно не считаясь ни со мною, ни с вами.

Действительно, не успела Амелия взять несколько нот, как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, очевидно, надеясь быть незамеченным.

— Уж и то хорошо, — продолжала Амелия, фальшиво наигрывая на клавесине, — что он со злости не хлопнул за собою дверь, как обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрезвычайно любезен, можно сказать даже — бесконечно мил.

Капеллан, воображая, что этим отвлечет внимание от исчезновения Альберта, подошел к клавесину и сделал вид, будто поглощен пением.

Остальные члены семьи, усевшись полукругом в отдалении, почтительно ожидали услышать мнение Консуэло о ее ученице. Амелия выбрала арию из «Ахилла на Скире» Перголезе<sup>1</sup> и пропела ее от начала до конца свежим, резким голосом очень уверенно, но с таким потешным немецким акцентом, что Консуэло, никогда ничего подобного не слышавшая, делала невероятные усилия, чтобы не рассмеяться. Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убедиться, что у юной баронессы нет истинного понимания музыки. Голос у нее был гибкий, быть может, она даже брала уроки у хорошего учителя, но сама она была слишком легкомысленна, чтобы усвоить что-нибудь основательно.

По той же причине, переоценивая свои силы, она бралась с чисто немецким хладнокровием за исполнение самых смелых и трудных пассажей. Нисколько не смущаясь, она искажала их и, рассчитывая загладить свои промахи, форсировала интонацию, заглушала аккомпанементом, восстанавливала нарушенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных, изменяя всем этим характер музыки до такой степени, что Консуэло, не имея она нот перед глазами, пожалуй, совсем не узнала бы исполняемой вещи.

Между тем граф Христиан, прекрасно понимавший музыку, но вообразивший, судя по себе, что племянница страшно смутилась, время от времени повторял, чтобы ободрить ее:

— Прекрасно, Амелия, прекрасно! Чудесная музыка, действительно чудесная.

Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смотрела, стараясь по выражению глаз предугадать мнение Консуэло. Барон, не признававший никакой иной музыки, кроме звука охотничьих рогов, считал, что ему не понять всей прелести пения дочери, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был в восторге от рулад Амелии; никогда до ее приезда ему не приходилось их слышать, и он в такт покачивал своей большущей головой, блаженно улыбаясь.

Консуэло отлично поняла, что сказать чистую правду значило бы нанести удар всему семейству. Она решила, что с глазу на глаз объяснит своей ученице, что именно ей следует забыть, прежде чем начать с нею заниматься. Тут она ограничилась лишь тем, что похвалила ее голос, расспросила о ее занятиях, одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом, что проходились они совсем не так, как следовало. Все разошлись очень довольные этим испытанием, жестоким лишь для Консуэло. Она ощутила потребность запереться в своей комнате, захватив ноты музыкальных произведений, только что искаженных в ее присутствии, перечитать их глазами, мысленно напевая, дабы изгладить в своем мозгу только что полученное неприятное впечатление.

<sup>1</sup> *Скир* — один из островов в Эгейском море, на котором, по античным легендам, воспитывался герой троянского похода *Ахиллес*. Его мать Фетида скрыла сына среди женщин, чтобы спасти его от предсказанной ему ранней смерти, но хитроумный Одиссей заманивает юношу и увозит под Трою.

## XXX

Когда все снова собрались вместе вечером, Консуэло почувствовала себя более свободно со всеми этими людьми, с которыми уже успела несколько освоиться, и начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, с которыми уже смелее обращались к ней, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе, твердо решив так поступать, и, рассказывая об условиях, среди которых ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в них играла. Тщетно старалась любопытная Амелия заставить ее больше рассказать о самой себе. Консуэло не попала на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить. Трудно было сказать, почему эта таинственность особенно привлекала ее: для этого было много причин. Начать с того, что она обещала даже клятвенно Порпора, что всячески будет скрываться и стусевываться, чтобы Андзолето, если б начал ее разыскивать, не смог напасть на ее след, — тщетная предосторожность, так как Андзолето в это время, после нескольких слабых попыток найти ее, оставил эту мысль, всецело поглощенный своими дебютами и своим успехом в Венеции.

С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и одинокую, она прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпора и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе, к знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простые набожные люди о ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее. Весьма понятно также, что, несмотря на рекомендацию Порпора, прибытие певицы Консуэло, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы просто испугать их. Но не будь даже этих двух причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность молчать, не давая никому догадаться о блеске и горестях своей судьбы. В ее жизни все так перепуталось — и сила, и слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души; а раны эти были еще слишком открыты, слишком глубоки, чтобы люди могли помочь ей. Наоборот, она чувствовала некоторое облегчение именно в этой стене, воздвигнутой ею между мучительными воспоминаниями и спокойствием новой деятельной жизни. Эта перемена страны, среды, имени сразу переносила ее в неизвестную обстановку, где она жаждала, выдавая себя за другую, стать новым существом.

Это отречение от того тщеславия, которое утешило бы другую женщину, было спасением для этой отважной души. Отказавшись от людского сострадания и от славы, она чувствовала, что ей помогут небесные силы. «Надо вернуть хоть частицу бывшего счастья, — говорила она себе, — счастья, которым



я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за людскими восторгам, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за эти почести. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни благодарных, ни врагов. Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восторга примешивается горечь. Быть может, и бывают сердца тщеславные и сильные, довольствующиеся похвалами и тешащиеся торжеством, но мое не из таких: я слишком жестоко в этом убедилась. Увы! Слава вырвала у меня сердце моего возлюбленного, пусть же смирение возвратит мне хоть нескольких друзей!..»

Не то имел в виду Порпора, отсылая ее из Венеции и избавляя этим от опасности и мук любви; он, прежде чем выпустить ее на арену тщеславия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, хотел только дать ей некоторую передышку. Он не знал достаточно хорошо свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней, он не мог себе представить ее в данную минуту такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет сильная реакция и что он найдет ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявлять свои силы — свой гений.

То чистое, святое внутреннее чувство, с которым Консуэло отнеслась к своей роли в семье Рудольштадтов с первых же дней, невольно отразилось в ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горячими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть спокойной среди чужих, в глубине дремучих лесов, с любовью, поруганной в прошлом и разбитой в будущем. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. Это не было ни оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, ни расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом. Словом, это не была ни скрытая, еще непонятная красота ученицы-«цыганочки», ни блестящая, захватывающая красота прославленной певицы, — то была нежная, пленительная прелесть чистой и углубившейся в себе женщины, которая знает самое себя и руководствуется святостью своих побуждений.

Ее хозяйева, простые и сердечные старики, вдохновляясь своим великодушным инстинктом, вдыхали, так сказать, таинственное благоухание, изливавшееся на их интеллектуальную атмосферу от ангельской души Консуэло. Глядя на нее, они ощущали моральное благополучие, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета; но это сладостное ощущение наполняло их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые давал полную свободу проявлению своих душевных качеств. Он был предупредителен и ласков со всеми; с Консуэло — в пределах учтивости и разговаривал с нею, доказывая, что вовсе не утратил, как думали до сих пор, возвышенность духа и ясность

суждения, дарованные ему от природы. Барон не заснул, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, обычно опускавшийся вечером меланхолично на свое кресло, согбенный тяжестью старости и горестей, стоял, повернувшись спиной к камину, словно в центре семьи, принимая участие в непридуманной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти часов вечера.

— Видно, Господь услышал наши горячие молитвы, — обратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, остававшимся еще в гостиной после ухода барона и молодежи, — Графу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно.

— Да, возблагодарим Господа! — проговорил старый граф. — Не знаю, быть может, это только благодетельный сон, ниспосланный нам для временного утешения, но мне в течение всего дня, а особенно вечером, казалось, что мой сын выздоровел навсегда.

— Простите, — заметила канонисса, — но мне кажется, что вы, мой брат, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, считая всегда, будто Альберта мутит враг человеческий. Я же всегда думала, что он во власти двух противоположных сил, оспаривающих друг у друга его душу; ведь часто после его речей, как будто внушенных злым ангелом, спустя минуту его устами говорило само небо. Вспомните все его слова вчера вечером во время грозы и особенно его последние слова перед уходом: «Благодать Господня снизошла на этот дом». Альберт почувствовал, что над ним свершается чудо милосердия Божьего, и я верю в его исцеление.

Капеллан был слишком боязлив, чтобы сразу согласиться с таким смелым предположением. Он обыкновенно выходил из затруднения, прибегая к таким изречениям, как: «Возложим наши упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в Бога», и разным другим, более утешительным, чем новым.

Граф Христиан колебался между желанием согласиться с аскетическими воззрениями сестры, несколько направленными в сторону чудесного, и уважением к робкой и осторожной ортодоксальности капеллана. Чтобы перемнить тему, он заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере себя держать. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам брата, а капеллан дал свое благословение их сердечному влечению к ней. Ни одному из них не приходило в голову объяснить присутствием Консуэло чудо, совершившееся в их доме.

Они получили благо, не зная его источника; это именно то, о чем Консуэло молила бы Бога, если бы ее об этом спросили.

Наблюдения Амелии были более точны. Для нее было очевидно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрывать беспорядочность своих мыслей перед людьми, не внушающими ему доверия или, наоборот, пользующимися его особенным вниманием. Перед

некоторыми друзьями и родственниками, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности своего характера. И вот, когда Консуэло выразила ей свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов о двоюродном брате, Амелия, несколько раздосадованная в глубине души, попыталась разжечь в ней тот ужас перед Альбертом, который она уже и раньше ей внушала.

— Ах, друг мой! — сказала она. — Не доверяйте этому обманчивому спокойствию; это не что иное, как светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким я видела его, приехав сюда год тому назад. Но, увы! Если бы чужая воля предназначила вас в жены этому ясновидцу, если б против вашего молчаливого сопротивления был составлен молчаливый заговор держать вас до бесконечности в этом ужасном замке при режиме постоянных сюрпризов, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если б вы должны были до бесконечности ждать все не наступающего выздоровления, поверьте, вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи.

— Мне кажется просто невероятным, — сказала Консуэло, — чтобы вас могли насильно заставить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир ваших родных.

— Конечно, меня силою не выдадут за него замуж, — они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному Богу известно, когда в них умрет наконец безумная надежда, будто я снова могу полюбить его, как любила в первые дни своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-либо предлогом откладывает наш отъезд, раз двадцать уже решенный, но не осуществленный. Ах! Нина, милая, если б вы нашли способ, как в одну ночь извести всю дичь в округе, вы этим оказали бы мне величайшую в моей жизни услугу.

— К сожалению, я только могу развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не хочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным и снотворным средством.

— Да, вы напомнили мне, что я еще не закончила вам своего рассказа. Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше. Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения (он так и продолжал быть уверенным, что его недельное отсутствие длилось всего семь часов) Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили.

«Так как он вам более был не нужен, — ответили ему, — то он вернулся к своим делам. Разве до сих пор вы не замечали, что его нет?»

«Я заметил, — ответил Альберт, — что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета, чего именно».

«Так вы очень страдаете, Альберт?» — спросила канонисса.

«Да, очень», — ответил он таким тоном, словно его спросили, как он спал.

«Стало быть, аббат был тебе очень неприятен?» — в свою очередь задал вопрос граф Христиан.

«Очень», — тем же тоном ответил Альберт.

«А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше? Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе человека, не поделившись этим со мной? Скажи, неужели ты сомневался, что я, узнав, до какой степени он тебе неприятен, сейчас же не прекращу это страдание?»

«Это так мало прибавляло к моему страданию, — ответил Альберт с ужасающим спокойствием. — Отец, я не сомневаюсь в вашем добром отношении ко мне, но то, что вы удалили бы аббата, мало облегчило бы меня, так как вы, наверно, заменили бы его другим надзирателем».

«Лучше скажи — товарищем по путешествию: слово "надзиратель" при моей любви к тебе, сын мой, мне больно слышать».

«Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботиться обо мне таким образом. Вы не подозревали даже, как мучили меня, усылая от себя и из этого дома, где по воле провидения я должен был бы жить до момента, пока не свершатся надо мной его предначертания. Вы думали, что способствуете моему выздоровлению и покою; и хотя я лучше понимал, что полезнее для нас с вами, но я должен был вам повиноваться. Сознывая свой сыновний долг, я его выполнил».

«Я знаю, Альберт, какой ты хороший сын и как ты любишь нас, — сказал отец, — но разве ты не мог выразить свою мысль яснее?»

«Это очень легко, и время настало, чтобы сделать это», — Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, когда душа Альберта наконец перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все, окружив его, любовно и ласково стали всячески упрашивать открыть нам свою душу в первый раз за всю его жизнь. По-видимому, он решился довериться нам, и вот что он нам поведал:

«Вы всегда смотрели на меня, да и в настоящее время смотрите как на больного и безумного. Не чувствуй я к вам всем такой бесконечной любви и обожания, я, пожалуй, раскрыл бы пропасть, разделяющую нас, и доказал вам, что в то время, как вы погрязли в мире заблуждений и предрассудков, мне небо открыло сферу света и истины. Но вы, не отрешившись предварительно от всего того, что составляет ваш покой, религию и благополучие, не были бы в силах понять меня. Когда невольно, в порыве энтузиазма, у меня вырывается несколько неосторожных слов, я сейчас же замечаю, что, желая выдернуть с корнем ваши заблуждения и показать вашим ослабевшим глазам ослепительный свет, который держу в своих руках, я причиняю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все ваши привычки, ваши сердца, ваш разум — все это до того связано, перепутано ложью, до того находится под игом законов тьмы, что я, стремясь дать вам новую веру, вижу, что убиваю вас. Между тем и наяву, и во сне, и в тиши, и в бурю я слышу голос, повелевающий мне просветить вас и обратить на путь истины. Но я — человек, слишком

любящий и слабый, чтобы совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую, что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, прячусь, чтобы не поддаться голосу своей совести и повелению рока. Вот мое горе, вот мой крест и моя пытка. Скажите, понимаете ли вы меня теперь?»

Дядя, тетя и капеллан понимали отчасти, что Альберт выработал себе религию и нравственные правила, совершенно отличные от их собственных; но, будучи правоверными католиками, они, боясь впасть в малейшую ересь, не решались вызвать его на большую откровенность. У меня же тогда было еще очень смутное представление об особых условиях жизни его детства и ранней юности, и потому я решительно ничего не могла понять. К тому же, Нина, в то время я так же мало, как и вы теперь, была осведомлена о том, что такое гуситство, что такое лютеранство. Уже потом я много и часто слышала об этом, и, правду сказать, бесконечные прения на эту тему между Альбертом и капелланом не раз наводили на меня тоскливую скуку. Тут я ждала со стороны Альберта более подробных разъяснений, но их так и не последовало.

«Я вижу, — сказал, наконец, Альберт, пораженный воцарившимся вокруг него молчанием, — что вы просто не хотите меня понять из боязни понять меня слишком хорошо. Пусть же будет по-вашему. Ослепление ваше с давних пор подготовляло кару, тяготеющую надо мной. Вечно одинокий, вечно чужой, вечно несчастный среди тех, кого люблю, я нахожу единственную поддержку, единственное убежище в обещанном мне утешении».

«Что ж это за утешение, сын мой? — спросил смертельно огорченный граф Христиан. — Не можем ли мы дать тебе это утешение, и неужели никогда мы не сможем понять друг друга?»

«Никогда, отец мой. Будем же любить друг друга, раз нам только это и дано. Но пусть небо будет свидетелем в том, что наше бесконечное непоправимое разногласие никогда не уменьшало моей любви к вам».

«А разве этого недостаточно?» — сказала канонисса, беря Альберта за одну руку, в то время как брат ее пожимал ему другую. «Скажи, — продолжала она, — не можешь ли ты забыть свои странные мысли, свои удивительные верования и жить среди нас любовью?»

«Я и живу ею, — отвечал Альберт. — Любовь — это благо, которое дает радость и горечь, в зависимости от того, одной или разной веры люди, связанные ею. Сердца наши, дорогая тетя Венцеслава, бьются в унисон, а мозги наши враждуют между собой, и это большое несчастье для всех нас! Я прекрасно знаю, что вражда эта продлится еще века; вот почему в этом столетии я жду обещанного мне блага, которое даст мне силы надеяться».

«Что ж это за благо, Альберт? Неужели ты не можешь нам этого сказать?»

«Не могу, потому что оно неведомо и для меня самого. Знаю одно — оно придет. Не проходит недели без того, чтобы моя мать во сне не возвещала мне этого, и все голоса леса, когда я вопрошаю их, всегда подтверждают мне то же самое. Часто вижу я бледный, испускающий свет лик ангела, летя-



щего над скалой Ужаса; здесь, в этом зловещем месте, под тенью этого дуба, в то время, когда мои современники меня звали Жижкой, я был охвачен гневом Божиим и впервые стал орудием его возмездия. Тут же, у подножия этой самой скалы, когда я звался Братиславом, я видел, как под ударом сабли скатилась изувеченная, окровавленная голова моего отца Витольтда. И это грозное искупление научило меня печали и состраданию, этот день роковой расплаты, когда лютеранская кровь смыла кровь католическую, превратил фанатика и истребителя, каким я был сто лет тому назад, в человека слабого, с нежным сердцем».

«Боже милостивый! — в ужасе воскликнула тетя, осеняя себя крестом, — безумие снова вернулось к нему!»

«Не прерывайте его, сестрица, — остановил канониссу, едва владея собой, граф. — Дайте ему высказаться. Говори же, сын мой, что сказал тебе ангел у скалы Ужаса».

«Он сказал мне, что мое утешение уже близко, — ответил Альберт с лицом, сияющим от восторга, — и снизойдет оно в мое сердце, когда мне исполнится тридцать лет».

Бедный дядя склонил голову на грудь. Указывая на возраст, в котором умерла его мать, Альберт как бы намекал на собственную свою смерть. По-видимому, покойная графиня часто во время своей болезни предсказывала, что ни она, ни один из ее сыновей не доживут до тридцатилетнего возраста. Кажется, тетя Ванда была также немного ясновидящей, чтобы не сказать больше; но определенно я ничего об этом не знаю: никто не решается будить в дяде такие тяжкие воспоминания.

Капеллан, стремясь рассеять мрачные мысли, навеянные предсказанием, пытался вынудить Альберта высказаться относительно аббата. Ведь с него-то начался разговор.

Альберт, сделав над собой усилие, после некоторого колебания ответил капеллану: «Я говорю вам о божественном и вечном, а вы напоминаете мне о мимолетном, пустом и суетном, почти забытом мною».

«Говори же, сын мой, говори, — вмешался граф Христиан. — Дай нам узнать тебя сегодня!»

«Вы не знали меня до сих пор, отец мой, и не узнаете в этой, как вы называете, жизни. Но, если вас интересует, почему я во время путешествия терпел этого неверного, невнимательного стража, приставленного вами ко мне с тем, чтобы ходить за мною по пятам, как голодный, ленивый пес, привязанный к руке слепого, то я в нескольких словах могу вам объяснить: довольно помучил я вас; нужно было убрать с ваших глаз сына, глухого к вашим наставлениям и вашим увещаниям. Я прекрасно знал, что не излечусь от того, что вы звали моим безумием, но необходимо было успокоить вас, дать вам надежду, и я согласился на изгнание. Вы взяли с меня слово, что без вашего согласия я не расстанусь с руководителем, данным вами мне, и я предоставил ему возить меня по свету. Я хотел сдержать свое слово и хотел тоже, чтобы

он сообщал вам о моей кротости и моем терпении, успокаивал и поддерживал в вас надежду. Я был кроток и терпелив. Я закрыл для него свое сердце и уши, а он был настолько умен, что даже и не делал усилий открыть их. Он прогуливался со мною, одевал, кормил меня, как малого ребенка. Я перестал жить так, как считал нужным до тех пор: приучил себя смотреть на царящее на земле горе, несправедливость и безумие. Я увидел людей и их учреждения; негодование сменилось в моем сердце жалостью, когда я понял, что угнетатели страдают больше угнетенных. В детстве я любил только жертв; тут я стал относиться с состраданием и к палачам, этим жалким грешникам, искупающим в этой жизни преступления, совершенные в прежних воплощениях, и обреченным за это Богом быть злыми — пытка, в тысячу раз более жестокая, чем быть невинной жертвой злого. Вот почему теперь я раздаю милостыню только для того, чтобы себе лично облегчить бремя богатства, вот почему я больше не тревожу вас своими проповедями, познав, что время быть счастливым еще не настало, так как, говоря языком человеческим, время быть добрым еще далеко».

«Ну, а теперь, когда ты избавился от этого, как ты называешь его, надзирателя, когда ты можешь жить спокойно, не видя перед своими глазами нищеты, которую тебе никто не мешает так великодушно устранять мало-помалу, скажи, разве теперь ты не мог бы, сделав над собой усилие, изгнать свои душевные тревоги?»

«Не спрашивайте меня больше, дорогие мои родные, — проговорил Альберт. — Сегодня я больше ничего не скажу!» И он сдержал слово на больший срок: целую неделю не проронил ни слова.

### XXXI

История Альберта будет закончена в нескольких словах, дорогая Порпорина, так как мне почти нечего прибавить к уже рассказанному. В течение полутора лет, проведенных мною здесь, фантазии Альберта, о которых вы теперь имеете представление, то и дело повторялись. Только его якобы воспоминание о том, кем он был и что он видел в прошлые века, приняло какую-то страшную реальность с тех пор, как в нем проявилась особенная, поразительная способность, о которой вы, может быть, и слыхали, но в которую я не верила. Говорят, что в других странах эта способность зовется ясновидением и будто обладающие ею пользуются большим почитанием среди людей суеверных. Лично я совершенно не знаю, что и думать об этом, не берусь объяснить и вам, а вижу в этом еще один лишний повод не выходить замуж за человека, видящего за сотни миль каждый мой шаг и как бы читающего мои мысли. Для этого надо быть святой, а как это возможно, живя с человеком, обрекшим себя дьяволу?

— У вас есть способность все вышучивать, — заметила Консуэло. — Я просто поражаюсь, как вы можете говорить так весело о вещах, от которых у меня волосы на голове становятся дыбом. В чем заключается это ясновидение?

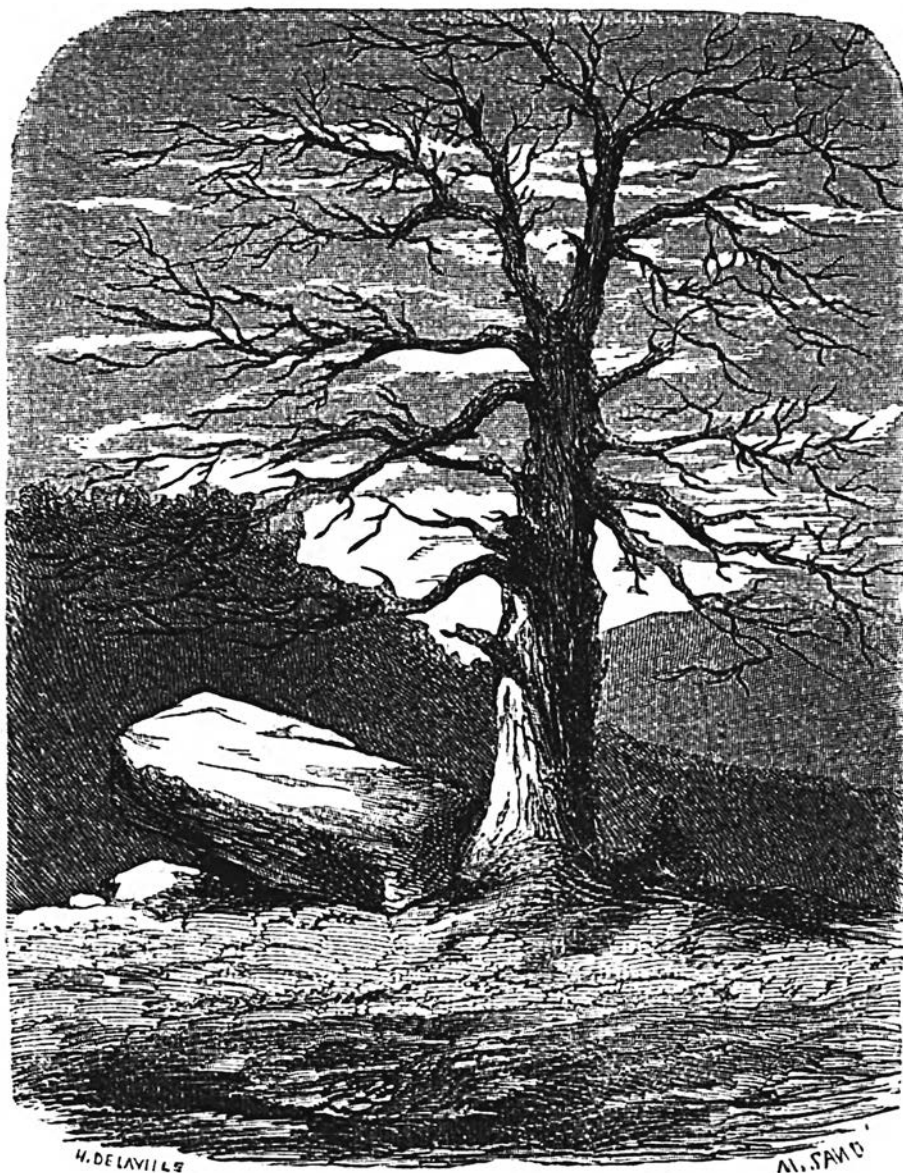
— Альберт видит и слышит то, чего другой не может ни видеть, ни слышать. Когда должен неожиданно явиться человек, к которому он расположен, он, предупредив об этом, отправляется заранее ему навстречу. Так же точно, когда он издали почувствует приближение того, кого он не любит, то уходит к себе и запирается.

Однажды, гуляя с моим отцом в горах, он вдруг остановился, затем сделал большой крюк среди скал и терновника, для того только чтобы не пройти по какому-то месту, ничего особенного по виду собой не представлявшему. Через несколько минут они вернулись обратно, и на прежнем месте Альберт проделал то же самое. Отец мой, заметив это, сделал вид, будто что-то потерял, и под этим предлогом хотел подвести его к той сосне, которая, по-видимому, внушала ему такое отвращение. Но Альберт не только не подошел к ней, но постарался даже не наступить на тень, отбрасываемую ею поперек дороги, и в то время, как отец мой проходил через эту тень, Альберт, видимо, томился и был в страшно подавленном состоянии. Когда же отец наконец остановился у самого ствола дерева, Альберт вскрикнул и стал настойчиво звать его оттуда. Очень долго он отказывался объяснить эту прихоть, но, уступая наконец просьбам всей семьи, он поведал, что под этим деревом когда-то было совершенно страшное преступление и зарыты человеческие кости. Капеллан, предполагая, что Альберт мог откуда-нибудь узнать о том, что в былое время на этом месте было совершено убийство, решил, что его долг разузнать об этом все, дабы предать погребению брошенные кости.

«Подумайте хорошенько о том, что вы собираетесь делать, — сказал капеллану Альберт с тем печальным и в то же время насмешливым видом, который ему свойствен, — Мужчина, женщина и ребенок, которых вы найдете там, были гуситами; и этот пьяница Венцеслав, скрываясь в наших лесах и боясь, чтобы эти гуситы не увидели и не выдали его, велел своим солдатам убить их».

Об этом событии больше не заговаривали с моим двоюродным братом. Но дядя, хотевший проверить, было ли это у сына наитием или фантазией, велел ночью раскопать место, указанное моим отцом. Там действительно нашли три скелета — мужчины, женщины и ребенка. Скелет мужчины был покрыт громадным деревянным щитом, какой носили гуситы; щит этот легко было распознать по выгравированной на нем чаше с такой латинской надписью: «Смерть, как горестно воспоминание о тебе для злых людей, но с каким спокойствием думает о тебе тот, кто поступает справедливо, памятуя о своей кончине»<sup>1</sup>. Останки эти перенесли подальше вглубь леса, и когда через несколько дней Альберт проходил мимо этой самой сосны, то отец мой заметил, что он делает это без отвращения, хотя по виду здесь

<sup>1</sup> «Екклесиаст», глава 41, стих 1–3.



*Уступая наконец просьбам всей семьи, Альберт поведал,  
что под этим деревом когда-то было совершено  
страшное преступление и зарыты человеческие кости.*



ничего не переменялось и по-прежнему покрыто камнями и песком. Он даже не помнил о волнении, испытанном на этом месте, а когда с ним заговорили об этом, с трудом припомнил кое-что. «По-видимому, вы ошибаетесь, — сказал он моему отцу. — Должно быть, предупрежден был я на другом месте. Здесь, я уверен, ровно ничего нет, так как не чувствую ни холода, ни дрожи, ни душевной боли».

Моя тетя очень склонна приписывать этот дар прозрения особой милости провидения, но Альберт всегда так мрачен, так измучен, так несчастлив, что трудно постигнуть, почему провидение могло бы наградить его таким пагубным даром. Верь я в существование дьявола, я считала бы более приемлемым предположение капеллана, считающего все галлюцинации Альберта делом рук врага рода человеческого. Дядя Христиан, более всех нас рассудительный и более твердый в религии, разъясняет весьма правдоподобно многое из того, что происходит с его сыном. Он думает, что, несмотря на все старания иезуитов во время Тридцатилетней войны и в последующий период сжечь все еретические рукописи Богемии, и, в частности, находившиеся в Замке Великанов, и несмотря на тщательные поиски нашего капеллана во всех углах комнат тети Ванды после ее смерти, в каком-нибудь тайнике замка могли сохраниться документы времен гуситов, и Альберт нашел их. Он предполагает, что чтение этих вредных рукописей произвело сильнейшее впечатление на больного воображение его сына и некоторые подробности событий прошлого, совершенно теперь забытые, но сохранившиеся в точности в этих рукописях, он приписывает своим личным воспоминаниям, из своей якобы прежней жизни на земле. Этим легко объясняются все сказки, которые он нам рассказывает, и его необъяснимые исчезновения на целые дни и даже недели. Надо вам сказать, что эти исчезновения повторялись не раз, и притом невозможно предполагать, чтобы он скрывался вне территории замка. Каждый раз, когда он так исчезал, найти его было никак невозможно, а мы совершенно уверены в том, что ни один крестьянин в это время и не укрывал и не кормил его. Мы знаем уже, что у него бывают припадки летаргии, когда он лежит целыми днями в своей запертой комнате в состоянии, подобном смерти. Если во время этих припадков взломать дверь и начать суетиться вокруг него, с ним начинаются судороги. С тех пор, как это выяснилось, его, конечно, оставляют в полнейшем покое. По-видимому, в это время в голове его происходят престранные вещи, о которых мы узнаем впоследствии из его же рассказов. Очнувшись, он чувствует себя вначале гораздо лучше, но потом снова появляется возбужденное состояние, все усиливающееся вплоть до нового припадка. Он как будто предчувствует продолжительность этих припадков. Если они будут длительны, то обыкновенно он уходит куда-то и прячется, — должно быть, в какой-нибудь горной пещере или в каком-нибудь лишь ему одному известном подвале в замке. Открыть его убежище до сих пор не удалось. Это особенно трудно сделать, потому что, как только за ним начинают следить, наблюдать, даже расспрашивать, он сейчас же очень серьезно заболевает. И вот



примирились с тем, что предоставляют ему полнейшую свободу, тем более, раз выяснилось, что эти исчезновения, так пугавшие нас сначала, являются как бы благотворными кризисами в его болезни. Теперь, когда он исчезает, тетя, правда, страдает, дядя молится, но никто ничего не предпринимает. А я, скажу вам откровенно, просто очерствела. Печаль с течением времени выродилась у меня в тоску и отвращение. Уверяю вас, для меня лучше умереть, чем выйти замуж за этого маньяка. Я признаю за ним большие достоинства, но хотя, быть может, вы и скажете, что мне не следовало бы придавать значения его странностям, раз они являются следствием его болезни, все-таки они раздражают меня, ибо это бич как моей жизни, так и жизни всей нашей семьи.

— Мне кажется, что это не совсем справедливо, дорогая баронесса, — сказала Консуэло. — Теперь я прекрасно понимаю ваше нежелание выходить замуж за графа Альберта, но почему вы перестали относиться к нему с участием, этого я постигнуть не могу.

— Видите ли, мне трудно отделаться от убеждения, что в его сумасшествии есть что-то преднамеренное. Несомненно, у него очень сильный характер, и очень часто он мог бы владеть собой. Он может по собственному желанию даже отодвинуть наступление припадка. Я сама была свидетельницей, как он отлично справлялся с ним, когда не придавали этому серьезного значения. И наоборот, когда он видит, что окружающие беспокоятся, боятся за него, он точно нарочно, злоупотребляя питаемой к нему слабостью, хочет удивить нас своими выходками. Вот отчего я сердита на него и часто прошу его покровителя Вельзевула раз и навсегда избавить нас от него.

— Как жестоко вы шутите над таким несчастным человеком, — сказала Консуэло. — Его душевная болезнь кажется мне скорее удивительной и поэтичной, а не отталкивающей.

— Воля ваша, дорогая Порпорина! — воскликнула Амелия. — Восхищайтесь сколько хотите его колдовством, раз вы в него верите. В данном случае я поступаю подобно нашему капеллану, который поручает свою душу Богу и не пытается понять непонятное; я же прибегаю тут к своему разуму и даже не силюсь постичь то, что найдет когда-нибудь естественное объяснение, но пока еще нам непонятно. Одно несомненно в злосчастной судьбе моего двоюродного брата — это то, что его разум окончательно перестал работать, а воображение так распустило свои крылья в его мозгу, что череп чуть не треснет. Что же скрывать! Надо прямо употребить то слово, которое дядя Христиан, стоя на коленях перед императрицей Марией-Терезией (она ведь довольствуется полуответами и полуутверждениями), принужден был произнести, обливаясь слезами: «Альберт Рудольштадт — сумасшедший», или, если хотите, чтобы звучало приличнее — «душевнобольной».

Консуэло ответила лишь глубоким вздохом. Амелия в эту минуту произвела на нее впечатление скверного, бессердечного существа. Но она силилась все же оправдать ее в своих собственных глазах, представляя себе, что должна была выстрадать эта девушка за полтора года такой печальной жизни, полной

бесконечных тревог и волнений. Потом, возвращаясь к собственному горю, она подумала: «Как жаль, что я не могу объяснить всего сделанного Андзолето сумасшествием. Потеряй он рассудок среди упоений и разочарований своего дебюта, я, конечно, из-за этого не перестала бы любить его; только знай я, что он изменил мне, будучи сумасшедшим, я, обожая его по-прежнему, сейчас же полетела бы ему на помощь».

Прошло несколько дней, однако Альберт ничем не подтвердил уверений своей двоюродной сестры насчет его умственного расстройства. Но вот в один прекрасный день, когда капеллан, конечно, совершенно не желая этого, привел его в раздраженное состояние, он вдруг стал говорить что-то бессвязное и, как будто заметив это сам, выскочил из гостиной, побежал и заперся в своей комнате. Думали, что он долго пробудет у себя, но через час он, бледный, истомленный, вернулся в гостиную; начал с того, что стал пересаживаться с одного стула на другой, затем повертелся вокруг Консуэло, по-видимому, не обращая на нее больше внимания, чем раньше, и наконец забившись в глубокую амбразуру окна, опустил голову на руки и остался недвижим.

Наступило время урока музыки Амелии, и она спешила начать его, шёпотом объясняя Консуэло, что хочет этим способом выпроводить эту зловещую фигуру, от которой веет могильным смрадом и которая убивает в ней всякую веселость.

— Мне кажется, — ответила Консуэло, — нам лучше подняться в вашу комнату. Для аккомпанемента достаточно будет вашего спинета. Если граф Альберт действительно не любит музыки, зачем же нам увеличивать его страдания и тем самым страдания его родных?

Последний довод убедил Амелию, и они обе поднялись в комнату баронессы, оставив дверь открытой из-за небольшого угара в ней. Амелия собралась было, как всегда, делать по-своему, петь эффектные арии, но Консуэло, начавшая уже проявлять строгость, заставила ее взяться за простые, но серьезные мотивы, извлеченные из духовных сочинений Палестрины. Молодой баронессе это пришлось не по вкусу; зевнув, она раздраженно заявила, что это варварская и снотворная музыка.

— Вам так кажется, потому что вы не понимаете этой музыки, — возразила Консуэло. — Дайте я спою несколько отрывков, чтобы показать вам, как чудесно написана эта музыка для голоса, не говоря уже о том, что она божественна по своему замыслу.

С этими словами она села к спинету и запела. Впервые ее голос пробудил эхо в старом замке; прекрасный резонанс его высоких холодных стен увлек Консуэло. Ее голос, давно молчавший с того самого вечера, когда она пела в Сан-Самуэле, где упала без чувств от изнеможения и горя, не только не пострадал от мук и волнений, но стал еще красивее, еще удивительнее, еще задушевнее. Амелия была восхищена и вместе с тем потрясена: она поняла наконец, что не имеет ни малейшего представления о музыке и что вообще вряд ли когда-нибудь чему-нибудь научится.



*Все время, пока продолжалось пение,  
он с удивительно растроганным лицом стоял посреди комнаты.*

Вдруг перед молодыми девушками появилась бледная и задумчивая фигура Альберта. Все время, пока продолжалось пение, он с удивительно растроганным лицом стоял посреди комнаты. Только окончив петь, Консуэло заметила его и немного испугалась. Альберт, став перед ней на оба колена и устремив на нее свои большие черные глаза, полные слез, воскликнул по-испански, без малейшего немецкого акцента:

— А! Консуэло! Консуэло! Наконец-то я тебя нашел!

— Консуэло? — воскликнула девушка, недоумевая и тоже по-испански. — Граф, отчего вы так называете меня?

— Я тебя зову Утешением (Консуэло), — продолжал Альберт все по-испански, — потому что мне среди моей печальной жизни было обещано утешение, а ты и есть то утешение, которое Господь наконец посылает мне, одинокому и несчастному.

— Я никогда не думала, — заговорила Амелия, сдерживая свой гнев, — чтобы музыка могла оказать такое магическое действие на моего дорогого двоюродного брата. Правда, голос Нины создан, чтобы творить чудеса, но я не могу не заметить вам обоим, что было бы учтивее по отношению ко мне, да и вообще приличнее говорить при мне на языке, мне понятном.

Альберт, казалось, не слышал ни единого слова из всего сказанного его невестой. Он продолжал стоять на коленях, глядя на Консуэло с невыразимым удивлением и восторгом, все повторяя растроганным голосом:

— Консуэло, Консуэло!

— Как он вас называет? — с некоторой запальчивостью спросила молодая баронесса свою подругу.

— Он просит меня спеть испанский романс, которого я не знаю, — в страшном смущении ответила Консуэло. — Но мне кажется, нам нужно покончить с пением, — продолжала она, — видимо, музыка слишком волнует его сегодня.

И она встала, собираясь уйти.

— Консуэло! — повторил Альберт по-испански, — если ты покинешь меня, — моей жизни конец, я больше не захочу возвращаться на землю!

С этими словами он упал без чувств у ее ног; и обе перепуганные девушки позвали слуг, чтобы унести его и оказать ему помощь.

## XXXII

Графа Альберта уложили осторожно на его кровать. В то время, как оба слуги, переносившие его, бросились искать один — капеллана, состоявшего как бы домашним врачом, а другой — графа Христиана, приказавшего раз и навсегда предупреждать его о малейшем недомогании сына, обе молодые девушки — Амелия и Консуэло — также принялись разыскивать канониссу.



Но прежде чем кто-либо из этих лиц успел, не теряя ни минуты, прийти к больному, Альберт уже исчез. Дверь его комнаты была открыта, постель смята после минутного отдыха на ней, все в комнате стояло в обычном порядке. Его искали всюду и, как всегда бывало в подобных случаях, нигде не нашли. Тогда вся семья впала в то чувство мрачной покорности, о котором Амелия рассказывала Консуэло, и все стали ждать в молчаливом страхе (вошло уже в привычку его не выказывать), трепеща и надеясь на возвращение сумасбродного молодого человека. Консуэло хотела не говорить родным Альберта о странной сцене, происшедшей в комнате Амелии, но та успела уже все рассказать, описав в самых ярких красках то внезапное и сильное впечатление, которое произвело пение Порпорины на ее двоюродного брата.

— Несомненно, что музыка ему очень вредна, — заметил капеллан.

— В таком случае, — отвечала Консуэло, — постараюсь всеми силами, чтобы он никогда не слышал моего пения, а во время наших уроков с баронессой мы будем так запираяться, что ни единый звук не долетит до ушей графа Альберта.

— Это очень стеснит вас, дорогая синьора, — возразила канонисса, — но, к сожалению, не от меня зависит сделать ваше пребывание у нас более приятным.

— Я хочу делить с вами ваши печали и ваши радости, — ответила Консуэло. — И не желаю иного удовлетворения, как заслужить ваше доверие и вашу дружбу.

— Вы благородное дитя, — сказала канонисса, протягивая ей свою руку, длинную, сухую и блестевшую, как пожелтевшая слоновая кость. — Но послушайте, — добавила она, — я вовсе не думаю, чтобы музыка была действительно так вредна моему дорогому Альберту. Из того, что мне рассказала Амелия о сцене, происшедшей сегодня утром в ее комнате, я, наоборот, вижу, что его радость была слишком сильна. Быть может, его страдание было вызвано именно тем, что вы слишком скоро для него прервали ваши чудесные мелодии. Что он вам говорил по-испански? Говорят, он прекрасно владеет этим языком, так же, как и многими другими, усвоенными им с поразительной легкостью во время путешествий. Когда его спрашивают, как мог он запомнить столько различных языков, он отвечает, что на одном языке он говорил тысячу двести лет тому назад, а на другом — участвуя в крестовых походах. Подумайте, какой ужас! Раз мы ничего не должны скрывать от вас, дорогая синьора, вы еще услышите от племянника немало странных рассказов о его, как он выражается, прежних существованиях. Но переведите мне, вы ведь уже хорошо говорите по-немецки, что именно сказал он вам на вашем родном языке, которого никто из нас здесь не знает.

В эту минуту Консуэло почувствовала смущение, сама не сознавая его причины. Тем не менее она решила сказать почти всю правду и тут же объяснила, что граф Альберт умолял ее продолжать петь и не удаляться, говоря, что она приносит ему большое утешение.



— Утешение! — воскликнула проницательная Амелия. — Он употребил именно это слово? Вы ведь знаете, тетя, как оно многозначительно в устах моего двоюродного брата.

— Действительно, он часто повторяет это слово, имеющее для него какой-то пророческий смысл, — отозвалась Венцеслава, — но в данном случае я нахожу, что он мог его употребить вполне естественно.

— Какое же слово он вам столько раз повторял, Порпорина? — настойчиво допрашивала Амелия.

— Я хорошенько сама его не поняла, — ответила Консуэло, делая над собою страшное усилие, чтобы солгать.

— Дорогая Нина, — сказала ей на ухо Амелия, — какая вы проницательная и осторожная, но ведь и я неглупа и прекрасно поняла, что вы и есть то мистическое утешение, которое было обещано видением Альберту как раз на тридцатом году его жизни. Не пытайтесь скрыть от меня, что вы это поняли лучше меня. Однако я вовсе не завидую такой небесной миссии!

— Послушайте, дорогая Порпорина, — сказала канонисса, подумав несколько минут. — Когда Альберт исчезал внезапно, как по волшебству, нам всегда казалось, что он скрывается где-то поблизости, быть может, даже в самом замке, в каком-нибудь месте, известном лишь ему одному. Не знаю, почему, но мне пришло в голову, что если б вы запели, он, услышав ваш голос, вернулся бы.

— Если б это было так! — проговорила Консуэло, готовая подчиниться.

— А если Альберт вблизи нас, и музыка только ухудшит его бред? — заметила завистливая Амелия.

— Ну что ж? — сказал граф, — я слышал, что несравненный Фаринелли мог своим пением рассеивать черную меланхолию испанского короля<sup>1</sup>, подобно тому как юному Давиду удавалось своей игрой на арфе укрощать ярость Саула. Попробуйте, великодушная Порпорина: душа, столь чистая, как ваша, должна распространять вокруг себя благотворное влияние.

Консуэло, растроганная, села за клавесин и запела испанский церковный гимн в честь Богоматери-утешительницы, которому выучила ее в детстве мать, начинавшийся словами «*Consuelo de mi alma*»<sup>2</sup>. Она спела его таким чистым голосом, с такой неподдельной простотой и верой, что хозяева старого замка почти забыли о предмете своей тревоги, отдавшись всецело чувству надежды и веры. Глубокая тишина царила и в самом замке и вокруг него; запахнули настежь окна и двери, чтобы голос Консуэло разносился как можно дальше; луна своим зеленоватым светом заливала амбразуры огромных окон. Все было спокойно; душевные муки сменились чистым религиозным чувством,

<sup>1</sup> *Испанский король* Фердинанд IV (1712–1759) — страстный любитель музыки, прибегавший к ней во время припадков меланхолии. Его придворным певцом был знаменитый сопранист Фаринелли, ученик Порпора, а придворным клавесинистом — Доменико Скарлатти.

<sup>2</sup> Утешение моей души (исп.)

как вдруг тяжкий вздох, словно вырвавшись из глубины человеческой души, как бы откликнулся на последние звуки голоса Консуэло. Вздох этот был так явствен и продолжителен, что все присутствующие не могли не услышать его, даже барон Фридрих наполовину проснулся, думая, что его кто-то зовет.

Все побледнели и переглянулись, точно говоря друг другу: «Это не я ли, не вы ли?» Амелия не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть, а Консуэло, которой показалось, что вздох раздался совсем подле нее, просто окаменела от страха.

— Боже милосердный! — проговорила в ужасе канонисса. — Слышали ли вы этот вздох, точно исходящий из глубины земли?

— Скажите лучше, тетя, — воскликнула Амелия, — что он пронесся над нашими головами, как ночной вихрь.

— Должно быть, какая-нибудь сова, привлеченная свечой, пролетела через комнату в то время, как мы были поглощены музыкой, а потому мы слышали легкий шум ее крыльев только тогда, когда она уже вылетела из окна, — высказал свое предположение капеллан, у которого, однако, зубы стучали от страха.

— А может быть, это собака Альберта? — сказал граф Христиан.

— Здесь нет Цинабра, — возразила Амелия, — ведь, где Альберт, там и его Цинабр. Однако здесь кто-то странно вздохнул. Если б я решилась подойти к окну, я увидела бы, не подслушивал ли кто-нибудь пение из сада, но признаюсь, если б от этого даже зависела моя жизнь, у меня все-таки не хватило бы на это храбрости.

— Для девушки без всяких предрассудков, для маленького французского философа вы недостаточно мужественны, дорогая баронесса, — тихо сказала Консуэло, сияясь улыбнуться, — попробую, не буду ли я храбрее вас.

— Нет, не ходите туда, моя милая, — громко ответила ей Амелия, — и не храбритесь: вы бледны, как смерть, и вам еще может сделаться дурно.

— Как, при нашем горе, вы можете быть способны на такие детские выходки, дорогая Амелия? — проговорил граф Христиан, направляясь медленным, твердым шагом к окну.

Посмотрев в окно и никого не увидев, он спокойно закрыл его, говоря:

— Как видно, действительные горести недостаточно жгучи для пылкого женского воображения, и ему, изобретательному на мучения, нужно к этим горестям добавить еще кое-что. В этом вздохе, конечно, нет ничего таинственного. У кого-нибудь из нас, растроганного чудным голосом и огромным талантом синьоры, безотчетно для самого себя вырвалось из глубины души нечто вроде восторженного возгласа. Может, даже бессознательно, это произошло и со мною. Ах, Порпорина, если вам не удастся излечить Альберта, то во всяком случае вы сумеете излить небесный бальзам на раны не менее глубокие, чем его.

Слова этого святого старика, всегда разумного и спокойного среди всех удручавших его домашних невзгод, были тоже небесным бальзамом для

Консуэло. Ей так захотелось опуститься перед ним на колени и попросить его благословить ее так, как благословил ее Порпора, расставаясь с ней, и Марчелло в тот чудный день ее жизни, с которого начался для нее целый ряд печальных и одиноких дней.

### XXXIII

Несколько дней прошло, а о графе Альберте не было никаких вестей. Консуэло, которой такое положение казалось смертельно зловещим, удивлялась, видя, как семейство Рудольштадтов под гнетом такой страшной неизвестности не проявляет ни отчаяния, ни нетерпения. Привычка к самым жестоким тревогам порождает какую-то видимость апатии, а иногда и подлинное очерствение, уязвляющие и даже раздражающие души, у которых чувствительность еще не притупилась от продолжительных несчастий. Консуэло жила среди всех этих унылых впечатлений и необъяснимых происшествий словно в кошмаре, и ей казалось удивительным, что порядок в доме почти не нарушался: как всегда, была деятельна канонисса, по-прежнему барон увлекался охотой, так же неизменно капеллан исполнял свои религиозные обязанности, так же весела и насмешлива была Амелия. Эта веселая оживленность молодой баронессы особенно приводила в негодование Консуэло. Ей было совершенно непонятно, как та могла хохотать и дурачиться в то время, когда она сама едва была в силах читать или шить.

Канонисса в это время вышивала покрывало на аналой замковой часовни. Это было чудо терпения, художественного вкуса и аккуратности. Сделав обход дома, она усаживалась за свои пяльцы, хотя бы для нескольких стежков, пока ей не надо было снова идти на гумно, в кладовые или в погреб. И надо было видеть, какое значение придавала она всем этим мелочам, как это тщедушное существо своим всегда ровным, полным достоинства шагом обходило все закоулки своего огромного и однообразного царства, тысячу раз за день исколесив его во всех направлениях. Что еще казалось странным Консуэло, так это то уважение и восхищение, с которым все в замке и в округе относились к тому, что канонисса с такой любовью и рачительностью взвалила на себя обязанности неутомимой экономки.

Глядя, как она с мелочной бережливостью упорядочивает самые ничтожные дела, можно было подумать, будто она алчна и недоверчива. А между тем в серьезных случаях жизни она проявляла свою широкую и великодушную натуру. Но этого благородства и материнской нежности и заботливости, столь ценных в глазах Консуэло, было недостаточно, чтобы сделать ее героиней семейного очага. Для того чтобы всеми были признаны ее действительно незаурядный ум и сильный характер, нужно было это священнодействие при ведении обширного хозяйства замка со всеми его мелочами.

Не проходило дня без того, чтобы граф Христиан, барон или капеллан не провожали ее восторженным восклицанием: «Сколько в канониссе мудрости, сколько мужества, сколько силы духа!» Сама Амелия, не умевшая различать в жизни высокое от пустого, заполнявшего ее собственное существование, не осмеливалась подтрунивать над хозяйственным пылом тетки; лишь для одной Консуэло эта мелочность интересов была пятном на лучезарном душевном облике чистой и любвеобильной горбатой Венцеславы. Для «цыганочки», родившейся на большой дороге и брошенной в мир без иного руководителя и покровителя, кроме собственной гениальности, столько забот, такая затрата энергии, такое нравственное удовлетворение, получаемое по поводу сохранения каких-то вещей, по поводу заготовки каких-то припасов, казались чудовищной растратой духовных и умственных сил. Ей, ничего не имевшей и не жаждавшей никаких земных благ, тяжело было видеть, как эта прекрасная душа добровольно надрывается среди бесконечных забот о хлебе, вине, дровах, пеньке, скоте и мебели. Если бы предложили ей самой все эти блага (предмет вожделений для большинства людей), она предпочла бы взамен всего этого хоть один миг бывшего счастья, свои лохмотья, свое чудное небо, свою чистую любовь, свою свободу на венецианских лагунах. Эти горькие и вместе с тем драгоценные воспоминания рисовались ей все в более и более ярких красках, по мере того как она удалялась от этого смеющегося кругозора в ледяную сферу, называемую реальной жизнью.

У нее просто сжималось сердце, когда с наступлением сумерек канонисса, в сопровождении верного Ганса с целой связкой ключей, делала обход всех строений, всех дворов: запирались все выходы, осматривались все закоулки, где могли бы спрятаться злоумышленники, как будто никто не мог заснуть спокойно за этими грозными стенами, пока во рвы, окружающие замок, не ринутся с ревом воды соседнего горного потока, пленника ближайших шлюзов, пока не запрут на замок все решётчатые ворота и не поднимутся все подъемные мосты. Как часто приходилось Консуэло во время далеких странствований с матерью ночевать у большой дороги, подостлав только полу изодранного материнского плаща! Сколько раз она приветствовала зарю на белых каменных плитах Венеции, омываемых волнами, никогда ни на секунду не опасаясь за свое целомудрие, единственное богатство, которым она дорожила.

«Увы! — говорила она себе, — как жаль мне этих людей, что им надо сохранять столько добра! День и ночь они озабочены своей безопасностью и, постоянно стремясь к ней, не имеют времени ни добиться ее, ни пользоваться ею». Она, подобно Амелии, уже томила в этой мрачной тюрьме, в этом угрюмом Замке Великанов, куда само солнце, казалось, боялось заглядывать. Но в то время, как юная баронесса мечтала о балах, нарядах и поклонниках, Консуэло мечтала о борозде в поле, о кусте в лесу или о лодке вместо дворца, о широчайших горизонтах, о бесконечном звездном небе.





M. SAND

*С наступлением сумерек канонисса, в сопровождении верного Ганса с целой связкой ключей, делала обход всех строений, всех дворов: запирались все выходы, осматривались все закоулки, где могли бы спрятаться злоумышленники.*



Вследствие сурового климата и затворничества в замке Консуэло поневоле изменила своей венецианской привычке — поздно ложиться и поздно вставать. После многих часов бессонницы, возбуждения, жутких снов она, в конце концов, подчинилась этому дикому затворничеству; единственно, чем она себя вознаграждала, — это утренними прогулками в соседних горах. Ворота открывали и спускали мосты на рассвете, и в то время как Амелия, увлекавшаяся по ночам чтением запрещенных романов, крепко спала, Порпорина шла в лес дышать на свободе свежим воздухом и бродить по росистой траве.

Однажды утром, спускаясь к выходу тихонько на цыпочках, чтобы никого не разбудить, она потерялась среди бесчисленных лестниц и коридоров замка, в которых еще не умела хорошо разбираться. Заблудившись в лабиринте галерей и переходов, она прошла через комнату, похожую на переднюю, которой никогда раньше не видела, надеясь, что тут есть выход в сад. Но вместо этого она очутилась на пороге маленькой молельни, сооруженной в прекрасном древнем стиле, едва освещенной розеткой — крошечным окошечком на сводчатом потолке. Бледный свет падал оттуда только на середину молельни, оставляя все кругом в полумраке. Солнце еще не вставало, рассвет был серый и туманный. Сперва Консуэло подумала, что попала в ту часовню замка, где уже однажды, в воскресенье, она слушала обедню. Помнила она, что та часовня выходила в сад. Но прежде чем уйти, ей захотелось помолиться, и она опустилась на колени на первой же каменной плите. Но, как часто бывает с артистическими натурами, она отвлеклась внешними предметами. Несмотря на старание подняться до отвлеченных мыслей, молитва поглотила ее не настолько, чтобы помешать ей бросить любопытный взгляд по сторонам, и вскоре она поняла, что она вовсе не в той часовне, где думала, а в новом месте, где раньше не бывала. И свод был не тот, не те были украшения. Хотя эта неизвестная часовня и была очень мала, но все-таки в полумраке предметы неясно вырисовывались, и больше всего привлекала ее внимание беловатая статуя, коленопреклоненная в той застывшей и суровой позе, которую в былые времена придавали надгробным изваяниям. Она решила, что попала в усыпальницу каких-нибудь славных предков графской семьи, и, став за свое пребывание в Богемии более боязливой и суеверной, она поспешила окончить молитву и приподнялась, чтобы уйти.

Но в ту минуту, когда она в последний раз робко посмотрела на эту коленопреклоненную в десяти шагах от нее фигуру, она ясно увидела, что статуя разжала свои сложенные руки и, тяжело вздыхая, осенила себя крестом.

Консуэло едва не упала без чувств, а между тем она не была в состоянии оторвать своих блуждавших взоров от страшной статуи. Но что еще более укрепило в ней убеждение, что она видела перед собою каменную статую, было то, что, не услышав, по-видимому, вырвавшегося из ее груди крика ужаса, эта фигура снова сложила ладонями вместе свои большие белые руки, как будто не имея ничего общего с внешним миром.



*В полумраке предметы неясно вырисовывались, и больше всего привлекала ее внимание беловатая статуя, коленопреклоненная в той застывшей и суровой позе, которую в былые времена придавали надгробным изваяниям.*

# XXXIV

Если бы изобретательная и плодovitая Анна Редклиф<sup>1</sup> была на месте мало изобретательного и неискусного повествователя этой весьма правдивой истории, она не упустила бы такого удобного случая поводить вас, милая читательница, по коридорам, потайным лестницам, мрачным подземельям на продолжении, по крайней мере, полдюжины прекрасных и увлекательных томов с тем, чтобы только в седьмом разоблачить вам все тайны своего искусного сооружения. Но читательница-вольнoдумка, которую приходится нам развлекать, быть может, в наше время не отнеслась бы так добродушно к невинной литературной уловке романиста. Итак, уж лучше как можно скорее раскрыть разгадку всех наших загадок. Откроем даже целых две сразу: Консуэло, через две секунды придя в себя, узнала в этой ожившей статуе, стоявшей перед нею, старого графа Христиана, читавшего про себя утренние молитвы в своей молебне, а в тяжком вздохе раскаяния, невольно вырвавшимся у него, как часто случается со стариками, она признала тот самый «дьявольский» вздох, который слышала вечером, окончив петь церковный гимн Богоматери-утешительнице.

Немного устыдившись своей трусости, Консуэло осталась точно прикованной к своему месту, опасаясь потревожить эту пламенную молитву. Это было трогательное и торжественное зрелище: старик, распростертый на каменных плитах, возносящий на рассвете свою пламенную молитву Богу, погруженный в состояние какого-то экстаза, отрешавшего его от всего мира. На его благородном лице не отражалось никаких мучительных переживаний. Свежий ветерок, врывающийся сквозь дверь, которую Консуэло оставила полуоткрытой, развеивал венец серебристых волос вокруг его затылка. Широкий лоб старика, сливавшийся с большой лысиной, блестел, словно старый пожелтевший мрамор. В старомодном белом шерстяном халате, слегка напоминавшем монашескую рясу и спадавшем на его исхудавшем теле застывшими тяжелыми складками, он действительно походил на надгробную статую. И когда он снова застыл в своей молитвенной позе, Консуэло должна была дважды посмотреть на него, чтобы не поддаться снова своему первому заблуждению.

Став в сторонку, откуда было лучше видно, она принялась внимательно наблюдать за ним, и вот среди восхищения и умиления ей как-то невольно

<sup>1</sup> *Анна Редклиф* (1764–1823) — английская писательница, автор так называемых «романов ужаса» в готическом стиле, где действие происходит в средние века и нагромождены всевозможные загадочные ужасы и тайны, очень сложные и запутанные, но всегда заканчивающиеся счастливой развязкой. Наиболее известны «Удольфские тайны», «Итальянец», «Лесной роман» и «Сицилийский роман».

пришла в голову мысль, сможет ли эта молитва старика способствовать исцелению его несчастного сына и вообще были ли у этого отца, столь пассивно подчиняющегося догматам религии и суровым приговорам судьбы, тот пыл, тот разум, то рвение, которые Альберт должен был бы найти в душе своего отца: у сына тоже была душа мистически настроенная, он также вел набожную и созерцательную жизнь, но из всего того, что ей рассказала Амелия, и из того, что ей довелось самой видеть за несколько дней, уже проведенных в замке, у нее сложилось такое впечатление, будто у Альберта никогда не было ни советника, ни руководителя, ни друга — никого, кто бы мог дать направление его воображению, умерить его бурные чувства и смягчить фанатическую суровость его добродетели. Она поняла, насколько он должен был чувствовать себя одиноким и даже чужим среди своей семьи, которая упорно противоречила ему или молчаливо жалела его как еретика или как сумасшедшего. Ей это было особенно ясно, потому что она сама начинала чувствовать нечто вроде раздражения при виде этой бесконечной, невозмутимой молитвы, обращенной к небу, дабы поручать ему то, что давно должен был бы сделать он сам: искать беглеца, найти его, убедить и вернуть домой. Ведь каково должно было быть отчаяние и невыразимое смятение этого доброго, сердечного молодого человека, чтобы он мог бросить своих близких, не отдавая себе отчета в том, что с ним делается, не думая о страшном беспокойстве и волнениях, которые он доставляет самым дорогим для него существам.

Принятое всеми решение никогда ему не прекословить и в минуты ужаса притворяться спокойными казалось прямому и здравому уму Консуэло какой-то преступной небрежностью или грубой ошибкой. Она чувствовала в этом какую-то гордость и эгоизм людей, нетерпимых к чужим верованиям, считающих, что путь, ведущий на небо, единственно тот, который сурово начертан им рукою священника.

«Господи! — от всего сердца молилась Консуэло, — неужели великая душа Альберта, такая пламенная, такая милосердная, не загрязненная человеческими страстями, неужели в твоих глазах она менее драгоценна, чем души терпеливых и праздных людей, мирящихся с мирским злом и не возмущающихся тем, что справедливость и истина не признаны на земле? Возможно ли, чтобы дьявол владел этим юношей, который в детстве отдавал все свои игрушки, свои вещи детям бедняков, а достигнув зрелости, хотел раздать все свои богатства, дабы облегчить человеческое горе? А они, эти кроткие и благодушные господа, оплакивающие бесплодными слезами людские несчастия и облегчающие их ничтожными подаяниями, не ошибаются ли они, воображая, будто скорее заслужат рай своими молитвами и подчинением императору и папе, чем великими делами и огромными жертвами? Нет, Альберт не безумец! Какой-то внутренний голос говорит мне, что это наипрекраснейший образец праведника и святого из всех созданных природой. И если тягостные сны и странные призраки затмили ясность его рассудка, даже если он и душевнобольной, как они думают, то его довели до этого тупое противо-



речие, отсутствие симпатии и сердечное одиночество. Я видела каморку, где был заперт Тассо, признанный сумасшедшим, и помнится, мне тогда пришло в голову, что, может быть, он был только доведен до отчаяния несправедливостью. Я не раз слышала в гостиницах Венеции, как называли безумцами тех христианских мучеников, над трогательной историей которых я в детстве проливала слезы, — их чудеса считали там шарлатанством, а их откровения — болезненным бредом. Но по какому праву эти люди, этот набожный старик, эта робкая канонисса, верящие в чудеса святых и в гениальность поэтов, по какому праву они произносят над своим чадом такой позорный и отталкивающий приговор, применимый только к убогим и преступным? Сумасшедший! Но ведь сумасшествие — это нечто ужасное, отталкивающее. Это наказание Божие за тяжкие преступления, а тут человек вдруг сходит с ума в силу своей добродетели. Я думала, что человек, изнемогающий под тяжестью незаслуженного несчастья, имеет право на уважение и сочувствие людей. А если бы я сошла с ума, если бы в тот ужасный день, когда я увидела Андзолето в объятиях другой, я стала богохульствовать, неужели я потеряла бы тогда всякое право на советы, на поддержку, на духовную заботу обо мне моих братьев-христиан? Значит, меня выгнали бы и предоставили бы бродяжничать по большим дорогам, говоря, что для нее, мол, нет лекарств, подадим ей милостыню и не станем с ней разговаривать: она слишком много страдала и потому теперь ничего не в состоянии понимать. И вот так точно относятся к несчастному графу Альберту. Его кормят, одевают, за ним ухаживают — словом, ему бросают подачку мелочной поддержки. Но с ним не разговаривают: молчат, когда он спрашивает, опускают головы или отворачиваются, когда он начинает в чем-нибудь убеждать. Когда же он, чувствуя весь ужас одиночества, стремится к еще более глубокому уединению, ему предоставляют возможность бежать куда-то, а сами, в ожидании его, молятся о его благополучном возвращении, словно между ним и любящими его — целый океан. В то же время они предполагают, что он где-то поблизости. Меня заставляют петь, чтобы разбудить его на тот случай, если он лежит в летаргическом сне за какой-нибудь толстой стеной или в стволе какого-нибудь старого дерева по соседству. Как могли они не проникнуть в тайны этого древнего здания, как могли, разыскивая, не дорыться до самых недр земли? О, будь я на месте отца или тетки Альберта, я не оставила бы камня на камне, пока не разыскала бы его! Ни одно дерево в лесу не уцелело бы, пока я не вернула бы его».

Погруженная в свои мысли, Консуэло тихонько вышла из молельни и, сама не зная как, набрела на дверь, выходящую в поле. Она направилась в лес и тут стала бродить, отыскивая самые дикие, самые неудобные тропинки, руководимая романтически-героическим влечением, в надежде разыскать Альберта. В этом отважном стремлении не было никаких низменных побуждений, ни тени неразумной прихоти. Правда, Альберт заполнил ее воображение, ее мечты, но она разыскивала в пустынных местах не молодого красавца, увлеченного ею, для того чтобы встретиться с ним наедине, а несчастного благород-



ного человека, которого, хотя и не мечтала спасти совсем, но все же надеялась несколько успокоить своею чистой заботой. Она точно так же могла бы искать старого, больного отшельника, чтобы ухаживать за ним, или заблудившегося ребенка, чтобы вернуть его матери. Она сама была еще ребенком, но в ней уже пробудилось материнское чувство, у нее была наивная вера, пламенное милосердие, восторженная храбрость. Она мечтала об этом благочестивом подвиге и приступила к нему так, как Жанна д'Арк мечтала об освобождении своей родины и предприняла его. Ей не приходило даже в голову, что могут осмеять или осудить ее решение. Она не могла понять, как Амелия, близкая ему по крови и вначале надеявшаяся на его любовь, не додумалась до такого плана и не осуществила его.

Она шла быстро, никакие препятствия не останавливали ее. Тишина, царившая в этих дремучих лесах, теперь не навевала на нее грусти и не пугала ее. Видя на песке следы волков, она нисколько не боялась встречи с их голодной стаей. Ей казалось, что ее направляет Божий перст, делающий ее неуязвимой. Она, зная наизусть Тассо (недаром распевала она его чуть не каждую ночь на лагунах), воображала, что идет под защитой талисмана, как некогда шел среди опасностей заколдованного леса великодушный Убальд в поисках Ринальдо<sup>1</sup>. Легкая, стройная, она пробиралась среди скал и колючих кустарников; на челе ее сияла тайная гордость, а на щеках выступал легкий румянец. Никогда на сцене в героических ролях она не была так прекрасна, а между тем в эту минуту она так же мало думала о сцене, как, играя на сцене, думала о самой себе.

Поглощенная своими мечтами и мыслями, она изредка останавливалась.

«А что, если я вдруг встречу его, — спрашивала она себя, — что смогу я сказать ему, чтобы убедить его и успокоить? Я ведь ничего не знаю о таинственных и глубоких вещах, его волнующих. Я вижу их только сквозь поэтическую завесу, едва приподнятую перед моими глазами, ослепленными этими новыми видениями. Ведь мало рвения и любви к ближнему — надо обладать знанием и красноречием, чтобы найти достойные слова для беседы с человеком, стоящим далеко выше меня, с безумцем, более мудрым, чем все рассудительные люди, среди которых я живу. Но Господь вдохновит меня, когда настанет эта минута, а теперь, сколько бы ни придумывала, я все больше терялась бы в дебрях своего невежества. Ах! Если бы я прочла столько религиозных и исторических книг, как граф Христиан и канонисса Венцеслава! Знай я наизусть церковные правила и молитвы, быть может, я и смогла бы применить их удачно при случае, но ведь я едва поняла, едва заучила несколько мест из катехизиса. Да и молиться-то я умею только, когда пою в церкви. Как ни действует на него музыка, но не убедить же мне такого

---

<sup>1</sup> Убальд один из двух рыцарей, посланных герцогом Готфридом Бульонским разыскать рыцаря Ринальдо, плененного волшебницей Армидой в ее садах. Рыцари находят Ринальдо и уводят его с собою (Тассо, «Освобожденный Иерусалим», песни XV–XVI).

ученого богослова пением музыкальной фразы. Ничего! Мне кажется, что в моем сердце, преисполненном решимости, больше сил, чем во всех ученых догматах его родных, таких добрых, таких кротких, но вместе с тем таких нерешительных и холодных, как туманы и снега их страны».

### XXXV

После бесконечных поворотов и обходов по извилистым и перепутанным тропинкам леса, растущего по гористой и неровной местности, Консуэло очутилась на пригорке, усеянном скалами и развалинами, которые даже трудно было отличить друг от друга, настолько разрушительно подействовала на этом месте рука человека, соперничая с разрушительной рукой времени. Лишь гора обломков высилась теперь там, где в былое время целая деревня была сожжена по приказу «грозного слепца», знаменитого главы каликстинов — Яна Жижки, потомком которого считал себя Альберт и от которого, может быть, и на самом деле происходил. Однажды в глубокую мрачную ночь этот грозный и неустанный полководец отдал приказ своему войску взять приступом Крепость Великанов, находившуюся тогда в руках саксонцев, приверженцев императора; он услышал ропот солдат, а один из них, стоявший неподалеку, даже проговорил: «Этот проклятый слепой воображает, что все, как и он, могут обойтись без света». Услышав это, Жижка обратился к одному из своих четырех преданных приверженцев (они неразлучно были с ним, направляя его лошадь или правя его телегой и давая ему подробнейший отчет о топографии местности и передвижении неприятеля) и сказал ему, обнаруживая при этом необыкновенную память и прозорливость, заменявшую ему зрение:

«Здесь поблизости есть деревня?»

«Да, отец, — ответил ему проводник-таборит, — направо от тебя, на возвышенности против крепости».

Жижка подозвал недовольного солдата, на ропот которого он обратил внимание.

«Дитя, — сказал он ему, — ты жалуешься на темноту, — так отправляйся поскорее вот в ту деревню, что от меня направо на горе, и подожги ее, — при свете пламени мы сможем выступить и сражаться».

Страшный приказ был выполнен. Пылающая деревня освещала передвижение и штурм таборитов. Крепость Великанов пала через два часа, и Жижка завладел ею. Когда рассвело, заметили и доложили Жижке, что среди обгорелых развалин деревни, на самой вершине холма, с которого солдаты следили за действиями крепости, уцелел, сохранив свою листву, молодой, но крепкий дуб, единственный во всей округе. Очевидно, он не пострадал от пламени благодаря воде колодца, питавшей его корни.

«Я хорошо знаю этот колодец, — ответил Жижка, — десять человек из наших были брошены туда проклятыми жителями этой деревни, и после того камень, закрывающий колодец, ни разу не был сдвинут с места. Пусть остается он там и послужит им надгробным памятником. Мы ведь не из числа тех, кто верит, будто блуждающие души умерших будут отогнаны от врат рая покровителем Рима, Петром-ключарем, которого они превратили в святого, — отогнаны, только потому что тела их гниют в земле, не освященной этими игроками Ваала. Пусть в этом колодце кости наших братьев почивают с миром, — души же их живы. Они уже возродились в новых телах, и эти мученики, хотя мы и не знаем их, сражаются среди нас. Что касается жителей деревни, — они получили возмездие по своим заслугам. А дуб хорошо сделал, посмеявшись над пожаром: ему предстоит более славная будущность, чем укрывать под своей тенью нехристей. Нам нужна была виселица, и вот мы ее нашли. Приведите ко мне тех двадцать монахов-августинцев, которых мы захватили вчера в их монастыре и которые так неохотно следуют за нами. Давайте-ка развесим их живо повыше на ветвях этого славного дуба! Такое украшение, несомненно, вернет ему окончательно здоровье».

Сказано — сделано. С этого времени дуб зовется Гуситом, камень на колодце скалой Ужаса, а разрушенная деревня и покинутый холм — Шрекенштейн.

Консуэло слышала уже со всеми подробностями эту мрачную историю от баронессы Амелии. Но так как место действия она видела лишь издали или ночью, проезжая в замок, то не узнала бы его, если бы не заглянула на дно оврага, пересекающего дорогу, и не увидела там огромные обломки дуба, расщепленного молнией. Никто из окрестных деревенских жителей и никто из слуг замка не решился до сих пор ни порубить, ни вывезти их оттуда. Прошли столетия, и все-таки этот памятник ужаса, современник Яна Жижки, не переставал внушать людям сильнейший суеверный страх.

Видения и предсказания Альберта придавали этому трагическому месту еще более потрясающий облик. И вот Консуэло, разбитая от усталости, попав неожиданно одна на скалу Ужаса и даже присев на ней, вдруг почувствовала, что мужество ее покидает, а сердце как-то странно замирает. Ведь не только Альберт, но и все окрестные горные жители уверяли, что страшные призраки действительно появляются здесь, обращая в бегство отважных охотников, решающихся пробираться сюда за дичью. Вот почему этот холм, хоть и очень близкий к замку, служил надежным убежищем для волков и других хищников, спасавшихся тут от барона и его своры. Невозмутимый Фридрих не очень-то верил в возможность встречи с дьяволом и даже ничего не имел бы против того, чтобы помериться с ним силами, но, суеверный по-своему и в области более всего ему близкой, он был убежден, что это место может погубить его собак, может навести на них неведомые, неизлечимые болезни. Он потерял нескольких из них, только потому что позволил им напиться из чистых ручейков, вырывавшихся из подземных вод холма, быть может, сообщавшихся

с водой заделанного колодца, могилы древних гуситов. И стоило его лягавой Панкину или его гончей Сафиру начать носиться вокруг скалы Ужаса, как барон, свистя изо всех сил, немедленно отзывал их оттуда.

Консуэло, устыдившись приступа малодушия, сказала себе, что она его поборет, и решила посидеть еще немного на роковом камне и медленно отойти от него, как подобает человеку уравновешенному при подобном испытании. Но в ту самую минуту, когда она отвела глаза от обуглившегося дуба, обломки которого валялись на дне глубокого оврага, и оглянулась вокруг себя, она вдруг увидела, что она не одна на скале Ужаса, что какая-то загадочная фигура уселась рядом с ней, не произведя при этом ни малейшего шума.

Это было существо с большой круглой головой, с разинутым ртом на безобразном, худом, скрюченном, точно у саранчи, теле, одетом в удивительный костюм неизвестно какой страны и какого времени, неряшливый, почти грязный. Между тем в этой фигуре, кроме общей странности и неожиданности ее появления, не было ничего враждебного. Кроткая, ласковая улыбка играла на его большом рте, а детское выражение смягчало безумие, о котором свидетельствовали мутный, бессмысленный взгляд и торопливые движения.

Консуэло, очутившись одна с сумасшедшим в месте, куда, конечно, никто не пришел бы на помощь, не на шутку перепугалась, несмотря на бесконечные поклоны и приветливый смех безумца. Она решила, дабы не раздражить его, ответить на его поклоны и кивки; но она поспешила встать и, бледная, дрожа от страха, удалилась.

Сумасшедший не преследовал ее и ничего не предпринял, чтобы вернуть ее. Он только влез на скалу Ужаса и, следя за нею глазами, продолжал помахивать ей своей шапкой, прыгая и все время бормоча какое-то непонятное для Консуэло чешское слово. Отойдя от него на некоторое расстояние и несколько расхрабрившись, она оглянулась, чтобы хорошенько разглядеть его и расслышать. Она уже упрекала себя в том, что отнеслась с таким отвращением к одному из тех несчастных, которых она всегда жалела и за презрение и равнодушие к которым она так негодовала на других людей еще минуту тому назад. «Это — добродушный безумец, — решила она, — быть может даже, он сошел с ума от любви. Только на этой проклятой скале, где никто не смеет приютиться и где демоны и привидения более человечны, чем его ближние, ибо они не прогоняют его и не отравляют его веселое настроение, только здесь он нашел убежище от бесчувствия и презрения людского. Бедняга с седой бородой и сгорбленной спиной, ты смеешься и дурачишься, как малое дитя. Верно, Господь охраняет и благословляет тебя в твоём несчастии, раз он посылает тебе веселые мысли, а не сделал тебя озлобленным человеконенавистником, каким ты имел бы право сделаться».

Сумасшедший, видя, что она замедлила свой шаг, словно поняв его доброжелательный взгляд, заговорил с ней чрезвычайно быстро по-чешски. Голос у него был удивительно нежный, обаятельный, не гармонировавший с его безобразием. Консуэло, не поняв его, подумала, что надо дать ему милостыню,





*Сумасшедший не преследовал ее и ничего не предпринял, чтобы вернуть ее.  
Он только влез на скалу Ужаса и, следя за ней глазами,  
продолжал помахивать ей своей шапкой...*

и, вынув из карману монету, положила ее на большой камень, приподняв руку, чтобы указать ему место, куда положила. Но сумасшедший стал хохотать еще пуще прежнего и, потирая руки, сказал ей на плохом немецком языке:

— Напрасно, напрасно... Зденко ничего не нужно. У Зденко есть утешение, утешение, утешение...



Затем, точно вспомнив слова, которые давно искал, он в радостном порыве закричал невнятно, с очень скверным произношением:

— Consuelo, Consuelo, Consuelo de mi alma!<sup>1</sup>

Пораженная Консуэло остановилась и обратилась к нему тоже по-испански:

— Отчего ты так называешь меня? — крикнула она. — Кто сказал тебе это имя? Понимаешь ли ты язык, на котором я говорю с тобой?

Напрасно ждала Консуэло ответа на все эти вопросы, — сумасшедший только прыгал, потирая руки, как человек, чрезвычайно довольный собою. Пока до нее долетали звуки его голоса, она слышала, как он повторял ее имя на разные лады со смехом и криками радости, точно ученая птица, которая смеясь произносит заученное слово, чередуя его со своим природным щебетаньем.

Возвращаясь по дороге в замок, Консуэло терялась в догадках.

«Кто бы мог выдать тайну моего инкогнито? — спрашивала она себя. — Ведь первый попавшийся дикарь, встреченный мною в этой пустыне, зовет меня настоящим именем! Неужели этот сумасшедший мог раньше где-нибудь меня видеть? Ведь такого рода люди ведут странствующий образ жизни: он мог быть одновременно со мною в Венеции».

Напрасно она силилась воскресить в памяти лица всех нищих и бродяг, которых привыкла постоянно видеть на набережных и площадях святого Марка, — среди них она никак не могла припомнить лица сумасшедшего со скалы Ужаса.

Когда она уже проходила по подъемному мосту, у нее блеснула мысль более рассудительная и более интересная. Она тут же решила проверить свои подозрения и втайне поздравила себя, что предпринятая ею прогулка не осталась безрезультатной.

## XXXVI

Когда она снова очутилась в обществе удрученной и молчаливой графской семьи, она, чувствуя себя полной оживления и надежды, стала упрекать себя, что так строго осуждала нечувствительность этих глубоко опечаленных людей. Граф Христиан и канонисса почти не ели за завтраком, капеллан тоже не решался насытить свой аппетит; Амелия, по-видимому, была очень не в духе. Когда встали из-за стола, старый граф подошел к окну, посмотрел на усыпанную песком дорожку, идущую от речного заповедника, по которой мог вернуться Альберт, и, постояв с минуту, печально покачал головой, как бы говоря этим: «Еще один день, который дурно начался и так же и кончится».

Консуэло попыталась развлечь их, исполнив на клавесине кое-что из последних духовных произведений Порпора, которые они всегда слушали с особенным восхищением и интересом. Она страдала оттого, что, видя

<sup>1</sup> Утешение, утешение, утешение моей души! (исп.)

их такими угнетенными, не может поделиться с ними своими надеждами. Но когда граф взялся за книгу, а канонисса за вышивание, да еще подозвала ее к своим пяльцам, чтобы посоветоваться, белыми или голубыми крестиками заполнить ей середину узора, все ее мысли сосредоточились невольно на Альберте, который, может быть, изнывал от усталости и голода где-нибудь в лесу, и не будучи в силах найти дорогу, лежал, скованный молниеносным столбняком на каком-нибудь холодном камне на добычу волкам и змеям, в то время как под искусными и неустомимыми пальцами кроткой Венцеславы распускались на покрывале многочисленные роскошные цветы, орошаемые иногда слезою, пролитой украдкой, но бесплодно.

Как только она смогла заговорить с надувшейся Амелией, она спросила, кто такой этот странно одетый сумасшедший, блуждающий по окрестностям и с детским смехом встречающий всех проходящих.

— Ах! Это Зденко, — ответила Амелия, — разве вы, гуляя, до сих пор никогда его не встречали? Его всюду можно видеть, так как он бездомный.

— Сегодня утром я видела его впервые, — сказала Консуэло, — и решила, что он привычный обитатель Шрекенштейна.

— Так вот куда вы уже успели слетать спозаранку? Начинаю думать, дорогая Нина, что вы сами не в своем уме, — забраться одной ни свет ни заря в эти пустынные места, где можно встретиться с кем-нибудь похуже безобидного идиота Зденко!

— Например, с голодным волком? — улыбаясь проговорила Консуэло. — Мне кажется, ружье барона, вашего отца, сделало безопасной всю округу.

— Дело не в одних диких зверях, — сказала Амелия, — наши места не так безопасны, как вы думаете, от самых злых на свете тварей — от разбойников и бродяг. Только что закончившиеся войны разорили много народу и наплодили много нищих, привыкших просить милостыню, угрожая пистолетом. Кроме того, здесь еще бродят целые тучи египетских цыган, которых во Франции называют «богемцами», делая нам эту честь, словно они уроженцы этих мест, на которые они набросились при первом своем появлении в Европе. Эти люди, всюду изгнанные и отверженные, трусливы и низкопоклонны перед вооруженным человеком, но могут повести себя очень дерзко с такой красивой девушкой, как вы; и я боюсь, как бы ваша склонность к небезопасным прогулкам не подвергла вас большей опасности, чем подобает такой благоразумной особе, какую изображает из себя моя дорогая Порпорина.

— Дорогая баронесса, — возразила Консуэло, — хотя вы и считаете волчьи зубы ничтожной опасностью по сравнению с другой, грозящей мне, но представьте: волков я боюсь все-таки гораздо больше, чем цыган. Цыгане — мои старые знакомые, да вообще можно ли бояться людей слабых, бедных, преследуемых? Мне кажется, я всегда сумею поговорить с ними так, чтобы заслужить их доверие и симпатию; как они ни безобразны, оборваны и презираемы, я все-таки не могу не интересоваться ими особенно живо.

— Браво, моя милая! — воскликнула, все более и более раздражаясь, Амелия, — вы, вижу, как и Альберт, пылаете нежными чувствами к нищим, разбойникам, сумасшедшим, и я вовсе не удивлюсь, если в одно прекрасное утро увижу вас гуляющей с милейшим Зденко, опираясь, как делает это Альберт, на его довольно-таки грязную и мало надежную руку.

Эти слова были для Консуэло проблеском света, которого она искала с самого начала разговора с Амелией, и они примирили ее с язвительным тоном собеседницы.

— Так, значит, граф Альберт в хороших отношениях со Зденко? — спросила она с довольным видом, которого даже и не пыталась скрыть.

— Это его самый близкий, самый дорогой друг, — с презрительной улыбкой ответила Амелия, — товарищ его прогулок, поверенный его тайн, посредник, как говорят, его сношений с дьяволом. Зденко и Альберт одни только и осмеливаются во всякое время отправляться на скалу Ужаса и там обсуждать самые странные духовные вопросы. Только Альберт и Зденко не стыдятся не только сидеть на траве с цыганами, когда те кочуют в наших лесах, но даже вкушать с ними ту отвратительную пищу, которую эти люди готовят в своих деревянных мисках. Это у них называется причащаться, и можно только сказать, что тут происходит всякого рода «причащение». Нечего говорить, каким желанным возлюбленным будет мой двоюродный братец Альберт, когда той самой рукою, которою только что пожимал зачумленную руку цыгана, он возьмет руку невесты и поднесет ее ко рту, недавно пившему вино из одной чаши со Зденко!

— Может, это все и очень забавно, — проговорила Консуэло, — но я в этом ровно ничего не понимаю!

— Это потому что вы не интересуетесь историей, — возразила Амелия, — и плохо слушали то, что я вам рассказывала о гуситах и о протестантах. Сколько дней я надрывала голос, чтобы научно объяснить вам таинственное поведение и нелепые религиозные обряды моего двоюродного брата! Разве не говорила я вам, что великий раскол между гуситами и католической церковью произошел из-за спора о причастии под обоими видами? Базельский собор<sup>1</sup> постановил, что давать мирянам кровь Христа под видом вина — профанация (удивительное умозаключение!), так как вкушающий, мол, его тело уже одновременно пьет и его кровь! Понимаете?

— Мне кажется, что отцы собора сами себя хорошенько не понимали, — сказала Консуэло. — Чтобы быть логичными, они должны были бы сказать, что причащение вином излишне, но почему это «профанация», раз, вкушая хлеб, пьют и вино?

— Дело в том, что гуситы страшно жаждали крови, а отцы собора прекрасно сознавали это. Они также жаждали крови этого народа, но высасывать ее хотели в виде золота. Римская церковь всегда чувствовала голод

<sup>1</sup> *Базельский церковный собор*, созванный в Швейцарии, заседавший в Базеле от 1431 до 1449 года, пытался провести коренную реформу католической церкви.

и жажду и всегда насыщалась жизненным соком народов, трудом и потом бедняков. Бедняки восстали и вернули свои кровь и пот в виде монастырских сокровищ и епископских митр. Вот вся суть ссоры, к которой, как я вам уже говорила, присоединилась жажда национальной независимости и ненависть к чужеземцам. Разногласие по поводу причащения было только формой. Рим и его священнослужители в церквах употребляли золотые чаши с драгоценными камнями; гуситы же, подражая бедности апостолов, пользовались деревянными чашами, протестуя против роскоши католической церкви. Вот почему Альберт, вбивший себе в голову стать гуситом в то время, как теперь, в сущности, все это потеряло всякий смысл и всякое значение, вообразил, что знает истинное учение Яна Гуса лучше, чем знал его сам Ян Гус, и стал придумывать всякие виды причащения, сам причащаясь на больших дорогах с нищими, нехристями и идиотами. Ведь причащаться во всякое время и со всеми было манией гуситов.

— Все это чрезвычайно странно, — ответила Консуэло, — и, по-моему, поведение графа Альберта можно объяснить только экзальтированным патриотизмом, доходящим, признаюсь, до иступления. Идея, быть может, и глубока, но формы, в которые он ее облекает, кажутся мне слишком ребячливыми для такого серьезного и образованного человека. Разве истинное причащение не состоит скорее в том, чтобы творить милостыню? Что значат пустые, отжившие обряды, наверное, даже непонятные для тех, кого он заставляет принимать в них участие?

— Что касается милостыни, Альберт раздает ее щедрою рукой, и, дай ему только волю, от его богатства очень скоро ничего не останется. И мне, по правде сказать, очень хотелось бы, чтоб оно растаяло в руках его нищих.

— Почему же?

— Да потому что мой отец отказался бы от мысли обогатить меня, выдав замуж за этого бесноватого. Вы должны знать, дорогая Порпорина, — прибавила Амелия не без злого умысла, — что моя семья не отказалась еще от этого милого плана. На днях, когда в мозгу моего двоюродного брата наступило некоторое просветление, словно мимолетный проблеск солнца среди черных туч, отец возобновил наступление против меня даже с большей настойчивостью, чем я могла ожидать от него. У нас произошла довольно крупная ссора, после которой, очевидно, решено было взять меня скучным заточением, подобно тому, как берут крепости измором. Итак, если я ослабею, если изнемогу и не выдержу натиска, мне надо будет выйти замуж за Альберта, и выйти против его воли, против своей воли и вопреки желанию третьего лица, которое делает вид, что всем этим не интересуется...

— Вот как, — ответила Консуэло смеясь, — я ожидала эту колкость, и вы удостоили меня этой утренней беседой лишь для того, чтобы кончить такой насмешкой. Я принимаю ее с удовольствием, так как вижу в этой маленькой комедии ревности остаток вашей привязанности к графу Альберту, притом более пылкой, чем вы хотите признать.

— Нина! — воскликнула молодая баронесса с силой, — если вы так думаете, вы совсем не проницательны, а, если вам приятно это видеть, значит, вы мало меня любите. Правда, я своевольна, быть может, горда, но откровенна. Я уже говорила вам, что предпочтение, оказываемое вам Альбертом, раздражает меня, но вовсе не против вас, а против него. Это уязвляет мое самолюбие, но вместе с тем подает мне надежду на исполнение моего желания. Мне бы хотелось, чтобы из-за вас он сделал какую-нибудь безумную выходку, которая развязала бы мне руки и дала возможность, не щадя его более, выказывать ему то отвращение, с которым я долго боролась, но которое, в конце концов, чувствую к нему уж без всякой примеси жалости или любви.

— Дай Бог, — кротко ответила Консуэло, — чтобы в вас говорила страсть, а не правда! Это была бы очень суровая правда в устах очень жестокого человека!

Язвительность и запальчивость, проявленные Амелией в этом разговоре, не произвели большого впечатления на великодушное сердце Консуэло. Уже несколько минут спустя все ее мысли снова сосредоточились на том, как вернуть Альберта его семье, и мечта эта вносила наивную радость в ее однообразную жизнь. Ей это было действительно необходимо, чтобы уйти от грозившей ей тоски — недуга, совершенно не знакомого и не свойственного ее деятельной, трудолюбивой натуре, недуга, могущего стать для нее гибельным. Ведь после продолжительного неинтересного урока, проведенного непослушной и невнимательной ученице, ей ничего больше не оставалось, как упражнять свой голос и изучать старых мастеров. Но и это никогда не изменявшее ей утешение то и дело отравлялось: праздная, беспокойная Амелия постоянно врывается к ней, мешая ее занятиям своими пустыми вопросами и не идущими к делу замечаниями. Остальные члены семьи были страшно угрюмы. Прошло уже пять смертельно мучительных дней, а молодой граф не появлялся, и с каждым днем подавленность и уныние все нарастали.

Гуляя среди дня с Амелией в саду, Консуэло увидела на противоположной стороне рва, отделявшего их от полей, Зденко. Казалось, он говорил сам с собой и, судя по интонации, как будто рассказывал себе какую-то историю. Консуэло остановила свою подругу и попросила ее перевести ей то, что говорит это странное существо.

— Как вы хотите, чтобы я переводила вам бессмысленные бредни, в которых нет ни малейшей последовательности? — пожимая плечами, ответила Амелия. — Вот что он пробормотал только что, раз уж вам так хочется это знать: «Была однажды большая гора, совсем белая, совсем белая, рядом с ней большая гора, совсем черная, совсем черная, и рядом еще большая гора, совсем красная, совсем красная...» Скажите, вас это очень интересует?

— Может быть, если б я могла знать продолжение. Ах! Что бы дала я, чтобы понимать по-чешски! Я хочу научиться этому языку.

— Это не такой легкий язык, как итальянский и испанский, но вы до того старательны, что, раз возьметесь за него, наверно, его одолеете. Если это вам доставит удовольствие, я обучу вас ему.



— Вы будете настоящим ангелом! Только одно условие: в роли учительницы вы проявите больше терпения, чем в роли ученицы. А что говорит Зденко теперь?

— Сейчас говорят его горы: «Отчего, гора красная, совсем красная, задавила ты гору черную, совсем черную? А ты, гора белая, совсем белая, зачем допустила раздавить гору черную, совсем черную?»

Тут Зденко запел пронзительным, разбитым голосом, но так верно и с таким чувством, что Консуэло была растрогана до глубины души.

Песнь его была такова:

«Горы черные и горы белые, много вам надо воды с красной горы, чтобы вымыть ваши платья, ваши платья, черные от преступлений и белые от праздности, ваши платья, загрязненные ложью, ваши платья, сверкающие гордыней. Но вот они вымыты хорошенько, вымыты оба ваши платья, не хотевшие переменить цвета. А как изношены ваши платья, не хотевшие тащиться по дороге! Вот все горы красные, совсем красные. Нужны все воды неба, все воды неба, чтобы их вымыть».

— Что это? Импровизация или старинная народная песня? — спросила Консуэло у своей подруги.

— А кто может знать, — ответила Амелия, — что представляет собой этот Зденко — неистощимый импровизатор или ученый рапсод? Наши крестьяне страстно любят его пение, а самого его почитают за святого, воображая, что его безумие не прирожденное несчастье, а дар небесный. Они его кормят, носятся с ним; пожелай он только, он получил бы наилучшее жилище и был бы одет лучше всех. Все наперебой стремятся заполучить его в свой дом; ведь считается, что он приносит счастье и предвещает удачу. Грозит небо градовыми тучами, но стоит Зденко пройти, и все с облегченным вздохом повторяют: «Ничего! Здесь града не будет». Выдастся плохой урожай, — попросят Зденко спеть, и так как в своих песнях он всегда сулит годы плодородия и изобилия, то все утешаются, ожидая лучшего будущего. Но жить Зденко ни у кого не хочет. Его бродяжническая натура влечет его в чащу лесов. Так и неизвестно, где проводит он ночи, где укрывается от холода и гроз. Ни разу за десять лет не видели, чтобы он вошел под чей-либо кров, кроме Замка Великанов; он утверждает, что во всех домах округи — его предки и что ему запрещено показываться им на глаза. Однако он провожает Альберта вплоть до его комнаты: он предан моему двоюродному брату и подчиняется, как его собака Цинабр. Альберт — единственный из смертных, могущий сдерживать эту дикую, независимую натуру, могущий остановить по желанию его неистощимую веселость, вечные песни, неумолкающую болтовню. Говорят, что когда-то у него был прекрасный голос, но он надорвал его своей болтовней, пением и смехом. Годами он не старше Альберта, а ведь по виду ему лет пятьдесят. Они были товарищами детства; тогда Зденко был только полусумасшедшим. Он из старинной семьи; один из его предков даже играл видную роль в войне гуситов. Так как в юности у Зденко была хорошая память и вообще неплохие

способности, то родители, ввиду его слабого здоровья, решили сделать из него монаха. Долго видели его в одежде послушника какого-то нищенствующего ордена. Но подчинить его монастырским правилам никто никогда не смог. Когда, бывало, его и одного из монахов отправляли в объезд для сбора пожертвований в сопровождении осла, нагруженного дарами правоверных, он вдруг бросал суму, осла и монаха и надолго пропадал в лесах. Когда Альберт отправился путешествовать, Зденко впал в мрачное отчаяние, скинул рясу, убежал из монастыря и сделался бродягой. Меланхолия его мало-помалу рассеялась, но проблески рассудка, порой мерцавшие среди всех его странностей, окончательно исчезли. Он стал говорить лишь ни с чем несообразные вещи, проявлять непонятные причуды — словом, окончательно сошел с ума. Но так как он всегда трезв, целомудрен и безобиден, то его можно считать скорее идиотом, чем сумасшедшим. Наши крестьяне зовут его не иначе, как «невинный».

— Все, что вы мне рассказали об этом несчастном человеке, внушает симпатию к нему, — проговорила Консуэло. — Мне хотелось бы с ним побеседовать. Говорит ли он хоть немного по-немецки?

— Понимает и даже немного говорит. Только, как все богемские крестьяне, он ненавидит этот язык; к тому же, вы сами это видите, он так погружен в свои мечты, что вряд ли ответит, если вы его о чем-нибудь спросите.

— Попробуйте тогда заговорить с ним на его родном языке и привлечь его внимание к нам, — сказала Консуэло.

Амелия окликнула Зденко несколько раз, спросив его по-чешски, как его здоровье и не нужно ли ему чего; но ей так и не удалось ни заставить его поднять опущенную к земле голову, ни оторвать его от первобытной игры в камешки. У него их было три: белый, черный и красный. Один из них он толкал на другой и страшно радовался, когда ему удавалось свалить их.

— Вы видите, это бесполезно, — сказала Амелия. — Когда он не голоден и когда не ищет Альберта, он никогда с нами не разговаривает. В том и в другом случае он появляется у ворот замка. Если он только голоден, то ожидает у ворот. Ему приносят то, чего он хочет, и, поблагодарив, он уходит. Если же он желает видеть Альберта, то входит в замок, направляется к его комнате, стучится в дверь, причем для него она всегда открывается. Он проводит там целые часы тихо, молча, словно боязливый ребенок, если Альберт работает, весело и оживленно болтая, когда тот расположен его слушать. По-видимому, Зденко никогда не бывает в тягость моему любезному двоюродному брату; в этом отношении он счастливее всех нас, членов его семьи.

— А когда граф Альберт исчезает, как, например, в настоящую минуту, то Зденко, так горячо любящий его, Зденко, впавший в отчаяние, когда граф отправился путешествовать, Зденко, его неизменный товарищ, — неужели он при этом не проявляет беспокойства?

— Никакого. Он уверяет в таких случаях, что Альберт отправился в гости к Господу Богу и скоро оттуда вернется. Это же самое говорил он, примирившись, наконец, с путешествием Альберта по Европе.

— А вы не подозреваете, дорогая Амелия, что у Зденко, может быть, больше оснований, чем у вас, не беспокоиться? Вам никогда не приходило в голову, что Зденко посвящен в тайну Альберта и что во время его припадков и летаргического сна он его охраняет?

— Да, нам приходило это в голову, и мы долго наблюдали за его действиями, но так же, как и его покровитель Альберт, он ненавидит, чтобы за ним следили. Хитрее, чем загнанная собаками лисица, каждый раз он умудрялся всех обмануть, всех сбить с толку, замести все следы. По-видимому, он подобно Альберту обладает способностью, когда захочет, делаться невидимым. Бывали случаи, когда на глазах у всех он исчезал, словно проваливался сквозь землю или словно его окутало непроницаемое облако. Так, по крайней мере, утверждают наши слуги и сама тетя Венцеслава, несмотря на всю свою набожность не очень-то далеко ушедшая от них в вопросе о власти сатаны.

— Но вы, дорогая баронесса, вы не можете верить в такой вздор?

— Я придерживаюсь взгляда дяди Христиана. Он полагает, что если Альберту в его таинственных невзгодах исключительно помогает и содействует этот сумасшедший, то очень опасно устранять его, и мы, выслеживая и затрудняя действия Зденко, рискуем оставить Альберта на целые часы и дни без ухода и даже без пищи, которую он может получать через Зденко. Но, ради Бога, дорогая Нина, переменим разговор! Довольно нам заниматься этим идиотом, он, поверьте, далеко не так меня интересует, как вас. Мне ужасно надоели все его рассказы и песни, а от его разбитого голоса у меня начинает просто першить в горле.

— Я очень удивлена, — сказала Консуэло, предоставляя подруге увести себя, — что вы не находите в его голосе необычайной прелести. А на меня он, совсем разбитый, производит больше впечатления, чем голоса самых великих певцов.

— Это потому что вы пресыщены прекрасным и вас прельщает новизна.

— Нет, язык, на котором он поет, необыкновенно мягок, — настаивала Консуэло, — и вы заблуждаетесь, считая его мелодии монотонными; напротив, в них есть много оригинального, сладостного.

— Только не для меня! Мелодии эти ужасно мне надоели. Вначале я несколько заинтересовалась их содержанием, принимая их, вместе с местными жителями, за старинные народные песни, любопытные в историческом отношении; но так как два раза подряд он никогда не передает их одинаково, то это, очевидно, не что иное, как импровизации, и я скоро пришла к заключению, что слушать их не стоит, хотя наши горцы и воображают, что в них скрыт какой-то символический смысл.

Как только Консуэло удалось избавиться от Амелии, она побежала в сад и застала Зденко на том же самом месте у рва, погруженного в ту же самую игру.

Убежденная, что этот несчастный тайно сноится с Альбертом, она украдкой сбегала в буфетную и утащила оттуда пирожок, собственноручное

произведение канониссы из крупчатой муки и меда. Она запомнила, что Альберт, вообще очень мало евший, оказывал, вероятно машинально, предпочтение этому кушанью, изготовляемому теткой для племянника с особым старанием. Завернув этот пирожок в белый платок и желая перебросить его через ров Зденко, она пробовала несколько раз окликнуть его. Но так как, по-видимому, он не слушал ее, она, вспомнив, с каким пылом он выкрикивал ее имя, произнесла его сначала по-немецки. Зденко, казалось, услышал ее, но, будучи в эту минуту меланхолически настроен, не глядя на нее, покачивал головой и со вздохом повторял: «Утешение, утешение», как бы говоря этим: «Утешения я больше не жду».

— Консуэло, — произнесла тогда молодая девушка, желая посмотреть, не пробудит ли в сумасшедшем ее испанское имя ту радость, какую он выказывал этим утром, повторяя его.

Зденко тотчас же прекратил свою игру в камешки и, радостный и сияющий, принялся скакать и прыгать, подбрасывая на воздух свою шапку, протягивая ей через ров руки, при этом очень оживленно лопоча что-то по-чешски.

— Альберт! — крикнула снова Консуэло, бросая ему пирожок. Зденко поднял его, смеясь, не развернув платка, и опять начал говорить без конца, но Консуэло, к своему отчаянию, ничего не поняла. Особенно прислушивалась она и старалась запомнить одну фразу, которую он ей все повторял, раскланиваясь. Благодаря своему музыкальному уху ей удалось точно уловить самое произношение этих слов. Как только Зденко бросился бежать со всех ног, она сейчас же записала итальянскими буквами эту фразу в свою памятную книжку, собираясь спросить разъяснения у Амелии. Но тут ей захотелось еще послать Альберту что-нибудь такое, что более тонко сказало бы ему о ее сочувствии, и она стала снова звать сумасшедшего; тот послушно вернулся; она, вынув из-за пояса свежий и пахучий букет, только что перед тем сорванный ею в оранжерее, бросила его ему. Зденко, подняв букет, снова стал раскланиваться, выкрикивать, скакать и, наконец, исчез в густых кустах, через которые, казалось, не пробраться и зайцу. Консуэло несколько минут следила по верхушкам ветвей, качавшихся в направлении к юго-востоку, за его быстрым бегом, но налетевший ветер, начавший качать все ветки зарослей, помешал ее наблюдениям, и Консуэло вернулась домой, решив, более чем когда-либо, достигнуть намеченной цели.

## XXXVII

Когда Консуэло попросила Амелию перевести фразу, записанную в памятной книжке и запечатлевшуюся в ее мозгу, та сказала, что ровно ничего в ней не понимает, хотя дословно эта фраза и значит: «Обиженный да поклонится тебе».

— Быть может, — прибавила она, — здесь он подразумевает Альберта и самого себя, обиженных, так как их принимают за сумасшедших, их, считающих себя единственными здравыми людьми на свете. Но стоит ли доискиваться смысла в речах безумного? Знаете, этот Зденко занимает ваше воображение гораздо больше, чем он этого заслуживает.

— Во всех странах существует народное поверье, — ответила Консуэло, — что сумасшедшие бывают одарены высшей прозорливостью, недоступной холодному, положительному уму. Я вправе иметь предрассудки моего класса и вот, представьте, не могу поверить, чтобы он говорил случайно эти непонятные для нас слова.

— Попробуем, — сказала Амелия, — спросить капеллана: быть может, он, большой знаток всяких местных народных изречений, старинных и нынешних, объяснит нам это.

И тут же, подбежав к священнику, она попросила его разъяснить фразу Зденко.

Эти темные слова поразили капеллана, точно ослепительная молния.

— Боже милостивый! — воскликнул он, бледнея, — где ваше сиятельство могли услышать такое богохульство?

— Если это богохульство, то во всяком случае для меня непонятное, — смеясь ответила Амелия, — вот почему я и прошу вас перевести.

— Дословно на хорошем немецком языке это так, как вы изволили сейчас сказать, баронесса: «Обиженный да поклонится тебе»; но, если вам угодно знать, что значит эта фраза в устах того нехристя, который ее произнес (с трудом решаюсь я даже выговорить), она значит: «Да будет с тобой дьявол!»

— Или попросту: «Иди к дьяволу», — заливаясь пуще прежнего смехом, поправила Амелия. — Да, нечего сказать, — продолжала она, — очень любезно! Вот на что можно нарваться, милая Нина, ведя разговоры с сумасшедшими! Вы не ожидали, что Зденко со своей приветливой улыбкой и веселыми гримасами способен поднести вам столь мало уচিতое пожелание.

— Зденко! — воскликнул капеллан, — так это, значит, изречение этого жалкого идиота? Ну, слава Богу, а я, признаться, дрожал, боясь, не другой ли кто... И совершенно напрасно... Это могло выйти только из головы Зденко, начиненной гнусностями старинной ереси. Откуда только черпает он все эти теперь почти забытые, никому неизвестные вещи? Лишь нечистая сила может внушать ему подобное.

— Да это просто очень скверное ругательство, которое в ходу у простого народа всех национальностей, — возразила Амелия, — и католики в данном случае не составляют исключения.

— Вы заблуждаетесь, баронесса, — сказал капеллан, — это вовсе не проклятие в устах сумасшедшего, наоборот, — это дань почтения, благословение, — вот что преступно! Эта мерзость ведется от лоллардов<sup>1</sup>, отворачи-

<sup>1</sup> *Лолларды* — религиозная секта, основанная английским богословом Джоном Виклефом (1320—1384).



тельная секта, породившая в свою очередь секту вальденцев<sup>1</sup>, из которой уже народились гуситы...

— А от них народилось еще множество других сект, — добавила Амелия, напуская на себя серьезность, чтобы поиздеваться над добрым священником. — Вы объясните нам, господин капеллан, — продолжала она, — каким образом, посылая ближнего к дьяволу, можно этим сказать ему любезность?

— Видите ли, по учению лоллардов, сатана не был врагом человеческого рода, а напротив — его покровителем и заступником. Они изображали его жертвой несправедливости и зависти. По их мнению, архангел Михаил и другие небесные силы, низвергнувшие сатану в бездну, были истинными демонами; а Вельзевул, Люцифер, Астарот и прочие исчадия ада — это сама невинность, истинный свет. Лолларды верили, что могущество Михаила и его славных соратников скоро кончится и что сатана со своими проклятыми приспешниками будет восстановлен и водворен обратно на небо. Словом, у них был настоящий нечестивый культ сатаны, и при встрече они приветствовали друг друга вот этой фразой: «Обиженный да поклонится тебе», то есть «тот, которого отвергли и осудили, пусть покровительствует и помогает тебе».

— Итак, — захлебываясь от смеха, проговорила Амелия, — теперь моя дорогая Нина под чудесным покровительством! Я не удивлюсь, если нам скоро придется прибегнуть к заклинаниям, чтобы уничтожить в ней чары Зденко.

Шутка эта немного смутила Консуэло. Она не была так уж уверена, что дьявол — плод воображения, а ад — поэтическая басня. Пожалуй, на нее произвели бы больше впечатления негодование и страх капеллана, не будь тот до такой степени комичен, выведенный из себя издевательским смехом Амелии.

Консуэло до того была смущена и взбудоражена суеверием одних и безверием других, что в этот вечер с трудом могла прочесть свои молитвы. В ее еще детскую веру вкрались сомнения. До сих пор она относилась к религии без критики, теперь же ее встревоженный ум уже не довольствовался одними религиозными догматами, а стремился постичь их смысл.

«Насколько мне приходилось видеть в Венеции, — думалось Консуэло, — есть два вида набожности: одна — у монахов, монахинь и народа, заходящая, быть может, даже слишком далеко; наряду с верой в таинства у них уживаются разные суеверия, ничего общего с этими таинствами не имеющие; верят они в какого-то Орко (беса лагун)<sup>2</sup>, ведьм Маламокко<sup>3</sup>, искателей золота, горо-

<sup>1</sup> *Вальденцы* — секта, возникшая в Провансе, на юге Франции. Основателем ее считался Пьер Вальдо (XII век). В начале XVI века, при французском короле Франциске I, вальденцы подверглись жесточайшим преследованиям и почти все были истреблены. До сих пор остатки вальденцев сохранились в северной Италии и в Альпах.

<sup>2</sup> *Орко* — демон венецианских лагун; он действует в рассказе Жорж Санд «L'Огос».

<sup>3</sup> *Маламокко* — южная часть восточного берега Лидо.

скопы, в обеты святым по поводу дел не только не благочестивых, но иногда даже нечестных; другой вид — это набожность высшего духовенства и аристократии; это — одно сплошное лицемерие: люди эти посещают церковь, как театр, чтобы послушать музыку, себя показать и других посмотреть; они над всем смеются и ни над чем в религии не задумываются, уверенные в том, что в ней нет ничего серьезного, что вовсе и не требуется сознательного отношения к ней и что все сводится к внешней форме и обычаю. Андзолето совершенно не был религиозен. Это было одним из моих огорчений, и я вижу теперь, что я права была, боясь его неверия. А мой учитель Порпора... во что он верит? Я не знаю... Он никогда не говорил мне об этом, хотя в самые горестные и важные для меня минуты жизни он и упоминал о Боге и о божественных вещах. Но тогда слова его, поражая меня, оставляли во мне лишь впечатление какого-то ужаса, какой-то неопределенности. Казалось, он веровал в Бога ревнивого и самовластного, дарующего гениальность и вдохновение только людям, в силу своей гордости отстранившим себя от горестей и радостей прочих себе подобных. Сердце мое не признает такой суровой религии, и я не могу любить Бога, запрещающего мне любить. Какой же Бог есть истинный? Кто научит меня этому? Моя бедная мать была набожна, но сколько ребячливого идолопоклонства было в ее вере! Во что же верить и что думать? Скажу ли я вместе с беззаботной Амелией, что разум есть единственный Бог? Но ей самой неизвестен этот Бог, чему же может она научить меня? Ведь трудно найти человека менее разумного, чем она. А разве можно жить без религии? Тогда зачем и жить? Ради чего стану я работать? Почему у меня, одинокой во всем мире, будет сострадание, доброта, совесть, великодушные, мужество, если во вселенной нет высшего существа, разумного, полного любви, которое взвешивает мои поступки, одобряет меня, помогает мне, охраняет и благословляет меня? Откуда же черпать в жизни силы и упоение тем людям, у которых нет надежды, нет любви, стоящей выше всех заблуждений, всех превратностей человеческих?

«Высшая сила! — воскликнула она из глубины сердца (забыв обычные формулы молитвы). — Научи меня, что мне делать. Высшая любовь! Научи меня, что я должна любить! Высшее знание! Научи меня, чему я должна верить!»

Предавшись молитве и созерцанию, она не заметила, как пролетело время, и было уже далеко за полночь, когда, собираясь лечь в постель, она выглянула в окно на залитый луной окрестный вид, неширокий из-за надвинувшихся гор, но очень живописный. На дне узкой, извилистой долины, несколько волнистой и поросшей луговой травой, неся горный поток. Обрамлявшие долину холмы разной высоты в нескольких местах как бы расступались, образуя ущелья, сквозь которые виднелись другие ущелья и другие горы, более крутые, все покрытые темными соснами. Позади этих печальных, суровых гор светила луна на ущербе, но самый ландшафт с вечнозелеными хвойными лесами и воды потока среди крутых берегов, и скалы, поросшие мхом и плющом, — все было

погружено во мрак. В то время как Консуэло, глядя в окно, рассматривала местность, открывшуюся перед ее глазами, ей вдруг показалось, впервые за все ее пребывание здесь, будто все это для нее не ново, потому ли что она когда-либо в детстве бывала в этой части Богемии, или потому что эти места были чрезвычайно похожи на что-то, виденное ею раньше.

«Мы с матерью столько странствовали, что нет ничего удивительного, если я уже побывала здесь, — подумала она. — У меня сохранилось ясное воспоминание о Дрездене и о Вене, и вот, идя из одной из этих столиц в другую, мы, конечно, могли пересечь Богемию именно в этих местах. Как было бы удивительно, если бы на самом деле тогда приютили нас в одном из сараев этого замка, где теперь меня принимают, как важную синьору, или если б в ту пору нам за наше пение подавали куски хлеба в тех самых хижинах, у дверей которых теперь Зденко протягивает руку, распевая свои старинные песни. В сущности, этот Зденко, хотя это с первого взгляда и не кажется, — бродячий артист, мой собрат и ровня».

В эту минуту взгляд ее упал на Шрекенштейн, вершина которого поднималась над более близкими горами, и ей показалось, будто это зловещее место точно светится красным заревом, слабо скрашивая розоватым отблеском прозрачную лазурь неба. Она сосредоточила все свое внимание и увидела, что это неясное сияние, то потухая, то разгораясь, стало таким отчетливым и сильным, что его никак нельзя было признать за обман чувств. Может, это было временное убежище бродячих цыган или притон разбойников? Одно являлось несомненным: что в эту минуту на Шрекенштейне были живые люди. Консуэло после своей наивной, горячей молитвы Богу истины совсем не была склонна верить в существование фантастических, зловредных существ, которыми народная молва населяла скалу Ужаса. Не мог ли Зденко развести костер, чтобы согреться от ночного холода? А если этот сумасшедший действительно там, то не пылают ли в эту минуту сухие сучья леса для того, чтобы отогреть Альберта? Не раз видали это мерцание на Шрекенштейне. О нем всегда говорили с ужасом, приписывая его возникновение чему-то сверхъестественному. Тысячу раз твердили, что этот свет исходит из заколдованного ствола дуба Жижки. Но сам Гусит перестал существовать, по крайней мере он валяется на дне оврага, а красный свет все же блесит. «Как может, — спрашивала себя Консуэло, — этот таинственный маяк не направить поиски к вероятному убежищу Альберта?»

«Ох, эта апатия набожных душ! — подумала Консуэло, — что это — благодеяние providения или неспособность слабых натур?» Она тут же спросила себя, хватит ли у нее мужества пойти одной в этот час на Шрекенштейн, и решила, что, побуждаемая милосердием, она, конечно, в состоянии это сделать. Но, по правде сказать, решаясь на такой подвиг, она ничем не рисковала: крепкие запоры замка делали совершенно неосуществимым ее намерение.

Проснувшись утром, полная рвения, она побежала на Шрекенштейн. Там все было тихо и пустынно. Трава вокруг скалы Ужаса не была примята,

не было также никаких следов костра, никаких признаков ночных гостей. Обежав всю гору, она нигде ничего не нашла. Стала звать Зденко, затем попросила засвистеть, думая этим вызвать лай Цинабра, несколько раз прокричала на всех языках, какие только знала, свое имя Консуэло («утешение»), пропела несколько фраз из своей испанской молитвы и даже исполнила богемскую песню Зденко, которую она прекрасно запомнила; но ответа не было. Слышался только треск сухого мха под ее ногами, да под скалой глухо журчали таинственные воды.

Устав от этих бесплодных розысков, она, передохнув немного на скале, собиралась уже уходить, как вдруг увидела у своих ног увядший и скомканный лепесток розы. Она подняла его, расправила, и ей пришло в голову, что лепесток этот мог быть только из букета, брошенного ею Зденко: в горах ведь не росли розы, да и время года было не то. Розы пока цвели только в оранжереях замка. Это незначительное указание утешило Консуэло: ее прогулка, в конце концов, не была так бесплодна, как казалось ей сначала, и она еще более прониклась мыслью, что Альберта следует искать на Шрекенштейне.

Но, спрашивается, в какой недоступной пещере этой горы он мог скрываться? По-видимому, в данное время или его не было там, или он в бесчувственном состоянии. А возможно, что Консуэло и ошиблась, приписывая своему голосу такую силу над ним, а восторг, проявленный им тогда, был не чем иным, как безумием, и от этого восторга теперь в его памяти не осталось никакого следа? Быть может, сейчас он видит ее, слышит, смеется над нею, относясь с презрением к ее напрасным усилиям?

При этой последней мысли Консуэло почувствовала, как горячий румянец залил ей щеки. Она быстро удалилась от Шрекенштейна, дав себе слово никогда больше сюда не возвращаться. Все же она оставила на скале маленькую корзиночку с фруктами, захваченную из дому.

Но на следующий день она нашла эту корзиночку на том же самом месте нетронутой. Даже к листьям, прикрывавшим фрукты, никто не прикоснулся, хотя бы из любопытства. Значит, либо ее дар был отвергнут, либо ни Альберт, ни Зденко не были здесь; а между тем красный свет от соснового костра опять всю ночь светил на вершине горы.

До самого рассвета Консуэло не ложилась, наблюдая это таинственное явление. Она несколько раз замечала, как свет то ослабевал, то усиливался, будто заботливая рука поддерживала его. Цыган в окрестности никто не видел. Чужих людей в лесу тоже не появлялось. Крестьяне же, которых Консуэло расспрашивала об удивительном свете, появлявшемся на скале, все в один голос на ломаном немецком языке отвечали ей, что не годится, мол, вникать в такие вещи и что не следует вмешиваться в дела того света.

Между тем прошло уже целых девять дней со времени исчезновения Альберта. Никогда еще его отсутствие не тянулось так долго. Это, в связи со зловещими предсказаниями, относящимися к его тридцатилетию, не могло,

конечно, внушать особенно радостных надежд семье Альберта. Наконец все стали волноваться: граф Христиан не переставал жалобно вздыхать, барон отправлялся на охоту, но и не думал убивать дичи, капеллан произносил какие-то особенные молитвы; даже Амелия не смела ни болтать, ни смеяться, а канонисса, бледная, ослабевшая, рассеяннo относясь к своим хозяйственным заботам, позабыв о вышивании, с утра до вечера перебирала четки, беспрестанно зажигала крошечные свечки перед образом Богоматери и, казалось, еще больше сгорбилась.

Консуэло отважилась было предложить тщательное обследование Шрекенштейна. Она призналась в своих личных поисках, а канониссе даже конфиденциально поведала о случае с лепестком розы и о своих ночных наблюдениях над светящейся вершиной горы. Но те меры, которые канонисса вздумала было применить при обследовании, заставили Консуэло пожалеть о своей откровенности. План Венцеславы был таков: выследить Зденко, припугнуть его угрозами, просить капеллана произнести на проклятой скале самые страшные заклинания, а барон с верным Гансом и пятьюдесятью храбрейшими вооруженными слугами с зажженными факелами должны были среди ночи произвести форменную осаду Шрекенштейна. Несомненно, что такой неожиданный образ действий был бы вернейшим способом довести Альберта до полного, а может быть, и буйного помешательства. Консуэло удалось увещаниями и просьбами уговорить Венцеславу ничего подобного не предпринимать, не посоветовавшись предварительно с ней. Она же предложила канониссе, приказав ночью открыть ворота замка, отправиться вдвоем с ней (имея за собой на некотором расстоянии капеллана и Ганса) на вершину Шрекенштейна, чтобы исследовать этот таинственный свет. Но подобный подвиг оказался не по силам канониссе: она была так убеждена, что на скале Ужаса справляется бесовский шабаш! Консуэло добилась только того, что ей откроют в полночь ворота замка и барон с несколькими слугами-добровольцами тихонько, без всякого оружия отправится вслед за нею. Эту попытку разыскать Альберта решили скрыть от графа Христиана, преклонный возраст и ослабевшее здоровье которого не позволяли ему предпринять такую экскурсию в ночную холодную пору, а узнав обо всем, он непременно захотел бы принять в ней участие.

Все было сделано, как хотела Консуэло: барон, капеллан и Ганс следовали за ней на расстоянии ста шагов. Она шла одна и с храбростью, достойной Брадаманты<sup>1</sup>, взошла на Шрекенштейн. Но по мере того, как она приближалась, свет, пробивавшийся, как ей казалось, сквозь щели вершин, постепенно угасал, и, когда она добралась до нее, вся гора сверху донизу была погружена в глубокий мрак. Глубокая тишина и ужас одиночества царили кругом. Она позвала Зденко, Цинабра и, содрогаясь, даже самого Альберта. Все молчало, лишь эхо повторяло ее неуверенно звучащий голос.

<sup>1</sup> *Брадаманта* красавица-воительница из «Неистового Роланда» Ариосто, олицетворение красоты и отваги.



Удрученная, возвратилась она к своим спутникам. Они стали превозносить до небес ее храбрость и тут же решились, в свою очередь, осмотреть только что покинутые ею места; но безуспешно — так же, как и она. Молча все вернулись в замок, где на пороге их ждала канонисса; выслушав их рассказ, она утратила последнюю надежду.

### XXXVIII

После того как добрая опечаленная Венцеслава горячо поблагодарила ее и поцеловала в лоб, Консуэло тихонько направилась в свою комнату, боясь разбудить Амелию, от которой скрыли эту ночную разведку. Консуэло жила на втором этаже, а комната канониссы была на первом. Поднимаясь по лестнице и уронив свечку, погасшую, прежде чем она успела ее поднять, Консуэло решила, что доберется к себе и без нее, тем более что уже начинало светать. Но потому ли что ее ум был необычайно озабочен или потому что напряжение, слишком сильное для женщины, подорвало ее бодрость, но она так растерялась, что, уже поднявшись до своего этажа, не остановилась, а все продолжала идти вверх и вошла в коридор третьего этажа, где была комната Альберта, расположенная почти над ее комнатой. У входа она остановилась и, вся похолодев от ужаса, увидела перед собой тощую черную тень, беззвучно, будто не касаясь ногами пола, проскользнувшую в ту комнату, куда направлялась Консуэло, принимая ее за свою. Как ни была она перепугана, у нее все-таки хватило присутствия духа взглянуть на удаляющуюся фигуру, и она тотчас же в предрассветной мгле признала облик и странное одеяние Зденко. Но зачем в такое время пробирался он в комнату Консуэло и с каким поручением шел к ней? Она не решилась в эту минуту заговорить с ним с глазу на глаз и спустилась вниз, ища канониссу. Очутившись во втором этаже, она узнала свой коридор и дверь своей комнаты и здесь только сообразила, что Зденко шел в комнату Альберта.

Теперь, когда ее ум успокоился и она могла здраво рассуждать, тысяча предположений зашевелилась у нее в голове. Каким образом этот идиот мог проникнуть ночью в замок, когда все кругом было на запоре и канонисса каждый вечер сама со слугами все осматривала? Появление Зденко подтверждало ее прежнюю уверенность в том, что в замке есть какой-то тайный выход и даже, может быть, существует никому неизвестный подземный ход, соединяющий замок со Шрекенштейном. Консуэло, добежав до комнаты канониссы, постучала в дверь. Старушка уже заперлась в своей келье; открыв девушке и увидев ее побледневшую, без свечи, она перепугалась и вскрикнула.

— Успокойтесь, дорогая синьора, — проговорила Консуэло, — снова приключилось нечто очень странное, но в этом нет ничего угрожающего: я только что видела, как Зденко вошел в комнату графа Альберта.

— Зденко! Вы бредите, дитя мое! Откуда мог он войти? Я лично заперла все двери так же тщательно, как и всегда, и сама сторожила все время, пока вы были на Шрекенштейне; мост был все время поднят, а когда все прошли в замок, его снова при мне подняли.

— Как бы там ни было, синьора, а Зденко в комнате графа Альберта. Сами вы, если желаете, можете в этом убедиться.

— Сейчас же иду и выгоню его, как он этого заслуживает, — ответила канонисса. — Должно быть, этот негодяй пробрался сюда днем. Но что ему нужно? Верно, он ищет Альберта или ожидает его? Вот вам доказательство, дорогая, что этот идиот не больше нашего знает, где находится Альберт.

— Но все-таки пойдемте и спросим его, — настаивала Консуэло.

— Минутку, одну минутку, — просила канонисса: ложась спать она сняла две юбки, и теперь считала, что в остальных трех она слишком легко одета. — Не могу же я, моя милая, в таком виде предстать перед мужчиной. Пока сходите за капелланом или за моим братом, бароном, — все равно, кого первого встретите. Мы не можем очутиться одни с сумасшедшим! Ах, Боже мой! Я и не подумала, что такой молоденькой девушке неприлично стучаться к мужчинам... Сейчас! Сейчас! В одну секунду я буду готова! И сама это сделаю.

Говоря это, старушка начала одеваться, но чем больше она спешила, тем менее спорилось у нее дело; выбитая из своей обычной колеи, чего давно с нею не случалось, она совсем потеряла голову.

Консуэло, волнуясь, что благодаря такой задержке Зденко успеет ускользнуть из комнаты Альберта и так спрятаться где-нибудь в замке, что его потом и не найти, вооружилась всей своей энергией.

— Дорогая синьора, — сказала она, зажигая свечу, — вы потрудитесь позвать этих господ, а я позабочусь, чтобы Зденко от нас не ускользнул.

Быстро поднявшись наверх, она смелой рукою открыла дверь в комнату Альберта, но там было пусто. Она прошла в соседний кабинет, подняла там все занавески, не побоялась даже заглянуть под кровать и прочую мебель. Зденко исчез, не оставив никаких следов своего пребывания.

— Никого! — воскликнула Консуэло, когда канонисса дотащила до нее в сопровождении Ганса и капеллана: барон уже лег спать, и не было никакой возможности его добудиться.

— Я боюсь, — сказал капеллан, несколько недовольный тем, что его снова побеспокоили, — боюсь, что синьора Порпорина является жертвой собственных иллюзий...

— Нет, господин капеллан, — с живостью возразила Консуэло, — у меня иллюзий меньше, чем у кого бы то ни было здесь.

— Зато ни у кого нет такой выдержки и самопожертвования, как у вас, это несомненно, — сказал старик. — Но, синьора, вы с вашими пылкими надеждами видите указания там, где, к несчастью, их вовсе нет,

— Отец мой, — сказала канонисса, обращаясь к капеллану, — Порпорина смела, как лев, и умна, как ученый. Если она видела Зденко, значит, он был

здесь; надо искать его по всему дому, и так как, слава Богу, все на запоре, то ему от нас не убежать.

Разбудили других слуг и искали всюду. Не оставалось ни единого шкафа, которого не открыли бы, ни единой мебели, которую не сдвинули бы с места. Перерыты были запасы на огромных чердаках. Наивный Ганс дошел до того, что заглянул даже в огромные охотничьи сапоги барона, но и там ничего не оказалось! Начали уж думать, что все это приснилось Консуэло, но сама она была более чем когда-либо убеждена в том, что нужно во что бы то ни стало найти таинственный ход, и решила употребить на это всю энергию, на которую только была способна.

Поспав всего лишь несколько часов, она снова принялась за поиски. Часть здания, в которой помещалась ее комната и где были также и апартаменты Альберта, примыкала или, лучше сказать, была прислонена к холму. Альберт сам выбрал и устроил себе жилище в этой части замка, откуда он мог наслаждаться живописным видом на юг, а на восток устроил себе на искусственной земляной террасе прекрасный цветник, куда прямо выходила дверь из его комнаты. Он очень любил цветы, и вот на вершине когда-то бесплодного холма, покрытой теперь плодородной землей, он разводил довольно редкие экземпляры. Терраса была окружена стеною высотой по грудь из больших тесаных камней на фундаменте из отвесных скал, и с этого цветущего бельведера, как бы висевшего над пропастью, открывался вид на другой склон обрыва и на часть обширного горизонта, замыкаемого зубчатыми горами Богемского леса. Консуэло, раньше сюда не проникавшая, пришла теперь в восторг от живописного вида и красоты самой террасы; потом она попросила капеллана объяснить ей, для чего предназначалась эта терраса раньше, до того как замок из крепости превратился в резиденцию.

— В старину, — начал он рассказывать, — это был бастион, род укрепленной террасы, откуда гарнизон мог наблюдать за передвижением неприятельских войск в долине и по склонам окрестных гор. Ведь в горах нет ни одного прохода, который не был бы виден отсюда. В былое время эту площадку окружала высокая стена с проделанными в ней со всех сторон бойницами, предохранявшая защитников крепости от стрел или пуль неприятеля.

— А это что? — спросила Консуэло, подходя к колодезю, устроенному посреди цветника, на дно которого спускались по маленькой крутой винтовой лестнице.

— Это колодец, в старину всегда снабжавший осажденных чудесной горной водой в изобилии и бывший неоценимым благом для крепости.

— Значит, это вода, годная для питья? — сказала Консуэло, глядя на зеленую пенистую воду колодца. — А мне она кажется мутной.

— Теперь она уже негодна для питья, или, лучше сказать, не всегда бывает годна. Граф Альберт пользуется ею для поливки цветов. Надо сказать, что вот уж два года, как с этим водоемом происходят удивительные вещи. Питающий его источник, пробивающийся недалеко из горных недр, стал почему-то пере-





— А это что? — спросила Консуэло, подходя к колодезю, устроенному посреди цветника, на дно которого спускались по маленькой крутой винтовой лестнице.

— Это колодец, в старину всегда снабжавший осажденных чудесной горной водой в изобилии и бывший неоценимым благом для крепости.

межающимися. В течение целых недель уровень воды почему-то так снижается, что Альберт заставляет Зденко для поливки своих любимых цветов носить воду из колодца, находящегося на большом дворе. И вдруг совершенно неожиданно, в одну ночь, а иногда и в один час, этот водоем наполняется тепловатой, мутной, как вы сейчас видите, водой. Случается, что вода эта так же скоро исчезает, как и появляется, а бывает, что она держится и долго, причем мало-помалу очищается и делается холодной и прозрачной, как горный хрусталь. Очевидно, сегодня ночью произошло подобное явление, так как еще вчера я сам видел, что колодец был полон прозрачной воды, а вот сейчас она мутна, словно водоем был опорожнен и снова наполнился.

— В этих явлениях не наблюдается регулярности? — спросила Консуэло.

— Никакой; я занялся бы их исследованием, если бы граф Альберт, из-за своей дикости запрещающий входить и в свое помещение, и в цветник, не лишил меня этого развлечения. Думал я и продолжаю думать, что дно водоема заросло мхом и водорослями и что они-то и забивают отверстия, через которые поступают подземные воды, пока вследствие сильного напора вода наконец не пробьется.

— Но чем объясняете вы внезапное исчезновение воды в другое время?

— Большим потреблением воды для поливки цветов графа.

— Но мне кажется, понадобилось бы большое количество рабочих рук, чтобы опорожнить этот водоем. Разве он неглубок?

— Неглубок? До его дна нельзя добраться!

— В таком случае ваше объяснение меня не удовлетворяет, — сказала Консуэло, пораженная глупостью капеллана.

— Ищите лучшего, — ответил тот, сконфуженный и даже несколько обиженный.

«Конечно, я найду лучшее», — подумала Консуэло, живо заинтригованная причудами водоема.

— О, если вы спросите графа Альберта, что все это значит, — снова заговорил капеллан, желая маленьким вольнодумством восстановить свой престиж в глазах проницательной иностранки, — он вам, наверное, скажет, что это слезы его матери, то иссякающие, то снова вытекающие из недр гор. А ваш знаменитый Зденко, чьим бредням вы так верите, будет вам клясться, что там живет сирена, услаждающая своим пением тех, у кого есть уши, чтобы ее слушать. Они вдвоем с графом окрестили этот водоем «источником слез». Это, быть может, весьма поэтично, но может удовлетворить лишь тех, кто любит языческие побасенки.

«Конечно, я не удовлетворюсь этим, — подумала Консуэло. — И я узнаю, отчего эти слезы иссякают».

— Что касается меня, — продолжал капеллан, — то я убежден, что на дне колодца в другом углу имеется сток...

— Да, не будь этого, — перебила Консуэло, — раз колодец питается источником, то вода в нем всегда шла бы через край.



— Конечно, конечно, — согласился капеллан, не желая обнаруживать, что такое соображение раньше не приходило ему в голову. — Это само собой разумеется; но, очевидно, в движении подземных вод произошли какие-то значительные изменения, в силу которых уровень воды колеблется, чего не было раньше.

— А что, этот водопровод — дело человеческих рук или естественные подземные канавы? — настойчиво добивалась Консуэло. — Вот что интересно было бы знать!

— Это-то и мудрено узнать, — ответил капеллан, — раз граф Альберт не позволяет даже подойти к своему драгоценному водоему и строго-настрого запретил его чистить.

— В этом я была уверена, — проговорила Консуэло. — И мне кажется, — прибавила она, уходя: — хорошо делают, что исполняют его желание: Бог знает, какое несчастье могло бы с ним случиться, если потревожить его сирену!

«Для меня является почти несомненным, — решил капеллан, расставшись с Консуэло, — что мозги этой молодой особы не в лучшем состоянии, чем у господина графа. Неужели сумасшествие заразительно? Или, быть может, маэстро Порпора и прислал нам ее сюда, дабы деревенский воздух несколько освежил ей мозги? Видя, с каким упорством она добивается разъяснения тайны этого водоема, я побился бы об заклад, что она дочь какого-нибудь венецианского инженера, строителя каналов, и что ей просто хочется прихвастнуть своими знаниями в этой области; но ее последняя фраза, эта галлюцинация сегодня утром — видение Зденко, прогулка, которую она заставила нас сделать этой ночью на Шрекенштейн, — все это говорит за то, что ее расспросы о водоеме — фантазия в том же роде. Уж не воображает ли она найти Альберта на дне этого колодца? Несчастные молодые люди! Если бы вы могли там найти себе разум и истину!»

Засим добряк-капеллан в ожидании обеда принялся за свои молитвы.

«Видно, безделье и апатия странным образом ослабляют мозги, — в свою очередь думала Консуэло. — Чем иным объяснить, что этому святому человеку, так много читавшему и учившемуся, даже не приходит в голову, почему меня так интересует этот водоем. Прости, Господи, мои прегрешения, но это один из твоих служителей, который очень мало пользуется разумом, данным тобой. И они еще считают Зденко дураком!»

Вслед за этим Консуэло отправилась давать урок пения молодой баронессе, рассчитывая после этого снова приняться за свои розыски.

## XXXIX

— Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как вода убывает и как она прибывает? — тихонько спросила она вечером капеллана, когда тот всецело был поглощен своим пищеварением.

— Что такое? Что случилось? — воскликнул он, вскакивая со стула и в ужасе тараща глаза.

— Я говорю о водоеме, — невозмутимо продолжала она. — Приходилось ли вам самому наблюдать, как происходит это странное явление?

— Ах, да! Вы о водоеме? Понимаю! — ответил он с улыбкой сострадания. «Вот, — подумал он, — опять начинается припадок безумия».

— Да. Ответьте же мне, добрейший капеллан, — сказала Консуэло, преследуя свою мысль с тем жаром, который она вносила во все свои умственные занятия, но без всякого злого умысла против этого достойного человека.

— Признаюсь, синьора, — ответил он холодно, — лично я никогда не видел того, чем вы интересуетесь, и поверьте, меня это не настолько беспокоит, чтобы ради этого я не спал по ночам.

— О! Я в этом уверена, — нетерпеливо отозвалась Консуэло.

Капеллан пожал плечами и с трудом поднялся со своего стула, чтобы избежать этого настойчивого расследования.

«Ну что ж, если здесь никто не желает пожертвовать часом сна для такого важного открытия, я, если понадобится, посвящу этому целую ночь», — подумала Консуэло и, ожидая того часа, когда все в замке разойдутся, накинув на себя плащ, пошла пройтись по саду.

Ночь была холодная, ясная, туман рассеивался по мере того, как на небосклоне всходила полная луна; при ее приближении звезды побледнели, а сухой воздух отражал каждый звук. Консуэло, возбужденная, но не разбитая усталостью, бессонницей, своим великодушным и, быть может, несколько болезненным недоумением, была в каком-то лихорадочном состоянии, которого даже вечерняя прохлада не могла успокоить. Ей казалось, что она близка к преследуемой цели. Романтическое предчувствие, которое она принимала за ободрение свыше, поддерживало ее энергию и возбуждало ее. Она уселась на бугре, поросшем травой и обсаженном лиственницами, и стала прислушиваться к тихому, жалобному журчанию горного ручья на дне долины. Ей почудилось, что временами к журчанию воды примешивается еще более нежный, более жалобный голос, доносящийся до нее. Она прилегла на траву, дабы, находясь ближе к земле, лучше уловить эти легкие, уносимые ветром звуки; наконец она различила голос Зденко. Он пел по-немецки, и она разобрала следующие слова, кое-как приспособленные к чешской мелодии, наивной и меланхоличной, как и та, что она слышала от него раньше: «Там, там есть душа в унынии и в мучении, которая ждет своего освобождения, столь обетованного утешения. Освобождение — в оковах, а утешение неумолимо. Там, там есть душа в унынии и в мучении, которая устала ждать».

Когда певший голос умолк, Консуэло поднялась, оглянулась кругом, нет ли Зденко в поле; ища его, она обежала весь парк и сад, звала его из различных мест и возвратилась, не увидев его.

Но через час, после длинной общей молитвы за графа Альберта, на которую были созваны слуги замка, когда все легли спать, Консуэло отправилась

к «источнику слез» и, усевшись на его каменной закраине среди диких, густых папоротников и посаженных Альбертом ирисов, стала пристально смотреть на неподвижную воду, в которой, словно в зеркале, отражалась луна, стоявшая в зените.

Так прошел час, и когда отважная девушка почувствовала, что глаза ее начинают смыкаться от усталости, легкий шум на поверхности воды разбудил ее. Она открыла глаза и увидела, что отражение луны в водоеме колыхнется, разбивается и расплывается светящимся кругом. В то же время до нее доносилось какое-то клокотание и глухой шум, сперва едва слышный, но затем все усиливавшийся. Вода стала убывать, кружась, как в воронке, и менее чем в четверть часа совсем исчезла на дне пропасти.

Она отважилась спуститься вниз на несколько ступенек. Лестница, высеченная спиралью из гранитных глыб и вделанная в скале, была сооружена, по-видимому, для того чтобы дать возможность приближаться к воде на разных ее уровнях. Эти скользкие, покрытые илом ступеньки, без всяких перил, терялись в страшной глубине. Мрак, остаток воды, плескавшейся еще на дне неизмеримой пропасти, невозможность удержаться слабыми ногами на илистой тине — все это заставило Консуэло отказаться от безумной попытки. Пятясь назад, она с большим трудом поднялась наверх; дрожащая, подавленная, она присела на верхней ступеньке.

Между тем вода, казалось, продолжала убегать в недра земли. Шум становился все глуше, пока совсем не затих. Консуэло хотела было сходить за фонарем, чтобы осмотреть сверху, насколько возможно, внутренность колодца, но, опасаясь упустить приход того, кого ждала, осталась и терпеливо просидела, не двигаясь, еще почти целый час. Наконец ей показалось, что на дне колодца виден слабый свет, и, с тревогой нагнувшись, она увидела, что этот колеблющийся свет мало-помалу движется вверх. Вскоре она уже не сомневалась. Зденко поднимался по спиральной лестнице, придерживаясь за железную цепь, вделанную в скалу. Шум, который он производил, хватаясь за эту цепь и бросая ее, открыл Консуэло существование такого рода перил, идущих до известной высоты, но которых она не могла ни видеть, ни предполагать. Зденко нес с собой фонарь, который повесил на крюк, очевидно для этой цели вбитый в скалу футах в двадцати ниже уровня земли, а затем легко и быстро поднялся по лестнице уже без помощи цепи или какой-либо видимой опоры. Между тем Консуэло, следившая за ним с большим вниманием, заметила, что он придерживается за некоторые выступы скалы, за наиболее крепкие растения в стене и даже, может быть, за какие-нибудь согнутые, торчавшие в стене гвозди, нащупываемые его привычной рукой. В тот момент, когда он мог бы заметить Консуэло, она спряталась за каменную полукруглую закраину, обрамлявшую водоем. Зденко вышел и принялся рвать на клумбах цветы, составляя, видимо, с разбором и не торопясь, большой букет. Затем он направился в кабинет Альберта, и Консуэло видела через стеклянную дверь, как он там долго рылся в книгах, пока наконец не нашел ту,





*В тот момент, когда Зденко мог бы заметить Консуэло, она спряталась за каменную полукруглую закраину, обрамлявшую водоем. Зденко вышел и принялся рвать на клумбах цветы.*

что была нужна, так как вернулся к водоему довольный, смеясь и что-то болтая еле слышно, очевидно, борясь между всегдашней потребностью говорить сам с собою и страхом разбудить обитателей замка.

Консуэло еще не решила, подойти ли ей к нему и попросить провести ее к Альберту. Надо правду сказать, что, пораженная всем виденным, взволнованная затеянным ею делом, довольная тем, что добилась, наконец, того, что предчувствовала, но вместе с тем и ужасаясь при мысли, что надо будет спуститься в недра земли и в глубь вод, она в эту минуту не нашла в себе мужества пойти напролом к развязке и предоставила Зденко спуститься так же, как он и поднялся, снять свой фонарь и исчезнуть, распевая все более и более смелым голосом по мере того, как углублялся, загадочные слова: «Освобождение в оковах, утешение неумолимо».

С трепещущим сердцем нагнувшись над колодцем, Консуэло раз десять собиралась окликнуть его. Она с героическим усилием уже решила это сделать, но тут ей пришло в голову, что Зденко может от неожиданности пошатнуться на этой опасной лестнице, сорваться и разбиться насмерть. Она воздержалась на этот раз, но дала себе слово, что завтра, в более подходящую минуту, она будет похрабрее.

Она подождала еще, чтобы посмотреть, каким образом вода снова поднимается, но это произошло гораздо быстрее. Не прошло и четверти часа с того мгновения, как скрылся Зденко со своим фонарем и затих его голос, как вдруг послышался глухой грохот, похожий на отдаленные раскаты грома, и вода хлынула с необычайной силой, кружась, бурля и колотясь о стены своей тюрьмы. Это внезапное вторжение воды было так страшно, что Консуэло стала трепетать за бедного Зденко, задавая себе вопрос: разве он, играя с такими опасностями, распоряжаясь таким образом силами природы, не подвергается возможности быть унесенным бурным течением и выброшенным на поверхность водоема, как эти плавающие в воде, покрытые илом болотные растения?

А между тем, должно быть, это производилось очень просто. Быть может, стоило только поднять и спустить шлюз или, придя, положить камень, а уходя, снять его. Но этот человек, всегда озабоченный, всегда погруженный в свои странные мечтания, разве не мог легко, по рассеянности, ошибиться и сдвинуть тот же камень чуточку раньше, чем следовало? Проходит ли он по тому самому подземному ходу, по которому устремляется и вода из источника?

«Однако надо мне пробраться туда с ним или без него, — сказала себе Консуэло, — и это будет не позже завтрашней ночи, так как там есть душа озабоченная, страдающая, которая ждет меня и томится ожиданием. Ведь не случайно же Зденко пел это, и не без цели он, ненавидящий немецкий язык, с трудом даже говорящий на нем, нынче вдруг запел на этом языке.

Наконец она пошла спать, но страшные кошмары терзали ее всю ночь. Лихорадочное состояние ее усиливалось, но, еще полная сил и решимости, она не отдавала себе отчета в этом, а только поминутно внезапно просыпалась, воображая, что она все еще на ступеньках той ужасной лестницы, подняться



на которую не в силах, а вода между тем под ней все прибывает и прибывает с глухим ревом и молниеносной быстротой.

За ночь она так изменилась в лице, что утром все это заметили. Капеллан не мог удержаться, чтобы не шепнуть канониссе, что эта «приятная и любезная особа», по-видимому, не в своем уме. И добрая Венцеслава, не привыкшая видеть среди окружающих ее столько мужества и самоотверженности, начинала думать, что Порпорина, по меньшей мере, девушка весьма экзальтированная, с очень нервным и легко возбуждаемым темпераментом. Канонисса слишком надеялась на свои крепкие, обитые железом двери и верные ключи, постоянно бряцавшие у ее пояса, чтобы продолжать верить в появление и исчезновение Зденко в позапрошлую ночь. Она ласково, нежно начала умолять Консуэло не принимать так близко к сердцу их семейное горе, подумать о своем здоровье, в то же время стараясь поддержать в ней надежду на возвращение Альберта, надежду, которая, надо сказать, начала уже умирать в глубине ее души. Но она была потрясена и вместе с тем обрадована, когда Консуэло, с блестящими от восторга глазами и радостной улыбкой, в которой сквозила некоторая гордость, ответила ей:

— Вы правы, что верите в его возвращение и ждете его. Граф Альберт не только жив, но, по-видимому, и неплохо себя чувствует, так как в своем убежище интересуется любимыми книгами и цветами. В этом я убеждена и могу вам представить доказательства.

— Что вы хотите сказать этим, дорогое дитя мое? — воскликнула канонисса, поддаваясь ее уверенному виду. — Что вы узнали? Что вы открыли? Ради самого Бога говорите, верните к жизни несчастную семью!

— Скажите графу Христиану, что его сын жив и недалеко отсюда. Это так же верно, как то, что я вас люблю и уважаю.

Канонисса вскочила, чтобы бежать к брату, который еще не спускался в гостиную, но взгляд и вздох капеллана удержали ее на месте.

— Не будем так легкомысленно радовать моего бедного Христиана, — проговорила она, также вздыхая. — Знаете, дорогая, если бы ваши чудесные обещания не сбылись, мы нанесли бы несчастному отцу смертельный удар!

— Вы сомневаетесь в моих словах? — спросила с удивлением Консуэло.

— Упаси меня Бог, благородная Нина! Но вы можете заблуждаться! Увы, с нами самими это не раз случилось! Вы говорите, дорогая, о доказательствах, а можете вы нам их привести?

— Не могу... или, скорее, мне кажется, что не должна это делать, — с некоторым смущением проговорила Консуэло. — Я открыла тайну, которой граф Альберт несомненно придает большое значение, но не считаю себя вправе выдать ее без его согласия.

— Без его согласия! — воскликнула канонисса, нерешительно глядя на капеллана. — Уж и вправду не видела ли она его?

Капеллан еле заметно пожал плечами, совершенно не понимая, как он терзает бедную канониссу своим недоверием.

— Я его не видела, — продолжала Консуэло, — но скоро увижу, надеюсь, так же, как и вы сами. Вот я и боюсь задержать его возвращение, противясь его воле.

— Да царит божественная истина в твоём сердце, великодушное создание, и пусть говорит она твоими устами! — проговорила растроганная канонисса, глядя на Консуэло нежно, но все же с некоторым беспокойством. — Храни свою тайну и верни нам Альберта, если ты в силах это сделать! Одно могу сказать: если это осуществится, я буду целовать твои колена, как сейчас целую твой бедный лоб... влажный и горячий, — прибавила она, прикасаясь губами к прекрасному воспалённому лбу молодой девушки и глядя на капеллана с растроганным видом.

— Если она и безумна, — сказала Венцеслава капеллану, как только они остались наедине, — все-таки это ангел доброты, и, мне кажется, она принимает наши страдания ближе к сердцу, чем мы сами. Ах! Отец мой, над этим домом тяготеев проклятие: здесь каждого, у кого в груди бьётся редкое, великое сердце, поражает безумие, а наша жизнь проходит в том, что мы жалуем тех, кем должны восхищаться.

— Я вовсе не отрицаю добрых побуждений юной иностранки, — возразил капеллан, — но рассказ ее — бред, не сомневайтесь в этом, сударыня. Она, по-видимому, сегодня ночью видела во сне графа Альберта и вот очень неосторожно выдает нам свои сны за действительность. Остерегайтесь смутить верующую, покорную душу вашего почтенного брата такими пустыми, легкомысленными уверениями. Быть может, также не следовало бы слишком поощрять и безрассудную храбрость синьоры Порпорины... Она может привести ее к опасностям иного рода, чем те, которым она смело шла навстречу до сих пор...

— Не понимаю вас! — с серьезным видом ответила наивная канонисса.

— Очень затрудняюсь объяснить вам это... — проговорил достойный пастырь. — А все-таки мне кажется, что если бы тайное общение, понятно, самое чистое, самое бескорыстное, возникло между этой молодой артисткой и благородным графом...

— Ну и что же? — сказала канонисса, с удивлением раскрывая глаза.

— Ну и что ж! А не думаете ли вы, сударыня, что внимание и заботливость, сами по себе весьма невинные, могут в короткое время, благодаря обстоятельствам и романтическим идеям, выродиться в нечто опасное для спокойствия и достоинства молодой музыкантши?

— Мне это никогда не пришло бы в голову! — воскликнула канонисса, пораженная этими соображениями. — Неужели, отец мой, вы допускаете, что Порпорина может забыть свое скромное, зависимое положение и войти в какие-либо отношения с человеком, настолько выше ее стоящим, как мой племянник Альберт фон-Рудольштадт!

— Граф Альберт фон-Рудольштадт может сам невольно наталкивать ее на это, проповедуя, что досточтимые преимущества рождения и класса — одни лишь пустые предрассудки.

— Знаете, вы заронили в мою душу большое беспокойство, — сказала Венцеслава, в которой пробудилась семейная гордость, а также тщеславие происхождения — единственная ее слабость.

— Неужели зло уже зародилось в этом юном сердце? Неужели в ее возбуждении, в стремлении разыскать Альберта говорит не прирожденное великодушие, не привязанность к нам, а менее чистые побуждения?

— Хочу надеяться, что пока этого еще нет, — ответил капеллан, у которого была единственная страсть — разыгрывать при помощи своих советов и суждений известную роль в графской семье, сохраняя при этом вид робкого почтения и пресмыкающейся покорности. — Но вам все-таки следует, дочь моя, не закрывать глаза на последующие события и все время помнить об опасности. Эта дипломатическая роль как нельзя больше подходит вам, так как небо наградило вас осторожностью и проницательностью.

Разговор этот очень взволновал канониссу и дал совершенно новое направление ее тревогам. Словно забывая, что Альберт почти потерян для нее, что он, быть может, в данную минуту умирает или даже умер, она была занята мыслью, как предотвратить последствия того, что она в душе называла «неподходящей» привязанностью. Тут она походила на индейца из басни, который, спасаясь от свирепого тигра, влез на дерево и отгоняет докучливую муху, жужжащую над его головой.

В течение всего дня она не сводила глаз с Порпорины, следя за каждым ее шагом, тревожно взвешивая каждое ее слово. Наша героиня, — а в данное время наша мужественная Консуэло была именно такою в полном смысле слова, — не могла не заметить это беспокойство канониссы, но, конечно, была далека от того, чтобы объяснить его чем-либо иным, как недоверием к ее обещанию вернуть Альберта. Девушка и не старалась скрыть свое собственное волнение, так как ее спокойная, безупречная совесть подсказывала ей, что она может не краснеть, а гордиться своим замыслом. Даже застенчивое смущение, вызванное в ней несколько дней тому назад восторженным отношением к ней молодого графа, рассеялось перед серьезной решимостью действовать, свободной от всякого личного тщеславия. Язвительные насмешки Амелии, угадывавшей ее замысел, хотя и не знавшей его подробностей, мало ее трогали. Едва обращая на них внимание, она отвечала лишь улыбкой, предоставляя канониссе прислушиваться к ним все более и более, запоминать и истолковывать их и выводить из них страшные заключения.

## XL

Консуэло, заметив, что канонисса следит за ней так, как этого не бывало раньше, и опасаясь, как бы такое неуместное рвение не повредило ее планам, стала держаться более хладнокровно, благодаря чему ей удалось днем

ускользнуть от наблюдений Венцеславы и проворно направиться по дороге к Шрекенштейну. В эту минуту она ничего другого не хотела, как встретить Зденко, добиться от него объяснений и окончательно выяснить, захочет ли он проводить ее к Альберту. Она встретила с ним довольно близко от замка, на тропинке, ведущей к Шрекенштейну. Казалось, он шел ей навстречу и, поравнявшись, заговорил с ней очень быстро по-чешски.

— Увы! Я не понимаю тебя, — проговорила Консуэло, как только ей удалось вставить слово, — ведь я едва знаю немецкий язык, этот грубый язык, ненавистный нам обоим: тебе он говорит о рабстве, а мне — об изгнании. Но раз это единственный способ понимать друг друга, не отказывайся говорить по-немецки; мы оба одинаково плохо говорим на этом языке, но я тебе обещаю выучиться по-чешски, если только ты захочешь меня обучить.

После этих приятных ему слов Зденко стал серьезен и, протягивая ей свою сухую мозолистую руку, которую она охотно пожала, сказал по-немецки:

— Хорошая дочка Божья, я выучу тебя своему языку и всем своим песням; скажи, с какой ты хочешь начать?

Консуэло решила, что надо поддаться к его причудам, употребляя при расспросах его же выражения.

— Я бы хотела, — сказала она, — чтобы ты спел мне балладу о графе Альберте.

— О моем брате графе Альберте, — отвечал он, — существует более двухсот тысяч баллад. Я не могу передать их тебе: ты их не поймешь. Я каждый день сочиняю новые, совсем непохожие на прежние. Попроси что-нибудь другое.

— Отчего я тебя не пойму? Я — утешение. Слышишь, мое имя — Консуэло, для тебя и для графа Альберта, который один здесь знает, кто я.

— Ты — Консуэло? — воскликнул со смехом Зденко. — О, ты не знаешь, что говоришь. «Освобождение заковано в цепях»...

— Я это знаю, — перебила она, — «Утешение неумолимо». А вот ты, Зденко, ничего не знаешь: освобождение разорвало свои оковы, утешение разбило его оковы.

— Ложь! Ложь! Глупости! Немецкие слова! — закричал Зденко, обрывая свой смех и переставая прыгать. — Ты не умеешь петь!

— Нет, умею, — возразила Консуэло. — Послушай!

И она спела первую фразу его песни о трех горах, которую она прекрасно запомнила: разобрать, произносить правильно слова помогала ей Амелия.

Зденко слушал с восхищением и, вздыхая, сказал ей:

— Я очень люблю тебя, сестра моя, очень, очень. Хочешь, я тебя выучу еще другой песне?

— Да, песне о графе Альберте: сначала по-немецки, а потом выучишь меня и по-чешски.

— А как она начинается? — спросил он, лукаво на нее поглядывая.

Консуэло начала мотив вчерашней песни: «Там есть, там есть душа в печали и страданье...»

— О! Это вчерашняя песня, сегодня я ее уже не помню, — прервал ее Зденко.

— Ну, так спой мне сегодняшнюю.

— А как она начинается? Скажи мне первые слова.

— Первые слова? Вот они, слушай: «Граф Альберт там, там, в пещере Шрекенштейна...»

Не успела она произнести эти слова, как Зденко вдруг совсем переменялся, глаза его засверкали от негодования. Он отступил на три шага назад, поднял руки, как бы проклиная Консуэло, и гневно и угрожающе заговорил что-то по-чешски. Сперва она испугалась, но увидав, что он уходит, захотела вернуть его и пойти с ним. В этот момент он обернулся и, подняв, по-видимому, без всякого усилия, своими худыми, слабыми руками огромный камень, яростно прокричал по-немецки:

— Зденко никогда никому не сделал никакого зла; Зденко не оторвал крылышек у бедной мухи, и, если б малое дитя захотело его убить, он дал бы себя убить малому дитяти. Но если ты хоть раз еще взглянешь на меня, вымолвишь одно слово, дочь зла, лгунья, австриячка, Зденко раздавит тебя, хотя бы ему и пришлось затем броситься в поток, чтобы смыть со своего тела и души пролитую им кровь.

Консуэло в ужасе пустилась бежать и почти у конца тропинки встретила крестьянина, который, видя ее, мертвенно бледную, словно спасающуюся от кого-то, спросил, не попался ли ей навстречу волк. Консуэло, желая выпытать, бывают ли у Зденко припадки буйного помешательства, сказала ему, что она встретила «невинного» и испугалась его.

— Вам нечего бояться «невинного», — улыбаясь ответил крестьянин, усмотревший в этом трусливость барышни: — Зденко не злой, он всегда или смеется, или поет, или рассказывает истории, никому непонятные, но все же прекрасные.

— Но иногда он сердится и тогда угрожает и бросает камни?

— Никогда, никогда! — ответил крестьянин. — Этого с ним не случилось и никогда не случится. Зденко нечего бояться: Зденко невинен, как ангел.

Несколько успокоившись, Консуэло решила, что крестьянин, пожалуй, и прав и что она неосторожно сказанным словом сама привела невинного Зденко в никогда не бывавший с ним до сих пор припадок бешенства. Она горько упрекала себя в этом.

— Я слишком поторопилась, — говорила она себе, — пробудила в мирной душе этого человека, лишенного того, что так гордо именуют разумом, неведомое ему страдание, которое теперь может снова пробудиться при малейшем поводе. Он был только маньяком, а я, кажется, довела его до сумасшествия.

Но ей стало еще тяжелее, когда она вспомнила о причине, вызвавшей гнев Зденко. Теперь уж не было сомнения, ее догадка о том, что Альберт скрывается где-то на Шрекенштейне, оправдалась. Но как тщательно и с какой подозрительностью оберегали Альберт и Зденко эту тайну даже от нее! И для



нее не делали исключения — значит, она не имела никакого влияния на графа Альберта. То наитие, благодаря которому он назвал ее своим утешением, то, что он призывал ее накануне символической песнью Зденко, то признание, которое он сделал идиоту относительно имени Консуэло — все это, значит, было минутной фантазией, а не глубоким, постоянным внутренним чувством, указывающим ему, кто именно его освободительница и утешительница. Самое имя «утешение», которое он произнес, как бы угадав, было простой случайностью. Она ни от кого не скрывала, что она испанка и владеет своим родным языком еще лучше, чем итальянским. И вот Альберт, упоенный ее пением, не зная другого слова, могущего более сильно выразить то, чего жаждала его душа, чем было полно его воображение, именно с этим словом обратился к ней на языке, которым владел в совершенстве и которого никто, кроме нее, не понимал.

Консуэло до сих пор не создавала себе необычайных иллюзий по этому поводу. Но в этой своеобразной, удивительной встрече чувствовался словно перст судьбы, и ее воображение было захвачено безотчетно.

Теперь возникал новый вопрос: забыл ли Альберт, переживая новую фазу восторженности, то вдохновенное чувство, с которым он относился к ней? Могла ли она, как тогда, принести ему облегчение и спасение? А Зденко, казавшийся ей таким толковым, готовым всячески помогать Альберту, не был ли он более безнадежно помешанным, чем это ей казалось? Исполнял ли он приказания своего друга или забывал о них, яростно запрещая ей подходить к Шрекенштейну?

— Ну что? — спросила ее тихонько по возвращении Амелия. — Удалось ли вам видеть Альберта, летящего в облаках заката? Не заставите ли вы его мощными заклинаниями вернуться сегодня ночью через дымовую трубу?

— Может быть, — недовольным тоном ответила Консуэло.

Первый раз в жизни ее самолюбие было так задето. Она вложила в свой замысел столько искренней самоотверженности, столько великодушного увлечения, что теперь она не могла не страдать, видя, как насмеются и издеваются над ее неудачей.

Весь вечер она была грустна, а канонисса, обратив внимание на происшедшую в ней перемену, приписала ее боязни Консуэло, что она дала повод разгадать пагубное чувство, зародившееся в ее сердце.

Канонисса странным образом заблуждалась. Если бы Консуэло почувствовала какой-либо проблеск новой любви, в ней не было бы ни той горячей веры, ни той святой смелости, которые до сих пор направляли и поддерживали ее. Наоборот, никогда, быть может, с такой горечью не переживала она свою прежнюю страсть, как теперь, когда она стремилась героическими подвигами и каким-то фанатическим человеколюбием заглушить ее.

Войдя вечером в свою комнату, она увидела на спинете старую книгу с золотым обрезом, украшенную гербом, в которой сейчас же признала книгу, взятую Зденко прошлой ночью из кабинета Альберта и унесенную им. Она

раскрыла ее на том месте, где была вложена закладка, и ей бросились в глаза первые слова покаянного псалма: «De profundis clamavi ad te, Domine» (Из глубины воззвал к тебе, Господи). Эти латинские слова были подчеркнуты, по-видимому, свежими чернилами, так как они отпечатались и на обороте следующей страницы. Она перелистала всю книгу, оказавшуюся старинной, так называемой Кралицкой Библией<sup>1</sup>, изданной в 1579 году, и нигде не нашла больше никакой заметки на полях, никакой записки. Но разве один этот крик, вырвавшийся из бездны, так сказать, из недр земли, не был сам по себе достаточно многозначителен и красноречив? Каково же было противоречие между настойчивым, определенным желанием Альберта и недавним поведением Зденко?

Консуэло остановилась на своем последнем предположении: Альберт, больной и удрученный, лежит в подземелье под Шрекенштейном, а Зденко, в своей безумной любви к нему, не выпускает его оттуда. Быть может, он жертва этого по-своему обожающего его сумасшедшего, который держит его в плену, разрешая лишь изредка взглянуть на свет Божий, и исполняет его поручения к Консуэло; когда же эти поручения увенчиваются успехом, он из какого-то необъяснимого каприза или страха противится всему.

«Ну так что же? — сказала она себе, — Пусть это будет действительно опасно, но я пойду туда; пусть глупцам и эгоистам кажется это смешным и глупым, а я все-таки пойду, рискуя даже быть оскорбленной равнодушием того, кто меня призывает. Но как можно обижаться, если он действительно не менее безумен, чем Зденко? Пожалев их обоих, я лишь исполню свой долг. Я повинуюсь гласу Бога, вдохновляющему меня, и его деснице, влекущей меня с неодолимой силой.

Возбужденное состояние, в котором она пребывала последние дни, сменившееся после злосчастной встречи со Зденко страшным упадком духа, снова охватило ее. Она снова почувствовала прилив сил, и душевных и физических. Утаив от Амелии и книгу, и свое возбужденное состояние, и свой план, весело поболтав с ней и дав ей заснуть, она отправилась к «источнику слез», захватив с собой потайной фонарь, раздобытый ею этим утром.

Прождала она довольно долго и из-за холода была принуждена несколько раз входить в кабинет Альберта, чтобы отогреть там свои окоченевшие члены. В этой комнате была масса книг, но они не стояли, как обыкновенно, на полках шкафов, а были точно с презрением и отвращением свалены на полу, как попало.

Консуэло решила заглянуть в них. Почти все были латинские, и она могла только догадываться, что они трактуют о религиозных спорах и изданы или одобрены римской церковью. Она пыталась было разобрать заглавия этих книг, как вдруг услышала ожидаемое клокотание воды в колодце. Закрыв свой фонарь, она бросилась туда, спряталась за балюстраду и стала ждать Зденко.

<sup>1</sup> *Кралицкая Библия* — первый полный перевод Библии на чешский язык в протестантском каноне. Отпечатана в городе Кралице-над-Ославой, от которого и происходит название.

На этот раз он не остановился ни в цветнике, ни в кабинете. Он прошел через обе комнаты и вышел из помещения Альберта, как узнала потом Консуэло, чтобы посмотреть и послушать у дверей молельни, а также у дверей спальни графа Христиана, молится ли старик в своем горе или спокойно спит. Эту заботливость, оказывается, он часто проявлял по собственной инициативе, без приказа Альберта, как мы увидим это из дальнейшего.

Консуэло больше не колебалась, что делать. Все было решено заранее. Больше она уж не надеялась ни на рассудок, ни на благожелательность Зденко; она хотела добраться одна до того, кого считала пленником, одна, без всякого стража. Несомненно, между замком и Шрекенштейном существовал только один подземный ход. Если этот путь был труден или опасен, то, во всяком случае, по нему можно было пройти, раз Зденко там путешествовал каждую ночь. Конечно, тут был особенно важен свет, и Консуэло запаслась свечами, куском железа, трутом и кремнем, чтобы в случае надобности иметь возможность высечь огонь. Рассказ, слышанный ею от канониссы об осаде, выдержанной когда-то в замке Тевтонским орденом, внушал ей убеждение, что она сможет подземным ходом добраться до Шрекенштейна. По словам Венцеславы, у этих рыцарей был в самой их трапезной колодец, питаемый водою из соседних горных источников. Когда их шпионам надо было выходить для наблюдения за неприятелем, вода из колодца выпускалась, и они проходили подземным ходом в деревню, подвластную этой крепости. Консуэло помнила, что, по местным преданиям, деревня, расположенная на холме, прозванном со времени пожара Шрекенштейн, была подчинена Крепости Великанов и во время осады поддерживала с ней тайные отношения. Стало быть, упорно разыскивая потайной ход, она имела для этого серьезное основание и действовала вполне логично.

Она воспользовалась отсутствием Зденко, чтобы спуститься в водоем. Но перед этим, опустившись на колени, она поручила свою душу Богу, наивно осенила себя крестом, как тогда, за кулисами театра Сан-Самуэле, перед своим первым выходом на сцену; затем храбро стала спускаться по крутой винтовой лестнице, отыскивая в стене те точки опоры, которыми, как она видела, пользовался Зденко, стараясь при этом не смотреть вниз, во избежание головокружения. Благополучно добравшись до железной цепи и взявшись за нее, она почувствовала себя более уверенной, и у нее хватило хладнокровия заглянуть на дно водоема. Там стояла еще вода, что взволновало было Консуэло, но сейчас же у нее мелькнула мысль, что хотя водоем, быть может, и очень глубок, но выход из подземелья, откуда появлялся Зденко, должен быть недалеко от поверхности земли. Она уже спустилась с пятидесяти ступенек с той ловкостью и живостью, которой нет у девиц, воспитанных в гостиных, но которая у детей народа вырабатывается среди игр и сохраняется на всю жизнь. Единственной угрожающей опасностью было поскользнуться на сырых ступеньках. Но Консуэло заранее нашла в каком-то углу валявшуюся старую шляпу с большими полями, которую долго носил на охоте барон Фридрих.

Она выкроила из нее подошвы и подвязала их шнурками к своим ботинкам наподобие котурн<sup>1</sup>. В последнюю ночную экскурсию Зденко она заметила подобное приспособление на его ногах. На таких войлочных подошвах Зденко бесшумно двигался по коридорам замка, почему ей и казалось, что он скользил подобно тени, а не шагал, как человек. В былое время у гуситов было принято перед внезапным нападением на врага обувать таким образом не только своих шпионов, но даже и коней.

Возле пятидесят второй ступеньки Консуэло увидела каменную плиту пошире и низкий стрельчатый свод. Не задумываясь, она вошла в него и, согнувшись, пробралась в узкую, низкую подземную галерею, необычайно прочно сделанную рукой человека, еще всю мокрую от только что схлынувшей воды. Шла она по ней в течение пяти минут без всяких препятствий, не испытывая никакого ужаса, но вдруг ей как будто послышался сзади какой-то слабый шум. Быть может, это Зденко уже спускался, направляясь на Шрекенштейн. Но она была намного впереди его и еще прибавила шаг, чтобы опасный спутник не догнал ее. Он никак не мог заподозрить, что она идет впереди. У него также не было оснований, думалось ей, спешить, а пока он будет распевать свои жалобные песни и бормотать свои бесконечные сказки, она успеет дойти до Альберта и найти в нем защиту.

Услышанный ею шум стал усиливаться и уже походил на грохот бурно несущихся вод. Что же могло случиться? Не догадался ли Зденко о ее намерении? Не открыл ли он шлюзы, чтобы задержать ее и утопить? Но сделать это он мог, лишь выйдя оттуда сам, а он несомненно был позади нее. Мысль эта, однако, не очень ее успокоила. Зденко был способен скорее пожертвовать жизнью, утонуть вместе с нею, чем допустить, чтобы убежище Альберта было открыто. Между тем на всем своем пути Консуэло не заметила ни лопатки, ни шлюза, ни камня — ничего, чем можно было бы задержать воду и затем спустить ее. Вода могла быть только впереди ее, а между тем шум слышался сзади, и он все рос, усиливался, приближался с громовым грохотом.

Вдруг Консуэло с ужасом заметила, что галерея вместо того, чтобы подниматься, опускается, — сначала постепенно, а затем все круче и круче. Несчастная ошиблась дорогой! Впопыхах и из-за густого пара, поднимавшегося со дна колодца, она не заметила другой арки, гораздо шире, находившейся как раз напротив той, в которую она вошла. Она попала в канал, служивший отливом для воды колодца, вместо того чтобы подняться по другому, который вел к резервуару или к источнику. Зденко, идя именно по той дороге, преспокойно открыл шлюзы: вода ринулась водопадом на дно колодца и, наполнив его до отлива, уже устремилась в галерею, по которой мчалась Консуэло вне себя, похолодев от ужаса. Вскоре и эта галерея, в которую поступал излишек воды, должна была в свою очередь наполниться. Свод, еще совсем мокрый, говорил о том, что вода заполняет его доверху, что спасения нет

<sup>1</sup> *Котурн* — обувь древнегреческих актеров с очень толстой подошвой для повышения роста.





*Вода ринулась водопадом на дно колодца  
и, наполнив его до отлива, уже устремилась в галерею,  
по которой мчалась Консуэло вне себя, похолодев от ужаса.*



и, как ни мчись несчастная беглянка, ей все равно не спастись от несущегося позади нее бурного потока. Воздух уже вытеснялся массой, приближавшейся со страшным шумом воды. Удушливый жар прерывал дыхание и как бы приостанавливал жизнь, вселяя ужас и отчаяние.

Уже грохот разъяренной воды раздавался в ушах Консуэло совсем близко, уже рыжеватая пена, зловещий предвестник потока, появилась на вымощенном полу галереи и опередила еле движущуюся, растерявшуюся жертву.

## XLI

— О мать моя! — воскликнула она, — открой мне свои объятия! Андзо-лето! Я так тебя любила! Боже мой! Вознагради меня в лучшей жизни!

Едва успел вырваться из груди Консуэло этот вопль предсмертной тоски, как она споткнулась и ударилась о незамеченное ею препятствие. Какая неожиданность! Какая милость Божья! Это узкая крутая лестница, поднимающаяся куда-то вверх подzemелья, и Консуэло летит по ней на крыльях страха и надежды. Свод нависает над самой ее головой; поток несется, ударяется о лестницу, по которой Консуэло уже успела взойти, заливая первые десять ступенек, обдаёт по самые щиколотки быстро убегающие от него ноги девушки и, наконец достигнув до верха низкого свода, оставшегося уже позади Консуэло, со страшным шумом свергается в глубокий резервуар, над которым на крошечной площадке очутилась юная героиня, добравшись сюда ползком, в потемках: страшный порыв ветра, пронесшийся перед вторжением воды, задул ее фонарь. Консуэло валится на последнюю ступеньку; поддерживаемая все время инстинктом самосохранения, она еще не знает, спасена ли она или шумящий водопад — это новая грозящая ей опасность, а холодные брызги, обдающие ее волосы, — это распростертая над нею рука смерти.

Между тем мало-помалу резервуар наполняется, и обильные воды источника несутся дальше в недра земли по другим, глубже проходящим отливам. Шум затихает, пары рассеиваются; в подземелье слышится звонкое журчанье воды, скорее благозвучное, чем страшное. Дрожащей рукой Консуэло удаётся снова зажечь фонарь. Сердце еще сильно бьется в груди, но мужество уже вернулось к ней. На коленях благодарит она Бога и свою мать и наконец оглядывается кругом, направляя дрожащий свет фонаря на предметы, окружающие ее.

Обширный, созданный природою грот возвышается сводом над пропастью, наполняемой водою из дальнего источника Шрекенштейна. Пропасть эта так глубока, что воды в ней не видно; если же бросить туда камень, он катится две минуты и ныряет с шумом, напоминающим пушечный выстрел. Долго потом эхо пещеры повторяет этот звук, а зловещее клочкотание неви-

димой воды, точно лай какой-то адской своры, длится еще того дольше. Высеченная в одной из скалистых стен грота узкая тропинка вьется над пропастью и углубляется в другую темную галерею, идущую вверх, отклоняясь от потока. Это путь, открывающийся Консуэло. Другого нет: вода залила и совершенно закрыла ту дорогу, по которой она сюда пришла. Не ждать же ей тут возвращения Зденко? Здесь убийственно сыро, свет фонаря уже бледнеет, меркнет, грозит совсем потухнуть, а его потом уж, конечно, не зажечь.

Консуэло не падает духом, хотя прекрасно понимает, что это не путь на Шрекенштейн. Эти подземные галереи, открывающиеся перед ней, — игра природы: они или тупики, или ведут в лабиринт, откуда нет выхода. Все-таки она решается по ним идти хотя бы для того, чтобы найти себе более здоровое убежище до будущей ночи. А там снова появится Зденко, он остановит поток, галерея опорожнится, и пленница сможет выбраться отсюда и снова увидеть над собой светящиеся звезды.

Итак, Консуэло с новыми силами стала углубляться в тайники подземелья. На этот раз она очень внимательно приглядывалась ко всем изменениям почвы и все устремлялась вверх, не соблазняясь более просторными и прямыми на вид галереями, попадавшимися ей на каждом шагу. Она была уверена, что, действуя именно так, не наткнется на поток и сможет вернуться назад.

Она шла среди тысячи препятствий: громадные камни загромождали ей дорогу, ранили ноги, огромные летучие мыши, вспугнутые светом фонаря, целыми стаями бились вокруг него и, точно духи тьмы, носились над странницей. Но с каждым новым ужасом она чувствовала новый прилив мужества. Иногда ей приходилось то перебираться через гигантские каменные глыбы, то проходить под еле державшимися над ее головою растрескавшимися скалами; иногда же свод так суживался и понижался, что ей надо было ползти в разреженном горячем воздухе, чтобы пробраться.

Так шла она с полчаса, как вдруг у одного узкого прохода, где, несмотря на всю свою стройность и гибкость, она едва смогла пройти, она попала из огня да в полымя, очутившись лицом к лицу со Зденко; сначала страшно удивленным, похолодевшим от ужаса, а затем негодующим, разъярившимся, угрожающим, — таким, каким она уже его видела однажды.

В этом лабиринте, среди всех этих бесчисленных препятствий, при мерцающем свете фонаря, то и дело угасавшего от недостатка воздуха, о бегстве нечего было и думать. Консуэло решила защищать свою жизнь против покушения на убийство.

С пеной у рта, с безумными глазами Зденко, очевидно, на этот раз не думал ограничиться одними угрозами. Внезапно он принял необычайно свирепое решение: он стал собирать огромные камни и наваливать их один на другой между собой и Консуэло, чтобы замуровать узкую галерею, где она находилась. Таким образом, он был уверен, что, не спуская воды в течение нескольких дней, он уморит ее голодом, — так пчела, найдя в своей ячейке назойливого шершня, залепливает воском вход в нее.



*Внезапно он принял необычайно свирепое решение:  
он стал собирать огромные камни и наваливать их один на другой  
между собой и Консуэло, чтобы замуровать узкую галерею,  
где она находилась.*

Но Зденко сооружал стену из гранита, и сооружал ее с неимоверной быстротой. Атлетическая сила, которую проявлял этот на вид худой, истощенный человек, поднимая и наваливая эти глыбы, слишком красноречиво говорила Консуэло о том, что здесь сопротивление немислимо и что лучше было бы вернуться назад, в надежде найти какой-нибудь другой выход, чем доводить его до последней степени ярости. Она попробовала растрогать его, уговорить, покорить своими речами.

— Зденко, — говорила она, — что ты делаешь, безумец? Моей смерти Альберт тебе не простит. Альберт ждет и зовет меня. Я ведь друг его, его утешение, его спасение. Губя меня, ты этим губишь своего друга и брата.

Но Зденко, боясь покориться ее словам и твердо решив продолжать начатое дело, запел на родном языке веселую, залихватскую песню, не переставая в то же время возводить свою циклопическую стену.

Еще один камень, и все будет кончено. Консуэло с ужасом глядела на него.

«Никогда, — думала она, — не разрушить мне такой стены: тут нужны руки великана».

Последний камень был положен, но вскоре она заметила, что Зденко принимается за вторую стену, прислонив ее к первой. Очевидно, целая крепость воздвигалась между нею и Альбертом. А Зденко все продолжал петь и, казалось, наслаждался своей работой.

Вдруг чудесная мысль осенила Консуэло. Ей пришла в голову та еретическая формула, которую ей перевела Амелия и которая так возмутила капеллана.

— Зденко! — крикнула она ему по-чешски сквозь щель разделяющей их стены. — Друг Зденко! «Обиженный да поклонится тебе».

Едва успела она произнести эти слова, как они оказали на Зденко магическое действие: выронив из рук огромный камень, он начал с тяжким вздохом разбирать свою стену еще более поспешно, чем складывал; окончив, он протянул руку Консуэло и молча помог ей перебраться через нагроможденные глыбы камней, после чего внимательно посмотрел на нее, странно вздохнул и, передавая ей три ключа на красной ленте и указывая в то же время на лежащую перед ней дорогу, проговорил:

— «Обиженный да поклонится тебе».

— А ты разве не хочешь быть моим проводником? — спросила она. — Доведи меня до твоего хозяина.

Зденко покачал головой.

— У меня нет хозяина, — возразил он, — у меня был друг. Ты отнимаешь его у меня. Веление судьбы свершилось. Иди, куда направляет тебя Господь. Я же буду плакать здесь, пока ты не вернешься.

Сев на груду камней, он закрыл лицо руками и не захотел больше вымолвить ни единого слова.

Консуэло не стала тратить времени на его утешение. Она боялась, как бы снова в нем не пробудилась злая воля, и, пользуясь своим временным влиянием и зная теперь, что она на верной дороге к Шрекешштейну, стрелой



помчалась вперед. Во время своего мучительного хождения по неведомым галереям Консуэло мало подвинулась, так что Зденко, идя несравненно более длинной, но недоступной для воды дорогой, встретился с ней на месте соединения двух подземелий: одного — искусно высеченного в скалах человеческой рукой, другого — безобразного, причудливого, переполненного всякими опасностями творения природы; оба они шли кольцом под холмом, на котором возвышался замок с его службами. Консуэло не подозревала, что в эту минуту она находилась под парком замка и, миновав все его ворота и рвы, шла по дороге, где никакие запоры и ключи канониссы не могли ее остановить.

Пройдя некоторое расстояние по новой дороге, она призадумалась, не лучше ли ей вернуться, отказавшись от предприятия, переполненного такими препятствиями и едва не ставшего для нее роковым. Ведь впереди, может быть, ждут ее еще новые опасности?.. У Зденко снова мог возродиться его злобный умысел. А что, если он пустится за ней вдогонку? Что, если опять он соорудит стену, чтобы отрезать ей путь к возвращению? А откажись она от своего намерения и попроси Зденко очистить ей дорогу к колодцу и выпустить из него воду, чтобы можно было выбраться на свет Божий, тогда, конечно, много шансов на то, что он отнесется к ней сочувственно и доброжелательно. Но она была еще слишком под впечатлением пережитых ужасов, чтобы решиться снова встретиться с этим безумцем. Страх, внушенный им, все нарастал, по мере того как она удалялась от него. И вот, сумев с удивительным присутствием духа справиться с его местью, она теперь была близка к обмороку, только представляя себе эту месть. И Консуэло пустилась бежать от Зденко, не имея мужества еще раз попробовать смягчить его и стремясь лишь найти одну из тех волшебных дверей, от которых он дал ей ключи, чтобы поскорее создать преграду между собой и его безумием.

Но не отнесется ли Альберт, другой безумец, которого она так настойчиво и безрассудно воображала кротким и сговорчивым, к ней так же, как и Зденко? Все здесь было покрыто мраком неизвестности, и Консуэло, очнувшись от своего романтического увлечения, спрашивала себя, не она ли самая безумная из всех трех, она, бросившаяся в эту бездну тайн и опасностей, далеко не будучи уверенной в благоприятном исходе. Между тем она продолжала идти по обширному подземелью, великолепно сооруженному сильными руками людей средневековья. Это была галерея, сделанная в скалах, низкая и стрельчатая, стильная и правильная. Породы менее твердые, меловые жилы, и вообще все места, грозившие обвалами, поддерживались подпорными стенами, сложенными из четырехугольных гранитных плит. Консуэло не теряла времени на созерцание этого громадного сооружения, могущего при своей прочности простоять еще целые века. Также не интересовалась она вопросами, как могут теперешние владельцы замка не подозревать о существовании такого удивительного сооружения. Она могла бы легко объяснить себе это, припомнив, что все исторические документы и этой семьи, и этого поместья были сожжены иезуитами в эпоху реформации в Богемии — более



ста лет тому назад. Но она не глядела по сторонам и почти ни о чем не думала, кроме своего спасения, радуясь, что дорога ровная, что есть воздух для дыхания и что можно беспрепятственно бежать вперед. До Шрекенштейна оставалось еще порядочное расстояние, хотя этот подземный путь и был гораздо короче идущей туда же извилистой горной тропинки. Эта дорога казалась ей бесконечной, и, не имея возможности ориентироваться, она даже не знала, ведет ли она на Шрекенштейн или куда-нибудь дальше.

После четверти часа ходьбы она увидела, что свод опять стал выше и исчезли всякие следы архитектурной работы. Хотя и эти громадные каменоломни и величественные гроты, через которые проходила Консуэло, были также созданы человеческими руками, но, заросшие растительностью, наполнявшиеся благодаря многочисленным щелям свежим воздухом, они не имели такого мрачного вида, как галереи. Здесь была тысяча возможностей укрыться и избежать преследования разъяренного врага. Вдруг шум бегущей воды заставил Консуэло вздрогнуть, и, если в подобном положении ей было бы до шуток, она призналась бы самой себе, что никогда барон Фридрих по возвращении с охоты не относился с большим отвращением к воде, чем она в эту минуту. Однако скоро она уже могла сообразить: ведь с тех пор, как она покинула пропасть, в ту минуту, когда едва не потонула, она все время поднималась в гору. В распоряжении Зденко должна была бы находиться гидравлическая машина невероятного размера и силы, чтобы он мог поднять своего ужасного союзника, то есть поток, до того места, где находилась Консуэло. Очевидно, что она должна где-то встретиться с текущей из источника водой — со шлюзами или с самим источником. Если бы она была в состоянии рассуждать, она даже удивилась бы, не видя до сих пор на своем пути этого таинственного «источника слез», питающего водоем.

Дело в том, что источник этот имел начало в неведомых горных жилах, а галерея, пересекавшая его под прямым углом, встречалась с ним сначала около колодца, а потом около Шрекенштейна, где пришлось встретиться с ним и Консуэло. Шлюзы оставались далеко позади нее на дороге, по которой шел Зденко один. Консуэло же теперь приближалась к источнику.

Тропинка, усыпанная свежим мелким песком, тянулась подле этой прозрачной, чистой воды, протекавшей, тихо журча, между довольно крутыми берегами. Здесь снова была видна рука человека. Дорожка была проделана по откосу плодородной земли: прекрасные водяные растения, громадные лиственницы, дикий терновник в цвету, несмотря на суровое время года, обрамляли ручей своей зеленью. Наружного воздуха, проходившего сюда через массу щелей, было достаточно для жизни растений, но самые щели были слишком узки, чтобы сквозь них мог проникнуть сюда любопытный взор. Это было нечто вроде естественной теплицы: своды защищали ее от снега и холода, а воздух освежался благодаря тысячам незаметных отдушин. Казалось, чья-то заботливая рука охраняла жизнь этих чудных растений и выбирала из песка камни, выбрасываемые водой на берег; и это предположение не было

ошибочно: Зденко постарался сделать приятной, удобной и безопасной дорогу к убежищу Альберта.

Консуэло, все еще взволнованная пережитыми ужасами, начала ощущать благотворное влияние менее мрачной и даже поэтической обстановки. При виде бледных лучей луны, пробивавшихся там и сям сквозь расщелины скал и преломлявшихся в струящейся воде, ощущая порой дуновение лесного воздуха, она сознавала себя все ближе и ближе к поверхности земли, чувствовала, что оживает, а встреча, предстоявшая в конце ее героического паломничества, рисовалась ей уже в менее мрачных красках. Наконец она увидела, что тропинка, вдруг круто повернув от берега, направляется в короткую галерею, заново выложенную камнями, и обрывается у маленькой двери. По этой двери, казавшейся вылитой из металла, до того была она холодной, красиво вилялся плющ.

Когда Консуэло поняла, что настал конец ее испытаниям и колебаниям, когда она прикоснулась своей усталой рукой к этому последнему препятствию, которое сейчас же могло быть устранено, так как ключ от этой двери был в другой ее руке, она вдруг смутилась, почувствовав прилив такой робости, которую труднее было побороть, чем все пережитые ужасы. Итак, ей предстоит проникнуть одной в место, скрытое от всех взоров, от всех человеческих помыслов, чтобы нарушить сон или мечты человека, которого она едва знает, который ей не отец, не брат, не муж, человека, который, быть может, и любит ее, но которого сама она не могла и не хотела любить.

«Бог направил и привел меня сюда среди самых ужасных опасностей, — говорила она себе. — Я добралась сюда скорее по его воле, чем благодаря его покровительству. Я пришла сюда с пламенной душой, с решением, неисполненным милосердия, со спокойным сердцем, с чистой совестью, с полным бескорытием. Быть может, здесь ждет меня смерть, но эта мысль не страшит меня. Моя жизнь тяжка, и я лишусь ее без особенного сожаления; я только что убедилась в этом: вот уже целый час, как я считаю себя приговоренной к ужасной смерти и отношусь к этому с таким спокойствием, которого я от себя даже не ожидала. Быть может, это милость, которую Господь мне посылает в мою последнюю минуту. Быть может, я погибну под ударами разъяренного безумца, но я иду на это с твердостью мученицы. Я горячо верю в загробную жизнь и чувствую, что если я паду здесь жертвою самоотвержения, пожалуй, и ненужного, но вызванного моей верой, я буду вознаграждена в лучшем мире. Но что же меня останавливает? Почему же я так страшно смущена, точно собираюсь совершить дурной поступок и краснеть перед тем, кого я пришла спасти?»

Вот как Консуэло, слишком целомудренная, чтобы сознавать свое целомудрие, боролась сама с собой, почти обвиняя себя в своих утонченных переживаниях. Ей даже не приходило в голову, что она может подвергаться опасности более для нее ужасной, чем смерть. Ее целомудрие просто не допускало, что она может стать добычей животной страсти безумца. Но она инстинктивно

боялась, что поступок ее может быть объяснен менее возвышенными побуждениями, чем это было на самом деле. И все-таки она вложила ключ в замок, но, сделав это, раз десять собиралась его повернуть и все не решалась; страшная усталость, общий упадок сил мешали ей проявить решимость в тот момент, когда решимость эта должна была быть вознаграждена: на земле — актом великого милосердия, на небе — мученической кончиной.

## XLII

Наконец она решилась. У нее было три ключа. Значит, надо было пройти через три двери и две комнаты, чтобы добраться до того места, где, как она предполагала, находился пленный Альберт. У нее было еще время остановиться, почувствуй она, что силы ей изменяют. Она сперва вошла в комнату со сводом, где не было никакой мебели, кроме ложа из сухого папоротника, на которое была брошена баранья шкура. Пара башмаков старинного фасона, совсем изношенных, указала ей, что это спальня Зденко. Тут же она узнала маленькую корзиночку, принесенную ею с фруктами на скалу Ужаса, наконец исчезнувшую оттуда через два дня. Консуэло решилась открыть вторую дверь, заперев предварительно первую, так как она все еще с ужасом представляла себе возможность возвращения свирепого хозяина этого помещения. Вторая комната, куда она вошла, была, как и первая, со сводом, но стены были обиты циновками и плетенками из прутьев, покрытыми мхом. Печка давала достаточно тепла, и, вероятно, из ее трубы временами вылетали искры, отблеск которых давал загадочный свет, виденный Консуэло на вершине Шрекенштейна.

Ложе Альберта, как и ложе Зденко, было сделано из сухих листьев и трав, но Зденко покрыл его великолепными медвежьими шкурами, несмотря на требования Альберта соблюдать полное между ними равенство, требование, которое из-за страстной нежности к своему другу Зденко не всегда выполнял. Консуэло встретила в этой комнате Цинабра; собака, услышав, как повернулся ключ в замке, наострила уши и с глазами, полными беспокойства, расположилась у порога. Цинабр был особенным образом воспитан своим хозяином: это был друг, а не сторож. Ему с самого раннего детства было так строго запрещено рычать и лаять на кого бы то ни было, что он совсем утратил эту естественную для его породы привычку. Но, конечно, подойди к Альберту кто-либо с недобрыми намерениями, у Цинабра нашелся бы голос, а напади кто-либо на его хозяина, он стал бы яростно его защищать. Осторожный и осмотрительный, как настоящий пустынный, он никогда не поднимал ни малейшего шума понапрасну, не обнюхав и не рассмотрев хорошенько человека. Он подошел к Консуэло и посмотрел на нее проницательным взглядом, в котором было что-то человеческое, обнюхал ее платье и в особенности руку, в которой она долго держала данные ей Зденко ключи; совершенно успокоенный, помня

о прежнем приятном знакомстве с Консуэло, он положил ей на плечи свои огромные косматые лапы, размахивая и постукивая об пол своим великолепным хвостом.

Оказав ей такой степенный и почетный прием, он снова улегся на медвежью шкуру, покрывавшую ложе его хозяина, и по-стариковски, лениво растянулся, не переставая, однако, следить глазами за каждым шагом, за каждым движением пришедшей. Прежде чем решиться подойти к третьей двери, Консуэло окинула взглядом обитель отшельника, стремясь по ней получить представление о душевном состоянии живущего тут человека. Никаких признаков ни сумасшествия, ни отчаяния она не нашла. Здесь царила чистота и даже своеобразный порядок. Плащ и костюм висели на рогах зубра, — эту диковинку Альберт вывез из дебрей Литвы, и она заменяла ему вешалку, — его многочисленные книги были аккуратно расставлены на полках из необделанных досок, украшенных со вкусом артистической рукой большими зелеными ветвями. Стол и два стула были из того же материала и такой же работы. Гербарий, тетради старинных нот, совершенно неизвестные Консуэло, со славянскими заглавиями и текстом, еще красноречивее говорили о мирных, простых и серьезных занятиях анахорета. Железная лампа, редкая по своей древности, висела посреди свода и освещала это меланхолическое святилище, где царила вечная ночь.

Консуэло обратила внимание еще на то, что здесь не было никакого оружия. Несмотря на страсть богатых обитателей здешних лесов к охоте и ко всяким роскошным охотничьим принадлежностям, у Альберта не было ни одного ружья, ни одного ножа, и его старая собака никогда не была обучена «великой науке», благодаря чему барон Фридрих всегда с презрением и жалостью смотрел на Цинабра. У Альберта было отвращение к крови, и хотя, по-видимому, он менее, чем кто-либо, пользовался жизнью, он чувствовал к ней безграничное, какое-то даже религиозное уважение. Он был не в силах лишить жизни самое ничтожное творение и не мог видеть, чтобы на его глазах делали это другие. Интересуясь всеми естественными науками, он занимался только минералогией и ботаникой. Энтомология уже казалась ему слишком жестокой наукой, и он никогда не смог бы ради своей любознательности пожертвовать жизнью насекомого.

Консуэло знала об этих особенностях Альберта и вспомнила о них, увидав принадлежности его невинных занятий.

«Нет, мне нечего бояться такого кроткого, мирного существа, — сказала она себе: — это келья святого, а не убежище сумасшедшего». Но чем более она успокаивалась относительно его душевной болезни, тем более чувствовала себя смущенной и сконфуженной. Она почти готова была жалеть, что здесь не безумец и не умирающий. Мысль, что она сейчас появится перед настоящим человеком, делала ее все более и более нерешительной.

Она постояла так несколько минут в раздумье, не зная, каким образом дать знать о себе, как вдруг до нее донеслись чуждые звуки. Это скрипка Стра-

дивариуса пела дивные мелодии — величественные, грустные, извлекаемые истинно музыкальной и искусной рукой. Никогда еще Консуэло не слышала ни такой совершенной скрипки, ни виртуоза, столь простого и трогательного. Мелодия ей была незнакома, но, судя по ее странным, наивным формам, она решила, что этот напев, должно быть, древнее всего того, что ей было известно из старинной музыки. Она слушала с восторгом, и теперь ей стало ясно, отчего Альберт так хорошо понял ее после первой пропеты ею фразы. У него было истинное понимание настоящей, великой музыки. Он мог не быть ученым музыкантом, не знать всех блестящих средств этого искусства, но в нем была искра Божия, понимание, любовь к прекрасному. Когда он закончил, Консуэло, совершенно успокоенная, чувствуя к нему еще большую симпатию, чем раньше, уже собралась постучать в дверь — последнюю преграду, как эта дверь медленно отворилась, и перед нею появился молодой граф, со взором, устремленным в землю, держа в опущенных руках скрипку и смычок. Выглядел он страшно бледным, волосы и костюм его были в таком беспорядке, какого Консуэло еще не видела. Его озабоченность, подавленный, удрученный вид, растерянность движений — все говорило если не о расстройстве ума, то, во всяком случае, об ослаблении воли.

Он казался одним из тех безмолвных, лишенных памяти призраков, которые, по поверию славян, входят ночью в дома и там машинально, без смысла и цели, инстинктивно делают то, что делали раньше в жизни, причем не узнают и не видят ни своих друзей, ни своих слуг, а те или убегают или молча, похолодев от ужаса и удивления, смотрят на них. То же самое испытала и Консуэло, видя, что граф Альберт не замечает ее, хотя она и стояла от него всего в двух шагах. Цинабр поднялся и стал лизать руку хозяина. Альберт что-то дружески сказал ему по-чешски, а затем, следуя взором за собакой, которая подошла, ласкаясь, к Консуэло, перевел глаза на ноги девушки, обутые в эту минуту почти так же, как ноги Зденко, стал внимательно их рассматривать и, не поднимая головы, произнес на родном языке несколько слов, которых она не поняла, но они походили на просьбу и заканчивались ее именем.

Найдя его в таком состоянии, Консуэло почувствовала, что ее робость окончательно исчезла. Полная сострадания, она теперь видела в нем только больного с истерзанной душой, который, не узнавая, все-таки зовет ее; и смело, доверчиво положив руку на руку молодого человека, она произнесла по-испански своим чистым, проникающим в душу голосом:

— Вот и Консуэло.

Не успела Консуэло произнести свое имя, как граф Альберт, подняв глаза и глядя ей прямо в лицо, вдруг сразу изменился. Он выронил на пол свою драгоценную скрипку с таким безразличием, сквозь которое проглядывала страшная скорбь, и сложил набожно руки.

— Бедная моя Ванда, наконец-то вижу я тебя в этом месте изгнания и муки! — воскликнул он, так тяжело вздыхая, что, казалось, грудь его готова разорваться. — Моя дорогая, дорогая и несчастная сестра, злополучная жертва,



отомщенная мной слишком поздно, я не сумел защитить тебя. О, ты знаешь, что злодей, тебя опозоривший, погиб в мученьях и что моя рука безжалостно обогрилась кровью его соучастников. Я глубоко пустил кровь у проклятой церкви. В кровавых потоках смыл я бесчестие твое, мое и нашего народа. Чего же хочешь ты еще, беспокойная и мстительная душа? Времена рвения и гнева миновали, теперь настали дни раскаяния и искупления, требуй от меня молитв, слез, но не крови. Отныне я чувствую к ней отвращение, не хочу больше ее проливать... Нет, нет, ни одной капли крови. Ян Жижка будет наполнять свою чашу только неиссякаемыми слезами и горькими рыданиями.

Альберт, говоря это, с блуждающим взором, с возбужденным лицом быстро двигался вокруг Консуэло, с ужасом пятясь назад каждый раз, когда она порывалась прервать его странное заклинание. Консуэло не пришлось долго раздумывать, чтобы понять, куда направляется его припадок безумия. Она столько слышала рассказов о Яне Жижке, что не могла не знать, что у этого грозного фанатика была сестра, монахиня, что сестра эта умерла в своем монастыре от стыда и горя, будучи обесчещена одним гнусным монахом, и что после этого вся жизнь Жижки была одной долгой, великой мезью за это преступление.

Очевидно, в эту минуту Альберт, неизвестно под влиянием какой ассоциации идей вернувшись к своей доминирующей фантазии, что он Ян Жижка, обращался к ней, как к призраку Ванды, своей злосчастной сестры. Консуэло решила не выводить его сразу из этого заблуждения.

— Альберт, — начала она, — ведь твое имя уже не Ян и мое не Ванда; взгляни на меня хорошенько и согласись, что я, как и ты, изменилась и лицом и характером. Я пришла к тебе именно для того, чтобы напомнить как раз то, что ты только что сам сказал мне. Да, времена рвения и гнева миновали. Правосудие людское больше чем удовлетворено, и я явилась возвестить тебе о правосудии Божьем. Господь повелевает нам простить и забыть. Упорство, с которым ты пользуешься своим даром, не данным другим людям, чтобы со всеми подробностями переживать ужасные, мрачные сцены своих прежних существований, это упорство, повторяю, оскорбляет Бога, и он лишает тебя этого дара, так как ты злоупотреблял им. Слышишь ли ты меня, Альберт, и понимаешь ли ты меня теперь?

— О мать моя! — воскликнул Альберт, бледный, дрожащий, падая на колени и все еще с бесконечным ужасом смотря на Консуэло. — Я слышу вас и понимаю ваши слова; вижу, что вы преображаетесь, чтобы убедить меня и заставить покориться. Нет, вы больше не Ванда Жижка, поруганная девственница, стонущая монахиня, а вы — Ванда Прахалиц, которую люди звали графиней фон-Рудольштадт, носившая в утробе своей того злосчастного, которого теперь они зовут Альбертом.

— Не по произволу людскому зоветесь вы так, — с твердостью возразила Консуэло, — это Господь заставил вас возродиться в других условиях, возложив на вас другие обязанности. Этих обязанностей, Альберт, вы

либо не знаете, либо презираете их. С нечестивой гордыней углубляясь в прошлые века, вы стремитесь проникнуть в тайны судеб; обнимая взором настоящее и прошедшее, вы приравниваете себя к божеству. Говорю вам, — истина и вера вдохновляют меня: эти мысли, постоянно возвращающиеся к прошлому, — преступление, дерзость. Та сверхъестественная память, которую вы себе приписываете, — фантазия. Вы принимаете какие-то слабые, мимолетные проблески за нечто достоверное, а ваше воображение обманывает вас. Вы в своей гордыне воздвигаете целое призрачное сооружение, приписывая себе самые выдающиеся роли в истории ваших предков. Берегитесь: быть может, вы совсем не то, что воображаете. Дабы наказать вас, вечное знание, быть может, раскроет вам на мгновение глаза, и вы увидите в своей прежней жизни преступления, менее славные, и поводы, менее доблестные для раскаяния, чем те, которыми вы хвастаетесь.

Альберт выслушал эту речь с боязливо-сосредоточенным видом, стоя на коленях и закрыв лицо руками.

— Говорите! Говорите! Голос неба! Я вас слышу, но не узнаю, — прошептал он подавленным голосом. — Если вы — ангел горы, если вы, как мне кажется, — небесное видение, появлявшееся мне так часто на скале Ужаса, — говорите, приказывайте моей воле, моей совести, моему воображению. Вы знаете, я тоскую по свету, и если я блуждаю во тьме, то только потому что хочу рассеять ее, чтобы добраться до вас.

— Немного смирения, доверия и покорности вечным канонам. Мудрость доступна людям; вот истинный путь для вас, Альберт, — сказала Консуэло, — отрешитесь в вашей душе, и отрешитесь непоколебимо, раз и навсегда, от желания познать то, что вне вашего временного, предначертанного вам существования, и Бог снова будет доволен вами, вы снова станете полезны для других, снова будете в мире с самим собой. Бросьте вашу науку, полную гордыни, и не теряйте веры в бессмертие, не сомневайтесь в милосердии Божьем: оно прощает прошлое и покровительствует будущему; старайтесь сделать плодотворной, человеческой вашу настоящую жизнь, презираемую вами, в то время как вы должны были бы уважать ее, отдавшись этому самоотверженно, всем существом своим, всеми силами, со всем присущим вам милосердием. А теперь, Альберт, взгляните на меня, и пусть ваши глаза прозрят. Я не сестра ваша, не мать: я друг, которого посылает вам небо, приведшее меня сюда чудесными путями, чтобы вырвать вас из пут безумия и гордыни. Смотрите на меня и скажите по совести, кто я и как меня зовут.

Альберт, дрожащий и растерянный, подняв голову, снова взглянул на нее, и во взгляде его было меньше безумия и ужаса, чем раньше.

— Вы заставляете меня перешагнуть через пропасти, — сказал он ей. — Вы своими глубокомысленными словами смущаете мой разум, а ведь я, к своему несчастью, считал себя умнее других. Вы повелеваете мне познать и понять настоящее и все человеческое. Не в силах я это сделать. Чтобы забыть некоторые фазы своего существования, я должен пройти через ужасные потря-

сения, а чтобы войти в новую фазу жизни, мне надо сделать усилия, которые приведут меня к могиле. Если вы повелеваете усвоить ваш образ мысли во имя силы, которая, я вижу, выше моей, я повинуюсь, но знаю, какой борьбы мне это будет стоить, знаю, что за это я заплачу жизнью. Сжальтесь же надо мной вы, чары которой я чувствую, помогите мне, — я изнемогаю. Скажите, кто вы, я вас не узнаю. Мне кажется, я никогда не видел вас, я даже не знаю, женщина вы или мужчина; вы стоите передо мной, точно таинственная статуя, и я силюсь и не могу припомнить, что она изображает. Помогите, помогите мне. Я чувствую, что умираю.

Лицо Альберта, вначале покрытое лихорадочным румянцем, при последних словах стало мертвенно бледным. Он протянул к Консуэло руки, но сейчас же опустился на пол, чувствуя, что близок к обмороку.

Консуэло, для которой мало-помалу стали ясны навязчивые идеи его болезни, почувствовала прилив новых душевных сил; это было какое-то наитие. Она взяла его за руки, заставила встать и довела до стула; Альберт повалился на него, а потом сейчас же склонился над столом, стоявшим рядом, почти теряя сознание. Борьба, о которой он сейчас говорил, была далеко не фантазией. Альберт мог владеть своим рассудком, мог не поддаваться своему бреду, но это стоило ему огромных усилий, огромных страданий, истощавших его силы. Когда припадок безумия проходил сам собой, Альберт чувствовал себя после него бодрым и как бы обновленным; когда же он делал усилие своей еще могучей воли, как сейчас, чтобы вернуться к нормальному состоянию, физические силы его изнемогали, и он впадал в каталептическое состояние. Консуэло прекрасно поняла, что с ним происходит.

— Альберт, — сказала она, кладя свою холодную руку на его пылающий лоб. — Я вас знаю, этого достаточно. Я принимаю в вас участие — этого также пока для вас достаточно. Я запрещаю вам делать какие-либо усилия, чтобы узнать меня и говорить со мной. Если мои слова для вас неясны, не стремитесь их понять, а дайте мне объяснить их вам. Все, о чем я вас прошу, это пассивно подчиняться и ни о чем не рассуждать. Можете ли вы отдаться на волю своего сердца и сосредоточить в нем свою жизнь?

— Ах, что вы делаете со мною! — отвечал Альберт. — Говорите, говорите еще и еще... Моя душа — в ваших руках. Кто бы вы ни были, держите ее, не выпускайте, ибо она будет стучаться в двери вечности и разобьется о них. Скажите мне, кто вы, скажите поскорей; если я сразу не пойму, — объясните мне, а то я невольно стремлюсь припомнить, и это меня волнует.

— Я — Консуэло, — ответила девушка, — и вы это знаете, раз вы инстинктивно говорите со мной на языке, который из всех вас окружающих лишь одна я понимаю. Я друг, которого вы давно ждете и уже однажды узнали во время пенья. С того самого дня вы покинули свою семью и скрываетесь здесь, с той же минуты я ищу вас. Вы несколько раз звали меня через Зденко, но он, исполняя лишь отчасти ваши приказания, не хотел вести меня к вам. Я достигла вас, преодолев тысячи опасностей...

— Но не пожелай этого Зденко, вы не смогли бы достичь, — прервал ее Альберт, с трудом приподнимаясь над столом. — Вы мечта, я это хорошо знаю, и все, что я слышу, — игра воображения... Боже мой! Вы убаюкиваете меня обманчивыми радостями... и я сам вдруг начинаю сознавать беспорядочность, несообразность своих мечтаний... И я снова один, один во всем мире, со своим отчаяньем, со своим безумием... О Консуэло! Консуэло! Мечта блаженная и губительная! Где же существо, носящее твое имя и временами принимающее твой образ? Нет! Ты существуешь только в моем воображении, ты создание моего бреда...

Альберт снова склонил голову на руки, делавшиеся все напряженнее и холоднее...

Консуэло видела, что ему грозит летаргия, но, будучи сама совершенно измучена и близка к обмороку, боялась, что не будет в состоянии предотвратить ее. Она пробовала согреть руки Альберта в своих, но они были почти так же безжизненны, как и у него.

— Господи, — в отчаянии проговорила она слабым голосом, — помоги двум несчастным, которые почти не в силах поддержать друг друга! — и она, сама еле живая, взаперти с умирающим, ниоткуда и ни от кого, кроме Зденко, не могла ждать помощи, а его возвращение казалось ей более страшным, чем желательным.

Ее молитва неожиданно взволновала Альберта.

— Кто-то молится подле меня, — проговорил он, приподнимая свою отяжелевшую голову. — Я не один! О! Нет, я не один! — прибавил он, смотря на руку Консуэло, сжимавшую его руку. — Рука помощи, таинственное сострадание, человеческое, братское сочувствие! Вы улаживаете мою агонию, наполняете мое сердце благодарностью!

Альберт прижался своими ледяными губами к руке Консуэло и замер... Поцелуй руки, задев целомудрие девушки, вернул ее к жизни. Она все-таки не посмела отнять руки от этого несчастного и, борясь между смущением и изнеможением, еле держась на ногах, была вынуждена опереться на Альберта, положив другую руку ему на плечо.

— Я чувствую, что оживаю, — проговорил Альберт через несколько минут. — Кажется мне, что я в материнских объятиях... Тетя Венцеслава, если это вы подле меня, простите, что я забыл вас, отца, всю семью, до того забыл, что самые ваши имена не сохранились в моей памяти. Я вернусь к вам, не покидайте меня! Но отдайте мне Консуэло, Консуэло — ту, которую я так ждал и которую, наконец, нашел... Теперь я снова потерял ее... А без нее я не могу дышать...

Консуэло хотела что-то сказать ему, но по мере того как память и силы, казалось, возвращались к Альберту, жизнь Консуэло как бы угасала. Столько ужасов, усталости, волнений, нечеловеческих усилий доконали ее, больше не было сил бороться. Слова замерли на ее устах, ноги подкосились, в глазах потемнело; она повалилась на колени подле Альберта, причем ее голова беспомощно ударилась о его грудь. Тут Альберт, словно проснувшись, узнал ее наконец, громко вскрикнул и крепко сжал в своих объятиях. Словно сквозь

завесу смерти увидела Консуэло его радость, но она не испугала ее, — это была святая, целомудренная радость. Она закрыла глаза и впала в состояние, которое было ни сном, ни бодрствованием, а каким-то полнейшим безразличием, близким к бесчувствию.

#### XLIV

Когда Консуэло очнулась, увидав себя сидящей на довольно твердой постели, не будучи еще в силах приподнять веки, она пыталась припомнить, где она и что с ней, но слабость ее была так велика, что это ей не удавалось. Перенесенные ею за последние дни волнения и утомление оказались выше ее сил, и она тщетно старалась вспомнить, что с ней произошло с момента отъезда из Венеции. Даже самый отъезд из этой усыновившей ее родины, где она провела столько счастливых дней, казался ей сном; для нее было облегчением, увы, слишком мимолетным, на время забыть об изгнании и о несчастье, вызвавшем его.

Она вообразила, будто все еще находится в своей убогой комнатке на Кортэ-Минелли, лежит на старой материнской кровати, будто после бурной, тяжелой сцены с Андзолето (неясные воспоминания о нем всплывали в ее памяти) она возвращается теперь к жизни и надежде, ощущая его подле себя, слыша его порывистое дыхание, его нежный шёпот. Радость, томная и сладостная, охватила ее сердце, и она с усилием приподнялась, чтобы взглянуть на своего кающегося друга и протянуть ему руку. Но вместо того она пожала холодную, незнакомую руку, вместо веселого солнца, заливавшего розовым светом белую занавеску ее окна, перед ней мерцал из-под мрачного свода, расплываясь в сыром воздухе, какой-то могильный свет, под собой она чувствовала грубую шерсть диких зверей, а над нею склонилось среди зловещего молчания бледное, словно привидение, лицо Альберта.

У Консуэло мелькнула мысль, что она живою попала в могилу; она снова закрыла глаза и с болезненным стоном опустила на свое ложе из сухих листьев. Потребовалось несколько минут, пока она смогла разобраться в том, где она и кто этот зловещий человек, к которому она попала. Страх, до сих пор заглушавшийся и побежденный приподнятым, восторженным настроением, теперь овладел ею настолько, что она не решалась даже открыть глаза, опасаясь увидеть нечто ужасное, приготовление к смерти или раскрытый гроб. Почувствовав что-то на лбу, она дотронулась до него рукою. Это была гирлянда из листьев, которою Альберт увенчал ее. Она сняла ее и увидела в ней веточку кипариса.

— Я думал, что ты умерла, о моя душа, о мое утешение! — воскликнул Альберт, опускаясь подле нее на колени. — И прежде чем последовать за тобой в могилу, я хотел украсить тебя эмблемой брака. Цветы не растут вокруг меня, Консуэло. Только из темного кипариса мог я сплести для тебя свадебный венок.



Вот он, не отвергай его. Если нам с тобой суждено умереть здесь, то позволь мне поклясться тебе: если я вернусь снова к жизни, у меня не будет другой жены, кроме тебя, а умирая, я умру, соединенный с тобой этой неразрывной клятвой.

— Как? Разве мы обручены? — с испугом, растерянно глядя по сторонам, воскликнула Консуэло. — Кто это решил? Кто освятил этот брак?

— Судьба, мой ангел! — ответил Альберт с невыразимой неясностью и грустью. — Не думай уйти от нее! Странная судьба для тебя, а для меня еще более. Ты не понимаешь меня, Консуэло, но ты должна узнать истину. Ты только что запретила мне переноситься воспоминаниями в прошлое, во тьму времен. Мое существо повиновалось тебе, и теперь я больше ничего не знаю о предшествовавшей жизни. Но я постиг свою теперешнюю, и я ее знаю: она мгновенно вся пронеслась передо мной, в то время как ты покоилась в объятиях смерти. Это твоя судьба, Консуэло, принадлежать мне; однако ты никогда не будешь моею. Ты не любишь меня и никогда не полюбишь так, как я тебя люблю. Твоя любовь ко мне — только милосердие, твоя самоотверженность — только героизм. Ты святая, которую Господь посылает мне, и ты никогда не будешь для меня женщиной. Я должен умереть, снедаемый любовью, которую ты не можешь разделить со мной; а все же ты будешь моей женой, как сейчас ты уже моя невеста: если мы с тобой погибнем здесь, ты из сострадания согласишься назвать меня своим мужем, хотя ни один поцелуй никогда не должен скрепить это; если же мы увидим солнечный свет, то совесть заставит тебя исполнить по отношению ко мне то, что предначертано Богом.

— Граф Альберт, — сказала Консуэло, порываясь встать с ложа, покрытого шкурами черных медведей, напоминавшими погребальный покров, — я не знаю, что заставляет вас так говорить: слишком восторженная благодарность ко мне или все еще продолжающийся бред. У меня нет больше сил бороться с вашими иллюзиями, и если они обратятся против меня, меня, которая пришла к вам с опасностью для жизни, дабы утешить вас, помочь вам, то я чувствую, что не смогу постоять ни за свою жизнь, ни за свободу. Если мое существование вас раздражает, а Господь покинул меня, да будет его святая воля. Вы воображаете, что так много знаете, а вот не подозреваете, насколько отравлена моя жизнь и как я без сожаления пожертвовала бы ею.

— Я знаю, что ты несчастна, моя бедная святая! Знаю, что на челе твоём терновый венец, но сорвать его с тебя мне не дано. Не знаю я ни причин, ни следствий твоих несчастий и не спрашиваю тебя о них. Но я мало любил бы тебя, был бы недостоин твоего сострадания, если б с первой же нашей встречи не понял, не почувствовал той грусти, которою полны твое сердце и вся твоя жизнь. Чего тебе бояться меня, о утешенье моей жизни? Ты, столь сильная духом, столь разумная, ты, которой Господь внушил слова, покорившие и оживившие меня в один миг, и в тебе вдруг угасает свет веры и разума, раз ты начинаешь бояться своего друга, своего слуги, своего раба! Приди в себя, мой ангел, взгляни на меня: вот я у ног твоих и навсегда склоняю чело до земли. Чего ты хочешь? Что прикажешь? Быть может, желаешь выйти

отсюда сейчас же одна, без меня? Желаете, чтобы я никогда не показывался тебе на глаза? Какой жертвы требуешь? Какую клятву хочешь ты от меня? Все могу я тебе обещать и во всем тебе повиноваться. Да, Консуэло, я могу стать спокойным, покорным человеком и с виду даже таким же благоразумным, как другие. Скажи, буду ли я тогда менее страшен тебе, менее неприятен? До сих пор я никогда не мог делать того, что хотел, отныне же все, что ты пожелаешь, мне будет дано выполнить. Быть может, переделывая себя так, как ты этого желаешь, я и умру, но тут, в свою очередь, скажу тебе, что моя жизнь всегда была отравлена и, лишаясь ее ради тебя, я не пожалею о ней.

— Дорогой и великодушный Альберт, — сказала успокоенная и растроганная Консуэло, — говорите яснее, постарайтесь, чтоб я, наконец, вполне узнала вашу непроницаемую душу. В моих глазах вы человек, стоящий выше всех других; с самой первой минуты нашей встречи я почувствовала к вам уважение и симпатию, и у меня нет причин скрывать это от вас. Я слышала, будто вы безумец, но никогда этому не верила. Все рассказы о вас только увеличивают мое уважение к вам и доверие. Но все же мне пришлось согласиться с тем, что вы страдаете каким-то душевным недугом, глубоким и странным. И вот я, быть может, самонадеянно, вообразила в простоте душевной, что смогу облегчить вам эти страдания. Надо сказать, вы сами способствовали этому. Я пришла к вам, и вы мне рассказываете обо мне и о себе самом столько глубокого, столько правдивого, что я готова была бы преклониться пред вами, если б не ваш фатализм, с которым я никак не могу согласиться. Могу я, не оскорбляя вас и не заставляя вас страдать, высказать вам все?

— Говорите, Консуэло, я заранее знаю, что вы хотите сказать.

— Хорошо. Я дала себе слово высказать вам все. Вы приводите в отчаяние всех тех, кто вас любит. Они полагают, что должны участливо щадить то, что они называют вашим безумием; они боятся довести вас до крайнего раздражения, если дадут вам заметить, что они знают о нем, печалются и страшатся его. Лично я не верю в это безумие и потому без всякого страха прямо спрашиваю вас: почему вы с вашим умом временами имеете вид безумного? Почему при всей своей доброте вы бываете неблагодарны и высокомерны? Почему такой просвещенный и религиозный человек, как вы, может проявлять бред больного, разочарованного духа? Наконец почему сейчас вы в одиночестве, заживо погребены в этом мрачном подземелье, вдали от любящей вас семьи, которая разыскивает и оплакивает вас, вдали от близких, о которых вы так ревностно заботитесь, наконец вдали от меня, которую вы призывали и любите, как утверждаете, а между тем я не погибла, идя к вам, только благодаря покровительству Божию и неимоверному усилию своей воли?

— Вы спрашиваете у меня тайну моей жизни, смысл моей судьбы, но вы знаете это лучше меня, Консуэло! Я от вас ждал разоблачения моего существа, а вы мне задаете вопросы. О! Я вас понимаю: вы хотите заставить меня исповедаться, раскаться и принять непоколебимое решение. Я вам повинуюсь. Но я не в состоянии в один миг познать себя, разобраться в самом себе

и преобразиться. Дайте мне несколько дней или хотя бы часов на то, чтобы я мог выяснить вам и себе самому, безумец я или в своем уме. Увы! увy! и то и другое верно, и мое несчастье в том, что у меня на этот счет нет никаких сомнений! Но вот чего я сейчас не знаю: иду ли я к полной потере ума и воли или же в состоянии справиться с демоном, терзающим меня. Сжальтесь надо мной, Консуэло! Я в страшно возбужденном состоянии и не могу с ним совладать. Не помню даже того, что я вам говорил, не отдаю себе отчета в том, сколько времени вы здесь. Совершенно не понимаю, как можете вы быть здесь, если Зденко не хотел привести вас сюда; не знаю также, в каком мире витали мои мысли, когда вы явились предо мной. Увы, мне даже неизвестно, сколько веков, тщетно борясь под игом неслыханных страданий, нахожусь я в этом заключении. Когда эти страдания проходят, я их уже не сознаю. У меня остается потом только страшная усталость, оцепенение, какой-то страх, который я хотел бы прогнать... Консуэло, дайте мне забыться, хотя бы на несколько мгновений! Мои мысли проявятся, язык развяжется! Я обещаю вам это, клянусь! Защитите меня от ослепительного света действительности! Он так долго был скрыт от меня в этой ужасной тьме, что глаза мои не в состоянии сразу вынести его. Вы приказали мне сосредоточить всю жизнь в сердце — жить только жизнью сердца. Да, вы мне это сказали, и мое сознание и память живут лишь с того мгновения, как вы заговорили со мной. Слова ваши внесли ангельский покой в мою душу. Сердце мое теперь живет полной жизнью, а разум мой дремлет. Я боюсь говорить вам о себе, так как могу еще запутаться в своих мыслях и опять напугать вас своим бредом. Хочу жить только чувством, но эта жизнь мне неведома: она могла бы стать для меня упоительной, отдайся я ей без боязни, что вы будете мною недовольны. Ах! Консуэло, зачем вы сказали мне, чтобы я сосредоточил всю свою жизнь в моем сердце? Объясните сами себе, а мне дайте только думать о вас. Вас одну видеть, вас одну понимать... Словом, дайте мне вас любить. Боже мой! Я люблю! Люблю живое существо, подобное себе! Люблю его всеми силами своего существа. Могу сосредоточить на нем весь свой пыл, всю святость своей любви! Уже достаточно мне этого счастья, и было бы безумием требовать еще большего.

— Ну хорошо, дорогой Альберт! Пусть ваша измученная душа найдет себе успокоение в тихой, нежной, братской любви. Бог — свидетель, что вы можете любить меня так, ничем не рискуя и ничего не боясь. Я чувствую к вам горячую дружбу, какое-то даже преклонение, которых не в силах поколебать никакие мелочные и пустые разговоры, пересуды толпы. Вы поняли благодаря какому-то божественному, таинственному наитию, что моя жизнь разбита горем. Вы это сказали, и высшая истина говорила вашими устами. Любить вас иною любовью, чем братской, я не могу. Но, пожалуйста, не думайте, что во мне говорит только милосердие, жалость. Правда, человеколюбие и сострадание дали мне мужество прийти сюда, но дружеское чувство и особое уважение к вашим душевным качествам дают мне также храбрость и право говорить с вами так, как я говорю. Раз и навсегда откажитесь от заблуждения отно-

сительно вашего чувства: никогда не говорите мне ни о любви, ни о браке. Мое прошлое, мои воспоминания делают невозможной любовь между нами, а разница в нашем положении делает такой брак неприемлемым, даже унижительным для меня. Лелея подобные мечты, вы обратили бы мою самоотверженность в нечто безрассудное, почти преступное. Я готова дать вам клятвенное обещание быть вашей сестрой, вашим другом, вашей утешительницей, всегда, когда вам только захочется открыть мне свою душу, вашей сиделкой, когда, страдая, вы будете мрачны и удручены. Поклонитесь, что будете видеть во мне только это и не будете любить меня иначе.

— Великодушная женщина, — проговорил Альберт, бледнея. — Ты рассчитываешь на мое мужество и хорошо знаешь мою любовь к тебе, раз добиваешься от меня такого обещания. Я был бы способен солгать в первый раз в жизни, был бы готов даже унизиться до ложной клятвы, если бы ты этого потребовала. Но ты не потребуешь этого, Консуэло. Ты понимаешь, что этим ты внесла бы в мою жизнь новое мучение, а в мою совесть небывалые угрызения, никогда не осквернявшие ее. Не тревожь себя мыслью, какого рода любовью люблю я тебя, ведь я хорошенько и сам не отдаю себе в этом отчета; сознаю только, что не называть это чувство любовью было бы святотатством. Всему остальному я подчиняюсь: принимаю твое сострадание, твою заботу, твою доброту, твою тихую дружбу; буду всегда говорить с тобой только так, как ты мне разрешишь; я не произнесу ни единого слова, могущего смутить тебя; никогда не взгляну на тебя так, чтобы тебе пришлось самой опустить глаза; никогда не прикоснусь к твоей руке, если это прикосновение будет тебе неприятно; я даже не дотронусь до края твоих одежд, если ты боишься, что я могу осквернить их своим дыханием. Но ты будешь не права, если станешь относиться ко мне с недоверием; лучше поддержи во мне это сладостное возбуждение, оно дает мне жизнь, а бояться его тебе совсем не надо. Я понимаю прекрасно, что твое целомудрие испугали бы слова любви, которой ты не хочешь разделять; знаю тоже, что из гордости ты оттолкнула бы выражение страсти, которой ты не желаешь ни пробуждать, ни поощрять. Успокойся же и безбоязненно поклянись мне быть моей сестрой и утешительницей, а я даю тебе клятву быть твоим братом и слугой. Не требуй от меня большего, — поверь, я буду скромн и ненавязчив. С меня довольно, чтобы ты знала, что можешь повелевать и самовластно управлять мною... не как братом, а как существом, которое отдалось тебе целиком и навсегда.

## XLV

Эти слова успокоили Консуэло относительно настоящего, но не рассеяли ее опасений насчет будущего. Фантастическое самоотречение Альберта вызывалось глубокой и непреодолимой страстью, в этом нельзя было сомне-

ваться, глядя на его лицо и зная его серьезный характер. Консуэло, смущенная и вместе с тем взволнованная, спрашивала себя, сможет ли она и дальше посвящать свои заботы человеку, влюбленному в нее так откровенно и беззаботно. Вообще она никогда не смотрела легко на подобного рода отношения, а с Альбертом они для каждой женщины могли бы привести к тяжким последствиям. Она не сомневалась ни в его честности, ни в его обещаниях, но то, о чем она мечтала, — вернуть ему покой, теперь казалось ей совершенно несовместимым с его пламенной любовью, при невозможности с ее стороны отвечать на такую любовь. Со вздохом она протянула ему руку и, устремив глаза в землю, замерла, погрузившись в печальную задумчивость.

— Альберт, — проговорила она наконец, поднимая на него взор и читая в его глазах мучительное и тревожное ожидание. — Вы не знаете меня, если предлагаете столь неподходящую для меня роль. Только женщина, способная злоупотреблять этой ролью, могла бы на нее согласиться. Я не кокетка, не горда, не считаю себя пустой, и во мне нет ни малейшей склонности властвовать. Ваша любовь была бы мне лестной, если бы я могла на нее ответить любовью. Если б я любила вас, то сейчас бы сказала вам об этом. Огорчать вас, повторяя это отрицание, было бы с моей стороны холодной жестокостью, на которой вы не должны настаивать. Но так велит мне совесть, как это ни тяжело мне и как ни надрывается мое сердце от муки. Пожалейте меня, что я вынуждена огорчать вас, быть может, даже обидеть, притом в такую минуту, когда я готова отдать свою жизнь, чтобы возвратить вам счастье и здоровье.

— Я знаю это, чудесное дитя, — ответил Альберт с грустной улыбкой, — Ты так добра, так великодушна, что способна отдать жизнь за последнего из людей, но совесть твоя, я тоже знаю это, ни для кого не пойдет на уступки. Не бойся же обидеть меня, обнаружив непреклонность, которою я восхищаюсь, и стоическую холодность, сочетающуюся у тебя с трогательною жалостью. Огорчить меня ты не можешь, Консуэло, я ведь не заблуждался; я привык к жесточайшим страданиям, знаю, что обречен в жизни на самые мучительные жертвы. Не обращай же со мною, как с человеком слабым, как с ребенком без сердца и самолюбия, повторяя то, что, я знаю, — что ты меня никогда не полюбишь. Мне известна вся твоя жизнь, Консуэло, хотя я и не знаю ни твоего имени, ни семьи, никаких фактов из твоего телесного существования. Я знаю лишь историю твоей души, а остальное не интересует меня. Ты любила, еще любишь и всегда будешь любить существо, о котором я ничего не знаю и знать не хочу, у которого я не буду оспаривать тебя. Но знай, Консуэло, никогда ты не будешь принадлежать ни ему, ни мне, ни самой себе. Бог уготовил тебе особенное существование. Узнать и предвидеть его обстоятельства я не стремлюсь, но знаю его цель и конец. Раба и жертва своей великой души, ты не получишь в этой жизни иной награды, кроме сознания своей силы и ощущения своей доброты; несчастная, с точки зрения окружающих, ты, несмотря ни на что, будешь самой спокойной, самой счастливой из всех человеческих существ, так как всегда останешься самой справедливой и самой



лучшей. Ибо достойны жалости лишь злые и подлые, дорогая сестра, и, пока будут жить слепота и несправедливость, будут оправдываться слова Христа: «Блаженны преследуемые, блаженны плачущие и надрывающиеся в труде».

Сила и величие, сиявшие на высоком и благородном челе, произвели в эту минуту такое обаятельное впечатление на Консуэло, что, забыв о своей роли повелительницы и сурового друга, она почувствовала себя во власти этого человека, воодушевленного верой и энтузиазмом. Она еле держалась на ногах, разбитая усталостью, потрясениями и волнениями. Она опустилась на колени, подкосившиеся от утомления, и, сложив руки, начала горячо молиться вслух.

— О Господи, если Ты вложил это пророчество в уста святого, да совершится Твоя святая воля, и да будет она благословенна! В детстве я молила Тебя о даровании мне счастья суетного, полного веселья, а Ты уготовал мне его таким суровым и тяжким, какого я не могла постичь. Сотвори же, Господи, чтобы глаза мои отверзлись и сердце мое покорилось. Доля моя, казавшаяся мне столь несправедливой, мало-помалу отверзается перед моими глазами, и я сумею, о Господи, примириться с нею, не прося у Тебя ничего, кроме того, что каждый человек вправе ждать от твоей любви и справедливости: веры, надежды и милосердия.

Молясь так, Консуэло чувствовала, что слезы так и льются из ее глаз. Она не старалась их удержать. После стольких волнений, после всего пережитого этот кризис был для нее благодетелен, хотя и ослабил ее еще больше. Альберт молился и плакал вместе с ней, благословляя свои слезы, так долго проливавшиеся в одиночестве и наконец смешавшиеся со слезами великодушного и чистого существа.

— А теперь, — сказала Консуэло, поднимаясь с колен, — довольно нам думать о самих себе. Пора нам заняться другими и вспомнить о наших обязанностях. Я обещала вашим родным вернуть им вас. Они в полном отчаянии, плачут и молятся о вас, как об умершем. Неужели, дорогой мой Альберт, вы не хотите возвратить им радость и покой? Вы последуете за мной?

— Уже? — с горечью воскликнул молодой граф. — Уже расстаться! Так скоро покинуть этот священный приют, где с нами один Бог, покинуть эту келью, ставшую мне дорогою с тех пор, как ты в ней появилась, покинуть это святилище счастья, какого мне, быть может, уже и не дожидаться, покинуть ради того, чтобы вернуться в холодную, лживую жизнь, полную условностей и предрассудков! О, нет, о душа моя, жизнь моя! Еще один день, целый век блаженства! Дай мне забыть, что существует мир лжи и несправедливости, преследующий меня, как зловещий сон; дай мне не сразу, а постепенно вернуться к тому, что они называют рассудком. Я еще не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выносить их солнце и вид их безумия. Мне надо еще созерцать тебя, слушать твой голос. Притом я никогда еще не покидал так внезапно, без долгого обдумывания, свое убежище, убежище и ужасное и благодетельное для меня, страшное и спасительное место искупления, куда я бегу без оглядки, прячусь с дикой радостью и откуда ухожу всегда, испы-

тывая сомнения, слишком обоснованные, и сожаления, слишком длительные. Ты и не подозреваешь, Консуэло, какими мощными узами прикован я к этой добровольной темнице. Ты не знаешь, что здесь я оставляю свое «я», настоящего Альберта, которое и не выходит отсюда; это «я» я всегда нахожу тут, а когда я бываю в каком-либо другом месте, призрак этого другого «я» зовет и преследует меня. Здесь моя совесть, моя вера, мой свет — словом, вся моя действительная жизнь. Сюда я приношу с собой отчаяние, страх, безумие; они часто одолевают меня, вступая со мною в ожесточенную борьбу. Но, видишь ли, там, вот за этой дверью, находится святилище, где я побеждаю их и обновляюсь душой. Туда вхожу я оскверненный, моя душа в смятенье, а выхожу оттуда очищенный, и никто не знает, ценою каких пыток я выкупаю терпение и покорность. Не вырывай же меня отсюда, Консуэло! Позволь мне уйти отсюда медленными шагами, сотворив молитву.

— Войдем же туда и помолимся вместе! — сказала Консуэло. — А потом уйдем. Время идет, и, быть может, уж близок рассвет. Надо, чтобы никто не знал дороги, ведущей отсюда в замок, надо, чтобы никто не видел нашего возвращения, и, пожалуй, не надо, чтобы нас видели возвращающимися вместе: я ведь не хочу выдать тайну вашего убежища, Альберт, и пока никто ничего не подозревает о моем открытии. Я не хочу, чтобы меня допрашивали, не хочу лгать. Пусть у меня будет право почтительно молчать пред вашими родными. Пусть они думают, что мои обещания были не чем иным, как предчувствием, мечтою. А видя нас возвращающимися вместе, они могут в моей сдержанности усмотреть злую волю, и вот, хотя для вас, Альберт, я готова пренебречь всем, но я не хотела бы без надобности лишаться доверия и дружбы вашей семьи. Поспешим же! Я изнемогаю от усталости и, если еще пробуду здесь, то, пожалуй, лишусь и последних сил, необходимых мне для обратного пути. Помолимся же и пойдем!

— Ты изнемогаешь от усталости! Так отдохни же здесь, о моя любимая! Спи, я благоговейно буду охранять твой сон; а если мое присутствие может тебя беспокоить, запри меня в соседнем гроте. Железная дверь будет между нами, и, пока ты меня не позовешь, я буду молиться за тебя в «моей церкви».

— А в то время, как вы будете молиться, а я предаваться отдыху, ваш отец будет еще переживать долгие, мучительные часы? Я видела однажды, как он, стоя ослабевшими коленями на каменном полу своей молельни, согбенный от старости и горя, бледный, недвижимый, казалось, ждал только вести о вашей смерти, чтобы испустить дух. А ваша бедная тетя в это же время будет метаться, как в жару, перебираясь с башни на башню, чтобы оттуда тщетно высматривать вас на горных тропинках. И опять сегодня утром все сойдутся и разойдутся вечером в отчаянии и смертельной тоске. Альберт, вы, видимо, не любите ваших родных, раз так безжалостно, без угрызений совести можете заставлять их томиться и страдать.

— Консуэло! Консуэло! — воскликнул Альберт, казалось, пробуждаясь от сна. — Не говори, не говори этого, ты меня терзаешь ужасно. Какое престу-

пление совершил я? Какие бедствия причинил я? Почему так беспокоятся они? Сколько же часов протекло с тех пор, как я ушел от них?

— Вы спрашиваете, сколько часов! Спросите лучше, сколько дней, сколько ночей, чуть ли не сколько недель!

— Дней, ночей! Молчите, Консуэло, не говорите мне о моем несчастье! Знал я, что утрачиваю здесь точное представление о времени, знал, что происходящее на поверхности земли не доходит до этой гробницы... но не подозревал я, что все это может исчисляться днями и даже неделями!

— Не преднамеренная ли это забывчивость, друг мой? В этих вечных потемках ничто не говорит вам об окончании и возрождении дня; тьма родит вечную ночь. Здесь, кажется, нет у вас даже и песочных часов. Устранение всяких способов исчисления времени не является ли жестокой предосторожностью, чтобы заглушить угрызения совести, не слышать голоса сердца?

— Признаюсь, что, когда я прихожу сюда, мне нужно отрешиться от всего, что во мне есть чисто человеческого. Но, Боже мой! Я не знал, что горе и думы до того способны поглотить мою душу, что я могу совершенно потерять представление о времени. Что же я за человек? И как это никогда, никто до сих пор не сказал мне о таком злополучном моем свойстве?

— Наоборот, это признак огромной интеллектуальной силы. Она только отклонилась от своего пути и направлена исключительно на мрачные размышления. Ваши близкие решили скрывать от вас горести, причиняемые им вами, они считают нужным, из уважения к вашим страданиям, умалчивать о собственных. Но, по-моему, поступать так значит недостаточно уважать вас, сомневаться в вашем сердце. Я же, Альберт, не сомневаюсь в нем и потому ничего не скрываю от вас.

— Идем, Консуэло, идем же! — проговорил Альберт, торопливо набрасывая на себя плащ. — Несчастный! Я заставил страдать отца, которого обожаю, тетю, которую нежно люблю! Знаете, я почти недостойн увидеть их. Я готов никогда не возвращаться сюда, лишь бы не повторять такой жестокости. Но нет, я счастлив, я ведь встретил дружеское сердце, — оно будет предостерегать, восстанавливать меня. Наконец-то нашелся человек, который сказал мне правду обо мне и всегда будет говорить ее, не правда ли, о дорогая сестра!

— Всегда, Альберт, клянусь вам!

— Боже милостивый! И существо, явившееся мне на помощь, есть именно то единственное из всех существ, которое я могу слушать, которому я могу верить! Господь знает, что творит! Не подозревая о своем безумии, я обвинял в нем других. Увы! Скажи мой благородный отец то, что вы сейчас мне сказали, я даже ему не поверил бы, Консуэло! Вы, олицетворение самой истины, олицетворение жизни, вы одна можете убедить меня, вы одна можете дать моему помраченному уму небесное спокойствие, исходящее от вас.

— Идем же, — настаивала Консуэло, помогая ему застегнуть плащ, чего он никак не мог сделать невероятно дрожавшей рукой.

— Да, идем, — повторил он за нею, растроганный, видя, как она дружески помогает ему. — Но раньше поклянись мне, Консуэло: если я вернусь сюда, ты не покинешь меня. Поклянись, что ты еще придешь сюда за мной хотя бы для того, чтобы осыпать меня упреками, обозвать неблагодарным, отцеубийцей, сказать мне, что я не стою твоих забот! О! Не предоставляй меня самому себе! Ты видишь, что я весь в твоей власти и что одно твое слово убеждает и исцеляет меня лучше, чем целые века размышлений и молитв.

— А вы поклянитесь мне, — ответила Консуэло, кладя ему на плечи свои руки (толстый плащ придавал ей смелости) и доверчиво улыбаясь, — поклянитесь, что никогда не вернетесь сюда без меня!

— Так, значит, ты сюда придешь со мной! — воскликнул он, глядя на нее в упоении, но не смея обнять ее. — Поклянись же мне в этом, а я даю тебе обет никогда не покидать отцовского крова без твоего приказа или разрешения.

— Ну, так пусть Господь услышит и примет наше взаимное обещание, — сказала Консуэло вне себя от радости. — Мы с вами, Альберт, еще придем сюда помолиться в «вашей церкви», и вы научите меня молиться; ведь никто не учил меня этому, и я горю желанием познать Бога. Вы, друг мой, раскроете мне небо, а я, когда надо, буду напоминать вам о земных делах и о человеческих обязанностях.

— Божественная сестра! — сказал Альберт, с глазами, полными радостных слез. — Поверь, мне нечему учить тебя, ты должна меня исповедовать, узнать, переродить. Ты меня обучишь всему, даже молитве. О! Теперь не надо мне одиночества, дабы возноситься душою к Богу. Теперь не надо мне протираться над костями моих предков, дабы понять и постичь бессмертие. Мне нужно только посмотреть на тебя, чтобы моя ожившая душа вознеслась к небу, как благостный гимн, как очистительный фимиам.

Консуэло увела его, сама открыв и закрыв двери.

— Цинабр, сюда! — позвал Альберт своего верного товарища, подавая ему фонарь, лучше устроенный и более приспособленный для такого рода путешествий, чем тот, который захватила с собой Консуэло. Умное животное с гордым и довольным видом ухватило за дужку фонаря и направилось вперед, останавливаясь, когда останавливался его хозяин, то замедляя, то ускоряя свой шаг, сообразно с его шагами, придерживаясь середины дороги, чтобы уберечь свою драгоценную ношу от ударов о скалы и кустарники.

Консуэло шла с величайшим трудом; она чувствовала себя совсем разбитой, и, не будь тут руки Альберта, которая каждую минуту поддерживала и подхватывала ее, она раз десять уже упала бы.

Они спустились вместе вдоль ручья, по его прелестному свежему берегу.

— Это Зденко с такой любовью заботится о наяде здешних таинственных гротов, — пояснил Альберт. — Он расчищает русло, часто заносимое гравием и ракушками, ухаживает за бледными цветами, вырастающими у ее ног, и оберегает их от ее подчас слишком суровых ласк.

Консуэло заглянула сквозь расщелину скалы на небо и увидела блестящую звездочку.

— Это Альдебаран<sup>1</sup>, звезда цыган, — проговорил Альберт. — Рассветать начнет только через час.

— Так, значит, это моя звезда, — отозвалась Консуэло. — Ведь я, дорогой граф, если не по происхождению, то по положению — нечто вроде цыганки. Мать мою в Венеции иначе и не звали, хотя она со своими испанскими пред-рассудками горячо возмущалась этой кличкой. А я там слыла и теперь слыву под именем «цыганочки».

— Почему на самом деле ты не дитя этого гонимого племени! — воскликнул Альберт. — Еще больше любил бы я тебя, если б это было возможно!

Консуэло, нарочно заговорившая о цыганках, считая, что полезно напомнить графу фон-Рудольштадту различие в их происхождении и положении, вдруг вспомнила рассказы Амелии о симпатиях Альберта к нищим и бродягам, а вспомнив об этом, сама испугалась, что поддалась как будто бессознательному кокетству, и умолкла. Но Альберт вскоре прервал молчание.

— То, что вы мне сейчас сказали, — начал он, — пробудило во мне, не знаю уж по какой ассоциации, одно воспоминание о моей юности, хотя и довольно незначительное, но все же надо вам рассказать его уж по одному тому, что с минуты нашей встречи с вами оно не раз с какой-то странной настойчивостью приходило мне в голову. Опирайтесь, дорогая сестра, на меня покрепче, пока я буду вам рассказывать. Было мне около пятнадцати лет; однажды вечером возвращался я один по тропинке, которая, обогнув Шрекенштейн, извивается затем по холмам и замку. Вдруг я заметил впереди себя худую, высокую женщину, нищенски одетую, которая тащила на спине тяжелую ношу, часто останавливаясь у скал, чтобы присесть и перевести дух. Я подошел к ней. Загорелая, иссушенная горем и нуждой, она была все-таки красива. Сквозь ее лохмотья проглядывала какая-то скорбная гордость: протягивая мне руки, она, казалось, не молила, а приказывала мне. Кошелек мой был пуст, и я попросил ее пойти со мною в замок, где я мог оказать ей денежную помощь, предложить ужин и ночлег.

«Это я предпочитаю», — сказала она с иностранным акцентом, который я принял было за цыганский; в то время ведь я не знал языков, которые потом изучил, во время своих путешествий.

«Таким образом, — продолжала она, — я смогу отблагодарить за ваше гостеприимство, познаколив вас с песнями разных стран, где я побывала. Я редко прошу милостыню и делаю это только в крайней нужде».

«Бедная женщина! — сказал я. — У вас тяжелая ноша, а ваши бедные ноги, еле обутые, изранены. Дайте мне вашу ношу, я донесу ее до своего дома, а вам будет легче идти».

«Ноша эта с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее, — промолвила женщина с печальной улыбкой, сделавшей из нее почти красавицу. —

<sup>1</sup> *Альдебаран* — звезда первой величины в созвездии Тельца.





*Было мне около пятнадцати лет; однажды вечером возвращался я один по тропинке, которая, обогнув Шрекеништейн, извивается затем по холмам и замку. Вдруг я заметил впереди себя худую, высокую женщину, нищенски одетую, которая тащила на спине тяжелую ношу...*

Я ношу ее уже несколько лет, проделала так целые сотни миль, никогда не жалуясь на это. Я никогда никому ее не доверяю; вы имеете вид такого доброго мальчика, что вам я могу дать донести ее до вашего дома».

Говоря это, она расстегнула плащ, закрывавший ее всю (из-под него проглядывал только гриф гитары), и я увидел ребенка пяти-шести лет, бледного, загорелого, как и мать, с кротким, спокойным личиком, растрогавшим мое сердце. Это была девочка, вся в лохмотьях, худая, но крепкая, спавшая ангельским сном на горячий, усталой спине бродячей певицы. Я взял ее на руки, но мне с трудом удалось удержать ее, так как, проснувшись и видя себя на чужой груди, она стала биться и плакать. Мать заговорила с ней на своем языке, стараясь успокоить ее. Мои ласки и заботы о ней довершили это, и, подходя к замку, мы были с нею уже совсем друзьями. Поужинав и уложив девочку в постель, которую я для них велел приготовить, бедная женщина переделалась в странный наряд, еще более жалкий, чем ее лохмотья, и, взяв гитару, явилась в столовую, где мы сидели за ужином, и стала нам петь испанские, французские и немецкие песни. Мы были очарованы ее прекрасным голосом и тем чувством, с которым она их пела. Моя славная тетя была к ней очень внимательна и добра. Казалось, певица была тронута этим, но продолжала держать себя так же гордо, уклончиво отвечая на все наши вопросы. Ребенок ее меня интересовал больше ее самой. Мне хотелось еще повидать его, позабавить и даже совсем оставить его у себя. Какая-то нежная заботливость пробуждалась во мне к этому бедному, маленькому существу, в нищете странствующему по свету. Всю ночь он снился мне, а утром я побежал взглянуть на него. Но цыганка уже исчезла; я помчался на гору, но и там уже не нашел ее. Она поднялась до света и ушла по дороге, ведущей на юг, со своим ребенком и моей гитарой, которую я ей дал, так как ее собственная, к великому ее огорчению, разбилась.

— Альберт! Альберт! — в страшном волнении закричала Консуэло — Эта гитара в Венеции и хранится у моего учителя Порпора; я возьму ее у него и никогда уже с нею не расстанусь. Она из черного дерева с инкрустированным серебряным вензелем, вензелем, который я прекрасно помню: А. Р. У матери была плохая память, — слишком уж много видела она на своем веку, и она не помнила ни вашего имени, ни названия замка, ни даже самой страны, где все это случилось. Но она мне часто рассказывала о гостеприимстве, оказанном ей владельцем этой гитары, и о трогательной доброте юного красавца-вельможи, который нес меня целых полмили на руках и разговаривал с нею, как с ровней. О дорогой мой Альберт, я тоже все это помню! По мере того как вы рассказывали, давно забытые образы один за другим вставали предо мной; вот почему ваши горы не показались мне совсем незнакомыми, вот почему в этой местности мне все что-то смутно вспоминается. И вот, увидев вас, я почувствовала странный трепет и невольно с почтением склонилась пред вами, как пред старым другом и покровителем, давно утраченным, но о котором всегда вспоминала с сожалением.

— А ты думаешь, Консуэло, — воскликнул Альберт, прижимая ее к своей груди, — что я не узнал тебя сразу, с первой же минуты? Что же из того, что с годами ты выросла, изменилась, похорошела? У меня память (дар чудесный, хотя часто и пагубный), которой не нужно ни глаз, ни слов, чтобы действовать на протяжении дней и веков. Правда, я не знал, что ты именно — моя дорогая, маленькая «цыганочка», но был уверен, что уже видел тебя, любил, прижимал к своему сердцу, которое с той минуты, неведомо для меня самого, привязалось к твоему и слилось с ним навсегда.

## XLVI

Так разговаривая, они дошли до разветвления двух дорог, где Консуэло встретила Зденко, и уже издали увидели свет фонаря, поставленного им подле себя на землю. Консуэло, зная теперь опасные причуды и атлетическую силу «невинного», в испуге невольно прижалась к Альберту.

— Почему вы боитесь этого кроткого и любящего человека? — спросил молодой граф, удивленный и вместе с тем счастливый от этого испуга. — Зденко питает к вам нежные чувства, хотя после приснившегося ему вчера ночью дурного сна он и не хотел исполнить мое желание и несколько неприязненно отнесся к вашему плану прийти сюда за мной. Но, вообще, стоит мне настоять на чем-нибудь, и он делается послушным, как ребенок. Скажи я хоть одно слово, и он будет у ваших ног.

— Не унижайте его в моем присутствии, — сказала Консуэло. — Не усиливайте еще его ненависть ко мне. Когда мы его обгоним, я скажу вам, какие у меня серьезные причины опасаться и избегать его.

— Зденко — существо почти неземное, — возразил Альберт, — и я никогда не поверю, чтоб он мог быть опасен для кого-либо. Состояние экстаза, в котором он постоянно находится, делает его чистым и милосердным, как ангел.

— Это состояние экстаза, которым я и сама восхищаюсь, Альберт, превращается в болезнь, когда оно длительно. Не заблуждайтесь на этот счет: Богу не угодно, чтобы человек отрешался до такой степени от чувства и сознания действительности и чрезмерно уносился в область туманных представлений идеального мира. Безумием и яростью кончается такого рода опьянение. Это является как бы возмездием за гордыню и бездействие.

Цинабр остановился перед Зденко, посмотрел на него с нежностью, видимо, ожидая ласки, которой, однако, этот друг его не удостоил. «Невинный» сидел, держась за голову обеими руками, в той же позе и на той же самой скале, где его оставила Консуэло. Альберт обратился к нему по-чешски, но тот едва ответил. Он уныло качал головой, по щекам его струились слезы, а на Консуэло он даже не хотел и взглянуть. Альберт, повысив голос, стал выговаривать ему,



но в тоне его было больше нежности и увещевания, чем приказания и упрека. Наконец, Зденко поднялся и протянул руку Консуэло. Та, дрожа, пожалала ее.

— Теперь, — заговорил Зденко по-немецки, кротко, хотя и с грустью, глядя на нее, — тебе нечего бояться меня, но ты делаешь мне очень больно, и я чувствую, что твоя рука полна наших бед.

Он пошел впереди, обмениваясь от времени до времени несколькими словами с Альбертом. Шли они по просторной, прочно сделанной галерее, незнакомой еще Консуэло, приведшей их к круглому своду, где они снова очутились у источника, свергавшегося в бассейн, выложенный обтесанными камнями. Отсюда вода вытекала двумя ручьями: один терялся в галереях, другой устремлялся к водоему замка. Его-то и закрыл тут Зденко, навалив своими геркулесовыми руками три огромных камня. Снимал же он их тогда, когда хотел опустить уровень воды в колодце ниже свода и лестницы, ведущей к террасе молодого графа.

— Посидим здесь, — сказал Альберт своей спутнице, — пока вода из водоема уйдет в отлив.

— О, это мне слишком хорошо известно, — проговорила Консуэло, дрожа всем телом.

— Что вы хотите сказать этим? — спросил Альберт, с удивлением глядя на нее.

— Скажу вам это когда-нибудь после, — ответила Консуэло. — А сейчас я не хочу ни расстраивать, ни волновать вас рассказом об опасностях, которые мне удалось преодолеть...

— Что она хочет сказать? — с ужасом воскликнул Альберт, смотря на Зденко.

Зденко что-то ответил по-чешски с равнодушным видом, продолжая месить своими большущими загорелыми руками глину, которой он замазывал щели между камнями, ускоряя этим опоражнивание цистерны.

— Скажите, в чем дело, Консуэло? — обратился к ней страшно взволнованный Альберт. — Я ничего не понимаю из того, что он мне говорит. Он утверждает, что не он провел вас сюда, но что вы, якобы, сами прошли недоступными подземельями, куда слабая женщина никогда бы не отважилась пробраться, да просто и не могла бы этого сделать. Он говорит (чего только не болтает этот несчастный), что вами руководил рок и что архангел Михаил, этот, по его мнению, гордец и властолюбец, провел вас через воды и бездну.

— Возможно, — улыбаясь ответила Консуэло, — что в это дело вмешался и архангел Михаил; я действительно шла по руслу источника, опередила несшийся за мною поток, раза два-три уже считала себя погибшей, проходила по каким-то пещерам и каменоломням, где на каждом шагу могла или задохнуться, или провалиться; но эти страхи не были так ужасны, как ярость Зденко в ту минуту, когда случай или провидение вывели меня на верную дорогу.

Тут Консуэло, говорившая с Альбертом все время по-испански, рассказала ему в немногих словах о своей встрече с его «миролюбивым» Зденко,

о том, как он пытался похоронить ее заживо, что и было почти приведено им в исполнение в тот момент, когда она, не растерявшись, сумела укротить его странным еретическим приветствием.

Холодный пот выступил на лбу Альберта, когда он узнал эти невероятные подробности, и, слушая, не раз бросал он на Зденко свирепые взгляды, точно собираясь уничтожить его. Заметив это, Зденко принял странно вызывающий, презрительный вид. Консуэло дрожала, боясь, как бы эти два безумца не набросились друг на друга. Ведь для нее было очевидно, что у Альберта, несмотря на его возвышенный ум и утонченность чувств, рассудок испытал тяжелые потрясения, от которых никогда, пожалуй, не оправится. Она попыталась примирить их, говоря ласково с обоими, но Альберт встал и, подав Зденко ключи от своего тайного убежища, очень холодно сказал ему несколько слов. Тот немедленно им подчинился, взял фонарь и, распевая странные мелодии с непонятными словами, удалился.

— Консуэло, — сказал Альберт, когда Зденко скрылся из виду, — если бы это верное животное, лежащее у ваших ног, взбесилось, да, да, если бы мой бедный Цинабр невольно своей яростью подверг опасности вашу жизнь, мне, конечно, пришлось бы его убить. Поверьте, что рука моя не дрогнула бы, хотя мне никогда не приходилось проливать кровь существ, стоящих даже ниже человека. Будьте же спокойны, вам теперь больше не грозит ни малейшей опасности.

— О чем вы говорите, Альберт? — спросила Консуэло, встревоженная этим неожиданным намеком. — Теперь мне нечего бояться: Зденко все-таки человек, хотя и потерявший рассудок по своей, а может быть, отчасти и по вашей вине. Не говорите ни о крови, ни о расправе! Вы обязаны вернуть его на путь истинный, излечить его, а не поддерживать его бред. Теперь идем! Я дрожу при мысли, что рассветет раньше, чем мы успеем вернуться.

— Ты права, — проговорил Альберт, снова двигаясь в путь. — Мудрость говорит твоими устами. Мое безумие оказалось заразительным для этого несчастного, и ты явилась вовремя, чтобы спасти нас обоих из бездны, куда мы с ним катились. Исцеленный тобою, я постараюсь исцелить и Зденко... Но если это мне не удастся, если это безумие будет грозить твоей жизни, то, хотя Зденко и Божий человек и ангельски добр ко мне, хотя он единственный настоящий друг, которого я имел до сих пор на земле... будь уверена, Консуэло, что я сумею вырвать его из своего сердца и больше ты его никогда не увидишь.

— Довольно, довольно, Альберт, — прошептала Консуэло, уже не в силах после всех пережитых ужасов испытывать еще новые. — Не останавливайте своих мыслей на подобных предположениях! Я готова лучше сто раз умереть, чем внести в вашу жизнь такое отчаяние, такую скорбь.

Альберт не слушал ее; казалось, он совсем лишился рассудка. Он не помнил уже, что ее надо поддерживать, не замечал, что она шатается от усталости и чуть не падает на каждом шагу. Всецело поглощенный мыслями об опасностях, пережитых ею ради него, с ужасом рисуя себе все это, охваченный



каким-то восторженно-благодарным чувством, он мчался вперед, что-то отрывисто выкрикивал, совершенно при этом не обращая внимания на то, что она еле-еле плетется за ним.

В этом отчаянном положении Консуэло вспомнился Зденко, который был позади и мог вернуться, вспомнился поток, все еще как бы находившийся в его руках, который он мог спустить в тот миг, когда она, лишенная помощи Альберта, одна станет подниматься к водоему. Альберт, во власти какого-то нового бреда, полагал почему-то, что она идет впереди, и вот, несясь за этим призраком, он оставлял ее впотьмах. Это было слишком для женщины, даже такой, как Консуэло. Цинабр не отставал от своего хозяина и мчался вперед, унося в зубах фонарь (свой Консуэло оставила в убежище). Дорога постоянно делала повороты, вследствие чего свет исчезал поминутно.

Наткнувшись впотьмах на какой-то выступ, Консуэло упала и не имела сил подняться. Холод смерти охватил ее, страшная мысль снова промелькнула в ее мозгу: вероятно, Зденко получил приказ через определенное время открыть шлюзы, чтобы, напустив воду, скрыть лестницу и выход из колодца; даже независимо от своей ненависти к ней, он должен был по привычке выполнить эту необходимую предосторожность.

— Итак, все кончено! — подумала Консуэло, напрасно сиюсь ползти. — Я жертва неумолимого рока! Мне уж не выйти из этого рокового подземелья, глазам моим не увидеть больше света!..

Пелена, темнее окружавшего ее мрака, стала заволакивать ей глаза, руки коченели, равнодушие близкой смерти заглушало страх... Вдруг она чувствует, что какие-то могучие руки поднимают, прижимают, уносят ее по направлению к колодцу... Чья-то пылающая грудь трепещет у самой ее груди, согревая ее, дружеский, ласковый голос шепчет ей нежные слова. Цинабр прыгает перед нею с качающимся фонарем... Это Альберт, придя в себя, уносит, спасает ее со страстью матери, потерявшей было и нашедшей своего ребенка. В три минуты они были у канала, из которого только что ушла вода. Наконец достигли они и лестницы колодца. Цинабр, привыкший к этому опасному подъему, бросился вперед, словно боясь, что помешает хозяину, путаясь под его ногами. Альберт, держа одной рукой Консуэло, а другой хватаясь за цепь, поднялся по винтовой лестнице в тот момент, когда вода уже бурлила на дне колодца. Эта опасность была не меньше, чем испытанная ею раньше, но Консуэло уже не ощущала страха. Альберт вообще обладал такой физической силой, пред которой сила Зденко казалась игрушечной, а в данный момент под влиянием страшного подъема сила эта возросла сверхъестественно. Когда при свете занимающейся зари он опустил свою драгоценную ношу на закраину колодца, Консуэло наконец вздохнула облегченно; оторвавшись от тяжело дышавшей груди Альберта, она вытерла его широкий вспотевший лоб своей вуалью.

— Друг, — нежно сказала она, — если б не вы, я была бы мертва; вы отплатили за все, сделанное мною; я чувствую сейчас вашу усталость больше, чем вы сами, изнемогаю за вас...

— О моя маленькая «цыганочка»! — воскликнул Альберт, с увлечением целуя вуаль, которой она вытирала его лицо. — Ты не тяжелее для меня, чем в тот день, когда я нес тебя со Шрекенштейна в этот самый замок.

— Замок, откуда вы, Альберт, не выйдете больше без моего разрешения; не забывайте же клятв!

— А ты своих! — ответил он, опускаясь перед ней на колени.

Он закутал Консуэло вуалью и провел ее в свою комнату, откуда она тихонько проскользнула к себе. Замок просыпался.

Уже на нижнем этаже слышался сухой, резкий кашель канониссы, — признак, что она проснулась. Консуэло посчастливилось: никто не видел и не слышал ее. Страх окрылил ее, и она добралась до своей комнаты. Дрожащими руками она сняла с себя разорванную и испачканную одежду и, заперев ее в сундук, вынула из замка ключ. Она нашла в себе силы и память скрыть все следы своего таинственного путешествия; но едва она положила свою измученную голову на подушку, как тяжелый и жгучий сон, полный фантастических видений и ужасных событий, приковал ее к постели, удрученную охватившей ее неумолимой лихорадкой.

## XLVII

Между тем канонисса Венцеслава, посвятив полчаса молитве, поднялась по лестнице, и, как всегда, первая мысль ее была о дорогом племяннике. Она направилась к дверям его комнаты и приложила ухо к замочной скважине, хотя меньше чем когда-либо надеялась услышать легкий шорох, говорящий о его возвращении. Каково же было ее удивление и радость, когда до нее донеслось ровное дыхание спящего! Осенив себя большим крестом, она решилась тихонько отворить дверь и на цыпочках войти в комнату. Альберт спал спокойно на своей постели, а Цинабр, свернувшись клубком, — на соседнем кресле. Не разбудив ни того, ни другого, она побежала к графу Христиану; тот, распростертый в своей часовне, молился с обычным смирением о возвращении ему сына на небесах или на земле.

— Брат, — тихо сказала она, опускаясь на колени рядом с ним, — оставьте ваши мольбы и ищите в сердце своем самые горячие благодарения: Господь услышал вас!

Больше ей ничего не нужно было объяснять. Старик, повернувшись к сестре и прочтя в ее маленьких светлых, оживленных глазах глубокую, сочувственную радость, поднял к алтарю свои иссохшие руки и угасшим голосом воскликнул:

— Боже мой! Ты возвратил мне сына!

И оба, охваченные одним и тем же религиозным порывом, стали поочередно вполголоса произносить слова чудной молитвы Симеона Богоприимца: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко...»

Решено было не будить Альберта. Призвали барона, капеллана, всех слуг и благоговейно прослушали в домовой церкви замка благодарственную обедню. Амелия искренно обрадовалась, узнав о возвращении двоюродного брата; но все-таки она считала, что совершенно напрасно ради благочестивого празднования этого счастливого события ее подняли в пять часов утра и заставили промучиться целую длинную обедню, во время которой ей пришлось подавить не один зевок.

— Почему ваша подруга, добрейшая Порпорина, не пришла поблагодарить Бога вместе с нами? — спросил после обедни граф Христиан племяннику.

— Я пробовала ее разбудить, — ответила Амелия, — звала, тормошила, прибегала ко всяким способам, но мне не удалось ни втолковать ей что-либо, ни заставить ее открыть глаза. Если бы она не пылала в жару и не была красна, как огонь, я, право, подумала бы, что она мертва. Должно быть, она очень плохо спала эту ночь, и сейчас ее лихорадит.

— Так, видимо, она больна, эта достойная особа! — проговорил граф. — Дорогая сестра Венцеслава, вы сходили бы к ней и сделали бы все, что требует ее состояние. Избави Бог, чтобы такой радостный день был омрачен страданием этой благородной девушки!

— Схожу, братец, — ответила канонисса, бросая вопросительный взгляд на капеллана (в последнее время она ничего не предпринимала по отношению к Консуэло, не посоветовавшись с ним). — Но вы не беспокойтесь, Христиан, ничего страшного нет, просто синьора Нина очень нервна и наверно скоро выздоровеет. Но разве неудивительно, — обратилась она к капеллану, вскоре оставшись с ним наедине, — что эта девушка с такой уверенностью предсказала возвращение Альберта? Господин капеллан, уж не ошиблись ли мы с вами относительно нее? Может, она и вправду вроде святой, и у нее бывают откровения?

— Святая присутствовала бы на обедне, а не лежала в такую минуту в лихорадке, — глубокомысленно изрек капеллан.

Это основательное замечание вызвало глубокий вздох у канониссы. Однако Венцеслава все-таки пошла навестить Консуэло и нашла у нее действительно страшнейший жар, сопровождаемый непреодолимой сонливостью. Был приглашен капеллан, заявивший, что болезнь будет очень серьезной, если жар продлится. Он спросил молодую баронессу, как провела ночь ее соседка, не очень ли была беспокойна.

— Наоборот, — ответила та, — ее совсем не было слышно. А я, по правде сказать, после всех ее предсказаний и чудесных сказок за последние дни ожидала услышать в ее комнате дьявольский шабаш. Но, должно быть, сатана уносил ее далеко отсюда, или она имеет дело с очень благовоспитанными бесенятами, ибо, по-моему, тишина была полная, и мой сон ни разу не был потревожен.

Капеллану эти шутки Амелии показались очень дурного тона, а канониссе, у которой недостаток ума искупался сердечностью, они показались неуместными у постели тяжело больной подруги. Но она ничего не сказала,

списав колкости племянницы на ревность, имевшую, без сомнения, слишком основательную причину, и спросила капеллана, какие лекарства надо давать Порпорине.

Он прописал успокоительное средство, но оказалось невозможным заставить больную проглотить его: зубы были стиснуты, и запекшиеся губы отказывались от всякого питья. Капеллан нашел это плохим признаком, но диагноз отложил до следующего раза, сказав: «Посмотрим, надо выждать, сейчас еще ничего нельзя определить». Таковы, вообще, были всегдашние приговоры этого эскулапа в рясе.

— Если не наступит перемен, — сказал он, выходя из комнаты Консуэло, — придется подумать о том, чтобы пригласить врача. На себя я не возьму лечение столь необычайного нервного заболевания. Я помолюсь о синьоре; быть может, принимая во внимание то душевное состояние, в котором она пребывала в последнее время, мы должны ждать только от Господа Бога помощи, более действенной, чем от врачебного искусства.

Оставив подле Консуэло служанку, все отправились готовиться к завтраку. Канонисса испекла собственноручно пирог, вкуснейший из всех когда-либо выходивших из ее искусных рук. Она радовалась при мысли о том, с каким удовольствием Альберт после столь продолжительного поста полакомится своим любимым кушаньем. Красавица Амелия облеклась в ослепительно новое платье, рассчитывая, что Альберт, увидя ее такой обольстительной, быть может, пожалеет, что обижал и раздражал ее. Каждый думал о том, как бы порадовать молодого графа. Позабыто было одно существо, которым и надо было заняться, — бедная Консуэло, та, кому были обязаны возвращением Альберта и кого он, конечно, жаждал видеть.

Альберт вскоре проснулся и, вместо того чтобы, как с ним обыкновенно бывало после его припадков безумия, увлекавших его в подземное убежище, силиться отдать себе отчет в том, что с ним было накануне, сразу, тут же вспомнил и свою любовь и счастье, которые дала ему Консуэло. Он вскочил, оделся, надушился и побежал обнять отца и тетку. Радость родных была неописуема, когда они увидели, что Альберт вполне в здравом уме, что он сознает свое долгое отсутствие, горячо и нежно упрашивает их простить его, обещая никогда больше не причинять им такого горя и беспокойства. Он видел, в каком восторге были его близкие, заметив, что он вернулся к действительности. От него не ускользнули их старания скрыть от него его прежнее состояние, и его даже немного задело, что с ним продолжают обращаться, как с ребенком, в то время как он снова стал настоящим мужчиной. Но он покорился этой каре, в сущности ничтожной по сравнению с его виной, и говорил себе, что это — спасительное предупреждение и Консуэло будет довольна тем, что он это понял и примирился.

Сев за стол, окруженный ласками, вниманием, заботливостью, даже радостными слезами своей семьи, он с беспокойством стал искать глазами ту, которая теперь стала необходима и для его счастья, и для его спокойствия.

Он видел, что ее место пусто, и не решался спросить, почему Порпорина не появляется. Канонисса, заметив, что племянник, вздрагивая, оборачивается каждый раз, как отворяются двери, нашла нужным успокоить его, сказав, что молодая гостя плохо спала прошлую ночь и теперь отдыхает, желая провести часть дня в постели.

Альберт прекрасно понимал, что его освободительница должна изнемогать от усталости, но все-таки при этом известии испуг отразился на его лице.

— Тетя, — обратился он к ней, не будучи больше в силах скрыть свое волнение, — если бы приемная дочь Порпора была серьезно больна, я полагаю, мы все так спокойно не сидели бы вокруг стола, кушая и беседуя?

— Успокойтесь же, Альберт, — вмешалась Амелия, вспыхнув от досады, — Нина, постоянно бредившая вами и предвещавшая ваше возвращение, теперь в ожидании его спит, в то время как мы здесь радостно празднуем его.

Альберт побледнел от негодования и, свирепо глядя на двоюродную сестру, проговорил:

— Если кто здесь ждал меня, высыпаясь, то совсем не то лицо, о котором вы упомянули: свежесть ваших щек, моя прелестная кухня, говорит мне о том, что вы не потеряли ни единого часа сна в мое отсутствие и что в настоящую минуту вы совсем не нуждаетесь в отдыхе. От всего сердца благодарю вас за это, так как мне было бы очень тяжело просить у вас прощения, со стыдом и болью, с какими я только что просил его у всех прочих моих родных и друзей.

— Очень благодарна вам за исключение, — возразила Амелия, побавляя от гнева. — Постараюсь и впредь его заслужить, а свои бессонные ночи и беспокойство приберегу для кого-нибудь другого, кто сумеет оценить это, а не высмеивать.

Эта легкая перестрелка — явление, далеко не новое между Альбертом и его невестой, впрочем, никогда до сих пор не носившее такого резкого характера, — набросила какую-то тень грусти и принужденности на целое утро, несмотря на все старания развлечь Альберта.

Канонисса несколько раз навещала больную и каждый раз находила ее в более и более тяжелом состоянии, а жар и слабость увеличивались. Беспокойство, проявленное Альбертом в отношении Консуэло, оскорбило Амелию, как личная обида, и она ушла поплакать в свою комнату. Капеллан высказался в том смысле, что если до вечера жар не уменьшится, нужно будет послать за врачом. Граф Христиан задержал сына подле себя, дабы отвлечь его от одиночества, которого не мог понять, продолжая считать его болезненным проявлением. Но стараясь привлечь сына ласковыми словами, добрый старик никак не мог найти темы для беседы и душевных излияний, так как ни разу не пожелал исследовать глубину этого духа из опасения, что этот более сильный ум победит и разобьет его самого в области религиозных вопросов. По правде говоря, граф Христиан называл безумием и вольнодумством проблески яркого света, сквозившие в причудливых речах Альберта: слабые глаза правоверного католика не выдерживали этого блеска, он сам противился чувству



симпатии, побуждавшему его серьезно расспросить сына; каждый раз, когда отец пытался исправить его еретические суждения, прямые и веские доказательства принуждали его умолкнуть. От природы старик не был красноречив, не обладая даром живой речи, выдерживающей словопрения, а еще менее тем шарлатанством в споре, которое за недостатком логики стараются прикрыть пеленой научности и смелостью доказательств. Наивный и скромный, он предпочитал молчать, упрекая себя, что в юные годы не изучил тех глубоких вопросов, на которые возражал ему Альберт; и будучи уверен, что в бездне богословских наук таятся сокровища истины, которыми более ловкий и более ученый, чем он, сумел бы разбить ересь Альберта, он цеплялся за свою поколебленную веру и, чтобы не действовать более энергично, прикрывался своим невежеством и простотою, лишь усиливавшими гордыню вольнодумца и приносившими ему, таким образом, больше вреда, чем пользы. Их разговор раз двадцать прерывался в силу какого-то обоюдного опасения и раз двадцать возобновлялся благодаря обоюдным усилиям, а под конец оборвался сам собою. Старый Христиан задремал в кресле, а Альберт, покинув его, пошел справиться о положении Консуэло, которое тем больше его пугало, чем больше старались его скрыть. Около двух часов проблуждал он по коридорам, поджидая выхода канониссы и капеллана, стремясь узнать хоть что-нибудь о Консуэло. Капеллан упорно отвечал ему кратко и сдержанно, а канонисса, завидя издали племянника, спешила принять веселый вид и начать разговор совсем о другом, дабы усыпить его беспокойство. Но Альберт хорошо видел, что она начинает не на шутку волноваться, все чаще и чаще ходит в комнату Консуэло; от его наблюдательности не укрылось также и то, что совершенно не стеснялись каждую минуту открывать и закрывать двери, словно этот стук и возня не могли потревожить этот якобы тихий сон. Он отважился даже подойти к этой комнате, за минутное пребывание в которой был готов отдать жизнь. Перед этой комнатой была еще одна, так что целые две плотные двери, ничего не пропускавшие, отделяли ее от коридора. Канонисса, заметив жажду племянника проникнуть к больной, заперла обе двери на ключ и на задвижку, а сама стала ходить через находившуюся рядом комнату Амелии, куда, она прекрасно знала, Альберт вошел бы не иначе, как со страшным отвращением. Наконец, видя, в каком он отчаянии, и боясь возвращения его недуга, тетка решилась на ложь; и вот, в душе моля Бога простить ей, она сказала племяннику, что больная чувствует себя гораздо лучше и даже собирается спуститься в столовую к обеду. Альберт не мог усомниться в словах тетки, никогда до сих пор не осквернявшей своих чистых уст ложью, и отправился к старому графу, не зная, как дожидаться часа, который должен был вернуть ему Консуэло и счастье.

Но этот желанный час пробил для него напрасно: Консуэло не появилась. Канонисса, делая большие успехи в искусстве лжи, опять рассказала, будто больная встала было, но, почувствовав некоторую слабость, предпочла обедать у себя в комнате. Канонисса даже сделала вид, что больной посылают

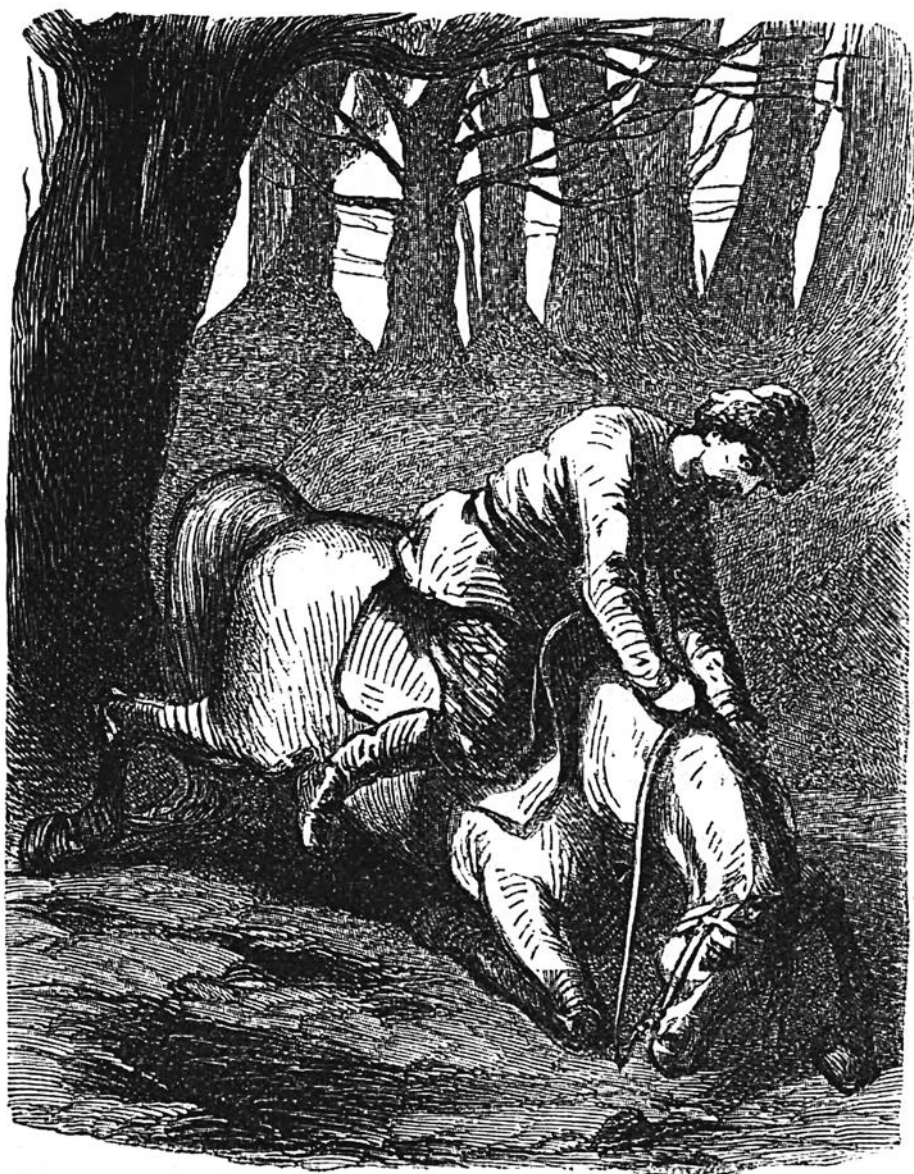
лучшие куски самых тонких блюд. Благодаря всем этим хитростям страшная тревога Альберта несколько улеглась. Хотя он и испытывал гнетущую тоску, как бы предчувствие неслыханного несчастья, но покорился, делая усилия, чтобы казаться спокойным.

Вечером Венцеслава с довольным видом, уже почти не притворяясь, сообщила, что Порпорине лучше, щеки ее уже не пылают, пульс ее скорее слаб, чем полон, и, по-видимому, она должна хорошо провести ночь.

«Но почему же, несмотря на эти добрые вести, я все-таки холодею от ужаса?» — спрашивал себя молодой граф, прощаясь в обычное время перед сном со своими родными.

Дело в том, что добрейшая канонисса, несмотря на свою худобу и свой горб, не знала, что такое болеть, а потому ничего не понимала вообще в недугах. И вот, видя, что Консуэло из багрово-красной стала синевато-бледной, что ее бурлящая кровь как будто застыла в жилах, а грудь, не имевшая сил вдыхать воздух, казалось ей, покойно дышит, сочла ее в ту же минуту выздоровевшей и сейчас же с детской доверчивостью и объявила об этом. Но капеллан, несколько больше ее смыслящий в заболеваниях, понимал прекрасно, что это кажущееся спокойствие — лишь предвестник жестокого припадка, и, как только Альберт ушел к себе, предупредил канониссу, что наступил момент послать за доктором. К несчастью, город был далеко, ночь темна, дороги ужасны, а Ганс, несмотря на все свое усердие, человек чрезвычайно медлительный. Тут еще разразилась гроза, полил дождь как из ведра. Старая лошадь, на которой ехал старый слуга, все пугалась, раз двадцать спотыкалась и кончила тем, что вместе со своим растерявшимся седоком, видевшим в каждом холме Шрекенштейн, а в каждой сверкающей молнии — огненный полет злого духа, заблудилась в лесах. Только когда уж совсем рассвело, удалось Гансу выбраться на верную дорогу. Погоняя насколько было сил свою старую лошадь, добрался он до города, где в это время доктор еще крепко спал; проснувшись, он стал медленно одеваться, собираться и наконец пустился в путь. Таким образом, на все это были потрачены целые сутки.

Альберт тщетно старался уснуть. Тревога, его поглощавшая, и зловещие раскаты грома не дали ему всю ночь сомкнуть глаз. Сойти вниз он не смел, боясь рассердить тетку, которая и так уже утром отчитала его за неуместное и неприличное хождение около комнат двух девиц. Он оставил свою дверь открытой, и несколько раз ему казалось, что внизу ходят. Он кинулся было на лестницу, но, никого не видя там и ничего не слыша, старался успокоить себя, объясняя напугавшие его обманчивые звуки шумом дождя и порывами ветра. С того момента, как Консуэло потребовала, чтоб он относился бережно к своему рассудку и душевному состоянию, он старался побороть в себе волнения и страхи, пытался сдерживать свою любовь силой этой самой любви. Но вдруг, среди раскатов грома, треска и стоны древних стен замка под вихрем урагана, до него донесся длительный раздирающий крик, пронзивший его, словно удар кинжала. Тут Альберт, только что бросившийся, не раздеваясь,



*Старая лошадь, на которой ехал старый слуга, все пугалась, раз двадцать спотыкалась и кончила тем, что вместе со своим растерявшимся седоком, увидевшим в каждом холме Шрекеништейн, а в каждой сверкающей молнии — огненный полет злого духа, заблудилась в лесах.*



на постель, решив заснуть, вскакивает, опрометью летит по лестнице и стучит в двери Консуэло. Но здесь снова царит тишина, и никто ему не открывает. Альберт уже начинает думать, что все это ему приснилось, однако новый, еще более зловещий крик раздирает ему сердце. Уже без всяких колебаний, он обегает темным коридором, стучится у двери Амелии, кричит, что это он, Альберт. Слышится стук задвигающегося засова, и голос Амелии повелительно приказывает ему удалиться.

А между тем крики и стоны все растут: это голос Консуэло, полный нестерпимой муки; он слышит, как обожаемые уста с отчаянием выкрикивают его собственное имя. С бешенством напирает он на дверь, срывает замок и задвижку и, толкнув и отбросив на кушетку Амелию, разыгрывающую роль оскорбленной невинности, так как ее застали в шелковом капоте и кружевном чепчике, мертвенно бледный, со вздыбившимися волосами, врывается в комнату Консуэло.

## XLVIII

Консуэло в страшном бреду билась в руках двух самых сильных служанок, которые едва-едва могли удержать ее в постели. Несчастной мерещились, как это бывает иногда при воспалении мозга, неслыханные ужасы, и она стремилась спастись от преследовавших ее страшных видений; в женщинах, которые удерживали ее и старались успокоить, она видела остервенелых врагов, чудовищ, жаждущих ее гибели. Растерявшийся капеллан, ожидавший с минуты на минуту ее конца, уже читал над нею отходную, а больная принимала его за Зденко, замуравливающего ее под бормотание своих таинственных напевов. В дрожащей канониссе, пытавшейся своими слабыми силами помочь служанкам удержать ее на кровати, она видела призрак то одной, то другой Ванды — сестры Жижки или матери Альберта. Ей мерещилось, что обе они поочередно появляются в пустынном гроте отшельника и упрекают ее в том, что она, вторгшись в их владения, присвоила себе их права. Ее восклицания, стоны, ее бред, непонятный для окружающих, были в прямой связи с виденным и слышанным ею в прошлую ночь, со всем тем, что так сильно взволновало и поразило ее. Ей чудился рев потока, и она делала руками движения, словно плыла, встряхивала свои распущенные волосы, как бы сбрасывая с них воображаемую пену. Она ощущала все время присутствие Зденко: то позади нее он открывает шлюзы, то впереди — заграждает ей путь с ожесточением. Она твердила все время о камнях и воде, что заставило капеллана сказать, качая головой: «Какой, однако, длительный и тяжелый сон. Уже не знаю, право, почему в последнее время она так неотступно думала об этом колодце; наверно, это уже было начало болезни: слышите, она все время бредит о нем».

В ту минуту, когда Альберт, вне себя, ворвался в ее комнату, Консуэло, выбившись совсем из сил, лепетала какие-то невнятные слова, а потом вдруг опять раздались ее дикие крики. Не сдерживаемая больше своей силой воли, она снова со страшным напряжением переживала испытанные ужасы. Но что-то, похожее на какой-то смысл, проскальзывало в ее бреду, и она начала звать Альберта таким полным и звенящим голосом, что, казалось, самые стены дома должны содрогнуться; потом крики эти переходили в душившие ее рыдания, причем ее блуждавшие, страшно блестевшие глаза оставались совершенно сухими и устрашали своим блеском.

— Я здесь! Я здесь! — закричал Альберт, бросаясь к ее постели.

Консуэло услышала его, и вся энергия вернулась к ней; вообразив, что Альберт убегает от нее, она с той стремительностью и силой, какие сообщает горячка даже самым слабым организмам, вырвалась из державших ее рук и, растрепанная, босая, в одной тонкой, измятой белой ночной сорочке, делавшей ее похожей на привидение, прыгнула на середину комнаты; в тот момент, когда ее собирались снова схватить, она, с ловкостью дикой кошки перепрыгнув через стоявший перед нею спинет, метнулась к окну, приняв его за вход в роковой колодец, стала на него одной ногой и, вытянув руки вперед, снова выкрикнув среди бурной, зловещей ночи имя Альберта, уже была готова выброситься, когда Альберт, еще более быстрый и сильный, чем она, схватил ее на руки и перенес обратно на кровать. Она его не узнала, но совершенно не сопротивлялась и перестала кричать. Альберт, не жалея для нее самых нежных слов, стал по-испански горячо ее уговаривать. Она слушала его, устремив глаза в одну точку, не видя и не отвечая ему; вдруг она поднялась, опустила на своей кровати на колени и запела из «Тебе Бога хвалим» (*Te Deum laudamus*) Генделя, который она недавно начала изучать с восхищением. Никогда еще голос ее не звучал с такой силой, с таким чувством, никогда не была она так хороша, как в эту минуту экстаза, с распущенными волосами, ярким, лихорадочным румянцем, с глазами, казалось, читающими в небесах, разверзшихся для них одних. Канонисса была до того растрогана, что, вся в слезах, сама упала на колени у кровати, а капеллан, несмотря на свою недоброжелательность, охваченный религиозным чувством, склонил голову. Закончив строфу, Консуэло глубоко вздохнула, и божественная радость озарила ее лицо...

— Я спасена, — крикнула она, падая навзничь, бледная, холодная, как мрамор. Глаза ее, хотя и открытые, казались потухшими, губы посинели, руки окоченели.

На минуту воцарилось молчание, даже какое-то оцепенение. Амелия, не решавшаяся войти и наблюдавшая, стоя у порога, эту страшную сцену, от ужаса упала в обморок. Канонисса и обе женщины бросились к ней на помощь. Консуэло с мертвенно бледным лицом покоилась на руках Альберта, который, припав головой к груди умирающей, казался таким же мертвецом, как и она. Канонисса, распорядившись уложить Амелию на кровать, сейчас же появилась на пороге комнаты.



— Ну что, господин капеллан? — спросила она, совсем убитая.

— Это смерть, сударыня, — проговорил капеллан глухим голосом, опуская руку Консуэло, где только что тщательно нащупывал пульс.

— Нет! Это не смерть! Нет! Тысячу раз нет! — воскликнул Альберт, порывисто приподнимаясь. — Я лучше освидетельствовал ее сердце, чем вы ее пульс. Оно еще бьется, она дышит, она жива. О! Она будет жить! Не так и не теперь суждено ей кончить жизнь! Кто отважился подумать, что Бог приговорил ее к смерти? Настала минута, когда надо действительно заняться ею. Господин капеллан, дайте мне ваш ящик. Я знаю, что ей нужно, а вы не знаете. Да делайте же то, что я вам говорю, несчастный! Вы не оказали ей помощи; вы могли предотвратить наступление этого ужасного припадка, и вы этого не сделали, не пожелали сделать; вы скрыли от меня ее недуг, все вы обманули меня. Вы хотели ее погубили, не правда ли? Ваша подлая осторожность, ваше отвратительное безразличие сковали вам язык и руки. Слышите! Давайте мне ваш ящик, предоставьте мне действовать!

А так как капеллан не решался передать ему свои лекарства, боясь, чтоб в неопытных руках возбужденного, полупомешанного человека они не стали смертельными, Альберт вырвал ящик из его рук; не обращая внимания на уговоры тетки, он сам выбрал и отвесил быстродействующее, сильное успокоительное средство. Альберт был гораздо более сведущ во многих вещах, чем думали его близкие. В ту пору своей жизни, когда он еще отдавал себе отчет в болезненных явлениях своего мозга, он изучал на самом себе действие самых энергичных отвлекающих средств, и вот теперь он приготовил лекарство, к которому никогда не решился бы прибегнуть капеллан. Ему удалось с необыкновенным терпением и нежностью разжать зубы больной и заставить ее проглотить несколько капель этого сильнодействующего средства. Через час, в продолжение которого он несколько раз повторил приемы этого лекарства, Консуэло начала свободно дышать, руки ее потеплели, лицо несколько оживилось. Она еще ничего не слышала и не чувствовала, но состояние ее уже походило на что-то вроде сна, даже губы немного порозовели. В это время появился доктор. Видя серьезность положения, он заявил, что его позвали слишком поздно и что он не ручается за исход болезни. По его мнению, надо было еще накануне пустить кровь, а теперь момент упущен, и кровопускание могло бы вызвать новый припадок.

— Пусть припадок повторится, — проговорил Альберт, — но кровь пустить надо.

Доктор, немец, тяжеловесный субъект, с большим самомнением, привыкший, чтобы в его округе, где у него не было конкурентов, его слушали, как оракула, приподнял свои тяжелые веки и, моргая, посмотрел на того, кто позволил себе так смело решить подобный вопрос.

— Говорю вам, необходимо сделать кровопускание, — настойчиво повторил Альберт, — Будет ли пущена кровь или не будет, припадок все равно повторится.



*Доктор, немец, тяжеловесный субъект, с большим самомнением, привыкший, чтобы в его округе, где у него не было конкурентов, его слушали, как оракула, приподнял свои тяжелые веки и, моргая, посмотрел на того, кто позволил себе так смело решить подобный вопрос.*

— Позвольте, — возразил доктор Вецелиус, — это вовсе не так неизбежно, как вы изволите думать, — и улыбнулся несколько презрительной, иронической улыбкой.

— Если припадок не повторится, все кончено, — проговорил Альберт, — вы сами должны это знать. Такая сонливость ведет прямо к параличу, к смерти. Ваш долг овладеть недугом, повысить его интенсивность, для того чтобы преодолеть его. Словом, вам надо бороться, а иначе к чему ваше присутствие здесь? Молитвы и погребение — не ваше дело. Пустите кровь, или я сам пушу ее.

Доктор прекрасно знал, что Альберт был прав, и сам хотел бы пустить кровь, но ему казалось, что такому важному человеку, как он, не подобает высказаться и сразу перейти к действию. Могли бы подумать, что эта болезнь проста и лечение несложно. А наш немец любил напугать, напустить на себя глубокомысленные колебания, недоумения, среди которых его вдруг как бы осеняла гениальная мысль, и тогда он победоносно выходил из затруднений. Пусть потом говорят, как уже тысячу раз о нем говорили: «Болезнь была так запущена, приняла такое опасное течение, что сам доктор Вецелиус призадумался над нею. Никто, кроме него, не смог бы уловить нужный момент и сделать именно то, что надо. Да! Это человек чрезвычайно осторожный, очень знающий, словом, большой человек! Такого доктора и в Вене не найти!»

Видя, что с ним не считаются, припертый к стенке нетерпением Альберта, он ответил:

— Если вы доктор и пользуетесь тут авторитетом, то я совершенно не понимаю, зачем меня призвали сюда. Мне остается только удалиться.

— Если вы не желаете своевременно приступить к делу, то можете удалиться, — проговорил Альберт.

Доктор Вецелиус, глубоко оскорбленный тем, что его пригласили к больной одновременно с каким-то неизвестным коллегой, отнесшимся к нему без должного почтения, встал и прошел в комнату Амелии. Ему надо было заняться еще нервами этой молодой особы, не перестававшей звать его к себе, и проститься с канониссой. Но та его не отпустила.

— Увы, дорогой доктор, вы не можете покинуть нас в таком положении! Подумайте, какая ответственность лежит на нас! Мой племянник обидел вас, но стоит ли вам придавать значение вспыльчивости человека, так мало собою владеющего?

— Неужели это граф Альберт? — спросил пораженный доктор. — Я никогда не узнал бы его. Как он переменялся!

— Конечно, за те десять лет, что вы его не видели, в нем произошло столько перемен.

— А я, признаться, считал его совершенно выздоровевшим, — не без злорадства заметил Вецелиус, — так как меня ни разу не приглашали к нему со времени его возвращения.

— Ах, дорогой доктор, вы прекрасно знаете, что Альберт никогда не хотел подчиниться указаниям науки.

— Но, однако, он, как видно, сам стал врачом?

— У него есть кое-какие сведения во всех областях, но всюду он вносит свою кипучую стремительность. Ужасное состояние, в котором он застал эту молодую девушку, очень его смутило; если бы не это, поверьте, он был бы с вами вежливее, рассудительнее и более признателен за ваши заботы о нем в детстве.

— Боюсь, что он сейчас более чем когда-либо нуждается в них, — возразил доктор, которому, несмотря на все почтение, питаемое к графской семье и замку, все-таки легче было огорчить канониссу, намекая на сумасшествие ее племянника, чем отрешиться от своей пренебрежительной манеры и от мелочной мести. Жестокость доктора очень огорчила канониссу, тем более, что обиженный Вецелиус мог распространить в округе слух о душевном состоянии ее племянника, тщательно от всех скрываемом. Она промолчала, надеясь этим обезоружить доктора, и смиренно спросила его мнения относительно предлагаемого Альбертом кровопускания.

— В настоящую минуту считаю это нелепостью, — заявил Вецелиус, желая сохранить за собой инициативу и изречь из своих собственных уст решение тогда, когда это ему заблагорассудится.

— Я подожду час-другой, буду следить за больной, — продолжал он, — и когда наступит нужный момент, будь это даже раньше, чем я предполагаю, я сделаю то, что надо. Но во время такого кризиса, при теперешнем состоянии ее пульса я заранее ничего не могу сказать определенного.

— Так вы остаетесь у нас? Да благословит вас Бог, дорогой доктор!

— Коль скоро мой противник — молодой граф, — проговорил Вецелиус с сострадательно-покровительственной улыбкой, — меня ничто не может удивить: пусть говорит себе, что хочет.

Доктор собирался уже вернуться в комнату Консуэло, дверь в которую была закрыта капелланом, чтобы Альберт не мог слышать приведенного сейчас разговора, когда сам капеллан, бледный и растерянный, оставив больную, прибежал за ним.

— Ради Бога, доктор! — воскликнул он. — Идите, примените свой авторитет, ибо мой не признается графом Альбертом, — кажется, он и голоса самого Господа не послушался бы. Граф продолжает стоять на своем и, вопреки вашему запрету, все-таки хочет пустить кровь умирающей; и он это, уверяю вас, сделает, если только нам с вами не удастся силой или хитростью удержать его. Одному Богу известно, умеет ли он даже держать в руках ланцет! А граф может, если не убить, то все-таки искалечить ее несвоевременным кровопусканием.

— Конечно, — насмешливо проговорил доктор, тяжеловесным шагом со злорадством бессердечного человека направляясь к двери. — Да то ли еще мы с вами увидим, если мне не удастся образумить его!

Но когда он подошел к кровати, Альберт уже держал в зубах окровавленный ланцет: одной рукой он поддерживал руку Консуэло, в другой держал тарелку. Вена была вскрыта, и темная кровь обильно текла из нее.





*...Капеллан, бледный и растерянный, оставив больную, прибежал за ним.  
— Ради Бога, доктор! — воскликнул он. — Идите, примените свой  
авторитет, ибо мой не признается графом Альбертом, —  
кажется, он и голоса самого Господа не послушался бы.*



Капеллан стал охать, возмущаться, призывать небо в свидетели. Доктор попытался шутить, отвлечь Альберта, думая при этом незаметно закрыть вену с тем, чтобы снова ее открыть тогда, когда ему вздумается, и весь успех приписать себе самому. Но Альберт остановил его одним выразительным взглядом. Когда вытекло достаточное количество крови, он с ловкостью опытного оператора наложил повязку на ранку, потом тихонько уложил руку Консуэло под одеяло и, протянув канониссе флакон с нюхательными солями, чтобы та давала его вдыхать больной, пригласил капеллана и доктора в комнату Амелии.

— Господа, — обратился он к ним, — вы никак не можете быть полезны лицу, которое я лечу. Не знаю, что именно, нерешительность или предрасудки, очевидно, парализуют ваше усердие и знание. Объявляю вам, что я все беру на себя и не хочу, чтобы вы отвлекали меня и мешали мне в таком серьезном деле. А потому прошу господина капеллана читать молитвы, а господина доктора лечить мою двоюродную сестру. Я не допущу ни медицинских прогнозов, ни приготовлений к смерти у постели лица, к которому скоро должно вернуться сознание. Да будет вам это известно, господа. Если в данном случае я оскорбляю ученого и огорчаю друга, то я готов буду просить у них прощения, когда смогу думать о себе.

Высказав все это спокойным, ласковым тоном, так противоречившим сухости его слов, он вернулся в комнату Консуэло, запер за собой дверь на ключ и, положив его в карман, сказал канониссе:

— Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда без моего разрешения.

## XLIX

Изумленная канонисса не посмела ответить племяннику ни слова. В выражении его лица, во всей его осанке было столько повелительной непреклонности, что добрейшая тетка даже испугалась и инстинктивно, с необыкновенной готовностью и образцовой аккуратностью начала исполнять все его желания. Доктор, видя, что его авторитет абсолютно не признается и не рискуя вступать в препирательства с буйнопомешанным, как он потом рассказывал, благоразумно удалился. Капеллан отправился молиться. Альберт же с помогавшими ему тёткой и двумя служанками провел весь день в комнате Консуэло, ни на минуту не ослабляя своего ухода за ней. После нескольких часов спокойствия снова повторился буйный припадок, почти столь же сильный, как и прежний, но только более короткий. Когда благодаря сильным успокоительным средствам припадок затих, Альберт стал уговаривать тетку пойти заснуть, прося ее прислать еще одну женщину на смену двум, которые должны были отдыхать.

— А вы, Альберт, разве не хотите тоже отдохнуть? — спросила Венцеслава, вся дрожа.

— Нет, дорогая тетя, я в этом совсем не нуждаюсь.

— Увы, — ответила она, — вы себя убиваете, дитя мое.

— Ну и дорого же нам обойдется эта иностранка, — добавила она, уходя к себе и видя, что молодой граф не обращает на нее внимания.

Все же он согласился немного перекусить, чтобы набраться сил, которые, он чувствовал, могли ему понадобиться. Он поел в коридоре, стоя и не спуская глаз с двери. Закончив, он бросил салфетку на пол и вернулся в комнату больной, затем наглухо закрыл дверь к Амелии, чтобы те немногие лица, которых он допускал, проходили коридором. Тем не менее Амелия сделала вид, будто хочет ухаживать за подругой. Но она бралась за все так неловко, приходила в такой ужас от всякого лихорадочного движения больной, боясь новых судорог, что Альберт, выйдя из себя, попросил ее ни во что не вмешиваться, идти в свою комнату и заняться своим делом.

— В мою комнату? — отвечала Амелия. — Если бы даже приличие и позволяло мне спать в комнате, отделенной от вас одной дверью, — вы почти поселились у меня, — то, даже и помимо этого, неужели вы думаете, что я в состоянии заснуть хоть на минуту, слыша эти раздирающие душу вопли, эту страшную агонию?

Альберт, пожимая плечами, ответил ей, что в замке множество других комнат и что она может выбрать любую из них, пока больная не будет перенесена в помещение, где ее соседство никого не беспокоит.

Раздосадованная Амелия последовала этому совету. Тяжелее всего ей было смотреть на нежные, можно сказать, материнские заботы, которыми Альберт окружал ее соперницу.

— Ах, тетя! — воскликнула она, бросаясь на шею канониссы, когда та устроила ее в своей собственной спальне, где поставила другую кровать рядом со своею. — Ах, тетушка, мы с вами не знали Альберта: теперь мы видим, как он умеет любить!

Несколько дней Консуэло была между жизнью и смертью. Но Альберт боролся с недугом так упорно, так искусно, что наконец ему удалось вырвать ее из когтей смерти. Как только она была вне опасности, он велел перенести ее в одну из башен замка. Здесь дольше бывало солнце, и вид отсюда был красивее и шире, чем из других окон замка. Вообще комната эта со своей старинной мебелью более соответствовала серьезным вкусам Консуэло, чем та, куда нашли нужным поместить ее по приезду. Она еще раньше намекала, что ей хотелось бы жить в этой башне. Тут ей не угрожала назойливость подруги, и, несмотря на постоянное присутствие женщины, сменявшейся утром и вечером, она могла проводить, в сущности, наедине со своим спасителем томительные и сладостные дни своего выздоровления. Они всегда говорили между собой по-испански, и нежные слова, выражавшие страсть Альберта, были милее для слуха Консуэло на языке, напоминавшем ей родину, мать, детство; и, преисполненная живой благодарности, измученная страданиями, от которых избавил ее лишь один Альберт, она теперь предавалась тому сладостному отдохновению,

которое наступает после тяжких кризисов. Ее память мало-помалу пробуждалась, но как-то неравномерно. Так, например, живо припоминая с чистой и понятной радостью его помощь и самоотверженность в главные моменты их встреч, она в то же время как-то неясно, как бы сквозь густое облако, прозревала заблуждения его рассудка и всю глубину его слишком серьезной страсти. Целыми часами после сна или после приема успокоительных средств ей казалось, что все то, что могло возбуждать в ней недоверие и страх к ее великодушному другу, все это было только сном. Она до того привыкла к нему и его заботам о себе, что, когда он уходил по ее же просьбе обедать со своей семьей, она волновалась и плохо себя чувствовала все время до его возвращения. Ей казалось, что успокоительные средства, не приготовленные и не поданные им самим, не успокаивают, а только возбуждают ее; когда же он сам подносил их ей, то она с медленной и глубокой, удивительно трогательной улыбкой на красивом лице, над которым недавно еще реяла смерть, говорила ему:

— Теперь, Альберт, я верю, что вы чародей: ведь стоит вам повелеть капле воды оказать на меня благотворное действие, и моментально она передает мне и ваше спокойствие, и вашу силу.

Впервые в жизни Альберт был счастлив, а так как душа его, казалось, была способна с такой же мощью чувствовать радость, с какой она чувствовала скорбь, то в этот период его жизни, период восторгов и упоения, он был счастливейшим человеком на земле. Эта комната, где он во всякое время, без надоедливых свидетелей мог видеть любимую, стала для него раем. Ночью, когда все в доме ложились спать, он, делая вид, будто тоже идет к себе, тихонько пробирался в эту комнату. Сиделка крепко спала, он прокрадывался к кровати своей дорогой Консуэло, глядел и не мог наглядеться на нее, спящую, бледную, поникшую, словно цветок после бури. Потом он усаживался в большое кресло (он его никогда не забывал поставить там, уходя) и в нем проводил всю ночь, засыпая таким чутким сном, что стоило больной еле пошевелиться, чтобы он уже нагнулся над нею и прислушался к ее слабому голосу; а когда Консуэло, взволнованная каким-либо сном, тревожимая остатком прежних страхов, искала его руки, дружеское пожатие всегда успокаивало ее. Когда сиделка просыпалась, Альберт обыкновенно говорил ей, что только что вошел, и у той создавалось впечатление, будто молодой граф раза два-три в ночь навещает свою больную. А между тем он и получаса за всю ночь не проводил в своей комнате. Консуэло так же, как и сиделка, заблуждалась на этот счет. Хотя она чаще ее замечала присутствие Альберта, но была еще так слаба, что ему ничего не стоило вводить ее в заблуждение. Иногда среди ночи, когда она начинала умолять его идти спать, он уверял ее, что уже близок рассвет и что сам он только что встал. Благодаря этим невинным обманам Консуэло, никогда не страдая от его отсутствия, в то же время не беспокоилась по поводу того утомления, которому он подвергал себя ради нее.

Правда, несмотря на все, усталость его была так незначительна, что он даже не замечал ее. Любовь дает силы самым слабым, а Альберт не только был

человек исключительно крепкий, но никогда в сердце человеческом не жила такая огромная, живительная любовь, как у него. Когда с первыми лучами солнца Консуэло с трудом добиралась до своей кушетки, стоявшей у полуоткрытого окна, Альберт усаживался позади нее и в мчавшихся облаках и в пурпурных лучах восходящего солнца силился прочесть те мысли, которые вид неба мог пробудить в его молчаливой подруге. Иногда он незаметно брал в руки кончик вуали, которую она набрасывала себе на голову (теплый ветерок развеивал вуаль по спинке кушетки), и тихо прижимался к ней губами. Однажды Консуэло, потянув себе вуаль на грудь, обратила внимание на то, что конец ее теплый и влажный. Обернувшись с большей живостью, чем она проявляла обыкновенно со времени своей болезни, она увидела, что друг ее в необыкновенно возбужденном состоянии: щеки его пылали, пожирающий огонь сверкал в его глазах, он тяжело дышал. Альберт мгновенно овладел собою, но все-таки успел прочесть испуг на лице Консуэло. Это глубоко опечалило его. Он предпочел бы увидеть в ее глазах презрение и суровость, чем остаток страха и недоверия. Он решил следить за собою настолько внимательно, чтобы никогда больше воспоминанием о своем безумстве не потревожить ту, которая почти ценою своей жизни и собственного рассудка исцелила его от этого самого безумия.

Он добился этого благодаря усилиям воли, на что, пожалуй, не был бы способен человек в более спокойном состоянии духа. Окружающие даже не подозревали, насколько он владел собой. Они не знали, как часто раньше по несколько раз на день он подавлял начинавшиеся сильнее припадки и, только уже охваченный глубочайшим отчаянием и безумием, убегал в свою неведомую пещеру, оставаясь даже в своем поражении до некоторой степени победителем, так как все же был в состоянии скрыть от людских взоров свое падение. Альберт принадлежал к числу безумцев, достойных и жалости, и уважения: он знал о своем безумии и чувствовал его приближение вплоть до момента, когда бывал всецело им охвачен. Но даже и тут, в самый разгар своего безумия, он сохранял смутное воспоминание о действительном мире, не желая показываться, пока окончательно не придет в себя. Такое воспоминание о деятельной, действительной жизни мы все храним, когда во время сна тяжелые сновидения погружают нас в нереальное существование и бред. Мы боремся с ночными страхами и ужасами, но говорим себе, что это кошмар, и делаем усилие проснуться; однако злая сила захватывает нас и повергает в ту страшную летаргию, где нас осаждают и терзают все более зловещие зрелища и удручающие страдания. В подобных чередованиях протекала жизнь этого непонятного человека — жалкая и вместе с тем могучая; спасти его от страданий могла только активная, чуткая и разумная нежность. И такая нежность появилась наконец в его жизни. Консуэло действительно была той чистой душою, которая, казалось, была создана для того, чтобы проникнуть в душу этого мрачного человека, до сих пор недоступную для глубокой любви. В заботливости молодой девушки, порожденной ее роман-

тическим энтузиазмом, и в ее почтительной дружбе, вызванной благодарностью за самоотверженный уход во время болезни, — и в том и в другом было столько прелести, столько трогательного, что, видно, провидение избрало именно ее как необходимое средство для исцеления Альберта. Весьма возможно, что, если бы Консуэло откликнулась, позабыв о прошлом, на его пылкую любовь, — восторги, столь новые в его жизни, и внезапная безмерная радость излишним возбуждением могли бы повлиять на него самым печальным образом. Застенчивая же, целомудренная дружба ее должна была медленнее, но вернее способствовать его исцелению. Это являлось одновременно и уздой, и благодеянием для него. Если обновленное сердце молодого человека и было опьянено, то к этому примешивалось чувство долга, жажда самоотвержения, дававшие совсем новое направление его мыслям, иную цель его воле. И вот он испытывал одновременно и счастье быть любимым так, как никогда еще в жизни не был, и горе не быть любимым с такою страстью, какую он сам испытывал, и наконец страх, не удовлетворяясь этим счастьем, совсем потерять его. Все эти чувства, вместе взятые, так заполняли его душу, что в ней не оставалось места для тех фантазий, на которые раньше наталкивали его бездействие и одиночество. Теперь он, словно по волшебству, избавился от этих мечтаний. Он забыл о них, а образ любимой стал, словно небесный щит, между ним и ими.

Отдых для ума и покой для чувства, необходимые для восстановления сил юной больной, лишь изредка и слегка нарушались тайным волнением ее врача.

Консуэло, как мифологический герой, спустилась в преисподнюю за своим другом и вышла оттуда сама в ужасе и безумии. Альберт, в свою очередь, старался освободить ее от мрачных образов, вынесенных ею из этой преисподней, и благодаря его нежным заботам это удалось. Опираясь друг на друга, они вступали вместе в новую жизнь, не смея, однако, оглядываться назад и думать о той бездне, откуда они вырвались. Будущее было для них новою бездной, не менее таинственной и ужасной, куда они тоже не отваживались заглядывать. Зато они могли спокойно наслаждаться настоящим, этим благодатным временем, ниспосланным им небесами.

## L

Другие обитатели замка далеко не были так спокойны. Амелия была взбешена и не устаивала больную своими посещениями. Она не только делала вид, что не хочет говорить с Альбертом и смотреть на него, но даже не отвечала на его утреннее и вечернее приветствие. Ужаснее всего было то, что Альберт не обращал ни малейшего внимания на проявления ее злобы.

Канонисса, видя явную, нескрываемую страсть племянника к «авантюристке», не знала теперь ни минуты покоя. Она ломала себе голову, как изба-



виться от такой опасности, как положить конец такому скандалу, и по этому поводу у нее не прекращались совещания с капелланом. Но почтенный пастырь не очень-то желал прекращения создавшегося положения вещей. Давно уж он был бесполезен и незаметен в семейных тревогах. Но со времени последних волнений его роль снова сделалась более значительной: наконец-то мог он шпионить, разоблачать, предупреждать, предсказывать, советовать — словом, мог по своему усмотрению вертеть домашними делами, причем все это производить втихомолку, спрятавшись от гнева молодого графа за юбки старой тетки. Оба они не переставали находить новые поводы к тревогам, новые причины быть настороже. Одного им никогда не удавалось — найти спасительный выход. Не было дня, когда бы добрейшая Венцеслава не пыталась вызвать своего племянника на решительное объяснение, но каждый раз его насмешливая улыбка или ледяной взгляд не позволяли ей открыть рот. Ежеминутно она искала удобного случая проскользнуть к Консуэло, чтобы ловко и строго отчитать ее, но ежеминутно Альберт, точно предупрежденный домашними духами, появлялся на пороге комнаты, сокрушая ее гнев одним движением бровей, подобно Юпитеру Олимпийцу, наводившему ужас на богов, враждебных дорогой Трое. И все же канониссе удалось несколько раз заговорить с больной, но так как минуты, когда они оставались с глазу на глаз, были очень редки, то она старалась воспользоваться ими, чтобы наговорить ей разных нелепостей, казавшихся ей самой чрезвычайно многозначительными.

Но Консуэло была так далека от приписываемых ей честолюбивых замыслов, что ровно ничего не поняла в этих намеках. Ее удивление, ее искренность, доверчивость моментально обезоруживали добрую канониссу, которая никогда в своей жизни не могла устоять против откровенного тона и сердечной ласки. Сконфуженная, она снова шла к капеллану поведать ему о своем поражении, а потом весь остаток дня все обсуждала с ним планы на завтрашний день.

Между тем Альберт, отлично догадываясь об этих уловках, стал замечать, что разговоры тетки не только удивляют, но начинают беспокоить Консуэло, а потому решил положить им конец. Однажды он подкараулил Венцеславу в ту минуту, когда та ранехонько утром, не рассчитывая встретить его, пробиралась к Консуэло; она уже взялась за ручку двери, собираясь войти в комнату больной, как вдруг перед нею предстал племянник.

— Дорогая тетя, — проговорил он, ласково отрывая ее руку от двери и поднося ее к своим губам, — мне надо вам на ушко сказать что-то очень для вас интересное, а именно: жизнь и здоровье особы, находящейся здесь рядом, для меня гораздо драгоценнее, чем моя собственная жизнь, чем мое собственное счастье. Я прекрасно знаю, что по наказу вашего духовника вы считаете своим долгом препятствовать проявлению моей преданности к ней и стараетесь, насколько возможно, сократить мои заботы о ней. Не будь этого влияния, ваше благородное сердце никогда не позволило бы вам горькими

словами и несправедливыми упреками мешать выздоровлению больной, едва вырвавшейся из когтей смерти. Но раз уж фанатизм или мелочность пастыря могут делать такие чудеса, как превратить искреннее благочестие и чистейшее милосердие в слепую жестокость, то я всеми силами буду противодействовать такому злодеянию, орудием которого согласилась быть моя бедная тетя. Теперь я буду охранять свою больную день и ночь, ни на минуту не покидая ее, а если, несмотря на это, умудрятся ее отнять у меня, то клянусь самой страшной для верующих клятвой, что навсегда покину дом моих предков. Надеюсь, что господин капеллан, узнав от вас о нашем разговоре, перестанет терзать вас и бороться с великодушными порывами вашего материнского сердца.

Бедная канонисса совсем остолбенела и на речь племянника смогла ответить только слезами. Альберт увел ее в конец коридора, опасаясь, чтобы Консуэло не услышала их. Здесь, придя немного в себя, Венцеслава стала горячо упрекать племянника за его вызывающий, угрожающий тон и тут же не преминула воспользоваться случаем поставить на вид все безрассудство его привязанности к девушке такого низкого происхождения, как Нина.

— Милая тетя, — возразил на это Альберт, улыбаясь, — вы забываете, что если в нас и течет царственная кровь Подибрадов, то предки наши, монархи, были возведены на престол восставшими крестьянами и солдатами-авантюристами. Стало быть, каждый Подибрад в своем славном происхождении должен всегда видеть лишний повод для сближения со слабыми и неимущими, так как от них-то и пошли корни его силы и могущества; и все это было не так давно, чтобы об этом можно было уже позабыть.

Когда Венцеслава рассказала капеллану об этом бурном разговоре, тот посоветовал ей не раздражать молодого графа настойчивостью и не доводить его до большего возмущения, терзая ту, которую он защищает.

— По этому поводу надо обратиться к графу Христиану, — сказал он. — Ваша чрезмерная мягкость усилила смелость его сына; пусть ваши благоразумные доводы заставят наконец отца осознать опасность и принять решительные меры по отношению к «опасной особе».

— Да неужели вы думаете, — возразила канонисса, — что я не прибегала уже к этому средству? Но, увы, мой брат постарел на пятнадцать лет за эти пятнадцать дней последнего исчезновения Альберта. Его умственные силы так ослабли, что он совершенно перестал понимать с полуслова. Он как будто инстинктивно боится самой мысли о новом огорчении; брат, словно ребенок, радуется тому, что сын снова нашелся и, по-видимому, стал совсем здоровым человеком. Брат ожидает его окончательного выздоровления, не замечая, что бедный Альберт охвачен новым безумием, более пагубным, чем прежнее. Уверенность Христиана так глубока, он так наивно тешит себя этой мыслью, что до сих пор у меня не хватило мужества открыть ему глаза на все происходящее. Мне кажется, господин капеллан, если бы брат услышал это разоблачение от вас, он принял бы все с большей покорностью, и, вообще, благодаря

вашим духовным увещаниям разговор ваш был бы и полезнее, чем мой, и менее тяжел для него.

— Это слишком щекотливое разоблачение, — ответил капеллан, — чтобы вмешиваться в него такому скромному пастырю, как я. Гораздо уместнее, чтобы сообщила об этом сестра, которая сможет все смягчить такими ласковыми словами, с какими я не смею обращаться к высокочтимому главе семьи.

Обе эти степенные особы потратили несколько дней на препирательства о том, кто из них первый отважится заговорить со старым графом. А пока они колебались, любовь в сердце Альберта все росла и росла. Консуэло заметно поправлялась, и никто не нарушал их нежной близости, которую никакой суровый страж не мог бы сделать ни более целомудренной, ни более сдержанной, чем она была, благодаря неподдельной чистоте и глубокой любви.

Между тем баронесса Амелия, не в силах дольше переносить свою унизительную роль, настойчиво просила отца увезти ее в Прагу. Барон Фридрих, предпочитавший пребывание в лесах жизни в городе, тем не менее обещал ей все, что ей было угодно, но откладывал назначение отъезда со дня на день и не делал никаких приготовлений. Дочка поняла, что надо самой быстро кончить дело, и придумала неожиданный способ. Сговорившись со своей горничной, довольно хитрой и решительной француженкой, она однажды утром, когда отец собирался на охоту, стала просить его отвезти ее в соседний замок к знакомой даме, которой давно уж надо было отдать визит. Барону не очень-то хотелось отказываться от своего ружья и охотничьей сумки, переодеваться и менять все распределение дня, но он надеялся, что такое потворство сделает дочь менее требовательной, что прогулка рассеет ее дурное настроение и она без особенного неудовольствия проведет в Замке Великанов несколько лишних дней. Заручившись целой неделей, он думал, что обеспечит себе независимость на всю жизнь: не в его привычках было заглядывать дальше этого.

Покорившись своей участи, он отправил Сафира и Пантеру на псарню; сокол Атилла вернулся на свой насест с раздраженным и недовольным видом, что вызвало у его хозяина тяжкий вздох.

Наконец барон уселся с дочерью в карету и, как это с ним обычно бывало в подобных случаях, немедленно и крепко заснул. Тотчас же Амелия приказала кучеру повернуть и ехать на ближайшую почтовую станцию, куда они и домчались через два часа. Барон открыл глаза только в тот момент, когда почтовые лошади, которые должны были везти его в Прагу, были уже впряжены в карету.

— Что это? Где мы? Куда мы едем? Амелия, дорогая, что вы выдумали? Что значит этот каприз или эта шутка?

На все эти вопросы молодая баронесса, ласкаясь по-детски к старику, отвечала лишь взрывами веселого смеха. И только когда увидела, что форейтор уже на лошади, а карета катится по большой дороге, она, приняв сразу серьезный вид, весьма решительно заговорила:

— Дорогой папа, ни о чем не беспокойтесь. Наш багаж прекрасно уложен, каретные ящики полны всем необходимым в дороге. В Замке Великанов остались только ваше оружие и собаки. В Праге то и другое ни к чему, а впрочем, по первому же требованию они вам будут присланы. Дяде Христиану за завтраком передадут мое письмо. В нем я пишу о необходимости для нас уехать в таком духе, что это и не особенно огорчит его и не раздражит ни против вас, ни против меня. Теперь прошу смиренно прощения за то, что обманула вас, но ведь прошел месяц с тех пор, как вы обещали мне сделать то, что я выполнила сейчас; стало быть, в сущности, я не иду против вашей воли, увозя вас в Прагу в ту минуту, когда вы об этом не думали; я уверена, вы в восторге, что избавлены от тяжелой минуты расставания и от дорожных сборов. Мое положение становилось невыносимым, вы не замечали этого. Вот мое извинение и оправдание. Соболаговолите обнять меня и не глядите на меня страшными глазами, которые меня пугают.

При этих словах и Амелия и ее наперсница едва удерживались от смеха, так как всю жизнь у барона не было страшного взгляда ни для кого вообще, а для обожаемой дочки и подавно. В данную же минуту глаза бедного барона выглядели растерянными и даже, надо признаться, бессмысленно от неожиданности. Если он и был несколько раздосадован выкинутой над ним шуткой, огорчен внезапной разлукой с братом и сестрой, с которыми он даже не простился, то вместе с тем он был так изумлен случившимся, что его неудовольствие тотчас же сменилось восхищением.

— Но как вы умудрились все это устроить, не возбудив во мне ни малейшего подозрения? — допрашивал он. — Да, по правде сказать, снимая охотничьи сапоги и отсылая верховую лошадь, я был далек от мысли, что еду в Прагу и что сегодня не буду обедать с братом. Вот странное приключение! Я уверен, что никто не поверит, когда я стану о нем рассказывать... Но куда же, Амелия, спрятали вы мою дорожную шапку? Как по-вашему, не спать же мне, надвинув на уши эту шляпу с галунами?

— Ваша шапка? Вот она, дорогой папа, — проговорила юная плутовка, подавая ему меховое кепи, которое он тут же, с наивным удовольствием надел на голову.

— А моя дорожная фляжка? Наверно, вы забыли о ней, недобрая девочка?

— Конечно, нет! — воскликнула дочка, протягивая ему хрустальную бутылку, обделанную в серебро и русскую кожу. — Я сама наполнила ее лучшим венгерским вином, какое только имеется в подвале у тети. Попробуйте-ка его — это ваше любимое.

— А моя трубка, а мой кисет с турецким табаком?

— Все тут, — сказала горничная, — мы ничего не забыли, обо всем позаботились, чтобы господину барону было приятно путешествовать.

— В добрый час! — проговорил барон, набивая себе трубку. — Тем не менее, дорогая Амелия, вы со мной поступили прескверно. Вы делаете из вашего отца посмешище. По вашей милости, все будут надо мной издеваться.

— Дорогой папа, — отвечала Амелия, — это я являюсь посмешищем в глазах света, упорствуя выходить замуж за кузена, который совершенно не достаивает меня своим вниманием и на моих глазах усиленно ухаживает за моей учительницей музыки. Достаточно долго терпела я такое унижение и не знаю, много ли найдется девушек моего круга, моей наружности и моих лет, которые отнеслись бы к этому так, как я, а не похуже. Я уверена, что есть девушки, скучавшие меньше моего за последние полтора года, которые, однако, убегают или позволяют похитить себя, лишь бы избавиться от своей скучной жизни. Я же довольствуюсь тем, что убегаю, похищая собственного отца, это более ново и более честно; что думает по этому поводу дорогой мой папочка?

— Бесенок ты у меня! — проговорил барон, целуя дочку.

Он очень весело провел всю дорогу, попивая, покуривая и отсыпаясь; больше он ни на что не жаловался и перестал чему-либо удивляться.

В замке это событие не произвело на графскую семью того сильного впечатления, на которое рассчитывала Амелия. Начать с Альберта. Если бы ему не сказали, он и через неделю не заметил бы этого, а когда канонисса объявила ему об отъезде родственников, он ограничился тем, что сказал:

— Вот единственная умная вещь, которую сделала умная Амелия с минуты своего приезда сюда. Что касается добрейшего дяди, то я уверен, что в недалеком будущем он к нам вернется.

— А я жалею об отъезде брата, — сказал старый Христиан. — В мои годы недели и даже дни имеют значение. То, что тебе, Альберт, кажется коротким сроком, для меня может быть вечностью, и я далеко не так уверен, как ты, что увижусь снова с моим тихим и беспечным братом Фридрихом. Ну, что же делать? Этого хотела Амелия, — прибавил он, с улыбкой сворачивая и откладывая в сторону удивительно ласковое и вместе с тем злое письмо, оставленное ему юной баронессой, — ведь женская злоба ничего не прощает. Вы, дети мои, не были рождены друг для друга, и мои сладкие мечты разлетелись, как дым!

Говоря это, старый граф с какой-то меланхолической веселостью поглядел на сына, как бы ожидая уловить в его глазах тень сожаления. Но ничего подобного он в них не прочел, а Альберт, нежно пожав руку отца, дал ему этим понять, что благодарит его за отказ от проекта, бывшего так мало ему по сердцу.

— Да будет воля твоя, Господи! — снова заговорил старик. — И да будет сердце твое свободно, сын мой! Ты теперь здоров и кажешься спокойным и счастливым среди нас. Я умру утешенный, и благодарность отца принесет тебе счастье после нашей разлуки.

— Не говорите о разлуке, отец мой, — воскликнул молодой граф с глазами, полными слез, — я не в силах выносить этой мысли!

Тут капеллан встал и с деланно скромным видом вышел, предварительно приободрив взглядом уже несколько растроганную канониссу. Взгляд этот был и приказанием и сигналом. С душевной болью и со страхом она поняла,



что наступила минута говорить. И вот, закрыв глаза, словно человек, бросающийся из окна во время пожара, она начала, путаясь и бледнея:

— Конечно, Альберт нежно любит отца и не захочет смертельно огорчить его.

Альберт поднял голову и посмотрел на тетку таким ясным, пронизывающим взором, что та смутилась и не смогла сказать ничего больше. Старый граф, казалось, не слышал этой странной фразы, а среди воцарившегося молчания бедная Венцеслава трепетала под взглядом племянника, словно куропатка, загипнотизированная собакой, делающей над ней стойку.

Вдруг через несколько минут граф Христиан, очнувшись от своей задумчивости, ответил сестре так, как будто она продолжала говорить или он прочел все то, что она собиралась ему открыть.

— Дорогая сестра, — сказал он, — позвольте мне дать вам совет: не терзайте себя тем, в чем вы ничего не понимаете. Вы в своей жизни не имели понятия о том, что такое сердечное влечение, а суровые правила канониссы совершенно не годятся для молодого человека.

— Боже милостивый! — прошептала совсем расстроенная канонисса. — Или брат не хочет меня понять, или разум и благочестие покинули его. Возможно ли, чтобы он по своей слабости стал поддерживать или легко относиться...

— Что поддерживать, тетя? — спросил Альберт решительно и строго. — Говорите же, раз вы обречены это делать! Пора кончить с этим напряженным состоянием, и пора нам узнать друг друга.

— Нет, сестра, не говорите, — остановил ее граф Христиан, — ничего нового вы мне не скажете. Давно я прекрасно все понял, только виду не подавал. Минута для объяснений по этому поводу еще не настала. Когда придет время, я буду знать, что мне надо делать.

И он тотчас же намеренно заговорил о другом. Канонисса упала духом. Альберт смутился, не понимая, что хотел сказать отец. Капеллан, узнав, как глава семьи отнесся к его предостережению, переданному окольным путем, страшно перепугался. Граф Христиан, несмотря на свой беспечный, нерешительный вид, никогда не был слабым человеком. Не раз случалось ему, выйдя из своего как будто сонливого состояния, действовать энергично и разумно. Священник струсил, что зашел далеко и может получить выговор. И он принялся поспешно уничтожать дело рук своих, уговаривая канониссу больше ни во что не вмешиваться.

Две недели прошли самым мирным образом. Консуэло даже в голову не приходило, что она может дать повод для семейных волнений. Альберт продолжал так же внимательно заботиться о ней, а об отъезде Амелии сообщил как о временной отлучке, не возбудив в Консуэло ни малейшего подозрения относительно причины этого отъезда. Консуэло начала выходить из своей комнаты; когда она в первый раз прогуливалась в саду, старый Христиан поддерживал своей слабой, дрожащей рукой неверные шаги выздоравливающей.

## LI

То был чудесный день в жизни Альберта, когда его дорогая Консуэло, вернувшаяся к жизни, поддерживаемая его старым отцом, на глазах у всей семьи протянула ему руку и с несказанно кроткой улыбкой проговорила: «Вот кто спас меня! Кто ухаживал за мной, как за родной сестрой!»

Но этот день, день апогея его счастья, сразу изменил, и притом больше, чем он мог это предвидеть, его отношения с Консуэло. Отныне, войдя снова в семейный круг, она довольно редко оставалась с ним наедине. Старый граф, казалось, еще больше полюбивший ее после болезни, по-отцовски заботился о ней, что глубоко трогало ее. Канонисса, хотя больше ничего не говорила, все-таки считала своим долгом следить за каждым ее шагом и при появлении Альберта была всегда тут как тут. А так как молодой граф не обнаруживал больше никаких признаков умственного расстройства, то стали усиленно приглашать в замок родственников и соседей, чего давно уже не бывало.

С какой-то простодушной гордостью хотели показать им, насколько молодой граф фон-Рудольштадт снова стал общителен и мил; а так как Консуэло, видимо, требовала и взглядами, и своим примером, чтобы он исполнял желание родных, то ему ничего не оставалось, как вернуться к роли светского человека и гостеприимного хозяина замка.

Эта крутая перемена много стоила Альберту. Он покорился только ради той, которую любил. Но за это он жаждал награды в виде более продолжительных бесед, откровенных излияний. Он был готов выносить целыми днями принуждение и скуку, лишь бы вечером услышать от нее слово одобрения и благодарности. Когда же между ними появлялась, как навязчивый призрак, канонисса и вырывала у него и эту чистую радость, он озлоблялся и падал духом. Проводя ужасные ночи, он часто бродил у колодца, полного прозрачной водой с того самого момента, когда он поднялся из него, неся на руках Консуэло. Измученный тяжелыми думами, он не раз почти проклинал данный им обет не ходить больше в свою тайную обитель. Его пугало даже то, что, чувствуя себя несчастным, он не может в недрах земли схоронить тайну своего страдания.

Конечно, и родные и его подруга не могли не обратить внимания на его вид, измученный после бессонницы, на все чаще и чаще возвращавшееся к нему мрачное настроение и рассеянность. Но Консуэло нашла способ рассеивать эти тучи и возвращать себе власть над ним всякий раз, когда ей грозило потерять его. Она начинала петь, и тотчас же молодой граф, очарованный и покоренный, находил облегчение в слезах или бывал охвачен новым приливом восторга. Средство это было неотразимо, и, когда ему удавалось перекинуться с нею словом наедине, он восклицал:

— Консуэло, ты нашла дорогу в мою душу! Ты обладаешь силой, недоступной простым смертным. Ты говоришь языком богов, тебе дано выражать самые возвышенные чувства и передавать людям самые могучие переживания твоей вдохновенной души. Пой же всегда, когда заметишь, что я изнемогаю! На слова, произносимые тобой в пении, я почти не обращаю внимания, почти не слышу их: до моего сердца доходит только твой голос, чувство, с каким ты поешь, твое вдохновение! Музыка говорит о том таинственном и возвышенном, о чем мечтает душа, что она предчувствует. Она есть проявление высших идей и чувств там, где бессилён человеческий язык. Это — откровение бесконечного, и, когда ты поешь, во мне остается человеческого только то, что человечество почерпнуло божественного и вечного у создателя. Все то утешение и ободрение, в которых отказывают мне твои уста в обыденной жизни, все, что светская тиранья не позволяет тебе высказать мне, — все сторицею воздает мне твое пение. Оно разоблачает мне всю твою сущность, и тогда душа моя обладает тобою в радости и в горе, в вере и в сомнениях, в порывах восторга и в тайных мечтаниях.

Иногда Альберт говорил все это Консуэло и в присутствии семьи по-испански, но видимое неудовольствие тетки и правила учтивости не позволяли девушке отвечать ему. Наконец, однажды, очутившись наедине с ним в саду, когда Альберт снова заговорил о том, какое счастье дает она ему своим пением, Консуэло спросила:

— Почему, если вы считаете музыку более совершенной и убедительной, чем слова, почему сами вы не сноситесь со мною этим способом, вы, знающий музыку, быть может, еще лучше моего?

— Что вы хотите этим сказать, Консуэло? — воскликнул страшно удивленный молодой граф. — Я ведь становлюсь музыкантом, только слушая вас.

— Не старайтесь меня обмануть, — ответила она. — Раз в жизни мне пришлось слышать божественную игру на скрипке, и это играли вы, Альберт. Было это в пещере Шрекенштейна. В тот день я слышала вас, прежде чем вы увидели меня. Я овладела вашей тайной, — простите мне и дайте услышать еще раз ту чудную мелодию, из которой в моей памяти удержалось несколько фраз и которая раскрыла мне в музыке еще неведомые красоты.

Консуэло попробовала вполголоса спеть смутно запомнившуюся ей мелодию, и Альберт сразу же узнал ее.

— Это народный гимн с гуситским текстом, — сказал он. — Стихи — произведение моего предка Гинко Подибрада, сына короля Георгия, одного из отечественных поэтов. У нас множество превосходных стихотворений Стрея, Симона Ломницкого и многих других, но они запрещены имперской полицией. Это религиозные и народные песни, положенные на музыку неизвестными гениями Богемии, далеко не все уцелели в памяти богемцев. Некоторые из них сохранились в народе, и Зденко, обладающий необычайной памятью и музыкальным чувством, знает их, по преданию, довольно много.

Я собрал их и положил на ноты. Они очень красивы, и вам будет интересно познакомиться с ними. Но услышать их вы сможете в моем убежище. Там моя скрипка и все собрание нот. Среди них есть очень ценные рукописные сборники старинных католических и протестантских авторов. Ручаюсь, что вы незнакомы ни с Жоскеном<sup>1</sup>, несколько тем которого нам передал по наследству Лютер в своих церковных песнопениях, ни с Клавдием Младшим, ни с Аркадельтом, ни с Георгом Рау, ни с Бенуа Дюси<sup>2</sup>. Скажите, дорогая Консуэло, не побудит ли вас интерес к этим любопытным произведениям еще раз прийти в мою пещеру, откуда я так давно изгнан, и посетить мою церковь, которую вы еще не знаете?

Предложение это хотя и возбудило любопытство молодой артистки, но заставило ее вздрогнуть. Эта ужасная пещера будила в ней такие воспоминания, что она не могла воскресить их без содрогания, а мысль, что она может снова очутиться там вдвоем с Альбертом, невзирая на все доверие к нему, была ей мучительна, и он сразу заметил это.

— Вижу, что вас отталкивает самая мысль об этом паломничестве, хотя вы и обещали мне отправиться туда со мною, — сказал он. — Не будем больше говорить об этом. Верный своей клятве, я не пойду в свое убежище без вас.

— Вы, Альберт, напомнили мне о моей клятве, — сказала она, — и я сдержу ее, как только вы этого потребуете. Но, милый мой врач, вы все-таки не должны забывать, что мои силы еще недостаточно окрепли. Не можете ли вы пока показать мне здесь эти любопытные произведения и дать мне послушать замечательного артиста, играющего на скрипке гораздо лучше, чем я пою?

— Не смеетесь ли вы надо мной, дорогая сестра? Но все-таки могу сказать с уверенностью, что вы услышите меня только в пещере. Там я попытался заставить этот инструмент говорить так, как внушало мне сердце; до того я ничего не смыслил в нем, несмотря на многолетние занятия с блестящим, но поверхностным профессором, которому отец платил большие деньги. Там, в своей пещере, я постиг, что такое музыка, постиг также, каким свято-татственным глумлением заменяет ее большинство людей. А я, признаюсь, не был бы в состоянии извлечь из скрипки ни единого звука, иначе, как распростершись мысленно перед Божеством. Даже если б я видел, что вы, холодно стоя рядом со мной, внимательно прислушиваетесь к исполняемым мною вещам, стремясь из любопытства определить степень моего таланта, то и тут я наверно играл бы так плохо, что, пожалуй, вы не смогли бы и слушать.

<sup>1</sup> *Жоскен де Пре* (1450–1521) — композитор, глава нидерландской школы, жил в Италии, Франции и Нидерландах; живя в Риме, стяжал себе громкую славу как духовный композитор; сочинял также песни в народном стиле.

<sup>2</sup> *Якоб Аркадельт* (1514–1555) — представитель нидерландской музыкальной школы; жил в Риме и Париже. *Георг Рау* — немец из Виттенберга, композитор XVI века. *Бенуа Дюси* (Benaïesus dux) — нидерландский композитор, родился в Брюгге в 1480 году; жил в Антверпене, в Англии при дворе Генриха VIII и в Германии.

С тех пор как я немного овладел своим инструментом, посвященным мною восхвалению Господа и жаркой молитве, я никогда не прикасался к нему иначе, как переносясь в идеальный мир, охваченный вдохновением, которого ни вызвать, ни удержать сам я не в силах. А когда у меня нет этого вдохновения, потребуйте исполнения хоть простейшего отрывка, — я знаю, что при всем желании угодить вам память изменит мне, а пальцы будут неуверенны, как у ребенка, берущего первые ноты.

— Я в состоянии понять ваше отношение к музыке, — отвечала растроганная Консуэло, внимательно выслушав его, — и надеюсь, что смогу присоединиться к вашей молитве с душой настолько сосредоточенной и благоговейной, что присутствие мое не расхолодит вашего вдохновения. Ах, дорогой Альберт, отчего мой учитель Порпора не слышит того, что вы говорите о святом искусстве! Он стал бы пред вами на колени! Но даже этот великий артист менее суров, чем вы: он считает, что артист и виртуоз должен черпать вдохновение в симпатии и восхищении своих слушателей.

— Быть может, Порпора, что бы он ни говорил, соединяет в музыке религиозное чувство с человеческой мыслью. Быть может, он и к духовной музыке относится так же, как верный католик. Стань я на его точку зрения, я рассуждал бы, как он. Если бы я пребывал в общении веры и симпатии с народом, исповедующим мой же культ, я тоже искал бы в близости этих душ, проникнутых одним со мной религиозным чувством, то вдохновение, которое я вынужден был до сих пор находить в уединении, благодаря чему, быть может, оно и не бывало полным. Если когда-нибудь, Консуэло, мне выпадет счастье слить в молитве (как я ее понимаю сердцем) твой божественный голос со звуками моей скрипки, то тогда, без сомнения, я поднимусь до высоты, какой никогда еще не достигал, и молитва моя будет более достойна Божества. Не забывай же, дорогая, что до сих пор верования мои были ненавистны всем окружающим, а те, кого они не оскорбляли, издевались над ними. Вот почему свое слабое дарование я скрывал, как тайну, между Богом, Зденко и собой. Отец мой — любитель музыки и хотел бы, чтобы моя скрипка, столь же священная для меня, как систр<sup>1</sup> элевзинских мистерий, развлекала его. Но, Боже мой, что было бы со мной, если бы мне пришлось аккомпанировать какую-нибудь каватину Амелии, и что случилось бы с моим отцом, заиграй я одну из старинных гуситских мелодий, доведших стольких богемцев до каторги и казни, или исполни я какой-нибудь из менее старых гимнов наших лютеранских предков, когда он краснеет за свое происхождение от них! А более новых произведений, Консуэло, я не знаю. Конечно, существуют превосходные. Все, что вы мне сообщили о Генделе и других великих композиторах, на которых вы воспитались, все это представляется мне гораздо выше во многих отношениях, чем то, чему, в свою очередь, я мог бы научить вас. Но чтобы ознакомиться с этой музыкой и изучить ее, мне надо было бы войти в новый музыкальный мир, а туда я мог

<sup>1</sup> *Систр* — античный музыкальный инструмент вроде лютни.



бы решиться проникнуть только с вами, дабы вы щедрой рукой излили на меня те сокровища, которых я так долго не знал или которыми пренебрегал.

— А я, — сказала, улыбаясь, Консуэло, — кажется, не возьмусь за это. Слышанное мною в пещере так прекрасно, так велико, так единственно в своем роде, что я побоюсь набросать гравия в источник из хрусталя и бриллиантов. Теперь я вижу, Альберт, что в музыке вы гораздо больший знаток, чем я. Не скажете ли вы мне что-нибудь о светской музыке? Ведь я должна сделать из нее свою профессию. Со страхом думаю я, что в светской музыке, как и в духовной, до сих пор мои знания недостаточны и поверхностны.

— Не верю этому, Консуэло, и смотрю на вашу роль, как на священную; так точно, как ваша профессия — высшая из всех доступных женщине, так душа ваша наиболее достойна выполнить это священнодействие.

— Пойдите, пойдите, дорогой граф, — с улыбкой возразила Консуэло, — из того, что я вам часто рассказывала о монастыре, где училась музыке, и о церкви, где пела хвалы творцу, вы заключаете, что я посвятила себя служению алтарю или скромному монастырскому преподаванию; но когда вы узнаете, что «цыганочка» благодаря своему происхождению была в детстве предоставлена случайностям, что все ее образование состояло в изучении духовной и светской музыки, причем к той и другой «цыганочка» относилась с одинаковым жаром, равнодушная, куда приведет ее судьба, — в монастырь или на театральные подмостки...

Тут Альберт перебил ее:

— Убежденный, что Бог отметил тебя и предназначил еще в утробе матери быть святой, я без тревоги смотрю на жизненные случайности и уверен, что и на сцене ты будешь так же свята, как и в монастыре.

— Как? Вы при всей суровости своих взглядов не боялись бы общения с актрисой?

— На заре религий, — ответил он, — храм и театр были одинаково священны. При чистоте религиозных идей обряды культа являлись зрелищем для народов; искусства родились у подножия алтарей; самые танцы, посвященные в наши дни нечистому сладострастью, являлись музыкой чувства на празднествах богов. Музыка и поэзия — наивысшее выражение веры, а женщина, одаренная гениальностью и красотой, — жрица, пророчица и просветительница. Эти строгие, величавые формы прошлого заменились нелепыми и преступными: католичество изгнало красоту из своих празднеств и женщину из своих торжественных церемоний; вместо того чтобы направить и облагородить любовь, оно изгнало и осудило ее. Но красота, женщина и любовь не могли утратить своей власти. И люди воздвигли им новые храмы, называемые театрами, в которых никакого другого бога не воцарилось. Виноваты ли вы, Консуэло, что эти храмы обратились в вертепы разврата? Природа, создающая свои чудеса, нисколько не заботясь о том, как они будут приняты людьми, сотворила вас, чтобы вы блистали среди женщин, расточая в мире сокровища дарований и гения. А монастырь и могила — синонимы.

Вы не могли бы схоронить дары провидения, не совершив самоубийства. Для полета нужен большой простор. Артист чахнет и гибнет в неизвестности. Идите же на сцену, Консуэло, если вас туда влечет, и выносите кажущееся бесчестие со смирением благочестивой души, обреченной на страдание, на тщетные поиски своей родины в здешнем мире! Не бойтесь! Тьма и порок — не ваша стихия: дух святой властно отстранит их от вас.

Долго и с воодушевлением говорил Альберт, быстро шагая возле Консуэло под тенистыми деревьями речного заповедника. Он легко заразил девушку своим энтузиазмом, и она даже забыла о своем нежелании идти в пещеру. Видя, что он так горячо желает этого, она сама захотела побыть подольше наедине с этим пылким и вместе с тем застенчивым человеком, узнать его взгляды, которые он решался высказывать ей одной. Взгляды эти были новы для Консуэло, и, можно сказать, удивительно новы в устах аристократа того времени и той страны. Они поразили молодую артистку, именно потому что были смелой, откровенной формулировкой того, что волновало ее саму. Будучи актрисой и вместе с тем набожной, она ежедневно слыхала, как канонисса и капеллан — оба беспощадно предавали проклятию комедиантов и их собратьев — шутов. Теперь она почувствовала себя реабилитированной серьезным, просвещенным человеком, и ей казалось, что грудь ее свободнее дышит, сердце спокойнее бьется, казалось, что она нашла свое место в жизни. В глазах ее блеснули слезы, а щеки горели ярким, невинным румянцем, когда в конце аллеи она увидела искавшую ее канониссу.

— О! Жрица моя! — прошептал Альберт, прижимая к своей груди ее руку, опиравшуюся на него. — Придете ли вы молиться в мою церковь?

— Да, — ответила она, — конечно, приду.

— А когда?

— Когда захотите. Но считаете ли вы, что я уже в силах совершить такой подвиг?

— Да, так как мы отправимся в Шрекенштейн среди бела дня и дорогой, далеко не такой опасной, как через водоем. Хватит ли у вас храбрости встать завтра на рассвете и выйти из ворот замка, как только они будут открыты? Меня вы найдете в тех кустах, что видны отсюда на склоне холма у каменного креста, и я буду вашим проводником.

— Ну хорошо, даю вам слово, — ответила, все-таки не без волнения, Консуэло.

— Сегодняшний вечер слишком прохладен для такой продолжительной прогулки, — сказала, подходя к ним, канонисса.

Альберт промолчал. Он не умел притворяться. Консуэло, чувствуя, что она ни в чем не может упрекнуть себя, смело взяла под руку канониссу и крепко поцеловала ее в плечо. Венцеслава хотела было обдать девушку холодом, но она сама невольно поддалась влиянию этой прямой, любящей души; тетка вздохнула и, вернувшись домой, пошла помолиться за обращение ее на путь истинный.

## LII

Однако прошло несколько дней, а страстное желание Альберта все не могло исполниться. Канонисса так следила за Консуэло, что хоть она и вставала с зарей и первая переходила опущенный подъемный мост, но каждый раз натыкалась на канониссу или капеллана, бродивших по куртине эспланады и не спускавших глаз с открытого места, через которое надо было перейти, чтобы добраться до кустов холма. Консуэло решила прогуливаться одна на виду у них и отказаться от встречи с Альбертом. А тот, из своего тенистого убежища заметив этот неприятельский дозор, сделал большой круг по лесу и, никем не замеченный, вернулся в замок.

— Вы сегодня что-то очень рано гуляли, синьора Порпорина, — обратилась к ней за завтраком канонисса, — разве вы не боитесь, что влажная утренняя роса может повредить вам?

— Это я, тетя, посоветовал синьоре дышать свежим утренним воздухом и не сомневаюсь, что эти прогулки принесут ей большую пользу, — вступился Альберт.

— Я полагала, что особе, посвящающей себя пению, — возразила канонисса несколько деланным тоном, — не следовало бы выходить в наши туманные утра; но раз это по вашему указанию...

— Доверьтесь мнению Альберта, — сказал граф Христиан, — он достаточно доказал, что он такой же хороший врач, как хороший сын и хороший друг.

Вынужденное притворство заставляло Консуэло краснеть и было ей до крайности тягостно. Когда она смогла украдкой переброситься с Альбертом несколькими словами, она тихонько пожаловалась ему на это, прося отказаться от его проекта хотя бы до тех пор, пока не ослабеет бдительность тетки. Альберт послушался, умоляя ее в то же время не прекращать своих утренних прогулок в окрестностях парка, дабы в благоприятный момент иметь возможность присоединиться к ней.

Консуэло очень желала уклониться от этого. Правда, она любила прогулки и чувствовала даже потребность ежедневно хоть немного погулять вне давящих ее стен и рвов замка, но ей было тяжело обманывать людей, которых она уважала и чьим гостеприимством пользовалась. Любовь, даже не очень сильная, на многое закрывает глаза, но дружба размышляет, обдумывает, и Консуэло размышляла много. Стояли последние чудные летние дни, ведь уже прошло несколько месяцев со времени ее появления в Замке Великанов. Но какое это было лето для Консуэло? Даже в самую бледную осень в Италии было больше света и тепла. Но в этом тепловатом воздухе, в этом небе, часто покрытом легкими перистыми, белыми облачками, была своя прелесть, своя

красота. Одинокие прогулки были ей по душе, быть может, потому что ее не очень-то тянуло снова попасть в подземелье. Хотя она и решилась на это, но чувствовала, что Альберт избавил бы ее от большой тяжести, вернув ей слово, и, когда она не видела его умоляющих глаз и не слышала его вдохновенных речей, она в душе благословляла тетку, избавлявшую ее от данного ею обещания ежедневно все новыми препятствиями.

Однажды утром, гуляя вдоль берега горной речки, она высоко над собой увидела Альберта, перегнувшегося над балюстрадой своего цветника. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, она все время чувствовала на себе беспокойный, страстный взгляд человека, воле которого она до некоторой степени подчинилась.

«В какое странное положение попала я, — думалось ей. — В то время, как этот настойчивый друг наблюдает за мной, желая убедиться, верна ли я своей клятве, откуда-нибудь из замка, без сомнения, следят, опасаясь, чтобы я не встретила с ним вопреки обычаям и приличиям. Я же не знаю, что происходит в уме ни у тех, ни у других. Баронесса Амелия не возвращается, канонисса как будто чувствует ко мне недоверие и стала холодной. Граф Христиан относится еще дружелюбней, чем раньше, и, наверное, боится появления Порпора, которое, вероятно, повлечет за собой мой отъезд. Альберт, по-видимому, забыл о том, что я запретила ему надеяться на мою любовь. Словно ожидая от меня всего, он ни о чем не просит, но и не отказывается от своей страстной любви, дающей ему, по-видимому, счастье, несмотря на то, что я не в состоянии отвечать на нее тем же. А между тем каждое утро я, словно настоящая возлюбленная, жду свидания с ним, желая в то же время, чтобы он не являлся на него, и подвергая себя порицанию, а быть может, и презрению семьи, которая не может понять ни моей преданности ему, ни вообще наших отношений. Да как им и понять их, когда я сама не могу разобраться в них и даже не предвижу, чем все это кончится. Странная судьба моя! Неужели всегда обречена я жертвовать собою или для того, кого я люблю, но кто меня не любит, или для того, кого я уважаю, но не люблю?»

Эти размышления навели на нее глубокую грусть. Вдруг она ощутила потребность принадлежать только самой себе, эту высшую законнейшую потребность, которая является необходимым, неперенным условием для движения вперед, для развития выдающегося артиста. Забота об Альберте, взятая ею на себя, стала тяготить ее, как цепи. Горькое воспоминание об Андзоле и Венеции неотступно преследовало ее среди бездействия и одиночества жизни, слишком монотонной и регулярной для ее могучей натуры.

Она остановилась у скалы, на которую Альберт не раз указывал ей, как на место, где он по странной случайности видел ее впервые ребенком, пристегнутой ремнями к спине матери, носившей ее по горам и долам и распевавшей, как стрекоза в басне, не задумываясь о грозящей старости и суровой нужде.

«Бедная моя мать, — подумала юная «цыганочка», — снова я по воле неисповедимой судьбы в тех самых местах, которыми когда-то прошла и ты, едва запомнив их, сохранив лишь воспоминание о трогательном гостеприимстве. Молода ты была и красива и, конечно, на своем пути встречала не одно место, которое могло бы стать для тебя приютом любви, где общество могло простить и перевоспитать тебя — словом, ты могла бы свою тяжелую, бродячую жизнь переменить на спокойную и благополучную. Но ты чувствовала и всегда говорила, что благополучие — неволя, спокойствие — скука, а то и другое убийственно для артистической души. Чувствую, что ты была права: вот и я в том самом замке, где ты тогда согласилась остаться, как и во всех других, только на одну ночь. Здесь я не знаю ни нужды, ни усталости, со мной хороши, даже балуют меня: богатейший вельможа у моих ног, и что же? Я задыхаюсь в неволе, меня гложет скука».

Поддавшись необычайному унынию, Консуэло села на скалу и стала пристально глядеть на песок тропинки, словно надеясь найти в нем следы босых ног своей матери. Овцы, проходившие здесь, оставили на колючках клочки своей шерсти. Эта рыжевато-коричневая шерсть живо напомнила Консуэло грубое сукно, из которого был сделан материнский плащ, так долго укрывавший ее от холода и солнца, от пыли и дождя. Она помнила, как он потом, обратившись в лохмотья, рассыпался на их плечах.

«И мы тоже, — говорила она себе, — были такими же бедными бродячими овцами и так же, как они, оставляли на придорожных колючках клочья своих лохмотьев; но мы уносили с собою гордость в любви и упивались дорогой нам свободой».

Погруженная в эти мечты, Консуэло не отрывала глаз от покрытой желтым песком тропинки, которая красиво взвивалась по холму, расширяясь по дну долины, и вела на север, среди зеленых сосен и темного вереска.

«Что может быть прекраснее дороги! — думала Консуэло. — Это символ деятельной, полной разнообразия жизни. Сколько веселых мыслей будят во мне прихотливые изгибы вот этой самой тропинки. Я не помню мест, по которым она извивается, а между тем когда-то, несомненно, ходила по ним. Но как чудесны должны быть эти места по сравнению с мрачной крепостью, вечно спящей на своих неподвижных утесах! Насколько этот матово-золотистый песок и огненно-золотистый дрок, бросающий на него свою тень, насколько все это заманчивее прямых аллей и чопорных куртин горделивого холодного парка! Стоит мне только взглянуть на эти длинные, как по линейке проведенные аллеи, и я уже чувствую усталость. К чему мне двигать ногами, когда и так уж все мне видно, как на ладони! Другое дело — свободная дорога, убегающая вперед и прячущаяся в лесах! Она манит и влечет своими изгибами, своими тайнами. К тому же по этой дороге ходят все люди, она принадлежит всему миру. У нее нет хозяина, закрывающего и открывающего ее по своему желанию. Не только богач и сильный может топтать растущие по ее сторонам цветы и вдыхать их аромат — каждая птица может вить свое гнездо в ветвях ее





*Поддавшись необычайному унынию, Консуэло села на скалу и стала пристально глядеть на песок тропинки, словно надеясь найти в нем следы босых ног своей матери.*

деревьев, каждый бродяга может положить свою голову на ее камни. Впереди ничего: ни стена, ни частокол не закрывают горизонта, — необъятный небесный простор. Направо и налево поля, леса принадлежат хозяевам, а дорога — тому, у кого ничего нет, кроме нее! Но зато и любит же он ее! Грубейший из нищих, и тот чувствует к ней непреодолимую нежность. Пусть воздвигают для него больницы, роскошные, как дворцы, они все же будут для него темницами. Его поэзией, его мечтой, страстью всегда будет большая дорога. О мать моя! О мать моя! Ты знала, что прекрасно, и постоянно твердила мне об этом. Отчего не могу я воскресить твоего праха, покоящегося так далеко отсюда под водорослями лагун! Отчего не можешь ты снова взять меня на свои сильные плечи и унести туда, туда, где кружится ласточка над синеющими холмами, где воспоминание о прошлом и сожаление об утраченном счастье не могут догнать артиста-непоседу, несущегося быстрее их, и где каждый день новые горизонты, новый мир встают между ним и врагами его свободы! Бедная мать, отчего ты больше не можешь ни любить меня, ни срывать на мне свое сердце, осыпая меня то поцелуями, то ударами, подобно ветру, порой ласкающему, порой опрокидывающему молодые колосья в поле! Твоя душа была сильнее моей, и ты вырвала бы меня волей-неволей из сетей, в которых я все больше и больше запутываюсь».

Вдруг из своих упоительно-мучительных мечтаний Консуэло была выведена голосом, заставившим ее так вздрогнуть, как будто к ее сердцу прикоснулись раскаленным железом. То был мужской голос, доносившийся из глубины лощины и напевавший на венецианском наречии песню «Эхо», одно из самых оригинальных произведений Кьодзетто. Певец пел неполным голосом, и дыхание его, по-видимому, прерывалось ходьбой. Пропев, словно от скуки, одну фразу, он начинал с кем-то разговаривать, затем снова принимался петь, по несколько раз повторяя ту же модуляцию, словно для упражнения, все приближаясь к тому месту, где дрожащая Консуэло уже была близка к обмороку, и снова вступил в разговор. Разобрать, о чем говорил путешественник со своим спутником, она не могла: слишком было далеко. Видеть говорящих было тоже невозможно, — выступ скалы закрывал ту часть лощины, по которой они шли. Но разве могла она не узнать мгновенно этот голос, столь знакомый ей, разве могла не узнать песни, которой сама обучала его, заставляя своего неблагодарного ученика столько раз повторять ее? Наконец, когда оба невидимых путешественника подошли ближе, она услышала, как один из них (голос этот был ей незнаком) сказал на ломаном итальянском языке, с сильным местным акцентом:

— Эй, синьор! Синьор! Не подымайтесь: там лошадям не пройти, да и меня потеряете из виду; идите за мною вдоль горной речки. Видите дорогу? Вот она перед нами, а вы пошли тропинкой для пешеходов.

Голос, столь хорошо знакомый Консуэло, стал как будто удаляться, опускаться, но вскоре она опять услышала, как он спрашивал, чей это великолепный замок на том берегу.





Голос, столь хорошо знакомый Консуэло, стал как будто удаляться, опускаться, но вскоре она опять услышала, как он спрашивал, чей это великолепный замок на том берегу.

— Замок Ризенбург, то есть «Castello dei Giganti», — пояснил этот человек, проводник по ремеслу.

— Замок Ризенбург, то есть «Castello dei Giganti», — пояснил этот человек, проводник по ремеслу.

Вскоре проводник показался у подножья холма, ведя под уздцы двух взмысленных лошадей. Плохая дорога, размытая незадолго перед этим горной речкой, заставила всадников сойти с коней. Путешественник шел позади — на некотором расстоянии, и, наконец, Консуэло, перегнувшись над скалой, увидела его. Шел он к ней спиной, к тому же на нем был дорожный костюм, до того изменявший не только его фигуру, но и самую походку, что Консуэло, не услышав голоса, пожалуй, и не узнала бы его. Но вот он остановился, рассматривая замок, снял свою широкополую шляпу и платком вытер лицо. Хотя она глядела на него издали и сверху, но тотчас же узнала его густые золотистые кудри, узнала привычное движение руки, которым он отбрасывал волосы, когда ему бывало жарко.

— У этого замка очень внушительный вид! — услышала Консуэло его восклицание. — Будь у меня время, я был бы не прочь попросить живущих здесь великанов накормить меня завтраком!

— И не пробуйте! — ответил на это проводник, качая головой. — Рудольштадты принимают у себя только нищих да родственников.

— Так мало гостеприимны они? Ну, так чёрт с ними!

— Видите ли, это оттого, что им надо кое-что скрывать, — пояснил проводник.

— Клад? Или преступление?

— О нет! У них сын сумасшедший.

— Пусть чёрт заберет и его! Он окажет им только услугу!

— Ну вот, — обратился к нему проводник, останавливаясь, — наконец-то кончилась плохая дорога. Если угодно, садитесь на лошадь, и мигом доскачем мы до Тусты. Дорога туда чудесная — один песок. Оттуда на Прагу идет большак, и вы там достанете хороших почтовых лошадей.

— В таком случае, — проговорил Андзолето, поправляя стремя, — я могу теперь сказать: «Чёрт поberi также и тебя». По правде сказать, твои клячи, твои горные дороги и ты сам порядком-таки мне надоели.

С этими словами он быстро вскочил на коня, пришпорил его и, не обращая внимания на едва поспевавшего за ним проводника, во весь опор поскакал к северу. Несся он, поднимая столбы пыли, по той самой дороге, на которую только что долго смотрела Консуэло, никак не ожидая, что сейчас увидит на ней, подобно роковому призраку, врага своей жизни, вечную муку своего сердца... В неописуемом волнении глядела она ему вслед. Пока он был вблизи, она, трепеща и похолодев от ужаса и отвращения, спряталась. Когда она увидела, что он удаляется, что вот-вот он сейчас исчезнет с ее глаз и, может быть, навсегда, страшное отчаяние овладело ею. Она устремила на верхушку скалы, чтобы как можно дольше не терять его из вида; несокрушимая любовь снова с безумной силой вспыхнула в ней, и ей страстно хотелось крикнуть, позвать его, но голос замер; ей казалось, что рука смерти сдавила ей горло,

разрывает грудь; в глазах потемнело, глухой шум, подобный морскому гулу, раздался в ушах... В изнеможении она почти сваливается со скалы и... падает в объятия незаметно подошедшего Альберта, который уносит ее, полумертвую, в более мрачное убежище, скрытое под горою.

### ЛИІІ

Боязнь выдать своим волнением тайну, глубоко скрытую в ее душе, возвратила Консуэло силы взять себя в руки и уверить Альберта, что ничего особенного не произошло перед тем, как он подошел к ней. В тот момент, когда молодой граф подхватил на руки ее, бледную, близкую к обмороку, Андзо-лето со своим проводником уже исчез вдали за соснами, и потому Альберт мог подумать, что он сам виновен в том, что Консуэло чуть было не свалилась в пропасть. Одна мысль об опасности, которой он подверг ее, испугав несомненно своим внезапным появлением, до того взволновала его самого, что он совершенно не заметил несообразности ее ответов в первые минуты. Консуэло, которой он по временам внушал еще какой-то суеверный страх, трепетала и теперь при мысли, что он может силою своего прозрения хоть отчасти догадаться о ее тайне. Но Альберт, с тех пор как любовь заставила его жить общечеловеческой жизнью, казалось, совсем утратил свои прежние, почти сверхъестественные способности. Вскоре Консуэло окончательно справилась со своим волнением, и сделанное Альбертом предложение свести ее в пещеру не показалось ей таким неприятным, как несколько часов раньше. Строгая душа и мрачная обитель этого человека, так серьезно относившегося к ее судьбе, были тем убежищем, где она в эту минуту жаждала найти покой и силы, необходимые для борьбы с воспоминаниями о несчастной любви.

«Само провидение посылает мне этого друга среди моих испытаний, — думала она, — и то мрачное святилище, куда он хочет вести меня, служит как бы эмблемой могилы, куда мне лучше лечь, чем идти вслед за злым гением, только что пронесшимся предо мной. О да! Боже мой! Пусть лучше, прежде чем я пойду за ним, разверзнется земля под моими ногами и навек поглотит меня!»

— Дорогое утешение, — начал Альберт, — я шел сказать вам, что тетя, будучи сегодня все утро занята проверкой счетов с фермами, совсем забыла о нас и мы можем наконец осуществить наше паломничество. Впрочем, если вам все еще неприятно увидеть места, с которыми связано у вас столько мучений, столько ужасов...

— Нет, друг мой, нет, — не дала ему закончить Консуэло, — напротив, никогда я не была так расположена, как в эту минуту, помолиться в вашей церкви и слиться с вашей душой на крыльях той священной песни, которую вы обещали мне исполнить.



Они отправились к Шрекенштейну, и, углубляясь в лес в направлении, противоположном пути Андзоле, Консуэло почувствовала облегчение: казалось, с каждым шагом разрушались роковые чары, только что ею овладевшие. Консуэло шла так быстро и решительно, хотя и с серьезным, сосредоточенным видом, что молодой граф мог бы приписать эту наивную поспешность ее желанию сделать ему приятное, если бы он не сохранял того недоверия к себе и своей судьбе, которое составляло основу его характера.

Он привел ее к подножию Шрекенштейна, ко входу в пещеру, наполненному стоячей водой, покрытой буйной растительностью.

— Эта пещера, где вы можете заметить некоторые следы сводчатой постройки, известна у окружающего населения под названием Подвал Монаха. Одни думают, что это был действительно монастырский подвал, когда на месте этих развалин еще стоял укрепленный городок. Другие говорят, что в более поздние времена он служил убежищем одному кающемуся преступнику, сделавшемуся отшельником для искупления своих грехов. Как бы то ни было, никто никогда не отваживается проникнуть в эту пещеру. Существует глубокое убеждение, что вода в ней чрезвычайно глубока и даже смертельно ядовита, якобы из-за каких-то медных пластов, через которые она пробивается. На самом же деле вода эта совсем и не глубока и не вредна; она покоится на скалистом дне, и мы легко пройдем по нему, если вы, Консуэло, захотите еще раз довериться моим сильным рукам и моей святой любви к вам.

Убедившись затем, что никто за ними не следит и не может наблюдать, он взял ее на руки и, войдя в воду по колени, стал пробиваться со своей ношей сквозь кустарник и плющ, заполнявшие пещеру. Вскоре он опустил ее на сухой мелкий песок в месте, где царил полный мрак; Альберт сейчас же зажег захваченный с собою фонарь, и они тронулись в путь; после нескольких поворотов в подземных галереях, похожих на те, по которым Консуэло уж проходила со своим другом, они очутились у двери кельи, находившейся напротив той, где она была в первый раз.

— Это подземное сооружение, — сказал Альберт, — служило, очевидно, убежищем во время войны либо для именитых жителей городка, стоящего на горе, либо для владельцев Замка Великанов (городок был в вассальной зависимости от них), которые могли проникать сюда по знакомым вам потайным галереям. Если впоследствии, как утверждают, в Подвале Монаха жил отшельник, то очень вероятно, что он мог знать об этом убежище. Когда я появился здесь впервые, мне показалось, что галерея, по которой мы с вами пришли, была расчищена и не так уж давно, тогда как галереи, ведущие в замок, я нашел до того заваленными гравием и землей, что мне стоило немалых трудов сделать их проходимыми. А потом найденные мною здесь обрывки циновки, кружка, распятие, лампа и наконец — кости человека, лежавшего на спине со скрещенными на груди руками, очевидно, молившегося в последний раз, перед последним сном — все это доказало мне, что несомненно какой-то отшельник благочестиво и мирно закончил здесь свое таинственное существо-

вание. Наши крестьяне верят, что душа пустынного все еще обитает в недрах горы. Они утверждают, будто часто видят, как он блуждает по горе и даже витает над нею в лунные ночи; уверяют также, будто слышали не раз, как он молится, плачет, стонет, слышали странную, непонятную музыку, нежную, как дуновение ветерка, замирающего на крыльях ночи. Знаете, Консуэло, когда в припадках отчаяния вставали предо мною призраки, мне самому чудилось, будто я вижу мрачного, кающегося грешника, распростертого у подножия Гусита; порой мне даже представлялось, что я слышу его жалобные, раздирающие душу стоны, поднимавшиеся со дна пропасти. Но с тех пор, как я открыл эту келью и жил в ней, я никогда не видел никакого отшельника, кроме самого себя, никакого призрака, кроме собственной особы, а также не слышал иных стонов, кроме вырывавшихся из моей груди.

Со времени своего первого свидания с Альбертом в этой самой пещере Консуэло ни разу не слышала от него безумных речей. Поэтому, беседуя с ним, она никогда не решалась касаться ни его странных слов, произнесенных им в ту памятную для нее ночь, ни галлюцинаций, среди которых она тогда его застала. Ее удивляло, что в эту минуту он, по-видимому, совершенно обо всем этом забыл, и она, не смея ему ни о чем напоминать, только спросила, действительно ли полный покой в уединении избавлял его от того возбужденного состояния, о котором он только что упомянул.

— Не могу с точностью ответить вам на это, — сказал он, — и если вы не настаиваете, то, по правде сказать, и не хотел бы напрягать свою память. Мне кажется, что раньше со мной бывали настоящие припадки безумия. Мои усилия скрыть их еще более обнаруживали и обостряли их. Когда, благодаря Зденко, который владеет переходящей из рода в род тайной этих подземельных сооружений, я нашел способ избавляться от тягостной для меня заботливости родных и скрывать от всех взоров свое отчаяние, мое существование изменилось. Я стал больше владеть собой, а уверенность, что в случае особенно сильного приступа моего недуга, я могу всегда скрыться от назойливых свидетелей, помогла мне разыгрывать в семье роль спокойного, покорного судьбе человека.

Консуэло было ясно, что бедный Альберт насчет кое-чего заблуждается, но она чувствовала, что теперь не время разубеждать его. Радуясь, что он с таким хладнокровием говорит о прошлом, она принялась осматривать келью более внимательно, чем могла это сделать в свое первое посещение. Ей бросилось в глаза, что заботливый порядок и чистота перестали царить здесь: холод, сырость стен и плесень на книгах говорили о полной заброшенности.

— Вы видите, что я сдержал данное вам слово, — обратился к ней Альберт, только что с большим трудом растопивший печку, — моей ноги здесь не было с тех пор, как вы своим могущественным влиянием вырвали меня отсюда.

Тут Консуэло едва удержалась от вопроса, готового было сорваться у нее с языка. Она чуть было не спросила, разве и его друг Зденко, верный слуга, ревниво оберегающий страж, тоже забросил и покинул это убежище. Но она



*Наши крестьяне верят, что душа пустытника все еще обитает в недрах горы. Они утверждают, будто часто видят, как он блуждает по горе и даже витает над нею в лунные ночи... как он молится, плачет, стонет, слышали странную, непонятную музыку, нежную, как дуновение ветерка, замирающего на крыльях ночи.*



вовремя вспомнила, в какую глубокую грусть впадал Альберт каждый раз, как она заговаривала о Зденко, спрашивая, что с ним и почему со времени ужасной встречи в подземелье она никогда не видит его. Альберт всегда уклонялся от этого разговора: он то притворялся, будто не слышал вопроса, то, не отвечая прямо, просил ее быть совершенно спокойной и ничего не опасаться со стороны «невинного». Сперва она думала, что Зденко было приказано никогда не попадаться ей на глаза и он свято выполнял это. Но, когда она возобновила свои одинокие прогулки, Альберт, желая окончательно успокоить ее, поклялся ей, бледнея при этом, что она нигде не встретит Зденко, так как тот отправился в очень далекое путешествие. И действительно, с тех пор никто его не видел, и стали уж думать, что он или умер, забившись в какой-нибудь угол, или совсем покинул родной край.

Консуэло не верила ни в эту смерть, ни в этот отъезд. Она не могла допустить, зная страстную привязанность Зденко к Альберту, чтобы эти два человека могли окончательно расстаться. Мысль же о смерти все-таки возбуждала в ней ужас, в котором она боялась признаться самой себе каждый раз, когда вспоминала страшную, данную тогда Альбертом в таком возбужденном состоянии клятву в том, что, если это понадобится для спокойствия любимой им, он пожертвует жизнью этого несчастного. Она гнала от себя это страшное подозрение, вспоминая, как кроток и человечен был Альберт всю жизнь. К тому же вот уже несколько месяцев, как молодой граф был совершенно спокоен: очевидно, со стороны Зденко не было никакой выходки, которая могла бы привести его в такую ярость, как тогда в подземелье. Вообще Альберт как будто забыл об этой мучительной минуте, и Консуэло сама старалась не вспоминать о ней. Из всех событий в подземелье он помнил только то, что происходило, когда он был в здравом уме. Поэтому Консуэло остановилась на мысли, что Зденко было запрещено не только входить, но даже приближаться к замку и что он, бедный, с досады или с горя обрек себя на добровольное заключение в подземном убежище. Она предполагала, что несчастный выходит оттуда ночью, чтобы подышать воздухом или поговорить на Шрекенштейне с Альбертом, который, без сомнения, заботится о пропитании Зденко — точно так, как этот преданный друг раньше заботился о его собственном. При виде заброшенной кельи у Консуэло явилось предположение, что Зденко, рассердившись на хозяина, не хотел убирать его покинутое убежище; а так как, входя в пещеру, Альберт сказал, что ей совершенно нечего бояться, она, пользуясь тем, что ее друг возится над заржавленной, никак не открывающейся дверью в церковь, попыталась открыть дверь, ведущую в келью Зденко, надеясь там найти следы его недавнего пребывания. Как только она повернула ключ, дверь легко открылась, но здесь было так темно, что она ничего не могла разглядеть. Подождав, пока Альберт вошел в таинственную молельню (где он хотел для нее привести все в порядок), она взяла фонарь и тихонько вернулась в комнату Зденко, все-таки боясь встретиться с ним лицом к лицу. Но там не было ни малейшего признака его пребывания. Постель из листьев и овечьих шкур

была вынесена, грубый стул, инструменты, войлочные сандалии — все исчезло бесследно. При виде сырости, блестящей на стенах, трудно было даже предположить, чтобы вообще под этими сводами когда-нибудь мог спать человек.

Это открытие опечалило и ужаснуло Консуэло. Судьба Зденко была окружена какой-то мрачной тайной, и она с содроганием думала, что, может быть, она сама и явилась причиной какого-нибудь страшного события. В Альберте были два человека: мудрец и безумец. Один — кроткий, добрый, нежный; другой — странный, суровый, быть может, свирепый и беспощадный в своих решениях. Тут в голове Консуэло пронеслась мысль о том, как Альберту все мерещилось, будто он кровожадный Ян Жижка; вспомнилось его пристрастие к кровавым событиям в Богемии времен гуситов; да и в самой его страсти к ней, немой и терпеливой, было что-то властное, непостижимое... Все это, казалось, подтверждало самые мучительные подозрения ее. Похолодев от ужаса, стояла она неподвижно, избегая смотреть на голый, холодный пол из боязни увидеть на нем следы крови.

Она все еще продолжала стоять, погруженная в свои зловещие думы, когда услышала, что Альберт настраивает свой драгоценный инструмент, и вот скрипка запела тот старинный псалом, который Консуэло так жаждала еще услышать. Музыка была своеобразна, а Альберт вкладывал в нее столько чувства, чистого, глубокого, что Консуэло, забыв все свои тревоги и словно зачарованная магнетической силой, медленно направилась к нему.

#### LIV

Дверь «церкви» была открыта; Консуэло остановилась на пороге, чтобы рассмотреть вдохновенного виртуоза и это необычайное святилище. Эта так называемая церковь была просто огромной пещерой, высеченной, вернее, выдолбленной, в скалах рукой природы и в особенности подземными водами. Несколько факелов, укрепленных в разных местах на гигантских глыбах, бросали фантастический свет на зеленоватые скалистые стены. Свет этот не проникал в мрачные углубления, откуда неясно вырисовывались очертания длинных сталактитов, похожих на призраки. Эти огромные осадки, оставленные когда-то водою, представляли собой тысячи причудливых образований. То они были скручены, как чудовищные змеи, сплетающиеся и пожирающие друг друга, то, вылезая из почвы и опускаясь со сводов в виде чудовищных игл, походили на колоссальные зубы, оскаленные в раскрытых пастьях, образуемых черными углублениями скал. Кое-где виднелось что-то вроде бесформенных статуй, исполинских изображений варварских богов древности. Свойственная скалам растительность: огромные лишайи, жесткие, как чешуя драконов, гирлянды так называемых «оленьих языков» с широкими, тяжелыми листьями, группы молодых кипарисов, недавно посаженных



посредине пещеры на бугорках наносной земли, похожих на могилы, — все это придавало пещере мрачный вид, наводящий ужас, и на молодую артистку произвело потрясающее впечатление. Но первое чувство ужаса вскоре сменилось восторгом. Приблизившись, она увидела Альберта, стоявшего у источника, пробивающегося в середине пещеры. Сделанный для него резервуар был так глубок, что клочкотания обильных вод источника совсем не было заметно на его поверхности. Она была гладка и неподвижна, как глыба темного сапфира, а в посаженных по краям ее Альбертом и Зденко чудных водяных растениях не было заметно ни малейшей дрожи. Источник был горячий, и его теплые испарения придавали воздуху пещеры мягкость и влажность, благоприятные для растительности. Вода из бассейна вытекала несколькими ручейками: одни тотчас же с глухим шумом терялись в скалах, другие, чистые, прозрачные, протекали по пещере и потом исчезали в ее темных углублениях, бесконечно расширявших ее пределы.

Как только граф Альберт, перед тем лишь пробовавший струны на скрипке, увидел Консуэло, он пошел ей навстречу и помог ей перейти через излучины источника. В более глубоких местах были переброшены стволы деревьев, в других же выступавшие из воды камни облегчали переход для привычных ног. Он протягивал ей руку и несколько раз даже переносил ее. Но на этот раз Консуэло пугал не поток, мрачно и молчаливо катившийся у ее ног, а этот загадочный проводник, к которому ее влекла неодолимая симпатия, и в то же время какое-то непонятное отвращение отталкивало от него.

Подойдя к источнику, она увидела на широком камне в несколько футов вышиной нечто такое, что мало способствовало ее успокоению. То было четырехугольное сооружение, вроде памятника, какие можно видеть в катакомбах, искусно сложенное из костей и черепов человеческих.

— Не пугайтесь, — сказал ей Альберт, заметив, что она вздрогнула, — это благородные останки мучеников моей веры, образующие алтарь, перед которым я люблю размышлять и молиться.

— Какая же у вас религия, Альберт? — наивно и грустно спросила Консуэло. — Чьи это кости: гуситов или католиков? Разве и те и другие не были жертвами нечестивой ярости и мучениками веры, одинаково горячей? Неужели правда, что вы предпочитаете учение гуситов вере ваших родителей? И реформы, последовавшие после Яна Гуса, вы не считаете достаточно строгими и энергичными? Скажите, Альберт, чему я должна верить из всего того, что мне о вас говорили?

— Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов лютеранской, великого Прокопия — мстительному Кальвину, подвиги таборитов — подвигам солдат Валленштейна, если все это говорили вам, то это сущая правда, Консуэло. Но что вам до моих верований? Вы по наитию чувствуете истину и знаете Божество лучше моего. Боже упаси, чтобы я привел вас сюда для того, чтобы отяготить вашу чистую душу, смутить вашу спокойную совесть своими думами и душевными муками! Оставайтесь такой, какая вы есть, Консуэло!

Вы родились благочестивой и святой; более того, вы родились в бедности, неизвестности, и ничто не пыталось затуманить ваш разум, вашу совесть, ваше чувство справедливости. Мы можем, не препираясь, молиться вместе, вы, знающая все, ничему не учившись, и я, мало знающий после всех моих поисков. В каком бы храме вы ни молились, вы всегда будете обращаться к истинному Богу, и истинная вера будет гореть в вашей душе. Итак, не для того чтобы вас поучать, а для того чтобы получить через вас откровение, хотел я соединить наши голоса и мысли перед алтарем, сложенным из костей моих предков.

— Значит, я не ошиблась, приняв эти благородные останки, как вы их называете, за останки гуситов, сброшенные в колодец Шрекенштейна кровавой яростью гражданской войны, во времена вашего предка Яна Жижки, как говорят, страшно свирепствовавшего. Мне также рассказывали, что после того как он сжег деревню, он велел забить колодец. Мне кажется, что я вижу на темном своде прямо над головой круг из обтесанных камней, указывающий, что мы с вами как раз под тем местом, где я не раз сживала, утомившись искать вас. Скажите, граф Альберт, та ли это скала, которую, как я слышала, вы окрестили камнем Искупления?

— Да, — ответил Альберт, — здесь пытки и чудовищные жестокости освятили место моих молений и святилище моей скорби. Вы видите огромные глыбы, нависшие над нашими головами, и вот те, другие, у источника? Могучие руки таборитов сбросили их сюда, по приказу того, кого звали «Грозным слепцом»; но глыбы эти только отклонили воды к подземным руслам, куда они пробились. Самые стенки колодца были разрушены, а обломки их скрыты здесь под кипарисами, насаженными мною. Чтобы засыпать совсем эту пещеру, понадобилась бы целая гора земли. Глыбы, застрявшие вверху колодца, задержались там благодаря винтовой лестнице, подобной той, по которой вы отважились спуститься в водоем, что в моем цветнике, в Замке Великанов. Оседание горных пород с течением времени все больше и больше сдавливало и сдерживало эти глыбы. Теперь, если и случится незначительному камешку сорваться оттуда, то это бывает только зимой, во время сильных ночных морозов; вам, как видите, совершенно нечего бояться, что эти камни могут свалиться.

— Вовсе не это озабочивает меня, Альберт, — возразила Консуэло, переводя взгляд на мрачный алтарь, куда он положил свою скрипку. — Мне интересно знать, почему вы почитаете память и останки исключительно этих жертв, как будто не было мучеников и у противной стороны, как будто преступление одних простительнее преступления других.

Консуэло сказала это, строго и с недоверием глядя на Альберта. Она снова вспомнила о Зденко, и все эти вопросы были как бы частью того судебного допроса, которому она охотно подвергла бы его, если бы отважилась на это. Мучительное волнение вдруг охватило графа, она приняла это за угрызение совести; он схватился руками за голову, потом прижал их к груди, точно боясь,

что она разорвется. Лицо его страшно изменилось, и Консуэло испугалась, не догадывается ли он о ее подозрении.

— Вы даже не подозреваете, какую причиняете мне боль! — воскликнул он наконец, прислоняясь к алтарю из костей и склоняя голову к этим высохшим черепам, казалось, смотревшим на него из своих пустых орбит, — Нет! Вы не можете знать, Консуэло! И ваши холодные рассуждения будят во мне воспоминания о злополучных днях, пережитых мною. Вы не знаете, что говорите с человеком, пережившим века страданий, человеком, который, будучи слепым орудием непреклонного правосудия Божьего, уже получил награду и понес кару. Я так много страдал, так много пролил слез, так старался искупить свою жестокую судьбу, столько заглаживал ужасов, которые рок заставлял меня совершать, что начал, наконец, надеяться, что я смогу забыть обо всем. Забыть! Этого жаждало мое пламенное сердце! Это было мольбой, мечтой каждой минуты моей жизни! Распростертый над этими скелетами, я здесь годами вымаливал сближения с людьми, примирения с Богом! Когда, Консуэло, я увидел вас в первый раз, я начал надеяться. А когда вы пожалели меня, я начал верить в свое спасение. Взгляните на этот венок из засохших цветов, готовых рассыпаться в прах; я им увенчал самый верхний череп престола! Конечно, вы не узнаете этих цветов; я не раз оросил их горькими и сладостными слезами: ведь это вы сорвали их и передали мне через товарища моих страданий, верного обитателя моей гробницы. И вот, плача и целуя эти цветы, я со страхом спрашивал себя, возможно ли, чтоб в вас когда-нибудь зародилась глубокая, настоящая любовь к такому преступнику, как я, к такому безжалостному фанатику, бездушному тирану!..

— Но какие же совершили вы преступления? — спросила, возвысив голос, Консуэло, волнуемая самыми разнообразными чувствами и став смелее, видя, как глубоко удручен Альберт. — Если вы хотите исповедоваться, сделайте это сейчас же, чтобы я знала, могу ли я отпустить ваш грех и полюбить вас.

— Отпустить грех, да, вы можете, ибо тот Альберт фон-Рудольштадт, которого вы знаете, жил чистой жизнью ребенка. Но тот, кто вам неизвестен, — Ян Жижка, поборник чаши, был вовлечен гневом Божиим в целый ряд беззаконий...

Консуэло увидела, какую оплошность сделала она, раздувая тлевший под пеплом огонь и наводя бедного Альберта на пункт его помешательства. Но не время теперь было разубеждать; она попробовала успокоить его, говоря с ним языком его недуга.

— Довольно, Альберт. Если ваше настоящее существование было посвящено молитве и раскаянию, вам нечего больше искупать, и Господь прощает Яна Жижку.

— Бог не открывается непосредственно смиренным творениям, служащим Ему, — отвечал граф, качая головой. — Он унижает или одобряет их, пользуясь одними для спасения других. Мы все лишь перетолковываем его волю, когда, движимые духом милосердия, пытаемся укорять или утешать наших

ближних. Вы, молодая девушка, не имеете права отпускать мне грехи. У самого священника нет этой великой власти, хотя церковь в своей гордыне и приписывает ее ему. Но вы можете добыть мне Господне прощение, полюбив меня. Ваша любовь может примирить меня с Небом и заставить меня забыть дни, называемые «историей прошлых веков»... Вы можете давать мне именем Всемогущего Бога самые торжественные обещания, но я не смогу им поверить: я буду усматривать в них лишь благородный и великодушный фанатизм. Положа руку на сердце, спросите его, обитает ли в нем мысль обо мне, наполняет ли его моя любовь, и, если оно ответит «да», это «да» будет священной формулой отпущения моих грехов, моего искупления, будет тем чудом, которое даст мне покой, счастье и забвение. Лишь таким образом можете вы быть жрицей моей религии, и моя душа получит отпущение на небесах, как душа католика получает отпущение из уст духовника. Скажите, что вы меня любите, — воскликнул он, страстно порываясь к ней, словно желая схватить ее в свои объятия. Но она отшатнулась, испугавшись той клятвы, которой он требовал, а он упал снова на кости алтаря, тяжело стона и восклицая: — Я знал, что она не сможет полюбить меня, что я никогда не буду прощен, что я никогда не забуду те проклятые дни, когда еще не знал ее!

— Альберт, дорогой Альберт, — проговорила Консуэло, глубоко потрясенная терзавшим его горем, — имейте мужество выслушать меня. Вы упрекаете меня, будто я хочу обольстить вас надеждой на чудо, а между тем вы сами требуете от меня еще большего чуда. Бог, всевидящий и оценивающий наши заслуги, может все простить; но такое слабое, ограниченное существо, как я, — могу ли я понять и принять одним усилием ума и преданности такую странную любовь, как ваша? Мне кажется, что вы должны внушить мне ту исключительную любовь, какую вы от меня требуете и дать которую не в моей власти, особенно, когда я так мало еще знаю вас. Так как мы заговорили с вами мистическим языком религии, которому меня немного научили в детстве, то я скажу, что для искупления грехов надо, чтобы на вас снизошла благодать. Вы разве заслуживаете того подобия искупления, которого ищете в моей любви? Вы требуете от меня самого чистого, самого нежного, самого кроткого чувства, а мне кажется, что ваша душа не склонна ни к нежности, ни к кротости; в ней гнездятся самые мрачные мысли и вечное злопамятство.

— Что вы хотите сказать этим, Консуэло? Не понимаю вас.

— Я хочу сказать, что вы беспрестанно во власти зловещих фантазий, мыслей об убийствах, кровавых видений и вы плачете над преступлениями, якобы совершенными вами много веков тому назад, а между тем воспоминания о них вам дороги. Вы называете их славными, великими, вы приписываете их воле Божьей и праведному его гневу. Словом, вы одновременно и ужасаетесь, и гордитесь, разыгрывая в своем воображении роль какого-то ангела-истребителя. Если допустить, что вы действительно были в прошлом мстителем и разрушителем, то можно подумать, что в вас сохранился инстинкт мщения и разрушения, что в вас живет вкус, чуть ли не стремление к этой

страшной доле, раз вы все заглядываете туда, за пределы своей настоящей жизни, и плачете над собой как над преступником, приговоренным оставаться таковым и дальше.

— Нет, благодаря милосердию всемогущего отца душ он берет их обратно к себе и, восстановив своей любовью, потом возвращает их к деятельной жизни! — воздымая руки к небу, воскликнул Рудольштадт. — Нет, нет, во мне не сохранился инстинкт насилия и жестокости! Довольно с меня и того, что я был обречен пройти с мечом и факелом в руках через те варварские времена, которые мы на нашем фантастическом языке зовем «эпохой рвения и ярости». Но вы несведущи в истории, божественное дитя; вы не понимаете прошлого; и судьбы народов, в которых вам всегда, должно быть, выпадала миссия мира, роль ангела-утешителя, загадочны для вас. Однако надо же вам несколько ознакомиться с этими ужасающими истинами, чтобы иметь представление о том, что порой повелевает праведный Бог злосчастным людям.

— Говорите же, Альберт! Объясните мне, что могло быть такого важного и священного в бесплодных распрях о причащении, чтобы народы стали убивать друг друга во имя божественной евхаристии<sup>1</sup>?

— Вы правы, называя ее божественной, — ответил Альберт, усаживаясь у источника рядом с Консуэло. — Эта мечта равенства, это таинство, установленное существом наивысшим среди людей, для того чтобы увековечить принцип братства, достойна, чтобы вы, равная самым могущественным и благородным представителям человечества, назвали ее божественной! А между тем существуют еще тщеславные безумцы, которые считают вас ниже себя, считают кровь вашу менее драгоценной, чем кровь земных королей и князей! Что подумали бы вы обо мне, Консуэло, если бы я, потому только что веду свой род от этих самых королей и князей, вообразил себя выше вас?

— Я простила бы вам предрассудок, священный для всей вашей касты, восставать против которого мне, по правде сказать, никогда не приходило в голову. Я счастлива, что родилась свободной, и люблю простых людей гораздо больше, чем великих мира сего.

— Быть может, Консуэло, вы простили бы мне, но не уважали бы меня; оставаясь здесь с глазу на глаз со мной, человеком, обожающим вас, вы не чувствовали бы себя так спокойно, как теперь, будучи уверены, что для меня вы так же священны, как если бы были провозглашены германской императрицей по праву рождения. О! Позвольте мне думать, что божественную жалость, заставившую вас тогда, в первый раз, прийти сюда, вы почувствовали потому только, что знали мой характер и мои принципы! Итак, дорогая сестра, признайте же в своем сердце (я к нему обращаюсь, не желая утомлять ваш мозг философскими рассуждениями), что равенство — священо, что это — воля отца людей и что долг людей — стремиться установить это равенство. Когда народы были горячо привержены обрядности своей религии, для них в прича-

<sup>1</sup> *Евхаристия* — христианское таинство, во время которого верующие вкушают освященные хлеб и вино, как тело и кровь Иисуса Христа.



щении заключалось все равенство, каким только позволяли им пользоваться законы, установленные обществом. Бедняки и убогие находили в нем утешение; оно помогало им переносить тяготы жизни, давая надежду, что впоследствии их потомкам будет лучше; богемцы всегда хотели соблюдать обряды евхаристии в том виде, в каком их установили апостолы. То было поистине древнее братское общение, трапеза равенства, отображение Царства Божия, которое должно было осуществиться на земле. В один прекрасный день римская церковь, подчинившая народы и царей своей деспотической и честолюбивой власти, пожелала отделить христианина от священника, народ от духовенства. Она отдала чашу в руки своих служителей, дабы те скрыли Божество в таинственных ковчегах; и вот эти священнослужители, путем своих бессмысленных толкований, превратили причастие в какой-то языческий культ, в котором миряне могли участвовать не иначе, как с их, священнослужителей, соизволения. Они захватили ключи от совести людской, сделав исповедь тайной; и святая чаша, та славная чаша, к которой бедняк шел утолять и обновлять свою душу, исчезла в шкатулке из кедрового дерева, разукрашенной золотом, откуда причастие извлекалось, только для того чтобы приблизиться к устам священника. Он один стал достоин вкушать от крови и слез Христа. Смиранный верующий должен был, став на колени, лизать его руку, чтобы вкусить хлеб ангелов. Теперь вы понимаете, почему народ закричал в один голос: «Чашу, верните нам чашу! Чашу для простого народа, чашу для детей, женщин, грешников и безумных! Чашу для всех нищих, всех убогих и телом и душой!» Таков был крик возмущения, соединивший в одно всю Богемию. Остальное вам известно, Консуэло. Вы уже знаете, что к этой первой идее, отражавшей в религиозном символе всю радость, все благородные искания гордого и великодушного народа, присоединились, как последствие преследований среди страшной борьбы с соседними народами, еще идеи о национальной свободе и национальной чести. Завоевание чаши влекло за собой много благородных завоеваний и создало новое общество. Если же история, написанная невежественными или скептически настроенными людьми, расскажет вам, будто жажда крови и алчность к золоту одни разожгли эти злополучные войны, не верьте: это ложь перед Богом и людьми! Правда, личная злоба и честолюбие пятнали порою подвиги наших предков, но это была все та же старая жажда власти и золота, вечно грызущая богатых и знатных. Они, и только они, позорили святое дело и раз десять изменяли ему. Народ-варвар, но искренний, фанатичный, вдохновенный, ушел в секты, поэтические названия которых вам известны: табориты, оребиты, сироты, союзные братья — все это народ, мученик своей веры, бежавший в горы; он соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейшего равенства, верил в вечную жизнь душ, воплощающихся в обитателях земного мира, ждал пришествия и торжества Христа, воскресения Яна Гуса, Яна Жижки, Прокопа Лысого и всех непобедимых вождей, проповедовавших свободу и служивших ей. Такое верование мне не кажется вымыслом, Консуэло. Наша роль на земле не так коротка, как принято думать, и обязанности наши не кончаются со смертью.

Что же касается желания капеллана, а быть может, и моих добрых, но слабых родных приписывать мне ребяческое увлечение гуситским культом, то хоть я, действительно, в дни своего болезненного возбуждения как будто смешивал символ с принципом и образ с идеей, не презирайте меня слишком за это, Консуэло. В глубине души я никогда не думал воскрешать эти забытые обряды, не имеющие смысла в наши дни. Иные образы и символы были бы более подходящими для теперешних просвещенных людей, если бы только они согласились раскрыть глаза и если бы иго рабства не препятствовало народам искать религию свободы. Слишком строго и живо перетолковывались мои симпатии, вкусы и привычки. Истомившись от бесплодных и суетных идей людей нашего века, я ощутил потребность подкрепить свое сострадательное сердце в обществе несчастных и нищих духом. Мне нравилось разговаривать со всеми этими бродягами, сумасшедшими, со всеми несчастными, лишенными земных благ и любви своих ближних; я открывал иногда в наивном бреде того, кого называют помешанным, мимолетные, но поразительные проблески божественной мысли. Мне приходилось также, прислушиваясь к угрызениям совести и сожалениям отверженных и преступников, наталкиваться на глубокие, хотя и засоренные следы их справедливости, а подчас и их невинности. И вот, видя меня сидящим за столом у невежды, у изголовья разбойника, добрые люди заключили, что я еретик и даже колдун! Что я могу ответить на такие обвинения? Когда же я, потрясенный чтением истории своей родины и размышлениями о ней, не сдерживаясь, говорил вещи, похожие на бред (быть может, они и были бредом), меня стали бояться, принимая за безумца, одержимого дьяволом... Дьявол! А знаете ли вы, Консуэло, что это такое? Рассказать вам эту таинственную аллгорию, созданную священнослужителями всех религий?

— Да, друг мой, — сказала Консуэло, успокоенная и почти убежденная, забыв свою руку в руке Альберта. — Объясните мне, что такое сатана. Сказать правду, хотя я не переставала верить в Бога и никогда открыто не восставала против того, чему меня учили о нем, я все-таки никогда не могла допустить существования дьявола. Если бы он действительно существовал, то Бог заковал бы его в цепи так далеко от нас, что мы и не узнали бы о нем ничего.

— Если бы он существовал, — отвечал Альберт, — то мог бы быть лишь чудовищным созданием того Бога, существование которого самые нечестивые софисты предпочитали отрицать, чем признавать его за тип и идеал всякого совершенства, знания и любви. Как могло бы совершенство породить зло, знание — ложь, любовь — ненависть и развращенность? Эту сказку надо отнести к поре детства рода человеческого, когда бедствия и страдания в мире физическом заставили трусливых детей земли думать, будто существуют два бога, два высших и созидающих духа: один — источник всех благ, а другой — всех зол; два принципа почти одинаковые, ибо царство Эблиса<sup>1</sup> должно продолжаться неисчислимый ряд веков и сокрушиться лишь после ужасающих боев в сферах Эмпирея. Но почему же после проповеди Христа

<sup>1</sup> Эблис или Иблис — имя дьявола у мусульман.

и чистого евангельского света духовенство осмелилось воскресить и утвердить в умах народов это грубое верование древних предков? Потому что вследствие неудовлетворительного или плохого толкования апостольского учения понятие о добре и зле оставалось смутным и незаконченным для человеческого ума. Был введен и освящен принцип полного разделения в правах и назначения духа и плоти, христианский аскетизм возвышал душу и клеймил позором тело. Мало-помалу, так как фанатизм довел до крайности отвержение телесной жизни, а в обществе, несмотря на учение Христа, уцелел древний порядок деления на касты, небольшая группа людей продолжала пользоваться жизнью и господствовать благодаря своему разуму, в то время как огромное большинство прозябало во мраке суеверия. Просвещенные и могущественные касты, особенно духовенство, стали душою общества, народ же оставался только его телом. Кто же был истинным покровителем разумных существ? Бог. А неразумных? Дьявол. Ибо Бог давал жизнь душе и возбранял жизнь чувственную, к которой сатана постоянно влечет слабых и грубых людей. Одна из таинственных и странных сект возмечтала, между прочим, восстановить право плоти и воссоединить в одном общем божественном начале эти два произвольно разделенных начала. Секта эта хотела санкционировать любовь, равенство и всеобщность как элементы человеческого счастья. Идея эта была справедливая и святая. Нужды нет, что при этом бывали крайности и злоупотребления. Секта эта стремилась вывести из унижения так называемое злое начало и, наоборот, сделать из него служителя и деятеля доброго начала. Таким образом эти философы отпустили сатане его прегрешения, и он был восстановлен в сонме небесных духов. Поэтическими истолкованиями постарались превратить архангела Михаила и его воинство в угнетателей и узурпаторов славы и могущества, как бы изображая в них таким способом первосвященников и князей церкви, оттеснивших к вымыслам об аде религию равенства и принцип счастья для человеческой семьи. Мрачный и скромный Люцифер вышел из бездны, где он, скованный, подобно божественному Прометею, стонал столько веков. Его освободители все же не дерзали открыто взывать к нему, но посредством таинственных и загадочных формул выразили идею его апофеоза и будущего царствования над человечеством, слишком долго развечанным, униженным и оклеветанным, как и он сам. Боюсь, однако, что утомил вас своими объяснениями. Простите, дорогая Консуэло. Но вам изобразили меня антихристом и поклонником демона, и мне хотелось оправдаться перед вами и доказать, что я менее суеверен, чем те, кто меня обвиняет.

— Вы несколько не утомили меня, — ответила, кротко улыбаясь, Консуэло, — я очень рада узнать, что не вступила в союз с врагом рода человеческого, прибегнув однажды ночью к приветствию доллардов.

— Вы очень осведомлены по этой части, — заметил Альберт и снова принялся объяснять ей возвышенный смысл тех великих истин, называемых еретическими, которые были погребены под недобросовестными обвинениями и приговорами софистов католицизма. Все более и более одушевляясь,

он рассказал ей о своих исследованиях, размышлениях, мрачных фантазиях, доведших его самого до аскетизма и суеверия во времена, казавшиеся ему более далекими, чем они были на самом деле. Стараясь сделать свою исповедь как можно более удобопонятной, он достиг удивительной ясности ума, говорил о себе с такой искренностью, с таким беспристрастием, как будто дело шло о другом человеке; он касался слабостей и болезненных явлений своего рассудка так, как будто давно излечился от этих опасных припадков; он излагал свои мысли так умно, что, отбросив вопрос о времени, как будто совершенно не существующем для него (он каялся, например, в том, что когда-то воображал себя Яном Жижкой, Братиславом Подибрадом и другими личностями из прошлого, совершенно забывая, что за полчаса перед тем впадал в такое же заблуждение), Консуэло не могла не видеть в нем выдающегося человека; ни разу в жизни она не встречала человека более просвещенного, с более великодушными, справедливыми взглядами.

Мало-помалу внимание и интерес, сверкавшие в глазах слушавшей молодой девушки, ее быстрая сообразительность, поразительное понимание даже отвлеченных идей — все это так воодушевило Рудольштадта, что он захватил ее своим красноречием. Консуэло, после нескольких вопросов и возражений, на которые он сумел удачно ответить, уже не думала об удовлетворении своей прирожденной любознательности, а только пребывала в каком-то упоении, восторгаясь Альбертом. Она забыла все тревоги, пережитые за этот день: и Анзолето, и Зденко, и кости мертвецов, лежавшие перед ее глазами. Как-е-то чары завладели ею: живописное место, где она находилась, с кипарисами, страшными скалами и мрачным алтарем, показалось ей при дрожащем свете факелов каким-то подобием волшебного Элизиума, где блуждали священные величественные видения. Хотя она и бодрствовала, но ее рассудок, подвергшийся напряжению, слишком длительному для ее поэтической натуры, впал в какое-то сонное состояние. Уже не слушая того, что говорил Альберт, она погрузилась в сладостный экстаз и умилилась при мысли о сатане, как о великой, непризнанной идее, а ее артистическое воображение рисовало его в виде красивого, страдальческого, бледного образа, родного брата Христа, склонившегося над нею, дочерью народа, отверженным ребенком мировой семьи. Вдруг она заметила, что Альберта нет подле нее, что он больше не держит ее руки, перестал говорить, а стоит в двух шагах, у алтаря, и играет на своей скрипке мелодию, уже раз удивившую и очаровавшую ее.

## LV

Сначала Альберт сыграл на своей скрипке старинные песнопения неизвестных у нас или забытых в Богемии авторов, которые Зденко сохранил по преданию, а молодой граф после долгих трудов и дум записал. Он так

проникся духом этих произведений, на первый взгляд, диких, но глубоко трогательных и истинно прекрасных своим серьезным и искусным стилем, и так усвоил их, что мог долго импровизировать на эти темы, дополняя их своими мыслями, схватывая и развивая основное чувство произведения, притом не поддаваясь чрезмерно своему личному вдохновению, но сохраняя своеобразный, строгий и поразительный характер этих старинных напевов своим проникновенным толкованием. Консуэло хотела запомнить эти драгоценные образцы пламенного народного гения старой Богемии, но это ей не удавалось отчасти из-за мечтательного настроения, в котором она пребывала, отчасти из-за неопределенности этой музыки, чуждой ее уху.

Есть музыка, которую можно назвать естественною, так как она является плодом не науки или мысли, а вдохновения, не поддающегося ни строгим правилам, ни условностям. Такова народная музыка, по преимуществу музыка крестьян. Сколько чудесных песен у них рождается, живет и умирает, никогда не удостоившись точной записи и не получив окончательного фиксирования определенной темы. Неизвестный артист, импровизирующий свою безыскусную балладу, охраняя свои стада или идя за плугом, а таких еще немало даже в странах, кажущихся наименее поэтичными, редко когда сумеет запомнить и зафиксировать свои мимолетные мысли. От него эта баллада перейдет к другим музыкантам, таким же детям природы, как и он сам, а те ее переносят из деревни в деревню, из избы в избу, каждый изменяя ее по своему индивидуальному вкусу. Вот почему эти деревенские песни и романсы, такие прелестные своей наивностью и глубиной чувства, большей частью теряются и редко живут больше ста лет в памяти народа. Ученые музыканты не особенно заботятся их собирать. Большинство пренебрегает ими, не обладая достаточно ясным пониманием и возвышенным чувством, других же отталкивает то, что почти невозможно найти подлинную первоначальную версию, уже не существующую, как и сам автор, и никогда даже не установленную как определенная и неизменная многочисленными позднейшими исполнителями. Одни изменяли по своему невежеству, другие — развивали, украшали и улучшали благодаря своему превосходству, ибо их инстинкт не заглушался учебой. Они сами не сознают, что преобразили первоначальное произведение, а их простодушные слушатели тоже не замечают этого. Крестьянин не разбирается в этом и не спрашивает. Если небо создало его музыкантом, он поет, как птица, подобно соловью, без усталости импровизирующему, хотя основные элементы его пения, варьируемые до бесконечности, остаются неизменными. Плодовитость народного гения беспредельна. Ему не нужно записывать свои произведения: он производит без отдыха, подобно земле, им обрабатываемой; он творит ежечасно, подобно природе, его вдохновляющей.

В сердце Консуэло была и чистота, и поэзия, и чуткость, — словом, все, что нужно, чтобы понимать и страстно любить народную музыку. В этом тоже проявлялась великая артистка: усвоенные ею научные теории не убили в ее таланте ни свежести, ни мягкой нежности этих сокровищ вдохно-



вения и молодой души. Бывало, она не раз признавалась Андзолето тайком от Порпора, что некоторые баллады рыбаков Адриатического моря гораздо больше говорят ее сердцу, чем все высокие произведения «падре Мартини» или «маэстро Дуранте», вместе взятые. Испанские песни и болеро, исполнявшиеся ее матерью, были для нее источником поэзии, откуда она черпала теперь свои любимые воспоминания. Какое же сильное впечатление должен был произвести на нее музыкальный гений Богемии, вдохновение этого народа, пастушеского и воинственного, фанатично-сурового и нежного, сильного в своей трудовой жизни! Все в этой музыке было для нее и ново и поразительно. Альберт передавал ее с редким пониманием народного духа и породившего его могучего религиозного чувства. Импровизируя, он вносил в эту музыку глубокую меланхолию и раздирающую сердце жалобу, эти следы угнетения, запечатлевшиеся в душе его народа и его собственной. И это смешение грусти и отваги, экзальтации и упадка духа, благодарственных гимнов и воплей отчаяния было ярким выражением переживаний несчастной Богемии и несчастного Альберта.

Справедливо говорят, что цель музыки — возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом человеческое чувство в сердце человека; никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, характер народа, его страсти, томления и страдания. Сожаление, надежда, ужас, сосредоточенность духа, энтузиазм, вера, сомнение, слава, спокойствие — все это и еще многое другое музыка дает нам и отбирает у нас в зависимости от своих или наших сил. Она воссоздает даже внешний вид вещей, не впадая ни в мелочные звуковые эффекты, ни в узкое подражание шумам действительности; она подсказывает нам сквозь туманную вуаль, возвеличивающую их, те предметы внешнего мира, куда переносит наше воображение. Иные песнопения воссоздали перед нами исполинские призраки древних соборов и в то же время заставляют нас проникнуть в мысли народов, их созидавших, повергавшихся перед ними, дабы воспеть свои религиозные гимны. Для того, кто сумел бы сильно и просто передать музыку разных народов, и для того, кто сумел бы должным образом ее прослушать, нет надобности ездить по всему свету, видеть разные народы, осматривать их памятники, читать их книги, странствовать по их степям, горам, садам и пустыням. Еврейская песнь вводит нас в синагогу; вся Шотландия отражается в подлинной шотландской песне, как и вся Испания — в подлинной испанской. Таким образом, мне удалось не раз побывать в Польше, в Германии, в Неаполе, в Ирландии, в Индии, и я лучше знаю этих людей и эти страны, чем если бы мне пришлось изучать их целые годы. Одно мгновение переносило меня к ним и позволяло жить их жизнью: музыка заставляла усвоить самую сущность этой жизни.

Постепенно Консуэло перестала слушать и даже слышать скрипку Альберта. Вся душа ее насторожилась, а чувства, отрешившись от внешних восприятий, пробудились в ином мире, увлекая ее дух в неведомые сферы,

где обитают иные существа. Она видела в странном хаосе, ужасном и в то же время прекрасном, тревожные тени былых героев Богемии, она слышала погребальный звон монастырских колоколов, в то время как грозные табориты, худые, полунагие, окровавленные, свирепые, спускались с вершин своих укрепленных гор. Потом она видела, как ангелы смерти собираются на облаках с чашей и мечом в руках: повиснув густой толпою над головами вероломных первосвященников, они изливают на проклятую землю чашу Божьего гнева. Ей чудилось, будто она слышит удары их тяжелых крыльев, видит, как кровь Христа большими каплями падает за их спинами, чтобы угасить пожар, зажженный их яростью. Потом ей рисовалась ночь, полная ужаса и мрака, среди которой слышатся стоны и хрипение умирающих, покинутых на поле битвы. Потом мерещилось ей, как проносится в ослепительно палящий день, словно молния, на своей колеснице «Грозный слепец» в круглой каске, заржавленном панцире, с окровавленной повязкой на глазах. Храмы открываются сами собою при его приближении, монахи прячутся в недра земли, унося в полах своих одежд реликвии и сокровища. Тогда победители сносят изможденных старцев, покрытых подобно Лазарю язвами, безумные прибегают, распевая и смеясь, как Зденко, проходят палачи, обрызганные запекшейся кровью, малые дети с непорочными руками и ангельскими личиками, женщины-воительницы со связками пик и смоляных факелов, и все усаживаются за общий стол. И ангел, светозарный и прекрасный, как в апокалиптических картинах Альберта Дюрера, подносит к их жаждущим устам деревянную чашу прощения, искупления и святого равенства.

Этот ангел снова появляется во всех видениях, проносящихся перед глазами Консуэло. Вглядываясь, она узнает в нем сатану, самого прекрасного из всех бессмертных после Бога, самого печального после Иисуса, самого гордого из всех гордых: он влачит за собою порванные им цепи, и его бурные крылья, истрепанные и повисшие, носят на себе следы насилия и заточения. Скорбно улыбаясь людям, оскверненным злодеяниями, он прижимает к своей груди маленьких детей.

Вдруг Консуэло почудилось, будто скрипка Альберта заговорила и произнесла устами сатаны: «Нет, Христос, мой брат, не любил вас больше, чем я люблю. Пора вам узнать меня, пора вместо того, чтобы называть врагом рода человеческого, снова увидеть во мне друга, поддерживающего вас в борьбе. Я не демон, я — архангел, вождь законного восстания и покровитель великой борьбы. Как и Христос, я — бог бедных, слабых, угнетенных. Когда Он обещал вам Царство Божие на земле, когда Он возвещал вам свое второе пришествие, Он этим хотел сказать, что после преследования вы будете вознаграждены, завоевав себе вместе с Ним и со мною свободу и счастье. Мы должны были вернуться вместе и действительно возвращаемся, но так слитые один с другим, что составляем одно целое. Это Он, божественное начало, Бог разума, спустился в ту тьму, куда меня бросило невежество и где я, горя в пламени от вождения и негодования, претерпевал муки, подобные тем,



*Этот ангел снова появляется во всех видениях, проносящихся перед глазами Консуэло. Вглядываясь, она узнает в нем сатану, самого прекрасного из всех бессмертных после Бога, самого печального после Иисуса, самого гордого из всех гордых.*



что заставили и Его испытать на кресте книжники и фарисеи всех времен. Но отныне я навсегда с вашими детьми: он разорвал мои цепи, загасил мой костер, примирил меня с Богом и с вами. Отныне правом и уделом слабого будут не хитрость и страх, а гордость и воля. Иисус — милосерд, кроток, нежен и справедлив; я тоже справедлив, но я силен, воинственен, суров и упорен. О народ! Разве ты не узнаешь того, чей голос звучал в тайниках твоего сердца с тех пор, как ты существуешь, того, который среди всех твоих бедствий поддерживал тебя, говоря: "Добивайся счастья, не отрекайся от него; счастье — твое право! Требуй его, и ты его добьешься!" Разве ты не видишь на моем челе все свои страдания, а на моих истерзанных членах рубцы от носимых тобою оков? Пей из чаши, которую я тебе принес, и ты найдешь в ней мои слезы, смешанные со слезами Христа и твоими собственными; ты почувствуешь, что они одинаково жгучи, и выпьешь их горечь».

Эта галлюцинация переполнила скорбью и жалостью сердце Консуэло. Ей казалось, будто она видит падшего ангела, слышит, как он плачет и стонет подле нее. Он был высок, бледен, прекрасен, с длинными, спутанными волосами над опаленным молнией, но все же гордо поднятым к небу челом. Она восхищалась им, трепеща и все еще боясь его по привычке, и уже любила той братской, благоговейной любовью, какую возбуждают великие несчастья. Вдруг ей почудилось, будто он обратился к ней, мягко упрекая за недоверие и страх, почудилось, будто он притягивает ее к себе каким-то магнетическим взором, против которого невозможно устоять. Очарованная, вне себя, она вскочила и, еле держась на ногах, бросилась к нему, протягивая руки. Альберт выронил скрипку (она упала, издав жалобный стон) и с криком удивления и восторга заключил девушку в свои объятия. Это его она слышала, его видела, мечтая о мятежном ангеле; это его лицо притягивало и покорило ее. Это ему, прижавшись сердцем к его сердцу, она прошептала прерывающимся голосом: «Твоя! Твоя! Ангел скорби! Твоя и Божья навеки!»

Но едва прикоснулся Альберт своими дрожащими губами к ее губам, как она вся похолодела, и нестерпимая боль пронзила ей грудь и мозг, то леденя, то обжигая их. Внезапно вырвавшись из своих галлюцинаций, она была так страшно потрясена, что ей показалось, будто она умирает; вырвавшись из объятий графа, она упала на алтарь, и часть черепов со страшным шумом свалилась на нее. Покрытая этими человеческими останками, видя перед собой Альберта, которого она только что в минуту безумного возбуждения обнимала, как бы давая ему этим на себя право, она пришла в такое ужасное, мучительное состояние, что, спрятав лицо в распутившихся волосах и рыдая, закричала: «Скорей отсюда, скорей! Ради Бога, воздуха! Света! Господи, выведи меня из этого склепа, дай мне увидеть солнечный свет!»

Альберт, видя, как она все больше бледнеет и бредит, бросился к ней, чтобы вынести ее из подземелья. Но в своем ужасе она этого не поняла, вскочила и бросилась бежать вглубь пещеры, не обращая внимания на воды потока, представляющие в некоторых местах несомненную опасность.

— Ради Бога! — закричал Альберт. — Не туда! Остановитесь! Вам грозит смерть! Подождите меня!

Но крик его только усилил ее страх, и она, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросилась вперед, дважды с легкостью козы перепрыгнув через излучины потока; наконец, наткнувшись в темноте на земляную насыпь, где были посажены кипарисы, она упала плашмя на мягкую, недавно изрытую землю.

Этот толчок изменил ее нервное состояние: ужас сменился каким-то оцепенением. Задыхаясь, еле переводя дух, она лежала, совершенно не понимая того, что только что испытала, и допустила графа к себе. Бросившись к ней, он имел присутствие духа по дороге выхватить один из горевших факелов, рассчитывая, что если ему не удастся догнать ее, то он хотя бы осветит ей самое опасное глубокое место потока. Бедный молодой человек, совсем подавленный и разбитый такими внезапно пережитыми противоположными волнениями, не смел ни заговорить с ней, ни поднять ее. Тут она сама привстала и села на земляную насыпь, о которую только что споткнулась. Она тоже не решалась начать говорить с Альбертом. Смущенная, опустив глаза, она рассеянно глядела в землю. Вдруг она заметила, что холмик, на котором она сидит, — недавно засыпанная могила, убранная слегка увядшими кипарисовыми ветками и засохшими цветами. Как ужаленная, она вскочила и, не будучи в силах справиться с новым охватившим ее ужасом, закричала:

— О Альберт, кого вы похоронили здесь?

— Я похоронил тут самое дорогое, что было у меня на свете до встречи с вами, — с глубочайшей скорбью ответил он. — Если это святотатство, Господь простит мне его! Я совершил его в минуту безумия, стремясь выполнить священный долг. Потом я вам скажу, какая душа обитала в том теле, что покоится здесь. Теперь вы слишком взволнованы, и вам нужно скорее на воздух. Идемте, Консуэло, покинем это место, где вы в течение одной минуты сделали меня и счастливейшим и несчастнейшим из людей.

— О! Да, да, выйдем отсюда! Уж не знаю, какие испарения поднимаются здесь из земли, но я чувствую, что умираю, теряю рассудок.

Не вымолвив больше ни слова, они вышли. Альберт с факелом шел впереди, освещая своей спутнице каждый встречный камень. Когда он открывал дверь кельи, Консуэло, несмотря на свое состояние, как истая артистка, вспомнила о драгоценном инструменте.

— Альберт, — сказала она, — вы забыли у источника свою чудную скрипку. Она доставила мне сегодня столько неведомых до сей поры переживаний, что я никак не могу примириться с тем, чтобы она погибла там от сырости.

Альберт сделал жест, говоривший, как ему безразлично теперь все, кроме Консуэло. Но она продолжала настаивать:

— Она сделала мне много зла, эта скрипка, но все же...

— Если она вам сделала только зло, пусть погибает! — с горечью проговорил он. — Во всю свою жизнь я до нее не дотронулся. Мне даже хочется, чтобы она скорее погибла.



— Я солгала бы, сказав, что скрипка причинила мне только зло, — возразила Консуэло, в которой снова проснулось уважение к музыкальному дарованию графа. — Просто волнение оказалось выше моих сил, вот и все; и восхищение превратилось в страдание. Друг мой, сходите же за ней! Мне хочется собственноручно уложить ее в футляр до той минуты, когда ко мне вернется мужество снова вложить ее в ваши руки и еще раз послушать ее.

Консуэло не могла не быть тронута тем взглядом, которым поблагодарил ее граф за эти слова. В угоду ей он пошел за скрипкой в пещеру. Оставшись на несколько минут одна, она стала упрекать себя за свой безумный ужас, за страшное подозрение. С дрожью и краской на лице вспомнила она, как, охваченная лихорадочным волнением, она бросилась в его объятия. Не могла она при этом не преклониться мысленно перед скромностью и целомудренной застенчивостью этого человека, который, обожая ее, не посмел воспользоваться таким моментом, чтобы сказать ей хотя бы одно слово любви. Его грусть, вялость движений достаточно красноречиво говорили о том, что в нем умерла всякая надежда. За такую чуткость она почувствовала к нему бесконечную благодарность и дала себе слово как можно больше смягчить ласковыми словами прощальное приветствие, предстоящее им при выходе из подземелья.

Но воспоминание о Зденко, подобно мстительному призраку, должно было преследовать ее до конца, обвиняя Альберта против ее воли. Подойдя к двери, она увидела, что на ней написано что-то по-чешски. Все слова, за исключением одного, она разобрала по той простой причине, что знала их наизусть. На черной двери чья-то рука (это могла быть только рука Зденко) мелом написала: «Обиженный да...» остальное было непонятно для Консуэло, а изменение последнего слова очень встревожило ее.

Альберт возвратился, спрятал свою скрипку; у Консуэло не только не хватило сил сделать это, но даже не пришло в голову исполнить то, что она обещала. Снова охватила ее жажда выйти поскорее из этого подземелья. Пока Альберт с трудом запирает заржавленный замок, она не могла удержаться от того, чтобы, указывая пальцем на таинственное слово, не взглянуть на него вопросительно.

— Оно значит, — со странным спокойствием ответил Альберт, — что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о котором мы только что с вами говорили, Консуэло...

— Да, сатана, я знаю, но что дальше?

— Так вот, сатана пусть простит тебе!

— Что простит? — продолжала спрашивать она, бледнея.

— Если страдание должно быть прощено, то мне нужно долго молиться, — с ясной грустью проговорил граф.

Они вышли в галерею и до самого Подвала Монаха не проронили ни слова. Но когда дневной свет, пробиваясь синеватыми отблесками сквозь листву, упал на лицо Альберта, Консуэло увидела, как безмолвные слезы двумя

ручьями медленно катились по его щекам. Это огорчило девушку: между тем, когда он боязливо подошел к ней, чтобы перенести через воду в пещере, она предпочла скорее промочить ноги, чем позволить ему взять себя на руки. Отказалась она от его услуг под тем предлогом, что он, видимо, очень устал и в ужасном состоянии. Консуэло уже собиралась было в своей легкой обуви войти в тину, когда Альберт, загасив факел, проговорил:

— Прощайте же, Консуэло, видя ваше отвращение к себе, я должен погрузиться в вечную ночь; как призрак, вызванный на мгновение, сумев только напугать вас, я возвращаюсь в свою могилу.

— Нет, ваша жизнь принадлежит мне, — воскликнула Консуэло, оборачиваясь и удерживая его. — Вы дали мне клятву никогда без меня не входить в эту пещеру, и вы не имеете права взять ее назад.

— Зачем же хотите вы бремя человеческой жизни возложить на призрак человека? Одиноким отшельником — лишь призрак человека, а тот, кого не любят, одинок всюду и со всеми.

— Альберт! Альберт! Вы надрываете мне сердце! Берите, несите меня отсюда! Быть может, при дневном свете я наконец-то разберусь в своей судьбе.

## LVI

Альберт повиновался, и, когда они стали спускаться со Шрекенштейна к нижним долинам, Консуэло почувствовала, что ее волнение действительно успокаивается.

— Простите мне то страдание, которое я вам причинила, — проговорила она, слегка опираясь на его руку. — Теперь я не сомневаюсь, что в пещере со мной был припадок безумия.

— К чему вспоминать о нем, Консуэло? Я никогда об этом не заговорил бы с вами; я прекрасно знаю, что эту минуту вы хотите вычеркнуть из своей памяти. Мне тоже надо стремиться забыть это.

— Друг мой, я не хочу забыть об этом припадке, но хочу, чтобы вы его простили. Расскажи я вам странное видение, почудившееся мне в то время, как вы играли ваши богемские мотивы, вы поняли бы, что, поразив и напугав вас, я была вне себя. Не можете же вы допустить, что я забавлялась вами... Бог — свидетель, что я и сейчас готова за вас отдать свою жизнь.

— Знаю, Консуэло, что вы не дорожите своей жизнью, а я вот чувствую, что цепко ухватился бы за свою, если бы...

— Договаривайте же!

— Если бы был любим так, как я люблю!

— Альберт, я люблю вас, насколько могу, и наверно полюбила бы вас, как вы этого заслуживаете, если бы...

— Ну, теперь вы договаривайте!

— Если б из-за непреодолимых препятствий это не было преступно.

— Какие же это препятствия? Я все ищу их и не могу найти вокруг вас. Видно, они в глубине вашего сердца, в ваших воспоминаниях!

— Не будем говорить о воспоминаниях: они так ужасны, что для меня было бы лучше умереть, чем пережить прошлое. Но откуда должна я, по вашему мнению, набраться мужества, чтобы примириться с вашим положением в свете, с вашим богатством, с нежеланием и возмущением ваших родных? На свете у меня нет ничего, кроме чувства собственного достоинства и бескорыстия; что останется мне, пожертвуй я и этим?

— Моя любовь и твоя, если бы ты меня любила, но я чувствую, что этого нет, и прошу у тебя лишь немного жалости. Как можешь ты быть унижена, даря мне, как милостыню, немного счастья? Кто же из нас двух будет распространен перед другим? А как может мое богатство опозорить тебя? Если оно тяготит тебя, как и меня, мы могли бы тотчас же раздать его бедным. Неужели ты думаешь, что я давным-давно не решил так поступить с ним, согласно своим вкусам и взглядам, то есть избавиться от него, когда смерть отца прибавит к горю разлуки еще ужас получения наследства? Итак, тебя пугает богатство — даю обет бедности. Ты боишься блеска моего имени? Оно — поддельно, а настоящее мое имя — в опале. Его я не верну себе, — это было бы неуважением к памяти отца; но клянусь тебе, в той безвестности, в которой я буду жить, имя Рудольштадт никого уже не ослепит, и ты не сможешь меня им попрекать. Наконец нежелание моих родных... О, будь только это препятствие! Скажи, что нет другого, и ты увидишь!

— Это величайшее из всех препятствий, единственное, которого не в силах устранить ни вся моя преданность вам, ни вся благодарность.

— Ты лжешь, Консуэло! Посмей поклясться, что ты говоришь правду! Это не единственное препятствие!

Консуэло была в нерешительности: она никогда не лгала, а с другой стороны, ей хотелось загладить страдания, причиненные ею другу, который спас ей жизнь и заботился о ней три месяца, как самая нежная, разумная мать. Она надеялась смягчить свой отказ, сославшись на препятствия, которые она действительно считала непреодолимыми. Настойчивые вопросы Альберта смущали ее, а собственное сердце было для нее каким-то лабиринтом, где она терялась; она не могла сказать себе с уверенностью, любит или ненавидит она этого странного человека, к которому ее влекла таинственная, могучая симпатия, в то время как непреодолимый страх и что-то похожее на отвращение вызывало в ней дрожь при одной мысли о браке с ним.

Ей казалось в эту минуту, что она ненавидит Андзолето, да и могла ли она думать иначе, сравнивая этого грубого эгоиста, гнусного честолюбца, подлого и коварного, с Альбертом, таким великодушным, человечным, таким чистым, полным самых высоких и романтических черт? Одно являлось темным пятном при этом сопоставлении — посягательство на жизнь Зденко (от этого подозрения она никак не могла отделаться). Но не было ли это подозрение плодом

ее больного воображения, не был ли это просто кошмар, который рассеется при первом же объяснении? И она решила тут же попытаться выяснить это. С деланно рассеянным видом, якобы не расслышав последнего вопроса Альберта, она остановилась и, глядя на проходившего неподалеку от них крестьянина, воскликнула:

— Боже мой! Мне показалось, что это Зденко.

Альберт вздрогнул и, выпустив руку Консуэло, которой та опиралась на него, быстро пошел вперед, потом вдруг остановился и вернулся обратно со словами:

— Как вы ошиблись, Консуэло: этот человек ни единой черточкой не напоминает... — Он так и не был в состоянии произнести имя Зденко. Вид у него при этом был страшно взволнованный.

— Однако вам самому с первого взгляда это показалось, — возразила Консуэло, внимательно следя за ним.

— Я очень близорук, но мне следовало бы помнить, что такая встреча невозможна.

— Невозможна? Стало быть, Зденко очень далеко отсюда?

— Достаточно далеко, чтобы вам не бояться его безумия.

— Не можете ли вы мне объяснить, откуда у него взялась эта внезапная ненависть ко мне, после того как он выказывал мне такую симпатию?

— Я уже говорил вам, что это нашло на него после сна, виденного им накануне того дня, когда вы спустились в подземелье. Приснилось ему, будто мы с вами подходим к алтарю венчаться и вдруг вы запели наш старинный богемский гимн так громко, что задрожала вся церковь. И будто, пока вы пели, я, все больше и больше бледнея, проваливался сквозь пол церкви и наконец был погребен в усыпальнице наших предков. Тогда, будто бы, вы, поспешно сбросив свадебный венок и толкая ногой плиту, прикрыли меня ею. Сами же на этом погребальном камне пустились отплясывать, распевая с выражением самой необузданной, самой лютой радости непонятные вещи на неведомом языке. В ярости он бросился на вас, но вы уже успели развеяться в виде дыма, и тут он проснулся, страшно озлобленный, обливаясь холодным потом. Своими криками и проклятиями он разбудил меня. Мне стоило большого труда заставить его рассказать свой сон и еще труднее убедить в том, что сон этот совершенно не имеет отношения к моей будущности. Мне особенно трудно было разубедить его, так как я сам был в страшно возбужденном состоянии. Однако на следующий день после этой беспокойной ночи мне казалось, будто он или совсем позабыл об этом сне или перестал придавать ему значение, так как он о нем больше не вспоминал, и, когда я попросил его пойти поговорить с вами обо мне, он не оказал никакого открытого сопротивления. Ему, очевидно, никогда не приходило даже в голову, что вы захотите и сможете разыскивать меня тут, и его безумие проснулось только тогда, когда он увидел, что вы решились на это. Во всяком случае мне он не заикался о своей ненависти к вам вплоть до той минуты, когда мы, возвращаясь с вами, встретили его в галерее.

Тут-то он лаконично сказал мне по-чешски, что намеренно решил избавить меня от вас (это его подлинное выражение), уничтожив вас при первой же встрече с вами, на том основании, что вы бич моей жизни и что в ваших глазах он читает мне смерть. Простите, что я передаю вам его безумные слова, и поймите теперь, почему мне было необходимо удалить его и от вас и от себя. Не будем больше говорить об этом, умоляю вас: тема эта мне очень тяжела. Я любил Зденко, как самого себя. Его безумие до того влилось в мое и отождествилось с ним, что у нас являлись одни и те же мысли, одни и те же видения, даже физические страдания у нас бывали одинаковые. Он был более наивен и, следовательно, более поэт, чем я, более ровного характера; и в то время, как мне являлись ужасные и грозные призраки, он, благодаря своей нежной и серьезной натуре, видел тихие и грустные. Наибольшая разница между нами обоими заключалась в том, что мои припадки повторялись от времени до времени, а его экзальтированное состояние было постоянным. В то время, как я то бывал охвачен безумием, то являлся бесстрастным, унылым зрителем своего несчастья, он жил словно среди каких-то грез, где все внешние предметы принимали символическую форму. И этот бред был всегда так полон любви и нежности, что в минуты моего просветления (конечно, самые мучительные для меня) мне было необходимо, дабы оживить и примирить меня с жизнью, тихое, но толковое безумие Зденко.

— О друг мой, — вырвалось у Консуэло, — вы должны были бы ненавидеть меня, и я сама себя ненавижу за то, что лишила вас такого драгоценного, преданного друга. Но разве не пора кончить с этим изгнанием? Наверно уж этот буйный период прошел у него.

— Прошел... вероятно... — проговорил с горькой, загадочной улыбкой Альберт, делая ударение на слове «вероятно».

— Так почему же, — продолжала Консуэло, стараясь отогнать мысль о смерти Зденко, — почему вы не призовете его обратно? Уверю вас, бояться я его не буду, и нам вдвоем, наверно, удалось бы заставить его забыть свое предубеждение против меня...

— Не говорите этого, Консуэло, — уныло остановил ее Альберт, — возвращение его теперь невозможно. Я пожертвовал своим лучшим другом, тем, кто был моим товарищем, моим слугой, моей опорой. Ведь он был для меня предусмотрительной, неутомимой матерью, моим простодушным, невежественным, послушным ребенком. Он заботился о всех моих нуждах, о всех моих жалких, невинных удовольствиях, защищал меня от самого себя. Во время приступов отчаяния он силой или хитростью не выпускал меня из подземелья, видя, что в обществе других людей я не в состоянии сохранить ни своего достоинства, ни собственной жизни. Жертву эту я принес, не оглядываясь назад и не раскаиваясь, ибо я должен был так поступить: вы, решившаяся на опасности подземелья, вы, возвратившая мне рассудок и сознание моих обязанностей, вы стали для меня более драгоценной и более священной, чем сам Зденко.



— Альберт, это заблуждение, а быть может, и кощунство! Нельзя сравнивать одну минуту мужества с преданностью целой жизни!

— Не думайте, что я поступил так под влиянием эгоистичной, дикой любви. Такую любовь я сумел бы заглушить в своем сердце, и я скорее заперся бы со Зденко в подземелье, чем разбил бы сердце и жизнь лучшего из людей. Но глас Божий прозвучал здесь определенно. Я боролся со своим увлечением: я бежал от вас, решил не встречаться с вами, пока мои мечты и предчувствия, что вы — мой ангел-спаситель, не осуществятся. До этого ужасного, лживого сна, внесшего такую смуту в кроткую, набожную душу Зденко, он разделял со мной и мое влечение к вам, и мои страхи, и мои надежды, и мои религиозные стремления. Несчастный, он отрекся от вас именно в тот день, когда вы открыли себя мне. Божественный свет, всегда озарявший тайники его мозга, вдруг погас, и Бог, вселив в него дух заблуждения и ярости, осудил его этим самым. Я тоже должен был покинуть его, ибо вы явились предо мной в лучах славы, вы опустили ко мне на крыльях чуда. Чтобы раскрыть мне глаза, вы нашли слова, которых при вашем уравновешенном уме и артистическом образовании вы не могли знать. Вас вдохновило сострадание и милосердие, и под их чудодейственным влиянием вы сказали мне то, что мне необходимо было услышать, чтобы узнать и постичь жизнь человеческую.

— Что ж я вам сказала такого мудрого, такого значительного? Право, Альберт, не знаю.

— Я тоже, но сам Бог был в звуке вашего голоса, в ваших ясных глазах. Подле вас я мгновенно понял то, до чего один не додумался бы за всю свою жизнь, что моя жизнь — искупление и мученичество, и искал совершения своей судьбы во тьме и уединении, в слезах, в негодовании, в науке, в аскетизме, в умерщвлении своей плоти. Вы открыли предо мной иную жизнь, иное мученичество: это — терпение, кротость, терпимость, самоотверженность; вы начертали мне наивно и просто мои обязанности, начиная с обязанностей к моей семье; о них я совсем позабыл, а родные по чрезмерной доброте скрывали от меня мои преступления. Благодаря вам я загладил эти преступления и по спокойствию, которое тотчас же почувствовал, понял, что это все, чего пока Бог требует от меня. Знаю, конечно, что этим не исчерпываются мои обязанности, и жду откровения Божьего относительно всего дальнейшего существования. Но я спокоен теперь: у меня есть оракул, которого я могу вопрошать. Это вы, Консуэло! Провидение дало вам власть надо мной, и я не восстану против его воли. Итак, я не должен был ни минуты колебаться между высшей силой, наделенной даром переродить меня, и бедным, пассивным существом, делившим до этого мои горести и выносившим мои бури.

— Вы говорите о Зденко? Не правда ли? Но почему вам не приходит в голову, что Бог мог предназначить меня и для его исцеления? Вы видите, что у меня была какая-то власть над ним, раз мне удалось удержать его одним словом в ту минуту, когда рука его уже была занесена, чтобы погубить меня.

— Правда, правда, Боже мой! Веры не хватило у меня, я испугался. Но я знаю, что значит клятва Зденко. Он, помимо моей воли, поклялся жить только для меня и свято выполнял эту клятву в течение всей моей жизни. Когда он поклялся уничтожить вас, у меня даже не явилось мысли, что его можно удержать от выполнения его намерения. Вот почему я решился оскорбить его, изгнать, сокрушить, уничтожить его самого.

— Уничтожить! Боже мой! Альберт, что значит это слово в ваших устах? Где Зденко?

— Вы меня спрашиваете, как Бог Каина: «Что сделал ты со своим братом?»

— О Господи! Но вы не убили его, Альберт!

Выкрикнув эти страшные слова, Консуэло уцепилась за руку Альберта, глядя на него со страхом, смешанным с мучительной жалостью. Но сейчас же она отшатнулась — так ее ужаснуло холодное, гордое выражение этого бледного лица, где, казалось, застыла мука.

— Я не убил его, — наконец произнес он, — но все-таки, наверно, я отнял у него жизнь. Но неужели вы осмелитесь поставить мне это в вину, вы, ради которой я, пожалуй, убил бы таким же образом собственного отца? Вы, ради которой я не побоялся бы никаких угрызений совести, не побоялся бы порвать самые дорогие узы, разбить самые святыне для меня существования? Если я предпочел скорее, чем видеть вас зарезанной безумцем, самому терзаться раскаянием и сожалением, то неужели в вашем сердце нет настолько сострадания, чтобы постоянно не напоминать мне о моем горе и не упрекать меня за величайшую жертву, которую я только был в силах вам принести? Ах! Значит, и у вас бывают минуты жестокости! Видно, жестокость — удел всего человеческого рода!

В этом упреке, первом, который Альберт осмелился ей сделать, было столько величия, что Консуэло яснее, чем когда-либо раньше, почувствовала, что он внушает ей ужас. В то же время она чувствовала себя униженной и, конечно, непонятой: ведь она стремилась узнать его тайну единственно из желания снять с него это страшное подозрение, ответить на его любовь. Она видела, что возлюбленный в душе своей обвиняет ее, считая, что если б он и убил Зденко, то единственный человек, не имеющий права обвинять его, это тот, жизнь которого потребовала жертвы другой жизни, да еще жизни, бесконечно дорогой для несчастного Альберта.

Консуэло не смогла ничего ему ответить; пыталась было заговорить о другом, но слезы не дали ей. Увидя, что его любимая плачет, Альберт, полный раскаяния, стал молить у нее прощения. Она просила его никогда не касаться этого вопроса, опасного для его душевного равновесия, и прибавила с каким-то горьким унынием, что сама она никогда не произнесет больше имени, вызывающего у них обоих такое ужасное душевное волнение.

Остальную часть дороги они проделали в очень тяжелом напряженном состоянии. Несколько раз порывались они начать говорить, но каждый раз разговор обрывался. Консуэло не отдавала себе отчета в том, что она говорит,

не слышала и того, что ей говорили. Альберт, однако, казался спокойным, словно Авраам или Брут после жертвы, принесенной им по требованию суровой судьбы. Это подавленное, но невозмутимое спокойствие, при такой тяжести на душе, казалось остатком безумия, и Консуэло могла оправдывать своего друга, только вспомнив, что он все-таки безумный. Если бы этот самый Альберт в открытом бою с каким-нибудь разбойником, спасая ее жизнь, убил своего противника, она увидела бы в этом только лишний повод для благодарности и, пожалуй, даже восхитилась бы его силой и храбростью. Но это таинственное убийство, совершенное, очевидно, во тьме подземелья, эта могила, вырытая в молельне, это суровое молчание после совершенного преступления, этот стоический фанатизм, благодаря которому он дерзнул свести ее в пещеру и самому начать там наслаждаться музыкой, — все это в глазах Консуэло было чудовищно, и ей казалось, что любить такого человека она не в силах.

«Когда же мог он совершить это убийство? — спрашивала она себя. — Вот три месяца, как я ни разу не видела его в душевном состоянии, говорящем о беспокойной совести. Неужели когда-нибудь он мог мою протянутую руку пожать рукой, на которой были капли крови? Какой ужас! Верно, он сделан из камня, изо льда, или любовь его ко мне какая-то зверская. А я так жаждала быть безгранично любимой! Так горевала, что меня недостаточно любят! Так вот какую любовь приберегало для меня небо в утешение!»

Потом она снова принялась думать о том, когда именно мог совершить Альберт свое отвратительное жертвоприношение, и решила, что это могло произойти только во время ее серьезной болезни, делавшей ее безучастной ко всему окружающему: но когда ей вспомнился его нежнейший заботливый уход, ей стало совершенно непонятно, как в одном и том же человеке уживались два столь различных существа.

Погруженная в свои мрачные думы, она дрожащей рукой рассеянно брала цветы, которые Альберт имел обыкновение рвать для нее по дороге, зная, что она их обожает. Консуэло даже не пришло в голову, не дойдя до замка, расстаться со своим другом, чтобы, вернувшись одной, скрыть их совместную долгую прогулку. А Альберт, потому ли, что также не подумал или не считал больше нужным притворяться пред своей семьей, и не напомнил ей об этом. И вот у самого входа в замок они встретились лицом к лицу с канониссой. Тут Консуэло (и, вероятно, также Альберт) впервые увидела, как лицо этой женщины, об уродстве которой обыкновенно забывали благодаря его доброму выражению, запылало от гнева и презрения.

— Вам, синьора, давно следовало бы вернуться, — обратилась она к Порпорине дрожащим и прерывающимся от негодования голосом. — Мы очень беспокоились о графе Альберте; отец его даже не пожелал без него завтракать. У него с сыном должен был быть сегодня утром разговор, о чем вы нашли возможным заставить забыть графа Альберта. Что же касается вас, то какой-то юнец, назвавший себя вашим братом, ожидает вас в гостиной, притом слишком уж нетерпеливо, — произнесла эти странные слова, бедная

Венцеслава сама испугалась собственной смелости, круто повернула к ним спину и убежала в свою комнату, где, по крайней мере, с час кашляла и плакала.

## LVII

— Моя тетушка в странном расположении духа, — обратился Альберт к Консуэло, поднимаясь с нею по ступенькам. — Прошу за нее прощение, друг мой; будьте уверены, что сегодня же она изменит и свое обращение и разговор.

— Мой брат? — в полном недоумении от только что сообщенного ей известия повторила Консуэло, не слыша слов молодого графа.

— А я и не знал, что у вас есть брат, — заметил Альберт, на которого поведение тетки произвело большее впечатление, чем это сообщение. — Конечно, это для вас счастье увидеть его, и я радуюсь...

— Не радуйтесь, граф, — прервала его Консуэло, которую вдруг охватило тяжелое предчувствие, — мне, быть может, предстоит большое огорчение.

Вся дрожа, она остановилась и уже была готова попросить совета и защиты у своего друга, но побоялась слишком связать себя с ним; и вот, не смея ни принять, ни отказать тому, кто, прикрывшись ложью, врывался к ней, она до того заволновалась, что, едва держась на ногах, вся бледная, принуждена была прислониться к перилам на последней ступеньке крыльца.

— Вы боитесь каких-либо недобрых вестей о вашей семье? — спросил Альберт, в котором тоже начинало пробуждаться беспокойство.

— У меня нет семьи, — отвечала Консуэло, делая усилия идти дальше.

Она хотела было прибавить, что и брата у нее нет, но смутное опасение удержало ее. Войдя в столовую, она услышала в соседней гостиной шаги путешественника, быстро, с явным нетерпением ходившего из угла в угол по комнате. Невольным движением она приблизилась к графу, как бы стремясь укрыться за его любовью от надвигающихся на нее страданий, и схватила его за руку.

Пораженный этим, Альберт почувствовал, что в нем пробуждаются смертельные опасения.

— Не входите без меня, — прошептал он, — предчувствие, а оно меня никогда не обманывает, говорит мне, что этот брат — враг, и ваш и мой. Я холодею, мне страшно, точно я вынужден кого-то возненавидеть.

Консуэло высвободила свою руку, которую Альберт крепко прижимал к груди. Она содрогалась при мысли, что у него вдруг может явиться одна из его странных идей, какое-нибудь непреклонное решение вроде подозреваемого ею убийства Зденко.

— Расстанемся здесь, — сказала она ему по-немецки (из соседней комнаты ее могли уже слышать). — В данную минуту мне нечего бояться, но, угрожай мне что-либо в будущем, поверьте, я прибегну к вашей защите.

Страшно подавленный, но боясь быть навязчивым, он не посмел слушаться ее, уйти же из столовой все-таки не решился. Консуэло, прекрасно поняв, почему он не уходит, войдя в гостиную, закрыла обе двери, чтобы он не мог ни видеть, ни слышать ничего из того, что должно было произойти. Андзолето (это был он, о чем она сразу догадалась по его наглости и тотчас же узнала по походке) приготовился смело встретиться с ней и по-братски расцеловать при свидетелях. Когда же она вошла одна, бледная, но холодная и суровая, вся храбрость покинула его, и, бормоча что-то, он бросился к ее ногам. Ему не надо было притворяться: безграничная радость и нежность залили его сердце, когда наконец он нашел ту, которую несмотря на свою измену никогда не переставал любить. Он зарыдал, а так как она не давала ему своих рук, он целовал и обливал слезами край ее платья. Консуэло не ожидала встретить его таким. Четыре месяца подряд он рисовался ей в том виде, в каком показал себя в ночь разрыва: желчным, насмешливым, презреннейшим и ненавистнейшим из людей. Еще сегодня утром она видела, как он шел наглой походкой с бесшабашностью, доходившей до цинизма. И вот он стоит перед ней на коленях, униженный, кающийся, весь в слезах, совсем как в бурные дни их страстных примирений. Красив он был более чем когда-либо: венецианец умел носить дорожный костюм, хотя и неважный, и этот костюм очень шел к нему, а загар путешествий придавал мужественность его поразительно красивому лицу. Трепеща, словно голубка, захваченная ястребом, она вынуждена была сесть и закрыть лицо руками, чтобы не видеть его чарующего взора. Андзолето, объясняя это стыдом, снова расхрабрился, и скверные мысли сейчас же испортили его искренний порыв восторга. Андзолето бежал из Венеции и от неприятностей наказания за свои подвиги искателя счастья, но в то же время он всегда жаждал и надеялся найти свою дорогую Консуэло. В нем жила уверенность, что такой поразительный талант не должен остаться долго в неизвестности, и всюду, где только мог, он старался напасть на ее след, вступая в разговоры с содержателями гостиниц, проводниками, встречаемыми путешественниками. В Вене он нашел нескольких своих знатных соотечественников и признался им в своем побеге. Те посоветовали ему выждать подальше от Венеции, пока граф Дзустиньяни забудет или простит его проделку. Обещая ему свою помощь в этом деле, они в то же время снабдили его рекомендательными письмами в Прагу, Берлин и Дрезден. Проезжая мимо Замка Великанов, Андзолето почему-то не стал, по своему обыкновению, расспрашивать проводника и только после часа быстрой езды, пустив шагом лошадь, он снова заговорил с ним, интересуясь окрестностями и их жителями. Естественно, проводник принялся рассказывать о графах фон-Рудольштадтах, об их образе жизни, о странностях графа Альберта, сумасшествие которого ни для кого не было тайной, особенно с тех пор, как к нему с таким нескрываемым отвращением стал относиться доктор Вецелиус. Тут проводник для пополнения местных сплетен не преминул прибавить, что граф Альберт только что превзошел все свои причуды, отка-



завшись жениться на своей благородной двоюродной сестре, красавице баронессе Амелии фон-Рудольштадт, спутавшись с авантюристкой, далеко не красивой, в которую, однако, все влюбляются, как только она запоет. Эти оба признака были так характерны для Консуэло, что наш путешественник не мог не поинтересоваться именем этой авантюристки. Услыхав, что ее зовут Порпориной, он уже не мог ни в чем сомневаться. В ту же минуту он повернул коня обратно; моментально придумав, под каким предлогом и в качестве кого сможет он пробраться в строго охраняемый замок, он стал выпытывать у проводника еще новые сплетни. Из болтовни этого человека он заключил, что Консуэло — несомненно любовница молодого графа, собирающегося на ней жениться, так как, видимо, она околдовала всю семью, и вместо того, чтобы выгнать, ее окружают в доме таким вниманием и заботами, какими никогда не пользовалась и баронесса Амелия.

Эти подробности раззадорили Андзолето не меньше, а пожалуй, еще больше, чем несомненная привязанность к Консуэло. Не раз вздыхал он о прежней жизни, которую она умела сделать для него такой приятной. Он прекрасно сознавал также, что потеря ее советов и указаний, если не губит окончательно, то сильно вредит его музыкальной карьере. Наконец, помимо всего, его влекла к ней любовь, хотя и эгоистичная, но глубокая и непреодолимая. А тут еще прибавилось тщеславное искушение отбить Консуэло у богатого и знатного любовника, расстроить ее блестящий брак, заставить говорить всюду кругом и в свете, что вот, мол, девушка, так блестяще обставленная, предпочла убежать с ним, бедным артистом, чем стать графиней и владелицей замка. И он все заставлял проводника рассказывать себе о том, каким влиянием пользуется Порпорина в Замке Великанов, смакуя заранее, как этот самый человек будет повествовать другим путешественникам о том, как молодой, красивый иностранец влетел вихрем в негостеприимный Замок Великанов, как он «пришел, увидел, победил» и как через несколько часов или дней он вышел оттуда, похитив у знаменитого, могущественного вельможи графа фон-Рудольштадта жемчужину-певицу...

При этой мысли он с такой силой вонзил шпоры в бока бедной лошади и так захохотал, что проводнику начинало приходиться в голову, не безумнее ли этот путешественник самого графа Альберта. Канонисса встретила Андзолето недоверчиво, но не решилась его выпроводить, надеясь, что он уведет отсюда свою мнимую сестрицу. Узнав от нее, что Консуэло гуляет, Андзолето был этим очень раздосадован. Ему подали завтрак, во время которого он стал расспрашивать слуг. Один из них, немного понимавший по-итальянски, простодушно сказал, что он видел синьору на горе с молодым графом Альбертом. Андзолето боялся, как бы в первые минуты Консуэло не обдала его холодом, не держала бы себя надменно. Ему казалось, что если она до сих пор лишь целомудренная невеста сына хозяина замка, то непременно должна быть очень горда своим положением; а если уже стала любовницей, то будет менее самоуверенной, трепеща, как бы старый друг не испортил ей все дело.

Победа над ней, невинной, рисовалась ему нелегкой, но зато более славной; иное дело — победа над падшей.

Андзолето был слишком наблюдателен, чтобы не заметить неудовольствия и беспокойства канониссы по поводу долгой прогулки Порпорины с ее племянником. Из этого, и не видев еще графа Христиана, он мог заключить, что проводник был плохо осведомлен и что семья со страхом и недоброжелательно относится к любви молодого графа к авантюристке. Это будило в нем надежду.

После четырех смертельных часов ожидания, за которые Андзолето успел передумать немало, он решил, судя по своему собственному нраву, что такое продолжительное пребывание Консуэло с его соперником говорит безусловно об их интимной близости. Это придало ему смелости и решимости во что бы то ни стало дожидаться ее; и после первого порыва нежности, охватившего его при ее появлении, Андзолето, видя, как Консуэло, смущенная, задыхаясь, опустилась на стул, решил, что нечего стесняться, и это сразу развязало ему язык. Он начал обвинять себя во всем, что было в прошлом, притворно унижаясь, проливал слезы, рассказывал о своих угрызениях совести и страданиях, описывая их в более поэтических красках, чем мог их действительно переживать среди своих грязных походов; наконец со всем красноречием венецианца и ловкого актера он стал молить о прощении.

Консуэло, взволнованная было самым звуком его голоса, больше боялась своей собственной слабости, чем соблазна. За последние четыре месяца она тоже много передумала и вскоре настолько пришла в себя, что в этих страстных уверениях узнала повторение всего того, что не раз приходилось ей слышать за последнее время их злосчастной любви. Ее оскорбило, что он повторяет все те же клятвы, все те же мольбы, как будто ничего не произошло со времени тех ссор, когда она была бесконечно далека от мысли, что он может так позорно вести себя. Возмущенная его наглостью и цветами красноречия там, где были бы уместны стыд и слезы раскаяния, Консуэло, поднявшись, резко оборвала его разглагольствования и холодно проговорила:

— Довольно, Андзолето. Я вам давно простила и больше не сержусь. Возмущение сменилось жалостью; забыв свои страдания, я забыла и вашу вину. Больше нам говорить друг другу нечего; спасибо за хороший порыв, заставивший вас прервать свое путешествие для примирения со мной. Как видите, вам были заранее отпущены все прегрешения. Прощайте же! Добрый путь!

— Уехать! Мне! Расстаться с тобой, снова потерять тебя! — вскричал на самом деле перепуганный Андзолето. — Нет, лучше прикажи мне сейчас же покончить с собой! Нет! Нет! Жить без тебя я никогда не соглашусь! Сделать это я не в силах, Консуэло. Уж я пытался, я знаю: это невозможно. Там, где нет тебя, ничто для меня не существует. Отвратительное мое честолюбие, мерзкое тщеславие, ради которых я тщетно хотел пожертвовать своей любовью, являются для меня источником не радости, а мук. Образ твой всюду преследует

меня. Воспоминание о нашем счастье, таком чистом, целомудренном, таком восхитительном (ты сама разве можешь найти подобное?), всегда перед моими глазами. Все, в чем я пытаюсь потопить свои муки, все возбуждает во мне отвращение. Консуэло, вспомни наши чудесные венецианские ночи, вспомни нашу лодку, наши звезды, наши нескончаемые песни, твои чудесные уроки, наши долгие поцелуи! Вспомни свою кровать, где я спал один, пока ты молилась на террасе, перебирая четки! Скажи: разве тогда я не любил тебя? А человек, для которого ты была святыней всегда, даже когда спала, оставаясь с ним наедине в комнате, неужели такой человек неспособен любить? Будучи вообще негодяем, разве подле тебя я не был ангелом? Чего только мне это стоило, одному Богу известно! О! Не забывай же всего этого! Ты уверяла тогда, что любишь меня, а теперь все уж позабыла! Я же, неблагодарное чудовище, подлец, ни на одно мгновение не мог забыть нашей любви! Не хочу от нее отказаться, хотя ты так легко, без сожаления отказываешься! Но, видно, ты, святая, никогда не любила меня, а я, дьявол, обожаю тебя...

— Возможно, — ответила Консуэло, пораженная правдивостью его тона, — что вы искренно сожалеете о потерянном, оскверненном вами счастье, но это — возмездие, которое вы должны нести, и препятствовать этому я не должна. Андзовето, счастье развратило вас, так пусть же небольшое страданье вас очистит! Ступайте и помните обо мне, если эта скорбь вам полезна, а если нет, забудьте, как забываю вас я, которой нечего ни искупать, ни исправлять.

— Ах! У тебя железное сердце! — воскликнул Андзовето, удивленный и задетый за живое ее бесстрастным тоном. — Но не думай, что ты можешь так выгнать меня! Возможно, что приезд мой стесняет тебя, присутствие тяготит. Я прекрасно знаю, что ты хочешь пожертвовать воспоминаниями нашей любви ради титула и богатства. Но не бывает этому! Не отступлюсь я от тебя и, если потеряю, то не без борьбы! Если ты меня вынудишь, то знай: в присутствии всех твоих новых друзей я напому тебе наше прошлое; скажу о клятве, данной тобой у постели умирающей матери, о новой клятве, сто раз повторенной тобой и на ее могиле и в церквах, где мы, стоя на коленях, прижавшись друг к другу, слушали чудную музыку, а порою шептались. Мне придется сказать при твоём новом возлюбленном о фактах, для него неизвестных. Они ведь ничего о тебе не знают, даже не подозревают того, что ты была актрисой. Ну, вот это и доведу я до их сведения, и посмотрим тогда, вернется ли к благородному графу Альберту его рассудок, чтобы оспаривать тебя у актера, твоего друга, твоей ровни, твоего жениха, твоего возлюбленного! О! Консуэло! Не доводи меня до отчаяния!

— Что? Угрозы? Наконец-то я узнаю вас, Андзовето! — с негодованием проговорила Консуэло. — Что ж! Предпочитаю вас таким и благодарю, что сняли с себя маску. Да, слава Богу, теперь уж не будет у меня к вам жалости, не будет сожалений. Сколько вижу я злобы в вашем сердце, низости в вашем характере, ненависти в вашей любви! Ступайте же, удовлетворяйте свою

досаду и злобу! Если вы не научились еще клеветать так, как научились оскорблять, то не можете сказать обо мне решительно ничего такого, за что пришлось бы мне краснеть.

Высказав это, она направилась к дверям, открыла их и собиралась уже выйти, как столкнулась с графом Христианом. При виде этого почтенного старика, приближавшегося с любезной торжественностью и поцеловавшего руку Консуэло, Андзолето, устремившийся было, чтобы удержать ее во что бы то ни стало, отступил смущенный и утратил свою дерзость.

## LVIII

— Прошу прощения, дорогая синьора, — начал старый граф, — что я не оказал лучшего приема вашему брату. Я сделал распоряжение не беспокоить меня, так как все утро был занят необычными делами, но мое распоряжение было выполнено слишком хорошо, ибо мне не было доложено о приезде гостя, который и для меня и для всей моей семьи может быть только дорогим гостем.

Затем, обращаясь к Андзолето, он прибавил:

— Поверьте, сударь, что я очень рад видеть у себя такого близкого родственника столь любимой нами Порпорины. Очень прошу вас остаться и пробыть у нас, сколько вам будет приятно. Полагаю, что после такой долгой разлуки вам есть о чем поговорить между собой, да и побыть вместе — это уже большая радость. Надеюсь, что здесь вы будете чувствовать себя, как дома, наслаждаясь счастьем, которое я разделяю с вами.

Против обыкновения старый граф совершенно свободно говорил с посторонним человеком. Давно уж его застенчивость стала исчезать подле кроткой Консуэло. В этот день его лицо было озарено более ярким, чем всегда, сиянием жизни, напоминавшим лучи солнца в час заката. Андзолето растерялся перед тем величием, которое сияло на челе почтенного старца с прямой и ясной душой. Андзолето умел низко гнуть спину перед вельможами, в душе ненавидя и высмеивая их. Правда, в большом свете, где в последнее время ему приходилось вращаться, у него было слишком много поводов для этого. Никогда до сих пор Андзолето не приходилось встречать такого истинного достоинства, такой радушной, сердечной учтивости, как у старого владельца Замка Великанов. Смущенно поблагодарил он старика, почти раскаиваясь, что обманом выманил у него такой отеческий прием. Он особенно боялся, как бы Консуэло не разоблачила его, сказав графу, что он вовсе не ее брат. Чувствовал он, что в эту минуту не был бы в силах ответить на это ни дерзостью, ни местью.

— Очень тронута добротой вашего сиятельства, — ответила после минутного размышления Консуэло, — но брат мой, хотя и бесконечно ценит, но не сможет воспользоваться вашим любезнейшим приглашением, так как неотложные дела заставляют его спешить в Прагу и он уже простился со мной...

— Но это невозможно! — воскликнул граф. — Вы виделись лишь одно мгновение!

— Он потерял несколько часов, ожидая меня, и теперь у него все минуты на счету, — возразила она. — Он сам прекрасно знает, что ему нельзя остаться здесь даже лишнюю минуту, — прибавила она, бросая выразительный взгляд на своего мнимого брата.

Эта холодная настойчивость вернула Андзолето свойственную ему наглость и развязность.

— Пусть будет, как дьяволу угодно, то есть я хотел сказать, Богу, — поправился Андзолето, — но я не в состоянии так стремительно покинуть дорогую сестру, как настаивает она, столь рассудительная и осторожная. Нет на свете дел, которые стоили бы минуты счастья, и, раз его сиятельство так великодушно разрешает мне остаться, я с великой благодарностью остаюсь. Обязательства мои в Праге будут выполнены немного позднее, только и всего.

— Вы рассуждаете, как легкомысленный юноша, — возразила Консуэло, задетая за живое. — Есть дела, где честь выше выгоды...

— Я рассуждаю, как брат, а ты всегда рассуждаешь, как королева, дорогая сестренка...

— Вы рассуждаете, как добрый юноша, — добавил старый граф, протягивая Андзолето руку. — Я не знаю дел, которых нельзя было бы отложить до завтра. Правда, меня всегда упрекали за мою беспечность, но я не раз убеждался, что обдумать лучше, чем поспешить. Вот, например, дорогая Порпорина, уж много дней, даже можно сказать недель, как мне нужно обратиться к вам с одной просьбой, а я до сих пор все медлил, и думается мне, что так и надо было и что теперь это как раз своевременно. Можете ли вы уделить мне сегодня для беседы час времени, о чем я как раз шел просить вас, когда узнал о приезде вашего брата? Мне кажется, что это радостное событие произошло очень вовремя, и, быть может, присутствие вашего родственника будет совсем не лишним при нашем разговоре.

— Я всегда и в какое угодно время к услугам вашего сиятельства, — ответила Консуэло. — Что касается брата, то он еще мальчик, которого я не ввожу в свои личные дела...

— Я это знаю, — нагло вмешался Андзолето, — но раз его сиятельство мне разрешает, то мне не надо иного позволения, чтобы присутствовать при этом таинственном разговоре.

— Позвольте мне судить о том, как должно поступать и мне и вам, — гордо возразила Консуэло. — Ваше сиятельство, я готова следовать за вами и почтительно выслушать вас.

— Вы слишком строги к этому милому юноше с таким веселым, открытым лицом, — проговорил, улыбаясь, граф и, оборачиваясь к Андзолето, прибавил: — Потерпите, дитя мое, придет и ваш черед. То, что я имею сказать вашей сестрице, не может быть скрыто от вас, и надеюсь, она скоро разрешит мне посвятить вас в эту тайну, как вы выразились.



Андзоле то имел наглость воспользоваться экспансивной добротой старика и удерживал его руку в своей, как бы цепляясь за него, дабы выведать тайну, в которую его не желала посвятить Консуэло. У него также не хватило такта самому уйти из гостиной, не вынуждая самого графа выйти. Оставшись один, он с досады даже топнул злобно ногой, боясь, что эта девушка, так научившаяся владеть собой, сможет расстроить все его планы и, невзирая на его ловкость, выпроводить его отсюда. Ему захотелось проскользнуть внутрь дома и подслушать под всеми дверьми. С этой целью, выйдя из гостиной, он побродил сначала по саду, а затем решился забраться в коридоры, где, встречая кого-нибудь из слуг и делая вид, будто любит архитектуру замка, уже три раза в различных местах он наталкивался на одетого во все черное человека, необычайно строгого на вид, но остерегался привлечь его внимание: то был Альберт, как будто не замечавший его, но вместе с тем не спускавший с него глаз. Андзоле, видя, что молодой граф (он уж догадался, кто это был) на целую голову выше его и бесспорно очень красив, понял, что сумасшедший Замка Великанов вовсе не такой ничтожный во всех отношениях соперник, как он воображал себе сначала. Тут он счел за лучшее вернуться в гостиную и в этой огромной комнате, рассеянно перебирая пальцами клавиши клавесина, начал пробовать свой красивый голос.

— Дочь моя, — сказал граф Христиан Консуэло, придвинув ей большое кресло, обитое красным бархатом с золотой бахромой, и сам усевшись рядом с ней на стуле, — я хочу просить вас об одной милости. Могу ли я надеяться, что моя сестра, мое нежное уважение к вам и дружба благородного Порпора — вашего приемного отца, все вместе внушит вам настолько доверия ко мне, что вы согласитесь, ничего не утаивая, раскрыть мне свое сердце?

Растроганная, но вместе с тем несколько испуганная таким вступлением Консуэло поднесла руку старика к своим губам и ответила с искренним порывом:

— Да, господин граф, я вас уважаю и люблю так, как если бы имела честь быть вашей дочерью, и могу без всякого страха и откровенно ответить на все ваши вопросы касательно меня лично.

— Ничего другого я и не прошу вас, дорогая дочь моя, и благодарю за это обещание. Поверьте, что я неспособен им злоупотребить, так же, как и вы не измените своему слову.

— Я уверена в этом, господин граф, я слушаю вас.

— Так вот, дитя мое, — сказал старик с каким-то наивным, но ободряющим любопытством. — Как ваша фамилия?

— У меня нет фамилии, — без малейшего колебания ответила Консуэло. — Мою мать иначе не звали, как Росмунда. При крещении мне дали имя Мария-Консуэло — утешительница. Отца своего я никогда не знала.

— Но вам известна его фамилия?

— Нет, господин граф, я никогда не слыхала о ней.

— А маэстро Порпора усыновил вас? Оформил ли он по закону передачу вам своего имени?

— Нет, господин граф, между артистами это не принято, да оно и не нужно. У моего великодушного учителя ровно ничего нет, и ему нечего завещать. Что же касается его имени, то совершенно безразлично, как я его ношу — по обычаю или по закону, — если у меня есть некоторый талант, имя это станет моим завоеванным достоянием, в противном же случае мне выпала честь, которой я недостойна.

Несколько минут граф хранил молчание, потом, снова беря руку Консуэло в свою, он заговорил:

— Благородная откровенность еще более возвысила вас в моих глазах. Не думайте, что я задавал все эти вопросы, для того чтобы в зависимости от вашего рождения и положения в свете больше или меньше уважать вас. Я хотел знать, насколько вы правдивы, и вполне убедился в вашей искренности. Бесконечно вам благодарен. Я нахожу, что вы с вашим характером более благородны, чем мы с нашими титулами.

Консуэло не могла не улыбнуться простодушию, с которым старый аристократ восхищался признанием, в сущности, ничего ей не стоившим. Восхищение это говорило об остатке упорного предрассудка, с которым, очевидно, благородно боролся Христиан, стремясь победить его в себе.

— А теперь, — продолжал он, — дорогое мое дитя, я предложу вам еще более щекотливый вопрос. Уж будьте так снисходительны и простите мне мою смелость.

— Не бойтесь ничего, господин граф, — я отвечу на все так же спокойно.

— Так вот, дитя мое, вы не замужем?

— Нет, господин граф.

— И... вы не вдова? У вас нет детей?

— Я не вдова, и у меня нет детей, — ответила Консуэло, едва удерживаясь от смеха, так как не понимала, к чему клонит граф.

— И вы ни с кем не связаны словом? — продолжал он. — Вы совершенно свободны?

— Простите, господин граф, я была обручена не только с согласия, но даже по приказанию моей умирающей матери с юношей, которого любила с детства и чьей невестой была до минуты моего отъезда из Венеции.

— Стало быть, вы не свободны? — проговорил граф со странной смесью огорчения и удовлетворения.

— Нет, господин граф, я совершенно свободна, — ответила Консуэло. — Тот, кого я любила, недостойно изменил мне, и я порвала с ним навсегда.

— Значит, вы его любили? — спросил граф после некоторого молчания.

— Да, всей душой, это правда.

— И... может быть, и теперь еще любите?

— Нет, господин граф, это невозможно.

— Вам не доставило бы никакого удовольствия видеть его?

— Видеть его для меня было бы мукой.

— И вы никогда не позволили... Он не посмел бы... Но я боюсь вас оскорбить... Пожалуй, вы подумаете, что я хочу знать слишком много...

— Я понимаю вас, господин граф. Но раз уж я исповедуюсь, то хочу рассказать вам абсолютно все, дабы вы могли судить сами, заслуживаю ли я вашего уважения или нет. Он позволял себе очень много, но смел только то, что я ему разрешала. Так, мы часто пили из одной чашки, отдыхали на одной и той же скамье. Он спал в моей комнате, пока я молилась, ухаживал за мной во время моей болезни. Я ничего не боялась. Мы всегда были одни, любили друг друга, уважали друг друга, должны были пожениться. Я поклялась своей матери, что останусь, как говорят, «благоразумной девушкой». Слово это я сдержала, если быть благоразумной значит верить человеку, который обманывает тебя, и любить и уважать того, кто не заслуживает ни того, ни другого. Когда же он до свадьбы начал стремиться перестать быть моим братом, только тогда я стала защищаться. После его измены я была рада, что делала это. Этому бесчестному человеку ничего не стоит хвастаться своей победой надо мной, но это не имеет большого значения для такой бедной девушки, как я. Только бы не сфальшивить мне во время пения — больше ведь от меня ничего не требуется. Лишь бы мне без угрызений совести прикладываться к распятию, перед которым я поклялась матери быть целомудренной, а что подумают обо мне другие, по правде сказать, мало меня трогает. Нет у меня семьи, которой пришлось бы краснеть за меня, нет ни родных, ни двоюродных братьев, которые могли бы поднять руку в мою защиту...

— Как нет братьев? Один же брат у вас есть?

Консуэло хотела было рассказать графу по секрету всю правду, но подумала, что с ее стороны будет неблагородно искать защиты против того, кто так низко угрожал ей. Она решила, что должна в себе самой найти достаточно твердости, чтобы защищаться и избавить себя от Андзовето. К тому же ее великодушное сердце не могло допустить, чтобы когда-то так свято любимый ею человек был выгнан из дома хозяином. Как бы вежливо граф Христиан ни выпроводил Андзовето и как ни был тот виновен перед нею, у нее не хватило духа подвергнуть его такому страшному унижению, и она ограничилась тем, что на вопрос старика ответила, что вообще смотрит на брата, как на сорванца, и никогда к нему не относилась иначе, как к ребенку.

— Но не негодяй же он? — спросил граф.

— Возможно, что и так, — ответила она. — Я стараюсь как можно дальше держаться от него: наши характеры, взгляды слишком различны. Вы, наверное, заметили, что я не очень-то стремилась удерживать его здесь.

— Пусть будет так, как вы этого захотите, дитя мое; я считаю вас очень рассудительной. Теперь, когда вы все сообщили с такой благородной откровенностью...

— Простите, господин граф, я не все сказала вам о себе, так как вы не обо всем спросили. Мне неизвестно, почему вы сегодня делаете мне честь интере-

соваться моей жизнью. Думаю, что кто-либо мог отозваться обо мне неблагоприятно, и вы желаете знать, не бесчестит ли мое пребывание ваш дом. До сих пор, так как вы меня спрашивали о самых поверхностных вещах, я считала нескромным без вашего разрешения занять вас рассказом о себе самой, но раз вам, по-видимому, угодно вполне ознакомиться со мной, то я должна сообщить вам об одном обстоятельстве, которое, быть может, повредит мне в ваших глазах: в прошлом сезоне я дебютировала в Венеции под именем Консуэло... Прозвали меня «цыганочкой», и вся Венеция знает меня в лицо и по голосу.

— Постойте! — воскликнул граф, ошеломленный этим новым открытием. — Так это вы то диво, что наделало столько шума в Венеции в прошлом году и о котором с таким восторгом кричали итальянские газеты? Волшебный голос и величайший талант, какого не бывало на памяти человеческой...

— В театре Сан-Самуэле, господин граф. Похвалы эти, конечно, очень преувеличены, но неопровержим тот факт, что именно я — та самая Консуэло, которая пела в нескольких операх; словом, что я актриса, или, выражаясь более изысканно, певица. Теперь решайте, заслуживаю ли я вашего доброго отношения.

— Все это изумительно! И какая странная судьба! — проговорил граф, глубоко задумываясь. — А говорили ли вы об этом кому-нибудь здесь... кроме меня, дитя мое?

— Господин граф, я почти все рассказала вашему сыну, не вдаваясь только в те подробности, которые я сейчас вам сообщила.

— Альберту, значит, известно ваше происхождение, ваша прежняя любовь, ваша профессия?

— Да, господин граф.

— Прекрасно, дорогая синьора; не нахожу слов, чтобы благодарить вас за удивительную честность, с какой вы отнеслись к нам, и обещаю, что вам не придется в ней раскаиваться. А теперь, Консуэло (да, да, теперь я припоминаю, именно так называл вас с самого начала Альберт, говоря с вами по-испански), позвольте мне собраться с силами. Я ужасно взволнован. Нам с вами, дитя мое, о многом еще надо поговорить, и вы простите мое волнение перед таким важным, решительным моментом. Будьте милостивы, подождите меня здесь минутку.

Он вышел, и Консуэло, следившая за ним глазами, увидела через золоченые стеклянные двери, как старик вошел в свою молельню и благоговейно опустился там на колени.

Страшно взволнованная, она терялась в догадках, чем может закончиться этот столь торжественно начатый разговор. Сперва ей пришло в голову, что Андзолето, ожидая ее, уже сделал то, чем он грозил, что в беседе с капелланом или Гансом он говорил о ней таким тоном, который мог возбудить беспокойство и недоумение в ее хозяевах. Но граф Христиан не умел притворяться, а до сих пор его обращение с нею, его слова говорили скорее о возросшем дружеском чувстве, чем о пробуждении недоверия. Притом ведь ее открито-

венные ответы поражали его именно своей неожиданностью, последнее же разоблачение было просто ударом грома. И вот теперь он молится и просит Бога просветить или поддержать его при принятии какого-то важного решения. «Не собирается ли он просить меня уехать с братом? Уж не денег ли хочет предложить? — спрашивала она себя. — Ах, избави Бог от такого оскорбления. Но нет, он слишком тонкий, добрый человек, чтобы решиться так унижить меня. Что же хотел он сказать с самого начала и что скажет сейчас мне? Быть может, прогулка наша с графом Альбертом причинила ему большое беспокойство, и старик собирается побранить меня. Ну что ж! Пожалуй, я и заслужила это, — придется выслушать выговор, раз я не смогу ответить откровенно на вопросы, которые могут быть мне предложены относительно графа Альберта. Какой тягостный для меня день! Если мне предстоит немало таких, то я не смогу уж оспаривать пальму первенства у ревнивых возлюбленных Андзоле: грудь моя пылает, а в горле совсем пересохло».

Вскоре граф Христиан вернулся к ней. Он был спокоен, и по его бледному лицу видно было, что в нем победило благородство.

— Дочь моя, — сказал он, усаживаясь рядом с нею, после того как заставил ее остаться в роскошном кресле, которое она хотела уступить ему и где помимо своей воли восседала с испуганным видом. — Пора и мне быть с вами таким же откровенным, как были вы со мной: Консуэло, мой сын любит вас.

Девушка, то краснея, то бледнея, пыталась было ответить, но Христиан не дал ей говорить.

— Это не вопрос, — сказал он, — я не имел бы права предложить его вам, а вы на него ответить, ибо знаю, что вы нисколько не поощряли вожделений Альберта. Он сказал мне все, и я верю ему: ибо он никогда не лжет так же, как и я.

— Я тоже никогда не лгу, — проговорила Консуэло, и в ее детски ясных глазах сияла гордость. — Граф Альберт, наверно, говорил вам, господин граф...

— Что вы отвергли всякую мысль о браке с ним, — договорил старик.

— Я должна была это сделать, зная обычаи и мнение света. Для меня было ясно, что я не гожусь в жены графу Альберту уже по той причине, что, не считая себя ниже кого бы то ни было перед Богом, я не хочу получать милости ни от кого перед людьми.

— Знаю вашу законную гордость и считал бы ее преувеличенной, если бы Альберт зависел только от себя; но, будучи уверены, что я никогда не соглашусь на такой брак, вы должны были ответить именно так, как ответили.

— А теперь, господин граф, — сказала Консуэло, поднимаясь, — мне понятно все остальное, и я умоляю вас избавить меня от унижения, которого так боюсь. Я уеду от вас, что давно осуществила бы, если бы считала возможным это сделать, не рискуя рассудком и жизнью графа Альберта, на которого имею больше влияния, чем мне хотелось бы. Раз вы уж знаете все то, что мне невозможно было вам сказать, теперь вы будете наблюдать за ним, бороться с последствиями этой разлуки, вообще заботиться о нем, на что имее



гораздо больше права, чем я. Если это право я и присвоила себе, быть может, нескромно, то такое прегрешение Бог простит мне: ему известно, как чисты были помыслы, руководившие мной при этом.

— Я знаю это, — проговорил граф. — Господь внушил моей совести, а Альберт сказал моему сердцу. Садитесь же, Консуэло, и не спешите обвинять меня в дурных намерениях. Пригласил я вас сюда не для того, чтобы приказать вам оставить мой дом, а чтобы молить вас остаться в нем на всю вашу жизнь.

— На всю мою жизнь! — повторила, почти падая в кресло Консуэло, взволнованная одновременно радостью, что восстановлено ее достоинство, и ужасом от такого предложения. — На всю жизнь! Господин граф, вы, верно, не думаете о том, что изволите говорить.

— Много я думал об этом, дочь моя, — ответил граф с грустной улыбкой, — и чувствую, что мне не придется в этом раскаиваться. Сын мой страстно любит вас, вы всецело завладели его душой. Вы вернули его мне, вы пошли разыскивать его в таинственном месте, которого назвать он не пожелал, куда никто, сказал он мне, кроме матери или святой, не отважился бы проникнуть. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти его от одиночества и безумия, губивших его. Благодаря вам он больше не терзает нас своими исчезновениями. Одним словом, вы вернули ему спокойствие, здоровье, рассудок. Ведь нельзя же не признаться, что мой бедный сын был помешан, а теперь он несомненно в здравом уме. Мы чуть ли не всю эту ночь проговорили с ним, и я вижу, что он, пожалуй, рассудительнее меня. Я знал, что сегодня утром вы должны были отправиться вместе с ним. Это с моего разрешения он просил вас о том, чего вы не пожелали слушать... Вы боялись меня, дорогая Консуэло. Вы думали, что старому Рудольштадту, зараженному аристократическими предрассудками, непристойно быть пред вами в долгу за сына. И вы ошиблись. Конечно, у старого Рудольштадта были и гордость и предрассудки; быть может, и теперь они имеются у него, — не хочет он пред вами прихорашиваться, — но в порыве беспредельной признательности он отрешается от них и горячо благодарит вас за то, что вы вернули ему его последнее, единственное дитя.

Говоря это, граф Христиан взял обе руки Консуэло и покрыл их поцелуями, орошая слезами.

## LIX

Консуэло была очень растрогана этим изъятием чувств, восстановившим ее в собственных глазах и успокоившим ее совесть. До этой минуты она часто и не без страха думала о том, что иногда, увлекшись своими великодушными планами, поступала очень неосторожно. Теперь она была оправдана и награждена. Ее радостные слезы смешивались со слезами старика, и долго оба они были так взволнованы, что не могли говорить. Однако Консуэло все

еще не понимала сделанного ей предложения, а граф, считая, что он достаточно ясно высказался, видел в ее молчании и слезах доказательство согласия и благодарности.

— Иду за сыном, — проговорил наконец старик. — Пусть у ваших ног узнает он о своем беспредельном счастье и присоединит свои благословения к моим.

— Погодите, господин граф! — воскликнула Консуэло, ошеломленная такой поспешностью. — Я не совсем понимаю, чего вы от меня требуете. Вы одобряете привязанность графа Альберта ко мне и преданность, выказанную мною ему. Вы удостоиваете меня своего доверия, зная, что я не злоупотребляю им; но как я могу дать обещание посвятить всю мою жизнь такой странной дружбе? Я прекрасно вижу, что вы рассчитываете на время и мою рассудительность, дабы поддержать душевное спокойствие вашего благородного сына и охладить его пылкое чувство ко мне. Но я не уверена, долго ли я сохраню эту власть над ним. Притом, если бы даже подобная близость и не была опасна для такого восторженного человека, как граф Альберт, то я не вольна посвящать свою жизнь этой славной задаче. Я не принадлежу себе.

— О небо! Что вы говорите, Консуэло? Значит, вы меня не поняли? Или вы меня обманули, что вы свободны, что у вас нет никаких сердечных привязанностей, никаких обязательств, нет семьи?

— Но, господин граф, — возразила Консуэло, недоумевая. — У меня есть цель жизни, призвание, профессия. Я принадлежу искусству, которому посвятила себя с самого детства.

— Великий Боже, что вы говорите? Вы хотите вернуться на сцену?

— Не знаю еще, и, сказать правду, меня больше не тянет туда. На этом бурном пути я испытала пока только ужасные мучения, но в то же время чувствую, что с моей стороны было бы безрассудно навсегда отказаться от этого поприща. Так, видно, мне предназначено судьбой, и я не могу избежать того, что предстоит. Но вернусь ли я на сцену, буду ли выступать на концертах или давать уроки, все равно, — я остаюсь и должна оставаться певицей. Да и на что иное я годна? Где я могу сохранить независимость? Чем я займу свой ум, привыкший к труду и жаждущий такого рода возбуждений?

— О Консуэло, Консуэло! — с горестью воскликнул граф Христиан. — Все, что вы говорите, верно. Но я думал, что вы любите моего сына, а теперь вижу, что вы его не любите.

— А если бы я полюбила его со страстью, которая заставила бы меня забыть самое себя, что сказали бы вы на это, граф? — воскликнула Консуэло, теряя терпение. — Или вы считаете, что женщина никак не может влюбиться в него, и в то же время упрашиваете меня остаться при нем навсегда?

— Что вы, дорогая Консуэло! Или я недостаточно ясно высказался, или вы принимаете меня за безумного. Разве я не просил вашей руки и сердца для моего сына? Разве я не поверг к вашим стопам законного и бесспорно почетного союза? Конечно, если бы вы любили Альберта, то в счастливой жизни

с ним вы нашли бы вознаграждение за потерю вашей славы и ваших триумфов. Но вы не любите его, раз считаете невозможным отказаться ради него от того, что называете своей судьбой.

Это объяснение, независимо от воли добродушного Христиана, было запоздалым. Конечно, не без ужаса и смертельного отвращения жертвовал старый аристократ ради счастья сына всеми своими взглядами на жизнь, всеми убеждениями своей касты. И когда после долгой и мучительной борьбы с Альбертом и самим собой жертва наконец была принесена, — окончательное утверждение такого страшного деяния не могло перейти без усилий из сердца на уста, то есть быть высказанным.

Консуэло почувствовала или угадала это, так как в тот момент, когда Христиану показалось, что он не в состоянии добиться ее согласия на этот брак, несомненно, лицо старика озарилось невольной радостью, к которой примешивался странный испуг. Консуэло мгновенно поняла свое положение, и личная гордость, быть может, чрезмерная, возбудила в ней неприязнь к предлагаемому браку.

— Так вы хотите, чтобы я стала женой графа Альберта? — сказала она, еще ошеломленная таким странным предложением. — И вы согласились бы назвать меня своей дочерью, согласились бы, чтобы я носила ваше имя, согласились бы представить меня вашим родственникам и друзьям? Ах, граф, как вы любите своего сына, и как ваш сын должен любить вас!

— Если вы, Консуэло, видите в этом такое необычайное великодушие, значит вашему сердцу оно недоступно или сам предмет кажется вам недостойным великодушия!

— Граф, — заговорила Консуэло после минутного молчания, закрыв лицо руками, — я точно во сне. Гордость невольно пробуждается во мне при мысли о всех тех унижениях, которыми будет полна моя жизнь, если я осмелюсь только принять жертву, внушаемую мне вашей отеческой любовью.

— Но кто посмел бы унижить вас, Консуэло, раз отец и сын укрыли вас под защитой брака и семьи?

— А тетюшка, граф? Ведь она здесь играет роль родной матери, разве ее не заставило бы это краснеть?

— Сама она присоединится к нашим мольбам. Дайте только уговорить себя. Не требуйте от слабости человеческой того, что превышает ее силы: и возлюбленный и отец могут вынести унижение, горе отказа; тетюшка не справится с этим. Но уверившись в успехе, мы приведем ее в ваши объятия.

— Граф, — обратилась к старику трепещущая Консуэло, — стало быть, граф Альберт говорил вам, что я его люблю?

— Нет, — ответил граф, вдруг что-то вспомнив. — Альберт говорил мне, что препятствие именно в вашем сердце. Раз сто он мне это повторял, но я, по правде сказать, ему не верил. Вашу сдержанность по отношению к нему объяснял я вашей честностью и искренностью; но я думал, что раз у вас исчезнут все сомнения, я добьюсь от вас того признания, которого сын не смог получить.

— А что говорил он вам о нашей сегодняшней прогулке?

— Только сказал: «Попытайтесь, отец мой; это единственное средство узнать, гордость или отчужденность закрывают для меня ее сердце».

— Увы! Граф, что вы подумаете обо мне, если я скажу вам, что и сама не знаю этого.

— Решу, дорогая Консуэло, что это отчужденность. Ах, сын мой, бедный мой сын! Как ужасна его судьба! Единственная женщина, которую он смог полюбить в жизни, не любит его. Только этого несчастья нам не доставало.

— Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, граф. Вам не понять, как может не сдаваться моя гордость, раз вы жертвуете своею. Вам кажется, что для гордости такой девушки, как я, гораздо меньше основания, а между тем, поверьте, в эту минуту в сердце моем происходит борьба не менее жестокая, чем та, из которой вы вышли победителем.

— Я понимаю это. Не думайте, синьора, что я так мало уважаю целомудрие, прямодушие и бескорыстие, чтобы не ценить гордости, опирающейся на такие сокровища. Но то, что смогла победить отцовская любовь (видите, я с вами говорю совершенно откровенно), я думаю, сможет победить и любовь женщины. Ну что же, предположим даже, что вся жизнь Альберта, ваша жизнь и моя были бы борьбой со светскими предрассудками, от чего пришлось бы долго и много страдать и нам троим и моей сестре с нами, — да разве наша взаимная любовь, чистая совесть, преданность друг другу не помогли бы нам стать выше всего этого светского общества, вместе взятого? Для великой любви ничтожны все те беды, которые так страшат вас и за себя и за нас. Но вы с тоской и страхом ищете в глубине своей души этой великой любви и не находите ее, потому что ее там нет.

— Ну да, в этом, и только в этом весь вопрос, — проговорила Консуэло, крепко прижимая руки к сердцу, — все остальное пустяки. У меня тоже были предрассудки. Вы подаете мне пример, как должна я отбросить их, чтобы сравняться с вами в величии и героизме. Не будем больше говорить о моих чувствах, о моем ложном стыде; не надо даже касаться моей будущности и моего искусства, — добавила она со вздохом. — Я смогла бы и от этого отречься, если б... если б... любила Альберта. Вот что нужно мне знать. Выслушайте меня, граф. Сто раз спрашивала я себя об этом, но никогда у меня не было того спокойствия, какое дает теперь ваше отношение к этому вопросу. Как могла я раньше серьезно думать о чем-либо, когда все это казалось мне безумием и преступлением? Теперь же я, наверно, сумею разобраться и решиться. Дайте мне несколько дней, чтобы проверить себя и узнать, есть ли моя безмерная преданность ему, безграничное уважение, внушаемое мне его достоинствами, эта огромная симпатия, эта странная власть его слов надо мной, — есть ли все это любовь или восхищение. Ведь все это я чувствую, граф, но с этим борется во мне невыразимый ужас, глубокая печаль и (я все скажу вам, благородный мой друг) воспоминание о любви, менее восторженной, но более мягкой, более нежной, совсем непохожей на эту.

— Чудесная, благородная девушка! — с нежностью проговорил граф Христиан. — Сколько мудрости и своеобразия в ваших словах и мыслях! Вы во многих отношениях похожи на моего Альберта, а тревожная неуверенность в ваших чувствах напоминает мне мою жену, мою благородную печальную красавицу Ванду. О Консуэло! Какое сладкое и вместе с тем горькое воспоминание будите вы в моей душе! Знаете, я хотел было вам сказать: победите свою нерешительность, справьтесь со своими опасениями, любите этого несчастного, обожающего вас человека, любите из добродетели, из величия души, из сострадания! Быть может, он и не даст вам счастья; все же, спасая его, вы заслужите награду на небесах. Но вы напомнили мне его мать, отдавшуюся мне из чувства долга и из дружбы. Она не могла любить меня, простого, добродушного, робкого человека, той восторженной любовью, которой жаждала ее душа. До конца она была верна мне и великодушна; но как она страдала! Увы! Для меня ее любовь была и отрадой и мукой, а постоянство — гордостью и укором. С горя она умерла, а мое сердце было разбито навсегда. И если сейчас я — существо ничтожное, незаметное, мертвое, не слишком удивляйтесь этому, Консуэло. Я выстрадал то, чего никому не понять. Ни одному человеку никогда я не говорил об этом. Вам первой с трепетом открываю я свою душу. Нет, нет, пусть лучше мои глаза закроются в скорби и сын мой сейчас же погибнет под тяжестью своей судьбы, чем уговаривать вас пожертвовать собою, чем убеждать Альберта принять от вас такую жертву. Я слишком хорошо знаю, что значит насиловать природу, бороться с ненасытной потребностью души. Обдумайте же некоторое время, дочь моя, — закончил старый граф, с рыданиями прижимая ее к своей груди, целуя с отеческой нежностью ее благородный лоб. — Так будет лучше; если вы все-таки откажете ему, то, подготовленный беспокойством, он не будет до такой степени убит этой страшной вестью, как был бы поражен ею сегодня.

Условившись таким образом, они расстались. Консуэло, совсем измученная волнениями и усталостью, боясь натолкнуться на Андзолето, проскользнула по коридорам и заперлась в своей комнате. Здесь она попыталась несколько успокоиться; чувствуя себя совсем разбитой, она бросилась на постель и вскоре впала в тяжелое забытие, скорее изнуряющее, чем восстанавливающее силы.

Ей хотелось уснуть, думая об Альберте, чтобы эти мысли как бы созрели в сновидениях, в которых мы надеемся порою найти пророческий ответ на волнующие нас вопросы. Но в ее отрывочных сновидениях в течение нескольких часов непрерывно появлялся Андзолето. Она видела все ту же Венецию, КORTE-Минелли, ту же первую любовь, безмятежную, смеющуюся, поэтическую. А каждый раз, когда она пробуждалась, мысль об Альберте вызывала в ней воспоминание о зловещей пещере, где звуки скрипки, удесятеренные эхом пустых подземелий, вызывали тени мертвых и плакали над свежей могилой Зденко. Страх и печаль как бы закрывали ее сердце для любви. Будущее, которое ей сулили, рисовалось только среди мрачной тьмы кровавых видений, тогда как лучезарное, полное счастья прошлое заставляло



дышать свободно ее грудь и радостно биться сердце. Казалось, что в этих сновидениях о прошлом ей слышится в пространстве ее собственный голос; он растет, растет, наполняет всю природу и, могучий, уносится к небесам. Между тем тот же ее голос, когда вспоминались ей фантастические звуки скрипки в пещере, становился резким, глухим и терялся, подобно предсмертному хрипу, в подземных безднах.

Все эти смутные сновидения до того истомили ее, что она встала с постели, чтобы от них избавиться. Услышав первый призыв колокола, возвещающий, что обед будет подан через полчаса, она стала одеваться, продолжая думать все о том же, но странная вещь: в первый раз в жизни она с интересом смотрелась в зеркало, а своей прической и туалетом занялась гораздо внимательнее, чем волновавшими ее серьезными вопросами; она невольно прихорашивалась, ей хотелось быть красивой. И это непреодолимое кокетство проснулось в ней не только для того, чтобы возбудить страсть и ревность обоих любящих ее соперников; думала она и могла думать только об одном. Альберт никогда ни единым словом не обмолвился о ее наружности. Охваченный своей восторженной страстью, быть может, он считал ее даже красивее, чем она была на самом деле. Но мысли его были так возвышенны, а любовь так велика, что он побоялся бы осквернить её, взглянув на нее глазами влюбленного или артиста. Для него она была всегда окутана облаком, сквозь которое взор его не дерзал проникнуть, а воображение окружало ее ослепительным ореолом. На внешние перемены он не обращал никакого внимания: для него она всегда оставалась такою же. Он видел ее мертвенно бледною, иссохшею, увядшею, борущеюся со смертью и более похожею на призрак, чем на женщину. Тогда внимательно и с тревогой он искал в ее чертах лишь более или менее страшные симптомы болезни, не замечая, подурнела ли она, внушает ли ужас или отвращение. Когда же к ней вернулся блеск молодости и живая выразительность, на это он также не обратил внимания. Для него она в жизни, как и при смерти, была идеалом всего молодого, высокого, идеалом одной лишь несравненной красоты. Вот почему Консуэло перед зеркалом никогда и не думала об Альберте. Совсем иначе обстояло дело с Андзолето. С каким бесконечным вниманием он разглядывал, изучал ее в тот день, когда стремился решить, красива она или нет. Как отмечал он каждую малейшую черточку ее наружности, малейшее усилие понравиться ему. Как знал ее волосы, руки, ноги, ее походку, цвета, которые были ей к лицу, всякую складку ее одежды. И с каким пылким воодушевлением говорил он о ее наружности, с каким томным сладострастием смотрел на нее, когда целомудренная девушка не понимала трепета своего сердца. И теперь она не хотела понимать этого трепета. А между тем чувствовала его почти с той же силой при мысли, что появится снова перед Андзолето. Она сердилась сама на себя, краснела от досады и стыда, что прихорашивается для него, и все-таки выбирала и прическу, и ленты, и даже взгляды, которые нравились ему. «Увы! Увы! — думала она, dokonчив одеваться и отрываясь от зеркала, — неужели на самом деле я могу думать

только о нем, и бывшее счастье имеет надо мною больше власти, чем презрение к нему и чем обещания новой любви? Сколько я ни всматриваюсь в будущее, без него оно сулит мне лишь ужас и отчаяние. Но каково было бы это будущее с ним? Разве я не знаю, что чудесные дни Венеции безвозвратно прошли, что невинность больше не будет обитать с нами, что душа Андзовето совершенно развращена, ласки его способны только унижить меня, а моя жизнь была бы ежечасно отравлена стыдом, ревностью, страхом, раскаянием?»

Строго отдав себе отчет в том, что в ней происходит, Консуэло поняла, что она нисколько не заблуждается: от чувства к Андзовето в ней не осталось и следа. В настоящем она совершенно не любила его; она боялась и почти ненавидела его в будущем, которое могло бы только еще больше развратить его, но в прошлом так его обожала, что была не в силах вырвать ни из своей жизни, ни из своей души. Теперь он был для нее портретом, напоминающим обожаемое существо и сладостные дни, и она, подобно вдове, любующейся портретом первого мужа, чувствовала, что умерший живет в ее сердце больше, чем живой.

## LX

Консуэло была девушкой рассудительной и слишком возвышенного ума, а потому не могла не знать, что из двух чувств, внушенных ею, чувство Альберта было без всякого сравнения более искренним, более благородным и более ценным. Поэтому, когда она очутилась между ними, ей сначала показалось, что она восторжествовала над своим врагом. Глубокий взгляд Альберта, как бы проникавший в самую глубь души, долгое и сильное пожатие его честной руки дали ей понять, что он уже знает, к чему они пришли в своем разговоре с Христианом, и ждет своего приговора покорно и с благородным чувством. Действительно, Альберт добился большего, чем рассчитывал, и эта неопределенность по сравнению с тем, чего он боялся, была сладка ему, до того он был далек от заносчивой самоуверенности Андзовето. Последний, наоборот, вооружился всей своей решительностью. Догадываясь приблизительно о том, что происходит вокруг него, он решился идти напролом, рискуя даже быть выброшенным за дверь. Его развязные манеры, иронический, наглый взгляд вызывали в Консуэло глубочайшее отвращение, и когда он нахально подошел, чтобы взять ее под руку, она отвернулась и, идя к столу, взяла предложенную ей Альбертом руку.

Как всегда, молодой граф сел напротив Консуэло, а старый Христиан усадил ее по левую руку, на место, раньше занимаемое Амелией, но после ее отъезда предоставленное Консуэло. Вместо обычно сидевшего слева от нее капеллана канонисса пригласила сестр между собой и капелланом мнимого братца; таким образом, тихо произносимые колкости и язвительные насмешки

Андзолето могли доходить до ушей девушки, а грубые остроты должны были, согласно его расчетам, приводить в негодование старого священника, которого он и раньше уже стал задирать.

План Андзолето был чрезвычайно прост: он старался возбудить к себе ненависть, стать нестерпимым для тех членов семьи, которые, как он чувствовал, были настроены враждебно к предполагаемому браку; своими дурными манерами, фамильярным тоном, неуместными речами он рассчитывал дать самое печальное представление о среде и родстве Консуэло. «Посмотрим, — говорил он себе, — переварят ли они "братца", какого я им преподнесу».

Андзолето, незаконченный певец и посредственный трагик, был природным комиком. Он достаточно насмотрелся на светское общество и научился подражать хорошим манерам и приятным разговорам благовоспитанных людей; но эта роль могла только примирить канониссу с низким происхождением невесты, и он прибег к роли противоположной с тем большей легкостью, что она была ему гораздо свойственнее. Убедившись в том, что Венцеслава, намеренно говорившая только на немецком языке, принятом при дворе и среди благонамеренных подданных, тем не менее не пропускает ни одного из сказанных им итальянских слов, он стал без удержу болтать и то и дело прикладываться к доброму венгерскому вину; он не опасался, что оно подействует на него, давно привыкшего к самым крепким напиткам, но при этом притворялся, будто всецело находится под влиянием жгучих винных паров, чтобы выставить себя завзятым пьяницей. План его удался как нельзя лучше. Граф Христиан, сначала снисходительно смеявшийся над его шутовскими выходками, вскоре стал только принужденно улыбаться, и ему нужно было призвать на помощь всю свою сеньориальную обходительность, все свое отеческое чувство, чтобы не поставить на место несносного будущего шурина своего благородного сына. Капеллан не раз в негодовании подпрыгивал на стуле, бормоча по-немецки нечто, напоминающее заклинание бесов. Трапеза его очень пострадала от этого, и никогда в жизни пищеварение его не было так затруднено. Канонисса слушала все непристойности своего гостя со сдерживаемым презрением и злобным удовольствием.

При каждом новом вздоре, который нес Андзолето, она посматривала на брата, как бы беря его в свидетели; а добрый Христиан опускал голову, сиюсь каким-нибудь не особенно удачным замечанием отвлечь внимание слушателей. Тогда канонисса бросала взгляд на Альберта, но Альберт был невозмутим. Казалось, он и не видит, и не слышит своего неугомонного, развеселого гостя.

Из всех присутствующих несомненно самой подавленной оказалась Консуэло. Сначала она решила было, что распушенность и цинизм Андзолето, которых она раньше в нем не замечала, являются следствием его развратной жизни, ибо никогда он не бывал таким в ее присутствии. Она была так поражена и возмущена, что хотела было уйти из-за стола, но когда догадалась, что все это не что иное, как военная хитрость, к ней вернулось хладнокровие,

столь гармонизировавшее с ее неисторченностью и чувством достоинства. Она не стремилась проникнуть ни в тайны, ни во взаимоотношения этой семьи, чтобы интригами завоевать предлагаемое ей положение. Это положение ни на минуту не ослепляло ее, и она в глубине души сознавала, насколько несправедливы обвинения, взводимые на нее канониссой. Она знала, она прекрасно видела, что любовь Альберта, доверие его отца были выше этих ничтожных испытаний.

Презрение, внушаемое ей Андзолето, таким низким и злобным в своей мести, придавало ей еще больше силы. Глаза ее только раз встретились с глазами Альберта, и они поняли друг друга. Консуэло сказала: «Да», а Альберт ответил: «Несмотря ни на что!»

— Дело еще не кончено, — шепнул Консуэло Андзолето, перехвативший и истолковавший этот взгляд.

— Вы слишком добры ко мне, благодарю вас, — ответила Консуэло.

Они переговаривались сквозь зубы с той быстротой, которая присуща венецианскому наречию, состоящему словно из одних гласных и стольких эллипсов, что итальянцы Рима и Флоренции сами на первых порах с трудом его понимают.

— Чувствую, что в эту минуту ты ненавидишь меня, — говорил Андзолето, — и воображаешь, что будешь так ненавидеть вечно, но все-таки тебе не уйти от меня.

— Вы слишком рано открыли свои карты, — сказала Консуэло.

— Но не слишком поздно, — возразил Андзолето. — Ну, благочестивый отче, — обратился он к капеллану, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои брыжи<sup>1</sup> половину вина, которое подносил ко рту, — пейте смелее это славное вино, оно столько же полезно для души и тела, как и вино святой обеды!

— Ваше сиятельство, — обратился он к старому графу, протягивая свой стакан, — у вас там со стороны сердца имеется в запасе флакончик из желтого кристалла, горящий, как солнце. Уверен, что, выпей я только каплю этого нектара, я превращусь в полубога.

— Берегись, дитя мое, — наконец проговорил граф, кладя свою худую руку в перстнях на граненое горлышко бутылки, — вино стариков порою сковывает уста молодых.

— От злобы ты стала красива, как бесенок, — заметил Андзолето своей соседке на чистом итальянском языке, чтобы все его поняли. — Ты напоминаешь мне Дьяволицу из оперы Галуппи, так чудесно сыгранную тобой в прошлом году в Венеции. Послушайте, ваше сиятельство, долго ли вы намерены держать здесь мою сестрицу в вашей золоченой, обитой шелком клетке? Предупреждаю вас: она птичка певчая, а птица, которой не дают петь, скоро теряет свое оперение. Сознаю, что она счастлива здесь, но та славная публика, которую она свела с ума, громко требует ее возвращения. Что касается меня,

<sup>1</sup> *Брыжи* — старинное украшение одежды в виде оборок на груди.





— Ну, благочестивый отче, — обратился Андзолето к капеллану, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои брыжи половину вина, которое подносил ко рту, — пейте смелее это славное винцо, оно столько же полезно для души и тела, как и вино святой обеды!



то дайте мне ваше имя, ваш замок, все вино вашего подвала с вашим почтеннейшим капелланом в придачу, — я ни за что не соглашусь расстаться с моими театральными лампами, моими котурнами, моими руладами.

— Вы, стало быть, также актер? — сухо, с холодным презрением спросила канонисса.

— Актер, шут, к вашим услугам, *illustrissima*<sup>1</sup>, — не смущаясь, отвечал Андзолето.

— А есть у него талант? — спросил у Консуэло старый граф Христиан с мягким, добродушным спокойствием.

— Никакого, — промолвила Консуэло, с сожалением смотря на своего противника.

— Если это так, то ты порочишь сама себя, — сказал Андзолето, — ведь я твой ученик.

— Однако надеюсь, — продолжал он по-венециански, — что мне все-таки хватит таланта, чтобы смешать твои карты.

— Вы только себе самому этим повредите, — возразила Консуэло на том же наречии, — дурные намерения загрязняют сердце, а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы заставите меня потерять в сердцах других.

— Очень рад видеть, что ты принимаешь мой вызов. Начиная же, прекрасная воительница! Как ни спускаете вы свое забрало, а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.

— Увы! Вы можете прочесть в них только глубокое огорчение за вас. Я думала, что смогу забыть, как достойны вы презрения, а вы стараетесь мне это напомнить.

— Презрение и любовь часто отлично уживаются.

— В низких душах.

— В душах самых гордых; это бывало и всегда будет.

Так прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, канонисса, по-видимому, решившая потешиться наглостью Андзолето, попросила его спеть что-нибудь. Он не заставил себя просить и, с силой ударив нервными пальцами по клавишам старого, дребезжащего клавесина, запел одну из залихватских песен, оживлявших интимные ужины Дзустиньяни. Слова песни были неприличные. Канонисса не поняла этого, и ее забавлял жар, с которым он пел. Граф Христиан не мог не быть поражен красотой голоса певца и необычайной легкостью, с которой тот пел, и он наивно наслаждался, слушая его. После первой песни он попросил его спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, казался глухим и не проронил ни слова. Андзолето вообразил, будто молодой граф раздосадован и сознает, что над ним наконец одержали верх. Он позабыл о своем намерении разогнать слушателей непристойностью песен; к тому же видя, что, благодаря наивности своих хозяев или их незнанию венецианского наречия, это совершенно напрасный труд, он поддался соблазну вызвать восхищение, распевая ради удовольствия попеть;

<sup>1</sup> Ваша светлость (ит.)

а кроме того, ему хотелось похвастаться перед Консуэло своими успехами. Он действительно подвинулся вперед в возможных для него пределах. Голос его, быть может, потерял свою первоначальную свежесть, оргии лишили его юношеской мягкости, но зато он больше овладел им, стал более способным преодолевать трудности, к чему всегда инстинктивно стремился. Он спел хорошо и получил много похвал от графа Христиана, от канониссы и даже от капеллана, поклонника рулад, неспособного оценить манеру петь Консуэло вследствие ее простоты и естественности.

— Вы говорили, что у него нет таланта, — сказал граф Консуэло, — вы слишком строги или слишком скромны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и, наконец, я вижу в нем что-то присущее вам.

Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Андзолето загладить то унижение, которое перенесла мнимая сестра из-за выходов брата. Поэтому он усиленно подчеркивал достоинства певца, а тот слишком любил блистать, чтобы отказаться от разыгрываемой им скверной роли, и заметив, что граф Альберт делается все более задумчивым, снова сел за клавесин.

Канонисса, дремавшая обыкновенно при исполнении более или менее длинных музыкальных вещей, тут попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую песенку; и на этот раз Андзолето выбрал более приличную. Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Даже у Консуэло, и у той интересны особенности венецианского наречия не выходили так естественно и характерно, как у этого сына лагун, прирожденного певца и мима.

Он так чудесно изображал то грубую откровенность рыбаков Истрии, то остроумную, удалую бесшабашность гондольеров Венеции, что невозможно было без живого интереса ни внимать ему, ни глядеть на него. Его красивое, живое и выразительное лицо принимало то суровое, гордое выражение первых, то ласковую, насмешливую веселость вторых. Вульгарное кокетство его одежды, от которой за милую так и несло Венецией, еще усиливало иллюзию, и в данный момент не только не портило его, а, напротив, шло ему.

Консуэло, вначале безразличная, вскоре принуждена была разыгрывать роль равнодушной и чем-то озабоченной. Волнение все более и более захватывало ее. В Андзолето она видела всю Венецию, а в этой Венеции — всего Андзолето прежних дней с его веселостью, с его целомудренной любовью, с его ребяческой гордостью. Глаза ее заволакивались слезами, а игривые выходы, смешившие других, будили в ее сердце глубокую нежность. После народных песен граф Христиан попросил Андзолето исполнить духовные.

— О! Что касается этих песнопений, я знаю все, какие только исполняются в Венеции, но они на два голоса, так что если сестра, которая тоже знает их, не захочет петь вместе со мной, то я не буду в состоянии исполнить желание ваших сиятельств.

Тотчас же стали упрашивать Консуэло. Она долго отказывалась, хотя и самой ей очень хотелось петь. Наконец, уступая просьбам добрейшего

Христиана, стремившегося примирить ее с братом и старавшегося показать, что сам он совершенно примирился с ним, она села подле Андзолето и робко запела одну из длинейших духовных песен на два голоса, которые в Венеции во время великого поста раздаются по целым ночам у статуй мадонн, на перекрестках улиц. Их ритм скорее живой, чем печальный, но в однообразии их припева и в поэтичности слов, в которых чувствуется часто что-то языческое, есть какая-то нежная грусть; она мало-помалу овладевает вами и наконец совсем захватывает.

Консуэло, подражая женщинам Венеции, пела нежным, глуховатым голосом, а Андзолето — резким гортанным голосом тамошних юношей. При этом он импровизировал на клавесине аккомпанемент, тихий, непрерывный и свежий, напомнивший его подруге журчание воды у каменных плит и шелест ветерка в виноградных лозах. Ей почудилось, что она в Венеции, в волшебную летнюю ночь, одна под открытым небом, у какой-нибудь часовенки, увитой виноградными лозами, освещенной трепетным огоньком лампы, отражаемым в слегка подернутых рябью водах канала. О! Какая разница между зловещим, душу раздирающим волнением, пережитым ею этим утром под звуки скрипки Альберта у других вод, неподвижных, черных, молчаливых, полных призраков, и этим видением Венеции, с ее дивным небом, ее сладкими мелодиями, лазурными волнами, изборожденными отражением то быстро проносимых факелов, то лучезарных звезд. Андзолето как бы вернул ей это чудное зрелище, воплощавшее для нее идею жизни и свободы; тогда как пещера, суровые древнечешские напевы, кости, освещенные зловещими факелами, отраженными в водах, пожалуй, полных теми же наводящими ужас реликвиями, и среди всего этого — бледное возбужденное лицо аскета Альберта, мысли о неведомом мире, видение символической сцены, мучительное возбуждение от непонятных чар — слишком тяготили спокойную, простую душу Консуэло. Чтобы проникнуть в эту область отвлеченных идей, ей надо было сделать усилие, на которое, правда, благодаря своей яркой фантазии, она была способна, но которое всю ее разбивало, терзая таинственными муками, изнуряющим очарованием. Ее южный темперамент, больше даже чем ее воспитание, восставал против сурового посвящения в мистическую любовь. Альберт был для нее гением севера, глубоким, могучим, иногда величественным, но всегда печальным, как ветер ледяных ночей, как заглушенный голос зимних потоков. Это была душа мечтательная, пытливая, вопрошающая и все символизирующая — и бурные грозные ночи, и путь метеоров, и дикую гармонию лесов, и стертые надписи древних могил. Андзолето, напротив, был олицетворением юга, плотью, распаленной и оплодотворенной горячим солнцем, ярким светом, вся поэзия которой заключалась только в интенсивности произрастания, а гордость — только в богатстве своей организации.

Это была жизнь чувства, жажда наслаждений, беспечность и умственная бесшабашность артистической натуры, своего рода неведение или равно-

душие к понятию о добре и зле, нетребовательность в счастье, презрение или неспособность к мышлению, — одним словом, враг и противник идеи.

Между этими двумя людьми, из которых каждый был связан со средой, антипатичной для другого, Консуэло была так же безжизненна, так же неспособна проявлять энергию, действовать, как душа, отделенная от тела. Она любила прекрасное, жаждала идеала, и Альберт знакомил ее с этим прекрасным, предлагал ей этот идеал. Но Альберт, гениальные способности которого были придавлены каким-то недугом, слишком отдавался умственной жизни. Он так мало знал о потребностях жизни действительной, что часто терял способность ощущать собственное существование. Он не представлял себе, чтобы мрачные идеи и предметы, с которыми он освоился, могли под влиянием любви и добродетели внушить его невесте еще иные чувства, кроме энтузиазма веры и умиления любви. Он не предвидел, не понимал, что увлекает ее в атмосферу, где она умерла бы, подобно тропическому растению в полярном холоде. Вообще он не отдавал себе отчета в том, какое насилие она должна была сделать над собой, чтобы отождествиться с ним.

Андзоле, напротив, нанося раны душе Консуэло, возмущая ее ум во всех отношениях, в то же время вмещал в своей могучей груди, развившейся под дуновением благовонных ветров юга, весь живительный воздух, в котором Цветок Испании, как он бывало называл ее, нуждался, чтобы ожить. Она снова видела в нем целую жизнь животного созерцания, полную неведения и очарования, целый мир естественных мелодий, светлых и легких, целое прошлое спокойствия, беззаботности, физического движения, непосредственного целомудрия, честности без усилий, набожности без размышления. Это было почти существование птицы. А разве артист не похож на птицу, и разве не следует человеку испить хоть немного от кубка жизни, общей всему живущему, для того чтобы самому стать законченным существом и направить к добру сокровища своего ума!

Голос Консуэло звучал все нежнее и трогательнее по мере того, как она инстинктивно поддавалась этому анализу, которому я здесь, быть может, уделил слишком много времени. Да простится мне это! Иначе было бы трудно понять, вследствие какой роковой изменчивости чувств эта молодая девушка, такая разумная, такая искренняя, за четверть часа перед этим с полным основанием ненавидевшая Андзоле, забылась до того, что с наслаждением слушала его голос, касалась его волос, вдыхала его дыхание. Гостиная, как уже известно, была слишком велика, чтобы быть хорошо освещенной, да и день к тому же клонился уж к вечеру. Пюпитр клавесина, на котором Андзоле оставил раскрытой толстую нотную тетрадь, скрывал их головы от лиц, сидевших в некотором расстоянии, и головы их все ближе и ближе склонялись друг к другу.

Андзоле, аккомпанируя уже только одной рукой, другой обнимал гибкий стан своей подруги и незаметно привлекал ее к себе. Шесть месяцев

негодования и горя исчезли, как сон, из памяти молодой девушки. Ей казалось, что она в Венеции, что она молит мадонну благословить ее любовь к красавцу-жениху, предназначенному ей матерью, молящемуся здесь с ней рука об руку и сердце к сердцу.

Она не заметила, как Альберт вышел, а окружающий ее воздух казался ей легче, сумерки — мягче. Вдруг, по окончании одной строфы она почувствовала горячие губы своего первого жениха на своих губах. Она сдержала крик и, склонившись над клавесином, разрыдалась.

В эту самую минуту вернулся граф Альберт, услышал ее рыдания, увидел оскорбительную радость Андзолето. Волнение, прервавшее пение юной артистки, не так удивило остальных свидетелей этой сцены. Никто не видел поцелуя, и каждый допускал, что воспоминания детства и любовь к своему искусству могли вызвать эти слезы. Графа Христиана несколько огорчила эта чувствительность, говорившая о том, как привязана была девушка к тому, чем он просил ее пожертвовать. Канонисса же и капеллан ликовали, тая надежду, что жертва эта не сможет осуществиться. Альберт еще не задумывался над тем, возможно ли будет графине Рудольштадт снова стать артисткой или ей следует отказаться от этого. Он на все согласился бы, все разрешил бы, даже сам потребовал бы всего, лишь бы она только была счастлива и свободна, будь это, по ее выбору, в уединении, в свете или в театре. Отсутствие в нем предрассудков и эгоизма доходило до того, что он не предвидел простейших случайностей. Так, ему даже в голову не приходило, что у Консуэло могла явиться мысль пожертвовать собой ради него, не желавшего ни единой жертвы. Но, не видя этого, он, как всегда, видя гораздо дальше, проник в самую сердцевину дерева и обнаружил там червяка-грызуна. В один миг стало ему ясно, чем на самом деле был Андзолето для Консуэло, какую именно цель преследовал он и какое чувство внушал ей. Альберт внимательно посмотрел на этого антипатичного ему человека, к которому до сих пор не хотел приглядываться, не желая ненавидеть брата Консуэло. И он увидел в нем любовника смелого, страстного, опасного. Благородный Альберт не подумал о себе; ни сомнение, ни ревность не проснулись в его сердце. Он понял только, что Консуэло грозит опасность, ибо своим глубоким, проникновенным взором этот человек, слабое зрение которого с трудом выносило солнечный свет, плохо различало цвета и формы, читал в глубине души и, благодаря какой-то таинственной силе ясновидения, проникал в самые тайные помыслы негодяев и плутов. Я не в силах объяснить естественным путем этот странный, временами проявляющийся в нем дар. Некоторые его свойства, не расследованные и не объясненные наукой, так и остались непонятными как для его близких, так и для рассказчика, повествующего вам о них и по прошествии ста лет столько же мало знающего о них, как и великие умы его века. Альберт, видя во всей наготе эгоистичную, тщеславную душу своего соперника, не сказал себе: «Вот враг мой», а сказал: «Вот враг Консуэло» и, ничем не проявив сделанного им открытия, дал себе слово оберегать, охранять ее.



LXI

Пользуясь первым благоприятным моментом, Консуэло вышла из гостиной и пошла в сад. Солнце село, и первые звезды, спокойные и бледные, мерцали на небе, еще розоватом на западе и уже темном на востоке.

Юной артистке хотелось вдохнуть в себя спокойствие чистого прохладного воздуха первых осенних вечеров. Страстное томление теснило ей грудь, пробуждая в ней в то же время угрызения совести, и она призывала все силы души на помощь своей воле. Она могла бы задать себе вопрос: «Да неужели же я не знаю, люблю ли я его или ненавижу?» Консуэло дрожала, словно чувствуя, что мужество покидает ее среди опаснейшего в ее жизни кризиса; и впервые она не находила в себе той непосредственности первого побуждения, той святой уверенности в правильности своих намерений, которые всегда поддерживали ее в испытаниях. Она покинула гостиную, чтобы уйти от чар Анзолето, смутно желая в то же время, чтобы он пошел за ней.

Листья начинали осыпаться; когда, разметаемые краем платья, они шелестели позади нее, ей казалось, будто она слышит за собой чьи-то шаги, и, готовая бежать, не смея оглянуться, она останавливалась, как бы прикованная к месту волшебной силой. Действительно, за ней кто-то шел, но шел, не смея и не желая показаться. То был Альберт. Чуждый мелкого притворства, что зовется приличием, и чувствуя себя в силу своей великой любви выше всякого ложного стыда, он через минуту вышел вслед за ней, решив без ее ведома охранять ее и помешать соблазнителю подходить к ней. Анзолето заметил эту наивную поспешность, но она его не особенно встревожила. Он слишком хорошо видел смущение Консуэло, чтобы не счесть свою победу обеспеченной; и благодаря самолюбию, развившемуся в нем вследствие легких побед, он решил не форсировать события, не раздражать свою возлюбленную, не приводить в ужас семью.

«Мне больше незачем так спешить, — говорил он себе. — Гнев мог бы придать ей силы, мой же скорбный, подавленный вид уничтожит остаток ее злобы против меня. Ум ее горд, — атакуем ее чувства. Она, без сомнения, менее сурова, чем была в Венеции. Здесь она просветилась. Не беда, если сопернику выпадет еще один лишний счастливый денек, — завтра она моя, а быть может, еще этой ночью. Увидим! Не будем ее запугивать, подстрекая этим к какому-нибудь отчаянному решению. Она не выдала меня. Из жалости или из страха, она предоставляет им считать меня своим братом, а старые родственники, несмотря на все мои глупости, решили терпеть меня из любви к ней. Я добился своего быстрее, чем надеялся, — можно дать себе и передышку».

И граф Христиан, и канонисса, и капеллан были чрезвычайно удивлены, увидав, насколько его манеры изменились к лучшему, как скромнень стал его тон, как тихо и предупредительно он держал себя.

Андзоле то дипломатично пожаловался шёпотом капеллану на сильнейшую головную боль, прибавив при этом, что, будучи вообще очень воздержанным в отношении вина, он выпил за обедом венгерского, не имея понятия о его крепости, и оно ударило ему в голову.

Минуту спустя это признание было сообщено по-немецки канониссе и графу, принявшему эту попытку оправдать себя с великодушной готовностью.

Венцеслава сначала была менее снисходительна, но усилия лицемера понравиться ей, почтительное восхваление дворянства, восторженные отзывы о порядке, царившем в замке, — все это не замедлило обезоружить ее благожелательную, незлопамятную душу. Сперва она его слушала от нечего делать, но под конец заинтересовалась разговором с ним и согласилась с братом, что он прекрасный, очаровательный молодой человек.

Консуэло вернулась с прогулки через лес, и это время не пропало даром для Андзоле. Он успел так расположить к себе всю семью, что был уже уверен в возможности оставаться в замке столько дней, сколько ему понадобится для достижения своей цели.

Он не понял, что говорил по-немецки старый граф Консуэло, но догадался по взглядам, бросаемым на него, и по удивленному и смущенному виду молодой девушки, что Христиан рассыпался в похвалах по его адресу, слегка пожурив ее при этом за недостаток внимания к такому милому братцу.

— Послушайте, синьора, — обратилась к ней канонисса, которая, несмотря на то, что была недовольна ею, все-таки не могла не желать ей добра, да к тому же и считала это делом благочестия. — Вы за обедом сердились на своего брата, и, надо правду сказать, в то время он заслуживал этого, но он лучше, чем показался нам сначала. Брат питает к вам нежную любовь и только что много говорил о вас с глубоким чувством и даже с уважением. Не будьте же к нему строже нас. Я убеждена, что если он помнит о том, что выпил лишнее за обедом, то очень этим огорчен, особенно из-за вас. Поговорите с ним и не будьте холодны с человеком, таким близким вам по крови. Что касается меня, то, хотя мой брат, барон Фридрих, в юности любивший поддразнивать, и очень часто сердил меня, но я никогда не могла и часа быть с ним в ссоре.

Консуэло, не смея ни поддерживать, ни разубеждать заблуждение доброй старушки, была сражена этой новой атакой Андзоле, сила и ловкость которой для нее были очевидны.

— Вы не понимаете, о чем говорит моя сестра? — спросил Христиан молодого человека. — Сейчас переведу вам это в двух словах: она упрекает Консуэло за ее слишком большую материнскую строгость к вам. А я уверен, что сама Консуэло жаждет помириться. Поцелуйтесь же, дети мои! Ну, милый юноша, сделайте вы первый шаг и, если у вас в прошлом и были какие-нибудь прегрешения против нее, покайтесь в них, чтобы она вас простила.

Андзовето не заставил повторять это дважды. Схватив дрожащую руку Консуэло, не решавшейся отнять ее у него, он проговорил:

— Да, я страшно был виноват перед нею и так раскаиваюсь в этом, что все мои попытки забыться только все больше и больше разбивают мое сердце. Она прекрасно это знает, и, не будь у нее железной души, гордой, как сила, и беспощадной, как добродетель, она поняла бы, что я и так уж достаточно наказан своими угрызениями совести. Прости же меня, сестра, и верни мне свою любовь, не то я сейчас же уеду и буду мыкаться по белому свету в отчаянии, одиночестве и тоске. Всюду чужой, без поддержки, без совета, без привязанности, я не буду больше в силах верить в Бога, и мои заблуждения падут на твою голову.

Эта покаянная речь чрезвычайно растрогала графа и вызвала слезы у доброй канониссы.

— Слышите, Порпорина! — воскликнула она. — То, что он вам говорит, и прекрасно, и очень верно. Господин капеллан, вам следует, во имя религии, приказать синьоре помириться с братом.

Капеллан уже было собирался вмешаться в это дело, как Андзовето, не дождавшись его проповеди, схватил в свои объятия Консуэло и, несмотря на ее сопротивление и испуг, страстно поцеловал ее перед носом капеллана и в назидание присутствующим.

Консуэло, приведенная в ужас столь наглым обманом, не была больше в силах принимать в нем участия.

— Довольно! — проговорила она. — Господин граф, выслушайте меня...

Она готова была все рассказать, но тут вошел Альберт. И тотчас мысль о Зденко сковала страхом ее душу, готовую было открыться. Неукротимый покровитель Консуэло был способен без шума и без дальних слов освободить ее от врага, которого она собиралась разоблачить. Она побледнела, с горестным упреком взглянула на Андзовето, и слова замерли на ее губах.

Ровно в семь часов вечера снова уселись за стол — ужинать.

Если мысль о частых трапезах способна лишить аппетита моих изящных читателей, я принужден им сказать, что мода воздерживаться от пищи не была в чести ни в те времена, ни в той стране. Кажется, я уже упоминал о том, что в Ризенбурге кушали медленно, плотно и часто. Чуть ли не половина дня проходила за обеденным столом, и признаюсь, что Консуэло, привыкшая с самого детства поневоле довольствоваться в течение дня несколькими ложками сваренного на воде риса, находила эти гомерические трапезы смертельно длинными. Впервые она не смогла дать себе отчет в том, сколько длился этот ужин, — час, мгновение или столетие. Она так же мало сознавала, что существует, как Альберт, когда он бывал один в своем гроте. Ей казалось, что она пьяна, до такой степени стыд перед собой, любовь и ужас возбуждали все ее существо. Она ничего не ела, ничего не слышала, ничего не видела вокруг себя. В смятении, подобно человеку, летящему в пропасть и видящему, как одна за другой ломаются непрочные ветки, за которые он

пытается удержаться, она глядела на дно бездны, и голова ее шла кругом: Андзолето был подле нее, он касался ее платья, судорожным движением прижимался к ее локтю своим локтем, к ее ноге своей ногой. Стремясь ей услужить, он дотрагивался до ее рук и на миг удерживал их в своих, но этот миг, это его жгучее пожатие заключало в себе целый век наслаждений... Тайком он шептал ей слова, от которых можно было задохнуться, пожирал ее глазами...

Пользуясь мгновением, мимолетным, как молния, он менялся с ней стаканом и прикасался губами к хрусталу, до которого только что дотрагивались ее губы. Он умел быть пламенем для нее и холодным мрамором в глазах других. Он чудесно держал себя, благовоспитанно разговаривал, был чрезвычайно внимателен к канониссе, с уважением относился к капеллану, предлагал ему лучшие куски мяса и сам нарезал их с грациозной ловкостью человека, привыкшего к хорошему столу. Он заметил, что благочестивый отец был лакомкой и что он из-за своей застенчивости часто терпел лишения по части чревоугодия. Капеллану пришлось весьма по вкусу предупредительность молодого человека, и он стал желать, чтобы этот новый стольник до конца дней своих пробыл в Замке Великанов.

Все заметили, что Андзолето пил только воду, и когда капеллан, как бы в ответ на его любезность, предложил ему вина, он проговорил громко, чтобы все могли слышать:

— Тысячу благодарностей, но я уже больше не попадусь! Ваше прекрасное вино коварно: я недавно пытался найти в нем забвение. Теперь мои горести миновали, и я возвращаюсь к воде, своему обычному напитку и верному другу.

Вечер затянулся несколько дольше обычного. Андзолето вновь пел, и на этот раз пел для Консуэло. Он выбирал вещи ее любимых старинных композиторов, которым она сама обучила его, и исполнял их старательно, со вкусом и тонкостью, как она всегда прежде требовала от него. Это было еще новым напоминанием о самых дорогих, самых чистых минутах ее любви и увлечения искусством.

Когда уже собирались расходиться, Андзолето, пользуясь удобной минутой, шепнул ей:

— Я знаю, где твоя комната; меня поместили в той же галерее. В полночь я буду на коленях у твоей двери; останусь там распростертым до утра. Не откажи выслушать меня хоть минуточку. Я не порываюсь снова завоевывать твою любовь, — не стою я ее. Знаю, что больше ты не можешь любить меня, знаю, что другой счастлив, что мне нужно уехать. Уеду я со смертью в душе, и остаток моих дней будет отдан во власть фуриям. Но не выгоняй меня, не сказав мне сострадательного слова, не сказав «прости»! Если ты откажешь мне в этом, я уеду с рассветом и тогда уже погибну навсегда.

— Не говорите этого, Андзолето. Мы должны здесь проститься с вами и проститься навек. Я вам прощаю и желаю...

— Доброго пути, — закончил он с иронией, потом, сейчас же возвращаясь к своему лицемерному тону, продолжал: — ты безжалостна, Консуэло. Ты хочешь, чтоб я совсем погиб, чтобы во мне не осталось ни единого доброго чувства, ни единого хорошего воспоминания. Чего ты боишься? Не тысячу ли раз доказывал я тебе свое уважение, чистоту своей любви? Когда любишь безумно, разве не становишься рабом, и неужели ты не знаешь, что одного твоего слова достаточно, чтобы укротить, поработить меня? Ради Бога, если только ты не возлюбленная того человека, за которого выходишь замуж, если он не хозяин твоей комнаты и не неизбежный товарищ твоих ночей...

— Он не возлюбленный мой и никогда им не был, — прервала его Консуэло тоном гордой невинности.

Было бы лучше, если б она подавила в себе этот порыв гордости, хотя и вполне обоснованный, но слишком чистосердечный в данный момент. Андзолето не был трусом, но он любил жизнь, и, рассчитывая он найти в комнате Консуэло отважного стража, он преспокойно остался бы у себя. Правдивые же ноты, прозвучавшие в ответе молодой девушки, окончательно придали ему смелости.

— В таком случае я не скомпрометирую твоего будущего, — сказал он, — я буду так осторожен, так ловок, буду так беззвучно ходить, так тихо говорить, что совсем не поврежу твоей репутации. Да к тому же, не брат ли я тебе? Что ж удивительного, если бы, уезжая на рассвете, я пришел с тобой проститься.

— Нет, нет, не приходите! — с ужасом проговорила она. — Покои графа Альберта расположены поблизости; быть может, он обо всем догадался... Андзолето, если вы подвергнете себя опасности... я не ручаюсь за вашу жизнь. Говорю вам это серьезно и холодею при этом от ужаса.

И в самом деле Андзолето, державший ее руку в своей, почувствовал, как она стала холоднее мрамора.

— Если ты у своей двери начнешь препираться со мной и вести переговоры, ты подвергнешь мою жизнь опасности, — прервал он ее, улыбаясь, — но если дверь твоя будет незаперта, а наши поцелуи немые, то мы ничем не рискуем. Вспомни, как проводили мы вместе целые ночи, не разбудив ни одного из наших многочисленных соседей на Кортэ-Минелли. Что же касается меня, то если нет иного препятствия, кроме ревности графа, и иной опасности, как только смерть...

В эту минуту Консуэло увидела, как взор графа Альберта, обыкновенно такой неопределенный, остановившись на Андзолето, вдруг стал ясным и глубоким. Разговор их слышать он не мог, но казалось, что он как бы слышит его глазами. Консуэло высвободила свою руку из руки Андзолето и подавленным голосом проговорила:

— Ах! Если любишь меня, не веди себя вызывающе с этим страшным человеком!

— Ты за себя боишься? — быстро спросил Андзолето.

— Нет, но за все, что меня окружает и грозит мне.



— И за тех, кто тебя обожает, конечно? Ну, что же, пусть будет так! Умереть на твоих глазах, у твоих ног! О! Я только этого и жажду. Я буду у твоих дверей в полночь; сопротивляясь, ты только ускоришь мою гибель.

— Как! Вы уезжаете завтра и ни с кем не прощаетесь? — спросила его Консуэло, увидав, что он, раскланявшись с графом и канониссой, ничего не сказал им о своем отъезде.

— Нет, не прощаюсь, — сказал он, — они стали бы меня удерживать, а я, видя, что все кругом словно сговорились продлить мои мученья, мог бы против воли уступить. Ты уже за меня передашь им мои извинения и прощальный привет. Я приказал проводнику держать лошадей наготове к четырем часам утра.

То, что он сказал, было более чем верно. Странные взгляды, бросаемые за последние несколько часов Альбертом, не ускользнули от Андзолето. Он решил идти на все, но был готов и к бегству. На всякий случай его лошади стояли оседланными на конюшне, и проводник получил приказ не ложиться.

Вернувшись в свою комнату, Консуэло пришла в настоящий ужас. Она не хотела принять Андзолето, но в то же время боялась, что что-нибудь помешает ему к ней прийти. Такое двойственное, обманчивое, непреодолимое чувство терзало ее, вносило разлад между ее сердцем и совестью. Никогда еще она не чувствовала себя такой несчастной, брошенной, такой одинокой на свете.

— О! Учитель мой, Порпора, где вы? — восклицала она. — Лишь вы один могли спасти меня, вам одному известен мой недуг и грозящие мне опасности. Только вы, резкий, строгий, недоверчивый, как отец или друг, смогли бы вытащить меня из бездны, куда я лечу! Но разве вокруг меня нет друзей? Разве в графе Христиане я не имею отца? Разве не была бы матерью для меня канонисса, имей я мужество, не боясь ее предрассудков, раскрыть ей свое сердце? А Альберт, разве он не опора моя, не брат мне, не муж, согласись я только произнести одно слово? О, да! Он должен быть моим спасителем, а я боюсь его, отталкиваю!.. Надо пойти ко всем троим, — прибавила она, вставая и в волнении ходя по комнате, — мне нужно соединить свою судьбу с ними, я должна уцепиться за их покровительственные руки, укрыться под крыльями этих ангелов-хранителей. Здесь обитают покой, достоинство, честь; унижение и отчаяние ждут меня подле Андзолето. О, да! Надо идти к ним, покаяться им в этом ужасном дне, надо рассказать обо всем, что творится во мне, чтобы они могли предохранить, защитить меня от меня самой. Надо связать себя с ними клятвой, надо сказать это ужасное «да», которое поставит преграду между мной и моим бичом. Иду к ним!..

Но вместо того, чтобы идти, она упала обессиленная на стул и в отчаянии рыдала над своим утраченным покоем, сокрушенным силой.

«Но как, — говорила она себе, — как идти к ним с новой ложью, как предлагать им распутную девушку, жену-прелюбодейку! Ведь такова же я в сердце своем, и на устах моих, которые произнесли бы обет неизменной

верности чистосердечнейшему из людей, горит еще поцелуй другого, а сердце мое трепещет нечистой радостью при одном воспоминании об этом. Ах! Ведь и моя любовь к недостойному Андзолето изменилась, как и он сам. Это уже не та спокойная, святая любовь, с которой я, счастливая, спала под крыльями, распростертыми надо мною с высоты небес моей матерью. Это — низкое, бурное увлечение, подобное тому, кто возбудил его. В душе моей не осталось уже ничего ни великого, ни правдивого. С сегодняшнего утра я так же лгу самой себе, как лгу другим. Как же мне теперь не лгать им постоянно? Здесь или вдали — Андзолето всегда будет передо мной. Одна мысль о завтрашней разлуке мучительна для меня, и в объятиях другого я буду грезить только о нем. Что же делать, как быть?»

А время шло и страшно быстро и страшно медленно.

«Мы встретимся, — говорила она себе, — я скажу ему, что ненавижу, что презираю его, что никогда больше не хочу видеть. Но нет: я опять лгу, я не скажу ему этого, а если хватит у меня на это духу, то сейчас же откажусь от своих слов. Я даже не могу быть уверена, что сохраняю свое целомудрие, — он уже не верит в него и может отнестись ко мне без уважения. И если я сама больше не верю в себя, не верю ни во что, я еще скорее могу отдаться ему под влиянием страха, чем по слабости. О! Лучше умереть, чем потерять к себе уважение, чем дать восторжествовать хитрости и распутству других над влечением к святости, над благородными намерениями, вложенными в меня Богом!»

Она подошла к окну, и, действительно, в голове ее бродила мысль броситься вниз, чтобы смерть избавила ее от бесчестия, которое словно уже коснулось ее. Борясь с этим мрачным искушением, она перебирала в памяти те пути спасения, которые еще оставались. В сущности, в таких путях недостатка не было, но ей казалось, что все они влекут за собой другие опасности. Она начала с того, что заперла на задвижку дверь, через которую мог войти Андзолето. Но она лишь наполовину знала этого холодного эгоиста и, имея доказательства его физической храбрости, не подозревала, что он совершенно лишен мужества морального, при котором человек готов идти на смерть ради удовлетворения своей страсти. Она думала, что он дерзнет прийти сюда, что будет добиваться, чтобы она его выслушала, что может при этом произвести шум, а между тем достаточно было малейшего шороха для того, чтобы привлечь внимание Альберта. В смежной с ней комнате была, как почти во всех помещениях замка, потайная лестница, которая, ведя в нижний этаж, выходила у самых покоев канониссы. Это было единственное убежище от безрассудной дерзости Андзолето. Но чтобы войти туда, надо было во всем покаяться и даже сделать это предварительно, дабы не подать и повода к скандалу, который от испуга легко могла раздуть добрая Венцеслава. Оставался еще сад, но если б Андзолето, по-видимому, уже хорошо изучивший весь замок, также появился там, то это значило бы прямо идти на гибель.

Обдумывая все это, она увидела из своего окна, выходявшего на задний двор, свет у конюшен. Разглядела она там и человека, который, не будя других

слуг, казалось, готовился к отъезду. По одежде она узнала в нем проводника Андзолето, подготавливавшего по его приказанию лошадей. Увидела она также свет у сторожа подъемного моста и не без основания подумала, что тот был предупрежден проводником об отъезде, точное время которого еще не было назначено. Когда Консуэло наблюдала за происходившим у конюшни, перебирая тысячи предположений и проектов, ей пришел в голову довольно странный и очень смелый план. Но так как благодаря ему устранялись те крайние решения, так ужасавшие ее, и в то же время открывались в ее жизни новые перспективы, он показался ей настоящим вдохновением свыше. Ей некогда было останавливаться ни на способах осуществления этого плана, ни на последствиях его. Способы ей показались ниспосланными самим провидением, а последствий она надеялась избежать. И Консуэло принялась за нижеследующее письмо, страшно спеша, что легко можно себе представить, ибо на часах замка уже пробило одиннадцать.

«Альберт! Я принуждена уехать. Люблю я вас всей душой, вы это знаете, но во мне есть противоречия, какие-то муки, мятежные чувства, которых я не в состоянии объяснить ни вам, ни самой себе. Будь вы со мной в эту минуту, я сказала бы, что веряю себя вам, что предоставляю вам заботиться о моем будущем, что согласна быть вашей женой. Быть может, даже сказала бы вам, что хочу этого. Однако, сделав это, я обманула бы вас или дала бы безрассудный обет, так как сердце мое недостаточно еще очистилось от прежней любви, чтобы сейчас же без ужаса принадлежать вам и без угрызений совести заслужить вашу любовь. Я убегая; отправляюсь в Вену, чтобы съехаться с Порпора или обождать его в этом городе; ведь он, как сам недавно сообщил в своем письме вашему отцу, должен уже находиться там или приехать туда через несколько дней. Клянусь, что я еду к нему искать забвения и ненависти к прошлому, искать надежды на будущее, в котором для меня вы являетесь краеугольным камнем. Не ищите меня; я запрещаю вам это во имя будущего, которое, благодаря вашему нетерпению, могло бы пострадать и, пожалуй, даже совсем погибнуть. Ждите меня и будьте верны клятве, данной вами мне, — не ходить без меня в... Вы понимаете, о чем я говорю! Надейтесь на меня, — приказываю вам это, — так как я ухожу со святой надеждой в недалеком будущем вернуться сюда или призвать вас к себе. Сейчас я словно вижу какой-то страшный сон, и кажется мне, что, оставшись сама с собой, я проснусь достойной вас. Не хочу, чтобы брат следовал за мной. Я обману его, направив его по ложному пути. Во имя всего самого дорогого для вас не мешайте ни в чем моему замыслу и верьте в мою искренность. Из этого я увижу, действительно ли вы любите меня и могу ли я, не краснея, пожертвовать вашему богатству своей бедностью, вашему титулу — своим скромным происхождением, вашей учености — своим невежеством. Прощайте! Но нет, до свиданья, Альберт! Чтоб доказать вам, что я уезжаю не навсегда, поручаю вам склонить вашу уважаемую, дорогую тетюшку быть благосклонной к нашему браку и сохранить мне доброе отношение вашего отца, лучшего,

достойнейшего из людей. Обо всем этом откровенно расскажите ему. Из Вены напишу вам».

Надежда, что подобным письмом можно убедить и успокоить человека, настолько влюбленного, как Альберт, была, конечно, очень смела, но небезрассудна. По мере того, как она писала, Консуэло чувствовала, как к ней возвращаются и сила воли, и прямодушие. Все, что она писала ему, она действительно думала. Все, что обещала, она готова была исполнить. Она верила в глубокую проницательность, почти ясновидение Альберта; знала, что его не обманешь; была убеждена, что он ей поверит и, оставаясь верным самому себе, беспрекословно послушается ее. В эту минуту и на все происходящее и на самого Альберта она смотрела с той же высоты, что и он.

Сложив письмо, но не запечатав его, она накинула на себя дорожный плащ, покрыла голову очень густой черной вуалью, надела прочную обувь, захватила имевшуюся у нее небольшую сумму денег, немного белья, на цыпочках, с невероятными предосторожностями спустилась по лестнице на нижний этаж и здесь, пробравшись в покои графа Христиана, проскользнула в его молельню, куда он неизменно аккуратно входил в шесть часов утра. Она положила письмо на подушку, на которую тот обыкновенно клал свой молитвенник, прежде чем опуститься на колени. Затем, сойдя во двор, никого не разбудив, она направилась прямо к конюшням.

Проводник, чувствовавший себя не особенно спокойно глухой ночью в большом замке, где все спали, как мертвые, в первую минуту перепугался, увидев черную женщину, которая приближалась к нему, словно привидение. Он забился в глубь конюшни, не смея ни крикнуть, ни задать ей вопроса. Этого-то и надо было Консуэло. Как только она сообразила, что ее никто не может ни увидеть, ни услышать (к тому же ей было известно, что окна Альберта и Андзолето не выходят на этот двор), она сказала проводнику:

— Я сестра молодого человека, которого ты привез сюда нынче утром. Он похищает меня. Это только что решено между нами, скорей замени седло на его лошади дамским, — их здесь несколько, — следуй за мной до Тусты, не проронив ни единого слова, не сделав ни единого шага, который мог бы разоблачить прислуге замка мое бегство. Тебе будет заплачено вдвое. Ты как будто удивлен? Ну, живо! Как только доберемся до города, тебе придется сейчас же на этих же самых лошадях вернуться сюда за моим братом.

Проводник покачал головой.

— Тебе будет заплачено втрое.

Проводник кивком головы дал знать о своем согласии.

— И ты карьером привезешь его в Тусту, где я буду вас ждать.

Проводник опять покачал головой.

— Тебе дадут за эту вторую поездку в четыре раза больше, чем за первую.

Проводник повиновался. В один миг лошадь, на которой должна была ехать Консуэло, была переседлана.





*Проводник, чувствовавший себя не особенно спокойно... перепугался, увидев черную женщину, которая приближалась к нему, словно привидение. Он забился в глубь конюшни, не смея ни крикнуть, ни задать ей вопроса. Этого-то и надо было Консуэло.*



— Это не все, — проговорила Консуэло, вспрыгнув на лошадь, когда та еще не была окончательно взнуздана, — дай мне твою шляпу и накинь поверх моего свой плащ. Это на один миг всего.

— Понимаю, — сказал проводник, — для того чтобы надуть сторожа, — нетрудное дело! О! Я не впервые похищаю знатных девиц! Надеюсь, ваш возлюбленный хорошо заплатит, хотя вы и сестра ему, — усмехаясь, добавил он.

— Прежде всего я хорошо заплачу тебе. Ну, помалкивай! Ты готов?

— Уже в седле.

— Поезжай вперед и вели спустить мост.

Они проехали по мосту шагом, сделали крюк, чтобы миновать стены замка, и через четверть часа были уже на большой усыпанной песком дороге. Консуэло до этого ни разу в жизни не ездила верхом. К счастью, ее лошадь, хотя и сильная, была смирного нрава. Хозяин ее подбадривал, прищелкивая языком, и она, несясь ровным сдержанным галопом по лесу и кустарнику, доставила амазонку до места через два часа.

При въезде в город Консуэло остановила лошадь и спрыгнула на землю.

— Я не хочу, чтобы меня здесь видели, — сказала она проводнику, давая ему условленную плату и за себя и за Андзолето. — По городу я пойду пешком, достану здесь у знакомых экипаж, который и повезет меня по Пражской дороге. Я буду спешить, чтобы до рассвета отъехать как можно дальше от мест, где меня знают в лицо. Утром я сделаю остановку и буду ждать брата.

— Но где именно?

— Не знаю еще. Скажи ему, что на одной из почтовых станций. Пусть только не расспрашивает раньше, чем отъедет отсюда на десять миль. Тогда пусть справляется о госпоже Вольф, — это первое пришедшее мне в голову имя. Однако же ты его не забудь. Скажи, в Прагу ведет одна только дорога?

— Одна до...

— Ну, ладно! Остановись в предместье и дай передохнуть лошадям. Постарайся, чтобы не заметили дамского седла, набрось на него свой плащ; не отвечай ни на какие вопросы и поскорее пускайся в обратный путь. Постой, еще одно слово: передай брату, чтобы он не колебался, не задерживался и уехал так, чтобы его никто не видал. В замке ему грозит смерть.

— Господь с вами, красотка, — ответил проводник, успевший уже убедиться в том, что ему хорошо заплачено. — Околей хоть мои бедные лошадки, все же я рад, что услужил вам.

«Однако ж досадно, — сказал он себе, когда она исчезла в темноте, — что не удалось мне увидеть и кончика ее носа: хотелось бы знать, настолько ли она красива, что стоило ее похищать. Сначала-то она напугала меня своим черным покрывалом и решительной походкой; ну, да чего только не наговорили мне там, в людской, я уж не знал, что и думать. До чего суеверны и темны эти люди со своими привидениями да со своим черным человеком у дуба Шрекентштейна! Ах! Мне больше сотни раз приходилось там бывать, и никогда я его

не видел. Правда, проезжая у подножья горы, я всегда старался опустить голову и смотреть в сторону оврага».

За этими бесхитростными рассуждениями проводник накормил овсом своих лошадей, а сам, чтобы разогнать сон, хорошенько подкрепился в соседнем трактире пинтой медовой шипучки и отправился обратно в Ризенбург, отнюдь не спеша, как надеялась и предусматривала Консуэло, наказывая ему торопиться. Все удаляясь от нее, добрый малый терялся в догадках относительно романтического приключения, в котором только что был посредником. Мало-помалу благодаря ночному мраку, а пожалуй, и парам крепкого напитка, приключение это стало ему рисоваться в еще более чудесном виде. «А забавно было бы, — думалось ему, — если б эта черная женщина оказалась мужчиной, а мужчина — привидением замка, мрачным призраком Шрекенштейна! Говорят же, что он злобно подшучивает над ночными путниками, а старик Ганс просто клялся мне, что раз десять видел его в конюшне, когда задавал перед рассветом овес лошадям старого барона Фридриха. Чёрт побери! Не очень-то было бы приятно встретиться да побыть с такими тварями — всегда к беде! Если мой бедный Серко возил на себе этой ночью сатану, ему, наверное, несдобровать. Сдается мне, что из его ноздрей уже пышет пламя. Как бы он еще не закусил удила! Ей-ей! Любопытно будет, добравшись до замка, убедиться, нет ли в моем кармане вместо денег, данных мне этой чертовкой, сухих листьев. А если вдруг мне скажут, что синьора Порпорина, вместо того чтобы мчаться по Пражской дороге, преспокойно почивает в своей кровати; кто тогда останется в дураках, — черт или я? Что верно, то верно, она и вправду неслась, как ветер, а уходя от меня, исчезла так мгновенно, словно провалилась сквозь землю».

## LXII

Андзолето не преминул встать в полночь, взять свой стилет, надушиться и загасить свечу. Но в тот момент, когда он думал тихонько отпереть дверь (а он уже раньше обратил внимание на то, что замок в ней открывался мягко и бесшумно), его крайне удивило, что ключ совершенно не поворачивается. Возясь с ним, он совсем изломал себе пальцы, измучился вконец, рискуя толчками в дверь кого-нибудь разбудить. Все было напрасно. Из его комнаты не было другой двери. Окна же выходили в сад на высоте пятидесяти футов от земли, причем стена была совершенно гладкая, и спуститься по ней было невозможно. От одной мысли о таком спуске уже кружилась голова.

«Это не случайность, — сказал себе Андзолето, еще раз напрасно попытавшись открыть дверь. — Пусть это будет Консуэло (что являлось бы хорошим признаком: ее страх говорил бы мне о ее слабости), пусть это будет граф Альберт, оба они у меня поплатятся!»



*Все удаляясь от нее, добрый малый терялся в догадках  
относительно романтического приключения,  
в котором только что был посредником.*

Он решил было снова уснуть, но ему мешала досада, а быть может, также какое-то беспокойство, близкое к страху.

Если эта предосторожность была делом рук Альберта, то, значит, он один во всем доме не находился в заблуждении относительно его братских отношений с Консуэло. А у той был уж очень испуганный вид, когда она его предупреждала остерегаться этого «ужасного человека». Как ни убеждал себя Андзолето, что молодой граф, будучи не в своем уме, вряд ли может быть последовательным в своих действиях, а также, что, принадлежа к знаменитому роду и подчиняясь царящим предрассудкам, он не пожелает драться на дуэли с комедиантом, все-таки эти предположения мало успокаивали его. Альберт произвел на него впечатление помешанного, весьма спокойного и вполне владеющего собой; что же касается предрассудков, то, по-видимому, они не очень-то укоренились в нем, раз позволяли ему думать о браке с актрисой.

А потому Андзолето стал не на шутку опасаться, что, добиваясь своей цели, нарвется на столкновение с молодым графом и попусту наживет себе беду. Такая развязка не столько пугала его, сколько казалась постыдной. Он учился владеть шпагой и льстил себя надеждой, что не спасует ни перед кем, как бы искусен тот ни был. Тем не менее успокоиться он не мог и так и не сомкнул глаз во всю ночь.

Около пяти часов утра ему как будто слышались шаги в коридоре, и вскоре дверь легко и бесшумно открылась. Еще не успело рассвети, а потому, увидав человека, так бесцеремонно входящего в его комнату, Андзолето подумал, что настала решительная минута. Он бросился к своему стилету и, словно бык, метнулся вперед. Но тотчас же в предрассветной мгле он узнал своего проводника, делавшего ему знаки говорить потише и не шуметь.

— Что значат эти шутки, и что тебе от меня надо, дурень? — раздраженно спросил Андзолето. — Как ты умудрился пробраться сюда?

— Да как же иначе, как не через дверь, милый барин.

— Дверь была заперта на ключ.

— Но ключ-то вы оставили снаружи.

— Не может быть! Он на моем столе.

— Что ж тут удивительного, там, значит, другой.

— Кто же так подшутил надо мной, заперев меня здесь? Вчера ведь был всего один ключ; уж не ты ли проделал это, приходя сюда за чемоданом?

— Клянусь Богом, не я, и другого ключа не видел.

— Ну, стало быть, это чёрт! Что это у тебя за деловой и таинственный вид, и что тебе от меня надо? Я за тобой не посылал.

— Вы не даете мне слова вымолвить. Впрочем, видя меня, вы сами знаете, зачем я явился. Синьора благополучно доехала до Тусты, и вот я, по ее приказанию, вернулся с лошадьми за вами.

Понадобилось все-таки несколько мгновений, прежде чем Андзолето сообразил, в чем тут дело, но все же он догадался настолько быстро, что не дал проводнику, суеверные страхи которого уже начали было рассеиваться





*Он бросился к своему стилету и, словно бык, метнулся вперед.  
Но тотчас же в предраассветной мгле он узнал своего проводника,  
делавшего ему знаки говорить потише и не шуметь.*



вместе с зарей, повода снова заподозрить проделки дьявола. Плут первым делом исследовал деньги Консуэло, постучав ими об пол конюшни, и остался доволен своей сделкой с адом.

Андзолето понял с полуслова и подумал, что беглянка, находясь под бдительным надзором, не смогла предупредить его о своем решении, и под влиянием грозящей опасности, выведенная, быть может, из себя ревностью жениха, воспользовалась удобной минутой, чтобы избавиться от его гнета, сбежать и вырваться на свободу.

«Как бы там ни было, — сказал он себе, — нечего сомневаться и колебаться. Указания, присланные ею с этим человеком, доставившим ее до Пражской дороги, ясны и определены. Победа! Только бы мне выбраться вслед за ней отсюда, не будучи вынужденным взяться за шпагу!»

Тут он вооружился с головы до ног и, поспешно собираясь, послал проводника разведчиком посмотреть, свободен ли путь.

Узнав от него, что, по-видимому, в доме все еще спят, за исключением сторожа подъемного моста, который только что впустил проводника, Андзолето тихонько вышел, вскочил на коня и, не встретив во дворе никого, кроме конюха, подозвал его и дал ему на чай, чтобы не придать своему отъезду характера бегства.

— Клянусь святым Венцеславом, — сказал конюх проводнику, — вот престранная вещь! Выходя из конюшни, лошади так мокры, как будто скакали всю ночь.

— Видно, ваш черный дьявол приходил убирать их, — ответил проводник.

— Вот оно что! — подхватил конюх. — То-то я и слышал всю ночь ужасный шум в той стороне, да пойти посмотреть побоялся; но вот, как я вас перед собой вижу, так я слышал, как скрипела решетка и подъемный мост опускался. Я даже решил, что это вы уезжаете, и уже не ожидал вас встретить сегодня утром.

У подъемного моста сторож сделал другого рода замечание:

— Ваша милость, стало быть, изволит двоиться? — спросил он, протирая себе глаза. — Я видел, как вы уехали в полночь, а вы опять здесь.

— Это приснилось вам, любезный, — сказал Андзолето, также давая ему на чай, — да я и не уехал бы, не попросив вас выпить за мое здоровье.

— Ваша милость делает мне слишком много чести, — ответил сторож на ломаном итальянском языке. — Как бы там ни было, — прибавил он по-чешски проводнику, — а я видел в эту ночь двойников...

— Смотри, чтобы будущей ночью тебе не увидеть четверых, — ответил проводник, поскакав вслед за Андзолето по мосту. — Черный дьявол любит выкидывать штучки с такими сонями, как ты.

Андзолето, руководясь советами и указаниями своего проводника, добрался до Тусты или Тауса, так как, кажется, это один и тот же город.

Отпустив проводника и взяв почтовых лошадей, он проехал городом. И здесь и на протяжении десяти миль он воздерживался от каких бы то

ни было расспросов. На указанной станции он остановился позавтракать (будучи не в силах терпеть голод) и справился относительно госпожи Вольф, которая должна была быть здесь с каретой. Понятно, никто не мог дать о ней никаких сведений.

Правда, в городке имелась одна госпожа Вольф, но она жила здесь уже лет пятьдесят и держала галантерейную лавку. Андзолето, совсем разбитый, измученный, решил, что Консуэло, очевидно, не нашла возможным здесь остановиться. Он хотел было нанять почтовую карету, но таковой не оказалось. И волей-неволей пришлось ему вновь взобраться на лошадь и мчаться во весь опор. Казалось невероятным, чтобы он вот-вот не встретил заветной кареты, куда мог броситься, чтобы забыть обо всех волнениях и усталости.

Но встречалось ему очень мало путешественников, и ни в одном экипаже не видно было Консуэло. Наконец в полном изнеможении, не находя нигде наемного экипажа, страшно раздосадованный, он решил остановиться в одном местечке и здесь вблизи дороги подождать Консуэло, — ему уже казалось, что он опередил ее. Весь остаток дня и всю последующую ночь у него было достаточно времени, чтобы проклинать женщин, постоялые дворы, ревнивцев и дороги. На следующий день ему удалось достать место в проезжавшем мальпосте, и он продолжал путь в Прагу, но не с большим успехом.

Предоставим же ему подвигаться на север в состоянии бешенства, со страшным нетерпением, смешанным с надеждой, а сами вернемся на минуту в замок и посмотрим, какое впечатление произвел отъезд Консуэло на его обитателей.

Можно легко себе представить, что и графу Альберту спалось не больше, чем двум другим действующим лицам этого внезапного приключения. Заручившись вторым ключом от комнаты Андзолето, он запер его снаружи и перестал беспокоиться о его проделках, прекрасно зная, что если только сама Консуэло не вмешается в это дело, никто не пойдет его освобождать. Что же касается первой возможности, одна мысль о которой заставляла его содрогаться, то со своей утонченной деликатностью он не хотел пускаться на такую рискованную разведку.

«Если она так любит его, — думал он, — мне нечего бороться, пусть судьба моя свершится! А узнаю об этом я слишком скоро, так как она правдива и завтра же откровенно откажется от предложения, сделанного ей мною сегодня. Если же человек этот только преследует ее и угрожает, то она хоть на сегодняшнюю ночь будет избавлена от его домогательств. Какой бы ни послышался мне теперь таинственный шорох, я не шевельнусь и не сделаю гнусности. Не подвергну я бедняжку мукам стыда, явившись к ней без зова. Нет! Я не буду играть роль низкого шпиона, подозрительного ревнивца, поскольку ее отказы и колебания лишают меня всяких прав на нее. Одно только успокаивает мою честь, но страшит мою любовь, — это сознание, что я не буду обманут. О душа моей любимой, ты, что одновременно пребываешь и в совершеннейшей из женщин, и в Боге Вселенной, если сквозь тайны и тени

человеческой мысли тебе дано читать во мне в эту минуту, внутреннее чувство должно сказать тебе, что я люблю слишком сильно, чтобы не верить твоему слову!»

Мужественный Альберт свято сдержал принятое им на себя обязательство, и хотя во время бегства Консуэло ему и показалось, будто на нижнем этаже он слышит ее шаги, а затем какой-то менее понятный стук со стороны подъемной решетки, он все стерпел, молился и благоговейно сложенными руками сдерживал свое трепетавшее в груди сердце. Когда стало рассветать, он услышал шаги и стук открывшейся двери в комнате Андзолето.

«Негодяй! — подумал он, — покидает ее самым бесстыдным образом и без всяких предосторожностей. Он точно хочет выставить напоказ свою победу. Ах, я почитал бы ничтожным зло, которое он причиняет мне, если б своей любовью он не осквернял другой души, более драгоценной и дорогой мне, чем моя собственная».

В тот час, когда обычно граф Христиан вставал, Альберт отправился к нему, не для того чтобы предупредить его о происходящем, а чтоб попросить его снова поговорить с Консуэло. Он был уверен, что она не солжет. Ему казалось, что ей самой хотелось этого объяснения, и он готов был поддержать ее в ее смятении, даже утешить ее, пристыженную, сделать вид, будто он покоряется своей судьбе, чтобы только смягчить горечь их разлуки. Альберт не задавался мыслью, что будет потом с ним самим. Он чувствовал, что либо рассудок его, либо жизнь не вынесут такого удара, и не страшился мук, превышающих его силы.

Он встретился с отцом в момент, когда тот входил в молельню. Письмо, положенное на подушку, одновременно бросилось в глаза обоим. Вместе они схватили его, вместе и прочли. Старик был сражен письмом, боясь, что сын не перенесет удара, а Альберт, готовый к большому несчастью, был спокоен, полон покорности и непоколебимого доверия.

— Она чиста, — проговорил он, — и хочет любить меня. Чувствует она, что любовь моя к ней настоящая, а вера в нее непоколебимая. Господь оградит ее от опасности! Будем верить в это, отец мой, и будем спокойны. Не бойтесь за меня, я сумею осилить свое горе, одолеть тревогу.

— Сын мой, — сказал растроганный старик, — вот мы стоим с тобой перед образом Бога твоих предков. Ты перешел в другую веру, и, как мне ни больно это, ты знаешь, что я никогда с горечью не упрекал тебя. Я паду ниц перед той самой иконой, перед которой прошлой ночью я дал тебе клятву, что сделаю все зависящее от меня, чтобы любовь твоя была услышана и освящена почетным союзом. Я сдержал свое обещание и теперь возобновляю его перед тобой. Я еще буду молить Всевышнего, чтобы он исполнил твои желанья, а мои не будут в разладе с ними. Не присоединишься ли ты к моей молитве в этот торжественный час, когда, быть может, решается на небесах судьба твоей земной любви? О! Мой благородный сын, в коем предвечный сохранил все добродетели вопреки испытаниям, ниспосланным твоей прежней вере!

Ты, которого я видел рядом с собой на коленях у могилы твоей матери молящимся, подобно юному ангелу, перед верховным Владыкой, неужели ты и сегодня не вознесешь к нему своего голоса, дабы мой не звучал напрасно?

— Отец, — ответил Альберт, обнимая старца, — если наша вера отличается по форме и догматам, души наши всегда сходятся на одном и том же вечном, божественном принципе. Вы служите Богу премудрому, милосердному, идеалу совершенства, познания и доброты — ему я никогда не переставал поклоняться. О, Иисусе Христе, распятый за нас! — произнес он, становясь рядом с отцом на колени перед образом Спасителя. — Ты, коему люди поклоняются, как Слову, и перед коим я благоговею, как перед самым благородным и чистым проявлением всеобъемлющей любви среди нас! Услышь мою молитву, Ты, чья мысль вечно живет в Боге и в нас. Благослови влечения и честные намерения! Пожалей торжествующую испорченность и поддержи борющуюся невинность. Передаю счастье свое в руки Божии. О Господь милосердный! Да направит и оживит Твоя воля сердца, не знающие другой силы, кроме Твоей, и иного утешения, кроме пребывания Твоего и примера на земле!

### LXIII

Андзолето совершенно впустую продолжал свой путь в Прагу, так как Консуэло, дав проводнику ложные указания, необходимые, по ее мнению, для успеха задуманного плана, повернула влево по знакомой дороге, по которой два раза ездила, сопровождая баронессу Амелию в замок, расположенный по соседству с маленьким городком Таусом. Замок этот был самым отдаленным пунктом, где она имела случай побывать во время своих редких поездок из Ризенбурга. Поэтому естественно, что вид этой местности и проходящие по ней дороги всплыли в ее памяти, как только она задумала и поспешно осуществила смелый план своего бегства. Ей вспомнилось, как хозяйка замка, гуляя с ней по террасе и указывая на красоты широко расстилавшегося перед глазами вида, сказала:

— Эта красивая усаженная деревьями дорога, которая теряется, как вы видите, далеко у горизонта, сходится с трактом, идущим на юг, и по ней-то мы ездим в Вену.

Итак, Консуэло, хорошо помня это указание, была уверена, что не заблудится и уже через некоторое время попадет на дорогу, по которой приехала в Богемию. Она добралась до знакомого ей замка Бьела, прошла мимо парка и, невзирая на темноту, без труда нашла обсаженную деревьями дорогу. И вот еще до света ей удалось очутиться почти в трех милях, считая по прямой, от того места, от которого она хотела удалиться. Молодая, крепкая, привыкшая с детства к большим переходам, к тому же побуждаемая отважной волей, она встретила зарю, не чувствуя большой усталости. Небо было безоблачно,

дорога суха и покрыта мягким песком, приятным для ходьбы. Непривычная для нее скачка верхом несколько разбила ее, но известно, что ходьба в таком случае лучше отдыха и что у сильных, энергичных людей одна усталость заставляет забывать о другой.

Однако, когда звезды стали бледнеть, а сумрак рассеиваться, она начала пугаться одиночества. Впотьмах она чувствовала себя так покойно. Все время настороже, она была уверена, что в случае погони успеет вовремя спрятаться. При дневном же свете, будучи вынуждена долго идти по открытым местам, она не решилась держаться прежней дороги, тем более, что вскоре показались вдали группы людей, рассеянных, как черные точки, по белеющей среди еще темных полей дороге. На таком близком расстоянии от Ризенбурга она рисковала быть узнанной первым встречным и потому решила перебраться на тропинку, которая, пересекая под прямым углом петлю, образованную дорогой в обход скалы, казалась ей сокращением. По этой тропинке она прошла, никого не встретив, еще с час и очутилась в лесистой местности, где могла надеяться легко скрыться от людских взоров.

«Если бы мне удалось, — думала она, — таким образом, никем не замеченной, пробраться восемь-десять миль, там уже я могла бы спокойно перейти на большую дорогу и при первом удобном случае нанять экипаж и лошадей».

Эта мысль заставила ее засунуть руку в карман и вынуть кошелек, чтобы сосчитать, сколько после щедрого вознаграждения вывезшего ее из Ризенбурга проводника оставалось у нее денег для длинного, трудного пути. Пока у нее еще не было времени об этом подумать, да и решилась ли бы она вообще на такой рискованный побег, будь она более осторожна? Но каковы же были ее удивление и ужас, когда кошелек оказался более легким, чем она предполагала. В спешке она захватила, быть может, не больше половины имевшихся у нее денег или впотьмах дала проводнику вместо серебряных золотые монеты; возможно также, что, открыв кошелек для уплаты проводнику, она выронила часть своего достояния на пыльную дорогу. Как бы то ни было, но, пересчитав не раз и не два свои маленькие средства, она более не могла заблуждаться и поняла, что весь путь до Вены ей придется сделать пешком.

Это открытие несколько обескуражило ее, — не из-за усталости, которой она совсем не боялась, но из-за опасностей, неизбежных во время столь длинного путешествия пешком для молодой женщины. Страх, который до этого времени она подавляла мыслью о том, что вот-вот она избавится от всех случайных приключений большой дороги, сев в экипаж, теперь заговорил в ней с большей силой, чем раньше, когда она была в возбужденном состоянии. И вот впервые в жизни, как бы сраженная ужасом своего несчастья и слабости, она быстро зашагала вперед, выбирая самые густые перелески, чтобы укрыться там в случае нападения.

В довершение тревоги, она вскоре заметила, что уже не шла по проторенной тропинке, а просто пробиралась наугад по лесу, становившемуся все гуще и пустыннее. Если эта мрачная пустыня и успокаивала ее в некоторых



отношениях, то неуверенность в том, идет ли она по правильному пути, заставляла ее опасаться, не возвращается ли она назад и не приближается ли неведомо для себя к Замку Великанов. Андзолето ведь, пожалуй, был еще там: какое-нибудь подозрение, какая-либо случайность, желание отомстить Альберту могли удержать его в замке. Да разве и самого Альберта не надо было опасаться в первые минуты смятения и отчаяния? Консуэло была уверена, что он подчинится ее решению; но появившись она в окрестностях замка и услышав молодой граф о том, что ее можно догнать и вернуть обратно, разве он не примчался бы, чтобы своими мольбами и слезами добиться ее возвращения? Да неужели можно было, в случае огласки подобного предприятия, сразу провалившегося, сделать посмешищем и благородного человека, и его семью, и самое себя? К тому же через несколько дней Андзолето мог еще возвратиться, а это возобновило бы безвыходные затруднения и опасность ситуации, только что устраненные ее отважным, великодушным поступком. Нет, лучше было все претерпеть, всему подвергнуться, чем возвращаться в Ризенбург!

Решив внимательно отыскать направление в Вену и во что бы то ни стало держаться его, она остановилась в укромном, таинственном месте, где среди скал, под сенью старых деревьев, пробивался ручеек. Место вокруг него казалось вытоптанное маленькими ножками каких-то животных. Оставалось неясным, окрестные ли стада или лесные звери приходили порой сюда пить из этого источника, скрытого среди чащи. Консуэло подошла к нему, стала на колени на влажные камни и напилась студеной чистой воды, обманув этим свой голод, уже дававший себя чувствовать. Затем, продолжая стоять на коленях, она призадумалась над своим положением.

«Я была бы безрассудной и пустой женщиной, если бы не могла осуществить того, что затеяла, — сказала она себе. — Как! Да может ли это быть, чтобы дочь моей матери до того изнежилась среди сладостей жизни, чтоб не быть в силах перенести солнечный жар, голод, усталость, опасности? Я так мечтала о бедности, о свободе среди подавляющего меня благосостояния, от которого я жаждала избавиться! И вот я прихожу в ужас на первых же порах! Разве это не моя прирожденная профессия "нести вперед, страдать, дерзать"? Что же изменилось во мне с тех пор, как мы с моей бедной матерью еще до зари шагали часто натошак, подкрепляя силы водой из маленьких придорожных источников? Вот как, красавица-цыганочка? Мы можем только распевать в театрах, спать на пуху да путешествовать в каретах? А чего нам с матерью было бояться? Не говаривала ли она мне при встрече с людьми подозрительного вида: "Ничего не бойся, — беднякам ничто не угрожает, нищие не воюют между собой"? В то время она была еще молода и красива, а приходилось ли мне когда-либо видеть, чтобы ее оскорбляли прохожие? Злейшие из людей щадят беззащитных. А как поступают бедные девушки, нищенки, бродящие по дорогам без иного покровительства, кроме Божьего? Неужели я вроде тех девиц, что не смеют сделать шага из дома, не вообразив, что весь

мир, опьяненный их прелестями, бросится их преследовать? Разве, когда ты одна идешь по общей для всех земле, это значит, что ты будешь опозорена и утратишь честь, так как у тебя нет средств окружить себя стражами? Притом мать моя была сильна, как мужчина; она, как лев, защищала бы себя. Разве и я не могу быть такой же мужественной и сильной, раз в моих жилах течет только одна добрая плебейская кровь? Разве не всегда возможно покончить с жизнью, когда тебе грозит потерять более ценное, чем жизнь? Да я ведь, кроме того, нахожусь пока в спокойной стране, где жители кротки и милосердны, а когда попаду в неизвестные страны, то уж очень мне должно не повезти, если в минуту опасности я не встречу одного из тех простых великодушных существ, каких Господь посылает всюду, чтобы они служили провидением для слабых и угнетенных! Ну! Будем же мужественны! Сегодня, во всяком случае, мне придется бороться только с одним голодом. Я не хочу входить ни в одну хижину для покупки хлеба до вечера, пока совсем не стемнеет, пока я не буду далеко, далеко... Голод знаком мне, и я умею выносить его, несмотря на вечные пиршества, к которым хотели меня приучить в Ризенбурге. День ведь быстро проходит. Когда наступит жара, а ноги мои устанут, я припомню философскую аксиому, так часто слышанную мною в детстве: «Кто спит — обедает». Я запрячусь куда-нибудь в углубление скалы, и ты увидишь, бедная моя мать, в эту минуту незримо идущая рядом со мной и охраняющая меня, что я умею еще отдыхать без диванов и без подушек».

Беседуя таким образом сама с собой, бедная девочка несколько забывала о своих сердечных муках. Сознание крупной победы, одержанной ею над собой, уменьшало ее страх перед Анзолето. Ей даже казалось, что с того момента, как она расстроила его план соблазнить ее, в душе ее как-то стала замирать эта пагубная любовь. К трудностям своего романтического похождения она относилась с какой-то меланхолической веселостью, постоянно повторяя чуть слышно: «Тело мое страдает, но оно спасает мне душу. Птица, не имея сил защититься, обладает крыльями для своего спасения и, очутившись в воздушных пространствах, смеется над ловушками и западнями».

К воспоминанию об Альберте, к мысли о его ужасе и горе она относилась иначе, но всеми силами боролась против умиления, овладевавшего ею при этом. Она твердо решила отстранять его образ до тех пор, пока сможет справиться со слишком поспешным раскаянием и неблагоразумной нежностью.

«Дорогой Альберт, чудесный друг, — мысленно обратилась она к нему, — я не могу не вздыхать тяжело, представляя себе твои муки. Но только будучи в Вене, я решусь разделять эти муки, сожалеть о них. Только в Вене позволю я своему сердцу признаться, как оно чтит тебя и скорбит о тебе! Ну! Вперед!» — сказала себе Консуэло, пробуя встать. Но напрасно два-три раза пыталась она покинуть этот столь дикий, столь красивый источник, сладкое журчание которого, казалось, манило ее продлить минуты отдыха. Сон, который ей хотелось отложить до полудня, смыкал ей глаза, а голод, переносить который она отвыкла больше, чем думала, вызывал в ней непреодо-

лимую слабость. Напрасно старалась она обмануть себя. Накануне она почти не дотронулась до пищи, — слишком много беспокойств и волнений не дало ей подумать об этом. Какой-то туман заволакивал ей глаза, а холодный, мучительный пот расслаблял ее всю. Она бессознательно поддавалась усталости и в тот момент, когда окончательно было решила подняться и продолжать свой путь, тяжело опустилась на траву, голова ее свалилась на дорожный узелок, и она заснула крепким сном. Солнце, красное и жаркое, каким подчас оно бывает в короткое чешское лето, весело поднималось по небу. Ключ журчал по камешкам, словно желая монотонной своей песней убаюкать путницу, а птицы летали над ее головой, также щебеча свои неугомонные песенки.

#### LXIV

Забывшись, Консуэло проспала часа три, как вдруг шум, не похожий ни на журчанье ручья, ни на щебетание птиц, вывел ее из летаргического состояния. Не имея сил подняться и еще не понимая, где находится, она полуоткрыла глаза и увидела в двух шагах от себя человека, нагнувшегося над камнем и пьющего воду у источника точно так, как она сама это делала, без дальних церемоний, попросту подставив рот под струю. Первым чувством Консуэло был испуг, но, взглянув еще раз на пришельца, появившегося в ее убежище, она успокоилась, так как он, казалось, мало обращал на нее внимания, потому ли что уже вволю нагляделся на путешественницу во время ее сна или же потому что вообще не особенно заинтересовался этой встречей. К тому же это скорее был ребенок, чем мужчина. На вид ему было не больше пятнадцати-шестнадцати лет; был он мал ростом, худой, страшно желтый и загорелый. Лицо же, не красивое и не уродливое, в эту минуту ничего не выражало, кроме мирной беззаботности.

Инстинктивно Консуэло надвинула на лицо вуаль, но не изменяла положения, считая, что если путешественник не станет обращать на нее больше внимания, чем до сих пор, лучше притвориться спящей, чем навлекать на себя смущающие вопросы. Однако сквозь вуаль она не переставала следить за каждым движением незнакомца, выжидая, чтобы тот, взяв свою котомку и палку, лежавшие на траве, пошел своей дорогой.

Но вскоре она увидела, что он тоже решил отдохнуть и даже позавтракать, так как раскрыл свою дорожную сумку и, вынув оттуда большущую краюху черного хлеба, принялся степенно резать ее и уписывать за обе щеки, застенчиво поглядывая от времени до времени на спящую и стараясь как можно осторожнее обращаться со своим складным на пружинках ножом, словно боясь внезапно ее разбудить. Этот знак внимания совсем успокоил Консуэло, а вид хлеба, который уплетал юный путник с таким явным удовольствием, пробудил в ней муки голода. Убедившись по изношенной

одежде мальчика и его запыленной обуви, что он беден и не местный житель, она решила, что провидение посылает ей неожиданную помощь, которою ей следует воспользоваться. Краюха хлеба была огромна, и мальчик мог, без особенного ущерба для своего аппетита, уделить ей небольшую долю. И вот она поднялась, делая вид, что протирает глаза, как будто только что проснулась, и с решительным видом посмотрела на мальчика для того, чтобы внушить ему уважение на тот случай, если бы он вдруг утратил проявленную им до сих пор почтительность.

Но такая предосторожность была излишней. Как только мальчик увидел, что девушка проснулась и встала, он слегка смутился, опустил глаза, попробовал было несколько раз поднять их и, наконец, ободренный лицом Консуэло, остававшимся, несмотря на ее стремление сохранить суровое выражение, неотразимо добрым и привлекательным, заговорил с ней таким приятным, благозвучным голосом, что юная музыкантша сразу же почувствовала к нему симпатию.

— Ну вот, сударыня, наконец-то вы и проснулись, — проговорил он, улыбаясь, — вам здесь так славно спалось, что, не бойся я поступить невежливо, я тоже заснул бы.

— Если вы так же любезны, как вежливы, окажите мне маленькую услугу, — сказала, принимая материнский тон, Консуэло.

— Все, что вам будет угодно, — ответил юный путешественник, которому голос Консуэло показался тоже приятным и душевным.

— Тогда продайте мне частицу вашего завтрака, — сказала Консуэло, — если, конечно, это не будет для вас лишением.

— Продать! — воскликнул, краснея, совершенно изумленный мальчик. — О! Будь только у меня завтрак, я бы его не продал! Разве я трактирщик? Я с удовольствием бы предложил, отдал вам его!

— Ну, и давайте мне его с условием, что взамен я дам вам то, на что вы купите себе лучший завтрак.

— Нет! Нет! — возразил он. — Смейтесь вы, что ли? Или вы так горды, что не можете принять от меня жалкого кусочка хлеба? Увы! Как видите, больше ничего я не могу вам предложить.

— Хорошо! Принимаю ваш хлеб, — вы так добры, что гордиться мне было бы стыдно.

— Берите! Берите, прелестная моя барышня! — радостно закричал юноша. — Нате хлеб, нате и режьте его сами! Да не церемоньтесь же! Едок я небольшой, тут было запасено на целый день.

— Но сможете ли вы купить еще хлеба на сегодняшний день?

— Разве всюду нельзя достать хлеба? Ну! Кушайте же, если хотите доставить мне удовольствие!

Консуэло не заставила себя больше просить, чувствуя, что было бы сущей неблагодарностью к братскому порыву угощавшего ее отказаться позавтракать вместе с ним. И, усевшись неподалеку от мальчика, она принялась уписывать





— Берите! Берите, прелестная моя барышня! —  
 радостно закричал юноша. — Нате хлеб, нате и режьте его сами!  
 Да не церемоньтесь же! Едок я небольшой,  
 тут было запасено на целый день.



этот хлеб, по сравнению с которым все изысканные блюда, когда-либо испробованные ею за столом богачей, казались ей безвкусными и грубыми.

— А какой у вас хороший аппетит, — заговорил мальчик, — просто приятно смотреть. Ну и повезло же мне, что я вас встретил; очень я рад этому! Знаете что? Давайте-ка съедим этот хлеб целиком; как ни пустынна, по-видимому, эта местность, набредем же мы сегодня дорогой на какое-нибудь жилье.

— Значит, местность эта вам незнакома?

— Здесь я прохожу впервые, но путь, только что пройденный мною от Вены до Пльзеня, мне знаком, и я теперь возвращаюсь туда тою же самой дорогой.

— Куда туда? В Вену?

— Да, в Вену. А вы тоже туда направляетесь?

Консуэло в нерешимости, брать ли ей такого спутника или уклониться от этого, притворилась рассеянной, чтобы не сразу ответить.

— Но что я говорю, — продолжал юноша, — разве такая прекрасная девица, как вы, отправится одна в Вену? А между тем, по-видимому, вы путешествуете: с вами такой же дорожный узелок, как у меня, и вы так же странствуете на своих двоих, как и я.

Консуэло, решив избегать вопросов юноши, пока не убедится, насколько можно доверять ему, предпочла ответить вопросом на вопрос.

— Вы из Пльзеня? — спросила она.

— Нет, — ответил мальчик, не имевший ни склонности, ни повода быть недоверчивым, — я из Рорау, из Венгрии; мой отец каретник.

— А как же вы путешествуете так далеко от дома? Разве вы не занимаетесь ремеслом отца?

— И да и нет: отец мой каретник, а я нет; но в то же время он и музыкант, а я жажду им быть.

— Музыкантом? Браво! Это чудесная профессия.

— Может, она и ваша?

— Однако, надеюсь, не учиться же музыке направлялись вы в Пльзень: это, говорят, очень унылый военный город?

— О нет! У меня было поручение туда, а теперь я направляюсь в Вену, чтобы там, найдя себе заработок, вместе с тем продолжать занятия музыкой.

— Что избрали вы? Музыку или пение?

— Пока и то и другое. У меня довольно хороший голос, а вот тут со мной плохонькая скрипчонка, на которой я стремлюсь передать то, что чувствую. Но у меня большое честолюбие, и хотелось бы пойти гораздо дальше всего этого.

— Сочинять, пожалуй?

— Вы угадали. У меня из головы не выходит это проклятое сочинительство. Сейчас покажу вам, что в моей дорожной котомке имеется еще один добрый спутник, — это объемистая книга, которую я разорвал на части, чтобы можно было эти отрывки брать с собой в свои странствования. Когда устану, сажусь в каком-нибудь уголке, немного позанимаюсь — и всякую усталость как рукой снимет.

— Очень похвально. Бьюсь об заклад, что это «*Gradus ad Parnassum*» Фукса<sup>1</sup>?

— Именно! А! Вижу, что вы хорошо знакомы с этим, и теперь я уверен, что вы сами тоже музыкантша. Сейчас, когда вы спали, я, глядя на вас, говорил себе: «Вот уж не немецкое лицо, — южное, быть может, итальянское, и к тому же лицо артистки». Поэтому-то вы и сделали мне большое удовольствие, попросив у меня хлеба; а теперь я вижу, что хотя вы как нельзя лучше говорите по-немецки, да выговор у вас все-таки иностранный.

— А может быть, вы и ошибаетесь. У вас тоже лицо не немецкое и цвет кожи итальянца, а между тем...

— О! Вы слишком любезны, сударыня! Цвет кожи у меня африканца, и товарищи мои по хору в соборе святого Стефана<sup>2</sup> обыкновенно звали меня мавром. Но, чтобы вернуться к нашему разговору, скажу, что, увидав вас спящей совсем одной среди леса, я был немного удивлен. А затем я стал делать относительно вас тысячи предположений. Быть может, думалось мне, моя счастливая звезда привела меня сюда, для того чтобы встретить добрую душу, которая поможет мне. Одним словом... сказать вам уже все?

— Говорите, не бойтесь.

— Видя, что вы слишком хорошо одеты и слишком белы для бродяги, но все же с дорожным узелком, я вообразил, что вы лицо, состоящее при другом лице, при одной иностранке и... артистке! О! При той большой артистке, которую я жажду видеть и чье покровительство было бы моим спасением и счастьем. Ну, сударыня, признайтесь! Вы из какого-нибудь соседнего замка и шли с поручением в окрестности? И вы, конечно, знаете... О да! Вы должны знать Замок Великанов!

— Ризенбург? Вы идете в Ризенбург?

— По крайней мере, пытаюсь пробраться туда. Несмотря на все указания, данные мне в Клатау, я так заблудился в этом проклятом лесу, что не знаю, как и выберусь отсюда. К счастью, вы знаете Ризенбург и будете так добры сказать мне, далеко ли еще до него.

— Но что же вам надо в Ризенбурге?

— Я хочу там повидаться с Порпориной.

<sup>1</sup> Иоганн-Йозеф Фукс (1660–1741) — один из известнейших в свое время немецких композиторов; с 1698 г. вся его деятельность протекает в Вене, где он получает звание придворного композитора, с 1715 г. — соборного капельмейстера, а затем первого придворного капельмейстера при императоре Карле VI, страстном любителе музыки. Фукс написал ряд опер (на итальянские тексты), ораторий, месс, кантат и т. д., а также теоретическое сочинение «*Gradus ad Parnassum*» («Шаг на Парнас» — лат.) — о контрапункте и фуге, считавшееся классическим. Теперь признано, что произведения Фукса оказали влияние на творчество молодого Глюка и способствовали «оперной реформе» последнего.

<sup>2</sup> Собор святого Стефана — знаменитый готический собор в Вене, построенный в XIV–XV вв. При нем была церковно-певческая хоровая школа, где обучался юный Гайдн.

— В самом деле?

Но тут Консуэло, боясь выдать себя путешественнику, который мог упомянуть о ней в Замке Великанов, спохватилась и равнодушно спросила:

— А скажите, пожалуйста, кто такая эта Порпорина?

— Как, вы не знаете? Увы! Я вижу, вы совсем чужая в этих краях. Но раз вы музыкантша, раз вы знаете Фукса, то, конечно, знакомы и с именем Порпора?

— А вы знакомы с Порпора?

— Нет еще, и вот именно потому, желая познакомиться с ним, я и ищу покровительства его знаменитой любимой ученицы — синьоры Порпорины.

— Расскажите же мне, как вам это пришло в голову. Быть может, я найду способ проникнуть с вами в этот замок к этой Порпорине.

— Расскажу вам всю свою историю. Я, как уже говорил вам, сын честного каретника, уроженец маленького местечка на границе Австрии и Венгрии. Отец мой — церковный ризничий и органист в нашей деревне; у моей матери, бывшей поварахи местного вельможи, прекрасный голос, и отец вечерами, отдыхая от работы, бывало аккомпанировал ей на арфе. Так совершенно естественно приистрастился я к музыке и помню, что для меня, крошечного ребенка, не было большего удовольствия, как принимать участие в наших семейных концертах, держа в руках кусок дерева, по которому я пилил обломком рейки, воображая, что это скрипка со смычком и что я извлекаю из нее волшебные звуки. Да, да, мне и теперь еще кажется, что мои милые чурбаны не были немы и божественный голос, не слышимый другими, звучал вокруг меня и опьянял меня самыми божественными мелодиями. Однажды, когда я вот так играл на своей воображаемой скрипке, зашел к нам наш двоюродный брат Франк, школьный учитель в Гамбурге, и своеобразный экстаз, в котором я находился, очень его позабавил. Он уверял, что это свидетельствует о необычайном таланте, и увез меня с собой в Гамбург, где в течение трех лет довольно-таки сурово, смею вас уверить, обучал меня музыке. Какие чудесные ферматы с руладами и фиоритурами отбивал он своей палочкой на моих пальцах и ушах. Однако ж я не падал духом. Я учился читать, писать, у меня была настоящая скрипка, на которой я играл элементарные упражнения, знакомясь в то же время с правилами пения и латинским языком. Я делал настолько быстрые успехи, насколько это представлялось возможным с таким мало терпеливым преподавателем, каким был мой двоюродный брат Франк. Было мне около восьми лет, когда случай или, вернее, провидение, в которое я как добрый христианин всегда верил, привело в дом моего двоюродного брата господина Ройтера<sup>1</sup>, капельмейстера венского собора. Меня ему представили как чудо-ребенка, и после того как я свободно с листа прочитал пьесу, он полюбил меня, увез в Вену и поместил певчим в собор Святого Стефана. Там нам приходилось работать всего два часа в день, а остальное время, предоставленные самим себе, мы могли гонять на свободе. Но страсть

<sup>1</sup> Георг Ройтер — немецкий композитор, капельмейстер собора святого Стефана, а с 1747 г. капельмейстер придворной оперы.

к музыке подавляла во мне и детскую лень, и детскую любовь к беготне. Стоило мне, бывало, играя с товарищами на площади, услышать звуки органа, как я бросал все и возвращался в церковь, чтобы наслаждаться духовным пением и музыкой. По вечерам я забывался на улице под окнами, откуда доносились обрывки концерта или просто слышался приятный голос. Я был любознателен, я жаждал узнать, понять все, что поражало мой слух. Но особенно мне хотелось сочинять. В тринадцать лет, не зная ни единого правила, я отважился написать обедню, партитуру которой показал нашему учителю Ройтеру. Он поднял меня на смех и посоветовал, прежде чем начать сочинять, «учиться». Ему-то легко было это говорить! У меня самого не было возможности платить учителю, родители же мои были слишком бедны, чтобы посылать деньги и на мое содержание, и на мое образование. Наконец однажды я получил от них шесть флоринов; на них-то я и купил вот эту книгу и еще книгу Маттезона<sup>1</sup>. С большим жаром принялся я их изучать и находил в этом громадное удовольствие. Мой голос улучшался и считался самым лучшим в хоре. Среди сомнений, неясностей, порождаемых моим невежеством, которое я силился рассеять, я все же чувствовал, что развиваюсь и в голове моей зарождаются мысли. Но с ужасом думал я о том, что приближаюсь к тому возрасту, когда, по правилам капеллы, мне придется покинуть детскую певческую школу, и, видя, что я без средств, без покровительства, без учителей, я спрашивал себя, не будут ли эти восемь лет моей работы в соборе последними годами учения, после чего мне придется вернуться в родительский дом и обучаться там каретному ремеслу. К довершению своих горестей, я стал замечать, что маэстро Ройтер, вместо того чтобы интересоваться моей судьбой, сделался со мной очень суров и думал только о том, как бы ускорить час моего увольнения. Я не подозревал причины этой совершенно незаслуженной антипатии. Некоторые из моих товарищей легкомысленно уверяли меня, что он мне завидует, находя в моих сочинительских попытках проявление музыкального гения, и что он вообще ненавидит и обескураживает молодых людей, в которых обнаруживает талант более крупный, чем его собственный. Я далек от такого лестного для моего самолюбия толкования его немилости ко мне, но все-таки мне кажется, что с моей стороны было ошибкой показывать ему свои творческие попытки: он принял меня за безмозглого честолюбца и самонадеянного нахала.

<sup>1</sup> Георг Маттезон (1681–1764) — известный в свое время и выдающийся по своей разносторонности немецкий композитор, теоретик, певец, писатель и дипломат (секретарь английского посольства) в Гамбурге, где и протекала, главным образом, его жизнь. Подружился с великим Генделем (1685–1759) во время его пребывания в Гамбурге и потом написал его биографию. Сочинил 24 оратории и 8 опер, из которых первая, «Плеяды», поставлена была в Гамбурге в 1699 г.; он сам в ней пел и состоял певцом (тенор) в опере до 1705 г., когда поступил секретарем в посольство. Опера написана на немецкий, а не на итальянский текст. Из теоретических его сочинений особенно известен «Совершенный капельмейстер» («Der vollkommene kapellmeister», 1739).

— К тому же, — перебила рассказчика Консуэло, — старые учителя вообще не любят учеников, опережающих то, что им преподается. Но как вас зовут, дитя мое?

— Йозеф.

— Йозеф... а дальше?

— Йозеф Гайдн.

— Непременно запомню это имя, дабы со временем, если из вас что-нибудь выйдет, я знала, что мне думать как о неприязни вашего учителя, так и об интересе, пробужденном во мне вашим рассказом. Пожалуйста, продолжайте.

Юный Гайдн снова принялся за свое повествование, а Консуэло, пораженная сходством их судьбы, судьбы двух бедняков и артистов, внимательно вглядывалась в лицо маленького певчего. Это худенькое с желтизной личико в порыве излияний необыкновенно оживилось. Голубые глаза сверкали лукавством, шаловливым и добродушным, и все в его манере держать себя и выражаться говорило о недюжинном уме.

## LXV

— Каковы бы ни были причины антипатии ко мне маэстро Ройтера, — продолжал свой рассказ Йозеф, — он проявил ее самым суровым образом и по поводу проступка весьма незначительного. У меня были новые ножницы, и я, как настоящий школьник, пробовал их на всем, что только попадалось мне под руку. Случилось так, что, сидя впереди меня, один из моих товарищей, очень гордившийся своей длинной косой, то и дело стирал ею записи, которые я заносил мелом на аспидной доске. И вдруг в голове моей мелькнула мысль молниеносная — роковая. Это было делом одного мгновения. Крак! Ножницы раскрылись, и — коса на полу! Учитель своим ястребиным взором следил за каждым моим движением. Прежде чем мой бедный товарищ успел заметить свою горестную утрату, я был подвергнут строгому выговору, опозорен и без дальних церемоний выгнан. Вышел я из детской певческой школы в ноябре прошлого года в семь часов вечера и очутился на площади без гроша в кармане и без одежды, не считая того жалкого платья, которое было на мне. Тут на меня нашла минута отчаяния. Видя, что меня так злобно разбранили и выгнали с таким скандалом, я вообразил, что и вправду совершил великий проступок. Горько оплакивал я этот пук волос, этот кусочек ленты, упавшие под моими злополучными ножницами. Товарищ, голову которого я так опозорил, прошел мимо меня также в слезах. Никогда не было пролито столько слез, испытано столько раскаяния и угрызений совести из-за косы, причесанной по-прусски! Мне хотелось броситься ему в объятия, стать перед ним на колени. Но я не посмел и скрыл свой стыд в темноте. А, быть может, бедный мальчик оплакивал мою опалу еще





*И вдруг в голове моей мелькнула мысль  
молниеносная — роковая. Это было делом одного мгновения.  
Крак! Ножницы раскрылись, и — коса на полу!*

больше своих волос. Я провел ночь на мостовой, а утром, когда я, вздыхая, размышлял о том, как необходим и недостижим для меня завтрак, ко мне подошел Келлер, парикмахер школы певчих святого Стефана. Он только что причесывал маэстро Ройтера, и тот, все так же озлобленный против меня, ни о чем другом не говорил ему, как об ужасном случае с отрезанной косой. Поэтому шутник Келлер, заметив мою жалкую фигуру, покати́лся со смеху и засыпал меня своими язвительными насмешками. «Вот он, бич парикмахеров! — кричал уже издали этот балагур. — Вот он, враг всех и всякого, кто, подобно мне, поддерживает красу волос! Ах! Мой юный обрезатель кос! Милейший мой истребитель тупеев! Пожалуйста-ка сюда, дайте мне обрезать ваши прекрасные черные кудри, чтобы наделать из них кос взамен тех, что падут от вашей руки!» Я был в отчаянии, в ярости. Я закрыл глаза руками и, считая себя предметом общественной мести, собирался было уже бежать, когда добряк Келлер остановил меня. «Куда вы, несчастный? — спросил он меня более мягким голосом. — Куда вы денетесь без хлеба, без одежды, без друзей и с подобным преступлением на совести? Нет, мне жаль вас, особенно из-за вашего чудесного голоса, которым я не раз наслаждался в соборе. Идем ко мне. У меня с женой и детьми всего одна комната на пятом этаже. Но и этого нам более чем достаточно, а потому мансарда, снимаемая мною на шестом этаже, пустует. Пользуйтесь ею и кормитесь у нас до тех пор, пока не найдете себе работы. Но, чур! К волосам моих клиентов относиться с должным уважением и париков моих ножницами не касаться!»

И я пошел за моим великодушным Келлером, моим спасителем, моим отцом. Он был так добр, этот бедный ремесленник, что, помимо помещенья и стола, уделил мне еще немного денег, дабы я мог продолжать свое ученье. Я взял напрокат скверненький клавесин, весь источенный червями, и, забившись на чердак со своим Фуксом и Маттезоном, безудержу предался страсти к композиции. Вот с этой минуты я могу считать, что провидение стало покровительствовать мне. В течение всей этой зимы я наслаждался первыми шестью сонатами Эммануила Баха<sup>1</sup>, и кажется мне, что я их хорошо понял. В то же время небо, как бы в награду за мое усердие и настойчивость, послало мне небольшую работу, давшую мне возможность существовать и расплатиться с моим дорогим хозяином. По воскресеньям я играл на органе в домовый церкви графа Хаугвица, а перед тем по утрам исполнял партию первой скрипки в церкви Святых отцов милосердия. Кроме того, у меня нашлись два покровителя. Один из них — аббат, который написал множество стихов на итальянском языке, как говорят, очень хороших. Он в большой милости

<sup>1</sup> Филипп-Эммануил Бах (1714–1782) — сын гениального Иоганна-Себастьяна Баха (1685–1750), замечательный композитор, клавесинист и органист, был придворным музыкантом при Фридрихе Великом в Берлине, а с 1767 г. переехал в Гамбург, где и умер. Из его музыкальных сочинений наиболее замечательны фортепианные сонаты, а из теоретических — трактат об игре на фортепиано: «Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen».

и у императора, и у императрицы. Имя его — господин Метастазιο<sup>1</sup>; так как он живет в одном доме с Келлером и со мной, то я даю у него уроки молодой девице, которая слывет его племянницей. Другой мой покровитель — его превосходительство венецианский посланник.

— Синьор Корнер? — с живостью спросила Консуэло.

— Ах! Так вы знаете его? — воскликнул Гайдн. — Это господин аббат Метастазιο ввел меня в его дом. Мой скромный талант пришелся там по вкусу, и его превосходительство обещал мне посодействовать тому, чтобы со мной занимался Порпора, который в настоящее время вместе с госпожой Вильгельминой, женой или возлюбленной его превосходительства, на курорте в Маненсдорфе. Это обещание страшно обрадовало меня. Подумать только! Стать учеником такого великого профессора, лучшего в мире преподавателя пения! Изучить композицию, истинные, подлинные основы итальянского искусства! Я думал, что спасен, благословляя свою счастливую звезду, воображал уж себя великим музыкантом. Но увы! Несмотря на все добрые намерения его превосходительства осуществить его обещание было не так-то легко, как я думал, и если мне не удастся найти более сильного ходатая перед Порпора, боюсь, что не смогу даже приблизиться к его особе. Говорят, что этот знаменитый маэстро — большой чудаки и, насколько он может быть предан, внимателен и великодушен в отношении некоторых из своих учеников, настолько бывает капризен и жесток к другим. По-видимому, маэстро Ройтер — ничто в сравнении с Порпора, и я дрожу при одной мысли увидеть его. Однако ж, хотя он сначала и отказал наотрез в просьбе его превосходительства, мотивируя это нежеланием иметь больше учеников, но, так как я знаю, что его превосходительство будет продолжать настаивать, то я не теряю совсем надежды и решил терпеливо выносить самые жестокие оскорбления со стороны Порпора, лишь бы, браня, он научил меня чему-нибудь.

— Вы приняли благое намерение, — заметила Консуэло. — Вам не преувеличили, говоря о грубости этого великого музыканта и его виде, внушающем страх. Но вы правы, — не надо отчаиваться; ибо, если вы только терпеливы, способны слепо повиноваться и обладаете настоящим музыкальным талантом, что я предчувствую в вас, если вы не теряете головы при первом налетевшем шквале, если вам удастся выказать перед ним смысленность и быстроту сообщения, то обещаю вам, что после трех-четырех уроков он станет для вас

<sup>1</sup> *Метастазιο* (1698–1752), собственно Пьетро Трапасси, родился в Риме, умер в Вене, куда переселился с 1729 г.; прославленный итальянский поэт и драматург, написавший множество текстов «лирических драм» (опер) и ораторий, на которые писали музыку многие композиторы. В ранней юности ему покровительствовал ученый-литератор и юрист Граина, один из основателей литературной академии «Аркадия» в Италии, оставивший ему, умирая (1718 г.), все свое состояние, которое Метастазιο прожил очень быстро. Он сразу прославился после постановки в Неаполе в 1724 г. своей «Покинутой Дидоны» с музыкой Сарро, с участием знаменитой певицы Булгарини. После дальнейших успехов в Риме и Венеции он был приглашен в Вену. Дальше он появляется в романе, находясь уже в зените своей славы.

самым кротким, добросовестным учителем. Возможно даже, что если, как мне кажется, вы столь же добры, сколь и умны, Порпора станет для вас верным другом, справедливым благотельным отцом.

— О! Вы бесконечно радуете меня. Я прекрасно вижу, что вы его знаете и также должны знать его знаменитую ученицу, новую графиню Рудольштадт... Порпорину.

— Но где же вы слышали об этой Порпорине и что вы ждете от нее?

— Жду я от нее письма к Порпора и ее энергичного ходатайства перед ним, когда она будет в Вене; ведь, конечно, она туда поедет после своей свадьбы с богатейшим графом Рудольштадтом.

— Откуда вы знаете об этом браке?

— Благодаря величайшей в мире случайности. А именно, мой друг Келлер узнал в прошлом месяце, что в Пльзене умер его родственник, оставив ему небольшое наследство. У Келлера не было ни времени, ни средств на такое путешествие, и он все не решался предпринять его, боясь, что это наследство не покроет дорожных расходов и потери времени. Как раз перед этим я получил немного денег за свою работу и предложил ему съездить в Пльзень и действовать там как его доверенный. Вот я и побывал в этом городе и в одну неделю, к своему великому удовольствию, закончил дело о наследстве Келлера. Конечно, оно не Бог весть как велико, но и этим немногим ему не приходится пренебрегать. Я везу ему документы на небольшую усадьбу: он, по своему усмотрению, сможет либо продать ее, либо пользоваться доходами с нее. Возвращаясь из Пльзеня, я вчера очутился в местечке, называемом Клатау, где и заночевал. День был базарный, и постоялый двор был битком набит народом. Я сидел за столом, где закусывал толстяк, которого величали доктором Вецелиусом; в жизни не встречал я большего обжоры и большего болтуна. «Знаете новость? — говорил он соседям. — Граф Альберт Рудольштадт, этот сумасшедший, архи-сумасшедший, чуть ли не бешеный, женится на учительнице музыки своей двоюродной сестры, авантюристке, нищей, которая, говорят, была актрисой в Италии и заставила старика-музыканта Порпора похитить себя, но скоро она ему опротивела, и старик отправил ее родить в Ризенбург. Событие держалось в величайшем секрете, и сначала, не понимая ничего в болезни и конвульсиях барышни, считавшейся очень добродетельной, вызвали меня для лечения якобы гнилой злокачественной лихорадки. Но едва я успел пощупать пульс больной, как граф Альберт, по-видимому, знавший кое-что о ее добродетели, бросился на меня, как бешеный, оттолкнул меня и больше не впустил в комнату. Все было окружено полнейшей тайной. Кажется, старушка канонисса играла роль акушерки. Никогда старой даме не приходилось попадать в такой переплет. Ребенок исчез. Но удивительнее всего, что молодой граф, не имеющий, как все вы знаете, представления о времени и принимающий месяцы за годы, вообразил себя отцом этого ребенка и так энергично поговорил со своей семейкой, что та, боясь, как бы он снова не впал в бешенство, согласилась на этот славный брак».



— Какая мерзость! Какая гнусность! — вскричала Консуэло вне себя. — Тут целая паутина самой возмутительной клеветы и нелепостей.

— Не думайте только, что я хоть на секунду поверил этому, — возразил Йозеф Гайдн. — Физиономия этого старого доктора так же глупа, как и зла, и прежде еще чем его изобличили во лжи, я был уверен, что он клеветает и несет вздор. Но едва успел он закончить свою сказку, как пять или шесть окружавших его молодых людей встали на защиту молодой девушки, и я таким образом узнал правду. Все наперебой превозносили красоту, прелесть, скромность, ум и несравненный талант Порпорины. Все сочувствовали любви графа Альберта к ней, завидовали его счастью и восхищались старым графом, согласившимся на этот брак. Доктора же Вецелиуса обозвали вралем и безумцем. Так как при этом упоминалось о глубоком уважении маэстро Порпора к этой ученице, которой он пожелал даже дать свое имя, то мне пришла в голову мысль отправиться в Ризенбург, пасть к ногам будущей или, может быть, уже новой графини, так как говорят, что свадьба состоялась, но это держат пока в секрете, чтобы не вызвать неудовольствия императорского двора; я намеревался рассказать Порпорине свою историю и добиться благодаря ей милости стать учеником ее знаменитого учителя.

Несколько минут Консуэло, задумавшись, молчала: последние слова Йозефа относительно императорского двора ее поразили. Но вскоре она снова обратилась к нему:

— Дитя мое, — проговорила она, — не ходите в Ризенбург, там нет Порпорины. Она не вышла замуж за графа Рудольштадта, и совершенно еще неизвестно, состоится ли этот брак вообще. Правда, об этом шла речь, и мне кажется, что жених и невеста были достойны друг друга. Но Порпорина, несмотря на свою преданную дружбу к графу Альберту, глубокое уважение и безграничное почтение к нему, не нашла возможным отнестись опрометчиво к такому серьезному делу. Она взвесила, с одной стороны, вред, который принесла бы этой знатной семье, заставив ее потерять расположение, а быть может, даже покровительство императрицы, а также уважение других вельмож и почет во всем крае, с другой же стороны — ущерб, который нанесла бы себе, отказавшись служить божественному искусству, которое она со страстью изучала и храбро избрала. Она сказала себе, что жертва велика как с одной, так и с другой стороны, и, прежде чем очертя голову решиться на нее, она должна посоветоваться с Порпора, а молодому графу дать убедиться в прочности своего чувства. И она неожиданно отправилась в Вену пешком, без провожатого и почти без денег, но с надеждой вернуть покой и рассудок тому, кто любит ее, и унося с собой, из всех предложенных ей богатств, чистую совесть и гордость быть артисткой.

— Да, действительно, это настоящая артистка! Она умница, с благороднейшей душой, раз так поступила! — воскликнул Йозеф, блестящими глазами смотря на Консуэло. — И, если не ошибаюсь, с ней-то я и говорю, перед ней-то и падаю ниц!



— Это она самая протягивает вам руку, предлагает вам свою дружбу и свою поддержку у Порпора. Мы ведь, по-видимому, вместе будем продолжать наш путь, и, если Бог поможет, как он до сих пор помогал нам обоим и как он помогает всем уповающим только на него, мы скоро доберемся до Вены и будем там брать уроки у одного и того же учителя.

— Слава Богу! — плача от радости и в восторге простирая руки к небу, воскликнул Гайдн. — Я ведь почувствовал, глядя на вас во время вашего сна, что в вас есть что-то сверхъестественное и что моя жизнь, моя будущность — в ваших руках!..

## LXVI

Когда молодые люди поближе познакомились, делясь в дружеской беседе подробностями своей жизни, они стали думать о способе добраться до Вены и о необходимых для того предосторожностях. Перво-наперво они вынули свои кошельки и стали считать деньги. Консуэло все-таки оказалась наиболее богатой из двух. Но их соединенных капиталов хватало только на то, чтоб приятнее попутешествовать пешком, не страдая от голода и не проводя ночи под открытым небом. Нечего было и думать о чем-либо лучшем, и Консуэло уже решила на это. Однако, невзирая на философскую веселость, проявленную при этом девушкой, Йозеф был озабочен и задумчив.

— Что с вами? — спросила она. — Вы, может быть, боитесь, что я буду для вас обузой в пути? А между тем я готова биться об заклад, что хожу лучше вас.

— Вы должны делать все лучше меня, — ответил он, — но меня тревожит вовсе не это. Я печалюсь и страшусь думать о том, что вы молоды и красивы, что все будут алчно пожирать вас глазами, а я так мал и тщедушен, что, твердо решив положить за вас свою жизнь, быть может, не смогу защитить вас.

— Есть о чем думать, бедный мой мальчик! Будь я даже так хороша, чтобы привлекать взоры прохожих, полагаю, что женщина, уважающая себя, всегда может внушить почтение своим умением себя держать.

— Будь вы урод или красавица, молоды или стары, дерзки или скромны, — все равно, вы не в безопасности на этих дорогах, запруженных солдатами и всякого рода сбродом. С тех пор, как заключен мир, страна наводнена военными, возвращающимися по своим гарнизонам, а особенно добровольцами-авантюристами, которые, будучи демобилизованы и не зная, где искать счастья, принимаются грабить прохожих, занимаются вымогательством у деревенских жителей и вообще ведут себя повсюду в провинции, как в побежденной стране. Бедность наша является в некотором роде для нас

защитой, но довольно того, что вы женщина, чтобы пробудить их звериные инстинкты. Я серьезно думаю об изменении маршрута. Вместо того, чтобы нам идти на Писек и Буднейс, эти военные стоянки, через которые постоянно передвигаются как демобилизованные солдаты, так и остальные, ничем от них не отличающиеся, мы поступим благоразумнее, спустившись по течению Молдавы вдоль горных, почти пустынных ущелий, где ничто не возбуждает жадности и разбойнических повадок этих господ. Мы пройдем вдоль реки до Рейхенау и тотчас же вступим в Австрию через Фрейштадт. Очутившись на имперской земле, мы будем под защитой полиции, менее беспомощной, чем чешская.

— Вы, значит, знакомы с этой дорогой?

— Я даже вообще не знаю, существует ли она, но у меня в кармане есть маленькая карта, и я, покидая Пльзень, предполагал для разнообразия возвратиться через горы и постранствовать...

— Что же! Пусть будет так. Мысль ваша мне по душе, — сказала Консуэло, рассматривая карту, только что развернутую Йозефом. — Везде есть тропинки для пешеходов и хижины, готовые приютить скромных людей с тощим карманом. Действительно, я вижу горную цепь, которая приведет нас к Молдаве и потом тянется вдоль этой реки.

— Это самая большая горная цепь Богемского леса; там расположены ее высочайшие вершины, которые служат границей между Баварией и Богемией. Мы без труда доберемся до нее, придерживаясь этих вершин. Они нам указывают, что справа и слева идут долины, спускающиеся к обеим провинциям. Раз теперь, слава Богу, мне нет никакого дела до этого «недосягаемого» Замка Великанов, я не сомневаюсь, что направлю вас верно и не поведу более длинной дорогой, чем следует.

— Идем же! — сказала Консуэло. — Я чувствую, что вполне отдохнула. Сон и ваш чудесный хлеб вернули мне силы, и я думаю, что сегодня смогу пройти еще добрых две мили. К тому же хочется как можно скорее уйти из этих мест, где я все боюсь встретить какое-нибудь знакомое лицо.

— Пойдите, — проговорил Йозеф, — у меня в голове блеснула странная мысль.

— Посмотрим, какая!

— Если б вам не претило переодеться мужчиной, ваше инкогнито было бы обеспечено, и вы избежали бы во время наших ночлегов всех скверных предположений, которые могут делаться по поводу девушки, путешествующей вдвоем с молодым человеком.

— Мысль недурна, но вы забываете, что мы не так богаты, чтобы делать покупки. Кроме того, где бы я нашла одежду по своему росту?

— Видите ли! Самая мысль эта, пожалуй, не пришла бы мне в голову, не имея я с собой всего нужного для приведения ее в исполнение. Мы с вами совсем одинакового роста, что делает больше чести вам, чем мне, а у меня в мешке есть совершенно новый полный костюм, который отлично вас зама-

скирует. Вот история этого костюма: он прислан моей доброй мамой. Думая сделать мне полезный подарок и желая, чтобы я был прилично одет, являясь в посольство и давая уроки барышням, она решила заказать для меня в своей деревне изящнейший костюм по нашей тамошней моде. Правда, костюм живописен и материя хорошо подобрана, вот увидите! Но представляете ли вы себе то впечатление, какое произвел бы я в посольстве, и безумный смех племянницы господина Метастазियो, покажись я в этом деревенском казакине и в этих широчайших с буфами штанах! Я поблагодарил бедную маму за ее доброе намерение, а сам решил спустить этот костюм какому-нибудь нуждающемуся крестьянину или странствующему актеру. Вот почему я и захватил его с собой, но, к счастью, не нашел случая сбыть. Здешные жители утверждают, что костюм этот старомоден, и спрашивают, польский он или турецкий.

— А вот случай и нашелся, — воскликнула, смеясь, Консуэло, — мысль ваша превосходна, и странствующая актриса довольствуется вашим турецким костюмом, очень похожим на юбку. Покупаю его у вас, правда, в долг, а еще лучше с условием, что вы отныне становитесь кассиром нашей «шкатулки», как выражается, говоря о своей казне, прусский король, и будете оплачивать мои путевые расходы до Вены.

— Это еще посмотрим, — проговорил Йозеф, кладя кошелек в карман, с твердым намерением не брать за костюм денег. — Теперь остается убедиться, будет ли вам удобно в этом костюме. Я заберусь вот в эту рощу, а вы идите за скалу: там для вас найдется не одна безопасная и просторная уборная.

— В таком случае выходите на сцену, — ответила Консуэло, указывая на рощу, — а я удалюсь за кулисы.

И в то время, как ее почтительный товарищ добросовестно углублялся в рощу, она, спрятавшись в скалах, немедленно занялась своим превращением. Когда она вышла из своего убежища, вода источника послужила ей зеркалом, и не без некоторого удовольствия увидела она в ней самого красивого крестьянского мальчика, какого когда-либо породила славянская раса. Ее тонкую и гибкую, как тростник, талию опоясывал широкий красный кушак, а стройная, словно у серны, ножка скромно выделялась повыше щиколотки из-под широких складок шаровар. Черные волосы, которые она упорно не пудрила, обрезанные во время болезни, сами собой вились вокруг ее личика. Она запустила в них пальцы, чтобы придать им растрепанный вид, подобающий молодому пастуху. Умея, как артистка, носить любую одежду да еще будучи в состоянии благодаря мимическому таланту моментально придать своему лицу дикий, глуповатый вид, она нашла себя до того хорошо замаскированной, что и мужество и беззаботность сразу вернулись к ней. Как бывает с актерами, когда они облачаются в театральный костюм, она не только вошла в роль, но до того отождествилась с тем лицом, которое собиралась изображать, что сама почувствовала беспечность, прелесть невинного бродяжничества.

ства, веселость, силы и подвижность мальчишки, вырвавшегося на свободу. Ей пришлось трижды просвистеть, прежде чем к ней вернулся Гайдн, ушедший в глубь рощи дальше, чем было нужно, не то из почтительности, не то из страха перед соблазном заглянуть в расщелины скал. Увидев ее преображенной, он вскрикнул от удивления и восторга; хотя он и ожидал увидеть ее хорошо замаскированной, но в первый момент едва даже поверил собственным глазам. Это превращение удивительно красило Консуэло, и юному музыканту она показалась совсем иной.

К удовольствию, получаемому юнцом от женской красоты, всегда примешивается страх, и одежда, делающая женщину, даже в глазах самого нецеломудренного человека, существом таким туманным, таким таинственным, играет не последнюю роль в этом беспокойном, томительном чувстве. Йозеф был чист душой и, что бы ни говорили некоторые из его биографов, юношей целомудренным и робким. Он был ослеплен, увидав Консуэло, спящую у источника, раскрасневшуюся от заливавших ее солнечных лучей, неподвижную, как прекрасная статуя. Говоря с нею и слушая ее, он переживал еще никогда не испытанное волнение, которое приписывал восторгу и радости столь счастливой встречи. Но в ту четверть часа, которую он провел вдали от нее в лесу, во время ее таинственного переодевания, сердце его усиленно билось. Снова охватило его волнение, и он, подходя к Консуэло, решил сделать величайшее усилие, чтобы скрыть под видом беспечности и веселости смертельную тревогу, пробуждавшуюся в его душе.

Столь удачная перемена одежды, явившаяся как бы действительной переменой пола, так же внезапно изменила душевное состояние юноши. Он, казалось, чувствовал только братский порыв живейшей дружбы, неожиданно возгоревшейся между ним и его милым попутчиком. Та же жажда нестись вперед, видеть побольше новых мест, та же беспечность по отношению к дорожным опасностям, та же симпатичная веселость — все, что одушевляло в эту минуту Консуэло, захватило и его, и они с легкостью двух перелетных птишек понеслись вперед по лесам и долам...

Однако, пройдя несколько шагов и видя, как она несет на плече привязанный к палке узелок с вещами, уплотненный только что снятым женским платьем, он позабыл, что должен считать ее мальчиком. Между ними по этому поводу загорелся спор. Консуэло доказывала, что он и так более чем достаточно нагружен своей дорожной котомкой, скрипкой, тетрадью «*Gradus ad Parnassum*». Йозеф, со своей стороны, клялся, что во что бы то ни стало положит узелок Консуэло в свою котомку и что она ничего нести не будет. Пришлось ей уступить; но, во имя правдоподобия ее роли и для соблюдения мнимого между ними равенства, он согласился, чтоб Консуэло несла на переноску скрипку.

— Знаете, — говорила ему она, добиваясь этой уступки, — необходимо, чтобы у меня был вид вашего слуги или, по крайней мере, проводника, ибо я крестьянин, в чем невозможно усомниться, а вы горожанин.

— Какой там горожанин, — отвечал, смеясь, Гайдн, — ни дать ни взять подмастерье парикмахера Келлера!

И говоря это, милый юноша был немного огорчен тем, что не может показаться перед Консуэло в более изящном одеянии, чем его выцветший от солнца и несколько истрепавшийся в дороге костюм.

— Нет, — сказала Консуэло, желая утешить его в этом маленьком огорчении, — у вас вид знатного промотавшегося юноши, возвращающегося в родительский дом с подручным своего садовника, соучастником его походов.

— Мне кажется, нам лучше всего взять на себя роли, наиболее подходящие к нашему положению, — возразил Йозеф. — Мы можем выдавать себя только за то, чем я, да и вы являемся в данную минуту, то есть за бедных странствующих артистов. А так как обычно этого сорта люди одеваются, как могут, в то, что найдется или придется по карману, то часто встречаются трубадуры вроде нас, таскающие по дорогам обноски какого-нибудь маркиза или солдата, и спрашивается, отчего бы нам с вами не иметь — мне — черного потертого костюма скромного училищника, а вам — необычайного в этом крас одеяния венгерского крестьянина. Будет даже хорошо, если в случае расспросов мы скажем, что недавно странствовали именно в этих местах. Я смогу с видом знатока распространяться о знаменитом селе Рорау, никому неведомом, и о великолепном городе Гамбурге, до которого никому нет ни малейшего дела. Что же касается вас, то ваше милое произношение всегда вас выдаст, и вы хорошо сделаете, если не будете отрицать того, что вы итальянец и певец по профессии.

— Кстати, нам надо с вами придумать себе прозвища; таков обычай. Ваше уже найдено: я должна на итальянский лад звать вас Беппо; это — уменьшительное от Йозефа.

— Зовите как хотите. У меня то преимущество, что я вообще неизвестен ни под каким именем. Вы — другое дело: вам непременно надо прозвище. Какое же вы себе выберете?

— Да первое попавшееся уменьшительное венецианское имя, хотя бы Нелло, Мазо, Ренцо, Дзото... О! Нет! только не это! — воскликнула она после сорвавшегося у нее по привычке с языка детского уменьшительного имени от Андзолето.

— Почему же не это? — спросил Йозеф, уловивший особенную выразительность в ее восклицании.

— Оно принесло бы мне несчастье. Говорят, что есть такие имена.

— Ну, как же мы окрестим вас?

— Бертони — это распространенное итальянское имя и нечто вроде уменьшительного от Альберта.

— Синьор Бертони! Хорошо звучит, — проговорил Йозеф, сияясь улыбнуться. Но то, что Консуэло вспомнила о своем знатном женихе, кинжалом вонзилось в его сердце; и он, глядя, как она идет перед ним легкой непринужденной походкой, сказал себе в утешение:

— А я было совсем забыл, что она мальчик!



LXVII

Вскоре они разыскали опушку леса и направились на юго-восток. Консуэло шла с непокрытой головой, а Йозеф, видя, как солнце опаляет ее ровный белый цвет лица, не смел по этому поводу высказать своего огорчения. Шляпа на нем была далеко не новая: он не мог предложить ее девушке и, чувствуя тщетность своих заботливых терзаний, не хотел заговаривать об этом; а потому он сунул свою шляпу подмышку, но таким резким движением, что оно было замечено его спутницей.

— Вот странная фантазия! — заметила она. — Кажется, вы находите погоду пасмурной, а равнину тенистой? Это напоминает мне о том, что моя собственная голова непокрыта. Но так как далеко не всегда была я избалована благами жизни, то знаю много способов добывать их себе без больших расходов.

Говоря это, она сорвала с куста ветку дикого винограда и, скрутив ее, сделала себе шляпу из зелени.

«Вот теперь она похожа на музу, — подумал Йозеф, — и опять в ней мальчик исчезает».

Они проходили селом; заметив там лавку, где продается все что угодно, Йозеф поспешно вошел в нее, Консуэло даже не могла сообразить, зачем, а он вскоре вышел оттуда, держа в руке простенькую соломенную шляпу, с широкими приподнятыми с боков полями, какие носят крестьяне придунайских долин.

— Если вы начнете так роскошничать, — сказала она, надевая это новое приобретение, — то мы, пожалуй, останемся с вами без хлеба к концу нашего путешествия.

— Вам остаться без хлеба! — с живостью воскликнул Йозеф, — да я предпочту просить милостыню у путешественников, кувыркаться на площадях, зарабатывать медяки... вообще уж не знаю, что еще готов делать! Нет! Нет! Со мной вы ни в чем не будете нуждаться! — и видя, что жар, с которым он говорит, несколько удивляет Консуэло, он прибавил, стараясь выставить свои добрые чувства в менее благоприятном свете: — Подумайте только, синьор Бертони, ведь вся моя будущность зависит от вас, моя судьба в ваших руках, и в моих интересах доставить вас целой и невредимой к маэстро Порпора.

Мысль о том, что ее товарищ может внезапно влюбиться в нее, не приходила в голову Консуэло. У целомудренных и простодушных женщин редко бывают подобные предположения, возникающие у кокеток при каждой встрече, быть может, потому что те всегда жаждут, чтоб в них влюблялись. Кроме того, очень молодая женщина обычно смотрит на мужчину своего возраста, как на мальчика. Консуэло была на два года старше Гайдна, а он

был так мал и щеделушен, что ему с трудом можно было дать лет пятнадцать. Она прекрасно знала, что на самом деле он старше, но ей и на ум не приходило, что его воображение и чувства уже пробудились для любви. Однако, остановившись, чтобы передохнуть и полюбоваться одним из чудных видов, встречающихся на каждом шагу в этой горной местности, она заметила в нем необычайное волнение и перехватила его взгляд, прикованный к ней в каком-то экстазе.

— Что с вами, друг Беппо? — наивно спросила она. — Вы как будто чем-то расстроены, и я не могу отделаться от мысли, что я вас стесняю.

— Не говорите этого! — горестно воскликнул он. — Это значило бы, что вы плохого мнения обо мне, что вы отказываете мне в доверии и в дружбе, за которые я охотно отдал бы свою жизнь.

— В таком случае не грустите, если только у вас нет повода к печали, которым вы не поделились со мной.

Йозеф впал в мрачное молчание, и они долго шли, пока он не нашел в себе силы прервать его. По мере того как длилось молчание, юноша приходил все в большее и большее смущение; он боялся, что тайна его будет разгадана, но никак он не мог найти темы для возобновления разговора. Наконец, сделав над собой огромное усилие, он проговорил:

— Знаете, о чем я серьезно подумываю?

— Нет, не догадываюсь, — ответила Консуэло, все это время сама погруженная в собственные думы и не находившая ничего странного в его молчании.

— Я шел и думал о том, что если бы только не было это очень скучно для вас, вы, быть может, поучили бы меня итальянскому языку. Прошлой зимой начал я изучать этот язык по книгам, но так как никто не указывал мне произношения, я не посмею вымолвить при вас ни одного слова. Между тем я понимаю все, что читаю, и если во время нашего путешествия вы были бы так добры и заставили бы меня стряхнуть с себя ложный стыд, а также оставили бы меня на каждом слове, то мне кажется, что при музыкальности моего слуха труд ваш не пропал бы даром.

— О! С огромным удовольствием! — воскликнула Консуэло. — Я приветствую тех, кто не теряет ни единой из драгоценных минут жизни, чтобы пополнять свои знания, а так как преподавая, сам учишься, то, несомненно, нам обоим будет очень полезно упражняться в произношении этого в высшей степени музыкального языка. Вы считаете меня итальянкой; на самом деле это не так, хотя я и говорю на этом языке почти без иностранного акцента. Но действительно хорошо произношу я его только в пении. И, когда я захочу, чтобы вы уловили всю гармонию итальянских звуков, я буду петь трудные для вас слова. Убеждена, что плохое произношение только у тех, у кого нет слуха. Если ухо ваше в совершенстве улавливает оттенки, то правильно повторить их — дело памяти.

— Значит, одновременно это будет и урок итальянского языка и урок музыки! — воскликнул Йозеф. — И урок, который будет длиться целых пять-

десять миль! — с восторгом подумал он. — Ей-ей! Да здоровствует искусство, наименее опасное из всех страстей!

Урок начался тотчас же, и Консуэло, которая сперва с трудом удерживалась, чтобы не хохотать при всяком слове, произносимом Йозефом по-итальянски, вскоре стала восхищаться той легкостью и тщательностью, с какой он исправлял свои ошибки. Между тем юный музыкант, страстно желая услышать голос артистки и видя, что повода к этому все не появляется, пустился на хитрость.

Притворившись, будто ему не удастся придать итальянскому свойственную ему ясность и четкость, он пропел одну мелодию Лео, где слово *felicità*<sup>1</sup> повторялось несколько раз. Тотчас же Консуэло, не останавливаясь и нисколько не задыхаясь, словно сидя у себя за роялем, пропела эту фразу несколько раз подряд. При звуке этого голоса, такого сильного, такого проникающего в душу, с которым не мог сравниться ни один голос того времени, дрожь пробежала по всему телу Йозефа, и он со страстным возгласом судорожно сжал руки.

— Теперь за вами очередь, попробуйте! — проговорила Консуэло, не замечая его восторженного состояния.

Гайдн попробовал пропеть эту фразу и так хорошо передал ее, что молодой его профессор захлопал в ладоши.

— Превосходно! — сказала она ему искренним, сердечным тоном. — Вы усваиваете быстро, и голос у вас чудесный.

— Относительно этого вы можете мне говорить, что вам будет угодно, но сам я никогда не смогу вымолвить о вас ни единого слова.

— Да почему же? — спросила Консуэло.

Тут, повернувшись, она заметила, что на глазах его слезы и что руки он сжимает, хрустя пальцами, не как шаловливый мальчик, а как страстно увлеченный мужчина.

— Давайте прекратим пение, — сказала она, — вон навстречу нам едут всадники.

— Ах! Боже мой! Да, да! Молчите! — закричал вне себя Йозеф. — Пусть они вас не слышат, а то сейчас же спрыгнут с коней и падут ниц перед вами!

— Не боюсь я этих страстных любителей музыки, — это мясники, везущие у себя за спиной телят.

— Ах! Надвиньте глубже шляпу, отвернитесь! — пылая ревностью, проговорил Йозеф, приближаясь к ней. — Пусть они вас не слышат и не видят! Никто, кроме меня, не должен ни видеть, ни слышать вас!

Остаток дня прошел то в серьезных занятиях, то в ребяческой болтовне. Среди этих волнений упоительная радость заливала душу Йозефа, и он никак не мог решить, кто он — самый трепещущий из влюбленных или самый

<sup>1</sup> *Felicità* (феличита) — счастье, блаженство (ит.) В оперных текстах это слово было излюбленным для заключительных фраз, где голос поднимается последовательно по ступеням гаммы и кончается высокой нотой на открытом звуке *a* (например: соль-ля-си-до).



— Давайте прекратим пение, — сказала Консуэло, —  
вон навстречу нам едут всадники.  
— Ах! Боже мой! Да, да! Молчите! — закричал вне себя Йозеф. —  
Пусть они вас не слышат, а то сейчас же спрыгнут с коней  
и падут ниц перед вами!



ликующий из друзей искусства: Консуэло, то лучезарный кумир, то чудесный товарищ, заполняла всю его жизнь, преображала все его существо.

Под вечер он заметил, что она едва плетется и что усталость взяла верх над ее веселостью. Правда, вот уже несколько часов, невзирая на частые привалы под тенью придорожных деревьев, она чувствовала себя совсем разбитой от утомления. Но этого именно она и добивалась. Не будь у нее даже необходимости как можно скорей покинуть этот край, она и тогда бы стремилась усиленным движением, напускной веселостью несколько отвлечься от своей душевной муки. Сумерки, навевая грусть на окружающую природу, разбудили в ней мучительные чувства, с которыми она боролась с таким великим мужеством. Ей рисовался мрачный вечер в Замке Великанов и предстоящая Альберту, быть может, ужасная ночь.

Подавленная этими мыслями, она невольно остановилась у подножья большого деревянного креста, обозначавшего на вершине голого холма место действия какого-то чуда или злодeйства, сохраненного преданием.

— Увы! Вы гораздо больше устали, чем хотите в этом сознаться, — обратился к ней Йозеф, — но привал близок: я уже вижу там, в глубине этого ущелья, светящиеся огоньки какой-то деревушки. Вы, пожалуй, думаете, что у меня не хватит сил вас понести, а между тем, если б вы только пожелали...

— Дитя мое, — ответила она ему, улыбаясь, — вы что-то уж очень кичитесь своим полом. Пожалуйста, не смотрите так свысока на мой и поверьте, что сейчас у меня больше сил, чем осталось у вас, чтобы нести самого себя. Я запыхалась, взбираясь по этой тропинке, — вот и все; а если я остановилась, то только потому что мне захотелось петь.

— Слава Богу! — воскликнул Йозеф, — Пойте же здесь у подножья креста, а я стану на колени... Ну, а если это еще больше вас утомит?

— Да это не будет долго, — сказала Консуэло, — но у меня явилась фантазия пропеть один стих гимна, который моя мать заставляла меня петь вместе с ней утром и вечером, когда нам попадалась среди полей часовня или крест, водруженный, как вот этот, у перекрестка четырех дорог.

Мысль Консуэло о пении была еще романтичнее, чем она ее изобразила. Думая об Альберте, она представила себе его почти сверхъестественную способность видеть и слышать на расстоянии. Живо вообразила она себе, что в эту самую минуту он думает о ней, а быть может, даже и видит ее. И полагая, что она сможет облегчить его муку, сообщаясь с ним чрез пространство и ночь посредством тайно действенной песни, Консуэло взобралась на камни, служащие фундаментом кресту, и, повернувшись в ту сторону горизонта, где должен был находиться замок Ризенбург, полным голосом запела стих испанской духовной песни «О! Consuelo de mi alma»<sup>1</sup>.

«Боже мой, Боже мой! — говорил себе Гайдн, когда умолк ее голос. — Я до сих пор никогда не слыхивал пения, я не знал, что такое петь! Да разве бывают еще человеческие голоса, подобные этому голосу? Смогу ли я когда-

<sup>1</sup> О утешение души моей (исп.)



либо услышать что-нибудь похожее на полученное мной сегодня откровение? О музыка! Святая музыка! О гений искусства! Как ты воспламеняешь меня, как устрашаешь!»

Консуэло спустилась с камня, на котором вырисовывался в прозрачной синеве ночи ее изящный силуэт мадонны. В порыве вдохновения она, в свою очередь, подобно Альберту, вообразила, что сквозь леса, горы и долины видит его сидящим на Камне Ужаса, спокойным, покорным, преисполненным святой надежды. «Он слышал меня, — подумала она, — узнал мой голос и свою любимую песню; он понял меня и теперь вернется в замок, поцелует отца, а быть может, и спокойно уснет».

— Все идет прекрасно, — сказала она Йозефу, не замечая его неистового восторга.

Затем, вернувшись, она прикоснулась губами к грубому дереву креста. Быть может, в этот самый миг и Альберт, в силу какого-то странного, непонятного сближения, ощутил словно электрический толчок, смягчивший напряженность его мрачного состояния духа и внесший в самые таинственные глубины его души блаженное умиротворение. Возможно, что именно в этот момент он и впал в тот глубокий и благотворный сон, во время которого, к своей великой радости, застал его на рассвете следующего дня страшно беспокоившийся о нем отец.

Деревушка, огоньки которой они заметили в темноте, в действительности оказалась только обширной фермой, где их гостеприимно встретили. Семья добрых землепашцев ужинала под открытым небом у порога своего дома за грубым деревянным столом, куда и их усадили охотно, но без заискивания. Ни о чем их не спрашивали и едва на них взглянули. Эти добрые люди, утомленные долгим и знойным рабочим днем, ели молча, наслаждаясь простой обильной пищей. Консуэло нашла ужин превосходным, а Йозеф забывал о пище, глядя на бледное благородное личико Консуэло, выделявшееся среди этих грубых загорелых крестьянских лиц, кротких и тупых, как те волю, что паслись на траве вокруг них, пережевывая пищу с меньшим шумом, чем их хозяева.

Каждый из ужинавших, насытившись и сотворив крестное знамение, уходил спать, предоставляя более сильным предаваться застольным наслаждениям, пока им заблагорассудится.

Как только все мужчины встали из-за стола, так тотчас прислуживавшие им женщины принялись ужинать вместе с детьми. Более живые и любопытные, они задержали юных путешественников и засыпали их вопросами. Йозеф взял на себя угощать их заготовленными для них сказками, которые, в сущности, не были так уж далеки от истины, поскольку выдавал он себя и своего товарища за бедных странствующих музыкантов.

— Как жаль, что сегодня не воскресенье, — заметила одна из самых молодых, — вы бы дали нам возможность поплясать.

Они очень заглядывались на Консуэло, принимая ее за красавца-юношу, а та, разыгрывая свою роль, кидала на них смелые, вызывающие взгляды. Вначале она было вздохнула, представляя себе всю прелесть этих патриар-

хальных нравов, таких далеких от ее собственной беспокойной, бродячей профессии. Но, наблюдая, как эти бедные женщины стояли позади своих мужей, прислуживая им, а затем весело доедали их объедки, одни — кормя грудью своих крошек, другие, уже прирожденные рабыни своих сыновей-мальчуганов, — заботясь о них прежде, чем подумать о дочерях и самих себе, она в этих добрых земледельцах увидела только детей голода и нужды: самцов, прикованных к земле, рабов плуга и скота; самок — прикованных к хозяину, то есть к мужчине, затворниц, вечных работниц, обреченных трудиться без отдыха среди волнений и мук материнства. С одной стороны — владелец земли, угнетающий работающего на ней или облагающий его такими поборами, что тот за свой тяжкий труд не имеет даже необходимого, с другой стороны — скупость и страх, передающиеся от хозяина к арендатору и обрекающие этого последнего сурово и скаредно относиться к своей семье и к собственным нуждам. И тут это мнимое благополучие стало казаться ей отупением от несчастья или оцепенением от усталости, и она сказала себе, что лучше быть артистом или бродягой, чем владельцем поместий и крестьянином, ибо с обладанием как земли, так и снопа связаны или несправедливая тирания, или мрачное порабощение алчностью.

— *Viva la libertà!*<sup>1</sup> — сказала она Йозефу по-итальянски, в то время как женщины шумно мыли и убирали посуду, а немощная старуха с автоматичностью машины вертела прялку.

Йозеф был очень удивлен, слыша, что некоторые из этих крестьянок кое-как болтают по-немецки. Он узнал от них, что глава семьи, которого он видел в крестьянской одежде, был дворянского происхождения, получил некоторое образование и в молодости обладал небольшим состоянием, но совершенно разоренный во время войны за австрийское наследство и, не имея другого выхода, чтобы поднять свое многочисленное семейство, стал фермером соседнего аббатства. Это аббатство страшно обирало его, и он только что уплатил за «архиерейское право на митру», то есть налог, взимаемый имперским казначейством с религиозных общин при каждой смене духовного лица. Фактически этот налог уплачивался только вассалами и арендаторами церковных владений, сверх собственных их повинностей и других мелких поборов. Рабочие фермы были крепостными, но нисколько не считали себя более несчастными, чем их хозяин. Коронным откупщиком был еврей. Выпровоженный из аббатства, которое он донимал, и присосавшись к землепашцам, терпевшим от него еще больше, чем аббатство, он этим утром явился сюда за получением суммы, составлявшей сбережения нескольких лет. Притесняемый и католическими священниками, и евреями-сборщиками податей, бедный землепашец не знал, кого из них больше ненавидеть и бояться.

— Видите, Йозеф, — сказала Консуэло своему товарищу, — не была ли я права, говоря, что одни мы с вами богаты в этом мире, — мы, не платящие налогов за свои голоса и работающие тогда, когда нам это вздумается?

<sup>1</sup> Да здравствует свобода! (ит.)

Настало время ложиться спать, и Консуэло была до того утомлена, что заснула, сидя на скамейке у входа. Йозеф воспользовался этой минутой, чтобы попросить хозяйку предоставить им кровати.

— Кровати, дитя мое? — воскликнула она, улыбаясь. — Хорошо, если бы смогли мы дать вам хоть одну, а вы уж как-нибудь устроились бы на ней вдвоем.

Этот ответ заставил покраснеть бедного Йозефа. Он взглянул на Консуэло но, увидев, что она ничего не слыхала из этого разговора, преодолел свое волнение.

— Мой товарищ очень переутомился, и, если вы сможете уступить ему хотя бы маленькую кровать, мы за нее заплатим, сколько вы пожелаете. Мне же довольно угла в риге или коровнике.

— Ну, если этому мальчику нездоровится, то мы из человеколюбия дадим ему кровать в общей комнате. Три дочери наши лягут вместе на одной, но скажите вашему товарищу, чтобы он, по крайней мере, держал себя смирно и вел себя прилично, а то муж мой и зять, спящие в той же комнате, скоро сумеют его образумить.

— Отвечаю за скромность и порядочность моего товарища, но только надо узнать, не предпочтет ли он лучше спать на сене, чем в комнате, где так много народа.

И вот поневоле пришлось бедному Йозефу разбудить синьора Бертони, чтобы сообщить ему о предложении хозяйки. Против его ожидания, Консуэло вовсе не была испугана им. Она нашла, что раз девушки этой семьи спят в одной комнате с отцом и зятем, то и ей будет там безопаснее, чем где-либо в другом месте; и, пожелав спокойной ночи Йозефу, она проскользнула за четыре коричневые шерстяные занавески, скрывавшие указанную ей кровать, и там, едва успев наскоро раздеться, заснула крепчайшим сном.

## LXVIII

Проспав несколько часов в тяжелом оцепенении, Консуэло проснулась от непрерывного шума, раздававшегося вокруг нее. С одной стороны старуха бабушка, кровать которой почти касалась ее кровати, надрывалась от самого пронзительного, раздирающего кашля; с другой стороны молодая женщина кормила грудью ребенка и убаюкивала его пением; храп мужчин напоминал рычание; другой малыш плакал, ссорясь со своими тремя братьями, лежавшими с ним на одной постели; женщины поднимались, чтобы утихомирить их, и своими выговорами и угрозами производили сильный шум. Это непрерывное движение, эти детские крики, грязь, вонь, душливый воздух, полный густых, смрадных испарений, стали до того противны Консуэло, что терпеть дольше она была не в силах. Одевшись потихоньку, она воспользовалась моментом, когда все утомонились, вышла из дома и принялась отыскивать

уголок, где бы можно было поспать до утра. Ей казалось, что она лучше заснет на свежем воздухе. Проведя прошлую ночь в ходьбе, она не заметила холода. Не говоря уж о том, что она теперь была в подавленном состоянии, противоположном тому возбуждению, в котором убегала из замка, самый климат этой горной области был гораздо суровее, чем в окрестностях Ризенбурга. Она почувствовала озноб, и вообще ей ужасно нездоровилось. Со страхом стала она думать о том, что если с самого начала ей так плохо, то, пожалуй, она не будет в состоянии вынести ряда предстоящих ей дней усиленной ходьбы и бессонных ночей. Хотя она и упрекала себя в том, что стала «принцессой» среди роскоши замка, но в этот миг за час хорошего сна отдала бы остаток жизни.

Между тем, не смея вернуться в дом из боязни разбудить и потревожить хозяев, она стала разыскивать вход в ригу, но, наткнувшись на полуоткрытую дверь коровника, ощупью пробралась в него. Там царил глубочайшая тишина. Считая помещение пустым, она растянулась в яслях, полных соломы, теплота и здоровый запах которой показались ей восхитительными.

Она начинала было уже засыпать, когда почувствовала на лбу у себя горячее влажное дыхание, сейчас же отстранившееся от нее с сильным сопением и с чем-то вроде подавленного проклятия. Придя в себя от первоначального испуга, она разглядела в пробивающихся уже предрассветных сумерках длинную фигуру и два страшных рога над своей головой; то была красавица корова, которая, просунув голову сквозь решетку и удивленно обнюхав ее, с ужасом отшатнулась. Консуэло забилась подальше в угол, чтобы не мешать ей, и преспокойно заснула. Ухо ее скоро привыкло ко всем звукам хлева: к лязгу цепей, задевающих о кольца, к мычанию коров, к трению рогов о дерево яслей. Она даже не проснулась, когда пришли молочницы выгонять коров во двор, чтоб там на открытом воздухе подоить их. Хлев опустел. Благодаря темноте угла, куда она забилась, ее не заметили, и солнце уже встало, когда она открыла глаза. Утопая в соломе, она еще несколько минут наслаждалась своим благополучием и радовалась, чувствуя себя отдохнувшей и окрепшей, готовой снова свободно и беззаботно пуститься в путь.

Выскочив из яслей, чтобы разыскать Йозефа, она тут же увидела его, ибо он сидел напротив нее на соседних яслях.

— Вы причинили мне немало беспокойства, дорогой синьор Бертони, — сказал он. — Когда молодые девушки мне сообщили, что вас уже нет в комнате и что они не знают, куда вы девались, я принялся искать повсюду и, только уже вернувшись в отчаянии сюда, где провел ночь, к своему великому удивлению, нашел и вас тут. Я выбрался отсюда в предрассветной мгле и не воображал, что найду вас здесь, как раз напротив себя, в куче соломы, под носом у этих животных, которые могли бы поранить вас. Право, синьора, вы слишком отважны и вовсе не думаете о всевозможных опасностях, которым себя подвергаете.

— А какие такие опасности, милый мой Беппо? — улыбаясь, спросила Консуэло, протягивая ему руку. — Эти славные коровы не столь уж свирепые животные, и я напугала их больше, чем они мне сделали зла.

— Но, синьора, — понизив голос, возразил Йозеф, — вы среди ночи забираетесь в первое попавшееся место. Другие люди, помимо меня, могли быть в этом хлеву, — какой-нибудь грубый холоп или бродяга, менее почтительный, чем ваш верный и преданный Беппо. Подумайте только, если бы вместо тех яслей, где вы спали, попали бы вы в соседние и в них, вместо меня, разбудили б внезапно какого-нибудь солдата или неотесанного мужика!

Консуэло покраснела от мысли, что спала так близко от Йозефа и совершенно наедине с ним, в потемках, но это смущение только усилило ее доверие и дружбу к славному юноше.

— Видите, Йозеф, — промолвила она, — и в моем безрассудстве небо не покидает меня, раз оно привело меня к вам. Это оно вчера утром послало мне встречу с вами у источника, когда вы предложили мне свой хлеб, свое доверие и свою дружбу. Оно же этой ночью отдало под вашу защиту и мой беспечный сон.

Тут, смеясь, она рассказала ему о скверно проведенной ночи в общей комнате с шумливой семьей фермера и о том, какой счастливой и спокойной почувствовала она себя среди коров.

— Значит, правда, — заметил Йозеф, — что у скота лучшее помещение и менее грубые нравы, чем у ухаживающего за ним человека!

— Как раз об этом думала и я, засыпая в яслях. Эти животные не возбуждали во мне ни страха, ни отвращения, и я упрекала себя в том, что приобрела такие аристократические привычки, благодаря которым общество мне подобных и соприкосновение с их бедностью стали для меня невыносимыми. Тому, кто рожден в нищете, не следовало бы, снова впадая в нее, чувствовать то презрительное отвращение, которому я поддалась. И если в атмосфере богатства сердце не испортилось, откуда же та изнеженность привычек, какую я испытала сегодня ночью, сбежав от зловонной жары и беспорядочного гомона этого человеческого выводка?

— Да потому что опрятность, чистота воздуха и порядок в доме — законная и настоятельная потребность всех избранных натур, — ответил Йозеф. — Кто рожден артистом, тому свойственно чувство прекрасного, чувство добра и отвращение ко всему грубому и безобразному. А нищета — безобразна. Я тоже мужик, и родители мои родили меня под соломенной крышей, но они врожденные артисты. Наш домик, хотя крохотный и бедный, был чистенький и хорошо обставлен. Правда, наша бедность уже приближалась к довольству, тогда как крайняя нужда, быть может, заглушает все, даже самое желание лучшего.

— Бедные люди! — проговорила Консуэло. — Будь я богата, сейчас же выстроила бы им дом, а если б была королевой, то избавила бы их от всех этих налогов, монахов, евреев, пожирающих их!

— Будь вы богаты, вы и не подумали бы об этом, а родясь королевой, не возымели бы подобного желания. Уж таков мир!

— Значит, мир очень плох!



— Увы, да! Не будь музыки, уносящей душу в идеальный мир, человеку, чувствующему то, что происходит в этом мире, пришлось бы убить себя.

— Убить себя очень легко, но полезно только самоубийце. Нет, Йозеф, нужно, и богатея, оставаться человеческим.

— А так как это, по-видимому, невозможно, то следовало бы, по крайней мере, всем беднякам быть артистами.

— Совсем неплохая мысль, Йозеф! Если б все несчастные настолько понимали и любили искусство, что смогли бы опозитизировать нищету, то сами собой исчезли бы грязь, отчаяние, самоунижение, и богачи не позволяли бы себе тогда так попирать ногами и презирать бедняков. Все-таки к артистам чувствуют некоторое уважение.

— Ах! Вы впервые наводите меня на эту мысль! — воскликнул Гайдн. — Стало быть, у искусства могут быть задачи очень серьезные, очень полезные... человечеству?

— А вы думали до сих пор, что оно является только развлечением?

— Нет, но болезнью, страстью, грозой, бушующей в сердце, пламенем, загорающимся в нас и переходящим от нас к другим... А если вы знаете, что такое искусство, скажите мне.

— Скажу вам тогда, когда это для меня самой станет ясно. Но не сомневайтесь, Йозеф, что это нечто великое! Ну, теперь идем, и, чур, не забудьте скрипку, ваше единственное достояние, источник вашего будущего богатства.

И они принялись заготавливать провизию для легкого завтрака, которым задумали насладиться на травке в каком-нибудь романтическом уголке. Когда Йозеф вытаскил кошелек, чтобы расплатиться, хозяйка улыбнулась без всякого жеманства, но решительно отказалась от денег. Как ни уговаривала ее Консуэло, та была непреклонна и даже следила за своими юными гостями, чтобы они не сунули тихонько детям какой-нибудь монеты.

— Не забывайте, — сказала она наконец с некоторым высокомерием Йозефу, продолжавшему настаивать, — что мой муж дворянского рода, и поверьте, что несчастье не унизило его до того, чтобы брать деньги за оказанное гостеприимство.

— Такая гордость кажется мне слегка преувеличенной, — заметил Йозеф своей спутнице, когда они вышли на дорогу, — в них говорит скорее спесь, чем любовь к ближнему.

— Я вижу в этом только любовь к ближнему. Сгораю от стыда, и сердце мое полно раскаяния при мысли, что я, видите ли, не могла вынести неудобства этого дома, где не побоялись обременить себя и осквернить присутствием такого бродяги, как я. Ах! Проклятая утонченность! Дурацкая изнеженность избалованных детей этого мира! Ты недуг, ибо даешь здоровье одним в ущерб другим!

— Для такой великой артистки, как вы, я нахожу, что вы слишком близко принимаете к сердцу все земное, — проговорил Йозеф. — Мне кажется, что у артиста должно быть больше хладнокровия ко всему, что не относится к его

профессии. В трактире в Клатау, где я услышал о вас и о Замке Великанов, говорилось о том, что граф Альберт Рудольштадт, при всех своих странностях, великий философ. Вы почувствовали, синьора, что одновременно нельзя быть артистом и философом; вот почему вы и обратились в бегство. Не принимайте же так близко к сердцу человеческие бедствия и давайте вернемся к нашим вчерашним занятиям.

— Охотно, но, раньше чем начать, знайте, что граф Альберт, будучи философом, более великий артист, чем мы с вами.

— Правда? Значит, у него есть все, чтобы быть любимым! — вздохнув, проговорил Йозеф.

— Все, на мой взгляд, кроме бедности и низкого происхождения, — ответила Консуэло.

Незаметно для себя, подкупленная вниманием, оказываемым ей Йозефом, подзадориваемая его наивными вопросами, которые он задавал дрожащим голосом, она увлеклась и довольно долго с удовольствием говорила ему о своем женихе. Каждое его возражение вызывало в ней разъяснение, и постепенно она подробнейшим образом рассказала ему обо всех особенностях чувства, внушенного ей Альбертом. Быть может, такая полнейшая откровенность с юношей, с которым она познакомилась только накануне, была бы непристойной при всяких других обстоятельствах. И действительно, только такое странное положение могло породить ее. Как бы то ни было, Консуэло поддалась непреодолимой потребности припомнить самой все достоинства своего жениха и поверить их дружескому сердцу. И в то время, когда Консуэло это рассказывала, она почувствовала с удовольствием, подобным тому, какое испытываешь, пробуя свои силы после серьезной болезни, что она любит Альберта больше, чем думала, обещая ему приложить все старания, чтобы любить только его одного. Воображение ее, не будучи подавлено тревогой, воспламенялось по мере того, как она удалялась от Альберта; все, что было в его характере прекрасного, великого, достойного, рисовалось ей в более ярком свете, когда ее уже не пугала необходимость принять слишком скоро бесповоротное решение. Гордость девушки не страдала больше от мысли, что ее могут обвинить в честолюбии, раз она бежала, как бы отказываясь от материальных благ, связанных с этим браком, и она могла, стало быть, не стесняясь и не краснея, отдаться любви, преобладающей в ее душе. Имя Андзоле то ни разу не сорвалось с ее языка, и она с радостью заметила, что, рассказывая о своем пребывании в Богемии, ей даже в голову не пришло упомянуть о нем.

Излияния эти, быть может, и неуместные и безрассудные, оказались чрезвычайно полезными. Они дали понять Йозефу, насколько душа Консуэло была серьезно захвачена любовью, и смутные надежды, невольно зародившиеся в нем, рассеялись, как сон, самое воспоминание о котором он постарался заглушить в себе.

После одного или двух часов молчания, наступившего вслед за этой оживленной беседой, он твердо решил не видеть больше в ней ни очаровательной

сирены, ни опасного, загадочного товарища, а только великую артистку и благородную женщину, чья дружба и советы могли самым благотворным образом повлиять на всю его жизнь.

Как из желания ответить откровенностью на ее откровенность, так и из стремления создать двойную преграду собственным вожделениям, он открыл ей свою душу и рассказал о том, что он также несвободен и состоит даже как бы женихом.

Роман Гайдна не так поэтичен, как роман Консуэло, но тому, кто знает его конец, известно, что он был не менее чист и не менее благороден. Юноша питал дружеские чувства к дочери своего великодушного хозяина, парикмахера Келлера, и тот, видя эти невинные отношения, однажды сказал ему:

— Йозеф, я чувствую к тебе доверие. Ты, кажется, любишь мою дочь, и она, вижу я, неравнодушна к тебе. Если ты так же честен, как трудолюбив и признателен, то, став на ноги, будешь мне зятем.

Преисполненный горячей благодарности Йозеф дал свое обещание, поклялся!.. И хотя он несколько не был влюблен в свою невесту, но считал себя связанным на всю жизнь. Рассказывал он об этом с грустью, которую не в силах был победить, сравнивая свое действительное положение с теми упоительными мечтами, от которых ему надо было отказаться. Консуэло же увидела в этой грусти симптом глубокой, непреодолимой любви к дочери Келлера. Он не посмел разубеждать ее в этом; а ее уважение, ее уверенность в порядочности и чистоте Беппо благодаря этому только выросли.

Итак, путешествие их не было омрачено ни одним из тех напряженных моментов и вспышек, которых, пожалуй, можно было бы ожидать, видя, как двое милых, умных, питающих друг к другу большую симпатию молодых людей отправляются в двухнедельное странствование в обстановке полной безнаказанности. Не любя дочери Келлера, Йозеф предоставлял Консуэло принимать честное отношение к данному им слову за верность любящего сердца, и хотя подчас в груди его и бушевала буря, он так умел с нею справляться, что целомудренная его спутница, покоясь в глубоком сне на вереске в чаще леса, охраняемая им, как верным псом, проходя рядом с ним вдали от всякого человеческого взора по самым пустынным местам, ночуя с ним часто в одной и той же риге или одной и той же пещере, ни разу не заподозрила ни его внутренней борьбы, ни величия его победы над собой. Когда в старости Гайдн прочел первые книги «Исповеди» Жан-Жака Руссо, он улыбнулся сквозь слезы, вспомнив свое путешествие с Консуэло по Богемскому лесу, где спутниками их были трепетная любовь и благоговейное целомудрие. Все же однажды добродетель юного музыканта подверглась тяжкому испытанию. Когда погода была хороша, дорога легка, ярко светила луна, они шли ночью, избирая этот наилучший и самый надежный способ путешествия, избавлявший от риска попасть на скверный ночлег; они делали привал в каком-нибудь тихом, укромном местечке и тут проводили день, высыпаясь, обедая, болтая и занимаясь музыкой. Как только с наступлением

вечера начинало тянуть холодком, они, поужинав и собрав вещи, пускались в путь до рассвета. Таким образом они избегали утомительной ходьбы в жару, риска любопытных взоров, грязи постоянных дворов и траты на них денег. Но, когда дождь, зачистивший в возвышенной части Богемского леса, где берет свое начало Молдава, заставлял их искать приюта, они укрывались где только могли, — то в хижине барщинника, то в сарае какой-нибудь вотчины. Они старались избегать харчевен, где, конечно, могли бы легче найти приют, боясь неприятных встреч, грубых намеков, бурных сцен.

И вот однажды вечером, укрываясь от грозы, они вошли в хижину пастуха коз, который проявил свое гостеприимство только тем, что, зевая и указывая рукой на овчарню, проговорил:

— Ступайте на сено!

Консуэло по обыкновению прокралась в самый темный угол, а Йозеф собирался было устроиться поодаль в другом углу, но наткнулся на ноги спящего человека, который грубо огрызнулся на него. На проклятия спящего откликнулись еще ругательства, и Йозеф, испуганный подобной компанией, приблизился к Консуэло и схватил ее за руку, боясь чтобы кто-нибудь не лег между ними. Сначала они было думали немедленно уйти, но дождь лил, как из ведра, по дощатой крыше сарая, да к тому же все снова заснуло.

— Останемся, — прошептал Йозеф, — пока не пройдет дождь. Вы можете спать спокойно: я не сомкну глаз и буду подле вас. Никому в голову прийти не может, что тут есть женщина. Но как только погода станет более или менее сносной, я вас разбужу, и мы ускользнем отсюда.

Консуэло далеко не успокоилась, но идти было, пожалуй, опаснее, чем не уходить. Пастух и его гости могли обратить внимание на их боязнь оставаться с ними. Это могло показаться им подозрительным, и, будь у них злые намерения, они пустились бы по их следам, чтобы напасть на странников. Взвесив все это, Консуэло притихла, но под влиянием совершенно понятного страха просунула руку под руку Йозефа, чувствуя доверие к юноше, внушенное его неусыпной заботливостью.

Оба они не спали и, когда дождь перестал, собрались было уходить, как вдруг услышали, что их незнакомые товарищи зашевелились, встали и принялись тихонько говорить между собой на каком-то непонятном жаргоне. Подняв и взвалив на плечи тяжелый груз, люди эти вышли, обменявшись с пастухом по-немецки несколькими словами, из которых Йозеф заключил, что они занимаются контрабандой и что хозяин посвящен в это.

Была полночь, всходила луна, и Консуэло, при свете ее лучей, косо падавших на полуоткрытую дверь, уловила блеск оружия в тот момент, когда незнакомцы прятали его под свои плащи. В то же время она заметила, что сарай опустел и что сам пастух оставил их вдвоем с Гайдном, так как ушел вслед за контрабандистами, чтобы проводить их по горным тропинкам и указать переход через границу, по его словам, известный ему одному.

— Только вздумай подвести нас, и при первом же подозрении я раскрою тебе череп, — сказал ему один из этих людей с очень энергичным, суровым лицом.

То были последние слова, слышанные Консуэло. Под их мерными шагами гравий хрустел еще несколько минут, но затем шум соседнего ручья, вздвигшегося от дождя, заглушил их шаги, и они затерялись вдали.

— Мы напрасно боялись их, — проговорил Йозеф, не выпуская, однако ж, руки Консуэло, которую он все прижимал к своей груди, — эти люди еще больше нашего избегают человеческих глаз.

— И потому именно мы с вами и подвергались, кажется, некоторой опасности, — ответила Консуэло. — Наткнувшись на них в темноте, вы хорошо сделали, что не ответили на их ругательства; они приняли вас за одного из своих. Иначе они, пожалуй, заподозрили бы в нас шпионов, и нам не повдоровилось бы. А теперь, слава Богу, бояться нечего: наконец-то мы одни.

— Спите же, — сказал Йозеф, с сожалением чувствуя, как рука Консуэло отдаляется от его руки, — я же не буду спать, и с зарей мы уйдем отсюда.

Консуэло больше устала от страха, чем от ходьбы, и она так привыкла спать под защитой своего друга, что не замедлила уснуть. Но Йозеф, также привыкший наконец после многих волнений спать подле нее, на этот раз не смог ни на минуту забыть. Эта рука Консуэло, дрожавшая целых два часа подряд в его руке, эти волнения ужаса и ревности, пробудившие со всей силой его любовь, и последние слова, которые, засыпая, пробормотала Консуэло: «Наконец-то мы одни», — все это зажгло в нем страсть. Вместо того, чтобы из уважения к Консуэло уйти по обыкновению от нее в глубь сарая, он, видя, что она сама не помышляет отдаляться, остался сидеть подле нее, и сердце его так громко колотилось, что, не усни Консуэло, она услышала бы его удары. Все волновало его: унылый шум ручья, стон ветра в елях, лунные лучи, пробивавшиеся сквозь щели крыши и спадавшие на бледное, обрамленное черными кудрями лицо Консуэло, и, наконец, то нечто жуткое и грозное, что сообщается природой сердцу человеческому, когда жизнь кругом него дика.

Он начал было успокаиваться и засыпать, как вдруг почувствовал у своей груди словно чьи-то руки. Он вскочил с сена и наткнулся на крошечного козленка, который прижимался к нему, чтоб погреться. Йозеф приласкал его и, хорошенько сам не зная почему, принялся целовать, орошая слезами. Наконец рассвело. Увидев более отчетливо благородный лоб и серьезные, спокойные черты Консуэло, юноша устыдился своих мук. Он поднялся и пошел освежить себе лицо и голову в ледяных струях потока. Казалось, ему хотелось очистить свой мозг от греховных мыслей, затуманивших его.

Консуэло скоро присоединилась к нему и стала умываться так же весело, как проделывала это каждое утро, чтобы стряхнуть с себя тяжесть сна и храбро освоиться с утренним холодком. Ее удивил расстроенный и грустный вид Гайдна.

— О! На этот раз, друг Беппо, вы хуже моего справляетесь с усталостью и волнениями, вы так бледны, как эти белые цветочки, словно плачущие над водой.



— А зато вы свежи, как эти чудные дикие розы, словно смеющиеся у берегов, — ответил Йозеф. — Мне кажется, что, несмотря на мою бесцветную физиономию, я все-таки не боюсь усталости, но вот волнения, синьора, это правда, я не умею переносить.

Все утро он был грустен. Когда же они сделали привал на чудном луку, под сенью дикого винограда, чтоб подкрепиться хлебом и орехами, Консуэло, желая выведать причину его мрачного настроения, закидала его таким множеством наивных вопросов, что он не смог удержаться от соблазна поведать ей о глубоком недовольстве и собой и своей судьбой.

— Ну, если уж вам так хочется знать, извольте: я думаю о том, что очень несчастлив, так как с каждым днем понемногу приближаюсь к Вене, где я связал себя на всю жизнь, в то время как сердце мое не лежит к этому. Я не люблю свою невесту и чувствую, что никогда не полюблю ее. Однако я обещал и сдержу слово.

— Да может ли это быть! — воскликнула пораженная Консуэло. — В таком случае, мой бедный Беппо, наши доли, казавшиеся мне во многом такими схожими, на самом деле совершенно противоположны: вы бежите к невесте, которую не любите, а я убегаю от жениха, которого люблю. Странная судьба: одним она дает то, что их страшит, а у других отнимает самое дорогое!

Говоря это, она дружески пожала ему руку, и Йозеф прекрасно видел, что слова ее отнюдь не были продиктованы ни зародившимся у нее подозрением насчет его безрассудства, ни желанием проучить его. Но благодаря этому урок оказался еще более действенным. Она сочувствовала его несчастью и горевала вместе с ним, в то же время показывая искренним восклицанием, вырвавшимся из глубины сердца, что она любит другого беззаветно и непоколебимо.

Это был последний порыв увлечения Йозефа ею. Он схватил скрипку и, с силой ударив по ее струнам, позабыл эту бурную ночь.

Когда они снова пустились в путь, он уже совсем отрезвился от этой невыносимой любви, и во время последовавших событий испытывал только сильнейшую, преданнейшую дружбу.

Когда Консуэло, видя Йозефа сумрачным, пыталась утешить его ласковыми словами, он говорил ей:

— Не беспокойтесь обо мне. Если я обречен не любить свою жену, то все-таки у меня остается дружба к ней, а дружба, я чувствую, может больше, чем вы думаете, утешить при отсутствии любви.

## LXIX

Гайдн никогда не имел оснований жалеть об этом путешествии и о душевных мучениях, с которыми ему приходилось бороться, так как никто до этого не давал ему таких прекрасных уроков итальянского языка и такого

совершенного представления о музыке. Во время их продолжительных остановок в хорошую погоду среди тенистой отрады Богемского леса наши юные артисты обнаружили друг перед другом весь свой ум, всю свою гениальность. Хотя у Йозефа Гайдна был прекрасный голос и он, как певчий, отлично владел им, хотя он мило играл на скрипке и еще на нескольких инструментах, тем не менее, слушая пение Консуэло, он очень скоро понял, насколько она выше его и какая она виртуозка, понял, что и без Порпора она могла бы сделать из него искусного певца. Но честолюбие и дарование Гайдна не ограничивались этим родом искусства, и Консуэло, видя, что при его здравом и глубоком понимании теории, он слаб на практике, сказала ему однажды с улыбкой:

— Не знаю уж, хорошо ли, что я посвящаю вас в пение, ведь если вы увлечетесь карьерой певца, то, чего доброго, загубите в себе высшие дарования. А ну-ка, посмотрим ваше творение! Невзирая на свои продолжительные и серьезные занятия контрапунктом с таким великим учителем, как Порпора, то, что я усвоила при этом, дает мне лишь возможность хорошо понимать гениальные творения, но, наберись я даже смелости, у меня не хватило бы пороку создать большую вещь. Если же в вас есть творческий талант, вы должны идти по этому пути, а к пению и игре на инструментах относиться, как к вспомогательным средствам.

Действительно, с тех пор как Гайдн встретился с Консуэло, он только и мечтал, что о карьере певца. Следовать за ней или жить подле нее, всюду встречать ее в ее бродячей жизни — вот что было его пламенной мечтой в последние дни. Поэтому ему не хотелось показывать ей свое произведение, хотя окончил он его перед отъездом в Пльзень и захватил с собой. Йозеф одинаково боялся и показаться ей посредственностью в этом жанре и обнаружить талант, который побудил бы ее воспротивиться его стремлению стать певцом. В конце концов, он уступил-таки и волей-неволей дал вырвать у себя таинственную тетрадь.

То была небольшая фортепианная соната, предназначавшаяся для его юных учеников. Консуэло начала с того, что стала безмолвно читать сонату глазами, а Йозеф с изумлением видел, как она при этом прекрасно схватывает вещь, словно слышит ее исполнение. Затем она заставила его сыграть некоторые пассажи на скрипке и сама пропела те, которые были доступны для голоса.

Не знаю, предугадала ли Консуэло в Гайдне по этой безделушке будущего творца «Сотворения мира» и столько других великих произведений, но она почувствовала в нем большого музыканта и, возвращая ему произведение, сказала:

— Мужайся, Беппо, ты выдающийся артист и можешь стать великим композитором, если будешь работать. У тебя несомненно есть идеи. А с идеями и знаниями можно далеко пойти. Приобретай же знание и постарайся преодолеть тяжелый характер Порпора, он именно тот учитель, какого тебе надо. А о сцене забудь — твое место не там. Твое орудие — перо. Не ты должен

слушаться, а к тебе должны прислушиваться. Когда можешь быть душой дела, зачем же делаться только одним из его орудий? Так-то, будущий маэстро! Бросьте упражнять свое горлышко трелями и каденциями. Вам надо знать, куда их помещать, а не как их выделять. Это уже касается вашей покорной и подвластной вам слуги, которая претендует на первую женскую роль, какую вы сообразовали написать для меццо-сопрано.

— О *Consuelo de mi alma!* — восторженно воскликнул окрыленный надеждами Йозеф. — Писать для вас! Быть понятым и переданным вами! Какие перспективы славы, честолюбивых мечтаний вы открываете передо мной! Но нет! Это грезы! Это безумие! Учите меня петь. Я лучше постараюсь передавать, как вы чувствуете и понимаете чужие идеи, чем вкладывать в ваши божественные уста звуки, недостойные вас.

— Ну, ну, довольно церемоний, — проговорила Консуэло, — пробуйте импровизировать то на скрипке, то голосом. Таким путем душа проникает на уста и в кончики пальцев, и я узнаю, есть ли в вас искра Божия или вы только ловкий ученик, бессознательно заимствующий у других.

Гайдн повиновался ей. Не без удовольствия убедилась она, что музыкальное его образование не так уж велико и что в его оригинальных идеях много молодости, простоты и свежести. Она все больше и больше подбадривала его и с этих пор решила заниматься с ним пением лишь для того, чтобы он мог пользоваться им для своей работы.

Затем они стали забавляться пением маленьких итальянских дуэтов, с которыми она его познакомила и которые он тут же выучил наизусть.

— Если до конца путешествия нам не хватит денег, так волей-неволей придется распевать на улицах, — сказала она ему. — Притом полиция может пожелать проверить наши таланты, приняв нас за бродяг-карманщиков; а таких горемык несчастных, позорящих наше ремесло, найдется достаточно. Будем же готовы ко всему! Мой голос на низких, контральтовых нотах может сойти за голос несложившегося юнца. Вам тоже следует разучить на скрипке аккомпанемент к нескольким моим песням. Увидите, что это совсем неплохое упражнение. В этих народных шуточных песенках много огня и самобытного чувства, а мои старинные испанские песни, так те просто гениальны, настоящие алмазы-самородки! Маэстро, воспользуйтесь ими! Идеи рожают идеи!

Занятия эти были полны прелести для Гайдна. Может быть, уже тогда среди них зародились идеи тех детских и милых пьесок, которые он впоследствии написал для марионеток малюток-принцев Эстергази. Консуэло вносила в эти занятия столько веселости, грации, оживления и остроумия, что к милому юноше вернулись и детская резвость, и беззаботное счастье, и он, забыв любовные мечты, лишения, беспокойства, жаждал только, чтоб это походное преподавание никогда не кончалось.

Мы не думаем давать маршрут всего путешествия Консуэло и Гайдна. Малоознакомые с тропинками Богемского леса, мы, полагаясь на свою память, могли бы дать неверные указания. Достаточно будет сказать, что первая поло-

вина этого путешествия, в общем, была более приятна, чем трудна, вплоть до приключения, которое мы не можем обойти молчанием.

Начиная от самого истока Молдавы, они все время придерживались северного берега этой реки, считая его менее людным и более живописным. Так они шли в течение целого дня по глубокому ущелью, нисходившему в том же направлении, что и Дунай. Приблизившись к Шенау, они заметили, что горная цепь спускается к равнине, и пожалели о том, что не пошли по противоположному берегу, возле другой горной цепи, которая, повышаясь, тянется к Баварии. Эти лесистые горы изобиловали большим количеством естественных убежищ и поэтических уголков, чем долины Богемии. Во время своих дневных привалов в лесах они забавлялись ловлей птичек силками и на клей. И когда после сна они находили в своих ловушках мелкую дичь, то тут же под открытым небом на костре из хвороста жарили плоды этой охоты и находили стряпню свою великолепной. Жизнь даровалась лишь одним соловьям, под тем предлогом, что эти музыкальные птички — их собратья.

Наши бедные дети принялись искать брод, но никак не могли найти его. Река была быстрая, с крутыми берегами, глубокая и к тому же вздувшаяся от дождей. Наконец наткнулись они на пристань, у которой прикреплена была маленькая лодочка, охраняемая ребенком. Они некоторое время колебались подойти, видя, что несколько человек уже опередили их и условиваются относительно переправы. Эти люди, попрощавшись друг с другом, разделились: трое собирались следовать вдоль северного берега Молдавы, в то время как двое других вошли в лодку. Эти обстоятельства заставили Консуэло принять решение:

— И справа и слева нам не избежать встречи, — сказала она Йозефу, — так лучше уже переправиться на тот берег, раз мы этого хотели.

Гайдн все еще колебался, уверяя, что у этих людей подозрительный вид, резкий говор и грубые манеры, когда один из них, как бы желая опровергнуть это неблагоприятное впечатление, остановил лодочника и обратился к Консуэло:

— Эй, дитя мое, идите сюда, — закричал он по-немецки, поманив ее добродушно-шутливым жестом, — лодка не особенно перегружена, и, если вы хотите, можете переехать с нами.

— Очень признателен вам, сударь, — ответил Гайдн, — мы воспользуемся вашим позволением.

— Ну, дети мои, прыгайте! — сказал тот, который только что обратился к Консуэло и которого товарищ называл Мейером.

Йозеф, едва усевшись в лодку, заметил, что оба незнакомца очень внимательно и с большим любопытством поглядывают то на Консуэло, то на него. Но лицо господина Мейера дышало добротой и веселостью, голос у него был приятный, манеры учтивы, а седеющие волосы и отеческий вид внушали Консуэло доверие.

— Вы музыкант, дитя мое? — спросил ее господин Мейер немного спустя.





*Лицо господина Мейера дышало добротой и веселостью, голос у него был приятный, манеры учтивые, а седеющие волосы и отеческий вид внушали Консуэло доверие.*



— К вашим услугам, добрый господин, — ответила Консуэло.

— Вы тоже? — спросил господин Мейер Йозефа и, указывая на Консуэло, прибавил: — Это, конечно, ваш брат?

— Нет, сударь, это мой друг, — сказал Йозеф, — мы даже не одной с ним национальности, и он мало понимает по-немецки.

— Из какой же он страны? — продолжал допрашивать господин Мейер, все поглядывая на Консуэло.

— Из Италии, сударь, — ответил опять Гайдн.

— Кто же он — венецианец, генуэзец, римлянин, неаполитанец или калабриец? — допытывал господин Мейер, с необыкновенной легкостью произнося каждое из этих названий на соответствующем ему диалекте.

— О сударь, я вижу, что вы можете говорить со всякими итальянцами, — ответила наконец Консуэло, боясь упорным молчанием обратить на себя внимание, — я из Венеции.

— А! Это чудный край! — продолжал Мейер, тотчас же переходя на родное для Консуэло наречие. — Вы давно оттуда?

— Всего полгода.

— И вы странствуете по свету, играя на скрипке?

— Нет, это он аккомпанирует на скрипке, — ответила Консуэло, указывая на Йозефа, — а я пою.

— И вы не играете ни на каком инструменте? Ни на гобое, ни на флейте, ни на тамбурине?

— Нет, мне это совсем не нужно.

— Но, если вы музыкальны, вы легко бы этому научились, не правда ли?

— Конечно, если б это понадобилось.

— Но вы об этом не думаете?

— Нет, я предпочитаю петь.

— И вы правы, но, однако, вам придется взяться за это или хотя бы временно переменить профессию.

— Почему же, сударь?

— Да потому что голос ваш, если уже не начал, так скоро начнет ломаться; сколько вам лет, — четырнадцать, пятнадцать, не больше?

— Да, около этого.

— Ну, так не пройдет и года, как вы запоете лягушкой, и далеко еще неизвестно, обратитесь ли вы снова в соловья. Для мальчика всегда опасен этот переход от детства к юности, — иногда с бородой теряется голос. На вашем месте я учился бы на флейте, с ней всегда заработаешь себе кусок хлеба.

— Там видно будет.

— А вы, любезный, играете только на скрипке? — обратился по-немецки господин Мейер к Йозефу.

— Простите, сударь, — ответил Йозеф, в свою очередь начинавший чувствовать доверие к доброму Мейеру, совершенно не смущавшему Консуэло, — понемножку я играю на нескольких инструментах.

— На каких же, например?

— На клавишине, арфе, флейте — понемногу на всех, когда есть случай поучиться.

— Имея столько талантов, вы совершенно напрасно бродите так по большим дорогам, — это тяжелое ремесло. Вижу, что товарищу вашему, который и моложе и слабее вас, это совсем не под силу, — он уже хромает.

— Вы заметили? — сказал Йозеф, также прекрасно видевший прихрамывание своей спутницы, хотя той и не хотелось признаться, что ноги у нее опухли и болят.

— Я прекрасно видел, с каким трудом он дотащился до лодки, — сказал Мейер.

— Что поделаешь, сударь! — проговорил Гайдн, скрывая под видом философского равнодушия свое огорчение. — Родишься ведь не для одних благ жизни и, когда приходится страдать, страдаешь!

— А разве нельзя жить и счастливее и приличнее, основавшись на месте? Мне неприятно видеть, что умные, скромные юнцы, какими вы мне кажетесь, занимаются бродяжническим ремеслом. Поверьте доброму человеку, самому имеющему детей и который, по всей вероятности, никогда больше не встретится с вами, дружочки мои. Ведя жизнь, полную приключений, убиваешь себя и развращаешься. Запомните же мои слова.

— Спасибо за ваш добрый совет, сударь, — проговорила, ласково улыбаясь, Консуэло. — Быть может, мы воспользуемся им.

— Да услышит вас Господь, мой маленький гондольер, — сказал господин Мейер Консуэло, которая машинально, по народной венецианской привычке, схватила весло и начала им грести.

Лодка причалила к берегу, сделав довольно большой крюк из-за быстрого течения. Господин Мейер дружески попрощался с молодыми артистами, пожелав им доброго пути, а его молчаливый спутник не позволил им заплатить лодочнику за перевоз. Вежливо поблагодарив их, Консуэло и Йозеф стали подыматься по тропинке, ведущей к горам, тогда как оба незнакомца пошли в том же направлении, придерживаясь низкого берега реки.

— Этот господин Мейер мне кажется хорошим человеком, — проговорила Консуэло, в последний раз взглянув на него сверху, когда тот уже исчезал из вида. — Уверена, что он прекрасный отец семейства.

— Он любопытен и боллив, — заметил Йозеф, — очень рад, что вы избавились от его расспросов.

— Разговорчив он, как все много путешествовавшие люди. Судя по легкости, с которой он владеет разными наречиями, этот Мейер настоящий космополит. Откуда он может быть родом?

— Выговор у него саксонский, хотя и на нижнеавстрийском наречии он говорит очень хорошо. Мне кажется, что он из северной Германии, верно, пруссак.

— Тем хуже; совсем не люблю я пруссаков, а короля Фридриха, после всего того, что я о нем слышала в Замке Великанов, люблю еще менее, чем весь его народ.

— В таком случае вы хорошо себя будете чувствовать в Вене: у этого воинственного короля-философа нет там приверженцев ни при дворе, ни среди населения.

Беседуя таким образом, они добрались до чащи леса и шли по тропинкам, которые то терялись среди сосен, то извивались по склону амфитеатра, образуемого бугристыми горами. Консуэло находила Карпатские горы скорее красивыми, чем величественными. Пропутешествовав много раз в Альпах, она не испытывала восторгов, подобно Йозефу, впервые видевшему такие высокие горные цепи. В то время, как все окружающее вызывало в юноше восхищение, спутница его была более склонна к мечтательности. К тому же Консуэло в этот день чувствовала большую усталость и делала огромные усилия, чтобы скрыть это, боясь огорчить Йозефа, и без того слишком печалившегося о ней.

Они поспали несколько часов, а потом, закусив и позанимавшись музыкой, на закате снова пустились в путь. Невскоре Консуэло, долго купавшая, подобно героиням идилий, свои изящные ножки в кристальных струях источника, почувствовала, что ее пятки совсем изранены булыжником, и была вынуждена сознаться, что ночной переход ей не под силу. К несчастью, местность здесь была совершенно пустынна, — ни хижины, ни монастыря, ни шалаша. Йозеф пришел в отчаяние. Было слишком холодно, чтобы ночевать под открытым небом. Наконец, сквозь узкий проход между двумя холмами они увидели у подошвы противоположного склона огоньки. Долина, куда они спустились, находилась уже в Баварии, но видневшийся город был гораздо дальше, чем они предполагали, и опечаленному Йозефу казалось, что с каждым шагом путников город все более отодвигается от них. В довершение несчастья, тучи обложили кругом все небо, и вскоре зарядил мелкий холодный ливень. Завеса дождя совсем скрыла огоньки от взоров наших путешественников, так что, спустившись не без труда и риска к подножью горы, они не знали, куда идти. Дорога все-таки оказалась довольно ровной, и они продолжали, все время спускаясь, тащиться по ней, как вдруг услышали стук ехавшего навстречу им экипажа. Йозеф, не колеблясь, обратился к едущим, желая получить сведения об этой местности и узнать, где можно найти приют.

— Кто там? — раздался ему в ответ грубый голос, и вслед за этим послышался звук взводимого курка, — прочь! Или размозжу череп!

— Мы не очень-то грозны, — ответил Йозеф, не смущаясь. — Посмотрите сами: нас двое детей, и мы просим только указать нам дорогу.

— Эге! — воскликнул другой голос, в котором Консуэло сейчас же узнала голос любезного господина Мейера. — Это мои утренние юные сорванцы. Узнаю выговор старшего. И вы тоже тут, гондольер? — прибавил он по-венециански, обращаясь к Консуэло.

— Это я, — ответила она также по-венециански. — Мы заблудились и просим вас, добрый господин, указать нам замок или конюшню, где мы могли бы приютиться. Скажите нам, если знаете.

— Эх, бедные мои ребята, — ответил Мейер, — вы по меньшей мере в двух милях от какого-либо жилья. В этих горах вам не найти и собачьей конуры. Но мне жаль вас, садитесь в мой экипаж; я могу, не стеснив себя, дать вам два места. Ну, не церемоньтесь же, всезайте!

— Сударь, вы, право, слишком добры, — сказала Консуэло, тронутая гостеприимством этого хорошего человека, — но вы ведь едете на север, а мы едем в Австрию.

— Нет, я еду на запад. Не больше чем через час я довезу вас до Биберека. Там вы переночуете, а завтра сможете добраться до Австрии. Это даже сократит ваш путь. Ну, решайтесь же, если не хотите мокнуть под дождем и задерживать нас.

— Смелей, нечего колебаться! — шепнула Консуэло Йозефу, и они сели в экипаж.

В нем они заметили трех человек: двое сидели спереди, причем один из них правил, а третий, господин Мейер, занимал заднее место. Консуэло поместилась в углу, Йозеф в середине. Экипаж был шестиместный, вместительный, прочный. Лошадь, крупная и сильная, подгоняемая энергичной рукой, снова пустилась рысью, звеня бубенчиками и нетерпеливо поводя ушами.

## LXX

— Не говорил ли я вам! — воскликнул господин Мейер, возобновляя разглагольствования, прерванные утром. — Ну, может ли быть ремесло более тяжелое и неприятное, чем ваше? Когда светит солнце, все как будто прекрасно, но оно ведь не всегда светит, и ваша доля так же изменчива, как и погода.

— А какая доля не изменчива и не сомнительна? — проговорила Консуэло. — Когда небо не милостиво, провидение посылает на нашем пути добрых людей, так что в данную минуту нам не приходится на него жаловаться.

— У вас хорошая голова, мой дружок, — ответил Мейер, — вы из той чудной страны, где все умны; но поверьте мне, ни ваш ум, ни прекрасный голос не помешают вам погибнуть от голода в этих унылых австрийских провинциях. На вашем месте я стал бы искать счастья в богатой, цивилизованной стране, под покровительством великого государя.

— Какого же? — спросила удивленная Консуэло.

— Да не знаю, право; их существует несколько.

— Но разве королева Венгрии не великая государыня? — вмешался в разговор Гайдн. — И разве в ее государстве нельзя найти покровительство?

— Ну, конечно, — ответил Мейер, — но вы не знаете, что ее величество Мария-Терезия ненавидит музыку, а бродяг еще больше, и что если вы появитесь вот так, в виде трубадуров, на улицах Вены, то будете изгнаны.

В эту минуту Консуэло снова увидела невдалеке, ниже дороги, те огоньки, которые раньше уже мелькали перед ними, и сообщила об этом Йозефу, а тот сейчас же выразил господину Мейеру желание сойти здесь и добраться до этого ночлега, более близкого, чем Биберек.

— Как! Вы это принимаете за огни? Огни-то это огни действительно, но только освещают они не жилье, а опасные болота, где немало путешественников заблудилось и погибло. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть блуждающие болотные огни?

— Много раз видал на венецианских лагунах и часто на маленьких озерах в Богемии, — ответила Консуэло.

— Так вот, дети мои, то, что вы видите там вдали, — такие же блуждающие огоньки.

Господин Мейер долго еще убеждал молодых людей в необходимости где-нибудь твердо обосноваться, говорил об отсутствии всяких ресурсов для них в Вене, не указывая, однако, места, куда он советовал им отправиться. Сначала Йозеф, пораженный его настойчивостью, испугался, не догадывается ли их спутник о поле Консуэло, но дружелюбное его отношение к ней, как к мальчику, доходившее до того, что он советовал ей не шататься по дорогам, а, придя в возраст, стать военным, успокоило его на этот счет, и он убедил себя, что добрейший Мейер — один из тех ограниченных людей с навязчивыми идеями, которые повторяют целый день какую-нибудь первую, с утра пришедшую им в голову мысль. Консуэло же принимала его не то за школьного учителя, не то за лютеранского пастора, который все время носит с мыслью о воспитании, нравственности и прозелитизме.

Через час среди полнейшей темноты они приехали в Биберек. Экипаж въехал на постоялый двор, где тотчас же два каких-то человека, отозвав Мейера в сторону, вступили с ним в разговор. Когда они вошли затем в кухню, где Консуэло с Йозефом грелись у очага и просушивали свою одежду, юноша узнал в них тех самых двух лиц, которые расстались с Мейером у перевоза, когда тот, оставив их на левом берегу Молдавы, сам переправился через реку. Один из них был кривой, а у другого хотя и имелись оба глаза, но лицо от этого не выглядело привлекательнее. Тот, что переправился с Мейером через реку и ехал с молодыми людьми в экипаже, также присоединился к ним, четвертый же не показывался. Все они переговаривались на наречии, непонятном даже для Консуэло, знавшей столько языков. Господин Мейер, по-видимому, пользовался среди них авторитетом и, во всяком случае, влиял на их решения, ибо, после общего довольно оживленного совещания вполголоса, Мейер высказал свое мнение, и все удалились, за исключением одного, которого Консуэло в разговоре с Йозефом назвала «молчальником», — того самого, что не расставался с Мейером.

Гайдн собирался было уже скромно поужинать со своей подругой на углу кухонного стола, когда господин Мейер, подойдя к ним, пригласил их разделить его трапезу и так при этом добродушно настаивал, что они не решились отказать.



Мейер увел их в столовую, где они попали на настоящий пир, так, по крайней мере, показалось двум бедным детям, лишенным всех этих прелестей во время своего пятидневного, далеко не легкого странствования. Однако Консуэло приняла в этом ужине очень сдержанное участие: роскошный стол Мейера, ухаживание за ним прислуги, большое количество вина, поглощаемое как им, так и его спутником, все это начинало изменять мнение девушки о пасторских добродетелях их амфитриона. Особенно коробило ее стремление Мейера заставить Йозефа и ее саму пить вина больше, чем им хотелось, и та пошлая игривость, с какой он не позволял им прибавлять воды к вину.

Еще с большим беспокойством замечала она, что Йозеф, по рассеянности или из желания подкрепиться, налегал на вино и становился общительнее и оживленнее, чем ей того хотелось. Наконец, несколько выведенная из терпения тем, что товарищ не обращает внимания на ее подталкивание локтем с целью удержать его от частых возлияний, она отняла у него стакан в тот момент, когда господин Мейер собирался снова наполнить его.

— Нет, сударь, нет! — проговорила она. — Позвольте не подражать вам! Нам это совсем не пристало.

— Странные вы музыканты! — воскликнул Мейер, смеясь с видом откровенной беззаботности. — Музыканты и не пьющие? Да вас первых таких встречаю!

— А вы, сударь, вы музыкант? — обратился к нему Йозеф. — Ручаюсь, что да! Черт меня побери, если вы не капельмейстер при дворе какого-нибудь саксонского принца!

— Возможно, — ответил, улыбаясь, Мейер. — Вот почему, дети мои, я и чувствую к вам симпатию.

— Если сударь — большой музыкант, то слишком велика разница между его талантом и талантом бедных уличных певцов, чтобы они могли особенно заинтересовать его, — возразила Консуэло.

— Среди бедных уличных певцов встречается больше талантов, чем это думают, — сказал на это Мейер, — и много есть великих музыкантов, даже капельмейстеров первейших государей мира, которые начали с того, что распевали на улицах. А если я вам скажу, что не далее, как сегодня утром, между девятью и десятью часами, я слышал два прелестных голоса, распевавших на левом берегу Молдавы красивый итальянский дуэт под прекрасный аккомпанемент, даже аккомпанемент знатока, на скрипке! И случилось это во время нашего с друзьями завтрака на холме. Между тем, когда стали спускаться с горы очаровавшие меня музыканты, я был поражен при виде двух бедных детей, одного одетого маленьким крестьянином, другого... очень милого, простого, но очень невзрачного на вид... Не конфузьтесь и не удивляйтесь, дружочки, выказываемой вам мною дружбе и докажите мне свою, выпив со мной за муз, наших общих и божественных покровительниц.

— Господин маэстро! — радостно воскликнул совсем покоренный Йозеф. — Хочу выпить за ваше здоровье. О! Я уверен, вы настоящий музыкант, раз вы пришли в восторг от таланта... синьора Бертони, моего друга.

— Нет, пить вы больше не будете! — сказала выведенная из терпения Консуэло, вырывая у него из рук стакан. — И я также, — прибавила она, опрокидывая свой, — мы живем только нашими голосами, господин профессор, а вино портит голос; мы должны, следовательно, поддерживать в себе трезвость и не давать себя спаивать!

— Ну, что ж, вы рассуждаете здраво, — сказал Мейер, ставя на середину стола графин, который он прятал за своей спиной. — Да, будем беречь голос. Отлично сказано! Вы благоразумны не по годам, друг Бертони, и я рад, что, испытав вас, убедился в вашей нравственности. Вы далеко пойдете! Об этом говорит и ваше благоразумие и ваш талант. Да, вы далеко пойдете, и я хочу иметь честь и заслугу содействовать этому.

Тут мнимый профессор, расположившись поудобнее и представляясь необычайно искренним и добрым, предложил увезти их с собой в Дрезден, обещая там доставить им уроки знаменитого Гассе и исключительное покровительство польской королевы, курфюрстины саксонской.

Принцесса эта, супруга Августа III, короля Польши, была, как мы уже знаем, ученицей Порпора. Это-то соперничество между Порпора и Sassone<sup>1</sup> за благоволение государыни-дилетантки было первоначальной причиной их глубокой вражды. Если бы Консуэло была даже склонна искать счастья в северной Германии, то и тогда она не выбрала бы для своего дебюта тот двор, где столкнулась бы со школой и партией, взявшей верх над ее учителем. Достаточно говорил ей об этом Порпора в минуты его обиды и горечи, чтобы она, будучи в курсе дела, могла последовать советам профессора Мейера.

Совершенно иначе был настроен Йозеф. Отуманенный выпитым за ужином вином, он вообразил, что встретил могущественного покровителя и вершителя своей судьбы. Ему не приходило в голову покинуть Консуэло, чтобы следовать за этим новым другом; но, будучи немного навеселе, он мечтал когда-нибудь снова встретиться с ним. Он верил в доброжелательство Мейера и горячо благодарил его. Опыренный радостью, он схватил скрипку и прескверно заиграл на ней. Это, однако, не помешало Мейеру шумно аплодировать ему, потому ли что он не хотел обидеть юношу, указывая на фальшивые ноты, или потому, думалось Консуэло, что и сам он был неважный музыкант. Его искреннее заблуждение относительно пола Консуэло, пение которой он слышал, говорило о том, что он не был преподавателем с очень развитым слухом, раз можно было его провести, словно какого-нибудь деревенского игрока на серпенте<sup>2</sup> или учителя-трубача.

Между тем господин Мейер продолжал все настаивать на том, чтобы они ехали с ним в Дрезден. Отказываясь от этого предложения в данный момент, Йозеф с таким сияющим лицом выслушивал его соблазнительные предло-

<sup>1</sup> *Sassone*, то есть «саксонец» — прозвище, данное итальянцами саксонскому композитору Иоганну-Адольф-Петеру Гассе.

<sup>2</sup> *Серпент* — деревянный покрытый медью духовой инструмент в форме спирали, напоминающий змею (*serpent*), откуда и произошло его название.

жения и так горячо обещал явиться к нему в самом ближайшем времени, что Консуэло нашла нужным открыть глаза Мейеру на неисполнимость такого обещания.

— В настоящее время и думать об этом нечего, — проговорила она очень решительным тоном, — вы ведь прекрасно знаете, Йозеф, что это невозможно, и у вас самого есть уже иные планы.

Мейер возобновил свои соблазнительные предложения, но был удивлен непоколебимостью не только Консуэло, но и Йозефа, который, как только в разговор вступал синьор Бертони, снова становился благоразумным.

Тем временем «молчаливый» путешественник, ненадолго появившийся только во время ужина, пришел за Мейером, и тот вышел с ним. Консуэло воспользовалась этой минутой, чтобы побранить Йозефа и за легковерие, с каким он относился к радужным обещаниям первого встречного, и за его увлечение хорошим вином.

— Неужели я сказал что-либо лишнее? — испуганно спросил Йозеф.

— Нет, — возразила она, — но неблагоприятно так долго общаться с незнакомыми людьми. Глядя на меня, в конце концов, можно заметить или хотя бы заподозрить, что я не мальчик. Как я ни старалась измазать карандашом свои руки и держать их, по возможности, под столом, но вряд ли могли эти господа не заметить их слабости, не будь они поглощены один своей бутылкой, другой — своей болтовней. Теперь нам было бы всего благоразумнее скрыться и отправиться ночевать на другой постоялый двор. Я чувствую себя как-то не по себе с этими новыми знакомыми, которые словно преследуют нас по пятам.

— Что вы! — воскликнул Йозеф. — Стыдно так уйти, даже не попрощавшись и не поблагодарив этого хорошего человека и, быть может, знаменитого профессора. Кто знает, не беседовали ли мы с самим великим Гассе!

— Ручаюсь, что нет, и, не будь вы навеселе, вы заметили бы немало жалких общих мест, высказанных им о музыке. Великие учителя так не рассуждают. Нет, это какой-нибудь второстепенный музыкант оркестра, добрый малый, болтун и порядочный пьяница. Не знаю почему, но когда я смотрю на его физиономию, мне кажется, что он никогда не играл ни на чем ином, как на медных инструментах, а его косой взгляд словно ищет всегда своего капельмейстера.

— Валторнист или второй кларнетист, а все-таки он приятный собеседник! — воскликнул, покатываясь от смеха, Йозеф.

— Ну, уж о вас этого никак нельзя сказать, — проговорила с некоторым раздражением Консуэло, — протрезвитесь же, простимся и пойдем.

— Дождь льет, как из ведра; слышите, как он стучит в окна?

— Надеюсь, вы не вздумаете заснуть над этим столом, — сказала Консуэло, расталкивая Йозефа, чтоб помешать ему спать.

В эту минуту в комнату вернулся Мейер.

— Вот так штука! — весело воскликнул он, — я рассчитывал здесь переночевать и завтра выехать в Шамб, а друзья заставляют меня вернуться

назад, уверяя, что я им необходим для денежных дел в Пассау. Приходится уступить. И раз мне нужно отказаться от удовольствия увезти вас в Дрезден, так позвольте, дети мои, дать вам добрый совет; воспользуйтесь этим случаем. По-прежнему я смогу уделить вам два места в своем экипаже, ибо эти господа поедут в другом. Завтра утром мы будем в Пассау, который всего в шести милях отсюда. Там я пожелаю вам доброго пути. Вы будете у австрийской границы и можете даже, не утомляясь, за небольшую плату спуститься на судне по Дунаю до Вены.

Йозеф, желая доставить отдых бедным ногам Консуэло, нашел предложение превосходным. Действительно, оказия казалась благоприятной, и путешествие по Дунаю было способом передвижения, о котором они еще не думали. Консуэло тоже согласилась, так как заметила, что Йозеф был на этот раз неспособен позаботиться о безопасном ночлеге. Впотьмах, забившись в угол экипажа, она могла не опасаться наблюдений своих спутников, а господин Мейер уверял, что в Пассау они приедут до рассвета. Йозеф был в восторге от ее решения. Однако Консуэло все-таки было не по себе, а вид друзей Мейера ей все более и более не нравился. Она спросила его, не музыканты ли также и его спутники.

— Все — более или менее, — лаконично ответил Мейер.

Экипажи оказались заложенными, кучера на своих местах, а трактирные слуги, очень довольные щедротами господина Мейера, из кожи лезли, чтоб до последней минуты угодить ему. Среди этой суеты, в момент затишья, Консуэло послышался стон, казалось, доносившийся из середины двора. Она обернулась к Йозефу, но тот ничего, видимо, не заметил. Когда же стон повторился еще раз, дрожь пробежала по всему ее телу. Однако никто как будто не обращал на это внимания, и она решила, что это визг какой-нибудь собаки, тяготящейся своей цепью. Но как ни пыталась Консуэло развлечься, жуткое чувство не покидало ее. Этот подавленный стон, среди мрака, ветра и дождя доносившийся из группы людей равнодушных или чем-то заинтересованных, причем она даже не была уверена, действительно ли это стон человеческий или игра воображения, произвел на нее впечатление чего-то зловещего. Сейчас же вспомнила она об Альберте и, как будто почувствовав, что способна участвовать в его таинственных откровениях, испугалась какой-то опасности, нависшей над головой ее жениха или ее собственной.

А экипаж уже катился. Новая лошадь, более сильная, чем первая, быстро тащила его. Другой экипаж, ехавший так же быстро, то отставал, то опережал их. Йозеф опять болтал с господином Мейером, а Консуэло пыталась заснуть, притворившись уже спящей, для того чтобы иметь право молчать.

Усталость взяла верх над ее грустью и беспокойством, и она заснула крепчайшим сном. Когда она проснулась, Йозеф тоже спал, а господин Мейер наконец умолк. Дождь перестал, небо прояснилось, и начинало светать. Местность была совершенно незнакома Консуэло. Только время от времени вырисовывались на горизонте вершины горной цепи, похожей на Богемский лес.

По мере того как проходила ее сонливость, она все с большим удивлением смотрела на эти горы, которые должны были бы быть слева от нее, а находились справа. Звезды уже погасли, но солнце, которому по ее расчету надлежало взойти спереди, еще не появлялось. Она решила, что горы, бывшие у нее перед глазами, не Богемский лес, а какие-то другие. Господин Мейер храпел, и она не решалась заговорить с возницей, единственным не спавшим в эту минуту человеком. Лошадь, поднимаясь по довольно крутому косогору, пошла шагом, а стук колес заглушался сырым песком колеи. Тут Консуэло снова явственно услышала тот глухой, мучительный стон, который уже доносился до нее на постоялом дворе в Бибереке. Голос этот, казалось, раздавался позади нее. Машинально она повернулась, но ей видна была только кожаная спинка экипажа, на которую она опиралась. «Уж не галлюцинация ли это», подумала Консуэло, и вдруг она, никогда не перестававшая думать об Альберте, с ужасом решила, что в этот момент он умирает и что благодаря непостижимым силам любви этого странного человека к ней доносятся его предсмертные вздохи, зловещие и будоражащие душу. Эта мысль до того завладела ею, что ей сделалось дурно. Боясь совсем задохнуться, она обратилась к вознице, когда тот остановился на половине подъема, чтобы дать передохнуть лошади, и попросила у него позволения пройти в гору пешком. Он разрешил ей и, прыгнув сам, пошел, посвистывая, подле лошади.

Человек этот был слишком уж хорошо одет для профессионального кучера. При каком-то его движении Консуэло показалось, что у него за поясом пистолет.

Подобная предосторожность в таком пустынном крае, каким они проезжали, была более чем естественна, да и форма экипажа, которую Консуэло, идя у колес, хорошо рассмотрела, говорила о том, что он содержит в себе товары. Экипаж был настолько глубок, что позади спинки сиденья должен был находиться ящик вроде тех, в которых перевозят ценности и депеши. А между тем экипаж, видимо, не был слишком нагружен, раз одна лошадь свободно могла везти его.

Гораздо более была поражена Консуэло тем, что тень ее впереди стала удлиняться, и, обернувшись, она увидела, что солнце уже совсем поднялось на горизонте, но не там, где ему следовало бы взойти, если бы экипаж действительно направлялся в Пассау, а на противоположной стороне.

— Куда же мы едем? — спросила она возницу, поспешно подходя к нему, — Мы повернулись к Австрии спиной.

— Да, на полчаса, — очень спокойно ответил тот, — мы возвращаемся назад, так как мост через реку, по которому нам надо ехать, сломан и приходится делать получасовой объезд, чтобы попасть на другой.

Немного успокоившись, Консуэло села в экипаж и обменялась несколькими незначительными словами с господином Мейером, который было проснулся, но тотчас снова уснул. Йозеф же спал все время без просыпу. Тут они добрались до вершины косогора, и Консуэло увидела перед собой длинную крутую и извилистую дорогу, а в глубине ущелья показалась река, о которой ей говорил возница. Но насколько мог видеть глаз, незаметно было



никакого моста, а между тем они подвигались все к северу. Встревоженная и удивленная, Консуэло больше не могла заснуть.

Вскоре представился новый подъем; лошадь выглядела очень утомленной. Все путешественники вышли из экипажа, кроме Консуэло, у которой все еще болели ноги. И вот тут-то опять послышался стон, но повторялся он так ясно и часто, что она никак не могла уже приписать это обману своих чувств: без всякого сомнения, стон шел из потайного ящика. Она тщательно осмотрела экипаж и открыла в углу, где все время сидел Мейер, маленький глазок, прикрытый кожей наподобие задвижки и сообщавшийся с ящиком. Она пыталась было его отодвинуть, но не смогла. Там оказался замок, ключ от которого находился, вероятно, в кармане мнимого профессора.

Консуэло, пылкая и мужественная в такого рода приключениях, вытащила из-за пазухи нож с крепким и острым лезвием; голос целомудрия и предчувствие опасностей, от которых самоубийство всегда может избавить энергичную женщину, побудили ее захватить его с собой. Она воспользовалась моментом, когда все путешественники были впереди, в том числе и возница, не имевший больше основания бояться, что лошадь будет горячиться, и быстрым уверенным движением расширила узкую щель между глазком и спинкой экипажа настолько, чтобы иметь возможность заглянуть во внутренность этого таинственного хранилища.

Каковы же были ее удивление и ужас, когда она увидела в этом тесном ящике, куда воздух и свет проникали только через проделанную сверху щель, мужчину огромного роста, с заткнутым ртом, окровавленного, с туго связанными руками и ногами, с телом, согнутым вдвое, в страшно неловком, мучительном положении.

Та часть его лица, которую можно было разглядеть, была мертвенно бледна и казалась искаженной предсмертными судорогами.

## LXXI

Оледенев от ужаса, Консуэло выскочила из экипажа, догнала Йозефа и украдкой сжала ему руку, давая этим знать, чтобы он отошел с ней подальше от группы.

Опередив компанию на несколько шагов, она чуть слышно проговорила:

— Мы погибли, если сейчас же не убежим: люди эти — грабители и разбойники. Я только что убедилась в этом. Ускорим шаг и бежим от них куда глаза глядят. У них есть какое-то основание обманывать нас.

Йозефу пришло в голову, что страшный сон расстроил воображение его спутницы. Он едва понимал то, что она говорила ему. Сам он чувствовал какую-то непривычную вялость, а боль в желудке указывала на то, что в выпитое им вчера вино хозяин трактира примешал что-то вредное и опьяняющее. Это не подлежало сомнению, потому что Йозеф не настолько нарушил свою обычную умеренность, чтобы чувствовать себя таким сонным и ослабевшим.

— Дорогая синьора, — ответил он, — вы под впечатлением какого-то кошмара, и, когда я слушаю вас, мне кажется, что я сам поддаюсь этому. Будь эти славные люди даже бандитами, как вам хочется думать, скажите, на какую богатую добычу могут они рассчитывать, захватив нас?

— Не знаю, но боюсь; и если бы вы, как я, своими глазами видели убитого человека в экипаже, в котором мы едем...

Здесь Йозеф не мог не рассмеяться, до того это заявление Консуэло в самом деле походило на галлюцинацию.

— Ах! Да неужели вы и того не замечаете, что они сбивают нас с пути и везут к северу, оставляя и Пассау и Дунай позади? — с жаром продолжала она. — Смотрите, где солнце, и обратите внимание, по какой пустыне мы движемся, вместо того чтобы подъезжать к большому городу!

Правильность этих наблюдений наконец поразила Йозефа и начала рассеивать то, можно сказать, летаргическое спокойствие, в котором он пребывал.

— Ну, что ж, идемте, — сказал юноша, ускорив шаг. — Их намерения станут ясны, если они против нашей воли захотят удержать нас.

— А если нам не удастся ускользнуть сейчас, то не теряйте хладнокровия, Йозеф, слышите! Нужно будет перехитрить их и улучшить другой момент.

Тут она дернула его за руку и притворилась, что хромает сильнее, чем вынуждала боль в ноге, но все-таки ускорила ход. Не успели они сделать так и десяти шагов, как были уже окликнуты сначала дружески, а затем более строго господином Мейером, но так как они не обращали на это внимания, то за ними понеслась энергичная брань остальных спутников. Йозеф оглянулся и с ужасом увидел направленный на них пистолет преследующего их возницы.

— Они убьют нас, — сказал он Консуэло, замедляя шаг.

— А разве мы еще находимся на расстоянии выстрела? — хладнокровно спросила она, увлекая его вперед и пускаясь бежать.

— Не знаю, — ответил Йозеф, стараясь остановить ее, — поверьте мне, нужный момент еще не настал. Они будут стрелять.

— Остановитесь, или я уложу вас на месте, — крикнул возница, бежавший быстрее их с пистолетом в вытянутой руке.

— Теперь надо брать смелостью, — сказала Консуэло, останавливаясь, — делайте, Йозеф, и говорите то же, что я.

— Эх, — громко проговорила она, оборачиваясь и смеясь с апломбом хорошей актрисы, — если б только больные ноги не мешали мне дальше бежать, я показал бы вам, что подшутить над нами вам не удастся.

Глядя на смертельно бледного Йозефа, она притворно громко расхохоталась и, указывая приближавшимся к ним другим спутникам на своего совершенно растерянного товарища, воскликнула с прекрасно разыгранной веселостью:

— Он этому поверил! Бедный мой товарищ поверил! Ах! Беппо! Я не считал тебя таким трусом. Ну, господин профессор, взгляните-ка на Беппо, он на самом деле вообразил, что господин хотел застрелить его!

Консуэло нарочно говорила по-венециански, своей веселостью сдерживая пыл человека с пистолетом, ни слова не понимавшего на этом наречии. Господин Мейер также сделал вид, что смеется. Затем, повернувшись к вознице, он сказал ему, подмигивая глазом (что прекрасно заметила Консуэло):

— Какая глупая шутка! Зачем пугать бедных детей?

— Мне хотелось узнать, насколько они храбры, — ответил тот, засовывая свои пистолеты за пояс.

— Увы! Господин будет о тебе печального мнения, друг Йозеф, — лукаво проговорила Консуэло. — А вот я не испугался, отдайте мне в этом справедливость, синьор Пистолет!

— Вы молодец! — заметил Мейер. — Из вас бы вышел славный барабанщик, и вы, не сморгнув, отбарабанили бы штурмовой марш во главе полка, несмотря на летающие снаряды.

— О! Это еще неизвестно, — возразила она, — может, и испугался бы, поверь я, что господин и вправду хочет нас убить. Но нам, венецианцам, знакомы всякие шуточные проделки, и нас не так-то легко провести.

— Все равно, мистификация эта дурного тона, — возразил Мейер, и, обернувшись к вознице, он как бы слегка пожурил его. Но Консуэло трудно было провести. По интонации их разговора она поняла, что они обсуждали происшедшее и пришли к заключению, что ошиблись, заподозрив юнцов в желании убежать.

Усевшись снова со всеми в экипаж, Консуэло, смеясь, обратилась к господину Мейеру:

— Согласитесь, что ваш возница с пистолетом — чудак; я буду теперь звать его синьор Пистолет. Все же, господин профессор, сознайтесь, что шутка его не так уже нова.

— Немецкая шуточка, — заметил Мейер. — В Венеции остроумнее, не правда ли?

— А знаете, что на вашем месте, желая подшутить над нами, проделали бы итальянцы? Они завели бы экипаж за первый попавшийся придорожный куст, а сами попрятались бы. И вот, когда мы, обернувшись и ничего не увидев, подумали бы, что это дьявольское наваждение, кто бы тогда был в дураках? Прежде всего я, едва передвигающий ноги, да и Йозеф тоже, трусливый, как бёмервальдская корова, решил бы, что его бросили в этой пустыне!

Господин Мейер принялся смеяться над его детским балагурством, переводя все синьору Пистолету, не менее его забавлявшемуся дурачеством «гондольера».

— О! Вы слишком хитроумны: мы уже больше не решимся подшутить над вами, — заявил Мейер.

И Консуэло, заметив глубокую иронию, пробившуюся наконец сквозь веселый отеческий тон этого мнимого добряка, продолжала разыгрывать роль простофили, воображающего себя умником, — прием, известный во всех мелодрамах.

Несомненно, их приключение было из серьезных, и, ловко разыгрывая свою роль, Консуэло была в очень возбужденном состоянии. К счастью, в таком состоянии действуют, а в удрученном — погибают.

Теперь она была настолько же весела, насколько до сих пор сдержанна, и Йозеф, уже пришедший в себя, удачно вторил ей.

Притворившись, будто, по их мнению, они действительно подъезжают к Пассау, молодые люди сделали вид, что очень внимательно прислушиваются к предложению отправиться в Дрезден, которое господин Мейер не преминул возобновить. Этим способом они заручились его полным доверием и дали ему возможность подыскать предлог для признания, что он без их согласия везет их в Дрезден. И предлог этот скоро был найден. Господин Мейер не был новичком в подобного рода похищениях. Произошел оживленный разговор на неизвестном языке между тремя лицами — господином Мейером, синьором Пистолетом и «молчальником». Затем они вдруг заговорили по-немецки, будто продолжая начатую ими беседу.

— Говорил же я вам, что мы сбились с пути, — воскликнул господин Мейер, — исчезновение ехавших за нами спутников доказывает это. Уже более двух часов, как они отстали от нас, и сколько я ни смотрю на косогор, я ничего не замечаю.

— Совсем их не видно, — подтвердил возница, высовываясь из экипажа и с унылым видом снова садясь на место.

Консуэло еще у первого подъема прекрасно заметила исчезновение другого экипажа, с которым они одновременно выехали из Биберека.

— Я был убежден в том, что мы заблудились, — сказал Йозеф, — но не хотел говорить об этом.

— Что ж вы, черт вас побери, скрывали это? — вмешался «молчальник», делая вид, что крайне раздражен этим открытием.

— Да потому что меня это забавляло, — сказал Йозеф, вдохновленный невинным коварством Консуэло. — Ведь забавно же заблудиться в экипаже! Я думал, что это случается только с пешеходами.

— Ну, что ж! И меня также это начинает забавлять, — сказала Консуэло. — Теперь мне бы хотелось, чтоб мы были на дрезденской дороге!

— Знай я, где мы, — возразил господин Мейер, — я бы тоже с вами порадовался, дети мои. Признаюсь вам, мне не очень-то улыбалось ехать в Пассау исключительно ради удовольствия господ моих друзей, и если мы действительно сбились с дороги, то я был бы очень доволен воспользоваться этим предлогом, чтоб не простирать дальше нашей к ним любезности.

— Право, господин профессор, — заговорил Йозеф, — поступайте, как знаете, это уж ваше дело. Если мы вам не в тягость и если вы по-прежнему не прочь захватить нас с собой в Дрезден, мы готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь на это?

— Да скажу то же, — ответила Консуэло, — будь, что будет!

— Славные вы ребята! — сказал на это Мейер, под напускной озабоченностью скрывая свою радость. — Но все-таки хотелось бы мне знать, где мы находимся.

— Где бы мы ни были, а нам надо сделать привал! — заявил возница. — Лошадь совсем выбилась из сил. Ведь со вчерашнего вечера она ничего не ела,

а везла всю ночь. Да все мы, без исключения, рады будем подкрепиться. Вот как раз лесок; кое-что из провизии у нас еще осталось. Стой!

Въехали в лес, распрягли лошадь. Йозеф и Консуэло с большой готовностью предложили свои услуги, что было доверчиво принято.

Оглобли экипажа опустили на землю, и так как при этом положение скрытого узника стало, должно быть, еще мучительнее, до слуха Консуэло вновь донесся его стон. Мейер также услышал его и пристально посмотрел на Консуэло, желая убедиться, обратила ли она на это внимание. Но девушка, хотя жалость и терзала ей сердце, сумела притвориться глухой и невозмутимой.

Мейер обошел вокруг экипажа, и отошедшая в сторону Консуэло видела, как он сзади открыл маленькую дверку, заглянул внутрь потайного ящика, затем закрыл ее и снова положил ключ в карман.

— Что, товар не поврежден? — крикнул Мейеру «молчальник».

— Все в порядке, — ответил тот со скотским равнодушием и велел готовить завтрак.

— Теперь, — быстро проговорила Консуэло, проходя мимо Йозефа, — иди за мной и делай все, как я.

Она помогла разложить на траве провизию и откупорить бутылки. Йозеф подражал ей, представляясь страшно веселым. Господин Мейер с удовольствием поглядывал, как прислуживающие ему добровольцы усердствуют.

Он любил блага жизни и принялся есть и пить в обществе своих товарищей с большей прожорливостью и более грубыми ухватками, чем накануне. Поминутно он протягивал стакан своим двум новым пажам, а те все время то вставали, то садились, то снова пускались бегом в ту или другую сторону, выслеживая момент, когда можно будет сбежать окончательно, но выжидая, чтоб вино и яства сделали менее бдительными их опасных стражей. Наконец господин Мейер, растянувшись на траве, выставил на солнце свою широкую грудь, украшенную пистолетами. Водница пошел посмотреть, хорошо ли ест лошадь, а «молчальник» отправился разыскивать на илистом берегу ручья, у которого была сделана стоянка, место, подходящее для водопоя.

Это послужило сигналом к освобождению. Консуэло сделала вид, что также разыскивает водопой, Йозеф забился с нею в кусты, и, как только они почувствовали, что их не видно за густой листвой, они пустились, как два зайца, бежать по лесу. Среди густых зарослей им уже нечего было бояться пуль. И когда они услышали, что их зовут, то оказались уже на достаточном расстоянии и могли без риска продвигаться вперед.

— А все же лучше ответить, — сказала, останавливаясь, Консуэло, — это рассеет их подозрения и даст нам время отбежать подальше.

И Йозеф отзывался:

— Сюда, сюда! Здесь вода!

— Источник! Источник! — кричала Консуэло.

И тут, повернув под прямым углом, чтобы сбить с толку неприятеля, они понеслись, как ветер. Консуэло уже не думала о своих больных, опухших



ногах, Йозеф освободился от действия наркотика, подбавленного Мейером накануне в его вино. Страх окрылял их.

Так бежали они минут десять в направлении, противоположном взятому ими сначала, не прислушиваясь даже к голосам зовущих их с двух сторон, и вдруг вылетели на опушку леса. Перед ними был крутой косогор, поросший густой травой и спускавшийся к проезжей дороге, а у его подножья заросли вереска, усеянные группами деревьев.

— Не будем выбираться из леса, — предложил Йозеф, — они явятся сюда и с этого возвышенного места увидят нас всюду, куда бы мы ни направились.

С минуту Консуэло колебалась, но, окинув быстрым взглядом местность, сказала Йозефу:

— Лес слишком мал для того, чтобы мы могли долго скрываться в нем. Перед нами — дорога и надежда встретиться на ней с кем-нибудь.

— Да это та самая дорога, по которой мы только что ехали! — воскликнул Йозеф. — Смотрите, она огибает холм и поднимается справа к месту, откуда мы убежали. Стоит одному из них сесть на лошадь, и он догонит нас, прежде чем мы успеем спуститься.

— Это еще неизвестно, — сказала Консуэло. — Под гору ведь бежать легко. А вон там на дороге что-то поднимается по направлению к нам. Весь вопрос в том, чтоб добраться туда, раньше чем нас настигнут. Бежим!

Некогда было терять время на размышление. Йозеф положился на вдохновение Консуэло. Вмиг спустились они с холма и едва успели добраться до первых зарослей, как услышали у лесной опушки голоса своих врагов. На этот раз они уже не откликнулись, а снова пустились бежать под защитой деревьев и кустарников, пока не наткнулись на ручей с крутыми берегами, которого не было видно из-за деревьев. Длинная доска служила мостом через него. Они перебрались по ней, а затем бросили доску в воду.

Очутившись на другом берегу, они продолжали спускаться вдоль ручья, все время под покровом густой растительности. Не слыша больше голосов, они решили, что враги либо потеряли их из виду, либо, не сомневаясь больше относительно их намерений, изыскивают способ накрыть их врасплох. Но вскоре береговые заросли кончились, и они остановились, боясь быть замеченными. Йозеф осторожно высунул голову из-за последних кустов и увидел одного из разбойников на страже у опушки леса, а другого (вероятно, то был синьор Пистолет, чью быстроту ног они уже испытали) у подножья холма, неподалеку от речки. В то время как Йозеф изучал положение противника, Консуэло двинулась по направлению к дороге. Вдруг она вернулась к нему.

— Экипаж едет, — проговорила она, — мы спасены! Необходимо добраться до него раньше, чем наш преследователь догадается переправиться через ручей.

— О Боже мой! — воскликнул Йозеф. — Что если это второй экипаж — экипаж сообщников!

— Нет, — ответила Консуэло, — это карета шестериком с двумя форейторами и двумя кучерами. Говорю тебе, мы спасены, еще немножко мужества!

Они побежали к дороге напрямик, не считаясь с оголенностью местности. Экипаж во весь карьер мчался им навстречу.

Действительно, надо было поскорее добраться до дороги: синьор Пистолет заметил их следы на песке ручья. Он был силен и быстр, как дикий кабан. Следы моментально привели его к сваям, на которых раньше лежала доска. Угадав их хитрость, он вплавь перебрался через ручей, разыскал на другом берегу следы и, идя по ним, уже выходил из-за куста.

Тут он увидел беглецов, пробиравшихся среди зарослей вереска... но увидел также и карету. Он понял их намерение, но, не имея возможности ему противодействовать, вернулся в кусты и стал ждать.

Крик двух молодых людей, принятых сперва за нищих, не остановил карету. Путешественники бросили несколько мелких монет, а сопровождавшие их форейторы, видя, что наши беглецы, вместо того чтобы их поднять, продолжали бежать у дверцы кареты, понеслись на них вскачь, стараясь избавить своих господ от такой назойливости. Консуэло, запыхавшись и изнемогая (как это обычно случается перед достижением цели), не была в состоянии произнести ни единого звука, а только продолжала бежать за всадниками, с мольбой протягивая к ним руки. Йозеф же, уцепившись за дверцу кареты, рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом!

— Помогите! Помогите! Грабители! Разбойники!

Одному из двух путешественников, сидевших в карете, наконец удалось разобрать эти отрывистые слова. Он подал знак форейтору, который и остановил кучеров. Тут Консуэло выпустила уздечку другого гайдука, за которую, невзирая на прыжки лошади и угрожавший ей хлыст всадника, она было ухватилась, и подошла к Йозефу. Лицо ее, возбужденное бегом, поразило путешественников, и они вступили в переговоры.

— Что все это значит? — спросил один из них. — Новая, что ли, манера выпрашивать милостыню? Вам подали уже, что же вам еще надо? Почему же вы не отвечаете?

Консуэло, казалось, была при последнем издыхании. Йозеф, еле переводя дух, мог только выговорить:

— Спасите нас! Спасите! — и при этом указывал на лес и холм, не будучи в силах прибавить ни одного слова.

— Они похожи на двух загнанных на охоте лисиц, — заметил другой путешественник, — подождем, пока они немного отдышатся.

И оба роскошно одетых вельможи посмотрели на них с хладнокровной улыбкой, являвшейся таким контрастом с возбужденным состоянием беглецов.

Наконец Йозефу удалось произнести еще слова: «Грабители, убийцы». Тотчас же благородные путешественники приказали открыть дверцы кареты и, став на подножку, посмотрели во все стороны, удивляясь тому, что не видят

ничего, оправдывавшего подобный переполох. Разбойники попрятались, и кругом все было пустынно и безмолвно.

Консуэло, придя в себя, заговорила, останавливаясь после каждой фразы, чтобы перевести дух.

— Мы оба, — начала она, — бедные странствующие музыканты. Нас захватили незнакомые нам люди, которые под видом услуги предложили нам сесть в свой экипаж и везли нас всю ночь. На заре мы заметили, что нас обманывают и везут на север, вместо того чтоб направляться в Вену. Мы хотели было бежать, но они пригрозили нам пистолетом. Наконец они сделали привал вон в том лесу. Мы от них убежали и понеслись навстречу вашему экипажу. Если вы нас теперь покинете, мы погибли: они в двух шагах от дороги, один здесь в кустах, другие в лесу.

— Сколько же их? — спросил фореитор.

— Друг мой, — по-французски ответил ему тот из путешественников, к которому обратилась Консуэло, так как он ближе других стоял к ней на подножке, — знайте, что вас совершенно не касается, сколько их! Станный вопрос! Ваша обязанность — драться, когда я вам прикажу, а считать врагов я вас вовсе не уполномочиваю.

— Вы в самом деле хотите позабавиться схваткой? — спросил по-французски второй вельможа. — Но помните, барон, что на это надо время.

— Времени надо немного, а кости нам разомнет! Хотите, граф, присоединиться ко мне?

— Пожалуй, если это вас забавляет, — и граф с величавой беспечностью взял в одну руку шпагу, а в другую два усыпанных драгоценными камнями пистолета.

— О господа, вы поступаете прекрасно! — воскликнула Консуэло, позабыв на минуту, в пылу возбуждения, свою скромную роль и пожимая обеими руками руку графа.

Граф, удивленный такой фамильярностью какого-то ничтожного мальчишки, с гадливой усмешкой посмотрел на свой рукав, отряхнул его и с презрением медленно перевел свой взгляд на Консуэло, а та не могла не улыбнуться, вспомнив, с каким пылом граф Дзустиньяни и другие знатные венецианцы в былые времена добивались милости поцеловать ту самую руку, пожатие которой теперь считалось столь оскорбительным.

Отразилась ли в эту минуту на лице Консуэло спокойная, скромная гордость, столь противоречившая ее убогому виду, или ее литературный язык хорошего общества заставил предположить в ней переодетого юного дворянина, или наконец инстинктивно почувствовалась прелесть ее пола, но только выражение лица графа вдруг сразу изменилось, и он улыбнулся ей уже не презрительно, а ласково.

Граф был еще молод, красив, и внешность его могла бы показаться ослепительной, не превосходя его барон молодостью, правильностью черт лица и статностью фигуры. Оба они, как гласила молва, были красивейшими мужчинами своего времени.

Консуэло, видя, что выразительные глаза молодого барона также с недоумением, удивлением и интересом устремлены на нее, отвлекла внимание обоих вельмож, сказав:

— Идите, господа, или, вернее, пойдете, мы будем вашими проводниками. В экипаже этих бандитов, в кузове, как в темнице, запрятан какой-то несчастный. Он лежит там, связанный по рукам и по ногам, умирающий, окровавленный, с кляпом во рту. Идите и освободите его! Это будет делом, достойным ваших благородных сердец!

— Клянусь Богом, это прекрасный мальчик! — воскликнул барон. — И я вижу, граф, что мы недаром теряли время, выслушивая его. Быть может, мы вырвем из рук этих бандитов какого-нибудь честного дворянина!

— Вы говорите, что они там? — спросил граф, указывая на лес.

— Да, — ответил Йозеф, — но они разбежались, и, если только вашим сиятельствам угодно будет узнать мое скромное мнение, вам следует разделиться для нападения: надо как можно скорее подняться в карете по этому косовету и достигнуть вершины холма. У самой опушки леса вы найдете экипаж с узником. Я же в это время проведу господ всадников напрямик. Бандитов всего трое. Они хорошо вооружены, но, увидев себя окруженными с двух сторон, не будут сопротивляться.

— Совет недурен, — промолвил барон. — Граф, оставайтесь в карете, и пусть с вами едет ваш слуга. Я беру его лошадь. Один из этих мальчиков проводит вас и укажет, где остановиться. Я увожу вот этого юношу вместе с моим егерем. Поспешим, а то разбойники, будучи, вероятно, настороже, могут опередить нас.

— Экипаж не может ускользнуть от вас, — заметила Консуэло, — лошадь еле жива от усталости.

Барон вскочил на коня графского слуги, а тот поместился на запятках кареты.

— Войдите, — сказал граф Консуэло, предоставляя ей пройти вперед, сам не отдавая себе отчета в этом почтительном жесте. Он, однако, уселся на главное место, а она осталась на переднем. В то время как фореиторы пускали лошадей вскачь, граф, высунувшись из окна кареты, не спускал глаз со своего товарища, который верхом на лошади переправлялся через ручей в сопровождении слуги, посадившего к себе на седло Йозефа. Консуэло далеко не была спокойна за своего бедного товарища, рисковавшего заполучить первую пулю, но с уважением и одобрением думала о том, с каким пылом он взялся за это опасное дело. Она видела, как он поднимался по холму в сопровождении всадников, лихо прищипоривавших своих коней. Затем все скрылись в кустах. Вдруг раздались два выстрела, потом еще один. Карета огибала холм. Консуэло, не зная, чем это кончилось, стала горячо молиться. Граф, испытывавший такую же тревогу за своего благородного товарища, с раздражением закричал фореиторам:

— Да погоняйте же, каналы! Вскать!





— Вы говорите, что они там? —  
спросил граф, указывая на лес.  
— Да, — ответил Йозеф, — но они разбежались...



LXXII

Синьор Пистолет, которого мы не можем называть иначе, чем окрестила его Консуэло, ибо не находим его настолько интересным, чтоб еще наводить о нем справки, видел из своего убежища, как карета остановилась на крик беглецов. Другой, безымянный, прозванный той же Консуэло «молчальником», сделал с холма те же наблюдения и пришел к тому же выводу: он бросился бежать к Мейеру, и они вместе стали обсуждать, как спастись.

Прежде чем барон переправился через ручей, синьор Пистолет уже опередил его и успел притаиться в чаще леса. Он дал им проехать, а потом пустил вслед два выстрела, из которых один прострелил шляпу барона, а другой слегка ранил лошадь слуги. Барон круто повернул коня, увидел стрелявшего, поскакал на него и пистолетным выстрелом свалил его на землю. Затем, предоставив раненому с проклятиями кататься среди колючек, сам последовал за Йозефом, подъехавшим к экипажу Мейера почти одновременно с графской каретой. Граф успел уже прыгнуть на землю. Мейер и «молчальник» исчезли с лошадью, не тратя времени на то, чтоб спрятать свой экипаж.

Первым делом победителей было сломать замок от ящика, где находился узник. Консуэло с восторгом помогала разрезать веревки и вынуть кляп несчастного, а узник, как только почувствовал себя свободным, бросился в ноги своим избавителям и стал благодарить Бога. Но едва успел он взглянуть на барона, как решил, что попал из огня в полымя.

— О! Господин барон фон дер Тренк<sup>1</sup>! — воскликнул он, — Не губите меня, не выдавайте. Сжальтесь, сжальтесь над несчастным дезертиром, над

<sup>1</sup> Фридрих *Тренк* (1726–1794) — прусский барон, прославившийся своими приключениями и несчастьями, о которых рассказал сам в своей трехтомной автобиографии (Берлин — Вена, 1786), переведенной им же на французский язык (Страсбург, 1789). Во время второй силезской войны, в 1744 г., он был ординарцем при Фридрихе Великом. Заподозрив его в сношениях с двоюродным братом Францем, состоявшим на австрийской службе, но, вернее, разгневавшись на его любовь к принцессе Амалии (родной сестре короля), Фридрих арестовал его и посадил в крепость Глац (в Силезии), откуда Тренк бежал в декабре 1746 г. сначала в Австрию, а потом в Россию, где служил в кавалерии; в 1749 г., после смерти Франца, вернулся в Австрию и служил в кирасирском полку. В 1756 г. поехал тайком в Данциг по поводу наследства, был снова арестован, посажен в крепость Магдебург и закован в пудовые цепи, по личному приказу Фридриха. После неудачных попыток бегства он получил свободу лишь в 1763 г. Переехал снова в Вену, жил в своих поместьях в Венгрии; в 1786 г., после смерти Фридриха, получил свои имения в Пруссии, жил в Берлине, в Кенигсберге; в 1788 г. переехал в Париж, в 1791 г. ездил в Вену и по возвращении в Париж в 1792 г. был, по приказанию Робеспьера, арестован и гильотинирован 25 июля 1794 г. (за два дня до 9 термидора) по подозрению в предательских сношениях с иностранной державой.



*Барон круто повернул коня, увидел стрелявшего,  
поскакал на него и пистолетным выстрелом  
свалил его на землю.*

отцом семейства! Ведь я пруссак не более, чем вы сами, господин барон; я австрийский подданный, как вы, и умоляю вас не арестовывать меня. О! Смилуйтесь надо мной!

— Простите его, господин барон фон дер Тренк! — воскликнула Консуэло, не зная ни с кем она говорит, ни о чем идет речь.

— Я тебя милую, — отвечал барон, — с условием, что ты самым страшным образом сейчас поклянешься мне никогда не говорить, кому ты обязан своей жизнью и свободой.

И с этими словами барон вынул из кармана носовой платок и тщательно закрыл им себе лицо, оставив открытым только один глаз.

— Вы ранены? — спросил граф.

— Нет, — ответил он, опуская поля своей шляпы на лицо, — но попадись нам эти мнимые разбойники, мне не очень хотелось бы быть ими узанным. Я и так уж не на слишком хорошем счету у своего милостивого монарха, этого только еще мне не хватало!

— Понимаю, в чем дело, — выговорил граф, — но будьте спокойны: я беру все на себя.

— Это может спасти дезертира от розог и виселицы, но не спасет меня от немилости. Да уж все равно, — почем знать, что может случиться; надо, рискуя всем, оказывать услуги ближнему. Ну, горемыка, можешь ты держаться на ногах? Что-то не очень, как видно. Ты ранен?

— Правда, меня страшно били, но теперь я этого не чувствую.

— Короче говоря, ты в силах удрать?

— О да, господин адъютант!

— Не называй меня так, чужак! Молчи и убирайся! Да и мы с вами, любезный граф, давайте сделаем то же самое. Мне не терпится поскорее выбраться из этого леса. Я убил вербовщика, и, дойди это только до короля, хорош бы я был! Хотя, в конце концов, все это пустяки! — прибавил он, пожимая плечами.

— Увы! — сказала Консуэло, в то время как Йозеф протягивал свою фляжку дезертиру, — если вы его здесь покинете, то его сейчас же снова заберут. Ноги его распухли от веревок, а руками он с трудом владеет. Взгляните, как он бледен и изнурен!

— Мы его не покинем, — заявил граф, не сводивший глаз с Консуэло.

— Франц, спешитесь, — приказал он своему слуге и, обращаясь к дезертиру, сказал: — Садись на эту лошадь, я дарю ее тебе и вот это в придачу, — прибавил он, бросая ему свой кошелек. — А хватит ли у тебя сил добраться до Австрии?

— Да, да, ваше сиятельство!

— Ты хочешь ехать в Вену?

— Да, ваше сиятельство!

— Хочешь опять поступить на службу?

— Да, ваше сиятельство, только не в Пруссии.



— Так отправляйся к ее императорскому королевскому величеству: она всех принимает раз в неделю, и скажи ей, что граф Годиц шлет ей в подарок красавца-гренадера, в совершенстве выдрессированного на прусский лад!

— Лечу, ваше сиятельство!

— Но смотри, не смей упоминать о господине бароне, а то, знай, сейчас же велю своим людям схватить тебя и отправить обратно в Пруссию.

— Лучше мне сейчас умереть! О! Если б негодяи не связали мне рук, я бы покончил с собой, когда они меня снова захватили!

— Проваливай!

— Слушаю, ваше сиятельство!

Он дочиста опорожнил фляжку, возвратил ее Йозефу, поцеловал его, не подозревая, что ему был обязан гораздо большим, бросился в ноги графу и барону благодарить их, но, остановленный на полуслове нетерпеливым жестом последнего, перекрестился, поцеловал землю и взобрался на лошадь с помощью слуг, так как еле мог шевелить ногами. Однако, очутившись в седле, он сразу приободрился, почувствовал прилив сил, пришпорил коня и умчался по южной дороге...

— Если когда-нибудь выйдет наружу, что я не удержал вас от этого поступка, — сказал барон графу, — то моя песенка спета. А впрочем, все равно, — добавил он, заливаясь смехом. — Идея подарить Марии-Терезии фридриховского гренадера просто великолепна. Этот олух, пускавший пули в уланов императрицы, теперь будет пускать их в кадетов прусского короля! Нечего сказать! Верные подданные! Прекрасные войска!

— Государям от этого не хуже служат, — проронил граф. — А что ж нам делать с этими мальчиками? — добавил он.

— Мы можем только повторить сказанное о гренадере, — ответила Консуэло. — Если вы нас здесь покинете, мы пропади!

— Мне кажется, что до сих пор мы не давали вам повода сомневаться в нашей гуманности, — проговорил граф, вкладывая в каждое произносимое им слово какое-то рыцарское чванство.

— Мы довезем вас до места, где вам нечего уже будет опасаться. Мой слуга, у которого я взял лошадь, сядет на козлы, — сказал он барону и, понизив голос, прибавил: — разве не предпочитаете вы общество этих двух мальчиков обществу слуги, которого нам пришлось бы взять в карету, что гораздо больше стеснило бы нас?

— Да, конечно, — ответил барон, — артисты, как бы бедны они ни были, нигде не будут неуместны. Кто знает, не есть ли вот этот самый музыкантик, нашедший в кустах свою скрипку и уносящий ее с такой радостью, будущий Тартини<sup>1</sup>? Ну, трубадур, идем, — сказал он Йозефу, действительно только что

---

<sup>1</sup> Джозеппе Тартини (1692–1770) — знаменитый итальянский скрипач-виртуоз и композитор; с 1721 г. жил в Падуе, где создал свою школу скрипачей. Из его сочинений особенно известна соната, удержавшаяся до сих пор в репертуаре скрипачей, под названием «Трель дьявола», навеянная, по преданию, сновидением, в котором он слышал, как дьявол исполнял эту мелодию на скрипке.



Он дочиста опорожнил фляжку,  
возвратил ее Йозефу, поцеловал его, не подозревая,  
что ему был обязан гораздо большим...



подобравшему на поле битвы свою сумку, скрипку и произведение, — едем с нами, а на первом же привале вы нам воспоете это славное сражение, где мы не нашли ни души, с кем бы перекинуться словечком.

— Вам, прикончившему одного из висельников, можно сколько угодно потешаться надо мной, — промолвил граф, когда они оба удобно расположились на заднем, а мальчики на переднем сиденье и карета быстро покатились к Австрии.

— В том-то и дело, что я не уверен, убил ли я его наповал, и очень боюсь когда-нибудь встретить его у дверей кабинета Фридриха. Охотно уступил бы вам честь этого подвига.

— А я, хотя мне не удалось даже видеть противника, — возразил граф, — искренне завидую вам. Я уже начал было входить во вкус этого приключения и с радостью наказал бы негодяев, как они того заслуживают. Подумайте только! Хватать дезертиров и набирать рекрутов в самой Баварии, верной союзнице Марии-Терезии! Наглость просто неслыханная!

— Это могло бы оказаться готовым поводом для войны, не будь мы утомлены войнами и не живи в такую мирную эпоху. Итак, вы очень обяжете меня, граф, если не станете разглашать это приключение не только из-за моего государя, который был бы крайне недоволен мной, узнай он о роли, мной сыгранной в этой истории, но и ввиду поручений, данных мне к вашей императрице. Она приняла бы меня очень недоброжелательно, явись я к ней под впечатлением такой дерзости, совершенной моим правительством.

— Можете быть совершенно спокойны относительно меня, — ответил граф, — вы знаете, что я подданный не особенно-то ревностный, ибо во мне нет честолюбия царедворца.

— Да какие же еще честолюбивые чувства вы могли бы питать, дорогой граф? И любовь, и богатство увенчали все ваши желания. А вот я... Ах! Как различна до сих пор наша судьба, несмотря на кажущееся с первого взгляда сходство!

Говоря это, барон вынул спрятанный на груди портрет, усыпанный бриллиантами, и стал нежно глядеть на него, тяжело при этом вздыхая, что показалось несколько смешным Консуэло.

Она нашла, что любовь, так открыто выказываемая, не является показателем хорошего тона, и в глубине души посмеялась над великосветской манерой себя держать.

— Дорогой барон, — проговорил граф, понижая голос (Консуэло притворилась, что ничего не слышит, и даже искренне старалась сделать это), — умоляю вас никого не удостаивать доверия, которым вы меня почтили, а главное — никому, кроме меня, не показывать этого портрета. Вложите его обратно в футляр и не забывайте, что этот мальчик так же хорошо понимает французский язык, как и мы с вами.

— Кстати, — воскликнул барон, пряча в футляр портрет, на который Консуэло постаралась не бросить ни единого взгляда, — что же собирались

сделать с этими мальчуганами наши вербовщики? Скажите, что предлагали они вам, уговаривая ехать с собой?

— Действительно, — сказал граф, — я как-то об этом не подумал, да и теперь не могу объяснить себе эту их фантазию; спрашивается, зачем понадобились эти дети им, стремящимся набрать людей зрелого возраста, и притом богатырского сложения.

Йозеф рассказал, как мнимый Мейер выдавал себя за музыканта и не переставал говорить им о Дрездене и ангажементе в капеллу курфюрста.

— А! Теперь понимаю, — сказал барон, — я поручусь, что знаю этого Мейера. Это, должно быть, Н., бывший начальник военных оркестров, а теперь вербовщик музыкантов в прусские полки. Наши туземцы туповаты: они играют фальшиво и не в такт; у его величества слух потоньше, чем у его батюшки, покойного короля, а потому он вербует своих трубачей, флейтистов и горнистов в Богемии и Венгрии. Милейший профессор какофонии думал сделать хороший подарок своему властелину, привезя ему, помимо дезертира, выловленного на вашей земле, еще двух смысленных музыкантиков. А соблазнять Дрезденом и придворными прелестями было совсем неплохо придумано для начала. Но вам бы Дрездена и в глаза не видать, дети мои, и вы волей-неволей были бы зачислены до конца своих дней в оркестр какого-нибудь пехотного полка.

— Теперь я ясно себе рисую ожидавшую нас участь, — ответила Консуэло. — Я слышал рассказы об ужасах этого военного строя, об обманном и жестоком похищении рекрутов. По тому, как обошлись эти негодяи с несчастным гренадером, я вижу, что в рассказах этих не было преувеличений. О! Великий Фридрих...

— Да будет вам известно, молодой человек, — проговорил барон с напыщенностью, несколько иронической, — что его величеству неведомы способы действий, он знает только результаты их.

— Которыми пользуется, не заботясь об остальном, — возразила под влиянием неудержимого негодования Консуэло. — О! Я прекрасно знаю, господин барон, короли никогда не бывают виноваты, они неповинны во всем, что творится в угоду им!

— А плутишка не так глуп, — смеясь, воскликнул граф, — но будьте осторожны, хорошенький мой маленький барабанщик, и не забывайте, что вы говорите в присутствии старшего офицера полка, куда вы должны были, быть может, попасть.

— Умея сам молчать, господин граф, я никогда не сомневаюсь в скромности других.

— Слышите, барон. Он обещает вам свое молчание, о чем вы и не помышляли просить его. Ну, право, прелестный мальчик!

— И я всем сердцем полагаюсь на него, — проговорил барон. — Граф, — продолжал он, — вам бы следовало завербовать его и предложить в пажи ее высочеству.

— Готов, если он согласен на это, — смеясь, сказал граф, — хотите поступить на эту службу, гораздо более приятную, чем прусская? Да, дитя мое, тут не придется ни дуть в медные трубы, ни отбивать на барабанах сбор, ни получать тумачи, ни есть хлеб из толченого кирпича, а только поддерживать шлейф и носить веер замечательно красивой и прелестной дамы, жить в волшебном замке, принимать участие в играх и веселье и выступать на концертах, не уступающих концертам Фридриха. Что? Все это не соблазняет вас? Не принимаете ли уж вы меня за второго Мейера?

— А кто же это высочество? Кто эта величественная и прелестная дама? — спросила, улыбаясь, Консуэло.

— Это, — ответил граф Годиц, — вдовствующая маркграфиня Байрейтская, княгиня Кульмбахская, а ныне моя прославленная супруга и владелица замка Росвальда в Моравии.

Много раз приходилось слышать Консуэло рассказы канониссы Венцеславы фон-Рудольштадт о генеалогии, браках, анекдотов о происхождении княжеских и аристократических родов, больших и малых, как Германии, так и соседних с ней государств. Некоторые из этих биографий поразили Консуэло, и среди них была и биография графа Годица-Росвальда, богатейшего моравского вельможи. Изгнанный и отверженный отцом, разгневанным его распутством, этот авантюрист был известен всем европейским дворам; наконец он стал обер-штаб-мейстером и любовником вдовствующей маркграфини Байрейтской, потом, тайно обвенчавшись с ней, увез ее сначала в Вену, а затем в Моравию, где, унаследовав богатства отца, сделал ее незадолго перед тем обладательницей громадного состояния.

Канонисса часто возвращалась к этой истории, находя ее весьма скандальной ввиду того, что маркграфиня была владелицей принцессой, а граф — обыкновенным дворянином. Для нее это был повод обрушиться на мезальянсы и на браки по любви. Консуэло, желая понимать и знать кастовые предрассудки дворянства, извлекала пользу из этих разоблачений и не забывала их. Когда граф Годиц впервые назвал себя, ей сразу показалось, что с этим именем у нее связаны какие-то смутные воспоминания; теперь же перед ней ясно вставали все обстоятельства жизни и романтического брака этого знаменитого авантюриста. Что же касается барона фон дер Тренка, для которого тогда только начиналась его шумевшая опала и которому не дано было предугадать свое ужасное будущее, то о нем ей никогда до сих пор не приходилось слышать.

Итак, она внимала рассказам графа, не без хвастовства рисовавшего картину своего нового богатства. Осмеянный и презираемый маленькими надменными дворами Германии, Годиц не раз краснел, чувствуя, что на него смотрят как на бедняка, обогатившегося благодаря жене. Унаследовав огромные имения, выставляя напоказ царскую роскошь в своем моравском графстве, он отныне считал честь свою восстановленной и любил подчеркивать свои новые преимущества на зависть мелким государям, гораздо более

бедным, чем он. Полный внимания и нежнейшей заботливости к своей маркграфине, он, однако, не считал необходимой безупречную верность по отношению к жене, бывшей гораздо старше его. А принцесса эта, потому ли что у нее были хорошие принципы и утонченный такт ее эпохи, заставлявшие закрывать глаза на многое, или потому что она считала недопустимым, чтоб возвеличенный ею супруг когда-либо мог заметить увядание ее красоты, — не препятствовала его похождениям.

Проехав несколько миль, они сделали остановку на месте, где заранее все было приготовлено для приема знатных путешественников. Консуэло и Йозеф, выйдя из кареты, хотели здесь проститься с ними, но те воспротивились, ссылаясь на возможность новых посягательств на них со стороны повсюду снующих в этой местности вербовщиков.

— Вы не знаете, — сказал им Тренк (и он нисколько не преувеличивал), — до чего ловко и страшно это отродье. В какое бы место просвещенной Европы вы ни попали, если вы бедны и беззащитны, если вы физически сильны или у вас есть какие-нибудь дарования, вы рискуете попасть в лапы этих плутов и насильников. Им известны все переходы на границах, все горные тропинки, все проселочные дороги, все подозрительные притоны, все мерзавцы, на поддержку и помощь которых они могут рассчитывать в случае надобности. Они знают все языки, все наречия, так как всюду побывали, перепробовали все профессии. Они бесподобно управляют лошадью, бегают, плавают, перепрыгивают через пропасти, как истые бандиты. Они почти все поголовно смельчаки, не знают усталости, ловки, бесстыжи, мстительны, изворотливы и жестоки, это изверги человеческого рода, из которых военная организация покойного короля Вильгельма Толстого сделала самых полезных агентов своего могущества, лучших столпов дисциплины. Они настигнут дезертира и в дебрях Сибири, отправятся разыскивать его под пулями вражеских войск, из-за одного удовлетворения доставить его обратно в Пруссию, чтобы там его повесили ради примера. Они вытащили из алтаря священника, служившего обедню, только потому что он был ростом в пять футов и десять дюймов; выкрали врача у супруги великого курфюрста; раз десять приводили в ярость старого маркграфа Байрейтского, угоняя его полк, состоящий из двадцати-тридцати человек, причем он не дерзал даже открыто требовать отчета в этом; они обратили в пожизненного солдата французского дворянина, ехавшего на свидание с женой и детьми в окрестностях Страсбурга; хватали русских у царицы Елизаветы, уланов у маршала Саксонского, пандуров у Марии-Терезии, венгерских магнатов, польских вельмож, итальянских певцов и наконец женщин всех национальностей, этих новых сабинянок, выдаваемых ими насильно замуж за солдат. Они берут все, что попадется; помимо щедрого вознаграждения и путевых издержек, они получают известную премию с каждой головы; да нет, что я говорю! С каждого дюйма, с каждой линии роста...

— Да, — проговорила Консуэло, — они поставляют человеческое мясо по столько-то за унцию. Ах! Ваш великий король — настоящее чудовище...

Но будьте спокойны, господин барон, можете говорить свободно: вы совершили прекрасное дело, освободив бедного дезертира. И я предпочел бы вынести пытки, предназначенные ему, чем вымолвить слово, могущее вам повредить.

Тренк со своим горячим характером не признавал осторожности и, будучи уже раздражен непонятной для него суровостью и несправедливостью Фридриха, находил горькое удовольствие в разоблачении перед графом Годицем беззаконий того самого государственного строя, которого он был и свидетелем и соучастником в дни своего благоденствия, когда взгляды его были не всегда так справедливы и так строги. Теперь же, тайно преследуемый, хотя и получивший, очевидно, благодаря доверию короля, важное поручение к Марии-Терезии, барон начинал ненавидеть своего повелителя и слишком откровенно высказывать свои чувства. Он обрисовал графу страдания, рабство и отчаяние многочисленной прусской армии, очень ценной во время войны, но столь опасной в мирное время, что пришлось для обуздания ее прибегнуть к системе беспримерного террора и жестокости. Рассказал он об эпидемии самоубийств, свирепствующей в армии, и о преступлениях, совершаемых солдатами, даже честными и набожными, с единственной целью добиться смертного приговора и избавиться таким путем от ужасов той жизни, которую им уготовили.

— Поверите ли, — говорил он, — что солдаты особенно горячо стремятся попасть в «ряды поднадзорных». Надо вам сказать, что эти «поднадзорные ряды» пополняются рекрутами-иностранцами, людьми выкраденными и прусской молодежью. Все они в начале своей военной карьеры, кончающейся для них только вместе с жизнью, обычно в первые годы бывают в страшном отчаянии. Их разбивают на ряды, которые как в мирное, так и в военное время заставляют маршировать впереди ряда людей более покорных или более решительных, получивших приказ стрелять в каждого, идущего перед ним, при малейшей его попытке к бегству или неповиновению. Если же ряд, которому поручена эта экзекуция, не выполнит ее, то следующий за ним ряд, выбранный из еще более бесчувственных и более жестоких (а такие встречаются между старыми, очерствелыми солдатами и добровольцами, почти поголовными негодьями), то этот третий, говорю я, ряд обязан стрелять в оба передних, и так далее, в случае если и третий оплошает при выполнении экзекуции. Таким образом, каждый из рядов войска имеет во время сражения врага перед собой и врага позади себя и нигде близких — товарищей или братьев по оружию. Повсюду насилие, смерть и ужас. Только таким образом, говорит великий Фридрих, создаются непобедимые солдаты. Так вот в этих именно рядах и домогается юный прусский солдат желанного места, и, добившись его и потеряв всякую надежду на спасение, он бросает оружие и бежит, чтобы навлечь на себя пули своих товарищей. Этот порыв отчаяния спасает некоторых; и им, рискуя всем и бравидуя непреодолимыми опасностями, порой удастся бежать и нередко



передаться врагу. Король прекрасно знает, с каким ужасом относятся в армии к его железному ярму. И вам, быть может, известна его острота, сказанная им племяннику, герцогу Брауншвейгскому, присутствовавшему на одном из его больших смотров и не перестававшему восхищаться прекрасной выправкой солдат и вообще чудесными маневрами.

— Вас удивляет, — обратился к нему Фридрих, — такое сборище и единодушие стольких красавцев, а меня несравненно больше удивляет нечто другое.

— А что же? — спросил молодой герцог.

— Да то, что мы оба с вами посреди них в безопасности, — ответил король.

— Барон, дорогой барон! — возразил граф Годиц. — Это обратная сторона медали. Чудес люди не творят! Как бы мог Фридрих быть величайшим полководцем своего времени, отличайся он голубиной кротостью?.. Знаете что? Не говорите больше о нем. А то, пожалуй, вы вынудите меня, естественного врага Фридриха, защищать короля против вас, его адъютанта и любимца!

— Из того, как он обращается со своими любимцами в дни капризов, можно судить о том, как он относится к рабам. Но вы правы; не будем больше говорить о нем, так как при этом у меня является дьявольское желание вернуться в лес и собственными руками передуть его усердных поставщиков человеческого мяса, которых я пощадил из-за глупого и подлого благоразумия!

Великодушная горячность барона пришлась по сердцу Консуэло. Она с интересом слушала его живые рассказы о прусской военной жизни и, не зная, что к смелому негодованию барона примешивается немного и личного недовольства, считала это признаком благородного характера. Но в душе Тренка было и несомненное благородство. Этот гордый молодой красавец не был рожден для низкопоклонства. Он очень отличался от своего новоиспеченного в дороге друга, надменного богача Годица. Граф, нагонявший в детстве ужас и отчаяние на своих воспитателей, был наконец предоставлен самому себе, и хотя теперь уже вышел из возраста буйных дурачеств, но в его манерах и разговорах было нечто мальчишеское, что противоречило его геркулесовой фигуре и красивому лицу, несколько поблекшему за сорок лет хронической неводержанности и переутомления. Поверхностные знания, которыми он от времени до времени любил прихвастнуть, были почерпнуты им исключительно из чтения романов, из модной философии и из посещения театров. Он воображал себя артистом, но и в этом, как и во всем, ему не хватало глубины и сознательности. Однако его барский вид, утонченная любезность и веселые остроты пленили юного Гайдна, и он нравился ему гораздо больше барона, быть может, еще и потому что к последнему с явным интересом относилась Консуэло.

Барон же, напротив, получил хорошее образование. И, хотя обаяние придворной жизни, кипучая молодость часто заставляли его забывать истинную цену человеческого величия, в глубине души он сохранил ту независимость, те справедливые убеждения и влечения, которые даются серьезным людям

чением и образованием. Его гордый характер мог измениться под влиянием лести и угодничества, но не настолько, чтобы не проявить себя при малейшей несправедливости с запальчивостью и гневом. Красавец, паж Фридриха смочил губы в кубке с ядом, но любовь, любовь безграничная, смелая, экзальтированная снова воскресила в нем отвагу и твердость. Пораженный в самое чувствительное место своего сердца, он поднял голову и вызывающе вел себя перед тираном, желавшим поставить его на колени.

В то время, о котором мы повествуем, на вид ему было не больше двадцати лет. Целый лес каштановых волос, которыми он не хотел жертвовать ради дисциплины Фридриха, осенял его высокий лоб. Великолепно сложенный, с искрящимися глазами, с черными, как смоль, усиками, с белыми, как алебастр, но сильными, как у атлета, руками, он обладал и голосом не менее свежим и мужественным, чем его лицо, мысли и любовные упования. Консуэло не могла не думать об этой таинственной любви, о которой он не переставал говорить, но она уже не казалась ей смехотворной с тех пор, как девушка подметила в его порывах и замалчиваниях смесь прирожденной пылости и вполне обоснованной недоверчивости, что постоянно заставляло его бороться с самим собой и со своей долей. Консуэло невольно испытывала сильное желание узнать, кто была дама сердца этого юного красавца, и она ловила себя на том, что самым искренним образом желала успеха этим двум романтическим любовникам.

День не показался ей длинным, как она того ожидала, боясь тягостного пребывания с глазу на глаз с двумя незнакомцами из чуждого ей круга. В Венеции она получила понятие, а в Замке Великанов и привычку к вежливости, приятным манерам, изысканным речам, являвшимся хорошей стороной того общества, которое одно только в то время называли «хорошим». Будучи сдержанной и не вступая в разговор, пока к ней не обратятся, она чувствовала себя спокойной и обдумывала на свободе все, о чем ей приходилось слышать.

Ни барон, ни граф, по-видимому, не заметили, что она переодета. Барон не обращал никакого внимания ни на нее, ни на Йозефа. Если же он и бросал им несколько слов, то делал это между прочим, продолжая начатый разговор с графом; но вскоре, увлекшись, он забывал даже и о нем, беседуя, казалось, с собственными мыслями как человек, ум которого питается собственным внутренним огнем.

Что же касается графа, он был то важен, как монарх, то резв, как французская маркиза. Он вынимал из кармана тонкие таблички из слоновой кости и что-то заносил на них с сосредоточенным видом мыслителя или дипломата, затем, напевая, перечитывал их, и Консуэло видела, что это были французские слащаво-любовные стишки. Порой он декламировал их барону, который, не слушая, находил их чудесными. Иногда самым добродушным образом граф совещался с Консуэло, спрашивая ее с деланной скромностью:

— Как находите вы это, юный мой друг? Ведь вы понимаете по-французски, не правда ли?

Консуэло, которой надоела притворная снисходительность Годица, по-видимому, желавшего ее поразить, не могла удержаться от того, чтобы не указать ему на две-три ошибки в его четверостишии «К красоте». Мать научила Консуэло красивым оборотам в иностранных языках, на которых сама пела с легкостью и даже некоторым изяществом. Консуэло, любознательная и музыкальная, а потому во всем искавшая гармонию, меру и ясность, впоследствии глубже усвоила из книг правила различных языков. Упражняясь в переводе лирических стихов и приравнивая иностранные слова к народным песням, она обращала особенное внимание на словоударение, чтобы ориентироваться в произношении и ритме. Таким путем ей удалось хорошо изучить стихосложение нескольких языков, а потому не стоило большого труда указать моравскому поэту на его погрешности.

Восхищенный познаниями Консуэло, но не будучи в силах усомниться в своих собственных, Годиц обратился за третьей судом к барону, и тот оказался настолько компетентным в этом вопросе, что согласился с мнением маленького музыканта. С этой минуты граф исключительно занялся Консуэло, не подозревая, по-видимому, ни ее настоящего возраста, ни пола. Он только спросил, где «он» получил образование, что так хорошо усвоил законы Парнаса.

— В одной бесплатной певческой школе в Венеции, — лаконично ответила она.

— По-видимому, учение в этой стране поставлено лучше, чем в Германии. А ваш товарищ, где он учился?

— При венском соборе, — ответил Йозеф.

— Дети мои, — продолжал граф, — вы оба мне кажетесь и умными, и способными. На первой же нашей остановке я делаю вам экзамен по музыке, и, если оправдается то, что обещают ваши лица и ваши манеры, я приглашаю вас в свой оркестр или театр в Росвальде. Серьезно, я хочу вас представить маркграфине. Что вы на это скажете? А? Это было бы большим счастьем для таких мальчиков, как вы.

Консуэло едва сдерживала смех, слыша, что граф собирается экзаменовывать по музыке ее и Гайдна. Она смогла только почтительно поклониться, делая невероятные усилия, чтобы не расхохотаться. Йозеф же, чувствуя все выгоды для себя нового покровительства, поблагодарил и не отказался.

Граф снова взялся за свои таблички и прочел Консуэло половину маленького, удивительно скверного, полного ошибок итальянского либретто, которое он сам собирался положить на музыку и поставить в день именин жены в собственном театре, с собственными актерами, в собственном замке, вернее, в собственной «резиденции», ибо, считая себя благодаря браку с маркграфиней принцем, он иначе не выражался.

Консуэло время от времени подталкивала Йозефа под локоть, желая обратить его внимание на промахи графа. Умирая от скуки, она говорила себе, что если знаменитая красавица наследственного маркграфства Байрейтского с уделом Кульмбаха дала увлечь себя подобными мадригалами, то, невзирая

на свои титулы, любовные похождения и годы, она должна была быть особой крайне легкомысленной.

Читая и декламируя, граф, чтобы смягчить горло, ел конфеты, то и дело угощая ими своих юных спутников, а те, не имея со вчерашнего дня во рту ни маковой росинки и умирая от голода, уписывали, за неимением лучшего, и эту пищу, способную скорее обмануть голод, чем удовлетворить его. И каждый из них про себя думал, что и конфеты и стихи графа довольно-таки безвкусны.

Наконец уже под вечер на горизонте показались крепостные стены и шпицы того самого города Пассау, куда, как Консуэло думала еще этим утром, ей никогда не добраться. После стольких пережитых опасностей и ужасов она почти так же обрадовалась этому городу, как в другое время обрадовалась бы Венеции. Когда же они переправлялись через Дунай, она не могла удержаться от того, чтобы радостно не пожать руку Йозефу.

— Это ваш брат? — спросил граф, которому до сих пор не приходило в голову задать этот вопрос.

— Да, ваше сиятельство, — наобум ответила Консуэло, чтоб отделаться от любознательных графских расспросов.

— Однако вы совсем друг на друга не похожи, — сказал граф.

— Столько есть детей, не похожих на своих отцов, — весело заметил Йозеф.

— Значит вы не вместе воспитывались?

— Нет, ваше сиятельство. При нашем кочевом образе жизни воспитываешься где и как придется.

— Не знаю уже почему, но мне кажется, — проговорил граф, понижая голос, — что вы «хорошего происхождения», все в вас самих и в вашем разговоре отличается прирожденным благородством.

— Я совсем не знаю, какого я происхождения, ваше сиятельство, — ответила, смеясь, Консуэло, — должно быть, все мои предки были музыкантами, потому что я больше всего на свете люблю музыку.

— Отчего вы одеты моравским крестьянином?

— Да потому, что в пути платье мое износилось, и я купил там на ярмарке то, что вы на мне видите.

— Так вы были в Моравии? Пожалуй, еще и в Росвальде?

— Да, ваше сиятельство, был в его окрестностях, — шаловливо отвечала Консуэло, — я издали видел, не дерзнув приблизиться, ваше роскошное поместье, ваши статуи, ваши каскады, ваши сады, ваши горы и еще Бог весть что! Настоящие чудеса, волшебный дворец!

— Вы все это видели? — воскликнул граф, удивившись тому, что не знал этого раньше, и не догадываясь, что Консуэло, прослушав целых два часа подряд описание прелестей его резиденции, могла со спокойной совестью повторить вслед за ним все слышанное.

— О! В таком случае вы должны жаждать вернуться туда, — сказал он.

— Горю нетерпением теперь, когда имел счастье узнать вас, — ответила Консуэло, испытывавшая просто потребность поиздеваться над ним, чтоб отомстить за чтение либретто.

Тут она легко выпрыгнула из лодки, на которой они только что переправились через реку, и воскликнула с утрированным немецким акцентом:

— О! Пассау! Приветствую тебя!

Карета подвезла их к дому богатого вельможи, друга графа. Он сам находился в отсутствии, но все было приготовлено для временного пребывания графа. Их ждали, и слуги хлопотали с ужином, который вскоре и был подан. Граф, находивший особенное удовольствие в разговорах со своим маленьким музыкантом (он так называл Консуэло), охотно посадил бы его за свой стол, но осуществить это желание помешала ему мысль, что это может не понравиться барону. Консуэло же и Йозеф были очень рады поесть в людской и без всяких возражений уселись за стол со слугами. Гайдну вообще еще не приходилось пользоваться большим почетом у вельмож, допускавших его на свои пиршества. И хотя искусство и сделало его настолько утонченным, что он прекрасно понимал, насколько обидно такого рода обращение, но он без ложного стыда всегда помнил о том, что его мать когда-то была кухаркой у владельца их деревни. И позднее, когда Гайдн достиг высшего развития своего таланта, он тем не менее, как человек, не пользовался большим вниманием у своих покровителей, хотя уже в то время вся Европа высоко ценила его как артиста. Он прослужил двадцать пять лет у князя Эстергази; и говоря «прослужил», мы не имеем в виду, что это была только служба музыканта. Паэр<sup>1</sup> видел его с салфеткой подмышкой и при шпаге, стоящим, согласно обычаю того времени и той страны, за стулом своего хозяина и исполняющим обязанности метрдотеля, то есть старшего лакея.

Консуэло, со времени своего детства, когда она бродила с матерью-цыганкой, не приходилось есть со слугами. Ее очень забавляла важность этих лакеев знатного дома, которые, чувствуя себя униженными обществом двух маленьких фигляров, посадили их отдельно на конце стола и уделяли им самые плохие куски. Но благодаря голоду и прирожденной умеренности в пище наши юнцы нашли все превосходным. Когда же их веселость обезоружила эти надменные души, их попросили поиграть за десертом для увеселения «господ лакеев».

Йозеф отплатил им за их презрение тем, что с большой готовностью сыграл для них на скрипке, а Консуэло, почти успевшая забыть утренние волнения и муки, начала было петь, как вдруг явились сказать, что граф и барон требуют к себе музыкантов для собственного развлечения.

<sup>1</sup> Фердинанд *Паэр* (1771–1839) — весьма плодовитый, но посредственный итальянский оперный композитор, подвизался, кроме Италии, в Вене, Дрездене, а затем в Париже, где был профессором консерватории. Его опера «Леонора» шла в Вене в 1804 г. Бетховен, прослушав ее, сказал: «Это сюжет для меня», и написал на тот же текст свою знаменитую оперу «Фиделио», а также три концертных увертюры «Леонора», из которых особенно славится «Леонора № 3».





*Йозеф отплатил им за их презрение тем, что с большой готовностью сыграл для них на скрипке, а Консуэло, почти успевшая забыть утренние волнения и муки, начала было петь, как вдруг явились сказать, что граф и барон требуют к себе музыкантов для собственного развлечения.*

Отказать не было никакой возможности. После помощи, оказанной им обоими вельможами, Консуэло сочла бы всякую отговорку неблагодарностью; а тут еще отказываться петь, мотивируя усталостью или хрипотой, было бы совсем нелегкой уверткой, ибо хозяева только что слышали ее пение, доносившееся из людской.

Она пошла вслед за Йозефом, который готов был одинаково оптимистически относиться ко всем перипетиям их странствования. Войдя в роскошный зал, где оба вельможи, облокотясь на стол, залитый светом двадцати свечей, допивали последнюю бутылку венгерского, они остановились у дверей и, стоя, как полагалось бродячим музыкантам, запели маленькие итальянские дуэты, разученные ими в горах.

— Внимание! Прежде чем начать, — лукаво сказала Консуэло Йозефу, — помни, что господин граф собирается экзаменовать нас с тобой по музыке. Постараемся же не провалиться!

Граф был очень польщен этим замечанием. Барон положил на опрокинутую тарелку портрет своей таинственной Дульцинеи и, по-видимому, совсем не был расположен слушать пение.

Консуэло старалась не обнаруживать ни своего голоса, ни своего умения петь. Ее мнимый пол не допускал бархатистости звуков, а в том возрасте, который придавал ей мальчишеский костюм, не могло быть законченного музыкального образования. Консуэло придала своему голосу детский тембр, несколько редкий и как бы преждевременно разбитый, благодаря злоупотреблению пением на открытом воздухе. Она находила забавным подражать наивному, неумелому пению и смелым коротким фиоритурам уличных мальчишек Венеции. Но как ни чудесно разыгрывала она эту музыкальную пародию, в ее шутливой игривости было столько прирожденного вкуса, дуэт был пропет с таким огнем, так дружно, самая народная песня была так свежа и оригинальна, что барон, прекрасный музыкант и прирожденный артист, положил обратно на сердце свой портрет, поднял голову, стал взволнованно ерзать на стуле и наконец громко захлопал, крича, что никогда в жизни не слыхивал такой настоящей, прочувствованной музыки.

Графу же Годицу, пропитанному произведениями Фукса, Рамо и других классических авторов, гораздо меньше понравились и самый жанр творчества, и его исполнение. Он нашел, что барон — северный варвар, а оба покровительствуемые им мальчика, правда, довольно смысленные ученики, но что ему придется вытягивать их при помощи своих уроков из мрака невежества. У него была мания самому обучать своих артистов, и он проговорил поучительным тоном, качая головой:

— Недурно, но придется много переучивать. Ничего! Не беда! Все это мы исправим!

Граф уже воображал, что Консуэло и Йозеф были его собственностью и входили в состав его капеллы. Он попросил Гайдна поиграть на скрипке, и так как тому не было никакого основания скрывать свои дарования, то он

чудесно исполнил небольшую, но удивительно талантливую вещь собственного сочинения. На этот раз граф остался вполне доволен.

— Ну, твое место уже готово, — сказал он, — будешь у меня первой скрипкой; ты мне вполне подходишь. Но ты будешь также упражняться на виоль-д'амуре, это мой любимый инструмент, я выучу тебя играть на нем.

— Господин барон тоже доволен моим товарищем? — спросила Консуэло Тренка, снова впавшего в задумчивость.

— Настолько доволен, — ответил барон, — что если когда-нибудь мне придется жить в Вене, я не пожелаю иметь иного учителя, кроме него.

— Я буду учить вас на виоль-д'амуре, — предложил граф, — не откажите мне в предпочтении.

— Я предпочитаю скрипку и этого профессора, — ответил барон, проявлявший в озабоченном состоянии духа бесподобную откровенность.

Он взял скрипку и сыграл с большой чистотой и выразительностью несколько пассажей из только что исполненной Йозефом пьесы. Отдавая скрипку, он сказал ему с неподдельной скромностью:

— Мне хотелось показать вам, что я гожусь вам только в ученики и могу учиться прилежно и со вниманием.

Консуэло попросила его сыграть еще что-нибудь, и он исполнил это без всякого жеманства. У него были и дарование, и вкус, и понимание. Годиц рассыпался в преувеличенных похвалах самой вещи:

— Не очень-то хороша, — ответил Тренк, — она моя собственная. Но все-таки я люблю ее, так как она понравилась принцессе.

Граф скорчил ужасную гримасу, желая этим сказать, что барон должен взвешивать свои слова. Но Тренк даже не обратил на это никакого внимания и, глубоко задумавшись, в течение нескольких минут продолжал водить смычком по струнам; потом, бросив скрипку на стол, встал и зашагал по комнате, потирая лоб рукою. Наконец он вернулся к Годицу и сказал ему:

— Желаю вам доброй ночи, дорогой граф. Я должен уехать отсюда до зари, так как заказанная карета приедет за мной в три часа. Раз вы думаете провести здесь все утро, мы, по всей вероятности, увидимся с вами только в Вене. Счастлив буду снова встретиться там с вами и еще раз поблагодарить вас за приятную часть пути, которую вы дали мне возможность проехать в вашем обществе. Всем сердцем предан вам на всю жизнь.

Они несколько раз пожали друг другу руку, а барон, выходя из комнаты, подошел к Йозефу и, давая ему несколько золотых, проговорил:

— А это аванс за те уроки, которые я попрошу вас давать мне в Вене. Вы найдете меня там в прусском посольстве.

Консуэло же он слегка кивнул головой, шутливо сказав:

— А тебя, если когда-нибудь повстречаю барабанщиком или трубачом в своем полку, возьму с собой, и мы вместе сбежим, слышишь?

И он вышел, еще раз поклонившись графу.

# LXXIII

Как только граф Годиц остался наедине со своими музыкантами, он почувствовал себя свободнее и стал очень разговорчив. Самой большой его страстью было корчить из себя регента и разыгрывать роль импресарио, а потому он пожелал немедленно заняться образованием Консуэло.

— Иди сюда и садись, — сказал он ей. — Мы здесь одни, а слушать внимательно нельзя, когда друг от друга Бог весть на каком расстоянии. Садитесь вы также, — сказал он Йозефу, — и извлекайте пользу из урока.

— Ты не умеешь вывести ни одной трели, — продолжал он, снова обращаясь к знаменитой оперной певице, — слушайте оба хорошенько; вот как это делается.

И он пропел банальную фразу, прибавив к ней самым вульгарным образом несколько фиоритурных украшений.

Консуэло, забавляясь, повторила фразу, нарочно сделав трель обратно тому, как он показал.

— Не так! — закричал граф громовым голосом, ударяя кулаком по столу. — Вы не слушали!

Он снова повторил фразу, а Консуэло еще более причудливо и безнадежно плохо оборвала фиоритурное украшение, делая это с серьезнейшим видом и притворяясь, будто старается изо всех сил. Йозеф задыхался от судорожного смеха и нарочно кашлял, чтобы скрыть это.

— Ла-ла-ла-трала-тра-ла, — пел граф, передразнивая своего неумелого ученика и подпрыгивая на стуле, со всеми признаками страшного гнева, которого он на самом деле совершенно не испытывал, но считал необходимым признаком вдохновенного учителя с сильным характером. Консуэло потешалась над ним с добрых четверть часа, а затем, поиздевавшись вволю, вдруг проделала трель со всей чистотой, на которую только была способна.

— Bravo! Брависсимо! — воскликнул граф, в восторге откидываясь на спинку стула. — Наконец-то! Чудесно! Я знал, что заставляю вас это проделывать. Дайте мне первого попавшегося мужика, и я в один день так поставлю ему голос, так научу его, как другим, пожалуй, не удастся и за целый год! Ну! Еще раз эту фразу, и оттенки хорошенько все ноты, но так легко, будто не касаясь их... А вот это еще лучше! Совсем превосходно! Да, мы кое-что из тебя сделаем!

И граф отер себе лоб, хотя на нем и не было ни единой капельки пота.

— А теперь, — проговорил он, — перейдем к каденции с горловой трелью, — и он показал, как делают ее, с рутинной легкостью, приобретаемой заурядными хористами, которые, слушая солистов, восхищаются только их техникой и, подражая ей, считают себя не менее искусными певцами.



Консуэло еще раз потешила себя, подзадорив графа на одну из его напускных гневных выходок, к которым он любил прибегать, когда садился на своего конька, и закончила такой совершенной и длительной каденцией, что Годиц принужден был закричать:

— Довольно! Довольно! Вышло! Наконец-то вы поняли! Я был уверен, что открою вам, в чем тут секрет. Ну, теперь займемся руладой. Вы усваиваете с удивительной легкостью, и я всегда хотел бы иметь таких учеников, как вы!

Консуэло, которую уже начали одолевать сон и усталость, очень сократила урок рулад. Она покорно проделала все рулады, предлагаемые ей педагогом-магнатом, какого бы плохого вкуса они ни были, и даже дала своему голосу звучать естественно, не боясь больше выдать себя, раз граф был склонен все приписывать себе, не исключая и блеска и божественной чистоты ее голоса.

— Насколько все это делается яснее, по мере того как я показываю способ открывать рот и подавать голос! — с торжеством воскликнул граф, обращаясь к Йозефу. — Ясность в преподавании, настойчивость и пример — вот три условия, при которых очень быстро формируются певцы и декламаторы. Завтра мы опять займемся, так как нам надо пройти десять уроков, после чего вы научитесь петь. Нам с вами еще придется проделать целый ряд сложных упражнений. А теперь ступайте отдыхать, я велел приготовить для вас в этом дворце комнаты. Пробуду я здесь по делам до полудня. Вы позавтракаете и поедете со мной в Вену. Отныне считайте себя как бы на службе у меня. Для начала, Йозеф, пойдите и скажите моему камердинеру, чтоб он шел сюда посветить мне до моей комнаты. А ты, — обратился он к Консуэло, — останься и повтори последнюю из показанных тебе рулад. Не вполне я доволен ею.

Не успел Йозеф выйти, как граф, взяв обе руки Консуэло в свои, и очень выразительно глядя на нее, попробовал было привлечь ее к себе.

Остановившись на прерванной руладе, Консуэло также взглянула на графа, с большим удивлением, решив, что он хочет заставить ее отбивать такт, но, заметив его возбужденный взор и распутную улыбку, она резким движением вырвала от него свои руки и отодвинулась к концу стола.

— Вот как! Вы желаете, значит, разыгрывать неприступность! — сказал граф, возвращаясь к своему беспечно-важному тону — Ну, что же, милочка, у нас имеется маленький возлюбленный! Бедняга, он очень неказист, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы откажетесь от него. Судьба ваша обеспечена, если вы не будете колебаться, ибо я не люблю проволочек. Вы прелестная девчурка, умная и кроткая. Очень вы мне нравитесь, и я с первого взгляда увидел, что вы не созданы для того, чтобы шататься по дорогам с этим плутишкой. Я все-таки позабочусь о нем. Отправляю в Росвальд и устрою его судьбу. А вы останетесь в Вене. Помещу я вас в прелестной квартире и, если вы будете благоразумны и скромны, даже введу вас в светское общество. Научившись музыке, вы станете примадонной моего театра, и, когда я свезу вас в свою резиденцию, вы снова увидите со своим случайно встреченным дружочком. Ну, так решено?



— Да, господин граф, — ответила очень серьезным тоном, отвешивая глубокий поклон, Консуэло, — конечно, решено!

В эту минуту Йозеф вернулся с камердинером, несшим два канделябра, и граф вышел, слегка потрепав по щеке Йозефа и многозначительно улыбнувшись Консуэло.

— Вот уж подлинный чудак! — сказал Йозеф своей подруге, как только остался с ней наедине.

— Даже более чем подлинный, — задумчиво отозвалась Консуэло.

— Но все это не так важно, — продолжал Йозеф, — а человек он прекраснейший в мире и в Вене будет очень мне полезен.

— Да в Вене, пожалуй, сколько тебе будет угодно, но в Пассау этому не бывать, предупреждаю тебя. Где наши вещи, Йозеф?

— На кухне. Сейчас схожу за ними и снесу в наши комнаты, которые, как мне сказали, прелестны. Наконец-то вы выпитесь!

— Добряк ты, Йозеф, — проговорила Консуэло, пожимая плечами.

— Ну, — прибавила она, — иди теперь поскорее за вещами и распрощайся со своей красивой комнатой и хорошей кроватью, где ты собирался так славно выпастся. Мы сейчас же уходим из этого дома, слышишь? Торопись, а то, вероятно, скоро запрут двери.

Йозефу все это показалось сном.

— Да неужели! — воскликнул он. — И эти знатные вельможи могут быть тоже вербовщиками?

— Графа я боюсь еще больше, чем Мейера, — с раздражением ответила Консуэло. — Ну, беги же, без всяких колебаний, а то я брошу тебя и уйду одна.

В тоне и выражении лица Консуэло было столько решимости и энергии, что растерянный, взволнованный Гайдн немедленно повиновался. Через три минуты он вернулся с дорожной сумкой, где были его тетради и пожитки, а еще через три они, выйдя никем незамеченными из дворца, добрались уже до предместья.

Здесь они вошли в какой-то жалкий постоялый двор, где сняли две маленькие комнатки; уплатили они за них вперед, чтоб иметь возможность без всякой задержки уйти, когда им вздумается.

— Но все-таки не скажете ли вы мне причину этой новой тревоги? — спросил Гайдн Консуэло, пожелав ей спокойной ночи на пороге ее комнаты.

— Спи спокойно, — ответила она, — скажу тебе в двух словах, что теперь нам особенно бояться нечего. Господин граф, бросив свой орлиный взгляд, догадался, что я не его пола, и оказал мне честь, сделав признание, удивительно польстившее моему самолюбию. Доброй ночи, друг Беппо. Удираем мы до света. Постучу в двери, чтоб тебя разбудить.

На другой день восходящее солнце осветило наших юных путешественников, когда они плыли уже по Дунаю, спускаясь по его быстрому течению, охваченные такой чистой радостью, с сердцем таким покойным, как самые воды

этой красавицы-реки. Их за плату взял на свое суденышко старый лодочник, везший товары в Линц. Это был славный старик, который очень пришелся им по душе и не мешал их разговору. Он не понимал ни слова по-итальянски, а так как его лодка была порядком нагружена, то он не взял других пассажиров, и потому они могли наконец чувствовать себя в безопасности и отдохнуть телом и духом, в чем очень нуждались, чтобы вполне наслаждаться чудесными видами, ежеминутно мелькавшими перед их глазами. Погода была великолепная. На лодке имелся маленький, очень чистенький трюм, куда Консуэло могла спускаться, чтобы дать отдохнуть своим глазам от сверкающей воды. Но за последние дни она так привыкла быть под открытым небом и на солнце, что предпочитала проводить почти все время, лежа на тюках, наслаждаясь видом скал и деревьев, словно убежавших от нее. Она могла на досуге музицировать с Гайдном, а забавное воспоминание о меломане Годице, которого Йозеф называл «маэстроманом», вносило много веселья в их детскую болтовню. Йозеф чудесно копировал графа и со злорадством думал о его разочаровании. Их смех и песни веселили и очаровывали старого лодочника, который, как всякий добрый немецкий пролетарий, страстно любил музыку. Он тоже пел им свои песни, от которых как бы веяло рекой, и Консуэло переняла от него напевы и слова. Окончательно же они завоевали сердце старика, угостив его на славу на первой пристани, где они закупили съестных припасов на целый день. Этот день был самым мирным и самым приятным из всех дней их путешествия.

— Что за прелесть этот барон фон дер Тренк! — воскликнул Йозеф, разменивая один из блестящих золотых, данных этим вельможей. — Ему я обязан тем, что наконец в состоянии избавить божественную Порпорину от усталости, голода, опасностей — словом, от всех зол, которые влечет за собою нищета. А ведь он мне сперва не понравился, этот благородный, доброжелательный барон!

— Да, — сказала Консуэло, — но вы предпочитали ему графа. Теперь я так счастлива, что этот меломан ограничился одними посулами и не загрязнил наших рук своими благодеяниями.

— В конце концов ведь мы ровно ничем ему не обязаны, — продолжал Йозеф. — Кому пришла мысль сразиться с вербовщиками и кто решился на это? Барон. Графу было совершенно безразлично, а пошел он на это только из любезности к барону и из-за хорошего тона. Кто рисковал жизнью и кому пуля пробила шляпу у самого черепа? Опять-таки барону. Кто ранил, а быть может, и положил на месте гнусного синьора Пистолета? Барон. Кто спас дезертира и, быть может, в ущерб самому себе, подвергая себя гневу своего страшного повелителя? Наконец кто отнесся к вам с уважением и сделал вид, что не догадывается о вашем поле? Кто постиг красоту ваших итальянских арий и прелесть вашей манеры петь?

— А также талант маэстро Йозефа Гайдна? — прибавила, улыбаясь, Консуэло. — Барон! Все тот же барон!

— Конечно! — продолжал Гайдн, желая отплатить девушке за ее лукавый намек. — И, быть может, к большому счастью того благородного и любимого существа, о котором шла речь, объяснение в любви божественной Порпорине было сделано смехотворным графом, а не храбрым, обворожительным бароном!

— Беппо! — ответила с грустной улыбкой Консуэло. — Нравственность отсутствует только у людей с неблагодарным, низким сердцем. Вот почему великодушному, искреннему барону, влюбленному в таинственную красавицу, не могло прийти в голову начать за мной ухаживать. Спросите самого себя: пожертвовали ли бы вы так легко любовью к своей невесте и верностью к ней первому явившемуся капризу?

Беппо тяжело вздохнул.

— Вы не можете быть ни для кого «первым явившимся капризом», — сказал он, — и... если бы барон забыл при виде вас и прошедшие и настоящие увлечения, ему легко можно было бы это простить.

— Вы, Беппо, что-то делаетесь дамским угодником и льстецом! Вижу, что общество господина графа оказало на вас влияние, но желаю вам никогда не жениться на маркграфине и никогда не узнать, как обращаются с любовью, женившись на деньгах!

Добравшись до Линца, они наконец уснули без страха и забот о завтрашнем дне. Проснувшись, Йозеф сейчас же побежал покупать обувь, белье, некоторые изысканные мелочи мужского туалета для себя, но, главным образом, для Консуэло, чтобы она, превратившись в «молодца» и «красавца», как она шутя выразилась, могла осмотреть город и окрестности.

Старик-лодочник сказал им, что если он найдет груз для доставки в Мельк, то снова заберет их к себе «на борт» и провезет по Дунаю еще миль двадцать.

Они провели этот день в Линце, взбирались на холм, осматривали укрепленный замок у подошвы холма и другой, на вершине его, откуда могли созерцать излучины величественной реки среди плодородных равнин Австрии. Отсюда же они видели нечто, приведшее их в самое веселое настроение, — это была карета графа Годица, торжественно въезжавшая в город. Они узнали экипаж и ливрею лакеев и, пользуясь тем, что за дальностью расстояния их не было видно, забавлялись, насмешливо кланяясь до земли. Наконец вечером спустившись на берег, они застали свою лодку нагруженной товарами для доставки в Мельк, и с радостью снова сговорились со старым кормчим относительно переезда. Вышли они из Линца до рассвета; звезды еще горели над их головами и отражались на зыбкой поверхности реки, разбегаясь по ней серебряными струйками. Этот день был не менее приятен, чем предыдущий. Одно только огорчало Гайдна: они приближались к Вене, и путешествие, о муках и опасностях которого он забыл, помня только его восхитительные минуты, должно было скоро прийти к концу. В Мельке, как ни было жаль, приходилось расстаться со славным кормчим. На других судах, которыми они могли воспользоваться, не было ни такого уединения, ни такой

безопасности. Консуэло чувствовала себя отдохнувшей, освеженной, готовой ко всяким случайностям. Она предложила Йозефу продолжать путешествие пешком до нового удобного случая. Им оставалось до Вены еще миль двадцать, и этот способ передвижения, конечно, не был из быстрых. Дело в том, что хотя Консуэло и уверяла себя, что жаждет снова облечься в женский костюм и вернуться к жизненным удобствам, но надо признаться, что она, как и Йозеф, далеко не желала окончания их путешествия. Она была артисткой до мозга костей и не могла не любить свободы, случайностей, проявлений мужества и ловкости, постоянно сменяющихся картин природы, вполне доступных только пешеходу, и наконец романтической бурности, присущей бродячей и уединенной жизни.

Я, читатель, называю жизнь эту уединенной, стремясь выразить сокровенное и таинственное чувство, которое, пожалуй, легче вам понять, чем мне объяснить. Мне кажется, что для выражения этого состояния души в нашем языке не имеется слова, но вы должны вспомнить его, если вам приходилось путешествовать пешком, где-нибудь далеко, одному или со своим вторым «я», или наконец, как Консуэло, с приветливым товарищем, веселым, услужливым и мыслящим с вами заодно. В такие минуты, если у вас нет на душе какой-нибудь неотложной работы или повода к беспокойству, вы, наверное, испытывали странную, быть может, даже несколько эгоистическую радость, говоря себе: вот в данный момент никто не беспокоится обо мне, и я ни о ком не беспокоюсь! Никто не знает, где я! Те, кто властвуют над моей жизнью, тщетно искали бы меня; они не смогли бы меня найти в этом никому неизвестном месте, новом даже для меня, приютившегося в нем. Те, кого моя жизнь затрагивает и волнует, отдыхают от меня, как я от них. Я всецело принадлежу сам себе и как повелитель и как раб. Ибо среди нас нет, о читатель, ни единого человека, который по отношению известной группы людей не был бы одновременно и немного рабом и немного повелителем. И это, заметьте, делается волей-неволей, бессознательно и без домогательств.

Никто не знает, где я! Это сознание одиночества, несомненно, имеет свою прелесть, свою невыразимую прелесть, жестокую по виду, законную и сладостную по существу. Мы рождены для взаимного общения. Путь долга длинен и суров; горизонтом ему служит смерть, которая, может статься, короче одной ночи отдыха. Итак, в путь! Вперед, не жалея ног! Но, если нам представится один из тех редких благоприятных случаев, когда отдых может быть безобиден, а уединение не связано с угрызениями совести, и мы увидим перед собой тропинку, убегающую среди зелени, то воспользуемся несколькими часами уединения и созерцания! Такие часы безделья весьма необходимы деятельному, мужественному человеку для восстановления его сил. И я утверждаю, что чем ревностнее стремится ваше сердце служить дому Божию (т. е. человечеству), тем более вы способны оценить немногие минуты уединения, когда вы всецело принадлежите самому себе. Эгоист всегда и всюду одинок. Его душа никогда не утомляется от любви, мук, настойчивости:

она инертна и холодна и нуждается во сне и покое не больше, чем мертвец. Умеющий любить редко бывает одинок, а когда он одинок, он доволен. Душа его может наслаждаться перерывом в активности, и перерыв этот будет подобен крепкому сну сильного организма. Такой сон красноречиво говорит об испытанной им усталости и является предвестником новых предстоящих ему испытаний. Я не верю ни в искренность горя тех, кто не стремится отвлечься от него, ни в безграничную самоотверженность людей, никогда не нуждающихся в отдыхе. Либо их печаль является упадком духа, свидетельствующим о том, что они надломлены, утасают и не имеют сил любить то, что ими утрачено, либо под этой неослабевающей и неустомимой самоотверженностью скрывается какое-нибудь постыдное вожеление или эгоистическое, даже преступное ожидание какого-то вознаграждения.

Эти размышления, быть может, слишком длинные, не являются неуместными в повествовании о жизни Консуэло с ее деятельнейшей и самоотверженнейшей душой, которую, однако, могли бы порой обвинять в эгоизме и легкомыслии люди, не сумевшие понять ее.

## LXXIV

В первый день дальнейшего пути наши странники, переходя по деревянному мосту через реку, увидели у перил этого моста сидящую на корточках нищую с крошечной девочкой на руках. Ребенок был бледен, нездоров; женщина, истощенная, дрожала от лихорадки. Консуэло почувствовала глубокую симпатию и жалость к этим несчастным, напомнившим ей мать и ее собственное детство.

— Вот в таком положении мы бывали не раз, — сказала она Йозефу, понявшему ее с полуслова и остановившемуся вместе с ней, чтобы посмотреть на нищенку и расспросить ее.

— Увы, — начала свой рассказ нищенка, — еще несколько дней тому назад я была счастливейшей женщиной. Я крестьянка из окрестностей Харманица в Богемии. Пять лет назад я вышла замуж за рослого красавца, своего двоюродного брата, самого работающего из мастеровых и лучшего из мужей. Через год после нашей свадьбы мой бедный Карл, отправившись в горы за дровами, вдруг исчез, причем никто не знал, что с ним приключилось. Я впала в бедность и страшно горевала, предполагая, что муж или погиб, свалившись в пропасть, или растерзан волками. Могла я снова выйти замуж, но неизвестность относительно участи мужа и то, что я продолжала любить его, не позволили мне даже и думать об этом. И как же была я вознаграждена за это, дети мои! Однажды вечером в прошлом году постучали во двор, — открываю и падаю на колени: передо мной муж, но, Боже милосердный, в каком виде! Словно привидение: весь высохший, желтый, с блуждающим взором, с взъерошенными в виде



ледяных сосулеч волосами, с окровавленными ногами, жалкими босыми ногами, только что прошедшими неизвестно сколько сотен миль по ужасующим дорогам в самую жестокую зиму!

Но он был так счастлив, найдя жену и бедную крошечную дочурку, что скоро воспрянул духом, поправился, стал хорошо выглядеть и принялся снова за работу.

Рассказал он мне, что был похищен разбойниками, которые увезли его очень далеко к морю и там продали в солдатчину прусскому королю. Он прожил три года в самой печальной из всех стран, неся очень тяжелую службу и получая с утра до вечера побои. Наконец, милые мои дети, ему удалось бежать, дезертировать! Отбиваясь, как бешеный, от своих преследователей, он убил одного из них, а другому вышиб камнем глаз. Избавившись от них, он шел днями и ночами, прячась, как дикий зверь, в болотах. Так прошел он через Саксонию и Богемию. Он был спасен! Он возвратился ко мне! Ах! Как мы были счастливы всю эту зиму, несмотря ни на бедность, ни на холод! Одно мучило нас: как бы снова не появились в наших краях эти хищные птицы, причина всех наших горестей. Мы строили планы отправиться в Вену, явиться к императрице, рассказать ей о наших бедах, добиться ее покровительства, военной службы для мужа и некоторой поддержки для меня и ребенка.

Но из-за перенесенного мною сильнейшего потрясения я захворала, и мы были принуждены всю зиму и все лето провести в наших горах, ожидая момента, когда я буду в состоянии пуститься в путь. Все это время мы всегда были начеку, даже по ночам спали одним глазом. Наконец блаженная минута настала! Я чувствовала себя достаточно сильной для ходьбы, а нашу девчурку, которой нездоровилось, должен был нести на руках отец. Но злой рок поджидал нас при выходе из гор. Мы спокойно шли по краю малолюдной дороги, не обращая внимания на экипаж, который уже с четверть часа медленно поднимался в том же направлении. Вдруг экипаж останавливается, и из него выходят трое мужчин.

— Он ли это, действительно? — воскликнул один из них. — Да, — ответил другой, кривой. — Он! Он! Хватай его!

Муж, обернувшись при этих словах, проговорил:

— Ах! Это пруссаки, вот кривой, которому я вышиб глаз, я его узнаю!

— Беги! Беги! Спасайся! — прошептала я.

Он пускается бежать, но тут один из этих мерзавцев бросается ко мне, валит меня на землю и приставляет пистолет к моей голове и к голове моей девочки. Не приди ему в голову эта дьявольская мысль, муж был бы спасен, так как бежал он лучше этих бандитов, да и был впереди их. Но на вопль, вырвавшийся у меня, Карл оборачивается, и при виде дочери под дулом пистолета, с громким криком бежит обратно, чтобы остановить выстрел. Когда изверг, наступивший на меня ногой, увидел мужа на таком расстоянии, что тот мог его услышать, он крикнул:

— Сдавайся, или я их убью! Сделай только один шаг, и все кончено!

— Сдаюсь! Сдаюсь! Вот я! — ответил бедный мой муж и помчался к ним быстрее, чем убегал, несмотря на камни и подаваемые мною знаки предоставить нас смерти.

Когда Карл попал в руки этих зверей, они принялись его бить и били до крови. Я бросилась было защищать мужа, но они и меня избили. Видя, что его вяжут по рукам и ногам, я стала рыдать и громко стонать. Злодеи объявили мне, что если я тотчас же не замолчу, они прикончат ребенка, и уже вырвали его из моих рук, когда Карл сказал мне:

— Замолчи, жена, приказываю тебе; подумай о нашей девочке!

Я повиновалась, но усилие, которое я над собой делала, видя, как эти чудовища вяжут мужа, затыкают ему рот кляпом, все приговаривая: «Да, да, плачь, ты не увидишь его больше, мы повезем его вешать», было так велико, что я упала, как мертвая, на дорогу.

Не знаю, сколько времени пролежала я там в пыли. Когда я открыла глаза, была уже ночь. Бедное мое дитя, прижавшись ко мне, дрожало, надрываясь от рыданий. На дороге виднелись только кровь моего мужа да след от колес экипажа, увезшего его. Я пробыла так еще час-другой, пытаюсь успокоить и отогреть Марию, очоженевшую и перепуганную до полусмерти. Наконец собравшись с мыслями, я рассудила, что разумнее не бежать за похитителями, догнать которых я была не в силах, а заявить о случившемся властям в ближайшем городе Визенбахе. Так я и поступила, а затем решила продолжать свое путешествие в Вену, броситься там к ногам императрицы, моля ее походатайствовать перед прусским королем об отмене смертного приговора над моим мужем. Ее величество могла бы потребовать выдачи его как своего подданного, в том случае если б не удалось настигнуть вербовщиков.

И вот, воспользовавшись милостыней, поданной мне в епископстве Пассау, где я рассказала о своем несчастье, доехала я на телеге до Дуная, а оттуда на лодке спустилась вниз по этой реке до города Мелька. Но теперь средства мои истощились. Люди, которым я рассказываю о случившемся со мной, принимают меня, должно быть, за мошенницу, не верят мне и дают так мало, что только остается идти пешком. Хорошо, если через пять-шесть дней доберусь я до Вены, не погибнув от усталости, ведь болезнь и отчаяние совсем истощили меня. А теперь, милые дети, если имеете возможность помочь мне немного, сделайте это немедленно: мне больше нельзя ждать, надо идти и идти, как «вечный жид», пока не добьюсь справедливости.

— Хорошая вы моя! Бедная моя! — воскликнула Консуэло, обнимая нищенку и плача от радости и сострадания. — Мужайтесь! Мужайтесь! Надейтесь! Успокойтесь! Муж ваш освобожден. Он сейчас скачет на добром коне по направлению к Вене, с туго набитым кошельком в кармане.

— Что вы говорите? — воскликнула жена дезертира, и глаза ее налились слезами, а губы судорожно задергались. — Вы знаете это? Вы видели его? О Господи! Боже великий! Боже милосердный!



*Когда Карл попал в руки этих зверей, они принялись его бить и били до крови. Я бросилась было защищать мужа, но они и меня избили. Видя, что его вяжут по рукам и ногам, я стала рыдать и громко стонать.*



— Что вы делаете! — остановил Йозеф свою подругу. — А если эта радость ложная, если дезертир, которому мы помогли спастись, не муж ее?

— Он самый, Йозеф! Говорю тебе, это он! Вспомни кривого, вспомни приемы синьора Пистолета! Вспомни, как дезертир говорил, что он отец семейства и австрийский подданный! Впрочем, в этом очень легко убедиться. Каков он из себя, ваш муж?

— Рыжий, с зелеными глазами, широколицый, роста пять футов восемь дюймов; нос несколько приплюснутый, лоб низкий, словом — красавец-мужчина!

— Так, верно! — сказала, улыбаясь, Консуэло. — А как он был одет?

— Плохонький зеленый дорожный плащ, коричневые штаны, серые чулки.

— И это похоже; а на вербовщиков вы обратили внимание?

— Обратила ли я внимание на вербовщиков! Пресвятая дева Мария! Ужасные их лица всегда будут перед моими глазами!

Тут бедная женщина с большими подробностями обрисовала синьора Пистолета, кривого и «молчальника».

— Был там еще четвертый, — добавила она, — который оставался при лошади, ни во что не вмешиваясь. У него была толстая равнодушная физиономия, показавшаяся мне даже более жестокой, чем у остальных; когда я плакала, а мужа колотили и вязали веревками, словно какого-нибудь убийцу, этот толстяк преспокойно распевал и играл на губах, словно на инструменте: «брум, брум, брум». Ах! Что за каменное сердце!

— Ну, это Мейер! — воскликнула Консуэло, обращаясь к Йозефу. — Неужели и теперь ты еще сомневаешься? Разве это не его милая привычка ежеминутно петь и подражать трубе?

— Правда, — согласился Йозеф. — Значит, мы действительно присутствовали при освобождении Карла, слава Богу!

— О да! Прежде всего надо благодарить Господа! — воскликнула бедная женщина, бросаясь на колени, — А ты, Мария, — обратилась она к своей девчурке, — целуй землю вместе со мной, благодари ангелов-хранителей и пресвятую деву: твой папа найден, и мы скоро увидим его!

— Скажите мне, милая, — спросила Консуэло, — у Карла есть также обыкновение, когда он бывает очень счастлив, целовать землю?

— Да, дитя мое, он всегда это делает. Так, вернувшись после своего дезертирства, он ни за что не хотел войти в дом, не поцеловав раньше порога.

— Что это, обычай вашей страны?

— Нет, его собственная привычка. Этому и нас муж обучил, и это всегда приносит нам счастье.

— Конечно, это его мы видели, — сказала Консуэло, — на наших же глазах, поблагодарив своих избавителей, он поцеловал землю. Ты ведь заметил это, Беппо?

— Конечно, заметил! Он самый! Теперь не может быть никаких сомнений!

— Дайте же прижать вас к своему сердцу! — воскликнула жена Карла. — Вас, двух райских ангелов, принесших мне такую весть! Расскажите мне обо всем.

Йозеф передал все, как было. Когда бедная женщина излила весь восторг, всю благодарность небесам и Йозефу с Консуэло, которых она справедливо считала главными спасителями мужа, она спросила, что же ей теперь делать, чтоб разыскать его.

— Думаю, — сказала Консуэло, — что вам лучше всего продолжать свое путешествие. Вы найдете мужа в Вене, если не встретитесь с ним еще дорогой. Несомненно, что первой его заботой, когда он попадет в Вену, будет доложить обо всем императрице, а затем просить административные учреждения сообщить по всей стране ваши приметы. Конечно, он не преминул доносить о случившемся в каждом значительном городе, через который проезжал, не преминул и расспрашивать в пути, не видел ли вас кто. Если вы доберетесь до Вены раньше его, смотрите, сейчас же сообщите администрации свой адрес, чтоб, появившись, Карл немедленно был о нем осведомлен.

— Но какие это учреждения? Какая администрация? Я ровно ничего в этом не смыслю. Такой огромный город! Я, бедная крестьянка, там совсем потеряюсь!

— Знаете, — сказал Йозеф, — у нас самих никогда подобных дел не бывало, и мы тоже не смыслим в них, но вы попросите первого встречного провести вас в прусское посольство, а там спросите господина барона фон...

— Осторожно, Беппо, — прошептала Консуэло, напоминая Йозефу, что не следует компрометировать барона, замешивая его в эту историю.

— Ну, а граф Годиц?

— Да, к графу можно обратиться. Он сделает из тщеславия то, что его спутник сделал бы из самоотверженности. Разыщите дворец маркграфини Байрейтской, — сказала она женщине, — и передайте ее мужу записку, которую я сейчас дам вам.

Консуэло вырвала листок из записной книжки Йозефа и карандашом написала следующее:

«Консуэло Порпорина, примадонна театра Сан-Самуэле в Венеции, она же бывший синьор Бертони, странствующий певец в Пассау, поручает благородному сердцу графа Годица-Росвальда жену Карла, дезертира, которого Ваше сиятельство вырвали из рук вербовщиков и осыпали своими милостями. Порпорина льстит себя надеждой отблагодарить господина графа за его покровительство в присутствии маркграфини, если господин граф окажет певце честь, разрешив ей выступить в малых покоях ее высочества».

Консуэло старательно подписала и посмотрела на Йозефа. Он ее понял и вытащил кошелек. Не совещаясь больше между собой, в порыве великодушия отдали они бедной женщине последние два золотых, оставшихся от подарка Тренка, чтобы она смогла на лошадях добраться до Вены. Затем, доведя ее до ближайшей деревни, они помогли ей нанять скромный экипаж.



После этого они накормили ее, снабдили кое-какими пожитками, истратив на это остаток своего скромного достояния, и отправили в путь-дорогу счастливейшее создание, только что возвращенное ими к жизни.

Тут Консуэло, смеясь, спросила, осталось ли что-нибудь в кошельке. Йозеф, трясая над ухом скрипкой, ответил:

— Только звуки!

Консуэло, блестящей руладой испытав свой голос под открытым небом, воскликнула:

— И сколько еще звуков!

Протянув с веселым видом руку своему товарищу, она горячо пожала ее со словами:

— Молодец ты, Беппо!

— И ты тоже! — ответил Йозеф, смахивая набежавшую слезу и громко смеясь при этом.

## LXXV

Не особенно страшно остаться без денег под конец путешествия; но, будь наши юные артисты и далеко еще от цели, они и тогда были бы не менее веселы, чем в эту минуту, очутившись без гроша.

Нужно самому побывать в таком положении безденежья на чужбине (а Йозеф вдали от Вены чувствовал себя здесь почти таким же чужим, как и Консуэло), чтобы знать, какая чудесная беззаботность, какой дух изобретательности и предприимчивости, словно по волшебству, охватывает артиста, истратившего свой последний грош. До этого он как-то тоскует, постоянно боится неудач, у него мрачные предчувствия страданий, затруднений, унижений, и вот все это рассеивается с последней уходящей монетой.

Тут для поэтических душ открывается целый новый мир, святая уверенность в милосердии ближних и вообще немало пленительных химер. Наряду с этим развивается работоспособность и приветливость, легко преодолевающие первые же препятствия.

Консуэло, находившая в этом возвращении к бедности своего детства какое-то романтическое удовольствие и счастливая тем, что, раздав все свое достояние, сделала добро, сейчас же нашла средства добыть себе и товарищу ужин и ночлег.

— Сегодня воскресенье, — сказала она Йозефу, — и вот, проходя по первому городу, который нам попадется на пути, заиграй танцы. Не пройдем и двух улиц, как найдутся люди, желающие поплясать, и мы с тобой изобразим гудошников. Не сумеешь ли ты сделать свирель? Я мигом выучусь на ней играть, а раз смогу извлекать из нее хоть несколько звуков, аккомпанемент тебе и готов.



— Умею ли я сделать свирель? —  
воскликнул Йозеф. — Сейчас убедитесь в этом!  
Вскоре на берегу реки нашелся прекрасный стебель тростника.

— Умею ли я сделать свирель? — воскликнул Йозеф. — Сейчас убедитесь в этом!

Вскоре на берегу реки нашелся прекрасный стебель тростника; искусно просверленный, он зазвучал чудесно. Свирель эта тут же была налажена, затем последовала репетиция, и наши герои, совсем успокоенные, направились в деревушку, находившуюся на расстоянии трех миль. Они вошли туда, играя на своих инструментах и покрикивая перед каждой дверью: «Кто хочет поплясать, кто хочет попрыгать? Вот она музыка! Бал начинается!»

Они добрались до небольшой площади, обсаженной прекрасными деревьями; их сопровождало человек сорок детей, которые, крича и хлопая в ладоши, неслись за ними. Вскоре появились веселые парочки, и, подняв первую пыль, открыли бал. Прежде чем земля была утоптана ногами танцующих, здесь собралось все население деревушки, кольцом расположившееся вокруг деревенского бала, симпровизированного без колебаний и сговоров. После первых вальсов Йозеф засунул свою скрипку подмышку, а Консуэло, взобравшись на стул, произнесла присутствующим речь, в которой доказывала, что у голодных артистов и пальцы слабы и дыхания не хватает. Не прошло и пяти минут, как у них вволю было и хлеба, и молочных продуктов, и пива, и сладких пирожков. Что же касается денежного вознаграждения, то на этот счет быстро сговорились: решено было сделать сбор, при котором каждый даст по своему желанию.

И вот, закусив, они снова взобрались на бочку, которую для этого торжественно выкатили на середину площади, и танцы возобновились. Но через два часа они были прерваны известием, взволновавшим всех. Переходя из уст в уста, оно дошло и до наших странствующих музыкантов: оказалось, что местный сапожник, торопясь закончить ботинки для одной требовательной заказчицы, всадил себе в большой палец шило.

— Это важное событие, большое несчастье! — проговорил старик, опираясь на бочку, служившую музыкантам пьедесталом. — Ведь сапожник Готлиб — органист нашей деревни, а завтра как раз у нас храмовой праздник. О! Большой праздник, чудесный праздник! На десять миль кругом такого не бывает! Особенно хороша у нас обедня, издалека являются ее послушать. Наш Готлиб — настоящий регент: он играет на органе, управляет детским хором, сам поет, и чего только он не делает, особенно в этот день! Просто из кожи лезет! Без него теперь все пропало. И что скажет господин каноник собора святого Стефана? В этот день он сам приезжает к нам служить большую обедню и так всегда бывает доволен нашей музыкой! Он без ума от музыки, этот добрый каноник! Великая честь для нас видеть его перед нашим алтарем, его, который никогда не выезжает из своего прихода и никогда не станет себя утруждать из-за пустяков.

— Ну что ж, — сказала Консуэло, — есть способ все уладить: мы с товарищем возьмем на себя и орган и детский хор, — словом, всю обедню, а если господин каноник останется недоволен, нам за труды не заплатят ничего.



— Да, да! Это легко сказать, молодой человек! — воскликнул старик. — Нашу обедню не служат под скрипку и флейту, да-с! Это дело важное, и вы незнакомы с нашими партитурами.

— Мы примемся за них сегодня же вечером, — проговорил Йозеф с видом снисходительного превосходства, которое импонировало собравшимся вокруг него слушателям.

— Посмотрим, — сказала Консуэло, — проводите нас в церковь, пусть там кто-нибудь надует огромные меха, и, если наша игра вам не придется по вкусу, вы вольны будете отказать нам.

— А как же с партитурой — шедевром аранжировки Готлиба?

— Мы сходим к Готлибу и, если он не будет доволен нами, то откажемся от нашего намерения. К тому же, раненый палец не помешает Готлибу ни управлять хором, ни самому исполнить свою партию.

Старики деревни, собравшись вокруг них, посоветовались и решили произвести опыт. Бал был прекращен; ведь обедня каноника — дело посерьезнее, чем какие-то там танцы!

После того как Гайдн и Консуэло поочередно сыграли на органе и затем пропели вместе и каждый в отдельности, их, за неимением лучшего, признали довольно сносными музыкантами. Некоторые ремесленники осмелились даже утверждать, что они играют лучше Готлиба и что исполненные ими отрывки из *Скарлатти*, *Перголезе* и *Баха*, по меньшей мере, так же прекрасны, как музыка *Гольцбауэра*<sup>1</sup>, дальше которой Готлиб никак не хотел идти.

Зато приходский священник, прибежавший послушать их, в своем увлечении заявил, что канонику, наверно, гораздо больше понравятся эти песнопения, чем те, которыми его обычно угощали. Пономарь, не разделявший этого мнения, грустно покачал головой, и священник, не желая раздражать своих прихожан, согласился, чтобы оба виртуоза, посланные провидением, сговорились, если возможно, с Готлибом относительно аккомпанемента обедни.

Все толпой направились к дому сапожника, и тот был вынужден показать каждому свою вспухшую руку, чтобы его освободили от обязанностей органиста. По его мнению, было больше чем очевидно, что выступать он не сможет. Готлиб был одарен некоторой музыкальностью и довольно порядочно играл на органе, но, избалованный похвалами сограждан и несколько шутливым одобрением каноника, относился с болезненным самолюбием к своему дирижерству и исполнению. Вот почему предложение заменить его двумя проходящими артистами было встречено им недоброжелательно: он предпочитал, чтобы на обедне в день храмового праздника совсем не было музыки, чем делить с кем-либо свой триумф. Но все-таки пришлось уступить;

<sup>1</sup> Игнаций *Гольцбауэр* (1711–1783) — немецкий композитор, подвизавшийся в Вене, а затем в Мангейме, где в 1747 г. шла его немецкая национальная опера «Гюнтер Шварцбургский». Кроме опер, написал еще 26 месс, инструментальные концерты и пр.

долго он притворялся, будто не может найти партитуру, и разыскал ее только тогда, когда священник пригрозил предоставить юным артистам выбор и исполнение всей музыкальной части.

Консуэло и Гайдн должны были доказать свои познания, читая с листа самые известные по трудности пассажи одной из двадцати шести обеден Гольцбауэра, которую предполагалось исполнять на следующий день.

Музыка эта, не талантливая и не оригинальная, была, по крайней мере, хорошо написана и легко читалась, особенно для Консуэло, преодолевавшей несравненно более трудные произведения. Слушатели были очарованы, а Готлиб, становившийся все озлобленнее и мрачнее, объявил, что у него жар и что он ложится в постель, будучи в восторге от всеобщего удовлетворения.

Тотчас же и певцы и музыканты собрались в церкви, и наши два юных импровизированных регента принялись за репетицию.

Все шло прекрасно. Пивовар, ткач, школьный учитель и булочник играли на четырех скрипках; дети со своими родителями составляли хор. Все это были добрые крестьяне и мастеровые, люди очень флегматичные, внимательные и старательные.

Йозефу уже приходилось слышать музыку Гольцбауэра в Вене, где она была в это время в чести. Он очень легко с ней справлялся. Консуэло же, участвуя во всех повторяющихся ариях, так хорошо вела за собою хор, что он превзошел себя. Два соло должны были исполнять сын и племянница Готлиба, его любимые ученики и лучшие певцы в приходе, но оба корифея на репетицию не явились, мотивируя тем, что они и так уверены в своих силах.

Йозеф и Консуэло отправились ужинать в дом священника, где им был приготовлен ночлег. Добрый священник сиял, и видно было, что, желая угодить господину канонику, он очень дорожит благолепием своей обедни.

На следующий день вся деревня еще до света была на ногах. Трезвонили в колокола; по дорогам тянулись толпы правоверных из окрестных деревень, чтобы присутствовать на торжественной службе. Карета каноника приближалась с величавой медлительностью. Церковь была разубрана самыми лучшими украшениями. Консуэло очень потешало то значение, которое каждое из действующих лиц приписывало своей роли. Здесь царил почти такое же тщеславие и соперничество, как и за кулисами театра. Только выражалось это более наивно и скорее смешило, чем вызывало негодование.

За полчаса до начала обедни явился совсем растерянный ризничий и сообщил о заговоре завистливого и вероломного Готлиба. Узнав, что репетиция прошла прекрасно и что все участвовавшие в ней прихожане увлечены новыми пришельцами, он, притворившись тяжело больным, запретил своей племяннице и сыну, двум главным корифеям, покинуть изголовье его постели, и, таким образом, обедня лишалась не только самого Готлиба, чье присутствие считалось необходимым, дабы дать ход всему делу, но и двух соло, лучших номеров во всей мессе. Хористы, по словам жеманного и торопливого ризни-



чего, были совсем обескуражены, и ему стоило большого труда собрать их на совещание в церкви.

Консуэло и Йозеф сейчас же побежали к хору, заставили его повторить наиболее трудные места, поддерживая своими голосами более слабых; таким образом, они всех успокоили и подбодрили. Что же касается соло, то они очень скоро столковались, и оба взялись исполнить их сами. Консуэло, порывшись в памяти, вспомнила одно духовное песнопение Порпора, по тону и словам напоминавшее то, что требовалось. Она, тут же набросав его, прорепетировала с Гайдном, и он после этого смог ей аккомпанировать. Консуэло нашла и для него знакомый ему отрывок из произведения Себастьяна Баха, и они моментально с грехом пополам аранжировали его для данного случая.

Уже зазвонили к обедне, а они все еще репетировали и пелись, несмотря на страшный трезвон большого колокола. Когда господин каноник, облаченный в свои ризы, появился у алтаря, хор уже запел и с многообещающей смелостью и быстротой приступил к исполнению фугообразного творения немецкого композитора. Консуэло с удовольствием глядела на этих добрых немецких бедняков и их серьезные лица, и следила за их верными голосами, педантичной согласованностью пения и за их никогда не иссякающим, но всегда сдержанным воодушевлением.

— Вот подходящие исполнители для такой музыки, — сказала она Йозефу во время паузы, — будь у них огонь, которого не хватило композитору, все бы пошло вкривь и вкось, но у них нет этого огня, и идеи, выкованные механически, механически же и воспроизводятся. Как жаль, что здесь нет знаменитого маэстро Годица-Росвальда, чтобы подвинтить этих механических исполнителей. Он лез бы из кожи, ничего не добился бы, но остался бы чрезвычайно доволен собою.

Мужское соло беспокоило многих, но Йозеф блестяще с ним справился. Когда же настал черед Консуэло, то ее итальянская манера петь сначала их удивила, затем привела в смущение, но, в конце концов, все-таки восхитила. Певица старалась петь как можно лучше; выразительность ее полновзвучного и бесподобного пения привела в невыразимый восторг Йозефа.

— Не поверю, — сказал он ей, — чтобы вы могли когда-либо лучше спеть, чем вы пели сейчас для жалкой деревенской обедни.

— Во всяком случае, никогда я не пела с таким подъемом и таким удовольствием, — отвечала она. — Эта публика мне больше по душе, чем театральная. Ну, а теперь дай мне посмотреть с хор, доволен ли господин каноник. Да! У этого почтенного каноника совсем блаженный вид, и, судя по тому, как все ищут в выражении его лица воздаяние за свою старательность, я вижу, что единственно о ком здесь не думают, это о Боге.

— За исключением вас, Консуэло! Только одна вера и любовь к Богу могут породить такое пение, как ваше!

Когда оба виртуоза вышли из церкви, население чуть было не понесло их с триумфом на руках в дом священника, где их ждал хороший завтрак.

Священник представил их господину канонику, и тот, осыпав их похвалами, выразил желание еще раз «на запивку» прослушать соло Порпора. Но Консуэло, не без основания дивившаяся тому, как никто не узнал ее женского голоса, и опасавшаяся взоров каноника, отказалась петь под предлогом, что репетиция и деятельное участие во всех партиях слишком утомили ее. Отговорка, однако, не была принята во внимание, и пришлось присутствовать за завтраком каноника.

Каноник был человек лет пятидесяти, с добрым, красивым лицом, хорошо сложенный, хотя немного располневший. Манеры его были изысканны и даже, можно сказать, благородны. Он всем говорил по секрету, что в жилах его течет королевская кровь, так как он является одним из четырехсот незаконнорожденных сыновей Августа Второго, курфюрста Саксонского и короля Польского.

Он был мил и любезен, насколько следует быть светскому человеку и духовному сановнику. Йозеф заметил подле него какого-то мирянина, с которым он обращался одновременно и с уважением и фамильярно. Йозефу казалось, что он уже видел его где-то в Вене, но припомнить имени его он никак не мог.

— Итак, милые дети, вы отказываете мне в удовольствии еще раз услышать произведение Порпора? А вот мой друг, большой музыкант и в сто раз лучший судья в этом деле, чем я, был поражен тем, как вы исполнили этот отрывок. Раз вы утомлены, — прибавил он, обращаясь к Йозефу, — я больше не стану вас мучить своими просьбами, но вы будете так любезны сказать мне свое имя, а также, где вы учились музыке.

Йозеф понял, что ему приписывают исполнение соло, спетого Консуэло. Консуэло выразительным взглядом приказала ему поддержать заблуждение каноника.

— Меня зовут Йозефом, — ответил он кратко, — а учился я в детской певческой школе святого Стефана.

— Я также, — заметил незнакомец, — учился в этой школе при Ройтере-отце, а вы, конечно, при Ройтере-сыне?

— Да, сударь!

— Но потом вы, наверно, еще у кого-нибудь занимались? Вы учились в Италии?

— Нет, сударь!

— Это вы играли на органе?

— То я, то мой товарищ.

— А кто из вас пел?

— Мы оба.

— Но вещь Порпора исполняли не вы? — проговорил незнакомец, искоса поглядывая на Консуэло.

— Во всяком случае, не этот ребенок, — сказал каноник, также взглянув на Консуэло, — он слишком молод, чтобы так прекрасно петь.

— Да это не я, а он, — отрывисто ответила Консуэло, указывая на Йозефа.

Она жаждала избавиться от этого допроса и с нетерпением поглядывала на дверь.

— Почему вы говорите неправду, дитя мое? — наивно спросил священник. — Я уже вчера слышал и видел, как вы пели, и прекрасно узнал голос вашего товарища Йозефа, когда он исполнял соло Баха.

— По-видимому, вы ошиблись, ваше преподобие, — с лукавой улыбкой заметил незнакомец, — или же этот юноша чрезмерно скромнен. Как бы то ни было, мы хвалили и того и другого.

Потом, отведя священника в сторону, незнакомец проговорил:

— У вас ухо верное, но глаз не проницательный; это делает честь чистоте ваших помыслов. Тем не менее следует вывести вас из заблуждения: этот юный венгерский крестьянин — очень искусная итальянская певица.

— Переодетая женщина! — воскликнул пораженный священник.

Он внимательно стал приглядываться к Консуэло, в то время как та отвечала на благожелательные допросы каноника, и от удовольствия ли или от негодования, но добрый священник густо покраснел от брыжей вплоть до самой ермолки.

— Уж это так, как я вам говорю, — продолжал незнакомец. — Напрасно стараюсь я доискаться, кто бы она могла быть; никак не могу разгадать; а что касается ее переодевания и теперешнего случайного ремесла, то это безрасудный поступок. Тут любовь, господин священник! Это нас не касается.

— Любовь! Хорошо вам говорить! — воскликнул очень взволнованный священник. — Похищение, преступная интрига с этим молодчиком! Но все это отвратительно! А я-то как попался впросак! Поместил их в священническом доме! Еще, по счастью, дал им две отдельные комнаты, так что, надеюсь, под моей крышей не происходило соблазна. Ах! Какое происшествие! Воображаю, как надо мной потешались бы вольнодумцы моего прихода! А такие, сударь, имеются, и некоторых из них я даже знаю.

— Если ваши прихожане не распознали женского голоса, то, по всей вероятности, и не разглядели ни черт лица, ни походки. А между тем взгляните, что за красивые ручки, какие шелковистые волосы, до чего крошечная ножка, несмотря на грубую обувь!

— Ничего этого не желаю я видеть! — воскликнул вне себя священник. — Это гнусность — переодеваться в мужской костюм! В священном писании есть стих, осуждающий на смерть всякого мужчину или женщину, сменяющего одежду своего пола. «На смерть». Слышите, сударь! Это в достаточной мере указывает на всю тяжесть греха. И при всем этом она осмелилась проникнуть в храм Божий и бесстыдно воспевать хвалу Господу, будучи душой и телом загрязнена таким преступлением!

— И воспевала хвалу эту божественно! Я прослезился, никогда не слыхивал ничего подобного! Странная тайна! Кто эта женщина? Все, кого я мог бы предположить, гораздо старше ее.

— Да это ребенок, совсем молоденькая девушка, — продолжал священник, который не мог удержаться от того, чтоб не смотреть на Консуэло с инте-

ресом, боровшимся в его сердце со строгими принципами. — Экая змейка! Посмотрите только, с каким кротким и скромным видом она отвечает господину канонику. Ах! Я погибший человек, если кто-нибудь догадается об этой проделке! Придется мне уехать отсюда!

— Как же вы сами и никто из ваших прихожан не распознали женского голоса? Ну и простачи же вы, скажу я вам!

— Что поделаешь! Мы, правда, находили нечто необыкновенное в ее голосе, но Готлиб говорил, что это голос итальянский из Сикстинской капеллы и что он уже подобные слышал. Не знаю, что он этим хотел сказать, я ведь не смыслю ничего в музыке, выходящей за пределы моего служебника, и был так далек от всякого подозрения. Как быть, сударь? Как быть?

— Если никто ничего не подозревает, мой совет вам: молчать обо всем. Выпроводите этих детей как можно скорее. Если хотите, я возьмусь избавить вас от них.

— О да! Вы окажете мне огромную услугу! Натe, нате, я дам вам денег. Сколько им заплатить?

— Это меня не касается. Мы-то щедро платим артистам... Но ваш приход небогат, и церковь не обязана поступать, как театр.

— Я не стану скупиться, я дам им шесть флоринов! Иду сейчас... Но что скажет господин каноник? Он, по-видимому, ничего не замечает. Вот он разговаривает с «ней» совсем по-отечески... Святой человек!

— А что, по-вашему, он бы очень негодовал?

— Да как же не негодовать ему! Впрочем, я не столько боюсь его нагоняя, сколько насмешек. Вы ведь знаете, как он любит вышучивать, он так остроумен. О! Как он будет издеваться над моей наивностью!..

— Но раз он, видимо, продолжает разделять ваше заблуждение... то будет не вправе насмехаться над вами. Ну-с! Притворитесь, что ничего не случилось, и воспользуйтесь первым удобным моментом, чтоб сплавить ваших музыкантов.

Они отошли от окна, где велся этот разговор, и священник, проскользнув к Йозефу, который, казалось, гораздо меньше занимал каноника, чем синьор Бертони, сунул ему в руку шесть флоринов. Получив эту скромную сумму, Йозеф знаком показал Консуэло, чтоб она поскорее отделалась от каноника и шла вслед за ним. Но каноник отозвал обратно Йозефа и, продолжая на основании его ответов считать, что женский голос принадлежал ему, спросил:

— Скажите же мне, почему вы выбрали этот отрывок Порпора, вместо того чтобы исполнить соло господина Гольцбауэра?

— У нас не имелось этой партитуры, да и была она нам незнакома, — ответил Йозеф, — я спел единственную из пройденных мною вещей, которую хорошо помнил.

Тут священник поспешил рассказать о маленькой хитрости Готлиба, и эта зависть артиста заставила каноника много смеяться.

— Ну, что ж, — заметил незнакомец, — ваш милый сапожник оказал нам громадную услугу: вместо плохого соло мы насладились шедевром великого мастера. Вы доказали свой вкус, — прибавил он, обращаясь к Консуэло.

— Не думаю, — возразил Йозеф, — чтобы соло Гольцбауэра было так плохо. То, что мы исполняли из его произведений, было не без достоинств.

— Достоинства это еще не гениальность, — ответил незнакомец, вздыхая, и настойчиво обращаясь к Консуэло, он добавил:

— А вы какого мнения, дружок мой? Считаете ли вы, что это одно и то же?

— Нет, сударь, я этого не считаю, — ответила она лаконически и холодно, так как взгляды этого человека все больше и больше смущали и тяготили ее.

— Однако вам же доставило удовольствие пропеть эту обедню Гольцбауэра? — вмешался каноник. — Ведь это прекрасная вещь, не правда ли?

— Мне она не доставила ни удовольствия, ни неудовольствия, — ответила Консуэло, у которой нетерпение вызвало непреодолимый порыв откровенности.

— Вы хотите этим сказать, что эта вещь ни хороша, ни дурна! — воскликнул, смеясь, незнакомец. — Ну-с, дитя мое, вы прекрасно ответили, и я вполне согласен с вашим мнением.

Тут раздался взрыв хохота каноника; священник казался очень смущенным, а Консуэло, нисколько не интересуясь этим музыкальным диспутом, скрылась вслед за Йозефом.

— Ну, господин каноник, как вы находите этих детей? — лукаво спросил незнакомец, как только те вышли.

— Очаровательны! Чудесны! Вы уж извините меня, что я говорю это после отповеди, которою наградил вас этот мальчуган.

— Мне извинять! Да я нахожу его восхитительным, этого мальчика! Какой талант в такие юные годы! Просто поразительно! Что за мощные и скоропелые натуры, эти итальянцы!

— О таланте этого мальчика ничего не могу вам сказать, — возразил каноник естественным тоном, — я не нашел в нем ничего особенно замечательного. Но вот его товарищ — удивительный юноша, и он наш с вами соотечественник, не в обиду будь сказано вашей «итальяномании».

— Ах! Вот что! — проговорил незнакомец, подмигивая священнику, — значит, это несомненно, что старший исполнял Порпора?

— Полагаю, что да, — ответил священник, совершенно смущенный тем, что его заставляют лгать.

— Я в этом вполне уверен: он сам мне сказал, — заметил каноник.

— А второе соло, значит, исполнил кто-либо из ваших прихожан? — продолжал допрашивать незнакомец.

— Должно быть, — ответил священник, делая усилия, чтоб поддержать эту ложь.



Оба посмотрели на каноника, желая убедиться, удалось ли им провести его или он насмехается над ними. Казалось, он вообще перестал думать об этом. Невозмутимость его успокоила священника. Заговорили о другом. Но четверть часа спустя каноник снова вспомнил о музыке и пожелал видеть Йозефа и Консуэло с тем, объявил он, чтобы увезти их к себе в имение и там на досуге еще хорошенько прослушать. Перепуганный священник прошептал какие-то малопонятные возражения. Каноник, смеясь, спросил его, не велел ли уж он бросить своих маленьких музыкантов в котел для подкрепления завтрака, который и так кажется ему великолепным. Священник переживал пытки. На выручку ему явился незнакомец.

— Сейчас приведу их вам, — сказал он канонику.

И он вышел, сделав знак добродушному священнику, чтоб тот рассчитывал на какое-нибудь ухищрение с его стороны. Но придумывать ничего не понадобилось. Он узнал от служанки, что юные артисты уже дали тягу, великодушно уделив ей один флорин из шести только что ими полученных.

— Как, ушли! — воскликнул очень огорченный каноник. — Надо их догнать! Я хочу их видеть и слышать, хочу во что бы то ни стало!

Притворились, будто исполняют его желание, но никто и не подумал догонять юных артистов. Да это и было бы напрасно, так как они, боясь грозящего им любопытства, умчались, как птицы. Каноник был этим очень огорчен и даже несколько рассержен.

— Слава Богу! Он ничего не подозревает, — сказал священник незнакомцу.

— Ваше преподобие, — ответил тот, — вспомните историю с епископом, который, в пятницу кушая по недосмотру скоромное, был предупрежден об этом своим викарием. «Несчастный, — воскликнул епископ, — неужели ты не мог подождать до конца обеда!» Быть может, и нам следовало бы предоставить канонику заблуждаться сколько его душе угодно.

## LXXVI

Было тихо и ясно, полная луна сияла в небесном эфире, звонко и торжественно пробило девять часов в старинной приории, когда Йозеф и Консуэло, тщетно поискав звонок у ограды, стали обходить это безмолвное обиталище, в надежде, что их услышит гостеприимный хозяин. Но надежда эта была напрасна: все двери были на запоре, ни одна собака не лаяла, ни в одном окне этого мрачного здания не видно было даже слабого проблеска света.

— Это дворец молчания, — сказал, смеясь, Гайдн, — и, если б часы дважды не пробili тихо и торжественно четыре четверти в тоне *до* и *си* и девять ударов в тоне *соль*, я считал бы, что это жилище предоставлено совам и привидениям.

Местность вокруг была очень пустынна. Консуэло чувствовала усталость. К тому же, эта таинственная приория, при ее поэтическом воображении, привлекала ее.

— Если б даже нам пришлось спать в какой-нибудь часовне, — сказала она, — мне все-таки хотелось бы ночевать здесь. Попробуем во что бы то ни стало пробраться туда, даже перелезши через эту стену, что не так уж трудно сделать.

— Давайте, я помогу вам, — сказал Йозеф, — а когда вы взберетесь наверх, я мигом перескочу и при спуске буду для вас подножкой.

Сказано — сделано. Стена была очень низка. Две минуты спустя наши юнцы с отважным спокойствием уже прогуливались внутри священной ограды. Они были в прекрасном саду-огороде, который содержался в большом порядке. Фруктовые деревья, расположенные веером, протягивали проходящим свои длинные ветви, отягощенные румяными яблоками и золотистыми грушами. Виноградные лозы, кокетливо изогнутые в виде арок, были покрыты, словно чудными серьгами, крупными гроздьями сочных ягод. Огромные грядки с овощами обладали также своею прелестью. Спаржа с изящными стеблями и шелковистыми волосиками, блесевшими от вечерней росы, напоминала рощу карликовых елей, покрытых серебристым флёром. Горох, поднимаясь на своих подпорках легкими гирляндами, образовал длинные беседки, какие-то узкие таинственные переулочки, где щебетали полусонные крошечные малиновки. Американские тыквы, гордые левиафаны этого моря зелени, тяжело выпячивали свое оранжевое брюхо на широких темных листьях. Молодые артишоки, словно крошечные коронованные головки, толпились вокруг своего главы, августейшего стебля-родоначальника. Дыни сидели под стеклянными колпаками, словно тяжеловесные китайские мандарины под паланкинами, и из каждого такого кристального свода луна высекала крупный голубоватый бриллиант, о который ветреные ночные бабочки, жужжа, ударялись своими головками.

Шпалера из роз образовывала пограничную демаркационную линию, отделявшую огород от цветника; она доходила до зданий и окружала их поясом из цветов. Укромный этот сад казался каким-то раем. Под тенью великолепных, изящных кустов ютились редкие растения, распространявшие чудесный аромат. Песок под ногами был так же мягок, как ковер. Газон казался расчесанным травинка к травинке, настолько он был ровен и гладок. Цветы росли так буйно, что совсем не видно было земли, и каждая закругленная клумба походила на громадную корзину цветов.

Удивительно влияние внешних предметов на душевное и физическое состояние человека! Не успела Консуэло подышать этим сладостным воздухом, полюбоваться этим святилищем беспечного благосостояния, как почувствовала себя совершенно отдохнувшей, словно выпалась на славу.

— Вот удивительно! — сказала она Беппо. — Вижу этот сад и совсем забыла о камнях дороги и о своих больных ногах. Мне кажется, что, глядя вокруг,

я отдыхаю. Всегда я ненавидела хорошо ухоженные сады и вообще все огороженные места, а вот этот сад после стольких дней пути по пыльной дороге, после такой ходьбы по твердой утоптанной земле представляется мне настоящим раем. Я умирала от жажды, а сейчас при виде этих счастливых растений, распускающихся от вечерней росы, мне кажется, что я пью вместе с ними и свою жажду уже утолила. Посмотри, Йозеф, есть ли что-нибудь прелестнее цветов, распускающихся при лунном свете? Взгляни, говорю я тебе, на этот ворох белых звезд как раз посередине клумбы с газоном и не смейся надо мной. Не знаю их названия, — кажется, ночные красавицы. О, как удачно они названы! Красивы они и чисты, как звезды на небе. При дуновении легкого ветерка они все вместе то склоняются, то выпрямляются, и чудится, будто смеются они и резвятся, словно девочки, одетые во все белое. Они напоминают мне моих школьных подруг, когда по воскресеньям, облаченные послушницами, они бегали у высоких церковных стен. И вдруг девочки на бегу останавливаются, воздух неподвижен, все глядит на луну. Вот и эти цветы будто смотрят на нее и любят ее, и кажется, что и луна тоже глядит на них, не спуская глаз, и парит над ними в виде большой ночной птицы. Неужели ты думаешь, Беппо, что эти существа ничего не чувствуют? А мне думается, что красивый цветок не прозябает бессмысленно, а испытывает чудесные ощущения. Не будем говорить о маленьких, жалких растеньицах, растущих вдоль канав, где они чахнут в пыли, обгладываемые каждым проходящим стадом. Растеньица эти похожи на маленьких нищенков, вздыхающих о капле недоступной им воды. Растрескавшаяся и жаждущая земля алчно вбирает в себя всю воду, не делясь ею с их корнями. Но эти садовые цветы, за которыми так ухаживают, счастливы и горды, как королевы. Они проводят время, кокетливо раскачиваясь на своих стеблях, а когда всходит на небо их милая подруга луна, стоят, совсем распустившиеся в полудремоте, в сладких грезах. Быть может, они спрашивают себя, есть ли на луне цветы, подобно тому как мы интересуемся знать, живут ли там люди. Я вижу, Йозеф, что ты смеешься надо мною, а между тем чувство удовольствия, которое я испытываю, вовсе не самообман. В воздухе, очищенном и освеженном ими, есть что-то возвышающее, и я чувствую какую-то связь между своей жизнью и жизнью всего окружающего.

— Как мог бы я насмеяться над вами, — ответил, вздыхая, Йозеф, — когда все ваши впечатления сейчас же передаются мне, когда каждое ваше словечко трепещет в моей душе, как звук на струнах инструмента. Но посмотрите, Консуэло, на это жилище и объясните мне, почему навевает оно на меня такую сладостную, но глубокую грусть.

Консуэло взглянула на приорию. То было небольшое здание XII века, когда-то укрепленное зубчатыми парапетами, которые впоследствии были заменены остроконечными крышами из сероватых шиферных плит. Башенки, увенчанные частыми бойницами, оставленными для украшения, были похожи на большие корзины. Густые заросли плюща изящно нарушали однообразие стен, а на обнаженных частях фасада, залитого лунным светом, ночной ветер

колебал легкую расплывчатую тень молодых тополей. Большие гирлянды виноградных лоз и жасмина обрамляли двери и вились вокруг окон.

— От жилища этого веет тишиной и грустью, — ответила Консуэло, — но оно не внушает мне такой симпатии, как сад. Растения созданы, чтобы произрастать на одном и том же месте, люди же — чтобы двигаться и сообщаться друг с другом. Будь я цветком, я хотела бы расти в этом цветнике: здесь так хорошо, но, будучи женщиной, я не желала бы жить в келье, запереться в каменной громаде. А ты хотел бы быть монахом, Беппо?

— Ну нет! Боже меня упаси! Но мне было бы приятно работать, не думая о крыше над головой и о хлебе насущном; мне хотелось бы вести жизнь спокойную, уединенную, с некоторым достатком, без забот, присущих нищете. Словом, я желал бы прозябать в пассивной размеренной жизни, даже будучи при этом в некоторой зависимости, лишь бы разум мой был свободен, лишь бы у меня не было иных забот, иных хлопот, иного долга, как только заниматься музыкой.

— Ну что ж, милый товарищ, творя спокойно, ты творил бы спокойную музыку.

— А почему бы ей быть плохой? Что может быть лучше спокойствия? Небеса — спокойны, луна — спокойна, эти цветы, мирный вид которых вас так прельщает...

— Их неподвижность нравится мне, лишь потому что она наступила после того, как их только что колебал ветерок. Ясность неба нас поражает единственно потому что мы не раз видели его в грозовых тучах. А луна никогда не бывает так величественна, как посреди теснящихся вокруг нее облаков. Разве отдых может иметь настоящую сладость без усталости? Непрерывная неподвижность — это уже не отдых. Это — небытие, это смерть. Ах! Если б ты прожил, как я, целые месяцы в Замке Великанов, ты бы знал, что спокойствие не есть жизнь!

— Но что вы называете спокойной музыкой?

— Музыку слишком выдержанную, слишком холодную. Смотри, как бы ты не натворил такой музыки, избегая усталости и мирских тревог!

Так беседуя, подошли они к самой приоррии. Кристальная вода била из мраморного шара с золотым крестом наверху и, струясь из чаши в чашу, падала в большую гранитную раковину, где плескалась масса маленьких красных рыбок, которыми так любят забавляться дети.

Консуэло и Беппо, в сущности еще дети, принялись забавляться самым искренним образом, бросая рыбкам песок, чтоб подразнить их прожорливость, и следя глазами за их быстрыми движениями, как вдруг увидели идущую прямо к ним высокую, одетую в белое женщину с кувшином; приближаясь к фонтану, она очень походила на одну из тех «ночных прачек» — фантастических личностей, легенды о которых распространены почти во всех суеверных странах. Озабоченность или безразличие, с каким она принялась наполнять водой свой кувшин, не выказывая при виде пришельцев ни удив-

ления, ни страха, заключали в себе, на первый взгляд, что-то торжественное и странное. Но вскоре громкий крик и уроненный ею при этом на дно бассейна кувшин доказали им, что в ней не было ничего сверхъестественного. У доброй женщины просто с годами ослабело зрение, а как только она их заметила, она страшно перепугалась и бросилась бежать к дому, призывая на помощь пресвятую деву Марию и всех святых.

— Что случилось, тетка Бригита? — раздался из дома мужской голос. — Не встретились ли уж вы с какой-нибудь нечистой силой?

— Два дьявола или, скорее, два вора стоят там у фонтана, — ответила женщина, подбегая к своему собеседнику, который, появившись на пороге дома, простоял там несколько минут с нерешительным и недоверчивым видом.

— Наверное, еще один из ваших обычных страхов. Разве в такой час какие-нибудь вору покусятся на нас?

— Клянусь вам своим вечным спасением, что там стоят две черные фигуры, неподвижные, как статуи, да разве вы сами не видите их отсюда? Смотрите же, они все еще там и не уходят. Пресвятая дева Мария! Бегу прятаться в подвал.

— Действительно, я что-то вижу, — проговорил мужчина, стараясь придать грубость своему голосу. — Немедленно звоню садовнику, и вместе с его двумя помощниками мы легко справимся с этими плутами, которые могли пробраться сюда, только перелезши через стенку, так как я сам запер все ворота.

— Пока что запрем нашу дверь, — заметила старуха, — а потом ударим в набат.

Дверь закрылась, а наши двое юношей продолжали стоять в недоумении, не зная, что им предпринять. Бежать — значило подтвердить мнение, которое составилось о них, а оставаться значило подвергнуться грубому нападению. Совещаясь, они увидели слабый луч, пробивавшийся сквозь ставню нижнего этажа. Луч расширился, и малиновая шелковая занавеска, из-за которой лился мягкий свет лампы, стала медленно приподниматься. У края занавески появилась рука, казавшаяся при ярком лунном свете белой и полной. Рука эта осторожно поддерживала бахрому занавески, в то время как чей-то незримый глаз, должно быть, рассматривал то, что делалось вне дома.

— Давай петь: это единственный выход, — сказала своему товарищу Консуэло, — я начну, а ты вторь мне. Но нет, возьми свою скрипку и играй любой ритурнель, в любом тоне.

Йозеф повиновался, и Консуэло запела во весь голос, одновременно импровизируя и музыку и слова — нечто вроде ритмического речитатива на немецком языке: «Нас двое бедных пятнадцатилетних детей; мы малы и не сильнее и не злее тех соловушек, чьим сладким песням мы подражаем».

— Ну, Йозеф, — прошептала она, — еще аккорд для поддержки речитатива.

Затем она продолжала: «Измученные усталостью, подавленные мрачным ночным уединением, мы увидели этот дом издали; он показался нам необитаемым, и мы перекинули через стену сперва одну ногу, а потом и другую».



— Йозеф, еще аккорд в ла минор.

«Очутились мы в заколдованном саду, среди плодов, достойных земли обетованной, умирали мы от жажды, умирали мы от голода, и все-таки если не хватит хоть единого красного яблочка на шпалерах, если сорвали мы хотя бы единую ягодку с виноградной лозы, пусть нас выгонят и проучат, как злодеев».

— Теперь, Йозеф, модуляцию, чтобы вернуться в до мажор.

«А между тем, — продолжала она, — нас подозревают, нам грозят; но мы не хотим бежать, не хотим прятаться, ибо не совершили ничего дурного... если только не считать, что мы вошли в дом божий, перелезши через стену. Но когда дело идет о том, чтобы забраться в рай, то все дороги хороши, и кратчайшие — наилучшие».

Консуэло завершила свой речитатив одним из тех красивых хоралов на простонародном латинском языке, известном в Венеции под названием «*latino di frate*»<sup>1</sup>, которые народ распевает вечерами перед статуями мадонны. Когда она закончила, две белые руки, понемногу высунувшиеся из-за занавесей, бурно зааплодировали, и голос, показавшийся ей не совсем незнакомым, крикнул из окна:

— Добро пожаловать, ученики муз; входите, входите! Вас ждет здесь гостеприимство!

Юные музыканты приблизились, а минуту спустя лакей в красной с лиловым livрее вежливо распахнул перед ними двери.

— Я принял было вас за жуликов, прошу извинить меня, друзья мои, — смеясь, сказал он. — Но вы сами виноваты, что не запели раньше. С таким паспортом, как ваш голос и ваша скрипка, вы не преминули бы встретить радушный прием у моего хозяина. Пожалуйте же. По-видимому, он уже знал вас раньше.

С этими словами приветливый слуга поднялся впереди них по двенадцати ступенькам очень пологой лестницы, покрытой прекрасным турецким ковром.

Не успел еще Йозеф спросить имя хозяина, как лакей открыл дверь, бесшумно за ними закрывшуюся, и, проведя их через уютную переднюю, ввел в столовую, где любезный хозяин этого счастливого обиталища, сидя перед жареным фазаном между двумя бутылками старого золотистого вина, начинал переваривать свое первое блюдо, атакуя в то же время с отеческим и величественным видом второе. Вернувшись с утренней прогулки, он приказал привести себя в порядок и освежить себе лицо, что было исполнено его камердинером. Он был напудрен и выбрит, седеющие кудри мягко вились вокруг его почтенной головы, блестя ирисовой, чудесно пахнущей пудрой. Красивые руки, покоясь на коленях, выделялись на коротких черных шелковых панталонах с серебряными пряжками. Нога прекрасной формы, которой он немного гордился, туго обтянута прозрачным, лиловым шелковым чулком, отдыхала на бархатной подушке. Его статное, дородное тело, облаченное в запашный,

<sup>1</sup> Монашеская латынь (ит.)



*...Любезный хозяин этого счастливого обиталища, сидя перед жареным фазаном между двумя бутылками старого золотистого вина, начинал переваривать свое первое блюдо, атакуя в то же время с отеческим и величественным видом второе.*

из превосходного шелка пюсового цвета, стеганный на вате халат, утопало в большом крытом ковровой тканью кресле, где локоть не рисковал наткнуться на угол, до того кресло это было хорошо набито волосом и везде закруглено. Экономка Бригита, сидя у пылающего и потрескивающего камина за креслом хозяина, со священнодействующим видом варила кофе. Второй лакей, не уступавший первому ни в выправке, ни в приветливости, стоя у стола, осторожно отрезал крылышко дичи, спокойно и терпеливо ожидаемое благочестивым отцом.

Йозеф и Консуэло низко поклонились, узнав в хозяине старшего каноника собора св. Стефана, в присутствии которого они прошлым утром служили обедню.

## LXXVII

Не было на свете человека, жизнь которого сложилась бы так спокойно и удобно, как жизнь господина каноника. В возрасте семи лет он, благодаря многочисленным покровителям, принадлежавшим к королевскому дому, был объявлен совершеннолетним, согласно церковному уставу, допускающему, что если в эти годы человек еще не отличается большим умом, то во всяком случае обладает им в скрытом виде настолько, чтобы получать и тратить доходы с бенефиций. Вследствие такого постановления тонзурированного<sup>1</sup> юнца возвели в каноники, хотя он и был побочным сыном короля. Сделано это было также на основании церковных уставов, в силу презумпции, признающей ребенка законнорожденным, если он получает доходы с церковного имущества и находится под покровительством королевского дома. Те же самые канонические постановления требовали, чтобы каждый претендент на церковное имущество происходил от бесспорного и законного брака, в противном случае его могли объявить «неправоспособным», в случае надобности даже «недостойным» и «обесчещенным». Но есть столько средств для соглашения с небом! Так, в некоторых случаях каноническое право устанавливало, что подкинутый ребенок может считаться законнорожденным на том, впрочем, истинно христианском основании, что в случае неизвестного происхождения должно-де скорее предполагать хорошее, чем плохое.

Итак, маленький каноник в качестве совершеннолетнего каноника стал получать прекрасный доход с церковного имущества. Дожив до пятидесяти лет отроду и до сорока лет якобы действительной службы в капитуле, он был признан с этого момента каноником «юбилейным», то есть каноником в отставке. Ему предоставлялось жить, где заблагорассудится, не исполнять

<sup>1</sup> *Тонзура* — выстриженное на голове католического духовного лица место в знак отрешения от мирских интересов и принадлежности к церкви.



никакой работы при капитуле, пользуясь, однако, всеми выгодами, доходами и привилегиями канониката.

Правда, достойный каноник с юных лет оказывал капитулу очень большие услуги. Он объявил себя «отсутствующим», что на языке каноническом означает право жить под более или менее благовидным предлогом вдали от капитула, не теряя при этом доходов с церковного имущества, связанных с действительной службой. Достаточно было чумной эпидемии в его резиденции, чтоб это послужило основанием для «отсутствия». Могло быть причиной «отсутствия» слабое или расстроенное здоровье, но самым надежным и уважительным поводом была ссылка на научные занятия. Для этого предпринимался и объявлялся какой-нибудь объемистый труд о сомнениях в делах веры, об отцах церкви, о таинствах или, того лучше, об устройстве капитула, к которому принадлежишь, о принципах, на которых он был основан, о почетных и материальных выгодах, связанных со службой при капитуле, о требованиях, которые могли бы быть предъявлены другим капитулам, о процессе, который велся или будет вестись против соперничающей общины по поводу какой-нибудь земли, права попечительства или бенефициального дома. И такого рода сутяжные и финансовые хитросплетения были настолько интереснее духовному сословию, чем комментарии к учению и разъяснению догматов, что стоило только какому-нибудь видному члену капитула предложить заняться исследованием и наведением справок в правительственных учреждениях относительно старинных документов, набросать записки о судопроизводстве, настрочить жалобы и даже пасквилы на богатых противников, как ему предоставляли выгодное и приятное право вернуться к частной жизни и проедать свои доходы, либо путешествуя, либо сидя в своем бенефициальном доме, у собственного камелька<sup>1</sup>. Так поступил и наш каноник.

Человек умный, одаренный красноречием и изящным слогом, он дал себе слово и давал его всю жизнь — написать книгу о правах, льготах и привилегиях своего капитула. Окруженный запыленными фолиантами, из которых он ни разу не открыл ни одного, он своей книги не написал, не писал ее и вообще ему не суждено было когда-либо ее написать. Два секретаря, приглашенные им за счет капитула, заняты были тем, что опрыскивали его особу духами и готовили ему трапезы. О пресловутой книге много было толков; ее ожидали, на силе ее аргументов строили тысячи воздушных замков, мечтая о славе, мести и золоте. Эта несуществующая книга уже создала своему автору репутацию упорного в труде, красноречивого эрудита, чему он вовсе не спешил представить доказательств. И делал это он не потому что был неспособен оправдать высокое о себе мнение своих собратьев, но потому что жизнь коротка, а за обедами и ужинами засиживаешься долго, на туалет свой время тратить необходимо и так восхитительно *dolce far niente*<sup>2</sup>. Затем у нашего каноника были две невинные, но неутолимые страсти: он обожал садоводство

<sup>1</sup> Камелёк — небольшой камин.

<sup>2</sup> Приятное ничегонеделание (ит.)

и музыку. Где же было ему при таком количестве дел и занятий найти время для написания своей книги? Наконец так приятно говорить о книге, которую не пишешь, и, напротив, так неприятно слышать разговоры о той, которую уже написал.

Бенефиция этой святой особы представляла собою весьма доходное имение с присоединенной к нему секуляризированной приорией, где он жил восемь-девять месяцев в году, предаваясь разведению цветов и ублажению своей утробы. Жилище это было обширным и романтическим. Каноник сделал его не только комфортабельным, но даже роскошным. Предоставляя медленно разрушаться корпусу, где жили прежде монахи, он заботливо поддерживал и со вкусом украшал ту часть здания, которая наиболее соответствовала его сибаритским привычкам. Благодаря новым переделкам древний монастырь преобразовался в настоящий маленький замок, где благочестивый отец вел жизнь помещика. Он был наиприятнейшей духовной особой: снисходительный, остроумный, когда это требовалось, правоверный и красноречивый с людьми своего сословия, обходительный, забавный и веселый в светском обществе, любезный, радушный и щедрый с артистами. Слуги его, деля с ним хорошую жизнь, которую он умел себе устроить, помогали ему изо всех сил. Экономка его была немного сварлива, но варила ему такое вкусное варенье, умела так сохранять его фрукты, что он выносил ее скверное настроение духа и спокойно выдерживал бури, говоря себе при этом, что человек должен мириться с чужими недостатками, но не может обойтись без прекрасного десерта и чудесного кофе.

Наши юные артисты была приняты им с самым милым добродушием.

— Вы, дети, очень умные и изобретательные, — сказал он им, — и я полюбил вас всем сердцем. К тому же вы очень талантливы; а у одного из вас, уже не знаю теперь у которого, голос самый нежный, самый симпатичный, самый волнующий из когда-либо слышанных мною в жизни. Голос этот — чудо, клад. И я сегодня был совсем опечален, узнав от священника о вашем внезапном уходе, думая о том, что, быть может, уже никогда больше не встречу с вами, никогда больше не услышу вас. Право, я даже лишился аппетита, стал мрачным, озабоченным... Этот чудесный голос и эта чудесная музыка не выходили у меня из головы, продолжали звучать в моих ушах. Но провидение, действительно желающее мне добра, снова приводит вас ко мне, а быть может, и ваше доброе сердце, дети мои, ибо вы наверное угадали, что я сумел вас и понять и оценить.

— Должны сознаться, господин каноник, — ответил Йозеф, — что только случай привел нас сюда, и мы далеки были от того, чтоб рассчитывать на такую счастливую случайность.

— Для меня счастливую случайность, — любезно возразил каноник, — и вы мне споете... но нет, это было бы слишком эгоистично с моей стороны. Вы устали, может быть, голодны... Сначала вы поужинаете, хорошо выспитесь у меня, а завтра займемся музыкой, да, музыкой в течение целого дня! Андрей, сейчас же проводите этих молодых людей в буфетную и как можно лучше



позаботьтесь о них... Но нет, пусть они остаются; поставьте им два прибора на конце моего стола: они будут ужинать со мной.

Андрей исполнил приказание с готовностью и даже с каким-то благожелательным удовольствием. Но Бригита совсем иначе отнеслась к этому — она покачала головой, пожала плечами и проворчала сквозь зубы:

— Нечего сказать, подходящие сотрапезники! Странное общество для человека вашего круга!

— Замолчите, Бригита! — спокойно ответил каноник. — Вы никогда, никем и ничем не бываете довольны и, как только увидите, что кому-нибудь что-нибудь приятно, сейчас же приходите в ярость.

— Вы уж не знаете, что и выдумать для своего времяпрепровождения, — прибавила она, нисколько не обращая внимания на сделанное ей замечание. — Лестью, всякими рассказками, песенками вас можно провести, как малого ребенка.

— Замолчите же! — сказал каноник, несколько повышая голос, но не переставая весело улыбаться. — У вас голос оглушительный, как трещотка, и если вы не перестанете ворчать, то совсем потеряете голову и испортите мне кофе.

— Великая радость и большая честь, подумаешь, — прошипела старуха, — варить кофе для таких гостей.

— О! Вам нужны, я знаю, важные персоны. Вы любите величие. Вы хотели бы иметь дело только с епископами, князьями да канониссами самых старинных дворянских фамилий. А по мне все это не стоит куплета хорошо исполненной песни.

Консуэло с удивлением слушала, как человек, отличавшийся такой величественной внешностью, мог с каким-то детским удовольствием препираться со своей экономкой; да и в продолжение всего ужина ее изумляла ребячливость его интересов. По поводу решительно всего он болтал массу вздора, просто для препровождения времени и для того, чтобы поддерживать в себе хорошее настроение. Поминутно он обращался к слугам, то серьезно обсуждая вопрос о соусе к рыбе, то беспокоясь о какой-то изготавливаемой мебели, тут же давал противоречивые приказания и расспрашивал челядь о самых пустячных подробностях своего хозяйства, обдумывал эти пустяки с торжественностью, достойной серьезнейшей темы, выслушивал одного, останавливал другого, пробирал Бригиту, противоречившую ему на каждом шагу, и проделывал все это, чередуя вопросы и ответы со всевозможными прибаутками. Можно было подумать, что, принужденный вследствие своей уединенной и ленивой жизни проводить много времени в обществе прислуги, он, чтобы дать работу мозгу, а с другой стороны — способствовать своему пищеварению, занимался гигиены ради упражнением мысли, не слишком серьезным и не слишком легким.

Ужин был превосходный и необыкновенно обильный. За пирожным господин каноник вызвал повара, благосклонно похвалил его за приготовление некоторых блюд, кратко и наставительно пожурил за другие, не достигшие

совершенства. Оба наших путешественника, словно свалившись с облаков, поглядывали друг на друга, думая, что им снится какой-то забавный сон, до того все эти изощрения казались им непостижимыми.

— Ну, ну! Не так уж плохо, — проговорил добродушный каноник, отпуская своего кулинару-артиста, — я сделаю кое-что из тебя, если будешь стараться и не перестанешь любить свое ремесло.

«Можно вообразить, — подумала Консуэло, — что дело идет об отеческом наставлении или религиозном увещании».

За десертом, отпустив также и экономке ее долю похвал и замечаний, каноник наконец забыл об этих важных вопросах и перешел к музыке, где показал себя своим юным гостям в гораздо лучшем свете. У него было хорошее музыкальное образование, серьезные познания, верные взгляды и просвещенный вкус. Он довольно хорошо играл на органе. Усевшись после обеда за клавесин, он сыграл им несколько отрывков из произведений старинных немецких композиторов, исполняя их с тонким вкусом и согласно добрым традициям прошлого.

Не без интереса слушала Консуэло его игру. Вскоре, найдя на клавесине толстую книгу с этими старинными пьесами, она принялась ее перелистывать. Тут позабыла она и об усталости и о позднем времени и стала просить каноника сыграть, не изменяя своей красивой, тонкой и полнзвучной манеры, некоторые из пьес, особенно понравившихся ей. Каноник был чрезвычайно польщен, что его слушают с таким удовольствием. Музыка, которую он знал, уже вышла из моды, и потому он нечасто находил любителей себе по сердцу. И вот он воспылал любовью особенно к Консуэло, так как Йозеф, измученный усталостью, заснул в предательски удобном кресле.

— Право! — воскликнул каноник в порыве увлечения. — Ты дитя, чудесно одаренное, и умен не по годам. Тебя ожидает необыкновенная будущность. Впервые жалею я о безбрачии, налагаемом на меня моей профессией.

Этот комплимент заставил покраснеть и привел в трепет Консуэло, которой пришло в голову, что в ней признали женщину, но она очень скоро успокоилась, как только каноник наивно прибавил:

— Да, жалею, что у меня нет детей, так как небо, быть может, послало бы мне такого сына, как ты, а это было бы счастьем моей жизни... Будь его матерью хотя бы сама Бригита! Но скажи мне, друг мой, какого ты мнения о Себастьяне Бахе, сочинения которого имеют таких фанатиков-поклонников среди современных ученых? Считаешь ли и ты его таким поразительным гением? Там лежит у меня толстая книга его произведений, я их собрал и дал переплести, так как все следует иметь у себя... А впрочем, может статься, это действительно прекрасно... Но разбирать их стоит большого труда, и, признаться тебе, после первой же неудачной попытки я поленился снова приняться за них... Притом для самого себя у меня так мало остается времени. Ведь занимаюсь я музыкой в редкие минуты, оторванные от более серьезных дел. Из того, что ты меня видел столь занятым управлением моим маленьким хозяйством, не надо заключать,

что я человек свободный и счастливый. Наоборот, я раб огромного, страшного, взваленного на себя труда. Я пишу книгу, над которой работаю вот уже тридцать лет, но которую другой и в шестьдесят не написал бы. Книга эта требует невероятных познаний, бессонных ночей, непоколебимого терпения и самых глубоких размышлений. Зато, кажется мне, эта книга заставит о себе говорить.

— Но она уже скоро будет кончена? — спросила Консуэло.

— Не так скоро, не так скоро... — ответил каноник, стараясь скрыть от самого себя, что он еще даже и не приступал к ней. — Итак, мы говорили с тобой о том, что музыка этого Баха ужасно трудна, а по-моему, и очень странная.

— Мне же кажется, что, преодолей вы свое предвзятое мнение, вы убедитесь бы, что это гений, охватывающий, резюмирующий и одухотворяющий все знание прошлого и настоящего.

— Ну хорошо, — согласился каноник, — если это так, то завтра мы все троим попробуем разобрать что-нибудь из его произведений. А теперь время вам спать, а мне погрузиться в работу. Но завтрашний день вы проведете у меня, не правда ли, это решено?

— Целый день, это много сказано, сударь: мы должны спешить в Вену, но все утро будем к вашим услугам.

Каноник запротестовал, стал настаивать, и Консуэло сделала вид, что сдается, решив несколько ускорить поутру медленные темпы великого Баха и выбраться из приоррии не позднее двенадцати часов дня.

Когда вопрос коснулся ночлега, горячий спор возник на лестнице между Бригитой и главным камердинером. Усердный Йозеф, стараясь угодить своему барину, приготовил для молодых музыкантов две хорошенькие келейки в недавно отремонтированном здании, занимаемом каноником и его свитой. Бригита же, напротив, упорно настаивала, чтобы поместить их в заброшенных кельях старинного монастыря, мотивируя тем, что эта часть здания была отделена от новой капитальными дверями и крепкими запорами.

— Как! — кричала она своим пронзительным голосом на гулкой лестнице. — Вы собираетесь поместить этих бродяг дверь о дверь с нами! Но разве вы не видите по их лицам, по их манерам, по их ремеслу, что это цыгане, авантюристы, скверные маленькие разбойники, которые сбегут отсюда до света, утащив с собой нашу серебряную посуду. Да еще неизвестно, не убьют ли они нас самих.

— Нас убьют! Эти-то дети! — воскликнул, смеясь, камердинер. — Вы с ума сошли, Бригита. Как вы ни стары и ни дряхлы, а пожалуй, сами еще обратите их в бегство, стоит вам только показать им зубы.

— Сами вы стары и дряхлы, слышите! — кричала в ярости старуха. — Говорю вам, они не будут здесь ночевать, я этого не хочу. Ну да! С ними всю ночь не сомкнешь глаз!

— И совершенно напрасно: я глубоко уверен, что у этих детей не больше моего охоты обеспокоить ваш почтенный сон. Но довольно об этом. Господин каноник мне приказал хорошенько позаботиться о его гостях, и я не упрячу

их в эту лачугу, полную крыс, где гуляет ветер. Быть может, вы еще хотели бы уложить их там на голом полу?

— Я велела садовнику поставить для них туда две складные кровати. А вы считаете, что эта голь привыкла к пуховикам?

— Тем не менее эту ночь они будут спать на пуховиках, так как барин этого желает. А я, госпожа Бригита, признаю только его приказания. Предоставьте мне исполнять свои обязанности и помните, что ваш долг, так же как и мой, — повиноваться, а не приказывать.

— Хорошо сказано, Йозеф! — проговорил каноник, слышавший в передней через полуоткрытую дверь весь этот спор. — А вы, Бригита, идите приготовьте мне туфли и оставьте нас в покое. До свиданья, юные друзья мои. Ступайте за Йозефом и спите хорошенько. Да здравствует музыка! Да здравствует завтрашний прекрасный день!

Долго еще после того, как наши путешественники расположились в своих хорошеньких келейках, доносилась до них воркотня экономки, словно зимний северный ветер завывал по коридорам. Когда же шум, свидетельствовавший о торжественном отходе ко сну каноника, совершенно затих, Бригита подошла на цыпочках к дверям юных гостей и заперла их, быстро повернув ключ в каждом замке. Йозеф, погрузившись в лучшую из когда-либо попадавших ему в жизни постелей, уже крепко спал, Консуэло также последовала его примеру, немало посмеявшись в душе над ужасом Бригиты. Дрожа от страха почти все ночи во время своего путешествия, она теперь, в свою очередь, приводила в трепет других. Она могла бы применить к себе басню о зайце и лягушках, но я не уверен, были ли известны Консуэло басни Лафонтена. Как раз в это время достоинство их оспаривалось величайшими умами мира: Вольтер осмеивал их, а Фридрих Великий, подражая, как обезьяна, своему философу, тоже относился к ним с глубочайшим презрением.

## LXXVIII

Ранним утром Консуэло, увидевшая восходящее солнце и прельщенная щебетанием тысячи птиц, начавших уже свое веселье в саду, попробовала было выйти из своей комнаты, но «арест» не был еще снят, и госпожа Бригита продолжала держать своих пленников под замком. Консуэло пришло в голову, что эта хитрая выдумка, пожалуй, принадлежала канонику, который, желая застраховать музыкальные успехи следующего дня, прежде всего нашел нужным обеспечить себя музыкантами.

Молодая девушка, которой мужской костюм придавал смелость и ловкость, осмотрела окно и убедилась, что вылезть через него не так уж трудно, ибо вдоль всей стены вились по крепким шпалерам старые виноградные лозы. И вот, спустившись тихонько и осторожно, чтобы не попортить чудесного

монастырского винограда, она очутилась на земле и забралась в сад, смеясь в душе над удивлением и разочарованием Бригиты, когда та увидит, что все ее предосторожности ни к чему не привели. Консуэло опять увидела, но уже в новом свете великолепные цветы и роскошные плоды, которыми восхищалась накануне при луне. Дыхание утра и косые лучи розового улыбающегося солнца прибавили еще более жизни этим прекрасным творениям земли.

Атласно-бархатистый налет покрывал плоды, на всех ветвях кристальными бусинками повисла роса, от посеребренных газонов шел легкий пар, казавшийся страстным дыханием земли, стремящимся достигнуть неба и слиться с ним в нежном, любовном порыве. Но ничто в этот таинственный час рассвета не могло сравниться со свежестью и красотой цветов, когда они, еще совсем влажные от ночной росы, приоткрылись, как бы для того чтобы обнаружить сокровища своей чистоты, излить свои тончайшие ароматы. Только самый первый и чистый из солнечных лучей достоин был мельком взглянуть на них, на мгновение обладать ими...

Цветник каноника мог служить для любителя-садовода местом наслаждения. Консуэло же он показался слишком симметрично разбитым, слишком благоустроенным. Но все-таки надолго приковали ее внимание десятки сортов роз, редкие и прекрасные гибискусы, пурпуровые шалфеи, до бесконечности разнообразные герани, благоухающие дурманы со своими глубокими опаловыми чашечками, пропитанными амброзией богов, изящные ласточки, в тонком яде которых насекомое находит смерть среди наслаждений, великолепные кактусы, выставявшие свои яркие венчики на странно убранных колючками стволах, и вообще тысячи редких, великолепных, никогда не виданных ею растений, названия и родины которых она не ведала.

Наблюдая за разными положениями растений, за выражением чувства, как будто сквозившего во всем их облике, она стала искать связи между музыкой и цветами и задумалась над тем, как эти два влечения совмещались в душе местного хозяина. Ей уже и раньше приходило в голову, что гармония звуков отвечает гармонии красок. И гармонией этих гармоний ей казался аромат. Она погрузилась в смутные сладкие мечтания, и в эту минуту ей чудилось, что она слышит голоса, поднимающиеся из каждого такого прелестного венчика, голоса, рассказывающие ей о тайнах жизни на языке, до сих пор ей неведомом. Роза говорила ей о страстной любви, лилия — о небесной чистоте, пышная магнолия беседовала с ней о чистых радостях святой гордости, а крошечная маргаритка шептала о прелестях простой, укромной жизни.

Некоторые цветы громко и властно заявляли: «Я красива и царствую». Другие шептали едва внятно, но таким нежным, в душу проникающим голосом: «Я мала и любима». И все вместе качались они в такт с утренним ветерком, образуя воздушный хор, который постепенно замирал среди умиленных трав и листьев, жаждавших уловить его таинственный смысл...

Вдруг посреди этой идеальной гармонии, этого восхитительного созерцания Консуэло услышала пронзительные, ужасные, мучительные чело-



веческие крики, которые неслись к ней из-за чащи деревьев, скрывавшей монастырскую ограду. Вслед за криками, замершими в деревенской тишине, послышался грохот экипажа, затем экипаж, по-видимому, остановился, и кто-то стал сильно стучать в решетчатые ворота, замыкавшие сад с этой стороны. Но либо в доме все еще спали, либо никто не хотел ответить, только приезжие много раз стучали впустую, а пронзительные крики женщины, прерывающиеся энергичной бранью мужчины, вызывавшего о помощи, разносились среди монастырских стен, не вызывая в них большего отклика, чем в сердцах живущих в них людей. Все окна этого фасада были так хорошо законопачены для охранения сна каноника, что ни единый звук не мог проникнуть сквозь сплошные дубовые ставни, обитые кожей на конском волосе. Слуги, занятые во внутреннем дворе позади дома, не слышали криков, а собак при приории не имелось. Каноник не любил этих назойливых стражей, которые под предлогом ограждения от воров нарушают покой своих хозяев. Консуэло попробовала было проникнуть в дом, чтоб дать знать о прибытии путешественников в бедственном положении, но всё было так крепко заперто, что она отказалась от этой мысли и, взволнованная, бросилась к решетчатым воротам, откуда неся шум.

Дорожный экипаж, нагруженный до верха багажом и совсем белый от пыли после долгого пути, стоял перед главной аллеей сада. Форейторы, слезши с лошадей, старались расшатать негостеприимные ворота, а стоны и жалобы все неслись из экипажа.

— Откройте! — кричали Консуэло. — Если вы только христиане: тут умирает дама!

— Откройте! — закричала, высовываясь из окна кареты женщина, черты лица которой были незнакомы Консуэло, но чей венецианский выговор очень поразил ее. — Госпожа моя умрет, если ей сейчас же не дадут приюта. Откройте же, если вы не звери!

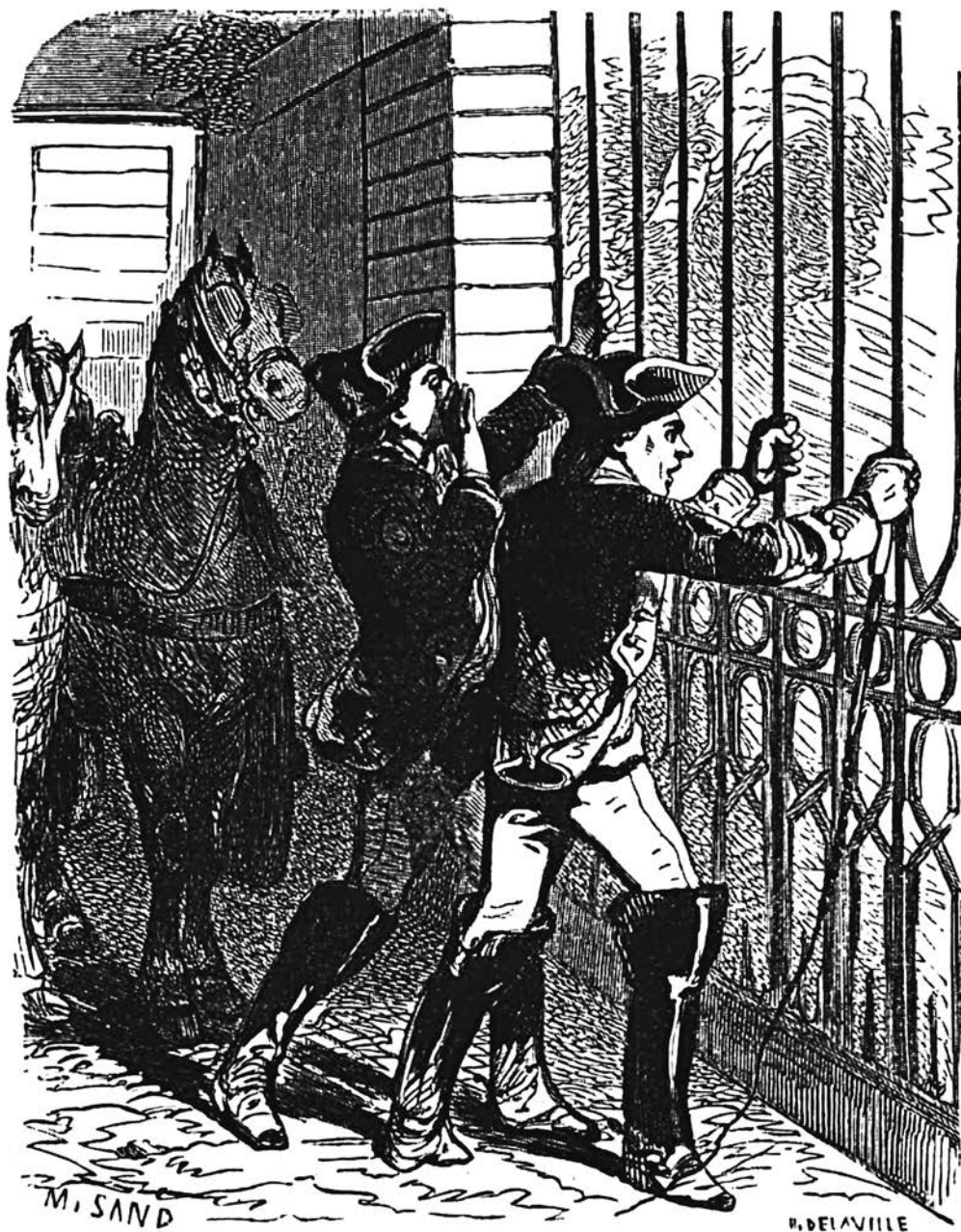
Консуэло, не думая о последствиях своего порыва, бросилась открывать ворота, но на них висел огромный замок, ключ от которого, вероятно, находился в кармане Бригиты. Звонок тоже не действовал благодаря потайной пружине. В этой спокойной и честной местности такие предосторожности принимались не против воров, а, по-видимому, против шума и беспокойства слишком поздних или слишком ранних посещений.

Несмотря на страстное желание помочь Консуэло была бессильна что-либо сделать и с горестью переносила брань горничной, которая, обращаясь к своей барыне, нетерпеливо крикнула по-венециански:

— Дуралей, увалень этакой! Открыть ворота не умеет!

Немецкие форейторы, более терпеливые и спокойные, старались помочь Консуэло, но так же безуспешно. Тут больная дама, высунувшись из окна кареты, крикнула громким голосом на ломаном немецком языке:

— Ах! Черт тебя побери! Да беги же за кем-нибудь, чтоб открыли! Подлая скотина ты этакая!



*Вслед за криками, замершими в деревенской тишине,  
 послышался грохот экипажа, затем экипаж,  
 по-видимому, остановился, и кто-то стал сильно стучать  
 в решетчатые ворота, замыкавшие сад с этой стороны.*

Это энергичное обращение успокоило Консуэло относительно угрожавшей даме близкой смерти. «Если она близка к кончине, то во всяком случае к какой-то весьма буйной кончине», — подумала она, и обратилась к путешественнице по-венециански:

— Я не из этого дома, меня здесь приютили только на ночь. Постараюсь разбудить хозяев, но этого так скоро и просто не сделаешь. Неужели, сударыня, вы в такой опасности, что не можете немного обождать, не приходя в отчаяние?

— Я рожая, дурень! — закричала путешественница. — Мне некогда ждать: беги, кричи, ломай все, приведи людей и помоги мне войти сюда, за труды тебе хорошо будет заплачено...

Она снова принялась вопить, а у Консуэло задрожали колени — это лицо, этот голос не были ей знакомы.

— Как зовут вашу хозяйку? — крикнула она горничной.

— А тебе что до этого? Беги же, негодный! — проговорила взволнованная горничная. — Если будешь медлить, ты ничего от нас не получишь!

— Да я ничего и не хочу от вас! — горячо возразила Консуэло. — Но мне надо знать, кто вы. Если госпожа ваша — музыкантша, ее примут здесь без всяких разговоров, а она, если не ошибаюсь, знаменитая певица.

— Иди, мой мальчик, — сказала роженица, находившая в себе силы в промежутках между схватками быть хладнокровной и энергичной. — Иди, скажи жителям этого дома, что знаменитая Корилла может умереть, если какая-нибудь христианская душа или душа артиста не сжалятся над ее положением. Я заплачу... скажи, что я щедро заплачу.

— Софья, — обратилась она к горничной, — прикажи положить меня на землю; я меньше буду мучиться, лежа на дороге, чем в этой адской карете.

Консуэло уже мчалась к приори с твердой решимостью наделать там как можно больше шума и во что бы то ни стало добраться до самого каноника. Девушка уже не думала ни удивляться, ни приходить в волнение от такой странной случайности, приведшей в это место ее соперницу, причину всех ее несчастий. Она хотела только одного — помочь ей. Стучать Консуэло не понадобилось, она встретила Бригиту, которая, привлеченная криками, выходила из дома в сопровождении садовника и камердинера.

— Славная история, нечего сказать! — сурово проговорила старуха, когда Консуэло изложила ей суть дела. — Не ходите туда, Андрей, не двигайтесь и вы с места, господин садовник. Разве вы не видите, что все подстроено этими бандитами, для того чтобы нас ограбить и убить. Я ждала этого. Тревога эта — хитрость. Шайка злодеев шныряет вокруг дома, в то время как те, которых мы приютили, стараются под благовидными предлогами ввести их к нам. Ступайте за вашими ружьями, господа, и будьте готовы прикончить эту мнимую роженицу с усами и в штанах. Ну хорошо! Пусть даже это роженица. Допустим! Так она принимает наш дом за больницу, что ли? У нас тут нет акушерки, я лично ничего не смыслю в этом деле, а господин каноник

не любит писка новорожденных. Как же дама могла пуститься в дорогу, зная, что ей время родить? А раз она это сделала, кто же виноват? Да можем ли мы избавить ее от страданий? Пусть родит в своей карете: ей там будет не хуже, чем у нас, где ничего не приспособлено для подобного неожиданного подарка.

Эту речь, начатую для Консуэло, она, брюзжа, продолжала на протяжении всей аллеи и закончила у ворот уже для горничной Кориоллы.

В то время как путешественницы, после тщетных переговоров, обменивались упреками и даже бранью с несговорчивой экономкой, Консуэло, надеясь на доброту и слабость к музыке каноника, проникла в дом. Напрасно искала она комнату хозяина; она только заблудилась в этом обширном помещении, закоулки которого были ей неизвестны. Наконец она натолкнулась на Гайдна, разыскивавшего ее, и он сказал, что видел, как каноник пошел в свою оранжерею. Они вместе направились туда и вскоре увидели в сводчатой жасминной аллее почтенного хозяина, шедшего им навстречу, с лицом свежим и веселым, как утро этого прекрасного осеннего дня.

Консуэло, глядя на приветливого человека, идущего в своем уютном стеганом ватном халате по дорожкам, где его изящная нога не могла наткнуться ни на единый камешек в мелком, пройденном граблями песке, не сомневалась, что такое счастливое существо, с такой чистой совестью, столь удовлетворенное во всех своих желаниях, будет в восторге от возможности совершить доброе дело.

Едва начала она передавать просьбу бедной Кориоллы, как вдруг появилась Бригита и перебила ее.

— Там у ваших ворот, — начала старуха, — бродяга, певица из театра; она выдает себя за знаменитость, а вид у нее и тон распутной девки. Уверяет она, что рождает, кричит и бранится, как тридцать чертей, вместе взятых. Она добивается родить в вашем доме. Подумайте, подходящее ли это для вас дело?

У каноника вырвался жест отвращения — очевидно, он собирался отказать.

— Господин каноник, — обратилась к нему Консуэло, — кто бы ни была эта женщина, она страдает, жизнь ее, быть может, в опасности, так же как и жизнь невинного создания, призываемого Богом в этот мир, и религия, быть может, повелевает вам принять его по-христиански и по-отечески. Не правда ли, вы не покинете эту несчастную, не дадите ей стонать и погибать у вашей двери?

— А что, она замужняя? — холодно спросил каноник после минутного раздумья.

— Этого я не знаю; возможно, что и да. Но что до того? Господь посылает ей счастье быть матерью. Один он имеет право ее судить...

— Она сказала свое имя, господин каноник, — энергично вмешалась Бригита, — наверное, вы должны ее знать, вы, который водитесь со всеми комедиантами Вены. Имя ее — Кориола.

— Кориола! — воскликнул каноник. — Она бывала уже в Вене, и я много о ней слышал; говорили, что у нее прекрасный голос.



— Ну вот, ради ее голоса прикажите открыть ворота! Она лежит на песке, на самой дороге, — настаивала Консуэло.

— Но ведь это женщина легкого поведения, — возразил каноник. — Два года тому назад она наделала много шума в Вене.

— Помните, господин каноник, у вас есть немало завистников. Роды только в вашем доме погибшая женщина... в этом, поверьте, не усмотрят случайности, еще менее дела милосердия. Вам ведь известно, что у каноника Герберта есть виды на юбилейство и он уже лишил владений одного молодого собрата под тем предлогом, что тот небрежно относился к церковным службам, ради дамы, которая всегда в эти часы у него исповедовалась. Господин каноник, такую бенефицию, как ваша, легче потерять, чем добыть.

Эти слова Бригиты вдруг оказали решающее действие. Каноник воспринял их в святилище своего благоразумия, хотя притворился, что пропустил мимо ушей.

— В двухстах шагах отсюда есть постоялый двор, — проговорил он, — пусть эта дама велит свезти себя туда. Она найдет там все, что ей надо, и там ей будет гораздо удобнее и приличнее, чем у холостяка. Ступайте, скажите ей это, Бригита, и, прошу вас, сделайте это вежливо, как можно вежливее. Укажите форейторам, где находится постоялый двор. А вы, дети мои, — обратился он к Консуэло и Йозефу, — пойдите со мной разбирать фугу Баха, пока нам готовят завтрак.

— Господин каноник, — начала взволнованно Консуэло, — неужели вы покинете...

— Ах! — воскликнул с опечаленным видом каноник. — Захлахла самая красивая из моих волкамерий! Говорил же я садовнику, что он недостаточно часто ее поливает. Самое редкое, самое дивное растение моего сада! Это нечто роковое! Бригита, поглядите только! Позовите мне садовника, я его проберу.

— Раньше всего я прогоню от ваших ворот знаменитую Кориолу, — ответила, удаляясь, Бригита.

— И вы соглашаетесь с этим? Вы это приказываете, господин каноник? — воскликнула с негодованием Консуэло.

— Не могу поступить иначе, — ответил он кротко, но тоном, спокойствие которого говорило о непоколебимой решимости. — И желаю, чтоб со мной об этом больше не говорили. Идемте же, я вас жду, начнем музицировать!

— Никакой музыки больше здесь не может быть для нас, — возбужденно ответила Консуэло. — Вы при своей бесчувственности неспособны были бы понять Баха. Да погибнут ваши цветы и ваши плоды! Пусть от мороза пропадут ваш жасмин и ваши красивейшие деревья! Эта плодородная земля, приносящая вам всё в таком изобилии, не должна была бы ничего родить, кроме терний, ибо вы бессердечны и похищаете дары неба, не умея использовать их для гостеприимства!

В то время как Консуэло выкрикивала это, пораженный каноник озибался кругом, словно боясь, как бы проклятие небес, призываемое этой пылкой душой, не обрушилось на его драгоценные волкамерии и любимые анемоны.



Тут Консуэло бросилась к воротам, которые по-прежнему были на запоре, и перелезла через них, чтобы последовать за каретой Кориаллы, направлявшейся шагом к жалкому кабаку, награжденному каноником званием постоянного двора без всякого основания.

## LXXIX

Йозеф Гайдн, уже привыкший подчиняться внезапным решениям своего друга, но более предусмотрительный и спокойный, чем Консуэло, догнал ее, сходяв предварительно за дорожной котомкой, нотами, а главное за скрипкой — источником существования, утешительницей и веселой спутницей их путешествия.

Кориаллу положили на одну из тех скверных кроватей немецких харчевен, которые так коротки, что надо выбирать одно из двух — или поджать ноги, или высунуть наружу голову. К несчастью, в этом домишке не было женщин: хозяйка ушла на богомолье за шесть миль, а работница погнала на пастбище корову. Дом стерегли старик и ребенок. Скорее испуганные, чем польщенные честью принимать у себя такую богатую путешественницу, они всецело предоставили свой домашний очаг приезжим, не думая о вознаграждении, которое могли за это получить.

Старик был глух, пришлось ребенку отправиться за акушеркой в соседнюю деревню, отстоящую чуть ли не на расстоянии мили: фореиторы гораздо больше беспокоились о своих лошадях, которым нечего было есть, чем о своей путешественнице. Предоставленная попечениям горничной, которая, потеряв голову, сама кричала почти так же громко, как ее госпожа, роженица оглашала воздух своими стонами, напоминавшими скорее рычание львицы, чем вопли женщины.

Консуэло, охваченная ужасом и жалостью, решила не покидать несчастное создание.

— Йозеф, — сказала она своему товарищу, — вернись в приорию, хотя бы тебе и пришлось встретить там плохой прием: не следует быть гордым, когда просишь за других. Скажи канонику, что сюда нужно прислать белье, бульон, старое вино, матрацы, одеяла, — словом, все необходимое больному человеку. Поговори с ним кротко, но решительно и обещай, если понадобится, что мы явимся к нему играть, лишь бы он оказал помощь этой женщине.

Йозеф отправился, а бедная Консуэло была принуждена присутствовать при отвратительной сцене, когда женщина без веры и сердца, богохульствуя и проклиная, переносила священные муки материнства. Целомудренная и благочестивая девушка содрогалась при виде этих мук, которых ничто не могло смягчить, ибо вместо святой радости и набожного упования сердце

Кориеллы было полно злобы и горечи. Она, не переставая, проклинала свою судьбу, свое путешествие, каноника с его экономкой и даже самого ребенка, которого производила на свет. Она была так груба со своей горничной, что та совсем потеряла голову и у нее все валялось из рук. Наконец Кориелла до того вспылила на бедную девушку, что крикнула ей:

— Ну, погоди, я так же буду за тобой ухаживать, когда придет твой черед; ведь я прекрасно знаю, что ты тоже беременна, и отправлю тебя рожать в больницу. Долой с глаз моих! Ты меня только беспокоишь и раздражаешь.

Софья в ярости и отчаянии, плача, выбежала из комнаты, а Консуэло, оставшись наедине с возлюбленной Андзолето и Дзустиньяни, старалась успокоить и облегчить ей страдания. Среди неистовств и мук Кориелла сохраняла какое-то звериное мужество, дикую силу, в которых сказывалась вся нечестивость ее пылкой натуры. Когда боли на минуту отпускали ее, она снова делалась бодрой и веселой.

— Черт возьми! — обратилась она вдруг к Консуэло, которую совершенно не узнавала, так как видела ее только издали или на сцене в костюмах, совсем не похожих на тот, который был на ней теперь. — Вот так приключение! А многие не поверят мне, когда я им расскажу, что родила в кабаке с таким доктором, как ты. Ты похож на цыганенка своей смуглой мордочкой и большущими черными глазами. Кто ты? Откуда ты взялся? Как ты здесь очутился? И почему ты мне услуживаешь? Ах! Нет, не отвечай мне, я все равно не услышу, уж слишком страдаю. Ah misera me!<sup>1</sup> Только бы мне не умереть! О! Нет, я не умру! Не хочу умирать! Цыганенок, ты ведь не бросишь меня? Будь здесь! Будь здесь! Не дай мне умереть! Слышишь?

И вновь возобновились крики, прерываемые новым богохульством...

— Проклятое дитя! — говорила она. — Так бы хотелось вырвать тебя из своей утробы и отшвырнуть подальше!

— О! Нет! Не говорите этого! — воскликнула, вся похолодев от ужаса, Консуэло. — Вы будете матерью, вы будете счастливы видеть своего ребенка, вы не пожалеете, что страдали.

— Я? — проговорила с циничным хладнокровием Кориелла. — Ты воображаешь, что этого ребенка я буду любить? Ах! Как ты ошибаешься! Великое счастье быть матерью, нечего сказать, как будто я не знаю, что это значит: страдать, рожая, работать, чтобы кормить этих несчастных, не признаваемых отцами, видеть, как сами они страдают, не зная, что с ними делать, страдать, бросая их... так как, в конце концов, все-таки их любишь... Но этого любить я не буду. О! Клянусь Богом! Не буду, а буду ненавидеть, как ненавижу его отца!..

И Кориелла, у которой под хладнокровным, удрученным видом скрывалось все возраставшее исступление, закричала в порыве ожесточения, вызываемого у женщины ужасными муками:

— Ах! Проклятый! Да будет трижды проклят он, отец этого ребенка!

<sup>1</sup> Ах, я несчастная! (ит.)

Она задыхалась среди воплей, разорвала в клочки косынку, которая прикрывала ее пышную грудь, клокотавшую от муки и злобы, и, схватив за руку Консуэло, впившись в нее ногтями, судорожно сжатыми от боли, не прокричала, а скорее прорычала:

— Да будет проклят! Проклят! Проклят! Подлый, бесчестный Андзолето!

В эту минуту вернулась Софья и через четверть часа, умудрившись принять у своей госпожи ребенка, бросила на колени Консуэло первую попавшуюся тряпку из театрального гардероба, выхваченную ею из наспех открытого сундука. Это был бутафорский плащ из выцветшего атласа, отделанный мишурной бахромой. В эту-то импровизированную пеленку благородная, чистая невеста Альберта завернула дитя Андзолето и Кориоллы.

— Ну, синьора, успокойтесь, — проговорила добрым, искренним голосом бедная горничная, — и родили благополучно, и у вас крошечная хорошенькая дочка.

— Девочка или мальчик, мне все равно, но я больше не страдаю, — ответила Кориолла, приподнимаясь на локте и не глядя даже на ребенка. — Поддай мне большой стакан вина!

Йозеф только что принес вина из приори, и притом самого лучшего. Каноник великодушно исполнил просьбу, и вскоре у больной было в избытке все, что нужно в таком положении. Кориолла подняла своей сильной рукой поданный ей серебряный кубок и опорожнила его с неприужденностью маркитантки, затем, бросившись на чудесные подушки каноника, заснула с глубокой беспечностью железного организма и ледяной души.

Пока она спала, ребенка как следует спеленали, а Консуэло сходила на соседний луг за овцой, которая и стала первой кормилицей этой крошки. Когда мать проснулась, она велела Софье приподнять себя и, выпив стакан вина, на минуту призадумалась. Консуэло, держа на руках дитя, ждала пробуждения материнской нежности, но у Кориоллы совсем иное было на уме. Она, поставив свой голос на до мажор, с серьезным видом пропела гамму в две октавы. Тут она захлопала в ладоши:

— Браво, Кориолла! — воскликнула она. — Голос у тебя ничуть не ухудшился, и ты можешь рожать детей, сколько тебе заблагорассудится!

Затем она расхохоталась, поцеловала Софью и, сняв со своей руки бриллиантовое кольцо, надела его на ее палец.

— Это чтобы утешить тебя за мою брань, — сказала она. — А где моя маленькая обезьянка? Ах! Бог мой! — воскликнула она, глядя на своего ребенка. — Блондинка; на него похожа! Но тем хуже для него! Горе ему! Не распаковывайте столько сундуков, Софья! О чем вы думаете? Неужели вы вообразили, что я здесь останусь? Как раз! Вы дура и еще не знаете, что такое жизнь. Надеюсь завтра же снова пуститься в путь. Ах, цыганенок, ты держишь ребенка совсем как женщина. Сколько хочешь ты за свои заботы обо мне и за свой труд? Знаешь, Софья, никогда лучше мне не служили, никогда лучше



— Ну, синьора, успокойтесь, — проговорила добрым, искренним голосом бедная горничная, — и родили благополучно, и у вас крошечная хорошенькая дочка.



не ходили за мной! Ты, значит, из Венеции, дружочек мой? Приходилось ли тебе слышать мое пение?

Консуэло ничего не ответила на эти вопросы. Впрочем, и ответь она, ее все равно не стали бы слушать. Корилла внушала ей отвращение. Она передала ребенка служанке кабака, только что возвратившейся, по виду очень славной женщине, затем кликнула Йозефа, и они вместе с ним вернулись в приорию.

— Я не давал обещания канонику снова привести вас к нему, — сказал по дороге Йозеф своей подруге, — кажется, он сконфужен своим поведением, хотя вид у него был очень милостивый и веселый; при всем своем эгоизме он незлой человек: так искренне радовался он, посылая все нужное Корилле.

— На свете столько черствых и ужасных душ, — ответила Консуэло, — что к слабым душам надо скорее питать сожаление, чем отвращение. Я хочу загладить перед бедным каноником свою вспыльчивость. Поскольку Корилла не умерла, поскольку мать и дитя, как говорят, чувствуют себя хорошо, а наш каноник поспособствовал этому, насколько мог, не подвергая опасности свою драгоценную бенефицию, я хочу отблагодарить его. К тому же, у меня есть свои причины остаться в приории до отъезда Кориллы. О них я скажу тебе завтра.

Бригита отправилась на соседнюю ферму, и Консуэло, приготовившаяся было бесстрашно выступить против этого цербера, очень обрадовалась, что их встретил ласковый, услужливый Андрей.

— Ну пожалуйста, пожалуйста, друзья мои! — воскликнул он, ведя их в покои своего барина. — Господин каноник в ужасно грустном настроении духа, он почти ничего не кушал за завтраком и три раза просыпался во время полуденного отдыха. Сегодня у него было два больших огорчения: погибла его лучшая волкамерия, и он потерял надежду послушать музыку. К счастью, вы вот вернулись, и, значит, одним огорчением меньше.

— Над нами он насмехается или над своим барином? — спросила Консуэло своего товарища.

— И то и другое, — ответил Гайдн. — Только бы каноник не дулся на нас, мы позабавимся!

Каноник не только не дулся на них, но встретил их с распростертыми объятиями, настоял, чтоб они позавтракали, а потом вместе с ними засел за клавесин. Консуэло заставила его постичь дивные прелюдии великого Баха и восхититься ими, а чтоб окончательно привести его в хорошее настроение, пропела ему лучшие вещи своего репертуара, не стремясь изменить свой голос и не особенно беспокоясь о том, что он может догадаться о ее поле и возрасте. Каноник был склонен ни о чем не догадываться и вовсю наслаждаться тем, что слышит. Он действительно был страстным любителем музыки, и в его восторге было столько непосредственной искренности, что Консуэло не могла не испытать умиления.

— Ах! Дорогое дитя! Благородное дитя! Счастливое дитя! — восклицал растроганный каноник со слезами на глазах. — Ты превратил сегодняшний



день в счастливейший день моей жизни! Но что будет со мной теперь? Нет! У меня не хватит сил перенести утрату такого наслаждения, и я зачахну от тоски. Больше я не смогу заниматься музыкой. В душе моей будет жить идеал, о котором всё заставит меня вздыхать. Ничего больше не буду любить я, даже мои цветы...

— И будете очень неправы, господин каноник, — ответила Консуэло, — так как ваши цветы поют лучше моего.

— Что ты говоришь? Мои цветы поют? Я никогда этого не слышал.

— Да потому что вы их никогда не слушали. А я сегодня утром слушал их, постиг их тайну, уловил их мелодию.

— Странное ты дитя! Дитя гениальное! — воскликнул каноник, отчески-целомудренно лаская темные кудри Консуэло. — Ты одет бедняком, а достоин триумфа. Но скажи мне, кто ты. Где научился ты тому, что знаешь?

— Случай, природа, господин каноник.

— Ох! Ты обманываешь меня, — с лукавым видом сказал каноник, у которого всегда было готово словцо для шутки. — Ты какой-нибудь сын Каффарелли или Фаринелли<sup>1</sup>! Но послушайте, дети мои, — прибавил он серьезным, оживленным тоном, — не хочу я расставаться с вами. Я беру на себя заботу о вас, оставайтесь со мной. У меня есть состояние, поделюсь им с вами. Я буду для вас тем, чем был Гравина для Метастазियो. Это будет моим счастьем, моей славой. Свяжите свою судьбу с моею, для этого надо только, чтобы вас посвятили в младшие клирики. Я выхлопочу вам какие-нибудь хорошие бенефиции, а после моей смерти вам останутся от меня в наследство недурные сбереженьица, которые я вовсе не намерен оставлять этой злючке Бригите.

В то время как каноник говорил это, вдруг вошла Бригита и услышала его последние слова.

— А я не намерена дольше служить вам, — закричала она визгливым голосом, плача от ярости, — довольно я жертвовала своей молодостью и своей репутацией неблагодарному хозяину!

— Твоей репутацией? Твоей молодостью? — не смущаясь, насмешливо перебил ее каноник. — Ну, ты себе льстишь, моя бедная старушка, твоя «молодость» оберегает твою репутацию!

— Да, да, насмехайтесь! — возразила она. — Но будьте готовы распространиться со мной. Сию же минуту покидаю дом, где не могу установить никакого порядка, никакой благопристойности. Хотела я помешать вам делать безрассудства, расточать ваше имущество, унижать ваш сан, но вижу, что все

---

<sup>1</sup> *Каффарелли* и *Фаринелли* — знаменитые ученики Порпора — сопранисты, обладавшие феноменальной колоратурой. Один из них, Фаринелли (псевдоним Карло Броски, 1705–1782), долгое время жил в Мадриде в качестве придворного певца испанского короля Филиппа IV, сделавшись впоследствии министром. Гаэтано Каффарелли, или Каффариэлло (Майорано, 1703–1783), пел с огромным успехом, кроме Италии, в Париже, Лондоне, Вене.



- Что ты говоришь? Мои цветы поют? Я никогда этого не слышал.  
 — Да потому что вы их никогда не слушали. А я сегодня утром  
 слушал их, постиг их тайну, уловил их мелодию.

это было ни к чему. Ваша бесхарактерность и несчастная звезда толкают вас к гибели, и первые попавшиеся вам под руку скоморохи так ловко кружат вам голову, что, того и гляди, обернут вас. Давно, давно каноник Герберт зовет меня к себе служить и предлагает условия гораздо лучше ваших. Я устала от всего, что здесь вижу. Рассчитайте меня! Я ни одной ночи больше не хочу провести под вашей кровлей.

— Так вот до чего дошло дело, — спокойно сказал каноник. — Ну хорошо, Бригита, ты доставляешь мне большое удовольствие, смотри только не передумай! Я никогда никого не выгонял, и мне кажется, служи у меня сам дьявол, я не выставил бы его за дверь, настолько я добродушен; но, если бы дьявол покинул меня, я пожелал бы ему доброго пути и отслужил бы молебен после его ухода. Ступай же, укладывай свои вещи, Бригита: что же касается твоего расчета, то, милая моя, произведи его сама. Бери все, что пожелаешь, все, чем я владею, только бы ты поскорее убралась!

— Ах, господин каноник, — проговорил Гайдн, совсем взволнованный этой домашней сценой, — вы еще пожалете о старой служанке, которая, по-видимому, очень привязана к вам...

— Она привязана к моей бенефиции, — ответил каноник, — а я буду жалеть только о ее кофе.

— Вы привыкнете обходиться без вкусного кофе, господин каноник, — твердо заявила строгая Консуэло, — и хорошо сделаете. А ты, Йозеф, молчи и ничего не говори в ее защиту. Я все ей скажу в лицо, ибо все это правда. Она зла и вредит своему хозяину. Сам он добрый человек; природа сотворила его благородным и великодушным, а эта женщина делает его эгоистом. Она подавляет добрые порывы его души, и если он оставит ее у себя, то станет сам таким же черствым, таким же бесчеловечным, как она. Простите, господин каноник, что я так говорю с вами. Вы столько заставляли меня петь и привели меня своим воодушевлением в такое восторженное состояние, что я, быть может, немного сам не свой. Если я чувствую что-то вроде упоения, это ваша вина. Но будьте уверены, что истина говорит в этом упоении, ибо оно благородно и будит в нас то, что в нас есть лучшего. В такие минуты у нас на языке то, что на сердце, и сейчас с вами говорит мое сердце. Когда же я приду в спокойное состояние духа, я буду более почтителен, но менее искренен. Поверьте, я не гонюся за вашим состоянием, вовсе не желаю его, вовсе не нуждаюсь в нем! Когда я захочу, у меня будет больше вашего, а жизнь артиста подвергнута стольким случайностям, что, пожалуй, вы еще меня переживете и, быть может, я впишу вас в свое завещание в благодарность за то, что вы хотели сделать свое в мою пользу. Завтра мы уходим, и, быть может, больше никогда с вами не увидимся, но мы уйдем с сердцем, переполненным радостью, уважением, почтением и благодарностью к вам, если вы уволите госпожу Бригиту, у которой я прошу извинения за мой образ мыслей.

Консуэло говорила с таким жаром, а искренность и прямота ее так ярко отражались на ее лице, что все это поразило каноника, словно молния.



— Уходи, Бригита! — сказал он своей экономке с важным, решительным видом. — Истина говорит устами младенцев, а в разуме этого ребенка есть что-то великое. Уходи, ибо сегодня утром ты заставила меня совершить дурной поступок и еще толкала бы меня на другие такие же, потому что я слаб и подчас труслив. Уходи, ибо ты делаешь меня несчастным. Уходи, — прибавил он, улыбаясь, — ибо ты начинаешь слишком пережаривать мой кофе, а все сливки, в которые ты суешь свой нос, скисают.

Последний упрек был для Бригиты чувствительнее всех других, и ее гордость, уязвленная в самое больное место, лишила ее языка. Она выпрямилась, кинула на каноника взгляд сострадания, почти презрения и удалилась с видом театральной королевы. Два часа спустя эта свергнутая королева покинула приорию, предварительно немножко пограбив ее. Каноник не пожелал этого заметить, и по блаженному выражению его лица Гайдн понял, что Консуэло оказала ему истинную услугу. За обедом, чтоб не дать ему испытать ни малейшего сожаления, юная артистка сама приготовила ему кофе по венецианскому способу, — как хорошо известно, лучшему в мире. Андрей тотчас же стал изучать это искусство под ее руководством, и каноник объявил, что в жизни своей не пробовал кофе вкуснее. После обеда снова занимались музыкой, послав предварительно справиться о здоровье Кориллы, которая, как доложили, уже сидела в кресле, присланном ей каноником. Чудесным вечером при луне они гуляли в саду. Каноник, опираясь на руку Консуэло, не переставал умолять ее принять священство и стать его приемным сыном.

— Берегитесь! — сказал ей Йозеф, когда они ушли к себе. — Этот добрый каноник не на шутку увлекается вами.

— В дороге ничем не надо смущаться, — отвечала она ему. — Я так же не стану священником, как не стала трубачом. Господин Мейер, граф Годиц и каноник — все они просчитались.

## LXXX

Консуэло, пожелав Йозефу спокойной ночи, ушла в свою комнату, не сговорившись с ним, как он предполагал, относительно их ухода с зарей. У нее были свои причины не спешить, и Гайдн ждал, что она их ему поведает, а сам тем временем радовался возможности провести с ней еще несколько часов в этом красивом доме и пожить благодушной жизнью каноника, которая ему была по душе. Консуэло позволила себе долго поспать на следующее утро и появилась только ко второму завтраку каноника. Тот имел обыкновение вставать рано и, перекусив легко и вкусно, прогуливался с тревником в руке по своим садам и оранжереям, рассматривая растения, а потом шел немножко вздремнуть перед более солидным холодным завтраком.

— Наша соседка, путешественница, хорошо себя чувствует, — объявил каноник своим юным гостям, как только увидел, что они появились. — Я послал Андрея приготовить ей завтрак. Она выражала большую признательность за наше внимание и, так как она сегодня собирается ехать в Вену (признаюсь, вопреки всякому благоразумию), то просит вас навестить ее, чтобы вознаградить за оказанную вами сердечную заботу. Итак, дети мои, скорее завтракайте и отправляйтесь туда. Наверное, она готовит вам какой-нибудь хороший подарок.

— Мы будем завтракать столько времени, сколько будет угодно вам, господин каноник, — ответила Консуэло, — а к больной мы не пойдем: мы ей больше не нужны, а в подарках ее не нуждаемся.

— Удивительное дитя! — сказал восхищенный каноник. — Твое романтическое бескорыстие, твое восторженное великодушие до того завоевывают мое сердце, что я никогда, кажется, не буду в силах расстаться с тобой!

Консуэло улыбнулась, и они сели за стол. Завтрак был превосходный и тянулся добрых два часа. Но десерт оказался таким, какого никак не ожидал каноник.

— Ваше благословение, — начал докладывать Андрей, появляясь в дверях, — пришла тетка Берта из соседнего кабака и принесла вам от роженницы большую корзину.

— Это серебро, которое я ей посылал. Андрей, примите его, это ваше дело. Значит, она-таки решительно уезжает, эта дама?

— Она уже уехала, господин каноник.

— Уже! Да она сумасшедшая! Эта сумасбродка хочет убить себя.

— Нет, господин каноник, — сказала Консуэло, — она не хочет убивать себя и не убьет.

— Ну, Андрей, что вы стоите с таким церемонным видом? — обратился каноник к своему лакею.

— Дело в том, ваше благословение, что тетка Берта не хочет отдать мне корзину. Она говорит, что передаст ее только вам лично и что ей надо что-то вам сказать.

— Это щепетильность или жеманство со стороны доверенного лица. Впустите ее; покончим с этим.

Старуху ввели. Сделав несколько глубоких реверансов, она поставила на стол большую корзину, прикрытую вуалью. Консуэло торопливо протянула к ней руку, в то время как каноник повернул голову к Берте. Немного приподняв с корзины вуаль, Консуэло снова прикрыла ее и тихо сказала Йозефу:

— Вот чего я ожидала, вот для чего я осталась! О да! Я была в этом уверена: Корила должна была так поступить!

Йозеф, не успевший еще разглядеть, что было в корзине, с удивлением смотрел на свою подругу.

— Итак, тетка Берта, вы принесли мне вещи, которые я одолжил вашей постоялице? Прекрасно! Прекрасно! Я и не беспокоился о них, и теперь мне нечего убеждаться, что все цело.



— Ваше благословение, — ответила старуха, — моя служанка все принесла, все передала вашим служителям, и все действительно в целости; на этот счет я вполне спокойна. Но меня заставили поклясться, что эту корзину я передам только вам лично, а что в ней находится, вы знаете так же, как и я.

— Пусть меня повесят, если это мне известно, — проговорил каноник, небрежно протягивая руку к корзине, но рука его застыла как в столбняке, а рот так и остался полуоткрытым от удивления, когда покрывало зашевелилось, как бы само собой, сдвинулось и оттуда показалась крошечная, хорошенькая детская ручонка, порывавшаяся инстинктивно схватить палец каноника.

— Да, ваше благословение, — доверчиво, с довольным видом заговорила старуха, — вот оно, цело и невредимо, такое хорошенькое, веселенькое и так хочет жить!

Пораженный каноник совсем онемел. Старуха продолжала:

— Ну, конечно, ваше благословение изволили просить его у матери, чтоб усыновить и воспитать. Бедной даме не так-то легко было на это решиться, но, одним словом, мы сказали ей, что дитя ее не может попасть в лучшие руки, и она, поручив его провидению, просила нас снести его вам. «Скажите, пожалуйста, этому почтенному канонику, этому святому человеку, — говорила она, садясь в экипаж, — что я не стану долго злоупотреблять его милосердным попечением. Скоро я приеду за своей маленькой дочкой и уплачу все, что он на нее потратит. Раз он во что бы то ни стало сам хочет найти ей хорошую кормилицу, передайте ему от меня этот кошелек с деньгами, который я прошу разделить между кормилицей и маленьким музыкантом, так чудесно ухаживавшим за мной вчера, если, конечно, он еще не ушел». Что касается меня, она хорошо мне заплатила, ваше благословение, я ничего больше не прошу. Вполне довольна.

— Ах! Вы довольны! — воскликнул трагикомическим тоном каноник. — Ну что ж, я очень рад, но извольте унести обратно и этот кошелек и эту обезьянку. Тратьте деньги, воспитывайте ребенка, это меня несколько не касается.

— Воспитывать ребенка мне? Нет! Нет! Ваше благословение, я слишком стара, чтобы взять на себя заботу о новорожденном. Он кричит по целым ночам. И моему бедному старику, хоть он и глух, не особенно было бы по вкусу такое соседство.

— А мне-то? Я должен, по-вашему, мириться с этим? Благодарю покорно! Ага! Вы рассчитывали на это?

— Но раз ваше благословение просили его у матери?

— Я? Его просил? Откуда, чёрт побери, вы это взяли?

— Но раз ваше благословение сегодня утром написали...

— Я писал? Где же мое письмо? Пожалуйста, пусть мне покажут его!

— Ну, я, конечно, не видала вашего письма, и притом же у нас никто читать не умеет. Но господин Андрей приходил к родильнице с поклоном от вашего преподобия, и она нам сказала, что он передал ей письмо. А мы, дураки, и поверили, да кто бы мог ей и не поверить?

— Это гнусная ложь! Это цыганская штука! — закричал каноник. — И вы сообщники этой ведьмы. Нет! Нет! Уносите с собой эту мартышку, возвращайте ее матери, оставляйте у себя, делайте, как знаете, я умываю руки. Если вы хотите вытянуть от меня денег, я готов дать их вам. Никогда не отказываю я в милостыне ни авантюристам, ни плутам, и это единственный способ избавиться от них. Но взять в свой дом ребенка, благодарю покорно: убирайтесь вы к черту!

— А что касается этого, — возразила старуха очень решительным тоном, — я ни за что этого не сделаю, не прогневайтесь, ваше благословение. Я не бралась смотреть сама за ребенком. Знаю я, как кончаются все такие истории. Вначале вам дают немножко золотых монет, которые поблескивают; обещают вам с три короба, а затем поминай как звали, и ребенок остается на вашей шее. И никогда из таких детей ничего путного не выходит: они лентяи и гордецы уже по своей природе. Не знаешь, что с ними и делать. Если это мальчики, они становятся грабителями, а девочки кончают еще хуже. Ой, нет! Нет! Ни я, ни мой старик не хотим брать этого ребенка. Нам сказали, что *ваше благословение* просили его, — мы поверили, вот и все. Извольте получить деньги, и мы в расчете. А что мы ее сообщники, так уж простите, ваше благословение, мы этих штук не знаем. Вы, верно, шутите, когда упрекаете нас в том, что это мы вам его навязываем. Всегда покорная слуга вашего благословения. Ухожу домой. У нас сейчас паломники, возвращающиеся после исполнения обета, и они, наверное, умирают от жажды.

Уходя, старуха несколько раз поклонилась. Потом, возвратясь, сказала:

— Совсем было и забыла: ребенок должен называться Анджелой, по-итальянски. Ах! Ей-богу! Не помню теперь, как это они мне сказали.

— Анджолина, Андозетта? — спросила Консуэло.

— Вот именно так, — подтвердила старуха, и, еще раз поклонившись канонику, спокойно удалилась.

— Ну, как вам нравится эта выходка? — проговорил изумленный каноник, обращаясь к своим гостям.

— Я нахожу, что она достойна той, которая ее придумала, — ответила Консуэло, вынимая из корзины ребенка, начинавшего уже беспокоиться, и осторожно заставляя его проглотить несколько ложек теплого молока, оставшегося после завтрака в японской чашке каноника.

— Что ж, эта Кориλλα какой-то демон? — спросил каноник. — Вы раньше знали ее?

— Только по слухам, но теперь я знаю ее прекрасно, так же, как и вы, господин каноник.

— Знание, без которого я охотно бы обошелся. Но что будем мы делать с этим несчастным брошенным ребенком? — прибавил он, с состраданием глядя на крошку.

— Отнесу я его к вашей садовнице; вчера я видел, как она кормила грудью чудесного мальчугана месяцев пяти-шести.

— Ну, ступайте, — сказал каноник, — или лучше позовем ее сюда. Она нам укажет и кормилицу на какой-нибудь соседней ферме... Только в не слишком близком соседстве от нас. Ведь один Бог знает, какое зло может принести духовному лицу интерес к ребенку, подобным образом свалившемуся с облаков в его дом.

— На вашем месте, господин каноник, я был бы выше этих пустяков. Не стал бы я ни предвидеть нелепых клеветнических предположений, ни интересоваться ими. Я жил бы среди глупых сплетен так, как будто их и не существует, и поступал бы всегда, не считаясь со злословием. Какой же толк от мудрой, достойной жизни, если она не обеспечивает спокойствия совести и не предоставляет свободы делать добрые дела? Подумайте, господин каноник, вам доверили этого ребенка; если вдали от ваших глаз за ним будут плохо смотреть, если он захиреет, умрет, вы этого никогда себе не простите.

— Что ты там говоришь, будто этого ребенка мне доверили! Да разве я давал на это свое согласие? Разве каприз или плутовство людей могут налагать на нас подобные обязанности? Ты увлечаешься, дитя мое, и мелешь вздор.

— Нет, дорогой господин каноник, — возразила Консуэло, все более и более оживляясь, — не мелю я вздора. Злая мать, покидающая здесь своего ребенка, не имеет никаких прав и не может ничего вам предписывать. Но кто имеет право вам приказать, кто располагает судьбой рождающегося ребенка, перед кем вы вечно будете ответственны, — это Бог. Да, это Бог возымел особенное милосердие к этому невинному крошечному созданию, внушив его матери смелую мысль — доверить его вам. Это он, по странному стечению обстоятельств, вводит в ваш дом, наперекор вашему желанию, и толкает в ваши объятия это дитя, вопреки всей вашей осторожности. Ах! Господин каноник, вспомните святого Викентия<sup>1</sup>, собиравшего на ступеньках домов несчастных покинутых сирот, и не отталкивайте эту сироту, которую посылает вам провидение. Мне кажется, что, поступив иначе, вы навлечете на себя несчастье. И свет, даже в злобе своей обладающий каким-то инстинктом справедливости, пожалуй, стал бы говорить с некоторым правдоподобием, что у вас были причины удалить ребенка. Тогда как если вы оставите его у себя, никто не сможет допустить иных мотивов, кроме присущего вам милосердия и любви к ближнему.

— Ты не знаешь, что такое свет, — сказал, смягчаясь и уже начиная колебаться, каноник. — Ты маленький дикарь по своему прямодушию и доброте. В особенности ты не знаешь, что такое духовенство, а Бригита, злая Бригита прекрасно знала его, говоря вчера, что некоторые завидуют моему положению и добиваются того, чтоб я его потерял. Я обязан своими бенефициями покровительству покойного императора Карла, который соблаго-

<sup>1</sup> *Святой Викентий*, то есть Венсан де-Поль (1576–1660) — французский священник, признанный католической церковью святым за деятельность, направленную к облегчению участи несчастных и обездоленных; основал орден «лазаристов», приют для бездомных детей, падших женщин и т. п.

волил взять меня под свое крылышко, чтобы доставить мне их. Императрица Мария-Терезия своим покровительством также способствовала тому, что я стал пенсионером раньше времени. Но то, что мы считаем дарованным нам церковью, никогда не бывает безусловно обеспечено за нами. Над нами, над монархами, благоприятствующими нам, всегда имеется еще властелин — это церковь. Она по своей прихоти объявляет нас «правоспособными», даже тогда, когда мы еще ни на что неспособны, и она же, когда ей нужно, признает нас «неправоспособными», даже после того как мы оказали ей величайшие услуги. Глава епархии, сиречь епископ со своим советом, если только раздражить их и восстановить против себя, могут обвинить нас, привлечь к своему суду, судить и лишить всего, ссылаясь на наше распутство, безнравственность или на то, что мы служим примером соблазна, и все это с целью вырвать у нас те блага, которые дали раньше, и излить их на новых любимцев. Небо свидетель, что жизнь моя так же чиста, как жизнь этого вчера родившегося младенца! И вот, не будь я чрезвычайно осторожен во всех отношениях с людьми, одна моя добродетель не смогла бы защитить меня от злобных наветов. Я не очень-то умею льстить прелатам: моя беспечность, а быть может, и до некоторой степени родовая гордость всегда этому препятствовали. Есть у меня и завистники в капитуле...

— Но за вас ведь великодушная Мария-Терезия, благородная женщина, нежная мать, — возразила Консуэло. — Будь она вашим судьей, вы пришли бы и сказали ей с правдивостью в голосе, присущей только истине: «Королева, я колебался одно мгновение между боязнью дать оружие в руки своим врагам и потребностью проявить наибольшую добродетель моего звания — любовь к ближнему; с одной стороны, я видел клевету, интриги, могущие погубить меня, с другой — несчастное, покинутое небом и людьми крошечное существо, которое могло найти убежище только в моем сострадательном сердце и все будущее которого зависело только от моей заботливости. И я предпочел рисковать своей репутацией, своим покоем и своим состоянием ради дела веры и милосердия». О! Я не сомневаюсь, что, скажи вы все это Марии-Терезии, Мария-Терезия, которая всесильна, дала бы вам вместо приории дворец и вместо канониката — епископат. Разве не осыпала она почестями и богатством аббата Метастазियो за его стихи? Чего бы не сделала она за добродетель, если таким образом вознаграждает талант? Нет, господин каноник, вы оставите у себя в доме эту бедняжку Анджелину. Садовница ваша выкормит ее, а позже вы воспитаете ее в духе веры и добродетели. Мать сделала бы из нее демона для ада, а вы — ангела для рая.

— Ты вертишь мной, как хочешь, — проговорил взволнованный и растроганный каноник, покорно принимая ребенка, которого его любимец положил ему на колени. — Ну, хорошо, завтра же утром окрестим Анджелу, ты будешь ее крестным... Не уйди отсюда Бригита, мы заставили бы ее быть твоей кумой и потешились бы ее яростью. Позвони, чтобы нам привели кормилицу, и пусть все совершится по воле Божьей. Что же касается кошелька, оставленного

Кориллой... (ого! пятьдесят венецианских цехинов!), нам он ни к чему. Я беру на себя все теперешние расходы на ребенка и будущие, если его не потребуют обратно. Возьми эти золотые: ты вполне их заслужил, проявив во всем этом деле столько удивительной доброты и великодушия.

— Золотые в уплату за мое доброе сердце! — закричала Консуэло, с отвращением отталкивая кошелек. — Да еще золотые Кориллы, полученные ценою лжи и, быть может, распутства! Ах! Господин каноник, даже вид их мне омерзителен! Раздайте их бедным: это принесет счастье нашей бедняжке Анджеле.

## LXXXI

Быть может, впервые в своей жизни каноник очень плохо спал в эту ночь. Он испытывал странное беспокойство и возбуждение. Голова его была полна аккордов, мелодий и модуляций, поминутно обрывавшихся вместе с чутким сном, и он, проснувшись, каждый раз стремился, помимо своей воли и даже с какой-то досадой, снова поймать эти звуки, снова связать их, но это ему не удавалось. Он запомнил самые выдающиеся отрывки из вещей, пропетых Консуэло; они звучали в его голове, отдавались в диафрагме, и вдруг на самом красивом месте музыкальная нить прерывалась, он сто раз мысленно пытался ее восстановить и никак не мог припомнить ни единой ноты. Утомленный этим воображаемым пением, он тщетно силился избавиться от него, но оно все раздавалось в его ушах, и ему даже чудилось, будто в такт с ним колеблется и пламя камина на пурпуровом атласе постельных занавесок. Легкий свист, исходивший из горящих поленьев, тоже как будто порывался передать эти проклятые отрывки, конец которых для утомленного мозга каноника продолжал оставаться непроницаемой тайной. Ему все казалось, что вспомни он только один отрывок целиком, и он избавится от этих навязчивых воспоминаний. Но музыкальная память такова, что она нас мучает и донимает, пока мы не насытим ее тем, чего она жаждет.

Никогда на каноника музыка не производила такого сильного впечатления, хотя всю свою жизнь он и был выдающимся дилетантом. Никогда ни один человеческий голос не волновал его душу так, как голос Консуэло. Никогда облик человека, его язык и манеры не имели для него обаяния, похожего на то, какое вот уже тридцать шесть часов оказывали на него лицо, слова и повадки Консуэло. Догадывался или нет каноник о поле мнимого Бертони? И да и нет. Как объяснить вам это? Надо сказать, что мысли каноника в его пятьдесят лет были так же чисты, как и его нравы, а нравы так же целомудренны, как у юной девушки. В этом отношении наш каноник был святой человек. Всегда он был таким, и самое удивительное то, что, будучи незаконным сыном развратнейшего из всех известных истории королей, он почти без труда соблюдал свой обет целомудрия. Флегматичный от природы, он так был воспитан в канони-



ческих идеях, так обожал благоденствие и спокойствие, так мало был пригоден к тайной борьбе, на которую толкают грубые страсти и тщеславие духовных лиц, — словом, так жаждал покоя и счастья, что его главным и единственным принципом в жизни было жертвовать всем ради спокойного пользования бенефицией: любовью, дружбой, честолюбием, энтузиазмом и, если понадобится, то и добродетелью. С ранних лет приучил он себя подавлять эти чувства без усилий и почти без сожалений. Несмотря на такую ужасную теорию эгоизма, он оставался добрым, гуманным, сердечным и энтузиастом во многих отношениях, так как по природе был добр, а обуздывать свои лучшие инстинкты ему почти никогда не приходилось. Независимое положение всегда позволяло ему иметь друзей, быть терпимым, любить искусство. Любовь ему была запрещена, и он убил в себе любовь как самого опасного врага своего покоя и благополучия. Но так как любовь божественна и, стало быть, бессмертна, то, когда нам кажется, что мы ее убили, мы на самом деле только заживо похоронили ее в своем сердце. Любовь может дремать там долгие годы в тиши до того дня, когда ей заблагорассудится проснуться.

Консуэло появилась в осень жизни каноника, и его долгая душевная апатия сменилась томностью, нежной, глубокой и более упорной, чем можно было предвидеть. Это апатичное сердце не умело трепетать и волноваться за любимое существо, но оно могло таять, как лед на солнце, быть преданным, забыть самого себя, быть покорным, познать то терпеливое самоотречение, которое мы с удивлением встречаем у эгоиста, когда любовь берет его приступом.

Итак, наш бедный каноник был влюблен. В пятьдесят лет он любил впервые и любил ту, которая никогда не могла полюбить его. Он слишком хорошо это знал и вот почему хотел сам себя убедить, против всякой очевидности, что его чувство не было любовью, раз внушалось оно не женщиной.

Относительно этого он был в полном заблуждении и по своей наивности принимал Консуэло за мальчика. В бытность свою каноником в Венском соборе, он в детской школе перевидал немало юных красавцев мальчиков. Не раз слышал он тонкие, серебристые голоса, почти женские по своей чистоте и гибкости. Голос Бертони был в тысячу раз чище и гибче. «Но ведь это голос итальянский, — думалось канонику, — и к тому же Бертони исключительная натура; он из тех скороспелых детей, у которых способности, дарование, талант граничат с чудом». И вот, страшно гордясь и восторгаясь тем, что на большой дороге нашел такое сокровище, каноник уже мечтал, как он оповестит об этом общество, как введет юношу в моду, поможет добыть ему и состояние и славу. Он был охвачен порывом отеческой любви и благожелательной гордости. И его совесть от этого отнюдь не должна была страдать, так как ему и в голову не приходила мысль о греховной, извращенной любви, подобной той, какую приписывали Гравина по отношению к Метастазии; каноник понятия не имел о такой любви, никогда не думал о ней, даже не верил в ее существование: его чистому и здравому уму все это казалось странными предположениями злоречивых людей.

Никто бы не поверил, что он, человек с насмешливым умом, большой балагур, очень проницательный и даже хитрый во всем, что касалось общественной жизни, мог быть до того детски чист душой. А между тем целый мир идей, влечений и чувств был ему совершенно незнаком.

Он заснул с радостным чувством, строя тысячи планов насчет своего юного любимца, мечтая проводить жизнь среди самых святых музыкальных наслаждений и умиляясь при мысли, что будет развивать, немного умеряя, добродетели, сверкающие в этой благородной, пылкой душе. Но постоянно просыпаясь в каком-то странном волнении, преследуемый образом этого чудесного ребенка, то беспокоясь и боясь, как бы тот не захотел освободиться от его уже немного ревнивой любви, то нетерпеливо ожидая завтрашнего дня, чтобы серьезно повторить ему предложения, обещания и мольбы, которые мальчик, казалось, выслушивал смеясь, каноник, удивленный всем происходящим в нем, строил относительно этого тысячу предположений, кроме единственного верного.

— Видно, самой природой мне предназначено было иметь много детей и страстно любить их, — говорил он себе в простоте душевной, — раз одна мысль об усыновлении приводит меня сейчас в такое волнение. Но впервые в своей жизни обнаруживаю я в себе подобные чувства, и вот в течение дня я прихожу в восторг от одного, чувствую симпатию к другому и жалость к третьему. Бертони! Беппо! Анджолина! Итак, вдруг я стал семейным человеком, я, жалевший родителей за их беспокойство о детях, я, благодаривший Бога за то, что мой сан обязывает меня к одиночеству и покою. Не чудесная ли музыка, которую я сегодня так долго наслаждался, приводит меня в подобное неведомое до сих пор возбужденное состояние?.. Нет, скорее это великолепный кофе по-венециански, которого я просто из жадности выпил целых две чашки... Все это так вскружило мне голову, что я в течение всего дня почти не вспоминал о своей волкамерии, высохшей все-таки по вине этого Петра.

*Il mio cor si divide!*<sup>1</sup>

— Ну вот, опять эта проклятая фраза преследует меня, черт бы побрал мою память!.. Что сделать, чтоб заснуть?.. Четыре часа утра, что-то неслыханное... Прямо можно заболеть!

Блестящая мысль наконец пришла на помощь добродушному канонику. Он встал, взял письменный прибор и решил поработать над своей знаменитой книгой, так давно задуманной и все еще не начатой. Для этого ему понадобился справочник канонического права. Не просмотрел он в нем и двух страниц, как мысли его стали путаться, глаза смыкаться, книга тихонько сползла с перины на ковер, а свеча погасла от блаженного сонного вздоха, вырвавшегося из могучей груди благочестивого отца, и наконец он заснул сном праведника и так проспал до десяти часов утра. Но, увы! Каким горьким было его пробуждение, когда небрежно, отяжелевшей еще от сна рукой, он

<sup>1</sup> Сердце мое разделяется! (ит.)

открыл записку, положенную Андреем на ночной столик рядом с его чашкой шоколада:

*«Мы уходим, достопочтенный господин каноник, — писал Бертони, — непреклонный долг призывает нас в Вену, а мы боялись, что не сможем устоять против ваших великодушных настояний. Убегаем, словно неблагодарные, но мы не таковы и никогда не забудем ни вашего гостеприимства, ни вашего великого милосердия к брошенному ребенку. Мы придем поблагодарить вас за все это. Не пройдет и недели, как вы нас увидите. Соболаговолите отложить до того времени крестины Анджели и верьте в почтительную и нежную преданность ваших смиренных любимцев.*

*Бертони. Беппо».*

Каноник побледнел, вздохнул и позвонил.

— Они ушли? — спросил он Андрея.

— До света, ваше благословение.

— А что сказали они, уходя? Позавтракали они, по крайней мере? Сказали, в какой именно день вернутся сюда?

— Никто не видел их, когда они уходили, ваше благословение. Ушли они, как и пришли, перелезши через стену. Проснувшись, я нашел их комнаты пустыми; записка, которую вы держите в руках, лежала на столе, а все двери и калитки были так же заперты, как я их оставил вчера вечером. Но ни единой булавки не унесли они с собой, ни до единого плода не дотронулись, бедные дети...

— Еще бы! — воскликнул каноник с глазами, полными слез.

Чтоб разогнать его грусть, Андрей попробовал было предложить ему составить меню своего обеда.

— Подай мне, что хочешь, Андрей, — проговорил он душераздирающим голосом и со стоном снова упал на подушку.

Вечером того же дня Консуэло и Йозеф под покровом темноты вошли в Вену. Честный парикмахер Келлер, которого посвятили в тайну, принял их с распростертыми объятиями и приютил у себя благородную путешественницу, предоставив ей все, что мог. Консуэло была очень мила с невестой Йозефа, огорчаясь в глубине души тому, что в ней нет ни красоты, ни грации. На следующее утро Келлер сделал Консуэло прическу из ее растрепавшихся кудрей, а его дочь помогала ей переодеться в женское платье и проводила ее до дома, где жил Порпора.

## LXXXII

Радость, которую испытала Консуэло, обнимая своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, скрыть которое ей было нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпора, а этот год

неопределенности, огорчений и печали провел на озабоченном челе маэстро глубокие следы страдания и старости. У него появилась болезненная полнота, развивающаяся у опустившихся людей вследствие бездействия и упадка духа. В глазах еще светился прежний, оживлявший их огонек, но некоторая краснота одутловатого лица говорила о попытках потопить в вине свои горести или с его помощью вернуть вдохновение, охладевшее из-за старости и разочарований. Несчастный композитор, направляясь в Вену, мечтал еще о новых успехах и благосостоянии. А его встретила холодная почтительность. Он был свидетелем того, как более счастливые соперники пользовались монаршей милостью и увлекали публику. Метастазιο написал драмы и оратории для Кальдара, для Предииери<sup>1</sup>, для Фукса, для Ройтера и для Гассе. И Метастазιο, придворный поэт (poeta cesario), модный писатель, новый Альбани<sup>2</sup>, любимец муз и дам, прелестный, драгоценный бог гармонии, — словом, Метастазιο, тот из поваров драматургии, чьи блюда были наиболее вкусны и легче всего переваривались, не написал ни одной пьесы для Порпора и даже не пожелал дать ему каких-либо обещаний на этот счет.

А между тем у маэстро, может быть, были новые идеи, и несомненно за ним оставались его наука, его замечательное знание голосов, добрые неаполитанские традиции, строгий вкус, широкий стиль, смелые музыкальные речитативы, не имевшие себе равных по грандиозной красоте. Но у него не было приверженной ему публики, и он тщетно добивался либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер отталкивал всех от него.

Он внес раздражение даже в свой ласковый отеческий прием Консуэло.

— А почему ты так поспешила покинуть Богемию? — спросил он, взволнованно расцеловав ее. — Зачем ты явилась сюда, несчастное дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя понять. Здесь нет для тебя места, дочь моя! Твоего старого учителя публика презирает, и если хочешь пользоваться успехом, то последуй примеру других и притворись, что вовсе не знаешь его или презираешь, подобно тем, которые обязаны ему своим талантом, своим состоянием, своей славой.

— Как? Вы и во мне сомневаетесь? — воскликнула Консуэло с глазами, полными слез. — Вы, значит, не верите ни в мою любовь к вам, ни в мою преданность и хотите излить на меня подозрение и презрение, вложенные в вашу душу другими. О дорогой учитель! Вы увидите, что я не заслуживаю такого оскорбления. Вы увидите это! Вот все, что я могу вам сказать.

<sup>1</sup> Антонио Лука *Предииери* (1688–1769) — итальянский композитор, был придворным капельмейстером в Вене в 1739–1747 гг.

<sup>2</sup> Франческо *Альбани* (1578–1660) — итальянский живописец болонской школы, за изящество и грацию прозванный «Анакреоном живописи». У него была красивая жена и 12 красивых детей, а потому говорили, что он имел готовые модели у себя под руками.

Порпора сморщил брови, повернулся к ней спиной, несколько раз прошелся по комнате, а затем вернулся к Консуэло. Видя, что она плачет, и не зная, что сказать ей ласкового и нежного, он взял из ее рук носовой платок и с отеческой грубостью стал вытирать ей глаза, приговаривая:

— Ну, полно!

Консуэло видела, что он бледен и с трудом подавляет в своей широкой груди тяжкие вздохи. Но он поборол волнение и, придвинув стул, сел подле нее.

— Ну, — начал он, — Расскажи мне про свое пребывание в Богемии и объясни, почему ты так внезапно оттуда вернулась. Говори же! — прибавил он несколько раздраженным тоном. — Разве мало есть такого, о чем ты должна мне рассказать? Ты там скучала, что ли? Или Рудольштадты обошлись нехорошо с тобой? Впрочем, они тоже могли оскорбить тебя и измучить. Богу известно, что это были единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но Богу также известно, что все люди способны на все злое.

— Не говорите этого, друг мой, — остановила его Консуэло. — Рудольштадты — ангелы, и говорить о них я должна бы не иначе, как стоя на коленях, но я принуждена была покинуть их, принуждена была бежать, и даже не предупредив их, не простившись с ними.

— Что же это значит? Разве ты можешь в чем-нибудь упрекнуть себя по отношению к ним? Неужели мне придется краснеть за тебя и пожалеть, что я послал тебя к этим славным людям?

— О! Нет! Нет! Слава Богу, маэстро, мне не в чем себя упрекнуть, и вам не придется краснеть за меня.

— Так в чем же дело?

Консуэло, зная, как необходимо было быстро и коротко отвечать Порпора, когда он желал познакомиться с каким-нибудь фактом или идеей, сообщила ему в двух словах, что граф Альберт желал взять ее в жены, а она не могла на это решиться, не посоветовавшись предварительно со своим приемным отцом.

Злобная и ироническая гримаса искривила лицо Порпора.

— Граф Альберт, — воскликнул он, — наследник Рудольштадтов, потомок богемских королей, владелец Замка Великанов! И он хотел жениться на тебе, на «цыганочке»? На тебе, уродце нашей школы, дочери неизвестного отца, на комедиантке без гроша и без ангажемента? На тебе, босиком просившей милостыню на перекрестках Венеции?

— На мне! На вашей ученице! На мне, вашей приемной дочери. Да, на мне, на Порпорине! — ответила Консуэло со спокойной и кроткой гордостью.

— Подумаешь, какая знаменитость и какая блестящая партия! Действительно, описывая тебя, я позабыл сказать об этом, — прибавил с горечью маэстро. — Да, последняя и единственная ученица учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора. Носительница имени, уже забытого людьми! Есть чем хвастаться и сводить с ума сыновей знатнейших семейств!



— По-видимому, учитель, — сказала Консуэло с грустной и нежной улыбкой, — мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам хочется думать, ибо несомненно, что граф желает на мне жениться, и я явилась сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке отказать ему.

— Консуэло, — ответил Порпора холодным и строгим тоном, — я не люблю всех этих глупостей. Вы должны бы прекрасно знать, что я ненавижу романы пансионеров или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я, что вы способны вбить себе в голову подобный вздор, и мне, когда я слушаю все это, делается стыдно за вас. Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся вами и что благодаря деревенской скуке он, восторгаясь вашим пением, слегка и приударил за вами, но как вы имели дерзость принять это всерьез и, притворяясь так смехотворно, разыгрывать роль принцессы в романе? Вы возбуждаете во мне жалость, а если старый граф, если канонисса, если баронесса Амелия знают о ваших претензиях, то мне стыдно за вас, — повторяю, я краснею за вас!

Консуэло знала, что не надо ни противоречить Порпора, когда он говорит с жаром, ни прерывать его во время наставлений. Она дала ему излить свое негодование, и когда он высказал ей все, что только мог придумать наиболее обидного и наиболее несправедливого, она рассказала ему правдиво и с полнейшей точностью все, что произошло в Замке Великанов между ней и графом Альбертом, графом Христианом, Амелией, канониссой и Андзолето. Порпора, давая волю своему раздражению и брани, умел также слушать и понимать, и он с самым серьезным вниманием отнесся к ее рассказу. А когда Консуэло закончила, он задал ей еще несколько вопросов, чтобы, ознакомившись с новыми подробностями, вполне войти в интимную жизнь всей семьи и понять чувства каждого из них.

— В таком случае... — проговорил он наконец, — ты хорошо поступила, Консуэло. Ты вела себя умно, с достоинством, мужественно, как и следовало ожидать от тебя. Это хорошо. Небо покровительствовало тебе, и оно вознаграждает тебя, избавив раз и навсегда от этого негодяя Андзолето. Что касается молодого графа, ты не должна о нем думать, я запрещаю тебе это. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит тебе вернуться к артистической карьере, уж будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю неукротимую дворянскую спесь. Если же ты на этот счет не заблуждаешься (что было бы и ребячливо и глупо), то я не думаю, чтобы ты хотя бы минуту колебалась между жизнью великих мира сего и жизнью детей искусства. Что ты об этом думаешь? Отвечай же! Чёрт возьми! Ты словно меня не слышишь!

— Прекрасно слышу вас, учитель, но вижу, что вы ровно ничего не поняли из того, что я вам рассказала.

— Как я ничего не понял? Что ж, по-твоему, я перестал теперь даже понимать?

И черные глазки маэстро снова злобно засверкали. Консуэло, зная Порпора как свои пять пальцев, видела, что не надо сдаваться, если она хочет,

чтоб ее выслушали.

— Нет, вы меня не поняли, — возразила она уверенным тоном, — так как, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом уверены, и никогда не говорите мне, дорогой учитель, что оно играет какую-либо роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не по личным заслугам. Вы воспитали меня в этих принципах, и я не могла бы изменить им. Но в жизни все же есть нечто кроме денег и тщеславия, и это «нечто» настолько ценно, что может компенсировать и упоение славой и радости артистической жизни. Это — любовь такого человека, как Альберт, это — семейное счастье, это — семейные радости. Публика — властелин, тиранический, капризный и неблагодарный. Благородный муж — друг, поддержка, второе «я». Полюби я Альберта так, как он меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива.

— Что за глупые речи! — воскликнул маэстро. — С ума вы сошли, что ли? Не ударились ли в немецкую сентиментальность? Бог мой, до какого презрения к искусству дошли вы, графиня! Вы сами сейчас только говорили, что «ваш» Альберт, как вы позволяете себе его звать, внушает вам больше боязни, чем влечения, что вы вся холодеете от страха подле него; кроме того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения, прекрасно слышал и понял. И теперь, когда вы снова обрели свободу, это единственное благо артиста, единственное условие для его развития, вы являетесь ко мне спросить, не нужно ли вам снова повесить себе камень на шею, чтобы броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец. Ну, ступайте же! Делайте, как вам угодно, я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и мне больше нечего вам говорить. Не стану я терять времени с особой, которая не знает сама, что она говорит и чего хочет! У вас нет здравого смысла. Я все сказал. Слуга покорный.

Высказав это, Порпора уселся за клавиш и стал быстро и с силой импровизировать. Консуэло, отчаявшись на этот раз серьезно обсудить с ним интересующий ее вопрос, принялась думать о том, как бы привести его, по крайней мере, в лучшее настроение духа. Ей это удалось, когда она начала петь национальные песни, выученные в Богемии; оригинальность их привела в восторг старого маэстро. Потом она потихоньку заставила Порпора показать ей свои последние творения. Она пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, не имея подле себя способных учеников и относясь с недоверием ко всем, кто к нему приближался, давно не испытывал радости слышать свои идеи, переданные красивым голосом и понятые прекрасной душой. Он был до того растроган, прослушав, как его великая и всегда покорная Порпорина передает созданные им произведения именно так, как сам он их понимал, что заплакал радостными слезами и, прижимая ее к своему сердцу, воскликнул:

— Ах! Ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое больше и сильнее,

и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего этого года занимался с тобой. Еще, еще, дочка, пропой мне эту тему. Ты мне даешь минуты давно не испытанного счастья!

Они пообедали вместе очень скудно за маленьким столиком у окошка.

Квартира Порпора была очень плоха. Его комната, мрачная, печальная, всегда в беспорядке, выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэло, видя, что он пришел в хорошее настроение, решила заговорить с ним о Йозефе Гайдне. Единственное, что она скрыла от учителя, это свое длинное пешеходное путешествие с этим молодым человеком и странные приключения, породившие между ними такую нежную, чистую дружбу. Она знала, что ее учитель, по своему обыкновению, отнесется недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с похвалой. И потому она с самым равнодушным видом рассказала Порпора, что она, подъезжая к Вене, разговорилась в экипаже с одним юным бедняком, который с таким почтением и восторгом говорил о школе Порпора, что она почти обещала ему замолвить о нем словечко перед самим маэстро.

— А что это за молодой человек? — спросил Порпора. — К чему он готовит себя? Конечно, в артисты, раз он бедняк? Благодарю за такую клиентуру! Больше я не намерен учить никого, кроме как сынков аристократов. Эти-то платят, ничему не выучиваются, но зато гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то познаниями. А артисты все — подлецы, неблагодарные, предатели, лгуны... Пусть и не заикаются мне об этом. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой комнаты. А случись это, моментально вышвырну в окно!

Консуэло пробовала было рассеять его предубеждения, но старик так упорно стоял на своем, что она отказалась от этого и, высунувшись немного из окна в тот момент, когда учитель повернулся к ней спиной, сделала сначала один знак, а потом другой. Йозеф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял на основании первого знака, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в число учеников Порпора; второй знак говорил о том, что ему не следовало появляться раньше полудня.

Консуэло перевела разговор на другое, чтобы заставить Порпора забыть о только что ею сказанном. Прошло полчаса, и Йозеф постучал в дверь. Консуэло пошла отпирать и, притворяясь, будто не знает Йозефа, воротилась доложить маэстро, что к нему явился наниматься слуга.

— Покажись-ка! — крикнул Порпора дрожавшему юноше. — Подойди сюда. Кто сказал тебе, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне не нужно.

— Если вы не нуждаетесь в слуге, — ответил Йозеф, совсем растерявшись, но стараясь, по совету Консуэло, держаться молодцом, — это крайне прискорбно для меня, сударь, ибо я очень нуждаюсь в хозяине.

— Подумаешь, будто я один могу дать тебе заработок! — возразил Порпора. — Ну, вот посмотри на мою квартиру и меблировку. Считаешь ли ты, что мне нужен здесь лакей для уборки?

— И правда, сударь, он очень был бы нужен вам, — ответил Гайдн, разыгрывая доверчивого простака, — ведь все здесь в большом беспорядке.

С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать комнату с аккуратностью и хладнокровием, заставившими Порпора расхохотаться. Йозеф все поставил на карту, ибо, не рассмеши он своим усердием хозяина, тот, пожалуй, заплатил бы ему палочными ударами.

— Вот чудак, желающий служить мне помимо моей воли! — проговорил Порпора, глядя на его старание. — Говорю тебе, идиот, у меня нет средств платить слуге. Ну что? Будешь еще продолжать усердствовать?

— За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне давали свои обноски, да ежедневно по куску хлеба. Вот мне и довольно. Я так беден, что почти себя счастливым, если не придется мне просить милостыню.

— Но почему же тебе не поступить в богатый дом?

— Немыслимо, сударь: находят, что я слишком мал ростом и слишком уродлив. К тому же я ничего не смыслю в музыке, а знаете, теперь все вельможи хотят, чтобы их лакеи умели немного играть на скрипке или флейте. А я никогда не мог вбить себе в голову ни единой музыкальной ноты.

— Ага! Ага! Ты ничего не смыслишь в музыке? Ну, так ты именно тот человек, которого мне нужно. Если ты довольствуешься пищей и моими обносками, я тебя беру. Вот и дочери моей тоже понадобится старательный малый для ее поручений. Посмотрим, на что ты способен. Умеешь ли ты чистить платье, мести пол, докладывать о посетителях и провожать их?

— Да, сударь, я все это умею делать.

— Ну, хорошо, так начинай. Приготовь мне вон тот костюм, что ты видишь на кровати, так как я через час отправляюсь к посланнику. Консуэло, ты будешь сопровождать меня. Хочу представить тебя синьору Корнер, которого ты уже знаешь. Он только что вернулся с курорта со своей синьорой. Здесь у меня есть маленькая комнатка, я тебе ее уступаю; пойді туда, приоденься немного, пока я буду собираться.

Консуэло повиновалась, прошла через переднюю в предоставленную ей темную комнатку и облеклась в свое вечное черное платье и неизменную белую косынку, только что пропутешествовавшие на плече Йозефа.

«Для посольства это не очень-то роскошный туалет, — подумала она, — но ведь в нем я дебютировала в Венеции, и, однако, это не помешало мне хорошо петь и иметь успех».

Переодевшись, она снова вошла в переднюю, где нашла Гайдна, с важностью завивавшего парик Порпора, посаженный на палку. Взглянув друг на друга, они оба подавили в себе сильное желание расхохотаться.

— Ну, как же ты справляешься с этим великолепным париком? — спросила она его тихо, чтобы не услышал Порпора, одевавшийся в соседней комнате.

— Ничего, — ответил Йозеф, — само собой выходит. Я часто видел, как это делает Келлер. А кроме того, сегодня он дал мне урок и еще поучит, чтобы я и в завивке достиг совершенства.





*Переодевшись, Консуэло снова вошла в переднюю, где нашла Гайдна, с важностью завивавшего парик Порпора, посаженный на палку. Взглянув друг на друга, они оба подавили в себе сильное желание расхохотаться.*



— Мужайся, бедный мой мальчик, — сказала Консуэло, пожимая ему руку, — учитель в конце концов смягчится. Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но на них удастся срывать и прекрасные цветы.

— Спасибо за метафору, дорогая сестрица Консуэло. Будь уверена, я не паду духом, только бы ты, проходя мимо меня по лестнице или в кухне, бросала мне время от времени дружеское, подбадривающее словечко, и я все вынесу с радостью.

— А я помогу тебе выполнять твои обязанности, — сказала, улыбаясь, Консуэло. — Что ж ты думаешь, я не начинала, как ты? Будучи девочкой, я часто прислуживала Порпора. Не раз я исполняла его поручения, взбивала его шоколад, гладила его брыжи. Вот для начала я поучу тебя, как надо чистить этот костюм; вижу, ты в этом ровно ничего не смыслишь: ломаешь пуговицы и мнешь отвороты.

Тут она взяла из его рук щетку и, действуя ею проворно и ловко, показала ему, как надо чистить. Но, услышав, что идет Порпора, она быстро передала Йозефу щетку и в присутствии хозяина важно проговорила:

— Ну, мальчик, поторопитесь.

## LXXXIII

Не в венецианское посольство повел Порпора Консуэло, а к посланнику, то есть в дом его возлюбленной. Вильгельмина была красивая женщина, увлекавшаяся музыкой и находившая больше всего удовольствия, больше всего удовлетворения своему тщеславию в том, чтоб собирать у себя интимный кружок артистов и дилетантов, не компрометируя при этом слишком большой пышностью сан дипломата, знатного синьора Корнер.

Появление Консуэло в первую минуту вызвало удивление и сомнение, но сейчас же это сменилось радостными возгласами и дружескими приветствиями, как только убедились, что это действительно «цыганочка», прошлогоднее чудо Сан-Самуэле. Вильгельмина, знавшая Консуэло совсем ребенком, когда та приходила к ней с Порпора, неся его ноты и следуя за ним по пятам, словно маленькая собачка, потом очень охладела к ней, видя, каким огромным успехом пользуется юная артистка в аристократических гостиных и как забрасывают ее венками на сцене. И это не потому что она достаивала своей завистью девушку, так долго слывшую ужасным уродом. Но Вильгельмина, как все выскочки, любила разыгрывать из себя важную даму. Она пела самые прославленные арии у Порпора, видевшего в ней только талантливую дилетантку и разрешавшего ей исполнять все, что ей было угодно, в то время как бедная Консуэло корпела над пресловутым кусочком картона, заключавшим в себе всю методу пения маэстро, на которой он по пять-шесть лет держал учеников, серьезно относившихся к занятиям. Итак, Вильгельмина не представляла себе,

что может питать к «цыганочке» иное чувство, кроме милосердного участия. Но оттого что она угостила когда-то девочку несколькими конфетами или дала ей посмотреть книжку с картинками, дабы та не скучала в ее передней, Вильгельмина почитала себя одной из самых деятельных покровительниц юного таланта. Поэтому она нашла очень странным и даже неприличным, что Консуэло, мгновенно поднявшись на вершину славы, не держала себя по отношению к ней смиренно, не заискивала и не была преисполнена благодарности. Она рассчитывала на то, что на ее маленьких собраниях избранных лиц Консуэло мило и безвозмездно будет служить их украшением, распевая для нее и вместе с ней так часто и так долго, как ей заблагорассудится; Вильгельмина хотела представить ее своим друзьям, намекая при этом на помощь, оказанную ею при дебютах Консуэло, и на то, что та чуть ли не ей обязана своим пониманием музыки. Но все сложилось иначе: Порпора, которому гораздо больше хотелось сразу доставить Консуэло достойное положение в артистическом мире, чем угождать своей покровительнице Вильгельмине, посмеивался втихомолку над претензиями этой особы. Он запретил Консуэло принимать от госпожи посланницы «с левой руки» приглашения, сперва немного слишком бесцеремонные, затем немного слишком повелительные. Маэстро сумел найти тысячу причин, чтоб не водить ее туда, и Вильгельмина, проникнувшись необычайной неприязнью к дебютантке, принялась даже распространять, что юная певица, при своей наружности, никогда не сможет иметь бесспорного успеха, что голос ее, правда, приятный в гостинной, недостаточно звучен для сцены, что как оперная певица она не оправдала надежд, возлагавшихся на нее с детства, и много еще других инсинуаций в таком же роде, известных во все времена и у всех народов.

Но вскоре восторженные крики публики заглушили все эти нащёптывания, и Вильгельмина, чванившаяся тем, что она такой ценитель музыки, такая просвещенная ученица Порпора и такая великодушная женщина, не посмела продолжать эту тайную борьбу против самой блестящей ученицы маэстро, кумира публики. Она присоединила свой голос к голосу настоящих любителей музыки, восторгавшихся пением Консуэло, и если ей случалось порицать певицу за гордость и тщеславие, проявлявшиеся в том, что она не отдала своего голоса в распоряжение «госпожи посланницы», то «госпожа посланница» позволяла себе шептать об этом на ухо лишь очень немногим.

Теперь, когда она увидела Консуэло в скромном платьице прежних дней и когда Порпора официально представил ей свою ученицу, чего никогда раньше не делал, то тщеславная и пустая Вильгельмина все простила и стала играть роль великодушного благородства. В то время как она целовала «цыганочку» в обе щеки, у нее мелькнула мысль: должно быть, она потерпела крушение, сделала какое-нибудь безумство или, быть может, потеряла голос; давно что-то не было слышно о ней. «Теперь она в нашей власти, — думала она, — вот надлежащий момент пожалеть ее, оказать покровительство, проверить ее дарование или извлечь из него пользу».

У Консуэло был такой кроткий, миролюбивый вид, что Вильгельмина, не находя в ней больше того тона высокомерного довольства, который она приписывала ей в Венеции, почувствовала себя с ней легко и рассыпалась в любезностях. Несколько итальянцев, друзей посланника, находившихся в салоне Вильгельмины, присоединились к ней, забрасывая Консуэло комплиментами и вопросами, которые она сумела ловко и шутивно обойти.

Но вдруг ее лицо стало серьезным, и на нем отразилось некоторое волнение, когда на другом конце гостиной, среди группы немцев, рассматривавших ее с любопытством, она увидела лицо, уже однажды смущавшее ее в другом месте. То был незнакомец, друг каноника, который так упорно рассматривал и расспрашивал ее три дня тому назад у священника в деревне, где она вместе с Йозефом Гайдном пела обедню. Незнакомец этот опять всматривался в нее с необыкновенным любопытством, и легко можно было догадаться, что он справляется относительно нее у своих соседей. Озабоченность Консуэло не ускользнула от внимания Вильгельмины.

— Вы смотрите на господина Гольцбауэра, — сказала она. — Вы его знаете?

— Я его не знаю и не подозревала, что смотрю на него, — ответила девушка.

— Это первый справа от стола, — сказала «посланница». — Теперь он директор придворного театра, а жена его — примадонна того же театра. Он злоупотребляет своим положением, угощая двор и венцев своими операми, которые, между нами говоря, никуда не годятся, — прибавила Вильгельмина совсем тихо. — Хотите, я вас с ним познакомлю? Это очень милый человек.

— Тысячу благодарностей, синьора, — ответила Консуэло, — я слишком мало значу здесь, чтоб быть представленной такой особе, и заранее уверена, что он не пригласит меня в свой театр.

— Почему же, дорогая моя? Разве ваш чудный голос, не имевший равного в Италии, пострадал благодаря пребыванию в Богемии? Ведь говорят, что вы все время жили в Богемии, самой холодной и самой печальной стране на свете. Это очень вредно для легких, и я не удивлюсь, если вы на себе испытали последствия такого климата. Но это не беда, голос к вам вернется на нашем дивном венецианском солнце.

Консуэло, видя, что Вильгельмина чрезвычайно спешит констатировать повреждение ее голоса, воздержалась от опровержения этого мнения, тем более что ее собеседница, задав вопрос, сама же на него ответила. Ее несколько не мучило это великодушное предположение, а смущало то, что она ожидала встретить неприязнь у Гольцбауэра из-за несколько резкого и искреннего ответа относительно его музыкальных произведений, вырвавшегося у нее тогда за завтраком у священника. Придворный маэстро не преминет, конечно, отомстить ей, рассказывая, в каком обществе и при каких обстоятельствах он ее встретил, и Консуэло боялась, чтобы этот рассказ, дойдя до ушей Порпора, не вооружил учителя против нее, а главное — против бедного Йозефа.

Все произошло иначе. Гольцбауэр не заикнулся о приключении по причине, о которой будет сказано впоследствии, и далекий от прояв-

ления какой-либо враждебности к Консуэло, он подошел к ней и посмотрел на нее лукавым взглядом, в котором сквозило одно лишь доброжелательство. Консуэло сделала вид, что не понимает этого взгляда. Она боялась, как бы он не подумал, что она просит его сохранить ее тайну, но была настолько горда, что спокойно шла навстречу всем последствиям их знакомства, каковы бы они ни были.

Ее отвлекло от этого происшествия лицо старика с суровым и высокомерным выражением, который, однако, усиленно стремился завязать разговор с Порпора; но тот, верный своему дурному настроению, едва отвечал ему, ежеминутно порываясь избавиться от него под каким-нибудь предлогом.

— Это прославленный маэстро Буонончини<sup>1</sup>, — пояснила Вильгельмина, которая была не прочь сделать Консуэло перечень всех знаменитостей, украсивших ее гостиную. — Он только что вернулся из Парижа, где в присутствии короля лично исполнял партию виолончели в мотете<sup>2</sup> собственного сочинения. Как вам известно, он долго производил фурор в Лондоне и после упорной борьбы с Генделем, театр против театра, в конце концов, одержал над ним победу в опере.

— Не говорите этого, синьора, — проговорил с живостью Порпора, который только что отделался от Буонончини и, подойдя к двум женщинам, слышал последние слова Вильгельмины. — О! Не произносите подобного богохульства! Никто не победил Генделя, никто не победит его! Я знаю своего Генделя, а вы еще не знаете его. Это первый среди нас, и я признаюсь в этом, хотя я в дни своей безумной юности тоже имел смелость бороться с ним. Я был раздавлен; так и должно было быть, это справедливо. Буонончини, более счастливый, чем я, но не более скромный и не более знающий, восторжествовал в глазах дураков и благодаря ушам варваров. Не верьте же тем, кто вам говорит об этом триумфе. Он навски сделает моего собрата Буонончини предметом насмешек, а Англия когда-нибудь будет краснеть за то, что предпочла его оперы операм такого гения, такого гиганта, как Гендель. Мода, fashion (как там говорят), дурной вкус, удачное местоположение театра, знакомства в театральном мире, интриги и больше всего талант чудесных певцов, исполнявших его произведения, — все это, по-видимому, взяло верх. Но зато в духовной музыке Гендель дал ему колоссальный реванш... Что же касается господина Буонончини, его я не ставлю высоко. Не люблю я мошенников и открыто говорю, что успех своей оперы он так же «законно» украл, как и успех своей кантаты.

<sup>1</sup> Джованни-Баттиста *Буонончини* (1660–1740) — итальянский композитор и отличный виолончелист-виртуоз. Сообщаемые в романе сведения о его «соперничестве» с Генделем, в общем, правильны. Только он «похитил» у Лотти не мотет, а мадригал на итальянский текст «In una siepe ombrosa» («В тенистой изгороди»).

<sup>2</sup> *Motet* — вокальное произведение для одного или нескольких голосов на латинский текст, взятый из церковного обихода.

Порпора намекал на скандальный плагиат, взволновавший весь музыкальный мир. Буонончини, будучи в Англии, присвоил себе честь произведения, написанного Лотти за тридцать лет до этого, что последнему и удалось доказать самым блестящим образом, после долгих споров с наглым маэстро. Вильгельмина пробовала было защищать Буонончини, но эта защита только раздражила Порпора.

— Говорю же я вам и утверждаю! — воскликнул он, не заботясь о том, что его мог услышать Буонончини. — Гендель даже в оперных своих произведениях выше всех композиторов и прошедшего времени, и настоящего. Сейчас докажу вам это. Консуэло, иди к роялю и спой нам арию, которую я тебе укажу.

— Я умираю от желания услышать дивную Порпорину, — сказала Вильгельмина, — но умоляю вас, пусть она не выполняет здесь в присутствии Буонончини и господина Гольцбауэра произведений Генделя, им не польстит такой выбор...

— Ну, конечно, — прервал Порпора, — это их живое осуждение, это их смертный приговор...

— В таком случае, маэстро, предложите ей спеть что-нибудь из ваших произведений, — попросила Вильгельмина.

— Ну, разумеется! Вы знаете, что это не возбудит ни в ком зависти! Но я хочу, чтоб она пропела именно Генделя. Я этого хочу!

— Учитель, не заставляйте меня петь сегодня, — стала упрашивать Консуэло. — Я ведь только что с дальней дороги...

— Конечно, это значило бы злоупотребить ее любезностью, и я отказываюсь от своей просьбы, — встала хозяйка дома. — В присутствии находящихся здесь ценителей, в особенности господина Гольцбауэра, директора императорского театра, не надо компрометировать вашу ученицу. Будьте осторожны!

— Компрометировать! Да что вы говорите! — резко оборвал ее Порпора, пожимая плечами. — Я слышал ее сегодня утром и знаю, рискует ли она скомпрометировать себя перед вашими немцами.

Этот спор, к счастью, был прерван появлением нового лица. Все поспешили приветствовать его, и Консуэло, которая в детстве видела и слышала в Венеции этого щедедушного человека с женственным лицом, с высокомерным и самодовольным видом, хотя и нашла его постаревшим, увядшим, подурневшим, смешно завитым и одетым с безвкусицей престарелого селадона, все-таки сейчас же узнала в нем несравненного, неподражаемого сопраниста Майорано, известного под именем Каффарелли, или скорее Каффариэлло, как его звали везде, за исключением Франции.

Невозможно было найти хлыща более дерзкого, чем этот милейший Каффариэлло. Женщины избаловали его своим поклонением, а овации публики вскружили ему голову. В юности он был так красив, или, вернее, такой хорошенький, что дебютировал в Италии в женских ролях. Теперь,



когда ему было под пятьдесят (а казалось даже гораздо больше, как большинству сопранистов), трудно было без смеха представить себе его Дидоной или Галатеей. Чтобы компенсировать то странное, что было в его особе, он корчил из себя храбреца и по всякому поводу возвышал свой голос, тонкий и нежный, природу которого никак не мог изменить. Однако его манерность и безграничное тщеславие имели и хорошую сторону. Каффариэлло слишком сознавал превосходство своего таланта, чтобы перед кем-либо рассыпаться в любезностях. Он также слишком чувствовал свое достоинство артиста, чтобы раболепствовать. Безрассудно смело держал он себя со знатнейшими особами, даже с самими монархами, и потому его не любили пошлые льстецы, видя в его дерзости укор себе. Настоящие друзья искусства прощали ему все, как гениальному виртуозу. Хотя его как человека и упрекали во многих подлостях, однако вынуждены были признать, что в его артистической жизни бывали поступки и мужественные и великодушные.

Невольной и неумышленно выказывал он пренебрежение и известного рода неблагодарность по отношению к Порпора. Он хорошо помнил, что в течение восьми лет учился у него и был обязан ему всеми своими познаниями, но еще лучше помнил он тот день, когда его учитель сказал ему: «Теперь я ничему уже не могу тебя научить!»

*Va, figlio mio, tu sei il primo musico del mondo!*<sup>1</sup>

И с этого дня Каффариэлло, который действительно (после Фаринелли) был первым певцом мира, перестал интересоваться всем, что не было им самим.

«Раз я первый, — сказал он себе, — значит, я единственный. Мир создан для меня, небо даровало таланты поэтам и композиторам только для того, чтобы пел Каффариэлло. Порпора первый учитель пения в мире, только потому что он был предназначен отшлифовать талант Каффариэлло. Теперь дело Порпора кончено, его миссия завершена, и для славы, для счастья, для бессмертия Порпора достаточно, чтобы Каффариэлло жил и пел».

Каффариэлло жил и пел, он был богат и торжествовал, а Порпора был беден и покинут. Но Каффариэлло этим нисколько не тревожился и говорил себе, что он достаточно собрал золота и славы и что это вполне вознаграждает его учителя, давшего миру такое чудо, как он.

## LXXXXIV

Каффариэлло, входя в гостиную, сделал едва заметный общий поклон, но нежно и учтиво пошел поцеловать руку Вильгельмины, после чего он покровительственно любезно поговорил со своим директором Гольцбауэром и с небрежной фамильярностью потряс руку своему учителю Порпора. Коле-

<sup>1</sup> Иди, сын мой, ты первый музыкант мира! (ит.)



*Каффариэлло... с небрежной фамильярностью  
потряс руку своему учителю Порпора.*

блясь между негодованием, вызванным фамильярностью бывшего ученика, и необходимостью считаться с ним (ведь потребуй он его оперу и возьми на себя первую в ней роль, этим он мог поправить дела маэстро), Порпора принялся расточать ему похвалы и расспрашивать о его недавних победах в Париже, так тонко иронизируя при этом, что самодовольный певец никак не мог этого заметить.

— Франция! — воскликнул Каффариэлло. — Не говорите мне о Франции! Это страна мелкой музыки, мелких музыкантов, мелких любителей музыки и мелких вельмож. Представьте себе, этот мужлан Людовик XV, прослушав меня в полудюжине духовных концертов, вдруг передает мне через одного из своих знатнейших вельмож, догадайтесь что? Какую-то скверную табакерку!

— Но, конечно, золотую и с ценными бриллиантами? — заметил Порпора, нарочно вынимая свою табакерку из фигового дерева.

— Ну, конечно, — сказал тенор. — Но подумайте, какая дерзость! Без портрета! Мне — простую табакерку, словно я нуждаюсь в коробке для нюхательного табака. Фи! Какое королевское мещанство! Я просто был возмущен!

— И надеюсь, — сказал Порпора, набивая свой хитрый нос табаком, — что ты хорошенько проучил этого короля?

— Не преминул, черт побери! «Сударь, — сказал я важному придворному, открывая перед его ослепленным взором ящик, — вот тридцать табакерок, из которых самая плохая стоит в тридцать раз больше, чем та, которую вы мне подносите, и к тому же вы видите, что другие монархи не погнушались почтить меня своими миниатюрами. Скажите это королю, вашему повелителю, дескать, у Каффариэлло, слава Богу, нет недостатка в табакерках».

— Клянусь Бахусом! До чего должен был быть пристыжен король! — воскликнул Порпора.

— Подождите, это еще не все! Вельможа имел дерзость мне ответить, что среди иностранцев его величество дарует свой портрет только посланникам.

— Этаким болван! Что ж ты ему на это ответил?

— Послушайте, сударь, — сказал я, — знайте, что из посланников всего мира не сделаешь одного Каффариэлло...

— Прекрасно! Чудесный ответ! О! Как я в нем узнаю своего Каффариэлло. А ты так и не принял его табакерки?

— Нет, черт возьми! — ответил Каффариэлло, рассеянно вынимая из кармана золотую табакерку, усыпанную бриллиантами.

— Не та ли это ненароком? — спросил Порпора, с равнодушным видом глядя на табакерку. — Но скажи мне, видел ли ты там нашу юную саксонскую принцессу? Ту, которой я впервые поставил пальчики на клавиш в Дрездене, в те времена, когда ее мать, польская королева, оказывала мне честь своим покровительством. Это была милая маленькая принцесса.

— Мария-Жозефина?

— Да, дофина Франции.

— Видал ли я ее? Даже в интимном кругу. Это добрейшая особа. Ах! Какая прекрасная женщина! Честное слово, мы с ней наилучшие друзья в мире! Вот что она мне подарила.

И он показал на своем пальце кольцо с огромным бриллиантом.

— Говорят также, что она смеялась от души твоему ответу королю по поводу его подарка.

— Конечно, она нашла, что я прекрасно ответил и что король, ее свекор, поступил, как последний сквалыга.

— В самом деле дофина тебе это сказала?

— Она дала мне это понять, передавая паспорт, который заставила подписать самого короля.

Все слушавшие этот диалог отвернулись, посмеиваясь исподтишка. Буонончини, говоря о фанфаронадах Каффариэлло во Франции, за час перед этим рассказывал о том, как дофина, передавая ему этот самый паспорт, украшенный штамповой подписью монарха, заметила, что он действителен только в течение десяти дней, а это было равносильно приказу покинуть Францию в самый короткий срок.

Тут Каффариэлло, боясь, быть может, дальнейших расспросов об этом происшествии, переменял разговор.

— Ну как, маэстро, — сказал он Порпора, — много было у тебя учеников за последнее время в Венеции и встречались ли среди них подающие надежды?

— Уж и не говори! — ответил Порпора. — После тебя небо было скупое, и школа моя бесплодна. Бог, сотворив человека, опочил. А Порпора с тех пор, как создал Каффариэлло, сложил руки и тоскует.

— Дорогой учитель, — продолжал Каффариэлло, в восторге от комплимента, в котором он все принял за чистую монету. — Ты слишком снисходителен ко мне. Однако у тебя было несколько многообещающих учеников, когда я виделся с тобой в школе Мендиканти. Ты тогда уже выпустил маленькую Кориλλу, которую, помнится, очень оценила публика. Красивое существо, ей-богу!

— Красивое и больше ничего.

— Правда? Больше ничего? — спросил Гольцбауэр, прислушивавшийся к разговору.

— Говорю вам, — авторитетным тоном повторил Порпора, — больше ничего!

— Это полезно знать, — прошептал ему на ухо Гольцбауэр. — Она приехала сюда вчера вечером с довольно расстроенным здоровьем, как мне передавали, а однако уже сегодня утром я получил от нее предложение взять ее на императорскую сцену.

— Это не то, что вам нужно, — проговорил Порпора. — Ваша жена поет... в десять раз лучше ее. — Он хотел было сказать «менее плохо», но сумел вовремя сдержаться.

— Благодарю за ваш отзыв, — ответил директор.



— Неужели нет других учеников, кроме толстой Кориаллы? — вновь заговорил Каффариэлло. — Венеция, значит, иссякла? Мне хотелось бы побывать там будущей весной с Тези<sup>1</sup>.

— Зачем же дело стало?

— Тези увлечена Дрезденом. Но неужели я не найду в Венеции ни одной мяукающей кошки? Я не очень требователен, и публика тоже снисходительна, когда есть певец такой, как я, чтоб «вынести» всю оперу на своих плечах. Красивый голос, гибкий и развитый, — вот все, что мне надо для дуэтов. А кстати, учитель, что сделал ты из маленькой чернушки, которую я у тебя видел?

— Мало ли я учил чернушек!

— О! У этой был чудесный голос, и помнится, прослушав ее, я тебе сказал: «Вот маленький уродец, который далеко пойдет». Я даже тогда, забавы ради, пропел ей кое-что. Бедная девочка, она заплакала от восторга.

— Ага! Ага! — сказал Порпора, смотря на Консуэло, покрасневшую, как нос маэстро.

— Как ее звали, чёрт возьми? — проговорил Каффариэлло. — Странное имя... Ну, ты должен помнить, маэстро; она была уродлива, как смертный грех!

— То была я, — отозвалась поборовшая свое смущение Консуэло, подходя с веселым лицом почтительно приветствовать Каффариэлло.

Каффариэлло не растерялся от такого пустяка.

— Вы! — воскликнул он игриво, беря ее за руку. — Лжете, ибо вы прехорошенькая девушка, а та, о которой я говорю...

— О! Конечно, то была я, — перебила Консуэло. — Посмотрите на меня хорошенько. Вы должны меня узнать, — это та же самая Консуэло.

— Консуэло! Да! Да! Это было ее дьявольски трудное имя. Но я вас совсем не узнаю и очень боюсь, что вас подменили. Дитя мое, если, приобретя красоту, вы потеряли голос и талант, так много обещавший, то было бы лучше для вас остаться дурнушкой.

— Я хочу, чтоб ты ее услышал, — сказал Порпора, горевший желанием показать свою ученицу Гольцбауэру. И он потащил Консуэло к клавесину несколько против ее воли, так как она давно уже не выступала перед такими знатоками-слушателями и вообще совсем не готовилась петь в этот вечер.

— Вы меня дурачите, — заявил Каффариэлло. — Это не та, которую я видел в Венеции.

— Сейчас ты сам будешь судить об этом, — ответил ему Порпора.

— Право, учитель, это жестоко: вы заставляете меня петь, когда у меня в горле еще сидит пыль от пятидесяти миль дороги, — застенчиво протестовала Консуэло.

<sup>1</sup> Виттория *Тези* (1690–1775) — одна из самых знаменитых оперных певиц (контральто) XVIII века. Кроме Италии, пела в Вене, Дрездене, Мадриде и других городах. В ранней молодости она способствовала своим участием успеху Генделя во время его пребывания в Италии (1707–1710) при исполнении его оперы «Родриго» во Флоренции. Отличалась сильным драматическим дарованием.



— Все равно, пой! — отрезал маэстро.

— Не бойтесь меня, дитя мое, — обратился к ней Каффариэлло. — Я умею быть снисходительным, и чтоб вы не трусили, я буду петь с вами, если желаете.

— При этом условии, повинуюсь, — ответила она, — и счастье, которое я испытаю, слыша вас, помешает мне думать о себе.

— Что могли бы мы спеть вместе? — спросил Каффариэлло Порпора. — Выбери нам дуэт.

— Сам выбирай, — ответил тот, — нет ничего, чего бы она не смогла спеть с тобой.

— Ну, тогда что-нибудь твое, маэстро, мне хочется нынче порадовать тебя. И к тому же я знаю, что здесь у синьоры Вильгельмины имеются все твои произведения, переплетенные и украшенные позолотой с восточной роскошью.

— Да, — проворчал сквозь зубы Порпора. — Произведения мои одеты побогаче меня.

Каффариэлло взял ноты, стал перелистывать их и выбрал дуэт из «Эвмена», оперы, написанной маэстро в Риме для Фаринелли. Он спел первое соло с благородством, совершенством, мастерством, которые мгновенно заставляли забыть все его смешные стороны, поражали и приводили в восторг.

Могучий талант этого необыкновенного человека так оживил и воодушевил Консуэло, что она, в свою очередь, пропела женское соло так, как никогда не пела в жизни. Каффариэлло, не дожидаясь, пока она закончит, прервал ее пение бурными аплодисментами.

— Ah, cara!<sup>1</sup> — восклицал он несколько раз. — Теперь-то я узнаю тебя! Это действительно то дивное дитя, на которое я обратил внимание тогда в Венеции. Но теперь, дочь моя, ты — чудо! Ты un portento. Это говорит тебе Каффариэлло!

Вильгельмина была несколько удивлена, несколько смущена, увидев Консуэло на еще большей высоте, чем в Венеции. Несмотря на то, что выступление в ее венском салоне такого таланта было ей очень приятно, она не без огорчения и ужаса видела, что после такой виртуозки сама она не посмеет петь для своих завсегдатаев. Тем не менее «посланница» шумно выражала свой восторг.

Гольцбауэр, продолжая ухмыляться втихомолку, но опасаясь, что в его кассе не хватит денег, чтобы оплатить такой большой талант, проявлял среди всех этих восхвалений дипломатическую сдержанность. Буонончини заявил, что Консуэло выше и госпожи Гассе, и госпожи Куццони. Посланник пришел в такой восторг, что Вильгельмина даже перепугалась, особенно увидев, что он снимает со своего пальца кольцо с большущим сапфиром и надевает его на палец Консуэло, которая не решалась ни принять его, ни отказать.

Неистово стали требовать повторения дуэта, но дверь распахнулась, и лакей доложил о приезде графа Годица. Все поднялись под влиянием инстинктивного почтения, которого не чувствуют ни к самому знаменитому, ни к самому достойному, а только к самому богатому.

<sup>1</sup> Ах! Дорогая! (ит.)

«Какое невезение, — подумала Консуэло, — нужно же было мне встретить здесь разом, и не подготовив почвы, двух лиц, видевших меня во время путешествия с Йозефом. Они, без сомнения, составили себе ложное представление и о моей нравственности, и о моих отношениях с ним. Как бы то ни было, добрый и честный Йозеф, какой бы клеветы ни породила наша дружба, никогда я не откажусь от нее ни в своем сердце, ни на словах».

Граф Годиц, с головы до ног разукрашенный золотыми галунами и вышивками, подошел к Вильгельмине, и по тому, как он поцеловал руку этой содержанки, Консуэло поняла разницу, которую делают между такой хозяйкой дома и гордыми патрицианками<sup>1</sup>, виденными ею в Венеции. С Вильгельминой были и милее, и любезнее, и веселее, но говорили быстрее, ступали менее тихо, сидели, скрестив ноги выше, грели спину у камина — словом, были иными, чем в светском обществе. Эта бесцеремонность казалась даже приятной, но в то же время в ней чувствовалось нечто оскорбительное, что Консуэло сейчас же заметила, хотя это нечто, замаскированное светским обращением и вниманием, подобающим посланнику, и было почти неуловимо.

Граф Годиц выделялся своим умением тонко оттенять эту непринужденность, которая не только не оскорбляла Вильгельмину, а казалась ей проявлением особенного поклонения. Консуэло же было исключительно неприятно за эту бедную женщину, чье удовлетворенное мелкое тщеславие ей казалось жалким. Что касается ее самой, она нисколько не обижалась. Будучи «цыганочкой», она ни на что не претендовала, не требовала даже, чтобы на нее смотрели, и ей было совершенно безразлично, насколько низко ей поклонятся. «Я сюда являюсь исполнять свое ремесло певицы, — говорила она себе, — и лишь бы были довольны моим пением, я лучшего не желаю, как сидеть незамеченной в своем уголке; но эта женщина, примешивающая тщеславие к своей любви (если только она примешивает немного любви к тщеславию), как покраснела бы она, если б заметила, сколько презрения и иронии кроется под всеми этими любезностями и комплиментами».

Консуэло снова заставили петь, превозносили ее до небес, и она в этот вечер буквально делила лавры с Каффариэлло. Каждую минуту ждала она, что с ней заговорит граф Годиц и ей придется выдерживать огонь его насмешливых похвал. Но странная вещь! Граф Годиц не подошел к клавесину, у которого она стояла, отвернувшись, чтоб он не мог видеть ее лица. И когда он справлялся о ее имени и возрасте, казалось, что он впервые слышит о ней.

Причина этого заключалась в том, что он не получил неосторожной записки, с которой Консуэло, будучи в приподнятом настроении от своих странствий, обратилась к нему через жену дезертира. К тому же он был очень близорук, и так как тогда еще не было принято лорнировать<sup>2</sup> в гостиных, то он неясно различал бледное лицо певицы. Быть может, покажется странным, что, хвастаясь так своей меломанией, граф не полюбопытствовал посмотреть

<sup>1</sup> *Патрицианка* — женщина из знатного рода в Древнем Риме.

<sup>2</sup> *Лорнировать* — рассматривать в лорнет.

поближе на такую замечательную виртуозку. Но не надо забывать о том, что моравский вельможа любил только музыку, сочиненную им самим, любил только свою методику, только своих певцов. Большие таланты не внушали ему никакого интереса, никакой симпатии. Он их недолюбливал за их требовательность и претензии и, когда ему говорили, что Фаустина Бордони получает в Лондоне в год пятьдесят тысяч франков, а Фаринелли — сто пятьдесят тысяч, он пожимал плечами и уверял, что за пятьсот франков он имеет в своем росвальдском театре в Моравии певцов, обучавшихся у него, которые не уступают ни Фаринелли, ни Фаустине, ни синьору Каффариэлло.

Важность Каффариэлло была ему особенно противна и невыносима, именно потому что в своем кругу господин граф Годиц выказывал такие же странности и такие же смешные стороны, как и тот. Если хвастуны не нравятся скромным и разумным людям, то в особенности они неприятны и отвратительны таким же хвастунам, как они сами. Всякий тщеславный человек ненавидит себе подобных и высмеивает порок, присущий ему самому. Слушая пение Каффариэлло, никто не думал ни о богатстве, ни о любви к музыке графа Годица. В то время как Каффариэлло бахвалился, не оставалось места для бахвальства графа Годица — словом, они мешали друг другу. Ни один салон не был настолько обширен и ни один слушатель не был настолько внимателен, чтобы вместить и удовлетворить двух людей, терзаемых такой «жаждой апробации» (френологический стиль наших дней).

Третьей причиной, помешавшей графу Годицу пойти взглянуть и вспомнить «своего Бертони» из Пассау, было то, что он почти не глядел на него в Пассау, и теперь ему было бы очень трудно узнать его в новом, преображенном виде. Пред ним тогда была девочка, «довольно хорошо сложенная», как принято было в то время говорить о сносной наружности; он слышал ее красивый, свежий, гибкий голос и почуял в ней смышленность, легко поддающуюся обучению. Больше он ничего не почувствовал, не угадал, и больше ему ничего и не нужно было для театра в Росвальде.

Будучи богатым, он привык покупать без особенного разбора и мелочного обсуждения все, что ему подходило. Он захотел купить талант и саму Консуэло, как мы покупаем ножик в Шательро и стеклянные изделия в Венеции. Торговая сделка не состоялась, и так как ни одной минуты он не был влюблен в нее, то ни минуты и не жалел об этом. Правда, он был несколько раздосадован при своем пробуждении в Пассау, но люди, имеющие высокое о себе мнение, недолго страдают от подобной неудачи. Они скоро о ней забывают: не им ли принадлежит весь мир, в особенности, если они богаты? «Ну, что ж, — сказал себе благородный граф, — одна неудача, а за ней сто удач».

Он пошептался с Вильгельминой во время исполнения Консуэло последней арии и, заметив, что Порпора кидает на него яростные взгляды, вскоре ушел, не получив никакого удовольствия в обществе этих педантичных и неотесанных музыкантов.

# LXXXV

Первым побуждением Консуэло по возвращении в свою комнату было написать Альберту; но вскоре она заметила, что это не так легко сделать, как ей казалось. В первом своем черновике она начала было ему рассказывать все приключения своего путешествия, но тут сама испугалась, что описание пережитых ею опасностей и испытаний слишком взволнует его. Она помнила, в какое безумное исступление пришел Альберт, когда в подземелье она рассказала ему обо всех только что перенесенных ею ужасах. И она разорвала этот черновик. Чтобы избавить его глубокую душу и впечатлительную натуру от волнующих подробностей действительности, она решила ограничиться одной преобладающей идеей, одним чувством и написать в нескольких словах об обещанной любви и о верности, в которой ему поклялась. Но эти немногие слова должны были быть определенны; не будь они всецело утвердительными, они породили бы ужасные страхи и муки. А как могла она утверждать, что наконец обнаружила в себе бесспорную любовь и непоколебимую решимость, то есть то, в чем нуждался Альберт, чтобы существовать, поджидая ее. Искренность и честь Консуэло не допускали полуправды. Строго вопрошая свое сердце и совесть, она убедилась, что одержала победу над своей любовью к Андзолето и потому сильна и спокойна духом. Она также чувствовала полное равнодушие ко всякому мужчине, кроме Альберта, поскольку это касалось любви или восторженности; но любовь или глубокая восторженность, испытываемые ею только по отношению к Альберту, были теми самыми чувствами, которые она питала к нему, когда была подле него.

Недостаточно было победить воспоминание об Андзолето, устранить само его присутствие, чтобы в душе девушки загорелась пламенная страсть к молодому графу: она не могла без ужаса вспомнить о душевной болезни бедного Альберта, об удручающем величии Замка Великанов, об аристократических предубеждениях канониссы, об убийстве Зденко, о мрачной пещере скалы Ужаса — словом, обо всей печальной, странной жизни в Богемии, казавшейся ей теперь сном. Подышав вольным воздухом бродячей жизни в Богемских горах и снова окунувшись в музыкальную стихию подле своего учителя, Консуэло не представляла себе Богемию иначе, как какой-то кошмар.

Хотя она и не соглашалась с дикими артистическими афоризмами Порпора, но когда вернулась снова к жизни, так гармонирующей с ее воспитанием, дарованием, духовными запросами, ей показалось невозможным сделаться владельницей Замка Великанов.

Что же могла она сообщить Альберту? Что нового могла она обещать и подтвердить ему? Разве не была она в той же нерешительности, в том же ужасе, как и при своем отъезде из замка? Если она бежала в Вену, а не в иное

место, то только потому что здесь была под покровительством единственного законного авторитета, признаваемого ею в жизни. Порпора был ее благодетелем, ее отцом, ее поддержкой и учителем, в самом святом смысле этого слова. Подле него она не чувствовала себя больше сиротой и не считала себя вправе распоряжаться собой только под влиянием своего сердца или рассудка. А Порпора осуждал, высмеивал и энергично отвергал мысль об этом браке, видя в нем убийство гениального таланта, принесение в жертву великого будущего ради романтической самоотверженной фантазии.

В Замке Великанов тоже был старик, великодушный, благородный и нежный, который предлагал ей себя в отцы. Но разве меняешь отца совершенно обстоятельствам? И раз Порпора говорил «нет», то разве могла Консуэло принять «да» графа Христиана?

Этого не могло, не должно было быть, и следовало ждать, что скажет Порпора, когда он лучше разберется в фактах и чувствах. Но в ожидании того, подтвердит ли учитель свое первоначальное решение или изменит его, что сказать бедному Альберту, чтоб, оставляя ему надежду, заставить его быть терпеливым? Поведать ему о первой вспышке негодования Порпора значило бы лишить Альберта всякого спокойствия, скрыть ее от него было равносильно обману, а этого она делать не хотела. Если б даже жизнь этого благородного молодого человека зависела от лжи, то и тогда Консуэло не солгала бы. Есть люди, которых слишком уважают, чтоб обманывать, будь это даже для их спасения.

И вот она снова начала писать, но изорвала двадцать начатых писем, не решаясь продолжать ни одного из них. Как ни старалась она, на третьем же слове выходило так, что она или давала слишком смелые обещания или, наоборот, ее сомнения могли оказать пагубное действие. Она легла в постель страшно подавленная усталостью, грустью, беспокойством и долго мучилась от холода и бессонницы, не будучи в состоянии ни прийти к какому-либо решению, ни представить себе ясно свое будущее, свою судьбу. В конце концов она все-таки заснула и проснулась так поздно, что Порпора, всегда рано встававший, уже успел уйти по своим делам. Она, как и накануне, застала Гайдну за чисткой платья своего нового хозяина и за уборкой.

— Ну, моя спящая красавица! — воскликнул юноша, заведя своего друга, — я умираю от скуки, тоски и, пожалуй, больше всего от страха, когда между собой и этим свирепым профессором не вижу вас — своего ангела-хранителя. Мне все кажется, что он проникнет в мои намерения, раскроет заговор и упрячет меня в свой старый клавесин, чтобы я там задохнулся от гармонического удушья. У меня на голове волосы дыбом становятся от твоего Порпора, и я никак не могу разубедить себя, что это не старый итальянский чёрт! Ведь уверяют же, что дьявол той страны гораздо злее и хитрее нашего.

— Успокойся, друг мой, — ответила Консуэло, — наш хозяин только несчастлив. Он незлой человек. Начнем с того, что постараемся дать ему хотя бы немного счастья, и на наших глазах он смягчится и станет прежним.



Я помню, каким сердечным и жизнерадостным он был в годы моего детства. Его остроты и шутки даже цитировались, но тогда ведь у него был успех, были друзья, были надежды. Если бы ты знал его в то время, когда в театре Сан-Мозе шла его опера «Полифем»! Он брал меня с собой и совал куда-нибудь за кулисы, откуда я могла видеть только спины статистов и голову великана. Как все это казалось мне и страшно, и красиво из моего уголка! Сидя на корточках за картонной скалой или взобравшись на лестницу, с которой зажигают лампы, я едва дышала и невольно, подражая актерам, проделывала головой и ручонками все их жесты, все их движения. А когда маэстро вызывали на сцену и крики публики в партере заставляли его по семь раз проходить перед занавесом, вдоль рампы, он мне казался богом, до того в эти минуты он был прекрасен, горд и радостен. Увы! Он не так еще стар, а как он изменился, как удручен! Давай, Беппо, приниматься за работу; пусть, вернувшись, он застанет свою убогую квартиру в более привлекательном виде, чем ее оставил. Начну с осмотра его тряпья, чтоб удостовериться, чего ему не хватает.

— Долго пришлось бы перечислять, чего ему не хватает, а что у него имеется, мигом увидишь, — ответил Йозеф. — Беднее и поношеннее, чем у него, только моя собственная одежда.

— В таком случае я позабочусь и о твоей одежде; я твоя должница, Йозеф: всю дорогу ты и одевал и кормил меня. Но сперва подумаем о Порпора. Открой мне этот шкаф. Как! Всего один-единственный костюм — тот, в котором он был вчера у посланника?

— Увы, да! Коричневый костюм со стальными пуговицами, к тому же не особенно новый. Другой костюм до того изношен и порван, что на него больно смотреть. Он надел его, уходя. Что же касается халата, сомневаюсь, чтоб он вообще когда-нибудь существовал: я его тщетно ищу вот уже целый час.

Консуэло и Йозеф стали всюду рыться и наконец убедились, что халат действительно существовал лишь в их воображении так же, как и пальто, и муфта. Сорочек оказалось всего три, причем все в лохмотьях. Манжеты совсем разваливались, и в таком же приблизительно виде было все остальное.

— Йозеф, — сказала Консуэло, — вот чудесное кольцо, подаренное мне вчера в уплату за мое пение. Я не хочу его продавать, чтоб этим не привлекать к себе внимания: люди, подарившие его мне, могли бы, пожалуй, увидеть в этом алчность. Но я могу его заложить и получить под него нужные нам деньги. Келлер честен и умен, он сможет оценить это драгоценное кольцо и, наверное, знает ростовщика, который даст мне под него порядочную сумму. Ступай же и скорее возвращайся.

— За этим дело не станет, — ответил Йозеф. — В доме Келлера живет еврей, некто вроде ювелира. Будучи доверенным лицом в подобных секретных делах у многих знатных дам, он через какой-нибудь час устроит, чтоб вы получили денежки. Только слышите, Консуэло, мне лично ничего не надо. Вам, чей наряд только что попутешествовал на моей спине, вам самой очень

нужно приодеться. Завтра, а быть может, еще сегодня вечером, вам придется появиться перед обществом, но, конечно, в платье, менее потертом, чем это.

— Наши счета с тобой мы сведем позднее и так, как я захочу, Беппо. Приняв твои услуги, я имею право требовать, чтоб ты не отказывался от моих. Ну, теперь беги скорее к Келлеру!

Через час Гайдн действительно вернулся с Келлером и с тысячей пятьюстами флоринов. Консуэло объяснила Келлеру, что ей было нужно; тот вышел и вскоре привел своего приятеля портного, честного и проворного малого, который, сняв мерку с костюма Порпора и других вещей его гардероба, пообещал через два дня доставить два новых полных костюма, хороший, стеганный на вате халат и даже белье и другие необходимые для туалета принадлежности, которые он взялся заказать добросовестным мастерицам.

— Теперь, — сказала Консуэло Келлеру, когда портной ушел, — я требую полнейшей тайны во всем этом. Учитель мой столь же горд, сколь и беден, и несомненно выбросил бы за окно все мои жалкие дары, заподозри он только, что они идут от меня.

— Как же вы умудритесь, синьора, — заметил Йозеф, — заставить его облечься в новый костюм и покинуть старый так, чтоб он этого не заметил?

— О! Я знаю его прекрасно и ручаюсь вам, что он этого не заметит. Я уж сумею за это взяться.

— А теперь, синьора, не подумаете ли вы также о себе самой? — снова заговорил Йозеф, который, за исключением того времени, когда они оставались с глазу на глаз, имел хорошее обыкновение говорить со своим другом очень церемонно, чтоб не дать ложного представления об их дружбе. — Вы почти ничего не привезли с собой из Богемии; к тому же ваши наряды сшиты не по здешней моде.

— Я было совсем и забыла об этом важном деле. Нужно, чтобы милый господин Келлер стал моим советником и руководителем.

— Охотно! — ответил Келлер. — Я в этом кое-что смыслю, и если у вас не будет туалета в самом изысканном вкусе, вы можете сказать мне, что я невежда и хвастун.

— Вполне полагаюсь на вас, милый мой Келлер; я хочу только вообще предупредить вас, что люблю простоту и что вещи, бросающиеся в глаза, а также яркие цвета не идут ни к моей обычной бледности, ни к моим скромным вкусам.

— Вы меня обижаете, синьора, предполагая, что я нуждаюсь в таких указаниях. Разве, благодаря своему ремеслу, я не умею подбирать цвета к лицам и разве в вашем лице я не вижу отражения вашего характера? Будьте спокойны, вы останетесь довольны мною и вскоре сможете появиться при дворе, если вам это заблагорассудится, оставаясь по-прежнему и скромной и простой. Сделать человека красивее, не меняя его, — вот в чем искусство парикмахера и портного.

— Еще одно слово на ушко, дорогой господин Келлер, — проговорила Консуэло, отводя парикмахера подальше от Йозефа. — Вы также оденете

заново, с головы до ног, и господина Гайдна, а на остающиеся деньги преподнесете от моего имени вашей дочери красивое шелковое подвенечное платье на свадьбу. Надеюсь, что она не за горами, так как если я буду пользоваться здесь успехом, то смогу быть полезной нашему с вами другу и помочь ему стать известным. У него талант, и большой талант, будьте в этом уверены.

— Так действительно у него есть талант, синьора? Счастлив это слышать от вас. Я всегда подозревал это. Да что я говорю? Я был убежден в этом с самого первого дня, когда заметил его маленьким певчим в школе.

— Это благородный юноша, — продолжала Консуэло, — и вы будете вознаграждены его благодарностью и верностью за все, что для него сделали. Я ведь знаю, Келлер, что вы тоже человек достойный, у вас благородное сердце... А теперь, скажите нам, — прибавила она, приближаясь к Келлером к Йозефу, — сделали ли вы то, что было условлено между нами относительно покровителей Йозефа? Идея была ваша, — привели ли вы ее в исполнение?

— Ну, конечно, синьора! — ответил Келлер, — Сказать и сделать — одно и то же для вашего покорного слуги. Отправляясь сегодня утром, чтоб привести в порядок своих клиентов, я предупредил сначала господина венецианского посланника (я не имею чести лично причесывать его, но завиваю его секретаря), затем я предупредил господина аббата Метастазию, которого брею каждое утро, и девицу Марианну Мартинес, его воспитанницу, голова которой тоже в моих руках. Она так же, как и он, живет в моем доме... То есть я живу в их доме, ну, да это, впрочем, все равно. Напоследок я проник к двум-трем другим особам, знающим тоже Йозефа в лицо и с которыми он рискует встретиться у маэстро Порпора. К тем же из них, которые не были моими клиентами, я являлся под каким-нибудь предлогом; например, говорил так: «Я слышал, что вы, госпожа баронесса, посылали поискать у моих сотоварищей настоящего медвежьего сала для волос, и я поспешил принести вам такого сала, за которое ручаюсь. Предлагаю его знатым лицам бесплатно, как образец, с тем чтоб они стали моими клиентами, если только будут довольны этим снадобьем». Или в таком роде: «Вот молитвенник, найденный в прошлое воскресенье в соборе святого Стефана, а так как я причесываю "собор" (то есть, вернее, "школу" при соборе), то мне поручили спросить ваше сиятельство, не ваша ли это книга». То была старая, ничего не стоящая книга в кожаном переплете, с вытисненным на нем гербом. Взял я ее на скамье каноника, зная прекрасно, что никто не станет ее разыскивать... Наконец, когда мне удавалось под тем или иным предлогом заставить слушать себя, я начинал болтать с развязностью и остроумием, которое прощают людям нашей профессии. «Мне, например, — говорил я, — многу приходилось слышать о вашем сиятельстве от одного из моих друзей, искусного музыканта — Йозефа Гайдна. Вот это и дало мне смелость явиться в высокопочтенный дом вашего сиятельства». «Как же он поживает, маленький Йозеф? — спрашивали меня. — Пленительный талант, юноша многообещающий». «А в самом деле! — отзывался я, в восторге оттого, что мы уже перешли прямо к делу, — так вас, ваше сиятель-

ство, должно очень позабавить то, что с ним сейчас происходит; удивительная вещь, и не без пользы для него». «А что же с ним происходит? Я ничего об этом не знаю».

«Да трудно придумать что-нибудь более комичное и более интересное: он сделался лакеем». «Как! Лакеем! Фи! Какое унижение! Какое несчастье для такого таланта! Он, значит, в ужасном положении? Надо ему помочь». «Дело не в том, ваше сиятельство, — отвечал я, — любовь к искусству заставила его на это решиться. Он хотел во что бы то ни стало брать уроки у знаменитого маэстро Порпора...» «Ах! Да! Понимаю: Порпора отказался выслушать его и допустить к себе. Гениальный этот человек очень капризен и очень угрюм». «Это великий человек с великодушным сердцем, — ответил я, согласно желанию синьоры Консуэло, которая не хочет, чтоб во всей этой истории ее учитель был предметом насмешек и порицания. — Будьте уверены, — прибавил я, — что он скоро раскусит способности юного Гайдна и позаботится о нем; но чтобы не рассердить этого старого меланхолика и пробраться к нему, не раздражая его, Йозеф не нашел ничего более остроумного, как поступить к нему лакеем и притвориться, что он ровно ничего не смыслит в музыке». «Идея — трогательная, прелестная, — отвечали мне в полном умилении, — это героизм настоящего артиста; но надо, чтоб он поторопился заслужить благосклонность Порпора, прежде чем его узнают и скажут маэстро, что он уже замечательный артист, так как ведь молодого Гайдна любят и ему покровительствуют несколько лиц, как раз посещающих этого Порпора». «Эти лица, — сказал я вкрадчивым тоном, — слишком добры, слишком великодушны, чтоб не сохранить маленькой тайны Йозефа, пока это будет необходимо; они притворятся, будто не знают его, и поддержат к нему доверие Порпора». «О! — восклицали на это, — уж, конечно, не я предам славного, искусного музыканта Йозефа! Вы можете от моего имени заверить его в этом, и я прикажу своим слугам ни в коем случае не проговориться в присутствии маэстро». Тут меня отпускали либо с подарком, либо с заказом на медвежье сало, а что касается господина секретаря посольства, он чрезвычайно заинтересовался этим приключением и обещал мне угостить им за завтраком самого господина посланника Корнера, который особенно расположен к Йозефу, дабы господин посланник был настороже с Порпора. Моя дипломатическая миссия закончена. Довольны ли вы, синьора?

— Будь я королевой, немедленно назначила бы вас посланником, — ответила Консуэло. — Но я вижу на улице возвращающегося хозяина. Бегите, милый Келлер, чтоб он вас не заметил.

— А зачем мне бежать, синьора? Я примусь за вашу прическу, и подумают, что вы послали своего лакея Йозефа за первым встречным парикмахером.

— Он во сто раз умнее нас с вами, — сказала Консуэло Йозефу и предоставила свои черные кудри ловким рукам Келлера, в то время как Йозеф, надев фартук, снова вооружился метелкой, а Порпора тяжело поднимался по лестнице, напевая музыкальную фразу из своей будущей оперы...

LXXXVI

Так как Порпора по природе был очень рассеян, то, целуя в лоб свою присмную дочь, он даже не заметил Келлера, державшего в руках ее волосы, и принялся искать среди своих нот фразу, вертевшуюся в его голове. Только увидев свои бумаги, обыкновенно разбросанные по клавикордам в невообразимом беспорядке, а теперь сложенные в симметрические стопы, он вышел из своего озабоченного состояния и закричал:

— Несчастный дурак! Он позволил себе прикоснуться к моим манускриптам. Вот они лакеи! Валят все в кучу и думают, что убирают. Очень нужно было мне брать лакея, честное слово! Начались мои мученья!

— Простите ему, маэстро, — вмешалась Консуэло, — ваши ноты были в таком хаотичном состоянии...

— Я ориентировался в этом хаосе. Мог встать среди ночи и впотьмах ошупью найти любой отрывок из своей оперы. А теперь я ничего не знаю, я потерянный человек, месяц пройдет, прежде чем я что-либо смогу найти!

— Нет, маэстро, вы все сейчас же найдете. Это, кстати сказать, вина моя, и хотя страницы и не пронумерованы, но мне кажется, что я положила каждый листок на свое место. Взгляните-ка! Я уверена, что вам удобнее будет читать с тетради, сделанной мною из них, чем со всех этих отдельных листков, которые каждый порыв ветра может унести в окно.

— Порыв ветра! Не принимаешь ли ты мою комнату за фюзинские лагуны?

— Ну, если не порыв ветра, так взмах метелки или взмах веника.

— А зачем ему было чистить и мести комнату? Я в ней живу две недели и никому не позволял войти в нее.

«Я-то прекрасно это заметил», — подумал про себя Йозеф.

— Ну, маэстро, надо, чтоб вы мне разрешили изменить этот обычай. Вредно спать в комнате, которая не проветривается и не убирается ежедневно. Я беру на себя каждый день методически восстанавливать беспорядок, который вам по душе, после того как Беппо подметет и уберет все.

— Беппо! Беппо! Что это такое? Я не знаю никакого Беппо!

— Беппо — это он, — сказала Консуэло, указывая на Йозефа. — У него такое неблагозвучное имя, что оно ежеминутно резало бы вам ухо. Я дала ему первое, пришедшее мне в голову венецианское имя. Беппо — это хорошо, коротко и даже поется.

— Как хочешь! — ответил начавший уже смягчаться Порпора, перелистывая свою оперу и находя ее в полном порядке, сшитой в одну тетрадь.

— Согласитесь, маэстро, — сказала Консуэло, видя, что он улыбается, — так ведь удобнее?

— А! Ты всегда права! — возразил маэстро. — Всю жизнь будешь упрямой.



— Завтракали ли вы, маэстро? — спросила Консуэло, которой Келлер только что вернул свободу.

— А сама ты завтракала? — ответил вопросом Порпора, нетерпеливо и вместе с тем заботливо.

— Я завтракала. А вы, маэстро?

— А этот мальчик, этот... Беппо, он ел что-нибудь?

— Он позавтракал, а вы, маэстро?

— Вы, значит, здесь нашли что перекусить. Я уж не помню, были ли у меня какие-нибудь запасы.

— Мы отлично позавтракали, а вы, маэстро?

— «А вы, маэстро»! «А вы, маэстро»! Да убирайся ты к черту с твоими вопросами! Что тебе до этого?

— Маэстро, ты не завтракал! — проговорила Консуэло, подчас позволявшая себе с венецианской фамильярностью говорить Порпора «ты».

— Ах! Я вижу, что дьявол вселился в мой дом. Она не оставит меня в покое! Ну, иди и спой мне эту фразу; внимательно, прошу тебя.

Консуэло подошла к клавишину и пропела требуемую фразу, в то время как Келлер, ярый любитель музыки, стоял на другом конце комнаты, полуоткрыв рот и с гребнем в руках. Маэстро, недовольный своей фразой, заставил Консуэло повторить ее раз тридцать, требуя, чтобы она делала ударения то на одних нотах, то на других, и все добиваясь какого-то оттенка с упорством, которое могло сравниться только с терпением и покорностью Консуэло. В это время Йозеф по данному ею знаку пошел за шоколадом, который она сама приготовила, пока Келлер уходил по ее поручениям. Беппо принес шоколад и, угадав, чего хотела Консуэло, тихонько поставил его на пюпитр, не привлекая внимания учителя, который сейчас же машинально взял его, налил себе в чашку и выпил с большим аппетитом. Вторая чашка была принесена и выпита таким же образом, еще подкрепленная хлебом с маслом. Консуэло, любившая подражать и заметившая, с каким удовольствием он уплетает, сказала ему:

— Я прекрасно знала, маэстро, что ты не завтракал.

— Правда, — ответил он спокойным тоном. — Кажется, просто забыл. Со мной это часто случается, когда я сочиняю, и замечаю я это уже днем, чувствуя в желудке судороги и спазмы.

— И ты тогда пьешь водку, маэстро?

— Кто сказал тебе это, дурочка?

— Я нашла бутылку.

— Что тебе до этого? Не запретишь же ты мне водку!

— Да, запрещу! Ты не пил в Венеции и хорошо себя чувствовал.

— Ты права, — с грустью произнес Порпора. — Там все казалось мне так ужасно, думалось, что здесь пойдет лучше. Между тем все идет для меня хуже и хуже — и положение, и здоровье, и идеи... Все... — и он закрыл лицо руками.

— Хочешь, я скажу тебе, почему тебе так трудно здесь работать? — заговорила Консуэло, которой хотелось как-нибудь вывести учителя из его пода-

вленного состояния духа, — да потому что у тебя здесь нет твоего хорошего кофе по-венециански, дающего столько сил и веселья. Ты хочешь возбуждать себя по немецкому способу пивом и настойками, а тебе это не подходит.

— Еще раз ты права; чудесный мой кофе по-венециански! О! Это был неиссякаемый источник остроумных слов и великих идей! Гений и вдохновение живительной теплотой разливались по моим венам. Все, что пьешь здесь, либо наводит тоску, либо делает тебя безумным.

— Ну, что ж, маэстро, пей свой кофе!

— Здесь? Кофе? Не хочу: с ним слишком много хлопот. Нужны огонь, прислуга, посуда, которую моют, передвигают, разбивают с резким грохотом, когда ты во власти какой-нибудь гармоничной комбинации. Нет! Не надо всего этого. Бутылка моя на полу у меня между ногами; это и удобнее и скорее.

— Но и это тоже бьется. Я сегодня утром ее разбила, желая поставить в шкаф.

— Как! Разбила мою бутылку! Уж не знаю, уродец ты этакий, почему только я сейчас не сломаю палку о твою спину!

— Ну да! Вы мне говорите это уже целых пятнадцать лет и ни разу пока не дали даже щелчка, — совсем не боюсь я!

— Болтушка, будешь ли ты петь? Освободишь ли ты меня от этой проклятой фразы? Бьюсь об заклад, что до сих пор ты еще не знаешь ее, так ты рассеянна сегодня утром.

— Сейчас убедитесь, знаю ли я ее на память, — сказала Консуэло, быстро захлопывая тетрадь.

И она спела фразу так, как сама понимала ее, то есть совсем иначе, чем это было у Порпора. Хотя она и угадала с первого раза, что он запутался в своих замыслах и в порядке работы извратил основную мысль, но, зная характер своего учителя, она не позволила себе дать ему совет: из духа противоречия он отверг бы его. Консуэло, однако, была убеждена, что если пропеть фразу по-своему, как бы с ошибкой, это произведет на него впечатление.

Не успел он прослушать ее, как вскочил со стула, хлопая в ладоши и крича:

— Вот оно! Вот оно! Вот то, что я хотел и чего никак не мог добиться. Как, чёрт возьми, тебе это пришло в голову?

— Разве это не то, что вы написали? Или это случайность? Да нет, это же ваша фраза.

— Нет! Твоя, плутовка! — воскликнул Порпора, который был сама искренность и, несмотря на свою болезненную, безмерную любовь к славе, никогда бы ничего не приукрасил из тщеславия, — это ты ее нашла! Ну, повтори мне ее, она прекрасна и я воспользуюсь ею.

Консуэло пропела несколько раз, и Порпора записал фразу под ее диктовку. Тут он прижал ученицу к своему сердцу и воскликнул:

— Ты дьявол! Я всегда думал, что ты дьявол!

— Добрый дьявол, поверьте мне, маэстро! — ответила, улыбаясь, Консуэло.

Порпора, в восторге от того, что после целого утра бесплодных волнений и музыкальных мук фраза, наконец, нашлась, стал машинально шарить на полу,

стараясь нащупать горлышко своей бутылки. Не найдя ее, он принялся искать на пюпитре и по рассеянности хлебнул из стоявшей там чашки. Это был чудесный кофе, искусно и терпеливо приготовленный для него Консуэло одновременно с шоколадом, который Йозеф, по новому знаку своего друга, только что принес совсем горячим.

— О нектар богов! О друг музыкантов! — воскликнул Порпора, наслаждаясь кофе. — Какой ангел, какая фея принесла тебя из Венеции под своим крылом?

— Это дьявол, — ответила Консуэло.

— Ты ангел и фея, бедное мое дитя, — ласково проговорил Порпора. — Я прекрасно вижу, что ты любишь меня, что ты заботишься обо мне, что ты хочешь сделать меня счастливым. Даже этот бедный мальчик, и тот интересуется моей судьбой, — прибавил он, заметив Йозефа, который, стоя на пороге передней, смотрел на него влажными, блестящими глазами. — Ах! Бедные мои дети, вы хотите смягчить очень уж плачевную жизнь. Безрассудные! Вы сами не знаете, что делаете! Я обречен на отчаяние, и несколько дней симпатии и благосостояния еще более заставят меня почувствовать ужас моей доли, когда эти чудные дни улетят.

— Я никогда не покину тебя, всегда буду твоей дочерью и слугой! — воскликнула Консуэло, обнимая его за шею.

Порпора опустил свою плешивую голову на ноты и разрыдался. Консуэло и Йозеф тоже плакали, а Келлер, которому страсть к музыке помешала уйти и который, чтоб объяснить свое присутствие, занимался в передней приведением в порядок парика хозяина, увидев через полуоткрытую дверь эту раздирающую душу картину скорби маэстро, дочерней преданности Консуэло и захватившего Йозефа восторженного чувства к знаменитому старцу, выронил из рук гребень и, приняв в благоговейном умилении парик Порпора за свой носовой платок, поднес его к глазам.

В продолжение нескольких дней Консуэло из-за простуды принуждена была сидеть дома. Во все время своего длинного и полного приключений путешествия она не боялась перемены погоды, капризов осени, то знойной, то дождливой и холодной, — в зависимости от местности, по которой они проходили. Легко одетая, в соломенной шляпе, не имея ни плаща, ни смены одежды, когда ей случалось попадать под дождь, она тем не менее ни разу даже не охрипла. Но едва успела она засесть в темную, сырую, плохо проветриваемую квартиру Порпора, как холод и недомогание ослабили ее энергию и повлияли на горло. Помеха эта очень раздражала Порпора. Он знал, что его ученице, для того чтобы получить ангажемент в итальянскую оперу, надо было торопиться, так как госпожа Тези, раньше стремившаяся ехать в Дрезден, казалось, теперь начала колебаться, прельщенная настойчивыми просьбами Каффариэлло и блестящими предложениями Гольцбауэра, желавшего привлечь на императорскую сцену такую знаменитую певицу. С другой стороны, Корилла, лежа еще в постели из-за послеродовых осложнений, силилась с помощью

друзей, найденных в Вене, склонить на свою сторону директора и ручалась, что в случае надобности сможет дебютировать уже через неделю. Порпора жаждал, чтоб Консуэло получила ангажемент и ради нее самой и ради успеха своей оперы, надеясь, что проведет ее вместе с ученицей.

Сама же Консуэло не знала, на что ей решиться. Взять ангажемент значило бы отдалить минуту свидания с Альбертом, значило внести ужас и смятение в семью Рудольштадтов, которые, конечно, не ожидали, что она снова появится на сцене. С их точки зрения, это было бы равносильно отказу от чести войти в их семью, а для молодого графа это означало бы, что она предпочитает славу и свободу, а не его. С другой стороны, отказавшись от ангажемента, она погубила бы последние надежды Порпора, проявив, в свою очередь, такую же неблагодарность, которая отравила бы ему жизнь, внесла бы в нее отчаяние — словом, явилась бы для учителя последним ударом кинжала.

Консуэло, испуганная подобной альтернативой и видя, что, какое бы решение она ни выбрала, ей придется нанести кому-то смертельный удар, впала в мрачную тоску. Здоровый организм спас ее от серьезного заболевания. Но в эти дни мук и ужаса Консуэло, охваченная лихорадочной дрожью и тягостной слабостью, то сидя на корточках у жалкого огня, то бродя из одной комнаты в другую в хлопотах по хозяйству, жаждала тяжелой болезни в надежде, что та избавит ее от того положения, в какое она попала.

Характер Порпора, на время было прояснившийся, снова стал мрачным, раздражительным, несправедливым, как только он увидел, что Консуэло, источник его надежд, поддержка его мужества, вдруг впала в уныние и нерешительность. Вместо того чтобы поддержать, ободрить девушку своим вдохновением, лаской, он относился к ней с болезненной нетерпеливостью, и это окончательно привело в ужас Консуэло. Старик, то безвольный, то буйный, то ласковый, то вспыльчивый, был снедаем тем самым сплином, которому вскоре суждено было погубить Жан-Жака Руссо; он повсюду видел врагов, преследователей, неблагодарных, не замечая, что его подозрительность, его вспыльчивость и несправедливость вызывают и отчасти служат причиной плохого к нему отношения тех людей, которых он обвинял. Те, кого он оскорблял, начинали с того, что принимали его за сумасшедшего, затем объясняли это его злостью и наконец решали, что надо избавиться от него, обезопасить себя или даже отомстить ему. Между низким раболепством и дикой мизантропией есть нечто среднее, чего Порпора не понимал, да так никогда и не понял.

Консуэло, сделав несколько напрасных усилий и видя, что, маэстро менее, чем когда-либо, склонен благословить ее на любовь и брак, безропотно покорила необходимости и уже не вызывала своего несчастного учителя на откровенные разговоры, которые только все более и более усиливали его предубеждения. Она перестала упоминать самое имя Альберта и готова была подписать всякий ангажемент, который будет угоден Порпора. Оставаясь наедине с Йозефом, она открывала ему свою душу, и это приносило ей облегчение.

— Какая странная у меня судьба, — часто говорила она ему. — небо дало мне способности, дало душу для искусства, потребность к свободе, любовь к гордой, целомудренной независимости, но в то же время, вместо того чтоб дать холодный, свирепый эгоизм, который обеспечивает артистам силу, необходимую, чтоб пробить себе дорогу сквозь опасности и соблазны жизни, эта небесная воля вложила в мою грудь нежное, чувствительное сердце, бьющееся только для других, живущее только любовью и самоотверженностью. И вот под влиянием двух противоположных сил жизнь моя изнашивается, и я никак не могу достичь цели. Если я рождена быть самоотверженной, пусть Бог отнимет у меня любовь к поэзии, увлечение искусством и инстинкт свободы, превращающие мое самоотвержение в пытку, в муку. Если же я рождена для искусства, для свободы, пусть он вынет из моего сердца жалость, дружбу, заботливость, страх перед страданиями, причиняемыми другим, — словом, все то, что будет всегда отравлять мой успех и мешать моей карьере.

— Если б мне было позволено дать тебе совет, моя бедная Консуэло, — отвечал Гайдн, — я сказал бы: «Слушай голос своей гениальности и заглуши голос сердца». Но теперь я хорошо узнал тебя и знаю, что ты не сможешь это сделать.

— Нет, не могу, и кажется, никогда и не смогу. Но подумай, как я несчастна! Подумай, насколько сложна моя странная, злосчастная судьба. Даже став на путь самоотвержения, я так увязла, и меня до того дергает в разные стороны, что я не могу идти туда, куда влечет меня сердце, не разбив этого сердца, жаждущего творить добро и правою и левою рукой. Посвяти я себя одному, я покидаю и обрекаю на гибель другого. На свете у меня имеется «приемный муж», женой которого я не могу быть, иначе как убив этим моего «приемного отца»; с другой стороны, исполняя дочерний долг, я убиваю своего супруга! В писании сказано: «Оставь отца своего и мать свою и следуй за мужем...» Но, на самом деле, я и не жена и не дочь. Закон не высказался относительно меня, и общество не позаботилось о моей судьбе. Надо, чтобы сердце мое само сделало выбор; но оно не во власти страстной любви, а при существующей альтернативе стремление к долгу и самопожертвованию не может руководить мною при выборе. Альберт и Порпора одинаково несчастны, одинаково им обоим угрожает сумасшествие или смерть. Я одинаково необходима как одному, так и другому. Надо пожертвовать кем-либо из двух...

— А зачем? Выйди вы замуж за графа, почему бы Порпора не жить подле вас? Таким образом вы вырвали бы его из бедности, воскресили своими заботами и сразу проявили бы по отношению к обоим свое самопожертвование.

— О! Если б это было возможно! Клянусь тебе, Йозеф, я отказалась бы и от искусства и от свободы; но ты не знаешь Порпора, — он жаждет славы, а не благосостояния и беспечной жизни. Он живет в нищете, не замечая этого, страдает от нее, не зная, откуда идет это страдание. К тому же, постоянно мечтая о триумфах и поклонении, он не смог бы снизойти до того, чтоб принимать от кого бы то ни было сострадание. Поверь мне, его бедственное положение в большой степени является следствием халатности и гордости. Скажи



он только слово, и у него найдутся друзья, которые придут ему на помощь. Но не говоря о том, что он никогда не обращал внимания, полон или пуст его карман (ты прекрасно видел, что это относится и к его желудку), он предпочел бы, запершись в комнате, умереть от голода, чем пойти за милостыней в виде обеда к своему лучшему другу. Ему казалось бы унижением музыки, если б кто-нибудь мог заподозрить, что он, Порпора, нуждается в чем-либо, кроме своей гениальности, клавирина и пера. Вот почему посланник и его возлюбленная, которые так любят и почитают маэстро, не подозревают даже о его нужде. Видя, что старик живет в небольшой неряшливой комнате, они думают, что он поклонник полумрака и беспорядка. Не сам ли он говорит им, что не смог бы сочинять в другой обстановке? Я же знаю нечто совсем иное. Я видела, как он в Венеции влезал на крыши, ища вдохновения в небесах и шуме моря. Принимая его в неряшливом костюме, облезлом парике, продырявленных башмаках, считают, что оказывают ему любезность. «Он любит неряшливость, — говорят они, — это слабость стариков и артистов. Его лохмотья ему милы, а в новых башмаках, пожалуй, он и ходить не сумел бы». Порпора это подтверждает, а в свои детские годы я видела его чистым, изысканно одетым, всегда надушенным, выбритым, кокетливо потряхивающим над органом и клавирином своими кружевными манжетами. Но дело в том, что тогда он мог быть таким, не будучи никому обязанным. Никогда Порпора не согласился бы жить ничего не делая, в неизвестности, в глубине Богемии, на иждивении своих друзей. Он не выжил бы и трех месяцев, не начав проклинать и ругать всех, воображая, что существует заговор против его жизни и что враги заключили его сюда, чтобы помешать ему издавать и ставить свои произведения. И он, отряхнув прах от ног своих, сбежал бы в одно прекрасное утро в свою мансарду, к своему изъеденному крысами клавирину, к своей пагубной бутылке и к драгоценным манускриптам.

— А вы не предвидите возможности привезти вашего графа Альберта в Вену, или в Венецию, или в Дрезден, или в Прагу, — словом, в какой-нибудь музыкальный город? Будучи богатыми, вы всюду можете поселиться, окружив себя музыкантами, заниматься искусством и предоставить тщеславию Порпора свободу действий, не переставая заботиться о нем.

— После того, что я рассказала тебе о характере и здоровье Альберта, как можешь ты задавать мне подобный вопрос? Он, который не в состоянии выносить безучастного лица, разве он будет в силах сталкиваться с этой толпой злых и глупых людей, называемой светом? И с какой иронией, с каким отвращением, с каким презрением отнесся бы свет к этому святому фанатику, ничего не понимающему ни в его законах, ни в его нравах, ни в его привычках. Все это так же рискованно испробовать над Альбертом, как то, что я стараюсь теперь делать, стремясь, чтоб он позабыл меня.

— Однако будьте уверены, что все беды покажутся ему более легкими, чем разлука с вами. Если Альберт любит вас по-настоящему, он все перенесет. А если он не любит настолько, чтоб все вынести и на все согласиться, он вас забудет.

— Вот почему я жду и ничего не решаю. Подбадривай меня, Беппо, и оставайся подле меня, чтоб у меня было хоть одно сердце, перед которым я могла бы излить свою муку, с которым могла бы вместе цепляться за надежду.

— О! Сестрица! Будь спокойна! — воскликнул Йозеф. — Если мне дано принести тебе хоть маленькое облегчение, я безропотно буду терпеть все вспышки Порпора; готов даже выносить его побои, раз это может отвлечь его от желания мучить тебя и огорчать.

Ведя подобные разговоры с Йозефом, Консуэло не переставала работать, то готовя для всех пищу, то чиня тряпье Порпора. Она добавила необходимую для маэстро мебель, внося незаметно одну вещь за другой. Прекрасное кресло, очень широкое и хорошо набитое волосом, заменило соломенный стул, на котором он давал отдых своим старческим, одряхлевшим костям.

Сладко поспав в нем после обеда, он наморщил брови и удивленно спросил, откуда взялось такое хорошее кресло.

— Хозяйка прислала его сюда; старое это кресло мешало ей, и я согласилась поставить его в угол, пока оно не понадобится.

Консуэло обновила также и тюфяки учителя, но он не сделал никаких замечаний относительно удобства своей кровати, кроме одного, сказав, что последние ночи он стал гораздо лучше спать. Консуэло ответила, что это следует приписать кофе и воздержанию от водки. Однажды утром Порпора, надев превосходный халат, с озабоченным видом спросил Йозефа, где он его разыскал. Йозеф, бывший в курсе дела, ответил, что, убирая старый сундук, нашел этот халат на дне его.

— А я думал, что я его не привез сюда, — заметил Порпора. — Однако ж это тот самый, что был у меня в Венеции, во всяком случае он того же цвета.

— А какой же еще? — вмешалась Консуэло, позаботившаяся о том, чтобы цвет нового халата напоминал цвет покойного венецианского.

— Но он мне казался более поношенным, — сказал маэстро, осматривая свои локти.

— Еще бы, — снова заговорила Консуэло, — я вставила ему новые рукава.

— А из чего же?

— Из подкладки.

— Ах! Женщины умеют из всего извлечь пользу...

Когда был принесен новый костюм и Порпора доносил его два дня, то, хотя костюм этот и был одного цвета со старым, он удивился его новизне; особенно пуговицы, очень красивые, навели его на размышления.

— Это не мой костюм, — проворчал старик.

— Я велела Беппо снести его в чистку: ты вчера вечером наделал на нем пятен. Его выгладили, вот почему он тебе и кажется более новым.

— Говорю тебе, что это не мой костюм! — закричал, выходя из себя, маэстро. — Твой Беппо — дурак! Во время чистки мне его переменили.

— Его не могли переменивать, я сделала на нем метку.

— А эти пуговицы? Не хочешь ли ты убедить меня, что и они были?

— Это я заменила их, сама пришила. Старые были совсем изношены.

— Это твое воображение говорит, а они были еще очень хороши. Вот нелепость! Что я, Селадон какой-нибудь, чтоб так рядиться и платить за пуговицы, по крайней мере, двенадцать цехинов!

— Они и двенадцати флоринов не стоят, — возразила Консуэло, — купила я их по случаю.

— И это слишком много, — проворчал маэстро.

Все части его туалета были ему подсунуты таким же манером при помощи ловких обманов, а Консуэло и Йозеф хохотали при этом, как дети. Несколько вещей проскользнуло незаметно благодаря озабоченности Порпора; кружева и белье проникли тайком в его шкаф маленькими порциями, а когда он рассматривал их на себе с некоторым вниманием, Консуэло обыкновенно говорила, что это она так искусно все заштопала. Для большей правдоподобности она чинила у него на глазах кое-какие старые пожитки, а потом укладывала их вместе с другими вещами.

— Да что же это такое в самом деле! — воскликнул однажды Порпора, вырывая из ее рук жабо, которое она штопала. — Брось эту ерунду! Артистка не должна погрязать в домашнем хозяйстве, и я не желаю видеть тебя согнутой в три погибели с иглой в руках. Сейчас же спрячь, иначе я швырну все это в огонь. Не хочу также видеть, как ты стряпаешь у плиты и вдыхаешь дым. Или ты хочешь потерять голос? Хочешь стать судомойкой? Хочешь, чтоб я проклял себя?

— Не проклиняйте себя, — ответила Консуэло, — вещи ваши теперь в порядке, а голос мой восстановился.

— В добрый час! — ответил маэстро. — В таком случае ты завтра поешь у графини Годиц, вдовы маркграфа Байрейтского.

## LXXXVII

Маркграфиня Байрейтская, вдова маркграфа Георга-Вильгельма, урожденная княгиня Саксен-Вейсенфельд, а во втором браке графиня Годиц, была когда-то хороша, как ангел. Но с тех пор она так изменилась, что надо было очень всматриваться в ее лицо, чтобы найти следы былых прелестей. Она отличалась высоким ростом и, по-видимому, обладала когда-то хорошей фигурой. Чтобы сохранить ее, она убила нескольких детей, делая себе выкидыши. У нее было длинное лицо и длинный нос, который очень ее безобразил, так как она его отморозила и он приобрел весьма неприятный цвет, напоминающий бурак. Ее карие глаза, привыкшие повелевать, большие и с красивым разрезом, были, однако, такие унылые, что утратили свою прежнюю живость. За неимением настоящих бровей она носила накладные, очень густые и черные, как чернила. Рот ее, хотя большой, был красивой формы, с приятным выраже-

нием, зубы ровные, белые, как слоновая кость; кожа на лице, хотя и гладкая, отличалась желтовато-сероватым оттенком и некоторой дряблостью. Выглядела она добродушной, но несколько жеманной. Это была Лаиса<sup>1</sup> своего века. Нравилась она только своей наружностью, ума же в ней не было и тени.

Если, дорогой читатель, вы найдете, что портрет этот несколько жесток и циничен, не пеняйте на меня. Он слово в слово написан собственной рукой принцессы, известной своими несчастьями, своими семейными добродетелями, своей гордостью и злостью, принцессой Вильгельминой Прусской, сестрой Фридриха Великого и женой наследного принца Байрейтского, племянника нашей графини Годиц. У принцессы был самый злой язык из когда-либо порожденных королевской кровью, но вообще ее портреты написаны мастерски, и, читая их, трудно им не верить.

Когда Консуэло, причесанная Келлером и одетая благодаря его усердным заботам с элегантною простотой, была введена Порпора в салон маркграфини, оба они, чтобы не стеснять общество, поместились за стоявшим в углу клавесином. Порпора оказался настолько пунктуален, что в салоне еще никого не было и лакеи кончали зажигать свечи.

Маэстро стал пробовать клавесин, но не успел он взять несколько аккордов, как в салоне появилась чрезвычайно красивая дама и подошла к нему с приветливой грацией. Так как Порпора поклонился ей с большим почтением и назвал ее принцессой, то Консуэло приняла ее за маркграфиню и, согласно обычаю, поцеловала ей руку. Эта холодная бледная рука пожала руку девушки с сердечностью, редко встречаемой среди великих мира сего, и этим сразу заполонила сердце Консуэло. Принцесса казалась лет тридцати, фигура ее была изящна, но не совсем правильна: в ней замечалось даже некоторое искривление, — по-видимому, последствие тяжких физических страданий. Лицо ее выглядело удивительно красивым, но его бледность пугала, а глубокая скорбь, наложившая свою печать, заставила его преждевременно поблекнуть. Туалет ее был очень изящен, но прост и благопристоен до суровости. Все это прекрасное существо дышало добротой, грустью и робкой стыдливостью, а в голосе ее была какая-то кротость и нежность, тронувшие Консуэло.

Раньше чем юная певица имела время сообразить, что она ошиблась, появилась настоящая маркграфиня. Ей в то время было за пятьдесят, и если портрет, помещенный в начале этой главы и набросанный за десять лет перед тем, сильно утрирован, то этого никак нельзя было сказать в то время, когда ее увидела Консуэло. Даже при большой доброжелательности трудно было догадаться, что графиня Годиц была когда-то одной из красавиц Германии, хотя она и красилась и одевалась с умелым, очень изысканным кокетством. Формы ее расплылись вследствие зрелого возраста, но маркграфиня упорно продолжала не замечать этого и выставляла напоказ обнаженную грудь и плечи с гордостью античной статуи. Голова ее была убрана цветами, бриллиантами и перьями, как у молодой женщины, а наряд сверкал драгоценными камнями.

<sup>1</sup> *Лаиса* — греческая гетера из Коринфа, жившая в III в. до нашей эры.





— Мама, — проговорила принцесса,  
введшая в заблуждение Консуэло, — вот молодая особа,  
о которой нам говорил Порпора; она доставит нам удовольствие  
и даст возможность послушать чудную музыку его новой оперы.



— Мама, — проговорила принцесса, введшая в заблуждение Консуэло, — вот молодая особа, о которой нам говорил Порпора; она доставит нам удовольствие и даст возможность послушать чудную музыку его новой оперы.

— Но это еще не служит основанием, для того чтобы вы держали ее таким образом за руку, — ответила маркиграфиня, осматривая при этом Консуэло с головы до ног. — Ступайте, сударыня, и садитесь у клавесина! Рада вас видеть; вы нам споете, когда все общество будет в сборе. Маэстро Порпора, приветствую вас! Прошу меня извинить, если я не займусь вами: сейчас заметила, что кое-чего не хватает в моем туалете. Дочь моя, побеседуйте немного с маэстро Порпора, это человек большого таланта, которого я уважаю.

Проговорив это голосом более хриплым, чем у солдата, толстая маркиграфиня тяжеломерно повернулась и удалилась в свои покои.

Не успела она выйти, как принцесса, ее дочь, подошла к Консуэло и снова с деликатной, трогательной благосклонностью взяла ее за руку, как бы желая этим сказать, что она протестует против грубости матери. Затем она стала беседовать с Консуэло и Порпора, мило и просто выказывая им участие. Консуэло была тронута этим ласковым приемом еще больше, когда при появлении нескольких лиц она заметила в обращении принцессы холодность и сдержанность, застенчивую и в то же время гордую, от которой она, очевидно, отрешилась исключительно для маэстро и нее.

Когда салон был почти полон, вошел обедавший вне дома, парадно одетый граф Годиц и, словно посторонний, отправился поцеловать руку у своей благородной супруги, осведомившись о ее здоровье.

Маркиграфиня имела слабость считать себя особой нежного сложения. Она полулежала на кушетке, поминутно нюхая флакон с солями. Приветствовала и принимала она с видом, казавшимся ей томным, а в сущности пренебрежительным; словом, она была так бесконечно смешна, что Консуэло, сначала возмущенная ее грубостью, кончила тем, что в душе стала потешаться над нею и собиралась от души похохотать, описывая ее своему другу Беппо.

Принцесса подошла к клавесину и при каждом удобном случае, когда мать не глядела на нее, обращалась к Консуэло то с каким-нибудь замечанием, то с улыбкой. Благодаря этому Консуэло уловила маленькую интимную сценку, раскрывшую ей тайну семейных отношений. Граф Годиц подошел к падчерице, взял ее руку, поднес к губам и продержал ее так несколько секунд, очень выразительно при этом смотря на нее. Принцесса отдернула свою руку, сказав несколько холодных, учтивых слов. Граф пропустил их мимо ушей, но не спускал глаз с падчерицы.

— Ну что, мой прекрасный ангел, — проговорил он, — все так же грустна, все так же сурова, все так же недоступна? Можно подумать, что вы собираетесь идти в монастырь!

— Очень возможно, что этим я и кончу, — вполголоса ответила принцесса. — Светское общество не так вело себя по отношению ко мне, чтобы внушить мне большое влечение к его удовольствиям.

— Общество обожало бы вас, было бы у ваших ног, если бы только вы не стремились своей суровостью держать его на расстоянии. Что же касается монастыря, неужели в ваши годы и с вашей красотой вы могли бы примириться с его ужасами?

— В годы более веселые и с красотой, которой уже нет, — ответила она, — я выносила ужас более суровой неволи, разве вы это забыли? Однако, граф, прекратите разговор со мной: моя мать смотрит на вас.

Тотчас же граф, словно его выпихнуло пружиной, покинул свою падчерицу, подошел к Консуэло и с важностью поклонился ей. Потом, сказав ей несколько слов о музыке вообще, он открыл ноты, положенные Порпора на клавесин, и, притворившись, будто ищет какое-то место, по поводу которого хочет получить от нее объяснение, нагнулся над пюпитром и тихо проговорил:

— Вчера утром я видел дезертира, и жена его передала мне вашу записку. Я прошу красавицу Консуэло забыть некую встречу, а взамен ее молчания я забуду некоего Йозефа, только что замеченного мною в моей передней.

— Этот некий Йозеф — талантливый артист; ему недолго еще оставаться в передней, — ответила Консуэло, которая, только что узнав о ревности и супружеском иге, стала очень спокойно относиться к последствиям приключения в Пассау. — Он мой брат, мой товарищ, мой друг. Мне нечего краснеть за свои чувства к нему и нечего скрывать в этом отношении. Единственно о чем могу я молить ваше великодушное сиятельство, это быть немного снисходительным к моему голосу и оказать небольшое покровительство Йозефу в будущих его музыкальных дебютах.

— Моя поддержка Йозефу обеспечена, а вашим чудесным голосом вы уже привели меня в восторг. Но я льщу себя надеждой, что некая шутка с моей стороны никогда не была принята вами всерьез.

— Я никогда не была так тщеславна, господин граф, а к тому же знаю, что женщине не следует хвалиться, когда она становится предметом подобной шутки.

— Оставим это, синьора, — сказал граф, с которого вдовствующая маркграфиня не спускала глаз и которому не терпелось переменить собеседницу, чтоб не возбудить подозрений супруги, — надеюсь, что знаменитая Консуэло сумеет простить фривольность, допущенную мною в путешествии, а в будущем она может рассчитывать на уважение и преданность графа Годица.

Он положил ноты обратно на клавесин и пошел, улыбаясь с приторной любезностью, встречать особу, о которой доложили с большой торжественностью. То был маленький человек, которого можно было принять за перодетую женщину, до того он был румян, завит, разодет, мил и надушен. Это о нем Мария-Терезия говорила, что хотела бы оправить его в перстень; о нем же она сказала, что сделала из него дипломата, не имея возможности сделать что-либо лучше. То был всеильный первый министр Австрии, любимец и даже, как уверяли, возлюбленный императрицы — словом, то был не менее, как знаменитый Кауниц, государственный муж, который держал

в своей белой руке, украшенной многоцветными перстнями, все хитроумные нити европейской политики.

Он, казалось, с серьезным видом выслушивал так называемых серьезных людей, подходивших к нему потолковать о серьезных делах. Но вдруг он прервал свою речь на полуслове.

— Что вижу я там, у клавиесина? — спросил он графа Годица. — Не та ли это девочка, о которой мне говорили, любимица Порпора? Бедняга этот Порпора! Мне бы хотелось что-нибудь сделать для него, но он так требователен, так взбалмошен; все артисты или боятся, или ненавидят его. Когда заговоришь о нем, то словно показываешь голову Медузы. Одному он говорит, что тот поет фальшиво, другому, что его произведения никуда не годятся, третьему, что успехом он пользуется только благодаря интригам. И он хочет, чтоб с таким язычком его слушали и отдавали справедливость его таланту! Чёрт возьми! Не в лесной же глуши мы живем! Откровенность у нас не в моде, и с правдой далеко не уедешь. А девочка эта совсем недурна, мне нравятся такие лица. Она совсем юная, не правда ли? Говорят, что она пользовалась большим успехом в Венеции. Надо, чтоб Порпора привел ее завтра ко мне.

— Он хочет, чтобы вы дали ей возможность спеть в присутствии императрицы, — сказала принцесса, — и я надеюсь, что вы не откажете ему в этой милости. Я лично также прошу вас об этом.

— Нет ничего легче, как устроить, чтоб ее послушала императрица, и раз ваше высочество этого желает, я постараюсь поспособствовать этому. Но в театре есть некто более могущественный, чем императрица. Это госпожа Тези! И если б даже императрица взяла эту девушку под свое покровительство, я сомневаюсь, чтобы ангажемент был подписан без верховного одобрения Тези.

— Говорят, что вы ужасно балуете этих дам, господин граф, и не будь вы столь снисходительны, они не пользовались бы такой властью.

— Что поделаешь, принцесса! Каждый — хозяин в своем доме. Ее величество прекрасно понимает, что если б она вмешивалась в дела оперы, издавая свои указы, то там все пошло бы вкривь и вкось. А ее величество желает, чтоб опера шла хорошо и доставляла всем удовольствие; но возможно ли это осуществить, если у примадонны в день дебюта объявится насморк, а тенор, вместо того чтоб в сцене примирения броситься в объятия баса, даст ему пощечину! Довольно с нас и того, что мы ублажаем господина Каффариэлло. Мы счастливы с тех пор, как госпожа Тези и госпожа Гольцбауэр ладят между собой. Если нам бросят на театральные подмостки яблоко раздора, это окончательно смешает наши карты.

— Но третья женщина совершенно необходима, — заметил венецианский посланник, горячо покровительствовавший Порпора и его ученице, — и вот появляется дива...

— Если она дива, тем хуже для нее. Она возбудит ревность госпожи Тези, которая тоже дива и желает быть в единственном числе. Приведет она в бешенство и госпожу Гольцбауэр, также жаждущую быть дивой...



*То был всесильный первый министр Австрии...  
знаменитый Кауниц, — государственный муж,  
который держал в своей белой руке,  
украшенной многоцветными перстнями,  
все хитроумные нити европейской политики.*

— И которой далеко до этого, — вставил посланник.

— Но она очень хорошего происхождения. Эта особа из знатной семьи, — лукаво заметил господин Кауниц.

— Во всяком случае она не в состоянии взяться сразу за две роли. Надо же будет ей предоставить какому-нибудь меццо-сопрано исполнять в операх свои партии.

— У нас есть некая Корилла, предлагающая свои услуги, красивейшее существо в мире.

— Ваше сиятельство уже ее видели?

— В первый же день ее приезда. Но слышать ее не слышал: она была больна.

— Вы сейчас услышите вот эту и, не задумываясь, отдадите ей предпочтение.

— Очень возможно. И признаюсь даже вам, что ее лицо, менее красивое, чем у той, мне кажется более приятным. У нее очень кроткий и приличный вид, но бедное дитя, мое предпочтение ничего ей не даст! Ей надо понравиться госпоже Тези, не раздражая в то же время госпожу Гольцбауэр, а до сих пор, несмотря на нежнейшую дружбу этих двух дам все, что одобряла одна, энергично отвергала другая.

— Да, тяжелый кризис! Дело чрезвычайной важности! — проговорила несколько иронически принцесса, видя, какое значение придают эти два государственных мужа закулисным интригам, — на весах наша маленькая любимица и госпожа Корилла. Бьюсь об заклад, что господин Каффариэлло положит свою шпагу на одну из чашек весов.

Когда Консуэло спела, все в один голос заявили, что со времен госпожи Гассе не слышали ничего подобного, а господин фон-Кауниц, подойдя к ней, торжественно произнес:

— Сударыня, вы поете лучше госпожи Тези. Но да будет это сказано вам всеми нами по секрету, ибо, если подобное мнение перейдет через порог этого дома, вы погибли: вам в этом сезоне не дебютировать у нас. Будьте же осторожны, очень осторожны, — прибавил он, понижая голос и усаживаясь подле нее. — Придется вам преодолевать большие препятствия, и победительницей вы можете стать только благодаря ловкости.

Тут великий Кауниц, входя во все подробности театральных интриг и вводя Консуэло до мелочей во все тревожения труппы, прочел ей целый трактат дипломатической науки в применении к закулисному миру.

Консуэло слушала его, широко открыв от удивления свои большие глаза, и так как в течение своей речи он раз двадцать повторил «моя последняя опера», «опера, поставленная мной месяц тому назад», то по окончании его речи вообразила, что неверно расслышала его имя, когда о нем докладывали, и что лицо, столь посвященное в махинации театральной карьеры, должно быть, не кто иной, как директор оперного театра или модный маэстро. Благодаря этому она почувствовала себя с ним непринужденно и стала говорить, как с человеком своей профессии. Эта непринужденность сделала ее более наивной и более веселой, чем дозволило бы почтение, подобающее имени всесильного первого министра. Господин фон-Кауниц нашел ее прелестной. В течение целого часа он занимался исключительно ею. Маркграфиня была в большом негодовании от подобного нарушения приличий. Она ненавидела вольность больших дворов, привыкнув к церемонной торжественности малых. Но изображать маркграфиню у нее больше не было никакой возможности: она перестала ею быть. Императрица допускала ее к себе и даже обходилась с ней довольно благосклонно, так как маркграфиня отеклась от лютеранства и перешла в католичество. Таким лицемерным поступком можно было при



австрийском дворе заставить себе простить всякий неравный брак, даже всякое преступление. В этом отношении Мария-Терезия следовала примеру отца и матери, принимавших всех, кто желал избежать преследования и глумления в протестантской Германии, перейдя в лоно римской церкви. Но, будучи и принцессой и католичкой, маркграфиня ничего не значила в Вене, а господин фон-Кауниц был все.

Как только Консуэло пропела свою третью арию, Порпора, хорошо знакомый с этикетом, сделал ей знак, свернул ноты и вышел вместе с ней через маленькую боковую дверь, не беспокоив своим уходом благородных особ, соблаговоливших внимать ее божественному пению.

— Все идет как по маслу, — проговорил маэстро, потирая руки, когда они очутились на улице в сопровождении Йозефа, несшего факел, — Кауниц, старый дурак, знает толк в музыке; благодаря ему ты далеко пойдешь!

— А кто он такой, этот Кауниц? Я его не видела, — сказала Консуэло.

— Как ты не видела, путаная голова? Да ведь он с тобой говорил больше часа.

— Но это не тот же маленький господин в розовом жилете с серебром, наболтавший мне столько сплетен, что мне казалось, будто я слушаю старую капельдинершу?

— Это он самый. Но что же тут удивительного?

— А я нахожу это очень удивительным, — ответила Консуэло, — это совсем не соответствует тому представлению, которое у меня сложилось о государственных людях.

— Потому что ты не видишь, как движется государственная машина, а если б ты видела, ты нашла бы удивительным, что государственные люди могут быть иными, чем старыми сплетницами. Ну, не будем больше говорить об этом, и давай заниматься нашим ремеслом на маскараде, устроенном в здешнем мире.

— Увы! Маэстро, — задумчиво промолвила девушка, пересекая большую площадь у вала и направляясь к своему убогому жилищу. — я как раз спрашиваю себя, во что обращается наше ремесло среди этих масок, холодных или лживых.

— А во что ты хочешь, чтоб оно обратилось? — возразил Порпора своим резким прерывистым голосом. — Оно не может обратиться в то или другое: при счастливых условиях или при тяжелых, торжествующее или презираемое, оно всегда остается тем же — самым прекрасным, самым благородным ремеслом на земном шаре!

— О да! — сказала Консуэло, беря учителя под руку и замедляя его обычно торопливую походку. — Я понимаю, что величие и достоинство нашего искусства не могут быть ни унижены, ни возвышены из-за легкомысленных или безвкусовых капризов, которые управляют миром, но почему позволяем мы унижать свою личность, почему подвергаем мы себя презрению профанов или их поощрению, порой еще более унижительному? Раз искусство священо, не священны ли и мы, его жрецы и левиты? Почему не живем мы в своих мансардах, счастливые тем, что понимаем и умеем чувствовать музыку,

и зачем нам нужно бывать в их салонах, где нас слушают, перешептываясь, где нам аплодируют, думая о другом, и где стыдятся признать нас хоть на минуту людьми, после того как мы перестали фиглярничать, как скоморохи?

— Эх! Эх! — проговорил Порпора, останавливаясь и стуча палкой по мостовой, — что за глупое тщеславие, что за ложные идеи бродят у тебя нынче в голове! Что мы такое и зачем нам быть чем-нибудь другим, а не скоморохами? Они так зовут нас из презрения. А не все ли это равно, ведь мы скоморохи по склонности, по призванию, по воле неба, точно так же, как они вельможи по прихоти случая, по принуждению или по выбору дураков! Ну да! Скоморохи! А ведь не каждому это дано! Ну-ка, пусть попробуют, посмотрим, как они за это возьмутся, эти пигмеи, воображающие себя невесть чем! Пусть-ка маркиграфиня Байрейтская облечется в плащ трагической артистки, обует свои скверные толстые ножищи в котурны и сделает два-три шага на сцене — могу только вообразить, что за странную принцессу увидим мы перед собой! А что, ты думаешь, делала она при своем маленьком дворе в Эрлангене в те времена, когда воображала, что там царствует? Она изображала королеву и из кожи лезла, чтобы играть роль, которая была ей не по силам. Рождена она маркитанткой, а по странной случайности судьба сделала из нее высочество. И что же? Она заслужила тысячу свистков, изображая высочество навыворот. А тебя, глупое дитя, Бог сотворил королевой! Он возложил на твое чело венец красоты, разума и силы. Очутись ты среди народа свободного, разумного, чуткого (предполагая, что такой существует) — и ты королева, ибо стоит тебе появиться и спеть, чтобы доказать, что ты королева милостью Божьей! Но все это не так. Мир идет иначе! Он таков, каков есть; что с этим поделаешь? Знай: каприз, заблуждение и безумие управляют им. Разве можем мы это изменить? Большинство повелителей безобразно, бесчестно, глупо и невежественно. Дело обстоит так: нужно либо покончить с собой, либо приспособиться к этому положению вещей. Не имея возможности быть монархами, мы становимся артистами. И мы царствуем! Мы передаем язык небес, недоступный простым смертным, мы облакаемся в одежды царей и великих людей, мы выходим на театральную сцену, мы восседаем на бутафорском троне, мы разыгрываем комедию, мы скоморохи! Клянусь Богом, свет все это видит и ничего в этом не смыслит. Он не замечает, что мы настоящие владыки земли и что только наше царство истинное, в то время как их царство, их могущество, их деятельность, их величие — пародия, над которой смеются ангелы на небе и которую народы ненавидят и втихомолку проклинаят. Самые могущественные государи земли являются смотреть на нас, учиться в нашей школе и, в душе восхищаясь нами как образцами истинного величия, они стараются подражать нам, когда появляются потом перед своими подданными. Да, мир выворочен наизнанку: это прекрасно чувствуют те, кто им повелевают, и если они не вполне отдают себе отчет, если они не признаются в этом, то легко видеть по презрению их к нам и нашему ремеслу, что они чувствуют инстинктивную зависть к нашему действительному превосходству. О! Когда



— Эх! Эх! — проговорил Порпора, останавливаясь  
и стуча палкой по мостовой, — что за глупое тщеславие,  
что за ложные идеи бродят у тебя нынче в голове!



я бываю в театре, мне все становится ясно! Музыка отверзает мне глаза, и я вижу за рампой настоящий двор, настоящих героев, великие порывы, в то время как истинные скоморохи и жалкие комедианты с важностью восседают в ложах на бархатных креслах! Свет — комедия, вот что несомненно, и вот почему я только что говорил тебе: благородная дочь моя, пройдем с достоинством через этот жалкий маскарад, именуемый светом... Черт побери этого дурака! — закричал маэстро, отталкивая Йозефа, который, страстно желая услышать экзальтированную речь учителя, незаметно приблизился так, что толкнул его локтем. — Он наступает мне на ноги, заливая меня смолой своего факела! Пожалуй, подумаешь, что он понимает, о чем мы говорим, и хочет почтить нас своим одобрением!

— Иди справа от меня, Беппо, — сказала девушка, делая ему знак. — Ты своей неловкостью выводишь из себя маэстро.

Потом, обращаясь к Порпора, она сказала:

— Все, что вы говорите, друг мой, — благородный бред. Это ничего не поясняет мне, а опьянение гордостью не смягчает даже самой маленькой сердечной раны. Меня мало трогает то, что, родившись королевой, я не царствую. Чем больше я вижу великих мира сего, тем больше внушают они мне сожаления.

— Ну, не то ли я тебе говорил?

— Да, но не об этом я вас спрашивала. Они жаждут что-то изображать собой и властвовать. В этом их безумие и их ничтожество. Но мы, если мы выше их и лучше и умнее, зачем же противопоставляем мы свою гордость их гордости, свою царственность их царственности? Если мы обладаем достоинствами более значительными, если владеем сокровищами более завидными и более драгоценными, то к чему эта жалкая борьба, которую мы ведем с ними и которая, ставя нашу доблесть и наши силы в зависимость от их капризов, принижает нас до их уровня?

— Достоинство, святость искусства этого требуют, — воскликнул маэстро, — они сделали из сцены мира сражение и из нашей жизни мученичество. И вот мы должны сражаться, должны проливать кровь из всех наших пор, чтоб доказать им, умирая в муках и в то же время изнемогая от их свистков и презрения, что мы боги или, по меньшей мере, законные короли, а они — подлые смертные, наглые и низкие узурпаторы!

— О! Маэстро, как вы их ненавидите! — воскликнула удивленная Консуэло, дрожа от ужаса. — А между тем вы сгибаетесь перед ними, льстите им, щадите их и удаляетесь из салона через маленькую боковую дверь, почти-тельно подав им два или три блюда вашей гениальности.

— Да, да, — ответил маэстро, потирая руки с горьким смехом, — я насмехаюсь над ними, раскланиваюсь перед их бриллиантами и орденами, подавляю их двумя или тремя своими аккордами и поворачиваюсь к ним спиной, в восторге, что могу уйти, спеша избавиться от их глупых физиономий.

— Итак, — снова заговорила Консуэло, — значит, апостольская миссия искусства — это битва?

— Да, это битва: слава храброму!  
 — Что ж, это насмешка над дураками?  
 — Да, это насмешка: слава умному человеку, умеющему сделать ее кровавой.

— Что ж, это сконцентрированный гнев, непрерывное бешенство?  
 — Да, это и гнев, и бешенство: слава энергичному человеку, который поддерживает их в себе непрестанно и который никогда не прощает!

— И ничего больше?  
 — Ничего больше в этой жизни! Слава для истинного гения приходит только после смерти.

— Ничего больше в этой жизни? Уверен ли ты в этом, маэстро?  
 — Я уже сказал тебе!  
 — В таком случае это очень мало, — вздохнув, промолвила Консуэло и подняла глаза к звездам, блескующим на чистом глубоком небе.

— Как, очень мало? Ты смеешь говорить, жалкая душа, что это мало? — закричал Порпора, снова останавливаясь и с силой тряся руку ученицы, в то время как Йозеф от страха выронил свой факел.

— Да, мало, — спокойно и решительно ответила Консуэло. — Я уже говорила вам это в Венеции при очень для меня тяжелых и решительных обстоятельствах жизни. С тех пор я не переменяла своего мнения. Мое сердце не создано для борьбы, и оно не смогло бы выносить тяжесть ненависти и гнева. В душе моей нет уголка, где могли бы приютиться злопамятство и месть. Прочь, злые страсти! Подальше от меня, пламенные волнения! Если только, отдав вам свою душу, я смогу добиться славы и гениальности, то прощайте навсегда, гениальность и слава! Венчайте лаврами другие головы, воспламеняйте другие сердца! От меня вы не получите даже сожаления!

Йозеф ожидал, что Порпора разразится одной из своих вспышек, ужасных и в то же время комичных, вызываемых в нем длительным противоречием. Юноша уже схватил Консуэло за руку, чтоб отдернуть ее от учителя и предохранить от одного из тех яростных жестов, которыми он часто грозил ей, но которые, правда, никогда ничем не кончались... Кроме улыбки или слез. Но этот шквал пронесся, подобно другим. Порпора топнул ногой, глухо проворчал, как старый лев в клетке, сжал кулаки, в запальчивости подняв их к небу, потом сейчас же опустил руки, тяжело вздохнул, склонил голову на грудь и зашагал по направлению к дому, упорно храня молчание.

Отважное спокойствие Консуэло, ее стойкое прямодушие невольно внушили ему уважение. Он, быть может, с горечью задумался над своим поведением, но не сознался в этом; слишком он был стар, слишком была уязвлена, ожесточена его артистическая гордость, чтоб он мог измениться. И только когда Консуэло поцеловала его, пожелав спокойной ночи, он с глубокой грустью посмотрел на нее и проговорил упавшим голосом:

— Так, значит, все кончено! Ты больше не артистка, потому что маркграфиня Байрейтская — старая плутовка, а министр Кауниц — старая сплетница!



— Нет, маэстро, я этого вовсе не говорила, — ответила, смеясь, Консуэло, — я сумею весело отнестись к грубостям и смешным сторонам света; для этого мне не надо ни досады, ни ненависти, а довольно будет моей чистой совести и хорошего настроения духа. И теперь и всегда я буду артисткой. Я вижу другую цель, другое назначение искусства, чем соревнование гордости и мщение за унижение. У меня иная побудительная причина, и она будет меня поддерживать.

— Но какая же, какая? — закричал Порпора, ставя на стол в передней подсвечник, только что поданный ему Йозефом. — Хочу знать: какая?

— Моя побудительная причина — заставить людей понять искусство, полюбить его, не возбуждая страха и ненависти к личности артиста.

Порпора пожал плечами.

— Юношеские мечты, вы были знакомы и мне! — проговорил старик.

— Ну, если это мечта, — возразила Консуэло, — то торжество гордости также мечта, и из них двух я предпочитаю свою. Затем у меня есть еще вторая побудительная причина — желание слушаться тебя, угождать тебе.

— Ничему, ничему не верю! — закричал Порпора, беря сердито подсвечник и поворачиваясь спиной, но, взявшись за ручку своей двери, он вернулся и поцеловал Консуэло, которая улыбалась, ожидая этого.

В кухне, примыкавшей к комнате Консуэло, была маленькая лестница, наподобие трапа, приводившая на крышу к крошечной терраске, в шесть квадратных футов.

Тут Консуэло, выстирав жабо и манжеты Порпора, обычно сушила их. Сюда же она взбиралась иногда вечером поболтать с Йозефом, когда учитель засыпал так рано, что ей еще не хотелось спать. Не имея возможности заниматься в своей комнате, слишком низкой и тесной, чтобы поставить в ней стол, и боясь, расположившись в передней, разбудить своего старого друга, она взбиралась на терраску то помечтать в одиночестве, глядя на звезды, то поведать своему товарищу по самоотверженности и порабощению о маленьких происшествиях дня.

В этот вечер и тому и другому было много о чем рассказать друг другу. Консуэло закуталась в плащ, накинув на голову капюшон, чтоб не простудить горло, и поднялась к Беппо, ожидавшему ее с великим нетерпением. Эти ночные беседы на крыше напоминали ей детские ее разговоры с Андзолето. Тут не было венецианской луны, не было живописных венецианских крыш, ночей, горящих любовью и надеждой, это была немецкая ночь, более мечтательная, более холодная, и немецкая луна, более туманная, более суровая, — словом, здесь была дружба, с ее нежностью и благами, без опасностей и трепета страсти.

Когда Консуэло рассказала все, что ее заинтересовало, оскорбило и позабавило у маркграфини, наступил черед говорить Йозефу.

— Ты, — начал он, — из придворных тайн видела только конверты и печати с гербами, но так как лакеи имеют обыкновение читать письма своих господ, то

в передней я узнал содержание жизни великих мира сего. Не стоит тебе передавать и половины злословия, излитого на вдовствующую маркграфиню. Ты содрогнулась бы от ужаса и отвращения. Ах! Если б светские люди знали, как о них отзываются лакеи! Если б в этих великолепных салонах, где они важно, с таким достоинством восседают, они услышали, что говорится за стеной об их нравах, об их характерах! Когда Порпора только что на валу развивал перед нами свою теорию борьбы и ненависти против великих мира, он был не совсем на высоте. Горести помutilи его рассудок. Ах! Как ты была права, говоря, что он унижает себя до уровня вельмож, стремясь подавить их своим презрением. Да, он не слышал злословия лакеев в передней, а не то понял бы, что личная гордость и презрение к другим, прикрытые внешним почтением и покорностью, свойственны душам низким и развращенным. Но Порпора был очень хорош, очень своеобразен, очень мужествен, когда, стуча палкой по мостовой, кричал: «Мужество! Ненависть! Кровавая ирония! Вечное мщенье!» Твоя же мудрость была прекраснее его бреда, и она тем более поразила меня, что я только что перед тем видел лакеев, робких, угнетенных, развращенных рабов, которые тоже жужжали мне в уши с глубокой ненавистью: «Мщенье, хитрость, вероломство, вечная злоба, вечная ненависть к нашим хозяевам, которые воображают, будто они выше нас, разоблачающих их мерзости!» Я никогда не был лакеем, Консуэло, но, став им (подобно тому, как ты стала мальчиком во время нашего путешествия), я, как видишь, поразмыслил над обязанностями своего теперешнего положения.

— И хорошо поступил, Беппо, — ответила Порпорина, — жизнь — большая загадка, и не надо пропускать ни одного мельчайшего факта, не объяснив себе его и не поняв. А скажи мне, узнал ли ты там что-нибудь относительно принцессы, дочери маркграфини, которая среди всех этих жеманных, накрашенных и легкомысленных особ одна показалась мне естественной, доброй и серьезной?

— Слышал ли я о ней? О! Конечно! И не только сегодня вечером, но и раньше много раз от Келлера, который причисляет экономку принцессы и знает много кое-чего о ее хозяйке. То, что я хочу тебе рассказать, не сплетни передней, не лаксйское злословие, — это истинная, всем известная история. Но история ужасающая; хватит ли у тебя мужества ее выслушать?

— Да, ибо я интересуюсь этим существом, носящим на своем челе печать несчастья. Я услышала из ее уст несколько слов, заставивших меня смотреть на нее как на жертву людской несправедливости.

— Лучше скажи жертву подлости и ужасающей извращенности! Принцесса Кульмбахская (это ее титул) была воспитана в Дрездене польской королевой, своей теткой; там Порпора с ней познакомилась и, кажется, даже давал ей уроки так же, как и ее двоюродной сестре, великой дофине Франции. Юная принцесса Кульмбахская была красавица и умница. Воспитанная строгой королевой вдали от распутной матери, она, казалось, должна была бы быть всю свою жизнь счастливой, уважаемой женщиной. Но вдовствующая марк-

графиня, ныне графиня Годиц, не пожелала этого. Она вызвала дочь к себе и стала притворяться, будто хочет выдать ее замуж то за одного родственника, тоже маркиграфа Байрейтского, то за другого родственника, тоже принца Кульмбахского, ибо это княжество — Байрейт-Кульмбах — насчитывает больше принцев и маркиграфов, чем подвластных деревень и замков. Красота и целомудрие принцессы возбудили в ее матери ужасную зависть. Ей хотелось унижить дочь, отнять у нее любовь и уважение отца Георга-Вильгельма (третьего маркиграфа) — не моя уж вина, если их так много в этой истории. Но среди всех этих маркиграфов для принцессы Кульмбахской не нашлось ни одного. Ее мать обещала одному придворному своего мужа, Вобсеру, четыре тысячи дукатов в награду за то, что он обесчестит ее дочь, и сама ввела этого негодяя ночью в комнату принцессы. Слуги ее были предупреждены и подкуплены, дворец оказался глух к воплям девушки, мать держала дверь... Консуэло, ты содрогаешься, а между тем это еще не все. Принцесса Кульмбахская родила двух близнецов. Маркиграфиня взяла их на руки, снесла к своему супругу, носила по всему дворцу и, показывая своей челяди, кричала: «Взгляните на детей, которых эта развратница произвела на свет!» И во время этой ужасной сцены близнецы погибли, почти на руках маркиграфини. Вобсер имел неосторожность написать маркиграфу, требуя от него четыре тысячи дукатов, обещанных ему маркиграфиней. Он ведь заработал их, обесчестив принцессу! Несчастный отец, уже и так бывший наполовину идиотом, тут совсем превратился в слабоумного и вскоре после этой катастрофы умер от ужаса и горя. Вобсер, которому пригрозили другие члены семьи, сбежал. Польская королева приказала заключить принцессу Кульмбахскую в Плассенбургскую крепость. Едва оправившись после родов, она была туда водворена, провела там в суровом заключении несколько лет и поныне оставалась бы в заточении, если б католические священники, пробравшись в тюрьму, не обещали ей покровительства императрицы Амелии, при условии отречения принцессы от лютеранства. Жажда вернуть себе свободу заставила принцессу уступить их увещаниям. Но полную свободу она получила только после смерти польской королевы. Свою независимость она прежде всего использовала, для того чтоб вернуться к вере своих отцов. Молодая маркиграфиня Байрейтская, Вильгельмина Прусская, оказала ей радушный прием при своем маленьком дворе. Здесь принцесса благодаря своим добродетелям, кротости и уму заставила уважать себя. Это душа уже разбитая, но все еще прекрасная душа. Несмотря на то, что при венском дворе она не появляется из-за своего лютеранства, никто не смеет издеваться над ее несчастьем. Никто, даже лакеи, не решаются злословить о ней. Здесь она проездом по какому-то делу; постоянная же ее резиденция — Байрейт.

— Вот почему, — заметила Консуэло, — она столько говорила мне об этом месте и так уговаривала поехать туда. О! Какая это история, Йозеф, и что за женщина графиня Годиц! Никогда, никогда больше Порпора не затащит меня к ней, никогда больше не буду я петь для нее!

— Тем не менее там можно встретить самых непорочных, самых уважаемых придворных дам. Так уж, говорят, повелось в мире. Имя и богатство все покрывают, и лишь бы вы посещали церковь, к вам отнесутся здесь с величайшей терпимостью.

— Очевидно, этот венский двор крайне лицемерен, — проговорила Консуэло.

— Боюсь, между нами будь сказано, что наша великая Мария-Терезия тоже немного лицемерна, — понижая голос, ответил Йозеф.

## LXXXVIII

Несколько дней спустя после того как Порпора много хлопотал, много интриговал на свой лад, то есть угрожая, бранясь или рассыпая насмешки налево и направо, маэстро Ройтер (бывший учитель и бывший враг юного Гайдна) провел Консуэло в императорскую капеллу, где в присутствии Марии-Терезии она спела партию Юдифи в оратории «Освобожденная Бетулия»<sup>1</sup> (текст Метастазियो, а музыка того же Ройтера).

Консуэло была восхитительна, и Мария-Терезия соблаговолила быть ею довольной. По окончании духовного концерта Консуэло была приглашена вместе с другими певцами (Каффариэлло в том числе) в одну из зал дворца к столу с угощением, за которым председательствовал Ройтер. Едва уселась она между этим маэстро и Порпора, как шум, внезапный и вместе с тем торжественный, заставил вздрогнуть всех гостей, исключая Консуэло и Каффариэлло, увлеченных спором о темпе одного исполненного хора.

— Решить этот вопрос сможет только сам маэстро, — сказала Консуэло, оборачиваясь к Ройтеру. Но она не нашла ни Ройтера справа от себя, ни Порпора слева: все встали из-за стола и вытянулись в ряд с сосредоточенным видом. Консуэло очутилась лицом к лицу с женщиной лет тридцати, очаровательной своею свежестью и энергией, одетой в черное и окруженной семью детьми, из которых одного она держала за руку. То был наследник престола, юный цесаревич Иосиф II, а прелестная женщина с легкой походкой, любезным и умным выражением лица была Мария-Терезия.

— Ессо la Giuditta?<sup>2</sup> — спросила императрица, обращаясь к Ройтеру. — Я очень довольна вами, дитя мое, — прибавила она, осматривая Консуэло с головы до ног. — Вы доставили мне истинное удовольствие, и никогда я так

<sup>1</sup> «Освобожденная Бетулия» («Betulia liberata») — оратория на текст Метастазियो на библейский сюжет о том, как еврейка Юдифь героически освободила свой родной город Бетулию, осажденный ассирийским войском. Она проникла в стан неприятелей, обольстила их предводителя Олоферна, отрубила ему голову и принесла ее в город.

<sup>2</sup> Это Юдифь? (ит.)

живо не чувствовала всей величавости стихов нашего дивного поэта, как в ваших гармонических устах. У вас прекрасное произношение, а это я ценю выше всего. Сколько вам лет? Вы ведь венецианка, не правда ли? Ученица знаменитого Порпора, которого я с удовольствием здесь вижу? Вы хотите поступить на императорскую сцену? Вы созданы, чтобы на ней блистать, и господин фон-Кауниц покровительствует вам.

Закидав Консуэло всеми этими вопросами, не ожидая ее ответов и поочередно глядя то на Метастазियो, то на Кауница, сопровождавших ее, Мария-Терезия сделала знак одному из своих камергеров, и тот преподнес Консуэло довольно ценный браслет. Прежде чем юная певица сообразила поблагодарить, императрица была уже на другом конце зала. Она удалялась со своим царственным выводком принцев и эрцгерцогинь, одаривая благосклонными и милостивыми словами каждого из артистов, попадавшихся ей на пути, и оставляя позади себя словно сверкающий след во всех этих взорах, ослепленных ее славой и могуществом.

Каффариэлло был единственным, кто сохранил или сделал вид, что сохранил хладнокровие. Он возобновил свой спор на том же месте, где его прервал. А Консуэло, кладя браслет в карман, даже не подумала поглядеть на него, и продолжала как ни в чем не бывало отстаивать свое мнение, к великому удивлению и возмущению других артистов, очарованных появлением императрицы и не представлявших себе, как можно было весь этот день думать о чем-либо ином. Излишне говорить, что один только Порпора всей душой — и инстинктивно, и принципиально — составлял исключение в этом хоре неистового низкопоклонства. Он умел, не роняя достоинства, склоняться перед монархами, но в глубине души насмехался над рабами, презирал их. Когда Каффариэлло спросил Ройтера, каков должен быть темп хора, о котором у них с Консуэло шел спор, тот с лицемерным видом поджал губы и только после повторных вопросов ответил:

— Признаюсь, сударь, я не в курсе вашего разговора. Когда я вижу Марию-Терезию, я забываю весь мир и долго после того, как она исчезнет, бываю так взволнован, что не в силах думать о самом себе.

— По-видимому, та исключительная честь, которую синьора только что снискала для нас, не вскружила ей голову, — вставил находившийся здесь господин Гольцбауэр, пресмыкавшийся как бы несколько сдержаннее, чем Ройтер. — Для вас, синьора, совершенно естественно говорить с коронованными особами? Можно подумать, что вы ничего иного не делали всю свою жизнь.

— Я никогда не говорила ни с одной коронованной особой, — спокойно ответила Консуэло, не улавливая в словах Гольцбауэра злой насмешки, — и ее величество не оказала мне этого благодеяния, так как, задавая мне вопросы, императрица, казалось, лишила меня чести отвечать ей, быть может, для того, чтобы избавиться от волнения.

— А тебе, кажется, хотелось поговорить с императрицей? — насмешливо бросил Порпора.





*Закидав Консуэло всеми этими вопросами...  
Мария-Терезия сделала знак одному из своих камергеров,  
и тот преподнес Консуэло довольно ценный браслет.*

— Никогда не желала этого, — наивно ответила Консуэло.

— Очевидно, у синьоры больше беспечности, чем честолубия, — заметил Ройтер с ледяным презрением.

— Маэстро Ройтер, — доверчиво и наивно обратилась к нему Консуэло, — вы, может быть, недовольны тем, как я спела вашу вещь?

Ройтер признался, что никогда никто лучше не исполнил ее даже в царствование «августейшего и незабвенного Карла VI».

— В таком случае, — сказала Консуэло, — не упрекайте меня в беспечности. Мое тщеславие — угождать своим повелителям, мое тщеславие — хорошо выполнять свое ремесло. Какое же еще тщеславие может быть у меня? Всякое иное было бы и смешным и неуместным с моей стороны.

— Вы слишком скромны, синьора, — возразил Гольцбауэр, — нет границ тщеславию для человека, обладающего таким талантом, как ваш!

— Принимаю это за изысканный комплимент, — ответила Консуэло, — но я поверю, что немного угодила вам, только в тот день, когда вы пригласите меня на императорскую сцену.

Гольцбауэр, попав впросак, несмотря на свою осторожность, закашлялся, чтоб иметь возможность не отвечать, и вышел из положения, любезно и почтительно склонив голову. Потом, возвращаясь к первоначальному разговору, он сказал:

— Вы в самом деле обладаете беспримерным спокойствием и бескорыстием. До сих пор вы даже не взглянули на браслет, подаренный вам ее величеством!

— Ах, правда! — согласилась Консуэло, вынимая браслет из кармана и передавая его соседям, которым было любопытно поглядеть на него и оценить. «Будет на что купить дрова для учителя, если за эту зиму не получу ангажемента, — подумала Консуэло; — самая маленькая пенсия была бы нам гораздо нужнее, чем всякие украшения и безделушки».

— Ее величество божественно прекрасна! — проговорил Ройтер, вздыхая с сокрушенным видом и искося сурово поглядывая на Консуэло.

— Да, она мне показалась очень красивой, — ответила девушка, совершенно не понимая, почему ее толкает локтем Порпора.

— Она вам «показалась», — повторил Ройтер, — ну, и требовательны же вы!

— Я едва имела время ее рассмотреть. Она прошла так быстро.

— Но ее ослепительный ум! Эта гениальность, проявляющаяся в каждом слове, которое слетает с ее уст!

— Я едва имела время слышать, что она говорила: это было так мимолетно!

— Значит, вы, синьора, из стали или из алмаза! Уж не знаю, что нужно для того, чтоб вы взволновались.

— Я была очень взволнована, исполняя партию вашей Юдифи, — ответила Консуэло, умевшая порой быть лукавой и начинавшая понимать, как недоброжелательно относятся к ней венские маэстро.

— Эта девушка, при всей своей наивности, вовсе не глупа, — шепотом сказал Гольцбауэр маэстро Ройтеру.

— Это школа Порпора, — ответил тот, — презрение и насмешка.

— Если не принять мер, то старинный речитатив и выдержанный *stile osservato*<sup>1</sup> заполнят нас еще больше прежнего, — продолжал Гольцбауэр, — но будьте спокойны, у меня есть средства помешать этому «порпоррианству» повысить голос.

Когда все встали из-за стола, Каффариэлло сказал на ухо Консуэло:

— Видишь ли, дитя мое, все эти люди — сущие мерзавцы. Тебе трудно будет здесь что-либо сделать. Они все против тебя, и все они были бы и против меня, если б только посмели.

— А что же мы им сделали? — спросила с удивлением Консуэло.

— Мы — ученики самого великого учителя в мире. Они и их креатуры — наши естественные враги. Они вооружают против тебя Марию-Терезию, и все, что ты тут говорила, будет ей передано со злобными комментариями. Ей будет доложено, что ты не нашла ее красавицей, а подарок ее считаешь мизерным. Я хорошо знаю все эти происки. Однако ж мужайся! Я буду защищать тебя от всех и против всех и полагаю, что мнение Каффариэлло в музыке стоит, конечно, мнения Марии-Терезии.

«Очутившись между злобой одних и безумием других, я попала в довольно-таки скверное положение, — подумала, уходя, Консуэло. — О Порпора! — говорила она себе в глубине своего сердца, — я сделаю все возможное, чтобы вернуться на сцену. О Альберт, я надеюсь, что мне это не удастся!»

На следующий день маэстро Порпора, зная, что сам он весь день будет занят в городе делами, и находя, что его ученица немного бледна, посоветовал ей пойти на загородную прогулку с женой Келлера, предлагавшей сопровождать ее, когда Консуэло этого захочется.

Не успел маэстро выйти за дверь, как девушка сказала:

— Беппо, ступай поскорее, найми небольшой экипаж и едем с тобой проводить Анджелу и поблагодарить каноника. Мы обещали это сделать раньше, но моя простуда послужит извинением.

— А в каком костюме явитесь вы к канонику? — спросил Беппо.

— Вот в этом самом, — ответила она, — нужно же, чтоб он знал, кто я, и примирился с моим естественным состоянием.

— Чудесный каноник! Радуюсь, что снова его увижу.

— Я тоже.

— Бедный, славный каноник! Мне грустно подумать...

— О чем?

— О том, что он совсем потеряет голову.

— Почему? Разве я богиня? Я этого не знала.

<sup>1</sup> *Stile osservato* (ит.) — выдержанный, осторожный, строгий стиль в музыке, отождествляется здесь с поведением Порпора и его ученицы.

— Вспомните, Консуэло, он ведь уже на три четверти был без ума от вас, когда мы расстались с ним.

— А я тебе говорю, ему достаточно узнать, что я женщина, и увидеть меня такой, как я есть, чтобы взять себя в руки и сделаться тем, чем сотворил его Господь, — благоразумным человеком.

— Правда, одежда кое-что значит. Так, увидав вас здесь превращенной в барышню, после того как за две недели привык обращаться с тобой, как с мальчиком... я почувствовал какой-то страх, какую-то неловкость, в которой не могу сам разобраться; и, конечно, во время путешествия... если б мне было позволено влюбиться в вас... Но сейчас ты скажешь, что я несу вздор...

— Конечно, Йозеф, ты несешь вздор, да к тому же еще тратишь время на болтовню. Ведь нам надо сделать десять миль, чтоб добраться до приории и вернуться оттуда. Теперь восемь часов утра, а мы должны быть дома в семь вечера, к ужину учителя.

Три часа спустя Беппо и его спутница сошли у ворот приории. День был чудесный. Каноник меланхолически созерцал свои цветы. Увидев Йозефа, он радостно вскрикнул и бросился ему навстречу, но вдруг остолбенел, узнав своего дорогого Бертони в женском платье.

— Бертони, дитя мое любимое, — воскликнул он с целомудренной наивностью, — что значит это переодевание? И почему являешься ты ко мне в таком наряде? Ведь теперь же не карнавал...

— Уважаемый друг, — ответила Консуэло, целуя ему руку, — надо, чтоб вы, ваше благословение, простили мне: я вас обманула. Никогда не была я мальчиком. Бертони никогда не существовал, а когда я имела счастье познакомиться с вами, вот тогда действительно я была переодета.

— Мы полагали, — заговорил Йозеф, боявшийся, чтобы изумление каноника не сменилось неудовольствием, — что вы, господин каноник, не были введены в заблуждение нашим невинным обманом. Эта хитрость не была придумана, чтобы провести вас, то была необходимость, вызванная обстоятельствами, и мы всегда думали, что вы, господин каноник, великодушно и деликатно поддаетесь на это.

— Вы это думали? — смущенно и со страхом спросил каноник. — А вы, Бертони, то есть я хочу сказать, сударыня, вы также это думали?

— Нет, господин каноник, — ответила Консуэло, — ни одной минуты я этого не думала. Я прекрасно видела, что ваше благословение несколько не подозреваете истины.

— Вы воздасте мне справедливость, — сказал каноник голосом несколько строгим и вместе с тем глубоко печальным. — Я не умею идти на сделки со своей совестью и, угадай я ваш пол, никогда бы не подумал поступить так, как поступил, и настаивать, чтобы вы остались у меня. Действительно, в соседней деревне и даже между моими слугами ходили смутные слухи, подозрения, заставлявшие меня улыбаться, до того я упорно заблуждался на ваш счет. Говорили, что один из маленьких музыкантов, певших обедню



в храмовый праздник, была переодетая женщина. А потом уверяли, что это была злобная выдумка сапожника Готлиба, желавшего испугать и огорчить священника. Да наконец я сам с уверенностью опровергал этот слух. Как видите, я совершенно вдался в обман, и более обманутым нельзя было быть.

— В этом моя большая вина, но обмана никакого не было, господин каноник, — твердо, с полным достоинством ответила Консуэло. — Не думаю, чтоб я хоть на минуту уклонилась от должного к вам уважения и приличий, диктуемых мне порядочностью. После долгого пешеходного пути я очутилась среди ночи на дороге, без крова, изнемогая от жажды и усталости. Вы не отказали бы в гостеприимстве нищей. Мне вы оказали его во имя музыки, и я музыкой оплатила свой счет. Если я, подчиняясь вашему желанию, не ушла от вас на следующий же день, то это произошло благодаря непредвиденным обстоятельствам, заставившим меня выполнить долг, бывший для меня выше всякого другого. Мой враг, моя соперница, моя преследовательница свалилась, словно с облаков, у вашей двери. Лишенная всякого попечения, совершенно беспомощная, она имела право на мои заботы, на мою помощь. Вы, ваше благословение, помните остальное и прекрасно знаете, что, если я и воспользовалась вашим доброжелательством, то не для себя. Вы также хорошо помните, что я удалилась сейчас же, как только выполнила свой долг. И если сегодня я вернулась, чтобы лично поблагодарить вас за милости, которыми вы осыпали меня, то на это подвинула меня честность, обязывавшая вывести вас из заблуждения и дать вам объяснения, необходимые и для вашего, и для моего достоинства.

— Во всем этом есть что-то таинственное и совершенно необычайное, — произнес наполовину побежденный каноник, — вы говорите, что несчастная, ребенка которой я усыновил, была вашим врагом, вашей соперницей... А кто вы сами, Бертони?... Простите, это имя все вертится у меня на языке, и скажите мне, как отныне я должен звать вас.

— Меня зовут Порпорина, — ответила Консуэло, — я ученица Порпора, певица, принадлежу к театральному миру.

— А! Прекрасно! — сказал каноник с глубоким вздохом. — Я должен был сам догадаться по тому, как вы сыграли свою роль, а что касается вашего дивного музыкального таланта, мне не приходится больше ему удивляться. Вы прошли хорошую школу. Могу ли я задать вам вопрос: господин Беппо — ваш брат... или ваш муж?

— Ни то, ни другое: он мой брат по сердцу, и только брат, господин каноник. Поверьте, если б душа моя не чувствовала себя такой же целомудренной, как ваша, я не осквернила бы своим присутствием святости вашего жилища.

Надо правду сказать, что голос у Консуэло был неотразимо привлекателен, и каноник поддался его влиянию, как всегда поддаются искренности чистые, правдивые сердца. Он почувствовал, как с души его словно скатился тяжелый камень, и, расхаживая между двумя своими юными любимцами, стал



расспрашивать Консуэло с кротостью и возродившейся симпатией, бороться с которой мало-помалу перестал.

Она быстро рассказала ему, не называя имен, о главных обстоятельствах своей жизни: о помолвке с Андзовето у постели умирающей матери, об измене жениха, о ненависти Корииллы, об оскорбительных замыслах Дзустиньяни, о советах Порпора, об отъезде из Венеции, о привязанности Альберта к ней, о предложении семьи Рудольштадт, о собственной своей нерешительности и сомнениях, о бегстве из Замка Великанов, о встрече с Йозефом Гайдном, об их путешествии, о своем ужасе и сочувствии у одра больной Корииллы, о своей благодарности за покровительство, оказанное каноником ребенку Андзовето, наконец о приезде в Вену и даже о встрече накануне с Марией-Терезией.

Йозеф до этого не знал всей истории Консуэло. Она никогда не говорила ему об Андзовето, и то немного, что она сказала о своей бывшей любви к этому негодяю, не особенно задело его за живое, но ее великодушие по отношению к Кориилле и забота о ребенке произвели на него такое сильное впечатление, что он отвернулся, скрывая слезы.

Каноник также не мог не прослезиться. Рассказ Консуэло, сжатый и искренний, произвел на него такое впечатление, словно он прочел прекрасный роман; вообще же он никогда еще не читал ни одного романа, а этот был первый в жизни, посвятивший его в бурные переживания других. Чтоб внимательно слушать Консуэло, каноник сел на скамейку и, когда она закончила, воскликнул:

— Если все это истина, а я это думаю и, как мне кажется, чувствую в своем сердце по воле Всевышнего, то вы святая девушка... святая Цецилия, вернувшаяся на землю! Откровенно признаюсь вам: у меня никогда не было предрассудков по отношению к театру, — прибавил он после минутного молчания и раздумья, — и вы убеждаете меня в том, что и там можно спастись так же, как в любом другом месте. Несомненно, если вы останетесь такой же целомудренной и великодушной, как были до сих пор, вы, дорогой мой Бертони, заслуживаете царства Божия! Говорю вам то, что думаю, дорогая моя Порпорина!

— Теперь, ваше благословение, — сказала, вставая, Консуэло, — прежде чем я прощусь с вами, расскажите мне о маленькой Анджеке.

— Анджека здорова и отлично развивается, — ответил каноник. — Моя садовница чрезвычайно заботится о ней, и я постоянно вижу, как она ее прогуливает в моем цветнике. Она вырастет среди цветов, сама как цветок, на моих глазах, а когда наступит время позаботиться о воспитании ее души в христианском духе, я дам ей образование. Положитесь в этом отношении на меня, дети мои. То, что мною было обещано перед лицом Всевышнего, будет свято выполнено. По-видимому, ее мать не будет оспаривать у меня этих забот, ибо, будучи в Вене, она ни разу даже не справилась о своей дочери.

— Она могла это сделать и окольным путем, без вашего ведома, — заметила Консуэло. — Я не могу допустить, чтобы мать была до такой степени

равнодушна. Но Кориλλα домогается ангажемента на императорскую сцену. Она знает, что ее величество очень строга и не оказывает покровительства людям с запятнанной репутацией. И вот она старается скрыть свои грехи, хотя бы до подписания ангажемента. Будем же хранить ее тайну!

— Но ведь Кориλλα ваша соперница! — воскликнул Йозеф. — И говорят, она восторжествует над вами благодаря своим интригам и уже злословит по городу, изображая вас любовницей графа Дзустиньяни. Об этом шла речь в посольстве, как рассказывал мне Келлер... Там негодовали на эту клевету, но боялись, что она сумеет убедить Кауница, который охотно слушает подобного рода сплетни и не перестает восторгаться красотой Кориллы.

— И она говорила подобные вещи! — вырвалось у Консуэло, покрасневшей от негодования. Потом, успокоившись, она прибавила: — Так должно было быть, надо было ждать этого...

— Но ведь стоит сказать одно слово, чтоб рассеять всю эту клевету, — возразил Йозеф. — И это слово будет сказано мной. Я скажу, что...

— Ты ничего не скажешь, Беппо: это было бы и подло и бесчеловечно. Вы также ничего не станете говорить, господин каноник, и, даже явись подобное желание у меня, вы, конечно, удержали бы меня от этого. Не правда ли?

— Истинно христианская душа! — воскликнул каноник. — Но подумайте сами, это не может очень долго оставаться втайне. Достаточно кому-нибудь из слуг или крестьян, знающих об этом факте, пустить такой слух, и через какие-нибудь две недели станет известно, что целомудренная Кориλλα произвела здесь на свет незаконного ребенка и к довершению всего еще бросила его.

— Не позже двух недель я или Кориλλα подпишем ангажемент. Я не хотела бы восторжествовать с помощью мести. До тех пор, Беппо, ни слова, или я лишаю тебя моего уважения и дружбы. А теперь прощайте, господин каноник. Скажите, что простили меня, протяните мне еще раз по-отечески руку, и я удалюсь, прежде чем ваши слуги узнают меня в таком виде.

— Слуги мои пусть говорят, что им угодно, и бенефиция моя пусть провалится к черту, если так угодно небу! Я только что получил наследство, дающее мне мужество пренебрегать громами епархиального епископа. Но, дети мои, не принимайте меня за святого! Я устал повиноваться и принуждать себя. Хочу жить честно, но без всяких дурацких страхов. С тех пор как подле меня нет призрака Бригиты, а в особенности с тех пор, как я обладаю независимым состоянием, я чувствую себя храбрым, как лев. Ну, идемте теперь со мной завтракать, а там окрестим Анджелу и займемся музыкой до обеда.

И он потащил их к себе в приорию.

— Эй, Андрей! Йозеф! — крикнул он, входя в лакейскую — Идите поглядите на синьора Бертони, превратившегося в даму. Что, не ожидали этого, не правда ли? И я также. Ну, скорее, удивляйтесь вместе со мной и живо накрывайте на стол!

Завтрак был превосходен, и наши юнцы убедились, что если большие перемены и произошли в образе мыслей каноника, то это совершенно не коснулось

его привычки хорошо покушать. Затем принесли ребенка в монастырскую часовню. Каноник сбросил свой стеганный на вате халат, облачился в рясу и совершил обряд крещения. Консуэло и Йозеф были восприемниками, и девочке было дано имя Анджела. Остаток дня был посвящен музыке, а затем настало время распрощаться. Каноник был очень огорчен отказом своих друзей пообедать с ним. Но он, в конце концов, согласился с их доводами и утешил себя мыслью, что увидит их в Вене, куда вскоре собирался переехать, чтобы провести там часть зимы.

Пока запрягали лошадей, он повел их в оранжерею полюбоваться несколькими новыми растениями, которыми он обогатил свою коллекцию. Надвигались сумерки, но каноник, у которого было очень тонкое обоняние, едва успел сделать несколько шагов под стеклянной крышей своего прозрачного дворца, как воскликнул:

— Я чувствую тут какое-то необычайное благоухание. Не зацвел ли уж ванилевый шпажник? Но нет, это не его аромат. А стрелица совсем не пахнет... У цикламенов же запах менее чистый, менее острый. Что же здесь творится? Не погибни, увя, моя волькамерия, я сказал бы, что вдыхаю ее благоухание. Бедное растение! Уж лучше не думать о нем.

Но вдруг каноник вскрикнул от удивления и восторга: он увидел перед собой в ящике самую красивую волькамерию из когда-либо виденных им в жизни, покрытую гроздьями белых с розовым маленьких роз, нежный аромат которых наполнял всю оранжерею и заглушал все прочие запахи, несшиеся со всех сторон.

— Что за чудо? Откуда мне это предвкушение рая? Этот цветок из сада Беатриче? — воскликнул он в поэтическом восхищении.

— Мы привезли эту волькамерию в нашем экипаже со всевозможными предосторожностями, — ответила Консуэло. — Позвольте вам преподнести ее как искупление за ужасное проклятие, сорвавшееся однажды с моих уст, в чем я буду раскаиваться всю жизнь.

— О дочь моя дорогая! Что за дар! И с какой деликатностью он поднесен! — проговорил растроганный Каноник. — О! Дорогая волькамерия, ты получишь особенное имя, как у меня в обычае давать великолепным экземплярам моей коллекции; ты будешь называться Бертони, чтоб освятить память существа, уже не существующего, которое я полюбил с нежностью отца.

— Дорогой мой отец, — сказала Консуэло, пожимая ему руку, — вы должны привыкнуть любить своих дочерей так же, как и сыновей. Анджела не мальчик...

— И Порпорина также моя дочь, — сказал каноник, — да, моя дочь! Да! Да! Моя дочь! — повторял он, попеременно глядя то на Консуэло, то на волькамерию Бертони с глазами, полными слез.

В шесть часов Йозеф и Консуэло были уже дома. Экипаж они оставили при въезде в предместье, и ничто не выдавало их невинного приключения. Порпора только удивился, что у Консуэло не было достаточно хорошего аппетита после

прогулки по прекрасным лугам, окружающим столицу империи. Завтрак каноника, быть может, и сделал в этот день Консуэло немного лакомкой, но свежий воздух и движение дали ей прекрасный сон, и на другой день она почувствовала себя и в голосе и такой бодрой, какой ни разу еще не была в Вене.

## LXXXIX

Вследствие неопределенности своего положения и желая, быть может, найти оправдание или объяснение того, что творится в ее сердце, Консуэло решилась, наконец, написать графу Христиану, разъяснить ему свои отношения с Порпора, сообщить о тех усилиях, которые делал маэстро, стремясь снова вернуть ее на сцену, и о своей надежде, что все это провалится. Она совершенно откровенно рассказала старому графу, сколь многим обязана своему учителю, как должна быть ему предана и покорна. Затем, делясь своим беспокойством относительно Альберта, она настоятельно просила научить ее, что написать последнему, чтоб успокоить его и не лишать надежды. Письмо заканчивалось так: «Я просила вас, граф, дать мне время проверить себя и принять решение. И вот я решилась сдержать свое слово: могу поклясться перед Богом, что чувствую в себе силы не допустить свое сердце и рассудок увлечься какой-либо вредной фантазией или новой любовью. А между тем, вернись я на сцену, этим самым я как будто нарушаю данное мной обещание, как бы определенно отказываюсь от самой надежды его выполнить. Судите же меня или, скорее, судьбу, мною повелевающую, и долг, мною руководящий. Я лично не вижу никакого способа отречься от них, не совершив при этом преступления. Я жду от вас совета более мудрого, чем мое собственное разумение; едва ли он будет противоречить моей совести!»

Консуэло, запечатав письмо, поручила Йозефу отправить его; у нее стало легче на душе, как бывает в тяжелом положении, когда найдешь способ выиграть время и отдалить решительную минуту. И она собралась нанести вместе с Порпора визит очень известному и очень восхваляемому придворному поэту господину аббату Метастазию, визит, которому ее учитель придавал огромное значение.

Знаменитому аббату было тогда около пятидесяти лет. Он был очень красив собой, обходителен, чудесный собеседник, и Консуэло, наверно, почувствовала бы к нему симпатию, если бы перед тем как они направились к дому, где на разных этажах обитали и придворный поэт и парикмахер Келлер, не произошло у нее с Порпора следующего разговора:

— Консуэло, — начал маэстро, — ты сейчас увидишь человека, здорового на вид, с живыми черными глазами, румяного, с розовыми, всегда улыбающимися губами, который хочет во что бы то ни стало считать себя в когтях изнурительной, жестокой и опасной болезни, человека, который ест, спит,

работает и толстеет, как всякий другой, а уверяет, будто у него бессонница, отсутствие аппетита, угнетенное состояние духа, упадок сил. Смотри же, не попади впросак и, когда он начнет при тебе жаловаться на свои недуги, не вздумай сказать ему, что он непохож на больного, очень хорошо выглядит или что-нибудь в этом роде, ибо он желает, чтобы его жалели, беспокоились о нем и заранее оплакивали. Упаси тебя Бог также заговорить с ним о смерти или о ком-нибудь умершем: он боится смерти и не хочет умирать. Но вместе с тем не сделай глупости и не говори ему, уходя: «Надеюсь, что ваше драгоценное здоровье скоро поправится», так как он желает, чтобы его считали умирающим, и будь он в состоянии уверить других, что он уже мертв, он был бы в восторге, при условии, однако, что сам этому не будет верить.

— Вот глупейшая мания у великого человека, — заметила Консуэло. — Но о чем же с ним тогда говорить, если нельзя заикнуться ни о выздоровлении, ни о смерти?

— Говорить надо о его болезни, задавать ему тысячу вопросов, выслушивать все подробности о его недомоганиях, о переносимых муках, а в заключение сказать, что он недостаточно заботится о себе, не думает о себе, не щадит себя, слишком много работает. Таким способом мы заслужим его расположение.

— Однако разве мы не идем к нему с просьбой написать либретто, которое вы переложите на музыку, а я буду исполнять? Как же мы можем советовать ему не писать и в то же время упрашивать как можно скорее написать для нас эту поэму?

— Все это устроится само собой во время разговора. Надо только уметь кстати ввернуть об этом словечко.

Маэстро хотелось, чтобы его ученица сумела понравиться поэту, но присущая ему язвительность не позволяла умалчивать о смешных сторонах людей, и в данном случае он сделал ошибку, поощряя Консуэло наблюдать внимательно за аббатом и будя в ней то внутреннее презрение, которое делает нас и мало приятными и мало симпатичными людям, жаждущим, чтоб им льстили и поклонялись. Неспособная к лести и притворству, она положительно страдала, слыша, как Порпора потворствует слабостям поэта и жестоко издевается над ним, делая вид, что благоговейно сочувствует его воображаемым недугам. Не раз она краснела и могла только хранить тягостное молчание, несмотря на знаки, делаемые ее учителем, желавшим, чтоб она ему вторила.

Консуэло начинала уже приобретать известность в Вене. Она выступала в нескольких салонах, а предположение, что она может быть приглашена на императорскую сцену, несколько волновало музыкальный мир. Метастазियो был всемогущ. Стоило Консуэло завоевать его симпатии, вовремя польстив его самолюбию, и он мог поручить Порпора переложить на музыку свое либретто «Аттилий Регул», написанное им несколько лет тому назад. Итак, крайне необходимо было, чтобы ученица порадела за своего учителя, ибо сам учитель совсем не был по вкусу придворному поэту.



Недаром Метастазियो был итальянцем, а итальянцы редко ошибаются относительно друг друга. У него было слишком много чуткости и проницательности, а потому он отлично знал, что Порпора был очень умеренным поклонником его драматического таланта и не раз сурово отзывался (обоснованно или нет) о его трусости, эгоизме и притворной чувствительности. Ледяную сдержанность Консуэло и отсутствие интереса, казалось, проявленного ею к его болезни, поэт не сумел приписать их настоящей причине, то есть неприятному ощущению, вызванному почтительной жалостью. Он увидел в этом что-то почти оскорбительное для себя и, не будь он рабом вежливости и обходительности, наотрез отказался бы выслушать ее пение. Однако он этого не сделал и согласился послушать ее, несколько, впрочем, поломавшись и ссылаясь на возбужденное состояние своих нервов и боязнь чересчур взволноваться. Метастазियो слышал уже Консуэло, когда та исполняла ораторию из его пьесы «Юдифь», но надо было, чтоб он получил представление о ней и как об оперной певице. Поэтому-то Порпора и настаивал на ее пении.

— Но как же быть, как петь, когда надо бояться его взволновать? — прошептала ему Консуэло.

— Наоборот, надо взволновать его, — также шепотом ответил маэстро. — Он очень бывает рад, когда его выведут из апатии, так как после сильных волнений на него находит поэтическое вдохновение.

Консуэло спела арию из «Ахилла на Скире»<sup>1</sup>, лучшего драматического произведения Метастазियो, положенного на музыку Калдара в 1736 году и поставленного на сцене во время свадебных торжеств Марии-Терезии. Метастазियो был так же поражен ее голосом и умением петь, как и тогда, когда он впервые слышал ее, но он решил замкнуться в натянуто-холодном молчании, подобно ей во время его рассказа о своей болезни. Это ему не удалось, ибо, вопреки всему, почтенный этот человек был настоящим артистом, а когда превосходное исполнение заставляет звучать в душе порта напевы его музыки и напоминает о его триумфах, нет такой неприязни, которая могла бы тут устоять.

Аббат Метастазियो пробовал было бороться с этими всемогущими чарами. Он много кашлял, ерзал в кресле, как человек, отвлекаемый болями, но вдруг, охваченный воспоминаниями, более волнующими, чем воспоминание о славе, закрыл лицо платком и разрыдался. Порпора, сидя за креслом Метастазियो, делал знаки Консуэло не щадить его чувствительности и с лукавым видом потирал руки.

Эти слезы, обильные и искренние, вдруг примирили девушку с малодушным аббатом. Едва окончив арию, она подошла к нему и, поцеловав ему руку, проговорила с искренней сердечностью:

— Ах! Сударь, как я была бы горда и счастлива, видя вас до такой степени растроганным, если бы совесть не мучила меня! Я боюсь, что повредила вам, и это отравляет мою радость!

<sup>1</sup> «Ахилл на Скире» («Achille in Sciro») с текстом Метастазियो был положен на музыку многими композиторами.



*Аббат Метастазио пробовал было бороться с этими всемогущими чарами. Он много кашлял, ерзал в кресле, как человек, отвлекаемый болями, но вдруг, охваченный воспоминаниями, более волнующими, чем воспоминание о славе, закрыл лицо платком и разрыдался.*

— О! Дорогое дитя мое! — воскликнул совершенно покоренный аббат. — Вы не представляете себе, не можете представить то добро и зло, какое вы мне сделали! Никогда до сих пор я не слышал еще женского голоса, до того похожего на голос моей Марианны. А вы так напомнили мне и его, и ее манеру петь, и ее экспрессию, что мне казалось, будто я слышу ее саму. Ах! Вы разбили мое сердце!

И он снова зарыдал.

— Их милость говорит о женщине чрезвычайно известной, которая всегда должна служить для тебя образцом, — о знаменитой, несравненной Марианне Булгарини<sup>1</sup>, — пояснил своей ученице Порпора.

— Романина? — воскликнула Консуэло, — Ах! Я слышала ее, еще будучи ребенком, в Венеции. Это было моим первым сильным впечатлением в жизни, и я этого никогда не забуду!

— Прекрасно вижу, что вы слышали ее, и в вас живет неизгладимая память о ней, — проговорил Метастазιο. — Ах, дитя! Подражайте ей во всем — ее игре, ее пению, ее доброте, ее благородству, ее силе духа, ее самоотверженности! О! Как она была хороша в роли божественной Венеры, в первой опере, написанной мною в Риме! Это ей я обязан своим первым триумфом.

— А она обязана вашей милости своими наибольшими успехами, — заметил Порпора.

— Это правда, мы содействовали успеху друг друга. Но я никогда не мог вполне расквитаться с ней. Никогда столько любви, столько героической самоотверженности и нежной заботливости не обитало в душе смертной! Ангел моей жизни, я буду вечно оплакивать тебя и вечно жаждать, чтоб мы соединились с тобой!

Тут аббат снова залился слезами. Консуэло была чрезвычайно взволнована, Порпора делал вид, что он также растроган, но вопреки желанию выражение его лица оставалось ироническим и презрительным. От Консуэло не ускользнуло это, и она собиралась упрекнуть его в недоверии или черствости. Что касается Метастазιο, он заметил лишь тот эффект, который стремился вызвать, — умиление и восхищение хорошей и доброй Консуэло. Он был поэтом до мозга костей, то есть охотнее проливал слезы на людях, чем наедине в своей комнате, и никогда так сильно не чувствовал своих привязанностей и горестей, как в те моменты, когда красноречиво говорил о них. Охваченный воспоминаниями, он рассказал Консуэло о той поре своей юности, когда Романина играла такую большую роль; рассказал об услугах, оказанных ему этой великодушной подругой, о дочернем внимании ее по отношению к его престарелым родителям, о ее чисто материнской жертве, которую она принесла, расставаясь с ним и отправляя его в Вену искать счастья. И тут, дойдя до сцены прощанья, когда он передал в самых изысканных и трога-

<sup>1</sup> *Марианна Булгарини*, по прозванию Romanina (Римляночка) — певица, самоотверженно помогавшая прославлению Метастазιο, умерла в 1734 г. в Италии.

тельных словах, как его Марианна, с истерзанным сердцем, подавляя рыдания, убеждала его покинуть ее и думать только о самом себе, аббат воскликнул:

— О! Если бы Марианна могла угадать то будущее, которое ждало меня вдали от нее, если бы она могла предвидеть все муки, всю борьбу, весь ужас томления, все превратности судьбы, наконец страшную болезнь — все, что должно было выпасть здесь на мою долю, она отказалась бы и за себя и за меня от такой ужасной жертвы! Увы! Я был далек от мысли, что то было прощание перед вечной разлукой и что нам не суждено больше встретиться на земле!

— Как? Вы больше уже не виделись? — спросила Консуэло с глазами, полными слез, ибо речь Метастазियो необыкновенно очаровывала, — она так и не приехала в Вену?

— Так никогда и не приехала! — ответил Метастазियो с подавленным видом.

— После такого самоотвержения у нее не хватило мужества навестить вас здесь? — снова воскликнула Консуэло, на которую Порпора тщетно кидал свирепые взгляды.

Метастазियो ничего на это не ответил: казалось, он был погружен в свои думы.

— Но она ведь может еще явиться? — продолжала простодушно Консуэло. — И она, конечно, явится. Это счастливое событие вернет вам здоровье.

Аббат побледнел, и на лице его изобразился ужас. Маэстро изо всех сил стал кашлять, и Консуэло, вдруг вспомнив, что Романина умерла больше десяти лет назад, поняла, какую огромную оплошность сделала она, напомнив о смерти этому другу, жаждущему, по его словам, только одного — соединиться в могиле со своей возлюбленной. Она закусила себе губы и вскоре удалилась с учителем, который, по обыкновению, вынес из своего посещения только неопределенные обещания да массу любезностей.

— Что ты, дурочка, наделала! — напал он на Консуэло, как только они вышли.

— Большую глупость, сама вижу. Я совсем позабыла, что Романины давно нет в живых. Но неужели вы думаете, что этот человек, любящий и отчаявшийся, может так сильно дорожить жизнью, как это вам кажется? Мне скорее думается, что горе о потере любимой — единственная причина его болезни, и если некоторый суеверный ужас и заставляет его страшиться смертного часа, то это не мешает ему быть искренне и ужасно утомленным жизнью.

— Дитя, — сказал Порпора, — жить никогда не надоедает, когда ты богат, в чести, обласкан и здоров. Если же человек за всю свою жизнь не имел никогда иных забот и иной страсти, как пользоваться этими благами, то, проклиная существование свое, он лжет и разыгрывает комедию.

— Не говорите, что у него не было других страстей. Он любил Марианну, и я понимаю, почему он назвал этим дорогим именем свою крестницу и племянницу Марианну Мартинес...

Консуэло едва было не прибавила: «ученицу Йозефа», но вдруг спохватилась.



— Договаривай, — сказал Порпора, — свою крестницу, свою племянницу или свою дочь.

— Ходит молва такая; но что мне до этого?

— По крайней мере, это доказало бы, что милый аббат, расставшись со своей возлюбленной, довольно-таки скоро утешился. Но когда ты его спросила (да просветит Господь твой разум!), почему его дорогая Марианна не явилась к нему сюда, он ничего тебе на это не ответил. Так вот я тебе отвечу вместо него. Романина действительно оказала ему наибольшие услуги, какие только мужчина может принять от женщины. Она его хорошо кормила, давала ему приют, одевала, помогала, поддерживала при всяких обстоятельствах. Она способствовала получению им звания *poete cesario*<sup>1</sup>. Она была служанкой, другом, сиделкой, благодетельницей его старых родителей. Все это безусловно верно. У Марианны было великодушное сердце. Я ее хорошо знал. Но верно также, что она страстно желала соединиться с ним, поступив на императорскую сцену. А еще вернее то, что господин аббат совсем не заботился об этом и не допустил этого. Правда, существовала между ними самая нежная в мире переписка. Не сомневаюсь, что послания поэта были шедеврами. Они будут напечатаны. И он это прекрасно знал. Но уверяя свою *dilettissima amica*<sup>2</sup>, что он горит желанием соединиться с ней и неустанно работает над осуществлением их мечты, хитрая лисица устраивала дела таким образом, чтобы злополучная певица не застигла его врасплох среди его прославленной доходной любви с третьей Марианной (ибо это имя было счастливым предопределением в его жизни) — высокородной и всемогущей графиней д'Алтан, фавориткой последнего императора. Говорят даже, что это завершилось тайным браком. Вот почему я нахожу совсем некстати его вопли об этой бедной Романине, которой он предоставил умирать с горя, в то время как сам сочинял мадригалы в объятиях придворных дам.

— Вы все это истолковываете и излагаете с жестоким цинизмом, дорогой учитель, — сказала опечаленная Консуэло.

— Говорю, как всегда; ничего не выдумываю, это всеобщее мнение. Поверь, не все комедианты попадают на сцену, это старинная поговорка.

— Общественное мнение не всегда самое верное и, во всяком случае, никогда не бывает самым милосердным. Да, маэстро, я не могу поверить, чтобы человек с его именем и талантом был не чем иным, как комедиантом. Я видела его неподдельные слезы, и если даже он может упрекнуть себя в том, что слишком скоро забыл свою первую Марианну, то его раскаяние только усилило бы искренность его теперешних сожалений. Во всем этом я предпочитаю видеть скорее слабость, чем низость. Его сделали аббатом. Его осыпали милостями. Двор отличался набожностью. Его связь с актрисой произвела бы большой скандал. Он не хотел непременно изменить Буларини, обмануть ее, а боялся, колебался, стремился выиграть время... тут она умерла...

<sup>1</sup> Придворный поэт (ит.)

<sup>2</sup> Любезнейшую подругу (ит.)



— А он возблагодарил провидение, — добавил безжалостный маэстро. — Теперь же наша императрица шлет ему ящички и кольца с бриллиантовым шифром, ручки для перьев из лапис-лазури, украшенные лавровыми листочками из бриллиантов, массивные золотые вазы с испанским табаком, печатки, сделанные из крупного цельного бриллианта, и все это так ярко сверкает, что глаза поэта не перестают слезиться...

— Да разве все это может утешить его в том, что он разбил сердце Романины?

— Весьма возможно, что нет. Но жажда всего этого побудила его на такой поступок. Жалкое тщеславие! И мне трудно было удержаться от смеха, когда он показывал нам свой золотой подсвечник с золотым колпачком, на котором по повелению императрицы было выгравировано: «*Perché possa risparmiare i suoi occhi*»<sup>1</sup>.

Действительно, это очень трогательно и заставляло его высокопарно восклицать: «*Affettuosa espressione valutabile più assai dell' oro!*»<sup>2</sup>

— О бедняга! О несчастный человек! — со вздохом проговорила Консуэло.

Она вернулась домой в очень печальном настроении, так как с ужасом невольно сопоставляла поведение Метастазियो по отношению к Марианне со своим собственным по отношению к Альберту.

«Ждать и, не дождавшись, умереть, — неужели это судьба людей, испытывающих страстную любовь? Заставлять ждать и убивать, неужели это удел тех, кто гонится за призраком славы?» — говорила она себе.

— О чем ты так задумалась? — спросил ее маэстро. — Мне кажется, что все идет хорошо, и несмотря на сделанные тобой оплошности ты покорила Метастазियो.

— Невелика победа над слабой душой, — ответила она, — и мне кажется, что у того, у кого не хватило мужества устроить на императорскую сцену Марианну, оно вряд ли найдется, чтоб поместить меня.

— Метастазियो в вопросах искусства будет впредь руководить императрицей.

— Метастазियो в вопросах искусства посоветует императрице только то, что, видимо, будет угодно ей, и сколько бы ни говорили о фаворитах и советниках ее величества... Я видела лицо императрицы и говорю вам, маэстро, что Мария-Терезия слишком большой политик, чтобы иметь любовников, и слишком повелительного характера, чтобы иметь друзей.

— Ну, тогда надо завоевать саму императрицу, — озабоченно проговорил Порпора. — Надо, чтобы когда-нибудь утром ты спела в ее покоях и она поговорила с тобой, побеседовала. Уверяют, что она любит людей только добродетельных. Если Мария-Терезия действительно обладает тем орлиным взором, какой ей приписывают, она поймет, какова ты, и окажет тебе предпочтение. Я хочу пустить в ход все, чтобы она увидела тебя с глазу на глаз.

<sup>1</sup> Дабы он смог сберечь свои очи (ит.)

<sup>2</sup> Изъявление дружеских чувств гораздо ценнее золота! (ит.)

## ХС

Однажды утром Йозеф, натирая пол в передней Порпора, упустил из виду, что перегородка тонка, а сон маэстро чуток, и машинально стал напевать вполголоса какую-то музыкальную фразу, пришедшую ему на память, сопровождая пение ритмическим движением щетки по полу. Порпора, недовольный, что его разбудили раньше времени, нервно поворочался в своей кровати, затем попытался снова заснуть, но, преследуемый этим красивым, свежим голосом, поющим верно и легко грациозную, прекрасно отделанную музыкальную фразу, накинул на себя халат и, наполовину очарованный тем, что слышит, наполовину рассерженный на артиста, не дождавшегося его пробуждения и бесцеремонно явившегося к нему сочинять свои арии, встал, чтобы поглядеть сквозь замочную скважину. Но каково же было его удивление: это пел Беппо, пел и мечтал, преследуя свою музыкальную идею и продолжая с озабоченным видом уборку комнаты.

— Что ты там поешь? — громовым голосом обратился к нему маэстро, внезапно открывая дверь.

Йозеф, растерявшись, подобно человеку, вдруг разбуженному, чуть было не бросил щетку с метелкой и не выбежал из дома; но хотя он давно уже потерял надежду стать учеником Порпора, все-таки считал за счастье слушать, как Консуэло занимается с маэстро, и пользоваться втихомолку, в отсутствие учителя, уроками этого великодушного друга. Поэтому он ни за что на свете не хотел быть выгнанным и поспешил солгать, чтобы рассеять подозрения.

— Что я пою? — повторил он смущенно. — Да я сам не знаю, маэстро.

— Разве поют то, чего не знают? Ты лжешь!

— Уверю вас, маэстро, я не знаю, что пел. Вы так меня напугали, что я уже забыл. Конечно, я страшно виноват: не следовало петь подле вашей комнаты; очень уж я рассеян. Мне показалось, что я где-то далеко отсюда и в полном одиночестве; тогда я сказал себе: теперь ты можешь петь — никого нет, кто бы тебе сказал: «Замолчи, невежда: поешь фальшиво; замолчи, скотина: ты так и не смог научиться музыке».

— Кто сказал тебе, что ты поешь фальшиво?

— Да все говорили.

— А я говорю тебе, — закричал строгим голосом маэстро, — что ты поешь не фальшиво. А кто же пробовал учить тебя музыке?

— Ну... например, маэстро Ройтер, которого бреет мой друг Келлер, и Ройтер прогнал меня с урока, говоря, что из меня ничего, кроме осла, не выйдет.

Йозефу достаточно уже были известны антипатии маэстро, чтобы знать, какого невысокого мнения тот был о Ройтере, и он даже рассчитывал войти



— Что ты там поешь? — громовым голосом обратился к нему маэстро, внезапно открывая дверь.

в милость к Порпора, если Ройтер дурно отзовется при нем о своем бывшем ученике. Но Ройтер во время своих редких посещений, встречая Йозефа в прихожей, даже не удостоивал его узнавать.

— Маэстро Ройтер — сам осел, — сквозь зубы пробормотал Порпора, — но дело в том, — добавил он уже громко, — что я хочу знать, откуда ты выудил эту музыкальную фразу.

И маэстро пропел ту фразу, которую Йозеф по рассеянности заставил его прослушать десять раз подряд.

— Ах, эту! — сказал Гайдн, которому показалось, что маэстро уже несколько лучше настроен, хоть он и боялся еще верить этому.

— Я слышал, как ее пела синьора.

— Консуэло? Моя дочь? А я этого не знаю. Ах! Так ты, значит, подслушиваешь у дверей?

— О нет, сударь! Но музыка разносится из комнаты в комнату и доходит до кухни, — невольно слышишь...

— Мне не нравится прислуга с такой памятью, прислуга, которая будет распевать на улице наши неизданные еще произведения. Сегодня же вы уложите свои вещи и вечером отправитесь искать себе место.

Этот приговор как громом поразил бедного Йозефа, и он пошел плакать на кухню. Скоро туда к нему явилась Консуэло и, выслушав рассказ о его злоключениях, успокоила его и обещала все уладить.

— Как, маэстро? — обратилась она к Порпора, подавая ему кофе. — Ты собираешься выгнать этого бедного мальчика, трудолюбивого и верного, только за то, что ему в первый раз в жизни удалось спеть, не сфальшивив?

— Говорю тебе, что этот малый — интриган и наглый лгун. Он подослан ко мне каким-нибудь недругом, дабы выведать мои еще неизданные произведения и присвоить их себе, раньше чем они увидят свет. Ручаюсь, что этот плут знает уже наизусть мою новую оперу и за моей спиной переписывает мои рукописи. Сколько раз предавали меня подобным образом! Сколько своих замыслов встречал я в красивых операх, привлекавших всю Венецию, в то время как слушатели зевали, говоря: «Этот старый пустомеля Порпора потчует нас новинками, которые затаскали на всех перекрестках». И вот дуралей себя выдал: сегодня утром он спел отрывок, который может исходить только от господина Гассе. Его я хорошо запомнил, запишу и из мести помещу в свою новую оперу, чтобы отплатить Гассе за шутики, которые он не раз продсывал со мной.

— Берегитесь, маэстро, фраза эта, может, уже была издана. Вы ведь не знаете на память всех современных произведений.

— Но я слышал их и говорю тебе, что эта фраза — слишком выдающаяся, чтобы я не обратил на нее внимания.

— В таком случае, маэстро, большое спасибо. Горжусь похвалой: фраза эта моя!

Консуэло лгала: музыкальная фраза, о которой шла речь, только этим утром родилась в голове Гайдна. Но она приготовилась и уже успела выучить



эту фразу наизусть, чтоб не попасть впросак перед недоверчивым, пытливым учителем. Порпора не преминул попросить, чтоб она спела злополучную фразу. Консуэло тотчас же исполнила это и заявила, что накануне, желая угодить Метастазию, попробовала положить на музыку первые строфы его красивой пасторали:

Già riede la primavera  
Col suo florito aspetto ;  
Già il grato zeffiretto  
Scherza fra l'erbe e i fior.  
Tornan le frondi agli alberi,  
L'herbette al prato tornano;  
Sol non ritorna a me  
La pace del mio cor.<sup>1</sup>

— Много раз повторяла я свою первую фразу, — прибавила она, — как вдруг услышала, что маэстро Беппо, словно настоящая канарейка, распевает в передней эту самую фразу вкривь и вкось. Это вывело меня из терпения, и я попросила его замолчать. Но через час он опять принялся твердить эту фразу на лестнице в таком искаженном виде, что отбил у меня всякую охоту продолжать свое сочинительство.

— А почему он так хорошо поет ее сегодня? Что же случилось во время его сна?

— Сейчас объясню тебе, учитель: я обратила внимание на то, что у малого красивый голос и даже верный, а что поет он фальшиво благодаря недостатку слуха, развития и памяти. И вот я, ради забавы, занялась постановкой его голоса: заставила его петь гаммы по твоей методе, чтоб убедиться, выйдет ли из этого какой-нибудь толк, даже при жалкой музыкальности.

— Толк должен выйти при всякой музыкальности! — воскликнул Порпора. — Не существует фальшивых голосов, и никогда слух, упражняемый...

— Это самое я себе и говорила, — прервала его Консуэло, стремившаяся как можно скорее прийти к намеченной цели. — Так оно и вышло. Мне удалось при помощи системы твоего первого урока внушить этому дуралею то, что во всю жизнь он не мог даже заподозрить, учась у Ройтера и всех этих немцев. После этого я пропела ему свою фразу, и она впервые дошла до его слуха по-настоящему. Тут он и сам смог немедленно пропеть ее и так пора-

<sup>1</sup> Весна настала снова,  
Природа вся в цвету,  
И веет тихий ветер  
И шелестит в лесу.  
Деревья зеленеют  
И травка на лугу,  
Лишь я в печальном сердце  
Покоя не найду. (ит.)



зился, пришел в такой восторг, что, пожалуй, всю ночь потом не сомкнул глаз. Это явилось для него каким-то откровением. «О синьора, — говорил он мне, — если б так учили меня, я, быть может, смог бы научиться, как и всякий другой, но признаюсь вам, что я никогда ничего не в состоянии был понять из того, чему обучали меня в певческой школе святого Стефана».

— Так он действительно был в певческой школе?

— Он был оттуда постыдно выгнан; тебе стоит только спросить о нем у маэстро Ройтера, и тот тебе скажет, что это прощельяга, лишенный каких бы то ни было музыкальных способностей, из которого ровно ничего нельзя сделать.

— Ну, иди-ка сюда, ты! — закричал Порпора Йозефу, проливавшему за дверью горькие слезы. — Стань подле меня, я хочу убедиться, понял ли ты урок, данный тебе вчера.

Тут хитрый маэстро принялся объяснять Йозефу основы музыки много-словно, педантично и запутанно — словом, по тому способу, который Порпора в насмешку приписывал немецким маэстро.

Если б Йозеф, знавший слишком много, чтобы не понять этих основных начал, несмотря на все старание маэстро сделать их неясными, обнаружил свою смышленность, все бы пропало. Но юноша был достаточно хитер, чтоб не попасться в ловушку, и выказал явную тупость, которая в конце концов успокоила маэстро.

— Я вижу, что ты очень недалек, — сказал он, вставая и продолжая притворяться, что, однако, не ввело в заблуждение ни Консуэло, ни Йозефа.

— Вернись к своей метле и старайся больше не петь, если хочешь оставаться у меня в услужении.

Но по прошествии двух часов, не будучи в состоянии удержаться и подзадориваемый любовью к делу, которым теперь пренебрегал, после того как так долго подвигался в нем без соперников, Порпора снова превратился в преподавателя пения и позвал Йозефа, чтобы заняться с ним. Он изложил ему те же основы, но на этот раз с той ясностью, с той могучей глубокой логикой, которая все проясняет, все ставит на место, — словом, с той невероятной простотой, на которую способен только гений.

На этот раз Гайдн догадался, что может уже проявить понятливость, а Порпора был в восторге от своего успеха. Хотя маэстро преподавал ему то, что он долго изучал и знал в совершенстве, но урок этот представлял для Йозефа огромный интерес и принес ему несомненную пользу: он постиг, как надо преподавать. И так как в часы, когда Порпора не нуждался в его услугах, Йозеф, стремясь не потерять своей скудной клиентуры, давал несколько уроков в городе, то решил сейчас же применить полученные указания.

— В добрый час, господин профессор, — сказал он Порпора в конце урока, продолжая притворяться простачком, — я предпочитаю вот эту музыку той, и мне кажется, что смогу выучиться ей. Что же касается музыки, о которой вы говорили сегодня утром, так я согласился бы скорее вернуться в певческую школу, чем ломать себе голову над этой музыкой.

— А между тем это та самая, которой обучали тебя в певческой школе. Да разве, олух, есть две музыки? Музыка едина, как один Господь Бог!

— О! Прошу извинения, сударь! Есть музыка маэстро Ройтера, — она надоедает мне, — и есть ваша, которая не надоедает.

— Много чести для меня, господин Беппо, — смеясь, сказал Порпора, которому этот комплимент пришелся по вкусу.

Начиная с этого дня Гайдн стал брать уроки у Порпора, и вскоре они приступили к изучению итальянского пения и основ лирической композиции, чего так жаждал достойный юноша и к чему так мужественно стремился. Он делал такие быстрые успехи, что маэстро одновременно был очарован, удивлен и подчас даже испуган.

Когда Консуэло замечала, что у маэстро могут пробудиться прежние подозрения, она учила своего друга, как надо ему вести себя, чтоб их рассеять. Немного непонятливости и притворная рассеянность были порой необходимы, чтобы гений и страсть к преподаванию пробуждались в Порпора, как это всегда бывает у высоко одаренных людей, которых препятствия и борьба делают более энергичными и сильными.

Часто приходилось Йозефу притворяться вялым иди упрямым, чтобы, разыгрывая роль лентяя, добиться драгоценных уроков, при одной мысли лишиться которых он приходил в содрогание. Удовольствие перечить и потребность подчинять себе подзадоривали сварливую, воинственную душу старого профессора, и никогда Беппо не получал таких познаний, как в те минуты, когда он вырывал их у раздраженного и иронически настроенного маэстро вместе с четкими, красноречивыми и пылкими выводами.

В то время как дом Порпора был ареной таких, казалось, пустячных происшествий, следствия которых, однако, сыграли огромную роль в истории искусства, ибо гений одного из самых плодовитых и знаменитых композиторов прошлого века получил тут свое развитие и свою санкцию, вне дома Порпора совершались события, имевшие более непосредственное влияние на жизненный роман Консуэло.

Корилла, проявлявшая гораздо больше активности в борьбе за собственные интересы и более способная выйти победительницей, день ото дня отвоевывала позиции и, уже совсем оправившись после родов, вела переговоры о своем поступлении на императорскую сцену. Искусная певица, но посредственная артистка, она гораздо более, чем Консуэло, нравилась директору и его жене. Они оба прекрасно чувствовали, что ученая Порпорина отнесется свысока, хоть и не выкажет этого, как к операм маэстро Гольцбауэра, так и к таланту госпожи его супрути. Они также хорошо знали, что великие артисты, окруженные плохими партнерами, вынужденные передавать ничтожные произведения, не всегда проявляют под гнетом насилия над своим вкусом и совестью тот рутинный подъем, тот наивный жар, которые развязно вносят посредственности в исполнение самых низкопробных произведений и в тягостную какофонию плохо разученных и плохо понимаемых их товарищами сочинений.

И даже когда чудом своей воли и таланта им удастся подняться высоко и над своей ролью и над своим окружением, это завистливое окружение не чувствует к ним благодарности. Композитор, догадываясь об их душевных муках, дрожит и ежеминутно боится, чтобы это искусственное воодушевление вдруг не остыло и не подорвало его успеха. Сама публика, удивленная и безотчетно смущенная, угадывает эту чудовищную аномалию гения, поработанного вульгарной идеей, рвущегося из тесных оков, в которые он позволил заковать себя, и, чуть ли не вздыхая, аплодирует его мужественным усилиям. Что касается господина Гольцбауэра, он прекрасно отдавал себе отчет в том, как мало Консуэло ценила его музыкальные произведения. К несчастью, она однажды сама сообщила ему об этом. Переодетая мальчиком, считая, что имеет дело с одним из тех лиц, которых встречаешь во время путешествий в первый и последний раз, она высказалась откровенно, не подозревая, что вскоре ее судьба артистки будет в руках этого незнакомца, друга каноника.

Гольцбауэр не забыл этого и, обиженный до глубины души, спокойный, сдержанный, вежливый, поклялся закрыть ей путь к артистическому поприщу. Но так как ему не хотелось, чтобы Порпора, его ученица и те, которых он называл их партией, могли обвинить его в мелочной мстительности и низкой обидчивости, он только своей жене рассказал о встрече с Консуэло и о происшедшем за завтраком в доме священника разговоре. Эта встреча, казалось, прошла незаметной для господина директора. По-видимому, он забыл самое лицо маленького Бертони и совершенно не подозревал, что этот странствующий певец и Порпорина могли быть одним и тем же существом.

Консуэло терялась в догадках об отношении к ней Гольцбауэра.

— Очевидно, я была очень хорошо переодета во время нашего путешествия, — делилась она своими мыслями с Беппо, оставшись с ним наедине, — и, значит, прическа совершенно изменила мне лицо, раз этот человек, так приглядывавшийся ко мне своими ясными, проницательными глазами, совершенно не узнает меня здесь.

— Граф Годиц также не узнал вас, увидев в первый раз у посланника, — заметил Йозеф, — и быть может, не получи он вашей записки, так бы никогда и не признал бы вас.

— Прекрасно! Но у графа Годица привычка смотреть на людей каким-то поверхностным, небрежно-гордым взглядом, вследствие чего он, в сущности, никого не видит. Я уверена, что тогда в Пассау он так бы и не догадался, что я женщина, не сообщи ему этого барон Тренк. Гольцбауэр же, как только увидел меня здесь, и вообще каждый раз, как мы встречаемся, глядит на меня с таким же вниманием и любопытством, как тогда в доме священника. И почему, спрашивается, сохраняет он великодушно втайне мое сумасбродное приключение, которое могло бы повредить моей репутации, перетолкуй он его в дурную сторону, и даже посорить меня с учителем, считающим, что я прибыла в Вену без всяких потрясений, препятствий и романтических происшествий? А в то же время этот самый Гольцбауэр втихомолку поносит и мой голос и мою

методу, вообще всячески злословит на мой счет, чтобы не быть вынужденным пригласить меня на императорскую сцену. Он ненавидит и хочет устранить меня, а имея в руках самое мощное против меня оружие, почему-то не пускает его в ход. Я просто теряюсь в догадках!

Разгадка этого скоро была обнаружена Консуэло. Но раньше, чем читать о дальнейших ее приключениях, надо припомнить, что многочисленная и сильная партия работала против нее, что Корилла была красива и доступна, что могущественный министр Кауниц часто навещал ее, что он любил вмешиваться в закулисные интриги, а Мария-Терезия, отдыхая от государственных дел, забавлялась его болтовней обо всех этих предметах и, в душе смеясь над маленькими слабостями великого человека, сама находила удовольствие в театральных сплетнях, видя в них зрелище, напоминавшее ей в миниатюре, но с откровенным бесстыдством то, что представляли в эту эпоху три самых влиятельных двора Европы, управляемые интригами женщин: ее собственный двор, двор русской царицы и двор госпожи Помпадур.

## XCI

Известно, что Мария-Терезия давала аудиенцию раз в неделю каждому желающему с ней говорить.

То был лицемерно-отеческий обычай, которого потом свято придерживался ее сын Иосиф II и который еще и поныне сохранился при австрийском дворе. Помимо этого, Мария-Терезия очень легко давала особые аудиенции лицам, желающим поступить к ней на службу, да и вообще никогда не бывало государыни более доступной, чем она.

Порпора получил наконец аудиенцию. Он рассчитывал, что императрица, увидав открытое, честное лицо Консуэло, по всей вероятности проникнется особенной симпатией к ней. По крайней мере, маэстро надеялся на это. Зная, как требовательна императрица относительно нравственности и благопристойности, он говорил себе, что Мария-Терезия, без сомнения, будет поражена той скромностью и непорочностью, которые светились во всем существе его ученицы.

Их ввели в одну из маленьких гостиных дворца, куда был перенесен клавесин и куда через полчаса явилась императрица.

Она только что принимала высокопоставленных особ и была еще в парадном туалете, такой, какой изображена на золотых цехинах: в парчовом платье, в императорской мантии, с короной на голове и с маленькой венгерской саблей сбоку. Она была действительно красива в таком виде, но не величественна и не идеально царственна, как описывали ее придворные, а свежа, весела, с открытым, счастливым лицом, с доверчивым, смелым взглядом. То был и вправду «король» Мария-Терезия, которую венгерские магнаты в минуту

энтузиазма возвели на престол с саблей в руке; но, на первый взгляд, это был скорее добрый, чем великий король. В ней не было кокетства, и простота ее обращения говорила о ясности души, лишенной женского коварства. Когда она пристально смотрела на вас и особенно когда с настойчивостью допрашивала, можно было уловить в этом смеющемся, приветливом лице лукавство и даже холодную хитрость. Но хитрость эта была мужская, если хотите, императорская.

— Вы мне дадите сейчас возможность послушать свою ученицу, — сказала она Порпора, — я уже осведомлена, что у нее большие знания, великолепный голос, и я не забыла того удовольствия, которое она доставила мне при исполнении оратории «Освобожденная Бетулия». Но предварительно я хочу поговорить с ней наедине. Мне надо спросить ее кое о чем, и так как я думаю, что она будет чистосердечна, надеюсь, что смогу оказать ей покровительство, которого она у меня просит.

Порпора поспешил выйти, прочтя в глазах ее величества желание остаться совсем наедине с Консуэло. Он удалился в соседнюю галерею, где ужасно продрог, ибо двор, разоренный расходами на войну, соблюдал чрезвычайную экономию, а характер Марии-Терезии еще больше этому способствовал.

Очутившись с глазу на глаз с дочерью и матерью императоров, героиней Германии и самой великой женщиной Европы того времени, Консуэло, однако, не почувствовала ни волнения, ни смущения. Беспечность ли артистки делала ее равнодушной к военному великолепию, блиставшему вокруг Марии-Терезии и отражавшемуся на самом ее туалете, или потому что благородная искренняя душа девушки чувствовала себя морально сильной, только Консуэло ждала спокойно, без всякого волнения, пока ее величеству угодно будет обратиться к ней с вопросом.

Императрица опустила на диван, слегка поправила усыпанную драгоценными камнями перевязь, которая давила и стесняла ее белое круглое плечо, и начала так:

— Повторяю, дитя мое, я очень высокого мнения о твоем таланте и не сомневаюсь в том, что ты прекрасно училась и много знаешь по своей специальности, но как тебе, наверно, известно, в моих глазах талант не имеет значения без хорошего поведения, и я ценю чистую, благочестивую душу выше гениальности.

Консуэло, стоя, почтительно выслушала это вступление, но не усмотрела в нем приглашения воздать хвалу самой себе, а так как она вообще питала смертельное отвращение к хвастовству своими добродетелями, проявляемыми ею с величайшей простотой, она молча ждала, чтобы императрица спросила ее более определенно о ее принципах и намерениях.

А между тем тут-то и была удобная минута обратиться к монархине с ловко составленным мадригалом о своем ангельском благочестии, о своих высоких добродетелях и о невозможности плохо вести себя, имея перед глазами такой образец, как сама императрица. Бедной же Консуэло даже и в голову не пришло использовать такой момент. Чуткие души боятся оскорбить великого человека банальной похвалой. Но монархи, хотя и не заблуждаются относительно этой грубой лести,



тем не менее так привыкли вдыхать ее, что требуют ее как проявления почтения к себе, как этикета. Марию-Терезию удивило молчание молодой девушки, и она снова заговорила, уже менее ласково и не таким ободряющим тоном:

— Я же знаю, моя милая девочка, что вы довольно легкого поведения и что, не будучи замужем, вы здесь живете в недозволенной близости с молодым человеком вашей профессии; имя его я забыла.

— Могу ответить вашему величеству только одно, — промолвила, наконец, Консуэло, взволнованная несправедливостью этого грубого обвинения, — никогда не сделала я ничего такого, воспоминание о чем могло бы помешать мне выдержать взгляд вашего величества с искренней гордостью и благодарной радостью.

Мария-Терезия была поражена выражением достоинства и силы, появившихся в этот момент на лице Консуэло. На пять-шесть лет раньше императрица несомненно отнеслась бы к этому сочувственно, ей бы это понравилось, но теперь Мария-Терезия была уже королевой до мозга костей, и сознание своей силы приучило ее к какому-то упоению властью, когда хочется, чтобы все пред тобой гнулось и ломалось.

Мария-Терезия желала быть и как государыня и как женщина единственным сильным существом в своем государстве. И потому ей показались оскорбительными и гордая улыбка, и смелый взгляд этой юной девушки, бывшей перед ней ничтожным червяком. Она собиралась было позабавиться Консуэло, как рабыней, заставив ее из любопытства болтать.

— Я спросила вас, сударыня, об имени молодого человека, живущего с вами у маэстро Порпора, но вы мне этого не сказали, — снова проговорила императрица ледяным тоном.

— Его зовут Йозеф Гайдн, — не смущаясь, ответила Консуэло.

— И вот из любви к вам он поступил в услужение к маэстро Порпора в качестве лакея, причем маэстро Порпора не подозревает действительных побуждений молодого человека, а вы, зная это, поощряете его.

— Меня оклеветали перед вашим величеством: этот молодой человек никогда не был влюблен в меня (Консуэло была уверена, что говорит правду), и я даже знаю, что он любит другую. А если мы и обманываем немного моего уважаемого учителя, то вызывается это причинами невинными и, быть может, даже почтенными. Только любовь к искусству могла заставить Йозефа Гайдна поступить в услужение к Порпора. И раз ваше величество удостоивает взвешивать поступки своих самых незначительных подданных, а я считаю невозможным, чтобы что-либо укрылось от вашей всевидящей справедливости, то уверена, что вы, ваше величество, оцените мою искренность, как только пожелаете снизить до рассмотрения моего дела.

Мария-Терезия была слишком проницательна, чтобы не почувствовать правды. Она еще не утратила всего идеализма, присущего юности, хотя уже скатывалась по роковому спуску неограниченной власти, гасящей малопомалу веру в самых великодушных сердцах.

— Дитя, я верю, что вы правдивы, и вид у вас целомудренный, но я замечаю в вас большую гордость и недоверие к моему материнскому сердцу. И я боюсь, что ничего не смогу для вас сделать.

— Если я имею дело с материнским сердцем Марии-Терезии, — ответила Консуэло, растроганная этим выражением, банального оттенка которого, бедняжка, увы, не понимала, — то я готова стать пред этим сердцем на колени и молить его, но, если это...

— Продолжайте, дитя мое, — промолвила Мария-Терезия, которой почему-то безотчетно хотелось, чтоб это оригинальное существо упало перед ней на колени, — выскажите до конца свою мысль.

— Если же я имею дело с правосудием вашего императорского величества, то, будучи совершенно невинна, подобно чистому дыханию, неспособному заразить воздух, которым дышат сами боги, я чувствую в себе всю гордость, необходимую, чтобы быть достойной вашего покровительства.

— Порпорина, — проговорила императрица, — вы умная девушка, и ваша оригинальность, способная оскорбить другую, мне по душе. Я уже сказала вам, что считаю вас искренней, и тем не менее знаю, что вам есть в чем исповедоваться передо мной. Почему колеблетесь вы это сделать? Хотя ваши отношения и чисты, — я не хочу в этом сомневаться, — но вы любите Йозефа Гайдна. Вы любите его, поскольку из-за одного только удовольствия чаще видетесь с ним, из-за одной только, допустим, даже заботы о его музыкальных успехах у Порпора вы отважно рискуете своей репутацией, то есть тем, что есть самого священного, самого важного в нашей женской доле. Но, быть может, вы боитесь, что ваш учитель, ваш приемный отец не согласится на этот брак с бедным, неизвестным артистом? Быть может, — хочу верить всему, что вы говорили, — молодой человек любит другую, и вы, будучи, как я вижу, девушкой гордой, скрываете свою любовь и великодушно жертвуете своей репутацией, не извлекая из этого самопожертвования никакого личного удовлетворения. И вот, милая девочка, будь я на вашем месте, представься мне такой случай, как вам сейчас, случай, который, быть может, не повторится больше, я открыла бы сердце своей государыне и сказала ей: «Вам, которая все может и хочет мне добра, вручаю свою судьбу; уничтожьте все препятствия. Одним вашим словом вы можете изменить намерения и моего опекуна и моего возлюбленного. Вы можете осчастливить меня, вернуть мне всеобщее уважение и поставить меня в такое почетное положение, что я посмею надеяться поступить на императорскую сцену». Вот какое доверие вы должны были бы питать к материнской заботливости Марии-Терезии, и мне прискорбно, что этого вы не поняли.

«Я прекрасно понимаю, — думала про себя Консуэло, — что по какому-то странному капризу избалованного ребенка-деспота, тебе хочется, великая государыня, чтобы "цыганочка" обняла твои колени, так как тебе кажется, что ее колени не хотят сгибаться перед тобой, а это для тебя случай небывалый. Но ты не дождешься этой забавы, разве только докажешь мне, что заслуживаешь моего уважения».

Все это и многое другое промелькнуло в ее голове, пока Мария-Терезия читала ей наставления. Консуэло сознавала, что играла судьбой Порпора, зависевшей от фантазии императрицы, и что будущность учителя стоит того, чтоб немного смириться. Но ей не хотелось смиряться понапрасну. Ей не хотелось разыгрывать комедию с коронованной особой, которая, конечно, умела это делать не хуже ее самой. Она все ждала, чтоб Мария-Терезия показала себя действительно великой, дабы быть в состоянии искренне преклониться перед нею.

Когда императрица закончила свое поучение, Консуэло сказала:

— Я отвечу на все, что ваше величество соблаговолило мне высказать, если вашему величеству угодно будет мне приказать.

— Да говорите, говорите же, — настаивала императрица, раздосадованная таким самообладанием.

— Итак, скажу вашему величеству, что в первый раз в своей жизни я слышу из ее царственных уст, что моя репутация скомпрометирована присутствием Йозефа Гайдна в доме моего учителя. Я считала себя слишком незаметной, чтобы стать предметом обсуждения общества, и если бы мне сказали, когда я отправлялась во дворец, что сама императрица обсуждает мое положение и порицает его, я подумала бы, что мне это приснилось.

Мария-Терезия прервала ее. В словах Консуэло ей почудилась ирония.

— Вы не должны удивляться, — проговорила она несколько напыщенно, — что я вхожу во все малейшие подробности жизни существ, за которые отвечаю перед Богом.

— Можно удивляться тому, чем восхищаешься, — ловко ответила Консуэло, — и если великие поступки отличаются величайшей простотой, они тем не менее так редки, что в первую минуту могут поразить нас.

— Кроме того, — продолжала императрица, — надо, чтоб вы поняли, почему я особенно интересуюсь вами и всеми артистами, которыми люблю украшать свой двор. Театр во всех других странах — школа соблазна, очаг всяких мерзостей. Я имею притязание, несомненно похвальное, если даже и невыполнимое, обелить пред людьми и нравственно очистить пред Богом сословие актеров — предмет слепого презрения и даже церковного отлучения у многих народов. В то время как во Франции церковь закрывает им свои двери, я хочу, чтоб здесь церковь приняла их в лоно свое. Я никогда не допускала ни в свою Итальянскую оперу, ни в свой Театр французской комедии, ни в свой Национальный театр никого, кроме людей испытанной нравственности или лиц, твердо решивших изменить свое поведение. Надо вам сказать, что я женю своих артистов и даже бываю восприемницей их детей при крещении, твердо решив всевозможными милостями поощрять законное рождение детей и супружескую верность.

«Знай мы это, — подумала Консуэло, — мы просили бы ее величество быть крестной матерью Анджелы, вместо меня».

— Ваше величество сеет, чтобы собрать урожай, — сказала она вслух. — Будь я грешна, я была бы счастлива найти в вашем величестве исповедника такого же милосердного, как сам Господь Бог. Но...

— Продолжайте то, что вы собирались сказать, — высокомерно проговорила Мария-Терезия.

— Я хотела сказать, — снова заговорила Консуэло, — что не проявила никакой особенной самоотверженности по отношению к Йозефу, поскольку ничего не знала об обвинениях, взводимых на меня из-за его пребывания в том доме, где я живу.

— Понимаю, — сказала императрица, — вы отрицаете все!

— Как могу я сознаться в том, чего нет, — ответила Консуэло, — я совсем не влюблена в ученика Порпора и не имею ни малейшего желания выйти за него замуж. «А будь это иначе, — подумала она про себя, — я не хотела бы получить его сердце по императорскому указу».

— Итак, вы не хотите выходить замуж? — спросила императрица, поднимаясь. — Тогда заявляю вам, что положение незамужней не дает всех желательных для меня гарантий чести. К тому же и не приличествует молодой особе появляться в некоторых ролях и изображать страсти, не имея санкции брака и покровительства мужа. От вас зависело получить у меня предпочтение перед вашей соперницей госпожой Кориллой; хотя мне и говорили о ней много хорошего, но итальянское ее произношение гораздо хуже вашего. Госпожа же Корилла замужем и имеет ребенка, что создает ей условия, более заслуживающие моего одобрения, чем те, в которых вы упорно желаете оставаться.

— Замужем, — невольно сквозь зубы прошептала бедная Консуэло, взволнованная тем, какую добродетельную особу добродетельнейшая и проницательнейшая императрица предпочитает ей.

— Да, замужем, — ответила императрица повелительным тоном, раздраженная сомнением, высказанным насчет ее избранницы. — Она недавно произвела на свет ребенка, которого препоручила одному почтенному и ревностному служителю церкви, господину канонику, дабы он воспитал его в христианском духе. И без всякого сомнения, это достойное лицо не взяло бы на себя такой тяжелой обязанности, не заслуживая мать ребенка его полного уважения.

— Я также в этом нисколько не сомневаюсь, — ответила девушка, утешенная в своем негодовании тем, что каноник заслужил одобрение, а не порицание за усыновление, навязанное святому отцу ею самою.

«Вот как пишется история и как все доходит до королей!» — сказала она себе, когда императрица с величественным видом вышла из гостиной, на прощание слегка кивнув ей головой. «Что ж, — утешала она себя, — у самых плохих вещей имеется всегда хорошая сторона, и из заблуждений людей подчас получаются хорошие результаты. У каноника не отнимут его прекрасной приории, не лишат Анджелу ее доброго каноника, Корилла исправится, раз в это дело вмешивается императрица, а я все-таки не стала на колени перед женщиной, которая вовсе не лучше меня!»

— Ну, что? — закричал сдавленным голосом Порпора, ждавший ее в галерее, дрожа от холода и нервно потирая руки от волнения. — Надеюсь, мы победили?

— Напротив, дорогой учитель, мы с вами потерпели поражение, — ответила Консуэло.

— С каким спокойствием ты это говоришь, черт тебя побери!

— Здесь этого не нужно говорить, маэстро. Черт не в милости при дворе! Когда переступим порог последней двери дворца, я все расскажу вам.

— Ну, что? — нетерпеливо снова спросил Порпора, когда они были уже на валу.

— Помните, как мы с вами выразились относительно великого министра Кауница, выйдя от маркграфини?

— Мы тогда решили, что это старая сплетница. И что ж? Он нам повредил?

— Вне всякого сомнения. А теперь скажу вам, что ее величество императрица австрийская и королева венгерская — такая же сплетница.

## XCII

Консуэло рассказала Порпора только то, что ему надлежало знать из причин, навлекших на нашу героиню немилость Марии-Терезии. Остальное опечалило бы маэстро, обеспокоило бы его и, пожалуй, вооружило против Гайдна, ничего при этом не исправив. Не хотела Консуэло также говорить и своему юному другу о том, о чем умолчала перед Порпора. Она пренебрегала не без основания какими-то неопределенными обвинениями, которые несомненно были переданы императрице двумя-тремя враждебными лицами и не получили в публике никакого распространения. Посланник Корнер, которому она нашла нужным все рассказать, так же, как она, посмотрел на это дело и, чтоб не дать злобе возможности взрастить эти семена клеветы, принял очень разумные и великодушные меры. Посланник уговорил Порпора переехать вместе с Консуэло в его дворец, а Гайдн поступил на службу в посольство в качестве одного из секретарей. Таким образом, старый маэстро избавлялся от нужды, Йозеф продолжал оказывать ему кое-какие личные услуги, что давало ему возможность часто видаться с учителем и брать у него уроки, а Консуэло была ограждена от злобных обвинений.

Несмотря на эти предосторожности, не Консуэло, а Корилла была приглашена на императорскую сцену. Консуэло не сумела понравиться Марии-Терезии. Эта великая королева, забавляясь закулисными интригами, передаваемыми ей наполовину всегда с милым остроумием Кауницем и Метастазио, желала играть роль олицетворенного венценосного провидения среди своих актеров, которые перед нею разыгрывали кающихся грешников и демонов, обращенных на путь истины.

Само собой разумеется, что в числе этих лицемеров, получавших за свое мнимое благочестие маленькие пенсии и маленькие подарочки, не было ни Каффариэлло, ни Фаринелли, ни Тези, ни госпожи Гассе, ни одного



из великих виртуозов, которыми поочередно наслаждалась Вена и которым их талант и известность заставляли многое прощать. Второстепенных же мест в театрах обыкновенно добивались люди, старавшиеся подладиться под ханжеские и наставнические прихоти императрицы. И ее величество, вносившая во все дух политической интриги, поднимала дипломатическую суетню по поводу брака и обращения кого-либо из них.

Из «Мемуаров Фавара»<sup>1</sup> (этого интересного романа, действительно разыгранного за кулисами) видно, насколько трудно было посылать в Вену певиц и оперных актрис, поставка которых была ему поручена. Их хотели заполучить по дешевой цене и требовали к тому же, чтобы они были целомудренны, как весталки. Мне кажется, этому остроумному привилегированному поставщику Марии-Терезии, после усердных поисков в Париже, так-таки и не удалось найти ни одной подходящей кандидатки, что больше делает чести правдивости, чем добродетели наших «оперных девиц», как тогда их называли.

Итак, Марии-Терезии хотелось найти для удовольствия, доставляемого ей всем этим, назидательный предлог, достойный добродетельного величия ее характера. Монархи всегда ломаются, а великие монархи, быть может, больше всех других. Порпора это беспрестанно утверждал, и он не ошибался. Великая императрица, ярая католичка, примерная мать семейства, без всякого отвращения разговаривала с проституткой, наставляла ее, вызывала на необыкновенные признания, и все это ради того, чтобы иметь возможность привести кающуюся Магдалину к ногам Спасителя. Личная шкатулка ее величества, помещенная между грехом и раскаянием, была в руках императрицы верным и чудодейственным средством для спасения многих заблудших душ. И Корилла, плачущая и поверженная к ее ногам, если не фактически (я сомневаюсь, чтоб она могла переломить свой дикий характер для этой комедии), то в представлениях, делаемых императрице господином Кауницем, ручавшимся за эту новоиспеченную добродетель, должна была неминуемо взять верх над такой решительной, гордой и мужественной девочкой, как непорочная Консуэло. Мария-Терезия ценила в своих театральных любимцах только ту добродетель, творцом которой считала себя саму. Добродетель же, развившаяся или сохранившаяся сама по себе, мало ее интересовала. Она не верила в нее, хотя ее собственная добродетель и должна была пробуждать в ней такую веру. Наконец манера Консуэло держать себя задела ее: она сочла ее вольнодумкой и резонеркой. «Цыганочка» проявила слишком много самонадеянности и заносчивости, желая быть уважаемой и нравственной без вмешательства императрицы. Когда Кауниц, притворившийся беспристрастным, но в то же время вредивший одной в пользу другой, спросил ее величество, сообразовали ли она принять просьбу «этой

<sup>1</sup> Шарль-Симон *Фавар* (1710–1792) — французский драматург в области водевиля и комической оперы, актер и театральный антрепренер; в 1783 г. основал в Париже свой «Театр Фавар». Фавар пользовался покровительством маркизы Помпадур.

девочки», Мария-Терезия ответила: «Мне не понравились ее убеждения. Больше не говорите мне о ней». И этим все было сказано. Голос, лицо, самое имя Порпорины были совершенно забыты.

Одного слова было достаточно, чтоб Порпора вполне понял причину немилости, в которую он впал. Консуэло была вынуждена ему сказать, что императрица считает невозможным ее поступление на императорскую сцену из-за того, что она незамужняя.

— А Корилла! — воскликнул Порпора, узнав о ее принятии на сцену, — разве ее величество уже успела ее выдать замуж?

— Насколько я могла понять или догадаться из слов ее величества, Корилла слывет здесь вдовой.

— О! Действительно трижды вдова! Десять раз! Сто раз вдова! — воскликнул Порпора с горьким смехом. — Но что скажут, когда узнают правду и будут свидетелями ее новых бесчисленных вдовств? А это дитя, о котором я слышал, оставленное ею под Веной, у одного каноника, дитя, которое она хотела приписать графу Дзустиньяни, а тот посоветовал ей препоручить его отеческим ласкам Андзолето? Над всем этим она станет потешаться с товарищами, станет рассказывать это с присущим ей цинизмом и в тиши своей спальни поохочет над тем, как ловко провела императрицу.

— Но если императрица узнает правду?

— Императрица ее не узнает. Государи, мне кажется, окружены ушами, которые служат как бы преддверием к их собственным ушам. Многое не достигает императорских ушей, и в их святилище проникает только то, что эти стражи пожелают пропустить. К тому же, — добавил Порпора, — у нее всегда остается ресурс — покаяние, и господину Кауницу будет поручено следить за выполнением наложенной на нее эпитимьи.

Бедный маэстро изливал свою желчь в этих язвительных шутках, но был глубоко опечален. Он терял надежду на то, что его новая опера будет поставлена, тем более что либретто ее было написано не Метастазиио, этим монополистом придворной поэзии. Порпора, видно, догадывался, что Консуэло не проявила достаточной ловкости, дабы заслужить милость императрицы, и не мог удержаться, чтоб не высказать ей по этому поводу своего неудовольствия.

К довершению несчастья, заметив однажды, как восторгается и гордится Порпора быстрыми успехами, достигнутыми Йозефом Гайдном под его руководством, венецианский посланник имел неосторожность открыть ему всю правду относительно юноши и показать первые прелестные опыты музыкального творчества его ученика, начинавшие ходить по рукам и обратившие уже на себя внимание любителей музыки.

Тут маэстро закричал, что его обманули, и пришел в неистовую ярость. К счастью, он не заподозрил Консуэло в соучастии в этой хитрости, и господин Корнер, видя, какую бурю и без того он вызвал, поспешил искусной ложью пресечь в старике всякое подозрение на этот счет. Но он не мог помешать тому, что Йозеф на несколько дней был изгнан из комнаты своего учителя, и пона-

добилось все влияние Корнера, обусловленное его покровительством старику и оказанными ему услугами, чтоб маэстро смилостивился над юношей.

Однако Порпора долго не мог забыть ему этого и, говорят, находил удовольствие в том, что заставлял Йозефа оплачивать уроки унижительной лакейском службой, в данном случае совершенно ненужной, раз к его услугам были посольские лакеи.

Гайдн не унывал и, кроткий, терпеливый, преданный, постоянно наставляемый и подбадриваемый доброй Консуэло, всегда прилежный и внимательный на уроках, в конце концов обезоружил-таки своего сурового учителя и получил от него все, что хотел и мог воспринять.

Но гениальный Гайдн мечтал об иных музыкальных путях, чем те, по которым шли до сих пор, и будущий отец симфоний поверял Консуэло свои мечты об инструментальной партитуре, развитой до гигантских размеров.

Эти гигантские размеры, кажущиеся нам теперь такими естественными, несложными и скромными, сто лет тому назад могли почитаться утопией безумца или же началом новой эры, возвещенной гению. Йозеф еще сомневался в самом себе и не без ужаса поверял потихоньку Консуэло мучившие его честолюбивые замыслы. Сначала они немного пугали и Консуэло. До сих пор инструментовка играла второстепенную роль, и когда ее отделяли от человеческого голоса, обходились самыми простыми приемами.

Однако в ее юном товарище было столько спокойствия, столько неизменной мягкости, во всех его убеждениях чувствовалась такая подлинная скромность и холодное добросовестное искание истины, что Консуэло, не будучи в состоянии считать его самонадеянным, решила верить в его мудрость и поддерживать в его начинаниях.

Именно в эту пору Гайдн написал свою серенаду для трех инструментов, которую с двумя своими друзьями исполнял под окнами «любителей», желая заинтересовать их своими произведениями. Начал он с Порпора, который, не зная ни имени автора, ни исполнителей, подошел к окну, слушал с удовольствием и бурно аплодировал. На этот раз посланник, посвященный в тайну и также слушавший серенаду, был настороже и не выдал молодого композитора. Порпора не желал, чтобы, беря у него уроки пения, отвлекались чем-либо иным.

В это время Порпора получил письмо от великолепного контральтиста Уберто, своего ученика, носившего имя Порпорино<sup>1</sup> и состоявшего на службе у Фридриха Великого. Этот знаменитый артист не был, как другие ученики

<sup>1</sup> Антонио *Порпорино* (Губерт) (1697–1783) — один из трех знаменитейших певцов, учеников Порпора, родился в Вероне, в семье немецкого происхождения — Губертов, переделанных на итальянский лад в Уберто. Прославившись в Италии своим исключительным по красоте голосом (контральто) и чарующей манерой петь, особенно в широкой, медленной кантилене, он с 1741 г. по приглашению короля Фридриха переехал в Берлин, где долго пел в придворной опере и где оставался до самой смерти.

профессора, до того ослеплен собственным успехом, чтобы забыть, чем был обязан своему учителю. Порпорино получил от него то, чего никогда не стремился изменить и что всегда давало ему успех, — манеру петь звучно и свободно, без фиоритур, придерживаясь разумных традиций маэстро. Он особенно был великолепен в адажио. И Порпора питал к нему слабость, что ему с трудом удавалось скрывать перед фанатическими поклонниками Фаринелли и Каффариэлло.

Маэстро соглашался, что искусство, блеск и гибкость голоса этих великих виртуозов сильнее поражают и сразу возбуждают большой восторг у слушателей, падких на необыкновенные трудности. Но под сурдинку он говорил, что его Порпорино никогда не идет ни на какие компромиссы с дурным вкусом, и хотя поет всегда одним и тем же способом, но голос его никогда не может надоесть. И, по-видимому, в Пруссии действительно так никогда и не наскучило пение Порпорино, ибо он блистал там в течение всей своей музыкальной карьеры и умер очень старым, прожив в этой стране более сорока лет.

В своем письме Уберто сообщал, что музыка Порпора пользуется большим успехом в Берлине и, если бы учитель захотел приехать к нему, то он ручается, что его новые произведения будут приняты и поставлены на тамошней сцене. Он очень убеждал его покинуть Вену, где артисты были обречены на постоянные интриги разных партий. В то же время он просил «завербовать» для прусского двора выдающуюся певицу, которая смогла бы вместе с ним исполнять оперы маэстро. Он отзывался с большой похвалой о просвещенном вкусе своего короля и о почетном покровительстве, которое тот оказывает музыкантам. «Если этот план вам улыбается, — писал он в конце письма, — скорее отвечайте мне и сообщите свои условия. Ручаюсь, что через три месяца я доставляю вам службу, которая даст вам наконец спокойное существование. Что касается славы, дорогой учитель, то достаточно нам будет спеть написанное вами так, чтобы вас оценили, и тогда, надеюсь, слух об этом дойдет до Дрездена».

Эта последняя фраза заставила Порпора наострить уши, как старую боевую лошадь. То был намек на успех, который стяжали себе Гассе и его певцы при саксонском дворе. Мысль сравняться в славе со своим соперником на севере Германии так улыбалась маэстро, к тому же в данную минуту он чувствовал такую злобу к Вене, венцам и их двору, что без всяких колебаний он ответил Порпорино, уполномочивая его на хлопоты в Берлине. Он сообщил ему свои условия, сделав их как можно скромнее, дабы не потерпеть неудачи. О Порпорине маэстро написал с самой большой похвалой, указав, что она действительно его сестра не только по имени, но и по образованию, гениальности и сердцу. Ангажемент ей он просил устроить на наилучших условиях. Все было сделано без ведома Консуэло, которая узнала об этом уже после того, как письмо было отправлено.

Самое слово Пруссия напугало бедную девушку, а имя великого Фридриха привело в содрогание. Со времени приключения с дезертиром Консуэло

не представляла себе этого столь прославленного монарха иначе, как в образе людоеда и вампира. Порпора очень бранил ее за то, что она проявила так мало радости, узнав о возможности нового ангажемента, а так как девушка не могла рассказать об истории Карла и о подвигах господина Мейера, то, опустив голову, предоставила учителю рассыпаться в упреках.

Однако, подумав, она нашла в новом проекте некоторое облегчение своего положения: это отсрочивало ее возвращение на сцену, так как дело могло еще и провалиться, да и Порпорино требовалось, по крайней мере, три месяца на устройство его. До тех пор она могла мечтать о любви графа Альберта и найти в себе твердую решимость ответить на нее. Убедится ли она, что может выйти за него замуж, или почувствует, что не в состоянии решиться на этот брак, во всяком случае она может честно и искренне выполнить взятое на себя обязательство — обдумать это тщательно и без принуждения.

Она решила, прежде чем сообщить что-либо хозяевам Замка Великанов, обождать ответа графа Христиана на свое первое письмо. Но ответ все не получался, и Консуэло начинала думать, что старый Рудольштадт поставил крест на этом неравном браке и старался уговорить Альберта отказаться от него, как вдруг Келлер передал ей украдкой короткое письмецо такого содержания:

*«Вы обещали мне писать и сделали это косвенно, сообщив моему отцу о моем теперешнем затруднительном положении. Вижу, что над вами тяготеет иго, от которого я счел бы преступным для себя избавить вас; вижу, что добрый мой отец боится для меня последствий вашего подчинения Порпора. Что касается меня, Консуэло, я до сих пор ничего не боюсь: поскольку вы пишете моему отцу, что с сожалением и ужасом относитесь к требованию принять какое-либо решение, это является для меня достаточным доказательством того, что вы не намерены легко вынести мне приговор на вечное отчаяние. Нет, вы сдержите свое слово и попытаетесь полюбить меня! Что мне до того, где вы и чем вы занимаетесь, что мне до того положения, которое слава или предрассудки создадут вам среди людей, что мне до времени, до препятствий, удерживающих вас вдали от меня, раз я надеюсь и раз вы позволяете мне надеяться! Конечно, я очень страдаю, но я в состоянии еще страдать, не падая духом, пока вы не погасили во мне искры надежды.*

*Я жду и умею ждать. Не бойтесь напугать меня, замедлив с ответом. Не пишите мне под влиянием страха или жалости, — я не хочу ничем быть им обязан. Взвесьте мою судьбу в своем сердце и мою душу в своей душе, и когда настанет время, когда вы будете уверены в себе, пусть это будет в келье монахини или на подмостках театра, велите ли вы мне никогда не беспокоить вас или явиться к вам... я, по вашему желанию, буду у ваших ног или замолчу навсегда.* Альберт».

— О благородный Альберт! — воскликнула Консуэло, целуя письмо. — Чувствую, что люблю тебя, да и невозможно было бы не любить! И без всяких



колебаний, сейчас же, хочу тебе сказать это. Своим обещанием я вознагражу постоянство и самоотверженность твоей любви.

Она тут же принялась было за письмо, но голос Порпора заставил ее поспешно спрятать на груди и письмо Альберта и начатый ему ответ. В течение всего дня она не смогла выбрать ни одной свободной минуты, ни одного укромного местечка. Казалось, угрюмый старик догадался о ее желании остаться наедине и задался целью помешать ей.

Когда наступила ночь, Консуэло, придя в более спокойное состояние, поняла, что такое важное решение требовало более продолжительной проверки своих чувств. Не надо было давать Альберту надежды, которая могла и не исполниться. Сотню раз перечла она письмо молодого графа и увидела, что он равно боится как горестного отказа, так и поспешного обещания. Консуэло решила обдумать свой ответ в течение нескольких дней. Казалось, сам Альберт этого требовал.

Жизнь, которую в это время вела Консуэло в посольстве, протекала очень спокойно и регулярно. Чтоб не давать повода злобным наветам, Корнер был настолько деликатен, что никогда не появлялся в ее комнате и никогда не приглашал ее даже вместе с Порпора к себе. Встречался он с нею только у госпожи Вильгельмины, где Консуэло охотно пела в интимном кругу и где посланник мог говорить с нею, не компрометируя ее. Йозеф также был принят в салоне Вильгельмины в качестве музыканта. Каффариэлло бывал там часто, граф Годиц иногда, а аббат Метастазियो изредка. Все трое очень сожалели о том, что Консуэло потерпела неудачу, но ни один из них не имел ни мужества, ни настойчивости отстоять ее. Порпора возмущался и с трудом скрывал это. Консуэло старалась смягчить его и убедить относиться снисходительно к людским недостаткам и слабостям. Она побуждала его работать, и благодаря ей в душе маэстро время от времени мерцали проблески надежды и энтузиазма. Девушка поддерживала в нем лишь раздражение против светского общества, благодаря чему он туда и не возил ее петь. Радуюсь, что она позабыта великими мира сего, на которых смотрела с ужасом и отвращением, Консуэло серьезно занималась, предавалась сладким мечтам, вела дружбу, ставшую спокойной и святой, со славным Гайдном и, ухаживая за своим старым учителем, ежедневно говорила себе, что если природа не создала ее для жизни тихой и неподвижной, то еще меньше для волнений, порождаемых тщеславием, и для деятельности, обусловленной честолюбием. Правда, она мечтала раньше и теперь продолжала мечтать о жизни более оживленной, о радостях любви более пылких, об умственном кругозоре более широком. Но мир искусства, рисовавшийся ее воображению таким чистым, таким симпатичным и благородным, оказался до того ужасен, что она предпочитала жизнь безвестную и замкнутую, теплые дружеские отношения и работу в одиночестве.

Консуэло нечего было больше обдумывать предложение, сделанное ей Рудольштадтами. В ней не могло зародиться ни малейшего сомнения

ни в их великодушии, ни в неизменно святой любви сына, ни в снисходительной нежности отца. Итак, не к уму своему и не к совести должна была она обращаться: оба говорили в пользу Альберта. На этот раз без всяких усилий она восторжествовала над воспоминаниями об Андзолето. Победа над любовью дает силы для всех других побед. И она не боялась больше соблазна. Теперь она чувствовала себя застрахованной от всяких чар...

И при всем этом страсть к Альберту не разгоралась в ее душе с достаточным пылом. Нужно было еще и еще вопрошать свое сердце, на дне которого в таинственном спокойствии жило представление о совершенной любви...

Сидя у окна, простодушная девушка часто смотрела на проходящих мимо городских молодых людей. Молодцеватых студентов, благородных вельмож, меланхолических артистов, гордых всадников — всех подвергала она целому-дренному и по-детски серьезному разбору.

«Посмотрим, — говорила она себе, — насколько своенравно и легкомысленно мое сердце. Способна ли я влюбляться вдруг, безумно и неудержимо при первом взгляде, как многие из моих подруг в школе, хваставшие этим или исповедовавшиеся в этом одна перед другой в моем присутствии? Действительно ли любовь — волшебная молния, которая поражает наше существо, действительно ли она отрывает нас от спокойного неведения или от привязанностей, в которых мы клялись? Есть ли среди этих мужчин, иногда поднимающих свои взоры к моему окну, кто-нибудь, кто волнует и чарует меня? Вот этот рослый человек, с гордой походкой, кажется ли он мне благороднее и красивее Альберта? А тот, другой, с красивыми волосами, в изящном костюме, заслоняет ли он во мне образ моего жениха? Наконец, хотела ли бы я быть на месте вон той разодетой дамы, едущей в своей коляске вместе с гордым господином, который держит ее веер и подает ей перчатки? Разве что-либо из всего этого заставляет меня дрожать, краснеть, трепетать или мечтать? Нет!.. Право же, нет! Говори, мое сердце, выскажись, вопрошаю тебя и даю тебе свободу. Увы! Я едва знаю тебя. С минуты рождения у меня было так мало времени заняться тобой. Я не приучила тебя к искушению, предоставляла свою жизнь твоей власти, не разбирая, насколько благоразумны твои порывы. Тебя разбили, мое бедное сердце, а теперь, когда сознание одержало победу над тобой, ты не смеешь жить, ты не умеешь ответить. Говори же, проснись и выбирай! А, ты все остаешься спокойным и ничего не хочешь? Нет, ничего! Больше ты не хочешь Андзолето? Нет, не хочешь! Тогда, значит, ты призываешь Альберта? Мне кажется, ты говоришь "да!"». И Консуэло ежедневно отходила от окна, бодро улыбаясь, с кротким и мягким блеском в глазах.

Спустя месяц, будучи в совершенно спокойном состоянии, она ответила Альберту, не спеша, чуть ли не щупая пульс при написании каждой буквы:

*«Я люблю только вас и почти уверена, что я вас люблю. Теперь дайте мне помечтать о возможности нашего брака. Мечтайте и вы о нем. Найдёмте*

*вместе способ не огорчать ни вашего отца, ни моего учителя и, став счастливыми, не быть эгоистами».*

К этой записке она присоединила коротенькое письмо графу Христиану, где рассказывала ему о той спокойной жизни, которую вела, и сообщала о передышке, создавшейся вследствие новых планов Порпора. Она просила его поискать и найти способ обезоружить маэстро и сообщить ей об этом через месяц. Таким образом, до выяснения дела, затеянного в Берлине, ей, чтоб подготовить Порпора, останется еще целый месяц.

Консуэло, запечатав оба эти письма, положила их на стол и заснула. Чудесное спокойствие снизошло на ее душу, и давно не спала она таким крепким, приятным сном. Проснувшись она поздно и поспешно встала, чтоб повидаться с Келлером, обещавшим прийти в восемь часов за ее письмом. А уже было девять. Спеша одеваться, Консуэло с ужасом увидела, что на том месте, куда она положила письмо, его не было. Всюду искала она его и не находила; наконец вышла посмотреть, не ждет ли ее Келлер в передней, но ни Келлера, ни Йозефа там не было. Возвращаясь к себе, чтобы снова приняться за поиски письма, она увидела, что к ее комнате подходит Порпора, строго смотря на нее.

— Что ты ищешь? — спросил он.

— Потерянный листок нот.

— Ты лжешь: ты ищешь письмо.

— Маэстро...

— Замолчи, Консуэло! Ты еще не умеешь лгать, не учись этому.

— Маэстро, что сделал ты с этим письмом?

— Я передал его Келлеру.

— А почему?... Почему ты его передал Келлеру?

— Да потому, что он за ним пришел. Ведь ты ему приказала это вчера. Не умеешь ты притворяться, Консуэло, или у меня тоньше слух, чем ты думаешь.

— Скажи наконец, что ты сделал с моим письмом?

— Я же тебе сказал. Почему ты меня еще об этом спрашиваешь? Я нашел очень неприличным, чтоб молодая и порядочная девушка, какой, я предполагаю, ты рассчитываешь всегда оставаться, тайно передавала письма своему парикмахеру. Чтоб этот человек не смог дурно подумать о тебе, я, со спокойным видом, отдал ему письмо, поручив от твоего имени отправить его. По крайней мере, он не подумает, что ты скрываешь от своего приемного отца какую-то преступную тайну.

— Ты прав, маэстро, ты хорошо поступил... прости меня!

— Прощаю. Не будем больше об этом говорить.

— И... ты прочел мое письмо? — прибавила Консуэло ласково и боязливо.

— За кого ты меня принимаешь? — ответил Порпора грозным тоном.

— Прости меня за все, — проговорила Консуэло, становясь перед ним на колени и порываясь взять его руку, — позволь открыть тебе свою душу...

— Ни слова больше! — прокричал маэстро, отталкивая ее.

И он вошел в свою комнату, с шумом захлопнув за собой дверь.

Консуэло надеялась, что после этой гневной вспышки ей удастся его успокоить и решительно объясниться с ним. Она чувствовала себя в силах высказаться вполне и добиться благоприятного окончания своих дел. Но он отказался от всяких объяснений, и его суровость в этом отношении была непоколебима и тверда. Вообще же он относился к ней так же дружески, как всегда, и с этого дня стал даже как бы веселее и бодрее душой. Консуэло увидела в этом хорошее предзнаменование и с упованием ждала ответа из Замка Великанов.

Порпора не солгал: он сжег письма Консуэло, не прочитав их, но он сохранил конверт и вместо сожженных писем вложил в него свое к графу Христиану. Он думал этим смелым поступком спасти свою ученицу и избавить старика Рудольштадта от жертвы, превышающей его силы. Он считал, что исполнил по отношению к нему долг верного друга, а по отношению к Консуэло — долг энергичного и разумного отца. Маэстро не предвидел, что мог нанести смертельный удар графу Альберту. Едва зная его, он полагал, что Консуэло все преувеличивает и что этот молодой человек не так уж влюблен и не так болен, как она воображала. Наконец, как все старики, он считал, что любовь не вечна и что горе никого не убивает.

### ХСІІІ

В ожидании ответа, который никогда не должен был быть получен, раз Порпора сжег ее письма, Консуэло продолжала вести образ жизни спокойный и полный труда. Ее появление в доме Вильгельмины привлекло туда несколько выдающихся лиц, встречаться с которыми ей доставляло большое удовольствие. В числе их был и барон Тренк, внушавший ей истинную симпатию. Он был настолько деликатен, что при первой встрече не отнесся к ней, как к старой знакомой, а после того как она спела, просил быть представленным ей в качестве почитателя, глубоко тронутого ее пением. Когда Консуэло увидела красивого, великодушного молодого человека, спасшего ее так мужественно от господина Мейера и его шайки, первым ее побуждением было протянуть ему руку. Барон, не желавший, чтобы она из-за чувства признательности поступила неосторожно, поспешил почтительно поддержать Консуэло, как бы для того, чтобы провести на место, и тут в знак благодарности слегка пожал ей руку. Потом она узнала от Йозефа, у которого барон Тренк брал уроки музыки, что он всегда с интересом справлялся и говорил о ней с восторгом, но из чувства необычайной деликатности никогда не спрашивал его, чем вызвано было ее переодевание, почему предприняли они такое полное приключений путешествие, каковы были их отношения друг к другу как во время этого странствования, так и в настоящее время.

— Не знаю, что он об этом думает, — добавил Йозеф, — но уверяю тебя, что нет женщины, о которой он говорил бы с большим почтением и уважением, чем о тебе.

— В таком случае, я уполномочиваю тебя, если хочешь, рассказать ему всю нашу историю, а также и мою, не называя, однако, при этом фамилии Рудольштадт. Мне нужно безусловное уважение того человека, которому мы обязаны жизнью и который так благородно во всех отношениях вел себя со мной.

Несколько недель спустя господин фон дер Тренк, едва окончив свою миссию, был внезапно отозван Фридрихом и однажды утром явился в посольство, чтоб наскоро проститься с господином Корнер. Консуэло, спускаясь по лестнице, встретила с ним в перистиле. Так как они были одни, он подошел к ней, взял ее руку и нежно поцеловал.

— Позвольте мне, — сказал он ей, — в первый и, быть может, последний раз высказать вам чувства, переполняющие мое сердце. Мне не нужно было слышать от Беппо вашей истории, чтобы проникнуться уважением к вам. Есть лица, в которых не ошибаешься, и мне достаточно было одного взгляда, чтобы угадать в вас большой ум и великое сердце. Знай я тогда в Пассау, что наш милый Йозеф так мало был настороже, я защитил бы вас от легкомысленных выходок графа Годица, которые я отлично предвидел, хотя и сделал все возможное, чтобы внушить ему, что он метит впустую и только поставит себя в смешное положение. Впрочем, этот добряк Годиц сам рассказал мне, как вы над ним посмеялись, и он бесконечно благодарен вам за то, что вы сохранили все это втайне. Я же никогда не забуду о романтическом приключении, которое дало мне счастье узнать вас, и если бы мне пришлось даже заплатить за это своим состоянием и своей будущностью, я все-таки буду считать этот день одним из лучших в своей жизни.

— Неужели вы думаете, господин барон, что это приключение может иметь такие последствия?

— Надеюсь, что нет, но все возможно при прусском дворе.

— Вы внушаете мне большой страх к Пруссии, а между тем, знаете ли, господин барон, возможно, что в недалеком будущем мы с вами там встретимся? Речь идет о приглашении меня в Берлин.

— В самом деле! — воскликнул Тренк, и все лицо его вдруг просияло. — Ну, дай Бог, чтоб этот проект осуществился. В Берлине я смогу быть вам более полезным, и вы должны рассчитывать на меня, как на брата. Да, я люблю вас, как брат, Консуэло! И, будь я свободен, я, быть может, не смог бы побороть в себе чувства более пылкого... Но вы также не свободны, и узы священные, вечные... не позволяют мне завидовать счастливому дворянину, добивающемуся вашей руки. Кто бы он ни был, сударыня, знайте, что он найдет во мне друга, если пожелает, и защитника против предрассудков общества, как только это ему понадобится... Увы! И у меня, Консуэло, тоже имеется ужасная преграда, возвышающаяся между предметом моей любви и мной. Но тот, кто любит вас, — мужчина, и он может свалить преграду, в то время



как любимая мной женщина, которая по положению выше меня, не обладает ни властью, ни правом, ни силой, ни возможностью помочь мне в разрушении такой преграды.

— Стало быть, я ничего не смогу сделать ни для нее, ни для вас? — сказала Консуэло, впервые сожалея о бессилии своего скромного положения.

— Кто знает! — с жаром воскликнул барон. — Быть может, вы будете в состоянии сделать больше, чем думаете, если не для нашего соединения, то хотя бы для смягчения ужаса нашей разлуки. Хватит ли, однако, у вас мужества пренебречь некоторой опасностью ради нас?

— О! Я сделаю это с такою же радостью, с какою вы подвергали опасности свою жизнь, чтобы спасти меня!

— Прекрасно! Я рассчитываю на это! Не забывайте своего обещания, Консуэло! Быть может, я неожиданно напому вам о нем...

— В какую бы минуту моей жизни это ни было, я никогда не забуду своего обещания, — ответила она, протягивая ему руку.

— Ну, дайте мне какую-нибудь малоценную вещицу, которую я мог бы вам послать в случае надобности, ибо я чувствую, что мне предстоит серьезная борьба и обстоятельства могут так сложиться, что моя подпись и даже печать способны будут скомпрометировать и «ее» и вас.

— Хотите взять ноты, которые я как раз несу знакомым по поручению моего учителя? Им я достану другие, а на этих сделаю знак, чтобы признать их, когда это понадобится.

— А почему бы и нет? Ноты, действительно, то, что можно скорее всего послать, не возбуждая подозрений. Но чтобы они могли мне служить несколько раз, я разобью их на отдельные листы. А вы на каждом из них сделайте значок.

Консуэло, прислонившись к перилам лестницы, написала на каждом листке нот имя Бертони. Барон свернул их в трубочку и унес, поклявшись нашей героине в вечной дружбе.

Как раз в эту пору госпожа Тези захворала, и это грозило приостановкой спектаклей на императорской сцене, так как она исполняла самые главные роли. В крайнем случае ее могла заменить Корилла. Она пользовалась большим успехом и при дворе и в городе. Ее красота и вызывающее кокетство кружили головы всем этим славным немецким вельможам, и никто не думал быть требовательным к ее немного хриплому голосу и несколько истеричной игре. Все казалось великолепным у такой красавицы: ее белоснежные плечи как бы выводили чудесные рулады; ее круглые, сладострастные руки пели всегда верно, ее великолепные позы проделывали самые смелые трели. Несмотря на музыкальный пуризм, которым здесь так же кичились, как и в Венеции, многие поддавались очарованию томных очей, и госпожа Корилла сумела в своем будуаре создать из нескольких умных голов восторженных поклонников своих предстоящих выступлений.

Итак, она смело взялась временно заменить госпожу Тези, но затруднение заключалось в том, что надо было найти заместительницу для нее самой.



*Консуэло, прислонившись к перилам лестницы,  
написала на каждом листке нот имя Бертони.*

*Барон свернул их в трубочку и унес,  
покаявшись нашей героине в вечной дружбе.*

О пискливом голосе госпожи Гольцбауэр и думать было нечего. Приходилось допустить появление Консуэло или довольствоваться ничтожеством. Порпора суетился, как дьявол. Метастазιο, очень недовольный ломбардским произношением Кориаллы и негодуя на то, что она, вопреки смыслу оперы и ситуации, всеми силами старалась затирать другие роли, не скрывал своего отвращения к ней и симпатию к добросовестной и умной Порпорине. А Каффариэлло, ухаживавший за госпожой Тези (уже от всей души ненавидевшей Кориаллу за то, что она осмелилась оспаривать у нее «эффекты» и первенство красоты), смело высказался за приглашение Консуэло. И вот Гольцбауэр, ревниво оберегавший честь своего театра, но в то же время боявшийся влияния, которое Порпора, попав за кулисы, сумеет несомненно захватить, просто терял голову.

Скромное поведение Консуэло дало ей столько приверженцев, что трудно было уже дольше вводить в заблуждение императрицу. Благодаря всему этому Консуэло получила приглашение. Ей, однако, были предложены жалкие условия, в надежде, что она откажется. Порпора сразу на них согласился, по обыкновению не переговорив об этом со своей ученицей. В одно прекрасное утро Консуэло узнала, что ангажирована на шесть спектаклей. Не имея возможности избавиться от этого и не понимая в то же время, почему после шести недель ожидания не приходит никаких вестей от Рудольштадтов, она, по настоянию Порпора, вынуждена была отправиться на репетицию «Антигона»<sup>1</sup> Метастазιο (музыка Гассе).

Консуэло уже прошла свою роль с Порпора. Конечно, для маэстро было большой мукой изучать с ней произведение соперника, самого неблагодарного из всех своих учеников, врага, которого он теперь особенно ненавидел. Но не говоря о том, что через все это надо было пройти, чтоб раскрыть двери своим собственным произведениям, Порпора был слишком добросовестным преподавателем, имел слишком честную артистическую душу, чтоб не вложить в это изучение всего своего знания и усердия. Консуэло всеми силами помогала ему, и это одновременно и восхищало его и приводило в отчаяние. Вопреки своему желанию, бедная девочка была в восторге от Гассе, и душа ее чувствовала больше подъема в нежных и страстных мелодиях Sassone, чем в величественных и подчас немного холодных и немного сухих произведениях своего

<sup>1</sup> «Антигон» («Antigono») — опера «саксонца» Гассе. Имя Антигон носили несколько сирийских и македонских царей после распада монархии Александра Македонского (323 г. до нашей эры). Имя Береники или Вероники, собственно греческое Ференика («носительница победы»), носили несколько египетских цариц и царевен из династии Птолемея и родственников им. В данной опере появляется Береника, дочь Апамы, киренайской царицы, выдавшей ее замуж за Деметрия Красивого (сына Деметрия Полиокрета) из династии македонских Антигонов. Узнав о связи мужа со своей матерью, Береника велела умертвить его, а сама в 247 г. стала женой Птолемея Евергета, царя египетского (247–222). Когда он отправился в поход в Сирию, она, чтобы вымолить ему счастье, принесла в жертву богине Афродите свои чудные волосы, которые, по легенде, превратились на небе в созвездие, названное Власы Береники. После смерти мужа Береника была умерщвлена по приказанию сына.

учителя. Привыкнув при изучении с ним других композиторов свободно отдаваться своему восторгу, она на этот раз была принуждена сдерживаться, видя, как он бывает грустен и удручен после этих занятий.

Когда она вышла на сцену репетировать с Каффариэлло и Корилло, то, хотя прекрасно знала свою партию, однако была так взволнована, что ей стоило большого труда приступить к сцене Исмены с Береникой, начинавшейся такими словами:

No, tutto, o Berenice,  
Tu non apri il tuo cor...<sup>1</sup>

На что Корилла ответила следующей фразой:

E ti par poco,  
Quel che sai de' miei casi?<sup>2</sup>

На этом месте Кориllu прервал громкий хохот Каффариэлло, и она, повернувшись и яростно глядя на него, спросила:

— Что находите вы тут смешного?

— Ты чудесно это сказала, моя толстая Береника! — ответил, еще пуще смеясь, Каффариэлло. — Нельзя было сказать этого более искренне.

— Эти слова так забавляют вас? — спросил Гольцбауэр, который был не прочь передать Метастазию, как сопранист потешается над его стихами.

— Слова-то прекрасны, — сухо ответил Каффариэлло, хорошо знавший, с кем имеет дело, — но они здесь так кстати, что я не мог удержаться от смеха.

И он, надрываясь от хохота, повторил, обращаясь к Порпора:

E ti par poco,  
Quel che sai di tanti casi?<sup>3</sup>

Корилла, понимая, какая кровная обида заключается в этих намеках на ее поведение, дрожа от ярости, едва не бросилась на Консуэло, чтоб изуродовать ее, но у юной певицы был такой кроткий и спокойный вид, что она не посмела сделать это. К тому же слабый свет, проникавший на сцену, упал на лицо ее соперницы, и она остановилась, пораженная: какие-то смутные воспоминания зашевелились в ее мозгу, и какой-то странный ужас охватил ее. В Венеции она никогда не видела ее ни вблизи, ни днем. Во время родовых мук она едва могла рассмотреть лицо «цыганенка» Бертони, суетившегося вокруг нее, да так и не поняла, почему он так трогательно заботится о ней. Она попыталась было припомнить все происшедшее, но так как это ей не удава-

<sup>1</sup> Нет, Беренка, всего своего сердца ты не открываешь... (ит.)

<sup>2</sup> А тебе мало того, что ты знаешь о моих приключениях? (ит.)

<sup>3</sup> А тебе мало того, что ты знаешь о стольких приключениях? (ит.)



лось, то в течение всей репетиции она испытывала беспокойное и неприятное ощущение. Совершенство, с каким Консуэло провела свою партию, немало способствовало усилению ее дурного настроения, а присутствие Порпора, ее бывшего учителя, слушавшего ее, как строгий судья, молча и почти презрительно, стало для нее настоящей пыткой.

Господин Гольцбауэр был не менее выведен из себя, когда маэстро стал критиковать его темп, а верить ему поневоле приходилось, так как Порпора однажды присутствовал на репетиции, которой дирижировал сам Гассе во время первой постановки этой оперы в Дрездене. Нужда в добром совете заставила его смириться и скрыть свою досаду. Маэстро провел всю репетицию, давал указания каждому артисту, сделал даже замечание самому Каффариэлло, который, желая поднять престиж Порпора перед другими, притворился, что слушает его с почтением. Каффариэлло беспрестанно стремился унижить дерзкую соперницу госпожи Тези и в этот день готов был идти на все ради этого, даже играть роль покорного и скромного. Ведь как у артистов, так и у дипломатов, как на сцене, так и в кабинете монархов самые лучшие и самые худые дела вызываются скрытыми бесконечно мелкими и пустыми причинами.

Вернувшись после репетиции, Консуэло застала Йозефа в радостном настроении, которого он, однако, пытался не показывать. Когда им удалось поговорить наедине, она узнала, что добрый каноник переехал в Вену, что первой его мыслью было вызвать своего милого Беппо, накормить его прекрасным завтраком, с нежностью задавая при этом бесконечные вопросы о своем дорогом Бертони. Они уже сговорились, каким образом завязать знакомство с Порпора, чтоб иметь возможность видаться по-семейному, честно и открыто. На следующий же день каноник представился Порпора как покровитель Йозефа Гайдна и как ярый поклонник самого маэстро, явившийся поблагодарить за уроки, которые маэстро соблаговолил давать его юному другу. Консуэло сделала вид, что встречает его впервые, а вечером маэстро со своими обоими учениками уже дружески обедал у каноника.

Только стоицизм, которым даже самые крупные музыканты того времени не могли похвастаться, был бы способен помешать Порпора вдруг почувствовать расположение к этому доброму канонику, у которого был такой прекрасный стол и который так высоко ценил его произведения. После обеда занялись музыкой, а затем стали видаться почти ежедневно.

Это также смягчило беспокойство Консуэло, начинавшее зарождаться в ней вследствие молчания Альберта. Каноник был веселого нрава, непророчный и в то же время свободомыслящий, чудесный во многих отношениях, справедливый и при том просвещенный в разных областях. Словом, это был прекрасный друг и чрезвычайно милый человек. Его общество оживляло и подбадривало маэстро, который воспрянул духом, отчего и домашняя жизнь Консуэло стала приятнее.

Однажды, когда не было репетиций (за два дня до представления «Антигона»), Порпора отправился за город с одним из своих братьев, а каноник



предложил своим юным друзьям нагрянуть всем вместе в приорию, чтоб захватить врасплох оставленных там слуг и, свалившись к ним, как снег на голову, самим убедиться, хорошо ли ухаживает садовница за Анджелой и не обходится ли садовник небрежно с волькамерией. Молодые люди охотно согласились присоединиться к этой увеселительной прогулке. Экипаж каноника был нагружен пирожками и бутылками (нельзя же было проехать четыре мили, не нагуляв себе аппетита). Спутники подошли к приории, сделав небольшой крюк и оставив экипаж на некотором расстоянии, дабы явиться как можно неожиданнее.

Волькамерия чувствовала себя превосходно: она находилась в тепле, а корни были свежи. С наступлением холодов она перестала цвести, но ее красивые листья спадали на обнаженный ствол нисколько не завядшие. Оранжевые содержались в хорошем виде, и голубые хризантемы, не боясь зимы, казалось, смеялись за стеклянными перегородками. Анджела, прильнув к груди кормилицы, также начинала смеяться, когда с нею заигрывали. Каноник очень разумно запретил злоупотреблять этим, так как насильственный смех у этих крошечных существ развивает в них совершенно напрасную нервозность.

Сидели они, непринужденно болтая, в хорошеньком домике садовника. Каноник, закутавшись в свою меховую шубку, грел ноги у очага, где пылали сухие корни и сосновые шишки. Йозеф играл с прелестными детьми красивой садовницы, а Консуэло, сидя посреди комнаты с маленькой Анджелой на руках, смотрела на нее со смешанным чувством нежности и скорби: ей казалось, что этот ребенок принадлежит ей больше, чем кому-либо, и что таинственный рок связывает его судьбу с ее собственной. Но вдруг дверь отворилась, и перед ней, словно видение, вызванное ее грустными мечтами, предстала Кориλλα...

Впервые после родов Корилла почувствовала если не порыв любви, то все-таки порыв материнских угрызений совести и украдкой явилась проводить своего ребенка. Она знала, что каноник живет в Вене. Приехав вслед за ним через полчаса, Корилла не наткнулась на его экипаж близ приории, так как каноник сошел не у самых ворот. Никого не встретив, она тайком пробралась садами до домика, где, по ее сведениям, жила у своей кормилицы Анджела, ибо Корилла все-таки навела кое-какие справки на этот счет.

Она очень потешалась над замешательством и христианским смирением каноника, но была в полном неведении относительно того участия, которое принимала в этом приключении Консуэло. Поэтому она с удивлением, к которому примешивались ужас и смущение, увидела здесь свою соперницу. Не зная и не смея догадываться, какое дитя та укачивает, она чуть было не обратилась в бегство. Но Консуэло, инстинктивно прижавшая ребенка к своей груди, как куропатка прячет птенца под крыло при приближении коршуна, Консуэло, будучи артисткой и способная завтра же представить всю эту комедию совсем не в том виде, в каком изображала ее Корилла, наконец, Консуэло, смотрящая на нее с ужасом и негодованием, потрясла ее своим присутствием так, что она, словно прикованная, остановилась посреди комнаты.

Однако Корилла была слишком опытной актрисой, чтоб надолго лишиться присутствия духа и дара слова. Ее тактика заключалась в том, чтоб, оскорбляя других, самой избежать унижения. И тут же, входя в роль, она наглым, резким тоном обратилась к Консуэло на венецианском наречии:

— Черт возьми! Бедная моя «цыганочка!» Что ж, этот дом — приют подкидышей, что ли? Ты явилась сюда, чтоб взять или, быть может, оставить своего детеныша? Вижу, что у нас с тобой одно счастье, одна удача. Без сомнения, у наших детей и отец один и тот же, ибо наши с тобой приключения начались в Венеции одновременно. И я убедилась, сокрушаясь за тебя, что красавец Андзолето бросил трупку в прошлом сезоне посреди своего ангажемента вовсе не для того, чтоб погнаться за тобой, как все это думали.

— Сударыня, — отвечала Консуэло, бледная, но спокойная, — имей я несчастье быть в таких же близких отношениях с Андзолето, как вы, и вследствие этого счастья быть матерью (ибо это всегда счастье для того, кто умеет чувствовать), дитя мое не было бы здесь.

— А! Понимаю! — продолжала та с мрачным огнем в глазах, — он был бы воспитан в вилле Дзустиньяни. У тебя нашлось бы ума, которого у меня не хватило: ты уверила бы милого графа, что его честь требует признания ребенка. Но ты не имела несчастья, как уверяешь, быть любовницей Андзолето, а Дзустиньяни был настолько счастлив, что не оставил тебе доказательств своей любви. Говорят, что Йозеф Гайдн, ученик твоего учителя, утешил тебя во всех твоих злоключениях, и, без сомнения, дитя, которое ты укачиваешь...

— Ваше, сударыня! — закричал Йозеф, понимавший теперь прекрасно венецианское наречие, и стал между Консуэло и Корилой с видом, который способен был заставить отступить эту наглую женщину. — Вам это свидетельствует Йозеф Гайдн, так как он присутствовал, когда вы производили на свет этого ребенка.

Лицо Йозефа, не встречавшегося с ней с того злосчастного дня, вдруг воскресило в ее памяти все обстоятельства, которые она тщетно силилась припомнить, и в «цыганенке» Бертони она увидела подлинные черты лица «цыганочки» Консуэло. Возглас удивления невольно вырвался из ее груди, и с минуту в ней шла борьба между стыдом и досадой. Но вскоре цинизм снова проснулся в ней, и снова полились из ее уст оскорбления.

— По правде сказать, дети мои, я вас не узнала! — воскликнула она неприятно елейным тоном. — Оба вы были очень милы, когда я встретила вас в разгаре ваших приключений, и переодетая Консуэло была действительно красивым мальчиком. Так это здесь, в этом святом доме, провела она благочестиво между толстым каноником и маленьким Йозефом целый год, убежав из Венеции? Ну, «цыганочка», не беспокойся, дитя мое! У каждой из нас есть своя тайна, и императрица, желающая все знать, ничего не узнает ни об одной из нас!

— Предположим даже, Корилла, что у меня есть тайна, — холодно проговорила Консуэло, — так она в ваших руках только с сегодняшнего дня,

а я владела вашей в тот день, когда в течение часа говорила с императрицей, за три дня до подписания вами ангажемента.

— И ты дурно говорила обо мне? — закричала Корилла, вся краснея от злости.

— Скажи я ей то, что знаю о вас, вы бы не были приглашены, а раз вы получили ангажемент, то, очевидно, я не захотела воспользоваться этим случаем.

— А почему ты этого не сделала? Уж очень ты глупа, должно быть! — воскликнула Корилла, чистосердечно расписываясь в своей удивительной испорченности.

Консуэло и Йозеф, переглянувшись, не могли не улыбнуться друг другу. Улыбка Йозефа была исполнена презрения к Корилле, но ангельская улыбка Консуэло возносила к небу.

— Да, сударыня, — ответила она, подавляя Кориллу своей кротостью, — я такова, как вы сказали, и считаю это благом для себя.

— Не такое уж это благо, бедняжка, раз я приглашена на сцену, а ты нет! — возразила взволнованная и несколько озабоченная Корилла. — Мне говорили в Венеции, что у тебя не хватает ума и что ты никогда не сумеешь устроить своих дел. Это единственно верное из всего того, что рассказывал о тебе Андзолето. Но что поделаешь! Не моя вина, что ты такова... На твоём месте я сказала бы все, что знала о Корилле, а себя бы выставила целомудренной, святой... Императрица поверила бы этому: ее нетрудно убедить... я бы вытеснила всех своих соперниц. Ты же этого не сделала!.. Это просто смешно, и я жалею тебя, так как ты так плохо ведешь свои дела.

На этот раз презрение уж взяло верх над негодованием. Консуэло и Йозеф разразились смехом, а Корилла, почувствовавшая в своей сопернице то, что ей показалось бессилием, потеряла свою задорную язвительность, которою вооружилась было на первых порах. Удовлетворенная, она придвинула стул к очагу и собралась продолжать разговор, чтоб лучше выведать сильные и слабые стороны своих противников. В этот момент она очутилась лицом к лицу с каноником, которого до сих пор не замечала, так как благочестивый отец, руководясь инстинктивной осторожностью духовного лица, сделал знак деброй кормилице и ее двум детям заслонить его, пока он не разберется в происходящем.

#### XCIV

После грязного намека, брошенного Кориллой несколько минут назад, на отношения Консуэло и толстого каноника, вид его произвел на нее впечатление головы медузы. Но она успокоилась, вспомнив, что говорила на венецианском наречии, и поздоровалась с ним на немецком языке с той смесью смущения и наглости, которыми отличаются взор и лицо женщины легкого

поведения. Каноник, обычно такой вежливый и любезный, тут, однако, не только не встал, но даже не ответил на ее поклон.

Корилла, много расспрашивавшая о нем в Вене, слышала от всех, что он чрезвычайно хорошо воспитан, большой любитель музыки, человек, неспособный педантично читать наставления женщине, особенно певице, и она все собиралась повидаться с ним и пустить в ход свои чары, чтобы помешать ему дурно говорить о ней. Но если в подобных делах у нее была сметливость, которой не хватало Консуэло, то вместе с тем были и беспечность, безалаберность, граничащие с распушенностью, ленью и даже, хотя это может показаться здесь неуместным, — с неопрятностью. У грубых натур все эти слабости цепляются одна за другую. Дряблость души и тела парализует склонность к интригам. У Кориллы, по природе своей способной на всякое вероломство, редко хватало энергии довести интригу до конца. Она откладывала со дня на день свое посещение каноника, а теперь, когда нашла его таким холодным и строгим, видимо, смутилась.

Тут, стремясь смелой выходкой поправить дело, она сказала Консуэло, продолжавшей держать на руках Анджелу:

— Слушай! Почему ты не даешь мне поцеловать мою дочку и положить ее у ног господина каноника, чтобы...

— Госпожа Корилла, — прервал ее каноник тем сухим, насмешливо-холодным тоном, которым он обыкновенно прежде говорил «госпожа Бригита», — будьте добры, оставьте этого ребенка в покое, — и, выражаясь по-итальянски с большой изысканностью, хотя и немного медленно, он продолжал, не снимая шапочки, надвинутой на уши:

— Вот четверть часа, как я вас слушаю, и хотя не очень знаком с вашим провинциальным наречием, все же понял достаточно, и скажу вам, что вы самая наглая плутовка, какую только я встречал в жизни. Но все-таки я думаю, что вы более глупы, чем злы, и более подлы, чем опасны. Вы ничего не смыслите в прекрасном, и было бы потерей времени заставить вас понять его. Одно могу вам сказать: говоря с этой девушкой, этой девственницей, этой святой, как вы сейчас в насмешку называли ее, вы оскверняете ее! Не говорите же с ней! Что касается ребенка, рожденного вами на свет, вы, прикасаясь к нему, обеспечиваете его: не прикасайтесь же! Ребенок — священное существо. Консуэло это сказала, и я понял это. Только по ходатайству и благодаря уговорам этой самой Консуэло я дерзнул взять на свое попечение вашу дочь, не испугавшись того, что в один прекрасный день ее скверные инстинкты, которые она рискует унаследовать от вас, могут заставить меня раскаяться в этом. Мы сказали себе, что милость Божья дает возможность всякому существу знать и творить добро, и мы обещали себе преподавать ей добро и помочь ей творить его легко и радостно. Останься ребенок у вас, все было бы совсем иначе. Будьте же добры с сегодняшнего дня не считать Анджелу своей. Вы покинули ее, уступили, отдали, — она больше вам не принадлежит. Вы передали нам известную сумму денег как плату за ее воспитание...

Он сделал знак кормилице, которая, будучи предупреждена им за несколько минут, вынула из шкафа увязанный и запечатанный мешочек, тот самый, который был прислан Корилой канонику вместе с дочерью и который никогда не был открыт. Он его взял и, бросив к ногам Кориоллы, прибавил:

— Нам с этим нечего делать, и мы этого вовсе не хотим. А теперь я прошу вас оставить мой дом и никогда здесь не появляться ни под каким предлогом. С этим условием, а также при обещании, что вы никогда не позволите себе открыть рта относительно обстоятельств, заставивших нас войти в сношения с вами, мы, со своей стороны, обещаем вам абсолютное молчание по поводу всего, что вас касается. В противном случае, предупреждаю вас, у меня больше средств, чем вы думаете, довести всю правду до сведения ее императорского величества, и тогда очень возможно, что ваши лавровые венки и восторженные овации ваших театральных поклонников сменятся на несколько лет монастырем для кающихся грешниц.

Сказав это, каноник встал, сделал знак кормилице взять на руки ребенка, а Консуэло с Йозефом удалиться в глубь комнаты. Затем он указал Корилле пальцем на дверь, и та в ужасе, бледная и дрожащая, вышла, словно помешанная, не зная, куда идет, и не понимая, что вокруг нее происходит.

Каноник, изрекая эти слова, почти походившие на проклятие, был охвачен негодованием честного человека, и это несомненно придавало ему необычайную силу. Консуэло и Йозеф никогда его таким не видели. Привычка считать себя авторитетом, никогда не покидающая священника, и королевская манера держать себя повелительно, переданная ему отчасти по наследству и выдававшая в эту минуту побочного сына Августа II, сообщали канонику, быть может, без его ведома, какое-то неотразимое величие.

Корилла, с которой ни один мужчина не говорил с таким спокойствием, присущим суровой правде, почувствовала больше страха и ужаса, чем когда-либо внушали ей взбешенные любовники своими оскорблениями, полными мести и презрения. Будучи итальянкой и к тому же суеверной, она в самом деле испугалась этого духовного лица и его анафемы и, как безумная, пустилась бежать через сад, в то время как каноник, утомленный этим усилием, столь несвойственным ему, всегда такому доброму и веселому, откинулся на стул, бледный, почти в обморочном состоянии.

Торопясь оказать ему помощь, Консуэло невольно следила глазами за нервной, неверной походкой ушедшей. Она видела, как Корилла в конце аллеи повалилась на траву, то ли споткнувшись, то ли не имея сил держаться на ногах. В порыве доброты и находя урок более жестоким, чем сама была бы в состоянии дать, Консуэло оставила каноника на попечении Йозефа и побежала к своей сопернице, бившейся в сильном нервном припадке. Не имея возможности успокоить ее и не смея привести ее обратно в приорию, она старалась помешать ей кататься по земле и царапать руками песок.

В течение нескольких минут Корилла была, как сумасшедшая. Но когда она увидела, кто оказывает ей помощь и старается ее утешить, она вдруг успо-





*Каноник указал Корилле пальцем на дверь, и та в ужасе, бледная и дрожащая, вышла, словно помешанная, не зная, куда идет, и не понимая, что вокруг нее происходит.*

коилась и только мертвенно побледнела. Ее сжатые губы хранили мрачное молчание, а потухшие глаза, устремленные в землю, не поднимались. Однако она позволила проводить себя до экипажа, ждавшего ее у ворот, и, не проронив ни единого слова, села в него, поддерживаемая своей соперницей.

— Вы очень плохо себя чувствуете? — спросила Консуэло, испуганная ее ужасным видом. — Дайте, я провожу вас часть дороги, а там вернусь обратно пешком.

Вместо всякого ответа Корилла грубо оттолкнула ее, потом секунду как-то загадочно смотрела на нее и, вдруг зарывав, закрыла лицо рукой, другой махнула кучеру, чтоб он ехал, и спустила штору между собой и своим великодушным врагом.

На следующий день, к началу последней репетиции «Антигона», Консуэло была на своем посту, ожидая Кориллу. Примадонна приказала передать через своего слугу, что опоздает на полчаса. Каффариэлло послал ее ко всем чертям и, объявив, что не намерен зависеть от такой дуры и не станет ее ждать, притворился, будто собирается уйти. Госпожа Тези, бледная и больная, пожелала присутствовать на репетиции, чтобы позабавиться над Кориллой. Она велела принести себе диван и, улегшись на него позади первой кулисы, разрисованной в виде подобранного занавеса, которая на театральном жаргоне зовется «плащом арлекина», стала успокаивать своего друга и сама решила упорно ждать Кориллу, уверенная, что та медлит со своим появлением, желая избежать ее критики. Наконец появилась Корилла, более бледная и изможденная, чем даже госпожа Тези, которая, видя ее в таком состоянии, сама порозовела и приободрилась. Вместо того чтобы, как обычно, сбросить с себя накидку и шляпу с величественной развязностью, Корилла опустилась в изнеможении на деревянный позолоченный трон, забытый в глубине сцены, и угасающим голосом обратилась к Гольцбауэру:

— Господин директор, заявляю вам, что я страшно больна, совсем без голоса и провела ужасную ночь...

— С кем? — тожно спросила Тези у Каффариэлло.

— И поэтому, — продолжала Корилла, — я совершенно не в состоянии репетировать сегодня и петь завтра, разве только снова возьму роль Исмены, а роль Береники вы дадите исполнять другой.

— Да думаете ли вы о том, что говорите, сударыня? — воскликнул Гольцбауэр, словно пораженный громом. — Можете ли вы накануне спектакля, назначенного самим двором в определенный час, представлять какие-либо отговорки? Это немыслимо, и я ни в каком случае не могу на это согласиться.

— А все-таки вам придется с этим примириться, — возразила Корилла уже своим обычным, далеко не кротким голосом. — Я приглашена на вторые роли, и в моем контракте нет пункта, обязывающего меня исполнять первые. Только любезность заставила меня заменить госпожу Тези, чтоб не прерывать удовольствий двора. Я же слишком плохо себя чувствую, чтоб сдержать свое обещание, а насильно петь вы меня не заставите.

— Милая моя, тебя заставят петь «по приказу», — вмешался Каффариэлло, — и ты споешь плохо, как мы и предвидели. Это небольшое несчастье прибавится ко всем тем, которые тебе привелось по своему желанию переносить в жизни. Но раскаиваться уже поздно. Надо было подумать обо всем этом раньше. Слишком ты понадеялась на свои силы. Ты провалишься, но нам-то всем какое до этого дело! Я спою так, что забудут о самом существовании роли Береники. Порпорина также своей маленькой ролью Исмены вознаградит публику, и все будут довольны, за исключением тебя. Это будет тебе уроком, которым ты, не знаю уж, воспользуешься или не воспользуешься в следующий раз.

— Вы очень ошибаетесь насчет причины моего отказа, — уверенным тоном ответила Корилла. — Не будь я больна, вероятно, я спела бы свою партию не хуже «другой». Но так как я не в состоянии петь, то споет некто, способный спеть гораздо лучше, чем кто-либо из певших до сих пор в Вене, и это произойдет не позже завтрашнего дня. Таким образом, спектакль состоится в свое время, а я с удовольствием снова буду исполнять партию Исмены: она меня не утомляет.

— Вы, стало быть, рассчитываете, — сказал удивленный Гольцбауэр, — что госпожа Тези настолько поправится к завтрашнему дню, что будет в состоянии спеть свою партию?

— Я прекрасно знаю, что госпожа Тези еще долго не сможет петь, — проговорила Корилла так громко, что с трона, где она восседала, ее могла слышать Тези, возлежавшая на своем диване в десяти шагах от нее, — смотрите, как она изменилась: ее лицо просто ужасно! Но я сказала, что у вас есть Береника, чудесная, несравненная, превосходящая всех нас, и вот она, — прибавила Корилла, поднимаясь и беря Консуэло за руку, чтоб втащить ее во встревоженную и взволнованную группу, образовавшуюся вокруг нее.

— Я? — воскликнула Консуэло, которой казалось, что она видит сон.

— Ты! — закричала Корилла, судорожным движением толкая ее к трону. — Вот ты и царица, Порпорина! Вот ты и на первом месте! И я возвожу тебя на него. Я! Это был мой долг по отношению к тебе. Помни это!

Гольцбауэр, в полном отчаянии, рискуя не выполнить своей обязанности и, быть может, даже лишиться места директора, не мог отвергнуть эту неожиданную помощь. Он прекрасно видел по тому, как Консуэло провела роль Исмены, что она будет на высоте, исполняя и партию Береники. Несмотря на все отвращение, питаемое им как к Консуэло, так и к Порпора, в данную минуту он мог бояться только одного: что юная певица не согласится взять на себя эту роль.

И она, действительно, очень настойчиво от этого отказывалась. Дружески пожимая руку Корилле, она шепотом умоляла ее не приносить ей жертвы, так мало нужной ее самолюбию, а между тем являвшейся, с точки зрения ее соперницы, самым ужасным из всех искуплений, самым страшным самоунижением, к которому та могла себя принудить.

Корилла осталась непреклонной в своем решении.

Госпожа Тези, испуганная грозящим ей серьезным соперничеством, очень хотела попробовать свой голос и снова взяться за свою роль, хотя бы

даже с риском для жизни, ибо не на шутку была больна, но она не посмела этого сделать. Тогда на императорской сцене не разрешалось иметь капризов, с которыми теперь так терпеливо мирится добродушный владыка нашего времени — публика. Двор ожидал увидеть что-то новое в роли Береники: ему об этом было доложено, и императрица рассчитывала на это.

— Ну, соглашайся! — сказал Каффариэлло Порпорине, — это первый умный поступок Кориаллы во всю ее жизнь; воспользуемся же им!

— Но я роли не знаю, не проходила ее, — говорила Консуэло, — не смогу же я выучить ее к завтрашнему дню.

— Ты слышала ее, следовательно знаешь и завтра споешь, — проговорил наконец громовым голосом Порпора. — Ну, нечего гримасничать, и пусть эти прения прекратятся! Больше часа мы потеряли на болтовню. Господин директор, прикажите скрипкам начинать. А ты, Береника, марш на сцену! Не нужно нот, долой ноты; кто был на трех репетициях, должен знать все роли на память. Говорю тебе: эту роль ты знаешь.

No! tutto, o Berenice,  
Tu non apri il tuo cor...

— пела Кориалла, снова став Исменой.

«А теперь, — подумала эта женщина, судившая о тщеславии Консуэло по своему собственному, — все, что она знает о моих приключениях, покажется ей пустяком».

Консуэло, чья феноменальная память и необычайная легкость усвоения были прекрасно известны Порпора, действительно исполнила роль, музыку и текст без единой запинки. Госпожа Тези была так поражена ее игрой и пением, что почувствовала себя гораздо хуже и после первого же действия приказала отвезти себя домой.

На следующий день Консуэло нужно было к пяти часам приготовить себе костюм, пройти рулады своей роли и вообще внимательно повторить всю свою партию. Успех она имела такой, что императрица, выходя из театра, сказала:

— Вот чудесная девушка! Надо непременно выдать ее замуж: я позабочусь об этом.

Со следующего же дня начали репетировать «Зенобию»<sup>1</sup> на текст Метастазия, с музыкой Предиери. Кориалла опять настояла на том, чтоб Консуэло

<sup>1</sup> Сюжет «Зенобии», в общем, таков. Радамист, сын иберийского царя Фарасмана (I в. до нашей эры), отправившись к своему дяде, армянскому царю Митридату, женится на его дочери Зенобии, а затем восстает против него и убивает его. Тогда против Радамиста выступает царь парфянский Тиридат и побеждает его. Спасаясь с женою бегством, Радамист, видя, что она изнемогает и не может следовать дальше, закалывает ее и бросает в реку Аракс. Ее находит Тиридат, приводит в чувство, спасает и дает ей у себя приют. На этот сюжет написана знаменитая французская трагедия Кребильона (1676–1762) «Радамист и Зенобия».



исполняла первую роль. Вторую роль на этот раз взяла на себя госпожа Гольцбауэр, и так как она была лучшей артисткой, чем Кориλλα, то опера эта была удачнее разучена, чем первая. Метастазियो был в восторге, видя, что его лира, заброшенная и забытая во время войны, снова входит в милость при дворе и производит фурор в Вене. Он почти перестал думать о своих хворостях и, побуждаемый благосклонностью Марии-Терезии и своим долгом писателя творить новые лирические драмы, готовился, изучая греческие трагедии и латинских классиков, к созданию одного из тех шедевров, которые итальянцы в Вене, а немцы в Италии бесцеремонно ставили выше трагедий Корнеля, Расина, Шекспира, Кальдерона — одним словом, говоря откровенно, без ложного стыда, превыше всего.

Но в этом рассказе, и без того таком длинном и переполненном подробностями, мы не станем еще злоупотреблять, быть может, давно уже истощившимся терпением читателя и делиться с ним своими мыслями относительно гениальности Метастазियो. Читателю это мало интересно. Мы только сообщим ему, что Консуэло втихомолку говорила по поводу этого Йозефу:

— Милый мой Беппо, ты не можешь себе представить, до чего мне трудно играть эти роли, считающиеся такими возвышенными, такими трогательными. Правда, рифмы хороши, и петь их легко, но что касается лиц, произносящих все это, то тут не знаешь, где взять, уж не говорю подъема, а просто сил удержаться от смеха, изображая их. Какое странное положение создали, приноравливая античный мир к современному: выводятся на сцену интриги, страсти, понятия о нравственности, которые, пожалуй, были бы очень уместны в мемуарах маркграфини Байрейтской, барона Тренка, принцессы Кульмбахской, но в устах Радамиста, Береники или Арсинои являются просто нелепой бессмыслицей. Когда, поправляясь после болезни, я жила в Замке Великанов, граф Альберт часто читал мне вслух с целью усыпить меня, но я не спала и слушала, затаив дыхание. Читал он греческие трагедии Софокла, Эсхила или Эврипида, и читал их по-испански, медленно, но ясно, без запинок, несмотря на то, что тут же переводил их с греческого текста. Он был так силен в древних и новых языках, что казалось, будто он читает чудесно сделанный перевод. По его словам, он стремился переводить как можно ближе к подлиннику, чтоб в его добросовестной передаче я смогла постичь греческий гений во всей его простоте. Боже! Какое величие! Какие картины! Сколько поэзии! Какое чувство меры! Какого исполинского размаха люди! Какие характеры, целомудренные и могучие! Какие сильные ситуации! Какие глубокие, истинные горести! Какие душераздирающие и страшные картины заставлял он проходить перед моими глазами! Еще слабая, с воображением, все еще возбужденным сильными переживаниями, вызвавшими мою болезнь, я так была взволнована его чтением, что воображала себя то Антигоной, то Клитемнестрой, то Медеей, то Электрой, воображала, что переживаю эти кровавые мстительные драмы не на сцене, при свете рамповых ламп, а среди страшных пустынь, у входа в зияющие пещеры или в колоннадах античных



храмов, у бледно горящих очагов, где оплакивали мертвых, составляя заговоры против живых. Я слышала жалобные хоры троянок и пленниц Дардании. Эвмениды плясали вокруг меня... Что за странный ритм! Какие адские модуляции! Я вспоминаю об этих плясках с удовольствием, но и с ужасом, еще теперь вызывающим у меня дрожь. Никогда, осуществляя свои мечты, я не буду переживать на сцене тех волнений, не почувствую в себе той мощи, какие бушевали тогда в моем сердце и в моем сознании. Тогда впервые почувствовала я себя трагиком, и в голове моей сложились образы, которых не дал мне ни один артист. Тогда поняла я, что такое драма, трагические эффекты, поэзия театра. И в то время как Альберт читал, я мысленно импровизировала мелодии, под аккомпанемент которых воображала, что произношу все мною слышанное. Я несколько раз ловила себя на том, что принимала позы и выражение лица героинь, которых Альберт заставлял говорить, и, бывало, часто он останавливался в испуге, думая, что видит перед собой Андромachu или Ариадну. О, поверь, я большему научилась и более постигла за месяц этого чтения, чем постигну за всю свою жизнь, обреченная заучивать драмы господина Метастазियो. И если б композиторы не вносили в музыку чувства и истины, которые отсутствуют в самом действии, мне кажется, я изнемогла бы от отвращения, изображая великую герцогиню Зенобию, беседующую с ландграфиней Аглаей, и слушая, как фельдмаршал Радамист ссорится с венгерским корнетом Зопиром<sup>1</sup>. О! Все то фальшь, чудовищная фальшь, милый мой Беппо! Это фальшиво, как наши костюмы, фальшиво, как белокурый парик Каффариэлло в роли Тиридата, фальшиво, как пеньюар а-ля Помпадур на госпоже Гольцбауэр в роли армянской пастушки, как облеченные в розовое трико икры царевича Деметрия, как декорации, которые мы здесь видим вблизи и которые похожи на Азию не больше, чем аббат Метастазियो на старика Гомера.

— То, что ты говоришь, — отвечал Гайдн, — объясняет мне, почему, сознавая необходимость писать оперы для театра, (конечно, если я когда-нибудь буду в силах это сделать), я чувствую больше вдохновения и упования на успех при мысли о создании ораторий. Тут, где жалкие сценические эффекты не мешают то и дело правдивости чувств, тут, в этом симфоническом обрамлении, где все музыка, где душа говорит с душой при посредстве уха, а не глаза, мне кажется, композитор может проявить все свое вдохновение и увлечь слушателей на действительно большую высоту.

Беседуя таким образом, в ожидании, пока все соберутся на репетицию, Йозеф и Консуэло ходили рядышком вдоль большой декорации заднего плана, которая в этот вечер должна была изображать реку Аракс, а на самом деле была огромным куском полотна синего цвета, натянутого между двумя большими желтыми пятнами, представлявшими собой якобы Кавказские горы.

Известно, что эти полотна заднего плана, приготовленные для спектакля, помещаются одни за другими таким образом, чтоб по мере надобности их

---

<sup>1</sup> *Тиридат, Деметрий и Зопир* — действующие лица в «Зенобии» и «Антигоне».

можно было поднять с помощью блока. В проходах, отделяющих их одно от другого, во время представления снуют актеры, дремлют или обмениваются понюшками табаку статисты, сидя или лежа в пыли, под медленно стекающими из худо заправленных ламп каплями деревянного масла.

Днем по этим темным, узким проходам прогуливаются актеры, повторяя роли или разговаривая друг с другом о своих делах. Подчас они подслушивают чужие маленькие секреты, перехватывают сложные интриги благодаря тому, что говорящие вблизи не видят их из-за какого-нибудь морского залива или городской площади. По счастью, Метастазию не стоял на другом берегу Аракса в то время, как неопытная Консуэло изливала Гайдну свое негодование артистки.

Репетиция началась. Это была вторая репетиция «Зенобии», и она шла так хорошо, что музыканты оркестра начали аплодировать, по обычаю ударяя смычками по своим скрипкам. Музыка Предиери была очаровательна, и Порпора дирижировал с гораздо большим подъемом, чем оперой Гассе. Роль Тиридата была одной из коронных ролей Каффариэлло, и он не находил ничего предосудительного в том, что, нарядив его в одежду сурового парфянского воина, его заставили ворковать, как Селадон, и говорить, как Клитандр<sup>1</sup>. Консуэло, если и чувствовала, что ее роль фальшива и напыщенна в устах античной героини, то, по крайней мере, самый характер этой женщины был ей по душе. Она даже находила сходство с душевным состоянием, которое испытывала, когда очутилась между Альбертом и Андзовето. Совершенно забывая то, что мы называем теперь «местным колоритом», и представляя себе только общечеловеческие чувства, она заметила, что превзошла саму себя в арии, смысл которой был так близок ее сердцу:

Voi leggete in ogni core;  
Voi sapete, o giusti Dei,  
Se son puri i voti miei,  
Se innocente è la pietà.<sup>2</sup>

В это мгновение ее охватил настоящий душевный трепет, и она сознавала, что триумф ее заслужен. Ей уже не надо было, чтобы Каффариэлло, не стесненный на этот раз присутствием Тези и чистосердечно восхищавшийся, подкрепил в ней поощрительными взглядами то, что она и сама чувствовала, а именно — уверенность в неотразимом впечатлении, которое она будет производить этой арией на публику всего света, при всевозможных обстоятельствах.

<sup>1</sup> *Селадон* — герой французского пасторального романа «Астрей» Оноре д'Юрфе (1568–1621), слащаво томный и влюбленный. *Клитандр* — имя, распространенное во французском классическом театре, страстно влюбленный молодой человек.

<sup>2</sup> Вам открыты тайны сердца,  
И вы знаете, о боги,  
Как чисты мои желанья  
И безвинно состраданье. (ит.)

Таким образом, она совершенно примирилась со своей ролью, с оперой, с товарищами, с самой собой, одним словом, примирилась с театром. И несмотря на то, что за час перед тем проклинала свое положение, она почувствовала вдохновение такое глубокое, такое внезапное и могучее, что только артист в состоянии понять, сколько веков труда, разочарований и страданий может оно искупить в один миг...

## ХСV

В качестве ученика, да к тому же полуслуги Порпора, Гайдн, жаждавший слушать музыку и изучать самую технику опер, получил позволение проскальзывать за кулисы, когда пела Консуэло. Уже два дня он замечал, что Порпора, сначала недоброжелательно относившийся к его присутствию в театре, теперь разрешал ему это с добродушным видом, раньше чем он осмеливался просить его об этом. Дело в том, что в голове профессора творилось что-то новое. Мария-Терезия, говоря о музыке с венецианским посланником, снова вернулась к своей матримониальной мании, как выражалась Консуэло. Она сказала, что ей было бы очень приятно, если б эта талантливая артистка основалась в Вене, выйдя замуж за молодого музыканта, ученика Порпора. Сведения о Гайдне она почерпнула от того же посланника, а так как Корнер очень хвалил юношу, говоря, что у него громадные музыкальные способности, а главное, что он к тому же очень усердный католик, ее величество поручила своему собеседнику устроить этот брак, обещая прилично обеспечить юную пару.

Мысль эта улыбалась господину Корнер: он нежно любил Йозефа и уже давал ему ежемесячно семьдесят два франка, чтобы юный музыкант мог спокойно продолжать свои занятия. Корнер горячо ратовал за него перед Порпора, и старик, боясь, что Консуэло будет настаивать на том, чтоб оставить сцену и выйти замуж за дворянина, наконец после долгих колебаний, после упорного сопротивления дал себя убедить (ибо, конечно, маэстро предпочел бы всему этому, чтобы его ученица жила, не зная ни брака, ни любви).

Желая добиться своего, посланник решил показать Порпора произведения Гайдна и открыл ему, что та серенада для трио, которая так понравилась маэстро, была написана Беппо. Порпора признался, что это произведение говорит о большом таланте, что он мог бы дать юному композитору хорошее направление, а также помочь ему писать для голоса и что, наконец, будущность певицы, вышедшей замуж за композитора, имеет данные сложиться очень удачно. Чрезвычайная молодость этой пары и их скудные средства вынудят их работать, не питая при этом каких-либо тщеславных надежд, и, таким образом, Консуэло будет прикована к театру. И маэстро сдался. Он, как и Консуэло, не получал ответа из Замка Великанов. Это молчание заставляло его опасаться сопротивления со стороны Рудольштадтов и какой-либо выходки моло-

дого графа. «Если б мне удалось даже не выдать замуж, а только обручить ее с другим, — думалось старику, — тогда мне уж нечего было бы бояться». Трудность заключалась в том, чтобы принудить Консуэло согласиться на это. Убеждать ее значило бы внушить ей мысль о сопротивлении. И его неаполитанская хитрость подсказала ему, что сила обстоятельств должна незаметно изменить образ мыслей юной девушки. Она питала дружбу к Беппо, а Беппо хотя и победил любовь в своем сердце, но неизменно проявлял свое усердие, восхищение и преданность по отношению к девушке, а потому Порпора легко мог допустить, что юноша страстно в нее влюблен. Маэстро думал, что, не мешая Йозефу в его отношениях с Консуэло, он даст ему возможность добиться взаимности и что, сообщив ему в удачный момент планы императрицы и свое собственное согласие, он этим придаст смелости его красноречию и жар его убеждениям. Словом, он вдруг перестал грубо обращаться с ним, унижать его и предоставил свободу их братским излияниям, льстя себя надеждой, что таким образом дела пойдут скорее, чем если бы он в них вмешивался открыто.

Порпора, слишком веря в успех, делал большую ошибку. Он подвергал репутацию Консуэло злословию: стоило только увидеть за кулисами два раза подряд подле нее Йозефа, чтобы весь театральный люд заговорил о ее любовных отношениях с этим молодым человеком, а бедная Консуэло, доверчивая и неосторожная, как все правдивые и целомудренные души, несколько не предвидела опасности и не думала оберегать себя от нее.

И вот со дня репетиции «Зенобии» глаза стали настороже, а языки развязались. За всякой кулисой, за всякой декорацией между снующими актерами, хористами и всякого рода служащими раздавались злостные или игривые, порицающие или благожелательные замечания о неприличии зарождающейся интриги или о целомудрии этой счастливой помолвки.

Консуэло, вся ушедшая в свою роль, в свои артистические переживания, ничего не видела, не слышала, не предчувствовала. Мечтательный Йозеф, совершенно поглощенный представлением оперы, идущей на сцене, и той, которую он вынашивал в своей музыкальной душе, иногда, правда, и слышал какие-то мельком брошенные слова, но не понимал их, будучи слишком далек от каких бы то ни было тщетных надежд.

Когда до него мимоходом долетал двусмысленный намек или язвительное замечание, он поднимал голову и оглядывался кругом, ища, к кому это относилось, и, не находя никого, глубоко равнодушный к подобного рода злословию, снова погружался в свои думы.

В антрактах оперы часто ставилась какая-нибудь интермедия-буф, а в этот день репетировался «Антрепренер с Канарских островов»<sup>1</sup>, сценки Мета-

<sup>1</sup> «Антрепренер с Канарских островов» («Impressario delle Canarie») — двухактная комическая интермедия (текст Метастазиио) для исполнения в двух антрактах «серьезной» оперы. В ней лишь два действующих лица: капризная, взбалмошная примадонна Дорина и ловкий антрепренер Ниббьо («коршун»), ангажирующий ее в свою труппу на Канарские острова.

стазио, очень веселые и очень комические. Корилла, исполняя в них роль примадонны требовательной, властной и взбалмошной, была замечательно естественна, и успех, которым она обыкновенно пользовалась в этой остроумной безделице, несколько утешал ее в том, что она пожертвовала своей большой ролью Зенобии.

В то время как репетировали последнюю часть интермедии, Консуэло, в ожидании репетиции третьего акта, несколько подавленная переживаниями своей роли, зашла в глубь сцены и очутилась между двух декораций, а именно — «ужасной долиной, изрезанной горами и пропастями», фигурировавшей в первом акте, и прекрасной рекой Аракс, «окаймленной радующими взор холмами», которая должна была появиться в третьем акте, дабы доставить отдых глазам «чувствительного» зрителя. Консуэло быстро прохаживалась там назад и вперед, когда Йозеф принес веер, оставленный ею на будке суфлера, и она тут же с удовольствием стала им обмахиваться.

Сердечный инстинкт и нарочитая озабоченность Порпора невольно подстрекали Йозефа разыскивать свою подругу, а привычка относиться к нему с доверием и потребность излишений побуждали Консуэло встречать его всегда с радостью. И вот эту взаимную симпатию, которой не стыдились бы и ангелы на небесах, судьба решила превратить в источник странных бедствий...

— Ну, друг мой, — сказал Йозеф, улыбаясь и подавая руку Консуэло, — мне кажется, что ты уже не так недовольна драмой нашего знаменитого аббата и нашла в мелодии молитвы то открытое окно, через которое гениальный дух, владеющий тобой, раз и навсегда вырвался на простор!

— Ты, значит, находишь, что я эту молитву спела хорошо?

— Разве ты не видишь, как красны мои глаза?

— Ах, да! Ты плакал! Это хорошо! Прекрасно! Очень рада, что заставила тебя плакать.

— Точно это впервые. Но, милая Консуэло, ты становишься именно такой артисткой, какой Порпора хочет, чтобы ты была. Тебя охватила лихорадка успеха. Когда бывало ты пела, идя по тропинкам Богемского леса, ты видела мои слезы и сама плакала, умиленная красотой своего пения. Теперь другое дело: ты смеешься от счастья и трепещешь от гордости, видя вызываемые тобой слезы. Ну, мужайся, Консуэло! Ты теперь *primadonna*<sup>1</sup> в полном смысле этого слова!

— Не говори мне этого, друг мой, я никогда не буду такой, как она... — и Консуэло указала жестом на Кориλλу, певшую на сцене по ту сторону декорации.

— Не принимай это в дурном ключе, — возразил Йозеф, — я хочу сказать, что бог вдохновения овладел тобой. Напрасно твой холодный рассудок, твоя суровая философия и воспоминания о Замке Великанов боролись с духом Пифона. Он проник в тебя и заполнил. Признавайся, что ты задыхаешься от удовольствия. Твоя рука дрожит в мой, твое лицо возбуждено, и никогда я не видал у тебя такого взгляда, как в эту минуту. Нет! Ты не была более взволнована, более вдохновлена тогда, когда граф Альберт читал тебе греческие трагедии!

<sup>1</sup> Первая певица (ит.)





— Ты, значит, находишь, что я эту молитву спела хорошо?  
 — Разве ты не видишь, как красны мои глаза?

— Боже, какую боль ты мне причиняешь! — воскликнула Консуэло, вдруг бледнея и вырывая свою руку из рук Йозефа. — Зачем ты произносишь здесь это имя? Имя это священно и не должно раздаваться в этом храме безумия. Имя это ужасно: оно, как удар грома, угоняет в ночную тьму все иллюзии и все призраки золотых снов!

— Так вот, Консуэло, сказать тебе? — снова заговорил Йозеф, после минутного молчания. — Никогда ты не сможешь решиться выйти замуж за этого человека.

— Замолчи! Замолчи! Я обещала ему это...

— Если же ты сдержишь свое обещание, ты никогда не будешь счастлива с ним. Покинуть театр, тебе? Отказаться от артистической карьеры? Упустила момент! Ты только что вкусила радость, воспоминание о которой способно отравить всю твою жизнь.

— Ты меня пугаешь, Беппо. Почему именно сегодня ты говоришь мне подобные вещи?

— Не знаю, я говорю словно помимо своей воли. Твое возбужденное состояние передалось моему мозгу, и мне кажется, что, вернувшись домой, я напишу нечто великое. Пусть даже не великое — все равно! Но эти четверть часа я чувствую себя гениальным...

— Как весел ты и спокоен, а я, по твоим словам, опьяненная гордостью и счастьем, испытываю острую муку, и мне одновременно хочется и смеяться и плакать.

— Ты страдаешь, в этом я уверен, и ты должна страдать! В тот момент, когда проявляется твоя сила, мрачные мысли охватывают и леденят тебя.

— Да, это правда. Что же это значит?

— Это значит, что ты артистка, а взяла на себя словно долг какой-то, жестокое обязательство, противное Богу и тебе самой, — отказаться от искусства!

— Вчера еще мне казалось, что это не так, а сегодня я согласна с тобой. Но у меня расстроены нервы, я вижу, как эти волнения ужасны и губительны. Я всегда отрицала влияние нервов и их власть. Всегда выходила я на сцену, сохраняя спокойствие, внимание и скромность. Сегодня я собой не владею, и если б в эту минуту мне надо было играть, я была бы способна и на гениальные безумства, и на жалкие сумасбродства. Узда моей воли вырывается из моих рук. Надеюсь, что завтра я буду иною, ведь это волнение имеет что-то общее с бредом и агонией.

— Бедный друг, боюсь, что отныне это всегда будет так, или, вернее, надеюсь на это; ибо ты будешь действительно великой только в огне такого волнения! Я слышал от всех музыкантов, от всех актеров, с которыми приходилось мне встречаться, что без этого бредового состояния или этого смятения они ни на что неспособны и что вместо того, чтобы с годами успокоиться, привыкнуть, они при каждом проявлении своего гения делают все более и более впечатлительными, все более и более возбужденными.

— Это великая тайна, — проговорила, вздыхая, Консуэло. — Не думаю, чтоб тщеславие, зависть, низкая жажда успеха могли овладеть мной так внезапно и в один день перевернуть все во мне вверх дном. Нет, уверяю тебя, когда я пела эту молитву Зенобии и этот дуэт с Тиридатом, где страсть и мощь Каффариэлло захватывали меня, как ураган, я забыла и о публике, и о соперниках, и о себе самой, — я была Зенобией, я думала о бессмертных богах Олимпа с чисто христианским жаром и пылала любовью к этому самому добряку Каффариэлло, на которого после спуска занавеса я не могу смотреть без смеха. Все это очень странно, и я начинаю думать, что драматическое искусство — вечная ложь и что Бог в наказание посылает на нас безумие, побуждающее верить в искусство и считать, что мы делаем великое дело, вызывая иллюзии в других. Нет, непозволительно человеку злоупотреблять всеми страстями и волнениями действительной жизни, превращая их в игру! Богу угодно, чтоб мы сохраняли нашу душу здоровой и сильной для настоящей любви, для полезных дел, а когда мы ложно понимаем его волю, он карает нас безумием.

— Бог! Бог! Воля Божья! Вот где тайна, Консуэло! Кто может постичь его намерения относительно нас? А разве вложил бы он в нас с колыбели эту потребность, это непреодолимое влечение к определенному искусству, если бы запрещал нам служить тому, к чему мы призваны? Почему с детства не любил я играть со своими маленькими товарищами? Почему, как только был предоставлен самому себе, я стал заниматься музыкой с такой страстью, что ничто не могло меня оторвать от этого, с такой усидчивостью, какая убила бы каждого другого ребенка моих лет? Отдых меня утомлял, труд вливал в меня жизненные силы. То же было и с тобой, Консуэло. Ты мне сто раз говорила об этом; когда один из нас передавал другому историю своей жизни, тому казалось, что он слышал рассказ о себе самом. Поверь, во всем рука Божья, и всякая сила, всякое призвание к чему-либо есть воля Господа, даже если нам неясна его цель. Ты родилась артисткой; кто помешает тебе в этом, убьет тебя или сделает жизнь твою хуже смерти.

— Ах! Беппо! — воскликнула Консуэло, смущенная и почти растерянная. — Я знаю, что бы ты сделал, если бы ты был действительно моим другом!

— Что же я должен был бы сделать, дорогая Консуэло? Разве моя жизнь не принадлежит тебе?

— Ты должен был бы убить меня завтра же, как только опустится занавес и я в первый и последний раз в своей жизни проявлю себя истинной и вдохновенной артисткой!

— Ах! Я предпочел бы убить твоего графа Альберта или самого себя, — с грустной улыбкой промолвил Йозеф.

В эту минуту Консуэло взглянула на находившиеся перед ней кулисы и окинула их озабоченно-печальным взглядом. Внутренность театра днем настолько непохожа на то, какою она кажется издали при вечернем освещении, что тот, кто не видал ее, даже не может себе этого представить. Нет ничего грустнее, мрачнее и страшнее этого пустынного зала, погруженного

во мрак и тишину. Появись в одной из театральных уборных, закрытых, словно могилы, какая-нибудь человеческая фигура, она показалась бы привидением и заставила бы от ужаса попятиться назад самого бесстрашного актера. Слабый и тусклый свет, падающий сверху из слуховых окон в глубине сцены, косо стелется по лесам, сероватым лохмотьям, пыльным доскам. На сцене глаз, лишенный перспективы, удивлен теснотой помещения, где должно действовать столько людей, столько страстей, изображая величественные движения, внушительные массовые сборища, необузданные порывы, которые будут казаться таковыми зрителям, а на самом деле заучены, точно размерены, чтоб не запутаться, не смешаться, не разбиться о декорации. Но если сцена кажется маленькой и жалкой, то, наоборот, высота помещения, отведенного для стольких декораций и машин, кажется громадной, будучи освобожденной от всех этих полотен, изображающих облака, архитектурные карнизы или зеленые ветки, мешающие зрителю созерцать подлинную высоту помещения. Эта высота, действительно несоразмерная, заключает в себе что-то суровое, и если, попав на сцену, нам кажется, что мы в темнице, то, глядя вверх, мы думаем, что очутились в готическом храме, но в храме разрушенном или недостроенном, ибо все там тускло, бесформенно, причудливо, нескладно... Лестницы, нужные машинисту, висят без всякой симметрии, переплетаясь случайно и протягиваясь без видимой причины к другим лестницам, которых не различишь среди всяких бесцветных мелочей: груд досок, странно отделанных, декораций с изнанки, рисунки коих кажутся бессмысленными, веревок, свитых подобно иероглифам, обломков без названий, блоков и колес, словно предназначенных для каких-то неведомых пыток, — все это вместе взятое напоминает сны, которые сняты перед пробуждением, когда видишь какие-то несуразности и делаешь напряженные усилия понять, где находишься. Все туманно, все расплывчато, все, кажется, готово рассеяться. Вот виден человек, спокойно работающий на балках, и кажется, что он повис на паутине. Его можно принять и за моряка, карабкающегося по снастям корабля, и за гигантскую крысу, подтачивающую и грызущую эти прогнившие срубы. Слышны слова, доносящиеся неизвестно откуда. Они произносятся в восьмидесяти футах над вами, и странная звучность эхо, притаившегося во всех углах этого фантастического купола, доносит их до вашего уха отчетливо или неясно, смотря по тому, сделаете ли вы шаг вперед или шаг в сторону, отчего меняются акустические условия. Ужасающий шум, за которым следует продолжительный свист, внезапно потрясает подмостки. Что это? Своды ли рушатся? Трещит ли и падает один из этих больших балконов, погребая под своими обломками бедных рабочих? Нет, это чихнул пожарный или кошка бросилась в погоню за своей добычей через пропасти этого висячего лабиринта. Пока вы не привыкнете ко всем этим предметам и ко всем этим шумам, вам страшно: вы не знаете, в чем тут дело, вы не знаете, для встречи с какими невероятными призраками вам надо вооружиться самообладанием. Вы ничего не понимаете, а то, чего нельзя



распознать глазом или сознанием, то, что неопределенно и неизвестно, приводит в смятение и логику, и чувства. Попад в первый раз в подобный хаос, всего благоразумнее сказать себе, что вас ожидает какой-то безумный шабаш в таинственной алхимической лаборатории<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Если для проницательного взора все имеет свою красоту, то части театра, скрытые за сценой, могут поразить воображение больше, чем все так называемые эффекты на сцене, освещенной и разукрашенной во время представления. У меня не раз возникал вопрос, в чем именно заключается эта красота и удастся ли мне описать ее, если бы мне захотелось передать эту тайну чужой душе. «Как? — скажут мне. — Разве может внешний облик предметов, лишенных красоты, форм, порядка и освещения, принять такой вид, который заинтересовал бы взоры и ум?» Только один живописец может ответить мне на это: да, я понимаю это. Вспомним картину Рембрандта «Философ в раздумье»: эта огромная комната, эти бесконечные лестницы, уходящие неизвестно куда, эти туманные проблески света, то вспыхивающие, то потухающие неизвестно почему в разных планах картины; эта неопределенная и в то же время четкая сцена, этот густой коричневый колорит, повсюду разлитый то более темными, то более светлыми тонами, это волшебство светотени, эта игра световых лучей, падающих на самые незначительные предметы — на какой-нибудь стул, кувшин, медную вазу. И вдруг все эти предметы, не заслуживающие рассмотрения, а тем более изображения в живописи, становятся такими интересными, даже своеобразно красивыми, что вы не в силах оторвать от них взора. Они наполнились жизнью, они существуют, они достойны существования, ибо художник прикоснулся к ним своей волшебной палочкой, заронил в них искру солнечного луча, сумел набросить между ними и собою призрачный и таинственный покров, тот воздух, который мы видим и вдыхаем, проникая в него и погружаясь воображением в глубину его полотна. И вот, когда случается в действительности натолкнуться на подобную картину, хотя бы составленную из еще более презренных предметов, разбитых досок, разодранных лоскутьев, закопченных стен, если только бледный свет осторожно проникает туда, если светотень придает им художественный эффект, таящийся в слиянии и гармонии всего существующего без активного человеческого участия, человек сам сумеет открыть и понять эту тайну, восхититься и насладиться ею, словно великою победою, им одержанною.

Почти невозможно передать словами те тайны, которые художник своею кистью наглядно живописует перед нашими глазами. Созерцая картины внутренней домашней жизни, создания Рембрандта, Тенирса, Герарда Доу, самый заурядный зритель вспомнит и сам какую-нибудь картину из действительной жизни, никогда, однако, не производившую на него поэтического впечатления. Для того чтобы воспринять поэтически эту реальность и мысленно превратить ее в картину Рембрандта, надо обладать тем даром чувства живописного, которое свойственно лишь немногим человеческим организмам. Но чтобы словесным описанием создать эту картину в чужом воображении, нужно обладать такой гениальной силой, что, должно признаться, я поддаюсь в данном случае своей фантазии без всякой надежды на успех. Даже гению, одаренному такой силой и притом высказывающемуся в стихах (попытка еще более удивительная), это не всегда удается. Я даже сомневаюсь, чтобы в наш век какой-либо писатель-художник мог достичь хотя бы приблизительно таких результатов, как он.

Перечитайте стихотворение под названием «Индийские колодцы» — это гениальное произведение или эту оргию воображения, в зависимости от того, связывают ли вас с поэтом симпатические нити. Что касается меня, то при первом чтении оно меня возмутило. Беспорядочность и разгул фантазии в описании претили мне. Но уже



Взгляд Консуэло рассеянно бродил по этому странному сооружению, и впервые в этом беспорядке она обнаружила поэзию. У обоих концов прохода, образованного задними декорациями, помещались черные глубокие кулисы, где от времени до времени проскальзывали какие-то человеческие фигуры, словно тени. Вдруг она увидела, что одна из этих фигур остановилась, как бы ожидая ее, и ей показалось, что ее подзывают жестом.

— Это Порпора? — спросила она Йозефа.

— Нет, — ответил тот, — это, наверное, кто-нибудь пришел предупредить тебя, что начнут репетировать третий акт.

Консуэло прибавила шагу, направляясь к этому человеку, лица которого не могла разглядеть, так как он отступил к стене. Но когда она была в трех шагах от него и собиралась было обратиться к нему с вопросом, он быстро проскользнул мимо соседних кулис в глубь сцены, пройдя позади всех декораций.

— Кто-то, по-видимому, следил за нами, — сказал Йозеф.

— И, по-видимому, сбежал, — добавила Консуэло, пораженная поспешностью, с которой этот человек скрылся. — Не знаю почему, но он испугал меня.

Консуэло вернулась на сцену и прорепетировала последний акт, к концу которого ее снова охватило прежнее восторженное вдохновение. Когда, уходя, она захотела надеть накидку, то, ослепленная внезапным потоком света, принуждена была ее разыскивать: только что открыли слуховое окно над ее головой, и косой луч заходящего солнца упал прямо перед нею. Из-за контраста этого внезапного света с окружающим мраком она в первую минуту ничего не видела и два-три шага сделала наугад, как вдруг очутилась возле того самого человека в черном плаще, который напугал ее за кулисами. Видела она его неясно, но ей показалось, что она узнает его. С криком бросилась она к нему, но он уже исчез, и она напрасно искала его глазами.

— Что с тобой? — спросил Йозеф, подавая ей накидку. — Ты ударилась о какую-нибудь декорацию? Поранила себя?

— Нет, — ответила она, — но я видела графа Альберта.

— Граф Альберт? Здесь? Уверена ли ты в этом? Возможно ли это?

— Это возможно! Это несомненно! — воскликнула Консуэло, увлекая его за собой.

И она осмотрела все кулисы, бегая и не пропуская ни единого уголка. Йозеф помогал ей в этих поисках, уверенный, однако, что она ошиблась. А в это время Порпора с нетерпением звал ее, чтобы отвести домой. Консуэло

---

после прочтения в моем мозгу упорно держались картины этих колодцев, подземелий, лестниц и пропастей, куда меня погрузил поэт. Все это продолжало грезиться мне и во сне и наяву: не было сил вырваться оттуда, словно заживо погребенному. Испытывая такое угнетение, все же страшно было перечитать эти стихи, из боязни обнаружить небезупречного писателя в столь великом живописце и поэте. Между тем в моей памяти долго сохранялись последние восемь стихов, которые во все времена и для всякого вкуса будут иметь глубокий, возвышенный и безупречный смысл, независимо от того, будем ли мы воспринимать их сердцем, слухом или умом. (Прим. автора.)

не нашла никого, кто бы сколько-нибудь напоминал ей Альберта. Когда же принужденная наконец выйти из театра со своим учителем, она увидела, как прошли все, бывшие одновременно с ней на сцене, то заметила несколько плащей, довольно похожих на тот, который поразил ее.

— Все равно, — шепотом сказала она Йозефу, указавшему ей на это, — я его видела, он был здесь.

— Просто у тебя была галлюцинация, — возразил Йозеф. — Будь это на самом деле граф Альберт, он бы заговорил с тобой, а ты уверяешь, что этот человек два раза убежал при твоём приближении.

— Я не говорю, что это действительно он, но я его видела и теперь думаю, как ты, что это было видение. Должно быть, с ним случилось какое-нибудь несчастье. О! Как бы мне хотелось сейчас же уехать, убежать в Богемию! Я уверена, он в опасности, он меня зовет, он меня ждет!

— Вижу, бедная моя Консуэло, что, помимо всего прочего, он еще наградил тебя своим безумием. Возбужденное состояние, в котором ты была во время репетиции, предрасположило тебя к этим видениям. Опомнись, умоляю тебя, и будь уверена, что, если граф Альберт в Вене, он еще сегодня живехонький прибежит навестить тебя.

Надежда эта ободрила Консуэло. Она ускорила шаг, увлекая за собой Беппо и оставив позади старого Порпора, который на этот раз ничего не имел против того, что она забыла о нем и занялась разговором с этим юношей. Но Консуэло так же мало думала о Йозефе, как и о маэстро. Она бежала, вся запыхавшись, добралась до дому, сейчас же поднялась в свою комнату и никого не нашла. Йозеф справился у прислуги, не спрашивал ли кто Консуэло в ее отсутствие. Никто не приходил. Так никто и не пришел, и Консуэло напрасно прождала целый день. Вечером и до самой поздней ночи она разглядывала всех запоздалых прохожих, шедших по улице. Ей все казалось, что кто-то направляется к ее двери и останавливается. Но этот кто-то проходил мимо, один распевая, другой по-стариковски кашляя, и они терялись во мраке.

Консуэло легла спать, убежденная в том, что у нее было видение. Но на следующее утро, успокоившись, она призналась Йозефу, что, в сущности, не рассмотрела ни одной черты лица того человека, о котором шла речь. Общее впечатление от фигуры, покрой плаща и манера его носить, бледность, нечто темное на подбородке, что могло быть и бородой, и падавшей от шляпы тенью, сгущенной благодаря странному освещению театра, — всего этого, смутно напоминающего Альберта, было достаточно при пылком воображении Консуэло, чтоб она убедила себя в том, что видела молодого графа.

— Если бы такой мужчина, какого ты мне не раз описывала, очутился в театре, — сказал Йозеф, — его небрежная одежда, длинная борода, черные волосы не могли бы не привлечь внимания этой толпы повсюду снующих людей. А я всех расспрашивал, не исключая и швейцаров театра, которые не допускают за кулисы ни единого человека, не известного им лично или

не имеющего на это разрешения. Но никто в этот вечер не видел за кулисами никого постороннего.

— Ну, тогда мне, очевидно, это показалось. Я была взволнована, вне себя, думала об Альберте и ясно себе его представила. Кто-то появился передо мной, и я вообразила, будто это Альберт. Неужели моя голова так ослабела? Несомненно, что крик вырвался у меня из глубины сердца и что со мной произошло что-то весьма необычайное и очень нелепое.

— Забудь об этом, — посоветовал Йозеф, — не утомляй себя пустыми мечтами. Повторяй свою роль и думай о завтрашнем дне.

## XCVI

Днем Консуэло увидела из своих окон необычайно странную толпу людей, направлявшихся к площади. Это были коренастые, здоровенные загорелые люди, с длинными усами, с голыми ногами, обутыми в подобие античных котурн с перекрещивающимися ремнями, в остроконечных шапках, с четырьмя пистолетами за поясом, с обнаженными руками и шеей, с длинным албанским карабином в руках, — и все это было оттенено широкими красными плащами.

— Это маскарад? — спросила Консуэло каноника, бывшего у нее в гостях. — Но у нас ведь не карнавал, насколько мне известно?

— Насмотритесь хорошенько на этих людей, — ответил ей каноник, — ибо нам с вами не скоро придется увидеть их снова, если Богу будет угодно продлить царствование Марии-Терезии. Поглядите, с каким любопытством, хотя и с примесью отвращения и страха, рассматривает их народ. Вена видела, как они стекались сюда в ее тяжкие, горестные дни, и тогда она встречала их более радостно, чем сегодня, когда она смущена и пристыжена тем, что обязана им своим спасением.

— Это не те ли словенские разбойники, о которых мне так много рассказывали в Богемии и которые натворили там столько зла? — спросила Консуэло.

— Да, они самые, — ответил каноник, — это остатки тех шаек рабов и кроатских разбойников, которых знаменитый барон Франц фон дер Тренк<sup>1</sup>, двою-

---

<sup>1</sup> *Франц фон дер Тренк* (1711–1749) — австрийский барон, родился в Италии; с семнадцати лет поступил на военную службу в Австрии, но за дерзкие и шальные выходки был уволен. Одно время служил в России в гусарском полку, но за дерзкие поступки был посажен в крепость. В 1741 г., в начале войны за австрийское наследство, с разрешения Марии-Терезии образовал на свои средства отдельный корпус пандуров, беспощадно грабивших и своих и чужих. Когда в нем уже не ощущалось надобности, Мария-Терезия велела арестовать его, судить (на суде он дал пощечину председательствующему генералу) и заточить пожизненно в крепость Шпильберг (1746), где он через три года умер. Он тоже оставил свою биографию, изданную потом в Берлине (1787–1792).

родный брат вашего друга, барона Фридриха фон дер Тренка, освободил или, скорее, поработил с невероятной смелостью и ловкостью, дабы создать из них почти регулярные войска Марии-Терезии. Смотрите, вот он, этот ужас наводящий герой, этот Тренк-Опаленная Пасть, как прозвали его наши солдаты, этот знаменитый партизан, самый хитрый, самый предприимчивый, самый необходимый в эти только что протекавшие печальные годы войны, наверное, самый величайший хвастун и величайший хищник своего века, но в то же время самый смелый, самый сильный, самый энергичный, самый сказочно отважный человек новейших времен! Это он, это Тренк-грабитель со своими голодными волками, с этой кроважадной стаей, диким пастырем которой он состоит.

Франц фон дер Тренк был еще выше ростом, чем его прусский кузен. Он был почти шести футов. Его ярко-красный плащ, застегнутый у шеи рубиновым аграфом, открываясь на груди, обнаруживал целый музей турецкого оружия, усыпанного драгоценными камнями и хранившегося у него за поясом. Пистолеты, кривые сабли, кортики — все было тут, чтобы придать ему вид самого ловкого и решительного убийцы. Вместо султана на его шапке красовалось как бы древко маленькой косы и на нем четыре отточенных лезвия, ниспадавшие почти до лба. Он был страшен. Взрыв порохового бочонка<sup>1</sup>, изуродовав его лицо, придал ему нечто дьявольское. «Нельзя смотреть на него без содрогания», — говорят все мемуары того времени.

— Так вот это чудовище, этот враг человечества! — проговорила Консуэло, с ужасом отводя в сторону глаза. — Богемия долго будет помнить его поход: сожженные, разрушенные города, замученные старики и дети, опозоренные женщины, истощенные контрибуциями деревни, опустошенные поля, уведенные или истребленные стада, повсюду разорение, отчаяние, убийство и пожар... Бедная Богемия! Вечное поле брани, театр всевозможных трагедий!

— Да, бедная Богемия! Жертва всяких неистовств, арена всяких битв, — добавил каноник. — Франц фон дер Тренк возобновил в ней свирепые насилия времен Яна Жижки. Непобедимый, как и Жижка, он никому не давал пощады. И страх его имени был так велик, что его авангарды брали приступом города, в то время, когда он сам находился еще в четырех милях от них, в схватке с другими врагами. Про него можно сказать, как говорили по Аттилу: «Трава уж никогда не вырастает там, где ступил его конь». Победенные будут проклинать его до четвертого поколения.

Франц фон дер Тренк скрылся вдали, но долго еще Консуэло и каноник видели, как его кроатские гусары-великаны проводили мимо них под уздцы его великолепных коней в богатых пополах.

<sup>1</sup> Спустившись в подвал во время грабежа одного из городов Богемии и надеясь первым обнаружить бочки с золотом, о существовании которых ему говорили, Тренк стремительно поднес огонь к одной из драгоценных бочек, но в ней оказался порох. Взрыв обрушил на него часть сводов, и его извлекли из-под обломков умирающим; тело его было покрыто страшными ожогами, а лицо — глубокими ранами, оставившими неизгладимые следы. (Прим. автора.)





— Это он, это Тренк-грабитель со своими голодными волками,  
с этой кровожадной стаей, диким пастырем которой он состоит.



— То, что вы видите, может дать вам лишь некоторое представление о его богатстве, — заметил каноник. — Мулы, телеги, нагруженные оружием, картинами, драгоценными камнями, слитками золота и серебра, беспрестанно тянутся по дорогам, ведущим к его имениям в Славонии. Там прячет он сокровища, которых хватило бы на выкуп трех королей. Ест он на золотой посуде, похищенной им у прусского короля в Заарау<sup>1</sup>, причем он едва не похитил и самого короля. Одни уверяют, что он опоздал на четверть часа, а другие, что король был в его руках и дорого заплатил за свою свободу. Подождем! Быть может, Тренк-грабитель уже недолго будет пользоваться такой славой и таким богатством. Говорят, что ему грозит уголовный процесс, что самые ужасные обвинения тяготеют над его головой и что императрица смертельно боится его; и говорят также, что те из его кроатов, которые по обычаю должны были выйти в отставку, но не удосужились это сделать, будут зачислены в регулярные войска и зажаты в кулак на прусский манер. Что касается его самого... я довольно печального мнения об ожидающих его при дворе приеме и наградах.

— Ведь пандуры, как говорят, спасли австрийскую корону?

— Это несомненно. От границ Турции до границ Франции они навели ужас, взяли приступом наиболее упорно защищавшиеся крепости, выиграли самые отчаянные битвы. Всегда первые в атаке, первые у укрепленных мостов, первые у бреши крепостей, они приводили в восхищение наших самых крупных генералов, а врагов обращали в бегство. Французы всюду отступали перед ними, а сам великий Фридрих, говорят, побледнел, как простой смертный, от их воинственных криков. Нет тех быстрых рек, непроходимых лесов, тинистых болот, отвесных скал, того града пуль и моря пламени, которых не преодолели бы они во всякие часы ночи, в самые суровые времена года. Да! Поистине, они скорее спасли корону Марии-Терезии, чем старая военная тактика всех наших генералов и все хитрости наших дипломатов.

— В таком случае их преступления останутся безнаказанными и их грабежи будут санкционированы.

— Наоборот, возможно, что они будут чрезмерно наказаны.

— Трудно отделаться от людей, оказавших подобные услуги.

— Простите, — ядовито заметил каноник, — когда больше в них не нуждаются...

— Но разве им не были дозволены все насилия — как во владениях империи, так и во владениях союзников?

— Конечно, им все было дозволено, поскольку они были необходимы.

— А теперь?

— А теперь, когда больше в них нет необходимости, им ставят в вину то, что раньше было дозволено.

— А где душевное величие Марии-Терезии?

— Они оскверняли храмы!

— Понимаю, господин каноник, — Тренк погиб!

<sup>1</sup> Заарау — в прусской Силезии, по дороге от Бреславля к Фрейбургу.

— Тс-с! Об этом можно говорить только шепотом.

— Видела ты пандуров? — громко спросил Йозеф, входя в комнату, совсем запыхавшись.

— Без особенного удовольствия, — ответила Консуэло.

— Ну, а ты их не узнала?

— Да я вижу их впервые.

— Нет, Консуэло, не в первый раз ты их видишь. Мы уже встречали их в Богемском лесу.

— Слава Богу, насколько помнится, ни одного из них я не встречала.

— Значит, ты забыла сараи, где мы провели ночь на сене и где мы вдруг заметили человек десять-двенадцать, спавших вокруг нас?

Тут Консуэло припомнила приключение в сарае и встречу с этими свирепыми людьми, которых она тогда так же, как Йозеф, приняла за контрабандистов. Но иные волнения, которых она не разделяла и о которых даже не догадывалась, запечатались в памяти Йозефа все обстоятельства той грозовой ночи.

— Так вот, эти мнимые контрабандисты, не заметившие нашего присутствия и покинувшие сарай до рассвета со своими мешками и тяжелыми узлами, и были пандуры, — сказал Йозеф. — У них было такое же оружие, такие же лица, усы и мантии, какие я только что видел, и провидение, без нашего ведома, спасло нас от самой пагубной встречи, какая только могла произойти у нас в пути.

— Без всякого сомнения, — сказал каноник, которому Йозеф не раз рассказывал все подробности их путешествия, — эти достойные малые, набив себе карманы, своевольно освободились от службы, как это у них в обычае, и направлялись к границе, предпочитая сделать большой крюк, чем идти со своей добычей по имперским владениям, где они всегда боятся попасться. Но будьте уверены, что не всем им удастся благополучно добраться до границы. В продолжение всего пути они не перестают грабить и убивать друг друга, и только сильнейшие из них достигают своих лесов и пещер, нагруженные добычей товарищей.

Приближался час представления. Это отвлекло Консуэло от мрачных воспоминаний о пандурах Тренка, и она отправилась в театр. Собственной уборной для одевания у нее не было. До сих пор госпожа Тези уступала ей свою. Но на этот раз, обозленная успехами Консуэло и уже ставшая ее заклятым врагом, Тези унесла с собой ключ, и примадонна этого вечера была в большом затруднении, не зная, где ей приютиться. Эти маленькие козни в большом ходу в театре; и они раздражают и приводят в волнение соперницу, которую хочется обессилить. Она теряет время на розыски уборной, боится не найти ее. А время идет, и товарищи бросают ей на ходу: «Как! Еще не одета, — сейчас начинают!» Наконец после бесконечных просьб и бесконечных усилий, раздражаясь и угрожая, она добивается, чтоб открыли какую-нибудь уборную, где она не находит ничего из того, что ей нужно. Если вы не оплачиваете портних, то костюм ваш или не готов или плохо на вас сидит.

Горничные, помогающие одеваться, — к услугам всякой другой, кроме жертвы, обреченной на это маленькое истязание. Колокольчик звенит, бутафор своим визгливым голосом кричит по коридорам: «Синьоры и синьорины, сейчас начинают!» Страшные слова, которые дебютантка не может слышать без содрогания. Она не готова, она торопится, у нее лопаются шнурки, она рвет рукава, криво надевает мантилью, а диадема ее упадет при первом шаге, сделанном на сцене. Вся трепещущая, негодующая, изнервничавшаяся, почти плачущая, она должна появиться с небесной улыбкой на устах. Голос ее должен звучать чисто, громко, уверенно, а тут у нее горло сжато и сердце готово разорваться... О! Все эти цветы, дождем сыплющиеся на сцену в минуту триумфа, заключают в себе тысячи шипов!

К счастью, Консуэло встретила Кориолу, которая, взяв ее за руку, сказала:

— Идем в мою уборную. Тези надеялась проделать над тобой ту же шутку, которую на первых порах выкинула со мной. Но я помогу тебе хотя бы для того, чтобы ее взвесить. По крайней мере, отомщу ей. А ты, Порпорина, ты так идешь в гору, что я рискую быть побежденной всюду, где буду иметь несчастье встретиться с тобой. Ты тогда, конечно, забудешь, как теперь я веду себя, а запомнишь лишь то зло, какое я тебе сделала.

— Зло? Да какое же зло вы мне сделали, Кориола? — переспросила Консуэло, входя в уборную своей соперницы и начиная одеваться за ширмой, в то время как немецкие горничные хлопотали вокруг обеих артисток, которые без опаски могли говорить между собой по-венециански. — Право, уж не знаю, какое зло вы мне сделали, — что-то не помню.

— Уже одно то, что ты говоришь мне вы, словно какая-нибудь презиращая меня герцогиня, доказывает твою злобу.

— Ну, хорошо, я не помню, чтобы ты мне сделала зло, — проговорила Консуэло, пересиливая отвращение к фамильярности с женщиной, так мало имевшей с ней общего.

— И ты говоришь правду? — спросила Кориола. — Неужели ты до такой степени забыла бедного Дзото?

— Я была свободна, была вольна его забыть и сделала это, — ответила Консуэло, подвязывая к ноге королевский котурн, с мужеством и присутствием духа, которые дает подчас увлечение любимым делом. А затем, пробуя голос, она вывела блестящую руладу.

Кориола, желая не отставать от нее, ответила другой руладой, но, вдруг оборвав ее, обратилась к своей горничной:

— Да не затягивайте же меня так, черт возьми! Уж не думаете ли вы, что одеваете нюрнбергскую куклу? Эти немки, — продолжала она по-венециански, — совсем не знают, что такое плечи. Позволь им только — они сделают тебя квадратной, как их вдовствующие герцогини. Порпорина, не давай закутывать себя до ушей, как в прошлый раз, — это просто было нелепо.

— Ах, моя милая, это приказ императрицы. Он известен этим девицам, и из-за таких пустяков я не хочу бунтовать.

— Пустяки! Это наши-то плечи? Хороши пустяки!

— Я говорю не о тебе, которая сложена лучше всех женщин на свете, но о себе.

— Лицемерка! — вздыхая проговорила Корилла. — Ты на десять лет моложе меня, и скоро мои плечи будут держаться только былой славой.

— Это ты лицемерка, — возразила Консуэло, которой ужасно надоел подобный разговор. И чтобы прервать его, она, причесываясь, стала петь гаммы и рулады.

— Замолчи! — остановила Корилла, невольно слушавшая ее. — Ты вонзаешь мне в горло тысячу кинжалов... Ах! Охотно уступила бы я тебе всех своих возлюбленных, так как уверена, что найду других; но с твоим голосом и твоей манерой петь я никогда не смогу соперничать. Замолчи, а то меня разбирает желание задушить тебя!

Консуэло, прекрасно видя, что Корилла шутит только наполовину и под ее насмешливой лестью скрывается настоящая мука, умолкла, но минуту спустя Корилла снова заговорила.

— Как выводишь ты эту руладу?

— Ты хочешь ее вывести? Так я тебе ее уступаю, — ответила Консуэло, смеясь с присущим ей поразительным добродушием, — давай я тебя научу. Введи ее куда-нибудь в свою партию, а я изобрету для себя какую-нибудь другую руладу.

— И та будет еще более блестяща, чем эта. Ничего я от этого не выиграю.

— Ну, так я никакой рулады не буду делать. Тем более, что Порпора против этого, и сегодня я получу от него одним упреком меньше. Возьми! Вот моя рулада! — И вынув из кармана лоскуток сложенной бумаги, на которой была написана одна музыкальная строчка, она передала его поверх ширмы Корилле, которая тут же принялась разучивать руладу. Консуэло ей помогла, пропев несколько раз, и наконец обучила ее. Одевание же в это время шло своим чередом.

Но прежде чем Консуэло накинула на себя платье, Корилла стремительно отодвинула ширму и бросилась ее целовать за то, что она ей пожертвовала свою руладу. Этот порыв благодарности был не совсем искренен. Сюда примешивалось и вероломное желание увидеть фигуру своей соперницы в корсете, чтоб обнаружить какой-нибудь ее скрытый недостаток. Но Консуэло не носила корсета. Ее стан, гибкий, как тростник, и девственные, благородные формы не нуждались в искусственных средствах. Она поняла намерение Кориллы и улыбнулась.

«Ты можешь сколько тебе угодно рассматривать меня, можешь проникать в мое сердце, — подумала она, — и ничего фальшивого ты там не найдешь».

— Цыганочка, значит, ты совсем больше не любишь Андзолето? — спросила Корилла, невольно возвращаясь к своему суровому тону и враждебному виду.

— Совсем больше не люблю, — ответила, смеясь, Консуэло.

— А он очень любил тебя?

— Совсем не любил, — снова проговорила Консуэло, так же уверенно, с таким же прочувствованным, искренним равнодушием.

— Он так и говорил мне! — воскликнула Корилла, глядя на нее своими голубыми глазами, ясными и горящими, и надеясь уловить сожаление и растратить старую рану соперницы.

Консуэло не могла похвастать лукавством, но у нее была одна из правдивых душ, особенно сильных в борьбе против коварных замыслов. Она почувствовала удар и спокойно устояла. Андзолето она больше не любила, а муки самолюбия были ей незнакомы, и она предоставила торжествовать тщеславной Корилле.

— Андзолето сказал тебе правду, — ответила она, — он не любил меня.

— А ты, стало быть, никогда его не любила? — допрашивала Корилла, более удивленная, чем довольная этим признанием.

Консуэло почувствовала, что она не должна была быть откровенной наполовину. Корилла стремилась добиться правды, надо было ее удовлетворить, и Консуэло ответила:

— Я очень его любила.

— И ты вот так признаешься в этом? Значит, у тебя нет гордости, бедняжка!

— У меня хватило ее, чтоб излечиться.

— То есть ты хочешь сказать, что у тебя хватило твердости духа, чтоб утешиться с другим. Скажи мне, с кем, Порпорина? Не может же это быть Гайдн, у которого нет ни гроша за душой!

— Это не было бы помехой. Но так, как предполагаешь ты, я ни с кем не утешилась.

— Ах! Знаю. Я и забыла, что ты претендуешь... Только не говори подобных вещей здесь, моя милая, а то ты станешь посмешищем!

— Да я и не стану говорить этого, раз меня об этом не спросят, и спрашивать себя не каждому позволю. Эту вольность я допустила с тобой, Корилла, но если ты не враг мне, то не злоупотребляй этим.

— Вы — притворщица! — закричала Корилла. — Вы очень умны, хотя и разыгрываете наивную. Настолько умны, что я почти готова была поверить, будто вы так же невинны, как я была в двенадцать лет. Однако ж это невозможно! Ах! Как ты ловка, «цыганочка»! Ты сможешь уверить людей во всем, что захочешь.

— Я и не стану уверять их ни в чем, так как не позволю им вмешиваться в свои дела настолько, чтобы меня расспрашивать.

— Это будет умнее всего: люди всегда злоупотребляют нашей откровенностью и, едва успев вырвать от нас признание, унижают нас своими упреками. Вижу, что ты знаешь, как себя вести. Хорошо делаешь, не желая внушать страстей, — таким образом избежишь ты и хлопот и бурь, будешь действовать свободно, никого не обманывая. Играя в открытую, ты скорей найдешь любовников, скорей разбогатеешь. Но для этого надо больше мужества, чем



у меня имеется. Нужно, чтоб тебе никто не нравился и чтоб тебе не хотелось быть любимой, так как наслаждаешься сладостью любви, только прибегая к предосторожностям и лжи. Восхищаюсь тобой, «цыганочка»! Чувствую к тебе огромное уважение, видя, что, такая юная, ты побеждаешь любовь, ибо нет ничего более пагубного для нашего спокойствия, для нашего голоса, для долговечности нашей красоты, для нашего состояния, наших успехов, как любовь, не так ли? О да, я знаю это по опыту! Если б я всегда могла довольствоваться холодным ухаживанием, то не перенесла бы столько страданий, не потеряла бы двух тысяч цехинов и двух верхних нот. Но, видишь, смиренно признаюсь тебе, я бедное существо, несчастное от рождения. Всякий раз, когда дела мои были в самом блестящем состоянии, я делала какую-нибудь глупость, которая все портила. Меня захватывала безумная страсть к какому-нибудь бедняку, и прощай все блага! Было время, когда я могла выйти замуж за Дзустиньяни; да, я могла это сделать, — он обожал меня, а я его не выносила; участь его была в моих руках. Этот подлый Андзолето мне понравился... И я потеряла свое положение. Послушай, ты будешь давать мне советы, будешь мне другом, не правда ли? Станешь удерживать меня от увлечений, от легкомысленных поступков? И для начала... надо тебе признаться, что вот уже неделя, как я влюблена в человека, который заметно теряет благоволение двора и в ближайшее время будет более опасен, чем полезен. Человек этот миллионер, но может быть разорен по мановению руки. Да, я хочу развязаться с ним, прежде чем он потащит меня за собой в пропасть... Ну, вот дьявол хочет изблечить меня во лжи! Я слышу, он идет сюда, и уже огонь ревности запылал на моем лице. Хорошенько закрой свою ширму, Порпорина, и не шевелись: я не хочу, чтоб он видел тебя.

Консуэло поспешила тщательно задвинуть ширму. Ей не надо было слов Кориаллы, чтоб она пожелала не попасться на глаза ее любовникам. Мужской голос, довольно звучный и верный, хотя и лишенный свежести, напевал в коридоре. Для виду постучали, но вошли, не дожидаясь разрешения.

«Ужасное ремесло! — подумала Консуэло. — Нет, я не позволю себе увлечься опьянениями сцены: слишком уж гнусна ее закулисная сторона».

Она забилась в свой угол, униженная тем, что попала в такое общество, и, впервые погрузившись в эту бездну разврата, о которой до сих пор не имела понятия, она вознегодовала и ужаснулась тому, как ее поняла Кориалла.

## ХСVII

Заканчивая наспех свой туалет из боязни быть застигнутой врасплох, Консуэло услышала такой диалог на итальянском языке:

— Что вам тут нужно? Я ведь не разрешила вам входить в мою уборную. Императрица нам воспретила, под страхом самых строгих взысканий, принимать

в наших уборных других мужчин, кроме товарищей, и то когда в этом является неотложная необходимость по театральным делам. Видите, чему вы подвергаете меня! Не понимаю, почему так плохо поставлен надзор за уборными!

— Запретов не существует для людсй, которые щедро платят, моя красавица. Только трусы встречают на своем пути отпор или доносы. Ну, принимайте меня получше, или, черт побери, вы больше меня не увидите.

— Это самое большое удовольствие, какое вы можете мне доставить. Уходите же! Но что же вы не уходите?

— Ты, по-видимому, так искренне этого желаешь, что я остаюсь, чтоб тебя взбесить.

— Предупреждаю, что сейчас вызову режиссера, чтоб он избавил меня от вас.

— Пусть явится, если ему надоела жизнь. Ничего не имею против.

— С ума вы, что ли, сошли? Говорю же вам, что вы меня компрометируете, заставляете нарушить правило, недавно введенное приказом ее величества, подвергаете риску большого штрафа, быть может, даже увольнения.

— Штраф я берусь уплатить твоему директору палочными ударами. Что же касается твоего увольнения, лучшего я и не желаю, — сейчас же увожу тебя в свои поместья, где мы с тобой превесело заживем.

— Чтoб я поехала с таким грубияном, как вы! Никогда! Ну, давайте выйдем отсюда вместе, раз вы упорно не желаете оставить меня здесь одну.

— Одну! Одну! Прелесть моя! Вот в этом-то я и хочу убедиться раньше, чем вас покинуть. Вот ширма, по-моему занимающая слишком много места в этой комнатухе. Мне кажется, отшвырни я ее добрым пинком к стене, я оказал бы вам услугу.

— Погодите, сударь, погодите: там одевается дама. Что, вы хотите убить или ранить женщину, разбойник вы этакий?

— Женщина! Ну, это другое дело, но я хочу взглянуть, нет ли у нее шпаги! Ширма заколебалась...

Консуэло, уже совершенно одетая, набросила на плечи плащ, и в то время, как открывали первую створку ширмы, она попыталась толкнуть последнюю, чтоб проскользнуть в дверь, находившуюся от нее в двух шагах. Но Корилла, угадавшая это намерение, остановила ее, сказав:

— Останьтесь, Порпорина: не найдя тебя здесь, он был бы способен вообразить, что сбежал мужчина, и убил бы меня.

Перепуганная Консуэло решила было показаться, но Корилла, уцепившись за ширму, помешала ей. Быть может, она надеялась, возбуждая ревность своего возлюбленного, так воспламенить его страсть, чтоб он не обратил внимания на трогательную прелесть ее соперницы.

— Если там дама, — заявил он, смеясь, — пусть она мне ответит. Сударыня, одеты ли вы? Можно ли засвидетельствовать вам свое почтение?

— Сударь, — ответила Консуэло, видя знаки, которые ей делала Корилла, — соблаговолите приберечь ваши выражения почтения для другой, а меня избавьте от них. Я не могу вас принять.

— Значит, это наилучший момент поглядеть на вас, — проговорил возлюбленный Кориоллы, делая вид, что собирается открыть ширму.

— Подумайте, прежде чем действовать! — принужденно смеясь, остановила его Корилла. — Как бы вместо полураздетой пастушки не наткнулись вы на почтенную дуэнью!

— Ах, черт побери!.. Да нет же! Ее голос слишком свеж: ему никак не больше двадцати лет, а будь она некрасива, ты б уж показала мне ее!

Ширма была очень высока, и, несмотря на свой огромный рост, возлюбленный Кориоллы не мог заглянуть поверх, разве только сбросив со стульев все нагруженные на них тряпки. Притом с того момента, как его перестала беспокоить мысль о присутствии за ширмой мужчины, он находил эту игру забавной.

— Сударыня! — закричал он. — Если вы стары и уродливы, молчите, и я щажу ваше убежище, но если, черт возьми, вы молоды и красивы, не давайте Корилле себя оклеветать. Скажите только слово, и я войду, хотя бы мне пришлось применить силу.

Консуэло ничего не ответила.

— Нет, ей-богу, я не позволю водить себя за нос! — закричал любопытный посетитель после минутного ожидания. — Будь вы стары или плохо сложены, вы бы так спокойно не признались в этом; только потому что вы прекрасны, как ангел, вы не придаете значения моим сомнениям. Во всяком случае, я должен вас увидеть, так как вы либо чудо красоты, способное внушить страх самой красавице Корилле, либо настолько умны, что сознаете свое безобразие, и я рад буду встретить в первый раз в жизни некрасивую женщину без претензий.

Он схватил руку Кориоллы всего двумя пальцами и заставил ее согнуться, как соломинку. Она громко вскрикнула, притворяясь, что он поранил ее. Но на это он не обратил ни малейшего внимания, и когда ширма открылась, пред глазами Консуэло предстала ужасная физиономия барона Франца фон Тренка. Богатейший и изысканнейший штатский костюм заменил его дикое одеяние воина, но по его гигантскому росту и большим черно-красноватым пятнам, испещрявшим его смуглое лицо, трудно было не узнать тотчас же неустрашимого и безжалостного предводителя пандуров....

Консуэло невольно вскрикнула от ужаса и, бледнея, опустилась на стул.

— Не бойтесь меня, сударыня, — проговорил барон, опускаясь на одно колено, — простите мою смелость, в которой, увидев вас, я должен был бы, но не в силах раскаяться. Позвольте мне верить, что только из жалости ко мне вы отказывались показаться, прекрасно зная, что, увидев вас, я не могу не влюбиться. Не огорчайте меня мыслью, что я страшен вам. Я в достаточной мере уродлив; сам это сознаю. Но если война превратила довольно красивого молодого человека в чудовище, поверьте, это еще не значит, что она сделала его более злым.

— Более злым? Да это, конечно, было бы и невозможно! — ответила Консуэло, поворачиваясь к нему спиной.



M. SAND

H. DELAVILLE

— Не бойтесь меня, сударыня, — проговорил барон, опускаясь на одно колено, — простите мою смелость, в которой, увидев вас, я должен был бы, но не в силах раскаяться.



— Как видно, — ответил барон, — вы дитя довольно-таки дикое, а ваша кормилица, наверно, изобразила вам меня в своих рассказях вампиром, как это делают здесь все старухи. Но молодые ко мне более справедливы: они знают, что, если я и несколько суров с врагами родины, дамам вовсе нетрудно меня приручить, когда они берут на себя этот труд.

И в то время, как Консуэло притворялась, будто смотрит в зеркало, он, наклонившись к ней, пронзил ее сладострастным и в то же время свирепым взглядом, грубому очарованию которого поддалась Корилла. Консуэло увидела, что, только рассердившись, сможет избавиться от него.

— Господин барон, — сказала она, — не страх внушаете вы мне, а отвращение, омерзение. Вы любите убивать, а я не боюсь смерти; но я ненавижу кровожадные души и знаю вашу. Я только что приехала из Богемии, где видела следы вашего пребывания...

Барон изменился в лице и проговорил, пожимая плечами и оборачиваясь к Корилле:

— Что это за чертовка? Баронесса Лесток, стрелявшая в меня в упор из пистолета, не казалась более разъяренной. Не задавил ли я по неосторожности, несясь галопом, у какого-либо куста ее любовника? Ну, красotka моя, успокойтесь, я пошутил с вами. Если вы такого несговорчивого нрава, откланиваюсь. Впрочем, я заслужил это, на минуту отвлекшись от моей божественной Кориллы!

— Ваша божественная Корилла, — ответила та, — очень мало заботится о том, внимательны вы или нет, и просит вас удалиться, так как сейчас будет делать свой обход директор, и если вы не желаете вызвать скандал...

— Ухожу, — сказал барон, — я не хочу огорчать тебя и лишать публику удовольствия, так как ты потеряешь чистоту голоса, если начнешь плакать. После спектакля буду ждать тебя в своем экипаже у выхода театра. Это решено, не правда ли?

И он, насильно расцеловав ее в присутствии Консуэло, вышел. Корилла тут же бросилась на шею к компаньонке благодарить ее за то, что она так решительно отвергла пошлые любезности барона. Консуэло отвернула голову, — красавица Корилла, оскверненная поцелуями этого человека, внушала ей почти такое же отвращение, как и он сам.

— Как можете вы ревновать такое отталкивающее существо? — сказала она ей.

— «Цыганочка», ты в этом ничего не смыслишь, — ответила, улыбаясь, Корилла. — Барон нравится женщинам, более высокопоставленным и якобы более добродетельным, чем мы с тобой. Сложен он превосходно, а лицо его, хотя и попорченное шрамами, имеет в себе что-то притягательное, против чего ты бы не устояла, вздумай убедить он тебя, что красив.

— Ах! Корилла! Не лицо Тренка главным образом меня отталкивает. Душа его еще более отвратительна! Ты, стало быть, не знаешь, что у него сердце тигра...



— Это-то и вскружило мне голову! — беззастенчиво ответила Корилла. — Выслушивать пошлости всех этих преследующих тебя изнеженных господчиков — подумаешь, великая радость! А вот укротить тигра, повелевать львом лесов, водить его на поводу, заставляя вздыхать, плакать, рычать и дрожать того, чей взгляд обращает в бегство целые войска и чей удар сабли сносит голову быка с такой легкостью, словно это цветок мака, — удовольствие более острое, чем все испытанные мною до сих пор! У Андзолето было что-то в этом роде: я любила его за его злость, но барон злее. Тот был способен избить свою любовницу, а этот в состоянии ее убить. О! Я предпочитаю его!

— Бедная Корилла! — промолвила Консуэло, бросая на нее взгляд, полный сожаления.

— Ты жалеешь меня за то, что я люблю его, и ты права, но у тебя было бы еще больше основания завидовать этой любви. А впрочем, лучше, чтоб ты питала ко мне сожаление, чем отбивала у меня Тренка.

— О, будь спокойна! — воскликнула Консуэло.

— Синьора, начинают! — крикнул бутафор у дверей.

— Начинайте! — прокричал громкий голос на верхнем этаже, где были уборные хористок.

— Начинайте! — повторил другой мрачный и глухой голос, внизу лестницы, ведущей в глубь театра. И последние слоги, передаваясь слабым эхом от кулисы к кулисе, достигли, замирая, будки суфлера, который стукнул три раза об пол, чтобы предупредить дирижера оркестра; тот, в свою очередь, ударил смычком по пюпитру, и после мгновенного затишья раздались гармоничные звуки увертюры, заставившие замолчать всех и в ложах и в партере.

С первого же акта «Зенобии» Консуэло имела тот полнейший, неотразимый успех, который Гайдн ей предсказывал накануне. Самые великие таланты не всякий день выступают на сцене с одинаковым блеском. Даже допустив, что силы их ни на минуту не ослабевают, не все роли, не все положения одинаково способствуют проявлению их блестящих способностей.

Впервые Консуэло встретила с ролью и положениями, где она могла быть сама собой и проявить всю свою нравственную чистоту, свою силу, свою нежность, свою неиспорченность, не имея надобности путем искусства и внимательного изучения отождествиться с чуждой ей личностью. Она могла забыть этот ужасный труд, отдаться переживаниям минуты, вдохновляться патетическими и глубокими порывами, которые сообщались ей сочувственно настроенной и наэлектризованной публикой. В этом она нашла невыразимое удовольствие, такое же, какое, несколько слабее, уже испытала на репетиции, чистосердечно тогда признавшись в этом Йозефу. И теперь не триумф у публики опьянил ее радостью, а счастье, что она сумела проявить себя, победоносная уверенность в том, что она достигла совершенства в своем искусстве. До сих пор Консуэло всегда с беспокойством спрашивала себя, не могла ли она из данной роли сделать больше при своем даровании. На этот раз она

почувствовала, что проявила всю свою мощь, и, почти равнодушная к восторженным крикам толпы, в глубине души аплодировала самой себе.

После первого акта она осталась за кулисами, чтобы прослушать интермедию и подбодрить искренними похвалами Кориолу, которая была в ней прелестна. Но после второго акта она почувствовала, что ей нужен минутный отдых, и поднялась в уборную. Порпора, будучи занят в другом месте, не пошел за нею, а Йозеф, внезапно приглашенный благодаря тайному покровительству императрицы исполнять партию скрипки в оркестре, понятно, остался на своем месте.

Итак, Консуэло вошла одна в уборную Кориоллы, от которой та только что передала ей ключ, выпила стакан воды и на минуту бросилась было на диван. Но вдруг воспоминание о пандуре Тренке как-то встревожило ее, и, побегом к двери, она заперла ее на ключ. Однако, казалось, не было никаких оснований беспокоиться о том, что он явится ей надоедать. При поднятии занавеса он направился в зрительный зал, и Консуэло даже видела его на балконе среди своих самых восторженных поклонников. Тренк страстно любил музыку. Родившись и будучи воспитанным в Италии, он говорил на ее языке так же мелодично, как истый итальянец, недурно пел и, «родись он в иных условиях, мог бы сделать карьеру на сцене», утверждают его биографы. Но каков же был ужас Консуэло, когда, возвращаясь к дивану, она увидела, что злополучная ширма задвинулась, приоткрылась и из-за нее показывается проклятый пандур!

Она бросилась к двери, но Тренк опередил ее и, прислонившись спиной к замку, проговорил с отвратительной улыбкой:

— Успокойтесь, моя прелесть! Раз вы пользуетесь этой уборной совместно с Кориолой, вам следует привыкнуть к встречам с любовником этой красотики; ведь вы не могли не знать, что второй ключ находится у него в кармане. Вы угодили в самое логовище льва... О! Не вздумайте только кричать! Никто не явится. Всем известно присутствие духа Тренка, сила его кулака и то, как мало он ценит жизнь дураков. Если ему беспрепятственно, вопреки императорскому запрету, позволяют проникать сюда, то ясно, что между всеми вашими фиглярами нет ни одного смельчака, который решился бы взглянуть ему прямо в глаза. Ну, чего бледнеете вы и дрожите? Неужели так мало уверены вы в самой себе, что не в состоянии выслушать трех слов, не потеряв головы? Или вы считаете меня за человека, способного изнасиловать, оскорбить вас? Это вы наслушались бабьих сплетен, дитя мое! Тренк не так уж зол, как о нем говорят, и именно чтоб убедить вас в этом, он и хочет с минутку побеседовать с вами.

— Сударь, я не стану слушать вас, прежде чем вы не откроете этой двери, — ответила, набравшись решимости, Консуэло. — Только при этом условии я разрешу вам говорить со мной. Если же вы будете продолжать держать меня взаперти, я решу, что этот мужественный и сильный человек не уверен в самом себе и боится встречи с моими товарищами-фиглярами.

— Ах! Вы правы, — сказал Тренк, открывая настежь дверь, — если вы не боитесь схватить насморк, я предпочитаю дышать чистым воздухом, чем задохнуться в мускусе, которым Кориλλα пропитала всю эту комнатушку. Вы даже оказываете мне этим услугу!

Сказав это, он вернулся к Консуэло и, схватив ее за обе руки, принудил сесть на диван, а сам стал перед ней на колени, не выпуская ее рук, которых она не могла бы освободить, не вступив с ним в борьбу, бессмысленную и, пожалуй, даже опасную для ее чести. Барон, казалось, ждал и как бы провоцировал сопротивление, которое разбудило бы в нем необузданные инстинкты и заставило бы его забыть всякую деликатность, всякую почтительность.

Консуэло это поняла и безропотно покорилась необходимости войти в такую постыдную, двусмысленную сделку. Но слеза, которую она была не в силах удержать, скатилась по ее смуглой, бескровной щеке. Барон увидел ее, но она не смягчила, не обезоружила его; напротив, жгучая радость блеснула из-под его кровавых век, вывороченных и оголенных ожогом.

— Вы чрезвычайно несправедливы ко мне, — заговорил он голосом, в ласкающей неясности которого чувствовалась лицемерная радость. — Вы ненавидите меня, не зная, и не хотите выслушать мои оправдания. А я не стану, как дурак, мириться с вашим отвращением. Час тому назад мне это было безразлично, но с тех пор, как я слышал божественную Порпорину, с тех пор, как я ее обожаю, я чувствую, что надо жить для нее или умереть от ее руки!

— Избавьте меня от этой смешной комедии... — проговорила с негодованием Консуэло.

— Комедии? — прервал ее барон. — Постойте, — сказал он, вытаскивая из кармана пистолет, который тут же зарядил и подал ей, — вы будете держать это оружие в одной из своих прелестных ручек, и, если, говоря, я невольно оскорблю вас, если по-прежнему буду ненавистен вам, убейте меня, буде вам это заблагорассудится. А эту, другую ручку я решил не выпускать до тех пор, пока вы не позволите мне поцеловать ее. Но этой милостью я хочу быть обязанным только вашей доброте, и вы увидите, как я буду молить вас о ней и терпеливо ждать под дулом этого смертоносного оружия, которое вы сможете обратить против меня, когда моя настойчивость станет вам невыносима.

Тут Тренк действительно вложил пистолет в правую руку Консуэло и силой удержал ее левую, продолжая стоять перед нею на коленях с неподражаемой фатовской самонадеянностью.

С этого мгновения Консуэло почувствовала себя очень сильной и, держа пистолет так, чтоб его можно было употребить в дело при первой опасности, улыбаясь, сказала ему:

— Можете говорить, я вас слушаю.

В то время, как она произносила это, ей показалось, что в коридоре раздались шаги, и даже чья-то тень вырисовалась в дверях. Но тень эта тотчас же исчезла, потому ли, что пришелец удалился, или потому что вообще все это было плодом воображения. В том положении, в каком она теперь очутилась,

когда ей угрожала только огласка, появление всякого лица, и безразличного и могущего оказать помощь, было скорее страшно, чем желательно. Если б она молчала, барона, застигнутого на коленях перед нею, в комнате с открытой дверью, неминуемо приняли бы за явно преуспевшего ее поклонника. Если же она стала бы кричать, звать на помощь, барон, несомненно, убил бы первого, кто показался бы. С полсотни подобных случаев украшало путь его частной жизни, и жертвы его страстей не слыли от этого ни менее порядочными, ни менее поруганными.

При такой страшной альтернативе Консуэло оставалось только желать, чтоб объяснение скорее кончилось, и надеяться, что благодаря личному мужеству ей удастся образумить Тренка, без того чтобы какой-нибудь свидетель мог по-своему комментировать и истолковывать эту странную сцену.

Тренк угадал отчасти ее мысль и пошел прикрыть дверь, не запирая, однако ж, совсем.

— Право, сударыня, — сказал он, возвращаясь к ней, — было бы безумием подвергать себя злословию проходящих, и нужно, чтоб эта ссора кончилась у нас с вами с глазу на глаз. Выслушайте же меня: я вижу ваши страхи и понимаю, как вам мешает дружба с Корилой. Честь ваша, ваша незапятнанная репутация мне еще дороже драгоценных минут, когда я без свидетелей люблюсь вами. Я прекрасно знаю, что эта пантера, в которую я был влюблен еще час тому назад, обвинила бы вас в предательстве, застань она меня здесь у ваших ног. Но она не получит этого удовольствия. Я высчитал время. Ей еще минут десять придется развлекать публику своим кривлянием, и я успею сказать вам, что если и любил ее, то помню об этом уже не более, чем о первом сорванном мною яблоке. Не бойтесь же отнять у нее сердце, которое больше не принадлежит ей и откуда отныне ничто не может изгнать ваш образ. Вы одна, сударыня, властны надо мной, вы одна можете располагать моей жизнью. Что ж заставляет вас колебаться? У вас, говорят, есть любовник, — одним щелчком я избавлю вас от него! Вы под постоянным надзором старого опекуна, злого и ревнивого, — увезу вас из-под самого его носа! Вы подвергаетесь в театре тысячам интриг. Правда, публика вас обожает, но публика неблагодарна и бросит вас в первый же день, когда вы охрипнете. Я несметно богат и в состоянии сделать вас принцессой, чуть ли не королевой в стране дикой, но где я могу во мгновение ока выстроить вам дворцы и театры, более грандиозные и красивые, чем дворцы венского двора. Если вы нуждаетесь в публике, я одним ударом палочки вызову ее из-под земли, притом преданную, покорную, верную, не чета венской. Некрасив я, — знаю это, — но шрамы, украшающие мое лицо, более почтенны и славны, чем белила и румяна, покрывающие бледные лица ваших скоморохов. Я суров с моими рабами, неумолим по отношению к врагам, но кроток со своими хорошими слугами, и те, кого я люблю, наслаждаются радостью, славой, богатством. Наконец, я бываю подчас свиреп, вам правду сказали: нельзя, будучи таким храбрым и сильным, как я, не пользоваться своим могуществом, когда месть

и гордость призывают вас к этому. Но женщина чистая, застенчивая, кроткая и прелестная, как вы, может обуздать мою силу, сковать мою волю и держать меня под башмаком, как ребенка. Попробуйте только доверьтесь мне тайком на некоторое время, а когда узнаете меня, вы увидите, что можете вручить мне заботу о своем будущем и последовать за мной в Славонию. Вы улыбаетесь, вы находите, что это название напоминает вам рабство. Это я, божественная Порпорина, буду твоим рабом! Взгляни на меня и привыкни к этому безобразию, которое твоя любовь могла бы украсить! Скажи только слово, и ты увидишь, что красные глаза Тренка-австрийца могут проливать радостные слезы, слезы умиления, так же, как и красивые глаза Тренка-пруссак, этого дорогого кузена, которого я люблю, хотя мы и дрались с ним во враждебных лагерях и хотя ты, как уверяют, была неравнодушна к нему. Но тот Тренк — ребенок, а этот, что говорит с тобой, еще будучи молод (ему только тридцать четыре года, хотя лицо его, опаленное порохом, и кажется вдвое старше), уже пережил возраст капризов и даст тебе долгие годы счастья. Говори, говори же, скажи «да», и ты увидишь, что любовь может преобразить меня и превратить Тренка с обожженной пастью в светозарного Юпитера! Ты не отвечаешь мне, — трогательное целомудрие удерживает тебя, не правда ли? Ну, хорошо! Не говори ни слова, дай мне только поцеловать твою руку, и я уйду с душой, полной веры и счастья. Видишь, я не такой грубиян, не такой тигр, каким меня изобразили тебе. Я прошу у тебя только невинной милости и молю тебя о ней на коленях, я, который мог одним дуновением сокрушить тебя и, несмотря на твою ненависть, испытать счастье, которому позавидовали бы сами боги!

Консуэло с удивлением рассматривала этого страшного человека, которым увлекалось столько женщин. Она старалась постигнуть чары, которые в самом деле, несмотря на безобразие, могли действовать неотразимо, будь это лицо хорошего человека, воодушевленного переживаниями сердца; но это было безобразие отчаянного сластолюбца, а страсть его — только донкихотство дерзкого, самонадеянного человека.

— Вы все сказали, господин барон? — спокойно спросила его Консуэло.

Но вдруг она покраснела и побледнела, увидев, что славонский деспот бросил ей на колени целую пригоршню крупных бриллиантов, огромных жемчугов и очень ценных рубинов. Она быстро поднялась, сбросив на пол все эти драгоценности, которые должны были достаться Кориале.

— Тренк! — крикнула она, охваченная сильнейшим негодованием и презрением. — Со всей своей храбростью, ты последний из трусов: сражался ты только с ягнятами, ланями и безжалостно избивал их. выступи против тебя настоящий мужчина, и ты убежал бы, как лютый трусливый волк, каков ты и есть. Твои славные шрамы, я знаю, получены тобой в подвале, где ты посреди трупов искал золота побежденных. Твои дворцы и твое маленькое царство — это кровь благородного народа, которому деспотизм навязывает тебя в качестве соотечественника; это — гроши, вырванные у вдов и сирот, это — золото предательства, это — грабеж церковей, где ты, притворяясь,



падаешь ниц и творишь молитву (ведь к довершению всех своих великих достоинств, ты еще и ханжа!). Твоего двоюродного брата Тренка-пруссака, так нежно тобою любимого, ты предал и собирался умертвить. Тех женщин, которых ты и прославил и осчастливил, ты изнасиловал, предварительно убив их мужей и отцов. Твоя только что импровизированная нежность ко мне — не что иное, как каприз пресыщенного развратника. Твое рыцарское изъявление покорности, заставившее тебя отдать свою жизнь в мои руки, это — тщеславие глупца, воображающего себя неотразимым, а та пустая милость, о которой ты просишь, была бы для меня пятном, которое можно смыть только самоубийством. Вот мое последнее слово, пандур с обожженной пастью! Прочь с моих глаз! Беги, ибо если ты не освободишь моей руки, которую уже четверть часа леденишь в своей, я очищу землю от негодя, размозжив тебе голову!

— И это твое последнее слово, исчадие ада? — воскликнул Тренк. — Ну, хорошо же! Горе тебе! Пистолет, который я гнушаюсь выбить из твоей дрожащей руки, заряжен только порохом. Одним маленьким ожогом больше или меньше, что за важность! Это не сможет напугать человека, закаленного в огне. Стреляй же из этого пистолета, наделай шума! Мне только этого и нужно. Я буду рад найти свидетелей своей победе, так как теперь уже ничто не сможет избавить тебя от моих объятий: своим безумием ты зажгла во мне огонь страстей, который могла бы сдержать, будучи немного поосторожней.

С этими словами Тренк схватил в свои объятия Консуэло, но в то же мгновение дверь отворилась, и человек, лицо которого было совершенно закрыто черным крепом, опустил свою руку на пандура, заставил его согнуться, заколыхаться, как тростник в бурю, и с силой бросил на пол. Это было делом нескольких секунд. Тренк, ошеломленный сначала, поднялся и с дикими глазами, с пеной у рта, выхватив шпагу, бросился на своего врага, который направлялся к двери, собираясь, по-видимому, бежать. Консуэло также устремилась к выходу. Ей показалось, что по росту и силе руки в этом замаскированном человеке она узнает графа Альберта. Она видела, как он достиг конца коридора, где очень крутая витая лестница вела на улицу. Тут он остановился, подождал Тренка, быстро нагнулся, предоставляя шпаге барона удариться о стену, и, схватив его в охапку, бросил через плечо вниз по лестнице головой вперед. Консуэло слышала, как великан покатился, и хотела бежать к своему избавителю, зовя его Альбертом. Но он исчез раньше, чем у нее хватило сил сделать три шага. Страшная тишина воцарилась на лестнице...

— Синьора, через пять минут начнут, — отеческим тоном обратился к ней бутафор, вынырнув из театрального трапа, выходившего на ту же площадку. — Каким образом эта дверь оказалась открытой? — прибавил он, глядя на дверь лестницы, с которой был сброшен Тренк. — Право, ваша милость рисковали схватить насморк в этом коридоре.

Он закрыл и запер дверь на ключ, как полагалось, а Консуэло, ни жива ни мертва, вернулась в уборную, выбросила за окно пистолет, валявшийся

под диваном, засунула ногой под мебель драгоценности Тренка, сверкавшие на ковре, и отправилась на сцену, где наткнулась на Кориллу, еще красную и запыхавшуюся от оваций, только что выпавших на ее долю после интермедии.

## ХСVIII

Несмотря на страшное волнение, Консуэло и в третьем акте снова превзошла себя. Она не ожидала, не рассчитывала больше на это, — вышла на сцену с отчаянной решимостью провалиться с честью, считая, что во время своей мужественной борьбы лишилась вдруг и голоса и сноровки. Это ее не пугало: что значили даже тысячи свистков по сравнению с опасностью и позором, от которых она только что избавилась благодаря какому-то чудесному вмешательству. За этим чудом последовало другое. Добрый гений Консуэло, казалось, покровительствовал ей: голос ее был силен, как никогда, пела она с еще большим мастерством и играла с большим подъемом и страстью, чем когда-либо раньше в жизни. Все ее существо было возбуждено в высшей степени, и ей казалось, что вот-вот оно порвется, как слишком натянутая струна. И это лихорадочное возбуждение уносило ее в волшебный мир: она все делала, словно во сне, и ее даже удивляло, что она действует, как наяву. К тому же радостная мысль поддерживала ее каждый раз, когда она боялась ослабеть. Нет сомнения, что Альберт здесь. Он в Вене. По крайней мере, со вчерашнего дня. Он наблюдает за нею, следит за всеми ее движениями, оберегает ее, иначе кому же приписать неожиданную помощь, только что ей оказанную, и ту почти сверхъестественную силу, которой должен был обладать человек, чтоб победить Франца фон дер Тренка, славонского геркулеса? И если в силу одной из тех странностей, которых так много в его характере, он не хочет говорить с ней и как будто старается быть незамеченным ею, тем не менее очевидно, что он по-прежнему страстно любит ее, раз оберегает так заботливо и защищает с такой энергией.

«Ну, хорошо, — блеснула мысль в голове Консуэло, — если Господу угодно, чтобы силы мне не изменили, пусть Альберт видит меня на высоте в моей роли и пусть из того уголка зала, откуда он, без сомнения, в эту минуту следит за мной, насладится моей победой, одержанной отнюдь не интригами или шарлатанством».

Не забывая о своей роли, она искала его глазами, но нигде не могла найти, а когда отступила за кулисы, продолжала свои поиски, но тоже безуспешно.

«Где бы мог он быть? — ломала она себе голову. — Где он спрятался? Убил ли он пандура наповал, сбросив его с лестницы? Принужден ли он теперь скрываться от преследований? Встретит ли она его на этот раз, вернувшись в посольство?»

Все эти недоумения исчезали, как только она снова появлялась на сцене: словно по волшебству забывала она обстоятельства своей действительной жизни, и ее охватывало лишь чувство какого-то смутного ожидания, восторга, страха, благодарности, надежды... И все это было в ее роли и выливалось в чудесных звуках, полных нежности и правды.

По окончании спектакля ее стали без конца вызывать, и императрица первая бросила ей из своей ложи букет, к которому был прикреплен довольно ценный подарок. Двор и венцы последовали примеру своей государыни, засыпав ее цветами. Консуэло увидела, как среди всех этих душистых эмблем восторга к ее ногам упада зеленая ветка, невольно привлекая ее внимание. Как только занавес опустился в последний раз, она ее подняла. То была кипарисовая ветка. Тут она забыла обо всех победных венках и стала искать объяснения этого знака скорби и ужаса, этой погребальной эмблемы, быть может выражавшей последнее прощание. Смертельный холод сменил в ней лихорадочное волнение, непреодолимый ужас застал ее, как облаком, глаза. Ноги ее подкосились, и ее почти без чувств снесли в карету венецианского посланника, где Порпора тщетно старался добиться от нее хотя бы одного слова. Губы ее похолодели, а безжизненная рука держала под плащом кипарисовую ветку, точно принесенную к ней ветром смерти...

Спускаясь по театральной лестнице, она не заметила кровавых следов, да и мало кто обратил на них внимание в сутолоке разъезда.

В то время как она возвращалась в посольство, погруженная в свои мрачные думы, довольно печальная сцена происходила в артистической при закрытых дверях. Незадолго до окончания спектакля служащие театра, раскрывая все двери, наткнулись на окровавленного барона фон дер Тренка, лежавшего без чувств у подножия лестницы. Его перенесли в одну из зал, предоставленных артистам, и, во избежание огласки и смятения, потихоньку предупредили директора, театрального доктора, полицию, чтобы те явились констатировать свершившийся факт.

Таким образом, и труппа и публика покинули зрительный зал и театр, не узнав о происшедшем, и только кое-кто из служителей искусства, государственные чиновники и несколько сострадательных свидетелей старались оказать помощь пандуру, добиться от него объяснений.

Кориλλα, ожидавшая карету любовника и уже несколько раз посылавшая на розыски свою горничную, наконец потеряла терпение и решила пойти сама, рискуя отправиться домой пешком. Она встретила господина Гольцбауэра, который, зная о ее отношениях с Тренком, повел ее в фойе, где она нашла своего любовника с проломленным черепом и со столькими ушибами на теле, что он не мог пошевелинуться. Кориλλα огласила все помещение воплями и стенаниями. Гольцбауэр удалил излишних свидетелей и велел закрыть двери. Примадонна на все вопросы не смогла ни что-либо сказать, ни сделать какие-либо предположения для выяснения дела. Наконец Тренк, придя немного в себя, признался, что, проникнув без разрешения



*Незадолго до окончания спектакля служащие театра, раскрывая все двери, наткнулись на окровавленного барона фон дер Тренка, лежавшего без чувств у подножия лестницы.*



внутри театра, чтобы поглядеть поближе на танцовщиц, спешил уйти оттуда до окончания спектакля, но, не будучи знаком со всеми переходами этого лабиринта, оступился на первой же ступеньке этой проклятой лестницы, неожиданно упал и скатился до самого низа. Этим объяснением удовлетворились и отнесли его домой, где Корилла так ревностно за ним ухаживала, что лишилась даже из-за этого благосклонности графа Кауница, а впоследствии и благоволения ее величества. Но она отважно пожертвовала всем этим, и Тренк, железный организм которого выносил и более жестокие испытания, отделался недельным недомоганием и лишним шрамом на голове. Он не заикнулся ни перед кем о своем злосудии и только дал себе слово, что заставит Консуэло дорого заплатить за него. Он и осуществил бы это, конечно, самым жестоким образом, если бы приказ об аресте не вырвал его из объятий Кориллы и не бросил, едва оправившегося от падения и еще дрожавшего от лихорадки<sup>1</sup>, в военную тюрьму.

То, что глухая народная молва довела до ушей каноника, начало осуществляться. Богатства пандура возбудили во влиятельных людях и ловкачах жгучую, неутолимую алчность, и он стал памятной жертвой этого. Обвиненный во всех преступлениях, и совершенных им, и навязанных ему людьми, заинтересованными в его гибели, он начал испытывать на себе все проволочки, притеснения, наглые нарушения закона, утонченные несправедливости долгого и скандального процесса. Скупой несмотря на свое тщеславие и гордый невзирая на свои пороки, он не пожелал ни платить за усердие своих покровителей, ни подкупать совесть своих судей.

Мы оставим его на время в темнице, где после какой-то буйной выходки он, к великому своему негодованию, оказался прикованным за одну ногу. Стыд и позор! Это была именно та самая нога, которую ранила взорвавшаяся бомба во время одного из самых доблестных его боевых подвигов. У него тогда выскоблили пораженную гангреной кость, и, едва оправившись, он снова был на коне, дабы с геройской выдержкой продолжать свою службу. И на этот ужасный шрам наложили железное кольцо с тяжелой цепью. Рана раскрылась, и он выносил новые муки уже не в связи с тем, что служил Марии-Терезии сейчас, а за то, что слишком хорошо служил ей когда-то. Великая государыня не имела ничего против Тренка, подавлявшего и раздиравшего злополучную и опасную Богемию, этот мало надежный вследствие национальной вражды оплот против врагов; «король» Мария-Терезия, не нуждаясь больше ни в преступлениях Тренка, ни в жестокостях пандуров, для того чтобы прочно сидеть на престоле, начинала находить их чудовищными, непростительными и даже делала вид, что никогда не знала об этих варварствах, — совсем как великий Фридрих, притворявшийся,

<sup>1</sup> Ради исторической правды мы должны упомянуть о дерзких выходках Тренка, вызвавших такое бесчеловечное обращение с ним. С первого же дня своего прибытия в Вену он был подвергнут домашнему аресту по приказу императрицы. Но он в тот же вечер появился в опере и в антракте хотел сбросить в партер графа Госсая. (*Прим. автора.*)



будто не ведает об утонченных жестокостях, о пытке голодом и тяжелейших цепях, которые несколько позже терзали другого барона фон дер Тренка, его красавца-пажа, его блестящего ординарца, спасителя и друга нашей Консуэло. Все льстецы, доведшие до нас рассказ об этих возмутительных происшествиях, приписывали всю гнусность их мелкому офицерству и темному чиновничеству, чтобы смыть пятно с памяти монархов. Но монархи эти, якобы так плохо осведомленные о злоупотреблениях в своих тюрьмах, на самом деле настолько хорошо знали обо всем там происходящем, что, например, Фридрих Великий собственноручно сделал рисунок цепей, которые Тренк-пруссак целых девять лет влачил в своем магдебургском склепе. Если же Мария-Терезия прямо не приказывала заковать искалеченную ногу Тренка-австрийца, своего доблестного пандура, то, во всяком случае, она всегда оставалась глуха и к его жалобам и к его оправданиям. К тому же при постыдном дележе богатств Тренка, учиненном ее приближенными, она прекрасно сумела выделить себе львиную долю и отказать в правосудии его наследникам.

Вернемся к Консуэло, ибо долг романиста обязывает нас лишь бегло касаться деталей истории. Однако нам кажется невозможным совершенно выделить приключения нашей героини из событий, происходивших в ее время и на ее глазах. Узнав о несчастьи пандура, Консуэло не вспоминала больше об оскорблениях, которыми он грозил ей, и, глубоко возмущенная несправедливостью, проявленной по отношению к нему, помогла Корилле снабдить его деньгами в момент, когда ему было отказано в средствах, которые могли бы смягчить суровость его заточения. Корилла, умевшая тратить деньги еще быстрее, чем добывать их, как раз была без гроша в тот день, когда посланный ее любовника тайно явился просить у нее нужную сумму. Консуэло была единственным лицом, к которому эта женщина, инстинктивно чувствуя доверие и уважение, решилась прибегнуть. Консуэло тотчас же продала подарок, брошенный ей императрицей на сцену по окончании «Зенобии», и передала компаньонке деньги, похвалив ее при этом за то, что она не оставляет в горе несчастного Тренка. Усердие и мужество, с какими Корилла служила своему любовнику до тех пор, пока это было возможно (на этой почве она сошлась даже с баронессой, его главной любовницей, к которой страшно его ревновала), внушали Консуэло какое-то уважение к этому испорченному, но неокончательно развращенному созданию, сохранившему еще добрые побуждения сердца и бескорыстные порывы великодушия.

— Падем ниц перед промыслом Божиим, — говорила она Йозефу, подчас упрекавшему ее за близость с Кориллой. — Человеческая душа даже среди своих заблуждений сохраняет нечто благостное и великое, к чему чувствуешь уважение и в чем находишь с радостью те священные следы, которые являются как бы печатью, приложенной десницею Божьей. Там, где есть многое что пожалеть, есть многое что и простить, а где есть что прощать, будь уверен, добрый мой Йозеф, там есть и что полюбить. Эта бедная Корилла, живущая,

как животное, иногда поступает, как ангел. Видишь ли, я чувствую, что если останусь артисткой, то должна привыкнуть без ужаса и гнева смотреть на эти прискорбные мерзости, среди которых протекает жизнь погибших женщин, колеблясь между жаждой добра и влечением ко злу, между опьянением и раскаянием. И даже, признаюсь тебе, мне кажется, что роль сестры милосердия полезнее для моей добродетели, чем жизнь более чистая, более сладкая, чем более славные и приятные знакомства, чем благодушная жизнь людей сильных, счастливых, уважаемых. Чувствую, что сердце мое создано наподобие рая доброго Иисуса, где будет больше радости, больше приветов одному обращенному грешнику, чем тысяче торжествующих праведников. Чувствую, что оно сотворено жалеть, помогать, утешать, сочувствовать. Мне кажется, что имя, данное мне матерью при крещении, налагает на меня этот долг. У меня, Беппо, ведь нет другого имени. Общество не дало мне права с гордостью носить фамильное имя, и если, по мнению общества, я унижаю себя, отыскивая крупинки чистого золота среди грязи чужих дурных нравов, то ведь я совершенно не обязана отдавать ему в чем-либо отчет. Я только Консуэло — ничего больше. И этого достаточно для дочери Росмунды, ибо Росмунда была бедной женщиной, о которой отзывались еще хуже, чем о Корилле, и такую, какой она была, я должна была и могла любить. Ее не почитали, как Марию-Терезию, но она не приказала бы приковать за ногу Тренка, чтобы заставить его умереть в муках, а самой завладеть его деньгами. Корилла также не сделала бы этого, а однако, вместо того чтоб драться за нее, этот самый Тренк, которому она помогает в несчастье, частенько-таки бивал ее. Йозеф! Йозеф! Господь — более великий государь, чем все наши монархи, и раз Мария Магдалина восседает на почетном месте, рядом с непорочной девой, то, пожалуй, и Корилла при том дворе будет иметь преимущество перед Марией-Терезией. Относительно себя скажу: если бы мне пришлось во дни, которые мне еще предстоит провести на земле, сидеть па пиру праведников, среди нравственного благоденствия, то я считала бы, что сбилась с пути спасения. О! Благородный Альберт смотрел на это совсем, как я, и он, конечно, не стал бы порицать меня за то, что я добра к Корилле.

Консуэло все это говорила своему другу Беппо, после того как уже прошли две недели со дня представления «Зенобии» и происшествия с бароном фон дер Тренком. Шесть представлений, на которые ее пригласили, были уже закончены. Госпожа Тези снова появилась в театре. Императрица, при посредстве посланника Корнера, потихоньку обрабатывала Порпора и брак Консуэло с Гайдном продолжала ставить условием ее поступления на императорскую сцену по окончании ангажемента Тези. Йозеф ничего не знал обо всем этом. Консуэло ничего не предчувствовала. Она думала только об Альберте, который больше не появлялся и не давал о себе знать. В голове у нее бродило множество предположений, множество противоположных решений. Она даже прихворнула от пережитого нервного потрясения и всех этих колебаний. Она не покидала своей комнаты с тех пор, как покончила

с театром, и без конца все смотрела на кипарисовую ветку, которая ей казалась сорванной с одной из могил в гроте Шрекенштейна.

Беппо, единственный друг, которому она могла раскрыть свое сердце, сначала хотел было разубедить ее в том, что Альберт приезжал в Вену. Но когда она показала ему кипарисовую ветку, он стал глубоко задумываться над этой тайной и в конце концов сам уверовал в то, что молодой граф принимал участие в приключении Тренка.

— Послушай, — сказал он, — мне кажется, я понял, что происходит. Действительно, Альберт приезжал в Вену. Он тебя видел, слышал, наблюдал за всеми твоими поступками, следовал за тобой по пятам. В тот день, когда мы с тобой беседовали на сцене у декорации, изображающей реку Аракс, он мог быть по ту сторону этой декорации и слышать, как я сожалел о том, что тебя похищают у театра на пороге твоей славы. У тебя самой при этом вырвались какие-то восклицания, из которых он мог заключить, что ты предпочитаешь блеск своей карьеры печальной торжественности его любви. На следующий день он видел, как ты вошла в уборную Кориоллы, и раз он все время наблюдал, то мог заметить, как туда же за несколько минут перед этим вошел пандур. То, что он так долго не являлся к тебе на помощь, почти доказывает, что он считал твой приход добровольным и, только поддавшись искушению послушать у двери, понял, как необходимо его вмешательство.

— Прекрасно! Но почему действовать так таинственно, почему скрывать под крепом свое лицо? — промолвила Консуэло.

— Ты знаешь, как подозрительна венская полиция. Быть может, его оговорили при дворе или у него были политические причины, чтобы прятаться; возможно, что лицо его было знакомо Тренку. Кто знает, не видал ли он его в Богемии во время последних войн, не бросал ли ему вызова, не грозил ли, не заставил ли его выпустить из своих рук какого-нибудь захваченного им неповинного человека. Граф Альберт мог тайно совершать в своей стране великие подвиги храбрости и человеколюбия, в то время как его считали спящим в своей пещере Шрекенштейна. И если он совершал эти подвиги, разумеется, он не стал бы рассказывать тебе о них. Ты же сама не раз отзывалась о нем как о самом смиренном, самом скромном из людей. И он поступил мудро, закрыв лицо, в то время как расправлялся с пандуром, ибо если сегодня императрица наказывает пандура за то, что он опустошил ее дорогую Богемию, то, поверь, это вовсе не значит, что она будет склонна оставить безнаказанным открытое сопротивление, оказанное ее пандуру в прошлом со стороны богемца.

— Все, что ты говоришь, Йозеф, очень верно и заставляет меня призадуматься. Многое теперь начинает меня страшно беспокоить. Альберт мог быть узнан, арестован, и это могло так же остаться неизвестным публике, как и падение с лестницы Тренка. Увы! Быть может, он в эту минуту в тюрьмах Арсенала рядом с темницей Тренка. И горе это он терпит из-за меня!

— Успокойся, я не думаю этого. Граф Альберт, должно быть, сейчас же покинул Вену, и ты вскоре получишь от него письмо из Ризенбурга.

— У тебя такое предчувствие, Йозеф?

— Да, я предчувствую это. Но, если уж хочешь, чтоб я сказал все, что я думаю, так мне кажется, письмо это будет совсем иным, чем ты ожидаешь. Я убежден, что вместо того, чтобы настаивать на великодушной, дружеской жертве, которую ты собиралась принести ради него, покинув свою артистическую карьеру, он уже отказался от мысли жениться на тебе и скоро вернет тебе твою свободу. Если он так умен, благороден, справедлив, как ты говоришь, он должен посовеститься вырвать тебя из театра, который ты страстно любишь. Не отрицай этого. Я ведь прекрасно это видел, и, слушая «Зенобию», он должен был это понять не хуже меня. Итак, он откажется от жертвы, превышающей твои силы, и я перестал бы его уважать, поступи он иначе.

— Но перечти же его последнюю записку. Вот она, Йозеф. Разве не говорит он в ней, что так же будет любить меня на сцене, как и в свете или монастыре. Разве он не мог допустить мысли, женившись, предоставить мне свободу?

— Говорить и делать, думать и жить — не одно и то же. Среди страстных мечтаний все кажется возможным, но, когда действительность вдруг предстанет пред глазами, мы с ужасом возвращаемся к нашим прежним взглядам. Никогда не поверю, чтоб какой-нибудь знатный человек мог без отвращения видеть, как его супруга переносит капризы и оскорбления публики. Попав, конечно, впервые в своей жизни за кулисы, граф увидел в поведении Тренка по отношению к тебе печальный пример несчастий и опасностей, ожидающих тебя на театральном поприще. И он должен был уйти в отчаянии, но, правда, излечившись от своей страсти и отрешившись от пустых мечтаний. Прости, что я так говорю с тобой, сестрица Консуэло. Это мой долг, ибо разрыв с графом Альбертом — твое счастье! Ты почувствуешь это позднее, хотя сейчас глаза твои и полны слез. Будь справедлива к своему жениху, вместо того чтобы обижаться переменой, происшедшей в нем. Когда он говорил тебе, что не питает отвращения к театру, он идеализировал его, и все это рухнуло при первом же испытании. Он понял тогда, что либо сделает тебя несчастной, вырвав из театра, либо, следуя за тобой туда, отравит собственное существование.

— Ты прав, Йозеф. То, что ты говоришь, — истина; я это чувствую, но дай мне поплакать. Сердце мое страдает не от обиды, что меня покинули и гнушаются мной, а от утраченной веры в любовь и ее могущество, которые я идеализировала так же, как граф Альберт идеализировал мою театральную жизнь. Теперь он осознал, что я, идя по такому пути, не могу быть достойна его, по крайней мере, по мнению света. А я принуждена признать, что любовь не настолько сильна, чтобы победить все препятствия, отречься от всех предрассудков.

— Будь справедлива, Консуэло, и не требуй большего, чем сама могла бы дать. Ты его не настолько любила, чтобы без колебаний и печали отречься от своего искусства, — не ставь же в вину графу Альберту того, что он не смог порвать со светским обществом без ужаса и душевной муки.

— Но как бы втайне я ни печалилась (теперь уж могу сознаться в этом), я решилась всем ему пожертвовать, а он наоборот...

— Подумай, ведь страсть пылала в нем, а не в тебе. Он молил, а ты, насилуя себя, соглашалась. Он прекрасно видел, что ты приносишь себя в жертву, и почувствовал, что не только имеет право, но и обязан избавить тебя от любви, которой ты не вызывала и в которой душа твоя не нуждается.

Этот разумный вывод убедил Консуэло в мудрости и великодушии Альберта. Она боялась, что, предаваясь горю, будет страдать от уязвленного самолюбия, а согласившись с объяснениями Йозефа, покорилась и успокоилась. Но по странности, так свойственной человеческому сердцу, едва почувствовала она себя свободной следовать за своим влечением к театру безраздельно и без угрызений совести, как испугалась одиночества посреди всего этого разврата и ужаснулась открывающемуся перед ней будущему, полному тяжелой борьбы. Подмости — жгучая арена. Когда ты на них, то приходишь в такое возбужденное состояние, что все жизненные волнения по сравнению с этим кажутся холодными и бледными. Но когда, разбитый усталостью, ты сходишь с них, то со страхом думаешь, что прошел через это огненное испытание, и к желанию снова вернуться на сцену у тебя примешивается ужас. Мне думается, что акробат является типичным представителем этой тяжелой, жгучей и полной опасностей жизни. Он должен испытывать нервное, страшное удовольствие на этих веревках и лестницах, где совершает чудеса, превосходящие человеческие силы. Но спустившись с них победителем, он должен быть близок к обмороку при мысли снова взобраться на них, снова видеть перед собой смерть и торжество — этот двуликий призрак, непрестанно парящий над его головой.

Тут Замок Великанов и даже камень Ужаса, этот кошмар ее ночей, показали Консуэло сквозь завесу свершившегося изгнания потерянным раем, обителью покоя и чистоты, которые до конца дней будут жить в ее памяти как нечто величественное и достойное почтения.

Она прикрепила кипарисовую ветку — последнее напоминание, последний дар пещеры гуситов — к распятию своей матери, и, таким образом, соединив две эмблемы — католичества и ереси, она мысленно вознеслась к религии единой, вечной и абсолютной... В ней почерпнула она чувство покорности пред своими собственными страданиями и веру в промысел Божий над Альбертом и всеми людьми, добрыми и злыми, среди которых ей отныне придется идти одной, без руководителя.

## XCIX

Однажды утром Порпора позвал ее в свою комнату раньше обыкновенного. Вид у него был сияющим, и он держал в одной руке объемистое письмо, а в другой — очки. Консуэло затрепетала, задрожала всем телом, вообразив, что это наконец ответ из Ризенбурга. Но вскоре она поняла, что ошиблась.



То было письмо от Уберто-Порпорино. Знаменитый певец сообщал своему учителю, что все условия ангажемента Консуэло приняты и он посылает ему подписанный уже бароном фон-Пельницем, директором Берлинского королевского театра, контракт, где не хватает только подписи Консуэло и его. К этому документу было приложено очень дружеское и очень почтительное письмо вышеупомянутого барона, в котором тот предлагал Порпора принять участие в конкурсе на должность дирижера капеллы прусского короля, представив вместе с тем для просмотра и испытания все свои новые оперы и фути, какие пожелает привезти.

Порпорино выражал радость, что скоро будет петь с партнершей по сердцу, с «сестрой по Порпора», и горячо упрашивал учителя бросить Вену для Сан-Суси, прелестного местопребывания Фридриха Великого. Письмо это чрезвычайно обрадовало Порпора, но вместе с тем вызвало в нем колебания. Ему казалось, что судьба наконец начинает улыбаться ему после того, как так долго показывала свой хмурый лик, и что милость монархов (в то время столь необходимая для карьеры артиста) сулила ему благоприятные перспективы. Фридрих призывал его в Берлин, Мария-Терезия открывала ему заманчивые перспективы в Вене. В обоих случаях Консуэло должна была быть орудием его славы: в Берлине — выдвигая на сцену его произведения, в Вене — выйдя замуж за Йозефа Гайдна.

Итак, настала минута вручить свою судьбу в руки приемной дочери. Он предложил ей на выбор замужество или отъезд. И при этих новых обстоятельствах он далеко не так горячо предлагал ей руку и сердце Беппо, как сделал бы это еще накануне. Ему надоела Вена, а мысль, что его будут ценить и чествовать во враждебном лагере, улыбалась ему, как маленькая месть, причем он преувеличивал то впечатление, которое это могло произвести на австрийский двор. Наконец, поскольку Консуэло перестала с некоторых пор говорить с ним об Альберте, словно отказавшись от него, Порпора предпочитал, чтобы она вовсе не выходила замуж.

Консуэло сейчас же положила конец его колебаниям, объявив, что никогда не выйдет замуж за Йозефа Гайдна по многим причинам, и прежде всего потому, что сам он никогда и не думал на ней жениться, будучи помолвленным с дочерью своего благодетеля Анной Келлер.

— В таком случае, — сказал Порпора, — нечего и раздумывать. Вот твой контракт на ангажемент в Берлине. Подпиши его, и будем собираться в путь-дорогу, ибо здесь нам надеяться не на что, раз ты не подчиняешься «матримониомании» императрицы. Ведь покровительство ее можно было получить только такой ценой, а после решительного отказа мы станем для нее хуже дьяволов.

— Дорогой учитель, — ответила Консуэло с твердостью, какой еще никогда не проявляла по отношению к нему, — я готова повиноваться вам, как только совесть моя успокоится по поводу одного вопроса. Обязательства любви и глубокого уважения связывают меня с Рудольштадтом. Не скрою от вас, что,

невзирая на ваше недоверие, упреки и насмешки, все эти три месяца, которые мы с вами провели здесь, я упорно не связывала себя никакими контрактами, могущими служить помехой этому браку. Но после решительного письма, написанного мною шесть недель тому назад, которое прошло через ваши руки, произошло нечто, что, как я полагаю, побудило семью Рудольштадт отказаться от меня. Каждый новый день убеждает меня, что данное мною слово возвращено мне и что я свободна всецело посвятить вам и свои заботы и свой труд. Вы видите, что я иду на это без сожалений и колебаний. Однако после написанного мною письма совесть моя не может быть спокойна, пока я не получу на него ответа. Жду я его каждый день, и в ближайшее время ответ этот не может не получиться. Позвольте мне подписать ангажемент с Берлином только по получении...

— Ах! Бедное дитя мое, — прервал ее Порпора, с первых же слов своей ученицы заготовивший ответ на них, — долго бы пришлось тебе его ждать. Ответ мне был прислан уже месяц тому назад...

— И вы мне его не показали! — воскликнула Консуэло. — И вы оставляли меня в такой неизвестности! Учитель! Ты очень странный человек! Какое же я могу иметь к тебе доверие, если ты таким образом обманываешь меня?

— Чем же я обманул тебя? Письмо было адресовано мне, и в нем было приказано показать тебе его только тогда, когда я увижу, что ты излечилась от своей безумной любви и способна внимать благоразумию и благопристойности.

— Именно такими словами и выразились? — спросила, краснея, Консуэло. — Невозможно, чтоб граф Христиан или граф Альберт могли так назвать дружбу, столь спокойную, скромную и гордую, как моя!

— Слова тут не при чем, — сказал Порпора, — светские люди всегда выражаются изысканно, это уж мы сами должны понимать их. Дело в том, что старый граф ничуть не желал иметь невестку из актрис, и, узнав, что ты появилась здесь на подмостках, он заставил сына отказаться от такого униженного брака. Добрый Альберт образумился, и тебе возвращают слово. С удовольствием вижу, что тебя не огорчает это. Все, стало быть, к лучшему. Едем в Пруссию.

— Маэстро, покажите мне это письмо, и я тотчас же подпишу контракт.

— Ах, да! Письмо, это письмо! Да зачем оно тебе? Ты только огорчишься. Есть безумия, которые надо прощать и другим и себе самой. Забудь обо всем этом.

— Нельзя забыть одним усилием воли, — возразила Консуэло, — размышление помогает нам в этом, причины многое разъясняют. Если Рудольштадты отталкивают меня с презрением, я скоро утешусь. Если же мне возвратили свободу, уважая меня и любя, я утешусь иначе, и это мне легче будет сделать. Покажите же письмо. Чего вам опасаться, раз и в том и в другом случае я вас послушаю?

— Ну, хорошо! Я тебе его покажу, — проговорил хитрый профессор, открывая свою конторку и делая вид, что ищет письмо.

Он открыл все ящики, перерыл все свои бумаги и, конечно, не нашел: там не было никакого письма, так как никакого письма и не получалось. Он даже притворился, что раздражается, не находя его. Консуэло же на самом деле вышла из терпения и принялась за поиски; маэстро предоставил ей заниматься этим. Она перевернула вверх дном все ящики, пересмотрела все бумаги, но найти письмо оказалось невозможным. Порпора сделал вид, что припоминает содержание письма, и симпровизировал версию, очень вежливую и решительную. Консуэло никак не могла заподозрить своего учителя в таком систематическом притворстве. Будем думать, к чести старого профессора, что в данном случае он не был особенно ловок, но и немного надо было, чтоб убедить такое искреннее существо, как Консуэло. В конце концов она решила, что Порпора в минуту рассеянности раскурил этим письмом трубку. Побыв затем в своей комнате, чтобы помолиться и покаяться над кипарисовой веткой, «несмотря ни на что», в вечной дружбе к графу Альберту, она спокойно вернулась и подписала двухмесячный контракт с берлинским театром, срок которого наступал с конца начавшегося месяца. Времени было более чем достаточно для приготовлений к отъезду и для самого путешествия. Когда Порпора увидел на документе только что сделанную подпись, он расцеловал свою ученицу и торжественно провозгласил ее артисткой.

— Это день твоей конфирмации, — сказал он, — и если бы в моей власти было заставлять давать обеты, я внушил бы тебе отказаться навсегда от любви и брака, ибо ты теперь жрица бога гармонии! Музы — девственницы, и та, кто посвящает себя Аполлону, должна была бы нести обет весталок...

— Мне не следует давать обет безбрачия, — ответила Консуэло, — хотя в данную минуту мне и кажется, что для меня ничего не было бы легче, как дать этот обет и сдерживать его, но взгляды мои могут перемениться, и тогда мне пришлось бы раскаться в решении, которого я не смогла бы уже нарушить.

— Ты, стало быть, раба своего слова? Мне кажется, что в этом отношении ты отличаешься от остального рода человеческого и, если б в жизни тебе пришлось дать торжественное обещание, ты бы его выполнила.

— Маэстро, мне думается, что я уже это доказала, так как с тех пор, как существую, я всегда находилась во власти какого-нибудь обета. Мать научила меня этому роду религии и подавала мне пример, сама фанатически соблюдая данные обеты. Когда мы с ней путешествовали, она, приближаясь к какому-нибудь большому городу, обыкновенно говорила: «Консуэлита, будь свидетельницей, если дела мои здесь будут удачны, я даю обет пойти босиком в часовню, пользующуюся славой наибольшей святости в этом крае, и молиться там в течение двух часов». И вот, когда дела бедняжки бывали (по ее мнению) хороши, то есть ей удавалось заработать своим пением несколько талеров, мы всегда совершали наше паломничество, какова бы ни была погода, как бы далеко ни находилась почитаемая часовня. То было благочестие ни особенно просвещенное, ни особенно возвышенное, но на эти обеты я смотрела как на нечто священное. И когда моя мать на смертном одре

заставила меня поклясться, что я не буду принадлежать Андзолето иначе, как повенчавшись с ним, она знала, что может умереть спокойно, веря в мой обет. Позднее я дала обещание графу Альберту не думать ни о ком другом, кроме него, и всеми силами души стараться полюбить его так, как он этого хотел. Я не изменила своему слову и, не освободи он меня сейчас от него, могла бы остаться ему верна на всю жизнь.

— Оставь ты своего графа Альберта; о нем больше нечего думать, и, если уж тебе надо быть всегда во власти какого-нибудь обета, скажи, каким ты свяжешь себя по отношению ко мне?

— О! Учитель! Доверься моему благоразумию, моим нравственным устоям и моей преданности тебе. Не требуй от меня клятв, ведь этим налагаешь на себя страшное ярмо. Страх нарушить обет отравляет радость хороших побуждений и добрых дел.

— Я не понимаю таких отговорок, — возразил Порпора полустрогим, полушутливым тоном, — вижу, что ты давала обеты всем, кроме меня. Не будем касаться того, которого потребовала от тебя мать. Он принес тебе счастье, бедное дитя мое. Не будь его, ты, пожалуй, попала бы в сети этого негодяя Андзолето. Но поскольку ты могла без любви, а только по доброте сердечной надавать потом таких серьезных обещаний этому Рудольштадту, совершенно для тебя постороннему человеку, было бы очень дурно с твоей стороны, если бы в такой день, как сегодня, счастливый и достопамятный день, когда тебе возвращена свобода и ты обручилась с богом искусства, ты не захотела дать самого маленького обета своему старому профессору, твоему лучшему другу!

— О! Да! Лучший друг мой, благодетель, опора моя, отец! — закричала Консуэло, порывисто бросаясь в объятия Порпора, который был так скуп на ласковые слова, что только два-три раза в жизни открыто высказал ей свою отеческую любовь. — Я могу без страха и колебаний дать вам обет посвятить себя вашему счастью и славе до последнего своего вдоха!

— Мое счастье, Консуэло, это слава. Ты это знаешь, — проговорил Порпора, прижимая ее к своему сердцу. — Другого я себе не представляю. Ведь я не похож на тех старых немецких мещан, которые не мечтают об ином счастье, как иметь при себе внуку для набивания их трубок и приготовления им сладких пирожков. Мне, слава Богу, не нужно ни туфель, ни приготовления лечебных настоек. Когда мне понадобится только это, я не позволю тебе посвящать мне свои дни, да и теперь ты делаешь это слишком усердно. Нет, не такой преданности прошу я у тебя, ты прекрасно это знаешь: я требую, чтобы ты была настоящей, великой артисткой. Обещаешь ли ты мне быть ею? Обещаешь ли побеждать в себе ту вялость, ту нерешительность, то отвращение, которое ты чувствовала вначале, обещаешь ли отстранять от себя любезности, комплименты этих красавцев-вельмож, которые гонятся за женщинами театра, — одни потому что льстят себя надеждой обратить их в хороших домашних хозяек, а потом, заметив в них противоположные наклонности, без церемонии бросают их, другие потому что разорены и удовольствие иметь

карету и хороший стол за счет своих приносящих доход половин заставляет их забыть о бесчестии, навлекаемом с точки зрения их касты такого рода браками? Ну, а помимо этого, обещаешь ли ты мне не дать себе вскружить голову какому-нибудь маленькому теноришке, с жирным голосом и курчавыми волосами, вроде этого негодяя Андзолето, который может гордиться только своими икрами, и чей успех объясняется его наглостью?

— Обещаю вам, даю вам во всем этом торжественную клятву! — ответила Консуэло, добродушно смеясь над поучениями Порпора, всегда немного язвительными, помимо его воли, но к которым она давно привыкла. — И делаю больше, — прибавила она, снова становясь серьезной, — клянусь, что пока я живу, вам никогда не придется пожаловаться на мою неблагодарность!

— О, столько я не прошу, — ответил с горечью маэстро. — Это не под силу человеческой природе. Когда ты станешь певицей, известной всем народам Европы, в тебе проснутся тщеславие, честолюбие, жажда любви — все, от чего не смог предохранить себя ни один великий артист. Ты захочешь успеха во что бы то ни стало. Ты не станешь добывать его терпеливо или рисковать им ради дружбы или культа истинной красоты. Ты подчинишься игу моды, как все они. В каждом городе будешь петь то, что больше всего нравится, не обращая внимания на дурной вкус публики и двора. Одним словом, ты сделаешь себе карьеру и, несмотря на это, будешь великой, ибо нет другого способа быть великой для толпы. Только бы ты не забывала, когда тебе придется предстать перед судом небольшого кружка стариков вроде меня, что надо хорошо петь и выбирать достойные произведения! Только бы перед великим Генделем и старым Бахом ты сделала честь и методе Порпора и себе самой, — вот все, о чем я прошу тебя, вот все, на что надеюсь! Ты видишь, я не такой отец-эгоист, каким, без сомнения, некоторые из твоих поклонников меня считают. Я не требую от тебя ничего, что не послужило бы для твоего же успеха и твоей же славы.

— А я совершенно не забочусь о своей личной выгоде, — ответила растроганная и опечаленная Консуэло. — Успех может невольно опьянить меня, но я не в состоянии хладнокровно думать о созидании целой жизни триумфов, где я как бы собственными руками буду увенчивать себя лаврами. Я хочу себе славы для вас, учитель мой! Вопреки вашему недоверию, я хочу вам показать, что только для вас одного Консуэло и работает, и разъезжает. И чтобы сейчас же убедить вас в том, что вы ее оклеветали, она клянется вам, раз вы верите ее клятвам, доказать все, что сейчас говорила!

— А чем же ты поклянешься мне в этом? — спросил Порпора с нежной улыбкой, в которой все-таки еще проглядывало недоверие.

— Седыми волосами священной головы Порпора! — ответила Консуэло, обнимая эту голову и благоговейно целуя учителя в лоб.

Беседа их была прервана появлением графа Годица, доложить о котором явился громадный гайдук. Этот лакей, испрашивая для своего барина позволения засвидетельствовать почтение маэстро Порпора и его воспитаннице,



смотрел на Консуэло с таким вниманием, недоумением и замешательством, что даже удивил ее. Однако ей не удалось припомнить, где она видела это добродушное, несколько странное лицо.

Граф был принят и изложил свою просьбу в самых изысканных выражениях. Он едет-де в свое имение Росвальд в Моравии и, стремясь сделать приятное маркграфине, своей супруге, готовит к ее приезду сюрприз в виде великолепного празднества. Ввиду этого он предлагает Консуэло спеть три вечера подряд в Росвальде и просит также, чтобы Порпора согласился сопровождать ее и помог ему в устройстве концертов, спектаклей и серенад, которыми он собирается угощать маркграфиню. Маэстро сослался на только что подписанный контракт и обязательство быть в назначенный день в Берлине. Граф пожелал взглянуть на контракт, и так как он всегда прекрасно относился к Порпора, то старик охотно доставил ему маленькое удовольствие быть посвященным в тайны этого дела, обсуждать условия контракта, разыгрывать роль знатока, давать советы. После всего этого Годиц стал настаивать на своей просьбе, уверяя, что времени имеется больше, чем надо, чтобы, исполнив ее, попасть к сроку в Берлин.

— Вы можете покончить со своими приготовлениями в три дня, — заявил он, — и отправиться в Берлин через Моравию.

Правда, это было не совсем по пути, но вместо того чтобы медленно двигаться через Богемию, страну мало благоустроенную и разоренную недавней войной, маэстро со своей ученицей могли очень скоро и удобно доехать до Росвальда в экипаже, который граф предоставлял в их распоряжение так же, как и подставы, причем оплачивал все дорожные хлопоты и издержки. Граф брался таким же образом перевезти их еще из Росвальда в Пардубиц, если б они пожелали спуститься по Эльбе до Дрездена, или в Хрудим, если они решат ехать через Прагу.

Все, что он предлагал, действительно сокращало время их путешествия, а довольно кругленькая сумма, которую он к этому присовокуплял, давала им возможность остальную часть пути проделать в лучших условиях. И Порпора согласился, несмотря на слегка недовольную мину, сделанную Консуэло. Сделка состоялась, и отъезд был назначен на последний день недели.

Когда Годиц, почтительно поцеловав руку Консуэло, оставил ее одну с учителем, она стала упрекать маэстро в том, что он так скоро позволил себя уговорить. Хотя ей нечего уже было опасаться дерзких выходок графа, но она продолжала ощущать нерасположение к нему и отправлялась в его поместье без всякого удовольствия. Ей не хотелось рассказывать Порпора о приключении в Пассау, но она напонила ему собственные его насмешки над музыкальным творчеством графа.

— Разве вы не видите, — сказала она, — что я буду обречена исполнять его музыкальные творения, а вы будете вынуждены с серьезным видом дирижировать кантатами и, пожалуй, даже целыми операми его изделия? Так-то вы заставляете меня держать обет верности культу прекрасного!

— Полно тебе! — смеясь, ответил Порпора. — Я вовсе не стану проделывать это так серьезно, как ты думаешь; наоборот, я предвкушаю удовольствие хорошенько потешиться и так, что патриций-маэстро ровно ничего не заподозрит. Прodelать такие вещи серьезным образом перед почтенной публикой поистине было бы кощунством и позором. Но позабавиться позволительно, и артист был бы очень несчастлив, если бы, зарабатывая на свой хлеб, не имел права посмеяться втихомолку над теми, у кого он зарабатывает на этот хлеб. Да к тому же там ты увидишь свою прелестную принцессу Кульмбахскую, которую ты так любишь. Она вместе с нами посмеется над музыкой своего отчима, хотя ей вовсе не до смеха.

Пришлось покориться, начать укладываться, делать необходимые покупки, прощальные визиты. Гайдн был в отчаянии. Но в это время неожиданное счастье, великая артистическая радость свалилась на него и отчасти вознаградила его, или, вернее, насильственно отвлекла от трепетных мыслей о предстоящей разлуке. Исполняя свою серенаду под окном чудесного мима Бернадоне, знаменитого арлекина театра у Каринтийских ворот, он привел в удивление этого милого и умного артиста, завоевав вместе с тем его симпатию. Йозефа заставили войти в дом и стали спрашивать имя автора только что исполненного прекрасного, оригинального трио. Узнав, дивились его юности и таланту и тут же вручили ему либретто балета «Хромой черт», музыку к которому он немедленно же принялся писать. Как раз в это время Гайдн работал над той «Бурей», стоившей ему стольких усилий, о которой, будучи уже восьмидесятилетним старичком, не мог вспоминать без смеха. Консуэло старалась рассеять его грусть, непрестанно говоря с ним о «Буре», которая по настоянию Бернадоне должна была вызывать у слушателей трепет ужаса, а Беппо, в жизни не видевший моря, никак не мог себе его представить. Консуэло описывала ему бушующее Адриатическое море, напевала ему жалобные стоны волн и смеялась вместе с ним над эффектами подражательной гармонии, для усиления которой в театре раскачивают руками голубые полотна, натянутые от кулис до кулис.

— Слушай, — сказал своему ученику в утешение Порпора, — работай ты хоть сто лет с лучшими инструментами в мире, прекрасно зная шум моря и ветра, тебе все-таки не передать божественной гармонии природы. Музыка не в состоянии этого сделать. Она ребячески заблуждается, проделывая звуковые фокусы и эффекты. Музыка выше этого, ее область — душевные волнения. Цель музыки — возбуждать эти волнения, и сама она также вдохновляется ими. Представь себе переживания человека, находящегося во власти шторма. Представь себе зрелище страшное, величественное, ужасное, грозящее опасностью! Поставь себя, музыканта, то есть человеческий голос, человеческий вопль, живую потрясенную душу, среди этого бедствия, этого беспорядка, этой растерянности, этих ужасов... Передай в звуках свои смертельные муки, и слушатели, каковы бы они ни были, будут переживать их вместе с тобой. Им будет казаться, что они видят море, слышат скрип корабля,

крики матросов, отчаянные вопли пассажиров... Что сказал бы ты о поэте, который, желая изобразить битву, сообщил бы тебе в стихотворной форме, что пушка делает «бум-бум», а барабан «план-план»? Это была бы, однако, подражательная гармония, более близкая к происходящему, чем изображающая величественные картины природы; но это не была бы поэзия. Сама живопись — это наиболее изобразительное из всех искусств — не является рабски подражательной. Напрасно написал бы художник темно-зеленое море, черное грозное небо, разбитый остов корабля, — если он не сумеет вложить в это чувство ужаса, поэзию ансамбля, картина его выйдет бесцветной, будь она так же ярка, как пивная вывеска. Итак, молодой человек, прочувствуй сам великое бедствие, и таким путем ты заставишь и других почувствовать его.

Маэстро все еще давал ему свои отеческие наставления, когда в экипаж, стоявший запряженным во дворе посольства, уже укладывали вещи. Йозеф внимательно слушал его поучения, черпая их, так сказать, из самого источника. Но когда Консуэло, в накидке и меховой шапочке, бросилась ему на шею, он побледнел, подавил готовый вырваться крик и, не будучи в силах видеть, как она сядет в экипаж, убежал, чтобы скрыть от всех свои слезы, и забился в заднюю комнатку парикмахерской Келлера.

Метастасию полюбил Йозефа, помог ему усовершенствоваться в итальянском языке и своими добрыми советами и великодушной заботой несколько облегчил юноше разлуку с Порпора. Но долго еще Йозеф грустил и горевал, прежде чем свыкся с отсутствием Консуэло.

Она же, хотя также была огорчена и жалела о таком милом, таком верном друге, но по мере того, как они продвигались в глубь Моравских гор, чувствовала, как снова к ней возвращается ее мужество, ее пыл и поэтическая впечатлительность. Новое солнце всходило над ее жизнью. Освобожденная от всяких уз, от всякого господства, чуждого ее искусству, она считала, что обязана всецело отдаться ему. Порпора, к которому вернулись былые надежды и веселость молодости, приводил ее в восторг своим красноречием; и благородная девушка, не переставая любить Альберта и Йозефа, как двух братьев, которых она должна была снова обрести на лоне Божьем, почувствовала себя легкой, как жаворонок, поднимающийся с песней к небу на заре прекрасного дня.

## С

Уже на втором перегоне Консуэло узнала в слуге, который сопровождал ее и, сидя на козлах, расплачивался с проводниками или распекал за медлительность ямщиков, того самого гайдука, который доложил им о прибытии графа Годица, когда владелец Росвальда приезжал предложить ей увеселительную поездку в свое поместье. Этот высокий, крепкий парень, все смотревший

на нее как-то украдкой и, по-видимому, и желавший и боявшийся с ней заговорить, в конце концов обратил на себя ее внимание. Однажды утром, когда она завтракала на уединенном постоялом дворе у подножья гор, а Порпора, пока отдыхали лошади, ушел прогуляться в погоне за каким-нибудь музыкальным мотивом, она повернулась к этому слуге в тот момент, когда он подавал ей кофе, и строго и сердито в упор посмотрела на него. Но тут у гайдука появилось такое жалобное выражение лица, что она не могла удержаться от смеха. Апрельское солнце сверкало на снегу, еще покрывавшем горы, и наша юная путешественница была в чудесном настроении.

— Увы! Ваша милость, стало быть, не удостоиваете узнать меня, — заговорил, наконец, таинственный гайдук, — я же всегда узнал бы вашу милость, будь вы переодеты в турка или в прусского ефрейтора, а между тем видел-то я вашу милость всего какую-нибудь минуту, но, правда, в какую минуту своей жизни!

С этими словами он поставил на стол принесенный им поднос и, приблизившись к Консуэло, степенно перекрестился, а затем опустил на колени и поцеловал пол у ее ног.

— А! — воскликнула Консуэло. — Дезертир Карл, не так ли?

— Да, синьора, — ответил Карл, целуя протянутую ему руку, — по крайней мере, мне так велели называть вас, хотя я все же не могу разобрать хорошенько, кто вы — господин или дама.

— Правда? Откуда же берутся эти сомнения?

— Да потому что я видел вас мальчиком, а с тех пор, хотя и признал вас сразу, однако же вы стали настолько походить на молоденькую девушку, насколько раньше походили на мальчика. Но это ничего не значит: будьте кем хотите, вы мне оказали помощь, которую я никогда в жизни не забуду. И прикажи вы мне броситься вниз с той вот вершины, я брошусь, раз вам это доставит удовольствие.

— Мне ничего не надо, мой милый Карл, кроме того, чтобы ты был счастлив и наслаждался своею свободой. Ты ведь свободен и, полагаю, снова полюбил жизнь?

— Свободен, — да, — проговорил Карл, покачивая головой, — но счастлив ли?.. Я схоронил свою бедную жену.

Глаза отзывчивой Консуэло стали влажными при виде того, как слезы заструились по квадратным щекам бедного Карла.

— Ах! — сказал он, шевеля своими рыжими усами, с которых слезы скатывались, как дождь с куста. — Она слишком исстрадалась, бедняжка! Горе из-за вторичного увода меня пруссаками, длинное путешествие пешком, когда она уже была очень больна, потом радость свидания со мной, — все это ее потрясло, и она умерла через неделю по прибытии в Вену, где я ее разыскивал и где, благодаря вашей записке, она нашла меня с помощью графа Годица. Этот великодушный вельможа послал ей своего доктора и оказал ей поддержку, но ничто не помогло: она, видите ли, устала жить и отправилась отдыхать на небо к милосердному Господу Богу.

— А дочка твоя? — спросила Консуэло, думая навести его на более утешительные мысли.

— Дочь? — переспросил он с мрачным, несколько растерянным видом. — Прусский король убил также и ее.

— Как убил? Что ты говоришь?

— Да разве не прусский король убил ее мать, причинив ей столько горя? Ну вот и дитя ушло вслед за матерью. С того самого вечера, когда они видели, как меня, избитого в кровь, связанного, увезли вербовщики, а сами остались лежать полумертвыми на дороге, малютку не переставала трясти лихорадка. Усталость и нужда в пути докончили ее. Когда вы повстречали их на мосту при въезде уж не знаю в какую австрийскую деревушку, у них тогда уж два дня ни крошки во рту не было. Вы дали им денег, сообщили о моем спасении, вы все сделали, чтобы их утешить и излечить; они рассказывали мне об этом; но было уже слишком поздно. После того как мы встретились, им становилось все хуже и хуже, и именно в тот момент, когда мы могли бы быть счастливы, их обеих унесли на кладбище. Не осела еще земля на могиле моей жены, когда надо было снова разрывать ее, чтобы опустить туда наше дитя. И вот теперь благодаря прусскому королю Карл один-одинешенек на свете!

— Нет, бедный мой Карл, ты не всеми покинут, — у тебя остались друзья, которым всегда будут близки твои несчастья и твое доброе сердце.

— Это я знаю. Да, есть на свете добрые люди, и вы из их числа. Но что мне теперь нужно, когда больше нет у меня ни жены, ни ребенка, ни родины! Ведь я в ней никогда не буду в безопасности. Эти разбойники, два раза приходившие за мной, слишком хорошо знают мои горы. Оставшись один на свете, я сразу же стал справляться, нет ли у нас сейчас войны, не предвидится ли она скоро. В моей голове крепко засела мысль сражаться против Пруссии, чтобы убить насколько смогу больше пруссаков. О! Святой Венцеслав, покровитель Богемии, уж направил бы мою руку, и я уверен, что ни одна пуля, вылетев из моего ружья, не пропала бы даром! Я говорил себе, авось, Бог поможет мне встретить в каком-нибудь ущелье прусского короля, и тогда... Будь он закован в латы, как сам архангел Михаил... Случись мне даже гнаться за ним, как собаке по следу волка... Но я узнал, что мир упрочился надолго. И тогда все мне опостылело, и я отправился к его сиятельству графу Годицу, чтобы поблагодарить его и попросить больше не представлять меня императрице, как он намеревался сделать. Я хотел было покончить с собой, но граф был так добр ко мне, а принцесса Кульмбахская, его падчерица, которой он по секрету рассказал всю мою историю, наговорила мне столько прекрасных слов относительно долга христианина, что я решил жить и поступил к ним на службу, где, по правде сказать, меня слишком хорошо кормят и слишком хорошо обращаются со мной за то небольшое, что мне приходится делать.

— А теперь скажи мне, мой дорогой Карл, как мог ты меня узнать? — спросила Консуэло, отирая глаза.



— Ведь вы же приезжали однажды пять к моей новой хозяйке, маркиграфине? Я видел, как вы прошли вся в белом, и тотчас же признал вас, хоть вы и превратились в барышню.

Видите ли, я не очень-то хорошо помню места, по которым проходил, имена людей, с которыми встречался, а вот что касается лиц, я их никогда не забываю. Я только что начал креститься, как увидел, что за вами идет юнец, и я узнал в нем Йозефа, но, вместо того чтобы быть вашим хозяином, каким я видел его в минуту своего освобождения (ведь тогда малый был одет получше вас), он превратился в вашего слугу и остался в передней. Он не узнал меня, а так как господин граф запретил мне хоть единым словом обмолвиться кому бы то ни было о том, что со мной случилось (так никогда я и не узнал и не спрашивал почему), я не заговорил с этим добрейшим Йозефом, хотя мне и очень хотелось броситься ему на шею. Почти сейчас же он ушел в другую комнату. Мне же было приказано оставаться в той, где я находился, а хороший слуга исполняет то, что ему велено. Но когда все разъехались, камердинер его сиятельства, пользующийся его полным доверием, сказал мне: «Карл, ты не говорил с этим маленьким лакеем Порпора, хотя и узнал его, и хорошо сделал. Господин граф будет доволен тобой. Что же касается барышни, которая пела сегодня...» — «О! Я ее тоже узнал! — воскликнул я. — И тоже ничего не сказал», — «Ну, — прибавил камердинер, — опять-таки ты хорошо поступил. Господин граф не хочет, чтобы знали, что она ехала с ним в Пассау». — «Это меня не касается, — возразил я, — но могу ли я спросить тебя-то, как освободила она меня из рук пруссаков?» Тогда Генрих (а он ведь там был) рассказал мне, как все произошло, как вы бежали за каретой господина графа и как, когда вам нечего было уже бояться за самих себя, вы настаивали на том, чтобы он отправился освободить меня. Вы также кое-что говорили об этом моей бедной жене, и она это передала мне. Умирая, жена благословляла вас, препоручала вас Богу. «Эти бедные дети, — сказала она, — с виду такие же несчастные, как и мы, отдали мне все, что имели, и плакали так, как будто мы им родные». Ну, зато, когда я увидел, что Йозеф служит у вас, и мне было поручено снести ему деньги от его сиятельства, у которого он как-то вечером играл на скрипке, я вложил в конверт несколько дукатов, первые заработанные мною в этом доме. Он не узнал об этом да и меня не признал. Но если мы вернемся в Вену, я так сделаю, чтоб он, пока я зарабатываю, никогда не нуждался.

— Йозеф больше не служит у меня, мой милый Карл; он мой друг и теперь уже не нуждается: он музыкант и легко будет зарабатывать себе на жизнь. Не обирай же себя для него.

— Что касается вас, синьора, я так мало могу сделать, чтоб доказать свою благодарность: ведь, говорят, вы великая актриса; но, видите ли, если когда-нибудь вам понадобится слуга, а вы не будете в состоянии ему платить, обратитесь к Карлу и рассчитывайте на него. Он будет служить вам даром, счастливый, что может работать для вас.

— Ты уже достаточно заплатил мне своей признательностью, а твоей самоотверженности мне не надо.

— Вот и господин Порпора возвращается. Помните, синьора, что я имею честь вас знать только как слуга, предоставленный в ваше распоряжение моим хозяином.

На следующий день наши путешественники, поднявшись рано утром, добрались к полудню, не без затруднений, до замка Росвальд. Он был расположен высоко, на склоне самых красивых гор в Моравии, и так хорошо защищен от холодных ветров, что здесь уже чувствовалась весна, в то время как в окрестности, за полмили от замка, царила еще зима. Хотя погода по тому времени года и стояла прекрасная, дороги были еще очень мало удобны для езды. Но граф Годиц, которого ничто не могло остановить и для которого невозможное было шуткой, уже прибыл и распорядился, чтобы сотня землекопов выравнивала дорогу, по которой на следующий день должна была проследовать величественная карета его благородной супруги. Быть может, было бы более по-супружески и более полезно путешествовать ему вместе с ней, но главная суть тут заключалась не в том, чтоб не допустить ее в дороге сломать себе ноги и руки, а в том, чтоб задать в ее честь празднество. Живой или мертвой вступая во владение росвальдовским дворцом, ей надлежало быть встреченной пышным увеселением.

Граф, едва дав переодеться нашим путешественникам, приказал подать им роскошный обед в гроте из мха и раковин, где большая печь, скрытая между искусственных скал, распространяла приятную теплоту. На первый взгляд место это показалось Консуэло очаровательным. Вид, открывавшийся из грота, был действительно великолепен. Природа ничего не пожалела для Росвальда. Крутые живописные горы, вечнозеленые леса, обильные источники, чудесные виды, необъятные луга, — всего этого с комфортабельным замком в придачу было совершенно достаточно, чтобы получилась идеальная загородная резиденция. Но вскоре Консуэло заметила, какими причудливыми затеями граф ухитрился испортить эту божественную природу. Грот был бы прелестен, если бы не были вставлены окна, делавшие из него несуразную столовую; так как каприфолий и вьюнки еще едва начинали пускать почки, двери и оконные рамы были увиты искусственной листвой и цветами, что являлось претенциозной безвкусицей; среди раковин и сталактитов, несколько пострадавших от зимы, проглядывала штукатурка и замазка, с помощью которых они были вделаны в скалы, а жар печки, действуя на остатки сырости в своде, заставлял влагу капать на головы гостей в виде грязноватого, нездорового дождя, замечать который граф совершенно не желал. Это сердило Порпора, и он два-три раза брался было за свою шляпу, не решаясь, однако, нахлобучить ее на голову, хотя ему этого страшно хотелось. Особенно боялся он, чтобы Консуэло не схватила насморк, и спешил поест, мотивируя тем, что стораает от нетерпения поскорее познакомиться с произведениями, которыми ему предстоит дирижировать на следующий день.

— О чем вы так беспокоитесь, дорогой маэстро? — сказал ему граф, большой любитель покушать и охотник до бесконечных рассказов о том, как он покупал и заказывал те или иные великолепные и редкие предметы своей сервировки. — Такие искусные и опытные музыканты, как вы, нуждаются в каком-нибудь получасе, чтобы войти в курс дела. Музыка моя проста и естественна. Я не принадлежу к тем композиторам-педантам, которые стремятся поразить вас своими искусными, причудливыми гармоническими сочетаниями. В деревне требуется простая музыка, пасторальная. Я поклонник только безыскусственных и легких песен; таков же и вкус маркграфини. Вы увидите, все пойдет как по маслу. Притом мы не теряем времени. Пока мы здесь завтракаем, мой дворецкий приготовляет все, согласно моим приказаниям, и мы застанем хоры размещенными по своим местам и всех музыкантов на своем посту.

В то время как он говорил это, пришли доложить его сиятельству, что два иностранных офицера, путешествующие в здешних местах, просят разрешения войти и приветствовать графа, желая получить от него разрешение осмотреть дворец и сады Росвальда.

Граф привык к такого рода посещениям, и ничто не могло доставить ему большего удовольствия, как самому служить проводником любопытным посетителям, показывая им прелести своей резиденции.

— Пусть войдут! Милости просим! — воскликнул он. — Поставьте приборы и проведите их сюда.

Несколько минут спустя вошли два офицера. На них была прусская форма. Тот, что шел первым и за которым его товарищ, казалось, хотел совершенно ступешаться, был небольшого роста, с довольно хмурым лицом. Его длинный, грубый нос, лишенный благородства, еще больше подчеркивал всю некрасивость его западавшего рта и почти полное отсутствие подбородка. Некоторая сутуловатость придавала какой-то стариковский вид его фигуре, затянутой в неуклюжую форменную одежду, придуманную Фридрихом. А между тем человеку этому было никак не больше сорока лет. У него была очень смелая походка, а когда он снял отвратительную шляпу, закрывавшую его лицо до самого носа, обнаружилось то, что было красивого в его голове, — большой, умный и задумчивый лоб, подвижные брови и удивительно ясные и живые глаза. Взгляд этих глаз преображал его, как те солнечные лучи, что окрашивают и придают красоту самым мрачным, прозаическим ландшафтам. Казалось, он вырастал на целую голову, когда сверкали глаза на его бескровном, невзрачном и беспокойном лице.

Граф Годиц принял их скорее сердечно, чем церемонно, и, не теряя время на длинные приветствия, велел поставить им два прибора и начал с истинно патриархальным добродушием потчевать их самыми вкусными блюдами. Годиц был добрейший человек, и тщеславие не только не развращало его сердца, но даже способствовало тому, что оно с большей доверчивостью и большим великодушием проявляло себя. Рабство царило еще в его владе-

ниях, и все чудеса Росвальда были созданы без особых затрат, оброчным трудом и барщиной, но он усыпал ярмо своих рабов цветами и лакомствами. Он заставлял их забывать о необходимом, расточая им излишества, и, убежденный в том, что удовольствие есть счастье, он так увеселял их, что они и не помышляли о свободе.

Прусский офицер (в сущности, он был один, другой казался только его тенью) сначала как будто был удивлен, даже несколько шокирован бесцеремонностью графа и напустил было на себя сдержанную учтивость, но тут граф сказал:

— Господин капитан, прошу вас отбросить всякие стеснения и чувствовать себя здесь, как дома. Я знаю, что вы в армии Фридриха Великого приучены к суровой дисциплине, и нахожу ее чудесной на своем месте, но здесь вы в деревне, а если в деревне не веселиться, к чему же и приезжать сюда! Я вижу, что вы люди воспитанные, с хорошими манерами. Конечно, вы не были бы офицерами прусского короля, не докажи вы своих знаний в военных науках и не прояви вы беззаветной храбрости. Итак, я вас считаю гостями, делающими честь моему дому. Прошу вас без церемоний располагать им и оставаться в нем до тех пор, пока это вам будет приятно.

Офицер как умный человек сейчас же сдался и, в том же тоне поблагодарив хозяина, налег на шампанское, что, однако, ни на йоту не заставило его потерять хладнокровие и не помешало оценить превосходный пирог, относительно которого он пустился в гастрономические вопросы и замечания, не внушившие Консуэло, весьма умеренной в пище, высокого мнения о нем. Но ее поразил его огненный взгляд — удивил, хотя и не очаровал: она чувствовала в нем что-то высокомерное, испытующее, недоверчивое, что было ей не по сердцу.

Во время завтрака офицер сообщил графу, что его имя барон фон-Кройц, что он уроженец Силезии, куда послан за приобретением лошадей для кавалерии. Попад в Нейс, он не мог противостоять желанию посмотреть столь восхваляемые сады и дворец Росвальда; вот почему сегодня утром он пересек границу, причем и здесь, пользуясь случаем, закупил некоторое количество лошадей. Он даже выразил желание осмотреть конюшни, если у графа имеются продажные лошади. Путешествует он верхом и сегодня же вечером уезжает обратно.

— Этого я не потерплю, — сказал граф. — В данную минуту у меня нет на продажу лошадей. Мне самому их не хватает для сооружения новых, задуманных мною украшений в моих садах. А самым выгодным для меня делом будет пользоваться как можно дольше вашим обществом.

— Но, приехав сюда, мы слышали, что вы с часу на час ждете графиню Годиц; нам не хотелось бы быть вам в тягость, и мы, узнав о ее приближении, тотчас же ретируемся.

— Я только завтра жду маркграфиню, — ответил граф, — она прибудет сюда с дочерью своей, принцессой Кульмбахской. Вам, верно, известно, господа, что я имел честь заключить благородный брак...

— С вдовствующей графиней Байрейтской, — несколько резко перебил его барон фон-Кройц, казалось, менее ослепленный этим титулом, чем ожидал граф.

— Она тетка короля прусского, — с некоторой напыщенностью проговорил Годиц.

— Да, да, я знаю это, — ответил прусский офицер, беря большую понюшку табаку.

— И так как это удивительно милая и любезная дама, — продолжал граф, — то я не сомневаюсь, что она будет бесконечно рада принять и угостить храбрых слуг короля, своего знаменитого племянника.

— Мы были бы очень тронуты такой великой честью, — сказал, улыбаясь, барон, — но у нас нет времени этим воспользоваться. Наш долг настойчиво призывает нас к нашей службе, и мы сегодня же распростимся с вашим сиятельством, а пока были бы очень счастливы полюбоваться этой прекрасной резиденцией: у короля, нашего повелителя, ведь нет ни одной, которая могла бы с нею сравниться.

Этот комплимент вернул пруссаку все благоволение моравского вельможи. Встали из-за стола. Порпора, более заинтересованный репетицией, чем прогулкой, хотел было от нее уклониться.

— Нет! Нет! — настаивал граф. — И прогулка и репетиция — все это осуществится одновременно; вы увидите, маэстро!

Граф предложил руку Консуэло и, проходя с нею вперед, сказал:

— Извините, господа, что я завладел единственной присутствующей среди нас в эту минуту дамой; это уж право хозяина! Будьте добры следовать за мной: я буду вашим проводником.

— Смеем вас спросить, сударь, — сказал барон Кройц, впервые обращаясь к Порпора, — кто эта милая дама?

— Я, сударь, итальянец, — ответил бывший не в духе Порпора, — плохо понимаю немецкий язык и еще меньше французский.

Барон, до сих пор говоривший с графом по-французски, согласно обычаю того времени между людьми светского общества, повторил свой вопрос по-итальянски.

— Эта милая дама, не проронившая в вашем присутствии ни единого слова, не маркграфиня, не вдовствующая графиня, не княгиня, не баронесса, — она итальянская певица с некоторым талантом.

— Тем интереснее мне с нею познакомиться и узнать ее имя, — возразил барон, улыбаясь на резкость маэстро.

— Это Порпорина, моя ученица, — ответил Порпора.

— Я слышал, что это очень талантливая особа, — заметил пруссак, — ее с нетерпением ожидают в Берлине. Раз это ваша ученица, вижу, что имею честь говорить со знаменитым Порпора.

— К вашим услугам, — сухо проговорил Порпора, нахлобучивая на голову свою шляпу, которую он приподнял в ответ на глубокий поклон барона фон-Кройца.





— Я слышал, что это очень талантливая особа, —  
заметил пруссак, — ее с нетерпением ожидают в Берлине.

Раз это ваша ученица, вижу, что имею честь говорить  
со знаменитым Порпора.

— К вашим услугам, — сухо проговорил Порпора...

А барон, видя, до чего мало общителен старик, пропустил его вперед, а сам пошел за ним со своим поручиком. Порпора, у которого словно и на затылке были глаза, как-то увидел, что оба они смеются, поглядывая на него и говоря о нем на своем языке. Это еще меньше расположило маэстро в их пользу, и он не одарил их ни единым взглядом во все время прогулки.

## СИ

Вся компания сошла по небольшому, но довольно крутому спуску, внизу которого увидела речку, прежде представлявшую собой красивый поток, чистый и бурный; но так как надо было сделать его судоходным, то выравнивали его русло, срезали аккуратно берега, при этом замутили прозрачную воду. Рабочие и сейчас были заняты очисткой его от огромных камней, сваленных в него зимней непогодой и придававших ему еще кое-какую живописность; но и их спешили удалить. Здесь гуляющих ожидала гондола, настоящая гондола, выписанная графом из Венеции и заставившая забиться сердце Консуэло, напомнив ей так много милого и так много горького. Все разместились в гондоле и отчалили... Гондольеры были также настоящие венецианцы, говорившие на своем родном наречии. Их выписали вместе с гондолой, как в наши дни выписывают негров с жирафом. Граф Годиц, много путешествовавший, воображал, что знает все языки, но как ни самоуверенно, как ни громко и выразительно отдавал он приказания своим гондольерам, те с трудом понимали бы их, если бы Консуэло не служила переводчиком. Им велено было спеть стихи Тассо, но эти бедняги, охрипшие от льдов севера, оторванные от своей родины, показали пруссакам довольно-таки жалкий образчик своего искусства. Консуэло пришлось подсказывать им каждую строфу, и она обещала своим землякам прорепетировать с ними те отрывки, которые им на следующий день предстояло исполнить перед маркграфиней.

После пятнадцатиминутного плавания по месту, которое можно было пройти в три минуты, но где бедному, сбитому с пути потоку устроили тысячу предательских изгибов, путники дошли до «открытого моря». То был довольно обширный бассейн, куда гондола пробралась сквозь кущи кипарисов и елей и где, против ожидания, было действительно довольно красиво. Но любоваться этим видом не пришлось. Надо было перейти на крошечный кораблик, снабженный решительно всем: мачтами, парусами, канатами, — это была превосходная модель корабля, вполне оснащенного, которая едва не пошла ко дну из-за слишком большого числа матросов и пассажиров. Порпора здесь очень прозяб. Ковры были влажны; хотя накануне прибывшим графом был произведен тщательный осмотр «флота», суденышко, по-видимому, давало течь. Всем было не по себе; исключение составляли только Консуэло, которую начинало не на шутку забавлять сумасбродство хозяина,

и граф, который, благодаря счастливому своему характеру, никогда не придавал значения маленьким неприятностям, сопровождавшим его увеселения.

Флот, соответствовавший этому адмиральскому судну, встав под его команду, проделал разные маневры, которыми граф, вооруженный рупором и стоя на корме, руководил самым серьезным образом, причем выходил из себя, когда дело шло не так, как ему хотелось, и тут же заставлял повторять все сначала. Затем все суда двинулись под звуки духовых инструментов, страшно фальшививших, что окончательно вывело из себя Порпора.

— Ну, куда бы уж ни шло заставлять нас мерзнуть и простуживаться, — ворчал он сквозь зубы, — но до такой степени терзать нам уши — это уж слишком.

— Паруса на Пелопоннес! — отдал команду граф, и весь флот пошел к берегу, украшенному крошечными постройками наподобие греческих храмов и древних гробниц.

Вошли в маленькую бухточку, скрывавшуюся в скалах, и в десяти шагах от берега были встречены залпом из ружей. Двое матросов упали при этом «замертво» на палубу, а маленький, очень легкомысленный юнга, сидевший высоко на канатах, громко вскрикнув, спустился, или, скорее, ловко соскользнул и стал кататься посреди всего общества, вопя, что он ранен, и закрывая руками якобы вдребезги разбитую пулей голову.

— Здесь, — сказал граф Консуэло, — вы мне нужны для маленькой репетиции, которую я хочу сделать своему экипажу. Будьте добры на минуту изобразить маркграфиню и приказать этому умирающему ребенку так же, как и тем двум убитым, которые, кстати сказать, очень по-дурацки упали, подняться, моментально выздороветь, взяться за оружие и защищать ее высочество от дерзких пиратов, вон там засевших.

Консуэло не замедлила согласиться взять на себя роль маркграфини и сыграла ее с гораздо большим благородством и грацией, чем сделала бы это сама госпожа Годиц. Убитые и умирающие, привстав, стали на колени и поцеловали ей руку. Тут же им было приказано графом не прикасаться на самом деле своими губами вассалов к благородной руке ее высочества, но целовать собственную руку, делая вид, что приближают свои губы к ее руке. Затем убитые и умирающие бросились к оружию, проявляя при этом горячий энтузиазм. Маленький скоморох, изображавший юнгу, вскарабкался, как кошка, на свою прежнюю мачту и выстрелил из легкого карабина в бухту пиратов. Флот сомкнулся вокруг новой Клеопатры, и маленькие пушки произвели ужасающий шум. Консуэло, предупрежденная графом, боявшимся ее перепугать, не была введена в заблуждение, когда началась эта довольно-таки странная комедия. Но прусские офицеры, по отношению к которым он не нашел нужным проявить такую же любезность, видя, как после первых выстрелов упали два человека, бледнея прижались друг к другу. Тот, который все молчал, казалось, очень перепугался за своего капитана, смятение которого также не укрылось от спокойного наблюдательного взора Консуэло. Однако не испуг отразился на лице капитана,

а, наоборот, какое-то негодование, даже, пожалуй, гнев, как будто эта шутка оскорбляла его лично, казалась обидной для его достоинства и как пруссака и как офицера. Годиц не обратил на это никакого внимания, а когда загорелся бой, оба офицера громко хохотали и как нельзя лучше отнеслись к потехе. Они даже сами взяли за шпаги и, фехтуя, как бы принимали участие в этой сцене.

Пираты на своих легких лодках, одетые греками, с мушкетами и пистолетами, заряженными порохом, выйдя из-за своих красивых маленьких рифов, сражались, как львы. Им дали возможность броситься на abordаж, и тут всех их перебили, дабы добрая маркиграфиня имела удовольствие их воскресить! Единственная жестокость, проявленная при этом, состояла в том, что некоторые из пиратов были брошены в воду. Вода в бассейне была чрезвычайно холодна, и Консуэло пожалела было их, но сейчас же увидела, что это им доставляет удовольствие и они даже хвастают своим умением плавать перед товарищами-горцами.

Когда флот, руководимый «Клеопатрой» (ибо корабль, на который должна была вступить маркиграфиня, действительно носил это громкое имя), победил, он, конечно, увел в плен за собой флот пиратов и под звуки победной музыки (по мнению Порпора, годной только для похорон дьявола) отправился осматривать берега Греции. Затем подошли к неизвестному острову, где виднелись землянки и экзотические деревья, прекрасно акклиматизированные или искусно сделанные, ибо тут трудно было разобраться, до того настоящее и поддельное на каждом шагу смешивались друг с другом. У берега этого острова были ошвартованы пироги. Туземцы бросились в них с невероятными криками и поплыли навстречу флоту, везя с собой туземные цветы и плоды, только что срезанные в теплицах резиденции. Дикари эти были взъерошены, татуированы, курчавы, похожи больше на дьяволов, чем на людей. Костюмы их были не очень-то выдержанны. Одни из дикарей были украшены перьями, как перуанцы, другие закутаны в меха, как эскимосы. Но этому не придавалось значения, лишь бы они были очень уродливы, очень растрепаны, и их принимали по меньшей мере за людоедов.

Эти милые люди много кривлялись, а их предводитель, какой-то великан с фальшивой бородой до пояса, выступил с речью, которую на языке дикарей сочинил сам граф Годиц. То было собрание каких-то хрипящих и скрежещущих слогов, расположенных как попало, чтобы изобразить причудливость варварского говора. Граф, заставив предводителя произнести свою тираду без ошибки, взялся сам перевести эту замечательную речь Консуэло, все еще игравшей, до появления настоящей маркиграфини, ее роль.

— Вот о чем идет речь, государыня, — начал граф, подражая приветствиям короля дикарей, — это племя людоедов, у которого в обычае пожирать всех иноплеменников, высадившихся на его остров, так тронута и покорено вашей волшебной красотой, что приносит к ногам вашим в дар свою жестокость и предлагает вам быть королевой этих неведомых земель. Соболаговолите ступить на них без страха, и хотя они бесплодны и не возделаны, но цветы цивилизации вскоре зацветут под вашими стопами.



Причалили к берегу под песни и пляски юных дикарок. Странные и якобы свирепые звери, — чучела, набитые соломой, — благодаря вделанным в них пружинам вдруг преклонили колени и приветствовали Консуэло на острове. Затем недавно посаженные деревья и кусты повалились при помощи веревок, скалы из картона обрушились, и появились домики, украшенные цветами и листьями. Пастушки, гнавшие перед собой настоящие стада (у Годица в них не было недостатка), поселяне, хотя и одетые по последней моде оперного театра, но несколько неопрятные вблизи, даже прирученные козули и лани явились выразить верноподданнические чувства новой государыне и приветствовать ее.

— Завтра вам придется здесь играть перед ее высочеством, — сказал граф Консуэло. — Вам будет доставлен костюм языческой богини, весь в цветах и лентах, и вы будете вот в этой пещере. Маркграфиня войдет сюда, и вы ей споете кантату (она у меня в кармане), в которой выражается та мысль, что вы уступаете маркграфине свои божественные права, ибо там, где она соблаговолит появиться, может быть только одна богиня.

— Посмотрим эту кантату, — проговорила Консуэло, беря из рук графа его произведение.

Ей не стоило большого труда прочесть и пропеть с листа это наивное творение, где слова и музыка вполне соответствовали друг другу. Оставалось только выучить их наизусть. Две скрипки, арфа и флейта, спрятанные в глубине пещеры, аккомпанировали ей вкривь и вкось. Порпора заставил их повторить. Через каких-нибудь четверть часа все пошло на лад. Роль эта не была единственной, которую должна была исполнять на празднестве Консуэло, и не единственной была также кантата в кармане графа Годица. К счастью, творения эти были коротки: ведь не надо было утомлять маркграфиню слишком большой дозой музыки.

Тут снова подняли паруса у острова дикарей и причалили к китайскому берегу: башни, казавшиеся фарфоровыми, беседки, сады карликовых деревьев, мостики, джонки и чайные плантации — все тут было налицо. Ученые и мандарины<sup>1</sup>, довольно хорошо костюмированные, явились приветствовать маркграфиню на китайском языке, и Консуэло, которой приходилось во время перехода переодеваться в трюме одного из кораблей, вырядилась мандарином и должна была спеть куплеты на китайском языке, также сочиненные графом Годицем:

Пинг-панг-тионг,  
Хи-хан-хонг.

Такова была песня, которая, благодаря громадным сокращениям, свойственным этому удивительному языку, означала следующее:

«Прекрасная маркграфиня, великая принцесса, кумир всех сердец, царите вечно над вашим счастливым супругом и над вашей ликующей росвальдской империей в Моравии».

<sup>1</sup> *Мандарин* — наименование чиновника в имперском Китае.



Покидая Китай, разместились в роскошных паланкинах и на плечах бедных китайских рабов и дикарей поднялись на вершину небольшой горы, где оказался город лилипутов. Дома, леса, озера, горы — все доходило вам до колен или до щиколотки, и надо было нагибаться, чтоб видеть внутри домов мебель и хозяйственные принадлежности, по величине соответствовавшие всему остальному. Марионетки плясали на городской площади под звуки дудочек, варганов и бубнов. Люди, заставлявшие действовать этих марионеток и исполнявшие музыку лилипутов, были спрятаны под землей в подвалах, специально для этого вырытых.

Спускаясь с горы лилипутов, очутились в небольшой пустыне размером в какую-нибудь сотню шагов, загроможденной огромными скалами и могучими деревьями, предоставленными своему естественному росту. Это было единственное место, которое граф не испортил и не изуродовал. Он удовольствовался тем, что оставил его таким, каким нашел.

— Долго ломал я себе голову над тем, как использовать это глубокое ущелье, — поведал он своим гостям, — и все не мог придумать способа, как избавиться от этих громадных скал и какую форму придать этим великолепным, но беспорядочно растущим деревьям. Вдруг меня осенила мысль окрестить это место пустыней, хаосом. Я представил себе, что получится довольно эффектный контраст, особенно когда, отойдя от этих ужасов природы, попадешь в роскошный, прекрасно ухоженный цветник. Чтобы дополнить иллюзию впечатления, я вам сейчас покажу нечто очень интересное.

С этими словами граф завернул за огромную скалу, возвышавшуюся у дорожки (нельзя же было, на самом деле, не провести в ужасной пустыне хотя бы одной гладенькой, усыпанной песком дорожки), и Консуэло очутилась у входа в обитель пустынного монаха, высеченную в скале, над которой возвышался грубо обтесанный деревянный крест. Оттуда вышел пустынный монах. То был добродушный крестьянин, поддельная длинная седая борода которого мало гармонировала с его свежим лицом, украшенным румянцем юности. Он произнес прекрасную проповедь (неправильные выражения ее тут же поправлялись графом), дал свое благословение и поднес Консуэло молоко с кореньями в деревянной чашке.

— Я нахожу пустынного монаха слишком юным, — заметил барон фон-Кройц, — вы могли бы, пожалуй, поместить сюда настоящего старца.

— Это не понравилось бы маркиграфине, — простодушно пояснил граф Годиц. — Она весьма справедливо находит, что старость приносит мало веселья и что на празднествах надо видеть только молодых актеров.

Избавляю читателей от дальнейшей прогулки. И конца бы этому не было, пожелай я описывать различные страны, жертвенники друидов, индийские пагоды, крытые дороги и каналы, девственные леса, подземелья, где можно было видеть высеченное в скалах изображение мистерии страстей Господних; искусственные пещеры с бальными залами, Елисейские поля, могилы, потом водопады, наяд и «шесть тысяч» фонтанов, которые, как впоследствии рассказывал Порпора, он должен был «переварить».

Были тут еще тысячи других прелестей, о которых подробно и с восторгом передают нам мемуары того времени: например, полутемный грот, куда вы проникали с разбега. В глубине его было зеркало, которое, отражая в полумраке ваш собственный образ, неминуемо должно было страшно пугать вас; монастырь, где под страхом пожизненного заточения вас обязывали клясться в вечной покорности и в вечном обожании маркграфини; дерево, из которого, благодаря спрятанной в ветвях помпе, лились на вас чернила, кровь или розовая вода, в зависимости от того, хотели ли вас чествовать или издеваться над вами; словом, масса прелестного, таинственного, остроумного, непонятного, а главное — стоящего бешеных денег, — всего, что Порпора имел дерзость находить невыносимым, идиотским, скандальным. Только ночь положила конец этой прогулке вокруг света, во время которой гости, то верхом, то в крытых носилках, на ослах, в каретах или в лодках, отмахали добрых три мили!

Привычные к холоду и усталости, оба прусских офицера хотя и посмеивались над слишком ребяческими забавами и «сюрпризами» Росвальда, но не были так поражены смехотворной стороной этой чудесной резиденции, как Консуэло. Она была дитя природы, родилась среди полей, привыкла с тех пор, как у нее открылись глаза, смотреть на творения Божии не в лорнет и не через газовое покрывало, а барон фон-Кройц хотя и не являлся первым встречным среди этой аристократии, привыкшей к драпировкам и всяким модным украшениям, все-таки был человеком своего круга и своего времени. Он не питал отвращения ни к гротам, ни к эрмитажам, ни к символам. В общем, барон добродушно позабавился, выказал в разговоре много ума, и когда его спутник, входя в столовую, почтительно выразил ему сочувствие по поводу скуки во время несносной прогулки, он возразил ему:

— Скуки! У меня? Да никакой! Я двигался, нагулял себе аппетит, насмотрелся на тысячу безумств, отдохнул от серьезных дел, — нет, нет, я не потерял времени.

Все были крайне удивлены, увидев в столовой одни стулья, стоящие вокруг пустого места. Граф попросил своих гостей усесться и приказал лакеям подавать.

— Увы! Ваше сиятельство, — заявил тот из лакеев, которому было предназначено отвечать, — у нас не было ничего достойного предложить такому почтенному обществу, и мы даже не накрыли на стол.

— Вот так мило! — воскликнул хозяин с напускной яростью и после нескольких минут такой игры проговорил:

— Ну, хорошо! Если люди нам отказывают в ужине, взываю к аду и требую, чтобы Плутон прислал мне ужин, достойный моих гостей!

Сказав это, он трижды постучал об пол, и пол немедленно соскользнул по пазу, а в образовавшемся отверстии показалось пламя с ароматным запахом; затем при звуках странной веселой музыки под локтями гостей появился роскошно сервированный стол.

— Недурно! — промолвил граф, приподнимая скатерть, и, обращаясь под стол, сказал: — Одно только меня очень удивляет: ведь господину Плутону прекрасно известно, что в моем доме нет даже воды, а между тем он не прислал ни одного графина.

— Граф Годиц, — ответил из глубины хриплый голос, достойный преисподней, — вода — большая редкость в аду, ибо все наши реки пересохли с тех пор, как глаза ее высочества маркграфини зажгли страстью самые недра земли; тем не менее, если вы требуете воды, мы пошлем одну из Данаид на берег Стикса посмотреть, не найдет ли она ее там.

— Пусть поспешит, но главное — дайте ей бочку без пробойн.

И сейчас же из прекрасной яшмовой чаши, стоявшей посреди стола, забил фонтан горной воды, который в течение всего ужина спадал в виде снопа бриллиантов, загоравшихся от отражения множества свечей. Столовый сервиз был шедевром роскоши и безвкусицы, а вода Стикса и «адский» ужин послужили графу поводом для бесконечной малоостроумной игры слов, всяких намеков и вздорной болтовни, но все это прощалось ему ради его наивной ребячливости. Вкусный, сытный ужин, поданный юными сильфами и более или менее хорошенькими нимфами, привел в веселое настроение барона фон-Кройца.

Он, однако, не обратил особенного внимания на красивых рабынь хозяина пира: эти бедные крестьянки были одновременно горничными, любовницами, хористками и актрисами своего барина. Он был их преподавателем грации, танцев, пения и декламации. Консуэло в Пассау получила представление о том, как вообще он вел себя с ними. И припоминая, какую славную участь сулил он ей тогда, она дивилась почтительной непринужденности, выражаемой им ей теперь. По-видимому, он и не думал стыдиться своего тогдашнего промаха.

Она прекрасно знала, что завтра, при появлении маркграфини, все примет иной оборот: она будет обедать с учителем в своей комнате, не удостоившись чести быть допущенной к столу ее высочества. Это нисколько не смущало ее. Но она не подозревала одного, что очень позабавило бы ее в эту минуту, а именно, что ужинает она с персоной неизмеримо более высокой и что персона эта ни за что на свете не пожелает ужинать на следующий день с маркграфиней.

Барон фон-Кройц, улыбавшийся довольно холодно при виде доморощенных нимф, выказал несколько больше внимания Консуэло после того, как, заставив ее прервать молчание, вызвал на разговор о музыке. Он был просвещенным, почти страстным любителем этого божественного искусства. Говорил он о нем с большим пониманием, что вместе с ужином, вкусными блюдами и теплом комнат смягчило угрюмое настроение Порпора.

— Было бы желательно, — сказал маэстро барону, перед этим учтиво похвалившему его произведения, не назвав его, — чтобы государь, которого мы будем стараться развлекать, был таким же хорошим ценителем, как вы.

— Уверяют, — ответил барон, — что мой государь довольно сведущ в этой области и истинный любитель искусств.

— Так ли это, господин барон? — спросил маэстро, который вообще не мог не противоречить всем и во всем. — Я не очень льщу себя этой надеждой. Короли — первые во всем, по мнению своих подданных, но бывает очень часто, что подданные знают гораздо больше, чем они.

— В военном деле так же, как в инженерном и в науках, прусский король понимает больше любого из нас, — горячо заметил на это поручик, — а что касается музыки, несомненно...

— Что вы ровно ничего об этом не знаете, как и я, — сухо перебил его капитан Кройц, — маэстро Порпора в этом отношении может полагаться только на самого себя.

— А мне в сфере музыки королевское достоинство никогда не импонировало, — снова заговорил маэстро, — и когда я имел честь давать уроки владетельной принцессе Саксонской, ей так же, как всякому другому, я не спускал ни единой фальшивой ноты.

— Как! — сказал барон, иронически глядя на своего спутника. — Неужели и венценосцы когда-нибудь берут фальшивые ноты?

— Так точно, сударь, как и простые смертные, — ответил Порпора — Однако должен признать, что владетельная принцесса проявила большие способности и недолго брала фальшивые ноты.

— Так, значит, вы простили бы кое-какие фальшивые ноты нашему Фрицу, если б он дерзнул взять их при вас?

— При условии, чтоб он исправился в этом отношении.

— Но головоломки вы ведь ему все-таки не задали бы? — смеясь вмешался в разговор граф Годиц.

— Задал бы, если б за это он даже снял с плеч мою собственную голову, — ответил, бравлируя, старый профессор, которого небольшое количество шампанского, выпитого им, сделало несколько экспансивным.

Консуэло была надлежащим образом предупреждена каноником о том, что Пруссия представляет собой большое полицейское управление, где малейшее слово, произнесенное шепотом на границе, переносится в несколько минут благодаря каким-то таинственным и безошибочным эхо в кабинет самого Фридриха, и что никогда не следует обращаться к пруссаку, особенно к военному или к какому-нибудь чиновнику, со словами «как вы поживаете», не взвесив каждого слога и предварительно не повернув, как говорят малым детям, семь раз своего языка во рту. Вот почему ей не особенно понравилось, что ее учитель впал в свой обычный насмешливый тон, и она постаралась несколько дипломатически загладить его неосторожность.

— Если б даже король Пруссии и не был первым музыкантом своего века, — сказала она, — ему было бы позволительно пренебрегать искусством, ничтожным, конечно, по сравнению с его знаниями в других областях.

Но она не подозревала того, что Фридрих не меньше жаждал быть великим флейтистом, чем великим полководцем и великим философом. Барон фон-Кройц заметил, что раз его величество смотрит на музыку как

на искусство, достойное изучения, то, вероятно, и посвятил ему должное внимание и серьезный труд.

— Эх! — сказал, все больше и больше оживляясь, Порпора. — Внимание и труд ничего не открывают в музыке тому, кого небо не наградило врожденным талантом. Музыкальный гений не есть удел всех людей, и легче выигрывать сражения и назначать пенсии литераторам, чем похитить у муз священный огонь. Говорил же нам барон Фридрих фон дер Тренк, что когда его прусское величество сбивался с такта, виноваты в этом были его придворные. Но, положим, со мной подобного не случится!

— Так барон Фридрих фон дер Тренк говорил это? — спросил барон фон-Кройц, глаза которого вдруг загорелись жгучей злобой. — Ну, хорошо, — проговорил он, усилием воли заставив себя успокоиться и переходя на безразличный тон, — бедняга теперь, должно быть, потерял охоту шутить, ибо до конца своих дней заключен в Глацкую крепость.

— Неужели! — воскликнул Порпора. — Да что же он сделал?

— Это государственная тайна, — ответил барон, — но все заставляет предполагать, что он обманул доверие своего государя.

— Да, — прибавил поручик, — продав австрийцам планы укреплений Пруссии, своего отечества.

— О! Это невозможно! — вырвалось у побледневшей Консуэло. Невзирая на то, что она все с большим и большим вниманием следила за каждым своим движением, за каждым словом, тут она не смогла удержаться от этого горестного восклицания.

— Это и невозможно и неверно! — закричал с негодованием Порпора. — Те, кто уверили в этом короля, гнусно солгали!

— Полагаю, что вы не желаете косвенно уличать и нас во лжи, — проговорил поручик, тоже бледнея.

— Надо быть до нелепости щепетильным, чтобы понять это таким образом, — отрезал барон фон-Кройц, бросая на своего спутника суровый, повелительный взгляд. — Разве это нас касается? И что нам до того, что маэстро Порпора так горячо относится к своему молодому другу?

— И буду так же горячо относиться даже в присутствии самого короля, — заявил Порпора, — я скажу королю, что его обманули, что нехорошо с его стороны было поверить этому, что Фридрих фон дер Тренк — достойный, благородный молодой человек, неспособный на подлость.

— А я думаю, учитель, — прервала его Консуэло, которую все больше и больше тревожила физиономия капитана, — что вы будете немногоречивы, когда удостоитесь чести предстать пред королем Пруссии. Я слишком хорошо знаю вас и потому уверена, что ни о чем другом, как о музыке, вы говорить с ним не станете.

— Синьора мне кажется чрезвычайно осторожной, — снова заговорил барон, — а между тем, по-видимому, она была очень дружна в Вене с этим молодым бароном фон дер Тренком.



— Я, сударь, почти не знаю его, — ответила Консуэло с очень хорошо разыгранным равнодушием.

— Но если благодаря какой-нибудь непредвиденной случайности сам король спросил бы вас о том, что думаете вы о предательстве этого Тренка?.. — пытливо глядя на нее, спросил барон.

— Я бы ответила ему, господин барон, что не верю ни в чье предательство, ибо вообще не могу понять, как можно предавать, — промолвила Консуэло спокойно.

— Вот прекрасные слова, синьора! И в них проявилась прекрасная душа! — вырвалось у барона, лицо которого сразу прояснилось.

Тут он заговорил о другом и очаровал собеседников изяществом и силою своего ума. В течение всего ужина, когда он обращался к Консуэло, у него было доброе, доверчивое выражение лица, чего она не замечала раньше.

## СII

Когда кончали десерт, призрак, весь задрапированный во что-то белое и закрытый вуалью, явился за гостями и произнес: «Следуйте за мной». Консуэло, вынужденная при репетировании этой новой сцены еще раз исполнить роль маркизафини, встала первая и в сопровождении прочих гостей поднялась по большой лестнице замка. Призрак, ведший их, открыл вверху лестницы большую дверь, и все очутились в темной, низкой старинной галерее, в конце которой мерцал какой-то слабый свет. Пришлось идти по этой галерее под звуки медленной торжественной и таинственной музыки, исполняемой якобы обитателями незримого мира.

— Господин граф, ей-богу, ни в чем нам не отказывает! — воскликнул Порпора восторженным тоном, в котором сквозила ирония. — Мы с вами слышали сегодня музыку турецкую, флотскую, музыку дикарей, китайскую, лилипутскую и вообще всякого рода диковинную музыку, но эта так превзошла их, что действительно можно назвать ее музыкой с того света!

— И вы еще не все слышали! — воскликнул граф, в восторге от этого комплимента.

— Всего можно ждать от вашего сиятельства! — сказал барон так же иронически, как и профессор. — Но после этого уж, по правде сказать, не знаю, куда и идти дальше!

В конце галереи призрак ударил по инструменту, напоминавшему восточный там-там и издававший какой-то заунывный звук, после чего большой занавес, раздвинувшись, обнаружил зрительный зал, разукрашенный и иллюминированный так, как ему надлежало быть на следующий день. Не стану его описывать, хотя тут и было бы уместно сказать: «Сколько фестонов, сколько отделки!»

Занавес поднялся. Сцена изображала ни более ни менее как Олимп. Богини одна у другой оспаривали сердце Париса, и состязание трех главных из них составляло все содержание пьесы. Она была написана по-итальянски, что заставило Порпора шепотом сказать Консуэло:

— Язык дикарей, китайский, лилипутский — все это было ничто по сравнению с этой галиматьей.

И стихи, и музыка были сфабрикованы графом. Актеры и актрисы стояли своих ролей. После получаса метафор и риторических фигур по поводу отсутствия богини, более очаровательной и более могущественной, чем все другие, но не удостоившей принять участие в состязании красоты, Парис наконец решается дать восторжествовать Венере, а та, взяв яблоко и спустившись со сцены по ступенькам, кладет это яблоко у ног маркграфини, признавая себя недостойной обладать им и принося извинения в том, что осмелилась в присутствии ее сиятельства даже домогаться его.

Венеру должна была изображать Консуэло, а так как эта роль была самая главная и в конце надо было спеть очень эффектную каватину, то граф Годиц, не имея возможности поручить ее на репетиции какой-либо из своих корифеек, решил сам провести ее, отчасти чтоб не провалить репетиции, отчасти же чтобы Консуэло вникла в дух, тонкость и красоту роли. Он был до того комичен, изображая всерьез Венеру, и так напыщенно распевал пошлости, которые надергал из дрянных модных опер и, по его мнению, переделал в партитуру, что все не могли удержаться от смеха. А он слишком был захвачен муштровкой своей труппы, слишком воодушевлен восхитительной выразительностью своей игры, чтобы заметить веселое настроение слушателей. Ему неистово аплодировали, а Порпора, дирижировавший оркестром, затыкая втихомолку себе от времени до времени уши, объявил, что все чудесно — и либретто, и партитура, и голоса, и музыканты, а превыше всего — подставная Венера.

Решили, что Консуэло сегодня же вечером и завтра утром прочтет вместе с учителем этот шедевр. Он был не длинен и не труден для изучения, и оба они были уверены, что завтра вечером будут на такой же высоте, как пьеса и труппа. Все прошли затем в бальный зал, который не был еще готов, так как танцы назначены были только на послезавтра, а празднества должны были продолжаться целых два дня и состоять из непрерывного ряда разнообразных увеселений.

Пробило десять часов вечера. Небо было ясно. Великолепно светила луна. Оба прусских офицера настаивали на том, чтобы еще сегодня перебраться через границу, ссылаясь на высочайший приказ, не позволявший им ночевать в чужой стране. И графу пришлось уступить; отдав приказание седлать лошадей, он увел своих гостей распить прощальный кубок, то есть выпить кофе и отведать прекрасных настоек в изящном будуаре, куда Консуэло не сочла удобным с ними идти. Она простилась со всеми и, тихонько посоветовав Порпора быть осторожнее, чем за ужином, направилась в свою комнату, находившуюся в другой части замка.

Но вскоре она заблудилась в закоулках этого большого лабиринта и очутилась в какой-то молельне, где сквозной ветер задул ее свечу. Боясь еще больше заплутать и провалиться в какую-нибудь западню с «сюрпризами», которыми изобилдовал этот замок, она решила ощупью идти назад, пока не доберется до освещенной части здания. Среди суматохи, вызванной приготовлениями к такой массе бессмысленных затей, в этом богатейшем доме очень мало заботились о необходимом комфорте. Здесь были дикари, призраки, небожители, пустынные, нимфы, боги веселья и игр, но ни одного слуги, который бы подал вам свечу, ни единого здравомыслящего существа, к которому можно было бы обратиться за справкой.

Тут ей послышалось, что кто-то идет, пробираясь осторожно, как бы желая незамеченным проскользнуть в темноте. Все это показалось ей подозрительным, и она не решилась ни окликнуть идущего, ни назвать себя, тем более, что, судя по тяжелым шагам и дыханию, это был мужчина. Она подвигалась дальше вдоль стены, несколько встревоженная, как вдруг услышала недалеко от себя звук отворяемой двери, и лунный свет, проникнув в галерею, упал на высокую фигуру и блестящий костюм Карла. Сейчас же она окликнула его.

— Это вы, синьора? — проговорил он изменившимся голосом. — Ах! Вот сколько часов я ищу случая поговорить с вами минутку, да теперь, пожалуй, что и опоздал!

— Что тебе надо сказать мне, милый Карл, и почему ты так взволнован?

— Выйдем из этого коридора, синьора, я поговорю с вами в совершенно уединенном месте, где, надеюсь, никто нас не услышит.

Консуэло пошла вслед за Карлом и очутилась на открытом воздухе, на террасе, которая венчала башенку, прилепившуюся к стене замка.

— Синьора, — с опаской поглядывая по сторонам, заговорил дезертир, приехавший этим утром впервые в Росвальд и не лучше Консуэло знавший местных людей, — вы ничего не говорили сегодня такого, что могло бы навлечь на вас неудовольствие прусского короля и пробудить в нем недоверие, в чем вам пришлось бы в Берлине раскаиваться, если б король узнал обо всем досконально?

— Нет, Карл, ничего подобного я не говорила. Я знаю, что всякий незнакомый пруссак — опасный собеседник, и, что касается меня, я взвешивала каждое свое слово.

— Ах! Как порадовали вы меня этим ответом, — я так беспокоился! Два-три раза подходил я к вам на корабле, когда вы катались по озеру. Я был одним из тех пиратов, которые делали вид, что идут на abordаж, но выраженного вы меня не узнали. Сколько ни смотрел я на вас, сколько ни делал знаков, вы ни на что не обратили внимания, и мне не удалось перемолвиться с вами хотя бы единым словом. Этот офицер был постоянно возле вас. Все время, пока вы плавали по озеру, он ни на шаг не отходил. Он словно догадывался о том, что вы служите для него как бы щитом, и он прятался за вас на тот случай, если б какая-нибудь шальная пуля таилась в одном из наших безвредных ружей.

— Что хочешь ты этим сказать, Карл? Не понимаю тебя! Кто этот офицер? Я его не знаю.

— Мне незачем говорить вам это: скоро вы сами узнаете, раз едете в Берлин.

— Но зачем же теперь делать из этого тайну?

— Да затем, что это ужасная тайна, и мне нужно еще в течение часа не выдавать ее.

— У тебя какой-то особенно взволнованный вид, Карл. Что с тобой происходит?

— О! Нечто огромное! У меня в сердце ад!

— Ад? У тебя словно какие-то злые намерения?

— Быть может!

— В таком случае, я хочу, чтобы ты высказался, Карл. Ты не имеешь права скрывать что-либо от меня! Ты ведь обещал мне быть беззаветно преданным и покорным.

— Ах! Синьора! Что вы сказали! Да, это правда, я обязан вам больше чем жизнью, ибо вы сделали все, чтобы сохранить мне жену и дочку, но они были обречены, они погибли... И нужно, чтобы смерть их была отомщена!

— Карл! Именем твоей жены и ребенка, которые молятся о тебе на небесах, приказываю тебе говорить. Ты задумал какое-то безумное дело. Ты хочешь отомстить? Ты вне себя при виде этих пруссаков!

— Вид их доводит меня до безумия, приводит в ярость... Но нет! Я спокоен! Я истый праведник! Видите ли, синьора, Бог, а не ад толкает меня на это! Ну, близок час! Прощайте, синьора! Быть может, мы никогда больше не увидимся, так прошу вас, раз вы едете через Прагу, закажите обедню по мне в часовне святого Иоанна Непомука, одного из самых великих покровителей Богемии.

— Карл, вы скажете, вы признаетесь мне в преступных замыслах, которые терзают вас, или я никогда не буду молиться за вас и, наоборот, призову на вас проклятье вашей жены и дочери — этих ангелов, которые теперь в лоне милосердного Иисуса Христа. Как хотите вы получить прощение на небе, если вы сами не прощаете на земле? Вижу, Карл, у вас под плащом карабин, и вы здесь подкарауливаете этих пруссаков.

— Нет, не здесь, — проговорил дрожа, но несколько уже поколебленный Карл. — Я не хочу проливать кровь ни в доме своего хозяина, ни на ваших глазах, добрая моя, святая праведница, но там... Понимаете, среди гор, в долине, есть дорога, которую я уже хорошо знаю, так как был на ней, когда сегодня утром они проезжали сюда... Но там я был случайно, при мне не было оружия, да и его я не сразу узнал. Но сейчас он снова проедет по этой дороге, и там буду и я. Мигом проберусь туда парком и опережу его, хотя у него и добрый конь... И вы изволили верно сказать, синьора, карабин при мне, славный карабин, и в нем славная пуля для его сердца! Она в карабине недавно, ведь я не шутил, когда выслеживал его, переодетый пиратом. Случай этот казался мне довольно удачным, и я раз десять нацеливался в него, но вы были там, все время там, и я не выстрелил. А вот сейчас вас не будет, и он

не сможет прятаться за вашей спиной, как трус... Ведь он трус! Я-то хорошо это знаю: я видел, как однажды, во время битвы, он побледнел и повернул спину, яростно требуя, однако, от нас, чтобы мы шли против своих земляков, против своих чешских братьев! О! Какой ужас! Ведь я чех по крови, по сердцу, а это ведь не прощается! И хотя я и бедный чешский крестьянин, выучившийся в своих лесах только владеть топором, но он сделал из меня прусского солдата, и благодаря его капралам я умею метко целиться из ружья!

— Карл! Карл! Замолчите! Вы бредите. Вы не знаете этого человека, я уверена в этом. Его зовут бароном фон-Кройц. Бьюсь об заклад, что вы не знаете его имени и принимаете его за другого. Он не вербовщик и не сделал вам ничего худого.

— Это не барон фон-Кройц, нет, синьора, и я хорошо знаю его. Больше ста раз видел я его на парадах, — это великий вербовщик, это великий учитель тех, кто похищает людей, истребитель семейств, это великий бич Богемии, это мой личный враг!.. Это враг нашей церкви, нашей религии и всех наших святых! Это он осквернил своим нечестивым смехом статую святого Иоанна Непомука на Пражском мосту! Это он выкрал из пражского дворца барабан, сделанный из кожи Яна Жижки, того, который был великим воителем своего времени и чья кожа являлась как бы предостережением врагу, оплотом страны и ее честью. О нет! Я не ошибаюсь, я хорошо знаю этого человека! К тому же святой Венцеслав только что явился мне в часовне, когда я там молился. Видел я его, как вас вижу, синьора, и он сказал мне: «Это он, порази его в сердце». Я поклялся в этой святой деве на могиле своей жены, и я должен сдерживать клятву... А! Смотрите, синьора, вот и лошадь подают ему к крыльцу. Этого-то я и ждал! Иду... Молитесь за меня, ибо рано или поздно я поплачусь за это головой, но это не беда, только бы Бог помиловал мою душу!

— Карл! — воскликнула Консуэло, чувствуя в себе прилив какой-то необыкновенной силы. — Я считала тебя человеком великодушным, добрым и богобоязненным, а теперь вижу, что ты безбожник, изверг и подлец! Кто бы ни был этот человек, которого ты хочешь убить, я запрещаю тебе идти за ним и причинить ему какое бы ни было зло. Это дьявол принял облик святого с целью помутить твой разум, и Господь, в наказание за принесенную тобой святотатственную клятву на могиле твоей жены, допустил, чтобы дьявол опутал тебя своими сетями. Ты подлый, неблагодарный человек! Вот что скажу я тебе: ты не думаешь о том, что твой хозяин, граф Годиц, осыпавший тебя благодеяниями, будет обвинен за твое преступление и заплатит за него своей головой, он, такой честный, такой добрый, такой ласковый к тебе. Спрячься в какой-нибудь подвал, ибо, Карл, ты недостойн смотреть на свет Божий. Наложь на себя эпитимью за то, что у тебя могла явиться подобная мысль. Знаешь, я вижу в эту минуту подле тебя твою жену. Она плачет и старается удержать твоего ангела-хранителя, готового уступить тебя духу зла...

— Жена! Жена! — закричал растерявшийся, побежденный Карл. — Я не вижу ее! Жена! Если ты здесь, скажи мне слово, сделай так, чтобы еще раз я мог увидеть тебя, а там умереть!..





— Иду... Молитесь за меня, ибо рано или поздно  
я поплачусь за это головой, но это не беда,  
только бы Бог помиловал мою душу!

— Видеть ее ты не можешь: в сердце твоём — преступление, в глазах — ночь. Карл, стань на колени! Ты можешь еще искупить свой грех! Дай мне это ружье, оскверняющее твои руки, и молись!

С этими словами Консуэло взяла карабин, отданный ей без всякого сопротивления, и поспешно удалила его с глаз Карла, пока тот в слезах опускался на колени. Потом она ушла с террасы, чтобы поскорее запрятать куда-нибудь это оружие. Она почувствовала себя совсем разбитой от усилий, которые ей пришлось сделать, чтобы овладеть воображением этого фанатика, вызвав в нем призраки, имевшие над ним такую власть. Каждая минута была дорога; тут уж было не до внушения ему более гуманной и просвещенной философии. Она говорила ему то, что ей приходило в голову, быть может, воодушевленная чем-то, возбуждавшим симпатию к иступленному состоянию этого несчастного человека, которого она хотела во что бы то ни стало спасти от безумного поступка. Притворно браня, она в то же время жалела его за безумство, с которым он не был в силах сладить. Консуэло торопилась спрятать злополучный карабин с тем, чтобы сейчас же вернуться к Карлу и удержать его на террасе, пока пруссаки не отъедут подальше. Отворяя маленькую дверь, ведущую с террасы в коридор, она вдруг очутилась лицом к лицу с бароном фон-Кройцем. Он приходил в свою комнату за плащом и пистолетами. Консуэло успела только опустить карабин позади себя в угол, образуемый дверью, и броситься в коридор, закрыв дверь между собой и Карлом. Она испугалась, как бы вид врага снова не привел беднягу в ярость.

Стремительность движений и волнение, заставившее ее прислониться к двери, точно из боязни потерять сознание, не ускользнули от проницательных глаз фон-Кройца. Он нес свечу и, улыбаясь, остановился перед нею. Лицо барона было совершенно спокойно, однако Консуэло показалось, что рука его дрожит, вызывая этим довольно сильное колебание свечи. Позади него стоял смертельно бледный поручик с обнаженной шпагой в руке. Все это, а также и то, что окно комнаты, куда барон приходил за своими вещами, выходило, как она впоследствии убедилась, на террасу башенки, заставило Консуэло предположить, что от обоих пруссаков не ускользнуло ни единого слова из ее разговора с Карлом.

Барон поклонился ей чрезвычайно любезно, со спокойным видом, а так как она, в ужасе от своего положения, позабыла ответить на его поклон и даже лишилась сил говорить, то Кройц, взглянув на нее с выражением скорее участия, чем удивления, ласково сказал, беря ее за руку:

— Ну, дитя мое, успокойтесь! У вас очень взволнованный вид. Мы, очевидно, напугали вас своим внезапным появлением у двери, в тот момент, когда вы открыли ее. Но знаете, что мы ваши покорные слуги и друзья. Надеюсь, мы с вами увидимся еще в Берлине и, быть может, сможем быть вам в чем-либо полезны.

Барон потянул было немного к себе руку Консуэло, как бы желая в первый момент поднести ее к своим губам, но ограничился тем, что слегка пожал ее.

Он еще раз раскланялся и удалился в сопровождении младшего офицера, который, казалось, даже не видел Консуэло, до того был взволнован и вне себя. Его состояние подтвердило уверенность молодой девушки, что поручик знал об опасности, только что угрожавшей его начальнику.

Но кто же был этот человек, ответственность за жизнь которого таким тяжким бременем ложилась на другого и убить которого казалось Карлу такой высшей упоительной мстью? Консуэло вернулась на террасу, чтобы, продолжая наблюдать за Карлом, выпытать у него эту тайну. Но она застала его в обморочном состоянии и, не имея сил поднять такого колосса, спустилась позвать на помощь других слуг.

— О! Это ничего! — сказали они, направляясь к указанному ею месту, — Видно, он малость хватил сегодня вечером медовой шипучки; сейчас мы снесем его на кровать.

Консуэло хотела было пойти наверх вместе с ними. Она боялась, как бы Карл, очнувшись, не выдал себя; но ей помешал граф Годиц, проходивший мимо. Он взял ее под руку, радуясь тому, что она еще не легла спать и что он может показать ей новое зрелище. Пришлось идти за ним на крыльцо, и тут она увидела как бы в воздухе над одним из пригорков парка, именно в той стороне, куда указывал Карл как на цель своих устремлений, большую светящуюся арку, на которой смутно вырисовывались буквы из цветного стекла.

— Какая прекрасная иллюминация! — рассеянно промолвила она.

— Это тонкая любезность, скромный почтительный прощальный привет только что покинувшему нас гостю, — пояснил ей Годиц. — Он через четверть часа будет у подножья этого холма в ложине, которую нам отсюда не видно, и там, как по волшебству, над его головой засветится триумфальная арка.

— Господин граф! — воскликнула Консуэло, выйдя из своей задумчивости. — Кто это лицо, только что уехавшее отсюда?

— Вы это узнаете позднее, дитя мое.

— Если я не должна спрашивать, умолкаю, господин граф. Однако у меня есть кое-какие подозрения, что на самом деле имя его не барон фон-Кройц.

— Я ни на минуту не был одурачен, — заметил Годиц, немного прихвастнув при этом. — Тем не менее я отнесся с благоговейным уважением к его инкогнито. Я знаю, что это его мания и что он считает оскорблением, если его не принимают за того, за кого он себя выдает. Вы заметили, что я обращался с ним, как с простым офицером, а между тем...

Графу смертельно хотелось все выболтать, но светские приличия не позволили ему произнести имя, по-видимому столь священное.

Он избрал нечто среднее и, подавая Консуэло свою зрительную трубу, сказал:

— Взгляните, как удачно сделана эта импровизированная арка. До нее отсюда не меньше полумили, а я уверен, что в мою превосходную зрительную трубу вы сможете прочесть, что на ней написано. В каждой букве по двадцать футов, хотя они и кажутся вам малозаметными. Но все-таки взгляните хорошенько...

Консуэло посмотрела и свободно разобрала надпись, раскрывшую ей тайну всей комедии:

«Да здравствует Фридрих Великий!»

— Ах! Господин граф! — воскликнула она, сильно озабоченная. — Опасно подобному лицу путешествовать таким образом, да, пожалуй, еще опаснее принимать его у себя!

— Я вас не понимаю, — сказал граф, — мы живем в мирное время. Никому теперь не пришло бы в голову причинить ему какое-либо зло, и никто уже не считал бы непатриотичным почтительный прием, оказанный такому гостю.

Консуэло погрузилась в свои думы. Годиц вывел ее из этого состояния, сказав, что у него к ней нижайшая просьба. Он боится злоупотребить ее добротой, но это такое важное дело, что он все-таки принужден решиться затруднить ее. После многих разглагольствований он наконец проговорил с таинственным серьезным видом:

— Дело вот в чем: не согласились бы вы взять на себя роль призрака?

— Какого призрака? — спросила Консуэло, все мысли которой были заняты исключительно Фридрихом и событиями этого вечера.

— Призрак, который приходит во время десерта за маркиграфиней и ее гостями, чтобы провести их по галерее преисподней в театральный зал, где их должны встретить олимпийские боги. Венера на сцене появляется не сразу, и вы имели бы время сбросить за кулисами саван призрака, под которым на вас будет надет великолепный наряд матери Амура, из розового атласа, весь в обтяжку, с очень маленькими фижмами, с бантами в серебряных и золотых блестках; волосы без пудры, украшенные жемчужинами, перьями и розами, — туалет очень скромный и неподражаемый по изяществу. Увидите сами! Ну что, согласны вы изобразить призрака? Ведь тут надо выступать с большим достоинством, и к тому же ни одна из моих маленьких актрис не дерзнула бы сказать ее высочеству: «Следуйте за мной». Слова эти очень нелегко произнести, и я решил, что только гениальная личность могла бы быть тут на высоте. Что думаете вы об этом?

— Слова — чудесные, и я с огромным удовольствием беру на себя роль призрака, — смеясь, ответила Консуэло.

— Да вы просто ангел! Настоящий ангел! — воскликнул граф, целуя ей руку.

Но, увы! Этот столь долгожданный день, это празднество, это блестящее празднество, эта мечта, лелеемая графом в течение целой зимы и заставившая его для осуществления цели предпринять несколько путешествий в Моравию, — все это должно было пойти прахом, как и страстная, мрачная месть Карла... На следующий день к полудню все было готово. Росвальдский народ был вооружен. Нимфы, гении, дикари, карлики, великаны, мандарины, призраки, дрожа от холода, ждали, каждый на своем месте, момента, чтобы начать действовать. Горная дорога была очищена от снега и усыпана мхом и фиалками. Многочисленные гости, съехавшиеся из соседних замков и даже



из довольно отдаленных городов, составляли достойную свиту хозяину замка, как вдруг, увы, громовой удар опрокинул все! Гонец, прискакавший во весь опор, сообщил: «Карета маркграфини опрокинулась в ров, ее высочество при этом повредила себе два ребра и вынуждена остановиться в Ольмюце, куда ее высочество и просит графа пожаловать». Толпа рассеялась. Граф в сопровождении Карла, который уже успел прийти в себя, вскочил на лучшего своего коня и помчался, сказав предварительно несколько слов дворецкому.

«Забавы», «ручьи», «часы», «реки» снова облеклись в свои меховые сапоги и суконные кафтаны и отправились на работы по хозяйству, смешавшись как попало с «китайцами», «пиратами», «друидами» и «людоедами». Гости опять уселись в свои экипажи, и карета, в которой сюда приехал Порпора со своей ученицей, снова была предоставлена в их распоряжение.

Дворецкий, согласно полученному приказу, вручил им условленную сумму денег и настоял, чтобы они ее приняли, хотя она и была заработана ими только наполовину. В тот же день они выехали по пражской дороге. Профессор был в восторге оттого что избавился от космополитической музыки и многоязычных кантат хозяина замка, а Консуэло, поглядывая в сторону Силезии, горевала, что, уезжая в противоположную сторону от глацкого узника, не имеет ни малейшей надежды вырвать его из горестного положения.

В этот же самый день барон фон-Кройц, переночевав в деревне неподалеку от моравской границы, отправился оттуда утром в большой дорожной карете в сопровождении своих пажей, ехавших верхом, и свитского экипажа, в котором находился его чиновник и дорожная казна; приближаясь к городу Нейсу, он вступил в разговор со своим офицером, или, вернее сказать, адъютантом, бароном фон-Буденброком. Надо заметить, что, недовольный его вчерашней бестактностью, барон впервые со времени своего отъезда из Росвадьда заговорил с ним.

— А что это была за иллюминация? — начал он. — Я издали заметил ее над холмом, у подножья которого мы должны были проезжать, огибая парк этого графа Годица.

— Государь, — ответил, дрожа, Буденброк, — я не заметил иллюминации.

— Напрасно! Человек, сопровождающий меня, должен все видеть.

— Ваше величество должны простить меня, имея в виду смятение, в которое повергло меня намерение этого злодея...

— Вы не знаете, что говорите! Этот человек — фанатик, несчастный католический ханжа, ожесточенный проповедями, которые богемские священники произносили против меня во время войны; окончательно же вывело его из себя какое-то, по-видимому, личное горе. Вероятно, это крестьянин, увезенный в мою армию, один из тех дезертиров, которых мы иногда вылавливали, несмотря на принятые ими предосторожности...

— Ваше величество, можете быть уверены, что завтра же этот злодей будет снова захвачен.

— Вы отдали уже приказание, чтоб его выкрали у графа Годица?



— Пока еще нет, государь, но как только приеду в Нейс, сейчас же пошлю за ним четырех людей, очень ловких и очень решительных...

— Запрещаю вам; напротив, вы соберете сведения об этом человеке, и если действительно его семья стала жертвой войны, как это можно было понять из его бессвязных речей, то вы позаботитесь о выдаче ему тысячи талеров и сообщите силезским вербовщикам, чтобы те навсегда оставили его в покое. Слышите? Его зовут Карлом, он очень высокого роста, чех и в услужении у графа Годица. Всех этих данных совершенно достаточно, чтобы легко разыскать его, узнать его фамилию и его положение.

— Слушаю, ваше величество.

— Надеюсь! А какого вы мнения об этом профессоре музыки?

— На меня он произвел впечатление дурака, человека самонадеянного, с очень неприятным характером.

— А я вам говорю, что это человек выдающийся в области своего искусства, чрезвычайно умный и одаренный занятой иронией. Когда он достигнет вместе со своей ученицей прусской границы, вы вышлете ему хороший экипаж.

— Слушаю, ваше величество.

— И пусть он сядет в него один. Вы слышите? Один. И это должно быть предложено ему очень почтительно.

— Слушаю, ваше величество.

— А дальше...

— А дальше вашему величеству угодно, чтоб его доставили в Берлин?

— Вы сегодня просто рехнулись! Я хочу, чтоб его доставили в Дрезден, а оттуда в Прагу, пожелай он этого, и даже в Вену, если таковы его намерения; и все это за мой счет. Раз я отвлек такого уважаемого человека от занятий, я обязан доставить его туда, откуда взял, не вводя ни в какие издержки. Но я желаю, чтоб ноги его не было в моих владениях: он слишком умен для нас.

— Какие же будут приказания вашего величества относительно певицы?

— Ее отвезут под конвоем, захочет она этого или нет, в Сан-Суси и отведут ей помещение в замке.

— В замке, государь?

— Что вы? Оглохли, что ли? В квартире Барберини.

— А с Барберини, государь, как же мы поступим?

— Барберини уже нет в Берлине. Она уехала. Вы этого разве не знали?

— Не знал, государь.

— Что же вы наконец знаете? И как только эта девица приедет, сейчас же доложите мне об этом, в какой бы час дня или ночи это ни было. Вы меня поняли? Вот первые приказы, которые вы велите вписать в реестр за №1 заведующему моей дорожной казной: удовлетворение Карла, отправка обратно Порпора, передача Порпорине всех почестей и доходов Барберини. Ну, вот мы и у городских ворот! Развеселись-ка, Буденброк, и постарайся быть чуточку менее глупым, когда мне снова вздумается попутешествовать инкогнито с тобой!

## СІІІ

Порпора и Консуэло прибыли в Прагу с наступлением темноты. Стояла довольно холодная погода. Луна заливала своим светом этот старинный город, сохранивший религиозный и воинственный характер своего прошлого. Наши путешественники въехали через так называемые Росторские ворота и, проехав часть города, расположенную на правом берегу Молдавы, благополучно добрались до середины моста. Тут карету сильно трянуло, и она сразу остановилась.

— Господи Иисусе Христе! — воскликнул ямщик. — Вот тебе и на! Нужно же было лошади упасть перед статуей! Плохая примета! Да поможет нам святой Иоанн Непомук!

Консуэло, видя, что лошадь запуталась в постромках и кучеру придется немало времени провозиться над тем, чтобы поднять ее и привести в порядок сбрую, у которой лопнуло несколько ремней, предложила своему учителю выйти из экипажа и размять ноги, чтобы согреться. Порпора согласился, и Консуэло подошла к перилам моста, желая ознакомиться с окружающей местностью. С этого пункта два разных города, составляющих Прагу, — один, называемый новым, построенный в 1348 году Карлом IV, а другой, основание которого относится к глубочайшей древности, оба расположенные амфитеатром, — казались двумя черными каменными горами, над которыми там и сям, на более возвышенных местах, поднимались стройные шпили старинных зданий и мрачные зубцы укреплений. Молдава, темная и быстро-текущая, устремлялась под мост очень строгого стиля, бывший местом действия стольких трагических событий в истории Богемии, а луна, испещряя воды Молдавы бледными бликами, убеляла также голову чтимой статуи Непомука. Консуэло стала всматриваться в лицо святого ученого, взиравшего, казалось, с грустью на волны. Легенда о святом Непомукѣ прекрасна, а имя его уважаемо каждым, кто ценит независимость и верность. Исповедник императрицы Иоанны, он отказался выдать тайну ее исповеди, и пьяница Венцеслав, желавший знать помыслы своей жены, будучи не в силах что-либо вырвать у знаменитого ученого, приказал утопить его под Пражским мостом. Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелось над едва закрывшейся пучиной, словно мученик еще с минуту предоставил своему венцу носиться по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд были вделаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.

Мать Консуэло, Росмунда, будучи очень набожной, всегда с нежностью вспоминала легенду об Иоанне Непомукѣ и в числе тех святых, имена которых она каждый вечер заставляла произносить своего ребенка чистыми устами, никогда

не забывала этого главного покровителя путешественников, людей, подвергающихся опасности, и сверх того «защитника доброго имени». Подобно тому, как бедняки мечтают о богатстве, идеалом «цыганки» на старости лет стало доброе имя — сокровище, о котором она отнюдь не помышляла в свои юные годы. Благодаря такой перемене Консуэло была воспитана в принципах чрезвычайной чистоты. И в эту минуту она вспомнила молитву, с которой когда-то обращалась к этому апостолу чести, и, взволнованная видом мест, свидетелей его трагического конца, она инстинктивно опустилась на колени среди богомольцев, которые в те времена днем и ночью, не переставая, склонялись у изображения святого. Тут были женщины, паломники, старики, нищие, быть может, несколько цыган, гитаристов и завсегдатаев больших дорог. Однако набожность этих паломников не поглощала их настолько, чтобы помешать им протянуть руку Консуэло. Она щедро раздала им милостыню, с радостью вспоминая те времена, когда сама не была ни лучше обута, ни более горда, чем все эти люди. Щедрость ее растрогала паломников, и они, потихоньку посоветовавшись между собой, поручили одному из своей среды сказать ей, что они сейчас споют один из древних церковных гимнов блаженному Непомуку, дабы святитель отклонил плохое предзнаменование, из-за которого ей пришлось сделать остановку на мосту. Они уверяли, что музыка и латинские слова этого гимна относятся ко времени Венцеслава Пьяного.

Suscipe quas dedimus, Johannes beate,  
Tibi preces supplices, noster advocate:  
Fieri, dum vivimus, ne sinas infames  
Et nostros post obitum cœlis infer manes.<sup>1</sup>

Порпора, с интересом слушавший их, решил, что этому гимну не больше ста лет; но другой гимн, исполненный ими, показался ему проклятием, призываемым на голову Венцеслава его современниками, и начинался он так:

Saevus, piger imperator,  
Malorum clarus patrator, etc.<sup>2</sup>

Хотя преступления Венцеслава и не были современными событиями, казалось, что бедные чехи находят неиссякаемое удовольствие, проклиная в лице этого тирана ненавистный титул «императора», сделавшийся для них символом чужеземного. Австрийские часовые охраняли ворота, нахо-

<sup>1</sup> Нашим молитвам внимли, Иоанн преподобный!  
Ты наш заступник святой, и к тебе мы взываем:  
Да не впадем мы во грех, на земле пребывая!  
К праведным нас сопричти после тихой кончины (лат.)

<sup>2</sup> Злой, ленивый император,  
Преступлений всех диктатор и т. д. (лат.)

дившиеся по обоим концам моста. Им было приказано непрестанно ходить от ворот к середине моста. Тут они сходились у статуи святого, поворачивались друг к другу спиной и продолжали свою невозмутимую прогулку. Они слышали гимны, но так как не были настолько сведущи в церковной латыни, как пражские богомольцы, то и полагали, конечно, что слушают славословия Францу Лотарингскому, супругу Марии-Терезии.

Эти наивные песнопения при лунном свете, среди красивейших в мире видов, навевали грусть на Консуэло. Ее путешествие до сих пор было удачное, веселое, и эта внезапная грусть являлась как бы естественной реакцией. Кучер, приводивший в порядок свой экипаж с чисто немецкой медлительностью, при каждом выражении неудовольствия не переставал повторять: «Вот так плохая примета!» — и это, в конце концов, не могло не подействовать на воображение Консуэло. А всякое тяжелое настроение, всякая продолжительная задумчивость натакивали ее на мысль об Альберте. Тут ей припомнилось, как он однажды вечером, услышав, что канонисса в своей молитве громко зывает к святому Непомуку, охранителю доброго имени, заметил: «Хорошо вам, тетя, молиться ему, когда вы имели предосторожность обеспечить примерной жизнью свое доброе имя; но не раз мне приходилось слышать, как запятнанные пороками души призывали чудодейственную помощь этого святого для того только, чтобы скрыть от людей свои беззакония. Вот таким образом ваши религиозные обряды столь же часто служат прикрытием грубого лицемерия, сколь и защитой невинности». В этот миг ей почудилось, что в вечернем ветерке и в мрачных волнах Молдавы она слышит голос Альберта. Консуэло спросила себя, что подумал бы о ней Альберт, который, пожалуй, счел бы ее безнравственной, если б увидел сейчас расprostертой перед этой католической статуей, и она, словно испугавшись, поднялась с колен. Как раз в этот момент Порпора сказал ей:

— Ну, садимся в карету, — все уже в порядке.

Она пошла за ним и собиралась уже сесть в экипаж, когда тяжеловесный всадник, сидевший на еще более тяжеловесной лошади, вдруг остановил коня, слез с него и, подойдя к Консуэло, стал разглядывать ее с невозмутимым любопытством, показавшимся ей весьма дерзким.

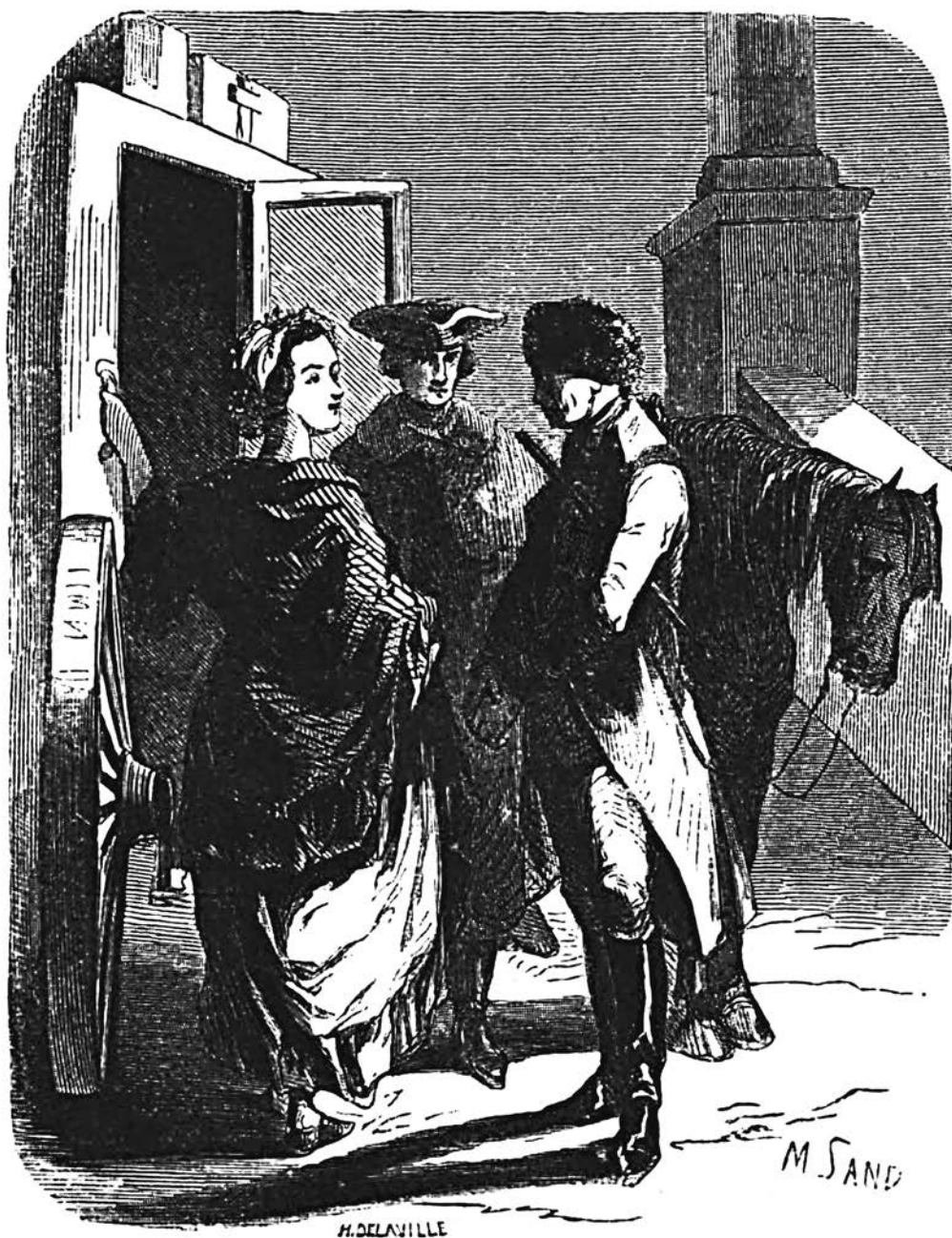
— Что вам нужно, сударь? — сказал Порпора, отталкивая его. — На дам так не смотрят. Быть может, это и принято в Праге, но я не намерен подчиняться вашему обычаю.

Толстяк, высвободив подбородок из своих мехов и продолжая держать лошадь под уздцы, ответил Порпора по-чешски, не замечая, что тот совершенно его не понимает. Но Консуэло, пораженная звуком голоса этого человека, наклонилась, чтобы при свете луны рассмотреть черты его лица, и вдруг закричала, бросаясь между ним и Порпора:

— Вы ли это, господин барон фон-Рудольштадт?

— Да, это я, синьора, — ответил барон Фридрих, — я, брат Христиана и дядя Альберта. Я самый! А это действительно вы! — проговорил он, тяжело вздыхая.





— Да, это я, синьора, — ответил барон Фридрих, —  
я, брат Христиана и дядя Альберта. Я самый!  
А это действительно вы!



Консуэло была поражена его печальным видом и холодностью, проявленной при встрече с ней. Он, который всегда был так рыцарски любезен с ней, не поцеловал ей руки и даже не подумал прикоснуться к своей меховой шапке, чтобы приветствовать ее, а довольствовался только тем, что, глядя на нее с растерянным видом, все повторял: «Да, это вы, действительно вы».

— Скажите мне, что делается в Ризенбурге? — с волнением спросила Консуэло.

— Расскажу, синьора, жду не дождусь обо всем рассказать вам.

— Так говорите же, господин барон! Расскажите мне о графе Христиане, о госпоже канониссе, о...

— Да, да, я расскажу о них, — ответил Фридрих, теряясь всё больше и больше и как будто совсем ошалев.

— А граф Альберт? — снова спросила Консуэло, испуганная его поведением и растерянным видом.

— Да! Да! Альберт, увы! Да! — бормотал барон. — Сейчас расскажу вам о нем...

Но он так ничего о нем и не сказал и, несмотря на все расспросы девушки, был почти столь же нем, как статуя Непомука.

Порпора начинал терять терпение. Маэстро прозяб и жаждал поскорее добраться до хорошего убежища. К тому же он был немало раздосадован этой встречей, которая могла произвести сильное впечатление на Консуэло.

— Господин барон, — обратился он к нему, — мы завтра засвидетельствуем вам свое почтение, а теперь разрешите нам отправиться поужинать и обогреться... Мы нуждаемся в этом больше, чем в приветствиях, — прибавил старик сквозь зубы, влезая в карету, куда он уже втолкнул Консуэло против ее воли.

— Но, друг мой, — проговорила она, волнуясь, — дайте мне узнать...

— Оставьте меня в покое! — грубо оборвал он ее. — Этот человек — идиот, если только он не мертвецки пьян, и, проводи мы на мосту хоть целую ночь, он не был бы способен родить ни одного разумного слова.

Консуэло была в страшной тревоге.

— Вы безжалостны, — сказала она ему в то время, как карета съезжала с моста в старый город. — Еще миг, и я узнала бы то, что интересует меня больше всего на свете...

— Вот как! Так, значит, все по-прежнему, — сердито проговорил маэстро. — Этот Альберт так и будет вечно торчать у тебя в голове! Хорошенькую, нечего сказать, заполучила бы ты семейку, такую веселенькую, такую благовоспитанную, судя по этому дуралею, у которого шапка, по-видимому, припечатана к голове, ибо он, увидав тебя, даже не удостоил чести приподнять ее.

— Это — семья, о которой вы еще недавно были такого высокого мнения, что бросили меня туда, как в спасительную гавань, наказывая как можно больше уважать и любить всех ее членов.

— Что касается последней части моего наказа, ты, как я вижу, даже слишком хорошо его выполнила...

Консуэло собиралась было возразить, но успокоилась, заметив барона Фридриха верхом, решившего, видимо, сопровождать их. Когда она выходила из кареты, то у подножки встретила старого барона, который, протягивая ей руку, любезно просил ее принять его гостеприимство, ибо он приказал кучеру везти их не на постоянный двор, а к себе в дом. Напрасно пытался Порпора отказаться от его гостеприимства: барон настаивал, а Консуэло, сгоравшая от нетерпения выяснить свои тревожные опасения, поспешила согласиться и войти с хозяином в зал, где их ждал жарко натопленный камин и хороший ужин.

— Как видите, синьора, — обратился к ней барон, указывая на три прибора, — я на вас рассчитывал.

— Это очень удивляет меня, — ответила Консуэло, — никому здесь мы не сообщали о нашем приезде, да и сами мы два дня тому назад думали быть тут не раньше, чем послезавтра.

— Все это удивляет вас не меньше, чем меня, — уныло промолвил барон.

— А баронесса Амелия? — спросила Консуэло, смущенная тем, что до сих пор не подумала о своей бывшей ученице. Лицо барона затуманилось, и его румяные щеки, несколько посиневшие от холода, стали вдруг такими бледными, что Консуэло пришла в ужас. Но он довольно спокойно ответил:

— Дочь моя в Саксонии, у одной из наших родственниц. Она будет очень сожалеть, что не видела вас.

— А другие члены вашей семьи, господин барон, — продолжала спрашивать Консуэло, — не могла б я узнать?..

— Да вы все узнаете... — перебил ее Фридрих. — Все узнаете... Кушайте, синьора, вы, конечно, нуждаетесь в этом.

— Я не в состоянии есть, пока вы не успокоите меня. Господин барон, ради Бога, скажите мне, не оплакиваете ли вы утрату кого-нибудь из своих близких?

— Никто не умер, — ответил барон таким унылым тоном, словно сообщал ей о том, что вымер весь их род.

И он принялся разрезать мясо с такой же медлительной торжественностью, с какой продельывал это в Ризенбурге. У Консуэло не хватало больше мужества задавать ему вопросы. Ужин показался ей смертельно длинным. Порпора, более голодный, чем встревоженный, силился поддерживать разговор с хозяином дома, а тот также старался отвечать ему любезно и даже расспрашивал о его делах и планах. Но это, очевидно, было не под силу барону. То и дело он отвечал невпопад или снова спрашивал о том, на что только что получил ответ. Он все нарезал себе громадные куски, заставляя доверху наполнять свою тарелку и стакан, но делал это только по привычке. Он не ел и не пил и, уронив вилку на пол и уставив глаза в скатерть, находился в каком-то ужасном изнеможении. Консуэло наблюдала за ним и прекрасно

видела, что он не пьян. Она спрашивала себя, что могло вызвать эту внезапную расслабленность — несчастья, болезнь или старость?

Наконец, после двух часов такой пытки, барон, видя, что ужин закончен, сделал знак слугам удалиться, а сам, долго, с растерянным видом, порывшись в своих карманах, наконец извлек оттуда распечатанное письмо и подал его Консуэло. Оно было от канониссы и такого содержания:

«Мы погибли, брат! Больше нет никакой надежды. Доктор Сюпервиль, наконец, приехал из Байрейта. Несколько дней он щадил нас, а затем объявил мне, что нужно привести в порядок семейные дела, так как, быть может, через неделю Альберта уже не будет в живых. Христиан, которому я не решилась сообщить этот приговор, еще надеется, хотя и слабо; упадок его духа приводит меня в ужас, и я далеко не уверена, что смерть племянника — единственный грозящий мне удар. Фридрих, мы погибли! Переживем ли мы вдвоем такие бедствия? Относительно себя я ничего не могу сказать. Да будет воля Божия, но я не чувствую в себе сил устоять под этим ударом. Приезжайте, братец, и постарайтесь привезти нам с собой мужества, если оно еще могло сохраниться в вас после вашего личного горя, горя, которое мы считаем своим и которое довершает несчастья нашей словно проклятой семьи. Какие же совершили мы преступления, чтобы заслужить такую кару? Избави меня Бог от потери веры и покорности воле его, но, право же, бывают минуты, когда я говорю себе: «Это уж слишком!»»

Приезжайте же, братец, мы ждем вас, — вы нам нужны. И тем не менее не покидайте Праги до одиннадцатого. У меня к вам странное поручение. Мне кажется, что, поддаваясь этому, я схожу с ума. Но я уже перестала понимать то, что у нас творится, и слепо подчиняюсь требованиям Альберта. Одиннадцатого текущего месяца, в семь часов вечера, будьте на Пражском мосту у подножия статуи. Первую проезжающую карету вы остановите, первое лицо, которое вы увидите в ней, вы привезете к себе, и если оно сможет в тот же вечер выехать в Ризенбург, Альберт, быть может, еще будет спасен. Во всяком случае он уверяет, что ему снова откроется жизнь вечная. Я не знаю, что он понимает под этим. Но откровения, бывшие у него на этой неделе о самых непредвиденных для нас всех событиях, сбылись таким непостижимым образом, что я больше не могу сомневаться: у него либо дар пророка, либо он — ясновидящий. Сегодня вечером Альберт призвал меня и своим угасшим голосом, позволяющим теперь скорее угадывать, нежели слышать то, что он говорит, поручил мне передать вам слова, которые я в точности и сообщаю. Будьте же одиннадцатого числа, в семь часов, у подножия статуи и, кем бы ни оказалось лицо, которое вы найдете в карете, как можно скорее везите его сюда».

Прочитав это письмо, Консуэло, ставшая такой же бледной, как и барон, внезапно вскочила, но тотчас же снова упала на стул и с окоченевшими руками и стиснутыми зубами пробыла так несколько минут. Вскоре, однако, силы вернулись к ней, и она сказала барону, опять впадшему в какое-то оцепенение:

— Господин барон, готова ли ваша карета? Что касается меня, то я готова, — едем!

Барон машинально поднялся и вышел. У него хватило сил заранее обо всем подумать: карета была приготовлена, лошади ждали во дворе, но сам он уже скорее походил на автомат, повинующийся только действию пружины, и, не будь Консуэло, больше не подумал бы об отъезде.

Едва барон вышел из комнаты, как Порпора схватил письмо и быстро пробежал его. В свою очередь, он тоже побледнел, не смог произнести ни слова и в самом ужасном, подавленном состоянии стал расхаживать перед камином. Маэстро имел основания упрекать себя в происходящем. Правда, он этого не предвидел, но теперь говорил себе, что должен был бы это предвидеть. И терзаемый угрызениями совести, охваченный ужасом, чувствуя, что разум его озадачен удивительной силой предвидения, открывшей больному способ снова увидеть Консуэло, он думал, что ему снится странный и страшный сон...

Но так как не было человека положительнее его в некоторых отношениях и с более упорной волей, то вскоре он стал обдумывать, возможно ли осуществить только что принятое Консуэло внезапное решение и каковы будут его последствия. Старик страшно волновался, бил себя по лбу, стучал каблуками о пол, хрустел всеми суставами пальцев, вычислял, обдумывал и, наконец вооружившись мужеством и пренебрегая возможностью вспышки со стороны Консуэло, сказал своей ученице, расталкивая ее, чтобы заставить опомниться:

— Ты хочешь ехать туда, — согласен на это, но я еду с тобой. Ты желаешь видеть Альберта; быть может, этим ты нанесешь ему последний избавительный удар, но отступать немислимо, и мы отправляемся. Располагать мы можем двумя днями. Мы рассчитывали провести их в Дрездене, а теперь отдыхать там не придется. Если не будем у прусской границы восемнадцатого, мы нарушим договор. Театр открывается двадцать пятого. Если ты не окажешься в это время на месте, я принужден буду уплатить значительную неустойку. У меня нет и половины нужной суммы, а в Пруссии тот, кто не платит, идет в тюрьму. Попадаешь же туда — о тебе забывают, оставляют на десять-двадцать лет, умирай там от горя или старости, уж как тебе угодно. Вот что ждет меня, если ты забудешь, что из Ризенбурга надо выехать четырнадцатого не позднее пяти часов утра.

— Будьте спокойны, маэстро, — решительным тоном ответила Консуэло, — я уже думала обо всем этом. Только не заставляйте меня страдать в Ризенбурге, — вот все, о чем я вас прошу. Мы выедем оттуда четырнадцатого в пять часов утра.

— Поклянись в этом!

— Клянусь, — ответила она, нетерпеливо пожимая плечами. — Раз вопрос идет о вашей свободе и жизни, не понимаю, зачем вам нужна моя клятва.

Барон вернулся в эту минуту в сопровождении старого, верного и толкового слуги, который закутал его, как ребенка, в шубу и свел в карету. Они быстро добрались до Берауна<sup>1</sup> и на рассвете были уже в Пльзене.

<sup>1</sup> *Бераун* — город в Богемии, между Прагой и Пльзеном.

## CIV

От Пльзеня до Тауса, как ни спешили они, им пришлось потерять много времени из-за ужасных дорог в почти непроходимых лесах, проезд по которым был далеко не безопасен. Наконец, делая в час чуть ли не по одной миле, добрались они к полуночи до Замка Великанов. Никогда еще Консуэло не приходилось так утомительно, так уныло путешествовать. Барон фон-Рудольштадт, казалось, был близок к параличу, до того он впал в какое-то безразличное и неподвижное состояние. Не прошло и года с тех пор, как Консуэло видела его здоровым атлетом; но это железное тело не было одушевлено сильной волей. Он всю жизнь повиновался только своим инстинктам, и первый же удар неожиданного несчастья сокрушил его. Жалость, возбуждаемая им в Консуэло, еще больше усиливала ее тревогу. «Неужели в таком же состоянии найду я всех обитателей Ризенбурга?» — думалось ей.

Подъемный мост был опущен, решетчатые ворота стояли открытыми настежь, слуги ожидали во дворе с горящими факелами. Никто из трех путешественников не обратил на все это ни малейшего внимания. Ни у одного из них не хватило духу обратиться с вопросом к слугам. Порпора, видя, что барон едва волочит ноги, повел его под руку, а Консуэло бросилась к крыльцу и быстро стала подниматься по ступеням.

Тут она встретилась с канониссой, которая, не теряя времени на приветствия, схватила ее за руку со словами:

— Идите: время не терпит! Альберт ждет не дождется. Он точно высчитал часы и минуты, объявил, что вы въезжаете во двор, и через какую-нибудь секунду мы услышали стук колес вашей кареты. Он не сомневался в вашем приезде, но говорил, что если случайно что-либо задержит вас в пути, будет уже поздно. Идемте же, синьора, и, ради Бога, не противоречьте ни одной из его идей, не противьтесь ни одному из его чувств. Обещайте ему все, о чем он будет просить вас, притворитесь, что любите его. Лгите, увы, если это понадобится. Альберт приговорен. Настает последний его час. Постарайтесь смягчить его агонию! Это все, о чем мы вас просим.

Говоря это, Венцеслава увлекала за собой Консуэло в большую гостиную.

— Значит, он встал? Выходит из своей комнаты? — торопливо спрашивала Консуэло.

— Он больше не встает, ибо больше не ложится, — ответила канонисса. — Вот уже месяц, как он сидит в кресле в гостиной и не хочет, чтобы его беспокоили, переноса на другое место. Доктор сказал, что не надо ему перечить в этом отношении, так как он может умереть, если его станут двигать. Синьора, мужайтесь: сейчас вы увидите страшное зрелище!



И открыв дверь гостиной, канонисса прибавила:

— Бегите к нему, не бойтесь испугать: он ждет вас и видел, как вы ехали, более чем за две мили отсюда.

Консуэло бросилась к своему бледному жениху, действительно сидевшему в кресле у камина. Это был не человек, а призрак. Лицо его, все еще прекрасное несмотря на болезненную изнуренность, приобрело неподвижность мрамора. На его губах не появилось улыбки, в глазах не засветилось радости. Доктор, который, держа его руку, считал пульс, словно в сцене «Стратоники»<sup>1</sup>, тихонько опустил ее и посмотрел на канониссу с видом, говорившим: «Слишком поздно».

Консуэло опустилась перед Альбертом на колени и глядела на него пристально и молча. Наконец ему удалось пальцем сделать знак канониссе, научившейся угадывать все его малейшие желания, и та взяла обе его руки, поднять которые у него уже не хватало сил, и положила их на плечи Консуэло, потом опустила голову девушки на его грудь. И, так как голос умирающего совсем угасал, он прошептал ей на ухо только эти два слова: «Я счастлив».

Минуты две держал он на своей груди голову любимой, прильнув губами к ее черным волосам. Затем взглянул на тетку и чуть заметным движением дал ей понять, чтобы и она и отец также поцеловали его невесту.

— О! От всей души! — воскликнула канонисса, горячо обнимая ее.

Затем она подняла ее и повела к графу Христиану, которого Консуэло до тех пор еще не заметила.

Старый граф, сидевший в кресле против сына у другого угла камина, казался почти таким же изнеможенным и умирающим. Однако он еще вставал и делал несколько шагов по гостиной, но нужно было каждый вечер относить его на постель, которую он велел поставить в соседней комнате. Старый Христиан в эту минуту держал в одной руке руку брата, а в другой руку Порпора. Он выпустил их и горячо несколько раз поцеловал Консуэло. Капеллан замка, желая сделать удовольствие Альберту, в свою очередь подошел поздороваться с ней. Он тоже походил на призрак и, несмотря на все увеличивающуюся полноту, был бледен, как смерть. Изнеженность беспечной жизни слишком расслабила его, сделав неспособным переносить даже чужие горести.

Канонисса была энергична за всех. Лицо ее покрылось темным румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Один Альберт казался спокойным. На лице его отражалась ясность прекрасного умирания. В его физической рассла-

<sup>1</sup> «Стратоника» — французская опера Мегюля (1763–1817), поставленная в Париже в 1792 г. и с успехом возобновленная в 1821 г. как «героическая комедия». Сюжет таков: Стратоника, дочь македонского царя Деметрия Полиокрета (из династии Антигонов) и супруга сирийского царя Селевка Никатора (IV–III в. до нашей эры), своей необычайной красотой возбудила безумную страсть своего пасынка Антиоха Сотера, хранящего ее втайне, но погибающего от любви. Врач угадывает эту тайну, ощупывая пульс больного в тот момент, когда Стратоника проходит мимо, а Антиох старается не глядеть на нее. Великодушный отец, дабы спасти жизнь сына, уступает ему Стратонику.

бленности не было ничего, что говорило бы об упадке духовных сил. Он был сосредоточен, но не подавлен, как его отец и дядя.

Среди всех этих людей, сокрушенных болезнью или горем, спокойствие и здоровье доктора особенно ярко выделялись. Сюпервиль был француз, когда-то состоявший врачом при Фридрихе, в то время еще наследнике престола. Предугадав, одним из первых, деспотический и недоверчивый нрав наследного принца, он перебрался в Байрейт и поступил на службу к маркграфине Софии-Вильгельмине Прусской, сестре Фридриха. Честолюбивый и завистливый, Сюпервиль обладал всеми качествами царедворца. Посредственный доктор, несмотря на известность, приобретенную им при этом маленьком дворе, он был светский человек, проницательный наблюдатель, довольно хорошо разбиравшийся в нравственных причинах болезней. Поэтому-то он усиленно уговаривал канониссу выполнять все желания племянника и возлагал некоторые надежды на возвращение той, из-за которой умирал Альберт. Но как ни старался он с момента появления Консуэло прислушиваться к пульсу больного и присматриваться к его лицу, он мог только повторять себе, что момент упущен, и уже стал подумывать об отъезде, чтобы не быть свидетелем сцен отчаяния, отвратить которые было не в его силах.

Доктор решил, однако, вмешаться в деловые интересы этого семейства — не то из-за выгоды, не то по врожденной любви к интригам. Заметив, что никто из членов растерявшейся семьи не думает использовать момента он подвел Консуэло к окну и по-французски сказал ей следующее:

— Мадмуазель, доктор — тот же исповедник. И я очень скоро узнал тайну страсти, ведущей в могилу этого молодого человека. Как врач, привыкший смотреть в глубь вещей и не особенно доверять отклонениям от законов физического мира, признаюсь, я не могу верить в странные видения и истступленные откровения молодого графа. По крайней мере, поскольку это касается вас, я просто объясняю себе это тем, что у него была с вами тайная переписка, из которой он знал о вашем путешествии в Прагу и вашем скором приезде сюда.

И видя, что Консуэло сделала знак отрицания, он продолжал:

— Я, мадмуазель, не задаю вам никаких вопросов, и в моих предположениях нет ничего обидного для вас. А вам бы лучше довериться мне и видеть во мне человека, преданного вашим интересам.

— Я не понимаю вас, сударь, — ответила Консуэло с искренностью, не разубедившей, однако, придворного медика.

— Вы сейчас поймете меня, мадмуазель, — хладнокровно проговорил он. — Семья молодого графа до сегодняшнего дня всеми силами восставала против вашего брака с ним. Но сопротивлению их пришел конец. Альберт умирает, и так как он хочет оставить вам свое состояние, они теперь не будут возражать против того, чтобы церковный обряд закрепил его навсегда за вами.

— Ах! Что мне за дело до состояния Альберта! — воскликнула пораженная Консуэло. — Что общего между этим и тем положением, в котором

я его застаю? Я, сударь, приехала сюда не делами заниматься, — я приехала, чтоб попытаться его спасти. Неужели нет никакой надежды?

— Никакой! Болезнь эта всецело мозговая, одна из тех, которые разбивают все наши предположения и не поддаются никаким усилиям науки. Месяц тому назад молодой граф после двухнедельного исчезновения, которого никто не смог мне объяснить, вернулся в свою семью, пораженный внезапной неизлечимой болезнью. Все жизненные функции у него были уже приостановлены. Вот целый месяц, как он не в состоянии проглотить никакой пищи, и это — редкое явление природы (случающееся только у душевнобольных), что он может до сих пор поддерживать себя несколькими каплями воды днем и несколькими минутами сна ночью. Вы видите его: все жизненные силы истощены в нем; максимум еще два дня, и он перестанет страдать. Запаситесь же мужеством: не теряйте головы. Я готов поддержать вас и помогу вам добиться цели.

Консуэло продолжала удивленно смотреть на доктора, когда канонисса по знаку больного прервала его и увела к Альберту.

Подозвав Сюпервиля, Альберт говорил ему на ухо дольше, чем, казалось, позволяла его слабость. Доктор краснел и бледнел. Канонисса с беспокойством наблюдала за ними, горя нетерпением узнать, о каких своих желаниях говорит ему Альберт.

— Доктор, — шептал Альберт, — все, что вы только что сказали этой молодой девушке, я слышал (Сюпервиль, говоривший на другом конце гостиной и так же тихо, как в эту минуту беседовал с ним больной, смутился, и его твердое убеждение в невозможности существования дара ясновидения было до того поколеблено, что ему стало казаться, будто он сходит с ума). — Доктор, — продолжал умирающий, — вы ничего не понимаете в этой душе и вредите моим планам, задевая ее щепетильность. Она ничего не смыслит в ваших денежных соображениях и всегда отказывалась и от моего титула и от моего состояния; любви ко мне она никогда не чувствовала. Одна жалость может заставить ее уступить. Обратитесь же к ее сердцу. Конец мой ближе, чем вы предполагаете. Не теряйте же времени. Я не смогу возродиться счастливым, если не сойду в ночь отдохновения, назвавшись ее мужем.

— Что хотите сказать вы этими последними словами? — спросил Сюпервиль, занятый в эту минуту анализом сумасшествия своего больного.

— Вам не понять их, — с усилием произнес Альберт, — а она поймет. Ограничьтесь тем, чтоб передать их ей точно.

— Послушайте, господин граф, — сказал, несколько повышая голос, Сюпервиль, — я вижу, что не смогу ясно передать ваших мыслей. Вы же говорите лучше, чем за всю последнюю неделю, и я в этом усматриваю благоприятный признак. Поговорите сами с мадмуазель. Ваше одно слово убедит ее лучше всех моих речей. Вот она подле вас, пусть займет мое место и выслушает вас.

Сюпервиль действительно уже ничего не понимал из того, что до сих пор казалось ему понятным; к тому же он считал, что достаточно сказал Консуэло,

чтобы обеспечить себе ее благодарность в случае, если она добьется состояния, и он ушел с таким напутствием от Альберта:

— Подумайте о том, что вы мне обещали. Минута настала: поговорите с моей семьей. Устройте так, чтоб они согласились и не колебались больше. Говорю вам — время не терпит...

Альберт так устал от только что сделанного им усилия, что когда Консуэло приблизилась к нему, он прислонил свой лоб ко лбу любимой и так замер, словно умирая. Его белые губы посинели, и перепуганному Порпора показалось, что он уже умер.

В это время Сюпервиль, собрав у другого конца комнаты графа Христиана, барона, канониссу и капеллана, горячо уговаривал их. Один только капеллан сделал робкое с виду возражение, говорившее, однако, об упорной настойчивости священника.

— Если ваши сиятельства потребуют, — сказал он, — я благословлю этот брак, но так как граф Альберт не причастен благодати, следовало бы, чтобы он предварительно, через покаяние и соборование, примирился с церковью.

— Соборование! Да неужели дело дошло уже до этого, Господи? — произнесла, сдерживая стон, канонисса.

— Да, дошло, — ответил Сюпервиль, который, будучи светским человеком и философом-вольтерьянцем, с презрением относился и к физиономии и к возражениям капеллана, — и бесповоротно дойдет, если господин капеллан станет настаивать на подобном условии и мучить больного мрачной обстановкой предсмертного обряда.

— А думаете ли вы, доктор, что обряд более радостный и желанный может вернуть его к жизни? — спросил граф Христиан, борясь между своим благочестием и отцовской любовью.

— Я ни за что не ручаюсь, — ответил Сюпервиль, — но смею сказать, что возлагаю на это большие надежды... Было время, когда ваше сиятельство давали свое согласие на этот брак...

— Я всегда был согласен на это, никогда не был против, — прервал его граф, намеренно повышая голос. — Это маэстро Порпора, опекун молодой девушки, написал мне, что он никогда не даст своего согласия на этот брак и что сама его воспитанница отказывается от него. Увы! это и нанесло смертельный удар моему сыну, — прибавил он, понизив голос.

— Вы слышите, что говорит отец? — прошептал Альберт на ухо Консуэло. — Но пусть угрызения совести не мучают вас. Я поверил тому, что вы покидаете меня, и поддался отчаянию, но с неделю назад ко мне вернулся разум, который они зовут безумием, и я читал в сердцах далеко от меня отстоящих, подобно тому как другие читают распечатанные письма. Одновременно я увидел прошедшее, настоящее и будущее. Я наконец узнал, Консуэло, что ты была верна своей клятве, делала все возможное, чтобы полюбить меня, и действительно любила в течение нескольких часов. Но нас обоих обманули. Прости своему учителю так же, как я прощаю ему.

Консуэло поискала глазами Порпора. Он не мог слышать слов Альберта, но смущенный тем, что сказал граф Христиан, взволнованно ходил подле камина. Она посмотрела на него с глубоким упреком, и маэстро так ясно почувствовал это, что в немой запальчивости ударил себя по лбу кулаком.

Альберт знаком показал Консуэло, чтоб она привела к нему маэстро и помогла протянуть ему руку. Порпора поднес эту ледяную руку к своим губам и зарыдал! Совесть мучила его, нашептывала, что он убил человека; но раскаяние искупило его безрассудство. Альберт опять показал знаком, что хочет слышать, какой ответ его родные дают Сюпервилю, и он расслышал их слова, хотя те говорили так тихо, что Консуэло и Порпора, стоящие подле него на коленях, не могли уловить ни единого звука.

Капеллан отбивался от едкой иронии доктора. Канонисса старалась, смешивая суеверие с терпимостью, христианское милосердие с материнской любовью, примирить с католическими догматами непримиримые идеи. Спор вертелся только вокруг формальности, а именно, капеллан не считал возможным совершать таинство брака над еретиком без того, чтобы тот, по крайней мере, не обещал немедленно принять католичество. Сюпервиль, не останавливаясь перед ложью, уверял, что граф Альберт якобы обещал ему, обвенчавшись, исповедовать любую религию. Капеллан не поддавался обману. Наконец граф Христиан, на которого нашла одна из тех минут спокойной твердости и простой человеколюбивой логики, когда он, после долгой нерешительности и инертности, всегда прекращал все домашние распри, и тут положил конец спору.

— Господин капеллан, — сказал он, — нет такого закона, который определенно запрещал бы вам венчать католичку с раскольниковиком. Церковь допускает подобные браки. Считайте же Консуэло правоверной, а сына моего еретиком и немедленно повенчайте их. Вы ведь знаете, что обручение и исповедь — только предписания и могут быть обойдены в некоторых крайних случаях. Этот брак может вызвать благоприятный поворот в состоянии здоровья Альберта, а когда он выздоровеет, мы с вами подумаем о его обращении.

Капеллан никогда не противился воле старого Христиана. В делах совести он был для него авторитетом большим, чем сам папа римский. Оставалось только убедить Консуэло. Один Альберт подумал об этом, и, притянув к себе любимую, он смог без посторонней помощи обнять ее шею своими высохшими, ставшими легкими, как тростник, руками.

— Консуэло, — прошептал он, — в эту минуту я читаю в твоей душе: ты готова отдать свою жизнь, чтобы воскресить мою. Это уже невозможно, но ты в состоянии простым усилием воли спасти меня для вечной жизни. Я ненадолго уйду от тебя, а там снова вернусь на землю путем нового рождения. И, если только теперь, в последний час, ты покинешь меня, я вернусь сюда в отчаянии, с тяготеющим надо мной проклятием. Как тебе известно, преступления Яна Жижки еще не вполне искуплены; и одна ты, сестра моя Ванда, можешь очистить меня в этой фазе моей жизни. Мы — брат и сестра, а для



того, чтобы нам стать любовниками, надо смерти еще раз пройти между нами. Но мы должны поклясться друг другу быть мужем и женой. Согласись произнести эту клятву, для того чтобы я возродился спокойным, сильным и свободным, как другие люди, от воспоминаний о моих прежних существованиях, составляющих мою пытку, мое наказание, в течение уже стольких веков. Такая клятва не свяжет тебя со мной в этой жизни, которую я покидаю через час, но она соединит нас в вечности. Это будет как бы печатью, которая поможет нам узнать друг друга, когда тень смерти ослабит ясность наших воспоминаний. Соглашайся! Будет совершен католический обряд, и я иду на это, так как он один может узаконить в представлении людей наше обладание друг другом. Мне необходимо унести в могилу эту санкцию. Брак без одобрения родителей, на мой взгляд, — брак несовершеннолетний. А сам обряд имеет мало значения для меня. Наш союз будет так же неразрывен в наших сердцах, как он священен в наших мыслях. Соглашайся же!

— Я согласна! — воскликнула Консуэло, прижимая губы к холодному, бескровному челу своего жениха.

Эти слова были услышаны всеми.

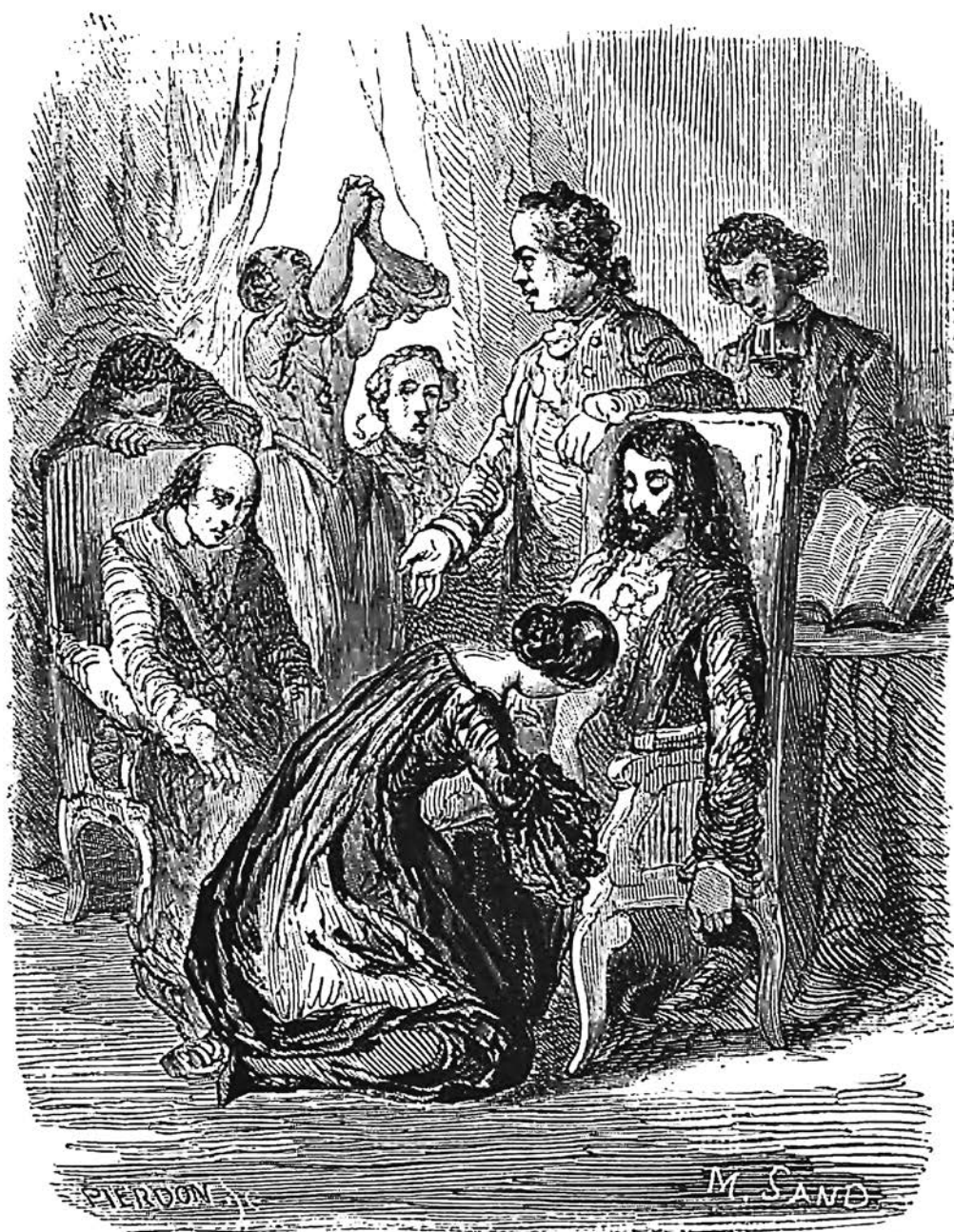
— Ну, поспешим, — сказал Сюрпервиль и решительно стал торопить капеллана, который тут же позвал слуг и немедленно принялся готовить все для совершения обряда. Граф, несколько оживившись, подошел и сел подле сына и Консуэло. Добрая канонисса пришла поблагодарить невесту за ее согласие, причем даже стала перед нею на колени и целовала ей руки. Барон Фридрих тихо плакал, казалось, не понимая даже, что происходит вокруг него.

В мгновение ока был сооружен алтарь перед камином гостиной. Слуг отпустили. Те решили, что дело идет только о соборовании и что состояние здоровья больного требует, чтобы было как можно тише и как можно больше чистого воздуха. Порпора с Сюрпервилем были свидетелями. Альберт вдруг почувствовал такой прилив сил, что смог произнести решительное «да» и брачную формулу ясным и звучным голосом. Семья стала горячо надеяться на выздоровление. Едва успел капеллан произнести над головами новобрачных последнюю молитву, как Альберт поднялся, бросился в объятия отца; так же стремительно и с необычайной силой обнял он тетку, дядю и Порпора. Затем снова опустился в кресло, прижал к своей груди Консуэло и воскликнул:

— Я спасен!

— Это последнее проявление жизненных сил, это последние предсмертные конвульсии, — сказал учителю Сюрпервиль, который несколько раз во время венчания щупал пульс умирающего и вглядывался в его лицо.

И в самом деле, руки Альберта полуоткрылись, вытянулись как-то вперед и упали на колени. Старый Цинабр, в продолжение всей болезни спавший у ног своего хозяина, поднял голову и три раза отчаянно завыл. Взгляд Альберта был устремлен на Консуэло, рот его оставался полуоткрытым как бы для того, чтобы говорить с ней; легкий румянец появился на его щеках, затем тот особый оттенок, та невыразимая, неопишуемая тень, что медленно



Безмолвие ужаса, царившее над трепещущей семьей,  
было нарушено голосом доктора, произнесшим с унылой  
торжественностью слова, на которые нет апелляции:  
— Это смерть!

сползает от лба к губам, легла на него словно белой пеленой. В течение минуты лицо его принимало различные выражения все более и более суровой сосредоточенности и покорности, пока не застыло в величавом спокойствии, строгой неподвижности.

Безмолвие ужаса, царившее над трепещущей семьей, было нарушено голосом доктора, произнесшим с унылой торжественностью слова, на которые нет апелляции:

— Это смерть!

## CV

Граф Христиан, как пораженный громом, упал в кресло, канонисса истерически зарыдала и бросилась к Альберту, точно надеясь своими ласками снова оживить его. Барон Фридрих пробормотал несколько бессвязных и бессмысленных слов, носивших характер тихого помешательства. Сюрпервиль подошел к Консуэло, напряженная неподвижность которой пугала его больше, чем проявление отчаяния других.

— Не заботьтесь обо мне, сударь, — сказала она ему. — И вы, друг мой, — убеждала она Порпора, обратившему в первую минуту все свое внимание на нее, — уведите этих несчастных родственников. Займитесь ими, думайте только о них, а я останусь здесь. Мертвым нужны только почтение и молитва.

Граф и барон дали себя увести без всякого сопротивления. Канониссу, холодную и неподвижную, как труп, унесли в ее комнату, куда за ней для оказания помощи пошел Сюрпервиль. Порпора, не зная сам, что с ним творится, спустился в сад и зашагал там, как сумасшедший. Он задыхался. Его чувствительность была как бы заключена в броню сухости, более кажущуюся, чем действительную, но уже вошедшую у него в привычку. Сцена смерти и ужаса возбуждала его впечатлительное воображение, и он долго бегал при лунном свете, преследуемый зловещими голосами, певшими над самым его ухом страшное погребальное песнопение *Dies irae*<sup>1</sup>.

Итак, Консуэло осталась одна подле Альберта, ибо не успел капеллан приступить к молитве за усопших, как свалился без чувств, и его также пришлось унести. Бедняга во время болезни Альберта упорно просиживал подле него с канониссой все ночи напролет и окончательно выбился из сил.

Графиня Рудольштадт, стоя на коленях у трупа своего мужа, держа его ледяные руки в своих, положив голову на это переставшее биться сердце, впала в глубокое духовное созерцание. То, что она чувствовала в эту прощальную минуту, не было, собственно говоря, горем. По крайней мере, оно не было той безысходной печалью, которая неизбежна при потере существ, нужных нам каждую минуту для нашего счастья. Любовь ее к Альберту не носила

<sup>1</sup> День гнева (лат.)



характера такой близости, и смерть его не создавала осязательной пустоты в ее жизни. К нашему отчаянию, при потере тех, кого мы любим, нередко тайно примешивается любовь к самому себе и малодушие перед новыми обязанностями, налагаемыми на нас их исчезновением. Отчасти это закономерно, но только отчасти, и с этим должно бороться, хотя оно и естественно. Ничто подобное не могло примешаться к торжественной печали Консуэло. Жизнь Альберта была чужда ее жизни во всех отношениях, кроме одного — он удовлетворял в ней потребность восхищения, уважения и симпатии. Она примирилась с мыслью жить без него, отрешилась от всякого проявления любви, которую еще два дня назад считала уже потерянной. В ней оставались только потребность и желание быть верной священному воспоминанию. Альберт уже раньше умер для нее, и теперь он был не более, а в некоторых отношениях, пожалуй, даже менее мертв, так как Консуэло, долго общаясь с такой необыкновенной душой, путем размышлений и мечтаний сама пришла к поэтическому верованию Альберта в переселение душ. Это верование ее, главным образом, зиждилось на отвращении, которое она питала к идее бога-мстителя, посылающего человека после смерти в ад, и на христианской вере в вечную жизнь души.

Альберт, живой, но предубежденный против нее обманчивыми внешними проявлениями, изменивший любви к ней или снедаемый подозрениями, представлялся ей точно в тумане, живущим порой жизнью, такой неполной в сравнении с той, которую он хотел посвятить возвышенной любви и непоколебимому доверию. А Альберт, в которого она снова может верить, которым может восторгаться, Альберт, умирающий на ее груди, неужели он погиб для нее? Да разве не жил он полной жизнью, проходя под этой триумфальной аркой прекрасной смерти, которая ведет или к таинственному временному отдыху, или к немедленному пробуждению в более чистом и более благоприятном окружении? Умереть, борясь со своей собственной слабостью, чтобы возродиться сильным, умереть, прощая злым, чтобы возродиться под влиянием и покровительством великодушных сердец, умереть истерзанным искренними угрызениями совести, чтобы возродиться прощенным и очищенным, с врожденными добродетелями, да разве все это не является чудесной наградой?

Консуэло, посвященная Альбертом в это учение, источником которого были гуситство старой Богемии и таинственные секты предыдущих веков (а те имели связь с серьезными толкователями мыслей самого Христа и его предшественников), Консуэло, уверенная, что душа ее супруга не сразу оторвалась от ее души, чтобы забыться в недостижимых фантастических эмпиреях, примешивала к этому новому понятию кое-какие суеверные воспоминания своего отрочества. Она верила в привидения, как верят в них дети народа. Не раз ей во сне являлся призрак матери, чтобы покровительствовать ей и охранять от опасности. Это было своего рода верование в вечный союз умерших душ с миром живых, ибо это суеверие простодушных народов, по-видимому,

существовало всегда, как протест против идеи религиозных законодателей об окончательном удалении человеческой сущности либо на небо, либо в ад.

И Консуэло, прижавшись к груди этого трупа, не представляла себе, что он мертв, и вовсе не сознавала ужаса этого слова, этого зрелища, этой идеи. Ей не верилось, чтобы духовная жизнь могла так скоро исчезнуть и чтобы этот мозг, это сердце, переставшее биться, угасли навсегда.

«Нет, — думала она, — божественная искра, быть может, еще не решается затеряться в лоне Бога, который приемлет ее для того, чтобы отослать в жизнь вселенной под новым обликом. Быть может, существует еще какая-нибудь таинственная, неведомая жизнь в этой едва остывшей груди. Да и где бы ни находилась душа Альберта, она видит, она понимает, она знает, что происходит вокруг его бранных останков. Быть может, в моей любви он ищет пищи для своей новой деятельности, в моей вере — силы, побуждающей искать в Боге стремление к воскресению».

И погруженная в эти неясные думы, она продолжала любить Альберта, открывать ему свою душу, обещать ему свою преданность, возобновлять клятву верности, только что данную ему перед Богом и его семьей; словом, она продолжала относиться к нему и мысленно и в сердце своем не как к покойнику, которого оплакивают, ибо расстаются с ним, а как к живому, чей сон охраняют до тех пор, пока не встретят с улыбкой его пробуждения.

Придя в себя, Порпора с ужасом вспомнил о том, в каком положении он оставил свою воспитанницу, и поспешил к ней. Он был удивлен, застав ее такой же спокойной, как если б она сидела у изголовья больного друга. Маэстро хотел было уговорить ее, убедить, чтоб она пошла отдохнуть.

— Не говорите ненужных слов пред этим уснувшим ангелом, — ответила она. — Идите отдохните сами, дорогой мой учитель, а я здесь отдыхаю.

— Ты, стало быть, хочешь уморить себя? — с каким-то отчаянием проговорил Порпора.

— Нет, друг мой, я буду жить, — отвечала Консуэло, — и выполняю весь свой долг и перед ним, и перед вами, но в эту ночь я не покину его ни на минуту.

Так как в доме ничего не делалось без приказа канониссы, а слуги с суеверным страхом относились к Альберту, то никто из них в течение ночи не посмел приблизиться к гостиной, где Консуэло оставалась одна с Альбертом. Порпора и доктор все время переходили из графских покоев то в комнату канониссы, то в комнату капеллана. От времени до времени они заходили осведомить Консуэло о состоянии этих несчастных и справиться относительно ее самой. Им было совершенно непонятно ее мужество.

Наконец под утро все успокоилось. Тяжелый сон одолел сильнейшую скорбь. Доктор, выбившись из сил, пошел прилечь. Порпора уснул в кресле, прислонившись головой к краю кровати графа Христиана. Одна Консуэло не чувствовала потребности забыться. Погруженная в свои думы, то усердно молясь, то восторженно мечтая, она имела только одного бессменного това-



рища в опечаленном Цинабре, который время от времени смотрел на своего хозяина, лизал его руку и, отвыкнув уже от ласки этой иссохшей руки, снова покорно укладывался, положив голову на неподвижные лапы.

Когда солнце, поднимаясь из-за деревьев сада, одарило своим пурпурным светом чело Альберта, канонисса вывела Консуэло из ее задумчивости. Граф не смог подняться с постели, но барон Фридрих пришел машинально помолиться перед алтарем с сестрой и капелланом; затем стали говорить о погребении, и канонисса, находя снова силы для этих житейских забот, велела позвать горничных и старого Ганса.

Тут доктор и Порпора потребовали, чтобы Консуэло пошла отдохнуть, и она покорилась, побывав предварительно у постели графа Христиана, который взглянул на нее, словно не замечая. Нельзя было сказать, спит он или бодрствует.

Глаза его были открыты, дышал он ровно, в лице отсутствовало всякое выражение.

Когда Консуэло, проспав несколько часов, проснулась, она спустилась в гостиную, и сердце ее страшно сжалось, когда она увидела ее опустевшей. Альберта уложили на парадные носилки и перенесли в часовню. Его пустое кресло стояло на том же месте, где Консуэло видела его накануне. Это было все, что оставалось от Альберта в этой комнате, бывшей в течение стольких горьких дней жизненным центром всей семьи. Даже и собаки его здесь не было. Весеннее солнце оживляло печальные покои, и с дерзкой веселостью свистели в саду дрозды.

Тихонько прошла Консуэло в соседнюю комнату, дверь в которую была полуоткрыта. Граф Христиан продолжал лежать, оставаясь как бы безучастным к только что понесенной утрате. Его сестра, перенесшая на него всю заботу, которую до этого уделяла Альберту, неусыпно ухаживала за ним. Барон бессмысленно смотрел на пылавшие в камине поленья; только слезы, невольно катившиеся по его щекам, которых он и не думал утирать, говорили о том, что, к несчастью, он не лишился памяти.

Консуэло подошла к канониссе, желая поцеловать ей руку, но рука эта отдернулась от нее с непреодолимым отвращением. Бедная Венцеслава видела в этой молодой девушке бич племянника, причину его гибели. Она с ужасом относилась первое время к проекту их брака и всеми силами восставала против него, а потом, увидев, что нет возможности заставить Альберта от него отказаться и что от этого зависит его здоровье, рассудок и самая жизнь, даже желала этого брака и торопила его с таким же пылом, какой вначале вносила в свой ужас и отвращение. Отказ Порпора, непобедимая страсть Консуэло к театру, которую маэстро не побоялся приписать ей, — словом, вся лстивая и пагубная ложь, которой были полны несколько его писем к графу Христиану (в них он никогда не заикнулся о написанных самою Консуэло и уничтоженных им письмах), все это сильно огорчало отца Альберта и приводило в страшное негодование канониссу. Она возненавидела и стала презирать Консуэло.

По ее словам, она могла бы простить девушке, что та свела с ума Альберта этой роковой любовью, но была не в силах примириться с ее бесстыдной изменой ему. Она не подозревала, что истинным убийцей Альберта был Порпора.

Консуэло, прекрасно понимавшая это, могла бы оправдаться, но она предпочла навлечь на себя скорее все укоры, чем обвинить своего учителя и заставить его потерять уважение и дружбу этой семьи. К тому же она догадывалась, что, если Венцеслава накануне и могла благодаря материнской любви отрешиться от злобы и отвращения к ней, все это вернулось к ней теперь, когда оказалось, что жертва была принесена напрасно. Каждый взгляд бедной тетки, казалось, говорил ей: «Ты погубила наше дитя, не сумела вернуть ему жизнь, а теперь нам остался только позор заключенного с тобой брака».

Это немое объявление войны ускорило принятое уже раньше Консуэло решение утешить, насколько возможно, канониссу в этом последнем несчастье.

— Смею ли я просить ваше сиятельство назначить мне время для разговора с вами с глазу на глаз? — покорно проговорила она. — Я должна уехать завтра до восхода солнца и не могу удалиться отсюда, не высказав вам почти-точно своих намерений.

— Ваших намерений! Впрочем, я уже догадываюсь о них, — колко заметила канонисса. — Успокойтесь, синьора, все будет в порядке, и к правам, даваемым вам законом, отнесутся с полнейшим уважением.

— Напротив, сударыня, я вижу, что вы совершенно не понимаете меня, — возразила Консуэло. — И я хочу как можно скорее...

— Ну, хорошо! Раз я должна еще испить и эту чашу, — перебила ее канонисса, поднимаясь, — пусть это будет сейчас, пока у меня на это хватает мужества. Следуйте за мной, синьора. Старший брат мой, по-видимому, дремлет. Господин Сюпервиль, который дал мне обещание еще один день поухаживать за ним, будет так добр, что на полчаса заменит меня подле него.

Она позвонила и приказала позвать доктора. Потом, обернувшись к барону, сказала:

— Братец, ваши заботы излишни, так как к Христиану до сих пор не вернулось сознание его горя. Оно, быть может, и не вернется, к счастью для него и к несчастью для нас! Возможно, что то состояние, в котором он находится, есть начало конца. У меня нет никого на свете, кроме вас, братец; позаботьтесь же о своем здоровье, и без того очень подорванном мрачным бездействием, в которое вы впали. Вы привыкли к свежему воздуху и движению — ступайте прогуляйтесь, захватите с собой ружье; доезжачий будет сопровождать вас с собаками. Я знаю прекрасно, что это не рассеет вашего горя, но, по крайней мере, принесет вам физическую пользу, уверена в этом. Сделайте это для меня, Фридрих. Это докторское предписание, это просьба вашей сестры. Не отказывайте мне! В данную минуту вы этим можете наиболее утешить меня, ибо последняя надежда моей печальной старости — это вы!

Барон поколебался, но кончил тем, что уступил. Приехавшие с ним слуги подошли к нему, и он, как ребенок, дал себя увести на воздух. Доктор

освидетельствовал графа Христиана, который словно окаменел от горя, хотя и отвечал на его вопросы и, казалось, с кротким и равнодушным видом узнавал всех.

— Жар не особенно велик, — тихо сказал Сюпервиль канониссе, — если он к вечеру не усилится, то, быть может, все и обойдется благополучно.

Несколько успокоенная, Венцеслава поручила ему наблюдать за братом, а сама увела Консуэло в обширные покои, богато убранные в старинном вкусе, где Консуэло никогда еще не бывала. Здесь стояла большая парадная кровать, занавеси которой не раздвигались более двадцати лет. На ней скончалась Ванда Прахалиц, мать графа Альберта, и покои эти были ее.

— Здесь, — торжественно проговорила канонисса, закрыв предварительно дверь, — нашли мы Альберта ровно тридцать два дня тому назад, после его исчезновения, длившегося две недели. С этой минуты он больше не входил сюда, не покидал уж того кресла, в котором вчера вечером скончался.

Сухие слова этого посмертного бюллетеня были произнесены с горечью и вонзались, как иглы, в сердце бедной Консуэло. Затем канонисса сняла с пояса неразлучную с ней связку ключей, подошла к большому шкафу резного дуба и открыла обе его дверцы. Консуэло увидела в нем целую гору драгоценностей, потускневших от времени, причудливой формы, большей частью старинных, украшенных алмазами и ценными камнями.

— Вот фамильные драгоценности, — сказала канонисса, — принадлежавшие моей невестке до ее брака с графом Христианом, затем те, что достались нам от моей бабушки и были подарены мной и братьями невестке, и наконец эти — купленные ей супругом. Все это принадлежало сыну ее Альберту, а отныне принадлежит вам как его вдове... Возьмите их и не бойтесь, чтоб кто-либо здесь стал оспаривать у вас эти драгоценности. Мы ими не дорожим. Они нам ни к чему. Что же касается документов на материнское наследство моего племянника, через час они будут в ваших руках. Все в порядке, как я вам уже сказала, а ждать документов на отцовское наследство вам, увы, быть может, недолго придется. Такова была последняя воля Альберта. Данное мною слово было равносильно в его глазах духовному завещанию.

— Сударыня, — ответила Консуэло, с отвращением захлопывая дверцы шкафа, — я порвала бы такое духовное завещание, а вас прошу взять обратно данное вами слово. Эти драгоценности нужны мне не больше, чем вам. Мне кажется, что моя жизнь была бы навек осквернена ими. Если Альберт и завещал их мне, то, конечно, думая, что я, сообразно его чувствам и привычкам, раздам их бедным. Но я не сумела бы как следует распорядиться его благородной милостыней. У меня нет ни административных способностей, ни необходимых знаний для действительно полезного распределения ее. Это вам, сударыня, у которой к этим качествам присоединяется еще христианская душа, такая же великодушная, как у Альберта, вам и надлежит употребить это наследство на дела милосердия. Уступаю вам все свои права, если таковые действительно у меня имеются, чего я не знаю и знать никогда не пожелаю. Молю вас только

об одной милости: никогда больше не оскорблять моей гордости подобными предложениями.

В лице канониссы что-то изменилось. Вынужденная уважать, но не решаясь еще восхищаться, она пробовала было настаивать.

— Что же вы думаете делать? — спросила она, пристально глядя на Консуэло. — У вас ведь нет состояния?

— Извините, сударыня, я достаточно богата: довольствуюсь малым и люблю труд.

— Так вы намерены вернуться... к тому, что вы называете своим трудом?

— Как ни убита я горем, сударыня, но вынуждена это сделать, и причины таковы, что совесть моя тут не может колебаться.

— И вы не желаете иным путем поддерживать свое новое положение в обществе?

— Какое положение, сударыня?

— То, какое приличествует вдове Альберта.

— Я никогда не забуду, сударыня, что я вдова благородного Альберта, и поведение мое всегда будет достойно супруга, которого я потеряла.

— А, однако, графиня фон-Рудольштадт снова появится на подмостках!

— Другой графини фон-Рудольштадт, кроме вас, госпожа канонисса, нет и никогда не будет, не считая еще баронессы Амелии, вашей племянницы.

— Не в насмешку ли надо мной вы заговорили о ней, синьора? — воскликнула канонисса, на которую имя Амелии подействовало, словно ожог.

— Что значит этот вопрос, сударыня? — спросила Консуэло с удивлением, в искренности которого не могла усомниться Венцеслава. — Ради Бога, скажите мне, почему я не вижу здесь молодой баронессы? Боже мой! Неужели она также скончалась?

— Нет, — с горечью сказала канонисса, — но дай Бог, чтобы это было так! Не будем больше говорить об Амелии, — речь идет не о ней.

— Однако, сударыня, я принуждена напомнить вам то, о чем не подумала раньше, а именно, что она является единственной и законной наследницей поместий и титулов вашей семьи. Вот что должно успокоить вашу совесть в вопросе о порученных вам Альбертом драгоценностях, раз закон не разрешает вам распорядиться ими в мою пользу.

— Ничто не может отнять у вас право на вдовью часть и на титул, они предоставлены вам предсмертной волей Альберта.

— Но ничто не может помешать мне и отказаться от этих прав, и я отказываюсь. Альберт прекрасно знал, что я не желаю быть ни богатой, ни графиней.

— Но общество не дает вам права от этого отказываться.

— Общество, сударыня! Ну вот, о нем именно мне и хотелось поговорить с вами. Общество не поймет ни любви Альберта, ни снисходительности его семьи к такой бедной девушке, как я. Оно ставило бы это ему в упрек и считало бы пятном в вашей жизни. А для меня это было бы источником насмешек и, быть может, даже позора, так как, повторяю, общество ничего не поймет из того,

что у нас здесь происходит. Стало быть, обществу никогда и не следует этого знать, как не знают этого и ваши слуги, ибо мой учитель и господин доктор, единственные посторонние свидетели этого тайного брака, еще не разгласили его и не разгласят. За молчание учителя я вам ручаюсь, а вы можете и должны заручиться молчанием доктора. Живите же спокойно на этот счет, сударыня! От вас будет зависеть унести эту тайну с собою в могилу, и никогда благодаря мне баронесса Амелия не заподозрит, что я имею честь быть ее кузиной. Забудьте же о последнем часе графа Альберта, — это мне надо помнить о нем, чтобы благословлять его и молчать. У вас и без того довольно причин для слез, чтобы я еще прибавляла к ним горе и унижение, напоминая вам когда-либо о своем существовании как вдова вашего чудесного племянника!

— Консуэло! Дочь моя! — воскликнула, рыдая, канонисса. — Оставайтесь с нами! У вас великая душа и великий ум! Не покидайте нас!..

— Этого жаждало бы мое всецело преданное вам сердце, — ответила Консуэло, с восторгом принимая ее ласки, — но я не смогла бы этого сделать без того, чтобы наша тайна не была обнаружена или заподозрена, что сводится к одному и тому же, а я знаю, что честь семьи вам дороже жизни. Позвольте же мне, вырвавшись немедленно и без колебаний из ваших объятий, оказать вам единственную услугу, которая в моей власти!

Слезы, пролитые канониссой в конце этой сцены, облегчили страшную тяжесть, подавлявшую ее. Это были первые ее слезы после смерти племянника. Она приняла жертву Консуэло, и доверие, с каким отнеслась к ее решениям, доказало, что она наконец оценила благородство ее характера. Венцеслава рассталась с ней, спеша поделиться всем этим с капелланом и переговорить с Порпора и Сьюпервилем о необходимости хранить вечное молчание.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Консуэло, видя себя свободной, посвятила весь день обходу замка, сада и окрестностей, чтобы еще раз увидеть места, напоминавшие ей о любви Альберта. Охваченная благоговейным порывом, она добралась до самого Шрекенштейна и присела на камень в той ужасной пустыне, где так долго смертельно страдал Альберт. Вскоре она ушла оттуда, почувствовав, что мужество покидает ее, воображение туманится и ей чудится, будто глухой стон доносится из-под скалы. Она даже не посмела признаться себе, что явственно слышит этот стон. Так как Альберт и Зденко не существовали более, такой обман слуха мог быть лишь чем-то болезненным, губительным. И Консуэло поспешила поскорее удалиться от этого места.

Приближаясь в сумерки к замку, она встретилась с бароном Фридрихом, который уже стал крепче держаться на ногах и несколько оживился, предаваясь своей главной страсти. Сопровождавшие его охотники усердно вспуги-



вали дичь, стремясь вызвать в нем желание ее подстрелить. Он все еще целился верно, добычу же свою подбирал, вздыхая.

«Этот вот будет жить и утешится», — подумала молодая вдова.

Канонисса ужинала или делала вид, что ужинает, в комнате брата. Капеллан, вставший с постели, чтоб пойти в часовню помолиться у тела покойного, попробовал было сесть за стол. Но у него был жар, и в самом начале ужина он почувствовал себя плохо. Это несколько раздосадовало доктора. Сюпервиль был голоден и, вынужденный бросить свой горячий суп и вести капеллана в его комнату, не мог удержаться, чтоб не воскликнуть:

— Бывают же такие слабые, лишенные мужества люди! Здесь только двое мужчин — канонисса и синьора!

Вскоре он вернулся, решив не принимать особенно близко к сердцу нездоровье бедного священника, и вместе с бароном воздал должное ужину. Порпора, страшно подавленный, хотя и скрывал это, не был в состоянии открыть рот ни для разговоров, ни для еды. А Консуэло думала лишь о последнем ужине за этим самым столом, когда она сидела между Альбертом и Андзолето...

Затем вместе с учителем она занялась приготовлением к отъезду. Лошади были заказаны на четыре часа утра. Порпора не хотел было ложиться, но сдался на просьбы и уговоры приемной дочери, боявшейся, что и он может захворать. Желая убедить его, Консуэло уверила, что сама также уснет.

Перед тем как разойтись по своим комнатам, они отправились к графу Христиану. Он спокойно спал, и Сюпервиль, жаждавший поскорее покинуть эту печальную обитель, уверял, что у него нет больше жара.

— Действительно ли это так, сударь? — испугавшись опрометчивости доктора и отозвав его в сторону, спросила Консуэло.

— Клянусь вам в этом, — ответил он, — на этот раз он спасен, но должен предупредить вас, что вообще он не особенно-то долго протянет. В этом возрасте не чувствуют так остро горя в первую минуту, но несколько позже тоска и одиночество его доконают, это только отсрочка. Итак, будьте насто-роже, ведь не серьезно же, в самом деде, отказались вы от своих прав?

— Очень серьезно, уверяю вас, сударь, — ответила Консуэло. — И меня очень удивляет то, что вы никак не можете поверить такой простой вещи.

— Вы разрешите мне, сударыня, сомневаться в этом до смерти вашего свекра. А пока вы сделали большую ошибку, не запасшись драгоценностями и титулом. Ну, ничего! У вас есть на это свои причины, в которые я не вхожу, но думаю, что такая уравновешенная особа, как вы, не может поступать легкомысленно. Я дал свое честное слово хранить семейную тайну и буду ждать, чтобы вы меня от него освободили. В свое время и в своем месте мои показания будут вам полезны. Можете на них рассчитывать. Вы всегда найдете меня в Байрейте, если Богу угодно будет продлить мою жизнь, и в надежде на это, графиня, целую ваши ручки.

Сюпервиль простился с канониссой, уверил, что ручается за жизнь больного, написал последний рецепт, получил крупную сумму денег, пока-

завшуся ему, однако, ничтожной по сравнению с той, которую он надеялся вытянуть у Консуэло, служа ее интересам, и в десять часов вечера покинул замок, поразив и приведя в негодование Консуэло своим материализмом.

Барон отправился спать, чувствуя себя гораздо лучше, чем накануне. Канонисса велела поставить себе кровать подле Христиана. Две горничные дежурили в этой комнате, двое слуг — у капеллана и старый Ганс — у барона.

«К счастью, нищета не прибавляет к их горю еще лишений и одиночества, — подумала Консуэло. — Но кто же будет подле Альберта в эту мрачную ночь, под сводами часовни? Я — раз это моя вторая и последняя брачная ночь!»

Она выждала, пока все стихло и опустело в замке, и когда пробило полночь, разожгла маленькую лампадку и пошла в часовню.

В конце ведущей в нее галереи она наткнулась на двух слуг замка. Сначала ее появление очень их перепугало, но затем они признались ей, почему они тут. Им велено было отдежурить свою четверть ночи у тела господина графа, но страх помешал им, и они предпочли дежурить и молиться у дверей.

— Какой страх? — спросила Консуэло, оскорбленная тем, что такой великодушный хозяин уже не возбуждает в своих слугах иного чувства, кроме ужаса.

— Что же делать, синьора, — ответил один из слуг, далекий от мысли, что перед ним вдова графа Альберта, — у нашего молодого барина были странные знакомства и сношения с миром духов. Он разговаривал с умершими, находил скрытые вещи, не бывал никогда в церкви, ел с цыганами... Словом, трудно сказать, что может случиться с тем, кто проведет нынешнюю ночь в часовне. Хоть убейте, а там мы не остались бы. Взгляните на Цинабра! Его не впускают в священное место, и он целый день пролежал у двери, не евши, не двигаясь и не воя. Он прекрасно понимает, что там его хозяин и что тот мертв. Потому-то он ни разу и не просился к нему. Но как только пробило полночь, тут он стал метаться, обнюхивать, скрестись в дверь и стонать, словно чувствуя, что хозяин его там не один и не лежит покойно.

— Вы жалкие безумцы! — с негодованием ответила Консуэло. — Будь ваши сердца потеплее, умишки ваши не были бы так слабы! — и она вошла в часовню, к великому изумлению и ужасу трусливых сторожей.

Днем она не хотела видеть Альберта. Она знала, что он окружен всей католической пышностью, и боялась, что, принимая участие, хотя и внешнее, в обрядах, которые он всегда отвергал, разгневет его душу, продолжавшую жить в ее душе. Консуэло ждала этой минуты. Приготовившись к мрачной обстановке, какую должна была окружить покойного католическая религия, она подошла к катафалку и стала глядеть на Альберта без страха. Она сочла бы оскорблением дорогих, священных останков это чувство, которое было бы так тяжело умершим, почувствуй они его. А кто может нам поручиться, что их душа, оторвавшись от тела, не видит нашего ужаса и не испытывает из-за этого горькой скорби? Боязнь мертвых — гнусная слабость. Это самое обыденное и жестокое кощунство. Матери этой боязни не знают.

Альберт лежал на ложе из парчи, украшенном по четырем углам фамильными гербами. Голова его покоилась на подушке черного бархата, усеянного серебряными блестками. Из такого же бархата был сооружен балдахин. Тройной ряд свечей освещал его бледное лицо, остававшееся таким покойным, чистым, мужественным, что казалось, будто он мирно спит. Последнего из Рудольштадтов, по обычаю их семьи, одели в древний костюм его предков. На голове была графская корона; сбоку — шпага; в ногах — щит с гербом, а на груди — распятие. Со своими длинными волосами и черной бородой он походил на тех древних витязей, чьи статуи, распростерты на их могилах, покоились вокруг него. Пол был усыпан цветами, и благовония медленно сгорали в позолоченных курильницах, стоявших по четырем углам его смертного ложа...

В течение трех часов Консуэло молилась за своего супруга, созерцая его величественное спокойствие. Смерть, наложив на лицо несколько более темный оттенок, мало изменила его, и несколько раз, любуясь его красотой, она забывала, что он перестал жить. Ей чудилось даже, что она слышит его дыхание, а когда она удалялась на минуту, чтобы подбросить благовоний в курильницы и сменить свечи, ей казалось, будто она слышит слабый шорох и видит легкое колебание занавесей и драпировок. Тотчас же она подходила к нему, но, глядя на холодные уста и угасшее сердце, отрешалась от мимолетных безумных надежд.

Когда часы пробили три, Консуэло поднялась и поцеловала в губы своего супруга: это был ее первый и последний поцелуй любви.

— Прощай, Альберт! — проговорила она громко, охваченная религиозным экстазом. — Ты теперь, без сомнения, читаешь в моем сердце. Нет больше туч между нами, и ты знаешь, как я тебя люблю. Ты знаешь, что если я и покидаю твои священные останки на твою семью, которая завтра придет взирать на тебя, и покидаю, уже не падая духом, то это не значит, что я расстаюсь с вечной памятью о тебе и перестаю думать о твоей ненарушимой любви. Ты знаешь, что не забывчивая вдова, а верная жена уходит из твоего дома и уносит тебя навеки в своей душе. Прощай, Альберт! Ты верно сказал: «Смерть проходит между нами и, по видимости, разлучает нас только для того, чтобы соединить в вечности». Верная вере, которую ты преподал мне, убежденная, что ты заслужил любовь и благодать твоего Бога, я не плачу о тебе, и никогда в моих мыслях не явишься ты мне в ложном и нечестивом образе покойника. Нет смерти, Альберт! Ты был прав, сердце мое чувствует это, раз теперь я люблю тебя больше, чем когда-либо!»

Когда Консуэло произносила эти последние слова, опущенные задние занавеси балдахина вдруг заколебались довольно сильно, приоткрылись, и из них показалось бледное лицо Зденко. В первую минуту она испугалась, привыкнув смотреть на него, как на своего смертельного врага. Но в глазах Зденко светилась кротость, и, протягивая ей поверх смертного ложа свою грубую руку, которую она, не колеблясь, пожала, он, улыбаясь, сказал:

— Бедняжка моя! Помиримся над его ложем сна! Ты добрая Божья девочка, и Альберт доволен тобой. Поверь, он счастлив в эту минуту; он так

хорошо спит, добрый Альберт! Я простил его, ты это видишь! Я снова пришел к нему, как только узнал, что он спит. Теперь уж больше я его не покину, уведу его завтра в пещеру, и мы там с ним снова будем говорить о Консуэло — *Consuelo de mi alma*. Иди отдохни, девочка! Альберт не один: Зденко тут, всегда тут. Ему ничего не нужно. Ему так хорошо со своим другом. Несчастье заговорено, зло уничтожено, смерть побеждена... Трижды счастливый день настал... «Обиженный да поклонится тебе!..»

Консуэло была больше не в силах выносить детскую радость этого бедного безумца. Она нежно с ним простилась и, когда открыла дверь часовни, дала возможность Цинабру броситься к своему старому другу, и он, радостно лая, стал без конца обнюхивать его.

— Бедный Цинабр, иди! Я спрячу тебя под кровать твоего хозяина, — говорил Зденко, лаская его с такой нежностью, словно он был его ребенком. — Иди, иди, мой Цинабр! Вот мы все трое и соединились! Больше уж не расстанемся!

Консуэло отправилась будить Порпора. Потом на цыпочках вошла в комнату Христиана и стала между его кроватью и кроватью канониссы.

— Это вы, дочь моя? — спросил старик, не выказывая при этом никакого удивления. — Очень счастлив вас видеть. Не будите мою сестру, — она, слава Богу, хорошо спит. Идите отдохните и вы. Я совсем спокоен. Сын мой спасен; скоро и я поправлюсь.

Консуэло поцеловала его седые волосы, его морщинистые руки и скрыла от него свои слезы, которые могли, быть может, поколебать его заблуждение. Она не решилась поцеловать канониссу, заснувшую наконец впервые после месяца бессонных ночей.

«Бог положил предел и горю в самой чрезмерности его, — подумала Консуэло. — О! Если б эти несчастные могли подольше оставаться во власти благодетельной усталости!»

Полчаса спустя решетка подъемного моста Замка Великанов опустилась за Порпора и Консуэло, сердце которой разрывалось на части, когда она покидала этих благородных стариков. И ей даже в голову не приходило, что этот грозный замок, где за столькими рвами и решетчатыми воротами было скрыто столько богатств и столько страданий, стал достоянием графини фон-Рудольштадт...

Те из наших читателей, которые слишком устали, следуя за Консуэло среди ее бесконечных приключений и опасностей, могут теперь отдохнуть. Те же, менее многочисленные, конечно, у которых еще хватает на это мужества, узнают из следующего романа о продолжении странствований Консуэло и о том, что случилось с графом Альбертом после его смерти.



# Содержание

I.....	7	XXIX.....	175
II.....	10	XXX.....	182
III.....	18	XXXI.....	189
IV.....	23	XXXII.....	196
V.....	28	XXXIII.....	200
VI.....	37	XXXIV.....	205
VII.....	41	XXXV.....	209
VIII.....	45	XXXVI.....	213
IX.....	51	XXXVII.....	221
X.....	55	XXXVIII.....	228
XI.....	60	XXXIX.....	233
XII.....	64	XL.....	240
XIII.....	69	XLI.....	248
XIV.....	78	XLII.....	255
XV.....	85	XLIV.....	262
XVI.....	89	XLV.....	266
XVII.....	95	XLVI.....	275
XVIII.....	104	XLVII.....	279
XIX.....	110	XLVIII.....	286
XX.....	114	XLIX.....	293
XXI.....	124	L.....	297
XXII.....	129	LI.....	304
XXIII.....	135	LII.....	310
XXIV.....	141	LIII.....	317
XXV.....	148	LIV.....	322
XXVI.....	155	LV.....	331
XXVII.....	161	LVI.....	339
XXVIII.....	166	LVII.....	346



LVIII.....	351
LIX.....	358
LX.....	364
LXI.....	373
LXII.....	384
LXIII.....	391
LXIV.....	395
LXV.....	402
LXVI.....	408
LXVII.....	413
LXVIII.....	420
LXIX.....	428
LXX.....	436
LXXI.....	443
LXXII.....	453
LXXIII.....	471
LXXIV.....	477
LXXV.....	483
LXXVI.....	493
LXXVII.....	500
LXXVIII.....	506
LXXIX.....	513
LXXX.....	521
LXXXI.....	527
LXXXII.....	530
LXXXIII.....	538
LXXXIV.....	543
LXXXV.....	551
LXXXVI.....	557
LXXXVII.....	565
LXXXVIII.....	581
LXXXIX.....	591

XC.....	599
XCI.....	606
XCII.....	612
XCIII.....	621
XCIV.....	630
XCV.....	640
XCVI.....	650
XCVII.....	658
XCVIII.....	669
XCIX.....	677
C.....	685
CI.....	694
CII.....	703
CIII.....	714
CIV.....	722
CV.....	730
Заключение.....	737

Жорж Санд

КОНСУЭЛО

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Том 228

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной продукции, так как данное издание классического произведения имеет значительную историческую, художественную и культурную ценность для общества

Верстка: *Андрей Кутковой*

Обработка иллюстраций: *Сергей Козлов*

Корректура: *Надежда Павленко, Светлана Булгакова*

Дизайн обложки, подготовка к печати

*А. Яскевича*

Гарнитура Гарамонд Премьер Про

12 кегль

Сдано в печать 11.12.2023

Объем 46,5 печ. листов

Тираж 3100 экз.

Заказ № 26862

Бумага

Бумага офсетная книжная кремовая каландрированная 60 г/м<sup>2</sup>



ООО «СЗКЭО»

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44

E-mail: [knigi@szko.ru](mailto:knigi@szko.ru)

Интернет-магазин: [www.szko.spb.ru](http://www.szko.spb.ru)

Отпечатано в типографии ООО «ЛД-ПРИНТ»,  
196643, Россия, г. Санкт-Петербург, п. Сапёрный,  
ш. Петрозаводское, д. 61, строение 6,  
тел. (812) 462-83-83, e-mail: [office@ldprint.ru](mailto:office@ldprint.ru).



Жорж Санд, урожденная Амандина Аврора Люсиль Дюпен, — выдающаяся романистка XIX столетия. Ее роман «Консуэло» впервые был опубликован в 1843 году в основанном самой писательницей журнале «Независимое обозрение». Реакция на это произведение как во Франции, так и в других странах, была восторженной. В наши дни «Консуэло» считается одним из лучших произведений Жорж Санд. Это классика французской литературы. Будущая писательница появилась на свет в семье военного высокого ранга и дочери птицелова. Свои идеи, опыт и жизненные впечатления Жорж Санд частично передала главной героине своего

романа — певице Консуэло. Писательницу с юности волновало социальное неравенство, и эта тема нашла отражение в ее литературном творчестве. Консуэло — выросшая в нищете на венецианских улицах простолюдинка. Однако благодаря своему таланту она заводит знакомства в высших кругах общества, много размышляя при этом о несправедливости устоявшегося порядка. В «Консуэло» поднимается тема искусства, освещается влияние на него внешних обстоятельств и внутренних противоречий в человеке, взаимосвязь творчества с религией; неоднократно затрагивается и обсуждается роль женщины в обществе. Вместе с тем, описывается придворная жизнь XVIII века, внимание уделяется особенностям музыкального искусства. В романе много персонажей, в которых можно узнать реальных исторических личностей. Это маэстро Никола Порпора, композитор Йозеф Гайдн, императрица Мария-Терезия, бароны Фридрих и Франц фон Тренк и другие. Освещение острых социальных тем, манера письма, нетривиальные сюжеты Жорж Санд восхищали современников. Тургенев хвалил стиль писательницы, отмечая, что у нее «дар передавать самые тонкие, самые мимолетные впечатления».

Морис Санд, также известный, как Жан Франсуа Морис Арнольд Дюдеван, был старшим ребенком Жорж Санд и единственным ее сыном, рожденным в браке с бароном Франсуа Казимиром Дюдеван. Подобно матери Морис Санд глубоко погрузился в творчество и нашел себя в литературе и изобразительном искусстве. Первые шаги на этом пути он делал под руководством выдающегося представителя романтического направления европейской живописи Эжена Делакруа. Санд рисовал иллюстрации к французским народным легендам и сказкам. Позднее он начал отдавать предпочтение графике. Морис проиллюстрировал некоторые произведения своей матери, в том числе и наиболее известный ее роман — «Консуэло».

